

PERMITS REQUISITE

MSKIM

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОСЕНЬ

I

— Слава Иисусу!

— Во веки веков! Здравствуй, Агата! А куда это ты собралась?

— По миру пойду, благодетель, по людям. Мир-то вон как велик! — Она описала клюкой дугу с востока на запад.

Ксендз невольно посмотрел вдаль, туда, куда она указывала, и тотчас зажмурился — на западе стояло ослепительное солнце. Потом спросил, уже потише и как-то нерешительно:

— А что, разве Клембы тебя выгнали? Может, так только — повздорили немного? Может...

Она ответила не сразу. Слегка выпрямилась, медленно обвела выцветшими глазами поля, по-осеннему пустынные, и крыши деревни, тонувшей в садах.

— Нет, не выгоняли они меня... как можно!.. Люди они хорошие, да и родня... И ссоры тоже никакой не было... Сама я примечать стала, что пора мне уходить. На чужой каравай рта не разевай! Да, так уж пришлось... Работы у них для меня не стало... а дело к зиме. Так что же, даром, что ли, они меня кормить будут? Угол даром дадут!.. А тут и теленка от матки отняли, да и гусей пора в хату загонять, ночи уже холодные... Вот я и освободила место. Жалко скотинку, ведь живая божья тварь... А люди они хорошие, летом меня всегда приютят, ни угла, ни куска хлеба не жалеют, живу у них, как у Христа за пазухой. Ну, а зимой приходится по миру ходить... Да много ли мне надо? Выпрошу кое-что у добрых людей и до весны, бог даст, перебыюсь. Еще и деньжонок прикоплю, Клембам они перед новым урожаем в самую пору... родня ведь они мне... А Господь наш милосердный бедного человека не оставит...

— Не оставит, нет! — горячо подтвердил ксендз и стыдливо сунул ей в руку золотый.[1]

— Благодетель ты наш, отец родной!

Она припала к его коленям трясущейся головой, и слезы горохом покатались по землистому лицу, изборожденному морщинами, как осенняя пашня.

— Иди с Богом, иди! — бормотал ксендз смущенно, поднимая ее.

Агата дрожащими руками подобрала свои котомки и палку, перекрестилась и пошла к лесу по

широкой, покрытой рытвинами дороге. Время от времени она оборачивалась, печально глядела на деревню, на поля, где копали картофель, на дым пастушьих костров, низко стлавшийся над жнивьем, потом шла дальше, пока не скрылась за придорожными кустами.

А ксендз снова присел на колеса от плуга, понюхал табаку и раскрыл требник. Но глаза его все отрывались от красных букв и блуждали по бледному небу, по бескрайним полям, овеянным осенней грустью, останавливались на парне, согнувшемся над плугом.

— Валек! Борозда-то вон там кривая! — крикнул он вдруг, оживившись, и стал неотступно следить глазами за парой раскормленных лошадей, тащивших скрипучий плуг.

Потом опять, шевеля губами, начал рассеянно читать требник, но каждую минуту поглядывал то на лошадей, то на стайку ворон, которые, вытянув клювы, осторожно прыгали по бороздам и при каждом свисте кнута, при каждом повороте плуга тяжело взлетали, но тотчас же падали снова на пашню и стучали клювами по твердым комьям сухой земли.

— Валек! А ну-ка, стегни хорошенько правую, чтобы не отставала!

Отведав кнута, правая и в самом деле пошла ровнее. Старый ксендз улыбнулся от удовольствия и, когда лошади подошли к дороге, живо вскочил, ласково потрепал каждую по шее, а они тянулись к нему мордами и дружески обнюхивали его лицо.

— Э-эй! — певуче крикнул Валек, вытащив из земли блестящий, как серебро, плуг. Легко приподняв его, он так натянул вожжи, что лошади описали небольшую дугу, затем всадил блестящий сошник в землю, свистнул кнутом, лошади рванулись с места так, что даже упряжь затрещала. Валек продолжал пахать широкое поле, которое под прямым углом спускалось от дороги вниз по склону и длинной пряжей вспаханных полос тянулось до самой деревни, укрытой в ложбине и тонувшей в багряной и золотой листве фруктовых садов.

Стояла теплая и дремотная тишина.

Был конец сентября, но солнце порядком пригревало. Сейчас оно уже висело над лесом, на полпути между югом и западом, и от кустов, придорожных камней, от груш, росших в поле, и даже, кажется, от взрытых пластов сухой земли ложились холодные вечерние тени.

Тишина была в опустевших полях, упоительная сладость в воздухе, затуманенном золотой солнечной пылью. Высоко на светлой лазури неба кое-где плавали громадные белые облака, словно снежные сугробы, нанесенные ветром и потом развеянные во все стороны.

А под ними, куда ни глянь, лежали серые поля, как громадная чаша с синей каймой лесов, и через эту чашу сверкающей на солнце серебряной лентой вилась река, мелькая из-за прибрежных ольх и верб. Посреди деревни она разливалась большим продолговатым озером и по долине меж холмов бежала дальше, на север.

На дне котловины, вокруг озера, играя на солнце осенними красками садов, лежала деревня, как красно-золотистая гусеница, свернувшаяся на сером листе лопуха. От нее к лесу тянулась длинная спутанная пряжа пашен, серые холсты полей. Шнурами вились межи, густо поросшие брусникой и терном. И только кое-где на этом серебристо-сером фоне разливались струйки золота — это желтел пахучий цвет лупина. В других местах мертвенно белели пересохшие русла ручьев, тянулись дремлющие песчаные дороги, а над ними ряды могучих тополей медленно взбирались на холмы и вновь опускались к лесам.

Заглядевшийся ксендз очнулся, когда неподалеку раздался протяжный жалобный рев, от которого вороны с криками сорвались и полетели наискось, туда, где копали картофель. За ними по жнивью и пашне бежала черная дрожащая тень.

Заслонив рукой глаза, ксендз посмотрел на дорогу: со стороны леса шла какая-то девушка и тащила за собой на веревке большую рыжую корову. Проходя мимо, она поздоровалась и хотела было подойти, чтобы поцеловать у ксендза руку, но корова дернула ее в сторону и опять громко замычала.

— Что, продавать ведешь?

— Нет... к Мельникову быку... Да стой же ты, окаянная! Очумела, что ли? — кричала девушка, еле переводя дух и пытаясь удержать корову. Но та опять потянула ее на дорогу, обе побежали стремглав и скрылись в облаке пыли.

Потом по песчаной дороге прошел еврей-тряпичник. Он плелся Медленно, толкая перед собой тележку — видно, тяжело нагруженную, так как он то и дело садился отдыхать и шумно отдувался.

— Что слышно, Мошка!

— Да что слышно? Кому хорошо, о том и слышно одно хорошее... Картошки, слава богу, уродилось много, рожь славная, и капуста будет. У кого есть картошка, да рожь, да капуста — тому хорошо!

Он поцеловал у ксендза рукав, обвязал вокруг пояса лямки от тележки и покатил ее дальше — теперь ему было легче, отсюда начинался отлогий спуск.

Через некоторое время посередине дороги, поднимая ногами пыль, прошел слепой нищий, которого вела на веревочке толстая дворняжка.

Потом из леса выскочил мальчишка с бутылкой, но, завидев у дороги ксендза, сделал большой круг, чтобы избежать встречи, и помчался через поля к корчме.

Проехал мужик из соседнего села — вез зерно на мельницу. За ним еврейка гнала стадо только что купленных гусей.

И каждый здоровался с ксендзом, перекидывался с ним несколькими словами и шел своей дорогой, провожаемый его приветливым словом и взглядом.

Наконец, видя, что солнце клонится все ниже к закату, ксендз поднялся и крикнул Валеку:

— Допашешь до березок и домой!.. А то лошади совсем замаялись.

И неторопливо пошел межою, вполголоса читая молитвы и светлым любовным взглядом озирая поля.

На картофельных полях яркими пятнами мелькали платья баб. Слышался грохот ссыпаемой в телеги картошки. Местами еще пахали под посев. Стада пестрых коров паслись на перелогих. На длинных, пепельно-серых бороздах уже желтела щетина молодых всходов. Гуси снежными хлопьями белели на порыжелых лугах. Горели костры, и длинные голубые ленты дыма плыли над землей. Замычит где-то корова, загрохочет телега, плуг лязгнет, наткнувшись на камень, — и опять на мгновение наступала такая тишина, что слышно было, как глухо бормочет река, как постукивает за деревней мельница, скрытая в густой чаще желтеющих деревьев. А там вдруг песня зазвенит либо донесется, неведомо откуда, крик и летит низко над землей, разбивается о борозды и ложбины и тонет без отголоска в серой осенней дали, на сжатых полях, затканых серебряной паутиной, на сонных безлюдных дорогах, над которыми рябины клонят тяжелые окровавленные головы... В одном месте боронили поле, и туча серой, пронизанной солнцем пыли поднималась за боронами, вытягивалась, всползала на пригорки и опадала, а из пыли, словно из облака, появлялся босой мужик, без шапки, с повязанной вокруг шеи холстиной. Он шел медленно, набирал из

холстины горстью зерно и сеял движением однообразным, истовым, словно благословляя землю. Дойдя до конца полосы, он набирал из мешка еще зерна и медленно поворачивал обратно, постепенно показываясь из-за холма, — сначала видна была его взлохмаченная голова, потом плечи, а под конец он уже был виден весь в солнечном свете и все тем же благословляющим движением руки разбрасывал семена, которые золотым дождем падали на землю.

Старый ксендз шел все медленнее, иногда останавливался передохнуть и то оглядывался на своих сивок, то наблюдал, как мальчишки камнями сбивали груши с большого дерева. Увидев его, они подбежали гурьбой и, пряча руки за спину, спешили поцеловать рукав его сутаны.

Он погладил всех по головам и сказал наставительно:

— Смотрите, только веток не ломайте, а то на будущий год груш не дождетесь.

— Да мы не груши сбивали, там на дереве гнездо воронье, — отозвался один мальчик, посмелее других.

Ксендз добродушно усмехнулся, пошел дальше и скоро остановился около копавших картофель.

— Бог на помощь!

— Спасибо! — ответили ему хором, и люди, выпрямляясь, стали подходить, чтобы поцеловать руку у своего пастыря.

— Ну что, в нынешнем году послал Господь большой урожай картошки? — сказал он, протягивая мужчинам раскрытую табакерку. Те почтительно и осторожно брали щепотку табаку, но нюхать при нем стеснялись.

— Да, картофель крупный, как булыжник, и много его.

— Ого, значит свиньи вздорожают — будет чем их откармливать.

— Они уже и так дороги: летом много от мора пропало, да и для Пруссии их скупают.

— Правда, правда. А чью это картошку копаете?

— Борунову.

— Хозяина не видно, оттого я и не разобрал, чью.

— Отец с мужиком моим в лес поехали.

— А, это ты, Ганна? Как живешь? — обратился он к молодой миловидной женщине в красном платочке. Руки у нее были испачканы землей, и, чтобы поцеловать руку ксендза, она взяла ее через передник.

— Как там твой парнишка, которого я в жатву крестил?

— Спасибо, хорошо растет и уже лопочет.

— Ну, будьте здоровы.

— Будьте здоровы, ваше преподобие.

Ксендз свернул вправо, к кладбищу, которое находилось по эту сторону деревни, у обсаженной тополями дороги.

А люди молча провожали глазами его высокую, сухощавую, немного сгорбленную фигуру. И только когда он, войдя за низкую каменную ограду, шел уже между могилами к часовне, стоявшей среди желтеющих берез и багряных кленов, языки развязались.

— Лучше его на всем свете не сыщешь, — сказала одна из женщин.

— Еще бы! А ведь его хотели в город взять... Если бы отец и войт не поехали просить епископа, не видать бы нам его!.. Ну, копайте, люди, копайте! До вечера недалеко, а картошки еще совсем мало, — говорила Ганна, высыпая свою корзину на груды картофеля, желтевшую на разрытой земле.

Все усердно принялись за работу и работали молча, слышались только удары мотыг о твердую землю да иногда сухой звон железа о камень. Время от времени то тот, то другой разгибал натруженную спину и, тяжело дыша, смотрел бездумно на ходившего впереди сеятеля, а затем опять принимался копать, вытаскивал из серой земли желтые картофелины и кидал их в стоявшую перед ним корзину.

Здесь работало человек десять — пятнадцать, все больше старухи и коморники,[2] а за спинами работавших белели подвешенные на скрещенных жердях холщовые люльки, в которых лежали дети.

— Значит, старуха пошла-таки по миру, — начала Ягустинка.

— Кто? — спросила, поднимаясь, Ганна.

— Да старая Агата.

— Побираться!

— Ясное дело, не на сладкое житье, а за милостыней.

Потрудилась на родню-то, работала без малого целый год, а теперь отпустили ее на вольную жизнь!

— А весной вернется и натащит им всякой всячины — и сахару, и чаю, да и денег принесет. И начнут они ее ублажать, спать положат на кровати, под периной, и работать не дадут, — чтобы отдохнула значит... и тетенькой будут звать, пока все, до последнего гроша у нее не вытянут. А осень придет — так для нее места ни в сених, ни в хлеву не найдется. Сукины дети, стервы окаянные! — крикнула Ягустинка в таком гневе, что даже лицо у нее потемнело.

— Бедняку, уж известно, всегда ветер в лицо, — вставил один из коморников, старый мужик, тощий и криворотый.

— Копайте, люди, копайте! — подгоняла их Ганка, недовольная этими разговорами.

Но Ягустинка не могла долго молчать. Она посмотрела на стоявшего неподалеку мужика и сказала:

— Пачеси уже старые, волосы у них здорово повылезли!

— А все еще не женаты, — заметила другая женщина.

— И ведь столько девок у нас либо в перестарках сидят, либо уходят в город места искать!

— Вот то-то и есть! А у Пачесей земли целых полвлуки[3] да еще луг за мельницей.

— Ну да разве мать им позволит жениться!

— Кто же тогда будет ей коров доить, стирать, за всем хозяйством смотреть да за свиньями ходить?

— Они все делают за мать и Ягусю. Ягна-то, как помещичья дочка, знай только наряжается да умывается, в зеркальце глядится и косы заплетает.

— А сама так и смотрит, кого бы к себе в постель пустить! — опять с злобной усмешкой вставила Ягустинка.

— Юзек Банахов к ней сватов засылал — не пошла.

— Ишь ты! Зазналась, проклятая!

— А старуха все только в костеле сидит, молитвенник читает да на богомолье ходит.

— А все-таки она ведьма! Кто, как не она, у Вавжона коров испортил, так что у них молоко пропало? А когда Адамов парнишка у нее в саду сливы рвал, она только какое-то злое слово вымолвила — и у него тут же на голове колтун сделался, да так его скрутило, что не дай господи!

— И как тут Богу на нас не гневаться, когда такие в деревне сидят!

— По прежним-то временам, когда я еще девчонкой отцовских коров пасла, таких из деревни выгоняли, — подхватила Ягустинка.

— Ну, этих никто не тронет, есть у них заступники...

И, понизив голос до шепота, косясь на Ганку, работавшую впереди, Ягустинка сказала соседкам:

— А первый за них заступник — муж Ганкин. Бегает за Ягной, как кобель.

— Господи помилуй!.. Ну и дела!.. Да что ты говоришь!.. Вот грех какой!.. — зашептались бабы, продолжая копать и не поднимая глаз.

— Да разве он один! Ведь за нею все парни гоняются.

— Девка она красивая, что и говорить! Здоровая, как молодая телка, лицом белая, а глаза синие, что лен в цвету. И сильная — не всякий мужик с ней сладит.

— Ничего не делает, только жрет и спит, так чего же ей пригожей не быть?..

Разговор прервался, надо было ссыпать картофель в кучу. Женщины только изредка переговаривались о том о сем и, наконец, совсем замолкли, пока одна из них не увидела, что из деревни через поле бежит Юзя, дочка Борыны.

Юзя подбежала запыхавшись и уже издали кричала:

— Ганка, беги скорее домой, с коровой что-то приключилось!

— Господи Иисусе! С какой!

— С Пеструхой... Ох, не могу дух перевести!

— А у меня сердце замерло — думала, с моей! — с облегчением сказала Ганна.

— Витек ее только что привел, оттого что лесник выгнал все стадо из рощи, и Пеструха перепугалась, — ведь она стельная... Как пришла, так у самого хлева и повалилась... И пить

не пьет, и есть не ест, только ворочается на земле и мычит так, что страх берет!

— А отца дома нет?

— Нет, еще не вернулся. Боже, боже, такая корова! Ведь не раз полный горшок молока давала. Идем же скорее!

— Сейчас, сейчас, я мигом прибегу! — Ганка вынула ребенка из холщовой люльки, надела на него шапочку с кисточками, завернула в свой передник и торопливо пошла к деревне. Она была так встревожена вестью, что совсем забыла опустить подоткнутую юбку, и открытые до колен ноги белели издали на фоне земли. Юзя бежала впереди.

А люди, копавшие картофель, согнувшись каждый над своим рядом, двигались не спеша, работали ленивее, так как их теперь никто не пилит и не подгонял.

Солнце уже перекаатилось на запад и, словно разгоряченное стремительным бегом, ярко пылало, огромным огненным шаром опускаясь за высокий черный лес. А сумрак густел, стлался по бороздам в полях, прятался во рвах, наполнял чащи и медленно разливался по земле. Он гасил и поглощал все краски, и только верхушки деревьев да башенки и крыша костела еще горели в лучах заката.

Люди шли домой с поля. Их голоса, ржанье лошадей, мычанье коров, стук телег все резче звучали в безветренной тишине сумерек.

Уже звонко щебетала "сигнатурка" — самый маленький колокол в костеле, — сзывая к вечерне. Люди останавливались, и шепот молитв, как жалоба опадающих листьев, шелестел во мраке.

С песнями и веселыми криками гнали скот с пастбищ, и стадо, толкаясь, шло по дороге в облаке пыли, из которого по временам выплывали могучие головы и крутые рога. Блеяли овцы, гуси поднимались и стаями летели с лугов. Они тонули в блеске вечерней зари, и только резкие крики выдавали их присутствие в воздухе.

— Жалость какая — ведь эта Пеструха у них стельная была.

— Ну, что их жалеть, не бедняки!

— Так-то оно так, да корову жаль — пропадет она.

— Хозяйки у Борыны нет, вот и идет все прахом.

— А Ганка чем не хозяйка?

— Хозяйка она для себя самой... они с мужем словно жильцы у отца. Только и смотрят, как бы что-нибудь себе урвать, а отцовское добро пускай пес стережет!

— А Юзька еще глупа, от нее толку мало.

— И отчего Борыне не отдать Антеку землю!

— А самому к ним на хлеба идти, так, что ли? Дожил ты до старости, Вавжек, а ума, видно, не нажил! — с живостью возразила Ягустинка. — Ну, нет! Борына еще крепкий мужик, он жениться может. Дурак он будет, если детям землю отдаст!

— Крепок-то он крепок, а все же лет шестьдесят ему есть.

— Небось за него любая девушка пойдет, стоит ему только слово сказать.

— Да он уже двух жен схоронил!

— Ну что ж, дай ему бог и третью пережить! А детям, пока жив, не надо ничего отдавать, ни единого морга,[4] ни такого клочка, чтоб можно было ногой ступить! Им только отдай, так они, проклятые, живо отца обчистят, как мои дети — меня! Они его так накормят, что либо в работники нанимайся, либо по миру с сумой иди, если не хочешь с голоду подышать! Попробуй-ка, отдай все детям, они тебя отблагодарят! Дадут ровнехонько столько, чтобы хватило на веревку или на камень — к шее привязать.

— Люди, по домам пора, темнеет!

— Пора, пора. Солнышко уже зашло.

Все живо собрали мотыги, корзины, котелки от обеда и гуськом пошли по меже, переговариваясь о том о сем. Только старая Ягустинка все еще с азартом ругала своих детей, а потом уже и весь свет.

А рядом какая-то девчонка гнала свинью с поросятами и тоненьким голоском пела:

Эх, не ходи ты рядом с возом,

Не держись за колесо!

Эх, не целуй ты парня в губы,

Хоть он и просит горячо!

— Тише, глупая! Визжит, словно с нее шкуру дерут!

## II

На дворе Борыны, окруженном с трех сторон службами, а с четвертой — садом, который отделял его от дороги, уже собралось много народу. Несколько женщин суетились около большой, рыжей, с белыми пятнами коровы, лежавшей у хлева на куче навоза.

Старый пес с облезлыми боками, прихрамывая, бегал вокруг коровы, обнюхивал ее, лаял и то кидался на улицу и разгонял детей, залезших на плетень и с любопытством заглядывавших во двор, то подбегал к свинье, которая развалилась на земле под крыльцом и тихо кряхтела, потому что ее сосали маленькие белые поросята.

Наконец прибежала запыхавшись Ганка и, припав к корове, стала ее гладить по морде и по голове.

— Пеструха, бедная ты моя Пеструшечка! — слезливо приговаривала она, а потом заплакала уже навзрыд, горестно причитая.

А соседки предлагали все новые и новые средства: корове вливали в горло то раствор соли, то молоко с растопленным воском от освященной свечи. Кто-то советовал мыло с сывороткой, кто-то кричал, что надо ей кровь пустить. Но корове ничто не помогало, она вытягивалась все больше, по временам поднимала голову и протяжно, жалобно мычала,

словно умоляя спасти ее. Ее красивые глаза с розоватыми белками все больше мутнели, тяжелая рогатая голова падала в изнеможении, и она только высовывала язык и лизала руки Ганке.

— А, может, Амброжий помог бы чем-нибудь ей? — сказала одна из баб.

— Правда, он всякие болезни лечит, — подхватили другие.

— Сбегай-ка, Юзя! Он, должно быть, в костеле, к вечерне уже звонили... Господи, отец приедет, крику-то будет!.. А разве мы виноваты! — плакалась Ганка.

Она села на пороге хлева, сунула захныкавшему ребенку белую, полную грудь и с невыразимой тревогой все поглядывала то на издыхающую корову, то через плетень на дорогу.

Не прошло и пяти минут, как примчалась Юзя, крича, что Амброжий уже идет.

И действительно, сразу за ней пришел чуть не столетний старик, прямой как свеча, хотя вместо одной ноги у него была деревяшка и шел он, опираясь на палку. Лицо у Амброжия было серое, худое и сморщенное, как залежавшийся до весны прошлогодний картофель, бритое, все в шрамах. Он был без шапки, и белые, как молоко, волосы космами падали на лоб и затылок.

Он подошел к корове и тщательно ее осмотрел.

— Ого! Вижу, что будете есть свежее мясо.

— Да вы ей помогите, вылечите, — ведь она триста злотых стоит и стельная! Помогите же ей! О господи Иисусе! — закричала Юзя.

Амброжий вынул из кармана острый нож, потер его о голенище, посмотрел острие на свет и вскрыл Пеструхе артерию под брюхом. Но кровь не брызнула, а потекла медленно, черная, пенная.

Все стояли вокруг, нагнувшись, и смотрели, затаив дыхание.

— Поздно! Видите, дух испускает скотина, — сказал Амброжий торжественно. — Должно быть, заногтица, а может, и что другое. Надо было звать сразу, как захворала... Ох, уж эти мне бабы: только реветь горазды, а когда надо дело делать, блеют, как овцы!

Он презрительно сплюнул, обошел корову кругом, заглянул ей в глаза, внимательно посмотрел язык, потом вытер окровавленные руки об ее мягкую лоснящуюся шерсть и собрался уходить.

— Ну, на эти похороны звонить вам не буду — сами в горшки зазвоните.

— Отец с Антеком! — крикнула вдруг Юзя и выбежала на улицу встречать, так как с другой стороны озера уже слышался тяжелый стук и в облаке пыли, розовой от вечерней зари, чернела длинная телега.

— Тато, Пеструха у нас околевает! — закричала она, подбегая к отцу, — он уже сворачивал на эту сторону озера. Антек шел за телегой и поддерживал длинную сосну, которую они везли из леса.

— Не мели ерунды! — крикнул Борына, подгоняя лошадей.

— Амброжий ей кровь пустил — не помогло... Воск топленный в горло лили — и ничего... И

соль... ничего! Должно быть, заногтица... Витек говорит, что лесник выгнал их из рощи! И Пеструха сразу, как он ее домой привел, свалилась и стала стонать.

— Пеструха, самая лучшая корова! А чтоб вас скрючило, окаянных, хорошо же вы мое добро бережете! — Борына бросил вожжи сыну и с кнутом в руке побежал вперед.

Увидев его, женщины расступились, а Витек, что-то спокойно мастеривший у крыльца, обомлел от страха и стремглав умчался в сад. Даже Ганка поднялась и стояла на пороге, растерянная, встревоженная.

— Загубили мне скотину! — закричал старик, осмотрев Пеструху. — Триста злотых в болото брошено! Как к миске — так их, проклятых, хоть отбавляй, а беречь добро некому! Этакая корова, этакая корова! Выходит, человеку из дому нельзя и шагу ступить — только отлучишься, сейчас какая-нибудь беда и убыток!

— Да ведь я от самого полудня в поле была, на картошке, — тихо оправдывалась Ганка.

— Разве ты когда что увидишь! — крикнул Борына яростно. — Разве ты за мое добро постоишь! Ведь не корова, а клад, такую не у всякого помещика найдешь!

Он причитал все горестнее, ходил вокруг коровы, пробуя поднять ее. Он тянул ее за хвост, смотрел в зубы, но Пеструха дышала хрипло, все тяжелее, кровь из надреза уже не текла, а запекалась черными сгустками. Было ясно, что животное издыхает.

— Делать нечего, придется дорезать, хоть что-нибудь выручишь, — сказал, наконец, Борына. Он принес из сарая косу, наточил ее на камне, стоявшем под навесом, скинул кафтан, засучил рукава рубахи и принялся за дело.

Ганка и Юзька громко заплакали, когда Пеструха, словно почуяв смерть свою, с усилием подняла голову, глухо замычала и... повалилась с перерезанным горлом, дрыгая ногами.

Пес слизывал застывавшую на воздухе кровь, потом прыгнул в одну из картофельных ям и залаял на лошадей, стоявших с телегой у плетня, где их оставил Антек, равнодушно наблюдавший, как отец резал корову.

— Не реви, дура! Не наша беда, корова-то отцовская! — сердито сказал он жене и принялся распрягать лошадей, которых Витек затем повел за гривы в конюшню.

— А картошки в поле много? — спросил Борына, моя руки у колодца.

— Порядочно. Мешков двадцать будет.

— Надо нынче свезти.

— Сами и возите, а я никак спину не разогну, ног под собой не чую... Да и коренник захромал.

— Юзька, кликни с поля Кубу, пусть кобылу заложит да картошку нынче еще свезет. А то как бы дождем ее не намочило!

Его все еще разбирали злость и досада, он то и дело останавливался подле коровы и яростно ругался, ходил по двору, заглядывал в хлев, в амбар, под навес и сам не знал, чего ищет — так сильно его грызла мысль о потере.

— Витек! Витек! — позвал он и стал уже снимать широкий ремень, которым был подпоясан. Но мальчик не показывался.

Соседи разошлись, понимая, что такая неприятность и убыток должны кончиться расправой, на которую Борына был скор. Но старик сегодня ограничился руганью и вошел в избу.

— Ганка, есть давай! — крикнул он снохе в открытое окно и пошел на свою половину.

Изба была обыкновенная деревенская, разделенная пополам просторными сенями. Четырехоконным фасадом она была обращена в сад и на дорогу, а задней стеной — во двор.

Одну половину — окнами в сад — занимали Борына и Юзя, на другой помещались Антек с семьей. Работник и пастушонок ночевали в конюшне.

В избе было темновато, потому что небольшие оконца, заслоненные карнизом крыши и деревьями, пропускали мало света, да и на дворе уже смеркалось. Поблескивали стекла образов, которые длинным рядом темнели на выбеленных стенах. Изба была просторная, но низко над головой нависали массивные балки почерневшего потолка и вся она до такой степени была загромождена мебелью, что только около большой печи, у стены, выходившей в сени, оставалось немного свободного места.

Борына разулся и ушел в чулан, прикрыв за собой дверь. Он отодвинул доску от оконца, и кроваво-красный свет заката залил комнатку.

Здесь было полно всякой рухляди и хранились хозяйственные запасы. На протянутых поперек чулана шестах висели тулупы, полосатые и красные шерстяные юбки, белые сукманы.[5] На полу лежали мотки серой пряжи, клубки грязной овечьей шерсти, мешки с пером.

Борына достал белый кафтан и красный пояс, потом долго искал чего-то в бочках с зерном и в углу под грудой старых ремней и железа, пока не услышал, что Ганка вошла в соседнюю комнату. Тогда он опять задвинул оконце доской, но долго еще рылся в зерне.

А в комнате на столе уже дымилась еда. Из котелка со щами шел запах свежего сала, как и от стоявшей рядом внушительной сковороды с яичницей.

— Где Витек пас коров? — спросил Борына, отрезая себе толстый ломоть хлеба от каравая величиной с решето.

— В панской роще, и лесник его оттуда погнал.

— Окаянные, извели мне корову!

— Испугалась она, должно быть, а с перепугу у нее что-то внутри перегорело...

— Сукины сыны эти помещики! Пастбища — наши, так и в бумагах написано сажеными буквами, а он постоянно выгоняет нашу скотину и твердит, что это его роща.

— Других тоже выгнали, а мальчишку Валько лесник так избил, так избил!..

— Эх! В суд бы их или к комиссару! Этой корове цена триста злотых, как одна копейка!

— Правда, правда! — поддакивала сноха, безмерно довольная тем, что свекор смягчился.

— Скажешь Антеку, чтобы как только картошку привезут, за корову принимались: надо ее ободрать да тушу разделать. Как приду от войта,[6] подсоблю им. Пусть ее к балке подвесит, чтобы не растащили собаки.

Он быстро поел и встал, собираясь переодеться, но так отяжелел, им овладела такая

усталость и сонливость, что он тут же повалился на кровать, чтобы немного вздремнуть.

А Ганка ушла на свою половину и, хлопоча по хозяйству, то и дело высовывалась в окно поглядеть на мужа, который ужинал один на крыльце. Он, как всегда, чинно и неторопливо хлебал щи ложка за ложкой и по временам оглядывался на озеро. Заходило солнце, на воде играла золотисто-пурпурная радуга, и сквозь огненные круги, словно белые облачка, проплывали крикливые гуси, сея клювами капельки воды, как нити кровавого жемчуга.

В деревне начиналась суета, как в муравейнике. На дороге, по обе стороны озера, беспрестанно слышался грохот телег, поднималась пыль, мычали коровы и, входя по колена в воду, пили не спеша, поднимали тяжелые головы, а по их широким мордам, как нитки опалов, сбежали тонкие струйки воды.

Откуда-то с другого берега долетала трескотня вальков — это бабы стирали белье — и глухой монотонный стук цепов на чьем-то гумне.

— Антек, накопи-ка дров, у меня уже сил нет, — попросила Ганка несмело, с опаской, так как Антеку ничего не стоило обругать, а то и поколотить ее.

Он даже не ответил, как будто не слышал, а повторить свою просьбу Ганка не решилась и сама пошла колоть дрова. Антек, злой, сильно утомленный работой в течение целого дня, молча смотрел через озеро на большой дом, светившийся белыми стенами и стеклами, в которые било заходящее солнце. Кусты красных георгин выглядывали из-за каменного забора и ярко пылали на фоне стен, а перед домом, то в садике, то во дворе, мелькала высокая фигура — лица нельзя было разглядеть, потому что она каждую минуту скрывалась в сенях или под деревьями.

— Спит, словно помещик, а ты работай на него, как батрак, — злобно проворчал Антек, когда храп отца стал слышен даже на крыльце.

Он вышел во двор — еще раз посмотреть на корову.

— Хоть корова отцовская, а все же и нам убыток, — сказал он жене. Ганка, бросив колоть дрова, шла помогать Кубе, который только что привез картофель с поля.

— Ямы-то еще не почищены! Придется в овин ссыпать.

— А в овине отец велел вам с Кубой корову ободрать да разрубить.

— Хватит места и для коровы и для картошки, — пробормотал Куба, открывая настежь двери овина.

— Я ему не мясник, чтобы корову обдирать! — огрызнулся Антек.

И больше они уже не разговаривали. Слышен был лишь грохот сыпавшегося на землю картофеля.

Солнечный свет померк; вечерело. Только на западе еще пылало зарево цвета крови и тусклого золота, и от него на озеро сыпалась медная пыль, а вода тихо переливалась красноватой чешуей и сонно журчала.

Деревня тонула в сумраке и глубокой тишине осеннего вечера. Избы казались меньше и словно припадали к земле, робко жались к сонно клонившимся деревьям, к серым плетням.

Антек и Куба возили картофель с поля, а Ганка с Юзей хлопотали по хозяйству: надо было гусей загнать на ночь, покормить свиней, которые с визгом лезли в сени и совали свои прожорливые рыла в ушаты с пойлом для скота. Надо было подоить коров: Витек только что

пригнал их с пастбища и накладывал им сена, чтобы они стояли спокойнее во время доения.

Когда Юзя принялась доить первую с краю, Витек вышел из-за яслей и тихо, тревожно спросил:

— Юзя, хозяин сердится?

— О господи, выдерет он тебя, горемычного! Он так бранился, так бранился!.. — ответила Юзя, высунув голову из-под коровы. Она заслонила лицо рукой, так как, корова махала хвостом, отгоняя мух.

— Разве я виноват... лесник меня прогнал и еще хотел побить, да я убежал... А Пеструха сразу стала мычать, стонать, и все на землю валилась, вот я ее домой и привел!

Он замолчал и только тихо, жалобно всхлипывал и шмыгал носом.

— Не реви ты, как теленок! В первый раз, что ли, тебя отец драть будет!

— Не в первый, а я все равно так боюсь... никак я выдержать битья не могу!..

— Дурак! Этакий большой парень, а боится! Ну, ладно, я отца уговорю.

— Уговоришь, Юзя, правда! — обрадовался мальчик. — Ведь это все лесник... прогнал меня с коровами... а я...

— Упрошу, Витек, не бойся!

— Ну, коли так... на вот тебе эту птичку! — радостно шепнул Витек и вынул из-за пазухи деревянную игрушку. — Погляди-ка, сама ходит!

Он поставил птицу на пороге, завел, и она стала кивать головой, поднимать длинные ноги и бегать.

— Аист! Иисусе! Как живой, ходит! — воскликнула пораженная Юзя. Она отставила в сторону подойник и, присев на корточки у порога, с живейшей радостью и удивлением смотрела на птицу.

— Ну, и мастер же ты, настоящий механик! И это он сам так ходит, а?

— Сам. Я его колышком накручу, вот он и расхаживает, как пан после обеда... гляди! — Он повернул аиста, и тот, с забавной важностью вытянув длинную шею и поднимая ноги, стал ходить.

Оба весело хохотали, забавляясь этим зрелищем, а Юзя время от времени поглядывала на мальчика с удивлением и восторгом.

— Юзя! — донесся с крыльца голос Бoryны.

— Что? — откликнулась она.

— Поди-ка сюда!

— Да я коров дою.

— Я к войту иду, так ты присматривай тут, — сказал Бoryна, просовывая голову в темный хлев. — А нет ли тут этого подкидыша, а?

— Витека! Нету, поехал с Антеком за картошкой: Кубе-то нужно было нарезать сечки для

лошадей, — ответила Юзя быстро и с некоторым беспокойством, так как Витек со страху спрятался за ее спиной.

— Шкуру с него, поганца, спустить мало, этакую корову мне загубил! — проворчал хозяин, уходя в избу. Здесь он надел новый белый кафтан, расшитый по швам черной тесьмой, черную шляпу с высокой тульей, подпоясался красным кушаком и пошел берегом по направлению к мельнице.

"Дела еще сколько!.. Дров надо привезти... сеять не кончили... капуста еще на поле... листа для подстилки не собрали... Вспахать бы надо под картошку... да и под овес хорошо бы. А ты таскайся по судам! Господи боже ты мой, человек никогда из работы не вылезает, всю-то жизнь ходи, как вол под ярмом... Ни выспаться, ни передохнуть времени нет, — размышлял он. — А тут еще и суд этот! Вот не было печали! Твердит, стерва, будто я спал с нею... Чтoб у тебя язык отсох, сука, шлюха этакая!" — Он плюнул со злости, набил трубку махоркой и долго тер отсыревшую спичку о штаны, раньше чем удалось ее разжечь.

Попыхивая трубкой, он шагал медленно. Ныли кости, и досада все еще разбирала его при мысли о погибшей корове.

И выместить эту досаду не на ком, некому душу излить... один, как пень! Сам обо всем думай, сам умом раскидывай, сам, как пес, бегай да все стереги... И не с кем тебе слова сказать, ни совета, ни помощи ниоткуда, одно разорение... Все только тебя обдирают, как волки овцу, — там рванут, тут урвут, так и норовят на клочки растащить...

Темно уж было на улицах деревни, из дверей и окон, приоткрытых, потому что вечер был теплый, струились лучи света. Пахло вареной картошкой и мучной похлебкой с салом. Кое-где хозяева ужинали в сенях, а то и на воздухе перед домом, слышен был стук ложек и разговоры.

Борына шагал все медленнее. Его еще мучила досада, потом нахлынули воспоминания о покойной жене, которую он схоронил весной.

"Ох, при ней, царствие ей небесное, не случилось бы такой беды с Пеструхой... Хозяйка была что надо! Хоть и сварливая баба, ворчунья, — доброго слова никто от нее не слышал, и с бабами, бывало, постоянно грызется, — а все ж хозяйка, жена!"

Помянув ее таким образом, он набожно вздохнул. Тоска еще сильнее стала душить его, оттого что вспомнилось бывшее.

"Придешь с работы усталый, так она и поесть сытно даст и частенько колбасы подсунет потихоньку от детей..."

А как все у нее в хозяйстве спорилось!.. И телята, и гуси были, и поросята. На каждую ярмарку было что везти в город, от продажи одного только приплода всегда водились в доме денежки... И как она готовила капусту с горохом, — ни одна так не сумеет!..

А теперь что?

Антек все в свою сторону тянет, кузнец тоже только и смотрит, как бы что ухватить. Юзька? Юзька еще дурочка, мякина в голове, — да и то сказать, девчонке только десятый год пошел... А Ганка — та все хворает, чуть живая ходит, что от нее пользы? Нароботает столько, сколько кот наплачет...

Так все прахом и идет... Пеструху пришлось дорезать... в жатву поросенок околел, вороны гусенят перетаскали, не больше половины осталось!.. Столько убытков, столько напастей! Все как сквозь сито уходит! Как сквозь сито..."

— Так не дам же я вам ничего! — чуть не крикнул он вслух. — Пока ноги мои ходят, ни одного морга на вас не запишу и к вам на хлеба не пойду!..

Пусть только Гжеля из солдатчины домой придет, велю Антеку на женино хозяйство перебираться... Не дам!

— Слава Иисусу! — раздался около него чей-то голос.

— Во веки веков, — ответил он машинально и свернул с улицы в широкий и длинный проулок, в глубине которого стояла изба войта.

В окнах был свет. Залаяли собаки.

Борына вошел прямо в горницу.

— Дома войт? — спросил он у толстухи, которая, стоя на коленях у люльки, кормила ребенка.

— Скоро вернется, поехал за картошкой. Присаживайтесь, Мацей! Вот и он тоже хозяина моего дожидается, — она кивком головы указала на старика, сидевшего у печи. Это был тот слепой нищий, которого водила собака. Красноватый свет лучины резко освещал его бритое лицо, голый череп и широко раскрытые глаза, затянутые бельмами, неподвижно застывшие под седыми лохматыми бровями.

— Откуда Бог несет? — спросил Борына, садясь у огня напротив старика.

— А с бела-света. Откуда же еще, хозяин? — отозвался тот медленно, заунывным и жалобным голосом профессионального нищего, подставляя ближе ухо и протягивая Борыне свою табакерку.

— Угощайтесь, хозяин.

Мацей взял изрядную понюшку и чихнул три раза подряд, да так, что у него даже слезы выступили на глазах.

— Ох, и крепок же, черт его дери! — и рукавом вытер глаза.

— Будьте здоровы! Петербургский, он для глаз полезный.

— Заходите завтра ко мне. Я корову зарезал, так найдется и для вас какой-нибудь кусочек.

— Спаси вас Господи... Это Борына, кажись, а?

— Он самый. И как это вы меня узнали?

— А по голосу да по разговору.

— Все ходите? Ну, что на свете слышать?

— А что слышать? Где хорошо, где худо — по-разному, так уж на свете водится. Все кряхтят да жмутся, как надо подать нищему страннику, а на водку у всех хватает.

— Верно вы говорите. Так оно и есть.

— Ох-хо! Столько лет бродишь по матушке-земле, так чего только не узнаешь!

— А куда же девался тот хлопчик, сирота, что вас летом водил! — спросила жена войта.

— Ушел, ушел от меня, проклятый, и мою суму выпотрошил... Были у меня гроши кое-какие, что мне добрые люди подавали, и нес я их, чтобы отслужить молебен Ченстоховской Божьей Матери. А он, гад этакий, стащил их и ушел от меня!.. Смирно, Бурый!.. Это, должно быть, войт идет. — Старик дернул веревочку, и собака перестала ворчать.

Это действительно пришел войт. Он бросил кнут в угол и уже с порога закричал:

— Жена, есть давай, голоден я, как волк! Мацей, здорово! А вам чего, дедушка?

— Я к тебе насчет завтрашнего суда... — начал Борына.

— А я подожду, пан войт. В сенях прикажете — и то ладно, позвольте мне, старику, у огня посидеть, — посижу. А дадите мисочку картошки или хлеба кусок, так Богу за вас помолюсь... все равно как за тех, кто деньгами подает.

— Сидите, сидите, дадут вам поужинать. Если хотите переночевать, так ночуйте.

И войт засел за миску, от которой шел пар, — в ней был тертый картофель, обильно политый топленым салом. В другой миске хозяйка подала простоквашу.

— Садитесь, Мацей, с нами, поешьте, что Бог послал, — приглашала она, кладя на стол третью ложку.

— Спасибо. Я, как из лесу приехал, наелся досыта.

— Ничего, беритесь за ложку! Лишний раз поесть не вредно, вечера уже долгие.

— От долгой молитвы да от полной миски еще никто не помирал, — вставил слепой.

Борына все отказывался, но потом сел к столу очень уж щекотал ноздри вкусный запах сала! — и стал есть не спеша, чинно, как того требовало приличие. Жена войта то и дело вставала, подбавляла картошки и подливала простокваши.

Собака нищего все время беспокойно вертелась и жалобно скулила от голода.

— Цыц, Бурек, хозяйева еще едят... потом и тебе дадут, не бойся... — успокаивал ее дед, жадно вдыхая аппетитный запах и грея руки у огня.

— Это Евка, должно быть, на вас подала жалобу, — начал войт, немного насытившись.

— Она, она! Врет, будто я ей заработанных денег не отдал! А я ей все заплатил, как бог свят! Да еще сверх того, по доброте своей, ксендзу за крестины мешок овса дал...

— Она говорит, будто ребенок-то этот... от вас.

— Во имя отца и сына! Очумела она, что ли?

— Эге, выходит, вы, хоть и старый, а еще мастер на эти дела! — смеялась хозяйка.

— Брешет она, как собака, я ее и пальцем не трогал! Чтобы я... с такой рванью!.. Под забором околевала и скулила, чтобы я ее в работницы взял за одни только харчи да теплый угол, потому что дело к зиме шло. Я не брал, да покойница жена пристала. "Возьмем ее, пригодится в доме. Чем нанимать, своя работница будет..." Я не хотел: зима, работы никакой, на что нам лишний рот? А покойница и говорит: "Об этом ты не беспокойся, она наверняка умеет и шерсть прясть, и полотно ткать, засажу ее за работу, пусть ковыряется, все польза от нее будет". Ну, так она у нас и осталась. Только отъелась — тут и приплод! А кто постарался — насчет этого разное говорили...

— Она-то на вас показывает.

— Да я ее пришибу, чтобы не врала, сука этакая!

— А на суд все-таки идти придется.

— И пойду! Спасибо, что сказал, — а я-то думал, что она только насчет жалованья. Жалованье я ей заплатил, у меня свидетели есть! Ах, подлая девка!.. Господи Иисусе, сколько всякой напасти, сил моих больше нет! Корова пала, пришлось прирезать, в поле еще до сих пор не управились, — человек один, как перст!

— Вдовец — все равно что среди волков овца, — сказал из своего угла слепой.

— Насчет коровы вашей я уже слышал, говорили мне люди в поле...

— За это дело помещик ответит, — стадо-то погнал из рощи его лесник! Самая лучшая корова, ей цена не меньше как триста злотых! Загнал он ее, а она стельная была, вот у нее нутро и перегорело. Пришлось дорезать... Но помещику это даром не пройдет! Я на него в суд подам.

Войт, державший всегда сторону помещика, стал отговаривать Борыну от такого намерения, убеждать, что не следует ничего делать сгоряча. В конце концов, чтобы переменить разговор, он мигнул жене и сказал:

— Жениться вам надо, Мацей, вот и будет кому за хозяйством смотреть.

— Смеетесь, что ли? Да мне на Успенье пятьдесят восемь стукнуло! Взбредет же этакое в голову! Еще покойница моя не сгнила...

— Возьмите женщину по вашим годам, так у вас все наладится, — промолвила жена войта и начала убирать со стола.

— Хорошая жена — мужней голове корона, — добавил и слепой, нащупывая миску, которую поставила перед ним хозяйка.

Борына отмахнулся, но мысленно уже спрашивал себя, как это ему самому до сих пор в голову не пришло? Какая бы жена ни попалась, все с нею лучше будет, чем одному горе мыкать.

— Всякие бабы есть — и глупые, и нерасторопные, и сварливые. Иная, чуть что, до мужнина чуба добирается, другая только и знает в корчму бегать, — где музыка, там и она! А все же мужику при жене лучше, от нее в хозяйстве всегда польза, — продолжал слепой, доедая свой ужин.

— То-то на селе все подивились бы! — сказал Борына.

— Что их слушать? Разве люди вам корову вернут? Или за хозяйством присмотрят? Или помогут чем! Пожалуют вас? — с жаром возразила жена войта.

— Или, может, перину тебе согреют! — со смехом добавил войт. — А в деревне у нас девчат столько, что когда идешь между хатами, жаром пышет, как из печи.

— Видите, греховодник какой, чего ему хочется!

— Да вот, взять хотя бы Грегорову Зоську — статная, красивая, и приданое не малое.

— А на что Мацею приданое, — или он у нас не первый хозяин в деревне?

— Ну, от добра да земельки никто не откажется, — заметил слепой.

— Нет, Грегорова дочка Мацею не годится, — рассуждал войт. — Здоровьем слабовата, да и молода еще...

— А Ендрекова Кася? — припоминала жена войта.

— Эта уже сговорена. К ней вчера Адам Рохов сватов засылал с водкой.

— А то есть еще Вероника Стахова.

— Нет, куда ее — болтлива, только гульба на уме, да и кривобокая к тому же.

— Ну, а вдова Томека, — как ее... Бабенка еще молодая, самая пора ей замуж.

— Скажешь тоже! Трое ребят, земли четыре морга, два коровьих хвоста да старый тулуп, что остался от покойника!

— А Улися, дочка того Войтека, что за костелом живет?

— Э... эта для холостого: с приплодом. Парнишка, правда, уже подросток, может коров пасти, да Мацею он ни к чему, у него свой пастушонок есть.

— Девочек у нас в деревне довольно, да я такую ищу чтобы годилась для Мацея.

— А одну-то и позабыла! Эта для него была бы в самый раз...

— Которая?

— А Ягна Доминиковой?

— Правда, про нее я совсем забыла!

— Славная девка и здоровенная такая — через плетень не перелезет, жерди под нею ломаются... И собой хороша — белолицая да холеная, как молодая телка.

— Ягна? — переспросил Борына, молча слушавший этот перечень имен. — Говорят, она до парней большая охотница..

— Э, никто при том не был, кто это знает? Плетут кому не лень, а все из зависти! — горячо защищала Ягну хозяйка.

— Да я что ж... Я ничего не говорю... А только так люди болтают. Ну, мне идти пора. — Мацей поправил пояс, сунул в трубку уголек и несколько раз затянулся.

— А в суде на какой час назначено! — спросил он спокойно.

— В повестке сказано — в девять. Если пешком думаете, придется до света выйти.

— Зачем же пешком, доеду потихоньку на кобыле. Ну, оставайтесь с Богом, спасибо вам за угощение и совет.

— Иди с Богом. Да поразмысли насчет того, что мы тебе советовали. А надумаешь, так пойду от тебя сватом к ее матери, и еще до Нового года свадьбу сыграем.

Борына ничего не ответил, только глазами заморгал и вышел.

— Когда старик на молодой женится, дьяволу потеха! — сказал дед серьезно, выскребая ложкой дно миски.

Борына шел домой медленно, размышляя о том, что говорили войт и жена его. Им он и виду не подал, что мысль эта ему сильно понравилась. Ну, как же — ведь он человек почтенный, не мальчишка, у которого еще молоко на губах не обсохло, — не визжать же от радости, что его женить хотят!

Ночь уже укрыла землю; в темной безмолвной глубине неба серебряной росой блестели звезды. Тихо было в деревне, порой только лаяли собаки. Из-за деревьев кое-где мерцали огоньки. По временам с лугов веял влажный ветер, деревья начинали покачиваться, и тихонько шептались листья.

Борына возвращался домой не той дорогой, какой пришел: он спустился вниз к озеру и перешел на другой берег по мосту, под которым вода с бульканьем вливалась в реку и дальше с глухим шумом устремлялась на мельницу. Вода в озере была тиха и неподвижна и отливала темным блеском. Прибрежные деревья отбрасывали тень на его поверхность и словно заключали его в черную раму, а в середине озера, где было светлее, как в металлическом зеркале, отражались звезды.

Мацей и сам не знал, почему он не пошел прямо домой, а выбрал этот дальний путь. Может быть, для того, чтобы пройти мимо дома Ягны? А может, он просто испытывал потребность собраться с мыслями.

"Ведь и в самом деле не худо бы на ней жениться! А что там о ней поговаривают, так это — тьфу! — Он плюнул. — Славная девка!.."

Его пробирала дрожь, потому что от озера тянуло сыростью и холодом, а он только что вышел из жаркой избы войта.

"...А без жены пропадешь, или придется все хозяйство детям отдать, — думал он. — Здоровенная она, рослая, и красавица писаная... Вот самая лучшая корова, пала и кто его знает, что еще завтра случится? Может, и в самом деле жену подыскать? После покойницы столько всякой одежды осталось — вот и пригодилась бы... Старуха Доминикова — злющая, как собака. Ну, а мне-то что? Изба у них есть, земля есть, она у себя жить останется... В семье их трое, а земли пятнадцать моргов, значит Ягне достанется пять. И за избу ей братья выплатят и все, что полагается, дадут!.. Пять моргов... Как раз то поле, что за моим картофельным, летом они там, помнится, рожь сеяли... Пять моргов... Вместе с моими это будет... без малого тридцать пять! Здорово! — Он потер руки и поправил пояс. — У одного только мельника больше... Жулик он, обижает народ, процентами да всякими плутнями набрал столько... А в будущем году подвез бы я навозу, вспахал бы да посеял пшеницу на всем поле... И одну лошадь еще прикупить надо, да вместо Пеструхи корову... впрочем, корову-то ей мать в приданое даст".

Так размышлял Борына, рассчитывал, предавался мечтам рачительного хозяина и часто останавливался в глубоком раздумье. Мужик он был умный и поэтому все взвешивал и рылся в памяти, чтобы чего не упустить и не забыть.

"То-то заверещали бы, дьяволы, то-то заверещали бы!" — подумал он о детях, но тотчас волна силы и уверенности в себе хлынула в сердце и укрепила еще смутное и нетвердое решение.

"Земля моя, кому какое дело! А не хотят, так..." — он не закончил и остановился перед избой Ягны.

У них еще горел огонь, из открытого окна падала широкая полоса света на куст георгин, на низенькие сливовые деревья и тянулась до самого плетня и дороги.

Борына отошел в тень и заглянул в окно.

Лампочка на шестке светила тускло, но в печи, видимо, горел сильный огонь: слышен был треск хвороста, и красноватый свет заливал просторную, темную только по углам избу. Старая Доминикова, согнувшись, примостилась у печки и читала что-то вслух, а против нее, лицом к окну, сидела Ягна в одной рубашке, с засученными до плеч рукавами и выщипывала пух у гуся.

"А хороша, чертовка, слов нет, хороша!" — подумал Борына.

Она по временам поднимала голову и, вслушиваясь в то, что читала мать, тяжело вздыхала. Потом опять принималась выщипывать пух. Вдруг гусь жалобно загоготал и стал с криком рваться из ее рук, хлопая крыльями так, что пух белым облаком разлетался по избе. Она его быстро успокоила и крепко зажала между колен, но он все еще тихонько и жалобно гоготал, а откуда-то из сеней или со двора ему вторили другие.

"Красавица!" — опять сказал себе Борына и торопливо отошел от окна.

Уже дойдя до своих ворот и входя во двор, он опять оглянулся на ее дом, стоявший как раз напротив, по ту сторону озера. В это мгновение оттуда, должно быть, кто-то выходил — из приотворенной двери вырвался луч света, сверкнул молнией и добежал до берега. Застучали чьи-то тяжелые шаги, заплескалась вода, — ее, видно, набирали в ведро, — а потом сквозь мрак и туман, наползавший с лугов, донеслась тихая песня:

За рекою ты, за рекою я.

Как же мне целовать тебя?

Он слушал, но голос скоро замолк, и свет в окнах погас.

Из-за леса вставал полный месяц, серебрил верхушки деревьев, сеял сквозь ветви серебро на озеро, заглядывал в окна хат. Даже собаки приумолкли, и глубокая тишина сошла на деревню и на все живое.

Борына обошел двор, заглянул в конюшню, где лошади, пофыркивая, с хрустом жевали сено, сунул голову в хлев, двери которого были для прохлады открыты настежь. Коровы лежали, пережевывая жвачку. Борына прикрыл дверь сарая и, сняв шапку, пошел в дом, вполголоса читая вечернюю молитву.

В доме все уже спали. Он тихонько разулся и сразу лег, но заснуть не мог. То жарко ему было от перины, и он высовывал из-под нее ноги, то лезли в голову разные мысли, дела, заботы...

Потом он стал думать о Ягне. Как хорошо было бы жениться: и красивая она, и домовитая, и земли у нее столько! Но опять вспоминал о детях, вспоминал толки, ходившие про Ягну, и все у него в голове путалось, и он уже не знал, как быть. Он даже приподнялся и обернулся к стоявшей рядом кровати — захотелось по старой привычке окликнуть жену и посоветоваться:

— Марыся! Жениться мне на Ягне или не жениться?

Но вовремя вспомнил, что Марыся уже с весны лежит на кладбище, а на ее кровати храпит Юзька, что он осиротел и не с кем ему посоветоваться. Вздохнул тяжело, перекрестился и стал молиться за упокой души покойной Марыси и за все души, пребывающие в чистилище.

Рассвет уже побелил крыши, серым полотном завесил ночь и померкшие звезды, когда на дворе у Борыны началось движение.

Куба слез с нар и выглянул из конюшни. На земле кое-где лежала изморозь, и было еще темновато, но на востоке заря уже разгоралась и румянила верхушки заиндевевших деревьев. Блаженно потягиваясь, Куба зевнул раз-другой и пошел в хлев будить Витека. Но мальчик только на миг поднял голову и, сонно пробормотав: "Сейчас, Куба, я сейчас!", опять свернулся на своей постели.

— Ладно, поспи еще маленько, бедняга, поспи! — Куба прикрыл его тулупом и заковылял дальше — нога у него была когда-то прострелена в колене, и поэтому он сильно хромал и волочил ее за собой. Умывшись у колодца, он пригладил ладонью свои спутанные, выгоревшие на солнце волосы и встал на колени у порога конюшни, чтобы помолиться.

Хозяин еще спал. Окна хаты пылали кровавыми отблесками утренней зари, с озера медленно сползал густой белесый туман и рваными клочьями рассеивался в воздухе.

Куба молился долго, перебирая четки, а глаза его все время блуждали по двору, по окнам хаты, по саду, еще земля еще была окутана мглой, по яблоням, увешанным яблоками величиной с кулак. Не прерывая молитвы, он швырнул чем-то в собачью конуру, стоявшую у самой двери конюшни, целясь в белую голову Лапы, но пес только заворчал, свернулся клубком и опять заснул.

— Ты что, до самого солнца спать будешь, шельма! — Он опять швырнул чем-то в Лапу раз, другой, пока собака не вылезла из будки. Она зевнула, потянулась, завилыла хвостом, потом села рядом и принялась чесаться, наводя порядок в своей густой кудлатой шерсти.

"...И обращаю молитву мою к Тебе и Всем Святым. Аминь!"

Куба еще долго бил себя в грудь, а вставая, сказал Лапе:

— Ишь ты, фронт чертов, охорашивается, как баба перед свадьбой.

Куба был мужик работающий и тотчас занялся делом. Выкатил из сарая телегу и смазал ее, напоил лошадей, подбросил им сена, так что они зафыркали от удовольствия и застучали копытами. Потом принес из амбара мякины, в которой было много овса, и всыпал в ясли кобыле, стоявшей отдельно в загородке.

— Жри, старуха, жри, набирайся сил, скоро у тебя жеребеночек будет. — Он погладил ее по морде, а кобыла положила ему голову на плечо и ласково хватала губами за волосы.

— Картошку до полудня с тобой свезем, а под вечер надо в лес ехать за листьями для подстилки, — ничего, не бойся, они легкие, не загоняю тебя...

— Ах ты, непутевый, кнута дождешься! Ишь, овса ему захотелось, бездельнику! — пожурил он мерина, который стоял рядом и совал морду меж досок перегородки, пробуя дотянуться до яслей кобылы; Куба шлепнул его по крупу так, что мерин отскочил в сторону и заржал.

— Ах ты лентяй! — Жрать — так небось рад бы чистый овес, а на работу не тут-то было. Без кнута с места не тронешься, дьявол, а?

Он обошел жеребца и заглянул к молодой кобыле, которая стояла у самой стены и уже издали с тихим ржанием вытягивала к нему каштановую голову с белой отметиной на лбу.

— Тише, милая, тише! Наедайся, повезешь хозяина в город! — Он взял клок сена и вытер лошади запачканный бок. — И всегда-то ты вымажешься, как свинья! — приговаривал он, направляясь к хлеву, чтобы выпустить визжавших свиней, а Лапа ходил за ним следом и заглядывал ему в глаза.

— И тебе есть охота? На вот тебе хлебушка, на! — Он достал из-за пазухи кусок хлеба и бросил псу. Тот поймал его на лету и спрятался в конуру, так как свиньи уже кинулись отнимать у него добычу.

— Ох, эти свиньи — точно как иные люди: им бы только чужое ухватить да слопать.

Он зашел в сарай и долго разглядывал подвешенную к балке коровью тушу.

— Вот — глупая скотина, а и той конец пришел. Наверное, завтра на обед будет мясо... Только и пользы от тебя, бедняга, что человек наестся в воскресенье...

Он вздохнул при мысли об еде и поплелся будить Витека.

— Солнце вот-вот взойдет, пора коров выгонять!

Витек что-то бурчал, защищался, нырял под тулуп, но в конце концов встал и бродил по двору сонный и вялый.

Хозяин сегодня заспался. Солнце уже вошло, румянило иней и зажигало зарево в воде озера и оконных стеклах, а из избы все еще никто не показывался.

Витек сидел на пороге хлева, зевал и с ожесточением почесывался. Увидев, что воробьи стали слетаться с крыш к колодцу и плескаться в корыте, он принес лесенку и полез под крышу — заглянуть в ласточкино гнездо: что-то уж очень тихо там было.

— Замерзли, что ли?

Он стал бережно вынимать из гнезда застывших птенчиков и класть их к себе за пазуху.

— Ой, Куба, померли! — Он подбежал к работнику и показывал ему неподвижных, окоченелых ласточек.

Куба взял одну из них в руки, приложил к уху, дунул ей в глаза и объявил:

— Они застыли — видишь, как подморозило! Вот глупые, что же они не улетели в теплые края? Ну, ну... — и он пошел к своей работе.

А Витек сел у крыльца под навесом, выбрав такое место, куда солнце уже доходило и заливало белые стены, по которым ползали мухи. Он вытаскивал из-за пазухи одну за другой тех птичек, которые уже отогрелись у него на груди и помаленьку начинали шевелиться, дышал на них и раскрывал им клювики. Когда они оживали, открывали глаза и начинали рваться из его рук, он правой рукой шарил по стене и, поймав муху, кормил ею птичку, потом отпускал ее на волю.

— Лети себе к матери, лети, — шептал он, глядя, как ласточки садились на соломенную крышу хлева, чистили перышки клювами и щебетали, словно благодаря его.

А Лапа сидел перед ним, потешно скулил и кидался за каждой птичкой, выпорхнувшей из рук Витека, но, пробежав несколько шагов, возвращался ни с чем на свое место — подстергать следующую.

— Как же, лови ветер в поле! — бормотал Витек. Он был так поглощен отогреванием

ласточек, что и не заметил, как Борына вышел из-за угла избы и остановился перед ним.

— Пташками забавляешься, стервец, а?

Витек сорвался с места, но убежать не успел — хозяин ухватил его одной рукой за шиворот, а другой торопливо, снимал с себя широкий и жесткий ремень.

— Не бейте! Ой, не бейте! — только и успел крикнуть мальчик.

— Вот какой ты пастух? Так-то ты за скотиной смотришь, а? Самую лучшую корову загубил! Ах ты, подкидыш, чучело варшавское! — Он стегал его с остервенением куда попало. Ремень так и свистел, а мальчик извивался, как угорь, и вопил:

— Не бейте! Господи! Ой, убьет он меня!.. Хозяин!.. Иисусе! Спасите!

Даже Ганка выглянула из избы, а Куба плюнул и ушел в конюшню.

Борына все бил и бил мальчика, вымещая на нем свою досаду. Витек уже посинел, из носа у него шла кровь, он кричал благим матом. Наконец, он каким-то чудом вырвался и, подхватив обеими руками штанишки, убежал за ворота.

— Иисусе, убил он меня, забил насмерть! — кричал он, громко плача, и так мчался, что остальные ласточки выпадали у него из-за пазухи и сыпались на дорогу.

Борына еще погрозил ему вслед, опоясавшись ремнем и, войдя в дом, заглянул на половину сына.

— Солнце уже высоко, а ты все валяешься! — прикрикнул он на Антека.

— Нарботался вчера, как вол, надо же человеку отдохнуть.

— Я на суд еду. Привезешь картошку с поля, а людей, как кончат копать, отправь листья сгребать на подстилку. Да еще ты бы колышки вбил — надо стены законопатить.

— Сами себе конопатьте — нам тут не дует.

— Ладно! Законопачу свою половину, а ты мерзни, лежебока.

Он хлопнул дверью и ушел к себе. Здесь Юзя уже развела огонь и собиралась идти доить коров.

— Живо давай есть, мне ехать пора.

— Не разорваться же мне, двух дел разом не сделаешь! — огрызнулась Юзя и вышла.

"Минутки спокойной нет, то и дело грызись со всеми!" — думал Борына, одеваясь. Он был зол и расстроен. Как же — с сыном вечная война, слова ему сказать нельзя, сразу готов глаза выцарапать или ответит такое, что все нутро у тебя перевернется. Ни на кого нельзя понадеяться, так один и майся всегда!

Раздражение росло, и он тихо ругался и швырял куда попало одежду, сапоги.

"Обязаны отца слушаться, а не слушаются! И отчего бы это!" — думал он.

Видно, тут не обойтись без палки! И крепкой палки! Давно надо было мне за них приняться — сейчас после смерти покойницы Марыси, когда началась эта грызня из-за земли. А я все крепился, не хотел сраму перед людьми. Ведь хозяин я не завалыщий, а на тридцати моргах, и роду не какого-нибудь — Борына! Да добром с ними ничего не сделаешь, нет!

Он вспомнил о зяте-кузнеце, который исподтишка всех бунтовал, да и сам все приставал к нему, требуя, чтобы он отделил ему шесть моргов поля и морг лесу, а остального он, мол, подождет...

"Это он, значит, смерти моей ждет! Подожди, окаянный, подожди! — думал Мацей со злобой. — Пока я жив, ты у меня ни единой полоски не увидишь! Скажите, какой хитрец!"

Картофель уже бурно кипел в котелке, когда Юзя вернулась, подоив коров. Она мигом приготовила завтрак.

— Юзюка, ты мясо без меня продавай. Завтра воскресенье, и люди уже проведали, их тут много налетит. Только, смотри, в долг никому не давай... Заднюю часть оставь для нас. Позовем Амброжия, он засолит и приправит.

— Да ведь и кузнец это умеет...

— Ну да — этот поделился бы с нами, как волк с овцой.

— Магде обидно будет, что нашу корову делят, а ей ничего не достанется.

— Так ты для Магды вырежь кусок и отнеси ей, а кузнеца не зови.

— Какой вы добрый, тато!

— Ну, чего там, доченька, чего уж! Ты тут присмотри за всем, а я тебе зато из города булочку привезу или что другое.

Он поел, опоясался, пригладил рукой жидкие растрепанные волосы, взял кнут, но все не уходил и оглядывал избу.

— Не забыть бы чего! — Ему хотелось заглянуть в чулан, но он не мог сделать этого при Юзе и, перекрестившись, вышел.

Уже сидя в повозке и подбирая холщовые вожжи, он крикнул стоявшей на крыльце Юзе:

— Как управятся с картошкой, пускай сразу идут в лес сгребать подстилку, квитанция за образами. Да пусть срубят там какой-нибудь граб или елочку — пригодится.

Повозка тронулась и была уже за воротами, когда под яблонями Борына заметил Витека.

— Забыл!.. Тпру!.. Витек! Пусти коров на луг, да смотри за ними хорошенько, а не то так тебя, подлеца, вздую, что будешь помнить!

— Как бы не так! Поцелуйте меня... кое-куда! — дерзко крикнул Витек, исчезая за амбаром.

— Поговори у меня еще! Вот слезу с брички, так не обрадуешься!

За воротами он свернул влево, на дорогу к костелу, и так вытянул лошадь кнутом, что она затрусилась рысью по каменистой дороге.

Солнце стояло уже высоко над избами и пригревало все жарче, от покрытых изморозью крыш поднимался пар и капала вода. Только в тени под плетнями, в садах и в балочках еще лежал седой иней. По поверхности озера ползли последние клочья тумана, а из-под них уже искрилась вода, отражая блеск солнца.

В деревне начиналось обычное движение. Утро было ясное и холодное, в воздухе после ночных заморозков чувствовалась резкая свежесть, и потому люди двигались проворнее, были бодрее и говорливее.

Доедая на ходу свой завтрак, они толпами шли в поле: одни с мотыгами и корзинами — копать картофель, другие тащились с плугами на пашню. На телегах везли бороны и мешки с зерном для посева. Некоторые, с граблями на плече, сворачивали к лесу — сгребать листья для подстилки. На обоих берегах озера так и гудело, и шум все усиливался, потому что по дорогам гнали скот на пастбище, и из низкого густого облака пыли, поднимавшегося над дорогой, то и дело вырывался лай собак и крики пастухов.

Борына осторожно объезжал стада, иногда стегая кнутом какого-нибудь глупого ягненка или теленка, совавшегося под ноги его кобыле. Так он миновал всех, и у костела, окруженного сплошной стеной желтеющих лип и кленов, выбрался на широкую дорогу, обсаженную высокими тополями.

В костеле шла служба: звонил маленький колокол, "сигнатурка", и глухо гудел орган. Борына снял шапку и набожно вздохнул.

Дорога за костелом была пустынна и так густо усеяна опавшими листьями, что все выбоины и глубокие колеи скрылись под этим ржаво-золотистым ковром, изрезанным лишь полосами густых теней, которые ложились от стволов тополей.

— Н-но, милая, н-но! — Он взмахнул кнутом, и кобыла некоторое время бежала резвее, но потом снова поплелась медленно. Дорога теперь шла в гору, на холмы, где чернели леса.

Борына, на которого тишина нагоняла дремоту, то поглядывал сквозь колоннаду тополей на поля, залитые розовым утренним светом, то пытался думать о предстоящем суде, о Пеструхе, но его так разморило, что он ничего не мог с собой поделать.

В ветвях щебетали птицы, по временам ветер легкими пальцами пробежал по вершинам деревьев, и какой-нибудь лист отрывался от родной ветки и, кружась, как золотой мотылек, падал на землю или в запыленный репейник, который огненными глазами своих цветов гордо глядел на солнце. Шептались тополя, тихо шумя ветвями, но ветер стихал — и они смолкали, как набожные женщины, которые во время вознесения чаши со святыми дарами поднимают глаза к небесам и, сложив руки, молитвенно вздыхают, а потом падают ниц перед золотой дароносицей, поднятой над святой матерью-землей.

Только у самого леса Борына окончательно встряхнулся и придержал лошадь.

— Всходы неплохие, — пробормотал он, приглядываясь к серым полосам, на которых желтела щетинка молодой ржи.

"Порядочный кусок поля — и к моему прилегает, как нарочно... А рожь они, сдаётся мне, вчера посеяли."

Жадным взглядом окинул он взбороненное поле, вздохнул и въехал в лес.

Теперь он часто погонял лошадь, дорога шла по ровному месту, хотя и густо проросла корнями, на которых возок с грохотом подскакивал.

Овеянный суровым и холодным дыханием леса, Борына уже больше не дремал.

Бор стоял во всем величии своей древности и силы, огромный, густой, дерево к дереву, — и все почти одна сосна, хотя попадались часто и развесистые дубы, поседевшие от старости, а кое-где — березы в белых рубашках, с расплетенными косами, уже позолоченными осенью. Низкие кусты орешника, приземистые грабы, дрожащие осины жались к могучим красным стволам сосен, которые так сплелись своими верхушками и ветвями, что солнечные лучи только кое-где пробивались сквозь них и золотыми пауками ползали по мхам и зелено-рыжим папоротникам.

"А ведь тут и моих четыре морга будет, — думал Борына, пожирая глазами лес и мысленно уже отбирая себе деревья получше. — Не даст нас господь в обиду, да мы и сами за себя постоим! Панам все кажется, что у нас много, а нам мало... Ну-ка, сейчас сочтем... моих четыре, да Ягусе тут с морг полагается... Четыре да один..."

— Н-но, глупая, сорок испугалась! — Он стегнул кобылу. На сухой сосне, на которой висело распятое, дрались сороки и кричали так оглушительно, что лошадь поводила ушами и то и дело останавливалась.

"Сорочья свадьба — к дождям", — подумал Борына и погнал лошадь рысью.

Было уже около девяти, — в это время люди в поле садятся завтракать, — когда Борына добрался до Тымова и ехал по безлюдным улицам мимо дряхлых домишек, которые напоминали старых торговков, рассеявшихся над канавами, полными мусора, кур, оборванных еврейских ребятишек, овец и коз.

Тут же у въезда в местечко его обступили перекупщики и стали заглядывать в повозку, щупать под соломой и под сиденьем, не везет ли он чего на продажу.

— Пошли прочь! — крикнул он на них и погнал лошадь на рынок, где под сенью старых ободранных каштанов, умиравших среди площади, уже стояло десятка полтора телег с выпряженными лошадьми.

Борына поставил здесь и свою повозку, повернул кобылу головой к кузову, насыпал ей корму, кнут спрятал под сиденье, потом отряхнул с себя солому и пошел прямо к Мордке — цирюльнику, у которого над дверью блестели три медные тарелки. Оттуда он скоро вышел гладко выбритый, с одной только царапиной на подбородке, залепленной бумажкой, из-под которой сочилась кровь.

Суд еще не начинался, но перед зданием суда — тут же, на базарной площади, против высокого монастырского костела — уже ожидало много народу. Одни сидели на истертых ступеньках, другие толпились под окнами и то и дело заглядывали внутрь, а женщины расположились у выбеленных стен, спустили на плечи свои красные платки и болтали между собой.

Увидев Евку с ребенком на руках, стоявшую в группе свидетелей, вспыльчивый Борына сразу разозлился, плюнул и вошел в коридор, разделявший здание суда на две половины. В левой половине помещался суд, в правой была квартира секретаря, и как раз в эту минуту Яцек вынес оттуда на порог самовар и раздувал огонь сапогом так рьяно, что из самовара валил дым, как из заводской трубы. А с другого конца коридора чей-то резкий сердитый голос поминутно кричал:

— Яцек! Ботинки паненкам!

— Сейчас, сейчас!

Самовар гудел уже, как вулкан, из него бухало пламя.

— Яцек, подай пану умыться!

— Да сейчас, все сделаю, все! — И Яцек, обалдевший, потный, неся по коридору в комнаты, прибежал обратно, дул в самовар и опять летел, потому что хозяйка кричала:

— Яцек, разиня, где мои чулки?

— Эх, не самовар — стерва!

Это продолжалось так долго, что можно было успеть два раза прочитать "Отче наш" да еще четки перебрать. Но, наконец, двери суда отворились, и большой выбеленный зал стал наполняться народом.

Яцек, теперь уже в качестве курьера, босиком, но в синих штанах и такой же куртке с медными пуговицами, красный и потный, суетился у решетки, разделявшей зал на две половины. Он все время утирал лицо рукавом и мотал головой, как конь, укушенный оводом, пытаясь отбросить назад свисавшие гривой на лоб светлые волосы. Время от времени он осторожно заглядывал в соседнюю комнату, затем присаживался на минуту у зеленой печки.

А людей набралось столько, что яблоку негде было упасть, толпа все сильнее напирала на решетку, которая уже трещала. Говор, вначале тихий, постепенно становился громче, шелестел по всему залу, а по временам переходил в гул. То тут, то там вспыхивали ссоры, и все чаще сыпались крепкие словечки.

Под окнами бормотали евреи, какие-то бабы громко рассказывали о своих обидах и еще громче плакали, и уже невозможно было разобрать, кто и где говорит, — такая была толчея. Люди стояли плечо к плечу, и комната напоминала поле, густо покрытое колосьями и алыми маками. Пролетит по полю ветер, и все оно заколышется, зашумит, заговорит, а потом станет ровно, колос к колосу.

Увидев Борыну, прислонившегося к решетке, Евка начала браниться и выкрикивать что-то по его адресу. Возмущенный Борына грубо огрызнулся:

— Замолчи, сука, не то сейчас ребра тебе посчитаю! Отделаю так, что родная мать не узнает!

А Евка, разозлившись, рванулась к нему сквозь толпу вытянув вперед руку, словно хотела вцепиться ему в лицо. Платок упал у нее с головы, ребенок раскричался, и неизвестно, чем бы все это кончилось, но Яцек в эту самую минуту кинулся открывать двери и крикнул:

— Молчать, окаянные, суд идет!

Вошел суд: впереди судья, тучный и высокий помещик из Рациборовиц, за ним два заседателя и секретарь, который сел за боковой столик у окна и, раскладывая бумаги, все поглядывал на судей. А судьи подошли к столу, застланному красным сукном, и стали надевать на толстые шеи золотые цепи.

В зале стало так тихо, что слышен был говор людей на улице.

Помещик разложил на столе бумаги, откашлялся, посмотрел на секретаря и густым, внятным басом объявил заседание суда открытым.

Затем секретарь огласил список дел, назначенных на сегодня, и что-то шепнул первому заседателю, а тот передал это судье, и судья утвердительно кивнул головой.

Суд начался.

Первым разбиралось дело по жалобе урядника на какого-то мещанина, у которого были непорядки во дворе. Мещанина осудили заочно.

Следующим было дело об избиении мальчика, пустившего лошадей в чужой клевер.

Стороны помирились: мать избитого мальчика получила пять рублей, а мальчик — новые штаны и куртку.

Далее слушалось дело о запашке чужого поля. Его отложили за отсутствием улик.

Потом — дело о порубке в роще, принадлежавшей судье. Истцом был его управляющий, обвинялись крестьяне из Рокицин. Они были приговорены к штрафу или тюремному заключению на две недели.

Крестьяне приговором остались недовольны, объявили, что подадут апелляционную жалобу.

Они так громко начали роптать на несправедливый приговор (лес, по их словам, был общий, сервитутный),<sup>[7]</sup> что судья мигнул Яцеку, и тот гаркнул:

— Тише, тише, тут вам не корчма, а суд!

Так разбирали дело за делом, как плуг поднимает пласт за пластом, и все шло гладко и довольно спокойно, только иногда раздавались жалобы или всхлипывания, а то и проклятия, но Яцек немедленно наводил порядок.

Часть публики ушла, но на ее место прибыло столько новых, что люди стояли, как связанные в сноп, и никто шевельнуться не мог. В комнате стало так жарко, что нечем было дышать, и судья велел Яцеку открыть окна.

Секретарь объявил, что слушается дело по обвинению Бартека Козла из Липец в краже свиньи у Марцианны Антоновны Пачесь. Свидетели: сама Марцианна, ее сын Шимон, Барбара Песек и другие.

— Свидетели здесь?

— Здесь, — отвечали они хором.

Борына, до тех пор одиноко и терпеливо ожидавший у решетки, подошел ближе, чтобы поздороваться с Марцианной Пачесь, — это и была Доминикова, мать Ягны.

— Обвиняемый Бартек Козел, подойдите ближе! Сюда, за решетку.

Невысокий мужик пробрался через толпу, бесцеремонно расталкивая людей, и его со всех сторон начали ругать за то, что он наступает на ноги и рвет людям одежду.

— Тише, окаянные, светлейший суд говорит! — прокричал Яцек, впуская Козла за решетку.

— Вы Бартоломей Козел?

Мужик озабоченно почесывал густые, ровно подстриженные волосы. Глуповатая улыбка кривила его худое бритое лицо, а хитрые глазки прыгали по судьям, как белки.

— Вы Бартоломей Козел? — вторично спросил судья, так как мужик молчал.

— Он, он и есть Бартоломей Козел, ваша милость! — прощала женщина огромного роста, врываясь за решетку.

— А вам чего?

— Ваша милость, да ведь я жена горемыки этого, Бартека Козла.

Она низко кланялась, касаясь рукой земли и задевая при этом судейский стол оборками своего чепца.

— Бы — свидетельница?

— Какая там свидетельница! Нет, я только милости прошу.

— Сторож, выставь ее за решетку.

— Выходи, баба, тебе тут не место! — Яцек схватил ее за плечи и толкал к выходу. А она кричала:

— Прошу милости, пресветлейший суд, — ведь мой-то туговат на ухо, так я...

— Выходи, пока честью просят!

Но она не хотела и шагу сделать сама, и Яцек толкнул ее к решетке так сильно, что она ахнула.

— Идите, идите, мы будем говорить погромче, так что он, хоть и Козел, а услышит.

Наконец, приступили к допросу.

— Как вас звать?

— А? Как зовут? Уж коли вызвали меня, так знаете небось?

— Дурень! Отвечай, как звать? — неумолимо допрашивал судья.

— Бартек Козел, ваша милость, — ответила за него жена.

— Лет сколько?

— Э... лет? Да разве я помню? Мать, много ли мне годов-то?

— Да, кажись, пятьдесят два будет весной.

— Имеете хозяйство?

— Э! Три морга песку да коровий хвост. Хорош хозяин!

— Под судом был?

— Чего? Под судом?

— В заключении находился?

— Это в остроге, что ли? Мать, сидел я когда в остроге, а?

— Сидел, Бартек, сидел, — это когда на тебя те гады из усадьбы взъелись за дохлого ягненка...

— Ага, так, так... Нашел я на выгоне дохлого ягненка... ну, и взял его — все равно собаки бы растащили... А на меня жалобу подали, присягнули, будто я украл... Суд и присудил... посадили меня. Ну, я и сидел, хотя несправедливо это... — говорил Козел тихо и все украдкой поглядывал на жену.

— Вы обвиняетесь в краже свиньи у Марцианны Пачесь. Вы загнали ее с поля к себе домой, закололи и съели. Что можете сказать в свое оправдание?

— Э... съел! Чтобы мне царствия небесного не видать, если я ее съел! Слыханное ли дело — съел! Силы небесные — это я-то съел! — жалобно причитал Козел.

— Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Оправдание? Что мне надо было говорить, мать? Ага, вспомнил: я не виноват, свиньи не

ел, а Марцианна Доминикова, к примеру сказать, брешет, как собака, набить бы ей паскудную морду да...

— Ой, люди, люди! — простонала Доминикова.

— Этим вы уж потом займетесь, а сейчас скажите, как попала к вам свинья Марцианны Пачесь?

— Свинья Пачесевой? Ко мне?.. Мать, о чем это вельможный пан толкует?

— А это, Бартек, о том поросенке, что прибежал за тобой в избу.

— Ага, теперь понял, понял — так ведь это поросенок был, а вовсе не свинья! Прошу милости вашей, пан судья, пусть все слышат, что я сказал и повторяю: поросенок, а не свинья! Белый поросенок, а около хвоста или малость пониже — черное пятно!

— Хорошо, но как он к вам попал?

— Ко мне-то?.. А вот сейчас все в точности объясню, и вельможный судья и весь народ, что тут собрался, увидят, что я не виноват, а Доминикова врет, как цыган, рада оговорить человека, окаянная!

— Это я-то вру! Дай же, Матерь Божья, чтоб тебя за такие слова громом разразило! — сказала Доминикова тихо и, тяжело вздохнув, посмотрела на висевшую в углу икону. Но затем, не выдержав, погрозила Козлу костлявым кулаком и прошипела:

— Ах ты вор поганый, разбойник! — Она растопырила пальцы, словно вцепиться в него хотела. Но тут жена Бартека налетела на нее с криком:

— Так ты драться?.. Драться вздумала, сука этакая, ведьма чертова, родных сыновей мучительница!

— Тише! — крикнул судья.

— Цыц, заткните глотки, когда суд говорит, не то вышвырну обеих! — поддержал его Яцек, хватаясь за штаны, так как у него лопнула подтяжка.

Сразу стало тихо, и женщины, которые уже чуть было не подрались, замолчали и только мерили друг друга яростными взглядами да вздыхали от затаенной злости.

— Ну, говорите, Бартоломей, расскажите всю правду.

— Правду? Скажу самую чистую, как стеклышко, правду, все скажу, как на исповеди, как честный хозяин хозяевам, как свой своим! Потому что я хозяин спокон веку на своей земле, а не батрак, не мастеровой, не какой-нибудь городской мошенник. Вот слушайте, как дело было...

— Ты в башке хорошенько поройся, как бы чего не забыть, — внушала ему жена.

— Не забуду, Магдуся, нет! Вот слушайте... Иду я себе... а было это весною, как сейчас помню... за Волчьим Долгом. Иду это я мимо Борунова клевера и молитву читаю, потому что в костеле уже звонили к вечерне, время было позднее. И слышу я — что такое? Голос — не голос? "Господи помилуй, думаю себе, что-то словно бы хрюкает! Чудится мне или не чудится?" Оглянулся — ничего не видно, тихо. Дьявольское наваждение, что ли? Иду дальше, и уж со страху у меня мороз по коже подирает, читаю молитвы. Вдруг хрюкает опять! "Эге, думаю, не иначе, как свинья это либо поросенок". Свернул маленько в сторону, в клевер, оглянулся — что-то бежит за мной. Я остановился — остановилось и оно. Белое что-то,

низенькое и длинное, а глаза светятся, как у дикой кошки, а то и у самого черта. Перекрестился я и пошел быстрым шагом, потому что страх меня одолел: кто ж его знает, что по ночам в поле бродит? У нас в Липцах все знают, что за Волчьим Долом нечисто...

— Верно! Вот недавно Сикора проходил там ночью, так его что-то хватить за горло и наземь бросило, да так, что мужик хворал две недели, — пояснила жена Козла.

— Помолчи, Магдуся, помолчи! Иду это я, значит, — а оно плетется за мною следом и хрюкает!.. Тут как раз месяц взошел, гляжу — а это обыкновенный поросенок. Рассердился я на него. Что же это, говорю, пугать меня вздумал, дурачина? Швырнул в него палкой и иду себе домой. А шел я межой, между Михаловой свеклой и Бороиновой пшеницей, а потом между яровыми Токека и овсом того Ясека, которого нынешним летом в солдаты забрали, а баба его вчера родила... Поросенок за мной бежит, как собака. Залез по дороге в картошку Доминиковой и хрюкает, и визжит, а от меня не отстает.

Свернул я на тропинку через поле — он за мной. Меня даже в жар бросило. Господи, а может, это и не свинья вовсе! Пошел я по той дороге, где крест стоит, а поросенок все бежит за мной... Вижу, что он белый, а у хвоста или чуть пониже черные пятна. Я через овражек, он за мной. Я — на те могилки, что за крестом, он за мной. Я — в бруснику, а он как кинется мне под ноги, так я и растянулся на земле. Бешеный, что ли? Только я поднялся, а он, задрвав хвостик, поскакал вперед! Ну и беги, думаю, окаянный! А он все бежит передо мной — и так до самой избы. Во двор вошел, потом и в сени, а дверь в избу настежь была, так он и в избу влез... Вот как перед Богом!

— А потом вы эту свинью зарезали и съели, так? — спросил судья смеясь.

— Зарезали и съели? А что же нам было делать? Прошел день — свинья не уходит. Прошла неделя — она все тут, и не прогонишь, визжит и назад приходит. Моя баба ей подкладывала, что могла, — не морить же голодом живую тварь? Вельможный судья — человек ученый, он рассудит справедливо: что мне, бедному сироте, было с ней делать? Никто за нею не приходил, в доме нужда, а она жрет за двоих. Еще бы месяц подождали, так эта свинья и нас бы сожрала с потрохами. Мы и рассудили — чем она нас, так лучше мы ее съедим! И съели-то не всю, потому что в деревне узнали, и Доминикова в суд подала, пришла с солтысом[8] и все отобрала.

— Все? А целый окорок где? — злобно прошипела Доминикова.

— Где? Спросите у Кручека и других собак! Мы мясо вынесли на ночь в амбар, а собаки учуяли. Ворота у нас дырявые, вот они, проклятые, и вытащили его и справили пир. Ходили потом обожравшись, как помещики.

— Как же! Свинья за ним сама пошла! Дурак тебе поверит, а не суд! Грабитель чертов! А барана у мельника, а гусей у ксендза кто украл, а?

— Ты видела? Видела? — завизжала жена Бартека, подскочив к ней.

— А картошку у органиста из ямы кто таскал? Дня не проходит, чтобы у нас в деревне что-нибудь не пропало — то гусь, то куры, то утварь какая-нибудь, — продолжала неумолимо Доминикова.

— Ах ты гадюка! Тебе никто не поминает про те грехи, что за тобой смолоду водились, да про то, что твоя Ягна теперь с парнями проделывает, а ты на других лаешь, как собака.

— Ягны ты трогать не смей, не то я тебе харю так разукрашу, что... Ее не тронь! — громко крикнула Доминикова, видимо задетая за живое.

— Тише вы, сейчас за дверь выброшу! — умирал их Яцек, подтягивая штаны.

Начался допрос свидетелей.

Первой давала показания потерпевшая. Говорила она тихо, елеиным тоном, ежеминутно призывала Ченстоховскую Божью Матерь в свидетели, что свинья принадлежала ей, Доминиковой. Она крестилась, била себя в грудь, клялась, что свинью Козел украл с выгона, но не настаивала, чтобы светлейший суд его за это наказал — пусть ему на том свете Иисус адских мук не пожалеет! Одного она требовала громогласно: суда и кары для Козла за то, что он позорил ее и дочь при всем честном народе.

После нее давал показания ее сын, Шимек. Держа шапку в руках, сложенных как для молитвы, он не сводил глаз с судьи и робким голосом, запинаясь на каждом слове, объяснял, что свинья принадлежала его матери, что она была вся белая, с черными пятнами у хвоста, а одно ухо рваное, потому что ее весною цапнул Борунов Лапа, и она тогда так визжала, что он, Шимек, из амбара услышал...

Затем вызвали Барбару Песек и остальных. Все они по очереди присягали и давали показания, а Шимек по-прежнему стоял с шапкой в руках и с благоговением смотрел на судью. Жена Бартека все время рвалась за решетку и выкрикивала всякие возражения и ругательства. Доминикова только вздыхала, (глядя на образ, и исподтишка следила за Козлом, а тот, Прислушиваясь, смотрел то на одного, то на другого свидетеля и часто оглядывался на свою Магдусю.

Публика тоже слушала внимательно, и по залу то и дело пробежал шепот, смех, хлесткие замечания, так что Яцеку приходилось неоднократно угрозами водворять тишину.

Разбор дела тянулся долго, но, наконец, объявили перерыв, и суд ушел совещаться в соседнюю комнату, а народ повалил в коридор и на улицу, кто — отдохнуть и подкрепиться, кто — сговориться со своими свидетелями.

Как это всегда бывает на судах, люди рассказывали друг другу о своих делах, роптали на несправедливость, ругались.

После перерыва были прочитаны приговоры, и дошла очередь до дела Боруны.

Ева выступила вперед и, качая ребенка, укутанного в запаску,[9] начала плаксиво излагать все свои обиды и претензии — как она служила у Боруны и работала до упаду, а никогда — доброго слова не слышала и не имела угла для ночлега. Есть ей давали не досыта, и приходилось у соседей подкармливаться, а потом хозяин заработанных денег ей не отдал и с ребенком, от него же прижитым, выгнал на все четыре стороны!

Рассказав все это, Ева заплакала в голос и упала на колени перед судьями с воплем:

— Обидел он меня, обидел! А ребенок — его, вельможные судьи!

— Врет она, как собака! — злобно буркнул Боруна.

— Это я-то вру? Да все в Липцах знают, что я...

— Знают, что ты дрянь и потаскуха.

— Вельможные судьи, а прежде он меня называл "Евка", "Евуся" и еще ласковее! И бусы мне подарил, и булки часто из города привозил. Скажет, бывало: "На тебе, Евуся, на, ты мне всех милей..." А теперь... о Господи Иисусе! — Она опять заревела.

— И как врет, чертова кукла! Может, я еще тебя периной укрывал да приговаривал: "Спи,

Евуся, спи!"

Комната загудела от хохота.

— А то нет? Мало вы скулили, как пес, у меня под дверью, мало мне обещали, а?

— Господи помилуй! Люди! И как это гром не разразит такое чучело? — воскликнул удивленный Борына.

— Вельможные судьи, вся деревня знает, как дело было, все в Липцах могут подтвердить, что я правду говорю. Пока я у них служила, он мне проходу не давал. Ох, бедная я, сирота горемычная! Ох, несчастная моя доля!.. Как же я могла оборониться от такого мужика? Хотела кричать, а он меня побил и сделал со мной, что хотел... И куда же я теперь пойду с ребенком, куда денусь? Вот свидетели скажут и подтвердят! — выкрикивала она сквозь рыдания.

Но оказалось, что свидетели ничего не знают, кроме сплетен и догадок. Ева опять начала убеждать судей и в конце концов в качестве последнего доказательства положила на стол перед судьями ребенка, предварительно распеленав его. Ребенок дрыгал голыми ножками и орал благим матом.

— Сами поглядите, вельможные судьи, чей он: и нос такой же — картошкой, и глаза его — карие. Как две капли воды Борына!

Тут уже и судьи не могли удержаться от смеха, а публика просто выла от удовольствия. Приглядывались то к ребенку, то к Борыне, делали вслух замечания:

— Вот так девушка — чисто кошка драная!

— Борына вдовец, отчего бы ему не жениться на ней, а мальчонка пригодится в пастухи.

— Линяет она, как корова по весне!

— Красавица писаная! Только соломой набить да в просо посадить — всех ворон распугает.

— И так уж собаки убегают, когда Евуся по деревне идет!

— А рожа-то, как помоями вымазана!

— Оттого что она девушка бережливая: умывается только раз в год, чтобы на мыло не тратиться...

— Да и некогда ей умываться — у евреев печи топят.

Шутки сыпались все более злые и безжалостные, и Ева замолчала. Бессмысленным взглядом загнанного животного смотрела она на окружавших ее людей и что-то обдумывала.

— Тише! Грех смеяться над чужой бедой! — крикнула Доминикова с такой силой, что насмешки разом умолкли и некоторые стали смущенно чесать затылки.

Дело кончилось ничем.

Борына почувствовал безмерное облегчение. Хоть он и не был виноват, а все же боялся людских толков. Да и суд мог присудить, чтобы он платил Евке, потому что таков уж закон: никогда не знаешь, кого он по голове стукнет, виноватого или невиновного. Ведь бывало так не раз, не два и не десять раз...

Он тотчас вышел на улицу и, поджидая Доминикову, мысленно припоминал все подробности

этого дела. Он не мог понять, почему Ева вздумала подать на него жалобу.

— Нет, это, она не своим умишком придумала, это кто-то другой через нее в меня метил! Но кто же?

Они с Доминиковой и Шимеком пошли в трактир поесть, так как было уже далеко за полдень. В разговоре Доминикова осторожно намекала ему, что неприятность с Евкой, вероятно, дело рук его зятя, кузнеца, но Борына никак не мог этому поверить:

— А какая ему от этого польза?

— Хотел вас в расходы ввести и выставить на посмешище. Есть такие люди, что, потехи ради, с другого шкуру сдерут.

— И чего это Евка на меня взъелась, не пойму. Ничем я ее не обидел и еще за крестины ее щенка отдал ксендзу мешок овса.

— Она служит теперь у мельника, а мельник с кузнецом одна компания. Вот и смекайте!

— Нет, я тут ничего не пойму! Выпьем еще!

— Спасибо, пейте вы, Мацей!

Выпили по одной, потом по второй, съели еще фунт колбасы и полбуханки хлеба. Мацей купил связку бубликов для Юзи, и они стали собираться в обратный путь.

— Садитесь ко мне, Доминикова, покалякаем. Одному скучно.

— Ладно. Я только сбегаю в костел помолиться. Она ушла, но скоро вернулась, и они выехали. Шимек тащился за ними шагом, так как пески на дороге были глубокие, а в возок Доминиковой была впряжена только одна лошадь. Да и развезло парня немного, он не привык пить и был еще ошеломлен впечатлениями суда. Он всю дорогу клевал носом, а по временам, очнувшись, срывал с головы шапку, набожно крестился и, рассеянно уставившись на хвост своей клячи, как будто это было лицо судьи, бормотал: "Свинья наша, вся белая, а у хвоста черное пятно".

Солнце уже стояло высоко, когда они отъехали в лес. Борына и Доминикова разговаривали мало, хотя и сидели рядом на переднем сидении.

Неучтиво было бы все время молчать, словно какие-нибудь нелюдимы, и поэтому они порой перекидывались словом-другим — только чтобы не заснуть и чтобы в горле не пересохло.

Борына погонял свою кобылу — она начала убавлять шаг и от жары и усталости была вся потная, — иногда насвистывал и снова умолкал, что-то про себя обдумывая, взвешивая и часто исподтишка поглядывая на старуху, на ее сухое, словно из воска вылитое лицо с застывшими морщинами. Она все время шевелила беззубым ртом, как будто молилась про себя. Иногда надвигала на лоб красный платок, потому что солнце било ей прямо в лицо, и сидела неподвижно, только темные глаза ее горели.

— Что, картошку выкопали уже? — спросил, наконец, Борына.

— Выкопали. Хорошо уродилась в нынешнем году.

— Будет чем откармливать приплод.

— Я и то уже откармливаю кабанчика, — на масленицу может понадобится.

— Правда, правда... Говорят, Валек Рафалов к вам сватов с водкой засылал?

— Не он один. Да зря только деньги тратят. Моя Ягуся не для таких, нет!

Она подняла голову и своими ястребиными глазами впилась в лицо Борыны, но Борына помнил, что он человек почтенный и в летах, не ветрогон какой-нибудь, и лицо его оставалось холодно-спокойным и непроницаемым. Оба молчали долго, как бы испытывая друг друга.

Борыне никак нельзя было начать первому: как же, разве может он, человек немолодой и первый богач в Липцах, так вот прямо взять да и сказать, что Ягуся ему приглянулась? Есть у него и гордость и смекалка!

Но по натуре он был человек горячий, и его злило, что приходится проявлять такую выдержку, действовать окольными путями и заискивать перед кем-то.

Доминикова же догадывалась, что его так волнует и сердит, но ни единым словечком ему не помогла. Она посматривала то на него, то в голубую даль. Наконец, сказала как бы нехотя:

— А жарища-то какая — точно в страду.

— И не говорите!

Было и в самом деле жарко — по обеим сторонам дороги сплошной мощной стеной тянулся бор, и ни малейшее дуновение ветерка не доходило сюда с полей, а солнце стояло в зените и так пекло, что разогретые деревья замерли, в изнеможении склоняя над дорогой неподвижные ветви и только время от времени роняя янтарные иглы, которые, кружась, падали на дорогу. Грибной прелый запах подсыхающих болот и дубовых листьев щекотал ноздри.

— А знаете, Мацей, дивлюсь я, да и другие тоже, что такой хозяин, как вы, у которого и голова на плечах, и земли столько, и от людей почет, не имеете охоты должность какую-нибудь занять.

— Правильно вы говорите — охоты не имею. На что это мне! Был я три года солтысом — а что толку? Сколько своих денег приплатил, и сам намаялся, и лошадок заморил! Сколько нахлопотался да набегался — хуже всякого пса! Да и в своем хозяйстве беспорядки пошли, разорение такое, что моя старуха постоянно со мной ругалась, доброго слова я от нее не слышал.

— Конечно, и она права была. А все же войтом или солтысом быть — и почетно и доходно.

— Спасибо! Перед урядником спину гни, писарю и всякому голышу из управы кланяйся... Велика честь! Мужики податей не заплатят, мост завалится, взбесится собака, кого-нибудь хватят колом по башке — кто виноват! Солтыс! С него штрафы тянут! Доходно, говорите? Немало я и писарю и в волость носил кур, яиц, гусей.

— А вот Петру войтом быть не в тягость, нет! Уж он и земли себе прикупил, и амбар новый поставил, и лошади у него — орлы!

— Так-то оно так, да неизвестно, что у него от всего того останется, когда его сменят.

— Вы так думаете!

— У меня глаза есть, и кое-что я смекаю.

— А Петр ничего не боится. Здорово заважничал, даже с его преподобием воюет.

— Везет ему оттого, что у него баба такая: он в войтах ходит, а она все хозяйство в кулаке держит.

Снова помолчали.

— А вы что же, свататься ни к кому не думаете? — осторожно спросила Доминикова после паузы.

— Ну... меня уж к бабам не тянет, — стар.

— Напрасно вы так говорите! Стар тот, кто уже и ходить не может, ложки сам ко рту не донесет и с печи не слезает. Видела я, как вы мешок ржи несли!

— Мужик я еще крепкий, это верно. Да кто за меня пойдет?

— Да ведь вы не пробовали. Посватайтесь — тогда узнаете.

— Стар я, дети большие... И не всякую возьму!

— А вы землю ей запишите, так самая лучшая за вас пойдет.

— Ради земли! Экое свинство! Ради нескольких моргов самая честная пойдет хотя бы за деда, что под костелом сидит!

— А мужики разве за приданым не гонятся, а?

Борына ничего не ответил, только хлестнул лошадь так, что она поскакала галопом.

После этого они долго молчали.

И только когда уже выехали из лесу на дорогу под тополями, Борыну, который все время тайно злился и волновался, вдруг прорвало:

— И что это делается на свете, черт бы побрал такие порядки! За все плати, даже за доброе слово! Уж так плохо, что хуже быть не может. До того дошло, что и дети против родителей идут, послушания от них не жди. И все между собой грызутся, как собаки.

— Потому что глупы: забыли, что всех одинаково мать-земля покроет.

— Еще парня от земли не видать, а уж он с отцом ругается, пристаёт — подавай, мол, мою часть! Только и знают над стариками издеваться! В деревне им, подлецам, тесно, старые порядки им не по нутру, иной и одеться по-набожному стыдится.

— А все оттого, что Бога не боятся.

— Оттого или не оттого, а никуда это не годится.

— И лучше не будет, нет!

— Куда там! Кто с ними справится?

— Наказание божие! Но придет час суда!

— А до тех пор сколько народу пропадет!

— Да... Времена такие, что лучше бы Бог наслал мор на всех.

— Времена! А люди-то что же, по-вашему, не виноваты? А войт? С ксендзом ссорится, людей бунтует и морочит, а дураки ему верят... А кузнец? Наказал меня Бог зятьком!..

Так они жаловались друг другу и ругали все на свете, вглядываясь в деревню, которая была уже близко и все яснее выступала за тополями.

За кладбищем сквозь легкий туман пыли краснели ряды склоненных над землей — женщин, и скоро ветер донес глухой, монотонный стук трепал.

— Хорошо в такую погоду лен трепать! Я около них сойду, — должно быть, и моя Ягуся тут.

— Я вас подвезу. Сверну маленько с дороги, не беда.

— Вот не знала я, какой вы добрый, Мацей! — заметила Доминикова с хитрой усмешкой.

Он свернул с большой дороги на проселок, который вел к кладбищенским воротам, и довез свою спутницу туда, где под серой каменной оградой, в тени берез, кленов и клонившихся из-за ограды могильных крестов, десятка два баб усердно трепали сухой лен. Над ними стояло облако пыли, и длинные волокна льна цеплялись за желтые листья берез, висли на черных перекладах крестов. Неподалеку, на шестах, протянутых над ямами, в которых горели костры, сушился еще сыроватый лен.

Звонко стучали мялки, и женщины непрерывно сгибались короткими и быстрыми движениями. Только время от времени какая-нибудь из них выпрямлялась и, вытрепав пучок льна, свертывала его клубком или трубочкой и бросала на разостланный около себя холст.

Солнце уже было по другую сторону леса и светило женщинам прямо в глаза, а им хоть бы что — работа, смех, веселая болтовня не прекращались ни на минуту!

— Бог на помощь! — крикнул Борына Ягне, работавшей первой с краю. Она была в рубашке и красной шерстяной юбке, голова повязана платком — от пыли.

— Спасибо! — откликнулась она весело, поднимая на него огромные синие глаза, и улыбка осветила красивое загорелое лицо.

— Что, дочка, сухой? — спросила старуха, щупая обмятый лен.

— Сухой, как перец, даже ломается, — Ягна опять глянула на Борыну с такой улыбкой, что его в дрожь бросило, и он, взмахнув кнутом, поскорее отъехал. Но дорогой он все время оглядывался, даже тогда, когда Ягны уже не было видно: она, как живая, стояла у него перед глазами.

"Девушка как лань! — думал он. — Таковую бы мне в самый раз!"

#### IV

Было воскресенье, тихий солнечный сентябрьский день, повитый осенней паутиной.

На стерне, сразу за гумном, сегодня пасся весь скот Борыны, а под высоким, пышным стогом, окруженным зеленой щеткой ржи, лежал Куба, присматривал за скотом и учил Витека молитвам. Он часто покрикивал на него, а то и тыкал кнутом, так как мальчик все сбивался и поглядывал на сады.

— Ты запоминай, что я говорю, — ведь это молитва! — внушал ему Куба серьезно.

— Да я слушаю, Куба, слушаю.

— Так чего же ты на сады глаза пялишь?

— У Клембов, кажись, еще яблоки есть...

— Так тебе их захотелось? А ты их сажал, а? Повтори еще раз "Верую!"

— Ты тоже куропаток не выводил, а взял целую стаю.

— Дурак! Яблоки — Клембовы, а птички — божьи. Понятно?

— Да взял-то ты их с панского поля.

— И поле не панское, а божье. Смотри, какой умник выискался! Повтори-ка лучше "Верую".

Витек повторял молитву торопливо, потому что у него уже ныли ноги от долгого стояния на коленях. Но до конца не утерпел:

— Ой, кобыла, кажись, в Михалов клевер забралась! — крикнул он, готовясь вскочить и побежать.

— Не твоя забота. Читай молитву!

Витек, наконец, дочитал, но уже больше не мог выдержать — приседал на корточки, вертелся во все стороны. Заметив на сливе стаю воробьев, швырнул в них комком земли и опять качал поспешно молиться, ударяя себя в грудь.

— А "Богородицу" проглотил, как грушу?

Витек прочел и "Богородицу" и с глубоким облегчением растормошил спавшего Лапу и начал с ним играть.

— Все бы тебе скакать, как глупому теленку!

— А куропаток отнесешь его преподобию?

— Отнесу.

— Изжарили бы мы их лучше в поле!

— Ишь чего захотел! Картошки себе напечешь.

— Смотри-ка, люди уже в костел идут! — воскликнул Витек, увидев сквозь плетень и деревья мелькавшие на дороге красные платки.

Солнце порядком пригревало, все окна и двери были растворены настежь. Кое-где люди еще умывались под навесами, девушки расчесывали волосы и заплетали косы. Где выколачивали праздничную одежду, смятую от лежания в сундуках, где люди уже выходили на дорогу. Как алые маки, как желтые георгины, доцветающие у стен, как золотые ноготки и настурции, шли разодетые женщины и девушки. Шли дети, молодые парни, мужики в белых кафтанах, похожие издали на большие снопы ржи. Все они не спеша направлялись к костелу по дороге вдоль озера, которое, словно золотая чаша, отражало в небе солнце и слепило глаза.

А колокола заливались, радостно напоминая, что сегодня воскресенье, день отдыха и молитвы.

Куба ждал, ждал, но не мог дожидаться, когда в костеле перестанут звонить. Он спрятал под кафтан куропаток и сказал:

— Витек, как отзвонят, загони скотину домой и приходи в костел.

Быстро, насколько позволяла хромота, пошел Куба по тропинке вдоль садов, так густо усыпанной желтыми листьями тополей, что он шагал словно по шафранному ковру.

Плебания[10] стояла через дорогу от костела, в глубине большого фруктового сада, полного зеленых еще груш и румяных яблок.

Перед крылечком, увитым красными лозами дикого винограда, Куба нерешительно остановился, робко заглядывая в открытые окна и в сени. Войти он не посмел и отошел к большому цветнику, полному астр, левкоев и роз, от которых шел сладкий, пьянящий аромат. Стая белых голубей то прохаживалась по зеленой замшелой крыше, то слетала на крыльцо.

Ксендз ходил по саду с треском в руке, тряс то одно дерево, то другое, и слышно было, как груши и яблоки тяжело падали на землю, а он собирал их в полу сутаны и относил в дом.

Куба вышел из-за куста и смиренно поклонился ему в ноги.

— Что скажете? А, это Борунов Куба!

— Я, ваше преподобие. Вот куропаток вам принес.

— Спасибо. Заходи.

Куба вошел в прихожую и остановился у порога — в комнаты он войти не смел и только заглядывал в открытую дверь. Перекрестился на висевшие по стенам картины и вздохнул. Он был так ослеплен роскошью и красотой этого дома, что у него даже слезы выступили на глазах и очень хотелось помолиться, но он не решился стать на колени на блестящем и скользком полу, чтобы не замарать его.

К тому же ксендз тотчас вышел в прихожую, дал ему злотый и сказал:

— Ну, спасибо, Куба, хороший ты человек и набожный — я знаю, ты каждое воскресенье ходишь в костел.

Куба опять поклонился ему в ноги. Радость так его ошеломила, что он и не помнил, как очутился на дороге.

— Ого, за шесть пташек столько денег! Благодетель наш! — бормотал он, разглядывая монету. Не раз носил он ксендзу то разную птицу, то зайца, то грибков, но никогда еще не получал так много. Самое большее, даст ксендз пятак, а то так и просто спасибо скажет. А нынче... Господи Иисусе! Целый злотый! И в комнаты его приглашал, и столько наговорил ласковых слов! У Кубы даже к горлу что-то подступило, и слезы сами собой полились из глаз, а в сердце почувствовал он такой жар, как будто ему кто углей насыпал за пазуху!

Один только ксендз всегда уважит человека, только он один! Добрый человек, дай бог ему здоровья! Вся деревня, и парни, и мужики, только обзывают его, Кубу, хромоногим, а частенько и лоботрясом, и дармоедом, и никто никогда доброго слова ему не скажет, пожалеют его разве только лошадки да собаки... А ведь он, Куба, хозяйский сын, не подкидыш, не бродяга какой, а честный христианин...

Он все выше поднимал голову, изо всех сил старался держаться прямо, и уже гордо, чуть не с вызовом смотрел вокруг — на людей, шедших на погост, на лошадей, стоявших у ограды подле телег. Он надел шапку на взлохмаченную голову и медленно, с достоинством, словно какой-нибудь почтенный хозяин, зашагал к хостелу, засунув руки за пояс и так загребая хромой ногой, что поднимал за собой тучу пыли.

Сегодня он не остался на паперти, как полагалось простому батраку, а изо всех сил проталкивался сквозь толпу прямо к главному алтарю, туда, где стоят только богачи, где стоял Боруна и сам войт. Да, там было место тех, кто носит над ксендзом балдахин, кто во время вознесения чаши стоит со свечами по обеим сторонам алтаря, словно стража с дубинами.

Все смотрели на Кубу с удивлением и ужасом, и не раз он слышал грубое слово, замечал такой взгляд, каким смотрят на собаку, которая лезет, куда ее не звали. Но сегодня это его не трогало. Он сжимал в руке свой злотый, и на душе у него было так светло, как не всегда бывало после исповеди.

Началась обедня.

Он стал на колени у самой решетки и пел вместе с другими, благоговейно глядя на алтарь, где наверху изображен был Бог-Отец, седой и грозный — точь-в-точь пан из Джазговой Воли, а посередине сама Ченстоховская Божья Мать в золотых ризах смотрела прямо на него, Кубу. Везде сверкала позолота, горели свечи, стояли букеты красных бумажных цветов. А со стен и разноцветных окон глядели строгие лики святых в золотых нимбах, и пурпурные, фиолетовые, золотые лучи радугой били в глаза Кубе, — совсем как тогда, когда купаешься в озере перед закатом и солнце пылает в воде. Среди всех этих красот Кубе казалось, что он в раю, он не смел шелохнуться и все стоял на коленях, не сводя глаз с темного, матерински доброго лика Богоматери, и запекшимися губами твердил одну молитву за другой или пел так усердно, от всей своей верующей души, полной восторга, что его хрипловатый, скрипучий голос был слышнее всех.

— Что ты, Куба, горло дерешь, как голодная коза? — шепнул кто-то сбоку.

— Для Иисуса и Пресвятой Девы!.. — буркнул Куба и замолчал, так как в костеле наступила тишина... Ксендз в белом стихаре взошел на амвон, и все, подняв головы, смотрели на него, а он начал читать евангелие. Потом он говорил долго и так внушительно, что не один из слушателей вздыхал с сокрушенным сердцем, не один утирал слезы, а иные, не смея поднять глаз, каялись в душе и давали себе слово исправиться. Куба смотрел на ксендза, как на святого, ему даже не верилось, что это тот самый добрый старик, который с ним сегодня говорил и дал ему злотый. Сейчас он походил на архангела на огненной колеснице, глаза его на бледном лице метали молнии, когда он, возвысив голос, начал обличать людей во всяких грехах — скупости, пьянстве, распутстве, плутовстве, непочитании старших и безбожии. Он молил и заклинал их опомниться, так что и Куба не выдержал и, почувствовав себя виновным во всех этих грехах, заплакал навзрыд от раскаяния и горя, а за ним и весь народ — бабы и даже старые почтенные мужики. Во всем костеле поднялся плач, всхлипывания, сморканье. Ксендз повернулся к алтарю и стал на колени, читая молитву покаяния. Стон пронесся по костелу, и весь народ, как лес, что гнется под налетевшей бурей, пал ниц. С пола облаком взвилась пыль, заслоняя людей, которые со слезами и вздохами громко зывали к милосердию божию. Потом наступила тишина — началась поздняя обедня. Глухо рокотал орган, плыл над склоненными головами проникновенный голос ксендза, и у Кубы душа замирала от невыразимого восторга. Яркий свет, ароматный дым ладана, звуки органа, горячее дыхание, шепот и вздохи молящихся — все это погружало его в какое-то сладостное забытие.

— Иисусе! Иисусе возлюбленный! — шептал он, как во сне, и крепко сжимал в руке свою монету. Когда же Амброжий начал обходить всех с подносом и позвякивать деньгами, чтобы люди слышали, что он собирает на свечи, Куба встал, со звоном бросил монету на поднос и долго, по примеру богачей, выбирал себе сдачу — тринадцать копеек.

— Спасибо, — услышал он, и ему стало еще радостнее.

А когда разносили свечи, Куба уже смело протянул руку, и хотя ему ужасно хотелось взять целую, он взял самую маленькую, почти огарок, потому что в это мгновение встретил суровый и осуждающий взгляд Доминиковой, которая стояла неподалеку вместе с Ягусей. Он торопливо зажег свою свечку, увидев, что ксендз уже поднял дароносицу и повернулся к народу. Все пали ниц. Ксендз медленно сошел по ступеням алтаря и прошел по образовавшемуся проходу между поющими людьми со свечами, а за ним двинулась

процессия. Громко загудел орган, зазвенели ритмично колокольчики, все запели хором. Впереди толпы сверкал серебряный крест, колыхались носилки со статуями святых и иконами, убранными тюлем и цветами, а у выхода из костела уже развернулись на ветру склоненные хоругви, словно крылья пурпурных и зеленых птиц, и сквозь дым каминов засияло навстречу солнцу.

Процессия обходила кругом костел.

Куба заслонял ладонью свою свечку и упорно держался около ксендза, над которым Борына, кузнец, войт и Томек Клемб несли алый балдахин. Там сверкала золотая чаша, залитая солнцем, и сквозь стеклянное дно видны были белые облатки святого причастия.

Куба был в таком волнении, что то и дело спотыкался и наступал другим на ноги.

— Тише ты, ротозей!

— Чучело гороховое, хромой черт! — ругали его, а иной раз и награждали пинками.

Но Куба ничего не слышал. Хор гремел как единый мощный голос, плыл высокой волной и вздымался, казалось, до бледного солнца, колокола гудели во все свои медные глотки, так что дрожали липы и клены вокруг костела, и порой багряный лист, оторвавшись, падал вниз, как подбитая птица, а высоко-высоко над головами людей, над верхушками деревьев, над колокольней кружила стая вспугнутых голубей.

После обедни народ повалил на кладбище. Вышел с другими и Куба, но сегодня он не спешил домой, хотя и знал, что на обед будет мясо прирезанной коровы. Он на каждом шагу останавливался, заговаривал со знакомыми и пробирался поближе к своим хозяевам. Антек и его жена стояли в группе соседей и толковали о том о сем, как всегда в воскресенье после службы в костеле.

А в другой кучке, уже за воротами, на дороге, первенствовал кузнец, рослый мужчина, одетый совсем по-городскому — он был в черном сюртуке, закапанном на плечах воском, синем картузе, брюках навыпуск, серебряная цепочка висла по жилету. На красном его лице торчали рыжие усы, волосы у него были кудрявые. Он говорил громко, весело гоготал: кузнец был первый насмешник на всю деревню, из тех, кому не дай бог попасться на язык. Борына не спускал с него глаз и прислушивался к разговору: он побаивался кузнеца, зная, что тот родного отца не пощадит, а тем более тестя, с которым враждовал из-за жениного приданого. Но он не дослушал, так как заметил Доминикову и Ягну, только что вышедших из костела. Они шли медленно: народу на кладбище было очень много, и они по пути здоровались и разговаривали то с тем, то с другим. Здесь все были из одной деревни и не только знакомы, но давно покумились либо породнились, часто сживали рядом на меже или толковали через плетень, — а все-таки поболтать у костела и приятно и так уж принято. Доминикова тихо и умиленно что-то говорила о ксендзе, а Ягна глазела на толпу. Ростом она была вровень высокому мужику, а нарядилась сегодня так, что парни глаз от нее оторвать не могли. Они стояли толпой на дороге, у ворот кладбища, курили и ухмылялись, глядя на нее. Она и в самом деле была красавица и щеголиха, а осанкой и фигурой не всякая помещицья дочка могла с ней сравняться.

Девушки, да и замужние женщины, проходя мимо, смотрели на нее с завистью, а некоторые даже останавливались, чтобы полюбоваться на пышную полосатую юбку, яркими красками переливавшуюся на ней, на высокие черные башмаки, зашнурованные до самых белых чулок красными шнурками, зеленый бархатный корсаж, так густо расшитый золотом, что от него рябило в глазах, на янтари и кораллы, несколькими рядами обвивавшие полную белую шею. От бус на спине свешивался пучок разноцветных лент, и когда Ягна шла, они яркой радугой вились за ней.

Не замечая завистливых взглядов, она своими синими глазами словно искала кого-то в толпе. Встретив жадно устремленный на нее взгляд Антека, она залилась румянцем, дернула мать за рукав и, не дожидаясь ее, пошла вперед.

— Ягна, стой! — крикнула ей вслед Доминикова, здороваясь с Боруной.

Ягна остановилась, ее тотчас кольцом окружили парни, стали здороваться и подшучивать над Кубой, который шел за ней и глядел на нее, как на икону.

Куба только плюнул и побрел домой, Его хозяева уже ушли, а ему еще нужно было до обеда заглянуть в конюшню к лошадям.

Дома, сидя на крыльце, он вдруг воскликнул словно про себя:

— Ну просто картинка!

— Кто, Куба? — спросила Юзя, готовившая обед.

Куба опустил глаза — ему и стыдно стало, и боязно, как бы не узнали...

Но за летным и долгим обедом он скоро забыл про Ягну: было мясо и капуста с горохом, был картофельный суп, а под конец подали порядочную миску ячневой каши с салом.

Ели не спеша, чинно и молча и, только утолив первый голод, стали беседовать и смаковать еду.

Юзя сегодня была за хозяйку. Она только изредка присаживалась на край лавки, ела наспех и в то же время зорко следила, всем ли хватает, не надо ли принести из избы горшок и подбавить чего-нибудь, чтобы не говорили, что в миске дно видно.

Обедали на крыльце, день был теплый и тихий. Лапа вертелся у стола и скулил, терся о ногу хозяев, заглядывал в миски. Когда кто-нибудь бросал ему кость, он хватал и уносил ее к завалинке, но тотчас, словно радуясь присутствию хозяев и тому, что помечают его имя, заливался веселым лаем и начинал гонения за воробьями, которые облепили плетень, ожидая крошек.

А мимо дома часто проходили люди, здоровались с обедающими. Те хором отвечали.

— Что, ты опять отнес птиц ксендзу? — спросил Боруна у Кубы.

— Отнес, отнес! — Куба вдруг положил ложку и стал рассказывать, как ксендз позвал его в комнаты и как там у него красиво и сколько книг.

— И когда он все это читает! — сказала Юзя.

— Когда? А по вечерам. Ходит себе по комнатам, чай попивает и читает.

— Должно быть, божественное все, — вставил Куба.

— Да не буквари же!

— И газеты ему каждый день сторож приносит.

— Потому что в газетах пишут про все, что на свете делается, — отозвался Антек. — Кузнец и мельник тоже получают газету.

— Э! Какая там может быть у кузнеца газета! — иронически сказал Боруна.

— Такая самая, как у ксендза, — резко возразил Антек.

— А ты читал? Знаешь?

— Читал. И сколько раз!

— Да ничуть не поумнел оттого, что якшаешься с кузнецом.

— По-вашему, отец, только тот и умен, у кого земли моргов пятнадцать да коров с десяток.

— Заткни глотку, пока я не осерчал! Только и ждет, как бы с отцом поругаться! Видно, тебя от моего хлеба распирает.

— Костью поперек горла стоит он у меня, ваш хлеб!

— Так поищи себе лучшего — на Ганкиных трех моргах будешь булки есть.

— Буду жрать одну картошку, да зато никто меня попрекать не будет.

— Кто тебя попрекает?

— Кто же, как не вы? Работай, как вол, а доброго слова никогда не услышишь.

— У чужих людей легче — работать не надо, а все дадут!

— Конечно, лучше.

— Что ж, ступай к ним, попробуй!

— С пустыми руками не уйду!

— Палку дам тебе, чтобы было чем собак отгонять.

— Отец! — крикнул Антек и вскочил с лавки, но тотчас опять с размаху сел на место, потому что Ганка схватила его за пояс. Старик грозно посмотрел на него, перекрестился, кончив есть, и, уходя в избу, сказал твердо:

— В нахлебники к тебе не пойду, нет!

Сразу после обеда все разошлись, только Антек сидел на крыльце и о чем-то думал. Куба, пустив лошадей пастись в клевер за ригой, лег под стогом вздремнуть, но сон не приходил. Ему не давала покоя мысль, что, будь у него ружье, он мог бы настрелять много птиц, даже и зайцев, и каждое воскресенье носил бы его преподобию.

"Ружье мог бы сделать кузнец — вот он смастерил леснику такое, что, как пальнет в лесу, по всей деревне слышно!..

Механик, черт его дери! Но за такое ружье он рублей пять спросит! — размышлял Куба. — Откуда же их взять? Зима идет, тулуп надо покупать, сапоги тоже до святок не выдержат... Правда, за хозяином еще десять рублей и портки да рубаха... Тулуп можно купить рублей за пять... нет, короток будет... Сапоги — три рубля. Да и шапка пригодилась бы... Его преподобию надо рубль отнести на помин души родителей... Эх, черт — так ничего и не останется!.."

Он плюнул и стал выбирать из кармана последние крошки табаку. И вдруг нащупал деньги, о которых забыл во время обеда.

— А вот и есть денежки, есть! — Спать совсем расхотелось. Из корчмы долетали далекие

слабые звуки музыки и эхо чьих-то голосов.

— Пляшут, черти, водочку пьют, папиросы курят! — вздохнул Куба и опять лег ничком. Глядя на стреноженных лошадей, которые сбились в кучу и кусали друг друга, он думал о том, что надо и ему вечером сходить в корчму, купить себе табаку и хоть одним глазком поглядеть, как люди веселятся. Он то и дело вынимал из кармана свои деньги и любовался ими, поглядывал на солнце, но оно стояло еще высоко и сегодня что-то медленно двигалось к западу, словно тоже хотело немного отдохнуть в воскресенье. А Кубу так потянуло в корчму, что он беспокойно ворочался с боку на бок и даже кряхтел от нетерпения. Но сейчас идти нельзя было, потому что из-за риги вышли Антек и Ганка и пошли межою в поле.

Антек шел впереди, а за ним Ганка с мальчиком на руках. Они изредка обменивались словом-двумя и шли медленно. Антек несколько раз нагибался и трогал рукой стебельки всходов.

— Хороши! Густые, как щетка, — сказал он, оглядывая тот участок, который он засеивал для себя, обрабатывая за это отцу.

— Хороши, хороши, а у отца лучше — как лес, всходит! — заметила Ганка, глядя на соседние полосы.

— У него земля лучше унавожена.

— Были бы у нас три коровы, так и мы землю больше подкормили бы.

— Да... хорошо бы и лошадку свою...

— И приплод был бы на продажу. А так что? У отца каждая мелочь, каждая соломинка на счету, больно он всем дорожится!

— И всем нас попрекает!

Разговор оборвался. Горькая обида затопила им сердца гневом, тоской, глухим, болезненным возмущением.

— И всего-то моргов восемь нам досталось бы! — невольно вырвалось у Антека.

— Да, не больше. Ведь тут и Юзька, и Кузнецова жена, и Гжеля, и мы, — перечисляла Ганка.

— Кузнецу можно деньгами выплатить и оставить себе хату и пятнадцать моргов.

— А чем выплатишь? — Ганка даже застонала от острого чувства бессилия, и слезы потекли по ее щекам, когда она обвела глазами поля свекра: земля — чистое золото, тут и пшеницу, и рожь, и ячмень, и свеклу сеять можно! Такое богатство, и все оно чужое, чужое!..

— Не реви, дура, все же тут восемь моргов наших.

— Хоть бы половину только, да хату, да вон то поле, что под капустой, — указала она налево, в сторону лугов, где голубели длинные гряды капусты. Они свернули туда.

Сели на краю луга под кустами, и Ганка стала кормить заплакавшего ребенка, а Антек скрутил папиросу и закурил, хмуро глядя прямо перед собой.

Он не говорил с женой о том, что его грызло, что жгло ему сердце, как горячий уголь, — не умел сказать, да она и не поняла бы его.

Известное дело, баба, что она понимает? Живет себе, как та тень, что бежит за человеком... Хозяйство, дети да кумушки — вот для нее и весь свет! Все они таковы, — с горечью думал

Антек. На душе у него было тяжело. — Вот этой птице, что летает над лугом, — и той лучше, чем иному человеку. Какие у нее заботы! Летает себе да поет, а Господь засеивает для нее поля — только собирай и кормись!

— А денег у отца разве нет? — начала Ганка.

— Откуда же?

— Да он Юзьке такие кораллы привез, что корову можно бы на эти деньги купить. И Гжеле постоянно посылает через войта...

— Посылать-то он посылает, — отозвался Антек рассеянно, думая о другом.

— Так это же всем нам обидно! А одежду, что осталась от покойницы матери, в сундуке гноит и взглянуть на нее не дает... Там юбки-то какие, и платки, и чепцы, и бусы...

Ганка долго перечисляла все добро, хранившееся в сундуке, изливала свои обиды, горести и надежды, а Антек упорно молчал. Наконец, потеряв терпение, она ткнула его в плечо.

— Спишь, что ли?

— Нет, слушаю. Мели, мели — может, тебе от этого полегчает. А как кончишь — скажи...

Ганка расплакалась — она была слезлива, да и очень у нее накопело на душе. Стала корить мужа, что он говорит с нею, как с девкой какой-нибудь, что ему и дела нет до нее и детей. Допекла его так, что Антек вскочил и крикнул с злой насмешкой: — Поголоси, поголоси еще, авось вороны услышат и пожалеют тебя! — Он указал глазами на летавших над лугом ворон, нахлобучил шапку и, широко шагая, пошел обратно в деревню.

— Антек! Антек! — звала Ганка жалобно, но он не обернулся.

Ганка завернула малыша и, плача, пошла домой. Горько ей было: не с кем и поговорить, некому пожаловаться на долю свою. Живешь затворницей какой-то, даже к соседям нельзя сходить и душу отвести. Показал бы ей Антек соседей! Сиди всегда дома, да работай не покладая рук, да угождай всем, а никогда доброго слова не услышишь! Другие бабы ходят в корчму и на свадьбы... а ее Антек... да разве на него угодишь? Иногда бывает такой добрый да ласковый, хоть веревки из него вей, а потом опять по целым неделям слова от него не добьешься, и не взглянет — молчит и все о чем-то думает... Правда, есть о чем подумать! Разве не пора старику переписать на них землю и жить при детях на покое! Уж как бы она ему угождала — больше, чем отцу родному!

Она хотела подсесть к Кубе, но тот притворился спящим, хотя солнце светило ему прямо в глаза. Только когда Ганка зашла за амбар, он встал, стряхнул с себя соломинку и стал крадучись пробираться садами к корчме: лежавшие в кармане деньги не давали ему покоя.

Корчма стояла на краю села, за домом ксендза, в начале обсаженной тополями дороги.

Народу в корчме было еще мало. Музыканты время от времени бренчали, но никто не танцевал, так как было слишком рано. Молодежь предпочитала слоняться по саду или стоять у входа и у стен, где на свежих, еще желтых бревнах сидели много девушек и женщин. А просторная изба с закопченным потолком была почти пуста. Красные предзакатные лучи так слабо проникали сквозь маленькие, тусклые от табачного дыма оконца, что только на грязном полу лежала полоска света, а в углах избы царил мрак. За столами у стены сидели какие-то люди, — Куба не разглядел, кто такие.

Только Амброжий с бутылкой в руках и костельный служка стояли у окна, выпивали и беседовали.

— Вишь, пляшут, как мухи на смоле! Эй, Евка, да шевелись же! Таскалась, видно, где-то ночью, а теперь спишь на ходу! Томек! А ну, живее! Или ты горюешь о той муке, что продал Янкелю? Не бойся, отец еще не знает!.. Гуляй, Марыся, гуляй с новобранцами, да уже сразу зови меня в кумы...

Так Ягустинка задевала по очереди всех танцоров. У нее был язык без костей, да и злилась она на весь свет за то, что ее обидели родные дети и приходится на старости лет ходить на поденку. Но ей никто не отвечал, и она, накричавшись вдоволь, ушла за перегородку, где сидели кузнец, Антек и несколько молодых мужиков.

Здесь с черного потолка свисала лампа и тускло-желтым светом озаряла растрепанные русые головы. Мужики сидели, облокотясь на стол, и смотрели на кузнеца, а тот, весь красный, перегнувшись к ним, тихо говорил что-то, размахивая руками и иногда стуча кулаком по столу.

Басы гудели, как шмель, залетевший со двора. Порой вдруг жалобно взвизгивала скрипка, словно птица, подманивающая подругу, или рокотал бубен... но музыка тотчас обрывалась.

Куба подошел прямо к прилавку, за которым сидел Янкель в ермолке и без кафтана, так как было очень жарко. Поглаживая седую бороду и качаясь, он молился, нагнувшись над книгой так низко, что глаза почти касались страниц.

Куба переминался с ноги на ногу, раздумывал, пересчитывал деньги, скреб затылок, — и стоял до тех пор, пока Янкель не взглянул на него и, продолжая качаться и молиться, забренчал раз-другой рюмкой о рюмку.

— Полкварты только крепкой! — сказал, наконец, Куба.

Янкель молча отмерил водку, а левую руку протянул за деньгами.

— В посудину? — спросил он, смахнув в ящик позеленевшие медяки.

— Ясно, не в сапог!

Куба отошел к самому краю прилавка, выпил первую рюмку, сплюнул и обвел глазами корчму. Выпил другую, посмотрел бутылку на свет, со стуком поставил ее на прилавок.

— Дайте-ка еще полкварты и махорки, — заказал он уже смелее. От водки по телу разлилась приятная теплота, и он почувствовал необычайный прилив сил.

— Что, Куба, жалованье получил?

— Где там... Новый год нынче, что ли?

— Может, рисовой подлить?

— Нет... не хватит... — Он пересчитал деньги и с грустью посмотрел на бутылку с рисовой водкой.

— В долг дам — разве я тебя не знаю?

— Не надо. В долг возьмешь, без сапог уйдешь, — резко ответил Куба.

Все-таки Янкель поставил перед ним бутылочку рисовой водки.

Куба отказывался и даже собрался уходить, но проклятая рисовая так благоухала, что у него в носу защекотало. Куба — больше не крепился и выпил не раздумывая.

— В лесу заработал? — терпеливо допытывался Янкель.

— Нет, не в лесу. Наловил в силки шесть штук куропаток да отнес его преподобию, и он мне дал за них злотый.

— Злотый за шесть штук! А я бы за каждую дал по пятаку!

— Да разве евреи едят куропаток? — удивился Куба.

— Уж это не твоя забота. Ты только принеси побольше, и получишь прямо в руки по пятаку за штуку. И спирту поставлю! Ну как, по рукам?

— И заплатишь по целому пятаку?

— Я слов на ветер не бросаю. Сказано — заплачу! За те шесть штук ты бы у меня получил не одну квартиру чистой, а две квартиры рисовой, и селедку, и булку, и пачку махорки... понял, Куба!

— А как же! Две квартиры рисовой, и селедку, и... Что я, скотина, что ли, безмозглая, как не понять!.. четыре полквартиры... и махорка... и булка... и целая селедка...

Выпитая водка уже немного туманила Кубе голову.

— Принесешь, значит?

— Четыре полквартиры... селедка и... Принесу! Эх, было бы у меня ружье!.. — сказал Куба вдруг, несколько отрезвев, и опять начал вслух рассчитывать: — Тулуп, скажем, рублей пять. Сапоги нужно... на них надо положить рубля три... нет, не хватит! За ружье кузнец спросит пять рублей, не меньше — как с Рафала... Нет!..

Янкель быстро сделал расчет мелом на прилавке и сказал ему на ухо:

— А козулю ты, Куба, мог бы застрелить?

— Из кулака не застрелю. А из ружья отчего не застрелить?

— Да ты стрелять умеешь?

— Ты, Янкель, еврей, вот и не знаешь, а в деревне все знают, что я с панами в лес ходил воевать, там-то мне и ногу прострелили... Как же так, не умею?

— Я тебе дам ружье, и порох дам, все, что требуется. А ты все, что застрелишь, будешь носить мне! За козулю дам целый рубль... слышишь, рубль! За порох вычту по пятнадцати копеек со штуки... А за то, что ружьем пользоваться будешь, — ведь оно портится, — принесешь мне, Куба, четвертку овса...

— Рубль за козулю... А с меня, значит, пятнадцать копеек за порох... Целый рубль!.. Это сколько же выходит?

Янкель опять высчитал ему все подробно.

— Овса? Не отнимать же мне его у лошадей! — Только это одно остановило Кубу.

— Зачем у лошадей? У Борыны есть овес и в другом месте.

— Так это что же... — Куба выпучил глаза и соображал.

— Все так делают. А откуда у парней деньги берутся, как ты думаешь? Каждому надо и махорки, и водки рюмочку, и потанцевать охота в воскресенье. Откуда же им взять?

— Как же так?.. Вор я, по-твоему, что ли? — закричал вдруг Куба громко и с такой силой стукнул кулаком по прилавку, что рюмки подскочили.

— Ну, ну, шуметь тут нечего! Заплати и ступай себе ко всем чертям!

Но Куба не заплатил и не ушел — деньги все были истрачены, и он еще задолжал Янкелю. Вспомнив об этом, он навалился на прилавок и опять начал вслух рассчитывать, а Янкель смягчился и налил ему еще порцию — на этот раз чистой рисовой — а про овес ничего больше не говорил.

Тем временем на дворе стемнело, и в корчму наплывало все больше и больше народу. Зажгли лампы, музыка заиграла веселей, говор становился громче. Посетители толпились у стойки, у стен, да и посреди избы, калякали о том о сем, советовались, жаловались, а кое-кто выпивал с приятелями, но таких было мало, — сюда сегодня приходили не пьянствовать, а потолкаться среди знакомых, послушать музыку, узнать новости. В воскресенье и отдохнуть можно, и посудачить, да и выпить рюмочку с кумовьями не грех — лишь бы по-хорошему, без ругани, — это сам ксендз не запрещает. Ведь и скотине после трудов отдохнуть полагается.

За столами уселись мужики постарше и несколько женщин, которые в своих красных юбках и платках напоминали распутившиеся мальвы. Все говорили разом, и корчма зашумела, как лес. Топот ног напоминал стук цепов на току, скрипки задорно пели: "А за мной кто побежит, побежит, побежит!"

И басы в ответ стонали: "Я бегу, я бегу!", а бубны так и заливались и сыпали дробью.

Танцующих было немного, но они притопывали так крепко, что половицы скрипели, столы дрожали, на них звенели бутылки, опрокидывались рюмки.

И все-таки особого веселья не чувствовалось, — не было повода к нему, как на свадьбе или сговоре. Танцевали от нечего делать, для забавы, чтобы поразмять ноги и спины. Только парни, которым к концу осени предстояло идти в солдаты, плясали и пили с горя, вспоминая, что их угонят на чужбину, в далекий незнакомый свет.

Громче всех орал брат войта, а на него глядя, и другие — Мартин Бялек, Томек Сикора и Павел Борына, двоюродный брат Антека. (Антек тоже пришел, но сегодня он не танцевал, а сидел за перегородкой с кузнецом и другими), и Франек, работник с мельницы, невысокий, коренастый и кудрявый парень, первый говорун, задира и насмешник, до того падкий на девушек, что физиономия у него частенько бывала в синяках и царапинах. В этот вечер Франек сразу налился. Он стоял у прилавка с толстой Магдой, служанкой органиста, беременной на шестом месяце. Ксендз уже отчитывал его с амвона за Магду и настаивал, чтобы он на ней женился, но Франек и слышать об этом не хотел. Ему, мол, осенью в солдаты идти, так до бабы ли ему тут!

Сейчас Магдуся тащила его в угол, к лежанке, и что-то говорила плачущим голосом, а он в ответ только твердил:

— Дура! Я за тобой не бегал... За крестины заплачу и тебе рублишко брошу, если пожелаю!

Он был уже сильно пьян и толкнул Магду так, что она шлепнулась на лежанку подле Кубы, который уже спал, спустив ноги на пол. Там она и осталась и тихонько всхлипывала, а Франек опять пошел пить и приглашать девушек на танцы. Дочки богатеев не шли танцевать с ним: рабочий на мельнице — тот же батрак. Да и девушки победнее гнали Франека от себя, от того что он был пьян и во время танцев безобразничал. В конце концов Франек плюнул и пошел целоваться с Амброжием и мужиками, которые охотно угощали его, надеясь, что он за это пораньше сметет их зерно на мельнице.

— Пей, Франек, и смели ты мое поскорее, а то жена мне все уши прожужжала — у нее ни горсточки муки на клецки.

— А моя целый день шумит из-за крупы!

— А нам отруби нужны для поросенка!

Франек пил, обещал и громогласно хвастался, что на мельнице все только им одним и держится, что мельник должен его слушаться, потому что иначе он, Франек — ого! Он знает такие штуки, от которых в ларях заведутся черви... он только дунет на озеро — и вода высохнет, и рыбы передохнут, а захочет — мука так испортится, что из нее не испечешь и лепешки!

— Попробовал бы ты мне такое сделать, я бы твою баранью голову ощипала! — крикнула Ягустинка, которая подсаживалась ко всякой компании. Пить она не пила, у нее редко водилась лишняя копейка, но ведь могло случиться, что кум или свояк поставит ей полкварти, потому что все боялись ее злого языка. Вот и Франек, хоть и был пьян, струхнул и сразу замолчал: Ягустинке было известно кое-что о том, как он хозяйничает на мельнице. А она, уже немного захмелев, подбоченилась, притопывала в такт музыке и покрикивала...

— Истинную правду говорю, это написано в газете черным по белому. На свете люди живут не по-нашему. Нет! — говорил между тем кузнец. — А у нас как? Помещик над тобой хозяин, ксендз — начальство, урядник — начальство, а ты только работай и с голоду подыхай, да каждому низко кланяйся, чтобы в морду не дали.

— А земли мало, скоро и по одной полосе на человека не хватит!

— Зато у помещика одного больше, чем у двух деревень вместе!

— В суде вчера говорили, что будут раздавать новые наделы.

— А чью же это землю? Откуда?

— Как это чью? Известно, помещичью.

— Ишь ты! А разве вы ее помещикам дали, что отобрать хотите? Чужим добром распорядиться вздумали! — крикнула Ягустинка, со смехом нагибаясь к ним.

— Там они сами у себя правят, — продолжал кузнец, пропуская мимо ушей слова Ягустинки.

— И все в школах учатся. Дома у них — что усадьбы, и живут, как господа.

— Где это так? — спросила Ягустинка у Антека, сидевшего рядом.

— В теплых краях.

— А коли там такая благодать, отчего же кузнец туда не едет, а!.. Брешет он, шельма, морочит вас, а вы, дураки, верите! — воскликнула она запальчиво.

— Добром вам говорю, Ягустина, уходите, откуда пришли!..

— Не пойду! Корчма для всех, и я за свои три гроша тоже гость не хуже тебя! Учитель какой выискался! Начальству угождает, перед помещиком за версту шапку скидает, а эти ему верят! Краснобай! Знаю я...

Договорить она не успела: кузнец крепко взял ее за плечи, ногой отворил дверь и вытолкнул ее в переднюю комнату, где она и растянулась на полу.

Однако Ягустинка не рассердилась и, вставая, сказала весело:

— Силен, чертов сын, как лошадь! Вот бы мне такого в мужья!

Все дружно захохотали, а она ушла из корчмы, тихо ругаясь.

Корчма уже пустела, музыканты перестали играть, люди расходились по домам или долго стояли группами на улице, потому что вечер был теплый и лунный. Только рекруты все еще сидели в корчме, пили до бесчувствия и орали, да пьяный Амброжий, пошатываясь, ковылял посреди дороги и громко распевал.

Вышли во главе с кузнецом и сидевшие за перегородкой.

Через некоторое время Янкель начал тушить лампы; тогда уже и рекруты выбрались на улицу и, взявшись под руки, побрели в деревню. Всю дорогу они горланили песни, а собаки лаяли им вслед, и то и дело кто-нибудь выглядывал из избы.

Куба так крепко уснул на лежанке, что пришлось Янкелю его будить. Но парень не хотел вставать, брыкался, махал кулаками и бурчал:

— Теперь всю жизнь буду спать, сколько захочу... я сам себе хозяин! А ты — рыжий парх!

Ведро воды помогло — Куба встал и немного протрезвился. Со страхом и удивлением узнал он, что пропил целый рубль и задолжал Янкелю.

— Как же это?.. Две полкварты рисовой... целая селедка... махорка... да еще две полкварты... так уже и целый рубль? Постой! Два... — у него голова шла кругом.

В конце концов Янкель все-таки убедил его, и они договорились насчет ружья, которое еврей должен привезти ему с ярмарки. Чтобы спрыснуть сделку, Янкель угостил его спиртом.

Только принести овес Куба наотрез отказался:

— Отец вором не был, и сын вором не будет.

— Ладно, ступай себе, спать пора. А мне еще надо помолиться.

— Скажи пожалуйста! К воровству подговаривает, а сам молиться будет! — бормотал Куба, бредя домой. Он все еще пытался припомнить и сообразить — никак не верилось, что мог пропить целый рубль.

Но на воздухе Кубу еще больше развезло, он пошатывался и, натываясь то на заборы, то на бревна, лежавшие кое-где перед избами, громко бранился:

— Чтоб вас скрючило, лодыри проклятые! Всю дорогу загородили! Не иначе, как перепились, безобразники! Мало ксендз их отчитывал...

Тут он вдруг остановился и долго силился сообразить что-то. Наконец, его озарило, и он почувствовал такую скорбь и раскаяние, что, осмотревшись, нагнулся, ища чего-нибудь твердого... но тут же забыл о своем намерении и стал рвать на себе волосы, колотить себя по щекам и выкрикивать:

— Ах ты пьяница, свинья очумелая! Вот потащу тебя к его преподобию, пускай осрамит тебя перед всем народом, пусть все знают, что ты пес и пьяница, что пропил целый рубль... что ты хуже скотины!..

И вдруг так ему стало себя жалко, что он сел на дороге и горько заплакал.

Огромная яркая луна плыла в темных просторах неба, и кое-где серебряными гвоздями сверкали редкие звезды!

Туман серой тонкой пряжей тянулся над деревней и укрывал озеро. Бездонная тишина осенней ночи обнимала деревню, и только изредка нарушали ее песни возвращавшихся из корчмы да собачий лай.

А на улице перед корчмой Амброжий все еще качался из стороны в сторону и без усталости, без передышки пел, пока не протрезвился:

Ох, Марысь, моя Марысь,

И кому ты пиво варишь?

Кому же ты пиво варишь.

Ой, Марысь, моя Марысь!

V

Осень надвигалась быстро.

Серенькие дни влеклись над опустелыми, заглохшими полями, становились все тише и умирали в лесах, бледные, как облатки святых даров, озаренные пламенем догорающих свеч.

И с каждым рассветом день вставал ленивее, весь в инее, застывший от холода, проникнутый унылой тишиной умирающей земли. Расцветало в глубине неба бледное и грузное солнце в темном ожерелье из ворон и галок, которые срывались откуда-то из-за горизонта, летели низко над полями и кричали протяжно, жалобно, глухо, а за ними мчался резкий холодный ветер, мутил застывшие воды, убивал остатки зелени, срывал последние листья с гнувшихся над дорогами тополей, и листья падали на землю беззвучно, тихо, как слезы, кровавые слезы по умершему лету.

И что ни рассвет — деревня просыпалась позже; все неохотнее шел на пастбище скот, все тише скрипели ворота и тише звучали голоса, словно приглушенные мертвой пустотой полей, все слабее и тревожнее бился пульс самой жизни. Перед избами и в поле люди иногда вдруг останавливались и долго глядели в хмурую синюю даль. Даже быки и коровы поднимали от желтой травы рогатые головы и, медленно пережевывая жвачку, вперяли глаза в далекое пространство... И временами глухое, тоскливое мычание разносилось по пустынным полям.

И что ни день — становилось все темнее и холоднее, и ниже стлался дым по обнаженным садам, и все больше птиц слеталось в деревню, ища приюта в амбарах и на сеновалах, а вороны сидели на крышах и голых ветках или кружили над землей с зловещим карканьем, словно пели унылую песню зимы.

Полудни стояли солнечные, но такие немые и мертвые, что слышен был издали глухой шум леса и журчание реки, звучавшее горьким рыданием. Неведомо откуда срывались последние паутинки бабьего лета и пропадали в резких, холодных тенях хат.

И была в этих тихих полуднях печаль умирания; безмолвие царило на пустынных дорогах, в облетевших садах таилась глубокая меланхолия скорби и тревоги.

Все чаще и чаще заволакивали небо серые тучи, и задолго до сумерек приходилось уходить с поля, потому что наступала темнота.

Люди кончали осеннюю вспашку. Иные уже в густом сумраке проводили последнюю борозду и, возвращаясь домой, все еще оглядывались на свое поле и со вздохом прощались с ним до весны.

Под вечер уже часто перепадали дожди. Выли они пока еще короткие, ко холодные, и все чаще шли до самых сумерек, долгих осенних сумерек, когда золотыми цветами пламенеют окна хат и, как стекло, блестят лужи на пустых дорогах, а мокрая холодная ночь бьется о стены и стонет в садах.

Даже тот аист с перебитым крылом, которой не мог улететь с другими и одиноко бродил по лугам, стал приходиться теперь под стог Борыны, а то и во двор, где Витек, чтобы приманить его, заботливо подбрасывал ему еду.

Все чаще заходили теперь в деревню и странники разные: обыкновенные нищие, которые с вместительной сумой ходили от двери к двери под лай собак, и богомольцы, шедшие от свитых мест, — эти побывали и в Острой Браме, и в Ченстохове, и

в Кальварии и охотно рассказывали долгими вечерами о том, что делается на свете и какие где свершались чудеса. Иногда среди них попадался кто-нибудь, кто сообщал по секрету, что идет из самой Святой Земли, кто повидал такие края, плыл через такие огромные моря, пережил столько приключений, рассказывал такие удивительные вещи, что восторженные слушатели просто диву давались. Многие даже не верили ему, но слушали жадно — ведь каждый рад узнать что-нибудь новое, а вечера были долгие, и до рассвета можно было успеть и выспаться как следует.

Осень была, поздняя осень!

Не слышно было в деревне ни песен, ни веселых криков, ни ауканья, ни птичьего гомона — ничего, только ветер завывал в соломенных стрехах, да дождь барабанил в окна, и с каждым днем все громче стучали на гумнах цепи.

Липы замирали так же, как окрестные поля, серые, обобранные, отдохавшие в изнеможении, как голые деревья, жалкие, словно съездившиеся, медленно цепеневшие на долгую-долгую зиму.

Пришла осень, родная мать зимы.

Люди только тем и утешались, что еще нет ливней и дороги не очень размокли и, может быть, сухая погода простоит до ярмарки, на которую вся деревня собиралась, как на богомолье.

Ярмарка эта была в день Св. Кордулы, — самая большая в году и последняя перед Рождеством, потому-то к ней все так и готовились.

Уже за несколько дней до нее в каждой избе совещались, что везти на продажу, какой скот, зерно или мелкий приплод. К зиме нужно было прикупить немало и одежды, и посуды, и разных разностей для хозяйства, оттого и пошли в избах всякие нелады, ссоры да споры, — ведь ни у кого не было лишнего, а деньги нужны были дозарезу.

Как раз подходило время платить подати и общинные сборы, расплачиваться друг с другом: одним надо было отдать то, что взято в долг до нового урожая, другим — рассчитаться за год работниками. Столько всего накопилось, что даже те, у кого было по пятнадцати моргов, кряхтели и приходили к заключению, что как ни ломай голову, а надо продать на ярмарке лошадь или корову. А уж о тех, кто победнее, и говорить нечего.

Выводил такой хозяин коровенку из хлева, обтирал ей тряпкой бока, подсыпал на ночь клеверу или вареного ячменя с картошкой, чтобы она немного пополнила. Иные прихорашивали старых, совсем ослепших кляч, чтобы они хоть сколько-нибудь были похожими на лошадей, иные усердно колотили с утра до вечера зерно, чтобы приготовить побольше на продажу.

И у Борыны усиленно готовились к ярмарке. Старик с Кубой домолачивали пшеницу, Юзька и Ганка усердно откармливали свинью и гусей, отобранных для продажи. А так как каждый день можно было ожидать дождей, то Антек с Витеком возили из лесу хворост для печей, и листья, и сухой мох — часть свалили у избы, чтобы законопатить стены, а часть пошла для подстилки в хлева.

Эта спешная работа продолжалась накануне ярмарки до поздней ночи. И только тогда, когда мешки с пшеницей уже лежали на телеге, которую вкатили в ригу, и на завтра все было готово, в избе Борыны сели ужинать.

В печи весело пылал огонь, трещали еловые сучья. Все ели медленно и молча: так наработались, что было не до разговоров. И только после ужина, когда женщины убрали со стола, Борына, придвинувшись к печке, сказал:

— Выезжать придется на рассвете.

— Да уж не позднее! — отозвался Антек. Он смазывал упряжь, Куба строгал молотило для цепа, а Витек чистил на утро картошку и то и дело тыкал в бок Лапу, который лежал рядом и искал у себя блох.

Тихо было в горнице, лишь огонь шумел да трещали за печкой сверчки, а с другой половины доносился плеск воды и стук перемываемых горшков.

— Ну как, Куба, останешься служить и на будущий год? Куба опустил рубанок и, засмотревшись на огонь, молчал так долго, что Борына окликнул его вторично:

— Слышал, что я тебе сказал?

— Слышать-то слышал... да вот... смекаю... по правде сказать, худого и от вас ничего не видел... вот только... — Он замолчал с озабоченным видом.

— Юзя, подай-ка водки да закусить чего-нибудь, что же так толковать всухую, чай мы не евреи! — распорядился Борына и придвинул к печи лавку, на которой Юзя сейчас же поставила бутылку, положила кольцо колбасы и хлеб.

— Выпей, Куба, и скажи свое слово.

— Спасибо, хозяин... Остаться я бы остался, да вот...

— Прибавлю тебе немного.

— Прибавить надо бы, а то и тулуп уже с плеч ползет, и сапоги развалились, и кафтан тоже какой-нибудь купить надо. Ходишь, как нищий, даже в костел идти срам, разве только на паперти постоять, а к алтарю как пойдешь в такой одежде?

— А в воскресенье ты небось на это не посмотрел, полез туда, где первейшие люди стоят, — сурово заметил Борына.

— Оно, конечно, правда... — пробормотал сильно сконфуженный Куба, заливаясь темным румянцем.

— Ведь и ксендз учит, что надо старших почитать. Выпей, Куба да слушай, что я тебе скажу, и сам поймешь, что работник хозяину не ровня. Каждому свое место, Господь Бог каждому другое определил. Что тебе Господь определил, того и держись, на первое место не суйся и над другими возвыситься не старайся — это тяжелый грех. И сам ксендз тебе то же самое скажет — так оно должно быть, иначе на свете порядка не будет. Смекаешь, Куба?

— Чай, я не скотина, у меня ум есть, отчего не понять?

— Так смотри же, больше над другими не возносись.

— Э... я только к алтарю хотел поближе...

— Не беспокойся, Иисус из каждого угла молитву слышит. Для чего тебе соваться между первейших людей на деревне, коли все знают, кто ты такой.

— Понятно... был бы я хозяином, так и балдахин носил бы, и ксендза под руки водил, а в костеле сидел бы я на скамейке да молился по книжке... А если я работник, хоть и хозяйский сын, значит, стой в притворе либо, как собака, за дверью! — сказал Куба уныло.

— Так уж оно на свете заведено, и не тебе это менять.

— Не мне... правда, что не мне!

— Выпей еще и говори, сколько тебе прибавить.

Куба выпил еще и слегка захмелел, ему померещилось, что сидит он в корчме с Михалом, работником органиста, или с другим приятелем и они разговаривают между собой свободно, весело, как родной с родным. Он расстегнул кафтан, вытянул ноги, стукнул кулаком по лавке и крикнул:

— Если прибавит четыре бумажки и даст рубль задатку — тогда останусь.

— Видно, ты пьян или рехнулся! — воскликнул Борына. Но Куба был уже во власти своей давней мечты и не слышал слов хозяина. Его пришибленная душа распрямлялась, в нем росла гордость и такая уверенность в себе, словно он уже чувствовал себя хозяином.

— Прибавьте четыре бумажки и рубль задатку — тогда останусь, а нет, так наплевать, пойду на ярмарку и найду себе место хотя бы конюхом в имение. Все знают, что человек я работающий, всякую работу в поле и по хозяйству знаю так, что иному хозяину ко мне в пастухи идти да учиться... А нет, так птиц стрелять пойду и продавать ксендзу либо Янкелю...

— Ишь как разбрыкался, хромой черт! Куба! — крикнул Борына резко.

Куба замолчал, сразу очнулся от своих мечтаний, но задору не утратил и был так неуступчив, что Борына волей-неволей набавлял ему то полтинник, то злотый и в конце концов обещал на будущий год прибавить три рубля, а вместо задатка — две рубахи.

— Так ты вот какая птица! — удивлялся старик, запивая с Кубой сделку. Его злило, что надо отвалить столько денег, но раздумывать не приходилось, Куба стоил большего: парень такой работающий, что за двоих управляется, хозяйского добра не тронет, а о скотине заботится больше, чем о себе. Хоть и хромой и слабосильный, но в хозяйстве знает толк, на него можно положиться — все сделает как следует и за поденщиками присмотрит.

Потолковали еще немного, а когда расстались, Куба с порога совсем уже робко сказал:

— Ладно, согласен я на три рубля и две рубахи, только... только... не продавайте вы кобылу!

При мне родилась... я ее своим тулупом укрывал, чтобы не замерзла... Не стерпеть мне того, что ее будет бить какая-нибудь сволочь городская. Не продавайте!.. Золото, а не кобыла... Послушная, как ребенок...

Такая лошадка, что иной человек перед ней — как есть собака. Не продавайте!

— И в мыслях у меня не было ее продавать!

— А в корчме говорили... Вот я и боялся...

— Ишь, опекуны нашлись, собачье племя! Всегда они больше хозяина знают!

Куба готов был от радости в ноги ему повалиться, но не посмел. Он надел шапку и торопливо вышел — пора было дожиться спать, завтра чуть свет ехать на ярмарку.

На другое утро, еще затемно, чуть не после вторых петухов, по дорогам и тропам, ведущим в Тымов, двинулись на ярмарку люди со всей округи.

Под утро прошел сильный дождь, но встало солнце, и погода немного прояснилась, хотя по небу бродили темные тучки, над низинами мокрой, серой холстиной висел туман, а на дорогах блестели лужи и кое-где в выбоинах грязь так и хлюпала под ногами.

Из Липец на ярмарку шли с самого раннего утра.

На тополевой дороге за костелом и дальше до самого леса тянулась длинная вереница телег — медленно, шаг за шагом, так как очень уж запружена была дорога. А по обочинам с обеих сторон даже в глазах рябило от красных юбок и белых кафтанов.

Казалось, вся деревня вышла на дорогу.

Шли мужики победнее, шли бабы, парни и девушки, и безземельные мужики, работавшие на чужой земле, и самая последняя голытьба — батраки-поденщики, потому что на этой в ярмарке обычно хозяева нанимали работников.

Кто шел покупать, кто — продавать, а кто и просто погулять на ярмарке.

Вели на веревке корову или теленка, гнали перед собой свинью с поросятами, которые повизгивали и бежали так, что приходилось их беспрестанно сгонять вместе и стеречь, чтобы они не попали под колеса. Кто трусил верхом на кляче, кто гнал остриженных баранов, а местами белели стада гусей с подвязанными крыльями, из-под бабьих передников выглядывали красные гребешки петухов. Да и телеги были порядком нагружены — там и сям из-под соломы высовывал рыло поросенок и так визжал, что гуси начинали испуганно гоготать, а им вторили лаем собаки, которые шли вместе с хозяевами за телегами. Как ни широка была дорога, а всем на ней трудно было поместиться, и некоторые сходили в поле и шли бороздами.

Когда на дворе было уже совсем светло и небо так прояснилось, что солнце могло вот-вот выглянуть, вышел и Борына из хаты. Ганка и Юзя еще раньше, до рассвета, погнали свинью и откормленного борова, а Антек повез десять мешков пшеницы и полкорца красного клевера. Дома оставались только Куба, Витек и Ягустинка, которую позвали стряпать обед и присмотреть за коровами.

Витек ушел за хлев и ревел там: ему тоже хотелось на ярмарку.

— Ишь чего захотелось дураку! — проворчал Борына. Он перекрестился и пошел пешком, рассчитывая по дороге подсесть к кому-нибудь на телегу. Так оно и вышло: сразу за корчмой его нагнала бричка органиста, запряженная парой крепких лошадей.

— Что ж это вы пешком, Мацей?

— Для здоровья полезнее. Слава Иисусу!

— Во веки веков! Садитесь с нами, места хватит, — предложила жена органиста.

— Спасибо, я бы и пешком дошел, да, как говорится, ноги не казенные. Ехать все же веселее, — отозвался Борына, садясь на переднее сиденье, спиной к лошадям.

Он по-приятельски поздоровался за руку с органистом и его женой, и бричка тронулась.

— А пан Ясь откуда взялся? Разве он уже не в школе? — спросил Борына, увидев юношу, который сидел на козлах с работником.

— Я только на ярмарку приехал, — весело ответил сын органиста.

— Угощайтесь, табак французский, — предложил органист, щелкнув по своей табакерке.

Оба понюхали и с наслаждением чихнули.

— Ну, как дела? Будете что-нибудь продавать?

— Немного. Вот пшеницу отправил на заре, да бабы свиней погнали.

— Ого! — воскликнула жена органиста и обратилась к сыну: — Ясь, надень платок, холодно!

— Не надо, мне совсем тепло, — уверял Ясь, но она все-таки обвязала ему шею красным шерстяным платком.

— Что ж, мало ли расходов? Не знаешь, откуда на все взять.

— Ну-ну, вам, Мацей, жаловаться грех, — слава богу, добра у вас довольно.

— Да ведь землю жрать не будешь, а денег в запасе нет.

Недовольный этим разговором при работнике, Борына поспешно наклонился к Ясю и тихо спросил:

— А долго еще вам учиться, пан Ясь?

— Только до Рождества.

— И как — домой воротитесь или на службу пойдете?

— Господи, да что ему дома делать на наших пятнадцати моргах? И без него у нас мелюзги сколько, а времена тяжелые! — со вздохом вмешалась жена органиста.

— Правда! Крестин еще много бывает, да какая от них прибыль?

— Ну, и похорон немало, — иронически заметил Борына.

— Э, что это за похороны, мрут-то все больше бедняки. Хорошо, если раза два в год случаются богатые похороны, от которых кое-что перепадает...

— Да и обеден все меньше заказывают, и торгуются, как евреи! — добавила жена.

— Все оттого, что времена плохие, нужда людей заела, — упился Борына.

— А еще оттого, что люди не заботятся о спасении души и покойников своих поминать

забывают. Ксендз об этом не раз говорил моему. И помещиков все меньше. Бывало, приедешь молебен служить после жатвы или с облатками[11] на рождество и на пасху — не пожалеют тебе ни зерна, ни денег, ни овощей всяких. А теперь — господи прости! — всякий хозяин жметя, и если даст снопик ржи, то уж наверняка объединенный мышами, а если четверть овса получишь, так мякины в нем больше, чем зерна! Вот пусть жена скажет, каких яиц мне в прошлую пасху надавали: больше половины тухлых. Не будь у нас землицы немного, пришлось бы с сумой идти, — закончил органист, опять протягивая Борыне табакерку.

Борына поддакивал, но его провести было трудно, он отлично знал, что у органиста водятся денежки и что он их ссужает под проценты или заставляет должников отрабатывать долг, поэтому он только усмехался, слушая жалобы органиста, и опять переводил разговор на Яся.

— Что же, служить пойдет?

— Вот еще! — мой Ясь — на службу, в писаришки! Недаром я у себя последний кусок отрывала, чтобы он училище окончил! Нет! Он в семинарию пойдет, в ксендзы.

— В ксендзы!

— А что? Разве ксендзам плохо живется?

— Верно, верно... И от людей почет. И, как говорится, кому ксендз родня, тому не страшна нужда! — сказал с расстановкой Борына и не без уважения посмотрел через плечо на мальчика, который в эту минуту, насвистывая, подгонял остановившихся лошадей.

— И про Стаха Мельникова такая молва шла, будто он в ксендзы хочет идти, а теперь он в самой высшей школе, в доктора готовится.

— Вот еще, такому негоднику ксендзом быть! Ведь Магда-то моя от него беременна — на шестом месяце уже!

— А говорили, что от мельникова работника.

— Это мельничиха так говорит, чтобы сына выгородить. Такому беспутному только в доктора и дорога!

— Конечно, ксендзом быть лучше — и Богу во славу, и людям на утешение, — хитро подпевал ей Борына (чего с бабой спорить!) и внимательно слушал ее рассуждения, а органист между тем часто снимал шапку и громким "Во веки!" отвечал на приветствия проезжавших мимо.

Ехали рысью, и Ясь лихо обгонял телеги, пеших, скот, пока не добрались до леса, где было уже просторнее и дорога шире.

У самого леса они нагнали Доминикову. Она ехала с Ягной и Шимеком, а за телегой, из которой выглядывали белые шеи гусей, не перестававших шипеть по-змеиному, шла корова, привязанная за рога.

Все поздоровались, а Борына даже высунулся из брички, когда проезжали мимо, и крикнул:

— Поздно едете!

— Поспеем! — со смехом откликнулась Ягна.

Бричка обогнала телегу, но сын Органиста несколько раз оглядывался на Ягну и, наконец, спросил:

— Это Ягуся Доминикова?

— Она, она самая, — ответил Борына, все еще глядя на нее издали.

— Не узнал я ее, — два года не видел.

— Девчонка она молодая, два года назад еще коров пасла. Раздобрела только, как телка на клевере! — и он опять высунулся из брички, чтобы взглянуть на Ягну.

— Красивая какая! — заметил Ясь.

— Девка как девка! — пренебрежительно процедила сквозь зубы его мать.

— Нет, верно, что хороша! Удалась девка. Недели не проходит, чтобы кто-нибудь к ней сватов не засылал.

— Привередлива больно! А старая думает, что ее Ягну по меньшей мере какой-нибудь управляющий возьмет, наших парней прочь гонит, — язвительно пробурчала органистиха.

— А что ж, ее любой хозяин возьмет, даже такой, что на тридцати моргах сидит... Она того стоит!

— Вот и посватались бы вы к ней, Мацей, если так ее хвалите! — засмеялась она. Борына промолчал и больше всю дорогу не проронил ни слова.

"Смотри-ка, рвань городская, вздумала смеяться над исконными хозяевами! Важная пани, подумаешь — только и знает нашим курам под хвост заглядывать, не несут ли для нее яиц, да в чужой карман смотреть! Ягуси ты не троны!" — думал он, сильно рассерженный, и молча смотрел на воз Доминиковой, где алели платки женщин. Воз все больше от них отставал, — Ясь сильно гнал лошадей, и они мчались так, что грязь летела из-под копыт.

Тщетно жена органиста заговаривала о том, о другом — Борына только головой кивал и что-то бормотал себе под нос: он так разозлился, что не хотел продолжать разговор. И, как только они выехали на неровную мостовую местечка, слез с брички и поблагодарил, за то, что подвезли его.

— Под вечер домой поедем, так и вас можем захватить, если хотите, — предложила жена органиста.

— Спасибо, у меня ведь здесь свои лошади. Увидят люди, так еще, пожалуй, скажут, что я к органисту в помощники набиваюсь. А мне ни одной ноты не вытянуть! И мехи раздувать да свечи гасить я не учился.

Они свернули в боковую улицу, а он с трудом стал пробираться по главной на базар. Ярмарка была большая, и, несмотря на ранний час, народу набралось уже порядочно. Все улицы, площади, переулки и дворы запружены были народом, телегами, разным товаром, — настоящее бурное море, и в него все еще непрерывно со всех сторон вливались новые реки людские, теснились, колыхались, катились по тесным улочкам и разливались по большой площади перед монастырем. Грязь, еще неглубокая на дороге, здесь была по щиколотку, ее топтали и месили тысячи ног, и она брызгала из-под колес во все стороны. Было уже очень шумно, и шум рос с каждой минутой. Глухой слитный говор гудел, как дремучий бор, и, как морской прибой, бился о стены домов, перекачивался из конца в конец площади. Только по временам сквозь него прорывались мычание коров, звуки шарманки, игравшей у карусели, слезливые причитания нищих или резкие пронзительные звуки дудок.

Ярмарка была, что называется, знатная. Народу собралось столько, что пройти было нелегко, и на базаре перед монастырем Борыне пришлось пробиваться силой, — такая была между

лавками толчея.

А лавок было столько, что ни счесть, ни глазом окинуть.

Вдоль монастыря в два ряда тянулись высокие палатки, битком набитые только женским товаром — полотнами и головными платками, развешанными на жердочках. Одни были красные, как маки, даже глаза слепило, другие — желтые, третьи — малиновые. А перед ними толпилось столько девушек и женщин, что яблоку негде было упасть. Одни выбирали себе платки и торговались, другие стояли только для того, чтобы натешить глаза всеми этими прелестями.

Дальше шли открытые ларьки, так и сверкавшие бусами, зеркалами, позументами. А сколько тут было лент, кружев, искусственных цветов, зеленых, золотистых, всяких, и чепцов, и бог весть чего еще.

В других местах продавали образа в золоченых рамах и под стеклом. Хотя они были расставлены у стен, а то и лежали на земле, от них шло такое сияние, что иной, проходя, снимал шапку и крестился.

Борына купил для Юзи шелковый головной платок, который еще весной обещал девочке, и стал пробираться в тот угол площади за монастырем, где торговали свиньями. Но он шел медленно: давка была страшная, да и было на что посмотреть.

Где шапочники у домов поставили широкие лесенки, сверху донизу увешанные шапками.

Где сапожники устроили целую улицу из высоких деревянных козел, на которых висели рядами разные сапоги — и простые, желтые, которые смазывались топленным салом, чтобы не промокали, и такие, которые чистятся ваксой, и венгерские женские сапожки на высоких каблуках с красной шнуровкой. За сапожными рядами тянулись шорные, с хомутами на колышках и развешанной упряжью.

Дальше — канатчики и продавцы сетей.

Бродячие торговцы ситами, и те, кто продает крупу на ярмарках.

И колесники, и кожевники.

А там портные, а за ними скорняки развесили свои товары, от которых шел такой дух, что в носу щекотало. Эти торговали бойко, так как дело шло к зиме.

А еще дальше — ряды столов под полотняными навесами, а на столах кольца красных колбас, толстых, как канаты, горы желтого сала, копченые окорока, солонина, ветчина. На крюках висели целые поросята, выпотрошенные и еще сочившиеся кровью, так что приходилось отгонять сбежавшихся собак.

А около мясников стояли их братья родные, пекари, и на толстой соломенной подстилке, на возах, на столах, в корзинах и на чем попало лежали горы караваев с колесо величиной, румяных лепешек, булок, баранок.

Да кто же запомнит и сочтет все эти лавки и все, что в них продавалось!

Были лавки с игрушками и лавки с пряниками, где продавались вылепленные из теста сердечки, и звери разные, и солдатики, и такие диковины, что не всякий разберет, что это такое.

Были ряды, где продавались календари, молитвенники, книжки с рассказами о разбойниках и свирепых Магелоннах и буквари. Были и такие, где торговали дудками, свистульками,

глиняными сопелками и другими музыкальными инструментами, на которых шельмы-торговцы играли для приманки, и получалась какофония, которую трудно было выдержать, — тут тебе глиняный петушок пищит, там труба трубит или кто-то извлекает из дудки пронзительные звуки, а подальше визжит скрипка, гремит бубен... голова может треснуть от этого шума!

А посреди рынка, под деревьями, расположились бондари и жестяники; гончары расставили столько мисок и горшков, что едва можно было пройти, а за ними, в ряду столяров, раскушенные кровати и сундуки, шкафы, полки и столы переливались яркими красками — хоть глаза зажмуривай!

На телегах, под стенами домов, вдоль канав, повсюду, где только было свободное местечко, расселись бабы продавать повезенное: кто — лук в мешках или связках, кто — холсты и шерстяные ткани своей работы, кто — яйца, сыры, грибы, бруски масла, обернутые в тряпки. У иной был картофель, у другой пара гусей, ощипанная курица, лен, старательно вычесанный, или мотки пряжи. Сидели каждая со своим товаром и чинно беседовали, как водится на ярмарках, а если подходил покупатель, продавали спокойно, не спеша и не горячась, — по-хозяйски.

Кое-где между возами и лавками дымили жестяные печки — там продавали горячий чай и всякую снедь: жареную колбасу, капусту и даже борщ с картошкой.

А нищие сошлись сюда со всех сторон, словно на богомолье, видимо-невидимо: были тут слепые и немые, хромые, безногие, безрукие. Играли на скрипках, пели, позванивая своими чашками, и, сидя под телегами, у стен и просто в грязи, жалобно просили грошик или другое какое-нибудь подаяние.

Поглядел на все это Борына, подивился тому, другому, потолковал немного со знакомыми и в конце концов добрался-таки до базара свиней за монастырем, на большом песчаном пустыре, где только по краям стояли домики. Здесь, под самой монастырской стеной, за которой высились могучие дубы с желтой, еще густой листвой, собралось уже порядочное количество народу, стояли телеги и лежали целые ряды свиней, пригнанных на продажу.

Борына очень скоро отыскал Ганку и Юзьку, — они стояли с самого краю.

— Ну как, продаете!

— Где там! Торговали свинью мясники, да мало дают.

— А дороги сегодня свиньи?

— Какое! Согнали столько, что неизвестно, кто их раскупит!

— И липецкие есть?

— А вон там Клембы стоят с поросятами, и Шимек Домиников привез борова.

— Управьтесь поскорее, чтобы походить маленько по ярмарке.

— Да и то наскучило так-то сидеть.

— Много ли дают за матку?

— Тридцать целковых. Говорят, недокормлена, в костях только широка, а сала мало.

— Все как-нибудь обмануть норовят! У нее сала пальца на четыре, — сказал Борына, ощупав у свиньи спину и бока. — Боров, правда, в боках немного тощ, зато ноги у него на ветчину

хороши, — добавил он, сгоняя борова с мокрого песка, в который тот зарылся до половины.

— Если тридцать пять дадут, продавайте. Я только дойду до Антека и сейчас к вам вернусь. Есть не хотите?

— А мы уже хлеба поели.

— Куплю вам колбасы, — только смотрите, продайте выгодно.

— Тато, а вы про платок не забудьте, еще весной обещались...

Борына полез было за пазуху, но вдруг остановился, махнул рукой и сказал, уходя:

— Куплю, куплю, Юзя.

Он чуть не бегом кинулся, увидев между возами лицо Ягны, но, пока добрался туда, она уже исчезла, словно сквозь землю провалилась. Тогда он пошел искать Антека. Это было нелегкое дело: в переулке, который вел с базара на площадь, возы стояли вплотную, да еще в два ряда, так что только посредине с трудом можно было пробраться, соблюдая всяческую осторожность. Однако он скоро наткнулся на Антека. Тот сидел на мешках, хлестал кнутом чужих кур, целыми стаями суетившихся около кормушки, из которой ели лошади, и нехотя отвечал покупателям:

— Сказано — семь, значит — семь.

— Шесть с полтиной дам, а больше нельзя, пшеница с изгарью, — видишь, красная.

— Как дам я тебе по твоей поганой харе, так она у тебя сразу покраснеет, а пшеница чистая, как золото.

— Может, и чистая, да сырая... Давай куплю на меру — по шесть семьдесят пять.

— Купишь на вес, и по семи. Сказано тебе!

— Что ж ты, хозяин, сердисься, — куплю, не куплю, а поторговаться можно.

— Торгуйся, если тебе глотки не жаль.

И он не обращал уже больше внимания на евреев, которые развязывали один мешок за другим и разглядывали пшеницу.

— Антек, я только к писарю схожу и мигом вернусь.

— Неужто будете на помещика жалобу подавать?

— А из-за кого Пеструха моя пала!

— Много вы возьмете!

— Своего никому не подарю!

— Э! Поймать бы лесника где-нибудь в лесу, припереть к елке да отдубасить так, чтобы у него ребра затрещали, вот тебе и суд.

— Лесника вздуть бы следовало, это верно, но и помещика я проучу, — сказал Борына упрямо.

— Дайте мне золотый.

— На что тебе!

— Хочу водки выпить и закусить.

— Что ж, у тебя своих нет? Все в отцовский карман глядишь.

Антек порывисто отвернулся и стал сердито насвистывать, а старик очень неохотно достал пятиалтынный и протянул ему.

"Корми их всех своим кровным", — думал он, торопливо протискиваясь к большому шинку на углу. Здесь было уже много посетителей. Во дворе, во флигельке жил писарь.

Он как раз в эту минуту сидел у окна за столом с цыгаркой в зубах, в одной рубаше, неумытый и растрепанный. В углу, на сеннике, укрывшись пальто, спала какая-то женщина.

— Присядь, хозяин! — Писарь смахнул со стула грязную одежду и придвинул его Борыне. Борына сел и подробно изложил свое дело.

— Выиграешь, как бог свят! Еще бы! Корова околела, мальчишка захворал с испугу! Дело верное! — Он потер руки и стал искать на столе бумаги.

— Да мальчик-то здоров.

— Мало ли что, он мог захворать. Ведь лесник его избил!

— Нет, это — соседского парнишку.

— Жаль, а то бы еще лучше было. Ну, да ничего, я уж как-нибудь так состряпаю, что будет и болезнь от побоев и издохшая корова. Пусть помещик платит!

— А мне главное — чтобы было по справедливости.

— Сейчас напишем заявление. Франя, да подымись ты, лентяйка! — крикнул писарь и так сильно толкнул лежавшую, что она подняла взлохмаченную голову.

— Принеси-ка водки и закуски какой-нибудь..

— Да у меня ни гроша, а в долг, — сам знаешь, не поверят, — пробормотала Франя и встала с сенника, зевая и потягиваясь. Баба была огромная, как печь, лицо у нее было обрюзгшее, испитое, все в синяках, а голос тонкий, как у ребенка.

Писарь трудился так, что перо скрипело, попыхивал цыгаркой, пуская дым в лицо Борыне, и время от времени, потирая худые веснушчатые руки, смотрел на Франю. Написав жалобу, он взял за нее рубль и еще другой — на гербовые марки, и сторговался за три рубля выступить на суде, когда дело будет разбираться.

Борына охотно согласился, рассчитывая, что помещик ему заплатит за все с лихвой.

— Дело мы выиграем — ведь есть же справедливость на свете! — сказал он, собираясь уходить.

— Не выиграем в волостном, подадим на съезд, съезд не поможет, так пойдем в окружной, в судебную палату, — а не отступимся!

— Еще бы я свое дарил! — сердито крикнул Борына. И кому еще — помещику, у которого столько леса и земли! — думал он, выходя на площадь, — и тут же, в шапочном ряду, наткнулся на Ягну.

Она стояла в темно-синей мужской шапке на голове, а вторую торговала.

— Поглядите-ка, Мацей! Этот рыжий говорит, что добротная, да небось врет.

— Шапка хорошая. Это для Енджика?

— Для него. Шимеку я уже купила.

— Не мала ли будет?

— Нет, у него голова точь-в-точь как у меня.

— Славный был бы из тебя парень!

— А то нет! — воскликнула Ягна задорно, сдвинув шапку немного набекрень.

— Сейчас бы тебя тут на работу нанимать стали.

— Ну, нет! — засмеялась она. — Я бы дорого запросила.

— Кому дорого, а кому и нет... Я бы ничего не пожалел.

— И в поле работать я бы не стала.

— А я работал бы за тебя, Ягуся, — сказал он, понизив голос, и посмотрел на нее так страстно, что девушка в смущении отступила и, уже не торгуясь, заплатила за шапку.

— Ну что, продали корову? — спросил он через минуту, опомнившись и подавив в себе желание, которое, как хмель, ударило ему в голову.

— Да. Ее купили для ежовского ксендза. Мать пошла с органистом — он хочет нанять себе работника.

— А мы с тобой зайдем выпить хоть по рюмочке наливки!

— Что вы! Зачем это?

— Ты, должно быть, озябла, Ягуся, так согреешься маленько.

— Куда же это я с вами пойду водку пить! Придумаете тоже!

— Так я сюда принесу, и мы с тобой выпьем, Ягуся.

— На добром слове спасибо, а только мне надо мать найти.

— Пойдем, я тебе помогу, Ягуся, — сказал он тихо и пошел впереди. Он так работал локтями, что Ягна свободно шла за ним сквозь густую толпу, но, когда они вошли в ряды, где торговали разной галантереей, девушка стала на каждом шагу останавливаться у нее глаза разбегались при виде всех разложенных тут товаров.

— Ох, красота-то какая, Господи Иисусе! — шептала она, остановившись перед лентами, качавшимися в воздухе и горевшими на солнце, как радуга.

— Выбери, Ягуся, какая тебе больше нравится, — сказал после некоторого раздумья Борына, поборов скупость.

— Где уж! Вон та желтая в цветах наверняка рубль стоит, а то и полтора!

— А это не твоя забота — бери!

Но Ягна скрепя сердце выпустила из рук ленту и пошла дальше, к другой палатке, а Борына задержался на минуту. Во второй лавке торговали платками и всякими материями.

— Экая прелесть, Господи! — шептала очарованная Ягна, погружая дрожащие руки то в зеленый атлас, то в алый бархат. У нее даже голова кружилась и сердце замирало от восторга. А какие платки тут были! Пунцовые шелковые с зелеными цветами по краю! И золотистые, как дароносица! И голубые, как небо после дождя! И белые! А всех краше были те разноцветные и легкие, как паутина, что блестели и переливались, как вода на солнце! Ягна не вытерпела и стала примерять один, глядясь в зеркальце, которое держала перед ней торговка.

Платок очень шел к ней — словно она зорьку обмотала вокруг своих льняных волос, а голубые глаза сияли от удовольствия, и фиолетовая тень падала от них на разгоревшиеся щеки. Она улыбалась и была так хороша, такой молодостью и здоровьем веяло от нее, что люди смотрели на нее и спрашивали друг у друга:

— Пани какая нибудь переодетая, что ли!

Долго любовалась собой Ягна, но, наконец, с тяжелым вздохом сняла платок с головы и, хотя не думала его купить, начала торговаться, — просто так, чтобы подольше глаза тешить.

Но когда торговка спросила за платок пять рублей, она сразу остыла, да и Борына потащил ее дальше.

Потом она постояла еще перед бусами, а было их немало, словно кто всю лавку усеял этими драгоценными камешками, и они сияли и переливались так, что глаз отвести нельзя было: желтые янтари, как кусочки пахучей смолы, кораллы — словно нанизанные на шнурок капельки крови, белый жемчуг, крупный, как лесной орех, серебряные и золотые бусы...

Ягуся все примеряла и выбирала, но больше всего ей понравилась нитка кораллов. Она в четыре ряда обмотала ее вокруг белой шеи и повернулась к старику:

— Поглядите-ка!

— Хороша ты в них, Ягуся... Да мне-то кораллы не в диковинку, — осталось после покойницы в сундуке что-то ниток восемь, крупных, как хороший горох, — сказал он умышленно небрежным тоном.

— Что мне с того, когда они не мои! — Ягна резким движением бросила кораллы на прилавок и пошла дальше большими шагами, хмурая и опечаленная.

— Присядем на минутку, Ягуся.

— Мне, к матери пора.

— Не бойся, без тебя не уедет.

Они присели на каком-то дышле.

— Славная ярмарка, — заметил Борына после минуты молчания, осматриваясь вокруг.

— Да, не малая! — Ягна все еще с сожалением поглядывала в сторону лавок и часто вздыхала, но ее грустное настроение уже, видимо, проходило. Она сказала:

— Панам хорошо... Видела я сегодня помещицу из Воли с дочками: столько себе всего накупили, что лакей за ними нес. И этак на каждой ярмарке!

— Знаешь поговорку: кто на ярмарках гуляет, тому не надолго хватает.

— Им-то хватит!

— Пока евреи в долг дают, — бросил Боруна так злобно, что Ягна даже обернулась к нему и не нашла, что ответить. А старик, не глядя на нее, тихо спросил: — А что, Ягуся, приходили к тебе сваты от Михала Войткова?

— Приходили, да ушли! Этаким недотепа тоже сватов вздумал засылать! — засмеялась Ягуся.

Боруна быстро поднялся, достал из-за пазухи платок и еще что-то, завернутое в бумагу.

— Подержи-ка это, Ягуся, мне к Антеку сходить надо.

— А он тоже здесь, на ярмарке? — Глаза Ягуси засияли.

— Да, сидит с пшеницей, там, в переулке. Это тебе Ягуся, — добавил он, видя, с каким недоумением Ягна рассматривает платок.

— Неужели вправду мне? Дарите?.. Господи, красота какая! — вскрикнула она, вынимая из бумаги ленту, ту самую, которая ей так понравилась. — Да нет, это вы шутите! За что же мне? Таких денег стоит... А платок чистого шелка...

— Бери, Ягуся, бери, для тебя куплено. А коли опять кто из парней сватов с водкой пришлет, не пей, погоди, куда спешить... Ну, мне идти пора.

— Так это вправду мне?

— Ну, зачем я стал бы тебя обманывать?

— Просто не верится! Ягна все раскладывала на коленях то платок, то ленту.

— Оставайся с Богом, Ягуся!..

— Спасибо вам, Мацей.

Боруна ушел, а Ягна еще раз развернула подарки и полюбовалась ими, потом вдруг торопливо свернула их вместе и хотела бежать за ним, отдать... Как же можно принимать подарки от чужого человека! Не родня он ей, и даже не в свойстве! Но старика уже и след простыл. Она медленно пошла разыскивать мать и все время бережно, с наслаждением трогала рукой подарки, спрятанные за пазуху. Она была так рада, что белые зубы ее сверкали в улыбке, а лицо горело румянцем.

— Помогите бедной сироте... Люди добрые... Помолюсь царице небесной за вас и покойников ваших... Ягуся! Ягуся!..

Ягна очнулась от задумчивости и, поискав глазами того, кто ее звал, сразу же увидела Агату, которая сидела у монастырской стены, подложив под себя клок соломы, так как грязь в этом месте была по лодыжку. Она остановилась и стала искать в кармане копеечку, а Агата, обрадовавшись землячке, принялась расспрашивать, что в Липцах делается.

— Выкопали все?

— Все как есть!

— Не знаешь, как там у Клембов?

— Выгнали они вас, заставили по миру ходить, а вы еще об них беспокоитесь!

— Они меня не выгоняли, сама ушла, так надо было. У них тоже не густо, что же они меня даром будут кормить и у себя держать? А спрашиваю оттого, что родня...

— Ну, а вы как, Агата?

— Да что ж, хожу от костела к костелу, из села в село, с ярмарки на ярмарку. Молюсь за добрых людей, да и выпрашиваю себе где угол для ночевки, где варева ложку, где грошик. У людей совесть есть, не дадут убогой с голоду помереть... А не знаешь, там у Клембов все живы-здоровы? — опять спросила она робко.

— Здоровы. А вы-то не хвораете?

— И... какое мое здоровье... Грудь постоянно болит, а когда озябну сильно, так и кровью кашляю... Недолго уж мне по свету ходить, недолго... Хоть бы до весны дотянуть, вернуться в деревню да у своих помереть — только о том и прошу Бога, только о том! — Она раскинула руки, обвитые четками, подняла к небу заплаканное лицо и стала молиться так горячо, что слезы потекли из ее покрасневших глаз.

— За отца моего помолитесь, — шепнула Ягна, сунув ей деньги.

— За своих я и так постоянно молюсь и Бога прошу, и за живых и за умерших. Ягусь, а сваты к тебе не приходили?

— Приходили.

— И никто тебе не приглянулся?

— Никто. Ну, счастливо оставаться, а весною к нам заходите, — сказала Ягна торопливо и пошла навстречу матери, которую увидела издали в обществе органиста и его жены.

А Борына брел к Антеку медленно: во-первых, тесно было на улице, во-вторых — у него из головы не шла Ягна. По дороге он встретил кузнеца.

Поздоровались и шли рядом молча.

— Что же, на чем с вами покончим? — начал кузнец резко.

— Это ты насчет чего? — Борына уже начинал злиться. — Успеешь со мной в Липцах потолковать.

— Да я уж и так четыре года дожидаюсь.

— Так тебе сегодня загорелось! Подождешь еще лет сорок, пока я помру.

— Давно мне люди советуют в суд подать, да я...

— Подавай. Я тебе укажу, где жалобы пишут, и на писаря рубль дам.

— А я так думаю, что мы добром с вами поладим, — хитро вывернулся кузнец.

— Верно. Худой мир лучше доброй ссоры.

— Вы, чай, сами это понимаете не хуже меня.

— А мне с тобой ни воевать, ни мириться не к чему.

— Я всегда жене говорю, что отец нас не обидит, он за справедливость стоит.

— За справедливость всякий стоит, когда она ему надобна, а мне в ней надобности нет, потому что я тебе ничего не должен, — отрезал Борына так твердо, что кузнец сразу смирился и, поняв, что таким путем ничего не добьется, сказал как ни в чем не бывало, очень спокойным и просительным тоном:

— Выпить хочется. Может, угостите?

— Угощу. Как же, любимый зять просит, так и целой квартиры не жаль! — отозвался Борына с легкой издевкой, входя в шинок на углу. Там уже был Амброжий, но не пил, сидел в углу какой-то скучный и печальный.

— Что-то кости у меня ломит — должно быть, к дождю, — пожаловался он.

Борына с кузнецом выпили по одной, потом по второй — и все молча, так как у обоих порядком накипело внутри.

— Пьют, как на поминках! — заметил вслух Амброжий, обиженный тем, что его не потчуют, тогда как он с утра капли в рот не брал.

— До разговоров ли тут! Тесть нынче столько всего продает, надо ему умом пораскинуть, кому деньги под проценты дать.

— Эх, Мацей! Скажу я вам, Мацей, что Господь Бог...

— Кому Мацей, а тебе не Мацей! Ишь, старый черт! Запанибрата свинья с пастухом! — Борына окончательно разозлился.

После двух порций крепкой кузнец собрался с духом и начал тихо:

— Отец, вы мне только одно скажите — дадите или нет?

— Сказано уже: в могилу с собой ничего не унесу, все вам останется. А раньше ни единого морга не дам. На хлеба к вам не пойду... Еще мне жизнь не надоела. Хочется годик-другой еще хозяином на свете пожить.

— Так деньгами выплатите нашу долю.

— Ты слышал, что тебе сказано?

— Третью жену себе высматривает, так что ему дети! — буркнул Амброжий.

— Видно, так оно и есть.

— А вздумается, так и женюсь. Ты, что ли, мне запретишь?

— Запретить не запрещу, однако...

— Захочу, так хоть и завтра сватов пошлю.

— Сватайтесь, разве я вам помеха? Дайте мне хотя бы того теленка, что остался от Пеструхи, так я вам еще и сам помогу. У вас своя голова на плечах, вам виднее, что для вас лучше. Не раз и не два я жене толковал, что вам жениться надо, чтобы в хозяйстве порядок был.

— Ты так говорил, Михал?

— Чтобы мне умереть без причастия, коли не говорил! Вся деревня ко мне за советами ходит, так неужто я не понимаю, чего, вам надо?

— Врет, шельма, и не запнется! Ну, да ладно, приходи завтра, возьмешь теленка. Когда просишь — дам. А вздумаешь со мной судиться — ни шиша не получишь.

Выпили еще. На этот раз угощал кузнец и даже пригласил Амброжия, который охотно подсел к их столу и стал сыпать шутками и прибаутками, так что все хохотали.

Впрочем, они веселились недолго — каждому надо было идти к своим и управиться со всякими делами. Борына и кузнец разошлись мирно, но в глубине души один другому ни на грош не верил, они знали друг друга как свои пять пальцев, видели один другого насквозь.

В шинке остался один Амброжий, который поджидал кумовьев или знакомых, надеясь, что кто-нибудь из них поднесет ему еще хоть полкварти, — всякое даяние благо, годится псу и муха, коли целой косточки никто не бросит! Амброжий выпить любил, а на свои пить было накладно — ведь он был всего только костельным служкой.

Ярмарка подходила к концу.

В самый поддень выглянуло солнце, но только пробежало ярким зайчиком по земле и тотчас спряталось за тучи. А к вечеру все вокруг помрачнело, облака ползли так низко, что почти задевали крыши, и мелкий дождик сеялся, как сквозь густое сито. Люди стали быстро разъезжаться, каждый хотел добраться домой до темноты и большого ливня.

Торговцы тоже поспешно разбирали свои палатки и укладывали товар на телеги, так как дождь становился все чаще и холоднее.

Быстро наступали мокрые, унылые сумерки.

Местечко пустело и затихло. Только нищие еще кое-где причитали у стен да в корчмах шумели и бранились пьяные.

Уже под вечер выехала из местечка и семья Борыны. Они продали все, что привезли, накупили всякой всячины и всласть погуляли на ярмарке. Антек гнал лошадей во весь дух, так как было холодно и все изрядно подвыпили. Старик, который обычно дрожал над каждой копейкой, сегодня так их ублажал и едой, и вином, и ласковым словом, что они диву давались. Пока доехали до леса, наступила ночь. Темно было, хоть глаз выколи, дождь все усиливался. Там и сям на дороге грохотали телеги, раздавались хриплые песни пьяных, слышно было, как пешие шлепали по грязи.

А посередине дороги, под тополями, которые глухо шумели и словно вздыхали от холода, шагал пьяненький Амброжий, то натыкался на дерево, то падал в грязь, но быстро вставал и плелся дальше, по своему обыкновению распевая во все горло.

Полил такой дождь, и было так темно, что ехавшие в телегах не различали хвостов у лошадей, а огоньки деревни мигали впереди, как волчьи глаза во мраке.

VI

Дождь зарядил не на шутку.

С самой ярмарки все тонуло в его серой мутной пелене, только очертания лесов и деревень

маячили сквозь нее, бледные и словно сотканые из мокрой пряжи. Шло бесконечное, пронизывающее, холодное осеннее ненастье. Серые ледяные плети дождя без устали хлестали землю, проникали вглубь, и каждое дерево, каждая былинка трепетали от безмерной боли.

А из-за тяжелых туч, клубившихся над землей, из-за зеленоватой завесы дождя выглядывали по временам почернелые, размокшие поля, сверкали в бороздах потоки пенившейся воды, темнели на межах одинокие деревья, словно набухшие сыростью, трясли последними лоскутами листвы и металась отчаянно, как собаки на привязи.

Пустынные дороги разлились грязными, гниющими лужами.

Тяжело влеклись короткие, печальные, бессолнечные дни, а за ними приходили черные, глухие ночи, вселявшие в душу отчаяние неустанным, монотонным плеском дождя.

Гнетущая тишина обняла землю. Безмолвны были поля, притихли деревни, заглохли леса.

Потемневшие избы словно приникли к земле, теснее жались к плетням, к голым, тихо поскрипывавшим деревьям.

Серая пыль дождей застлала мир, выпила краски, погасила все светлые пятна и погрузила землю во мрак — все представлялось каким-то сонным видением, а с размытых полей, из оцепеневших лесов, из мертвенной пустоты пространств вставала грусть и ходила по земле тяжелым туманом, останавливалась на безлюдных перекрестках под крестами, в отчаянии простиравшими руки свои на пустых дорогах, где озябшие деревья дрожали от холода и рыдали от муки. Заглядывала пустыми глазницами в покинутые гнезда, в развалившиеся хаты, бродила по кладбищам среди забытых могил и сгнивших крестов... Разливалась грусть по всему миру, по затерянным среди полей деревням, заходила в хаты, хлева, сады — и скот мычал от тоскливого беспокойства, и гнулись к земле с глухим стоном деревья, а люди горько вздыхали в мучительной тоске, неутолимой тоске по солнцу.

Дождь моросил без передышки, словно кто частой сеткой завесил мир, и Липцы тонули в густом тумане ненастья, лишь тут и там чернели крыши и каменные ограды в струях дождя и грязные клочья дыма вились над трубами и стлались по садам.

Тихо было в деревне, кое-где только молотили на гумнах хлеб, да и то редко: вся деревня на огородах снимала капусту.

Безлюдна грязная размытая дорога, пусто во дворах и перед избами, — порой мелькнет кто-нибудь в тумане и пропадет, слышно только шлепанье башмаков по грязи. Иногда медленно проползет от торфяников воз, нагруженный капустой, и распугает гусей, подбирающих упавшие с возов листья.

Озеро металось в тесных берегах, и вода все прибывала. В низких местах, на той стороне, где стояла хата Борыны, она заливала дорогу, достигала плетней и брызгала пеной на стены хат.

Вся деревня убирала и возила с поля капусту. Уже амбары, сени и комнаты были набиты ею, а у многих даже под навесами синели груды кочнов.

Перед избами мокли выставленные на дождь громадные бочки.

Торопились страшно, так как дождь почти не переставал и распутица все усиливалась, по дороге уже и сейчас почти невозможно было проехать.

У Доминиковой тоже сегодня снимали капусту.

Ягна и Шимек с утра уехали в поле, а Енджик остался и чинил крышу, протекавшую в нескольких местах.

Близился вечер, начинало уже смеркаться. Старуха часто выходила из дому и смотрела в туманную даль, в сторону мельницы, прислушиваясь, не едут ли дети.

А на огородах, лежавших в долине за мельницей, еще кипела работа.

Сквозь мокрый седой туман, окутавший луга, поблескивали только широкие канавы, полные мутной воды, высокие гряды капусты голубели бледной зеленью, а местами рыжели, будто полосы ржавого железа. Мелькали там и сям красные юбки женщин и груды уже снятых кочнов.

А вдали над рекой, шумно мчавшейся среди густых зарослей, чернели в тумане груды торфа и телеги, к которым люди носили снизу капусту, так как размокшая земля мешала подъезжать к самым грядам.

Некоторые уже кончали уборку и собирались домой. Все громче звучали в тумане голоса и летели от гряды к гряде.

Ягна только что кончила свою полосу. Она была сильно утомлена, проголодалась и промокла до костей; башмаки уходили целиком в рыжую болотистую землю, так что приходилось их то и дело снимать и выливать из них воду.

— Шимек! Живее поворачивайся, я уже ног не чую! — крикнула она жалобно и, видя, что парень не может сам справиться, нетерпеливо вырвала у него из рук большущий мешок, скинула его на спину и понесла к телеге.

— Этакой большой парень, а спина слабая, как у бабы после родов, — проворчала она с презрением, высыпая капусту в кузов, выстланный соломой.

Пристыженный Шимек, что-то бормоча себе под нос и почесывая затылок, принялся запрягать лошадей.

— Да поторопись же, Шимек, ночь на дворе! — подгоняла его Ягна, сносившая капусту в телегу.

Ночь действительно надвигалась, сумрак густел, чернел, а дождь усилился, и вокруг слышен был непрерывный плеск, словно кто сыпал и сыпал зерно.

— Юзя! Кончите нынче? крикнула Ягна дочке Борыны, которая вместе с Ганкой и Кубой работала неподалеку.

— Кончим! Да и домой пора, вишь, как льет, на мне все до нитки промокло. А вы уже едете?

— Едем. Ночь близко, темень такая, что, пожалуй, дороги не найдешь. Что осталось, свезем завтра. А славная у вас капуста! — добавила Ягна, нагнувшись.

— И ваша не хуже, а кочны у вас больше, чем у всех.

— А у нас рассада была из новых семян, ксендз привез из Варшавы.

— Ягна! — слышался снова из темноты голос Юзи. — Знаешь, завтра Валек Юзефов пошлет сватов к Марысе Потетковой.

— К такой девчонке? Разве уж ей годы вышли? Кажись, еще прошлым летом коров пасла!

— Нет, замуж ей уже можно, да и земли за ней столько, что парни за ней гоняются.

— Будут и за тобой гоняться, Юзя, будут...

— Коли отец в третий раз не женится! — крикнула Ягустинка откуда-то через две полосы.

— Что выдумала! Ведь мы весною только мать схоронили! — с тревогой сказала Ганка.

— А мужики на это не смотрят. Каждый мужик — что боров: как бы ни нажрался, а в новое корыто рыло сует. Ого! Одна не успеет богу душу отдать, а он уже на другую заглядывается. Бессовестные они. Вот хоть Сикору взять: через три недели после похорон первой жены уже с другой обвенчался.

— Правда. Но что ж ему было делать: после покойницы пятеро малышей осталось.

— Только дурак поверит, что он ради ребятишек женился! Для себя, — чтобы не скучно было одному под периной.

— А мы отцу не позволили бы, нет! — решительно воскликнула Юзя.

— Молода ты еще и глупа... Земля отцова, так и воля отцова!

— Дети тоже что-нибудь да значат и права свои имеют, — начала Ганка.

— Э, с чужого коня среди грязи долой! — буркнула Ягустинка и замолчала, так как рассерженная Юзя начала звать Витека, который шатался где-то у реки.

Ягна в разговор не вмешивалась, носила капусту и только усмехалась про себя, вспоминая ярмарку. Когда воз их был полон, Шимек стал выезжать на дорогу.

— Ну, оставайтесь с Богом! — крикнула она соседкам.

— Поезжайте с Богом, мы тоже вслед за вами... Ягуся, придешь к нам капусту чистить?

— Скажешь — когда, так приду. Обязательно приду!

— А ты слыхала, что в воскресенье у Клембов парни вечеринку с музыкой затевают?

— Знаю, Юзя, слыхала.

— Если встретишь дорогой Антека, скажи, что мы ждем, пусть едет поскорее, — попросила Ганка.

— Ладно.

Ягна побежала быстро, чтобы догнать телегу, потому что Шимек отъехал уже довольно далеко, и только слышно было, как он ругает лошадь. Телега увязала по самые оси в размокшем торфе. В некоторых местах приходилось ему и Ягне помогать лошади, вытаскивать ее из грязи.

Оба молчали. Шимек вел под уздцы лошадь и следил, чтобы телега не опрокинулась, так как дорога была вся в ямах. А Ягна шла с другой стороны, подпирала телегу плечом и думала, как ей принарядиться, когда пойдет к Борынам чистить капусту.

Темнело так быстро, что они уже едва могли разглядеть лошадь; дождь прекратился, но тяжелый сырой туман стеснял дыхание; а вверху глухо шумел ветер и налетал на деревья на плотине, к которой сейчас подъезжали Ягна с Шимеком.

Подъем на плотину был трудный — крутой и скользкий, лошадь спотыкалась и на каждом шагу останавливалась, и они едва удерживали воз, чтобы он не скатился назад.

— Не надо было столько наваливать на одну лошадь, — раздался вдруг чей-то голос с плотины.

— Это ты, Антоний?

— Я.

— Так поторопись, там тебя уже Ганка ждет не дождется. Подсоби нам!

— Погоди, сейчас сойду, так помогу. Темень такая, что ни зги не видать.

Антек так крепко подпер воз, что лошадь двинулась вперед во весь опор и остановилась только уже наверху, на плотине.

— Вот спасибо тебе! Ну и сильный же ты, Антоний! — Ягна протянула руку Антеку.

Телега двинулась дальше, а они оба вдруг примолкли и шли рядом, не зная, что сказать, в непонятном смущении.

— А что же ты обратно идешь? — шепнула Ягна.

— Провожу тебя до мельницы, Ягусь, — там вода дорогу сильно размывла.

— Ох, и тьма же, Господи! — воскликнула она.

— Страшно тебе, Ягусь? — спросил Антек тихо, придвигаясь ближе.

— Вот еще! Чего бояться?

Они опять замолчали и шли все так же — плечо к плечу.

— Глаза у тебя светятся, как у волка... даже чудно!..

— Придешь в воскресенье на музыку к Клембам?

— Не знаю, пустит ли мать...

— Приходи, Ягусь, приходи! — попросил он тихим, сдавленным голосом.

— Ты хочешь? — сказала она мягко, заглянув ему в глаза.

— Господи, да я ведь только ради тебя подрядил скрипача из Воли и ради тебя уговорил Клемба пустить нас в хату... ради тебя, Ягусь! — шептал он и так близко пригнулся к ней, дыша ей в лицо, что Ягуся даже немного отшатнулась и задрожала от волнения.

— Иди уж... тебя там ждут... еще увидит кто... иди!

— Так придешь?

— Приду... Приду! — повторила она и оглянулась, но Антек уже скрылся во мраке, и только слышно было хлюпанье жидкой грязи под его ногами.

Ягну внезапно пронизала дрожь, и что-то огненным вихрем ожгло сердце и голову. Она не понимала, что с нею. Глаза горели, словно засыпанные жаром, она не могла перевести дыхания, не могла утишить бурно стучавшего сердца. Она бессознательно раскинула руки, словно обнять кого-то хотела, и ею овладела такая страстная истома, что она чуть не застонала.

Она догнала воз, схватилась за подпоры, и хотя это было совсем не нужно, стала так сильно

толкать его вперед, что воз даже скрипел, качался, и кочны капусты падали в грязь. А перед нею неотступно стояло лицо Антека, его глаза, жадные, горящие.

"Дьявол! Другого такого на свете нет!" — думала она в смятении.

Ее привел в себя грохот мельницы, мимо которой они проезжали, и шум воды, лившейся на колеса из-под шлюзов, открытых, так как река сильно разлилась... Вода с глухим ревом спадала вниз и, разбиваясь на белые брызги, пенилась и сверкала в широко разлившейся реке.

В доме мельника, стоявшем у самой дороги, уже зажгли огонь, и сквозь занавески видна была горевшая на столе лампа.

— Гляди, лампа у них, как у ксендза или у панов каких!

— А разве они не богачи? Земли у него больше, чем у Борыны, денег столько, что он их под проценты отдает. Думаешь, мало он на помолу плурует? — сказал Шимек.

"Живут, как помещики... Таким всегда хорошо. Ходят по комнатам... на диванах вылеживают в тепле... едят сладко, а люди на них работают..."- думала Ягна без всякой зависти, не слушая Шимека, который, при всей своей молчаливости, разговорившись, мог говорить без конца.

Наконец, они дотащились до дому. В хате было светло, тепло, на очаге весело бушевал огонь. Енджик чистил картошку, а старуха готовила ужин.

У печи грелся какой-то пожилой седой человек.

— Что, кончили, Ягна?

— Осталась на полосе самая малость, охапки три, не больше.

Ягна ушла в свою каморку переодеться, и скоро она уже хлопотала в избе и собирала на стол, внимательно и с любопытством приглядываясь к незнакомому старику, который сидел молча, смотрел в огонь и, перебирая четки, шевелил губами... Когда сели ужинать, Доминикова положила лишнюю ложку и позвала его к столу.

— Оставайтесь с Богом! Я еще загляну к вам, потому что, может, подольше в Липцах поживу.

Он встал на колени и, помолясь на образа, перекрестился и вышел.

— Кто это! — спросила Ягна с удивлением.

— Странник святой, от Гроба Господня идет... я его давно знаю, он не раз в Липцах бывал. Года три тому назад...

Она не договорила: вошел Амброжий, поздоровался и сел у печи.

— Холодище такой и ливень, что даже деревяшка моя окостенела!

— И чего ты ночью по грязи бродишь?.. Сидел бы дома да Богу молился, — сказала хозяйка ворчливо.

— Скучно стало одному, вот я и пошел по девушкам ходить, да к тебе, Ягуся, первой зашел...

— Девушку вашу смертью звать...

— Эта про меня совсем забыла — за молодыми бегают.

— Ну? — вопросительно бросила Доминикова.

— Правду говорю. Его преподобие уже ходил на тот берег причащать Бартека.

— Что ты? На ярмарке я его видела здоровым.

— Зятек так его саданул колом, что всю печенку ему отшиб!

— За что же это? Когда?

— Из-за чего же, как не из-за земли? Спорили уже с полгода, а вот нынче в полдень и сочлись.

— Кары божьей нет на них, на разбойников! — сказала Ягна.

— Придет она, Ягна, придет, не беспокойся, — сказала уверенно мать, поднимая глаза к образам.

— А кто помер, уже не встанет, — тихо отозвался Амброжий.

— Садись к столу, поешь чего Бог послал.

— Не откажусь. Одну мисочку, ежели большая, пожалуй, одолею, — балагурил Амброжий.

— И все-то у тебя на уме шутки да забавы.

— Только они мне и остались. А заботы — на что они мне?

Все сели к столу, на котором стояли миски, и ели медленно, молча. Только Амброжий иногда шутил, но смеялся он один — парни рады бы посмеяться, да боялись суровых взглядов матери.

— Ксендз дома? — спросила Доминикова к концу ужина.

— А где же ему быть в такую слякоть? Сидит, как еврей, над книгами.

— Мудрый он человек, ученый.

— И добрее его на свете нет, — добавила Ягна.

— А как же никому в бороду не плюет и все, что дадут, берет...

— Будет тебе вздор молоть!..

После ужина Ягна и мать сели пряхсть, а сыновья, как всегда, стали убирать со стола и мыть посуду. Так уж было заведено у Доминиковой, — сыновей она держала в ежовых рукавицах и заставляла делать всякую домашнюю работу, чтобы Ягуся ручек не запачкала.

Амброжий закурил трубку, пуская дым в печку, и то поправлял головешки, то подбрасывал еще хворосту. Он все поглядывал на женщин, что-то, видимо, обдумывая.

— Кажись, сваты к вам приходили?

— Сколько раз!

— Не диво — Ягна-то у тебя красавица писаная. Ксендз Говорил, что лучше ее и в городе не встретишь.

Ягна покраснела от удовольствия.

— Так и сказал? Дай ему Бог здоровья! Давно я собираюсь отнести ему денег на поминанье. Завтра непременно отнесу.

Амброжий начал, понизив голос:

— Заслал бы к вам сватов еще один человек, да опасается маленько.

— Парень? — спросила старуха, наматывая пряжу на стучавшее по полу веретено.

— Хозяин, первый на всю деревню... родовитый... только вдовец.

— Чужих ребят качать не стану!

— Дети у него уже выросли, Ягуся, не бойся.

— На что ей старый... Она у меня еще не засиделась. Подождет молодого, такого, что ей приглянется.

— Молодых у нас довольно, за этим дело не станет. Парни хоть куда: папиросы курят, пляшут в корчме и водку дуют, а невесту каждый себе присматривает такую, за которой и землю и денежки дадут, — чтобы было на что гулять... Хозяева, сукины дети! До полудня спят, а после полудня тачками навоз возят да лопатами поле пашут.

— Такому я на потеху Ягны не отдам.

— Правильно! Недаром говорят, что ты на деревне всех умнее.

— А только и со стариком молодой какая радость?

— Что ж, для радости разве кругом молодых нет?

— До таких лет дожил, а все еще у тебя ветер в голове! — строго остановила его Доминикова.

— Э... мало ли что сболтнешь иной раз, чтобы язык почесать.

Они долго молчали.

— Старик и уважит и на чужой грош не позарится, — снова начал Амброжий.

— Нет, нет. Отдай за старика — греха не оберешься.

— Он бы на нее землю записал, — продолжал Амброжий серьезно, выколачивая трубку.

— У Ягны своей довольно, — ответила старуха, но не сразу и уже не так уверенно.

— Он дал бы больше, чем возьмет...

— Толкуй!

— Да ведь не сам я это выдумал, не от себя пришел...

Опять помолчали. Старуха долго осматривала растрепанную пряжу, потом поспешила палец и начала левой рукой вытягивать волокно, а правой вертела веретено, которое волчком крутилось по полу и жужжало.

— Ну, что же скажешь? Присылать ему сватов или нет?

— А кто это?

— Не знаешь, что ли? Вот кто! — указал он в окно на огоньки, мигавшие за озером в хате у Борыны.

— Дети у него взрослые, Ягну обижать будут. И на часть отцовской земли они имеют права.

— Да свое-то он может ей отдать? И человек он хороший, и хозяин не какой-нибудь, и Бога боится, Крепкий еще — на моих глазах целый мешок ржи взвалил на спину! Ягне ни в чем недостатка не будет, разве только птичьего молока там не хватает... И еще вам скажу: на будущий год Анджею вашему в солдаты идти, — а Борыну все начальство знает, он может помочь...

— Ну, как думаешь, Ягуся?

— Прикажете, так пойду... Воля ваша, а не моя, — промолвила Ягна тихо, рассеянно глядя в огонь и слушая веселое потрескивание сучьев.

"Тот ли, другой ли — все равно!" — подумала она, но вдруг дрогнула, вспомнив Антека.

— Так как же? — спросил Амброжий, вставая.

— Пусть присылает... Сговор еще не свадьба, — ответила Доменикова с расстановкой.

Амброжий попрощался и пошел прямо к Борыне.

А Ягна все сидела неподвижно и молча.

— Ягуся... дочка!.. Ты что?

— Да ничего. Мне все равно. Велите, пойду за Борыну. А нет, так при вас останусь... худо мне с вами, что ли?

Старуха, не переставая прясть, заговорила тихо:

— Я о тебе хлопочу, чтобы тебе получше было... Он хоть и стар, да крепкий еще, и человек добрый, не то, что другие мужики, он тебя побережет. Помещицей заживешь, полной хозяйкой... А как будет тебе запись делать, я уж его уговорю, чтобы землю тебе выделил около нашей, под горкой... Пусть хоть шесть моргов запишет... Слышишь, что я говорю? Шесть моргов!.. А замуж тебе надо... надо! И так уж о тебе худая слава идет, по всей деревне языки чешут... Я бы кабанчика заколола... А может, и не надо?.. может... — Она замолчала и остальное додумывала уже про себя, а Ягна словно и не слышала ее слов и машинально пряла. Казалось, ее ничуть не заботит собственная судьба — так мало она думала об этом замужестве.

Разве плохо ей жилось при матери? Делала, что хотела, и ни от кого грубого слова никогда не слыхала. Что ей за дело до земли, каких-то там записей, чужого богатства? А муж?.. Мало ли парней гонялось за ней — только захоти, так все в одну ночь к ней сбегутся...

Мысли ее тянулись лениво, как нить из кудели, но, как эта нить, все вертелись вокруг одного и того же: если мать велит, то надо будет идти за Борыну. Что ж, он даже лучше других, он купил ей ленту и платок... Но и Антек тоже, наверное, купил бы ей такие же... а может, и другие парни, если бы у них было столько денег, сколько у Борыны... Все добрые... как тут выбрать? Нет, это не ее ума дело, мать лучше знает, как надо поступить!

Ягна снова засмотрелась в окно на почерневшие, увядшие георгины, которые качал ветер, но тут же забыла о них, забыла обо всем, даже о себе самой, и впала в такое глубокое забытье,

как мать-земля осенними мертвыми ночами. Как эта святая земля, была душа Ягуси, таившая в себе неведомые глубины, хаос сонных мечтаний, огромная — и себя не знающая, могучая — и безвольная, без желаний и стремлений, мертвая — и бессмертная. И, как эту землю, покорял ее каждый ветер, обнимал, и баюкал, и нес, куда хотел. Весною землю будит горячее солнце, зачиная в ней жизнь, пронизывает жаром и трепетом, жаждой любви, и она родит, ибо должна родить, живет, поет, властвует, творит и уничтожает, ибо так должно. Она существует, ибо должна существовать. И, как эта земля, была душа Ягуси, как эта святая земля!

Долго сидела она молча, только звездные очи ее светились, как тихие воды в весенний полдень. Очнулась тогда, когда кто-то вдруг отворил дверь в сени.

Вбежала, запыхавшись, Юзя, подошла к печи и, выливая воду из башмаков, сказала:

— Ягуся, завтра у нас капусту чистить будут. Придешь?

— Приду.

Будем в избе чистить. У отца сейчас Амброжий сидит, так я потихоньку ушла, чтобы тебе сказать. Будут Улися, и Марыся, и Викто, и другая наша родня. И парни придут. Петрик обещался скрипку с собой принести.

— Это какой Петрик?

— Михалов, — они за войтом живут. Петрик этой осенью с военной службы пришел и так теперь чудно говорит, что его не сразу и поймешь.

Наболтавшись вдоволь, Юзья умчалась домой. В избе снова наступила тишина. По временам дождь стучал в окна — как будто кто швырял в стекла пригоршни песку. Ветер шумел и проказничал в саду, дул в трубу так, что уголья из печи рассыпались во все стороны и дым валил в комнату. И непрерывно жужжали веретена.

Вечер тянулся медленно. Старуха тихим, дрожащим голосом затянула:

Все дела дневные наши... —

а Ягна и парни вторили ей так заунывно, что даже куры в сенях на насестах раскудахтались.

## VII

Следующий день был такой же дождливый и хмурый. Каждую минуту из той или иной хаты выходил кто-нибудь. И долго, озабоченно смотрел в пасмурное небо: не проясняется ли? Но не видно было ничего, кроме серых туч, плывших так низко, что они цеплялись за деревья. Дождь моросил без перерыва, а после полудня перешел в ливень, который так и гремел по крышам, словно кто открыл все небесные шлюзы. Люди сидели дома и брюзжали. Кое-кто, несмотря на дождь, шлепал по грязи к соседям — отвести душу в жалобах. Собаку в такую погоду на двор не выгонишь, а тут у многих подстилки еще в лесу, дрова не запасены, почти у всех еще не убрана капуста с поля, а ехать за ней невозможно, вода в озере ночью так поднялась, что пришлось чуть свет шлюзы открыть и спустить ее в реку, которая и без того

разлилась широко. Луга были затоплены, а капустные гряды островами чернели среди седой пены разлива.

У Доминиковой тоже еще не убрали с поля остатков капусты.

Ягна с утра места себе не находила. Она то слонялась из угла в угол, то смотрела в окно на кусты георгин, прибитые к земле дождем, на залитую водой деревню — и тяжело вздыхала.

— Господи, тоска какая! — шептала она, с нетерпением ожидая сумерек, чтобы пойти к Бoryне чистить капусту, а день, как назло, тянулся медленно, как нищий по грязи, так томительно и грустно, что трудно было выдержать. Раздраженная Ягна покрикивала на братьев и швыряла все, что попадалось под руку. К тому же у нее разболелась голова, пришлось положить на лоб компресс из пареного овса с уксусом, и тогда только боль утихла. Но тоска не проходила, работа валилась из рук. Она подолгу смотрела на разлившееся озеро. Как птица, которая, раскинув тяжелые крылья, бьет ими в воздухе, а улететь не может, словно ноги ее вросли в землю, — оно вздымалось с шумом, и вода хлестала на дорогу. А за озером стоял дом Бoryны, хорошо были видны позеленевшая от старости крыша и крыльцо, недавно покрытое свежим, еще желтым тесом, и постройки за садом. Но Ягна смотрела и не видела всего этого.

Доминиковой с самого утра не было дома, ее позвали к роженице на другой конец села, так как она считалась чем-то вроде лекарки.

А Ягну сегодня тянуло бежать куда-то, на свет божий, к людям. Но всякий раз, как она, накинув платок на голову, выглядывала за дверь, дождь и слякоть отбивали у нее всякую охоту выйти. В конце концов ей даже плакать захотелось от этой непонятной тоски. Не зная, что с собой делать, она открыла сундук и стала вынимать и раскладывать на кроватях свои праздничные наряды. Комната так и горела полосатыми юбками, яркими передниками и кофтами, но сегодня и это не тешило девушку. Равнодушным, скучающим взглядом обзревала она свое добро, и только платок и ленту, подаренные Бoryной, вытащила с самого низу, нарядилась в них и долго гляделась в зеркальце.

"Надо будет вечером их надеть", — подумала она и тотчас сняла обновки, услышав, что кто-то идет по двору к избе.

Вошел Матеуш. Ягна ахнула от удивления. Это был тот, из-за кого о ней ходило столько сплетен в деревне, — говорили, что она встречается с ним по ночам в саду, а частенько они забираются еще подальше. Парень был уже не молодой, лет за тридцать, но все еще холостой — не хотел жениться, пока не выдаст сестер замуж. Ягустинка объясняла это иначе — тем, что ему больше нравится гулять с девушками и чужими женами.

Матеуш был парень рослый, как дуб, сильный, самоуверенный и такой дерзкий и неуступчивый, что многие ею побаивались. А мастер был на все руки: на флейте играл так, что за сердце хватало, телегу ли сбить, избу поставить, печь ли сложить — все он умел и делал ловко, работа кипела у него в руках. Зарабатывал немало, но деньги у него не держались, — тут же все пропьет и прогуляет с другими или в долг раздаст. Фамилия его была Голуб, хотя он больше походил на ястреба — и лицом и своим неистовым нравом.

— Слава Иисусу!

— Во веки... Матеуш, ты?!

— Я, Ягусь, я самый.

Он так крепко стиснул ее руки, так горячо посмотрел ей в глаза, что девушка вспыхнула и с беспокойством оглянулась на дверь.

— Целых полгода бродил по свету... — прошептала она в замешательстве.

— Да, целых полгода и двадцать три дня... Я не раз их считал. — Матеуш все еще не выпускал ее рук.

— Дай-ка я огонь зажгу, — сказала Ягна для того, чтобы он отпустил ее. Да к тому же в избе уже порядком стемнело.

— Что ж ты меня не приветишь, Ягусь? — попросил он тихо и хотел ее обнять, но она торопливо вывернулась и пошла к печи зажечь огонь. Она боялась, как бы мать или кто другой не застали их в потемках. Матеуш перехватил ее по дороге, обнял и, крепко прижав к себе, стал бешено целовать.

Она забилась, как птица, в его объятиях, но в ее ли силах было вырваться от этого изголодавшегося молодца, он сжимал ее так, что ребра трещали, целовал так, что она совсем ослабела, в глазах темнело и она, задыхаясь, едва могла простонать:

— Пусти!.. Матеуш... Мать!..

— Еще чуточку, Ягусь, еще раз, не то ошалею! — и целовал все неистовее, так что Ягуся совсем разомлела и поникла у него на руках — казалось, прольется она из этих рук, как вода. Но он, услышав шаги в сенях, отпустил ее, сам зажег лампочку над лежанкой и стал свертывать папиросу, горящими глазами поглядывая на Ягну. А Ягна все еще не могла прийти в себя, плотно прижималась к стене и тяжело дышала.

Вошел Енджик, принялся раздувать огонь на очаге, потом поставил на него горшки с водой и все время вертелся в избе, так что Ягна и Матеуш уже не могли разговаривать свободно и только обменивались жадными взглядами, словно съесть друг друга хотели.

Скоро пришла и Доминикова. Видно было, что она не в духе, так как уже в сенях накричала на Шимека, а увидев Матеуша, грозно смерила его глазами, не ответила на поклон и ушла в спальню переодеться.

— Уйди, Матеуш, мать браниться будет! — тихо попросила Ягна.

— А ты выйдешь ко мне, Ягусь?

— Что, воротился уже? — спросила старуха, словно сейчас только его заметив.

— Вернулся, мать, — ответил Матеуш мягко и хотел поцеловать у нее руку.

— Сука тебе матерью была, а не я! — огрызнулась она, сердито вырывая руку. — Зачем пожаловал? Сказано тебе было, что нечего тебе у нас делать, не ко двору ты здесь.

— Я к Ягусе пришел, не к вам, — резко крикнул Матеуш, тоже начиная злиться.

— К Ягусе ты и подходить не смей, слышишь? Не хочу, чтобы из-за тебя ее по всей деревне ославили, как последнюю! И на глаза мне больше не попадайся! — завопила Доминикова.

— Раскричалась, как ворона, — вся деревня услышит!

— Пусть слышат, пусть сбегутся все, пусть знают, что прицепился ты к Ягне, как репей к собачьему хвосту, и хватом не отгонишь!

— Не будь ты баба, пересчитал бы я тебе ребра за такие слова!

— Попробуй, разбойник, попробуй, пес ты этакий! — Доминикова схватила железную кочергу.

Но пустить в дело кочергу не пришлось. Матеуш плюнул, хлопнул дверью и поспешно вышел. Не драться же с бабой, всей деревне на посмешище!

По его уходе старая накинулась на Ягну и давай ее пилить и выкладывать все, что у нее накопилось на душе. Ягуся сидела тихо, помертвев от испуга, но, когда слова матери уж очень задели ее за живое, она очнулась и, уткнув голову в подушку, разразилась плачем и жалобами. Она ужасно разобиделась на мать: ни в чем она не виновата, она не звала Матеуша в хату, он сам пришел. А если мать ее корит за то, что было весною... они с Матеушем встретились тогда у перелаза... и как ей было вырваться от этакого дьявола? Ее так разобрало, что... А после этого разве она могла от него отделаться? С нею так всегда бывает, — если кто взглянет на нее горячо или обнимет крепко, — все задрожит у нее внутри, ослабеет она, и сердце так замрет, что она уже ничего не помнит...чем же она виновата?

Так Ягна тихо жаловалась сквозь слезы, и в конце концов мать смягчилась, начала заботливо утирать ей глаза и лицо, гладить по голове и уговаривать:

— Будет, Ягуся, не плачь, ну! Глаза покраснеют, словно у кролика. Как же ты тогда пойдешь к Борыне?

— А уже пора? — спросила Ягна через минуту, немного успокоившись.

— Пора. Принарядись получше, там люди будут, да и сам Борына заметит...

Ягна сейчас же встала и начала одеваться.

— Вскипятить тебе молока?

— Не надо, матуля, мне есть совсем не хочется.

— Шимек! Греется тут, чучело, а там коровы о пустые ясли зубами стучат! — крикнула мать, срывая на сыне остаток раздражения, и Шимек поскорее выскочил вон, чтобы не досталось на орехи.

— А кузнец, видно, поладил с Борыной, — говорила старуха уже спокойнее, помогая Ягне одеваться. — Он встретился мне на дороге, вел от старика славного теленка. Жаль! За этого теленка пятнадцать рублей сейчас дадут!.. Но, может, и к лучшему, что они помирились: кузнец — зубастый и законы знает...

Она отступила на шаг, чтобы полюбоваться дочерью.

— Говорят, этого вора, Козла, уже выпустили, теперь опять надо все запирать и хорошенько смотреть...

— Ну, я пройду.

— Что ж, ступай, сиди там до полуночи да хороводься с парнями! — крикнула вдруг Доминикова в последней вспышке злости.

Ягна вышла, но во дворе еще слышала, как мать кричала на Енджика за то, что свиньи не загнаны в хлев, а куры ночуют на деревьях.

У Борыны уже собралось много народу.

В печке шумел огонь, освещая большую горницу, блестели стекла образов, колыхались подвешенные на нитках к закопченным балкам разноцветные облатки. Посреди избы лежала груда капусты, а вокруг нее широким полукругом, лицом к печи, сидели девушки. Было тут и несколько пожилых женщин. Они срезали листья, а кочны бросали на разостланное под

окном рядом.

Ягна согрела у печки руки, поставила свои башмаки у окна и, сев на свободное место с краю, рядом со старой Ягустиной, принялась за работу.

В избе становилось шумнее по мере того, как подходили новые гости. Парни вместе с Кубой носили капусту из амбара, но больше курили, зубоскалили и переглядывались с девушками.

Юзька, хотя была совсем еще девчонка, всем распоряжалась, так как Борыны дома не было, да и в шутках и веселье она была первая. А Ганка бродила, как тень, угрюмая и ворчливая.

— Красно в избе у нас, словно в поле от макова цвета! — воскликнул Антек, входя. Он только что вкатил в сени бочку, а сейчас ставил у печи, немного в стороне, сечки.

— Нарядились все, как на свадьбу, — заметила одна из пожилых баб.

— А Ягусю словно кто в молоке выкупал! — колко сказала Ягустинка.

— Полно вам! — шепнула Ягна краснея.

— Радуйтесь, девушки, Матеуш воротился! Теперь пойдет музыка, пляс да гулянки по садам, — не унималась Ягустинка.

— Все лето его не было.

— Он усадьбу строил в Воле.

— На все руки мастер, черт его дери, носом мыльные пузыри пускает, — сказал кто-то из парней.

— А девушек приголубить так умеет, что и девяти месяцев ждать не приходится...

— Ягустинка ни о ком доброго слова не скажет, — заметила одна из девушек.

— Гляди, как бы я о тебе чего не сказала!..

— А знаете, тот старик, странник, опять пришел.

— Он нынче у нас будет, — объявила Юзя.

— Целых три года по свету ходил!

— По свету! Да он у Гроба Господня побывал.

— Ну да! Кто его там видел? Врет старик, а дураки верят. Вот и кузнец тоже толкует про заморские края, а сам все это в газетах вычитал.

— Не мелите вздору, Ягустинка, сам ксендз матери говорил, что это правда.

— Ну, коли так... Известно, твоя мать в плетении все равно как у себя дома, и всегда знает, когда у ксендза брюхо болит, — на то она и лекарка!

Ягна смолчала, но ей сильно хотелось пырнуть Ягустинку ножом, которым она резала капусту, когда после ее слов в избе грянул дружный смех. Только Улися Грегорова не смеялась и, нагнувшись к жене Клемба, спросила:

— А откуда он, этот странник?

— Откуда? Кто ж его знает! Свет велик. — Клембова наклонилась, взяла головку капусты и,

обрезая листья, заговорила быстро и громко, чтобы слышали и другие:

— Каждые три года приходит зимой в Липцы и живет у Боруны... звать себя велит Рохом, но это, должно быть, не его имя... То ли он нищий, то ли нет — кто его знает. Но человек набожный и добрый. Ребятишкам дарит образки да всякие картинки. Есть у него книжки и про божественное, и такие, в которых написано обо всем, что на свете делается. Читал он одну моему Валеку, а мы с мужем слушали, да только позабыла я, о чем там, потому что понять трудно. А набожный какой! Иной раз полдня все молится на коленях у креста на дороге или в поле, но в костел только к обедне ходит. Ксендз звал его к себе жить, да он ему сказал:

— Мое место не в хоромах, я с народом быть должен.

— Люди думают, что он не нашего, крестьянского, сословия, хотя и говорит, как мы. Ученый он: с евреем по-немецки говорит, а в Джазговой усадьбе, у помещика — еще как-то по-другому, позаграничному разговаривал с паненкой, которая ездила лечиться в теплые края... И ни у кого ничего не берет, — только каплю молока да хлеба краюху, и то не даром, он за это детей учит. Сказывают, что он...

Клембова не договорила, ей помешал дружный хохот девушек. Все покатывались со смеху, глядя на Кубу.

Куба нес капусту, его кто-то толкнул, и он растянулся на полу посреди избы, а капуста разлетелась во все стороны. Он несколько раз пробовал подняться, но, едва только встанет на четвереньки, как его опять толкнут, и он падал снова. Наконец, Юзя за него вступилась и помогла ему встать. И ругался же он, ох, и ругался же!

Понемногу разговор перешел на другое. Все говорили негромко, но шум был такой, как в улье, когда пчелы роятся. Шутки встречались дружным смехом, глаза искрились весельем, все лица улыбались. А работа шла своим чередом, листья хрустели под ножами, кочны, как пули, летели на разостланную холстину, на которой росла и росла высокая грудка. У печи Антек рубил капусту над большой кадкой. Он снял кафтан, оставшись в одной рубахе и полосатых домотканых штанах, лицо его покраснелось, волосы растрепались, лоб был усеян капельками пота. Он работал усердно, но успевал и смеяться и балагурить, — и был так красив, что Ягна загляделась на него, как на картину. Да и не она одна... Антек останавливался по временам, чтобы передохнуть, и весело смотрел на нее, и от его взгляда Ягна краснела и опускала глаза. Никто не замечал этого, кроме Ягустинки, а она, притворяясь, будто ничего не видит, уже мысленно готовилась рассказывать об этом по всей деревне...

— А знаете, Марцыха, кажись, родила, — начала Клембова.

— Это ей не впервой — каждый год рождает.

— Баба — как буйвол, ей это полезно, кровь от головы оттягивает, — сказала Ягустинка и собиралась еще что-то добавить, но другие женщины напали на нее, зачем она при девушках говорит о таких вещах.

— Не беспокойтесь, они и не то еще знают! Такие пошли времена, что даже девчонке, которая гусей пасет, сказок про аиста и не говорите — рассмеется вам в глаза! Не так было в наши годы...

— Ну, ты-то все знала, когда еще коров пасла, — серьезно заметила старая вдова Вавжона.

— Думаешь, не помню, что ты проделывала на выгонах?..

— Помнишь, так и помни про себя! — сердито прикрикнула на нее Ягустинка.

— Я тогда уже замужем была... за Матеушем, кажись... Или за Михалом... Да, за Михалом, потому что Вавжон был у меня третий, — бормотала Вавжониха, путаясь в воспоминаниях.

— Сидите вы тут и не знаете, что случилось! — крикнула, вбегая в избу, запыхавшаяся Настуся Голуб, сестра Матеуша.

Со всех сторон посыпались взволнованные вопросы, все глаза устремились на Настусю. — У мельника лошадей украли!

— Когда!

— Да с полчаса будет, не больше. Только что Янкель рассказал Матеушу.

— Янкель все тотчас узнает, а иногда и маленько раньше. — Лошади-то какие! Орлы!

— Их из конюшни увели. Работник ушел на мельницу за кормом, вернулся, смотрит — ни лошадей, ни упряжи, и собака в конуре отравленная лежит!

— Как зима подходит, так и начинают куролесить!

— Что ж, коли на воров никакой управы нет! Что ему сделают? Посадят в тюрьму, кормить будут, отсидится в тепле, с другими ворами там снюхается, а, как выпустят, он еще ловчее ворует, — потому что ученый!

— Если б у меня лошадь увели, и я бы вора поймал, — убил бы на месте, как бешеную собаку! — воскликнул кто-то из парней.

— И стоило бы! Только дураки ищут справедливости на свете. Каждый имеет право за свою обиду отплатить.

— Поймать бы такого да всей деревней и убить — тогда отвечать не пришлось бы: разве всех засудишь?

— Помнится, один раз сделали так у нас... тогда я уже за вторым мужем жила... нет, сдается, еще за Матеушем...

Все рассуждения прервал вошедший Борына.

— Так тихо вы тут шепчетесь, что на том берегу слышно! — воскликнул он весело и, сняв шапку, стал здороваться со всеми по очереди. Он уже явно подвыпил — был красен, как рак, распахнул кафтан и, против обыкновения, говорил громко, без умолку. Ему очень хотелось подсесть к Ягусе, но он не решался сделать это на глазах у всех, пока она с ним не обручена. Он только весело заговаривал с нею и с удовольствием глядел на нее, — она была сегодня так хороша и надела платочек, который он ей подарил!

Куба и Витек перенесли к печке длинный стол, Юзя вытерла его чистой тряпкой и стала расставлять на нем миски.

А Борына вынес из чулана пузатую бутылку водки и стал обносить всех гостей и чокается с ними.

Девушки немного стеснялись и отказывались. Один из парней сказал:

— Любят водочку, как кот молоко, а заставляют себя просить да уговаривать!

— Сам ты горький пьяница, сидишь постоянно у Янкеля, так думаешь, что и все такие.

Девушки, отвернувшись и заслонив лицо рукой, отпивали глоток, а остальное выливали на

пол, говорили морщась: "Крепкая!" — и отдавали рюмку хозяину.

Только Ягна заупрямилась и так и не выпила, несмотря на просьбы и уговоры.

— Я не знаю, какой и вкус-то у нее! И мне не любопытно, — говорила она.

— Ну, подсаживайтесь, гости дорогие, поешьте, чего Бог послал, — приглашал Борына.

После обычных церемоний сели за стол и принялись есть, все время переговариваясь.

Ужин был отличный, так что многие даже дивились: картофель с подливкой, и мясо тушеное с ячневой кашей, и капуста с горохом. Угостили всех на славу, притом Борына усердно потчевал гостей, а Юзя и Ганка все время подбавляли еды в миски.

Витек подбрасывал в печь сухие поленья, и огонь весело трещал, а Куба, пока ужинали, носил и складывал капусту в одну кучу. Он жадно вдыхал вкусные запахи, облизывался и кряхтел.

"Полбыка бы съел, кажись, да одну-две мисочки каши... а они, окаянные, жрут, как голодные лошади! Не оставят, пожалуй, и косточек человеку", — думал он с досадой.

Но гости скоро кончили, стали вставать из-за стола и благодарить хозяев.

— На здоровье, гости дорогие, на здоровье!

Поднялся шум. Выходили во двор, кто — проветриться и размять кости, кто — поглядеть на небо, не проясняется ли, а парни — поболтать на крыльце с девушками.

Куба уже сидел на пороге с миской на коленях и ел так, что за ушами трещало, не удостоивая внимания Лапу, который всячески напоминал о себе. Наконец, Лапа, видя, что ничего не выпросит, убежал на крыльцо к другим собакам, которые грызлись из-за костей, выброшенных Юзей.

Все уже опять принялись за работу, когда вошел Рох и поздоровался:

— Слава Господу нашему Иисусу Христу!

— Во веки веков, — ответили ему хором.

— "Торопись, дружок, пока не пуст горшок". Хоть и опоздал к ужину, но и для тебя хватит, — воскликнул Борына, подвигая ему табуретку к печке.

— Дай мне, Юзя, хлеба и молока, больше ничего не надо.

— Осталось еще мяса маленько, — сказала Ганка несмело.

— Нет, спасибо, мяса я не ем.

Люди сначала примолкли и с доброжелательным любопытством приглядывались к Роху, но когда он сел ужинать, разговоры возобновились.

Одна только Ягна с удивлением посматривала на странника. "Вот на вид человек, как все, а побывал у Гроба Господня, обошел полмира и видел множество чудес! Каков этот далекий мир и как туда попасть? Кругом ведь все только деревни, поля и леса, а за ними — опять деревни, поля, леса дремучие... Должно быть, сто верст надо пройти, а то и тысячу." Так размышляла она, и очень ей хотелось расспросить Роха, но разве можно? Засмеют еще, пожалуй!

Сын Михала, тот, что пришел недавно с военной службы, принес с собой скрипку, настроил ее и заиграл.

Наступила тишина, только дождь стучал в окна и перед домом лаяли собаки. А парень играл все новые и новые песни — духовные (видно, для странника, не сводившего с него глаз), потом другие, мирские, — например, о Ясе, который уходит в солдаты (эту песню девушки часто пели за работой). И такие жалостные звуки выходили из-под его смычка, что у всех даже мурашки по коже бегали, а у Ягуси, которую музыка всегда как-то особенно волновала, слезы ручьем лились по щекам.

— Да перестань! Видишь, Ягуся плачет! — воскликнула Настуся.

— Ничего, это я так... ничего, — шептала Ягна, застыдившись, и закрывала лицо передником.

Ничего не помогало — против ее воли слезы все лились и лились от этой зародившейся в сердце непонятной тоски, неведомо о чем.

Скрипач играть не перестал, но теперь он рванул лихую мазурку, а за нею — обертас,[12] такой веселый, что девушкам трудно было усидеть на месте. Они в упоении поводили плечами, сжимали вздрагивавшие колени, а парни задорно притопывали в такт и подпевали. Изба наполнилась таким шумом, топотом, смехом, что дребезжали стекла.

Вдруг в сенях завизжала и страшно завыла собака. Все разом умолкли.

— Что там такое!

Рох кинулся в сени так быстро, что чуть не упал, наткнувшись на сечку.

— Ничего, кто-то из ребят дверью прищемил хвост собаке, вот она и завыла, — объявил Антек, выглянув в сени.

— Витека, небось работа! — заметил Борына.

— Ну, вот еще! Станет Витек собаку обижать! Ведь он по всей деревне всякую дохлятину собирает и лечит! — горячо заступилась за мальчика Юзя.

Рох вернулся в комнату очень рассерженный. Он, видимо, освободил собаку, так как визг ее слышался теперь уже где-то во дворе.

— И собака божье создание, она обиду чует, как человек. У Иисуса тоже была своя собачка, и он ее никому в обиду не давал, — сказал он взволнованно.

— Неужто Господь стал бы собаку держать, как простой человек? — усомнилась Ягустинка.

— А вот я вам говорю, что была, и называл он ее Бурек.

— Вот так-так!.. Ну!.. Да не может быть! — раздались удивленные голоса.

Рох с минуту молчал, потом поднял седую голову, устремил в огонь бесцветные, словно выплаканые глаза и, перебирая четки, начал тихо:

— В далекие времена... когда Иисус ходил еще по земле и сам творил суд над людьми, случилось то, что я вам расскажу.

Шел Иисус на храмовый праздник в Мстов, а дороги никакой не было, одни лески глубокие — да горячие, потому что солнце припекало здорово. Духота была как перед грозой. И нигде никакой тени, некуда укрыться от солнца.

Великое нужно было Иисусу терпение: до леса было еще далеко, а он от усталости ног не чувял, и ему страшно хотелось пить. Он то и дело присаживался отдохнуть на песчаных пригорках, но там еще сильнее пекло солнце, рос один коровяк, и тень была только от его сухих стеблей, — птичке и той укрыться негде было.

И не успеет Иисус присесть передохнуть, а нечистый уже тут как тут! Кидается, как ястреб поганый сверху на усталую пташку, и роет копытами песок и мечется — такую пыль поднимет, что света божьего не видно.

Иисус, хотя уже еле дышал, вставал и шел дальше и только посмеивался над глупым бесом, — знал он, что нечистый хочет его с дороги сбить, чтобы он не шел на богомолье и не спасал грешников.

Шел, шел Господь, пока не пришел к лесу.

Отдохнул он тут маленько в тени, поел кое-чего, что у него в суме было, потом выломал себе хорошую палку, перекрестился и вошел в лес.

А лес был старый, дремучий, и болота в нем непроходимые, топи, трясины, чаща такая, что не всякая птица проберется. Только Иисус вошел в лес, — нечистый деревьями как затрясет, как начнет выть и ломать сосны! А ветер, всегдашний чертов работник, давай ему помогать: ломать сучья, дубы выворачивать и гудеть и выть по всему лесу, как оголтелый.

Темень — хоть глаз выколи, шум, треск, буря... а тут какие-то звери, дьявольское наваждение, выскакивают и зубы скалят, и рычат... пугают Иисуса... глазищи у них так и светятся! Когти выпускают, а схватить не смеют, — как же, сам Иисус Христос, не кто-нибудь!

Ну, Господу это запугивание уже надоело, он на праздник спешил. Вот он лес-то и перекрестил, и сразу все бесы и их кумовья пропали в трясилах.

Осталась только одна дикая собака, — в те времена собаки еще не жили при людях.

Бежал этот пес за Иисусом, лаял на него, хватал его за ножки святые, за суму, рвал на нем зубами кафтан и добирался до тела. Но Иисус милосердный, который никогда ни одну живую тварь не обижал, говорит:

— На тебе хлебца, дурачок, коль ты голоден! — и бросает ему хлеб из сумы.

А пес такой злой, что ничего знать не хочет, — зубы скалит, ворчит, лает и уже рвет Иисусовы штаны.

— Я тебе хлеба дал, не трогал тебя, а ты мне одежду рвешь и лаешь попусту! Дурачок, Господа своего не узнал! За это ты человеку служить будешь и жить без него не сможешь, — молвил Иисус так строго, что пес хвост поджал, завыл и, как одурелый, побежал куда глаза глядят.

А Иисус пришел на богомолье. Народу — что деревьев в лесу, что травы на лугах, видимо-невидимо. А в костеле пусто, оттого что в корчме музыка играла, и перед папертью — целая ярмарка. Пьянство, распутство, грех всякий, как и в наше время бывает.

Выходит Иисус из костела после обедни, смотрит — а толпа, как колосья под Петром, колышется и во все стороны разбегается. Бегут — кто с кнутом, кто жердь из плетня выдернул, кто за кол хватается, а иные камней на земле ищут. Бабы орут, лезут на плетни, на возы, дети плачут, и все кричат:

— Бешеная собака! Бешеная собака!

А собака с высунутым языком мечется между ними и — прямо на Иисуса.

Господь не испугался — узнал ту самую собаку из леса. Распахнул кафтан и говорит:

— Пойди сюда, Бурек, тебе со мной лучше будет, чем в лесу.

Прикрыл ее полрой, простер над ней руку и молвил:

— Не убивайте ее, люди, она тоже божья тварь и голодная, несчастная, бездомная и загнанная.

Но мужики закричали, заворчали и ну стучать колымажками в землю: дескать, это зверь дикий, бешеный, немало он у нас гусей да овец перетаскал! Сколько мы убытку от него постоянно терпим! Да и человека он не пожалеет — чуть что, зубами вцепится! Никому без палки в поле нельзя выйти, потому что от этого дьявола никуда не денешься. Убить его надо непременно.

И хотели мужики насильно взять собаку из-под Иисусова кафтана и убить.

А Господь рассердился и крикнул:

— Не подходите! Значит, вы, безобразники, пьяницы этикие, собаки боитесь, а Бога не боитесь, а?

Он так это грозно сказал, что люди отступили, а он их стал отчитывать за то, что они, негодники, пришли на богомолье, а только водку пьют в корчмах и богохульствуют, что воры они, что не каются и друг друга мучают, как палачи, и грозил, что не минет их кара божия.

Сказал это Иисус Христос, поднял свой посох и хотел уйти. Но народ его уже узнал, и все как рухнут на колени, как заплачут! И стали его молить:

— Оставайся с нами, Господи! Оставайся! Будем тебе служить верно, как этот пес... пьянчуги мы, безбожники, злые, а ты все-таки не уходи! Наказывай нас, бей, но не оставляй нас, сирот беспризорных! — И так плакали, так — молили, что смягчилось сердце Иисусово, и он еще немного побыл с ними, наставлял, отпускал грехи и благословлял всех.

А уходя, сказал:

— Говорите, вредил вам пес? Отныне будет он служить вам. И гусей постережет, и овец загонять будет, а когда хозяин напьется, будет сторожем скота и добра его. Верным другом будет вам. Только вы его жалеете, не обижайте!

И ушел Иисус ходить по земле.

Оглянулся — а Бурек сидит там, где он его оставил.

— Бурек, иди со мной, что ж ты, дурачок, один останешься?

И собака пошла за ним и с тех пор всегда с ним ходила, тихая, чуткая, верная, как самый преданный слуга.

И ходили они вместе повсюду, по лесам, по водам, по всему свету.

Не раз, когда случалось им голодать, собака ловила в лесу какую-нибудь птицу или приносила гуся, а то и барашка, и так они вместе кормились.

А частенько, когда Иисус, измаявшись, отдыхал, Бурек отгонял недобрых людей и дикого зверя, не давая в обиду Господа.

Когда пришел час и поганые фарисеи повели Иисуса на муки, бедный Бурек кидался на всех, кусался, защищал своего хозяина, как умел.

А Иисус из-под креста, который нес на себе, сказал ему:

— Совесть их будет грызть сильнее, чем ты... А ты мне не поможешь...

И когда его, замученного, распяли на кресте, пес сидел подле и выл...

На другой день люди все разошлись, и не было уже подле Христа ни Пресвятой Богородицы, ни апостолов, остался с ним один Бурек. Лизал пробитые гвоздями ноги умирающего и выл, выл, выл...

А когда наступил третий день, очнулся Иисус, смотрит — у креста нет никого, один только Бурек жалобно скулит и жметя к его ногам.

И поглядел на него Господь милостиво и с последним вздохом молвил:

— Пойдем, Бурек, со мной!

И собака в тот же миг испустила дух и пошла за своим хозяином. Аминь!

— Так все и было, как я вам рассказал, люди добрые! — заключил Рох, перекрестился и ушел на другую половину, где Ганка, заметив, что он очень устал, уже приготовила ему постель.

Глубокое молчание царило в избе. Все думали о только что слышанной удивительной истории, а Ягусь, Юзя и Настка украдкой утирали слезы, — так взволновала их участь Иисуса и поведение собаки. Уже одно то, что нашелся в мире пес, который был лучше людей и вернее их, заставляло всех призадуматься. Понемногу разговорились, стали тихо обмениваться замечаниями, но тут Ягустинка, слушавшая Роха внимательно, вдруг подняла голову, насмешливо фыркнула и сказала:

— Чудеса в решете! А я вам получше сказочку расскажу — про то, как человек вола сотворил:

Сотворил господь быка —

И бык был.

А мужик взял в руки нож —

Чик!

Глядь, — он вол уж, а не бык!

— Чем моя сказка хуже Роховой?

Изба так и грохнула смехом. Посыпались прибаутки, сказки, поговорки всякие.

— Ягустинка все знает!

— Как же, вдова по трем мужьям, так уж ученая!

— Один ее поутру учил кнутом, другой в полдень ремнем, а третий под вечер частенько

дубинкой угощал! — крикнул Рафалов.

— Пошла бы я и за четвертого, только не за тебя, дурака сопливого!

— Баба не может без побоев, как та Христова собака без хозяина, — вот Ягустинке и скучно!  
— бросил кто-то из парней.

— Дурак! Ты лучше смотри, чтобы никто тебя не увидел, когда ты носишь отцовы мешки Янкелю за водку! А вдов не касайся, не твоего это ума дело, — оборвала его Ягустинка так резко, что все притихли: каждый боялся, как бы она со злости не стала рассказывать вслух все, что знает, а знала она многое. Строптивая была баба, упрямая, за словом в карман не лезла. Не раз такое скажет, что у людей волосы дыбом вставали и мороз по коже пробежал, потому что для нее не было ничего святого, не почитала она даже ксендза и костел. И сколько раз ксендз ее отчитывал с амвона и призывал опомниться! Но это не помогало. Она потом говорила повсюду:

— И без ксендза каждый к Господу Богу дорогу найдет, если честно будет жить. А ксендз пусть лучше за своей экономкой смотрит, она уже третьего носит и опять где-нибудь обронит!

Такова была Ягустинка...

Гости уже начинали расходиться, когда вошли войт и солтыс.

Они обходили избы, объявляя людям, чтобы завтра все вышли чинить размытую дождями дорогу за мельницей.

Войт, как только переступил порог, развел руками и закричал:

— Ишь, старый черт, самых лучших девок к себе созвал!

Здесь и вправду были все хозяйские дочки, богатые невесты из хороших семей. Борына ведь был первый хозяин на всю деревню и не стал бы к себе приглашать каких-нибудь батрачек или дочерей безземельных мужиков, голь всякую, у которой и добра-то — один коровий хвост на десятерых.

Войт, в сторонке поговорил о чем-то со стариком так тихо, что никто ничего не услышал, пошутил с девушками и скоро ушел: ему нужно было созвать на завтра еще полдеревни. Да и все стали расходиться — час был поздний, и капуста почти вся очищена.

Борына благодарил всех вместе и каждого в отдельности, а перед женщинами постарше открывал дверь и провожал их в сени.

Ягустинка, уходя, сказала громко:

— Спасибо за угощение, а все же не очень ладно у вас...

— Что так?

— Хозяйки вам недостает, Мацей, без хозяйки никакою порядка не будет...

— Что делать, что делать, коли померла моя хозяйка! На то воля божья.

— Да мало ли девок? Небось каждый четверг все на деревне глядят, не идут ли к кому сваты от вас! — отозвалась хитрая Ягустинка, пытаясь выпытать у него что-нибудь. Но Борына, хотя у него ответ уже был готов, только чесал затылок да усмехался, бессознательно ища глазами Ягусю.

А Ягуся готовилась уходить. Антек только того и ждал. Он оделся и незаметно вышел раньше.

Ягуся шла домой одна — остальные девушки жили в другом конце деревни, у мельницы.

— Ягуся! — шепнул Антек, вынырнув из темноты у какого-то плетня.

Она остановилась и, узнав его голос, задрожала.

— Я тебя провожу, Ягуся. — Он осмотрелся по сторонам. Ночь была темная, беззвездная, ветер гудел в вышине и качал деревья.

Он крепко обнял ее, и так, прижавшись друг к другу они скрылись во мраке.

## VIII

На другой день прогремела по Липцам весть о сговоре Бoryны с Ягной.

Войт был сватом; жена его, которой он строго приказал никому об этом и словом не заикнуться, пока он не вернется, под вечер побежала к соседке, будто бы за тем, чтоб одолжить соли, а уходя не вытерпела, отозвала куму в сторону и шепнула:

— Знаешь, Бoryна-то послал к Ягне с водкой! Только ты об этом никому не говори, потому что мой наказывал молчать.

— Как можно!.. Стану я по деревне бегать, новости разносить? Сплетница я, что ли? Такой дед — и третью жену берет! Дети-то что на это скажут? Силы небесные, что делается на свете! — в ужасе заахала кума.

И, не успела жена войта уйти, как она накинула на голову запаску и, крадучись, через сад, побежала к Клембам, жившим рядом, — попросить швабру, так как ее собственная куда-то запропастилась.

— Слыхали новость? Бoryна женится на Ягне Доминиковой! Только что пошли к ней сваты с водкой.

— Что вы за чудеса рассказываете? Да как это можно? Ведь у него дети взрослые и сам в летах!

— Верно, что немолодой, а все же такому богатею отказа не будет.

— А Ягна-то! Видали, люди добрые? Таскалась с кем попало, а теперь будет первой хозяйкой на селе! Есть ли на свете справедливость, я вас спрашиваю? Столько девок у нас не просватано... Да хоть бы, к примеру, сестрины.

— А племянницы мои, от брата покойного, а Копживянки, а Настуся, а другие чем плохи? Разве не хозяйские они дочери, не пригожие и честные девки?

— То-то она теперь загордится! И так уже павой ходит и нос кверху дерет.

— Без греха тут не обойдется — кузнец да и дети Бoryновы мачехе своего не уступят!

— А что они сделают? Земля старикова, — его и воля...

— По закону-то земля, конечно, его, а по справедливости — и детей тоже.

— Эх, голубка, справедливости тот добьется, у кого на это денег хватит.

Пороптали, пожаловались одна другой на порядки, какие повелись на свете, и разошлись, а с ними и весть о сговоре разошлась по всей деревне.

Работы в эту пору в деревне немного, спешить некуда, люди сидели дома, так как дороги окончательно размыло, — вот и толковали об этом сговоре во всех хатах. Вся деревня с любопытством ожидала, чем это кончится. Уже заранее предсказывали, что начнутся драки, суды и скандалы. Всем известен был крутой нрав Бoryны — он, когда заупрямится, то и ксендзу не уступит. Знали все также, как горд и неподатлив Антек.

Даже люди, согнанные для починки дороги у размытой плотины за мельницей, перестали работать и обсуждали событие.

Высказал свое мнение один, высказал другой, а после всех старый Клемб, мужик разумный и степенный, промолвил сурово:

— Вот попомните мое слово — от этого придет беда на всю деревню!

— Антек не стерпит, — как же, лишний рот в семье! — заметил кто-то.

— Дурень, у Бoryны и на пятерых хватит. Из-за земли спор будет!

— Без записи дело не обойдется.

— Домникова не дура, она их всех к рукам приберет.

— Она мать, так ее сучье право за свое дитя постоять, — заметил Клемб.

— В костеле постоянно сидит, а гроша не упустит. Хитра, как Янкель!

— Не черни людей зря, язык отсохнет.

Так весь день деревня толковала о сговоре Бoryны — и неудивительно: Бoryны были здесь старожилы, хорошего и богатого роду, и Мацей, хотя и не занимал никакой должности, пользовался большим уважением. Да и могло ли быть иначе? Сидел он на древней крестьянской земле, доставшейся ему от дедов и прадедов, был богат и умен — так волей-неволей все слушались и почитали его.

Только никто из его детей, даже кузнец, не знал о сговоре. Люди не решались сообщить им эту новость — боялись попасть под горячую руку.

И в хате Бoryны сегодня было тихо, даже тише обыкновенного. Дождь перестал, и небо с утра прояснилось, поэтому Антек, Куба и женщины тотчас после завтрака уехали в лес — собирать хворост на топливо да листья и сухой мох для подстилки.

Старик оставался дома.

Он уже с самого утра был как-то странно раздражителен и придирчив, искал случая сорвать на ком-нибудь мучившие его тревогу и злость. Витека избил за то, что тот не подложил коровам соломы и они лежали в навозе; с Антеком бранился, на Ганку накричал, увидев, что ее малыш выполз на дорогу и весь измазался в грязи; даже Юзе попало за то, что она долго копалась и лошади ее ждали. А когда Мацей, наконец, очутился один, с глазу на глаз с Ягустинкой, оставленной в доме со вчерашнего дня, чтобы приглядеть за скотом, — он уже совсем не знал, что с собой делать. Снова и снова вспоминал рассказ Амброжия о том, как

его приняла Доминикова, что сказала Ягна, и все-таки не было уверенности в успехе, не очень-то он верил старику: Амброжий ради рюмки водки мог и наврать. Он то ходил по комнате и поглядывал в окно на пустынную улицу, то с крыльца тревожно наблюдал за Ягусиной хатой и ждал сумерек, как избавления.

Сто раз хотелось ему бежать к войту и поторопить его и солтыса, чтобы они шли поскорее, но он оставался дома, его удерживали прищуренные глаза Ягустинки, неотступно следившие за ним и светившиеся презрительной насмешкой.

"Ишь, ведьма чертова, сверлит глазищами, словно шилом!" — думал он.

А Ягустинка бродила по избе и по двору с веретеном подмышкой и, следя за порядком, в то же время не переставала прясть. Веретено жужжало в воздухе, а она наматывала нить и шла дальше, к гусям, к свиньям, в хлев. Лапа плелся за нею, сонный, отяжелевший.

Ягустинка не заговаривала с Боруной, хотя отлично понимала, что его так томит и тревожит, отчего он так мечется с места на место.

А он, не зная, куда деваться, принялся забивать подпорки у стены.

Она несколько раз останавливалась перед ним и, наконец, сказала:

— Не ладится что-то у вас работа нынче.

— Не ладится, не ладится, черт ее дери!

"Ох, и содом тут будет, Иисусе! Ох, и содом! — подумала Ягустинка, отходя. — Правильно старый делает, что женится! А то бы дети ему такие хлеба дали, как мне!.. Отдала им целых десять моргов поля, как золото, — и что! — Она плюнула со злости. — Теперь к чужим на работу хожу, поденщицей стала!"

А Боруны, видно, уже совсем стало невмоготу, он швырнул топор на землю и крикнул:

— К чертям такую работу!

— Грызет вас что-то, как я погляжу!

— Грызет! Верно, что грызет.

Ягустинка присела на завалинку, вытянула длинную нить, навела ее на веретено и тихо, с некоторой опаской, сказала:

— Да нечего вам так расстраиваться.

— Много ты знаешь!

— Не бойтесь, Доминикова — умная баба, а у Ягны тоже голова на плечах.

— Ты так думаешь? — воскликнул Боруна радостно и подсел к ней.

— Что же, у меня глаз нет?

Оба долго молчали, каждый ждал, чтобы заговорил другой.

— Позовите меня на свадьбу, так я вам такого "Хмеля" спую, что ровнехонько через девять месяцев крестины справите, — начала Ягустинка игриво, но, увидев, что Боруна нахмурился, добавила уже другим тоном: — Хорошо делаете, Мацей, хорошо! Надо было и мне поискать себе другого мужа, когда мой помер, — и не ходила бы я теперь на поденку! Дура я была,

поверила детям, пошла к ним в нахлебницы, землю им отписала, а теперь что?

— Я-то, пока жив, ни полоски им не отдам! — сказал Боруна решительно.

— Разумно делаете! А я по судам таскалась, последние гроши на это ушли, да справедливости не купила... на старости лет работай на других, как батрачка горемычная! Чтоб вы, окаянные, под забором околели за мою обиду! Пошла я к ним в воскресенье, хотела хоть поглядеть на хату и на сад, — ведь сама, своими руками его сажала! — а невестка на меня накинулась, кричала, что я подсматривать за ними хожу. Господи Иисусе! Это на свою собственную землю выслеживать хожу! Так мне горько стало, сердце раскипелось, думала — тут же и помру. Пошла к его преподобию, чтобы он их хоть отчитал с амвона, а он говорит, что меня за эти обиды Бог наградит!.. Что ж, коли у человека нет ничего, так он хоть милостью божьей утешается! А лучше бы я здесь, на земле, пожила в свое удовольствие, в теплой избе хозяйничала, высыпалась под периной, ела всласть...

Ягустинка продолжала с такой запальчивостью жаловаться на все и всех, что Боруна не выдержал — встал и пошел к войту. Да и пора было, уже начинало смеркаться.

— Ну что, скоро пойдете?

— Сейчас, сейчас, вот только Симон придет.

Симон пришел, и они все вместе отправились в корчму — выпить по рюмочке и захватить оттуда рисовой для угощения. В корчме они застали Амброжия, и он сразу же к ним подсел. Но пили недолго — Мацей все торопил их.

— Я вас тут подожду. Если дело выйдет, отопьют они, — забирайте обеих и приходите сюда!  
— крикнул он им вслед.

Сваты шли посредине улицы, так тяжело ступая, что грязь брызгала во все стороны. Сумерки сгущались и укрывали деревню мрачной серой пеленой, только кое-где уже засветились в темноте огоньки хат. Подвывали во дворах собаки, как всегда перед ужином.

— Кум! — начал войт, помолчав.

— Ну?

— Думается мне, Боруна знатную справит свадьбу!

— Либо справит, либо нет! — отозвался кум сердито — такой уж он был ворчун.

— Справит! Войт тебе говорит, значит — верь! Я уж постараюсь. Такую пару из них состряпаем, что только держись!

— А я так думаю, что кобыла понесет, — у жеребца то, видать, конопля в хвосте!

— А это уж дело не наше.

— Как сказать... Дети Мацея нас проклинать будут.

— Все будет хорошо, это войт тебе говорит!

Они вошли в хату Доминиковой.

В хате было светло, чисто, подметено — видимо, их ожидали. Сваты восславили Господа, поздоровались со всеми по порядку (сыновья Доминиковой были тут же), уселись на придвинутых к огню табуретках и стали толковать о всякой всячине.

— Ну, и холодище, словно уже дело идет к морозам, начал войт, грея руки.

— Что ж дивиться, — не весна на дворе.

— А капусту вы свезли?

— Осталось в поле немножко, да теперь туда не доберешься, — спокойно ответила хозяйка, наблюдая за Ягной, которая под окном наматывала на мотовило пряжу. Девушка была сегодня так хороша, что войт, мужчина еще молодой, пожирал ее глазами. Наконец, он приступил к делу:

— На дворе ливень, слякоть, так вот мы с Шимоном и зашли к вам по дороге. Приняли вы нас хорошо, добрым словом приветили, — так, может, сторгуем у вас что-нибудь, мать?

— Что-нибудь и у других сторговать можно, надо только поискать.

— Верно говорите, мать, да незачем нам искать, потому что лучше вашего товара нет.

— Что ж, торгуйте! — воскликнула Доминикова весело.

— Сторговали бы мы у вас, к примеру, телушку.

— Ого! Она дорогая. Не на всякой веревке ее уведешь.

— А у нас есть шнурок из освященного серебра, такой, что сам черт с него не сорвется... Ну, мать, сколько? — Войт уже вытаскивал бутылку из кармана.

— Сколько? Легко сказать! Молоденькая — девятнадцатая весна ей пошла, — добрая, работающая. Могла бы еще год-другой у матери пожить.

— Пустое дело! Что же так-то без пользы сидеть, без приплоду?

— Иная и при матери это сумеет, — буркнул Шимон.

Войт громко расхохотался, а старуха только глазами сверкнула и сказала быстро:

— Ищите другую, моя может подождать.

— Знаем, что может, да мы-то другой такой крали не сыщем — и от такой хорошей матери.

— Уж будто бы?

— Я, войт, вам это говорю, значит — верьте!

Он достал рюмку, вытер ее полый кафтана, налил в нее водки и сказал торжественно:

— Слушайте, Доминикова, что я вам скажу. Я — войт, и мое слово — не пташка, что пискнет, свистнет — и только ее и видели! Шимон тоже известно кто, — не бродяга какой-нибудь, а хозяин, детям отец и солтыс! Соображайте, какие люди к вам пришли и с чем пришли!

— Да уж знаю, Петр, понимаю.

— Вы — женщина толковая и понимаете, что, раньше ли, позже ли, а Ягуся из дому уйдет на свое хозяйство. Так уж Господом Богом установлено, что родители детей растят не для себя — для других.

— Ох, правда, правда!

— Так, мать, и в песне поется:

Ты холи и береги,  
А потом доплатишь малость,  
Только б дома не осталась!

Так уж заведено на свете, ничего тут не поделаешь. Ну, выпьем, мать?

— Уж не знаю... неволить ее не стану... Ну как, Ягуся, отопьешь?

— Да не знаю... как вы, матуля... — шепотом промолвила Ягуся, покраснев и отвернувшись к окну.

— Послушная! Ласковый теленок двух маток сосет, — серьезно заметил Шимон.

— Ну, мать, за твое здоровье!

— Пейте с богом! А вы еще не сказали, кто вас послал? — сказала Доминикова, так как не в обычае было узнавать имя будущего жениха заранее, не от сватов.

— Кто? А сам Борына! — Войт опрокинул в рот рюмку.

— Старик! Вдовец! — воскликнула она с притворным разочарованием.

— Старик? Эй, не грехи! Старик, а недавно еще судился за ребенка!

— Ребенок-то не его!

— Ясно, не его — станет такой человек со всякой связываться! Пей, мать.

— Я бы выпила, если бы не то, что вдовец да старик. Ноги протянет, — а потом что? Дети мачеху выгонят и...

— Мацей говорил, что землю на нее запишет, — пробурчал Шимон.

— Так пусть до свадьбы это сделает!

Сваты помолчали, но через минуту войт опять наполнил рюмку и поднес ее Ягне.

— Отпей, Ягуся, отпей! Сватаем тебе мужика что твой дуб! Заживешь, как у Христа за пазухой, первой хозяйкой на всю деревню. Ну, не стыдись, Ягуся!

Ягуся была в нерешимости, краснела, отворачивалась, но в конце концов, закрывая лицо передником, отпила капельку, а остальное вылила на пол.

Тогда рюмка обошла всех. Старуха подала хлеба-соли, а потом на закуску — сухой копченой колбасы.

Выпили по несколько рюмок подряд, и у всех заблестели глаза и развязались языки. Только Ягна убежала в каморку и, неизвестно почему, плакала так, что сквозь стену слышны были ее всхлипывания.

Мать хотела бежать к ней, но войт не пустил.

— И теленок ревет, когда его от матери отнимают... Дело обыкновенное. Не далеко ее

отпускаешь, не в другую деревню, еще на нее порадуешься... Никто ее не обидит, это я, войт, тебе говорю!

— Так-то оно так... Да я все надеялась внучат дождаться себе на радость...

— Не беспокойся — еще жатва не начнется, а уж первый будет!

— Это одному Богу известно, а мы, грешные, знать не можем... Хоть и выпили мы, а у меня что-то сердце ноет, словно на похоронах...

— Не диво — единственная дочка из дому уходит — вот тебя тоска и берет... Ну, еще капельку — горе залить! Знаете что, пойдете-ка все в-корчму, а то у меня уже и водки больше нет, а там жених ждет, сидит как на угольях.

— В корчме будем сговор справлять?

— Да, по-старинке, как деды наши делали. Это войт вам говорит, так верьте!

Женщины принарядились и собрались идти со сватами.

— Ну, а хлопцы неужели дома останутся? Сестрин сговор — и для них праздник! — сказал войт, заметив, что Шимек и Енджик жалобно и с беспокойством поглядывают на мать.

— Нельзя же дом без присмотра оставить!

— А вы кликните Агату от Клембов, она присмотрит.

— Агата уже христарадничать ушла. Ну, кого-нибудь дорогой позовем. Енджик, и ты, Шимек, идите, да кафтаны наденьте, не нищие! И смотрите у меня: пусть только кто из вас напьется — я ему это попомню! Коровы еще не прибраны, для свиней надо картошки нарезать — не забудьте!

— Не забудем, матуля, не забудем! — робко бормотали сыновья. Парни были ростом до потолка и могучие, как груши на меже, а перед матерью трепетали, как мальчишки, она их держала в ежовых рукавицах и не ленилась, когда нужно, влезть на лавку да их за вихры оттащить или оплеуху дать, чтобы матери слушались да почитали ее.

Все отправились в корчму.

Ночь была темная, хоть глаз выколи, как всегда во время осенних дождей. Ветер дул поверху и качал верхушки деревьев с такой силой, что они с шумом задевали за плетни.

Озеро бурлило и металось в берегах, брызги долетали до середины дороги и нередко плескали в лицо прохожим.

В корчме тоже было не светло, в разбитое окошко задувал ветер, и висевшая над стойкой лампа качалась, похожая в полумраке на золотой цветок.

Борына бросился к ним навстречу и начал со всеми целоваться и обниматься, понимая, что его сватовство принято и он может уже Ягну считать своей.

— Иисус сказал: возьми себе, человеце, жену, чтобы не скучно было одному. Аминь! — лепетал Амброжий. Он уже больше часа пил без передышки, и у него заплетались и ноги и язык.

Янкель тотчас выставил на стойку и сладкую наливку, и рисовую, и чистый спирт, а на закуску — селедку, лепешки с шафраном и какие-то затейливые булочки с маком.

— Ешьте, пейте, люди дорогие, братья родные! — приглашал Амброжий. — Была и у меня баба, да уже совсем не помню, где... Во Франции, кажись... нет, в Италии дело было... А теперь остался я сиротой...

— Пейте же! Петр, начинай! — перебил его Борына. Он купил на целый злотый карамелек и совал их Ягусе. — На, Ягусь, возьми, сладенькие...

— Ну, зачем вы деньги тратите! — она не брала, прятала руки за спину.

— Не беспокойся, у меня денег много, вот увидишь! На! Для тебя и птичьего молока достал бы... Тебе у меня обиды никакой не будет! — Он стал ее обнимать, заставлял пить и есть. Ягна принимала все спокойно, холодно, как будто это был не ее сговор. Она подумала только об одном — подарит ли ей старик перед свадьбой те кораллы, о которых поминал на ярмарке.

Пили вовсю, одну рюмку за другой, рисовую вперемежку со сладкой, и все говорили разом. Даже Доминикова порядком захмелела и разговорилась, а войт диву давался, какая она умная баба.

Сыновья тоже напились, оттого что войт и Амброжий беспрестанно их потчевали и чокались с ними, говоря:

— Пейте, хлопцы, ведь Ягнин сговор, пейте!..

— Знаем, знаем, — отвечали они хором и даже пытались целовать у Амброжия руку. А Доминикова кончила тем, что, отведя Борыну к окну, брякнула ему напрямик:

— Ну, Мацей, Ягуся ваша!

— Спасибо вам, мать, за дочку! — Борына обнял ее за шею и стал целовать.

— А как же насчет записи? Вы обещали...

— Запись! А зачем! Что мое, то и ее.

— Как зачем! Надо, чтобы она перед твоими детьми головы не гнула, чтобы они ее не обижали.

— А им что за дело до моей земли? Все мое — значит, и Ягусино.

— Спасибо. Но вы о том подумайте, что лет вам немало, и все мы смертны. Как говорится, смерть не разбирает, сегодня — один, завтра — другой...

— Ничего, я еще крепкий, лет двадцать продержусь, не бойтесь!

— Бесстрашного волки съели.

— Ну, ладно, говори, чего ты хочешь — я сегодня так рад, что все сделаю! Хочешь, запишу на Ягусю те три морга, что около Лукаша?

— Голодной собаке и муха годится, да мы-то не голодные! Из того, что отец оставил, на Ягусину долю придется пять моргов поля и добрый морг лесу — вот и вы запишите шесть. Те шесть моргов у дороги, где вы нынешним летом картошку сажали.

— Самое лучшее мое поле!

— А разве Ягуся не самая лучшая девка в деревне?

— Это верно, оттого я к ней и посватался. Но побойтесь Бога, Доминикова, шесть моргов — это же какой кунице, целое хозяйство! Что дети скажут?

Он в раздумье чесал затылок, острое сожаление бередило ему сердце: как отдать столько самой лучшей земли!

— Вы же умный человек, Мацей, сами понимаете... Мне чего надо? Дочку обеспечить. Этой земли у вас, пока вы живы, никто не отнимет. То, что Ягусе по справедливости после отца полагается, будет ваше — весной землемера привезу, и можете засеивать. Видите, вас никто обидеть не хочет. Так запишете эти шесть моргов?

— Ладно, для Ягуси запишу.

— Когда?

— А хоть завтра!.. Нет, в субботу в костеле на оглашение подадим, и сразу в город поедем. Эх, была не была, — один раз живешь на свете!

— Ягуся, иди-ка сюда, доченька, иди! — позвала девушку Доминикова, а той в эту минуту войт, притиснув ее к стойке, нашептывал что-то такое, от чего она громко смеялась.

— Вот, Ягуся, Мацей тебе запишет те шесть моргов, что у дороги.

— Спасибо, — шепнула Ягна, протягивая ему руку.

— Выпейте-ка с Ягной этой сладенькой!

Выпили. Мацей обнял Ягну за талию и повел к остальной компании, но она вырвалась и подошла к братьям, с которыми балагурил и пил Амброжий.

В корчме становилось все шумнее, народу прибывало; услышав громкие голоса, каждый заходил посмотреть, в чем дело, а кое-кто и за тем, чтобы по этому случаю выпить на даровщинку. Даже слепой нищий с собакой-поводырем очутился тут — он сидел на видном месте, вслушивался и все время громко читал молитвы, так что его, наконец заметили, и сама Доминикова поднесла ему водки, закуски и сунула в руку пару медяков.

Все были здорово навеселе, говорили все разом, обнимались, целовались, каждый был другому брат и друг, как всегда, когда люди захмелеют.

А Янкель бесшумно сновал среди них, приносил все новые бутылки и кружки с пивом и записывал мелом на дверях, кто сколько ему должен.

Борына словно угорел от радости — пил, угощал, чокался, говорил много, как никогда, и все время тянулся к Ягусе, шептал ей ласковые слова и гладил по лицу. На людях было неприлично обнять ее и целовать, а ему этого так хотелось, что он едва сдерживался, и только иногда хватал ее за талию и тащил в темный угол.

Доминикова скоро спохватилась, что пора домой, и стала звать сыновей.

Но Шимек был уже сильно пьян, он только подтянул кушак, стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Хозяин я, псякрев! Кому охота, пускай идет... А я хочу пить, так и буду пить... Эй, Янкель, водки!

— Тише, Шимек, тише, отдерет она тебя! — слезливо лепетал Енджик, тоже вдрызг пьяный, и тянул брата за кафтан.

— Домой, хлопцы, домой! — грозно прошипела Доминикова.

— Я сам себе хозяин! Захочу остаться, так останусь и буду водку пить... Довольно ты, мать, мною командовала... выгоню к черту!

Но старуха ударила его в грудь так, что он зашатался и сразу опомнился. Енджик нахлобучил ему шапку и вывел на улицу. Шимека на воздухе, видно, еще больше развезло: пройдя несколько шагов, он покачнулся, привалился к плетню и начал бормотать и выкрикивать:

— Хозяин я, черт возьми!.. земля моя, так и моя воля — работать или нет... Буду водку пить. Еврей, рисовой! А не то выгоню...

— Шимек! Шимек, ради бога, пойдем домой, мать идет! — умолял его Енджик, горько плача.

Скоро их догнали старуха с Ягной и увели из-под плетня, где они уже успели подраться и вывалиться в грязь.

А в корчме после ухода женщин стало тише, люди постепенно расходились, и скоро остался только Боруна со сватами, да еще Амброжий и слепой дед, который пил уже наравне со всеми.

Амброжий, пьяный до бесчувствия, стоял посреди корчмы и то распевал, то громко рассказывал:

— Черный был, как чугунок... прицелился в меня... Да разве в меня попадешь!.. Всадил я ему штык в брюхо... первый! Стоим, стоим, а вдруг начальник прет... Иисусе Христе, сам начальник! "Ребята", говорит... "Люди", говорит...

— Сомкнись! — крикнул вдруг Амброжий громовым голосом, вытянулся в струнку и медленно попятился, стуча своей деревяшкой. — Выпей со мной, Петр, выпей... сирота я... — пробурчал он невнятно, затем сорвался вдруг с места и вышел из корчмы.

С улицы долетел его хриплый голос. Он пел.

В корчму вошел мельник, здоровенный мужчина, одетый по-городскому, краснолицый и седой, с маленькими бегающими глазками.

— Гуляете, хозяйева? Ого, и войт тут, и солтыс, и Боруна! Свадьба, что ли?

— Угадал! Выпей с нами, пан мельник, выпей! — приглашал Боруна.

Опять все выпили круговую.

— Ну, коли так, скажу вам новость — сейчас отрезвеете! Все уставились на него мутными глазами.

— Слушайте: часу еще не прошло, как помещик продал лес за Волчьим Долом!

— Ах он живодер, куцый пес! Наш лес продал! — крикнул Боруна и, не помня себя, швырнул бутылку на пол.

— Продал! Ничего, и на помещика управа найдется, закон на всякого есть! — бормотал пьяный Шимон.

— Неправда это! Я, войт, вам говорю, что неправда!

— Он продал, а мы взять не позволим! Как бог свят, не дадим взять! — кричал Боруна и колотил кулаком по столу.

Мельник ушел, а они далеко за полночь толковали об этой новости и грозили помещику.

## IX

После сговора прошло несколько дней. Дожди прекратились, вода схлынула с дорог, и они подсохли, только в бороздах и кое-где по низинам да на лугах серели мутные лужи, как заплаканные глаза.

Наступил День поминовения усопших, хмурый, без солнца, мертвый. Даже ветер не шелестел сухим бурьяном, не качал деревья, и они недвижно поникли над землей.

Глухая гнетущая тишина легла на мир.

В Липцах уже с раннего утра мерно и неумолимо гудели колокола, их скорбные, заунывные голоса мучительно стонали в пустых, туманных полях. Печалью последнего прощания звучали они в этот грустный день, в день, что встал бледный, повитый мглой до самого горизонта, где сливаются бескрайние дали земли и неба, в день, синий, как бездонная топь.

От утренней зари, еще бледно горевшей на востоке, из-под туч цвета остывающей расплавленной меди, плыли стаи ворон и галок.

Они летели высоко-высоко, так что едва можно было различить их глазом, и ухо едва улавливало их дикое жалобное карканье, подобное стонам осенних ночей.

А колокола все звонили.

Унылый гимн медленно разливался в неподвижном воздухе, стонами падал на поля, траурно гудел по деревням и лесам, плыл по всему миру, и казалось, люди, и поля, и деревни стали одним огромным сердцем, выстукивающим горькую жалобу.

А птицы летели и летели, так что даже страшно становилось. Они спускались все ниже и все большими стаями, и небо казалось покрытым развеванной сажой, а глухой шум крыльев и карканье раздавались все громче, гудели, как надвигающаяся буря. Птицы описывали круги над деревней и, подобно куче листьев, подхваченных вихрем, неслись над полями, падали на леса, повисали на голых тополях, усеивали липы подле костела, деревья на кладбище и в садах, крыши хат, даже плетни... Потом вдруг, испуганные неумолкавшим колокольным звоном, срывались и черной тучей летели к лесу, а резкий, пронзительный шум плыл за ними.

— Суровая будет зима! — говорили люди.

— К лесу потянулись, — значит, снег скоро выпадет.

И все больше людей выходило из хат поглядеть на такое невиданное скопление птиц. Смотрели долго, с какой-то непонятной тоской, пока птицы не скрылись за лесом. Смотрели, вздыхали тяжело, иной крестился, чтобы оградить себя от нечистого. Потом стали собираться в костел на зов неумолкавших колоколов. Мелькая в тумане на всех дорогах и тропках, шли в костел люди из других деревень.

Глубокая печаль наполняла всех, какая-то необыкновенная тишина сошла на души, тишина горестных дум и воспоминаний об ушедших, о тех, кто уже лежит под склоненными березами, под черными покосившимися крестами.

— Иисусе милосердный! — вздыхали люди, поднимая к небу серые как земля, лица, и шли молиться за умерших.

Деревню словно затопило тягостное безмолвие, и только порой доносилось сюда жалобное, молящее пение нищих у костела.

И у Борыны в избе было сегодня тише, чем всегда, но под этой тишиной таилась буря, готовая каждую минуту разразиться.

Детям уже все было известно.

Вчера, в воскресенье, было первое оглашение с амвона о предстоящей свадьбе старика с Ягусей.

В субботу они ездили в город, и там у нотариуса Борына записал на имя Ягуси шесть моргов земли. Домой он вернулся поздно, с исцарапанной физиономией: подвыпив в городе, он на обратном пути в телеге сунулся было к Ягне с самыми решительными намерениями, но она отделала его кулаком и ногтями.

Дома он ни с кем слова не сказал, несмотря на то, что Антек нарочно все время лез ему на глаза. Он сразу лег спать, как был, в сапогах и тулупе, и утром Юзя поворчала на него за то, что измазал перину грязью.

— Ну, ну, Юзя, не сердись! Случается такое и с теми, кто никогда водки не пьет, — сказал Борына весело и уже с утра ушел к Ягне и сидел там до вечера, а дома его напрасно ждали к обеду и к ужину.

Вот и сегодня он встал поздно — солнце уже давно взошло, — надел свой лучший кафтан, а праздничные сапоги приказал Витеку смазать салом, потом Куба его выбрил, он подпоясался, надел шапку и с нетерпением поглядывал через окно на крыльцо — там Ганка чесала своего мальчишку, а ему не хотелось с ней встретиться. Наконец, улучив минуту, когда она вошла в избу, старик крадучись выбрался во двор — и только его в тот день и видели!

Юзя целый день плакала и металась по избе, как птица в клетке. Антек сгорал от муки, которая становилась все острее и нестерпимее, не ел, не спал, ничем не мог заняться. Он все еще был оглушен новостью и не сознавал, что делается вокруг него и в нем самом.

Лицо его потемнело, глаза казались еще больше и блестели, словно полные непролитых, застывших слез. Он стискивал зубы, чтобы не зареветь в голос, не разразиться проклятиями, и все ходил по избе, по двору, выходил за ворота, на дорогу, возвращался и, тяжело опустившись на лавку, сидел на крыльце целыми часами, глядя в одну точку, словно захлебнувшись болью, которая все росла и не давала передышки.

Дом замер, только и слышны были в нем плач, вздохи и стоны, как после чьих-то похорон. Двери хлева и конюшни были открыты настежь, коровы и лошади бродили по саду, заглядывали в окна, и некому было загнать их обратно — только старый Лапа с лаем насккивал на них, но не мог с ними справиться.

В конюшне на нарах Куба чистил ружье, а Витек с благоговейным восторгом наблюдал за его работой и поглядывал в окошко, чтобы их кто-нибудь не застал врасплох.

— Ух, как оно громыхнуло! Я думал, это пан или лесник стреляет.

— Давно я не стрелял — набил его слишком туго, вот оно и грохнуло, как из пушки.

— А ты еще с вечера пошел?

— Да, пошел я к лесу, на панское поле, там на озимь дикие козы любят приходить... Темень была, долго я сидел. На заре гляжу — олень идет... В пяти шагах был от меня — вот как я притаился... Да не выстрелил: здоровенный был, как вол, — нет, думаю, не справится мне с ним! Отпустил его... А немного погодя лани вышли. Высмотрел я себе самую лучшую и только приложился, — как оно грохнет! Очень туго я его набил, у меня даже рука вспухла, так стукнуло прикладом. Но лань я свалил — еще бы, с полгорсти дробы попало ей в бок! А ревела так, что я даже испугался, как бы лесник не услышал, — пришлось дорезать.

— И ты ее в лесу оставил? — спросил мальчик, увлеченный рассказом.

— Где оставил, там оставил, не твое дело! А если ты хоть словом кому заикнешься, так увидишь, что я с тобой сделаю...

— Я не скажу никому, если ты так приказываешь. А Юзе можно?

— Еще чего? Чтобы вся деревня вмиг узнала! На тебе пятачок, купи себе чего-нибудь.

— Я и так не расскажу, только возьми меня как-нибудь с собой, Куба, голубчик! Возьмешь?

— Завтракать! — закричала Юзя с крыльца.

— Возьму, возьму, только молчи!

— И дашь мне хоть разок стрельнуть, да, Куба? — умолял Витек.

— Дурачок, думаешь, порох мне даром дают?

— А у меня есть деньги, мне хозяин еще перед ярмаркой дал два злотых! Я их берег, чтобы на помин сегодня в костел отдать.

— Ладно, ладно, научу тебя, — сказал Куба тихо и погладил мальчика по голове — так Витек тронул его своими мольбами.

Через несколько минут после завтрака оба уже шагали по дороге в костел. Куба ковылял бодро, а Витек немного отставал, огорченный тем, что у него нет башмаков и он босиком идет в костел.

— А босому в ризницу можно, а? — спрашивал он тихо.

— Глупый! Думаешь, Иисус на сапоги смотрит, а не на молитвы?

— Так-то оно так, а все же в сапогах лучше бы... — сказал Витек еще грустнее.

— Еще купишь себе сапоги, не горюй.

— Куплю, Куба, обязательно куплю. Вот только подрасту, сразу поеду в Варшаву и наймусь там в конюхи... А в городе все ведь обутые ходят, правда, Куба?

— Правда, правда! Неужто помнишь?

— Ого, еще как! Ведь мне пять лет было, когда меня Козлиха привезла, я все помню. Холодно было, мы пешком шли на машину, а кругом светло-светло! До сих пор у меня в глазах рябит. Все помню! Там дома стоят один около другого и такие высокие, как костел!

— Выдумываешь! — бросил Куба презрительно.

— Нет, Куба, я хорошо помню. Такие высокие, что и крыш не видно. А колясок всяких сколько!.. Окна до самой земли... Целые стены, кажись, из стекла. И такой звон стоит!..

— Не диво — костелов много.

— Должно быть, так, — а то откуда же звону быть?

Они замолчали, потому что уже вошли на кладбище и стали проталкиваться через густую толпу, стоявшую у костела, так как внутри не все могли поместиться.

Нищие выстроились в ряд, образуя улицу от главного входа до самой дороги. Каждый на свой лад старался обратить на себя внимание, кричал, громко молился и просил подаяния, одни играли на скрипках и пели заунывными голосами, другие — на дудках или гармониках, и гам стоял такой, что в ушах звенело. В ризнице тоже было полно народу, а у столиков, где органист и его сын Ясь принимали деньги на помин душ, была такая давка, что ребра трещали. Куба пробрался вперед и подал органисту изрядный список имен. Органист записывал и брал по три копейки за душу или по три яйца, если у кого не было денег. Витек остался несколько позади. Ему больно наступали на босые ноги, но он все же, как мог, проталкивался за Кубой, а вокруг ворчали, зачем он суется под руку и мешает старшим. Деньги он крепко сжимал в кулаке, но, когда его, наконец, вытолкнули вперед и он очутился у стола органиста, у него словно язык отнялся: как же, тут были все богачи их деревни, и мельничиха в шляпке, словно какая-нибудь помещица, и кузнец с женой, и войт со своей... И все они глядели на него! Подходили к столу, припоминали вслух своих покойников и подавали на помин их душ — и по десять и по двадцать имен... на целые семейства... за отцов, дедов и прадедов... А он, Витек? Разве он знает, кто его мать, кто отец? Ему некого поминать. Иисусе!.. Он стоял, не двигаясь, разогнув рот, как дурачок, широко раскрыв голубые глаза.

А сердце сжималось от боли так сильно, что он едва дух переводил... Ему казалось, что он сейчас умрет от этой боли! Но он недолго так простоял, его оттолкнули в угол, под кропильницу, и он, чтобы не упасть, прислонился головой к оловянной чаше, а слезы, как бусинки, как зерна четок, текли и текли из глаз, — напрасно он пытался их удержать. Он весь трепетал, каждая жилка в нем дрожала, зуб на зуб не попадал, и даже устоять на ногах ему было трудно. Он присел в углу, подальше от людских глаз, и плакал горькими сиротскими слезами.

— Мама, мама! — стонало в нем что-то. И отчего это у всех есть отцы и матери, один он — сирота, только он один?

— Иисусе! Иисусе! — всхлипывал он и задыхался, как птица, придушенная силками. Здесь нашел его Куба и спросил:

— Витек, ты уже подал деньги на поминовение?

— Нет, — Витек вскочил, вытер глаза и решительно двинулся к столу. Да, да, и он подаст имена... зачем людям знать, что у него никого нет? Пускай он сирота, подкидыш — это никого не касается!

Он с вызовом обвел глазами тех, кто стоял у стола, и твердым голосом назвал имена — первые, пришедшие ему в голову: Юзефа, Марианна и Антоний.

Уплатил, взял сдачу и пошел за Кубой в костел молиться и слушать, как ксендз помянет его покойников.

Посреди костела стоял на катафалке гроб, вокруг которого ярко горели свечи, и ксендз на амвоне поминал бесконечный ряд имен, а когда он делал перерыв, ему отвечал громкий хор голосов, читавших зауспокойную молитву.

Витек опустился на колени рядом с Кубой, а тот вытащил из-за пазухи четки и читал одну за другой все молитвы, как приказывал ксендз. Витек тоже попробовал молиться, но его скоро

убаюкали монотонные голоса молящихся, разморила жара и усталость от слез, он приткнулся к Кубе и уснул...

После обеда вся семья Борыны пошла к вечерне, которую ежегодно в этот день служили в кладбищенской часовне.

Шли Антек и Ганка с детьми, шел кузнец с женой, Юзя и Ягустинка, а шествие замыкали Куба и Витек — коли праздник, так уж праздник!

День смыкал серые утомленные веки, догорал и медленно погружался в унылую и жуткую пучину мрака. Поднявшийся ветер с воем носился по полям, метался меж деревьев и дышал холодным и гнилым дыханием осени.

Стояла тишина — особая, угрюмая тишина поминального дня. Толпы людей двигались по дороге в суровом молчании, слышался только глухой топот ног, да тревожно качались и шелестели деревья вдоль дороги, и тихий, печальный шум ветвей пробегал над головами, а заунывное пение нищих и звуки их скрипок рыдали в воздухе и пропадали без эха.

Перед кладбищенскими воротами и даже среди могил у ограды стояли ряды бочек, а около них толпились нищие.

Во всю ширину дороги под тополями народ валил к кладбищу. В сумерках, уже присыпавших день серым пеплом, мелькали огоньки свечей, колыхалось желтое пламя лампадок. На кладбище каждый доставал из узелка хлеб или сыр, кусок сала, колбасу либо моток пряжи, горсть чесаного льна, связку грибов — и все это бережно складывали в бочки. Отдельно стояли бочки для ксендза, для органиста, для Амброжия, а остальные предназначались для нищих. Кто не клал ничего в бочки, тот совал медяки в протянутые руки нищих и бормотал имена своих покойников, за которых просил помолиться.

Хор молитв, песен, поминаемых имен жалобным ритмом возносился над воротами кладбища, а люди проходили дальше, рассеивались среди могил, и скоро в сумраке, в чаще деревьев, среди сохнувших трав, как светлячки, замерцали огоньки свечей.

В тишине дрожал тревожный, приглушенный шепот — молитв, порой над какой-нибудь могилой звучало горькое рыдание, жалобные причитания терялись среди крестов. То вдруг чей-нибудь короткий, полный отчаяния вопль, как удар грома, разрыва воздух или тихий детский плач, сиротская жалоба, слышался в темной чаще, как писк птенцов.

А в иные минуты на кладбище наступало глубокое молчание, только деревья угрюмо шумели, и уносилось в небо эхо людских рыданий, горьких жалоб, воплей муки и тоски.

Люди бесшумно бродили среди могил, боязливо шептались и с тревогой вглядывались в сумрачную даль.

— Все умрем! — вздыхали тяжело, с глубокой покорностью, и брели дальше. Присаживаясь у родных могил, молились или сидели молча, задумавшись, равнодушные к жизни, равнодушные к смерти, равнодушные к боли, как деревья вокруг, и, как эти деревья, трепетали их души в смутном предчувствии тревоги.

— Иисусе милосердный! Мария! — рвался вопль из душ, измученных жизнью, и поднимались к небу землистые лица и глаза, серые, как лужи, еще светившиеся во тьме. Люди падали на колени у крестов и, прикивая смятенным сердцем к стопам Христа, плакали самозабвенно и покорно.

Куба и Витек ходили вместе с другими, а когда уже совсем стемнело, Куба поплелся на старое кладбище.

Здесь на провалившихся могилах было тихо, пусто и мрачно, здесь лежали забытые, о которых и память давно умерла, как и дни, и времена их, и все. Здесь только какие-то птицы кричали зловеще да шелестела печально листва. Кое-где еще уцелели полусгнившие кресты — под ними покоились целые роды, целые деревни, целые поколения. Здесь уже никто не молился, не плакал, не зажигал лампад... Только ветер гудел в ветвях и, срывая последние листья, гнал их в ночь, на погибель. Только какие-то голоса — не голоса, тени — не тени бились о голые деревья, как ослепшие птицы, и словно молили о милосердии.

Куба достал из-за пазухи несколько припрятанных ломтиков хлеба, покрошил их и, став на колени, разбросал по могилам.

— Прими, душа христианская... поминаю тебя в вечерний час... Подкрепись, душа кающаяся, — приговаривал он тихо и взволнованно.

— А они возьмут? — так же тихо и с беспокойством спрашивал Витек.

— А как же! Ксендз их кормить не дает! В бочки люди всякого добра накладывают, а этим горемычным ничего не достанется. Не только у ксендза, у самого последнего нищего свиньи имеют корм, а души грешные терпят голод...

— А они придут, Куба?

— Не бойся! Прилетят все, кто в чистилище мучается. Господь их в этот день отпускает на землю — своих навестить.

— Своих навестить! — повторил Витек дрожа.

— Да ты не бойся, дурачок, сегодня нечистому к людям подступу нет, отгоняют его молитвы и свечи! Сегодня сам Иисус ходит по свету и считает, сколько еще у него душ осталось, пока всех не возьмет к себе... Так мать моя сказывала, я хорошо помню, да и старые люди так говорят.

— Иисус ходит? — шептал Витек, настороженно озираясь.

— Да разве увидишь его? Это только святые его видят, да те, кто больше всего натерпелся на этом свете.

— Гляди, что-то светится, и люди там какие-то!.. — вскрикнул с ужасом Витек, указывая на ряд могил у самой ограды.

— Там похоронены те, кого в лесу убили... Да... И мои господа там лежат, и мать моя...

Они пробрались сквозь чащу и стали на колени у могил, которые осели настолько, что почти сравнялись с землей. Не было на них крестов, не осеняло их ни одно дерево, — лишь песок, сухие стебли коровяка и тишина, забвение, смерть...

У этих могил стояли на коленях Амброжий, Ягустинка и старый Клемб. Мерцали две лампадки, воткнутые в песок, а ветер колыхал их огоньки, подхватывал слова молитв и уносил их в ночной мрак.

— Да, мать моя тут лежит... Я помню, — говорил Куба тихо, обращаясь больше к себе самому, чем к Витеку, который жался к нему, потому что холод пронизывал его до костей. — Магдаленой ее звали... У отца своя земля была, но он служил в имении в кучерах... все, бывало, на заводских рысаках старого пана возил. А потом помер; землю дядья забрали. А я господских поросят пас. Да, Магдаленой мать звали, отца — Петром, а прозвище ему — Соха, как и мне... А потом меня к лошадям приставили, чтобы я, как отец покойный, панов возил. И все, бывало, мы на охоту ездили к другим господам... Стрелял и я неплохо...

Меньшой панич мне ружье дал. А мать моя в усадьбе у старой пани служила... Я хорошо помню. А когда все пошли воевать, взяли и меня. Целый год я там с ними был и все делал, что приказывали. Не одного солдата убил... А молодого пана ранили в живот... Добрый он был человек — ну, да и хозяин мой, как-никак... Взял я его на плечи, вынес... Он потом в теплые края уехал, а мне приказал, чтобы старшему пану письма снес. Я и пошел. Замучился тогда, как собака... Ногу мне прострелили, и она никак не заживала... оттого что все время под открытым небом... А снегу тогда навалило по пояс и морозы были лютые. Дотащился я ночью до усадьбы... ищу... Господи Иисусе, царица небесная! Словно меня кто обухом по голове хватил! Усадьбы нет, гумен нет... ничего нет, ограды даже не осталось! Дотла все сожгли... А старый пан, и пани, и мама моя... и Юзефа, горничная, все лежат в саду убитые... — тихо рассказывал Куба, и слезы, как горох, катились по его лицу, и он уже не утирал их, только вздыхал от горя и тоски, потому что прошлое встало перед ним, как живое. А Витек спал, — утомился, бедняга.

Ночь надвигалась все ближе, ветер сильнее трепал деревья, и длинные косы берез подметали могилы, а их белые стволы, словно одетые в саваны, маячили в темноте. Люди расходились, свечи гасли. Песни нищих умолкли. Торжественная тишина, полная странных шорохов и тревожащих голосов, воцарилась среди могил. Кладбище как будто наполнялось тенями, толпой призраков, какими-то смутными очертаниями, музыкой тихих голосов, океаном странных трепетов, волнами мрака, молниями тревоги, немymi рыданиями, тайной, в которой были ужас и смятение. Даже стая ворон сорвалась с часовни и с криком улетела в поле, а собаки по всей деревне завывали протяжно, отчаянно, безнадежно.

Несмотря на праздник, в деревне было тихо, на улицах ни души, корчма закрыта, и только кое-где сквозь запотевшие окошки мерцали огоньки и звучало тихое набожное пение — зауспокойные молитвы.

Люди с тревогой выходили за ворота, с тревогой вслушивались в шум деревьев, с тревогой искали — не стоят ли уже где-нибудь, не явились ли те, кто в этот день бродят по земле, гонимые волей божьей, не стонут ли они на перекрестках, каясь в грехах своих, не заглядывают ли с тоской в окна?

А местами хозяйки, по древнему обычаю, выносили на завалинки остатки ужина, крестились и шептали:

— На, подкрепись, душа христианская.

Так в тишине, печали, воспоминаниях и страхе проходил этот вечер поминовения.

В избе Боруны, на половине Антека и Ганки, сидел Рох, читал вслух и рассказывал всякие назидательные истории.

Слушателей набралось порядочно — пришли Амброжий, Ягустинка, Клемб, сидели тут и Куба с Витеком, и Юзька, и Настуся. Не было только хозяина, — он теперь до поздней ночи засиживался у Ягуси.

Тихо было в избе, только сверчок гудел да в печи потрескивали сухие щепки.

Все расселись на лавках перед огнем, один только Антек сидел в стороне, у окна. Рох время от времени шевелил палкой уголья и тихо говорил:

— Умирать не страшно, нет! Птицы на зиму улетают в теплые края, так и душа усталая летит к Иисусу...

Вот деревья, что сейчас стоят голыми, весной оденутся зеленой листвой и ароматным цветом. Так душа человека стремится к Богу за радостью, за весной и вечным нарядом.

Как землю эту, родящую и натруженную, ласкает солнце лучами своими, так и Господь приголубит каждую душеньку, и не страшны ей будут ни зима, ни горе, ни смерть сама.

А на земле удел человека — только слезы, скорбь и томление.

И разрастается злоба, как волчец, и вырастает в целые леса!

И все суета сует, все — тлен и пузыри на воде: ветер их вздувает и ветер же их разгоняет.

Х

Говорю я это и с амвона, и каждому отдельно, а вы только грызетесь, как собаки, и... — Ветер помешал ксендзу договорить, он поперхнулся концом фразы и сильно закашлялся, а шедший рядом Антек молчал и всматривался в темноту между деревьями.

Ветер все усиливался, кружил пыль на дороге и, налетая на тополя, так качал их, что они гнулись к земле и сердито шумели.

— Говорил я ему, бездельнику, — начал опять ксендз, — чтобы он сам отвел кобылу к озеру, так нет — пустил ее вперед одну! Ну, она и забрела куда-то... Слепая, ведь, залезет; между плетней и еще ноги поломает, — сокрушался он и озабоченно искал вокруг свою кобылу, заглядывая за каждое дерево и обегая глазами поля.

— Да ведь она всегда одна ходила...

— Дорогу к озеру она хорошо знает. Нальет кто-нибудь воды в бочку, и надо только повернуть воз, а уж она сама домой пойдет... Но это днем! А нынче кто-то — Магда или Валек — выпустили ее уже в сумерки... Валек! — крикнул вдруг ксендз громко, так как между тополями мелькнула чья-то тень.

— Валека я еще засветло встретил на нашей стороне.

— Это он побежал ее искать, — вовремя хватился!.. Кобыле без малого двадцать лет, при мне она родилась. Выслужила себе уже даровой корм... А привязана ко мне, совсем как человек... Ох, как бы с ней беды не случилось!

— Что ей сделается! — буркнул с раздражением Антек. Было от чего злиться: он пришел к ксендзу пожаловаться на отца, спросить совета, а тот только накричал на него да еще потащил с собой кобылу искать! Конечно, и кобылы жаль, хоть она слепая и старая. Но первым делом человека надо пожалеть.

— А ты образумься и старика не кляни, слышишь? Ведь отец он тебе родной! Ты это помни.

— Помню, помню хорошо! — ответил Антек сердито.

— Грех это смертный, Бог не простит! Кто руку подымет на родителей и против заповеди божией идет, тот добра не жди! Ты мужик умный, должен это понимать.

— Я только справедливости ищу.

— А сам о мести думаешь?

Антеку не знал, что ответить.

— И еще тебе скажу: покорный теленок двух маток сосет.

— От всех только это и слышу! А мне эта покорность уже не вмоготу! Что же это такое? Если он отец, так ему все можно, хотя бы он и разбойник был, и обидчик! А детям за себя и постоять нельзя. Ну, порядки! Хоть плюнь да уходи куда глаза глядят.

— Что ж, иди, кто тебя держит? — рассердился ксендз.

— Может, и пойду, что мне тут делать, что? — сказал Антек уже тише, со слезами в голосе.

— Ерунду мелешь, вот и все! У других и одной полосы нету, а сидят на месте, работают да еще Бога благодарят. Чем хныкать, как баба, взялся бы ты лучше за дело! Мужик здоровый, сильный, и есть к чему руки приложить.

— Как же, целых три морга! — бросил Антек с горечью.

— У тебя жена и дети, ты об этом помнить должен.

— Как не помнить? Помню, — процедил Антек сквозь зубы.

Они дошли до корчмы. В окнах виднелся свет, и громкие голоса слышны были даже на дороге.

— Что это, опять попойка?

— Это гуляют новобранцы, те, кого летом в солдаты взяли. Их в воскресенье угонят далеко, вот они и пьют, утешаются.

— Корчма-то полным-полна! — сказал шепотом ксендз, остановившись под тополями, откуда была хорошо видна через окно вся внутренность корчмы.

— Да, сюда сегодня хотели сойтись мужики, посоветоваться насчет того леса, что помещик продал на сруб.

— Ведь не весь лес продал, еще сколько осталось!

— Пока с нами не поладит, ни одной сосенки тронуть не дадим!

— Как это не дадите? — спросил ксендз немного испуганно.

— А так — не дадим и все. Отец хочет с ним судиться, а Клемб и другие говорят, что суда не надо, но рубить лес они не позволят и, если понадобится, всей деревней пойдут, с топорами и вилами — своего не уступят.

— Иисусе, Мария! Как бы беды не вышло! Ведь тут без драки не обойдется.

— Не обойдется. Как проломают топорами две-три башки в усадьбе, сразу справедливости добьются!

— Антек, да ты со злости рехнулся, что ли? Глупости мелешь, милый мой!

Но Антек уже его не слышал — он метнулся в сторону и исчез в темноте. А ксендз торопливо зашагал домой, услышав издали стук колес и тихое ржание своей кобылы.

Антек шел по направлению к мельнице, по другой стороне озера, — для того, чтобы не проходить мимо дома Ягны.

Занозой впицась она ему в сердце, острой занозой, — ни вытащить, ни убежать от нее!

А из окон ее хаты струился свет, такой яркий и веселый Антек остановился — хотелось хоть один разок, последний, заглянуть туда... или хотя бы выбраться и тем душу отвести! Но что-то рвануло его с места, и он вихрем помчался прочь, ни разу не оглянувшись.

— Не моя она больше — отцова! отцова!

Он бежал к мужу сестры, кузнецу. Совета и от него никакого не ждал, но хотелось побыть среди людей, только бы не там, в отцовской избе... Ох, этот ксендз! Работать уговаривал! Сам ничего не делает, никаких забот и хлопот не знает, ему легко других подгонять! Про детей напоминал, про жену... Как про нее забудешь — до смерти надоели ее слезы, ее кроткая покорность, ее, собачьи молящие глаза... Эх, если бы не она, если бы он не был сейчас женат!..

— Господи! — тяжело простонал он. Его охватил порыв такого дикого, безумного гнева, что хотелось схватить кого-то за горло, душить, терзать, бить смертным боем!

Но кого? Он сам не знал, и гнев отхлынул так же внезапно, как пришел. Пустыми глазами смотрел Антек в ночь, слушал, как ветер бушевал в садах, гнул деревья и они хлестали его ветками по лицу. Медленно плелся он, вдруг так ослабев, что еле передвигал ноги. Тоска давила сердце, и он уже забыл, куда идет и зачем.

— Отцова теперь она, отцова! — твердил он про себя, все тише, как молитву, которую боишься забыть.

Кузница была освещена красными отблесками огня, мальчик раздувал его мехами с таким азартом, что раскаленные уголья трещали и вспыхивали кровавым пламенем. Кузнец стоял у наковальни в кожаном фартуке. Руки его были обнажены, шапка сдвинута на затылок, а лицо закопченное, только глаза на нем светились, как уголья. Он ковал раскаленное докрасна железо так, что гул стоял, а искры дождем брызгали из-под молота и шипя гасли на сырой земле.

— Ну как? — спросил он через минуту.

— Э, что говорить!.. — отозвался Антек тихо. Он прислонился к кузову одной из повозок, ожидавших оковки, и смотрел в огонь.

Кузнец работал усердно, раскалял на огне железо и ковал, мерно звеня молотом, помогал мальчику действовать мехами, когда нужен был огонь по сильнее, и украдкой все поглядывал на Антека, пряча в рыжих усах злую усмешку.

— Ты, кажись, ходил к его преподобию? Ну что же?

— Ничего. То же самое услышал, что в костеле.

— А ты другого ждал? — иронически засмеялся кузнец.

— Ксендз ведь человек ученый, — сказал Антек, оправдываясь.

— Он учен братъ, а не давать людям...

Антеку уже не хотелось спорить.

— Пойду в избу, — сказал он через минуту.

— Ступай. Я жду войта, и мы с ним туда придем. Махорка на шкафчике, кури...

Антек уже не слышал его слов. Он пошел в избу, стоявшую по другую сторону дороги, против

кузницы.

Сестра его, Магда, разводила огонь в печи, а старший мальчик сидел у стола за букварем. Поздоровались молча.

— Учится? — спросил Антек. Мальчик громко читал, водя оструганной палочкой по буквам.

— Да, с самой осени. Мельникова дочка его учит — моему все некогда.

— И Рох со вчерашнего дня начал детей учить у нас в избе.

— Я тоже хотела Яся туда посылать, а мой не пустил, — оттого, что у отца. Да еще он говорит, что дочка мельника больше Роха знает, она в Варшаве училась.

— Верно... верно, — подтвердил Антек рассеянно, только для того, чтобы что-нибудь сказать.

— А Ясек такой понятливый, учительница даже удивляется!

— Ну, еще бы — кузнецово семя! Такого умника сын!

— Зря ты Михала высмеиваешь. Он правильно говорит, что пока отец жив, он всегда может запись отобрать.

— Ну да, вырви у волка из пасти, попробуй!.. Шесть моргов земли! Мы с женой чуть не в батраках у него работаем, а он землю отдает чужой, бог весть кому...

— Если будешь с ним ругаться, да людям жаловаться, да судиться, — он тебя может из дому выгнать, — сказала Магда вполголоса, оглядываясь на дверь.

— Это кто тебе сказал? — воскликнул Антек, вскочив.

— Тише, не шуми! Люди говорят, — шепнула она боязливо.

— Не покорюсь я ему! Пусть меня силой выгонит, так я в суд подам! Судиться буду, а не уступлю! — закричал Антек.

— Лбом стену не прошибешь, сколько ни бодайся, как баран! — сказал кузнец, входя в комнату.

— А что же делать? К тебе люди за советом ходят. Ну, посоветуй и мне!

— Силой со стариком ничего не сделаешь! — Кузнец закурил трубку и начал объяснять, советовать, уговаривать и так вилял, что Антек скоро его раскусил и крикнул:

— Да ты за него стоишь!

— Я только за справедливость стою,

— Видно, он тебе за нее хорошо заплатил.

— А если и заплатил, так не из твоего кармана!

— Нет, из моего, сукин ты сын, из моего! Благодетель выискался — за чужой счет! Ты уж достаточно нахватал, так тебе все равно.

— Столько же взял, сколько и ты.

— Как бы не так! А посуда, а одежда, а корова? Да сколько ты потом выклянчил у отца? Я

хорошо помню, как он тебе давал и гусей, и поросят — всего не перечесть! А теленок, которого ты взял недавно?

— Мог и ты брать.

— Я не вор и не попрошайка!

— Так я, по-твоему, вор, да?

Они подскочили друг к другу, готовые подраться, но быстро остыли, и Антек сказал уже тише:

— Я этого не говорю. Но своего не уступлю, умру, а не уступлю.

— Э... сдается мне, что не из-за одной земли ты так на отца взъелся! — бросил насмешливо кузнец.

— А из-за чего же?

— Ты за Ягной бегал, вот тебе теперь и досадно.

— Ты видел? — крикнул Антек, как ужаленный.

— Другие видели — и не раз.

— Чтоб им ослепнуть! — Антек понизил голос, чтобы не услышал вошедший в избу войт. Войт поздоровался со всеми и, зная, очевидно, из-за чего они ссорятся, начал защищать и оправдывать Борыну.

— Как вам за него не заступаться — немало он вас поил и колбасой откармливал!..

— Не болтай чепухи, когда войт с тобой говорит! — высокомерно прикрикнул войт на Антека.

— А мне наплевать, что вы войт.

— Что? Что ты сказал?

— То, что вы слышали! Могу и еще прибавить такое, что вам не поздоровится.

— А ну! Попробуй! Скажи!

— И скажу! Пьяница ты, иуда-предатель! На крестьянские деньги гуляешь и от помещика ты хороший кус получил за то, что он наш лес продал. Мало тебе, так я еще прибавлю — только уж вот этой дубиной! — прокричал Антек запальчиво, хватаясь за палку.

— Эй, Антек, смотри, пожалеешь потом, — с начальством говоришь!..

— Ты в моем доме на людей не набрасывайся, тут тебе не кабак! — Кузнец заслонил собой войта. Но Антека уже ничто не могло остановить — он изругал обоих, как собак, хлопнул дверью и вышел.

Отведя таким образом душу, он вернулся домой значительно успокоенный, сожалея уже о том, что поссорился с зятем.

"Теперь все будут против меня", — думал он на другое утро за завтраком. И вдруг, к его удивлению, в избу вошел кузнец.

Они поздоровались как ни в чем не бывало.

Когда Антек пошел на гумно нарезать сечки, кузнец проводил его туда, присел на снопах,

сброшенных для обмолота, и заговорил вполголоса:

— На кой черт нам с тобой ссориться — да еще из-за чего? Из-за глупого слова! Вот я первый пришел мириться, первый протягиваю тебе руку.

Антек взял протянутую руку, но посмотрел на кузнеца подозрительно и пробормотал:

— Правда, что только из-за слова, потому что злобы на тебя у меня не было. А это войт меня разозлил — чего заступается? Не его дело, так зачем суется?

— Это самое и я ему сказал, когда он хотел бежать за тобой.

— Бить меня? Показал бы я ему, как драться, не хуже, чем его племяннику, — тот с самой жатвы ребра свои лечит! — крикнул Антек, укладывая солому в ларь.

— И это тоже я ему говорил, — скромно вставил кузнец и хитро усмехнулся.

— Я с ним еще посчитаюсь, будет он меня помнить... особа какая, подумаешь! Начальство!

— Дрянь он, и больше ничего, не стоит о нем толковать. Я надумал кое-что, с тем к тебе и пришел. Надо сделать так: после обеда сюда придет Магда, и вы с ней вместе обо всем поговорите со стариком как следует... Нечего злиться да по углам плакаться, надо ему прямо в глаза сказать то, что у нас на душе. Будет от этого толк или нет, а надо ему все выложить!

— Что тут говорить, когда он уже бумагу Ягне выдал!

— И злостью с ним ничего не сделаешь. Что он бумагу выдал — это пустяки: пока жив, всегда может ее отобрать. Это ты помни и не становись на дыбы. Пускай его женится, пусть девкой натешится!

Антек побледнел и затрясся, даже работать перестал.

— Ты против этого не восставай и в глаза ему лести, говори, что хорошо делает и что он своей землей волен распоряжаться. Пусть только он остальную всю нам пообещает, тебе и Магде — да при свидетелях!

— А как же Юзька и Гжеля? — спросил Антек с неудовольствием.

— Им выплатим их долю! Мало ли Гжеля денег перебрал? Отец чуть не каждый месяц ему посылает. Ты только меня слушайся, делай, как я говорю, — не прогадаешь. Я так дело поверну, что все будет наше...

— Медведь еще жив, а ты уже шкуру делишь.

— Ты меня слушай. Пусть только пообещает при свидетелях — чтобы было за что ухватиться. Есть суд, не бойся! У нас одна зацепка уже есть — ведь часть земли ему от твоей матери досталась.

— Велика радость — четыре морга на меня и на Магду!

— Но он их не отдал ни тебе, ни бабе моей и сколько лет сеет на них и урожай собирает! Придется ему заплатить за это, и с процентами. Еще раз тебе повторяю: ни в чем отцу не перечь, ублажай и поддакивай, на свадьбу иди и не скупись на доброе слово — тогда увидишь, как мы его в руки заберем. А не захочет добром — суд заставит... Вы с Ягусей не первый день друг друга знаете — так и она могла бы тебе помочь... Ты ей только слово скажи, а она еще лучше сумеет старого на нашу сторону перетянуть. Ну, согласен? Мне идти пора.

— Согласен. Только поскорее уходи, пока я тебе в морду не дал и за ворота не выбросил! — процедил Антек сквозь зубы.

— Что ты, Антек? Что ты? — пробормотал кузнец в испуге, увидев, что Антек бросил косу и идет прямо на него, весь бледный, с безумными глазами.

— Иуда ты, подлец, вор! — с пеной у рта выплевывал Антек слова, полные такой ненависти, что кузнец бросился бежать.

"В голове у него помутилось, что ли? — размышлял он дорогой. — Я ему добрый совет дал, а он? Что же, коли он такой дурак, пускай идет в работники, пусть его старик выгонит — я уж об этом постараюсь!.. Все равно, так либо этак, я земли не упусти... Так вот ты какой! В морду мне грозился дать, за ворота выкинуть, — это за то, что я с тобой поделиться хотел... за то, что я к тебе, как к брату родному, пришел! Ага, так ты одному себе все забрать хочешь? Не дожدهшься! Ты у меня все мои замыслы навыведал, — ну, да ничего, я тебе, сукин сын, такое подстрою, что тебя лихорадка затрясет".

Кузнец все больше бесился при мысли, что Антек теперь знает о его планах и может выдать их старику. Этого он боялся больше всего.

— Надо мне вперед забежать! — решил он тут же и, несмотря на страх перед Антеком, повернул обратно к хате Борыны.

— Хозяин дома? — спросил он у Витека, который, сидя у ворот, развлекался тем, что швырял, камешки в гусей, плававших на озере.

— Где там! Пошел мельника на свадьбу звать.

"Пойду ему навстречу, он подумает, что мы случайно встретились", — решил кузнец и пошел к мельнице, но — по пути завернул домой и велел жене одеться получше и, как только прозвонят полдень, идти вместе с детьми к Антеку.

— Он тебя научит, что надо делать. Сама ничего не говори и не придумывай, не твоего ума это дело. Только, когда нужно будет, зареви, кланяйся отцу в ноги и проси... Да слушай хорошенько, что отец скажет и что Антек ему прежде говорить будет...

Так он долго ее наставлял, а сам все поглядывал в окно, — не видно ли на мосту Борыны.

— Я загляну на мельницу, узнаю, готова ли наша крупа, — сказал он. Ему невтерпеж было ждть дома.

Он шел медленно, часто останавливался и размышлял. "Кто его знает, что он еще выкинет! Меня обругал, а все-таки может сделать так, как я его научил... вот и хорошо, что при Магде разговор будет... А не сделает так, — значит, поссорятся они с отцом, и старик его выгонит..."

"Что ж, так ли, этак ли, а я все равно себе что-нибудь урву". Он радостно засмеялся, потер руки, потом плотнее надвинул картуз и застегнулся — было ветрено, и от озера тянуло пронизывающим холодом.

— Заморозки пойдут — или опять дожди? — пробормотал кузнец про себя, остановившись на мосту и глядя на небо. Тучи бежали низко над землей, тяжелые, грязносерые, как стада невымытых баранов. Озеро глухо урчало, а по временам плескало волной на берег, где меж черных ольх и расщепленных верб алели платки женщин, стиравших белье, и неистово стучали вальки. На дорогах было пусто, только гуси целыми стадами копошились в затвердевшей грязи и в канавах, засыпанных опавшими листьями и мусором, да у хат шумели дети. На плетнях запели петухи, — может быть, предвещая перемену погоды.

"На мельнице я его скорее дождусь!" — подумал кузнец и пошел вниз.

Антек после ухода кузнеца принялся с азартом резать сечку и к полудню успел нарезать столько, что приехавший из леса Куба так и ахнул:

— Ну, ну! Теперь на целую неделю хватит! — радовался он так громко, что Антек опомнился, бросил работу и пошел в дом.

"Будь что будет, а сегодня поговорю с отцом! — решил он. — Кузнец — жулик и Иуда, но, пожалуй, он дельный совет дал. У него тут, наверное, и свой расчет есть..."

С этими мыслями о кузнеце он вошел в дом и, заглянув на половину отца, тотчас ушел, так как там сидело человек двадцать ребятишек; они хором читали вслух по складам. Их обучал Рох, строго следивший, чтобы они не баловались. Он ходил вокруг них с четками в руках, слушал, иногда поправлял читавших, кого дергал за ухо, кого гладил по голове и часто, садясь около них, терпеливо объяснял, что в книжке написано, потом спрашивал учеников, и дети, перекрикивая друг друга, как индюки, которых дразнят, все разом отвечали, так громко, что слышно было во дворе.

Ганка стряпала обед и разговаривала со своим отцом, старым Былицей, который заходил к ней редко — он все хворал и уже еле двигался.

Старик сидел у окна, опершись руками на палку, и водил глазами по комнате, смотрел то на детей, забившихся в угол, то на дочь. Он был сед как лунь, у него тряслись губы и постоянно хрипело в груди, а голос был слабый, словно птичий.

— Завтракали вы уже? — спросила Ганка тихо.

— Э... сказать по правде, Веронка забыла мне дать... А я не напоминал.

— Веронка даже собак голодом морит, они частенько ко мне сюда поесть прибегают! — воскликнула Ганка. Она была в ссоре со старшей сестрой еще с прошлой зимы за то, что та после смерти матери забрала все, что осталось, и отдавать не хотела... Сестры с тех пор почти не встречались.

— Да ведь и им не сладко живется, — тихо защищал Веронку отец. — Стах нанялся к органисту хлеб молотить, там его и кормят и платят по двугривенному в день. А дома столько ртов, картошки и той не хватает... Правда, две коровы у них, так что молоко есть... Веронка носит в город масло и творог, так кое-что выручает... Но мне она частенько забывает дать поесть... Оно и не диво... столько ребятишек! Она и шерсть людям ткет, и прядет, работает как вол... А мне — много ли нужно? Только бы во время да каждый день... так я бы...

— Если вам у этой суки так плохо, перебирайтесь весной к нам.

— Да я ведь не жалуясь, не осуждаю... только... только... — Голос его вдруг осекся.

— Гусей у нас попасете, за детьми присмотрите.

— Да я бы все делал, Гануся, все! — сказал он тихо.

— В хате место есть, поставим кровать, чтобы вам потеплее было.

— Да я и в хлеву и в конюшне ночевать могу, только бы у тебя, Гануся, только бы туда уже не возвращаться... Только бы... — Он словно захлебнулся этой мольбой, и слезы закапали из впалых, покрасневших глаз. — Перину она у меня отняла, говорит, что детей укрывать нечем... Это верно, мерзли ребятки, я сам их к себе брал... да тулуп мой износился и нисколько уж не греет... И кровать у меня отобрала, а на моей половине холодно... — Дров

ни одного полена не дает. И каждой ложкой варева попрекает... Побираться гонит меня, да сил у меня нет, и к тебе-то еле-еле дотащился.

— Господи Иисусе! Отчего же вы нам никогда не говорили, что вам так плохо?

— Как же... дочь она мне! А Стах — добрый человек, только все на заработках.

— Проклятая! Взяла половину земли, и пол-избы, и все добро, а с отцом вот как поступает! В суд надо подать! Они обязаны вас кормить, и топливо давать, и одежду всю, какая нужна, а мы — двенадцать рублей в год... ведь мы и долг выплатили... что, неправда?

— Правда. Вы по совести... а она и те ваши несколько злотых, что я на похороны себе берег, выманила у меня. Да и как же не дать... дочь!

Он замолчал и сидел, съежившись, похожий скорее на кучу тряпья, чем на человека.

А после обеда, как только пришла жена кузнеца с детьми, старик взял узелок, который ему тайком собрала Ганка, и потихоньку выбрался из дому.

Борына к обеду не пришел.

Жена кузнеца решила ждать его хотя бы до ночи. Ганка наладила у окна ткацкий станок и протягивала основу. Она только изредка и несмело вставляла слово в разговор Антека с сестрой. Антек изливал перед Магдой свои обиды, а та ему поддакивала. Но это продолжалось недолго, потому что пришла Ягустинка. Войдя, она сказала как бы между прочим:

— А я от органиста к вам забежала, меня туда стирать позвали. Видела сейчас у них Мацея и Ягну — приходили на свадьбу звать. Органист обещался. Ясно — богатый к богатому тянется! И ксендза тоже звали.

— И его! — воскликнула Ганка.

— А что же, святой он, что ли? Сказал, что, может, придет. Почему не пойти — или невеста не хороша, или на эту свадьбу угощения хорошего не поставят?' Мельник и мельничиха тоже обещались с дочкой прийти. Ого! С тех пор как Липцы стоят, никто такой свадьбы не видывал! Уж я-то знаю, мы с Евкой, мельниковой работницей, стряпать будем. Поросятка им Амброжий заколол, колбасы готовят...

Ягустинка замолчала, так как никто не поддерживал разговора, не спросил у нее ничего. Все сидели хмурые. Она внимательно всмотрелась в их лица и воскликнула:

— Эге, да у вас тут что-то затевается!

— Затевается или нет, дело не ваше! — ответила Магда так резко, что Ягустинка обиделась и ушла на другую половину, к Юзе, расставлявшей по местам скамьи и табуретки. Ученики Роха уже разошлись, а сам он побрел в деревню.

— Конечно, отец на себя денег не жалеет, — сказала Магда с досадой.

— У него на все хватит! — заметила Ганка и сразу осеклась, напуганная грозным взглядом Антека. Они сидели, почти не разговаривая, и ждали. Порой кто-нибудь скажет слово, — и опять наступало тягостное, беспокойное молчание.

На крыльце перед окнами Витек с детишками Ганны проделывал такие штуки, что Лапа заливался оглушительным лаем.

— Денег у него, должно быть, немало, — все что-нибудь продает, а тратить не тратит.

В ответ на слова сестры Антек только рукой махнул и вышел на крыльцо. Тошно ему было в четырех стенах, и росла в нем какая-то тревога, и страх — он и сам не знал, перед чем. Он с нетерпением ждал отца, но в душе был рад, что его так долго нет. Не о земле ты думаешь, а об Ягусе, — вспомнились ему слова, сказанные вчера кузнецом.

— Брешет, как собака! — крикнул он вне себя.

Он принялся конопатить стены со стороны двора. Витек подносил ему сухой мох и листья, набирая их из кучи, а он их запихивал в щели и закладывал щепками. Но руки у него дрожали, он то и дело бросал работу и, прислонясь к стене, смотрел в сторону озера: между облетевших деревьев ему видна была Ягусина хата.

Нет, не любовь в нем росла, а злоба и тысяча мыслей и чувств, так похожих на ненависть, что его самого это удивляло. "Сука, бросили ей кость, она и пошла!" Но нахлынули воспоминания, выползли откуда-то — с тех ли оголенных полей, с дорог, или из почернелых садов — и осаждали сердце, цеплялись за мысли, маячили перед глазами. Лоб его покрылся испариной, глаза засверкали, и жаркая дрожь пронизала всего. Эх, вон там, в саду... А потом в лесу... А когда вместе возвращались из города!..

Господи!.. Он даже пошатнулся, так ясно увидел вдруг перед собой ее лицо, разгоревшееся, дышавшее страстью, ее голубые глаза и полные губы, такие алые, такие близкие, что их дыхание обдавало его теплом. Услышал и этот голос, тихий, прерывистый, полный любви и огня: "Антось! Антось!" Она наклонялась к нему так близко, что он всю ее ощущал подле себя, — грудь, руки, ноги.

Он протер глаза, гоня от себя обольстительное видение. Ожесточение таяло, как тает лед, когда растопит его весеннее солнце, и опять пробуждалась страсть. Мучительная тоска поднимала змеиную голову, такая страшная тоска, что хотелось биться головой о стену и кричать, кричать!

— А, пропади все пропадом! — крикнул он вдруг, очнувшись, и быстро глянул на Витека — не догадывается ли тот.

Вот уже три недели он жил как в лихорадке, ожидая какого-то чуда, — и ничего не мог придумать, ничему не мог помешать! Не раз приходили ему в голову безумные мысли и решения, и он бежал, надеясь увидеться с нею. Не одну ночь в дождь и холод бродил он, как пес, вокруг ее хаты. Не вышла, пряталась от него, при встрече обходила издалека!

Что ж, нет, так и не надо! Он все больше ожесточался, ненавидел и ее и все на свете. Если она выходит за его отца, значит, она — чужая, она — прилюдная собака, вор, который крадет у их семьи наивысшее благо, землю. Такую палкой забить надо, насмерть.

Сколько раз хотелось ему пойти к отцу и сказать: "Не можете вы жениться на Ягне, она — моя!" Но у него волосы вставали дыбом от страха: что скажут на это отец, люди, деревня?

Но ведь Ягна станет его мачехой, все равно что матерью — как же можно, как можно! Ведь это грех великий! Он боялся и думать об этом, сердце замирало от неизъяснимого ужаса перед какой-то страшной божьей карой... И никому нельзя сказать ничего, надо носить это в себе, как раскаленные уголья, как огонь, сжигающий внутренности... Нет, не вынести этого человеку!

А через неделю свадьба.

— Хозяин идет! — неожиданно объявил Витек, и Антек даже вздрогнул от испуга.

Уже темнело, сумерки сыпались на деревню, как неостывший пепел, еще розоватый от тлеющего под ним жара. Догорала вечерняя заря, бледная от серых туч, которые ветер гнал к западу и там нагромождал огромными горами. Похолодало, земля остывала, в воздухе чувствовалась резкая свежесть, как перед заморозками, и как-то особенно отчетливы были все звуки — громче топот и мычание шедшего на водопой стада, скрип ворот и колодезных журавлей, собачий лай, говор, крики детей, летевшие из-за озера. Там и сям уже светились окна хат и падали на воду длинные, неровные и дрожащие лучи. А из-за леса медленно поднималась полная луна, огромная, красная, и небо над ней разгоралось заревом, как будто где-то в лесу бушевал пожар.

Борына переделался в свою будничную одежду и пошел по двору, заглянул в амбар, потом к лошадям, коровам, даже пороссятам, накричал за что-то на Кубу, да заодно и на Витека, зачем не доглядел за телятами и они вылезли из загона и толкуются среди коров. Когда он вернулся в дом, там его уже ждали. Сидели молча, устремив на него глаза, но сразу их опустили, когда он, остановившись посреди комнаты, оглядел всех и сказал насмешливо:

— Все собрались! Словно на суд!

— Не на суд, а к вам с просьбой, — робко отозвалась Магда.

— А твой почему не пришел?

— Работа у него спешная, вот он и остался дома.

— Как же — работа! Знаем... — многозначительно усмехнулся Борына. Он снял кафтан и начал стаскивать сапоги, а остальные молчали, не зная, с чего начать. Магда откашлялась и стала унимать расшалившихся детей, а Ганка, присев на пороге, кормила маленького, тревожно всматриваясь в лицо мужа, который сидел у окна и, перебирая в уме все, что хотел сказать, весь дрожал от нетерпения. Одна только Юзя спокойно чистила у печки картофель, подбрасывала в огонь мелко нарубленные дрова и, не понимая, что происходит, с любопытством поглядывала на всех.

— Ну, говорите: чего надо? — резко сказал Борына, раздраженный этим молчанием.

— Да вот... Говори, Антек! Пришли мы к вам насчет той записи... — запинаясь, начала жена кузнеца.

— Да, запись я сделал, а свадьба в воскресенье — так и знайте!

— Это мы знаем, не за тем пришли...

— А зачем?

— Вы ей записали целых шесть моргов!

— Да. А захочу — так хоть сейчас ей все запишу.

— Когда все будет ваше, тогда и запишете! — отрезал Антек.

— А чье же оно? Чье?

— Наше.

— Глуп ты, как баран! Земля моя — что мне вздумается, то с ней и сделаю.

— А может, и не сделаете!

— Ты, что ли, мне запретишь?

— Я! И мы все, а не то суд запретит! — крикнул Антек, вскипев и уже не в силах сдерживаться.

— Судом мне грозишь? Судом? Эй, заткни глотку, пока у меня терпение не лопнуло, а то пожалеешь! — закричал в свою очередь Борына, бросаясь к сыну с кулаками.

— Обидеть себя не дадим! — взвизгнула Ганка.

— И ты туда же! Принесла в приданое три морга песка да старую юбку и еще будешь рот разевать?

— А вы и этого Антеку не дали, даже той земли не дали, что мать оставила, а работаем на вас, как батраки, как волы!

— Зато урожай с трех моргов себе собираете.

— А вам обрабатываем не три, а добрых двадцать моргов!

— Что ж, коли обидно вам, ступайте, поищите, где лучше.

— Никуда не пойдем искать, здесь наша земля! Наша от дедов-прадедов! — с силой сказал Антек.

Старик посмотрел на него, словно ударить хотел, и, ничего не ответив, сел к печи. Он был зол: так разгребал кочергой уголья, что искры летели, лицо его было — красно, и волосы то и дело свисали на глаза, сверкавшие, как у дикой кошки. Он еще владел собой, но видно было, что едва сдерживается.

В комнате стало так тихо, что слышно было сопение одних, тяжелое дыхание других. Ганка, плача, укачивала пищавшего ребенка.

— Мы не против вашей женитьбы, женитесь, если хотите...

— Очень мне это важно — против вы или не против!

— Только бумагу назад возьмите, — вставила сквозь слезы Ганка.

— Замолчишь ты или нет? Скулит и скулит, как сука! — Борына с такой силой ткнул кочергой в огонь, что головешки посыпались на пол.

— А вы потише, она не девка ваша, нечего на нее орать!

— А чего она ввязывается?

— Имеет право — она своего требует! — кричал Антек все громче и громче.

— Уж если записали на Ягну шесть моргов, так все остальное перепишите на нас, — начала Магда тихо.

— Дура! Вишь ты, мою землю делить вздумала! К тебе на хлеба не пойду, не беспокойся! Вот вам и весь сказ.

— А мы не уступим. Мы хотим, чтобы было по справедливости.

— Вот возьму палку да покажу вам справедливость.

— Только троньте — так до свадьбы не доживете!

Ссора разгоралась. Отец и сын наскакивали друг на друга, стучали кулаками по столу, выкрикивали всякие угрозы и вспоминали все свои претензии и обиды. Антек так расвирепел, что себя не помнил, каждую минуту хватал старика то за ворот, то за плечо и готов был его ударить. А старик еще крепился, отталкивал Антека, на оскорбления отвечал редко, — не хотел драки, чтобы не устраивать потехи для соседей, для всей деревни.

Обе женщины плакали, вопили, а дети ревели, в доме поднялся такой содом, что Куба и Витек прибежали со двора и заглядывали в окна. Они ничего не могли разобрать, потому что там кричали все разом, а под конец, когда уже голоса не хватало, хрипели — и слышны были только проклятия и угрозы. Ганка опять заплакала навзрыд и, прислонясь к печи, выкрикивала сквозь рыдания каким-то истошным голосом:

— Что нам теперь остается? По миру идти, побираться! О Господи Иисусе! Работали, как батраки, дни и ночи... А теперь что? Накажет вас Бог за это! Накажет! Целых шесть моргов ей... и вся одежда матери-покойницы, кораллы, все, все — кому это, — кому? Такой свинье! А, чтоб ты за нашу обиду под забором околела, чтоб тебя черви ели, потаскуха!

— Что ты сказала?! — закричал Боруна, подскочив к ней.

— Сказала, что потаскуха, вся деревня это знает... весь свет!

— Ты ее задевать не смей, голову размозжу! — И он стал трясти Ганку за плечи, но Антек заслонил жену и тоже закричал:

— И я скажу, что сволочь, потаскуха, да! Спал с ней, кто хотел!

Он был вне себя и говорил все, что наворачивалось на язык. Но не договорил — старик, окончательно разъяренный, ударил его по лицу с такой силой, что Антек пал головой на стеклянный шкафчик и вместе с ним грохнулся на пол. Но тотчас вскочил, весь в крови, и кинулся на отца.

Они сцепились, как бешеные собаки, метались по комнате, ударяясь о кровати, сундуки, стены, так, что головы трещали, поднялась неопишуемая суматоха, женщины пытались их растащить, но они повалились на пол и, оглушенные ненавистью и взаимными обидами, таскали один другого, душили, терзали.

К счастью, прибежали соседи и разняли их.

Антека перенесли в другую половину избы и отливали водой, — он очень ослабел от борьбы и потери крови, и лицо у него было все изрезано стеклом.

А старик ничуть не пострадал, только рубаха на груди была немного изорвана да на посиневшем от бешенства лице было несколько царапин. Он с бранью выгнал всех сбежавшихся, запер дверь в сени и сел у печки.

Но успокоиться он не мог, все вспоминал сказанное о Ягне, и точно нож ворочался у него в сердце.

"Не прощу тебе этого, пес ты этакий, никогда не прощу! — клялся он мысленно. — Это о Ягусе такие слова!"

Но лезло в голову все то, что он не раз слышал о ней раньше, что поговаривали люди уже давно, а он пропускал мимо ушей. Его кидало в жар, душно становилось и тяжело.

— Неправда это, плетут на нее завистники! — крикнул он громко, но все назойливее приходили на память людские толки. — Уж если родной сын такое говорит, отчего же чужим не брехать? — Но воспоминание жгло его, как огонь.

Юзя убрала все следы побоища, потом, хотя и с опозданием, подала на стол ужин. Но старик попробовал картофеля и положил ложку: не мог ничего проглотить.

— Лошадям корм засыпал? — спросил он у Кубы.

— А как же!

— Витек где?

— Побежал за Амброжием, — чтобы Антека посмотрел... Лицо у него вспухло, как горшок, — добавил Куба и поспешно вышел. Ночь была лунная, и он сегодня собирался в лес на охоту. — С жиру бесятся, — пробормотал он на ходу.

Борына тоже отправился в деревню, но к Ягне не зашел, хотя в окнах у них был свет: дойдя до самых дверей, повернул обратно и побрел по дороге к мельнице.

Ночь была холодная, звездная, легкий морозец сковал землю, высоко в небе стоял месяц и светил так ярко, что озеро все искрилось серебром, а от деревьев на пустые улицы ложились длинные дрожащие тени. Был уже поздний час, и огни в избах гасли, но белые стены еще резче выступали на фоне облетевших темных садов. Тишина и ночь окутали деревню, только мельница тархтела, да монотонно журчала вода.

Мацей ходил то по одной, то по другой стороне озера, не зная, куда деваться. Он все еще не успокоился — где там! Его все сильнее мучили гнев и ненависть. Наконец, он отправился в корчму, послал за войтом и чуть не до полуночи пил, но червяка не залил, — только принял одно решение.

На другое утро он, встав рано, заглянул на половину Антека. Антек еще лежал, лицо у него было обвязано окровавленной тряпкой. Увидев отца, он немного приподнялся.

— Сейчас же убирайтесь из моего дома, чтоб духу вашего тут не было, — сказал Борына. — Хочешь воевать, судиться — так иди в суд, жалуйся на меня, требуй своего. Что для себя посеял, потом соберешь, а теперь проваливай! Чтоб глаза мои вас больше не видели! Слышишь? — гаркнул он, когда Антек сел на постели. Но Антек не ответил ни слова и начал медленно одеваться.

— Чтобы к полудню вас тут уже не было! — крикнул старик еще раз, уже из сеней.

Антек и тут промолчал, словно не слышал.

— Юзя, кликни Кубу, пусть заложит в телегу кобылу и отвезет их добро, куда хотят!

— А с Кубой что-то неладно, лежит на полатах и стонет. Говорит, что хромяя нога у него сильно разболелась, никак встать не может.

— Скажите, — нога у него болит! Повалиться захотелось лодырю! — И старик сам занялся утренними хлопотами по хозяйству.

Куба, видимо, не на шутку расхворался. Несмотря на расспросы Борыны, он не говорил, что с ним, отвечал только, что болен, и так стонал, так охал, что лошади ржали, подходили к нарам, обнюхивали и лизали его лицо, а Витек беспрестанно носил ему воду в ведерке и украдкой стирал в речке какие-то окровавленные тряпки...

Хозяин ничего не замечал: он следил за тем, чтобы Антек с семьей поскорее выбрались.

И они собирались. Уже без криков, без перебранки, без сопротивления укладывали и выносили вещи, увязывали узлы. Ганке от волнения даже несколько раз делалось дурно, но

Антек обливал ее водой и все торопил — только бы поскорее уйти с отцовских глаз.

Он попросил лошадь у Клемба — отцовской взять не захотел — и перевозил вещи к отцу Ганки. Его изба стояла на краю деревни, еще дальше корчмы.

Несколько почтенных мужиков, с Рохом во главе, пришли мирить отца с сыном, но ни тот, ни другой и слышать об этом не хотели.

— Пусть попробует, сладка ли воля да свой хлеб, — сказал старик.

Антек на уговоры ничего не ответил, только сжал кулак и, погрозив им, так страшно выругался, что Рох побледнел и отошел к женщинам, которых много собралось у забора и во дворе, чтобы помочь Ганке, а главное — чтобы вслух погоревать, посудачить, надавать советов... когда заплаканная Юзька подавала отцу и Роху обед, Антек и Ганка с детьми и последними вещами уже выезжали из ворот на дорогу. Антек даже не оглянулся на дом, только перекрестился и тяжело вздохнул. Подхлестывая лошадь, он шел рядом, подпирая тяжело нагруженную телегу, бледный как мертвец. Глаза у него горели, зубы стучали как в лихорадке, но он не произнес ни единого слова. А Ганка плелась за телегой. Старший мальчик уцепился за ее юбку и ревел, младшего она держала на руках и гнала перед собой коров, стадо гусей и двух тощих поросят. Она так голосила, плакала, ругалась, что люди выходили из хат и провожали их, словно похоронной процессией.

А у старика обедали в унылом молчании.

Старый Лапа лаял на крыльце, бежал за телегой, возвращался и снова начинал выть. Сколько ни звал его Витек, пес не слушался — он носился по саду, обнюхивал все во дворе, сунулся было в комнату Антека и, обойдя ее несколько раз, выскочил в сени, лаял, визжал... Поластился к Юзе и опять стал носиться, как ошалелый, потом вдруг сел, тупо глядя на все. Наконец, вскочил и, поджав хвост, помчался вслед за Антеком и Ганкой.

— Вот и Лапа ушел за ними!

— Вернется! Проголодается и вернется, не бойся, Юзя, — мягко утешал ее отец. — Не реви, дурочка. Прибери ту половину, там Рох будет жить. Кликни Ягустинку, она тебе поможет. И займись хозяйством, теперь ты у меня хозяйка, все на твоих руках. Ну, не реви!

Он прижал к груди ее голову и гладил, говоря:

— Вот поеду в город, куплю тебе сапожки.

— Купите, тато, вправду купите?

— Куплю, куплю и еще что-нибудь, только будь хорошей дочкой и за хозяйством смотри.

— И на кофту мне купите — такую, как у Настуси!

— Ладно, ладно, дочка.

— И лент, только длинных, а то мне на вашу свадьбу надеть нечего.

— Что только тебе надо — скажи, и все у тебя будет, все.

XI

Спишь, Ягусь?

— Нет, никак не усну... проснулась чуть свет, и все-то у меня в голове, что уже сегодня свадьба... даже не верится!

— Небось ноет сердце, а, дочка? — спросила старуха тише, с робкой надеждой в душе.

— Чего же ему ныть? Вот только то, что от вас надо уходить, на свое хозяйство.

Мать не ответила, подавив неожиданно охватившее ее чувство тоски, встала с постели и, одевшись на скорую руку, пошла в конюшню будить сыновей. Они немного заспались после вчерашнего девичника — давно уже было светло, земля купалась в серебряном блеске инея, небо на востоке пылало, словно засыпанное раскаленными угольями.

Доминикова умылась в сенях и бесшумно ходила по комнате, часто поглядывая на Ягну, голову которой едва можно было различить на подушке, так как в избе было еще темно.

"Лежи, лежи, дочка! Последний денек ты у матери!" — думала она с нежностью, и та давешняя острая тоска все возвращалась к ней. Не верилось, что и в самом деле это будет уже сегодня, приходилось напоминать себе обо всем. Да, она сама этого хотела, а теперь... теперь... Непонятный страх охватил ее с такой силой, что она вся скорчилась от боли в сердце и присела на кровать... "Борына — хороший человек, он ее беречь будет не обидит... Он в Ягусе души не чаёт, она сделает с ним, что захочет..."

Нет, нет, не этого она боится... А вот дети старика! И зачем он выгнал Антека и Ганку? Теперь они озлятся по-настоящему и будут мстить!.. До если бы не выгнал, Антек был бы у Ягны на глазах — и случился бы грех, а то еще похуже что-нибудь! О Господи! А теперь ничего уже не поделаешь — было оглашение в костеле, поросенка закололи, людей на свадьбу позвали... Все сделано! И бумага на шесть моргов у нее в сундуке... "Нет, нет! Будь что будет! Пока я жива, не дам ее в обиду", — сказала она себе решительно и опять пошла кричать на сыновей, почему не встают.

Вернувшись в избу, она хотела поднять и Ягну с постели, но та уснула, в тишине слышалось ее ровное дыхание. И снова одолели мать всякие сомнения, страхи и заботы. А жалость, как ястреб, впустила когти в ее сердце и рвала его на части.

Она опустилась под окном на колени и, глядя воспаленными глазами на небо, молилась долго и горячо. Встала бодрая и ко всему готовая.

— Ягуся! Вставай, дочка, пора! Сейчас прибежит Евка стряпать, работы еще по горло.

— А погода хорошая? — спросила Ягна, поднимая отяжелевшую от сна голову.

— Еще какая! От изморози все так и блестит. И солнышко сейчас взойдет.

Ягна начала быстро одеваться. Старуха ей помогала, размышляя о чем-то, потом промолвила:

— Скажу тебе еще раз то, что уже говорила: Борыну почитай! Он хороший человек. С кем попало не водись, чтобы на тебя опять клепать не стали. Люди хуже собак — всегда готовы покусать. Слышишь, дочка?

— Слышу, слышу! Вы так меня учите, словно у меня своего ума нет.

— Добрый совет никогда не лишний. И еще помни: на Борыну ты не бурчи, с ним надо добром да лаской. Старый человек на ласку скорее поддается, чем молодой... И кто знает — может, он тебе еще больше земли запишет или денег за пазуху сунет!

— А я за этим не гонюсь! — раздраженно отрезала Ягуся.

— Потому что молода и глупа. А присмотришься ты к людям, — из-за чего все раздоры, для чего все работают, о чем хлопочут? Все о земле, о добре! Хорошо бы тебе было без земли-матушки, а? Тебя Господь создал не для нужды, не для тяжелой работы. Для кого я всю жизнь старалась? Для тебя, Ягусь. А теперь остаюсь одна, как перст...

— Так хлопцы-то от вас никуда не уйдут, остаются ведь!

— Мне от них радости, как от вчерашнего дня! — крикнула старуха и расплакалась. — А с мужниными детьми тебе в согласии надо жить! — добавила она, утирая глаза.

— Юзька — славная девчонка, Гжеля еще не скоро с военной службы придет, а...

— Кузнеца опасайся.

— Да ведь он с Мацеем в дружбе.

— У кузнеца тут какой-то расчет есть! Ну, да я за ним пригляжу. Хуже всего с Антеком и Ганной — не хотят они мириться! Уж и его преподобие вчера с отцом их мирить хотел — не согласились.

— Потому что Мацей — как злая собака: зачем он их из дому выгнал! — крикнула Ягна запальчиво.

— Что ты, Ягуся, что ты! Да ведь Антек всех больше тебя чернил и землю хотел отобрать! Так ругался, такое про тебя говорил, что и повторить нельзя.

— Антек — про меня?! Обманули вас! Чтоб у них языки поганые отсохли!

— А ты что это за него так заступаешься, а? — грозно спросила старуха.

— Потому что все против него. Я не собачонка голодная, что бежит за всяким, кто бросит кусок хлеба! Я вижу, что его обидели.

— Так, может, ты бы ему и записку отдала, а?

Но Ягна не могла ответить — слезы ручьем хлынули из глаз, она убежала в чулан, притворила за собой дверь и долго плакала.

Доминикова оставила ее в покое. Новая тревога закралась в душу матери... Но раздумывать было некогда. Пришла Евка; в сенях, потягиваясь, уже возились сыновья; нужно было приниматься за работу по хозяйству и последние приготовления к свадьбе.

Солнце встало, и день весело катился вперед. За ночь хорошо подморозило, лужи на дорогах и озеро у берегов затянуло льдом, и было так скользко, что даже скот двигался с трудом.

Постепенно становилось теплее, под заборами и в тени еще белел иней, но с крыш уже сверкающим жемчугом текли струйки, а луга в низинах курились испарениями. Воздух был так прозрачен, что окрестные поля видны были как на ладони, а леса словно придвинулись, и можно было различить отдельные деревья.

На синем небе не было ни облачка. Однако вороны бродили около изб, пели петухи, а это показывало, что хорошая погода долго не продержится.

День был воскресный, и хотя в костеле еще не звонили, в Липцах уже гудело, как в улье. Полдеревни собиралось на свадьбу Бороны с Ягной.

Из хаты в хату, через покрытые инеем сады, бегали девушки с пучками лент и разными нарядами. В избах царила изрядная суматоха — приготовления, примерки, одевание. Из окон и дверей, почти везде раскрытых настежь, вылетали веселые голоса, а иногда уже и свадебные песни.

В избе Доминиковой тоже началась суета, спешка, как полагается в такой день.

Дом был заново выбелен, и хотя известка от сырости немного облезла, он сиял издалека, убранный зеленью, как в Троицын день. Шимек и Енджик еще вчера натыкали еловых веток в крышу, и в щели бревенчатых стен, и куда только можно было, а весь двор, от улицы до сеней, усыпали хвоей — пахло, как весной в лесу.

Да и внутри все было тщательно прибрано. На "черной" половине, где был склад всякой рухляди, горел яркий огонь, и Ева, служанка мельника, с помощью соседок и Ягустинки готовила все для свадебного пира.

А из первой комнаты вынесли в чулан все лишнее, оставили одни образа, и братья расставляли у стен крепкие скамьи и длинные столы.

Стены внутри тоже заново побелили, все вымыли, печь завесили голубой холстиной, а весь потолок и потемневшие от времени балки Ягуся щедро разукрасила вырезанными из бумаги картинками. Мацей привез ей из города бумагу разных цветов, а она нарезала из нее звездочек, и цветов, и разных разностей: на одной картинке — собаки гоняют овец, а — пастух с палкой бежит за ними; на другой — целый крестный ход, с ксендзом, хоругвями, образами, и всякие другие, так много, что всех не запомнишь, и так хорошо было сделано — совсем как живое, — вчера на девичнике гости просто диву давались! Ягуся и не такие вещи делала — что ни увидит, что ни задумает, все вырежет, и не было в Липцах избы, где не красовались бы эти ее вырезки.

Она приделалась в спальне и, выйдя в большую комнату, принялась налеплять остальные картинки на стены; даже под образами, когда нигде уже больше не было места.

— Ягуся, бросила бы ты пустяками заниматься, дружки вот-вот придут... И гости того и гляди начнут собираться, музыканты уже по деревне ходят, — а она тут забавляется!

— Поспею еще, — коротко ответила Ягуся, но клеить перестала, надоело ей это. Она посыпала пол сосновыми иглами, столы застлала тонким полотном и то наводила порядок в спальне, то болтала с братьями, то выходила на крыльцо и подолгу смотрела вдаль. Она не испытывала никакой радости. Думала только о том, что сегодня вволю натанцуется, наслушается песен и музыки, которую очень любила. Была она, как сиявший вокруг день, яркий, но по-осеннему глухой и мертвый. Если бы все не напоминало ей каждую минуту о том, что сегодня ее свадьба, она бы и не думала об этом. Вчера на девичнике Бoryна подарил ей восемь ниток кораллов, — все, какие остались у него от покойных жен. Кораллы лежали на дне сундука, Ягна их даже не примерила... Они ее не радовали... Ничто ее сегодня не радовало. Убежать бы куда глаза глядят... в далекий мир... но куда?

Все ей постыло, и в голову настойчиво лезли слова матери об Антеке... Он ее чернил, он? Да как это может быть? Она не могла, не хотела верить — ей даже плакать захотелось. А может, это правда? Вчера, когда она полоскала белье у озера, он прошел мимо, даже не взглянув на нее! А когда она и Бoryна утром шли к исповеди, он встретился им у костела... и сразу свернул в сторону, как от злой собаки... А может... Ну, и пусть, пусть ругается, если он такой!..

Она начинала возмущаться Антеком, но тут воспоминания о том вечере, когда он провожал ее после чистки капусты у Бoryны, хлынули в голову, затопили все огнем, сжали сердце так сильно, встали перед ней так живо, что она не могла с собой сладить... И вдруг, ни с того ни с

сего сказала матери:

— А вы мне после свадьбы волос не обрезайте!

— Ишь что выдумала! Слыханное ли это дело, чтобы девушке после венца волос не обрезать!

— А в господских усадьбах и в городах не брежут.

— Им так надо для распутства ихнего, чтобы можно было обманывать людей и выдавать себя за незамужних. А у нас ты новых порядков не заводи! Помещичьи дочки пусть себе чудачат и выставляют себя на посмешище, пускай ходят с патлами, как еврейки, — вольно им, дурам. А ты — хозяйская дочь, а не какое-нибудь городское помело, и должна делать так, как Бог велел, как спокон веку у нас делалось! Знаю я эти городские выдумки! Никого еще они до добра не доводили! Пошла Пакулева дочка в город служить — и что? Рассказывал войт, — в канцелярию бумага пришла, что она ребенка своего задушила и в тюрьме сидит. Вот тоже Войтек, родня Борыны: до того в городе дослужился, что теперь по деревням ходит, христарадничает. А прежде у него хозяйство в Вольке было, лошади, хлеба вволю... Захотелось мужику булок, вот и заработал себе на старость лет суму да клюку...

Но Ягна, не вняв этим мудрым наставлениям, и слышать не хотела о том, чтобы обрезать косы. Ее пробовала уговаривать Евка, — а Евка была тертый калач, не в одной деревне жила и каждый год ходила с богомолками в Ченстохов. Увещевала ее и Ягустинка, но та, по своему обыкновению, с разными насмешками и колкостями, и в заключение сказала:

— Оставь, оставь косу, пригодится Борыне! Он ее на руку накрутит и крепче тебя придержит, когда палкой колотить будет. Сама потом обрежешь... Знала я не одну такую умницу...

Она не договорила, за ней прибежал Витек.

После того как Антека и Ганку выгнали, Ягустинка перебралась к Борыне, так как Юзя одна не справлялась с хозяйством. Сейчас она помогала Еве стряпать у Доминиковой, но поминутно бегала домой: Борына в этот день ничего не в состоянии был делать, Юзя с утра наряжалась у Магды, а Куба все еще лежал больной.

— Идите скорее, вы Кубе очень нужны, — торопил ее Витек.

— А что, хуже ему?

— Хуже. Так охает, что на улице слышно.

— Милые, — погляжу только, что с ним, и вернусь!

— Ягуся, и ты поторопись, скоро дружки придут, — сказала Доминикова.

Но Ягуся не торопилась. Бродила по дому, как во сне, то присаживалась на лавки, то вдруг вскакивала, принималась убирать, но работа валилась из рук, и она подолгу стояла, рассеянно глядя в окно. Душа волновалась в ней, как вода под ветром, и, как волны о прибрежные камни, то и дело ударялась о воспоминания.

А в доме становилось все шумнее, беспрестанно прибегали родственницы, соседки и, по старому обычаю, приносили курицу или каравай белого хлеба, пирогов, соли, муки, сала, а кто и серебряный рубль в бумажке — все это в виде благодарности за приглашение на свадьбу и для того, чтобы хозяйка не слишком тратилась на угощение.

Каждая выпивала с Доминиковой по рюмочке сладкой наливки и, поговорив, полюбовавшись на убранство избы, убегала.

— А старуха хлопотала и попевала всюду — присматривала за стряпней, прибирала, всем распорядилась, за всем надзирала и поругивала сыновей, которые часто, улучив минуту, убежали и деревню к войту, где уже сидели музыканты и собирались дружки.

К обедне пошло мало народу, и ксендз сердился, что из-за свадьбы забывают о Боге, а люди мысленно оправдывали себя тем, что не каждое воскресенье справляются такие свадьбы.

После обеда начали съезжаться приглашенные из ближних деревень.

Солнце уже клонилось к западу и сеяло бледный осенний свет на землю, влажно блестящую, словно от росы. Окна горели огнем, озеро сверкало и переливалось, в придорожных канавах, как стекло, блестела вода — все вокруг было пронизано светом догорающей осени, ее последним теплом.

Немая безбрежная тишина обнимала землю, залитую золотом. День угасал медленно, теряя яркие краски.

А в Липцах все бурлило и гудело, как на ярмарке. Как только отзвонили к вечерне, музыканты из избы войта повалили на улицу.

Впереди скрипка и флейта, за ними брэнчали бубны с погремушками и весело бормотал разукрашенный лентами контрабас.

За музыкой шли оба свата и дружки — их было шестеро, все молодые парни, рослые, статные, как сосны, в поясе тонкие, в плечах широкие, лихие танцоры и первые забияки, которые никому дороги не уступали и за словом в карман не лезли. И все — сыновья зажиточных и почтенных отцов.

Они шагали посреди дороги тесной гурьбой, плечо к плечу, веселые, как и полагается на свадьбе, нарядные. Играли на солнце полосатые штаны, красные жилеты, пучки лент на шляпах, и, словно крылья, развевались по ветру белые кафтаны.

Все горланили, весело подпевали, лихо притопывали; двигались по улице с таким шумом, словно молодой бор сорвался с места и летел по ветру.

Музыка играла полонез, и компания, переходя от дома к дому, приглашала гостей на свадьбу. Где выносили им водки, где зазывали в хату, где отвечали песнями. Из всех домов выходили разодетые люди, присоединялись к ним. Шли дальше все вместе и хором пели под окнами подружек невесты:

Выходи, подруженька.

На свадьбу пора!

Будут там песни, плясать будем

Под скрипки до утра.

А кто не наестся, кто не напьется.

Тот рано домой соберется,

Ой, дана, дана!

Припев подхватывали так дружно и громко, что он гремел на всю деревню, до самых полей неслись веселые голоса, перекатывались по лесу, летели в широкий мир.

Люди выходили на крылечки, в сады, к плетням, и даже те, кого не звали на свадьбу, присоединялись к толпе, чтобы наглядеться и послушаться. Пока дошли, собралась уже почти вся деревня и окружила свадебное шествие, так что приходилось идти медленно. А впереди бежало множество ребятишек с криками и песнями.

Так проводили гостей до дома невесты, сыграли им туш и повернули к дому жениха.

Теперь Витек, все время гордо шествовавший с дружками в украшенной лентами жилетке, выскочил вперед.

— Хозяин, дружки с музыкой идут! — крикнул он в окно и побежал к Кубе.

На крыльце лихо грянула музыка, и Боруна в тот же миг вышел навстречу, распахнул двери настежь и, здороваясь, приглашал всех в дом, но сваты взяли его под руки и повели прямо к Ягне, так как пора было идти в костел.

Боруна шел быстро и выглядел сегодня удивительно молодо. Подстриженный, чисто выбритый, нарядно одетый, он был очень красив, а уверенная, гордая осанка и высокий рост делали его заметным издали. Он весело шутил с парнями, разговаривал со всеми, а больше всего с кузнецом, который вертелся около него.

Его торжественно проводили к дому невесты, толпа расступилась, и дружки шумно, под музыку и песни, ввели его в комнату.

Ягны там не было — ее одевали женщины в спальне, накрепко запертой и зорко охраняемой, так как парни толкались в дверь и, найдя в досках щели, дразнили подружек невесты, а те отвечали визгом, смехом и криками.

Гостей принимала старуха с сыновьями, потчевала горилкой, усаживала тех, кто постарше, и за всем глядела, так как народу набралось столько, что в избу было не протолкнуться, стояли в сенях и даже во дворе. И гости не какие-нибудь — все родовитые и богатые хозяева, все родня и кумовья Боруны и Доминиковой, да и знакомые съехались даже из дальних деревень.

Конечно, не было ни Клемба, ни Винцерков, ни мелюзги разной, сидевшей на одном морге земли, ни той голытьбы, что ходила на поденщину и всегда держалась около старого Клемба. Не для пса колбаса, не для свиней мед!

Только через полчаса отворились двери спальни. Жена органиста и мельничиха вывели Ягусю, окруженную пестрым венком подруг. Все они, нарядные, красивые, были как цветы, а она, стройнее и выше всех, стояла среди них, как чудесная роза, вся в белом, в бархате, перьях, лентах, в серебре и золоте. В избе вдруг наступила тишина — все онемели от восхищения.

— Эх! С тех пор, как живут на свете мазуры, не было невесты краше!

Дружки зашумели, грянули во всю мочь:

Играй, скрипка, заливайся,

Ягуся, с матерью прощайся!

Играй, флейта, заливайся,

Ягуся, с братьями прощайся!

Борына выступил вперед, взял ее за руку, и оба опустились на колени, а мать перекрестила их образом, стала благословлять и кропить освященной водой. Ягуся с плачем припала к ее ногам, потом стала кланяться в землю и другим, просила прощенья и прощалась со всеми.

Женщины обнимали ее, передавая из объятий в объятия, и плакали вместе с ней, а больше всех плакала-разливалась Юзя, вспоминая покойную мать.

Наконец, все двинулись на улицу, выстроились в порядке и пошли пешком — до костела было недалеко.

Музыканты шли впереди и гремели изо всех сил. За ними подружки вели Ягну. Она шла весело, улыбаясь сквозь слезы, еще висевшие на ресницах, нарядная, как деревцо в цвету, и, как солнце, притягивала все глаза. Косы ее были уложены высоко над лбом — на них красовался веночек из золотых нитей, павлиньих перьев и веточек розмарина, а от венка на плечи спускались длинные ленты всех цветов и летели за ней, переливаясь радугой... На ней была белая юбка, в густых сборках у пояса, корсаж из голубого, как небо, бархата, расшитый серебром, рубашка с широкими рукавами и пышный кружевной воротничок, прошитый голубой тесьмой, а на шее — несколько рядов кораллов и янтарей.

За ней дружки вели Мацея.

Как могучий дуб за стройной сосенкой, шагал он за Ягусей, и все оглядывался по сторонам — ему показалось, что он видел в толпе Антека.

За ним шла Доминикова со сватами, кузнец с женой, Юзя, мельник с женой, жена органиста и другие почетные гости.

А дальше, во всю ширину дороги, валила деревня. Заходящее солнце висело над лесом, большое, багровое, и заливало дорогу, озеро и хаты кровавым блеском, а люди в этом зареве медленно шли вперед. В глазах рябило от лент, павлиньих перьев, цветов, красных штанов, оранжевых юбок, платков, белых кафтанов — словно это двигался луг, покрытый цветами, тихо колыхаясь под ветром. Девушки, подружки невесты, часто запевали звонкими голосами:

Ах, едут возы, едут, скачут,

А по тебе, Ягуся, плачут!

Гей!

Ах, поют люди, распевают.

Печаль твою не разгоняют,

Гей!

Доминикова всю дорогу тихо плакала и смотрела на дочь, как на икону. С ней заговаривали, но она ничего не слыхала.

В костеле Амброжий зажигал в алтаре свечи.

На паперти все выстроились парами и двинулись к алтарю, так как уже и ксендз выходил из ризницы.

Венчание прошло быстро, — ксендз спешил к больному. Когда выходили из костела, органист заиграл на органе такие мазурки, обертасы и куявяки,[13] что ноги у всех сами заходили, а некоторые чуть не затагнули песню, да вовремя вспомнили, где находятся.

Возвращались уже беспорядочной толпой, рассыпавшись по всей дороге, как кому хотелось. Было шумно, шафера и подружки невесты горланили так, словно с них кожу сдирали.

Доминикова побежала вперед, и, когда все подошли к дому, она уже встречала молодых на пороге с образом и хлебом-солью, а потом — давай опять со всеми здороваться, обниматься и приглашать в дом! В сенях играла музыка, и каждый, едва переступив порог, обнимал за талию первую попавшуюся женщину и плавным танцующим шагом входил в избу. А там уже, извиваясь пестрой змеей, толпа гостей неслась хороводом по горнице. Наклонялись, кружились, торжественно и медленно сходились и расходились, притопывали и плыли, пара за парой — так колышется в поле спелая рожь, густо расцвеченная васильками и маками. В первой паре, впереди всех, танцевали Ягуся с Бoryной.

Мигали огни ламп, стоявших на лежанке, качался дом, и казалось, что стены не выдержат напора этой расплясавшейся толпы. Наконец, кончили танцевать полонез. Музыка сейчас же заиграла первый танец для молодой, — так повелось испокон веков.

Гости отхлынули к стенам и заняли все углы, а парни образовали большой круг, и посреди этого круга Ягна пошла плясать.

Кровь в ней играла, голубые глаза искрились, сверкали белые зубы на разрумившемся лице. Она танцевала без устали, все время меняя кавалеров, так как невесте полагалось хотя бы один круг сделать с каждым из гостей.

У музыкантов уже немели руки, а Ягуся танцевала так, словно только что начала — лишь сильнее покраснелась и кружилась в таком упоении, что ленты с шумом летали за ней, хлестали людей по лицам, а юбки, раздуваясь в вихре танца, заняли всю комнату. Парни от восторга стучали кулаками по столам и лихо покрикивали.

Только напоследок Ягна выбрала мужа. Бoryна ожидал этого. Как рысь, подскочил к ней, обнял и закружил на месте, а музыкантам крикнул:

— Эй, хлопцы, вовсю жарьте, по-мазурски!

Они грянули изо всей мочи, и в хате закипело, загудело, как в котле.

Бoryна только крепче обнял Ягну, закинул на руку полы кафтана, поправил шляпу, стукнул каблуками и полетел, как вихрь.

Эх, и плясал же он, и плясал! То кружил Ягну на месте, то несся вперед и так стучал каблуками, что щепки летели от пола, и покрикивал. Они с Ягной словно сплелись и веретеном вертелись, только ветер по избе пошел. Силой веяло от этой пары.

А музыка гремела буйно, лихо, по-мазовецки.

Все столпились в дверях и по углам, притихли и глядели с изумлением на Бoryну, а он танцевал все неистовее, и многие не могли устоять на месте, ноги сами несли их, они стучали в такт каблуками, а кто погорячее — хватал какую-нибудь девушку и пускался в пляс, ни на что уже не глядя.

Как ни крепка была Ягуся, а и она от такой пляски ослабела и почти падала из рук Бoryны. Заметив это, он, наконец, остановился и проводил ее в спальню.

— Ну и хват! Давай побратаемся с тобой и на первые же крестины в кумовья меня зови! — кричал мельник, обнимая его.

Музыка смолкла, и начался пир.

Доминикова с сыновьями, кузнец, Ягустинка суетились среди гостей с полными бутылками и рюмками в руках и чокались с каждым. Юзя с кумами разносили в решетках нарезанный ломтями хлеб и пироги.

Шум в избе рос, все говорили громко, наперебой, и гости охотно брались за рюмки: не каждый день свадьба.

На лавках под окном сидели мельник, Бoryна, войт, органист и другие представители деревенской знати. Бутылка с рисовой переходила из рук в руки — и не один раз. Приносили им и пива. Они, видно, здорово выпили — уже начали обниматься и брататься.

А в спальне, освещенной большой лампой, взятой на время у органиста, собрались женщины с мельничихой во главе, — чинно расселись на сундуках и лавках, застланных домотканными шерстяными коврами, прихлебывали мед и деликатно пощипывали сладкий пирог. Изредка только кто-нибудь бросал слово — другое. Все внимательно слушали мельничиху, которая рассказывала о своих детях.

В сенях была давка, даже в задней комнате теснились люди, а Юзья гнала их вон, так как здесь шли усиленные приготовления к ужину, и уже по всему дому разносились такие аппетитные запахи, что не у одного гостя слюнки текли.

Молодежь высыпала на крыльцо, во двор, сидела на завалинках. Вечер был холодный, тихий и звездный, всем было очень весело, гул стоял от смеха, криков, беготни — парни и девушки гонялись по саду друг за другом, а старшие кричали им из окон:

— Цветочки ищите? Смотрите, девушки, как бы чего иного не потерять в темноте!

Но кто ж их слушал?

В передней горнице Ягуся и Настка Голуб ходили обнявшись и все время хохотали и шептались, а Шимек, старший сын Доминиковой, глаз не сводил с Настки, каждый раз подходил к ней с водкой, ухмылялся и заговаривал.

Кузнец, разряженный в пух и прах, в черном сюртуке и брюках навыпуск, хлопотал всех больше, всюду попевал, со всеми чокался, вмешивался во все разговоры и вьюном вертелся по избе, — то тут, то там мелькала его рыжая голова и веснушчатая физиономия.

Молодежь танцевала не много и не очень охотно: ждали ужина.

А старшие толковали о делах. Войт, уже пьяный, говорил все громче, стучал по столу кулаком и тарачил глаза.

— Войт вам говорит — значит, верьте! Я — должностное лицо! Получил я бумагу с приказом: созвать мужиков, чтобы с каждого морга земли деньги на школу вносили.

— Ты, Петр, можешь хоть по пятаку с морга назначить, а мы и гроша не дадим!

— Не дадим! — гаркнул кто-то.

— Тише! Слушать, когда войт говорит!..

— Такой школы нам не надо, — сказал Борына.

— Не надо! — хором подхватили другие.

— Вот в Воле есть школа, три зимы мои дети ходили, а толку что? Даже молитвы по книжке прочитать не умеют. На кой черт нам такое учение!

— Молитвам пускай их матери учат, школа не для этого!

— А для чего же? — крикнул мужик из Воли, вскочив с места.

— А вот послушайте, что я, войт, вам скажу... Во-первых...

Но его не слушали, так как Шимон на весь стол выкрикивал, что евреи размерили уже весь лес, купленный ими у помещика, и скоро начнут вырубать, ждут только морозов и санного пути.

— Пусть себе размеряют, а с вырубкой придется им подождать! — вмешался Борына.

— Комиссару пойдем жаловаться!

— Нет, комиссар всегда с помещиком заодно. Всем миром идти надо и порубщиков разогнать.

— Ни единой сосенки срубить не позволим!

— В суд подадим!

— Пей, Мацей, не время сейчас совет держать! С пьяных глаз оно, конечно, легко грозить хоть самому Господу Богу! — воскликнул мельник, наливая Борыне водки. Ему не нравились эти разговоры и угрозы, так как он уже уговорился с евреями пилить для них дерево на своей лесопилке при мельнице.

Выпили еще и поднялись, потому что женщины уже накрывали столы к ужину и передвигали все лавки. Но мужики не могли забыть о лесе — слишком больно это их задевало. Они сбились в кучу и вполголоса, чтобы не слышал мельник, совещались. Уговаривались сойтись у Борыны и решить, что делать... Не успели кончить, как вошел Амброжий и направился прямо к ним. Он запоздал, потому что ездил с ксендзом причащать больного в дальнюю деревню, Кроснову. Зато сейчас, чтобы наверстать упущенное, принялся пить вовсю... И все-таки других не догнал, так как женщины уже запевали хором:

Собирайтесь, дружки, начинайте.

Дорогих гостей к столу приглашайте!

А дружки, шумно раздвигая лавки, отвечали:

Да ведь мы уже попросили — уж сидят!

подавайте! Что вкуснее — все съедят!

И все стали не торопясь рассаживаться.

На первом месте, конечно, молодые, по обе стороны — самые почетные гости, а за ними по старшинству, по богатству и остальные, кончая подругами невесты и детьми. Едва все уместились, хотя столы стояли вдоль трех стен.

Не садились только дружки, чтобы прислуживать гостям, и музыканты.

Говор стих, органист стоя громко прочитал молитву. Повторял ее за ним только один кузнец, якобы понимавший по-латыни. Потом все выпили по рюмочке для аппетита. Стряпухи и дружки стали подавать на стол огромные дымящиеся блюда с едой и при этом припевали:

Бульон с рисом вам несем.

А в нем курица с пером!

Потом, подавая второе блюдо:

Рубцы с перцем — поглядите!

Ешьте вволю да хвалите!

А музыканты уселись около печи и наигрывали тихо разные песенки, чтобы людям веселее было есть.

Ели медленно, чинно, почти в полном молчании, слышалось только чавканье да стук ложек. Когда утолили первый голод, кузнец опять пустил бутылку вкруговую, и тогда уже все начали негромко переговариваться через столы.

Одна Ягуся почти ничего не ела, как ни уговаривал ее Борына. Он ее и обнимал, и упрашивал, как ребенка, — но ей даже мясо в горло не шло, очень уж она устала, и жарко ей было. Она только попивала холодное пиво и, водя глазами вокруг, рассеянно слушала то, что нашептывал ей Борына:

— Ну что, Ягусь, довольна? Красавица ты моя! Не бойся, Ягусь, хорошо тебе у меня будет, лучше, чем у матери. Работницу найму, чтобы ты себя не больно утруждала... вот увидишь!  
— говорил он и любовно смотрел ей в глаза, не обращая уже внимания на людей.

А над ним вслух подтрунивали:

— Ишь, подбирается к ней, как кот к салу!

— Да ведь очень уж лакомый кусочек!

— Старый вертится и ногами перебирает, — как есть петух!

— Эх, и натешится же, старый черт, эх, и натешится! — кричал войт.

— Как собака на морозе! — ядовито проворчал старый Шимон.

Грянул дружный хохот, а мельник от удовольствия даже лег грудью на стол и стучал кулаком.

Стряпухи опять завели:

Несем миску жирной каши,

Чтоб наелись гости наши!

— Ягна, нагнись-ка, я тебе что-то скажу! — крикнул войт и, перегнувшись через сидевшего рядом с ним Борыну, ущипнул ее в бок. — Ты меня непременно крестить позови!

Он смеялся, оглядывая ее жадными глазами, — очень она ему нравилась. Ягна густо покраснела, а женщины захохотали и давай сыпать шутками, меткими словечками да советами молодой, как надо с мужем обходиться.

— Перину ты каждый вечер у печки грей!

— А главное, корми посытнее, чтобы крепкий был!

— Поласковее с ним будь, так он и не заметит, куда его ведешь.

Так кричали они наперебой, — ведь когда женщины захмелеют, они всегда дают волю языку.

Изба гудела от смеха, а они так разошлись, что уже мельничиха начала их стыдить, зачем болтают такое при детях и девушках, а органист сказал, что это великий грех — сеять соблазн и учить дурному.

— Иисус Христос и святые апостолы учили, — и это все написано черным по белому в латинских книжках, — что лучше убить, нежели соблазнить душу невинную. Так в святом писании сказано... А за неумеренность в еде и питье суровая будет кара... Это я вам говорю, люди добрые... — лепетал он довольно бессвязно, потому что выпил не одну рюмочку и не две.

— Слыхали, что наш меходув говорил? Что ж, он веселиться людям запретит, черт его дерит!

— Трется около ксендза — вот и думает, что святым стал!

— Пусть уши себе кафтаном заткнет! — раздавались со всех сторон сердитые голоса: органиста не любили в деревне.

— Нынче свадьба, значит не грех и повеселиться, посмеяться над тем, что смешно, — это я, войт, вам говорю!

— Да ведь, к примеру сказать, Иисус тоже на свадьбах бывал и вино пивал, — добавил Амброжий серьезно и тихо — он был уже пьян. Так как сидел он в самом конце стола, у двери, никто его не услышал. Все говорили разом, смеясь, звеня рюмками, и ели медленнее, чтобы наестся вволю. Кое-кто уже и пояс распустил, чтобы больше в себя вместить.

А стряпухи вносили все новые блюда и пели:

Огород изрыла, хрюкала, визжала,

Теперь расплатиться ей пора настала.

— Ну-ну, и показали себя хозяева! — дивились гости.

— Эта свадьба им обойдется не меньше как рублей в пятнадцать!

— Ничего, окупятся старухе расходы: ведь шесть моргов Борына записал, шутка ли сказать!

— А Ягна мрачнее тучи.

— Зато у Мацея глаза светятся, как у кота.

— Как гнилушки, ей-ей!

— Наплачется еще!

— Ну нет, такой плакать не будет — скорее за палку возьметса.

— Верите ли, это самое я сказала войтовой жене, когда узнала про сговор.

— А что ж она на свадьбу не пришла?

— Ну, куда ей... не сегодня-завтра родит.

— Вот руку дам на отсечение, — как только начнутся гулянки в корчме, Ягна будет бегать за парнями.

— Матеуш только того и ждет!

— Да что ты!

— Вавжонова слыхала, что он в корчме говорил.

— Сердится, что его на свадьбу не позвали?

— Старик хотел звать, а Доминикова не позволила, ведь все знают, что между ними было, — как же его на свадьбу звать?

— Болтают, кому не лень, — а кто это видел?

— Зря говорить не станут!

— Их весной Бартек Козел в лесу накрыл.

— Козел — вор и обманщик. Доминикова с ним судилась за свинью, вот он со зла на Ягну и наплел.

— И у других глаза есть...

— Добром все это не кончится, вот увидите! Дело не мое, конечно, но я так думаю, что Антека и детей обидели, и не миновать за это кары божьей.

— Верно. Бог правду видит, да не скоро скажет.

— И про Антека тоже что-то поговаривали... Видели люди не раз, как они с Ягной

встречались...

Бабы заговорили тише и судачили все ядовитее, все безжалостнее, перебивая косточки всей семье. Не оставили в покое и старуху, а особенно жалели ее сыновей.

— Ну, не грех ли? У хлопцев усы растут, Шимону давно третий десяток пошел, а она не позволяет ему жениться, никуда из дому не пускает, да из-за каждого пустяка на стену лезет!

— А это не срам, что такие молодцы всю бабью работу в доме делают?

— Чтобы Ягуся ручек себе не замарала!

— Ведь у них у каждого по пяти моргов, могли бы давно жениться.

— Столько девушек на деревне...

— Вот ваша Марцыся всех дольше ждет, и земля рядом с их землей.

— Вы лучше о своей Франке хлопчите, а то как бы она не дождалась чего от Адама!

— Старуха — ведьма, это все знают. Но и сынки тоже хороши — дурачки, слюнтяи!

— Такие здоровенные парни за материну юбку держатся!

— Поумнеют, не бойся... Уже нынче Шимон от Настки ни на шаг!

— И отец у них такой же был, хорошо помню. А старуха в молодости тоже не хуже Ягны куролесила!

— Яблочко от яблони недалеко падает!

Музыка утихла, музыканты пошли поесть на другую половину, так как в передней горнице ужин кончился.

Стало вдруг тихо, как в костеле во время вознесения чаши, но через минуту-другую поднялся шум еще сильнее прежнего, в комнате бурлило, как в котле, все говорили разом, перекрикивались через столы, и один не слышал другого.

Напоследок подали для почетных гостей крупник, приправленный медом и кореньями, а прочих щедро угощали водкой и пивом.

Никто уже не разбирал, что пьет. Хмель кружил головы и создавал блаженное настроение. Сидели, как кому удобнее, расстегивали кафтаны, наваливались на стол, стучали кулаками так, что посуда подпрыгивала, обнимались, изливали друг другу душу, как брат брату.

— Эх, тяжело жить на свете! Пропадает человек ни за что, одни заботы да горе...

— Одно утешение, когда сойдутся сосед с соседом покалякать за рюмочкой, душу отведут да простят друг другу все обиды. Конечно, не потрапу, не запашку чужого поля через межу — это уж суд разберет и свидетели скажут, кто прав, кто виноват, — а всякие грешки, что меж соседей всегда случаются: разроет свинья грядки в чужом саду, бабы поругаются или ребятишки подерутся, — мало ли что бывает! Так для того и свадьба, чтобы у людей в сердце злость растаяла и чтобы между ними были мир и братская дружба!

— Хоть бы на один день, пока свадьбу празднуют!

— А завтра уж как Бог даст! Придет она, доля твоя, схватит за шиворот, ярмо на шею наденет, бедой погонять будет, — и тяни лямку, человече, обливайся потом и кровью, свое

стереги, не выпускай ни на миг из рук, не то угодишь под колеса!

— Господь сотворил людей, чтобы они братьями были, а человек человеку — волк!

— Нет, это только нужда их ссорит, друг на друга натравливает, — они и грызутся, как собаки из-за обглоданной кости!

— Не только нужда! Нечистый на людей тьму напускает, вот они и не умеют зло от добра отличить.

— Ясное дело: кто к заповедям божьим глух, тот с охотой бесовскую музыку слушает.

— В старину не так было. Люди жили мирно, старших слушались да почитали.

— И земли у каждого было столько, сколько он мог обработать, и выпасов, и лугов, и леса.

— А о податях тогда никто и не слыхивал.

— А дрова покупал кто-нибудь? Пойдет себе в лес и рубит, сколько ему требуется, — хоть бы самую лучшую сосну или дуб.

— Что же вы, мужики? Пил я за ваше здоровье, выпейте за мое! Заладили одно! А я вам говорю — пейте! Хорошо твое, хорошо и мое, — была бы только справедливость во всем!

— Гады эти помещики! Ну, будьте здоровы! Водку пить не грех, если чинно-благородно, со своими. Она полезная, очищает кровь и болезни отгоняет.

— Коли пить — так уж целыми квартами, веселиться — так с утра до вечера! А работать придется, — рук-ног не жалей, на совесть работай! Случится свадьба, крестины или помрет кто-нибудь, соблюдай обычай, выпей с людьми. А беда придет — жена у тебя помрет, или скотина околеет, или погоришь — воля божья, покорись ей, — да и что же ты, бедняга, криком и плачем сделаешь? Ничего, только покоя лишишься и хлеб тебе горше полыни покажется. Стало быть, терпи и веруй в милосердие божие. А придет и самое худшее — смерть тебя за горло схватит и в глаза заглянет, не пробуй вырваться, не в твоей это власти, — в божьей.

— Это верно. Наше дело такое — трудись, живи, как полагается, а вперед не заглядывай. Господь Бог все видит и воздаст каждому по заслугам.

— Верно! Терпение и труд все перетрут. Этим наш польский народ всегда был силен и будет во веки веков. Аминь!

Так они толковали между собой, усердно выпивая, и каждый высказывал то, что было у него на душе, что давно стояло поперек горла. А больше всех и громче всех разглагольствовал Амброжий, — правда, его не очень-то слушали, потому что каждый торопился сказать свое. Все шумнее становилось в избе. Но вот вошли Евка и Ягустинка, торжественно неся перед собой большой разукрашенный уполовник. Шедший за ними музыкант наигрывал на скрипке, а они пели:

Потихоньку, полегоньку

Из-за столов вставайте!

По три гроша застряпню

Кухарочкам давайте!

Гости были сыты, хмельны, веселы, размякли от вкусной еды и обильной выпивки, и некоторые бросали в уполовник даже серебряные монеты. Все начали вставать из-за столов и понемногу расходились, одни — во двор подышать свежим воздухом, другие останавливались в сенях или тут же в комнате и продолжали разговор, обнимались от избытка чувств, и не один уже пошатывался и тыкался лбом в стену или, как баран, бодал других — да и неудивительно: за ужином водки было вволю.

За столом остались только войт и мельник. Они ссорились с неистовой запальчивостью, налетали друг на друга, как коршуны. Амброжий пытался их помирить, подливая им водки.

— Ты, дед, паперть свою знай, а к хозяевам не лезь! — гаркнул на него войт.

Огорченный старик отошел от них, прижимая бутылку к груди. Он искал, с кем бы поговорить по-приятельски и выпить.

Молодежь двинулась во двор, а некоторые, обнявшись, выходили за ворота погулять да пошалить. Ночь была светлая, месяц стоял над озером и освещал его так ярко, что круги, расходившиеся по воде от ударявшего в нее, лунного света, видны были все, вплоть до самых мелких, и напоминали тихо скользящих, свернувшихся кольцом ужей. К ночи изрядно подморозило, земля хрустела под ногами, а на крышах белел иней. Час был поздний — в деревне уже кричали первые петухи.

В избе тем временем навели порядок и приготовили большую горницу для танцев.

Музыканты кончили ужинать, отдохнули немного и тихо заиграли, сзывая танцоров.

А тех недолго пришлось звать: они гурьбой ввалились в избу, потому что от звуков скрипки так и подмывало пуститься в пляс. Но парни отяжелели после ужина и, покружившись раз — другой, уходили в сени курить или просто постоять у стены.

Ягну женщины увели в спальню, Борына и Доминикова сидели на завалинке, пожилые гости беседовали на крыльце, а в избе оставались одни девушки. Им скоро надоело пересмеиваться и болтать, и они затеяли игры, чтобы расшевелить парней.

Сначала играли в "Ходит лиса у дорог без рук и без ног".

Лису изображал (в тулупе, вывороченном наизнанку, мехом наружу) Ясек, по прозвищу "Недотепа", придурковатый парень, посмешище всей деревни. Он был уже взрослый, но ходил вечно с разинутым ртом, играл с ребятами. Он волочил за всеми девушками. Так как он был единственный сын и наследник десяти моргов, то везде был желанным гостем. Зайцем выбрали Юзьку Борыну.

Ох, и смеху же было! Ясек на каждом шагу спотыкался, так как ему подставляли ногу, — и бац, как колода, на пол! А Юзя так похоже шевелила губами, нюхала воздух и замирала на месте — ну, настоящий живой заяц!

Потом играли в "Перепелку". Перепелкой была Настка, и она так ловко увертывалась, так быстро носилась по избе, что ее никто поймать не мог, пока она сама не полезла в руки, чтобы можно было попрыгать в кругу.

— После "Перепелки" затеяли игру в "Свинку", а под конец кто-то из дружек, — кажется, Томек Вахник, — изображал журавля. Голову прикрыл платком, а вместо клюва высунул из-под платка палку и курлыкал, как настоящий журавль. Юзька, Витек и другие подростки гонялись за ним и дразнили:

Клу, клу, клу.

Твоя мать в аду.

Что она делает?

Бесам клецки варит.

А за что ее туда?

Своих деток извела.

Потом с визгом разбегались и прятались по углам, как куропатки, а он их догонял, клевал и бил крыльями.

Изба ходуном ходила от смеха, криков и беготни.

Добрый час они так забавлялись, потом старший дружка знаком потребовал тишины.

Женщины ввели из спальни Ягусю, у которой голова была закрыта куском белого полотна, усадили ее посреди избы на квашне, покрытой периной. Подруги сделали вид, что хотят ее отбить, а бабы не давали. Наконец, девушки встали против нее тесной толпой и заунывно, со слезами в голосе, запели:

С головы веночек сняли —

Жизни девичьей конец.

Мы тебя не отстояли —

Надевай чепец!

И тогда полотно сняли.

Ягуся была уже в чепчике, надетом на толстые, закрученные косы. Но, смеющаяся, веселая, она блестящими глазами обводила всех и казалась еще краше в этом уборе.

Медленно заиграла музыка, и все — старые, молодые, даже дети — запели "Хмель", сливая голоса в один мощный, радостный хор. А когда кончили петь, с Ягусей по очереди танцевали уже только замужние женщины. Подвыпившая Ягустинка, уперев руки в бока, стала против нее и пропела:

Эх, кабы я раньше знала.

Что пойдешь ты за вдовца.

Свила б я тебе веночек

Из одного яловца![14]

Потом она стала сочинять и другие песенки, еще более колкие и насмешливые.

Но никто уже ее не слушал, так как музыканты грянули изо всей мочи, и народ пошел плясать. Загремело вдруг, словно сто цепов молотило на гумне, заколыхалась в избе тесно слитая толпа. Танцевали вплотную пара за парой и все ускоряли темп. Разлетались кафтаны, танцоры пристукивали каблуками, размахивали шляпами, время от времени кто-нибудь запевал, а девушки подхватывали припев и скользили все быстрее, покачиваясь в такт и кружась в такой быстрой, задорной, самозабвенной пляске, что уже и не распознать никого было в толпе. Прозвенит дрожащая нота скрипки, и сто каблуков стукнут о пол, сто голосов вскрикнут громко, сто человек закружатся вихрем на месте так, что шум пойдет по избе от мелькающих в воздухе пестрыми птицами юбок, кафтанов, платков. Прошло полчаса, час, а они все танцевали без передышки, без усталости, земля гудела, стены тряслись, а веселье все росло, поднималось, как вода в реке от ливней.

После танцев начались различные обряды, которые принято совершать после того, как надели на молодую бабий чепец.

Прежде всего Ягуся должна была платить всем замужним женщинам "вкупные", чтобы они ее приняли в свой круг. Потом, один за другим, пошли другие обряды. Напоследок парни сплели длинный жгут из необмолоченной пшеницы. Держась за него, дружки обступили Ягусю широким кругом, никого не подпуская к ней. Кто хотел с ней танцевать, должен был силой прорваться в середину круга и там плясать, несмотря на то, что его со всех сторон стегали соломенными жгутами.

В заключение мельничиха и жена Вахника начали собирать "на чепец". Первым войт бросил на тарелку золотую монету, а за ним другие, — звонким градом посыпались серебряные рубли, полетели бумажки, как листья осенью.

Собрали триста с лишним злотых — деньги немалые. Для Доминиковой это были пустяки, она не гналась за даровщинкой, своего было вдоволь. Но то, что все охотно жертвовали для ее Ягуси, так ее растрогало, что она не могла удержаться от слез. Крикнула сыновьям, чтобы принесли водки, и начала сама потчевать всех, чокаться и, плача, целоваться с кумами и кумовьями.

— Пейте, соседи, пейте, люди добрые, братья родные... На сердце у меня словно весна. За Ягусино здоровье! Ну, еще одну рюмочку!..

За нею кузнец обносил всех, а Шимек с Енджиком — своим чередом, потому что очень много было народу. Ягуся снова всех благодарила за доброту, а пожилым кланялась в ноги.

Опять зашумела изба, потому что рюмки за рюмками шли вкруговую. Лица покраснелись, глаза блестели, сердца рвались к сердцам — по-братски, по-соседски. Эх, один раз живешь на свете! Только и радости у человека — повеселиться с друзьями и забыть обо всем! Умирает человек в одиночку, а веселиться надо в компании! И веселились мужики, пили и болтали наперебой, каждый свое, не слушая других, но это не беда, — чувствовали все одно и то же, одна и та же радость их объединяла.

А у кого горе, тот оставь его на завтра, сегодня забавляйся, радуйся, что ты с друзьями, потешь душу! Как мать-земля летом родит, а осенью отдыхает, так и человеку полагается отдыхать осенью после того, как наработался в поле. Когда стоят у тебя пышные стога и амбары ломятся от полновесного, как золото, зерна, ожидающего обмолота, — тогда можно и погулять в свое удовольствие, в награду за летние труды, за страду и хлопоты.

Так рассуждали одни, а другие изливали соседям свои горести и заботы. Были и такие, у кого

не только свету, что в окне, — эти собрались вокруг старика Шимона и беседовали о былых временах, о новых невзгодах, налогах, о делах всей общины и, понижая голос, обсуждали темные делишки войта.

Борына не подсаживался ни к одной из групп, ходил между гостями, а глазами неотступно следил за Ягной, гордый ее красотой. Он часто бросал музыкантам деньги — и кричал, чтобы смычков не жалели, когда они начинали играть тише, давая отдых рукам.

Но вот вдруг загремел обертас, так, что все вздрогнули, и Борына подскочил к Ягне, крепко обнял ее и с места пустился в пляс. Летел вперед, поворачивал, каблуками пристукивал так, что стонали половицы. То вдруг вприсядку пустится, то опять понесется, а за ним другие пары начинали выходить из толпы, петь и плясать все быстрее и быстрее. Казалось, сто веретен, обмотанных разноцветной пряжей, кружатся в избе. Уже нельзя было различить отдельных людей в этой переливчатой радуге, которая качалась, словно под вихрем, играла красками, извивалась все быстрее, все безумнее, так что временами от ветра гасли лампы и в избе становилось темно, только в окна широкой полосой лился лунный свет и, дробясь, рассыпался кипящим серебром в темноте среди толпы танцующих, которая то наплывала бурливой, поющей волной, мелькая и кружась в этом лунном зареве, как хоровод призраков, то скрывалась в непроницаемой тьме, чтобы снова вынырнуть на мгновение у другой стены, где под лунным лучом мерцали образа, и тотчас отхлынуть и потонуть в ночи... Только тяжелое дыхание, топот, вскрики, сплетаясь и обрываясь, глухо звучали в темной избе.

Так тянулась эта пляска сплошной, непрерывной цепью, и конца ей не было. Как только музыка начинала играть новый танец, люди вскакивали, вставали, как высокий бор, и с места неслись ураганом. Громом раскатывался стук каблуков, веселые крики потрясали дом, и пары неслись вперед в шальном упоении, как в бурю, как в смертный бой.

Каких только танцев они не танцевали!

Краковяки, резвые, бурные, сверкающие короткими, звонкими нотами и плясовыми припевами, как вышитый пояс — разноцветными узорами, полные смеха и задора, полные праздничного веселья и сильной, здоровой, дерзкой молодости, забавных шалостей, скачков и кипения молодой крови, жаждущей любви. Эх!

Мазурки, длинные, как межи в поле, раскидистые, как старые деревья, широкие и вольные, как необъятные равнины, тяжеловатые и стремительные, тоскливые и удалые, плавно скользкие и грозные, чинные и своевольные, буйные, как эти мужики, которые, сбившись в кучу, ринулись в пляс так лихо, что, кажется, сотня их может идти против тысячи, весь свет захватить, сокрушить, разнести вдребезги, растоптать и самим пропасть; но еще и там, после смерти, плясать, стучать каблуками и пронзительно, по-мазурски, покрикивать: "Да-дана!"

Обертасы, кружащие голову, порывистые, шаловливые, озорные и меланхоличные, страстные и задумчивые, пронизанные скорбными нотами, безумные, как кипение горячей крови, и полные нежности и любви, налетающие грозовой тучей и полные ласковых голосов, голубых взоров, дыхания весны, ароматов и шелеста цветущих садов. Они — как луга, поющие весною, когда и сквозь слезы прорывается смех, и в сердце звенит радость, и рвется оно за те широкие поля, за те леса далекие, в мечтах стремится в далекий мир и все поет: "Ой, да-дана!"

Вот такие танцы сменяли друг друга.

Так веселится деревенский люд в часы досуга. И так веселились на свадьбе Ягуси и Борыны.

Часы летели за часами, бесследно исчезая в гомоне, криках, шумном веселье, в угаре пляски. Оглянуться не успели гости, как посветлело на востоке небо и от первых проблесков зари ночь стала белесой. Луна скрылась. Побледнели звезды, от леса повеял ветер, и

казалось, это он разгоняет редяущий мрак. В окна глядели лохматые, взъерошенные деревья и низко клонили сонные, покрытые инеем головы, а в доме все еще пели и плясали!

Окна и двери были раскрыты настежь, и дом гудел голосами, пылал огнями, дрожал, трясся, кряхтел, и все безудержнее гуляли в нем. Казалось, деревья и люди, земля и звезды, и эти плетни, и этот старый дом — все обнялось, сплелось в один клубок, смешалось и, пьяное, ослепшее, обезумев, ничего не помня, металось в этих стенах, катилось из горницы в сени, из сеней на дорогу, с дороги в широкие поля, в лес, несло в вихре пляски по всему свету непрерывным мелькающим хороводом и исчезало в блеске утренней зари.

Их вела музыка, музыка и песни.

Мерно гудели и жужжали, как шмели, басы, им вторила флейта, весело посвистывала, щебетала, рассыпалась трелями, как будто состязалась с бубнами, а те весело выскакивали вперед, звенели погремушками, раззадоривая остальные инструменты. А скрипка шла впереди, как первая плясунья в хороводе. Запоет сразу высоко, звонко, словно пробуя голос, потом разольется широкой, печальной, хватающей за душу мелодией, как будто на пустынной дороге сиротливый плач слышится, и вдруг, закружившись на месте, круто оборвет коротким дрожащим звуком, таким резким, словно сто танцующих пар стукнули каблуками в пол и сто мужиков вскрикнули всей грудью, — даже дух спирало и мурашки пробежали по коже. И сразу же опять пойдет колесом вертеться, петь, рассыпаться дробью, смеяться и радоваться, и у людей на сердце тепло и веселье ударяло в голову, как вино. А там — опять льется протяжная печальная мелодия, слезами, как росой, омытая, — знакомый, любимый напев, родной сердцу поляка, пьяный любовью и силой могучей, зовущий к безумной, упоительной мазовецкой пляске.

Утро близилось, меркли огни, комнату заливал грязноватый, мутный сумрак, а люди все еще веселились от всего сердца, и те, кому мало было хозяйского угощения, посылали за водкой в корчму, поили собутыльников и сами напивались.

Некоторые ушли, кто утомился — отдыхал, а кто захмелел — спал на завалинке или в сенях. Были и такие, которые где свалились, там и лежали, — под забором или в другом месте. А остальные все танцевали до упаду.

Наконец, более трезвые собрались у дверей и, притопывая в такт, запели:

Собирайтесь, гости, пора!

Дорога далекая.

Через речку глубокую.

Через темные леса!

Собирайтесь, друзья, пора!

Завтра возвратимся.

Опять повеселимся,

Будет гульба!

Но их никто не слушал.

Уже совсем рассвело, когда Витек, утомленный развлечениями и прогнанный Ягустинкой, побежал домой.

Деревня еще спала, утонув в тумане, который плотной, но уже кое-где редеющей пеленой стлался низко над землей. Озеро лежало мертвое, темное, укрытое мрачной сенью прибрежных деревьев, и только середина его выступала из мрака, поблескивая, как закрытый бельмом глаз.

Подморозило изрядно, дул холодный ветер, и от морозного воздуха пощипывало ноздри и спирало дыхание. Земля звенела под ногами, на дороге синели лужи, затянутые ледком, похожие на треснувшие стекла. А вокруг все больше светлело, и мир медленно выплывал из предрассветной мглы, весь одетый инеем. В глухой морозной тишине изредка сонно лаяли собаки, рокотала вдали мельница, а из хаты Доминиковой вырывался шум свадебного веселья и неся далеко, — дальше, чем брошенный камень.

В хате Борыны мерцал еще огонек, слабый, как июньский светлячок, и Витек заглянул в окно: там у стола сидел Рох и, глядя в молитвенник, тихо напевал какие-то духовные песни.

Мальчик бесшумно проскользнул к хлеву и стал нащупывать засов, но вдруг вскрикнул от испуга и отскочил назад: какая-то собака с визгом бросилась ему на грудь.

— Лапа! Лапа! Вернулся, песик, вернулся, бедненький! — выкрикивал Витек, узнав собаку, и даже присел от радости. — А худой какой! Голоден, небось, бедняга?

Он достал из-за пазухи припрятанную на свадьбе колбасу и совал ее Лапе, но тот не спешил есть, а все прыгал Витеку на грудь и радостно повизгивал.

— Голодом тебя морили, несчастного, и вон выгнали! — бормотал мальчик, отворяя дверь хлева, и, как только вошел, свалился на нары. — Ну, уж теперь я тебя в обиду не дам, беречь буду... — шептал он, зарываясь в солому. Собака легла рядом и, тихо ворча, лизала его лицо. Скоро оба заснули.

А из смежной с хлевом конюшни звал Витека Куба слабым, больным голосом, звал долго, но Витек спал как убитый. Наконец, Лапа, узнав его голос, начал неистово лаять и дергать мальчика за одежду, пока не разбудил его.

— Чего? — бурчал Витек сквозь сон.

— Воды! Жарко мне... как огнем жжет... Воды!

Как ни утомлен был Витек, как ни хотелось ему спать, он принес полное ведро воды и дал Кубе напиться.

— Ох, так мне худо, еле дышу... А кто это ворчит?

— А это Лапа! Воротился песик от Антека!

— Лапа! — шепнул Куба, нащупав в полутьме голову собаки, а Лапа скакал, лаял и лез на нары.

— Витек, принеси лошадям сена, они давно стучат зубами о пустые ясли, а я пошевелиться

не могу... Что, там все еще пляшут? — спросил он немного погодя, когда мальчик, сбросив сверху сено, накладывал его за решётки яслей.

— И до полудня, пожалуй, не кончат. Так напились, что иные на дороге валяются.

— Гуляют хозяева, гуляют! — вздохнул Куба. — А мельник с мельничихой были?

— Были, только они рано ушли.

— Народу много?

— Не сосчитать! Хата полным-полна.

— А угощали богато?

— Ого! Как у панов каких! Мясо целыми мисками разносили, а водки сколько выхлестали! Сколько пива, меду! Одних колбас три подноса было доверху наложено.

— А когда же молодую к мужу провожать будут?

— Сегодня к вечеру.

— Попируют еще, натешатся... Господи Иисусе, а я-то думал — погрызу и я косточку какую, наемся хоть раз досыта! Так нет, лежи тут, подыхай да слушай, как другие веселятся...

Витек ушел спать.

— Хоть бы глаза натешить... хоть бы...

Куба затих, но все еще про себя переживал свое горе, и какие-то тихие, робкие упреки судьбе, как усталые пташки, стучались в сердце и жалобно пищали.

"Что ж, на здоровье им, пусть хоть они поживут..." — думал он, поглаживая голову Лапы.

Лихорадка все больше туманила сознание, и, словно пытаясь бороться с нею, он зашептал молитву, горячо предавая себя милосердию божию. Но он забывал слова, часто нападала на него дремота, и обрывался шепот, полный мольбы и слез, и рассыпалась молитва красным бисером. Куба ясно видел, как этот бисер катится по тулупу, хотел его собрать, но опять забывал все и засыпал...

По временам он просыпался, водил вокруг бессмысленным взглядом и, ничего не различая, опять впадал в беспамятство, проваливался в глухую тьму.

А иногда он начинал стонать и так кричать во сне, что лошади храпели и рвались на привязи, и тогда он, очнувшись на мгновение, поднимал голову.

— Господи, хоть бы утро поскорее! — бормотал он тревожно и устремлял взгляд на окошко — искал солнце на сером, холодном небе, на котором уже меркли звезды.

Но до утра было еще далеко. Конюшня тонула в мутной пыли рассвета, в ней только начинали вырисовываться контуры лошадей, а решетки в оконцах просвечивали, как ребра.

Куба уже не засыпал больше — опять начались боли. Они впивались в ногу, как сучковатая палка, и так ее распирала, сверлили, жгли, словно кто присыпал рану горящими угольями.

Он, наконец, не выдержал, сорвался с нар и начал кричать в голос, так что Витек проснулся и прибежал в конюшню.

— Помру я! Ох, помру! Так мне больно, так эта хворь растет и душит меня... Витек, беги за Амброжием. О Господи!.. Или Ягустинку кликни... Может, они помогут... Не выдержать больше... последний мой час приходит... — Он страшно завыл, уткнулся лицом в солому плакал от муки и страха.

Витек, еще заспанный, помчался на свадьбу.

Там все плясали, как ни в чем не бывало, а Амброжий уже совершенно пьяный, стоял на улице против дома и пел.

Тщетно Витек его просил, тащил за рукав, — старик, казалось, не слышал, не понимал, чего от него хотят, качался и с азартом распевал одну и ту же песню.

Витек бросился к Ягустинке, — она тоже разбиралась в болезнях. Но Ягустинка сидела в спальне с кумушками, они усердно угощались крупником и пивом, горланили песни, и к ней было не подступиться. Витек долго умолял ее идти к Кубе, но она в конце концов вытолкала его за дверь и еще подзатыльник дала на дорогу. Мальчик с ревом побежал обратно в конюшню так ничего и не добившись.

Увидев, что Куба опять спит, он зарылся в солому, прикрыл голову тряпьем и тоже уснул.

Время завтрака давно миновало, когда его разбудило мычанье голодных и невыдоенных коров и брань Ягустинки, которая, проспав, как и все, теперь наводила порядок в хозяйстве, криком и суетой наверстывая свои упущения.

Только немного управившись с работой, она зашла к Кубе.

— Помогите, посоветуйте, что делать, — попросил он тихо.

— Женись на молоденькой, сейчас выздоровеешь! — начала она весело, но, когда всмотрелась в его синее, отекшее лицо, сразу стала серьезнее. — Ксендза тебе надо, а не лекаря! Чем я тебе помогу? Можно заговорить, окурить — да разве это поможет? Сдается мне, что ты уже не встанешь.

— Помру?

— Все в божьей воле, но мне так думается, что уж ты из когтей Костлявой не вырвешься.

— Помру, говоришь?

— Послать, что ли, за ксендзом?

— За его преподобием! — воскликнул Куба с удивлением. — Его преподобие — сюда, в конюшню, ко мне? Что это вам на ум взбрело?

— А что, сахарный он и растает, что ли, в конском навозе? На то он и ксендз, чтобы к больному идти, куда ни позовут.

— Господи, да разве я смею... сюда, в эту грязь, ко мне?..

— Глуп ты, как баран! — Ягустинка пожала плечами и ушла.

— Сама дура, не знает, что болтает! — буркнул возмущенный Куба и, тяжело опустившись на нары, долго еще размышлял: "Что придумала баба! Его преподобие по комнатам ходит, книжки читает... с Господом беседует... И ко мне его звать?.. Ох, эти бабы, только бы им языком молоть... Дура!"

Больше никто к нему не заглядывал, он лежал один, и все о нем словно позабыли.

Иногда забегал Витек — подсыпать корму лошадям или напоить их, и тогда он и ему давал напиться, но мигом исчезал: бежал в хату Доминиковой, где уже опять начали собираться гости, чтобы провожать молодую в дом мужа. Несколько раз в конюшню врывалась Юзька, совала больному кусок пирога и, потараторив, наполнив конюшню таким шумом, что куры с перепугу кудахтали на насестах, поспешно убегала.

Да и как ей было не спешить? Там уже гуляли вовсю, не хуже вчерашнего, музыка гремела, неслись из окон крики и песни.

А Куба лежал тихо — боли только изредка мучили его — и слушал, как там веселятся, говорил с Лапой, который его ни на минуту не покидал, и они вместе ели принесенный Юзей пирог. Или причмокивал лошадям и разговаривал с ними; они в ответ радостно ржали, поворачивая к нему головы, а молодая кобыла даже сорвалась с узды и, подойдя к нарам, шалила и прикладывалась влажными теплыми ноздрями к его лицу.

— Отощала ты, бедная, отощала! — Он нежно гладил ее, целовал в морду. — Ничего, вот поправлюсь, так живо тебя подкормлю чистым овсом...

Он умолкал и смотрел без мыслей на потемневшие сучки в стене, из которых сочились капли смолы, как кровавые застывшие слезы.

Солнечный, но бледный день кроткими глазами заглядывал в щели, а в раскрытую настежь дверь лился широкий поток света, дрожащего и золотого, как осенняя паутина на полях, в которой с сонным жужжанием бьются мухи.

Часы проходили за часами..- то тянулись медленно, как слепые и хромые нищие, с трудом бредущие по глубоким пескам, то пролетали мгновенно, исчезали сразу, как камень, брошенный в болото.

Порой шумной стайкой влетали в конюшню воробьи и нахально набрасывались на корм в яслях.

— Ах, и хитрые же, шельмы! — шептал про себя Куба. — Такой маленькой пташке и то Господь разум дает, чтоб знала, где себе пропитание найти! Смирно, Лапа, пускай поклюют, пускай наедятся, бедняги, — ведь и для них зима придет, — успокаивал он собаку, которая вскакивала, чтобы прогнать воришек. На дворе хрюкали свиньи и терлись об углы так, что конюшня дрожала, а затем и в дверь просунули свои длинные грязные рыла.

— Гони их, Лапа! Попрошайки этикие, им всегда всего мало!

Попозже раскудахтались куры за порогом, а большой рыжий петух несколько раз заглядывал осторожно, отступал, хлопая крыльями и крича, и, наконец, отважно перелетел за порог — к полному ларю, а за ним вся остальная компания. Но не успели они наестись, как вслед за ними прибежали гогочущие гуси. Замелькали на пороге красные клювы; закачались белые вытянутые шеи.

— Гони, песик, гони их! Раскричались, ссорятся — точь-в-точь бабы.

Поднялся гам, хлопанье крыльев, полетели перья, как из распоротой перины, — Лапа натешился вволю. Он вернулся в конюшню, тяжело дыша, с высунутым языком и радостно визжал.

— Тише ты!

От дома долетал сердитый голос Ягустинки, грохот мебели, перетаскиваемой из комнаты в комнату, беготня.

— Готовятся молодую принять!

Изредка по дороге проезжал кто-нибудь. Со скрипом тащился какой-то воз. Куба старался угадать, чей.

— Это Клембова телега — в одну лошадь и с решетками... Должно быть, в лес за подстилкой. Ось передняя перетерлась, так вот ступица трется и скрипит.

В конюшню доносились отголоски шагов, голоса. Звуки были дрожащие, чуть слышные, но Куба ловил их на лету и узнавал.

— Старый Петрас в корчму идет, — бормотал он. — Валентова кричит... должно быть, чьи-нибудь гуси зашли на ее огород. Ведьма — не баба!.. А это, кажись, Козлова... Ну да, она! Бежит да орет... Петрик Рафалов лопочет, как мочалу жует... Ксендзова кобыла по воду едет... ага... остановилась... зацепилась колесом... еще когда-нибудь ноги себе переломает...

И так он по звукам все угадывал и мысленно ходил по деревне, хлопотал, волновался, жил ее жизнью. Он не заметил, как прошел день. Но вот на стенах погасли солнечные блики, в конюшне начало темнеть.

Уже под вечер пришел Амброжий, не совсем еще, видно, протрезвившийся, — он ступал нетвердо и говорил так быстро, что трудно было что-нибудь понять?

— Что, ногу вывихнул?

— Вы поглядите и помогите чем-нибудь.

Амброжий молча стал разворачивать окровавленные тряпки, так присохшие к ноге, что Куба закричал благим матом.

— И панна в родах так не визжит! — буркнул Амброжий презрительно.

— Да ведь больно! Не дергайте так, ради Христа! — выл Куба.

— Ну и отделали же тебя! Собака тебе ногу изгрызла, что ли? — ахнул пораженный старик. Икра была вся разворочена, гноилась и распухла, как бревно.

— Это... только никому не говорите... лесник меня подстрелил...

— Верно! Вот дробь сидит под кожей, как мак... Издалека он в тебя выпалил? Эге! Нога, сдается мне, уже никуда... косточки хрустят... Что же ты сразу меня не позвал?

— Боялся, как бы не узнали... Я на зайца вышел., застрелил его и уже в поле был... а тот в меня как бахнет.

— Говорил лесник в корчме, что кто-то им в лесу убытки чинит.

— Убытки!.. Да разве они чьи-нибудь, зайцы-то? Сволочь этот лесник!.. Подстерег меня... я уже в поле был, а он из обоих стволов в меня как выпалит!.. О, чтоб тебя, сатану!.. Только вы никому не говорите... а то засудят меня... стражники заберут... и ружье отнимут, а оно не мое... Я думал, сама заживет... Помогите! Так рвет, так болит...

— Вот ты, оказывается, ловкач какой! С виду тихоня, воды не замутит, а вздумал с помещиком зайчиками делиться... Ай-ай-ай! Ну, теперь ногой за это заплатишь.

Он еще раз осмотрел ногу и очень огорчился.

— Поздно! Слишком поздно!

— Помоги, помоги! — в ужасе стонал Куба.

Амброжий, ничего не отвечая, засучил рукава, достал острый ножик и, крепко зажав ногу Кубы, начал выковыривать дробишки и выдавливать гной.

Куба сперва ревел, как недорезанный зверь, так что Амброжий даже заткнул ему рот краем тулупа, но потом затих, потеряв сознание от боли. Амброжий, окончив операцию, намазал ногу какой-то мазью, обернул чистыми тряпками и только тогда привел Кубу в чувство.

— В больницу тебе надо, — сказал он тихо.

— В больницу? — повторил Куба, еще не совсем придя в себя.

— Если отнять тебе ногу, так ты, может, и поправишься.

— Ногу?..

— Ну да, все равно она уже никуда не годится, вся почернела.

— Отнимут? — переспрашивал Куба, все еще не понимая.

— До колена. Не бойся, мне вон ядром до самого бедра ногу оторвало, а я жив остался.

— Значит, надо только отрезать то место, где больно, и я буду здоров?

— Как рукой снимет!.. Но надо сейчас же в больницу.

— Нет! Боюсь я больницы...

— Дурень ты!

— Там всего живьем изрекут... Там... Отрежьте вы сами!.. Заплачу, сколько хотите, только отрежьте! А в больницу не пойду, лучше уж тут околевать.

— И околеешь! Резать может только доктор. Схожу сейчас к войту, скажу, чтобы назавтра дали телегу и отвезли тебя в город.

— Напрасно пойдете, — не поеду я в больницу! — сказал Куба твердо.

— Ну да, так тебя, дурака, и спросят!

— Отрезать — и сразу поправлюсь, — повторил Куба про себя, когда Амброжий ушел.

Нога у него после перевязки перестала болеть, но как-то одеревенела до самого паха, и по всему бедру словно мурашки бегали. Он не обращал, на это внимание, занятый своими мыслями.

— Выздоровею! Наверное, так и есть — вот ведь Амброжий всю ногу потерял... на деревяшке ходит... И говорит, что как рукой снимет... Но Борына меня выгонит:, куда ему работник без ноги?.. Ни пахать, ни на другую работу не годится... Что же мне тогда делать? Только скотину пасти или побираться... по миру пойти, у костела сидеть... Или, как старый лапоть — на помойку... подыхать под забором... Иисусе милосердный!..

Он вдруг все понял и даже приподнялся от оглушившей его тревоги. — Иисусе! Иисусе! — твердил он лихорадочно, словно в беспамятстве, дрожа всем телом.

Захлебнулся тяжким, отчаянным плачем, бессильным воплем человека, который летит в пропасть и нет ему спасения.

Долго он выл и метался в муке, но уже сквозь слезы и отчаяние у него мелькали какие-то смутные идеи и решения, и он мало-помалу успокаивался и так ушел в себя, что ничего не слышал. Как сквозь сон, звучали где-то близко музыка, песни, шум.

В это время гости провожали молодую в дом Борыны, чтобы там продолжать свадебный пир.

Немного раньше туда отвели откормленную корову и перевезли сундук, перины, всякую мебель, все, что Ягуся получила в приданое.

И вот теперь, после захода солнца, когда сумерки окутали землю туманом, предвещавшим перемену погоды, все из дома Доминиковой пошли к Борыне.

Впереди шли музыканты и весело наигрывали, за ними мать, братья и кумовья вели Ягусю, еще одетую в подвенечный наряд, а позади гурьбой валили гости.

Не спеша огибали они озеро, которое все больше темнело, отдавая свой блеск вечернему сумраку, шли в тумане, в безмолвии мрака, еще не освещенного ни одной звездой. Топот ног и музыка звучали как-то отрывисто и глухо, словно из-под воды.

Молодежь несколько раз начинала подпевать музыкантам, по временам какая-нибудь кума заводила песню или мужик вскрикивал "да-дана", но они быстро умолкали. Настоящего веселья не было, сырость и холод пронизывали до костей.

Только когда уже вошли во двор к Борыне, подруги невесты запели:

Плакала девчоночка.

Как ее венчали,

Зажигали свечи,

На органе играли.

Думала, девчоночка,

Все будешь гулять?

Погуляла, милая,

А там всю жизнь плачь.

На крыльце уже ожидали Борына, его дружки и Юзя.

Доминикова первая прошла в дом, неся в узелке ломоть хлеба, щепотку соли, уголек, воск от освященной свечи-громницы и пучок колосьев, освященных в Успенье. Когда Ягуся переступила порог, бабы бросали ей вслед нитки и куски кострики, для того, чтобы нечистый не имел доступа в дом и чтобы ей в нем всегда было хорошо.

Все целовались с молодыми и желали им счастья, здоровья и чего бог пошлет. Изба в одну минуту наполнилась народом.

Музыканты, настраивая инструменты, наигрывали тихо, чтобы не мешать Борине, угощавшему гостей.

Он ходил с полным кувшином от одного к другому, заставлял пить, чокался и обнимался с каждым. На другой половине потчевал гостей кузнец, а Магда и Юзя разносили на тарелках пироги с медом и творогом, которые Магда испекла к этому дню, чтобы угодить отцу.

Однако настроение у гостей было вялое. Хотя водку за ворот никто не выливал, от рюмок не отказывались и пили с удовольствием, но как-то еще не разгулялись, веселье не дошло до кипения, а только чуть-чуть булькало, как вода на слабом огне. Сидели все осовелые, двигались тяжело, говорили мало и вполголоса, а кое-кто из пожилых даже зевал украдкой, потягивался и думал о том, как бы поскорее завалиться где-нибудь на солому.

Даже бабы, хотя они народ шумный и любящий веселье, развалились на лавках, жались по углам и мало болтали между собой.

Ягуся, как только пришла, переделалась в спальне мужа — надела наряд попроще, хотя и праздничный, и вышла принимать и угощать гостей. Но мать не давала ей ни до чего дотронуться.

— Ты уж повеселись как следует, доченька! Еще успеешь наработаться! — шептала она ей, привлекала к себе, с плачем обнимала. Глядя на нее, многие удивлялись: не на чужбину же она дочь отпускает, даже не в другую деревню, и не нужда ее ждет!

Посмеивались люди над этой материнской чувствительностью, чесали языки. Сейчас, когда Ягуся вошла хозяйкой в дом мужа, у которого было столько земли и всякого добра, они смотрели на нее другими глазами. И не одну мать перерзрелых дочек мучила зависть, да и девушкам было как-то досадно и не по себе.

Они заходили на другую половину, где жил раньше Антек с семьей, а сейчас Евка и Ягустинка готовили ужин, — в печи так и гудело, и Витек едва успевал носить дрова и подкладывать их под огромные котлы. Бродили по всему дому, и в каждую щель заглядывали их завистливые глаза.

Да и как было не завидовать такой судьбе?

Уж один этот дом чего стоил — лучший в деревне, большой, светлый, высокий, комнаты, как в какой-нибудь помещичьей усадьбе, выбеленные, чистые, с деревянным полом! А мебели сколько, посуды разной, образов одних штук двадцать, и все под стеклом! Потом еще хлева, конюшни, амбары! А скота! Одних коров пять, да бык, который дает немало доходу, да три лошади. А земля, а гуси, а свиньи!

Завистницы горестно вздыхали, и то одна, то другая тихо произносила:

— И посылает же Господь таким, которые не заслужили!

— Кто смел, тот и съел!

— Верно! Недаром говорят: на Бога надейся, а сам не плошай!

— Так отчего же ваша Улисия оплошала?

— Потому что Бога боится и живет честно.

— Ну, и другие девушки так же.

— Да и то сказать, — другой люди не простят. Если хоть раз увидят ее ночью с парнем, уже

на весь свет ославят!

— А таким, как эта, счастье!

— Оттого, что стыда у них нет.

— Ну идите же! — звал их Енджик. — Музыка играет, а в комнате ни единой юбки, танцевать не с кем!

— Ишь, охотник какой до пляски! А у матери позволения спросил?

— Смотри, штанов не потеряй, уж очень ты прыток!

— Да людям ног не оттопчи!

— С Валентовой потанцуй, хорошая будет пара — два чучела!

Енджик только чертыхнулся, обхватил первую попавшуюся девушку и потащил ее танцевать, не слушая, что ему кричат вслед.

В передней комнате уже танцевали, но вяло, как будто нехотя. Одна только Настя отплясывала вовсю с Шимеком Пачесем. Они уже сговорились раньше и при первых звуках музыки, крепко обхватив друг друга, пустились в пляс и кружились долго, с увлечением. Время от времени отдыхали, ходили обнявшись по избе, весело разговаривая и, громко смеясь: они так явно льнули друг к другу, что Доминикова забеспокоилась и стала следить за сыном.

Только когда пришел войт (он запоздал, потому что отправлял новобранцев в волость), люди расшевелились. Он, как только вошел и выпил рюмку-другую, завел разговор со всеми и стал подшучивать над молодыми:

— Что-то молодой у нас бледнее смерти, а молодуха раскраснелась, как маков цвет!

— Завтра это скажешь...

— Ну, и мастер же ты, Мацей, — дня не потерял!

— Что ты говоришь, Петр! Не гусак же он, чтобы у всех па глазах...

— Не ручайтесь за него, я бы и на полквартиры об заклад стал биться! Швырни камушком в кусты — и всегда какая — нибудь птичка выпорхнет. Это я, войт, вам говорю!

Загремел дружный хохот, а Ягна вскочила и выбежала из комнаты. Стало шумно, все развеселились, бабы начали болтать, что на язык придет. Войт помог, да и водка сделала свое дело. Борына ее гостям не жалел, часто пускал бутылку вкруговую. Танцоры тоже оживились, начинали петь, притопывать в такт, и круг их значительно расширился.

Пришел Амброжий, сразу сел — чуть не у самого порога — и жадными глазами следил за бутылкой, переходившей от гостя к гостю.

— У тебя голова только в ту сторону вертится, где рюмочки звенят! — заметил ему войт.

— Оттого, что очень уж они звонкие. А кто жаждущего напоит, того Бог наградит! — серьезно отозвался Амброжий.

— Так напейся воды, кожаный мешок!

— Что скоту здорово, то человеку смерть! Знаете поговорку: "Пусть кто хочет водою

спасается, а водка всякого на ноги поставит".

— Ну, раз ты так думаешь, — пей водочку.

— Ваше здоровье, войт! А еще говорят: "Крестись водой, на свадьбе водку лей, а на похоронах — слезы".

— Славная поговорка! Пей другую!

— Не откажусь и от третьей. Я всегда пью одну за первую жену и две — за вторую.

— Это почему же?

— Да потому, что вовремя померла, чтобы я мог третью себе подыскать.

— Ишь, о бабах еще думает, а у самого к вечеру глаза не видят!

— Да я и в потемках еще могу палкой бабьи бока нащупать.

Вся изба грохнула смехом.

— С Ягустинкой тебя сосватаем! — кричали женщины. — Она тоже выпить любит и говорунья не хуже тебя!

— Сказано: коли муж работающий, а жена горластая, они полмира добудут.

Войт подсел к Амброжию, затеснились к ним и другие, расселись, где кто мог, а кому места не нашлось на лавках, те стояли; компания заняла пол-избы, не обращая внимания на танцующих.

И посыпались шутки, выдумки разные, веселые прибаутки, рассказы, — изба гудела от хохота. А всех больше ораторствовал Амброжий, сочинял и врал людям прямо в глаза, но так складно и забавно, что слушатели покатывались со смеху. Ему не уступала и Вахникова, которую ни одна баба на деревне не могла переговорить, вторил им и войт, насколько ему позволяло звание.

Музыка играла вовсю, молодежь танцевала, а старики так расходились, что забыли обо всем на свете.

Вдруг кто-то увидел в сенях Янкеля. Его мигом затащили в комнату. Еврей снял шапку, поклонился и стал дружески со всеми здороваться, не обращая внимания на то, что обидные прозвища камнями сыпались на него.

— Рыжий!

— Нехристь!

— Кобылий сын!

— Тише вы! Надо его угостить, налейте ему горелки! — распорядился войт.

— Проходил я мимо — дай, думаю, погляжу, как хозяева веселятся. Спасибо, пан войт: как не выпить за здоровье молодых!

Борына вынес бутылку и налил ему. Янкель вытер рюмку полый своего длинного кафтана, надел шапку и выпил раз, потом другой.

— Оставайтесь, Янкель, не станете трэфным! Эй, музыканты, играйте еврейскую, пускай

Янкель потанцует! — кричали вокруг смеясь.

— Могу и потанцевать, это не грех.

Но раньше чем музыканты разобрали, чего от них хотят, Янкель потихоньку выбрался в сени и шмыгнул во двор — пошел к Кубе отбирать ружье. В избе и не заметили его ухода. Амброжий продолжал складно врать, а Вахникова — вторить ему, и так время прошло до самого ужина. Уже и музыка смолкла, передвинули столы и хозяйки грохотали посудой, а они все еще болтали.

Напрасно Боруна приглашал их за стол, никто его не слушал. Потом и Ягуся стала настойчиво звать, но войт втащил ее в круг, усадил подле себя и не отпуская.

Наконец, Ясек Недотепа закричал во все горло:

— За стол, люди, — все остынет!

— Тише, дурень, дадут и тебе миску вылизать.

— Амброжий тут вам врет бессовестно и думает, что ему кто-нибудь поверит!

— Ясек, если тебе дадут в морду, бери — твое! А меня не тронь, не сладишь.

— Давай померяемся! — крикнул глупый парень, поняв слова Амброжия буквально.

— Вол тоже одолеть может человека — пожалуй, еще лучше, чем ты.

Мать Ясека заступилась за сына:

— Амброжий за ксендзом убирает, так думает, что от него ума набрался.

— Дура! Впусти телку в костел, она и хвост задерет! — буркнул обиженный Амброжий и первый двинулся к столу, а за ним и другие стали поспешно занимать места, так как стряпухи уже вносили дымящиеся миски и по комнате распространился аппетитный запах.

Расселись по старшинству: Доминикова с сыновьями посредине, а дружки жениха и невесты сели все вместе. Боруна и Ягуся не сажались, они за всем надзирали к прислуживали гостям.

Наступила тишина, только за окнами дрались и шумели ребятишки, а Лапа с лаем бегал вокруг дома и скребся в дверь. Гости тихо, чинно занялись едой и усердно опустошали полные доверху миски, — только ложки стучали да звенели рюмки.

А Ягуся не переставала потчевать всех, каждому подкладывала на тарелку то мяса, то чего-нибудь другого и просила есть досыта. И так это мило у нее выходило, так умела она каждому сказать кстати ласковое слово, так всех радовала своей красотой, что не один парень провожал ее тоскующим взглядом, а мать расцветала от гордости и то и дело откладывала ложку, чтобы полюбоваться дочерью.

Видел это и Боруна. Когда Ягна шла к стряпухам, он бросался за ней и, догнав в сенях, крепко обнимал и целовал взасос.

— Хозяюшка моя милая! Какая ты у меня умница и гостей принять умеешь не хуже какой-нибудь знатной пани!

— А как же — разве я не хозяйка? Ступайте-ка в горницу! Гульбас и Шимон что-то надутые сидят и едят мало. Выпейте с ними!

И он слушался ее, делал все, что она хотела. Ягусе было сегодня как-то удивительно весело и легко. Она чувствовала себя хозяйкой, госпожой, чуть ли не помещицей, и власть как-то сама собой шла к ней в руки, с нею пришла и уверенность и гордость, полная спокойствия и силы. Она ходила по дому степенно, свободно, за всем зорко присматривала и разумно распоряжалась, как будто уже бог весть как давно была хозяйкой этого дома.

— Честная ли она, это старик скоро узнает, и это его дело! — шепнула Ева Ягустинке. — Но хозяйка из нее, кажись, выйдет настоящая.

— Умна и Каська, коли полна кадка! — злобно ответила Ягустинка. — Это все так будет, пока ей старый не опротивеет... а тогда она начнет бегать за парнями.

— Нет этого она не сделает... Матеушу теперь отставка... Да только он-то ее, пожалуй, в покое не оставит...

— Оставит! Его кое-кто другой прогонит.

— Борына?

— Ну, Борына! Есть кое-кто посильнее и Борыны и Матеуша... есть! Придет время, увидите все! — Ягустинка хитро усмехнулась. — Витек, прогони-ка собаку — лает проклятая так, что в ушах звенит. Да и ребятишек разгони, а то еще стекла разобьют и паклю растащат.

Витек выскочил с хлыстом, и Лапа затих, но поднялся визг и топот убежавшей детворы. Витек гнался за ними до самой улицы, но поспешил вернуться, так как в него полетел град камней и грязи.

— Витек, стой! — крикнул Рох, стоявший в темном углу двора. — Вызови Амброжия, скажи, что дело срочное. Я на крыльце подожду.

Амброжий вышел только через несколько минут, очень рассерженный тем, что ему не дали доесть свинину с горохом.

— Костел горит, что ли?

— Не кричите! Пойдемте к Кубе, — он, кажется, помирает.

— Ну и пусть подышает и не мешает людям есть! Был я у него после обеда, говорил ему, чертову сыну, что в больницу надо. Отрезали бы ему там ногу — и сейчас бы выздоровел.

— Вот оно что! Теперь понятно... Он, кажется, сам себе уже ногу отрубил.

— Иисусе, Мария! Как это сам отрубил?

— Пойдемте скорее, увидите. Шел я переночевать в хлеву, и только вошел во двор, Лапа как бросится ко мне — лает, скулит, тащит меня за полу, а я не мог понять, чего ему надо... Он побежал вперед, сел у конюшни и воет. Подхожу, смотрю — Куба лежит поперек порога, головой в конюшне... Я было подумал, что он на воздух выйти хотел и упал без памяти. Перенес его на полати, засветил фонарь, чтобы воды поискать, а он весь в крови, белый, как стена, из ноги кровь так и хлещет! Скорее, а то как бы не кончился!

Они вошли в конюшню, и Амброжий принялся быстро приводить Кубу в чувство. Куба лежал без сил и хрипел сквозь стиснутые зубы. Чтобы влить ему в рот немного воды, пришлось их разжать ножом.

Нога у него была перерублена в колене, держалась только на одной коже, и из нее обильно лилась кровь.

На пороге атели пятна крови, валялся окровавленный топор и точило, которое обычно стояло под навесом.

— Да, сам отрезал! Боялся больницы, думал, глупый, что сам себе поможет. Вот отчаянный! Господи Иисусе! Чтоб человек сам себе ногу оттяпал! Просто не верится! Крови он очень много потерял...

Куба вдруг открыл глаза и смотрел довольно осмысленно.

— Отлетела? Я рубнул два раза, но в глазах у меня потемнело... — прошептал он.

— Больно тебе?

— Нет, ничуть. Только из сил совсем выбился...

Он лежал спокойно и даже не вскрикнул ни разу, пока Амброжий укладывал ему ногу, мыл и обертывал ее в мокрые тряпки.

Рох, стоя на коленях, светил ему фонарем и горячо молился, слезы текли по его щекам. А Куба улыбался радостно, трогательно и кротко, как брошенный в поле ребенок, который еще не понял, что матери нет, и радуется шумящей над его головой траве, смотрит на солнце, тянется ручками к пролетающим птицам и на своем языке лепечет, разговаривает со всеми. Кубе хорошо было — совсем не больно и спокойно, а на душе так легко и весело, что он и не думал больше о своей болезни и только хвастался шепотом — как хорошо он наточил топор, ногу на пороге уложил и ляпнул прямо по колену... заболело оно, но нога не отскочила... тогда он еще раз, изо всей мочи... — и вот теперь ничего не болит; помогло, видно! Скорее бы силы вернулись, так он не валялся бы больше здесь на нарах, а тоже пошел бы на свадьбу, поплясал бы... и поел... потому что есть хочется!

— Лежи смирно, не шевелись, а еду тебе принесут, я Юзе скажу.

Рох погладил его по лицу и вышел за Амброжием во двор.

— До утра кончится, заснет тихо, как пташка, оттого что кровь из него вся вышла.

— Надо ксендза привести, пока он в памяти.

— Ксендз уехал на вечер к помещику в Волю.

— Пойду туда — мешкать нельзя!

— Да ведь до Воли верст семь. Куда вы пойдете лесом, ночью, — собьетесь с дороги! Тут стоят наготове лошади для тех, кто после ужина домой поедет. Садитесь и поезжайте.

Они вывели лошадей на дорогу, и Рох уселся.

— Про Кубу не забудь, надо за ним приглядывать! — крикнул он, отъезжая.

— Ладно, одного не оставлю.

Но он тотчас забыл о Кубе — сказал только Юзе насчет еды, а сам вернулся за стол и так усердно принялся за бутылку, что скоро не помнил уже ни о чем на свете.

Юзя, девочка добрая, собрала в мисочку все, что только могла, налила водки в бутылку и побежала к Кубе.

— Поешь маленько, Куба, погуляй и ты на свадьбе.

— Спасибо тебе. Колбаса-то как пахнет хорошо!

— А я ее нарочно для тебя поджарила, чтобы вкуснее было! — Она сунула ему миску в руки ощупью, так как в конюшне было темно. — Сначала выпей водки.

Он выпил все до дна.

— Посиди со мной минутку, так мне скучно одному!..

Он начал жевать, кусать, но ничего не мог проглотить.

— Что, веселятся там?

— Такое веселье, столько народу, в жизнь свою столько не видывала!

— Борунова свадьба, так что за диво! — шепнул он с гордостью.

— А отец какой веселый! И все-то ходит за Ягусей, все-то ходит!

— Как же... Красавица, личико у нее как у какой-нибудь паненки из усадьбы.

— А знаешь, Шимек Доминиковой за Настей так и увивается!

— Старуха не позволит: у Насти десять ртов на трех моргах.

— Так она их и разгоняет, все время за ними глядит.

— И войт там?

— Как же. Других забавляет и сам больше всех шумит. И Амброжий тоже.

— Еще бы — на такой свадьбе, у такого богатея!.. Не знаешь, что у Антека слышно? — спросил он тихо.

— Забегала я к ним нынче в сумерки, ребятишкам отнесла мяса, пирогов, хлеба... А он меня из хаты выгнал и швырнул мне вслед все, что я принесла!.. Вот как обозлился! Такой сердитый ходит, такой сердитый!.. А в хате нужда, плач... Ганка все с сестрой грызется, — кажись, уже до драки доходило...

Куба ничего не ответил. Он громко шмыгал носом и дышал чаще.

— Юзя, — сказал он через минуту, — кобыла с самого вечера что-то кряхтит и все ложится — должно быть скоро ожеребится... Присмотреть за нею надо. Питье приготовить. Слышишь, как стонет, сердечная... А я ничего не могу... страсть как ослабел... сил совсем нет.

Он замолчал, утомленный, и, казалось, заснул.

Юзя убежала.

— Цесь! Цесь... — позвал он, очнувшись. Кобыла протяжно заржала и дернулась на привязи так, что загремела цепь.

— Поем хоть раз досыта! Дам и тебе, собачка, дам, не скули...

Он принялся за колбасу, — но есть не хотелось совсем, не шел кусок в горло.

— Иисусе, столько колбасы, столько мяса... а я не могу... никак не могу!..

Напрасно он пробовал, облизывал, нюхал колбасу — он не мог есть, рука бессильно падала,

и он, не выпуская куска из пальцев, спрятал его под солому.

— Господи Боже мой, столько всего, никогда у меня столько не было!.. А не могу, да и только!..

От огорчения у него сжалось сердце и слезы потекли из глаз. Он плакал горько, захлебываясь, как обиженный ребенок.

"Потом поем, — отдохну немного и устрою себе пир", — подумал он.

Но и потом он не мог есть, все засыпал, не выпуская из кулака колбасу и не чувствуя, что Лапа потихоньку ее обгрызает.

Он очнулся внезапно, когда в доме после ужина музыка грянула с такой силой, что даже в конюшне задрожали стены и закудахтали перепуганные куры.

Звуки вырывались наружу, как будто красные огни брызнули в ночной мрак, и громом ударили в стены конюшни.

В доме шла буйная гульба, смех, веселье, земля гудела от топота и беготни, визг девушек раздирал воздух.

Куба сначала прислушивался, но скоро забыл обо всем. Сон морил его и уносил во тьму, полную непонятных звуков, словно на дно шумящей реки... или вглубь леса, где гудит ветер.

Когда взрывы веселья, крики, неистовый стук каблуков, казалось, разносили дом, Куба просыпался, вырывался из темноты беспамятства, возвращался откуда-то из страшной дали и слушал.

А порою снова пробовал есть или шептал тихо, любовно: — Цеська, Цесь, Цесь...

Но уже душа медленно уходила из тела и то уносилась в пространство, как птица, то кружилась, как слепая, не могла еще оторваться от матери-земли, приникала к ней, чтобы отдохнуть от мучений, влить свой сиротливый плач в шум людской. Бродила душа среди любимых, шла к живым, горестно взывала к братьям и молила о помощи, покуда не унеслась, наконец, в какие-то весенние поля, в необъятные божьи просторы, озаренные вечным светом и вечной радостью. Она летела все выше, все дальше, туда, где уже не услышит рыданий людских, скорбных жалоб человеческого сердца...

...Туда, где благоухают лилии, шумят медовые травы на цветущих лугах, где весело бегут звездные реки по разноцветным с руслам, туда, где вечный день.

...Туда, где звучат лишь тихие молитвы и в ароматном дыме камильниц, как в тумане, звенят колокольчики и тихо льется музыка органа. Где души уже безгрешные и ангелы и святые угодники хором поют хвалу Господу. В тот священный вечный храм, где будет она молиться, вздыхать и плакать только от счастья и ликовать с Господом во веки веков.

Туда-то рвалась измученная и жаждавшая отдыха душа Кубы.

А в доме все гуляли, веселились даже еще больше, чем вчера, потому что здесь и угощение было обильнее, и хозяева усерднее потчевали. А уж плясали до упаду!

Кипело и бурлило все, как вода на жарком огне, а, как только веселье немного утихало, музыка гремела с новой силой, и толпа танцующих только пригибалась, как колосистая нива под бурей, а потом с новым размахом пускалась в пляс, стуча ногами, с песнями, с шумом, с неистовым упоением.

Плавилось сердце в огне безумного веселья, кипела кровь, душа забывалась в разгуле, и каждый нерв дрожал в такт, каждое движение было пляской, каждый крик — песней, и все глаза искрились блаженной радостью.

И так продолжалось всю ночь, до самого рассвета.

А день вставал медленно, тяжело, утренняя заря осветила сплошные громады мрачных туч, и уже перед самым восходом солнца вдруг потемнело и пошел снег.

Сначала в воздухе кружились только редкие хлопья, как в ветреный день осыпающаяся хвоя, но потом снег стал сыпать, как сквозь густое сито, падал ровно, однообразно и беззвучно и покрывал крыши, деревья, плетни, всю землю серовато-белой пряжей или пухом.

Праздник кончился, — вечером еще предстояло собраться в корчме, но сейчас стали расходиться по домам.

Только дружки с музыкантами во главе собрались у крыльца и запели хором последнюю свадебную песню:

Доброй ночи молодым.

Доброй ночи!

А в этот самый час душа Кубы расставалась с телом.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗИМА

I

Подходила зима.

Осень еще боролась с ней, не подпускала ее близко, и они металась в синих далях, рыча, как голодный и злобный зверь, и неизвестно было, когда она победит и, прыгнув вперед, вонзит свои страшные клыки в мир...

Временами порошил желтоватый, быстро таявший снег, осенний снег.

Еще приходили дни скучные, болезненно-бледные, оцепенелые, гнилые, мерцающие тусклым ледяным светом, проникнутые ноющей грустью — мертвые дни. И птицы с криками улетали в леса, и тревожнее журчали воды, текли медленнее, словно скованные страхом, и трепетала земля, а все живое устремляло взгляды, полные боязливого ожидания, на север, в непроницаемую мглу туч.

И ночи были еще осенние: слепые, мутные, глухие, с клочьями тумана и мертвым блеском звезд, ночи настороженного безмолвия, таившего в себе подавленные крики тревоги, ночи, полные мучительных вздохов, метаний, внезапно наступающей тишины, воя собак, кряхтения

мерзнущих деревьев, жалобных голосов птиц, ищущих убежища, жутких зовов на пустырях и распутьях, затерянных во мраке, шума каких-то полетов, теней, притаившихся под стенами безмолвных хат, страшных видений, замирающего ауканья, неведомых призывов, странного пугающего скрежета, пронзительных стонов.

Еще в иные дни, в час заката, на угрюмое свинцовое небо выплывало огромное красное солнце и клонилось к западу грузно, словно чан с расплавленным железом, из которого вырывались кровавые струи и клубы черного дыма, пронизанного языками огня, и тогда весь мир заливало зарево пожара. И долго-долго, до самой ночи, догорали и стыли на небе эти кровавые уголья, а люди говорили:

— Зима близко, и примчится она на лютых ветрах!

И зима надвигалась с каждым днем, с каждым часом, с каждым мгновением.

И вот — пришла.

А еще раньше прилетели первые ее гонцы.

Как-то тихим, сонным утром, вскоре после дня Св. Варвары, посылающей людям легкую смерть, налетели первые резкие ветры, облетели землю, завывая, как псы, ищущие следа. Вгрызались в поля, ворчали в кустах, разметали снег, потормошили сады, замели хвостами дороги, прогулялись по водам, потрепали кое-где украдкой соломенные крыши и ветхие плетни и, кружась, с визгом умчались в леса. А вслед за ними, сразу после заката, начали выползать из сумрачной дали длинные, свистящие и колючие языки вихрей.

Они дули всю ночь, воя в полях, как стаи голодных волков. И здорово же покуролесили: к утру из-под разметанного снега уже виднелась голая земля, в лощинах и ямах, белели раздерганные плетни, поля кое-где обнажились и словно светились лысынами... дороги подмерзли, обледенели, мороз острыми клыками вонзался в землю, и она звенела, как железо. Но как только настал день, вихри удрали, укрылись в лесах и, притаившись там, казалось, в злобном напряжении готовились к новому бешеному наскоку на деревню.

А небо становилось все пасмурнее, заволакивалось все гуще, тучи наплзали отовсюду, поднимали свои безобразные головы, расправляли согнутые тела и, разметав седые гривы, сверкая зеленоватыми зубами, двигались целым стадом, грозной, мрачной, бесшумной ордой атаковали небо. С севера шли черные, огромные горы, рваные, раздерганные, расщепленные, нагроможденные одна на другую, похожие на груды сваленных бурей деревьев. Их пересекали глубокие пропасти, засыпанные зелеными глыбами льдов, и они рвались вперед с необузданной силой, с глухим шумом. С запада, из-за недвижных черных лесов, медленно наплывали громады темно-синих набухших туч, местами словно прочерченных огнем, шли одна за другой, бесконечной вереницей, как стаи громадных птиц. С востока надвигались тучи, плоские, ржавые, словно гнилые, отвратительные, как падаль, истекающая сукровицей, а с юга — какие-то ветхие, растрепанные, красноватые, напоминающие цветом и видом торфяные болота, или все в синих полосах и наростах, похожие на мусорные кучи, кишачие червями. Да еще и сверху, словно от погасшего солнца, сыпались тучи, как грязные клочья, и другие, яркие, как остывающие куски раскаленного железа, — и все это сталкивалось и заливало небо страшным черным бурлящим потоком грязи и мусора.

Вдруг потемнело все, наступила мертвая тишина, угасли все светлые отблески, померкли синие глаза вод все словно оцепенело и затаило дыхание. Жутью веяло над землей, холод пронизывал до костей, страх хватал за горло, души приникли к земле, дикий ужас обуял все живое, — можно было видеть, как мчался по деревне с взъерошенной шерстью заяц; вороны, пронзительно каркая, влетали в амбары, а то даже и в сени; собаки выли под окнами, как бешеные; люди забивались в избы, а у озера металась слепая кобыла с обломком телеги,

натыкалась на плетни, деревья и с диким ржанием искала свое стойло.

Разливалась вокруг мутная, душная тьма. Тучи все больше снижались клубящимся густым туманом, ползли со стороны леса, катились по полям, как бурлящие, шумные, страшные воды. Они налетели на деревню и залили всю ее холодной, грязной мглой. Но вот в одном месте мгла вдруг разорвалась, и голубой клочок неба заблестел, как вода, в глубине колодца. Резкий свист прорезал воздух, еще больше за клубились туманы, а из разрыва туч, как из разинутой пасти, вырвался первый вихрь, за ним летел уже второй, десятый, сотый. И завывали, устремляясь из этой пасти неудержимыми потоками, словно Они с цепи сорвались, и бешеной, воюющей стаей налетели на тучи, рассекали тьму на куски, прогрызали насквозь, пока не разметали ее во все стороны, как гнилую солому.

Шум пошел по свету, смятение, свист, вой, пыль столбом.

Растоптанные острыми копытами вихрей, тучи крадучись убегали в леса, небо прояснялось, день опять открыл оловянные глаза, и все живое вздохнуло с облегчением.

Но ветры не унимались, дули почти целую неделю без отдыха, без перерыва. Днем это еще можно было кое-как терпеть, потому что выходили из дому только те, кого нужда заставляла, а остальные все сидели в избах и ждали, когда это кончится. А ночи были невыносимы. Они пришли светлые, звездные, и вверху было тихо и ясно, но на земле вьюга справляла бесовский шабаш, — как будто повесилось разом сто человек. Как тут было уснуть, когда на дворе гудело, трещало, ревело, грохотало, словно тысячи пустых телег во весь опор мчались по ухабам и от топота дрожала земля. А тут еще эти вопли, бог весть чьи, гуканье и завывания!

Избы скрипели, буря плечами напирала на стены, колотилась об углы, срывала навесы, хваталась за балки, толкалась головой в двери так, что не одна дверь поддавалась. Она разбивала стекла, и приходилось среди ночи вставать и затыкать окна подушками, потому что вьюга врывается внутрь с визгом, как рассерженная, надоедливая свинья, и так прожигала холодом, что люди даже под перинами коченели.

И рассказать невозможно, сколько натерпелись люди за эти дни и ночи!

А сколько бед натворила буря — и не перечтешь: выворотила плетни, растрепала соломенные крыши, у войта свалила почти новый сарай, у Бартека Козла сорвала с гумна крышу и унесла далеко в поле, у Винцерков обвалила трубу, на мельнице оторвала часть тесовой крыши, — а сколько натворила бед поменьше! Сколько деревьев наломала в садах и лесах! На большой дороге вырвала с корнем десятка два тополей, и они так и лежали поперек дороги, как истерзанные и ободранные трупы.

В эти бурные, ветреные дни Липцы точно вымерли. Вьюга разгулялась так, что всякого, кто только высунется из избы, тут же подхватывала и швыряла куда попало — в канаву, о дерево, о забор, а Яська Недотепу даже сдула с моста в озеро, и парень едва выкарабкался. Она все бушевала и бушевала, взметая песок, неся ветки, щепки, солому с крыш, а иногда и верхушку какого-нибудь деревца, — и все это летело в облаках пыли, как вспугнутые птицы, ударялось о стены хат и уносилось куда-то.

Самые старые люди в деревне не помнили таких буйных и назойливых ветров.

Томились все в закопченных избах, так как нельзя было и носа за дверь высунуть, и от скуки частенько ссорились между собой. Только самые непоседливые бабы иногда пробирались осторожно вдоль плетней, шли к соседкам — будто бы прясть, а на самом деле почесать языки и побрюзжать. А мужчины неистово молотили. За прикрытыми воротами гумен с утра до позднего вечера стучали цепи (высушенное морозом зерно легко лущилось), и только под вечер, если вьюга немного затихала, кое-кто из парней пробирался в корчму.

А ветры все буйствовали и становились все холоднее; от их дыхания замерзали речки и ручьи, застыли болота, даже озеро покрылось прозрачным голубоватым льдом. Под мостом, где было поглубже, вода еще бурлила, не уступала, но у берегов она была уже крепко скована, и чтобы поить скот, приходилось рубить проруби.

Только перед самым днем Святой Люции погода переменилась.

Мороз ослабел, немного потеплело, ветрам, видимо, пришел конец, — они только по временам еще поднимались, но были уже не такие буйные, а небо простиралось над землей ровное, как взбороненное поле, серое, как холст, и такое низкое, что, казалось, оно лежит на придорожных тополях. Было пасмурно и глухо кругом.

А вскоре после полудня стемнело, и пошел снег. Он сыпал большими густыми хлопьями и быстро запушил все деревья, пригорки, кочки.

Ночь наступила раньше обычного, а снег стал еще гуще и суше и все шел и шел, до самого рассвета.

К рассвету его уже набралось столько, что он толстым пластом, как тулупом, укрывал землю и все кругом окутал синегато-белой пеленой. Наступил день, а он все сыпал и сыпал без перерыва.

Тишина сошла на землю, ни один звук не проникал сквозь этот летящий пух, все замолкло, онемело, оглохло. Казалось, мир замер в созерцании чуда и благоговейно вслушивался в едва уловимый шелест, тихий полет снежинок, неустанное колыхание мертвенно-белой завесы.

Белая мгла разрасталась, ширилась. Чистый, искрящийся снег, напоминая белейшую, мягчайшую, чудеснейшую шерсть, сыпался, как замерзшее сияние, и, казалось, все звездные миры превратились в иней и, растертые в пыль во время полета с неба, засыпали землю. Скоро под этим обвалом скрылись леса, стали невидимы поля и дороги, деревня вся потонула, растворилась в белизне, в слепящем тумане, и уже ничего не различал глаз — только струи снежной пыли, осыпавшейся так ровно, так сладостно-тихо, как лепестки отцветающей вишни в лунную ночь.

В трех шагах не разглядеть было ни избы, ни дерева, ни забора, ни человека, а голоса летали в снежном сумраке, как ослабевшие бабочки, и не понять было, откуда, куда они несутся, и они трепетали в воздухе все тише, все слабее.

Снег шел два дня и две ночи и совсем засыпал избы, похожие теперь на сугробы, из которых вылетали грязные космы дыма. Дороги сравнялись с полями, сады были завалены по самый верх изгородей, озеро совсем исчезло под снегом. Вся земля преобразилась в необъятную белую равнину, укрытую непроницаемой, холодной, пушистой и чудесной пеленой, а снег все шел, но уже более сухой и редкий, и сквозь летящие хлопья по ночам мерцал дрожащий свет звезд, а днем кое-где уже голубело небо. В разреженном воздухе все звуки были отчетливее, голоса резко, бодро, звонко прорезали белую мглу. Деревня точно пробудилась от спячки, зашевелилась. Но все, кто выехал на санях, тотчас вернулись, по дорогам невозможно было проехать. Люди прокладывали в снегу тропинки между хатами, отгребали снег от дверей, раскрывали настежь двери хлебов. Все повеселели, а детвора — та просто ошалела от радости. Собаки лизали снег и с лаем носились за мальчишками. Закипело на улицах деревни, поднялся шум и крик во дворах, ребята играли в снежки, катались по мягкому, пушистому снегу, лепили огромных снежных баб, бегали с салазками, и их веселый визг и беготня наполняли всю деревню. Рох в этот день даже отменил ученье, потому что не мог никого засадить за букварь.

Дня через два-три, уже в сумерки, снег перестал сыпать, только изредка еще порошило, но

это было почти незаметно, — как будто кто вытряхивал над землей мешок из-под муки. Однако небо хмурилось, вороны держались около домов и сидели на дорогах, а ночь наступила беззвездная, свинцовая, освещенная только снегами, застывшая в изнеможении, подобном смерти.

— Теперь, если хоть самый легкий ветерок — начнется метель! — сказал на другое утро старый Былица, выглянув в окошко.

— Ну и пусть метет, мне все равно! — буркнул Антек, поднимаясь с постели.

Ганка развела в печи огонь и вышла за порог. Было еще очень рано, на деревне пели петухи, повсюду лежал густой мрак, словно кто смешал известку с сажей и осыпал все, и нельзя было различить ни деревьев, ни хат, ни дали, только на востоке чуть брезжила заря, как тлеющий под пеплом жар. Земля еще была объята глубокой тишиной, и от нее веяло резким холодом.

В хате тоже был пронизывающий холод и сырость, и Ганка поспешила надеть башмаки на босу ногу. Огонь в печи едва тлел, сырые еловые сучья шипели и дымили, и только когда она наколола лучинок и напихала в печь соломы, они загорелись и пламя осветило избу.

— Снегу насыпало столько, что на всю зиму хватит, — снова заговорил старик, дыша на стекло, покрытое толстым зеленоватым слоем льда: он хотел поглядеть на свет божий.

Старший мальчик, которому шел уже четвертый год, захныкал в постели, а с другой половины избы, где жила Веронка с семьей, доносились резкие спорящие голоса, брань, детский писк и хлопанье дверьми.

— Веронка уже своей молитвой день начинает! — сказал Антек презрительно, обертывая ноги нагретыми у печи онучами.

— Привыкла тарыхтеть, вот и тарыхтит без надобности... Но это не со зла, а так! — тихо отозвался старик.

— А ребятишек она колотит тоже не со зла? А Стаху ласкового слова никогда не скажет, все только на него орет, как на собаку, — это, видно, от доброго сердца? — сказала Ганка, став на колени у люльки, чтобы покормить малыша, который тоже плакал и дрыгал ножонками.

— Сколько уж мы тут у вас живем, три недели? И ведь ни одного дня не прошло у них без крику, драки да ругани! Не женщина — змея! А Стах — слюнтяй, все терпит. Работает, как вол, а жизнь у него хуже собачьей.

Старик боязливо посмотрел на нее, хотел что-то сказать в защиту Веронки, но в эту минуту дверь из сеней отворилась и в нее просунулась голова Стаха вместе с цепями, которые он нес на плече.

— Антек, хочешь пойти молотить? Органист сказал, чтобы я кого-нибудь подыскал для ячменя, а ячмень сухой, легко лущится... Филипп просился, но, если хочешь, так иди ты, подработай.

— Спасибо. Возьми Филиппа, а я к органисту работать не пойду.

— Дело твое. Счастливо оставаться.

Ганка, услышав ответ Антека, так и подскочила, но сейчас же опять пригнулась и сунула голову в люльку, чтобы скрыть слезы отчаяния.

"Господи, такая зима, такая бедность, кормимся одной только картошкой с солью, гроша медного за душой нет, а он работать не хочет! По целым дням сидит дома, курит и думает о

чем-то или шатается где-то, как бродяга, — ветра в поле ищет! Боже мой, Боже! — стонала она в душе. — Уже и Янкель в долг не дает, придется корову продавать... Что ж, уперся, так и продаст, а за работу не возьмется! Конечно, на поденщину ему ходить обидно, неприятно — да что же делать-то? Что? Будь я женщиной — боже мой! — рук, ног не жалела бы, жилы бы из себя тянула только бы коровы не продавать, перебиться кое-как до весны!.. Да что я, несчастная, могу сделать?"

Эти мысли так разбередили ей душу, что она места себе не находила. Принялась за обычные повседневные хлопоты и все украдкой поглядывала на мужа, а он сидел у печки и, укутав полую своего тулупа старшего мальчика, согревал ему ножки рукой, уныло смотрел в огонь и вздыхал. Старик у окна чистил картофель.

Их разделяло тяжелое, беспокойное молчание, полное затаенной горечи, которую обостряла гнетущая нужда. Они не смотрели друг другу в глаза, не разговаривали. Отчаяние зажимало в горле слова, гасило улыбки, в глазах светился невысказанный укор, в бледных, изнуренных лицах читалось уныние, но и железное упорство. Прошло уже три недели с тех пор, как отец выгнал их, — столько долгих дней, столько ночей, — а оба, и Антек и Ганка, еще ничего не забыли, не утихла в них злоба, не переболели они этой обидой, — они так сильно ее чувствовали, словно все произошло только вчера.

Огонь весело трещал, тепло разливалось по всей избе, уже таял лед на стеклах и снег на пороге, навейный вьюгой сквозь щели, а глиняный пол потел, словно росой покрывался.

— Что, придут сегодня евреи? — спросила наконец Ганка.

— Сказали, что придут.

И опять ни слова. Как же — кому заговорить первым и о чем? Ганке? Но она боялась и рот раскрыть, чтобы не вырвалось невольно все, что накопилось у нее в сердце! Нет, она все таила в себе и сдерживалась, как только могла. Антеку? А что же он мог сказать? Что ему тяжело? Это и без того было ясно, а к откровенности он никогда не был склонен, даже перед женой не любил изливать душу. Как было говорить, когда его глодала ненависть, когда при каждом воспоминании сердце корчило от боли и невольно сжимались кулаки в порыве такой злобы, что хотелось бросаться на всех.

Уже не приходили больше сладкие воспоминания о Ягне, как будто он ее никогда не любил, как будто не обнимал этими сильными руками, которыми сейчас готов был ее разорвать.

"Иная женщина — как глупая собака: пойдет за тем, кто ее большим куском поманит или палкой припугнет".

Он думал о ней не часто, ее вытеснял из памяти наплыв острой и мучительной злобы против отца. Да, во всем виноват старик! Он обидчик, он — та заноза, что впилась в сердце! Из-за него все это, из-за него!

И Антек собирал, копил в себе все обиды, все страдания, все, что ему пришлось перенести, и напоминал их самому себе, как слова молитвы, которую нельзя забывать. Это была цепь воспоминаний, растрavляющая раны, но он протянул ее через самое сердце, чтобы лучше запомнить!

Нужда его не пугала. Человек он здоровый, был бы кров над головой — и ладно, больше ничего ему не надо, а о детишках пускай жена заботится. Но сознание причиненной ему несправедливости палило его огнем и все росло, разрасталось, как жгучая крапива. Прошло только три недели, а уже вся деревня от него отвернулась, как будто его никто и не знал, как будто он приبلудный какой-нибудь. Избегают его, как зачумленного; никто с ним не заговаривает, не заходит в избу, никто ни разу не пожалел, слова дружеского не сказал, все

смотрят на него, как на разбойника.

Что ж, нет так нет! Навязываться он не станет, но и прятаться от людей не будет и дороги никому не уступит. Война так война.

Но за что все это? За то, что он подрался с отцом? Так разве это в деревне первый случай? Разве Юзеф Вахник не дерется со своим чуть не через день? Разве Стах Плошка не перебил своему отцу ногу? А ведь им никто худого слова не сказал, — только его, Антека, осуждают. Так уж водится — против кого Бог, против того все святые! Об этом старик постарался, — его это дело! Ну да ничего, он ему за все отплатит, за все! Антек жил только жаждой мести и мыслями о ней и все эти три недели был словно в лихорадке. Ни за какую работу не принимался, о нужде не думал, о завтрашнем дне не заботился. Он весь ушел в свои муки. Не раз ночью вскакивал он с постели и убегал из дому — бродил по дорогам, выбирая темные места, и мечтал о жестокой мести, клялся себе, что ничего не простит отцу.

Позавтракали в молчании, а он все сидел на месте и уныло перебирал свои воспоминания, горькие, колючие, как шипы.

Было уже совсем светло, огонь в печи угас, и сквозь оттаявшие немного оконца лился белый, холодный блеск снегов. Ледяной свет утра прокрадывался во все углы и освещал избу во всем ее убожестве.

По сравнению с этой развалиной изба Борыны казалась просто барской усадьбой! Да что изба — даже хлев отцовский был больше пригоден для жилья. Не дом, а гнилье, куча ветхих бревен, навоза и мусора. Пол глиняный, без единой доски, весь в выбоинах, покрыт подмерзшей грязью и затоптанным сором. Как только протопят печь, все это оттаивало и воняло хуже, чем помойная яма. Стены — облупленные, трухлявые и такие сырые, что с них текло, а в углах мороз тряс седой бородой. Бесчисленные дыры в стенах замазаны глиной, а местами — соломой с навозом. Низкий потолок напоминал старое изодранное сито: соломы, затканной паутиной, было в нем больше, чем досок. Кое-какая рухлядь да несколько икон на стенах немного прикрывали это убожество, а шест с висевшей на нем одеждой да сундук заслоняли плетеную перегородку, за которой помещались коровы.

Ганка, хотя и не спешила, а скоро управилась с хозяйством, — уж очень невелико оно было: корова, телка, поросенок, несколько гусей и кур — вот и все богатство. Потом она одела мальчиков, и они тотчас убежали в сени играть с детьми Веронки. Оттуда скоро стал доноситься визг и беготня. Ганка и сама немного приделалась, потому что ожидала прихода покупателей, да и в деревню ей нужно было сходить.

Она хотела поговорить с мужем до этой продажи, но не решалась начать, потому что Антек все сидел перед потухшим огнем и смотрел в одну точку, такой мрачный, что ей даже жутко стало.

"Что с ним?" Ганка сняла деревянные башмаки, чтобы не раздражать его стуком, и все чаще поглядывала на него с нежностью и беспокойством.

"Он не такой, как все, оттого ему тяжелее", — думала она, и ей ужасно хотелось заговорить с ним, расспросить, утешить. Уже она подошла ближе, уже рвалось из растроганного сердца ласковое слово, — но не хватало смелости. Как заговорить, когда он не обращает на нее никакого внимания, словно и не видит никого и ничего вокруг себя! Ганка тяжело вздохнула. Нелегко было ее сердцу, не сладким медом, а горечью полыни было оно полно. О Господи, не так живется другим. Даже любой коморнице лучше, чем ей. Все на ее плечах, — мыкайся, обо всем одна заботься, хлопочи, а душу отвести не с кем! Пусть бы он на нее кричал, пусть бы даже побил, — она знала бы по крайней мере, что в доме есть живой человек, а не бревно! А этот — все молчком, только иной раз заворчит, как злая собака, или взглянет так, что холодом душу обдаст. Ни поговорить с ним, ни подойти к нему с открытым сердцем, как к

мужу и другу. Скажешь ему что-нибудь? Пожалуешься? Как бы не так! Что ему жена, — она нужна только для того, чтобы за домом смотреть, обед варить, детей растить. Разве он о чем-нибудь заботится? Разве когда приласкает, приголубит, проймет своей добротой, обнимет крепко, поговорит по душе? Не нужно ему все это, не нужно! Постоянно о чем-то своем думает, в доме он как чужой и не замечает, что вокруг него делается! Ты одна тащи все на своем горбу, мучайся, хлопочи, изворачивайся, как знаешь, а тебя даже добрым словом за это не приветят!

Ганка уже не в силах была справиться с нахлынувшим отчаянием, не могла удержать слез — и торопливо ушла за перегородку к коровам. Здесь она, припав головой к яслям, тихо плакала, а когда Красотка засопела и стала лизать ей лицо и плечи, она дала волю своему горю:

— И тебя не будет, коровушка, и тебя... Придут сейчас, купят тебя... поведут на веревке... уведут далеко кормилицу нашу! — шептала она, обнимая шею коровы, изливая наболевшее сердце перед этим кротким животным. Она уже не сдерживала стонов и плача, в ней вдруг вспыхнуло страстное возмущение. Нет, так не может продолжаться, — корову продадут, есть им нечего, а он сидит, работы не ищет! Звали молотить — не пошел, а ведь заработал бы все-таки хоть четвертак в день, все хватило бы на соль, на приварок, когда уже и капли молока у них не будет!

Она вернулась в комнату.

— Антек! — позвала она резко, смело, готовясь все ему высказать.

Он молча поднял на нее покрасневшие глаза, и взгляд его был так печален, что у Ганки сердце сжалось, гнев ее сразу утих и сменился жалостью.

— Ты говорил им, чтобы пришли за коровой? — спросила она тихо и удивительно мягко.

— Да. Идут уже, должно быть, — слышишь, на дороге собаки лают.

— Нет, это во дворе Сикоры лают, — сказала Ганка, взглянув в окно.

— Обещались до полудня прийти, значит вот-вот придут.

— А продать непременно надо?

— Ну как же, — ведь деньги-то нужны? Да и корму у нас на двух коров не хватит... Надо продать, Гануся, что тут делать... Жаль коровы, конечно... Но без денег не проживешь, — говорил Антек тихо и так кротко, что у Ганки сердце забилося радостью и надеждой. Она смотрела в глаза мужу, как верная и послушная собака, и уже ей не жаль было коровы, ничего не жаль. Смотрела жадно, забыв все муки, в это любимое лицо, слушала голос, проникавший ей в душу и, как огнем, согревавший ее своей добротой.

— Конечно, надо! Телка у нас останется, в Великом Посту отелится, и мы еще дождемся молочка, — согласилась Ганка: ей хотелось, чтобы он говорил еще.

— А если муки не хватит, прикупим.

— Разве только овсяной докупить придется, а ржаной хватит до весны. Отец, раскопайте-ка яму, надо поглядеть, не померзла ли картошка!

— Сидите, сидите, отец, я сам отрою, эта работа не по вашим силам.

Антек встал, снял тулуп, взял лопату и вышел.

Снегу нанесло чуть не до самой крыши, потому что дом стоял на открытом месте, на самом краю деревни, довольно далеко от дороги, и не был защищен ни плетнем, ни садом. Перед окнами росло несколько кривых диких черешен, но и они были так засыпаны, что одни только сучья торчали из снега, как скрюченные ревматизмом пальцы. От окон старый Былица еще рано утром отгрел снег, но яму, где хранили картофель, так занесло, что ее и не найти было.

Антек живо принялся за работу. Снегу навалило в человеческий рост, он уже успел подмерзнуть и отвердеть, и его приходилось снимать пластами. Антек даже вспотел весь, пока отрыл яму, но работал охотно и был в духе, то и дело бросал снежками в ребяташек, игравших у дверей, — и только в иные минуты, когда вспоминал вдруг о том, что его угнетало, руки у него опускались, он переставал работать и, прислонясь к стене, смотрел куда-то вдаль, вздыхал, и снова душа металась, как заблудившаяся в темноте овца.

День был хмурый, серенький, белесое небо низко нависло над землей, снега укрывали ее толстым пушистым ковром.

Повсюду, насколько хватал глаз, расстилалась иссиня-белая глухая, мертвая равнина. Морозный туман окутывал все словно пряжей. Изба Былицы стояла на косогоре, и отсюда деревня вся видна была как на ладони. Занесенные стога и сугробы длинным ожерельем окружали скрытое под снегом озеро, ни одна изба не видна была целиком, — все они тонули в снегу. Только местами темнели стены амбаров, поднимались к небу струйки рыжего торфяного дыма или серели деревья под снеговыми шапками. Но в этом снежном царстве звенели веселые голоса, летя из одного конца деревни в другой, и монотонно, глухо, словно из-под земли, гудели удары цепов. Дороги были занесены, на полях не видно было ни живой души, — огромная белая пустыня, застывшая от холода. В затуманенной дали нельзя было отличить неба от земли, и только едва заметно среди белизны синели леса, как повисшая на горизонте туча.

Глаза Антека недолго блуждали по этой снежной пустыне, он опять посмотрел в сторону деревни, ища отцовскую хату. Ход его мыслей прервала Ганка, — она уже влезла в яму и кричала оттуда:

— Ничуть не померзла! У Вахников ее так прохватило, что пол-ямы пришлось свиньям скормить, а наша здоровехонька!

— Вот и ладно! Вылезай-ка, — кажись, идут покупатели. Надо вывести корову на двор.

— Ну, конечно, это они, проклятые! — злобно выкрикнула Ганка.

От корчмы по тропинке, совсем занесенной снегом и едва-едва отмеченной следами сапог Стаха, брели два еврея, а за ними с веселым заливистым лаем гнались собаки чуть не со всей деревни и так наседали на них, что Антек пошел навстречу, чтобы защитить их.

— Здравствуйте! Мы опоздали оттого, что столько снега, столько снега, ни пройти ни проехать! В лес уже согнали всю деревню — дорогу откапывать.

Антек, ничего не отвечая, повел их в хату обогреться. Ганка обтерла корове запачканные навозом бока, сдоила молоко, накопившееся с утра, и повела ее через хату во двор. Корова упиралась, шла неохотно и, едва переступив порог, вытянула морду, понюхала воздух, полизала снег — и вдруг, ни с того ни с сего, замычала протяжно, тихо, тоскливо и стала так рваться с веревки, что старик едва ее удержал.

Тут уж Ганка не выдержала: острая жалость резнула ее по сердцу, и она заплакала навзрыд, а глядя на нее, и дети, уцепившись за юбку матери, закричали, заревели. Антеку тоже невесело было, но он стиснул зубы и, прислонясь к стене, смотрел на ворон, слетавшихся на раскиданный из ямы снег. А покупщики, о чем-то переговариваясь на своем языке, принялись

ощупывать корову и оглядывать ее со всех сторон.

Хозяева Красотки чувствовали себя, как на похоронах, и старались не смотреть на животное, которое тщетно рвалось с привязи, тарасило на них испуганные глаза и глухо мычало.

— Господи Иисусе! Для того ли я тебя пасла, для того ли тебя холила, берегла, чтобы тебя на убой повели, на погибель!.. — причитала Ганка, колотясь головой о стену, а дети вторили ей ревом.

Но напрасны были слезы и жалобы — от горькой необходимости не уйдешь, судьбы своей не переупрямишь.

— Сколько хотите? — спросил, наконец, старший из покупателей, седой еврей.

— Триста злотых.

— Триста злотых за этакую падаль! Да вы, Антоний, не в себе, что ли?

— Ты не смей ее ругать, а то я тебе покажу падаль! — завизжала Ганка. — Ишь ты какой! Корова молодая, только что пятый год ей пошел, откормленная!

— Ша, ша!.. Когда торг идет, мало ли какое слово скажешь, сердиться нечего... Тридцать рублей дать?

— Я свое сказал.

— А я свое говорю: тридцать один!.. Ну, хорошо, тридцать один с полтиной!.. Ну, тридцать два — по рукам? Тридцать два с полтиной... Идет?

— Я раз сказал.

— Вот последнее слово — тридцать три! А нет, так не надо! — сказал флегматично еврей помоложе и обернулся, ища свою палку, а старый уже застегивал халат.

— За такую корову! Бога побойтесь, люди! Корова с дом, одна шкура рублей десять стоит... За дойную корову! Мошенники, хриstopродавцы... — ворчал старый Былица, поглаживая корову, но на него никто не обращал внимания.

Покупатели начали отчаянно торговаться, Антек твердо стоял на своем, уступил кое-что, но очень немного, потому что корова и в самом деле стоила этих денег, а если б ее продать весною и не торговцам, а какому-нибудь хозяину, можно было бы наверняка получить за нее полсотни. Но нужда — не свой брат, торговцы это хорошо понимали, и хотя они кричали все громче и все азартнее хлопали Антека по ладони в знак того, что сделка заключена, — но все же набавляли понемногу, не больше чем по полтиннику.

Был уже момент, когда они, рассердившись, уходили, а Ганка тащила корову назад в загородку, и даже Антек вышел из себя и готов был отказаться от продажи, — но торговцы вернулись и опять начали кричать, галдеть и божиться, что больше дать нельзя, опять били по рукам и осматривали корову, пока не сошлись на сорока рублях, и еще два злотых обещали Былице за то, что отведет корову.

Заплатили тут же на месте, и старый Былица повел за ними корову к саням, которые дожидались их у корчмы. Ганка с детьми провожала свою Красотку до самой дороги и поминутно гладила ее по морде, припадала к ней, оторваться не могла от нее, не могла справиться со своим горем.

Она еще постояла на дороге, глядя вслед корове и яростно проклиная нехристей, которые ее

увели.

Шутка ли — лишиться этакой коровы! Какую бабу не одолеет злоба?

— Так пусто в хате стало, словно кого на кладбище свезли, — сказала Ганка, вернувшись домой. Она то заглядывала в пустую загородку, то смотрела в окно, на протоптанную тропинку со следами копыт, и причитала, и заливалась слезами.

— Будет тебе! Ревет и ревет, как теленок! — прикрикнул на нее Антек, сидевший у стола, на котором разложены были деньги.

— У кого не болит, тот и не кричит! У тебя-то сердце не болело, когда — корову на убой евреям отдал.

— А что же, мне с себя шкуру содрать? Где я тебе деньги возьму — рожу, что ли?

— Теперь мы последние нищие, хуже батраков, капли молока не будет, и радости никакой! Вот до чего я дожила! Боже, Боже! Другие мужья из кожи лезут, работают, как волы, и постоянно что-нибудь прикупают для хозяйства, а этот последнюю корову, что мне отец с матерью дали, и ту продал! Видно, уж совсем погибать нам приходится! — не помня себя, голосила Ганка.

— Реви, реви — может, это у тебя от головы кровь оттянет, а то ты совсем душой стала, ничего понять не можешь! На вот тебе деньги, заплати всем, кому задолжала, да купи чего надо, а остальные спрячь.

Он пододвинул ей кучку денег, а одну пятирублевую бумажку положил к себе в кошелек.

— На что тебе столько денег?

— Как на что? Не иди же мне с одной только палкой.

— А ты куда собрался?

— Пойду по свету работы искать. Гнить тут не буду!

— По свету! Везде собаки босиком ходят, везде бедняку ветер в лицо! А меня-то что же — одну тут оставишь?

Ганка бессознательно все повышала голос и грозно наступала на мужа, но он, не обращая на нее внимания, надел тулуп, подпоясался и искал глазами шапку.

— К мужикам в работники не пойду! Сдохну, а не пойду! — сказал он.

— Так иди к органисту — ему для молотьбы люди нужны.

— Вот еще! К этакой шантрапе, к этому болвану, который только и знает в костеле на органе брэнчать да людям в руки смотреть и живет тем, что выклянчит или выманит! У такого работать не буду!

— Лодырь всегда отговорку найдет!

— Не приставай! — крикнул Антек сердито.

— Да разве я пристаю, разве что говорю? Ты что хочешь, и делаешь.

— Пойду по усадьбам, — сказал Антек уже спокойнее, — узнаю, нет ли работы какой, — может, с нового года наймусь куда-нибудь. Хоть бы в пахари — все равно, только бы тут не

сидеть, тут у меня перед глазами всегда обида моя, — долго не выдержу! Хватит с меня этой людской жалости! Все смотрят на меня, как на пса паршивого... Уйду куда глаза глядят, только бы подальше... да поскорее!

Он уже опять вышел из себя и кричал.

Ганка стояла неподвижно, обомлев от испуга: таким она его еще никогда не видала.

— Ну, оставайся с богом, дня через два вернусь.

— Антек! — крикнула она в отчаянии.

— Что тебе? — Он вернулся из сеней.

— Так и уйдешь? Даже доброго слова мне жалеешь...

— Буду я с тобой нянчиться, нежности разводить! Не до того мне! — Он вышел, хлопнув дверью.

Насвистывая сквозь зубы, он зашагал так быстро, что снег скрипел под ногами. Оглянулся на дом — Ганка стояла у стены и плакала-разливалась, а в другое окно глядела Веронка.

— Все ревет и ревет, чертова баба, только на это ума хватает! Эх, уйти, уйти подальше! — шептал он про себя, жадно обводя глазами снежные дали.

Непонятная тоска томила его, гнала вперед, и радостно было думать, что есть другие, незнакомые места, новые люди, иная жизнь. Это пришло нежданно-негаданно, и захватило его всего, и несло вперед, как уносит бурливая река слабую ветку: невозможно бороться, ни повернуть назад. Судьба мчала его в неизвестный мир.

Еще час тому назад он и не думал об уходе из деревни. Это пришло вдруг, само собой, словно ветер принес откуда-то и разжег в его сердце неудержимое стремление бежать от всего... Найдется работа или нет — все равно, только бы отсюда уйти! Эх, полететь бы птицей, нестись по всему свету, над лесами, над необъятной землей! И правда — зачем ему тут пропадать, чего дожидаться? Его и так уже изгрызли воспоминания, душа высохла, — а толку что? Правильно сказал ксендз: судом он с отца ничего не возьмет, еще своих денег на это немало ухлопает. А мечь надо отложить до удобного времени. Ничего, придет такой час, — нет человека на свете, которому он, Антек, простил бы обиду!.. А сейчас надо идти, идти вперед, куда-нибудь, только бы подальше от Липец!

Но куда же сначала? Он остановился у поворота на дорогу под тополями и в нерешимости смотрел на затерянные в тумане поля. Он так озяб, что его трясло и даже зубы стучали.

— Пройду деревней, а потом по дороге за мельницей! — решил он быстро и повернул к деревне. Но не прошел и ста шагов, как вынужден был отступить в сторону, под тополями по дороге, прямо на него, в облаке снежной пыли мчались чьи-то сани под звон бубенцов.

Это ехали Борына и Ягна. Борына сам правил, и лошади неслись вскачь, поднимая сани, как перышко, а старик еще подхлестывал их кнутом и что-то со смехом рассказывал Ягне.

Она тоже громко говорила, но вдруг замолчала, увидев Антека.

Взгляды их встретились — на один только миг, быстрый, как молния, — и разминулись: санки промчались, потонули в морозной пыли. Но Антек не двигался с места, стоял, как окаменелый, и смотрел им вслед. Они еще мелькали порой впереди: заалеет юбка Ягуси, громче зальются бубенчики, — и опять пропадут сани в белой дали, а потом вдруг вынырнут под навесом заиндеветых ветвей, которые, сплетаясь, образовали как бы свод, и полетят по

этому туннелю в снегу между черными колоннами тополей, что стояли по обе стороны дороги, пригнувшись, как человек, с трудом идущий в гору...

Антеку казалось, что он все еще смотрит ей в глаза — они маячили перед ним, сияли в снегах, как неожиданно расцветшие голубые цветы льна, выросли повсюду на дороге и глядели на него с испугом и жалостью, с удивлением и невольной радостью, горели ярким огнем и проникали ему прямо в душу.

И словно иней засыпал ему душу, оледенил ее до самой глубины, все в ней померкло, сияли только голубые глаза Ягны. Он побрел дальше медленно, опустив голову, раз-другой оглянулся, но под тополями уже не видно было ничего, только колокольчики порой еще позвякивали вдали да вихрилась снежная пыль.

Антек забыл все на свете, как будто вдруг лишился памяти. Он растерянно озирался, не зная, что делать, куда идти... Он не понимал, что это с ним? Он словно погрузился в сон наяву и не мог очнуться.

Почти бессознательно свернул он к корчме. Мимо проехало двое саней, полных людьми, но, как он ни вглядывался, он не узнал никого.

— Куда это столько народу валит? — спросил он у Янкеля, стоявшего на пороге.

— На суд. Сегодня в суде разбирается тяжба с помещиком — знаете, из-за коров да из-за того, что пастухов лесник побил. Эти свидетелями едут, а Бoryна поехал вперед.

— Как думаете — выиграют?

— Почему нет? Судятся с помещиком из Воли, а судья — помещик из Рудки. Так неужели помещик проиграет? А мужики проедутся, дорогу укатают, повеселятся маленько — в городе тоже нашему брату надо поторговать! Так вот и выиграют все понемножку.

Антек, не слушая шуток Янкеля, приказал подать себе водки, но до рюмки и не дотронулся. Добрый час стоял он неподвижно, облокотясь на прилавок и рассеянно, словно в забытьи, глядя в одну точку.

— Что это с вами?

— Ничего. Пустите меня за перегородку.

— Нельзя, там купцы сидят, большие купцы, они опять у помещика участок на сруб купили, — тот, что за Волчьим Доллом. Им мешать нельзя... а может, они и спать легли.

— Вот вытаску пархатых за бороды да на мороз вышвырну! — в ярости крикнул Антек и бросился было к перегородке, но вернулся, взял бутылку и сел за столик в самом темном углу.

Пусто и тихо было в корчме, только изредка евреи что-то кричали на своем языке, и тогда Янкель бежал к ним, или время от времени заходил кто-нибудь с улицы и, выпив рюмку, уходил.

День клонился к концу, и мороз, видно, крепчал — звонче скрипели по снегу полозья саней, в корчме стало холодно. А Антек все сидел и попивал водку не спеша, словно в раздумье, не сознавая, что делается вокруг и в нем самом.

Он выпил две стопки одну за другой, — те глаза все синели перед ним, так близко, так близко, что почти касались его ресниц. Выпил третью, а они все сияли, но уже стали кружиться, летать по избе, как огоньки. У Антека от страха мороз пробежал по коже, он вскочил, треснул

бутылкой о стол так, что она разлетелась на куски, и пошел к двери.

— Платите! — кричал Янкель, загородив ему дорогу. — Платите, я вам в долг давать не стану!

— Прочь с дороги, проклятый жид, не то убью! — гаркнул он бешено. Янкель побледнел и поскорее отошел. Антек грохнул дверь и выбежал из корчмы.

## II

Как-то перед самым полуднем небо прояснилось, но мимолетно, словно кто горящей лучинкой осветил мир, и сразу же нахмурилось, потемнело, — видимо, надо было ожидать снега.

В избе Былицы тоже было как-то особенно мрачно, холодно и уныло. Дети играли в постели и тихо попискивали, как испуганные цыплята, а Ганка от беспокойства места себе не находила. Она то слонялась из угла в угол, то выглядывала в окно, то выходила за порог и горящими глазами смотрела вдаль. Но на дорогах и полях не видно было ни живой души, лишь несколько саней проехали от корчмы и скрылись за тополями, словно провалившись в снежную пропасть, не оставив по себе ни следа, ни звука — и опять вокруг мертвая тишина и необозримая пустыня!

"Хоть бы нищий какой забрел, было бы с кем поговорить!" — вздохнула Ганка.

— Цып, цып, цып! — она стала скликать кур, которые разбрелись по снегу и пристраивались на черешнях. Она отнесла их на насест и, вернувшись, стала ругать Веронку за то, что та выставила в сени лохань с помоями, а проклятые свиньи всю ее расплескали, так что под дверь натекла лужа.

— Смотри за своими свиньями сама или детям прикажи, если ты себя хозяйкой считаешь! А я не хочу по твоей милости в грязи жить!.. — кричала она через дверь.

— Ишь ты, обрадовалась, что корову продала, так теперь распорядиться тут вздумала! Уж ей грязь мешает, этой знатной пани! А у самой в избе, как в хлеву!

— Как я живу, это тебя не касается, и до коровы моей тебе тоже дела нет!

— Так и тебе до моих поросят дела нет, слышишь!

Ганка только с треском захлопнула дверь, — что будешь отвечать такой ведьме? Ей слово, она тебе тридцать, а то еще, чего доброго, и в драку полезет!

Она закрыла дверь на крючок, достала деньги и начала их пересчитывать. Немало потрудилась, пока сосчитала такую уйму денег! Она все путала, ошибалась, потому что трудно было сосредоточиться: еще не остыл гнев на Веронку, мучило беспокойство об Антеке... Ей то мерещилось, что Красотка здесь и отчего-то стонет, то одолевали воспоминания о жизни в доме свекра.

— Правда, что мы как в хлеву живем, правда! — шептала она про себя, оглядывая избу, — а там, у отца, и пол и окна — любо смотреть, стены беленые, тепло, чисто, и всего вдоволь! Что они там сейчас делают? Юзька, верно, после обеда посуду моет, а Ягна прядет и смотрит на улицу, в чистые, незамерзшие окошки. Чего ей не хватает? Отдал он ей все кораллы, что остались после покойницы, а сколько шерстяных юбок и всякой другой одежды и платков!..

Работой себя не утруждает, забот и горя не знает, ест сладко. Вот Стах рассказывал, что Ягустинка за нее все в доме делает, а она до бела дня под периной нежится и чай попивает... Картошка ей не по вкусу! А старик все ее ублажает, нянчится с ней, как с малым ребенком...

Ганку вдруг обуял такой гнев, что она даже вскочила с сундука и погрозила кулаком.

— Грабительница, дрянь, потаскуха! — крикнула она так громко, что старик Былица, дремавший на печи, испуганно вскочил.

— Отец, сходите, прикройте картофель соломой и завалите яму снегом, — дело к морозу! — сказала она уже спокойнее, принимаясь опять считать деньги.

У старика работа что-то не ладилась: снегу навалило целую гору, а сил у него было мало, к тому же ему не давала покоя мысль о двух злотых, которые евреи уплатили Ганке за то, что он отвел им корову. Он отлично помнил, что на столе блестели две почти новенькие серебряные монеты. "Может, она их мне и отдаст, — думал он. — Ведь я их заработал. Рука даже замлела от веревки, так Красотка рвалась. И удержал ведь! А как ее перед евреями расхваливал — чай, Ганка слышала!.. Может, и отдаст... А я бы старшему, Петрусью, на первой же ярмарке купил свистульку... и малышу тоже надо. И Веронкиным ребятам... озорники они несносные, а все же надо и им... А себе — табаку, крепкого, такого, чтобы все нутро от него пробирало, а то у Стаха табак слабый — и не чихнешь от него..."

Так размышлял старик, а работал медленно, и когда через час Ганка вышла, солома в яме еще только едва-едва была прикрыта снегом.

— Едите вы, как взрослый мужик, а работаете меньше ребенка...

— Да я живо, Гануся... Только запыхался маленько, хотел дух перевести! Я мигом... мигом... — бормотал он, заикаясь от страха.

— Вечер близко, холодает, а яма вся разворочена, словно ее свиньи рыли. Ступайте уж в хату, присмотрите за детьми, а я сама тут управлюсь.

Она принялась сгребать снег так проворно, что через какие — нибудь десять минут яма была засыпана и аккуратно приглашена.

Уже смеркалось. В хате было нестерпимо холодно, глиняный мокрый пол подмерз и гудел под деревянными башмаками, мороз опять покрыл окна узорами. Дети хныкали, — быть может, проголодавшись, но Ганка их не унимала, некогда было. Нужно было нарезать сечки для телки, накормить поросенка, который уже толкался в дверь и повизгивал, напоить гусей. Делая все это, она мысленно опять припоминала, кому сколько должна, и, управившись со всей работой, собралась уходить.

— Отец, вы тут затопите и за ребятами приглядывайте, а я скоро вернусь. Если Антек придет — так щи стоят в горшке на печке.

— Ладно, Гануся, затоплю, присмотрю, а щи в горшке. Все запомню, Гануся, все...

— А те два злотых я взяла, ведь вам они не нужны, — кормят вас, одеты, обуты, чего же вам еще?

— Да, да... все у меня есть, Гануся, все... — пробормотал он и торопливо отвернулся к детям, чтобы скрыть катившиеся из глаз слезы.

Выйдя наружу, Ганка потуже завязала платок, потому что мороз пробирал крепко. Снег скрипел под ногами, на землю лился голубой сумрак, воздух был сухой и удивительно прозрачный, небо чистое, словно стеклянное, и кое-где в вышине уже мигали звезды.

Ганка то и дело ощупывала деньги за пазухой, проверяя, тут ли они, и думала о том, что надо будет порасспросить людей — авось она найдет или выпросит какую-нибудь работу для Антека, а уйти из деревни ему не даст!

Только сейчас она вспомнила ясно, что он говорил уходя, и у нее даже сердце замерло. Нет, пока она жива, этому не бывать! Не переселится она в другую деревню, не хочет жить среди чужих и сохнуть от тоски!

Она окинула взглядом дорогу, занесенные снегом хаты и сады и эти серые, бескрайние поля. Вечер, тихий и морозный, надвигался быстро, звезд все прибавлялось, словно кто их рассеивал полными пригоршнями, а на земле сквозь снежный сумрак мерцали огоньки, пахло дымом, по улице сновали люди, и голоса их летели низко над снегами.

— Здесь я выросла и не буду, как ветер, носиться по свету! — горячо шептала Ганка. Идти было трудно, местами она по колена проваливалась в хрустящий снег и приходилось снимать и вытаскивать башмаки.

"Тут родилась, тут и останусь до самой смерти! Хоть бы только до весны продержаться, а там легче будет. Не захочет Антек работать — все равно христарадничать не пойду, буду людям прясть, ткать, за всякую работу возьмусь, только бы за что-нибудь уцепиться и нужде не поддаться... Вот ведь Веронка тканьем столько зарабатывает, что и денег прикопила", — размышляла Ганка, направляясь к корчме.

— Слава Иисусу! — сказала она входя. Янкель ответил: "Во веки веков", и, по своему обыкновению, продолжал качаться над молитвенником, не глядя на нее. Но когда она выложила перед ним деньги, он приветливо улыбнулся, помог Ганке сосчитать и даже угостил водкой.

Ни о долге Антека, ни о нем самом он и словом не заикнулся; сметливый старик рассудил, что незачем бабе знать о мужниных делах: не разберется как следует и пойдет языком звонить! Только когда Ганка уже собралась уходить, он спросил:

— А хозяин ваш что делает?

— Антек? Пошел работу искать.

— Разве в деревне работы нет? Вот на мельнице лесопилку строят. Да и мне, например, хороший работник нужен — дрова возить.

— Ну нет, в корчме мой работать не станет! — воскликнула Ганка.

— Что ж, пусть себе на печи лежит, если он такой важный пан! А у вас гуси есть? Подкормите их, так я куплю у вас к празднику.

— Не буду продавать, нет у меня лишних, я оставила себе только несколько на приплод.

— Весною купите себе молодых, а мне нужны откормленные. Можете, если хотите, все в долг брать, потом сочтемся — заплатите гусями...

— Нет, гусей не продам.

— Продадите, когда корову съедите. И дешево продадите!

— Не дожدهшься ты этого, поганец! — буркнула тихонько Ганка уходя.

Небо уже все искрилось звездами. От мороза даже дух захватывало, и со стороны леса дул холодный колючий ветер. Но Ганка шла медленно и с интересом поглядывала на хаты. У

Вахников, живших в самой крайней избе, было еще светло, со двора Плошков доносились громкие голоса и хрюканье свиней. В плебании все окна были освещены, и у крыльца чьи-то лошади нетерпеливо стучали копытами. У Клембов, живших рядом с ксендзом, кто-то ходил около конюшни, слышен был скрип снега под сапогами. А подальше, за костелом, там, где деревня расходилась двумя дорогами, обнимающими озеро, как две руки, уже почти ничего не видно было, только кое-где в снежном сумраке мигал какой-нибудь огонек да слышался лай собак.

Ганка посмотрела в сторону Боруновой избы, вздохнула и, пройдя мимо костела, свернула в длинный проход между садом Клембов и огородом ксендза. Она шла к органисту. Узкую дорожку замело, она едва была видна, и с обеих сторон так низко нависали кусты, что на Ганку то и дело сыпался снег. Дом стоял в глубине двора плебании, но имел отдельный въезд. Оттуда неслись крики и плач, а у крыльца на снегу чернел сундучок и валялись какие-то платья, перина, всякий хлам. У стены стояла Магда, служанка органиста, плакала навзрыд и кричала:

— Выгнали! Выгнали меня, как собаку, на мороз, на все четыре стороны! Куда же я, сирота, теперь пойду, куда?

— Не ори тут, ты, свинья! — загремел голос из сеней. — Вот возьму палку, так живо замолчишь! Сию минуту убирайся отсюда! К Франеку своему ступай, негодница!

— А, здравствуйте, Борунова! Люди добрые, да ведь с осени уже все знали!.. Говорила я, просила, заклинала ее, стерегла — да разве уследить за такой бесстыдной девкой? Все спать лягут, а она — со двора, вот и нагуляла себе щенка! Сколько раз ей говорила: "Эй, Магда, одумайся, — не женится он на тебе!" А она мне в глаза врала, от всего отпиралась. Вижу, девка пухнет, живот растет, как на дрожжах, — и говорю ей как путной: "Уходи, пока не поздно, укройся где-нибудь в чужой деревне, пока люди не заметили..." Так разве она послушалась? А нынче у нее начались схватки в хлеву, когда коров доила!.. Целый подойник молока пролила! А моя Франя перепугалась и кричит, что с Магдой что-то случилось! Господи Иисусе, Пресвятая Богородица, в моем доме такой срам! Что ксендз на это скажет! Пошла вон отсюда, не то прикажу вышвырнуть все на дорогу! — взвизгнула жена органиста, сбегав с крыльца.

Магда сорвалась с места и, плача и причитая, начала собирать свое тряпье и увязывать в узлы.

— Пойдемте в комнаты, Борунова, холодно... Чтоб и следа твоего здесь не осталось! — крикнула она Магде уходя.

Она провела Ганку по длинным сеням в комнату.

Очень большая, низкая комната была освещена огнем, пылавшим в печи. Органист, полуодетый, в рубахе с засученными рукавами, красный, как рак, сидел у огня и пек облатки для прихожан. Каждую минуту он черпал ложкой из миски жидкое тесто, выливая его в железную форму, прижимал так, что оно даже шипело, и ставил форму на огонь между стоймя поставленными кирпичами. Потом, перевернув форму, вынимал лепешку и бросал ее на низенький табурет, перед которым сидел мальчик и подравнивал ножницами края облаток.

Ганка поздоровалась со всеми, а у хозяйки поцеловала руку.

— Присядьте, погрейтесь! Ну, что у вас слышно?

Ганка не могла так сразу заговорить о деле. Надо было сперва собраться с духом. Она осматривалась по сторонам, украдкой заглядывала в соседнюю комнату, где прямо против

двери, на длинном столе у стены белели груды облаток, прикрытые сверху доской. Две девушки складывали их пачками и обертывали каждую пачку полоской бумаги. А в глубине комнаты монотонно бренчали клавикорды. Музыка плелась, как паутина, то взмывала высоко, как песня, то опять замирала, то вдруг обрывалась таким пронзительным визгом, что Ганка даже вздрагивала, а органист кричал:

— Эй, ты, дубина, проглотил фис, как кусок сала! Повтори опять от "Лаудамус пуэри!"

— Это вы уже к святкам готовите? — спросила Ганка, потому что неприлично было сидеть молча.

— Да, приход большой, разбросанный, а всем надо к празднику облатки разнести, вот и приходится заранее готовить.

— Пшеничные?

— А вы отведайте.

Он подал ей еще горячую лепешку.

— Что вы, да разве я посмею?

Она взяла лепешку через платок и стала рассматривать ее на свет — с благоговением и какой-то тревогой.

— Иисусе! Как на ней хорошо вытиснены разные картинки!

— Справа, в первом кружочке — это Богородица, Святой Иоанн и Иисус Христос. В другом кружке, видишь, ясли, лестница, ягнята, младенец Иисус на сене, Святой Иосиф, Дева Мария... А вот тут стоят на коленях три волхва, — объясняла жена органиста.

— Как хорошо! И как это ловко все сделано!

Ганка завернула лепешку в платок и спрятала за пазуху, потому что в эту минуту вошел незнакомый мужик и сказал что-то органисту, а органист крикнул:

— Михал! Крестить приехали, возьми ключи и ступай в костел, потому что Амброжий помогает сегодня в плербании. Его преподобие уже знает...

Музыка оборвалась, и через комнату прошел высокий бледный подросток.

— Племянник, сирота, в органисты готовится, так муж мой его из милости учит. Что поделаешь, приходится от себя кусок отрывать, а родне помочь надо.

Ганка понемногу разговорилась и сначала робко, потом смелее стала изливаться свои горести и заботы. В первый раз за три недели она могла досыта наговориться.

Хозяева ее слушали, вставляли замечания и, хотя оба остерегались говорить что-нибудь о Борине, жалели ее так искренно, что она даже всплакнула, а жена органиста, женщина умная, быстро смекнула, зачем Ганка пришла, и первая сказала:

— Может, у вас найдется время напярсть мне шерсти? Я хотела дать Пакулине, да уж возьмите вы. Только на прялке прядите, на веретене нитка будет неровная.

— Спасибо, мне работа нужна, да я попросить не смела.

— Ну, ну, не благодарите, — люди должны помогать друг другу. Шерсть у меня уже вычесана, и будет ее фунтов сто.

— Напряду. Я хорошо прясть умею, — когда у отца еще жила, я одна на всех, и пряла, и ткала, и красила, у нас никогда ничего из одежды не покупали.

— Вот поглядите, какая сухая и мягкая.

— Должно быть, с панских овец, хорошая шерсть...

— А если вам нужна мука, крупа, горох, так вы скажите, я вам дам, а вы отработаете, потом сочтемся.

Она повела Ганку в чулан, где полно было мешков и кадок с зерном. На стене висели огромные полти сала, пряжа целыми связками свешивалась с балок, куски скатанного полотна лежали высокой грудой, а сколько тут было сушеных грибов, сыров, банок разных, а на полках — целый ряд караваев с колесо величиной, да и прочего добра — не сосчитать!

— Я ровненько выпряду, на прялке. Спасибо вам за помощь! Только мне, пожалуй, одной не снести столько.

— Я вам ее пришлю с работником.

— Вот и хорошо, а то мне еще в деревню надо.

Ганка еще раз поблагодарила, но уже не так горячо — зависть ужалила ее в самое сердце. "Люди им все носят, дают, вот и полным-полна кладовая. А он еще и проценты с них дерет! Деньги к деньгам идут. Попробовали бы сами все это заработать!" — думала она, выходя во двор. Магды уже и след простыл, только старый деревянный башмак темнел на снегу.

Ганка пошла быстро, потому что было поздно, — она засиделась у органиста.

"У кого бы разузнать насчет работы для Антека?"

Когда она была невесткой в доме богатого хозяина, все с ней дружили, постоянно кто-нибудь заходил в хату то за тем, то за другим и в глаза хвалили ее за доброту. А теперь вот стоит она среди улицы и не знает — куда идти, к кому? Нет, навязываться она не станет! Хотелось бы только поболтать, как бывало, с бабами.

Она остановилась у хаты Клембов, постояла и перед хатой Шимона, но не зашла — духу не хватило, да и вспомнила, что Антек приказывал ей людей сторониться. "Не помогут, не посоветуют, повздыхают только над тобой, как над дохлой собакой!" — говорил он.

— Ой, правда это, святая правда! — прошептала Ганка, вспоминая органиста и его жену.

Была бы она мужчиной, — сейчас бы за работу взялась и все бы наладила! Не скулила бы и не лезла со своим горем на глаза людям!

Она почувствовала такую волчью жадность к работе, такой прилив сил и бодрости, что даже распрямилась и зашагала увереннее. Ее так и тянуло пройти мимо дома Борыны и хоть во двор заглянуть, глаза порадовать, но она свернула от костела на тропку, проложенную посередине замерзшего озера к мельнице, и пошла быстрее, не глядя по сторонам, думая только о том, как бы не поскользнуться на льду и поскорее пройти мимо, не видеть, не бередить душу воспоминаниями. Но все-таки-не выдержала — как-то само собой вышло, что она остановилась против хаты свекра, не в силах оторвать глаз от мерцавших в окнах огней.

— А ведь это наше, наше... как же уйти из деревни на чужбину? Кузнец мигом все заберет... Нет, нет, не тронусь с места... как собака, буду сторожить, все равно, хочет Антек или нет!.. Отец не век проживет, еще все может перемениться... Детям мыкаться не дам и сама не пойду... ведь это наше наследство!

Она замечталась, глядя на сад в снегу и выступавшие на его фоне очертания построек, на белые, словно посеребренные, крыши и черневшие стены, на торчавшую в глубине, за ригой, верхушку сеновала.

Не могла двинуться с мест, как будто ноги ее вросли в лед, не могла отвести глаз, унять взволнованное сердце.

Ночь, тихая, морозная, синяя, осыпанная серебряной пылью звезд, сжимала в объятиях заснеженную землю; деревья стояли неподвижно, клонясь под тяжестью снега, и дремали, таинственные в этой разлитой над миром тишине, как белые призраки, как застывший пар. Снег едва заметно искрился, все звуки замерли, и только что-то дрожало в морозном воздухе — быть может, шелест мерцающих звезд, быть может, пульс замерзшей земли или сонное дыхание деревьев. А Ганка все стояла, не замечая, как бежит время, не чувствуя резкого холода. Она пожирала глазами дом, льнула к нему сердцем, стремилась туда всей силой тоски и мечты.

Скрип снега заставил ее очнуться. Кто-то сошел с дороги на озеро и направлялся к ней. Через минуту она очутилась лицом к лицу с Настей Голуб.

— Ганка! — вскрикнула та с удивлением.

— Что это ты так удивилась, словно я уже померла и после смерти хожу, людей пугаю?

— Выдумаете тоже! Просто я давно вас не видела, вот и удивилась. В какую сторону идете?

— На мельницу.

— Значит, нам по дороге, — я несу Матеушу ужин.

— А Матеуш теперь на мельнице работает? Хочет к мельнику в помощники пойти?

— Где ему! Лесопильню при мельнице поставили, вот он туда и нанялся. Спешка большая, они и по вечерам работают.

Они шли рядом. Ганка только изредка вставляла слово, а Настка болтала без умолку, но старательно избегала разговора о Бoryне. Правда, Ганка ее и не спрашивала, считая это неудобным, хотя ей очень хотелось узнать что-нибудь.

— И хорошо платит мельник?

— Матеуш получает восемьдесят копеек.

— Ого! Больше пяти золотых!

— Да ведь он там всем заправляет!..

Ганка молчала. И только проходя мимо кузницы, из которой сквозь разбитые стекла струились красные отблески огня, словно кровью заливая снег, она пробормотала:

— У этого иуды работа всегда есть!

— Работника себе нанял, а сам все куда-то ездит, — говорят, с евреями, что лес купили, в компанию вошел и мужиков обманывает.

— А разве уже рубят?

— Да ты в лесу, что ли, живешь, — неужели не знаешь?

— В лесу не в лесу, а за новостями по деревне не бегаю.

— Рубят, но только не за Волчьим Доллом, а помещичий, прикупной.

— То-то! А нашего им не дадут тронуть!

— А кто запретит? Войт стоит за помещика. Солтыс и все, кто побогаче, — тоже.

— Правду ты говоришь, — кто против богачей пойдет, кто с ними может совладать?.. Зайди как-нибудь к нам, Настуся.

— Ладно, прибегу на днях с прялкой. Будьте здоровы!

Они расстались у дома мельника. Настка пошла вниз, на мельницу, а Ганка — двором на кухню. Она с трудом туда добралась: сбежались с лаем собаки, приперли ее к стене, и пришлось Еве ее выручать. Ева привела ее на кухню, но не успели они разговориться, как вошла мельничиха и сразу спросила:

— Вы к мужу? Он на мельнице.

Ганка не стала ждать и пошла туда, но встретила мельника на полдороге. Он повел ее в комнату, и она отдала деньги, которые задолжала за крупу и муку.

— Что, корову свою проедаете? — сказал он, пряча деньги в ящик.

— Что поделаешь, не камни же нам грызть! — рассердилась Ганка.

— Муж у тебя лентяй, вот я тебе что скажу!

— Может, лентяй, а может, и нет — где же он работу возьмет, у кого?

— А разве в деревне не нужны руки для молотьбы?

— Он ни батраком, ни поденщиком до сих пор не был, так и сейчас за этим не гонится.

— Привыкнет еще, привыкнет! Жаль мне его! Хоть он и волком смотрит и строптив, родного отца не уважил, а все-таки жаль человека...

— Я слыхала, что у вас есть работа, пан мельник... Может, взяли бы моего Антека! Окажите такую милость!.. — горячо попросила она, обнимая ноги мельника и целуя ему руки.

— Ладно, пусть придет. Просить его не стану, а работа найдется, хотя и тяжелая: деревья обрубать под пилку.

— Да он справится, он ко всякой работе способен, как мало кто в деревне.

— Знаю, оттого и говорю, чтобы шел ко мне работать. А еще тебе скажу — плохо ты за мужем смотришь, плохо!

Ганка стояла испуганная, ничего не понимая.

— У мужика жена, дети, а он за другими бегаёт!

Ганка дрогнула, побледнела.

— Правду говорю. Шляется по ночам. Люди его не раз видели.

У Ганки сразу отлегло от сердца — она ведь знала, что это горькие мысли не дают Антеку покоя, заставляют его бродить по ночам без сна. А люди объясняют это по-своему.

— Пора ему взяться за работу, тогда сразу глупости из головы выветрятся.

— Ведь он — хозяйский сын...

— Подумаешь, пан какой, будет еще работу себе по вкусу выбирать, разбираться, как свинья в полном корыте! Если он такой разборчивый, так надо было с отцом в ладу жить да за Ягусей не бегать... Грех это немалый и срам!..

— Что это вам в голову взбрело? — ахнула Ганка.

— Я тебе правду говорю, вся деревня это знает, кого хочешь, спроси! — сказал мельник громко и резко. Он был горяч и всегда резал людям правду в глаза.

— Так приходить ему? — спросила Ганка тихо.

— Пусть приходит хоть завтра. Что это с тобой, чего ревешь?

— Ничего, это так, с мороза...

Она шла домой медленно, еле передвигая ноги, словно ее пригибала к земле какая-то невероятная тяжесть. Уже стемнело, снег посерел, и она никак не могла найти тропинку. Сколько ни искала, сколько ни утирала замерзавшие на ресницах слезы, — она не видела ничего перед собой и шла в темноте наугад, оглушенная болью, ох, какой болью!

— За Ягусей он бегают, за Ягусей!..

Она не могла перевести дыхания, сердце билось, как подстреленная птица, голова кружилась, кружилась, и, наконец, она припала к какому-то дереву на берегу озера и прижалась к нему крепко, до боли.

"А может быть, это неправда, — может, мельник наврал?"

Она ухватилась за эту мысль и держалась за нее крепко, из последних сил.

— О Господи, мало мытарств да горя, еще и это свалилось на мою бедную голову! — простонала она и, чтобы заглушить боль, побежала быстро, задыхаясь, почти в беспамятстве, словно за ней гнались волки. В хату влетела едва живая.

Антека еще не было.

Дети сидели у печи на тулупе деда, и старик строил им из лучинок мельницу и забавлял их.

— Шерсть привезли тебе, Гануся. В трех мешках!

Она развязала мешки и в одном из них нашла уложенные сверху каравай хлеба, кусок сала и добрых полгарнца крупы.

— Воздай тебе Господь за доброту твою! — шепнула она, растроганная, и сейчас же приготовила сытный ужин, а после него уложила детей.

Тихо стала во всем доме. И у Веронки уже спали. Старик тоже скоро прилег на печи уснул, а Ганка наладила прялку, села у огня и стала прясть.

Долго сидела она, до первых петухов, и непрерывно, как нить, которую она вытягивала, сновали в голове слова мельника: "За Ягной бегают, за Ягной!"

Прялка жужжала тихо, однообразно, неумоимо, ночь смотрела в окно лунным морозным ликом, и казалось, что она стучит в стекло и, вздыхая, жметя к стенам. А из углов избы

выползал холод, хватал за ноги, седой плесенью расползался по глиняному полу. Трещал за печью сверчок, затихая только изредка, когда кто-нибудь из малышей вскрикнет во сне или замечется на кровати, — и опять наступала глубокая, оцепенелая тишина. Мороз все крепчал и словно сжимал все в своих железных лапах — то и дело скрипели доски крыши, или старые стены издавали треск, похожий на выстрел, или какая-нибудь балка тихо покряхтывала; а то притолоки дверей начинали вдруг дрожать, как в ознобе, и вся изба словно съеживалась, приникала к земле и тряслась от стужи.

"И как это я сама не догадалась! Ведь она такая красивая, такая здоровая и ласковая, а я что? Скелет, кожа да кости! Разве я умею его к себе притянуть, разве смею! Да хоть бы я ради него каждую жилку из себя вытянула — все ни к чему, коли не мила я ему. Что же мне делать, что?"

Ее охватила страшная слабость, до того мучительная, что она уже и плакать была не в силах и вся дрожала, как коченеющее от холода деревцо, которое не может ни убежать от гибели, ни на помощь позвать и не знает, как себя защитить. Она склонилась головой на прялку, уронила руки и задумалась о своей несчастной доле, о горьком своем бессилии, — и долго — долго сидела так. Из-под синих век иногда катилась жгучая слеза, падала на шерсть и застывала кровавой бусинкой горя.

Однако утром она встала уже более спокойная, — досуг ли ей горевать, как помещице какой?

Может быть, мельник сказал правду, может, и нет! Нельзя ей опускать руки, плакать и горевать, — ведь на ее руках дети, хозяйство, все! Кто же всем этим займется, кто будет бороться с нуждой, если не она?

Она только помолилась горячо и дала обет — если Господь пошлет перемену к лучшему, идти весной на богомолье в Ченстохов, заказать три обедни и когда-нибудь, когда жить станет полегче, пожертвовать в костел целый круг воска на свечи к большому алтарю.

На душе у нее стало легко, как после исповеди и причастия, и она бодро принялась за работу, но ясный солнечный день казался ей ужасно долгим и мучила тревога за Антека.

Он пришел только вечером, к самому ужину, такой убитый, жалкий и утомленный, так ласково поздоровался, детям принес баранок, — и Ганка почти забыла о своих подозрениях. А когда он еще и нарезал сечки и стал помогать ей, чем мог, по хозяйству, она совсем растрогалась.

Однако Антек не рассказал ей, где был и что делал, а спросить она не решалась.

После ужина пришел Стах, который часто к ним заглядывал, несмотря на то, что Веронка ему это запрещала, а через некоторое время неожиданно-негаданно явился старик Клемб.

Они порядком удивились (это был первый человек, навестивший их после изгнания из дома Боруны) и думали, что он пришел по какому-нибудь делу.

— Вас нигде не видать, вот я и надумал вас проведать, — сказал он просто.

Они горячо, от души поблагодарили его.

Все уселись рядом на скамье у печи, и потекла беседа, неторопливая и степенная, а старый Былица все подбрасывал в огонь хворосту.

— Морозец знатный, а?

— Даже молотить без тулупа и рукавиц трудно, — сказал Стах.

— А еще хуже то, что волки у нас появились.

Все с удивлением уставились на Клемба.

— Правда, правда, — нынешней ночью подкопались под войтов хлев, да, видно, спугнуло их что-нибудь — поросенка не тронули, только яму вырыли под фундаментом до самого порога. Я сам днем ходил смотреть. Их там было наверняка не меньше пяти!

— Ого, это самая верная примета, что зима будет суровая.

— Ведь морозы только что начались, а уже волки выходят!

— Видел я около Воли, — знаете, на той дороге, что за мельницей, — много следов, как будто целая стая перебежала дорогу. Мне они сразу в глаза бросились, но я думал, что это охотничьи собаки из усадьбы шли, а это, значит, волки были! — с живостью сказал Антек.

— А ты и на вырубке побывал? — спросил Клемб.

— Нет, но говорили мне люди, что рубят покупной лес у Волчьего Дола.

— И мне так лесник говорил! И еще сказал, что на работу помещик никого из липецких не возьмет, — сердится за то, что мы за свое добро стоим.

— А кто же ему лес вырубит, если он липецких не возьмет? — вмешалась Ганка. — Господи, да ведь столько людей везде по избам сидит и ждет работы, как милости! Мало ли такой голытьбы и в самой Воле, и в Рудке, и в Дембице? Стоит только помещику кликнуть, и в один день набежит сотни две самых лучших работников. Пока помещичий лес рубят, пускай себе подработают, дела там немного, да и нашим идти туда слишком далеко.

— А как за наш бор примутся? — спросил Стах.

— Не дадим! — сказал Клемб коротко и решительно. — Поборемся! Увидит помещик, кто сильнее — он или весь народ. Увидит!

Больше они об этом не говорили: слишком волновало всех: это дело. Только Былица сказал робко, запинаясь:

— Знаю я этих панов из Воли, знаю! Он вам штуку-то подстроит!

— Пусть попробует! Не дети мы, нас не проведет, — сказал Клемб.

Заговорили о том, что органист с женой выгнали Магду. Клемб высказал свое мнение:

— Конечно, это не по-людски, но и то сказать — нельзя же им у себя в доме больницу устраивать, и Магда им ни сват ни брат.

Так они потолковали о том о сем и разошлись довольно поздно. Клемб, прощаясь, со свойственной ему простотой и лаконичностью сказал, чтобы Антек и Ганка заходили к нему, а если им что понадобится, — овощи, или корм для телки, или несколько злотых, — пусть только скажут, все найдется — как не услужить соседям!

Хозяева остались одни.

Ганка после долгих колебаний и боязливых вздохов, наконец, спросила:

— Ну что, нашел работу?

— Нет. Был в одной усадьбе и в другой, и людей расспрашивал, да не нашел ничего.

Антек отвечал тихо, не поднимая глаз, потому что он, хотя действительно побывал в разных

местах, работы не искал и все время проштатался зря.

Они легли. Дети уже спали, уложенные в ногах постели, чтобы им было теплее. В избе царил тьма, — только в сверкавшие морозными узорами окна лился лунный свет, опоясывая комнату серебряной лентой. Оба не могли уснуть. Ганка ворочалась с боку на бок и думала: сейчас сказать ему насчет работы на лесопильне или лучше завтра утром?

— Работу я искал, но, хотя бы и нашлась, из деревни не уйду. Не хочу мыкаться по свету, как пес бездомный, — шепотом сказал Антек после долгого молчания.

— Это самое и я думаю! — радостно воскликнула Ганка. — Зачем искать куска хлеба по свету, когда и у нас в деревне найдется хороший заработок. Вот мельник мне сказал, что даст тебе работу на лесопильне хоть завтра, а платит он сорок копеек.

— Ты ходила просить? — крикнул Антек.

— Нет, я ему долг отнесла, и он сам сказал, что хотел за тобой послать. А я насчет работы и не заикнулась! — оправдывалась оробевшая Ганка.

Антек уже ничего не отвечал, замолчала и она. Они лежали рядом, не шевелясь, не говоря ни слова; сон совсем отлетел. Порою то тот, то другой вздыхал, погруженный в свои тайные мысли. Где-то вдалеке глухо лаяли собаки, петухи хлопали крыльями и пели уже с самой полночи, и какой-то легкий шум, словно ветер, слышался над хатой.

— Спишь? — Ганка пододвинулась ближе.

— Нет, сон у меня совсем прошел.

Антек лежал на спине, подложив руки под голову, так близко — а сердцем и мыслями такой далекий от нее! Лежал неподвижно, почти не дыша, забыв обо всем на свете: Ягусины глаза опять выглянули из мрака и голубели в лунном свете...

### III

Поздним утром, уже после завтрака, мельник привел Антека на место работы, оставил его у въезда, среди сложенных высокими штабелями бревен, а сам пошел к Матеушу, который укладывал дерево и пускал пилы, поговорил с ним и крикнул:

— Ну, приступайте к работе! И слушайтесь во всем Матеуша, он тут вместо меня!

Мельник сразу же ушел, потому что от реки тянуло неприятной пронизывающей сыростью.

— Большого топора у тебя, верно, нет? — спросил Матеуш, сойдя вниз и дружески поздоровавшись с Антеком.

— Я захватил только маленький, потому что не знал...

— Ну, таким топориком тут ничего не сделаешь, это все равно, что зубами бревна грызть! Дерево промерзло и ломается, как стекло. На сегодня я тебе дам топор, только наточить его надо. Эй, Бартек! Беритесь-ка вдвоем с Боруной за этот дубок, живо его очистите, потому что пилы скоро освободятся.

Из-за громадного ствола, лежавшего на снегу, поднялся высокий, сухопарый и сгорбленный мужик с трубкой в зубах, в серой бараньей шапке, желтом тулупе, деревянных башмаках и

красных полосатых штанах. Он выпрямился, оперся на свой блестящий топор, сплюнул сквозь зубы и весело сказал:

— Не бойся, мы с тобой живо сработаемся, будем дружной парой, без шума, без драки.

— Лес-то какой отличный! Деревья — как свечи.

— Да, только сучковатые, не дай боже! Как камнями утыканы, проклятые, топор редкий день не зазубрится. А ты свой не точи насухо, надо с волосом по камню вести в одну сторону, тогда лезвие будет крепче. С железом, как с иным человеком: угадаешь, что ему любо, — веди, куда хочешь, как собаку на веревочке... А точило стоит в мельнице под ларем.

Очень скоро Антек уже стоял против Бартека, обрубал сучья и обтесывал ствол вдоль, от нижнего к верхнему концу, как его научил Бартек. Работал молча: очень уж его задело то, что какой-то там Матеуш командует им, Бороной. Но что делать, голод не тетка! И он только знай поплевывал на ладони и ожесточенно хватался за топор.

— Не худо дело у тебя идет, не худо! — заметил Бартек.

Антек действительно хорошо справлялся с работой, — ему не впервые было обтесывать деревья, и смекалка у него была хорошая. Но работа эта была тяжела для непривычного человека, и он скоро запыхался, вспотел, даже тулуп скинул.

Мороз был жестокий и не слабел, а им приходилось все время работать в снегу, руки замерзли, их не оторвать было от топора, и время тянулось нестерпимо медленно. Антек едва дождался полудня.

В обед он поел только черствого хлеба, напился воды прямо из реки и не пошел даже вместе с остальными на мельницу погреться — боялся встретить знакомых среди тех, кто привез молотье зерно и дождался своей очереди. Они, может быть, стали бы дивиться и тайно радоваться его унижению и нищете. Нет, не дождутся они этого!.. И он остался на морозе, сел у мельницы и, жуя хлеб, смотрел на лесопилку, которая стояла у самой реки и только одним углом примыкала к верхушке мельницы, так что вода с четырех колес мощным зеленым валом неслась под нее и приводила в движение пилы.

Он еще не успел отдохнуть как следует, а уж Матеуш возвратился, пообедав у мельника, и издали кричал:

— Выходи! Выходи!

Волей-неволей пришлось встать и идти работать вместе с другими.

Люди двигались живо — мороз здорово подгонял их.

Непрерывно тарахтела мельница, и вода из-под колес, покрытых льдом, словно обросших прядями зеленых волос, с шумом стремилась под лесопилку. Пилы визжали не переставая, как будто кто-то грыз стекло, и плевались желтыми опилками. А Матеуш неумоимо носился повсюду, укладывая бревна под пилы, останавливал и пускал воду, измерял дерево и все время покрикивал, подгоняя работавших. Он везде попевал, шнырял, как щегленок в конопле, его жилет в красную и зеленую полоску и баранья шапка так и мелькали то у въезда, то на усеянном щепками снегу, где тесали бревна. Он убегал на мельницу, разговаривал с работниками, отдавал распоряжения, смеялся, шутил, посвистывал, подгонял других и сам работал усердно. Чаще всего он появлялся на помосте у пил. У лесопилки боковых стен не было и она видна была вся насквозь. Она возвышалась над рекой на четырех крепких столбах, о которые вода ударялась с такой силой, что камышовый навес, опиравшийся только на верхушки столбов, качался, как веха на ветру.

— Расторопный, шельма! — пробормотал Антек с уважением, но не без злости.

— Что ж, он и получает немало! — отозвался Бартек.

Они похлопали рукой об руку, потому что мороз докучал все сильнее, и молча продолжали работать. Народу работало много, но разговаривать было некогда.

Двое дежурили у пил, сбрасывали распиленные бревна наземь и подталкивали наверх новые. Двое других разрубали недопиленные концы и укладывали высокими штабелями, а те доски, что потоньше и посуше, укрывали от мороза под навесами. Еще двое обдирали кору с дубов, елей и сосен, и Бартек часто кричал им, посмеиваясь:

— Эй, вы живодеры, когда собак обдирать будете?

Те сердились, но огрызаться не было времени. Матеуш так их понукал, что если кто-нибудь изредка украдкой убегал на мельницу отогреть заочковевшие руки, то стремглав мчался обратно. Да и сама работа не позволяла терять времени.

Было уже темно, когда Антек побрел домой. Он так промерз и устал, у него так ломило все кости, что он сразу после ужина лег и заснул как убитый.

У Ганки не хватило духу расспрашивать его; она всеми силами старалась угодить ему, унимала детей, шикала на отца, чтобы не стучал сапогами, и сама ходила по избе босиком, боясь разбудить Антека. А на рассвете, когда он собрался уходить, вскипятила ему к картошке горшочек молока, чтобы он поел досыта и согрелся.

— Так кости болят, что шевельнуться не могу! — пожаловался он.

— Это с непривычки, — объяснил старик. — Потом пройдет.

— Знаю, что пройдет. Принесешь мне сегодня обед, Гануся?

— Принесу, где же тебе бежать домой в такую даль! Принесу!

Он ушел сейчас же, — нужно было начинать работу, как только рассветет.

И потянулись дни тяжелого, изнурительного труда.

Мороз ли стоял жестокий, обжигающий кожу, бушевала ли метель, хлеставшая в лицо ветром и снегом так, что глаз нельзя было открыть, наступала ли оттепель, когда приходилось по целым дням работать по колена в талом снегу и противный сырой холод пронизывал до костей, сыпал ли такой густой снег, что едва можно было разглядеть топор у себя в руках, — все равно, нужно было вскакивать чуть свет, бежать на мельницу и работать до позднего вечера так, что кости трещали и каждая жилка, кажется, готова была лопнуть от натуги. Притом всегда приходилось спешить, потому что четыре пилы быстро пожирали дерево и рабочие едва успевали подкладывать новое, а Матеуш постоянно всех подгонял.

Но угнетали Антека не тяжелый труд, не злые ветры, стужа, слякоть и метели, — ко всему этому он кое-как притерпелся, недаром умные люди говорят, что когда человек привыкнет, так ему и в аду неплохо. Одного он не мог вынести — начальственных окриков Матеуша и постоянных его придинок.

Другие уже не обращали на это внимания, а его всякий окрик Матеуша приводил в ярость, и он не раз так огрызнулся, что Матеуш только глазами сверкал и уходил, но потом опять, словно с умыслом, придирался ко всему. Не обращаясь прямо к Антеку, он так умел задеть того за живое, что Антек зубами скрипел и невольно сжимал кулаки. Он еще всеми силами сдерживался, отлично понимая, что Матеуш только и ждет случая прогнать его с работы, но

все обиды копил в памяти. Антеку не так важно было остаться на работе, как дать отпор всякому, кто пытается его подчинить, особенно такому бродяге, как Матеуш.

Словом, они все больше ожесточались друг против друга, потому что в глубине этой злобы скрывалась ревность. Оба они давно, еще с весны, а может быть, и с Масленицы, ходили за Ягусей, как пристяжные, и каждый старался вытеснить другого. Но Матеуш делал это почти на глазах у всех и открыто говорил о своей любви, Антек же вынужден был скрывать ее, и глухая, жгучая ревность терзала его сердце. Они с Матеушем никогда не были приятелями, всегда косились друг на друга и при людях грозили один другому, потому что каждый считал себя сильнее. А теперь вражда росла с каждым днем — не прошло и недели, как они уже и здороваться перестали, проходили мимо, сверкая глазами, как разъяренные волки.

Матеуш был парень совсем не злой, напротив — сердце у него было отзывчивое и рука щедрая, но он отличался самонадеянностью и других ни во что не ставил. Был у него еще один недостаток: он считал, что перед ним ни одна девушка не может устоять, и любил хвастать своими победами — только для того, чтобы во всем первенствовать среди товарищей. Сейчас ему льстило, что Антек работает под его командой, и он охотно всем рассказывал, что тот его во всем слушается, смотрит ему в глаза покорно, как кролик, боясь, как бы он не прогнал его с работы.

Тех, кто знал Антека, это удивляло, но они решили, что парень, видно, смирился и терпит все, только бы не лишиться работы. Другие утверждали, что добром это не кончится, что Антек Матеушу не простит и не нынче-завтра ему отплатит. Они готовы были даже держать пари, что он Матеуша в бараний рог согнет.

Разумеется, обо всех этих разговорах Антек ничего не знал, потому что он всех избегал, при встрече с знакомыми молча проходил мимо, с работы шел прямо домой, а из дому — на работу. Но он о них догадывался, потому что видел Матеуша насквозь.

— Искрошу я тебя, стервеца, как капусту, и собаки есть не станут! Сбавишь спеси, забудешь надо мной куражиться! — вырвалось у него раз на работе так громко, что Бартек услышал и сказал:

— Плюнь, не обращай на него внимания, ведь ему за то и платят, чтобы он нас понукал.

Старик не понимал, в чем тут дело.

— А я не терплю и собак, которые попусту лают.

— Очень уж ты все к сердцу принимаешь, смотри, печенка вспухнет! И за работу, как я примечаю, слишком горячо берешься.

— Это оттого, что мне холодно, — сказал Антек первое, что ему навернулось на язык.

— Надо все делать не спеша, по порядку, — Господь Бог тоже мог мир создать в один день, а создавал его почти целую неделю, с передышкой. Работа — не птица, в лес не улетит, — что за охота тебе и какая надобность надрываться для мельника или кого другого? А Матеуш все равно что собака, которая стадо стережет, — разве будешь на нее сердчать за то, что она лает?

— Я уже вам говорил, как я на это смотрю... А где это вы летом были, что-то я вас в деревне не видал? — спросил Антек, чтобы переменить разговор.

— Немножко работал, а немножко походил, на божий свет поглядел, и глаза тешил и душе расти помогал, — говорил Бартек медленно, обтесывая дерево с другой стороны. Порой он разгибал спину, потягивался так, что трещали суставы, и, не выпуская из зубов трубки,

словоохотливо рассказывал:

— Работал я с Матеушем на стройке в усадьбе. Да надоела мне гонка, а на дворе весна, солнышко, — вот я и бросил работу... А шли в ту пору люди в Кальварию. Пошел и я с ними, чтобы и от грехов очиститься и на свет божий поглядеть.

— Далеко до этой Кальварии?

— Две недели мы шли — это за Краковом, — да я не дошел. В одной деревне, где мы полдничали, хозяин хату себе строил, а понимал он в этом деле столько, сколько коза в перце. Ну, я и рассердился, изругал его, сукина сына, за то, что он столько дерева испортил без толку... да и остался у него. Очень уж он просил. В два месяца выстроил я ему дом — что твоя усадьба. И он был так рад, что даже за свою сестру сватал меня, за вдову. У нее там поблизости земли пять моргов было.

— Старуха, должно быть?

— Конечно, не молодая, но ничего еще, — вот только лысовата малость да косолапа, глаза, как сверло, а лицом гладкая, как каравай, который мыши недельки две обгрызали. Славная баба, добрая, кормила меня на славу: и яичницу с колбасой подаст, и водку, и сало, и другую лакомую еду. И так я ей по вкусу пришелся, что в любой день готова была меня под перину пустить... Пришлось мне ночью сбежать...

— Отчего же не женились? Все-таки пять моргов...

— И шивый тулуп, что остался от покойника-мужа. А на что мне жена? Давно опротивело мне бабье племя! Кричат, орут, суетятся, как сороки на заборе. Ты ей слово, а она тебе двадцать, — как горохом сыплет... У мужика разум есть, а она только знай языком треплет. Ты с ней, как с человеком, говоришь, а она не поймет, не рассудит, и только болтает, что в голову взбредет. Слыхал я, будто Господь дал бабе только половину души, — и это, должно быть, правда. А другую половину ей, видно, черт смастерил!

— Есть между ними и толковые... — сказал Антек хмуро.

— Да, говорят, есть и белые вороны, только их никто не видал.

— А что же, у вас жены никогда и не было?

— Была, была! — Бартек вдруг замолчал и устремил свои выцветшие серые глаза куда-то вдаль. Он был уже старый человек, высохший, как щепка, жилистый и прямой, но сейчас он вдруг как-то сгорбился и быстро-быстро моргал глазами, а трубка заерзала у него в зубах.

— Спускается, тащи! — кричал работник у пил.

— Эй, Бартек, живей! Не стой, а то и пилы остановятся! — заорал Матеуш.

— Вот дурак! Скорее скорого не сделаешь! Села ворона на костел, каркает и думает, что она — ксендз на амвоне! — буркнул Бартек сердито.

Видно, его что-то расстроило: он теперь чаще отдыхал и с нетерпением поглядывал на небо — скоро ли полдень.

Хорошо, что полдень скоро наступил. Пришли женщины с судками, из-за мельницы появилась Ганка. Лесопилку остановили, и все пошли обедать на мельницу. Антек прошел в каморку Мельникова работника, с которым они были приятели и не одну бутылочку распили вместе. Он уже больше не бегал от людей, не сторонился их, но смотрел на них такими глазами, что они сами его избегали.

Жара в каморке была такая, что дышать было нечем, а мужики сидели в тулупах и весело калякали. Это были жители дальних деревень, они привезли на помол зерно и ожидали, пока его смелют. Беспреданно подкладывали торф в уже раскалившуюся докрасна печурку, курили так усердно, что вся каморка тонула в табачном дыму, и разговаривали.

Антек сел под окном на каких-то мешках, поставил между колен горшок и жадно уплетал капусту с горохом, потом картофельные клецки с молоком. А Ганка присела рядом и с нежностью всматривалась в него. Он сильно похудел, потемнел лицом, и от работы на морозе кожа местами шелушилась, но, несмотря на это, он казался Ганке красивее всех на свете. Он и в самом деле был хорош — высокий, стройный, гибкий, в талии тонкий, в плечах широкий. Лицо у него было продолговатое, худое, нос с горбинкой, глаза большие, серо-зеленые, а брови — словно кто углем провел черту через весь лоб, от виска до виска, и когда он в минуты гнева их сдвигал, то даже страшно становилось. Высокий лоб был до половины закрыт ровно подстриженными, очень темными волосами; усы Антека брили, как и все, и белые зубы, словно жемчуг, сверкали меж красных губ. Да, он был красавец, и Ганка не могла на него вдоволь наглядеться.

— Не мог разве отец принести обед? Неужто ты будешь каждый день ходить в такую даль?

— Ему надо навоз убрать из-под телки... И мне хотелось самой отнести.

Ганка всегда так устраивала, чтобы самой нести мужу еду и иметь возможность посмотреть на него.

— Ну, как у вас там? — спросил он, доедая обед.

— Да ничего. Я уже наярала целый мешок шерсти и отнесла органистихе пять мотков. Она так довольна! Вот только Петрусь что-то мечется, ничего не ест — жар у него.

— Объялся — и все тут.

— Должно быть, так... Янкель приходил за гусями.

— Продашь?

— Как можно! А весной покупать придется!

— Ну, как знаешь, — дело твое.

— У Вахников опять драка была, даже за ксендзом посылали, чтобы он их угомонил... А у Пачесей, говорят, теленок морковкой подавился.

— Да мне-то что за дело! — нетерпеливо пробурчал Антек.

— Органист приход объезжает, — сообщила Ганка через минуту, уже с некоторой робостью.

— Что ж ты ему дала?

— Два пучка чесаного льна и четыре яйца. Он сказал, что, когда нам понадобится, даст воз овса, а денег подождет до лета, или можно будет отработать ему. Да я не взяла, зачем нам у него брать — ведь нам еще с отца причитается корм для скотины, мы сняли всего два воза, а столько моргов засеяли...

— Не пойду я отцу напоминать, и ты не смей! Возьми у органиста, отработаем. А не хочешь, так последнюю телку продадим: у отца я, пока жив, ничего просить не стану. Понятно?

— Понятно. У органиста взять...

— А может быть, я здесь заработаю столько, что нам хватит... Не реви ты на людях!

— Да я не плачу, нет... Ты возьми у мельника с полмешка ячменя на крупу, дешевле выйдет, чем готовую покупать.

— Ладно, скажу ему нынче, а как-нибудь после работы останусь и смелю.

Ганка ушла, а он еще посидел, куря папиросу и не вмешиваясь в разговоры мужиков. Они говорили о брате помещика из Воли.

— Яцеком его звали, я его хорошо знал, — сказал только что вошедший Бартек.

— Так вы, верно, знаете и то, что он воротился из чужих краев?

— Нет, не знал. Неужели воротился? А я думал, он давно умер!

— Жив! Недели две как приехал.

— Да, говорят, он в уме немного тронулся. В усадьбе жить не хочет, к леснику перебрался, сам все для себя делает — и стряпает и даже одежду чинит, — так что все дивятся, а по вечерам на скрипке играет. Так со скрипкой и бродит по дорогам. И на погосте его видали — на могилках сидит и играет!

— Слыхал я, что он по деревням ходит и всех расспрашивает, не знают ли какого-то Кубу.

— Мало ли Куб! Не одну собаку Лыской звать.

— Фамилии не говорит, а ищет какого-то Кубу, который его из боя на плечах вынес и от смерти спас.

— Был у нас работник Куба, что с господами когда-то в лес уходил.[15] Да помер он! — вставил Антек и поднялся, потому что Матеуш уже орал за стеной:

— Выходите! До вечера, что ли, будете обедать?

Антека так взорвало, что он выбежал из каморки и крикнул:

— Не дери горло зря, и так слышим!

— Мяса наелся, так теперь криком брюхо облегчает, — поддержал его Бартек.

— Нет, это он перед мельником выслуживается! — сказал кто-то из мужиков.

— За обедом отсиживаются, разговоры ведут, хозяев из себя корчат, голоштанники! — ворчал Матеуш.

— Слыхал, Антоний? Это в твой огород!

— Держи язык за зубами, а то как бы я тебе его не укоротил! А насчет хозяев помалкивай! — заорал Антек, готовый уже на все.

Матеуш замолчал, но смотрел злобно и уже весь день слова никому не сказал. Он зорко следил за работой Антека, подстерегал каждый его шаг, ища, к чему бы придраться, но Антек работал так хорошо, что это заметил и мельник, приходивший сюда два-три раза в день, и при первой же недельной получке прибавил ему целых три злотых.

Матеуш бесился, насакивал на мельника, но тот ему сказал:

— А для меня и ты хорош и он, — хорош всякий, кто добросовестно работает.

— Это вы только мне назло ему прибавили!

— Прибавил, потому что он работает не хуже Бартека, а может, и лучше. Я — справедливый человек и хочу, чтоб это все знали.

— Вот брошу все к черту — становитесь тогда сами на работу! — пригрозил Матеуш.

— Что ж, бросай, поищи булок, коли тебе черный хлеб невкусен. Уйдешь, я Борыну на твое место поставлю только за четыре злотых в день! — ответил мельник с усмешкой. Он все делал с таким расчетом, чтобы иметь работника подешевле.

Матеуш сразу смекнул, что мельник не уступит и не даст себя запугать, и больше не настаивал. Он глубоко затаил злобу на Антека, хотя она огнем палила ему сердце, но к остальным рабочим стал относиться мягче и снисходительнее. Это сразу было замечено, и Бартек, плюнув, сказал товарищам:

— Вот дурак! Попробовала собачонка сапог укусить, дали ей в зубы, вот она теперь и ластится! Он думал, что навеки палку взял, а его так же, как всякого другого, прогонят, если найдется кто получше...

А Антеку было все равно: он не радовался прибавке, не так уж тешило его и то, что Матеуш присмирел и что в деревне (так рассказывали мужики на работе) над ним теперь смеются.

Его все это так же занимало, как прошлогодний снег, а то и еще меньше. Он работал не ради денег — деньги только Ганку радовали, — а потому, что ему это нравилось. А захотелось бы валяться без дела, так и валялся бы, ни на что не глядя.

Работа его увлекла, он находил в ней забвение и до такой степени ушел в нее, что напоминал лошадь, запряженную в конный привод: ее не подгоняют, а она все бежит себе по кругу до тех пор, пока не остановят.

Так в тяжелой неустанной работе шел день за днем, неделя за неделей, до самых святок, и постепенно душа Антека успокоилась, словно затянулась льдом. Он теперь совсем непохож был на прежнего Антека, и люди удивлялись и по-разному объясняли это. Но перемена в нем была только внешняя, кажущаяся. Быстрая и глубокая река, скованная льдом и засыпанная снегом, все шумит и бурлит в глубине — и никто не знает, когда она прорвет свой покров и выйдет из берегов. То же происходило и в душе Антека. Он тяжело работал, деньги все до копейки отдавал жене, по вечерам сидел дома, был, как никогда, ласков, тих, спокоен, забавлял детей, помогал Ганке в хозяйстве, никто от него грубого слова не слышал, он ни на что не жаловался и, казалось, забыл обо всех обидах. Но не обманул он всем этим сердца Ганки. Она, конечно, радовалась перемене в нем и горячо благодарила Бога; она угождала мужу, как только могла, смотрела ему в глаза, стараясь отгадать каждое его желание, была ему самой преданной и заботливой служанкой. Но часто ловила она печальное выражение в его глазах, часто с тревогой подслушивала его тихие вздохи, и у нее руки опускались, и с замиранием сердца оглядывалась она вокруг, силясь угадать, откуда придет несчастье, — потому что она чуяла, что в душе Антека зреет что-то страшное, что-то такое, что он изо всех сил сдерживает, а оно только на время притаилось и гложет, гложет его.

Антек никогда ни единым словом не давал ей понять, хорошо ему или плохо. С работы приходил прямо домой, вставал на рассвете, как только прозвонят к заутрене. Каждый день, проходя мимо освещенного костела, он останавливался у паперти послушать орган, широко льющиеся, тихие звуки, проникавшие в душу, рождавшиеся как будто в морозном воздухе, в предрассветном сумраке. Казалось, это звенят медные зори, ледяные покровы, это мерзлая земля тоскливо, надрывно мечтает в своем тяжком и долгом зимнем сне.

Постояв, Антек шел дальше, с каждым днем все торопливее — он не хотел, чтобы люди увидели, как он слушает музыку. Шел он всегда по другой стороне озера, дальней дорогой, чтобы только не проходить мимо отцовского дома и не встретить никого.

Никого!

Оттого-то он и по воскресеньям сидел безвыходно дома. На просьбы Ганки пойти с ней в костел ответ был всегда один: нет и нет. Он боялся встречи с Ягной, он хорошо знал, что не выдержит, не справится с собой.

Притом он знал от Бартека, с которым успел подружиться, да и сам чувствовал, что деревня все еще им занята, что за ним наблюдают, следят за каждым его шагом, — словно он вор, словно все сговорились против него! Не раз замечал он глаза, подсматривавшие за ним из-за угла, не раз чувствовал на себе любопытные, жадные взгляды, которые рады бы, кажется, проникнуть на самое дно его души, увидеть ее всю насквозь, вытянуть из нее наружу каждую мысль. Эти взгляды сверлили ему душу, причиняли жестокую боль.

— Не прогрызете, сволочи, не прогрызете! — шептал он с ненавистью, и все сильнее ожесточался, и все упорнее избегал людей.

— Не нужен мне никто, я с самим собой в такой дружбе, что деваться от себя некуда, — сказал он раз Клембу, когда тот упрекнул его, зачем он никогда не заходит к ним.

И Антек сказал правду — трудно ему было. Он решительно взял себя в руки, словно стянул сердце железным обручем. Он держал его крепко, не спускал с привязи. Но все чаще дух его изнемогал от усилий, и все чаще хотелось махнуть рукой на все, положиться на судьбу. Будет она к нему милостива или жестока — все равно, жизнь ему постыла, тоска его одолела, глубокая тоска, как ястреб, впилась когтями в сердце и рвала его.

Тяжело ему было в этом ярме, скучно, тесно и душно, как стреноженному коню в загородке, как собаке на цепи, как... да и не рассказать, как тяжело!

Он был подобен молодому могучему дереву, сломленному бурей. Обреченное на гибель, засыхает оно посреди цветущего здорового сада.

Вокруг жили люди, была деревня, жизнь кипела обычным глубинным кипением, катилась, как быстрые воды, разливалась все тем же буйным, живым потоком. Липцы жили привычной, повседневной жизнью. У Вахников справили крестины, у Клембов — сговор, хотя и без музыки, но повеселились, насколько можно в посту. Потом умер кто-то, — кажется, тот самый Бартек, которого осенью зятек так избил, что он с тех пор все хирел, кряхтел и, наконец, отправился к праотцу Аврааму. Потом Ягустинка опять подала в суд на своих детей, которые ее выгнали и не хотели кормить. Происходили и другие события, почти в каждой избе случалось что-нибудь новое, так что людям было о чем потолковать, над чем посмеяться или повздыхать. В долгие зимние вечера в избах собирались женщины прясть — и сколько там смеху было, боже, сколько забав, разговоров, шуток — даже на улицах слышен был веселый шум.

А сколько было везде ссор, примирений, сговоров, ухаживаний, свиданий в садах, суеты, драк, веселой болтовни — так и гудела деревня, напоминая муравейник или пчелиный улей.

Кто бедовал, мыкался, спину гнул, а кто веселился с приятелями да рюмками позванивал. Кто важничал и старался быть выше всех, кто за девушками волочился, кто болел и ксендза дожидался, кто на теплой печи вылеживался, кто радовался, кто грустил, а кто не знал ни радости, ни горя, — и все жили шумной, полнокровной жизнью, отдавая ей все силы, всю душу.

Только он, Антек, был как бы вне деревни, в стороне от всех, и чувствовал себя, как залетевшая в незнакомое место птица, пугливая и голодная: мечется она возле освещенных окон, хочется ей в полные амбары, душой рада бы к людям в избу, да не влетает, — кружит только, заглядывает в окна, вслушивается, тоскует — а не влетит.

"Разве только Господь переменит что-нибудь... да к лучшему!"

Но Антек еще и думать боялся о такой перемене.

Как-то за несколько дней до Рождества он утром встретил кузнеца. Хотел пройти мимо, но тот загородил ему дорогу, первый протянул руку и сказал мягко, как бы с сожалением:

— Я думал, ты придешь ко мне, как к своему. Я бы помог как-нибудь, подсобил, хотя и у меня через край не льется.

— А что же ты не пришел да не помог?

— Ишь ты, мне первому надо было напрашиваться! Чтобы ты выгнал меня, как Юзьку?

— У кого не болит, тот не спешит.

— Не болит! Нас с тобой одинаково обидели, значит и боль одна у обоих.

— Не ври ты в глаза, — не на дурака напал.

— Бог свидетель, чистую правду говорю.

— Ох, и лисица же! Бегает, вынюхивает, вертится, хвостом след замечает, чтобы и духу ее никто не почуял да за ее проделки с ней не расправился!

— Вижу, ты на меня сердит за то, что я на свадьбе был. Да, был, не отпираюсь, был. Не мог я не пойти, сам ксендз меня уговаривал и приказывал идти, чтобы Бога не гневить... потому что грех это — детям с отцом не ладить.

— Так тебя ксендз уговорил? Расскажи это кому другому, авось поверит! Обираешь ты старика за эту дружбу, как только можешь, — никогда с пустыми руками от него не уходишь.

— Одни дураки не берут, когда им дают. Но я ему против тебя ничего не говорю — вся деревня это может подтвердить. Вот спроси у Ягустинки, она постоянно торчит у старика: я даже говорил ему, чтобы он помирился с тобой... Перемелется, уладится. Все устроим так, что любо!

— С собаками сговаривайся, а не со мной, слышишь! Я у тебя не спрашивал, воевать ли мне с отцом, так и мирить нас не твое дело. Смотрите, какой друг-приятель выискался! Ты бы нас помирил для того только, чтобы последний тулуп у меня с плеч стащить... Еще раз тебе говорю: оставь ты меня в покое и с моей дороги сойди, потому что, если у меня терпение лопнет, так я тебе рыжие кудри твои оборву да ребра пощупаю! Не защитят тебя и стражники, с которыми ты компанию водишь. Заруби это себе на носу!

Он отвернулся и пошел дальше, ни разу не оглянувшись на кузнеца, который стоял на дороге разинув рот.

"Проклятый мошенник! Со стариком заодно и ко мне с дружбой своей подъезжает, а сам обоих нас по миру пустил бы, если бы мог".

Антек долго после этой встречи не мог успокоиться, к тому же ему в тот день уже с самого утра не везло: только что принялся тесать дерево, как топор наткнулся на сук и выщербился,

а потом, около полудня, ему придавило бревном ногу, и она только чудом каким-то не сломалась, но пришлось разуться и прикладывать лед, так как она распухла и жестоко болела. А тут еще Матеуш сегодня был зол, как черт, со всеми бранился, орал, понукал, все было не по нем, а с Антеком он явно искал ссоры, так что чуть-чуть не дошло до беды.

Так уж сегодня все неудачно складывалось, что даже и крупы, о которой Ганка ему каждый день напоминала, Франек не смолол, как обещал, отговариваясь тем, что ему некогда.

Дома тоже было неблагополучно. Ганка ходила расстроенная, заплаканная, потому что Петрусь весь горел, как в огне. Пришлось позвать Ягустинку, чтобы она его окурила и измерила, потому что он, видно, был совсем уж плох.

Ягустинка пришла, когда они ужинали, села у печи и украдкой оглядывала избу. Ей, видимо, очень хотелось поговорить, но Антек и Ганка отвечали ей неохотно, и она сейчас же принялась осматривать мальчика и лечить по-своему.

— Схожу на мельницу, присмотрю, иначе Франек и сегодня не сделает, — сказал Антек, берясь за шапку.

— Отец может пойти и засыпать.

— Нет, я сам пойду, вернее дело будет.

Антек поспешно вышел. Он был зол, взбудоражен, что-то в нем металось, как одинокое дерево на ветру, и дома все его раздражало — в особенности ощупывающие, плутоватые глаза Ягустинки.

Вечер был тихий, не морозный, с утра заметно потеплело. Звезд было немного, и они мигали в вышине, как сквозь прозрачную завесу. От леса дул ветер, а за ним неслись глухой, далекий шум, как это бывает перед переменной погодой. Дружно заливались собаки во дворах, и каждую минуту на дороге поднималась белая пыль, — это снег сыпался с деревьев. Низко стлался дым из труб, и воздух был сырой, промозглый.

На мельнице, как всегда перед праздником, было много народу. Те, чье зерно уже помолось, ожидали на крыльце, остальные сидели в каморке Франека, а в центре кружка — Матеуш. Он, видимо, рассказывал что-то забавное, потому что его ежеминутно прерывал громкий смех слушателей.

Антек, уже с порога увидев своего врага, попятился и пошел на мельницу искать Франека.

— Он на плотине с Магдой — знаешь, с той, которую от органиста выгнали.

— Мельник сказал, что прогонит его, если еще раз застанет здесь девку, — она ведь просиживала на мельнице целые ночи, куда же ей деваться, горемычной! — объяснил Антеку кто-то из мужиков.

— За чем парень весной гоняется, от того зимой отрещивается, — со смехом добавил другой.

Антек присел под цилиндром, в котором мололи-муку лучшего сорта, прямо против открытой двери в каморку, так что ему видна была спина Матеуша и внимательно склоненные к нему головы мужиков. Он мог бы даже слышать все, что там говорилось, потому что сидел близко, но мешал грохот мельницы, да он и не хотел слушать. Он прилег на мешках и дремал от усталости.

Мельница тарахтела без перерыва и вся тряслась. Колеса стучали так громко, словно сто женщин колотили вальками белье. А вода, журча, катилась по ним, разлетаясь кипящей

пеной, снежными брызгами, и с ревом падала в реку.

Антек целый час напрасно прождал Франека и, наконец, встал, чтобы поискать его во дворе, а кстати немного проветриться, потому что его клонило, ко сну. Он прошел мимо каморки и уже взялся было за ручку выходной двери, но вдруг остановился, услышав слова Матеуша:

— ...А старик сам кипятит для нее молоко, чай и подает в постель. Говорят, он даже сам за коровами убирает и вдвоем с Ягустинкой все хозяйство ведет, только бы Ягна ручек не марала... И еще болтают, будто он купил в городе ночной горшок, чтобы она не простудилась, выходя на двор...

Грянул оглушительный смех, и градом посыпались шутки. Антек, сам не зная зачем, вернулся на место и, повалившись на мешки, тупо смотрел на длинную полосу красного света, падавшую из открытой двери каморки. Он больше ничего не слышал, шум заглушал слова, мельница непрерывно стучала, мучная пыль серым туманом застилала жернова, лампочки у потолка желтели сквозь эту пыль, как глаза насторожившейся кошки, и качались на шнурах.

Антек скоро не вытерпел: встал, на цыпочках подкрался к самой двери и стал подслушивать.

— ...Она все ему объяснила, — говорил Матеуш. — Будто она как-то второпях перелезала через плетень, и оттого, значит... А Доминикова подтвердила, что, дескать, это часто с девушками случается, что и с ней то же самое было в молодости... Да, да, теперь каждая может свалить вину на острые колья забора! А старый баран поверил. Этакая голова — а поверил!

Все покатывались со смеху, гоготали так, что слышно было по всей мельнице.

Антек придвинулся ближе. Он уже стоял почти на пороге, бледный как мертвец, сжав кулаки, наклонясь вперед, как будто готовился к прыжку.

— А что насчет Антека поговаривали, — начал опять Матеуш, когда все вдоволь посмеялись, — будто они с Ягусей миловались, так это — вранье, я это наверное знаю! Я своими ушами слышал, как он скулил у ее дверей, словно пес, и приходилось его метлой гнать. Пристал он к ней, как репей к собачьему хвосту, да она его гнала.

— Вот как! А в деревне-то другое говорили, — заметил кто-то.

— Неправда. Не один раз я у нее в спальне бывал и она мне на него жаловалась.

— Бреешь, как собака! — крикнул Антек, переступая порог.

Матеуш вскочил и бросился к нему, но раньше, чем он успел что-либо сообразить, Антек, как бешеный волк, прыгнул на него, схватил его одной рукой за горло, сдавив так, что тот ни крикнуть, ни вздохнуть не мог, а другой — за пояс, сорвал с места, как кустик, ногой распахнул наружную дверь, бегом понес его за лесопилку и швырнул через забор с такой силой, что четыре жердочки переломились, как соломинки, и Матеуш бултыхнулся в реку.

Поднялась суматоха и отчаянные крики, — река в этом месте была глубока и быстра. Люди бросились спасать Матеуша и скоро вытащили его, но он был в обмороке, и его с трудом привели в чувство. Прибежал мельник, через несколько минут привели Амброжия, сбежались люди из деревни, и Матеуша перенесли к мельнику в дом. Он все время впадал в забытие, и у него шла горлом кровь. Послали даже за ксендзом — думали, что он не доживет до утра.

Антек же, когда Матеуша унесли, спокойно сел на его место у печки и, грея руки, разговаривал с Франеком, который, наконец, отыскался. А когда люди вернулись и все понемногу успокоилось, он сказал громко, чтобы все слышали и хорошо запомнили:

— С каждым, кто только меня заденет, я так разделаюсь, как с ним, а то и еще получше!

Никто не отозвался. Все смотрели на него с великим удивлением и уважением — еще бы, такого молодца, как Матеуш, поднять словно охапку соломы, понести и бросить в реку! О таком силаче никто и не слыхивал! Если бы еще они подрались, и один одолел бы другого, переломал ему кости, даже убил его, — это дело обыкновенное. Но взять здорового мужика, как щенка за ухо, и швырнуть в воду! Что ребра у него сломаны, это ничего, поправится, — но стыда Матеуш не перенесет! Так осрамить человека на всю жизнь!

— Ну, ну! Знаете, люди добрые, такого еще не бывало! — шептались вокруг Антека мужики.

А Антек, не обращая ни на кого внимания, намолол себе крупы и около полуночи пошел домой. У мельника, в той комнате, где уложили Матеуша, еще горел свет.

— Теперь не будешь хвалиться, сукин сын, что у Ягуси в спальне бывал! — пробормотал Антек злобно и плюнул.

Дома он ничего не рассказал, хотя Ганка еще не спала и прjala, а утром на работу не пошел, в полной уверенности, что его прогонят.

Однако тотчас после завтрака мельник сам за ним прибежал.

— Иди же на работу! Что у тебя с Матеушем — это дело ваше, меня не касается, а лесопилку остановить нельзя. Пока он не выздоровеет, ты вместо него работу веди. Буду тебе платить четыре злотых и обед.

— Не пойду! Коли будете платить столько же, сколько Матеушу, тогда буду работать — и не хуже его.

Мельник на стену лез, торговался, но делать нечего пришлось согласиться. Он немедленно увел с собой Антека.

А Ганка ничего не поняла, так как ничего еще не знала.

#### IV

Наступил канун Рождества, и уже с самого рассвета в Липцах поднялась лихорадочная суeta.

Ночью или к утру опять ударил сильный мороз, а так как было это после нескольких дней оттепели и сырого тумана, то все деревья оделись инеем, словно мелкими осколками стекла. Даже солнце выглянуло и светило на бледногубом небе, затканном тончайшим узором. Но и солнце было какое-то застывшее и бледное, ничуть не грело, а мороз все крепчал и так пробирал, что трудно было дышать, и пар от дыхания волнами окружал всех, вышедших из дому.

Зато вокруг все сверкало на солнце, искрилось такими ослепительными блестками, словно кто бриллиантовой росой окропил снега, — даже глазам было больно.

Окрестные поля, заваленные снегом, расстилались белой равниной, глухой и мертвой. Только какая-нибудь птица порой пролетала над этой равниной и черная тень ее мелькала по бороздам, или стайка куропаток, перекликаясь под заснеженными кустами, боязливо, осторожно пробиралась к человеческому жилью, под сеновалы. А то изредка прибежит по

снегу зайчишка, постоит на задних лапках, потом поскребет затвердевший наст, добираясь до семян, но, испуганный лаем собак, удерет назад в одетые снегом, помертвевшие от холода леса. Пустынно и тихо было на этих необозримых снежных равнинах, и только где-то в голубой дали смутно маячили деревни и седые сады, темнели леса и поблескивали замерзшие ручьи.

Жестокий холод пронизывал все, наполняя мир ледяной тишиной. Ни один крик не нарушал глубокого безмолвия полей, ни один живой человеческий голос не дрожал в воздухе, даже ветер не шелестел среди сухих сверкающих снегов. Разве только изредка на дороге, затерянной среди сугробов, жалобно задрезбезджит колокольчик, донесется скрип полозьев, — но так слабо, так отдаленно, что не успеешь разобрать, откуда это, а уже все отзвучало, бесследно кануло в тишину.

Но на улицах деревни, по обе стороны озера, было шумно илюдно. Веселое праздничное настроение разлито было в воздухе, пьянило людей, отражалось даже на животных. В чутком морозном воздухе крики звенели, как музыка, громкий веселый смех летел из конца в конец деревни, радость так и рвалась из сердец. Собаки, словно ошалев, катались по снегу, лаяли, гонялись за воронами, бродившими у домов. В стойлах ржали лошади, из хлебов неслось протяжное мычание, и даже снег как будто веселее хрустел под ногами, а полозья саней визжали на твердых, гладко укатанных дорогах. Голубыми столбами, прямыми, как стрела, поднимался из труб дым, а окна хат так играли на солнце, что глаза резало, — и всюду стоял шум, гам, бегала детвора, гоготали гуси у прорубей, перекликались люди на улицах, у хат, во дворах, а по садам в снегу то и дело мелькали красные юбки баб, перебежавших из хаты в хату, и серебряной пылью сыпался иней с задетых на бегу деревьев и кустов. Даже мельница сегодня не грохотала, она остановилась на все праздники. Болтали звонко лишь холодные стеклянные струи воды, пущенной через шлюзы, да где-то за мельницей, от болот и трясин, летели крики диких уток, целыми стаями круживших над ними.

И в каждой избе, у Шимона, Мацька, у войта, у Клембов и других — всех не назовешь и не перечтешь! — проветривали, мыли, скребли, посыпали свежей хвоей полы в комнатах и сенях и даже снег у порога, белили закопченные печи, повсюду спешно пекли хлеба и праздничные пироги, приготавливали селедки, терли в глиняных мисках мак.

Наступало Рождество, благословенный отдых от долгих дней труда, и в людях душа просыпалась от зимнего оцепенения, отрешалась от всего будничного и повседневного и с радостным волнением встречала праздник.

У Борыны в избе царила такая же суматоха. Приготовления к празднику были в полном разгаре.

Старик с Петриком, которого он нанял в конюхи вместо Кубы, еще на рассвете уехал за покупками в город. А в избе все усердно работали. Юзька, тихонько напевая, вырезывала из цветной бумаги разные фигурки, которые, когда их налепляли на балки или на рамы окон, казались ярко раскрашенными рисунками и радовали глаз. А Ягна, засучив до плеч рукава, месила в кадушке тесто и под надзором матери пекла пироги, такие длинные, как садовые грядки, засеянные петрушкой, и булки из белой муки. Она работала проворно, потому что тесто уже подымалось и нужно было лепить караваи, а между делом смотрела, как работает Юзя, и то поднимала перину, под которой выгревалась ватрушка с творогом и медом, ожидая, когда ее посадят в печь, то бежала на другую половину избы, к печи, в которой огонь шумел уже всюю.

Витеку было приказано смотреть за огнем и подбрасывать поленья, но он сразу после завтрака куда-то исчез. Напрасно и Юзя и Доминикова искали его по всему двору, звали, — негодный мальчишка не отзывался. Он сидел за амбаром у самого поля и ставил под кустами силки на куропаток, густо засыпая их мякиной, которая должна была служить и маскировкой и

приманкой. С ним были Лапа и тот аист, которого осенью приютил он больного, выходил и с тех пор кормил, берег, обучил разным штукам. Они так подружились, что стоило Витеку свистнуть по-своему, и аист бежал за ним — совсем как Лапа. С Лапой аист тоже был в великой дружбе, так как они вместе охотились в конюшне на мышей.

Рох, которого Борына пригласил к себе на все праздники, с утра ушел в костел, где они вдвоем с Амброжием убрали алтари и стены елками, привезенными из лесу работником ксендза.

Время близилось к полудню. Ягна уже кончила возиться с хлебом и, уложив караваи на доску, мазала их яичным белком, чтобы они не потрескались на огне, когда Витек просунул голову в дверь и крикнул:

— Облатки несут!

Сегодня с раннего утра старший сын органиста, Ясь, тот самый, что учился в городе, вдвоем с младшим братом, разносил по домам рождественские облатки.

Ягна увидела их, когда они уже подошли к крыльцу, и не успела хоть сколько-нибудь прибрать в комнате.

Она была очень смущена тем, что они застали такой кавардак, и, спрятав голые руки под передник, пригласила их сесть отдохнуть: они тащили большущие корзины, а младший еще вдобавок мешки изрядных размеров и отнюдь не пустые.

— Нам еще полдеревни надо обойти, а времени осталось мало! — отговаривался Ясь.

— Да вы хоть обогрейтесь, пан Ясь, — этакий мороз!

— Может, горячего молочка напьетесь? Так я вскипачу, — предложила Доминикова. Они от молока отказались, но присели у окна на сундуке. Ясь так жадно смотрел на Ягну, что она даже покраснела и торопливо стала опускать засученные рукава. Тут и Ясь покраснел как рак и стал рыться в корзине. Он достал и подал ей самую толстую и красивую пачку, обернутую золотой бумажкой и переложенную цветными облатками. Ягна взяла ее через передник и положила на тарелку потом вынесла добрый гарнец льняного семени и шесть яиц.

— Давно приехали, пан Ясь?

— Только три дня тому назад, в воскресенье.

— Скучаете, наверно, в школе-то? — спросила Доминикова.

— Нет, не очень. Да и недолго уже мне там быть — только до весны.

— А мама ваша говорила у меня на свадьбе, что вы в ксендзы пойдете.

— Да, да, с Пасхи, — сказал Ясь тихо и опустил глаза.

— Вот утешение, вот счастье-то родителям будет, когда сынок ксендзом станет, — и, может, бог даст, еще и в нашем приходе!

— А вы как тут живете? — спросил Ясь, чтобы прекратить неприятные ему расспросы.

— Да, слава богу, худого ничего нет. Живем помаленьку да потихоньку, как полагается нашему брату, тянем лямку.

— Хотел я приехать на вашу свадьбу, Ягуся, да не отпустили меня.

— Весело как было! Целых три дня танцевали! — воскликнула Юзя.

— А Куба, говорят, как раз тогда помер?

— Помер, помер бедняга, и даже без святого причастия!

Кровью изошел. Теперь вот в деревне говорят, будто душа его бродит неприкаянная, — люди видели, как кто-то по ночам по деревне мечется, стонет на перекрестках, а то стоит под крестом на дороге и ждет, пока Господь смилуется! Не иначе, как это кубина душа.

— Что вы говорите!

— Правду говорю! Сама не видала, так божиться не стану, но это может случиться, может! На свете такие дела бывают, которые ум человеческий, даже самый великий ум, не постигнет, — божьи дела, не человеческие!

— Жаль Кубы. Ксендз даже плакал, когда рассказывал мне про его смерть.

— Потому что хороший, честный был мужик, другого такого не найти: смирный, набожный, работающий, чужого не трогал, а бедным готов был последний кафтан отдать.

— Все перемены у вас в Липцах, все перемены! Каждый раз, как приезжаю, опомниться не могу. Вот был я сегодня у Антека с Ганкой. Дети у нее больны, бедность страшная, просто в глаза лезет, а сам Антек так изменился, так исхудал, его узнать нельзя!

Женщины ничего не ответили.

Ягна быстро отвернулась и принялась накладывать хлеб на лопату, а старуха заморгала глазами, так что Ясь сразу смекнул, что им неприятно его слышать. Он придумывал, что бы такое сказать, чтобы поправить дело, но тут Юзя, вся покраснев от смущения, подошла и стала просить у него несколько цветных облаток.

— Мне избу украсить к празднику! Были прошлогодние, да на свадьбе совсем попортились.

Ясь дал ей десятка полтора, и все разных цветов.

— Ух, как много! Иисусе, да этого хватит на все, — и на месяцы, и на звезды! — воскликнула обрадованная Юзя. Она пошептала с Ягной и через минуту, сконфуженно закрывая лицо передником, вынесла Ясю штук шесть яиц.

Вошел Борына, который только что вернулся из города, а за ним ворвались Лапа с аистом, так как Витек тоже явился домой одновременно с хозяином.

— Скорее закрывайте дверь, тесто остынет! — кричала старуха.

— Как примутся бабы наводить порядок, мужик хоть в корчму спасайся — не то хлеб перепекут и на него вину свалят! — смеялся Борына, грея закоченевшие руки.

— Дорога — как стекло, ехать хорошо, но мороз лютый, трудно в санях высидеть! Ягусь, дай Петрику хоть хлеба, он голоден и до костей промерз в своей солдатской шинели. Что, Ясь, надолго домой?

— До Крещения.

— А вы — хороший помощник отцу: и за органом и в канцелярии! Старику неохота, верно, в такой холод из-под перины вылезать.

— Нет, он сидит дома оттого, что корова нынче отелилась, так надо за ней присмотреть.

— Ну, в час добрый! Будет молоко всю зиму... Витек, ты жеребенка поил?

— Я сама ему носила, да он совсем пить не стал, только шалит и к матери рвется. Пришлось его в большое стойло перевести.

Мальчики вышли. Ясь, уходя, все оглядывался на Ягну.

Она и в самом деле стала еще красивее, чем была до свадьбы. Не диво, что она и старого мужа окончательно покорила. Он в ней души не чаял. В деревне говорили, что Борына совсем одурел от любви. Ко всем суровый, по-прежнему крутой и неуступчивый он Ягуси слушался во всем, и она могла вертеть им, как хотела. Он на все смотрел ее глазами, советовался только с ней и ее матерью. Они совсем им завладели.

Он был доволен жизнью: в хозяйстве все шло как по маслу, было кому заботиться о его удобствах, было и с кем душу отвести, совета спросить. Он ни о чем другом не думал, только о Ягусе, и глядел на нее, как на икону.

Вот и сейчас, отогреваясь у печи, он следил влюбленными глазами за каждым ее движением и, словно жених, говорил ей ласковые слова и думал только о том, чем бы еще больше ей угодить.

А Ягне его любовь нужна была не больше, чем прошлогодний снег. Она сегодня что-то хмурилась, ее раздражали нежности мужа, все злило, и она ураганом носилась по избе. Работу старалась свалить на мать или на Юзю, а часто и старика колкими словами заставляла что-нибудь делать, а сама уходила то на другую половину, заглянуть в печку, то к жеребенку на конюшню, — только бы остаться одной и на свободе думать об Антеке.

Ясь напомнил ей о нем, и он, как живой, встал перед нею. Она не видела его уже почти три месяца, вот только один раз, мельком, на дороге, когда она и Борына проезжали под тополями...

Да, время бежало, как вода, — свадьба, переселение к мужу, всякие хлопоты, хозяйство. Когда же ей было думать об Антеке! Не встречала его, потому и не вспоминала, а другие остерегались при ней говорить о нем... А вот сейчас, неизвестно почему, он вдруг встал у нее перед глазами и глядел на нее так печально, с таким укором, что у нее сердце щемило от жалости.

"Ни в чем я перед тобой не виновата, ни в чем! Так что же ты стоишь передо мной, как душа неприкаянная, зачем пугаешь!" — думала она горестно, обороняясь от воспоминаний... Она не понимала, почему именно Антек ей так живо вспоминался, почему он, а не Матеуш, не Стах Плошка, не другие? Только он один! Приворожил он ее что ли, что она так томится и рвется к нему?

Тоска ее одолела, ныло сердце и тянуло куда-то на волю, — ушла бы куда глаза глядят, хоть в темный лес.

Что-то он, сердечный, там делает, что о ней думает? И нет никакой возможности с ним встретиться, поговорить... Да и нельзя! Нельзя... Господи, ведь это был бы смертный грех! Так сказал и ксендз на исповеди. А как хочется хотя бы разочек с ним поговорить, пускай бы на людях, все равно! Да нельзя — ни сегодня, ни завтра, никогда больше! Борынова жена на веки веков. Аминь!

— Ягуся, иди же, надо хлеб пересаживать! — звала ее мать.

Ягна побежала в избу, хлопотала, делала все, что нужно, но мысль об Антеке ее не покидала. Он снова и снова вспоминался ей, всюду чудились его голубые глаза под черными бровями

да красные губы, такие сладкие, такие любимые!

Она принялась за работу рьяно, все так и кипело у нее в руках. Убрала избу, под вечер пошла даже убирать коровник, чего почти никогда не делала. Напрасно, ничего не помогало: Антек неотступно стоял перед глазами, и тоска росла, рвала душу на части. В конце концов она не выдержала и, сев на сундук, подле Юзьки, поспешно приготавливавшей украшения из облаток, горько расплакалась.

Успокаивала ее мать, успокаивал встревоженный муж, ласкали ее, ублажали, словно капризного ребенка, смотрели ей в глаза, — ничто не помогало. Только когда она как следует выплакалась, настроение у нее внезапно переменялось. Она встала с сундука почти веселая, смеялась, болтала, запела бы, кажется, если бы не пост!

И Борына и мать смотрели на нее с удивлением, а потом они обменялись долгим и многозначительным взглядом, вышли вместе в сени, о чем-то пошептались и вернулись радостные, веселые, все посмеивались и давай ее обнимать, целовать. Старуха крикнула:

— Не поднимай квашни, Мацей сам вынесет!

— Да мне не привыкать! Я и не такие тяжести поднимала.

Она ничего не понимала. Мацей все-таки не пустил ее к квашне, вынес сам, а потом, застав Ягну в чулане, прижал к стене и стал страстно целовать и говорить что-то радостно, шепотом, чтобы не услышала Юзя.

— Рехнулись вы с матерью, что ли? Неправда это, неправда!

— Мы с ней в этих делах больше тебя понимаем. Уж ты мне поверь! Что у нас сейчас? Рождество... Значит, это будет в июле, в самую жатву... Время неподходящее, жара, страда, ну, да что же делать... и за это надо Бога благодарить.

Он опять хотел ее поцеловать, но она сердито вырвалась и побежала к матери с упреками. Однако старуха решительно поддержала Борыну.

— Неправда, это вам только показалось! — горячо возражала Ягна.

— Да ты, я вижу, не рада?

— А чему радоваться? Мало ли хлопот и без того, а тут еще новое наказание!

— Не ропщи, Господь покарает!

— Ну и пускай, пускай карает!

— А почему ты так от этого отреклась, а?

— Не хочу — и все!

— Да ведь если будет у тебя ребенок, а старик, упаси бог, помрет, так ты, кроме того, что тебе записано, еще и на ребенка получишь, а может, и вся земля твоя будет.

— У вас одно на уме — земля и земля! А мне это ни к чему.

— Молода ты еще и глупа, вот и плетешь вздор! Человек без земли все равно как без ног: тычется, тычется, а никуда не дойдет. Ты смотри у меня — с Мацеем насчет этого не спорь, ему обидно будет.

— Не буду молчать, что мне Мацей!

— Ну, болтай себе хотя бы перед всем светом, коли ума нет, а мне дай спокойно хлеб из печи вынуть, а то сгорит. Займись-ка ты лучше делом: селедки надо из воды в молоко переложить, — не так солонь будут. А Юзя пускай натрет мак. Столько надо сделать еще, а вечер близко!

Вечер действительно стоял на пороге. Солнце опустилось за леса, вечерняя заря разливалась по небу потоки крови, и снег пылал, словно посыпанный раскаленными угольями. Деревня засыпала. Еще таскали воду с озера, рубили дрова, иногда кто-нибудь проезжал в санях и, спеша домой, так гнал лошадей, что у них громко екали селезенки. Еще люди бегали через озеро, там и сям скрипели ворота, звучали голоса, но мало-помалу угасал закат, мрачная синева одевала землю, — и замирала жизнь деревни, затихали дворы, пустели улицы. Дальние поля погружались во мрак, быстро подходил зимний вечер и завладевал землей, а мороз все крепчал, и громче скрипел снег под ногами, и стекла покрывались чудесными цветами и узорами.

Вот уже деревня пропала, словно растаяла в сером снежном сумраке, не видно было ни домов, ни плетней, ни садов, только огоньки светились, и сегодня их было больше, чем всегда, потому что во всех избах шли приготовления к рождественскому ужину.

В каждой избе, и у богачей и у последней голытьбы, спешили приодеться и благоговейно ожидали первой звезды. В углу у восточной стены ставили снопы пшеницы, столы застилали беленым холстом, а под него подстилали сено. И все поглядывали в окна, — взошла ли уже звезда. Но, как всегда в морозные вечера, звезды выглянули не сразу: едва догорел закат, небо стало словно дымом затягиваться и было какое-то бурое.

Юзя и Витек здорово промерзли — они стояли на крыльце, пока не увидели первую звезду.

— Есть! Вот она! — заорал Витек.

На этот крик выглянул из хаты Борына, вышли остальные, и последним — Рох.

Да, звезда появилась: на востоке, у самого края неба, разорвалась бурая завеса, и из темносиних глубин родилась звезда.

Казалось, она росла на глазах, летела, брызгала светом, разгораясь все ярче, и была уже так близко, что Рох встал на колени на снегу, а за ним и другие.

Вот она, звезда трех волхвов, Вифлеемская звезда, при свете которой родился Господь наш Иисус, да будет благословенно его имя!

Все впились глазами в этот далекий свет, свидетель чуда, знамение милости божией к человеку. И с чувством горячей благодарности, с глубокой верой принимали они сердцем это чистое сияние, священный огонь, как некое таинство, очищающее от зла.

Звезда все росла, неслась уже, как огненный шар, и тянулись от нее голубые лучи, искрились в снегу и светлыми молниями прорезали тьму, а за первой звездой, как верные слуги, несчетной чередой выходили на небо другие, и небо, покрытое этой светлой росой, развернулось над миром голубым покровом, утыканным серебряными гвоздями.

— Время ужинать. Слово стало плотью, — сказал Рох.

Все вернулись в дом и уселись вокруг стола.

На первом месте сел Борына, за ним — Доминикова с сыновьями, Рох, Петрик и Витек рядом с Юзей. Одна только Ягуса присаживалась ненадолго, — ей надо было подавать.

Торжественная тишина наступила в комнате.

Борына, перекрестясь, разделил облатку между всеми; ее ели благоговейно, как святое причастие.

И хотя все были голодны, потому что весь день ничего не ели, кроме сухого хлеба, ужинали не торопясь и чинно.

На первое был свекольный борщ с грибами и целыми картофелинами, затем сельди, обваленные в муке и поджаренные на конопляном масле, пшениные клецки с маком, за клецками — капуста с грибами, политая постным маслом, а напоследок Ягуся подала настоящее лакомство — лепешки из гречневой муки с медом, жаренные в маковом масле. И все это заедали простым хлебом, потому что ни ватрушек, ни пирогов в этот день есть не полагалось: они были на молоке и коровьем масле.

Ужин тянулся долго, и редко кто-нибудь произносил слово: слышен был только стук ложек и чавканье. Борына часто срывался с места, чтобы помочь Ягусе, и старуха его даже побранила:

— Сидите, ничего ей не сделается, не скоро еще... Она первое Рождество на своем хозяйстве справляет, так пусть приучается.

Лапа тихонько скулил, тыкался мордой всем в колени и ластился, словно прося, чтобы и его поскорее накормили. Аист, у которого было свое место в снях, часто стучал клювом в стену и громко курлыкал, а куры откликались с насестов.

Еще ужин не кончился, когда вдруг постучали в окно.

— Влезет в дом и уже на весь год останется! — закричала Доминикова.

Все опустили ложки и с беспокойством прислушивались. Стук повторился.

— Кубина душа! — шепнула Юзя.

— Не болтай глупостей этот, верно, нищий. В такой день, как сегодня, не должно быть голодных и бездомных, — промолвил Рох и пошел отворять.

Это пришла Ягустинка. Она смиренно остановилась на пороге и сквозь слезы, градом катившиеся из глаз, тихо спросила:

— Приютите меня где-нибудь и дайте хоть то, что собаке бросаете. Пожалейте сироту... Думала, дети меня позовут... Ждала... В хате мороз... Напрасно я мерзла, напрасно ждала... Иисусе! А теперь вот, как нищенка... дети родные... одну меня оставили, без крошки хлеба. Хуже собаки... А у них там весело, шумно, полно народу... Ходила я вокруг дома... в окна заглядывала. Все напрасно...

— Садись с нами. Надо было сразу с вечера прийти, не дожидаться милости от детей. Вот в гроб они тебе охотно последние гвозди вколотят, чтобы знать наверное, что ты уже не встанешь!

И Борына с готовностью указал ей место подле себя. Но Ягустинке кусок не шел в горло, хотя Ягуся ей ничего не жалела и угощала от всего сердца. Она сидела молча, съежившись, уйдя в себя, и только вздрагивавшие плечи выдавали муку, терзавшую ее сердце.

Тихо было в избе, все сидели растроганные, торжественные, словно среди них лежал в яслях младенец Иисус.

Большой огонь весело трещал в печи и освещал всю горницу, блестели образа, розовели замерзшие стекла. После ужина все сели в ряд перед огнем и тихо разговаривали.

Потом Ягуся сварила кофе, и его пили не спеша. Рох вынул из-за пазухи книжку, обмотанную четками, и начал читать вслух, тихим, взволнованным голосом:

— "...Дева родила сына. В земле Иудейской, в Вифлееме, родился Господь в бедности, на сене, в убогом хлеву среди ягнят, и они в эту радостную тихую ночь были ему братьями. И та самая звезда, что и сегодня светит, сияла в тот час для святого младенца и указывала дорогу трем волхвам, которые спешили с дарами из дальних стран, из-за безбрежных морей, из-за суровых гор, чтобы потом свидетельствовать об истине".

Долго Рох читал это сказание, и голос его креп, становился певучим, как будто он служил обедню в костеле, а все сидели и слушали в благоговейном молчании.

"Эх, Иисусе, любимый, пришлось тебе родиться в убогом хлеву, в дальних краях, среди поганых еретиков, и в такой мороз, бедное святое дитячко!" — думали они, и думы их уносились, как птицы, в ту землю святую, к тем яслям, над которыми пели ангелы, припадали к ножкам младенца Иисуса, отдавались ему на веки вечные.

Впечатлительная и добрая Юзя горько плакала над злой долей Иисуса, плакала и Ягуся, закрыв лицо руками, и слезы текли у нее сквозь пальцы. Чтобы скрыть их, она пряталась за спину Енджика, а тот слушал с открытым ртом и, дивясь всему услышанному, поминутно дергал Шимека за кафтан и вскрикивал:

— Ишь ты! Слышишь, Шимек?

Но сразу умолкал под грозным взглядом матери.

— Даже колыбельки не было у горемычного!

— Просто чудо, что не замерз!

— И как это Иисус захотел столько вытерпеть!

Так они рассуждали, когда Рох кончил, а он им пояснял:

— Это потому, что он только муками своими и жертвой мог спасти людей. Если бы не он, давно нечистый завладел бы миром.

— Он и так у нас немалую силу имеет, — пробормотала Ягустинка.

— Властвуют над людьми грех да злоба, а они, кумовья черту!

— Э, кому это ведомо!.. Одно мы знаем — что человеком злая судьба правит, вот и мучайся и терпи...

— Грешно так говорить, это вас злость на детей ослепила, — сурово пожурил ее Рох, и она больше не спорила.

Примолкли в раздумье и остальные, а Шимек встал с места и хотел было незаметно выйти.

— Куда это ты так спешишь? — прошипела Доминикова, от которой ничто не могло укрыться.

— Жарко здесь, похожу по деревне, — в испуге пробормотал Шимек.

— К Настке несет тебя?

— Ну, и что? Не запретите, не удержите! — сказал он уже резко, но все-таки бросил шапку на сундук.

— Домой ступайте оба с Енджиком, оставили хату на волю божию! За коровами присмотрите и ждите меня, я найду за вами, и все вместе в костел пойдем, — приказывала Доминикова. Но сыновьям не хотелось сидеть в пустой хате, и они предпочли остаться здесь, а она их больше не гнала. Через минуту она поднялась и взяла со стола облатку.

— Витек, зажги фонарь, пойдем к коровам! В ночь Рождества всякая скотина понимает человеческую речь и может говорить — оттого, что среди них родился Сын божий. Если с ними заговорит безгрешный человек, они отвечают человеческим голосом. В эту ночь звери людям равны, чувствуют то же, что и люди. Значит, надо с ними облатками поделиться.

Все отправились в хлев, — Витек с фонарем шел впереди.

Коровы лежали рядом и медленно жевали жвачку, но свет и голоса их встревожили, они стали мычать, грузно приподниматься и поворачивать большие тяжелые головы.

— Ты хозяйка, Ягуся, значит тебе и разделить между ними. Они у тебя болеть не будут и лучше будут телиться. Да помни, завтра утром доить их нельзя, только вечером, а то у них молоко пропадет.

Ягна разломала облатку на пять частей и, нагибаясь к каждой корове, крестила головы между рогами и клала каждой по кусочку облатки в рот, на широкий шершавый язык.

— А лошадям не дадите? — спросила Юзья.

— Нет, им нельзя, они не были при рождении Христа.

Когда возвращались в дом, Рох говорил:

— Каждая тварь, — каждая травка и камешек, даже вот эта звездочка, чуть приметная, — все нынче знает, что Христос родился. Все на свете имеет душу, все ждет своего часа. Самый маленький червячок, всякая былинка свою службу несет и по-своему приобщается к славе божией. И только в эту ночь, единственную в году, все просыпается, вслушивается и ждет, когда Господь скажет: "Встань, оживи, душа!" И приходит час этот для одних, а для других еще нет, и они опять лягут в прах и будут терпеливо ожидать рассвета — в виде ли камней, или воды, земли, деревьев, кому как Бог определил!

Все молча слушали Роха, размышляя над его словами, только Борыне и Доминиковой не верилось, что это правда, и, как они ни раздумывали, а понять этого не могли. Конечно, воля господня неисповедима и творит чудеса, но чтобы камни и деревья имели душу!.. Нет, это у них не укладывалось в голове. И они скоро перестали об этом думать, так как пришло все семейство кузнеца.

— Посидим у вас, отец, и все вместе пойдем в костел, — сказал кузнец.

— Садитесь, садитесь, вместе веселее! Вот и вся наша семья в сборе, только Гжели нет.

Юзья сердито посмотрела на отца: она подумала об Антеке и Ганке, но сказать ничего не посмела.

Снова все уселись перед огнем, только Петрик остался на дворе — он колот дрова, чтобы хватило топлива на праздники, а Витек носил их охапками и укладывал в сени.

— Да, чуть было не забыл! Догнал меня войт и просил, чтобы Доминикова сейчас же шла к ним — жена у него уже кричит, надрывается, — должно быть, ночью родит.

— А я хотела со всеми в костел идти! Но если ты говоришь, что кричит, — побегу к ней, взгляну. Была я там утром и думала, что она еще несколько дней проходит.

Доминикова пошептала о чем-то с женой кузнеца и ушла к войту. Она не одного человека в деревне вылечила лучше всяких докторов.

А Рох стал рассказывать всякие старые предания, подходящие к этому дню. Рассказал он и такую легенду:

— Давно это было, столько лет назад, сколько прошло от Рождества Христова. Шел богатый мужик с ярмарки, где продал он пару славных телят. Деньги он хорошо спрятал в сапоге, в руках у него была здоровенная палка, да и сам он был силен, — пожалуй, первый силач в их деревне. Однако он торопился до ночи попасть домой, потому что в те времена в лесах скрывались разбойники и не давали проходу добрым людям.

Было это, должно быть, в летнюю пору — лес стоял зеленый, полный ароматов и веселого гомона. Но вдруг поднялся сильный ветер, и лес зашумел верхушками. Мужик шел быстро, как только мог, и со страхом озирался вокруг, да ничего такого не примечал. Стояли себе елка за елкой, дуб за дубом, сосна за сосной, и нигде ни живой души, только птички летали меж деревьев. А ему все страшнее становилось, потому что он проходил мимо креста, через такую чащу, куда и глаз не проникал, а в этом-то месте и нападали на путников разбойники. Он прочитал вслух молитву и побежал во весь дух.

Уже он благополучно выбрался из высокого леса и шел меж мелких сосенок и кустов можжевельника, уже впереди колыхались зеленые поля и слышал он плеск реки, пенье жаворонков, уже и людей увидел вдали, шедших за плугами, и даже аистов, которые вереницей тянулись к болотам. Уже донес до него ветер аромат цветущих вишневых садов... как вдруг из последних кустов выскочили разбойники! Их было двенадцать, и все с ножами! Мужик защищался, но они скоро его одолели, а так как он не хотел отдать деньги по доброй воле и кричал, они повалили его на землю и уже занесли ножи, чтобы его зарезать, но вдруг окаменели все на месте, как стояли, с занесенными ножами, согнутые, недвижимые и страшные. И все вокруг в тот же миг остановилось. Птицы замолкли и повисли в воздухе, реки перестали течь, не двигалось солнце, ветер утих. Деревья, как их пригнул ветер, так и остались... И колосья тоже. Аисты словно вросли в небо распростертыми крыльями. Даже пахарь в поле застыл с поднятым кнутом. Весь мир в одно мгновение окаменел.

Неизвестно, как долго это продолжалось, но вдруг раздалось над землей пение ангелов:

Бог родится, зло теряет силу!

И все сразу ожило, задвигалось, но разбойники не тронули мужика, увидев в этом чуде предостережение. И пошли за голосами ангельскими к хлеву в Вифлееме поклониться новорожденному вместе со всем, что живет на земле и в воздухе.

Дивились все тому, что рассказывал Рох, а после него и Борына и кузнец стали припоминать всякие сказания.

В конце концов Ягустинка, все время молчавшая, сказала резко:

— Мелете тут, мелете, а только и пользы от этого, что время скорее проходит! Неужели правда, что когда-то с неба сходили благодетели разные и не давали погибнуть бедным и обиженным? Так почему же теперь таких что-то не видно? Или сейчас на свете меньше горя, меньше нужды, меньше мук сердечных? Человек — все равно что пташка беззащитная, задушит ее ястреб, или зверь какой, или голод, или смерть сама прикончит, — а вы тут толкуете о милосердии, тешите глупых людей да обманываете, что придет избавление! Не

избавление придет, а антихрист! Вот этот нам покажет справедливый суд, этот смилуется над нами, как ястреб над цыпленком.

Рох вскочил с места и закричал:

— Женщина, не богохульствуй, не грехи! Не слушай наущений дьявола, иначе будешь гореть в геенне огненной!

Тем временем Витек, сильно взволнованный открытием, что в эту ночь коровы могут говорить по-человечьи, потихоньку вызвал из комнаты Юзьку, и оба побежали в хлев.

Держась за руки, дрожа от страха и поминутно крестясь, они шмыгнули в коровник...

Стали на колени около самой большой коровы, как бы матери всего хлева. Они еле дышали от волнения, слезы набегали на глаза, их души трепетали в священном ужасе, ибо они в сердечной простоте всему верили. Витек нагнулся к самому уху коровы и дрожащим голосом шепнул:

— Сивуля! Сивуля!

А Сивуля не отозвалась ни единым словом, только сопела, жевала, шевеля губами...

— Что же это с ней, отчего она не отвечает? Может, ее Бог покарал?

Они стали на колени около другой, и опять Витек позвал, уже чуть не плача:

— Пятнуха! Пятнуха!

Оба пригнулись к ее морде и слушали, затаив дыхание, но ничего не услышали, ни одного слова.

— Грешные мы, видно, вот ничего и не услышим. Ведь они только безгрешным отвечают, а мы грешники!

— Правда, Юзя, правда, грешные мы... Ох, Господи... я у хозяина стащил постромки... и ремень старый и еще... — Витек не мог договорить, огорчение и чувство вины были так сильны, что слезы подкатились к горлу, и он горько заплакал, а Юзька из сочувствия вторила ему, и так они плакали вместе, безутешные. Успокоились только после того, как признались друг другу во всех своих грехах и провинностях.

А в избе никто не заметил их отсутствия, там все пели духовные песни, так как до полуночи в рождественский сочельник не полагается петь коляды.

В другой половине избы старательно мылся и переодевался Петрик. Ягна принесла ему новую одежду, которую он хранил в чулане.

Все даже заахали от удивления, когда парень вошел в комнату: он в первый раз снял шинель и солдатскую форму и стоял перед ними одетый, как они, по-крестьянски.

— Смеялись надо мной, медведем называли, вот я и переоделся, — сказал он конфузясь.

— Ты говор перемени, а не одежу! — бросила Ягустинка.

— Говор сам к нему вернется, — души он, видно, не потерял еще!

— Пять лет на чужой стороне и родной речи не слыхал, так чему же тут удивляться!

Вдруг все замолчали: чистый, резкий звон колокола ворвался в комнату.

— К вечерне звонят, пора собираться!

И скоро вышли все, кроме Ягустинки, которая осталась стеречь дом.

Ночь была морозная, голубая, звездная.

Маленький колокол все звонил, щебетал, как птица, сзывая в костел.

И люди уже выходили из домов — кое-где из открытых дверей молнией сверкал луч света, в других хатах огоньки гасли. В темноте слышались голоса, кашель, скрип снега под ногами, и все чаще в серо-синем сумраке ночи мелькали фигуры людей, толпами шли они по дороге, и говор разносился в сухом воздухе.

Все ушли в костел, дома остались только совсем дряхлые старики, больные и калеки.

Уже издали видны были ярко освещенные окна и раскрытые настежь главные двери костела, — в них, как вода, вливался и вливался народ. А костел был весь убран елками и сосенками — словно вырос здесь густой лес, заплел белые стены, разрастался вокруг алтарей, поднимался из-за скамей и почти достигал верхушками сводов. Лес качался под напором живой волны людей, и пар от дыхания окутывал его туманом, сквозь который едва мерцали свечи у алтарей.

А народ все валил и валил без конца.

Пришли гурьбой крестьяне из самых Польных Рудек. Они шагали плечо к плечу, громко стуча сапогами, — мужики все были рослые, широкоплечие, белокурые, в синих кафтанах, а женщины все до единой красавицы, все в красных платочках поверх чепчиков.

По двое, по трое подходили мужики из Модлиц — беднота, тщедушные такие, в серых заплатанных кафтанах, с палками, потому что шли они пешком. В корчмах всегда над ними шутили, что они питаются одними пескарями. Жили они в низинах, среди болот, и от них пахло торфяным дымом.

Прибывал народ и с Воли — целыми семьями, как кусты можжевельника, которые растут всегда тесной группой. Вольские мужики были все невысокие, толстые, как набитые мешки, но подвижные, говоруны, кляузники и озорники изрядные, частенько пошаливавшие в чужом лесу. Кафтаны у них были серые с черными шнурами и красными кушаками.

Пришла и репецкая шляхта, у которой, как говорится, ни кола, ни двора, — одна корова на пятерых и одна шапка на троих. Они шли большой компанией, молчаливые, смотрели на всех исподлобья, свысока, а женщины их, разодетые по-городскому, очень красивые, белолицые, говорливые, шли посередине, под строгим наблюдением мужей и отцов.

Вслед за ними шли люди из Пшиленка, — словно двигался высокий сосновый бор: все рослые, статные, сильные. А нарядные такие, что в глазах рябило! Кафтаны на них были белые, жилеты красные, ленты на рубахах зеленые, штаны желтые в полосах, и шли они посередине, никому не уступая дороги, ни на кого не глядя, прямо к алтарю.

И уже почти последними, словно помещики, вошли мужики дембицкие. Их было немного, и входили они поодиночке, важно рассаживались на скамьях перед главным алтарем, — гордые своим богатством, они считали себя выше всех. Женщины их пришли с молитвенниками, в белых чепчиках, подвязанных под подбородком, в казакинах тонкого сукна.

Потом еще пришли люди из дальних деревень, из таких-то поселков, из лесных избушек, из шалашей лесорубов, из усадеб — счету им не было.

И среди этой густой толпы, шумевшей, как лес, белели кафтаны липецких мужиков, краснели платки их баб.

Костел был битком набит до самого последнего уголка в притворе, и тем, кто пришел последним, пришлось молиться на морозе, за дверью.

Ксендз вышел служить первую литургию. Заиграл орган, толпа заволновалась, и все стали на колени.

Наступила тишина, люди молились, не сводя глаз с ксендза и свечи, пылавшей высоко над алтарем. Орган гудел тихо и проникновенно, ксендз по временам поворачивался лицом к молящимся, простирал руки, громко произносил латинские слова, и люди тоже протягивали вперед руки, глубоко вздыхали, склонялись в набожном покаянии, били себя в грудь и горячо молились.

Когда служба кончилась, ксендз взошел на амвон и стал читать длинную проповедь: говорил о сегодняшнем священном дне, предостерегал от зла. Потрясая руками корил свою паству суровыми словами, а люди вздыхали, каялись про себя, задумывались, а кто почувствительнее, особенно женщины, — плакали. Ксендз говорил горячо, слова его шли прямо в душу — разумеется тем, кто его слушал, ибо много было и таких, которые дремали, разморенные духотой.

И только перед второй вечерней снова загремел орган, и ксендз запел:

В яслях он лежит.

Кто же поспешит...

Толпа зашумела, вставая с колен, и подхватила мощным хором:

...поклониться младенцу!

Задрожали в костеле деревья, замигали свечи от этого могучего вихря голосов.

Когда прослушали вторую службу, органист начал наигрывать коляды на такой веселый плясовой мотив, что трудно было на месте устоять, все вертелись, притопывали, смотрели вверх, на хоры, и весело подпевали органу.

Один только Антек не пел вместе с другими. Он пришел с женой, со Стахом и Веронкой, и они прошли вперед, а он остался у задних скамей. Он не хотел садиться на свое прежнее место перед алтарем, между богачами, и осматривался, ища, где бы сесть, когда вдруг увидел отца со всей семьей, — они проталкивались посреди костела, и Ягна шла впереди всех.

Укрывшись под елкой, Антек уже не спускал с нее глаз. Благодаря высокому росту она видна была издали. Она села на скамью с края, у самого прохода. Антек, не думая, не сознавая, что делает, стал энергично проталкиваться через толпу, пока не оказался рядом с Ягной, и, когда все стали на колени, он тоже стал и наклонился так низко, что почти касался головой колен Ягны.

Она не сразу его заметила, — витая свеча, при которой она читала молитвенник, светила тускло, а ветви елей заслоняли все вокруг. Только когда вынесли дароносицу и Ягна опустилась на колени и, ударяя себя в грудь, наклонила голову, она бессознательно глянула в сторону — и сердце ее замерло. Она обомлела от радости, не смела шевельнуться, не смела взглянуть еще раз, ей казалось, что это видение, сон — и только. Она закрыла глаза и долго-долго стояла на коленях, склоняясь до земли, почти в обмороке от волнения. И вдруг села на место и взглянула прямо в лицо Антеку.

Да, это был он, Антек, сильно похудевший, с лицом мрачным и таким измученным, что она это увидела даже в полумраке. Его большие, смелые и всегда суровые глаза смотрели сейчас так нежно, полны были такого горя! У Ягны сердце сжалось от тревоги и сострадания, слезы подступили к глазам.

Она сидела неподвижно и прямо, как другие женщины, смотрела в молитвенник, но не различала ни одной буквы, не видела даже страниц, ничего: страдальческие глаза Антека, горящие, печальные глаза, стояли перед ней, сияли, как звезды, заслоняли весь свет, и она забылась, утонула в них вся, а он все еще стоял подле нее на коленях. Она слышала его прерывистое горячее дыхание, ощущала ту сладкую, ту страшную силу, что шла от него прямо к ней в сердце, связывала крепко, пронизывала страхом и блаженством, дрожью, от которой можно было сойти с ума. В ней трепетала каждая жилка, а сердце билось, как птица, которой озорники пригвоздили к стене крылья!

Кончилась служба, проповедь, вторая служба, люди пели хором, молились, вздыхали, плакали, — а эти двое, словно оторванные от всего мира, слышали, видели, чувствовали только друг друга.

Страх, радость, любовь, воспоминания, обещания, клятвы и страстные желания попеременно рождались в них, шли от сердца к сердцу, сплетались, и оба чувствовали одно и то же, одинаковым огнем горели их глаза, одним и тем же бились сердца.

Антек придвинулся еще ближе, прижался плечом к ее бедру, так что Ягна едва не лишилась чувств, и лицо ее вспыхнуло жарким румянцем, а когда она опять опустилась на колени, он шепнул ей в самое ухо горячими, как огонь, губами:

— Ягусь! Ягусь!

Она вздрогнула и чуть не заплакала от волнения — такой сладкой истомой, такой радостью наполнил ее этот голос!

— Выйди как-нибудь за сеновал... Я буду ждать каждый вечер... Не бойся... Мне очень надо с тобой поговорить ... Выйди! — шептал он горячо и так близко, что его дыхание обжигало ей лицо.

Ягна не отвечала — силы ей изменили, ни один звук не выходил из горла, а сердце так колотилось, что, должно быть, его стук слышали люди вокруг. Она немного приподнялась, словно хотела уже сейчас идти туда, куда он просит, куда зовет во имя любви... туда, за сеновал.

Загремела первая коляда, задрожал костел от шума, — и Ягна опомнилась, села на скамью, осмотрелась вокруг.

Антека уже не было, он незаметно отодвинулся в сторону, вышел и пробрался на кладбище.

Долго стоял он на морозе под колокольной, набирая воздуху в легкие и постепенно приходя в себя. И такая радость распирала ему сердце, такой вихрь сил ощущал он в себе! Он не слышал пения, которое несло из дверей костела, не слышал каких-то тихих жалобных

звуков, раздававшихся на колокольне. Набрал горсть снега и жадно пососал, потом перескочил через забор на дорогу и помчался в поле.

V

Семья Борыны только на рассвете вернулась из костела, и не прошло и десяти минут, как весь дом огласился звучным храпом. Одна Ягуся не спала, как ни была она утомлена. Напрасно зарывалась она в подушки, напрасно закрывала глаза и даже натягивала перину на голову — ничего не помогало, сон не приходил, только какой-то кошмар навалился на грудь, и она не могла ни вздохнуть, ни крикнуть, ни вскочить с постели. Она лежала неподвижно, в том оцепенении полусна, когда мозг бессилен в чем-нибудь разобраться, а душа словно соткана из воспоминаний и принимает в себя весь мир, носится над землей, погруженная в созерцание чудес, одевается в солнечные лучи, а сама-то она подобна лишь отражению в чистой, но бурной воде. Так было и с Ягнуей; хоть она и не заснула, но все исчезло из ее сознания, и, как птица, носилась ее душа в дивном царстве невозвратных дней, умерших часов, живых лишь в ее памяти. Ей чудилось, что она в костеле и рядом стоит на коленях Антек и все что-то говорит, и жжет ее глазами, жжет речами своими, наполняет сладкой болью и страхом... И вдруг раздается пение, звучит орган так проникновенно, что каждая нота отдается в ее сердце. Потом видела она перед собой багровое и грозное лицо ксендза, его простертые над толпой — руки... горящие свечи...

За этими приходили иные, давние воспоминания. Свидания с ним, поцелуи, объятия... Ее кидало в жар, от страстного томления она вся вытягивалась и крепко прижималась к подушкам. И вдруг ясно слышала: "Выйди! Выйди!" И она приподнималась и в мыслях шла, шла... кралась под деревьями, во мраке, вся трепеща от страха, — и чьи-то крики летели за ней, и ужасом веяло из темноты.

Так все время видения сменяли друг друга, и она не могла очнуться и вырваться из-под их власти. Видно, домовый ее душил или нечистый искушал и подстрекал к греху!

Было уже совсем светло, когда Ягна встала с постели, но она чувствовала себя точно снятой с креста, все кости ныли. Она была бледна, рассеянна и невыразимо печальна.

Мороз немного ослабел, было пасмурно, временами поросил снег, а временами поднимался сильный ветер, трепал деревья, засыпая их тучами снежной пыли, выл на дорогах. Но деревья так и гудели праздничным весельем, люди сновали по улицам, мчались в санях, собирались во дворах или ходили друг к другу в гости, а ребятишки целым табуном, как жеребята на выгоне, носились на льду озера, и крики их слышны были по всей деревне.

А Ягуся была невесела.

Огонь шумел в печи — но ей было холодно. Тоскливо было у нее на душе, несмотря на неумолчный гам в избе и Юзины песни. Она чувствовала себя чужой в кругу своей семьи, такой чужой, что с испугом поглядывала на них, как будто очутилась среди каких-то разбойников.

И часто, не в силах бороться с собой, вслушивалась она в горячий шепот Антека, властно и неотступно звучащий в ее сердце.

"Таких постигнет гнев божий, и вечные муки их ожидают", — слыхала она порой голос ксендза, видела перед собой его красное лицо и протянутые с угрозой руки. И страшно ей становилось, она цепенела в глубоком сознании своей вины. "Нет, не выйду к нему, грех это,

смертный грех", — твердила она себе, укрепляя этим словом свою решимость, отгораживаясь им от соблазна. А душа кричала от тоски и муки, рвалась к Антеку, рвалась всей силой, всей жаждой жизни, как дерево, придавленное обвалом, весной тянется к солнцу как тянется к нему земля, пробужденная его первым теплым дыханием...

Но боязнь греха была еще сильнее всего, и Ягна взяла себя в руки. Она старалась не думать об Антеке, забыть его навсегда. Она не выходила из дому, не решалась даже во двор выйти, — вдруг он где-нибудь притаился и ждет, и окликнет ее! А устоит ли она тогда, не полетит ли на его зов?

Она принялась хозяйничать, но работы было немного — Юзя уже все сделала. К тому же старик ходил за ней следом и не позволял ей ни до чего дотронуться.

— Да отдохни ты, не надрывайся, а то как бы с тобой прежде времени чего не приключилось!

И она бросала работу, слонялась бесцельно по избе, рассеянно глядела в окна, стояла на крыльце. Ее все сильнее одолевали скука и раздражение, — сердили следившие за нею мужнины глаза, сердил веселый шум в доме, мешал даже бродивший по комнате аист, и она нарочно задевала его юбкой. Наконец, она не выдержала и, улучив минуту, побежала к матери. Она выбрала дорогу напрямик, через озеро, и все-таки тревожно озиралась — не стоит ли где Антек, притаившись за деревом.

Матери дома не было, она забегала утром и опять ушла к жене войта. Енджик курил, пуская дым в печку, и поминутно выбегал на крыльцо взглянуть, не идет ли мать, — потому что Шимек, собираясь на вечеринку, одевался в спальне.

У Ягны настроение переменилось. Как только она очутилась в родном доме, отошли от сердца все терзавшие ее сомнения, она совсем повеселела и незаметно для самой себя занялась хлопотами по хозяйству. Заглянула в коровник, процедила молоко, с утра так и стоявшее в подойнике, насыпала курам зерна, подмела хату, навела всюду порядок и болтала с братьями. Шимек в новом кафтане вышел уже в переднюю комнату и причесывался перед зеркалом.

— Куда это ты?

— На деревню. У Плошки сегодня хлопцы соберутся.

— А мать тебя пустит?

— Я у нее и спрашивать не стану! Хватит, у меня своя голова на плечах и своя воля... Что вздумается, то и сделаю.

— И сделает, непременно сделает! — поддакивал ему Енджик, с беспокойством поглядывая в окно.

— Да, так и знай, сделаю, назло ей сделаю! Пойду к Плошкам, в корчму пойду, с хлопцами пить буду! — задорно выкрикивал Шимек.

— Дай дураку волю, так он, как теленок, понесется вскачь, задрав хвост, хотя ему еще вымя надо сосать! — сказала Ягна тихо, но не спорила с ним, даже когда он стал ругать мать и сыпать угрозами. Впрочем, она почти его не слушала. Пора было возвращаться домой, а ей так не хотелось уходить отсюда! Чуть не плача, она поднялась и пошла.

А дома было еще шумнее, еще веселее прежнего. Прибежала Настка Голуб, и они с Юзькой трещали так, что на улице было слышно.

— Знаешь, веточка моя зацвела! — крикнула Юзя входившей Ягне.

— Какая ветка?

— А та, что я срезала в Андреев день, посадила в песок и держала на печи! Вчера я смотрела, и ни одного цветочка еще не было, а за ночь она вся расцвела — вот, гляди!

Она осторожно принесла горшочек с песком, в котором торчала большая ветка, вся осыпанная прелестными хрупкими цветами.

— Это черешня — цветочки розовые и пахнут! — авторитетным тоном объявил Витек.

— Верно, верно, черешня!

Все обступили Юзю и с бессознательной радостью и восторгом смотрели на благоухающую цветущую веточку.

В эту минуту вошла Ягустинка, уже по-прежнему самоуверенная, дерзкая, говорливая, только и ожидавшая случая задеть кого-нибудь побольнее.

— Зацвела веточка не для тебя, Юзя, тебе еще плетка нужна или что-нибудь подтверже! — сказала она, едва успев переступить порог.

— Нет, для меня! Я ее сама срезала в ночь на Святого Андрея, сама...

— Молода ты еще. Это, видно, Настке она венец сулит, — сказала Ягна.

— В горшок мы с Насткой вместе ее сажали, а срезала я одна, значит для меня она и зацвела! — кричала Юзя, чуть не плача оттого, что не встретила ни у кого поддержки.

— Еще успеешь с парнями хороводиться и у плетней стоять, сперва старшим надо, старшим! — сказала Ягустинка, ни на кого не глядя и улыбаясь Настке. — Ну, тише, Юзя, помолчи! Знаете новость? Магда, что служила у органиста, ночью родила на паперти!

— Да что вы за чудеса рассказываете!

— Если бы чудеса, — а то самая чистая правда! Амброжий шел звонить и наступил на нее...

— Господи Иисусе! И не замерзла?

— Как не замерзнуть? Ребенок — насмерть, а Магда еще дышит. Снесли ее в плебанию и до сих пор в чувство приводят... А лучше бы уж не приводили... Для чего ей жить-то на свете, что ее ждет? Мытарства одни да работа непосильная.

— Матеуш рассказывал, что когда ее от органиста выгнали, она ходила на мельницу и там все дни просиживала, но потом Франек ее побил и прогнал, — будто бы мельник ему так велел.

— А что же ему было с ней делать, — в рамку вставить и на стену повесить? Мужчины все одинаковы: пока не взял — обещал, а взял — и на попятный! Конечно, и Франек виноват, но больше всего виноваты органист и его жена. Покуда Магда здорова была, пахали на ней, как на двух волах, всю работу на нее валили, — а хозяйство у них не малое: одних коров пять, да ребятишек сколько, да свиней, да птицы, да земли сколько! А когда заболела, выгнали! Не люди — звери!

— А зачем она с Франеком связалась! — воскликнула Настка.

— И ты бы то же самое сделала, хотя бы с Яськом, ему бы верила, что он на тебе женится.

Настка возмутилась и стала спорить с Ягустинкой, но вошел Борына, и обе притихли.

— Слышали про Магду? Уже ожила, привели ее в чувство. Амброжий говорит, что еще маленечко — и отправилась бы на тот свет. Рох трет ее снегом и поит чем-то, но, видно, долго ей придется лежать.

— И куда же она денется, бедняжка, куда?

— Козлы должны бы ее к себе взять — ведь она им родня.

— Козлы! Сами тем только и живы, что где-нибудь урвут, выманят или украдут, — на какие же это деньги они ее лечить будут? В деревне столько зажиточных хозяев, столько богачей, а помочь человеку никому не к спеху!

— Ну как же, у хозяев денег куры не клюют, все им с неба падает, только знай раздавай на все стороны! У каждого своих забот довольно, что ему до чужих! Неужели я всех, кому нужда, с дороги буду подбирать, к себе в дом приводить, кормить, лечить да еще, может, докторам платить? Женщина вы старая, а в голове все еще ветер свищет!

— Правда, чужим помогать никто не обязан, но и то сказать — человек не скотина, чтобы под забором околевать.

— Так уж оно есть и так будет. Вы, что ли, можете свет переделать?

— Помню, еще до войны была в деревне больница для бедных — в том доме, где теперь живет органист. Хорошо помню! И платили мужики с морга.

Борына был раздражен и не хотел больше продолжать этот разговор.

— Болтовня ваша ей поможет, как мертвому кадило! — бросил он хмурясь.

— Да уж, конечно, не поможет. Коли у человека в сердце нет жалости к чужому горю, перед ним и плакаться нечего, слезами его не проймешь. Кому живется хорошо, тот думает, что все на свете идет, как следует, как Бог велел!

На это Борына уже ничего не ответил, и Ягустинка заговорила с Насткой:

— Ну, как там у Матеуша бока? Лучше?

— У Матеуша? А что с ним приключилось?

— Неужели не знаете? — воскликнула Настка. — Да ведь еще перед праздником — во вторник, кажется, — ваш Антек его избил. Взял за шиворот, вынес из мельницы да как шваркнет о забор — так четыре жерди в заборе треснули, а Матеуш в реку полетел и чуть не утонул. Вот теперь больной лежит, кровью харкает и шевельнуться не может. Амброжий говорит, что у него печень перевернулась и четыре ребра сломано! Он все время так стонет, так стонет!

Она расплакалась.

При первых словах Настки Ягна рванулась, будто кто полоснул ее ножом, — у нее сразу мелькнула мысль, что ссора вышла из-за нее. Но она снова села на сундук и прижала к лицу Юзину ветку, чтобы свежие лепестки охладили ее пылающие щеки.

Все были удивлены — в доме у Борыны никто ничего не знал. Хотя об этой новости с первого дня говорила вся деревня, но до них она еще не дошла.

— Небось ворон ворону глаз не выклюет! Оба — разбойники! — буркнул Борына и, сердито насупившись, стал подбрасывать дрова в печь.

— Из-за чего они подрались? — спросила немного погодя Ягна у Ягустинки.

— Из-за тебя! — злобно проворчала та.

— Нет, вы правду скажите!

— Правду и говорю. Матеуш хвастал на мельнице перед мужиками, что часто бывал у тебя в спальне, Антек это услышал и вздул его. Грызутся из-за тебя, как кобели из-за суки!

— Вы эти шутки оставьте, нелегко мне их слушать!

— Спроси у людей, коли мне не веришь. Каждый тебе подтвердит. Ведь я же не говорю, что Матеуш правду сказал, а только так он людям рассказывал.

— Врет он, проклятый!

— Разве от злых языков убережешься? Они и после смерти человека в покое не оставят.

— Молодец Антек, что поколотил его! Я бы еще подбавила! — яростно прошипела Ягна.

— Смотрите-ка, наша курочка когти ястребиные пустила!

— За вранье я хоть убить готова! Врет он, подлец!

— И я это самое всем говорю, да вот не верят и косточки тебе перемывают.

— Замолчат, когда им Антек языки поукоротит.

— Что же, он за тебя с целым светом воевать будет? — ядовито ухмыльнулась Ягустинка.

— А вы, как Иуда, — поддакиваете, а сами рады чужой беде!

Ягуся ужасно рассердилась — пожалуй, впервые в жизни она была в таком гневе. Она так злилась на Матеуша, что готова была сейчас бежать к нему и ногтями вцепиться ему в лицо. Не снести бы ей, кажется, бремени этой злобы, если бы не вспоминался Антек и его великодушие. Всю ее заливала огромная нежность к нему, невыразимая благодарность за то, что он вступился за нее, не дал в обиду. И все-таки она так металась по избе, так из-за каждого пустяка кричала на Юзю и Витека, что старик забеспокоился, подсел к ней, стал гладить по лицу и спрашивать:

— Что ты, Ягусь? Что с тобой?

— А что? Ничего. Отодвиньтесь! На людях вздумали нежничать!

Она резко отстранилась.

"Вот еще, будет меня гладить да обнимать, старый хрен!" — думала она с раздражением. В первый раз ей бросилась в глаза старость мужа, в первый раз проснулось отвращение и глубокая неприязнь, почти ненависть к нему. С тайным злорадством, с презрением приглядывалась она теперь к нему. Он и в самом деле сильно постарел за последнее время, волочил ноги, горбился, руки у него тряслись.

"Дед несчастный! Развалина!"

Она гнала эти мысли о нем, полная нового чувства отвращения, — и тем охотнее думала об Антеке, и уже не защищалась от воспоминаний, от сладостного шепота искушений.

А день тянулся бесконечно, сил не было выдержать! Ягна каждую минуту выходила то на

крыльцо, то в сад за домом и сквозь просветы между деревьями глядела в поле. Или, перегнувшись через плетень, отделявший сад от дороги, тоскующими глазами смотрела вдаль, на снежные поля, на темные леса, но ничего не видела, — так переполняла ее глубокая радость, что он за нее заступился и не позволил ее срамить.

"Такой всех одолеет! Силач! — думала она с умилением. — Приди он сейчас, сию минуту, я бы ему не противилась, нет!"

Сеновал стоял неподалеку, тут же за дорогой, где начиналось поле. В нем чирикали воробьи, они целыми стаями укрывались в большой дыре, проделанной в сене: работнику не хотелось лазить наверх и сбрасывать оттуда сено, как приказывал Борына, и он выдергивал сено понемножку из середины — вот и получилась такая дыра, в которой могли поместиться два-три человека.

"Выйди! Выйди к сеновалу!" — бессознательно повторяла Ягна просьбу Антека.

Зазвонили к вечерне, и она побежала в дом. Ей захотелось пойти одной в костел: она смутно надеялась встретить там Антека.

В костеле его, конечно, не было, но у входа, в притворе, она встретила с Ганкой. Поздоровалась и опустила протянутую к кропильнице руку, чтобы Ганка первая могла омочить пальцы. Но та на приветствие не ответила, не коснулась освященной воды и, проходя мимо, посмотрела на Ягну так, словно камнем ее ударила.

У Ягны даже слезы подступили к глазам от такого оскорбления и явной злобы, но, сев на свое место, она не могла отвести взгляда от бледного, изможденного лица Ганки.

"Жена Антека, а такая дохлятина — кожа да кости! Ну, ну!" — подумала она, но скоро забыла о ней, потому что запел хор и орган играл так чудесно, так тихо и торжественно, что душа Ягны вся растворилась в музыке. Никогда еще ей не было так хорошо в костеле. Она даже не молилась, молитвенник лежал нераскрытым, четки неподвижно висели на пальцах, а она все вздыхала, смотрела, как мрак медленно наплывал из окон, смотрела на образа, на сверкавшую в огне свечей позолоту. Душа ее уносилась в какой-то иной мир, погружалась в эти приглушенные, замирающие звуки, в священный экстаз и черпала в нем глубокое забвение. Она уже не помнила, где находится, и чудилось ей, что святые сходят со стен, идут к ней, светло улыбаясь, простирая к ней благословляющие руки, проносятся над всем народом в костеле, и народ склоняется, как нива под ветром, и веют над ним ризы голубые, алые, светятся милосердные взоры, и звучит невыразимо прекрасная музыка, благодарственная песнь...

Она очнулась, когда кончилась служба и замолк орган, — тишина пробудила ее от сонных мечтаний. Она с сожалением поднялась и вышла вместе с другими. Перед костелом снова столкнулась с Ганкой — та остановилась прямо против нее, как будто хотела что-то сказать, но только взглянула на нее с ненавистью и ушла.

"Дура! Таращит глаза и думает меня этим испугать!" — говорила себе Ягна, возвращаясь домой.

Наступил вечер, тихий, дремотный, праздничный вечер. Было темно, звезды едва светили в мутном небе, мелкий снежок падал медленно, беззвучно, мелькал за окнами, тянулся нескончаемой мохнатой пряжей.

В избе тоже царил тишина, все были какие-то вялые, сонные. Как только смерклось, пришел Шимек, якобы проведать хозяев, а на самом деле — чтобы встретиться с Насткой. Они сидели рядышком и тихо разговаривали. Борыны дома не было. У печи сидела Ягустинка и чистила картошку, а на другой половине Петрик тихонько наигрывал на скрипке что-то такое

жалобное, что даже Лапа по временам повизгивал или протяжно выл. Там же сидели и Витек с Юзей. Ягна, взволнованная печальными звуками скрипки, крикнула Петрику в открытую дверь:

— Перестань, Петрик, от твоей музыки плакать хочется!

— А мне так под музыку сладко спится, — засмеялась Ягустинка.

Скрипка умолкла, и лишь немного погодя ее тихое, едва слышное пение донеслось уже откуда-то из-за конюшен, — туда ушел Петрик и играл еще долго, до поздней ночи.

Ужин был уже почти готов, когда вернулся Борына.

— А жена у войта родила! Суматоха там немалая, столько набилось народу, что Доминикова уже их разгоняет. Надо будет тебе, Ягуся, зайти к ней завтра.

— А я сейчас сбегая, сейчас! — воскликнула Ягна стремительно, вся загоревшись.

— Можно и сейчас. Вместе пойдем.

— Э... Или, пожалуй, лучше завтра? Вы говорите, народу там много? Так я лучше уж днем... Да и снег идет, темень!.. — отнекивалась Ягна, вдруг раздумав идти, а старик и с этим согласился, не настаивал. К тому же пришла жена кузнеца с детьми.

— А где твой?

— В Воле молотилка испортилась, так его туда позвали. Кузнец в усадьбе не может один справиться.

— Что-то частенько он теперь в усадьбу стал ездить! — многозначительно ввернула Ягустинка.

— А вам что до этого?

— Ничего, я только так примечаю и жду, что из этого выйдет...

Тем и кончилось. Никому не хотелось заводить громкий общий разговор, говорили тихо, словно нехотя — после бессонной ночи всех одолевала дремота, даже ужинали без всякого аппетита. То один, то другой с удивлением поглядывал на Ягусю, которая суетилась, приглашала всех есть, когда они уже положили ложки, ни с того ни с сего громко хохотала или, подсаживаясь к девушкам, болтала всякий вздор и, не докончив, бежала за чем-то на другую половину, но уже из сеней возвращалась обратно. Она была в какой-то лихорадке мучительного беспокойства и страха. Вечер тянулся медленно, лениво, томительно, а в ней упорно росло, разгоралось желание побежать за избу... туда... к сеновалу. Но она не могла на это решиться, боялась, что заметят, боялась греха. Она всеми силами старалась овладеть собой и дрожала от муки. Душа в ней выла, как пес на цепи.

"Нет, не могу я, не могу!.. А он, должно быть, уже стоит там, ждет... высматривает меня... может быть, около дома бродит... или где-нибудь в саду притаился и в окна заглядывает, смотрит сейчас на меня! И просит, и сердце у него замирает от обиды, что не вышла я к нему... Побегу, не выдержат больше!.. Хоть на одну минутку, одно слово только ему скажу: уходи, нельзя мне выйти, грех..."

Уже она искала глазами свой платок, уже шла к двери... Но вдруг словно невидимая рука схватила ее за шиворот и удержала на месте: ей было страшно. Да и глаза Ягустинки неотступно следили за ней, как ищейки, и Настка как-то странно на нее посматривала, и старый тоже. "Знают они что-нибудь? Или догадываются? Нет, нет, нынче не выйду, ни за что"

не выйду!"

В конце концов она себя переломила, но была так измучена, что уже не замечала ничего вокруг. Очнулась, только когда Лапа залаял у крыльца. В избе было уже почти пусто, оставались только Ягустинка, дремавшая у печки, да старик. Он смотрел в окно, так как собака лаяла все неистовее.

"Наверное, Антек! Не дождался меня и..." — Ягна в ужасе сорвалась с места.

Но в дверях появился старый Клемб, а за ним вошли медленно, отряхиваясь и сбивая на пороге снег с сапогов, Винцерек, хромой Гжеля, Михал Кабан, Франек Былица, дядя Ганки, криворотый Валентий и Юзеф Вахник.

Борына был удивлен таким нашествием, однако и виду не подал, поздоровался за руку с каждым, попросил гостей садиться, подвигая им лавки, и стал угощать табаком.

Гости сели все в ряд и с удовольствием стали нюхать табак. Кто чихал, кто утирал нос, а кто — глаза: табак был крепкий. Осматривались. Один сказал что-то, другой ответил — толково, подумав, — и началась беседа. Кто говорил о снеге, кто о своих заботах, а кто только вздыхал и сочувственно кивал головой, — и все вместе ловко направляли разговор, понемногу клонили к тому, для чего пришли.

А Борына ерзал на лавке, заглядывал всем в глаза, подъезжал к ним и так и этак, делая все, чтобы у гостей развязались языки.

Но их не так легко было провести. Они сидели в ряд, все седые, бритые, высохшие, все ровесники, крепкие еще, хоть и согбенные до земли старостью и трудами, похожие на обросшие мохом придорожные камни, суровые, кряжистые, упрямые и мудрые. Они остерегались раньше времени высказаться и ходили вокруг да около, как хитрые овчарки, когда они загоняют овец в ворота.

Наконец, Клемб откашлялся, сплюнул и сказал торжественно:

— Что уж тянуть да хитрить! Мы пришли узнать, будете вы с нами заодно или нет?

— Без вас решить не можем.

— Ведь вы первый человек в деревне.

— И умом вас Господь Бог не обидел!

— И хоть должности никакой не занимаете, а в деревне верховодите...

— Каждый с вас пример берет...

— А тут такое дело, что всех касается. Всех нас обидели ...

Так каждый по-своему льстил ему. Борына даже покраснел, развел руками и воскликнул:

— Люди добрые, да ведь не пойму я, с чем вы пришли ко мне?

— Насчет нашего леса, — его после Крещенья рубить будут.

— А я слышал, что на лесопильне уже режут какое-то дерево.

— Это евреи привезли из Рудки, — не знаете, что ли?

— Не знал. Недосуг мне ходить по соседям да новости узнавать.

— А сам небось первый ругал помещика!

— Я думал тогда, что он наш лес продал.

— А чей же он продал? Чей? — крикнул Кабан.

— Тот, что он себе прикупил.

— Продал он и прикупной и наш за Волчьим Долом и будет его рубить.

— Без нашего согласия не будет!

— Как бы не так! Уже лес размерен, деревья все пометили, и после Крещенья начнут рубить.

— А коли так, надо ехать с жалобой к комиссару, — сказал Борына, подумав.

— Пока солнце взойдет, роса глаза выест! — буркнул Кабан.

— Кто при смерти, тому доктора ни к чему! — подхватил криворотый Валенсий.

— Жалобой этой мы только того добьемся, что прежде чем начальство приедет и разберет дело, от нашего леса и пня не останется! Помните, как было в Дембице?

— Помещик — что волк, если одну овцу отведаст, — так непременно все стадо перетаскает.

— А не надо ему давать потачки!

— Правильно вы говорите, Мацей. Завтра сразу после обедни соберутся у меня хозяева, чтобы всем вместе это дело решить. Вот мы и пришли вас звать на совет.

— Все придут?

— Да. Прямо из костела.

— Завтра... А мне завтра обязательно надо в Волю ехать. Правду вам говорю — там родня хозяйство делит, да не поладили меж собой, тяжбу затевают, так я обещал их рассудить, чтобы сиротам обиды не вышло. Придется ехать. На все, что постановите, я соглашусь, как если бы решал с вами вместе.

Старики вышли не совсем довольными — хотя Борына их поддержал и заранее на все соглашался, они ясно чувствовали, что он хитрит, что он не станет открыто на их сторону.

"Ладно, решайте себе, да без меня! — думал между тем Борына. — Ни войт, ни мельник, и никто из первых хозяев с вами заодно не будут! Пускай помещик увидит, что я против него не иду, тогда он скорее заплатит мне за корову... и отдельно со мной сговорится. Дураки! Дать бы ему срубить все до последней елочки, а потом только поднять шум, в суд подать, арест наложить, прижать его как следует — так он дал бы больше, чем просили. Пусть совещаются мужики, а я погожу в сторонке, мне не к спеху!"

Все в доме уже легли, а Мацей все сидел, писал мелом на лавке, подсчитывал и до глубокой ночи размышлял.

На другое утро, тотчас после завтрака, приказал он работнику запрягать лошадей в сани.

— Ягуся, я еду в Волю, присматривай тут за домом, а если будут спрашивать, всем говори, что мне непременно надо было ехать. Да зайди к жене войта.

— Поздно вернетесь? — спросила Ягна с тайной радостью.

— К вечеру, а может быть, и еще позднее.

Он стал одеваться, а Ягна приносила ему из чулана разную одежду, завязала ленты у ворота рубахи, помогала собираться и с лихорадочным нетерпением гнала Петрика запрягать. Ее бил озноб, она не могла устоять на месте, радость шумела в ней, радость, что муж уедет на целый день, вернется поздно, может быть, ночью, а она останется одна и в сумерки... в сумерки выйдет за стог... Выйдет! Эх! Уже рвалась душа туда, смеялись глаза, сами тянулись вперед руки, грудь поднималась, и жаркими молниями вспыхивала в ней страсть и заливала всю ее блаженной мукой... Но вдруг непонятный страх сжал ей сердце, она притихла, ушла в себя и блуждающими глазами следила за Бoryной, пока он опоясывался, надевал шапку и отдавал какие-то распоряжения Витеку.

— Возьмите меня с собой! — сказала она вдруг тихо.

— Как так? А на кого же дом останется? — возразил он, очень удивившись.

— Возьмите! Сегодня праздник, день Святого Стефана, делать дома нечего, возьмите! Скучно мне что-то! — Она просила так горячо, что Бoryна уступил и велел ей собираться.

Через несколько минут она была готова, и они помчались так быстро, что облако снежной пыли вилось за санями.

## VI

— А я уж думал, что ты где-то в снегу увязла! — сказал Бoryна едко.

— Да разве дойдешь скоро в этакую вьюгу! Я ошупью шла, — снег так сыплет, что глаз открыть нельзя, на дорогах — сугробы, метель, в двух шагах ничего не видно.

— Мать дома?

— Дома, конечно, — куда же она пойдет в такую собачью погоду? Утром была у Козлов — с Магдой совсем худо, на ладан дышит! Мать ничем ей помочь не может, — рассказывала Ягна, стряхивая с себя снег.

— А на деревне что слыхать? — спросил Бoryна с усмешечкой.

— Ступайте, расспросите, так узнаете, а я за новостями не бегала.

— Не знаешь, помещик приехал?

— Собаку в такую вьюгу не выгонишь, а помещику, ехать захочется, как же!

— Кому ехать надо, того и метель не испугает.

— Конечно, кому нужна... — недоверчиво усмехнулась Ягна.

— Он сам обещал, никто его не просил, — сказал Бoryна сурово. Он отложил рубанок, встал с табуретки и, подойдя к окну, выглянул наружу, но на дворе нельзя было разглядеть даже плетней и деревьев.

— Кажется, снег перестал сыпать, — заметил он уже мягче.

— Перестал. Только ветер так и хлещет, метель такая, что дороги не видно, — сказала Ягна.

Отогрев руки, она принялась перематывать лен с веретена на мотовило, а старик опять сел за свою работу, но все нетерпеливее поглядывал в окно и прислушивался.

— А где же Юзька? — спросил он немного погодя.

— У Настки, должно быть, — все туда бегают.

— Вот егоза, пяти минут дома не усидит!

— Говорит, скучно ей здесь.

— Еще чего! Будет бегать забав искать!

— Это она только для того и делает, чтобы от работы отлынивать.

— А ты что ж ей не прикажешь?

— Говорила не раз и не два, а она на меня орет, как на собаку. Покуда вы ее не приструните, ей плевать на мои приказы.

Борына пропустил эти жалобы мимо ушей. Он все настороженнее прислушивался, но ни один звук не доходил со двора, только вьюга выла и толкалась в стены так, что дом трещал и побряхтывал.

— Пойдете? — тихо спросила Ягна.

Он не ответил; в эту минуту отворилась дверь в сенях, в комнату, запыхавшись, влетел Витек и уже с порога крикнул:

— Пан приехал!

— Давно? Закрывай скорей дверь!

— Только что. Еще бубенчики слышны.

— Один ехал?

— Не знаю. Так метет, что я только лошадей разглядел.

— Беги сейчас же и разузнай, где он остановился.

— Пойдете к нему? — спросила Ягна, притаив дыхание.

— Подожду, пока позовут, напрашиваться не стану. Ну, да они без меня ничего не надумают.

Оба замолчали. Ягна мотала пряжу, считая нитки и связывая их в мотки, а старик, у которого работа из рук валилась, встал и начал одеваться; он еще не успел надеть тулуп, как примчался Витек.

— Пан сидит у мельника, в той комнате, что окнами на улицу, а лошади стоят во дворе.

— Ты где это весь в снегу вывалялся?

— Меня ветер в сугроб свалил.

— Врешь небось. С мальчишками, верно, в снежки играл.

— Нет, ей-богу, ветер меня свалил.

— Рви одежду, рви, сукин сын! Вотогрею ремнем, так будешь помнить!

— Да я же правду говорю! Такая вьюга, что на ногах не устоять.

— Отойди от печи, ночью будешь выгреваться! Скажи Петрику, чтобы шел молотить, а ты ему помоги. Не гоняй по деревне, высунув язык, как собачонка!

— Сейчас, я только еще дров принесу, хозяйка велела... — жалобно сказал Витек, огорченный тем, что ему не дали рассказать обо всем виденном. Он повертелся еще в избе, свистнул Лапу, но тот свернулся в клубок и даже не подумал встать, так что пришлось идти одному. Борына, уже совсем одетый, слонялся из угла в угол, поправлял огонь в печи, заходил в чулан, поглядывал в окно или выходил на крыльцо и нетерпеливо ждал, но никто не приходил его звать.

— Может, забыли, — предположила Ягна.

— Ну да — обо мне забудут!

— Вы кузнецу верите, а он — плут первейший.

— Дура! Не говори о том, чего не понимаешь!

Обиженная Ягна замолчала, и тщетно он после этого ласково заговаривал с ней — она не отвечала. В конце концов он и сам разозлился, надел шапку и вышел, хлопнув дверью.

Ягна наладила кудель и, сев у окна, пряла, время от времени поглядывая в окно.

Ветер выл страшно, снежные вихри высотой с дом или дерево крутились повсюду и налетали на стены, все в избе дрожало, брнчала в шкафике посуда, качались у потолка украшения, вырезанные из облаток. От окон и дверей тянуло таким холодом, что Лапа то и дело искал себе местечка потеплее, а Ягна куталась в платок.

Тихонько вошел со двора Витек и позвал робко:

— Хозяйка!

— Чего тебе?

— Пан на каких конях приехал! Не кони — дьяволы! Вороные, в красных сетках, с перьями на головах, а на дуге бубенчики так и сияют золотом, как образа в костеле! А мчались как — ветру за ними не угнаться!

— Эко диво! Лошади-то панские, не наши деревенские.

— Господи Иисусе! Я таких орлов никогда и не видывал!

— Еще бы, ничего не делают и один чистый овес едят!

— Наверное, оттого. А что если бы нашу кобылку откормить хорошенько, подрезать ей хвост, гриву заплести и запрячь ее в пару с войтовой Сивкой — они так же скакали бы, как эти, да?

Лапа вдруг сорвался с места, насторожил уши и залаял.

— Глянь-ка, кто на крыльце?

Но, раньше чем Витек успел это сделать, в дверях появился какой-то человек, весь в снегу. Поздоровался, похлопал раз — другой шапкой о сапог, чтобы стряхнуть снег, и обвел глазами комнату.

— Пустите погреться и отдохнуть! — попросил он.

— Садитесь. Витек, подбрось в огонь хворосту, — в замешательстве сказала Ягна.

Незнакомец сел перед огнем и, немного отогревшись, закурил трубку.

— Это Борыны дом, Мацея Борыны? — спросил он, достав из кармана какую-то бумажку и заглянув в нее.

— Да, Борыны, — ответила Ягна встревожившись, — она решила, что это кто-нибудь из начальства.

— Отец дома?

— Муж он мне. На деревню пошел.

— Я его подожду. Позвольте посидеть у печи — промерз я сильно.

— Сидите себе, ни лавки, ни огня не убудет.

Незнакомец снял тулуп, — он, видимо, очень озяб, весь дрожал, потирал руки и все ближе придвигался к огню.

— Тяжелая, тяжелая зима в этом году, — сказал он вполголоса.

— Да, не легкая. Может, молока горячего вам принести — скорее согреетесь?

— Нет, спасибо. А вот если бы чаю...

— Был у нас чай, был, — осенью, когда мой животом маялся, я привезла из города. Да весь вышел. Не знаю, у кого и спросить.

— А ксендз постоянно чай пьет, — вмешался Витек.

— Ну что же, побежишь у него занимать, что ли?

— Не надо, не надо, чай у меня с собой, вы только воду мне...

— Кипятку, значит?

Ягна поставила на огонь кастрюльку с водой и опять села пряхсть, но не работала — только время от времени для виду вертела веретено, а сама украдкой разглядывала гостя с любопытством и смутным беспокойством, строя догадки, кто он и чего ему надо. Уж не из волости ли приехал перепись делать — что-то он все в свою книжечку заглядывает? Он и одет был почти как господина: на нем был серый с зеленым костюм, какие носят егеря в усадьбе, но тулуп и шапка крестьянские. "Чудак какой-нибудь или бродяга! А может быть, и кто иной", — размышляла Ягна, переглядываясь с Витеком, который подкладывал дрова в печь, но занят был больше наблюдением за незнакомцем. Он очень удивился, когда тот позвал Лапу.

— Укусит, пес злой! — сказал он невольно.

— Не бойся, меня собаки не кусают, — отозвался гость, непонятно усмехаясь и поглаживая морду Лапы, который жался к его коленам.

Скоро пришла Юзька, а за нею старая Вавжониха и еще кое-кто, потому что среди соседей уже разнеслась весть, что у Борыны сидит чужой человек.

А тот все грелся у огня, не обращая внимания на людей, на их шушуканье и замечания. Когда вода закипела, он достал из кармана чай в бумажке, заварил, сам взял с полки белую кружку и, налив в нее чаю, стал пить его вприкуску, бродя по комнате и разглядывая образа, мебель. Иногда он останавливался посреди избы и так пристально смотрел в глаза людям, что им становилось неловко.

— Это кто делал? — он указал на украшения, висевшие на потолке.

— Я! — пискнула Юзя краснея. Гость опять долго ходил по избе, а Лапа — за ним, не отставая ни на шаг.

— А это кто рисовал? — воскликнул он вдруг удивленно, остановившись перед наклепленными на рамы образов и просто на стену фигурками, которые Ягна вырезала из цветной бумаги.

— Это не рисовано, а из бумаги вырезано.

— Не может быть!

— Уж я вам говорю! Сама вырезала.

— И сами придумали все это?

— Сама. Да каждый ребенок в деревне это сумеет.

Он помолчал, налил себе еще чаю, сел у огня и довольно долго не говорил ни слова.

Соседи разошлись, потому что было уже поздно, да и метель утихла. Временами еще поднимался резкий ветер, кружил снег, стучался в окна, но все слабее и реже, как птица, обессиленная долгим полетом.

Ягна, наконец, встала из-за прялки и принялась готовить ужин.

— Служил у вас Якуб Соха? — спросил гость.

— Это Куба, должно быть? Служил, как же, да помер, бедный, еще осенью.

— Да, ксендз мне говорил. Боже ты мой, искал я его с самого лета по всем деревням, — а разыскал после смерти.

— Нашего Кубу искали? — воскликнул Витек.

— Так вы, стало быть, брат пана из Воли?

— А вы откуда меня знаете?

— Слыхала я не раз от людей, что помещиков брат воротился из дальних краев и ищет по деревням какого-то Кубу. Да никто не догадался, какого.

— Соху. Сегодня только я узнал, что он у вас служил и умер.

— Подстрелили его, кровь из него вся вышла, и помер, помер! — говорил Витек сквозь слезы.

— Долго он у вас жил?

— С тех пор, как я себя помню, он всегда служил у Борыны.

— И, видно, хороший был человек? — спросил гость.

— И какой еще хороший! Вся деревня это скажет... Даже ксендз плакал на похоронах и ничего не взял за отпевание.

— А меня молитвам учил, и стрелять учил, и как отец родной обо мне заботился! И пятаки иной раз давал и... — Витек расплакался, так живо ему вспомнился Куба.

— Парень набожный был, и тихий, и работающий, его ксендз не раз хвалил.

— Его на здешнем кладбище похоронили?

— А то где же? Я знаю где, я покажу! Амброжий ему крест поставил, а Рох написал на дощечке. Хоть и занесло там все снегом, да я найду, я вас доведу! — предлагал Витек.

— Так пойдем сейчас, чтобы до ночи поспеть.

Гость надел тулуп, но долго еще стоял посреди комнаты, задумавшись о чем-то и глядя в пространство. Это был уже пожилой человек, седой, немного сгорбленный, высохший, как щепка. Лицо у него было землистое, все в морщинах, на правой щеке старый след от пули, а над глазом — длинный красный шрам, нос длинный, клочковатая реденькая бородка и темные глаза, глубоко запавшие и горящие. Он не выпускал из зубов трубки и поминутно ее разжигал.

Наконец, он очнулся от раздумья и хотел дать Ягусе денег, но она спрятала руки за спину и вся покраснела.

— Возьмите, на свете даром ничего не дают.

— Это, может, на свете такая мода. А я не торговка, чтобы за воду и огонь деньги брать! — сказала она обиженно.

— Ну так спасибо за гостеприимство! — А мужу скажите, что приходил Яцек из Воли. Он меня, верно, помнит. Зайду еще к вам как-нибудь, а теперь я тороплюсь, ночь близко. Оставайтесь с Богом.

— Идите с Богом.

Она хотела поцеловать у него руку, но он вырвал руку и быстро вышел.

Сумрак, едва еще заметный, одевал землю, ветер улегся, и только с сугробов, перегородивших валами всю дорогу, сыпался сухой мелкий снег, словно кто вытряхал мешки из-под муки. Но пороша шла только понизу, а вверху уже было тихо и ясно. Хаты и сады были отчетливо видны в синеватой дымке сумерек.

Деревня словно очнулась от сна. Ожили улицы, зашумели голосами двory, там и сям люди отгребали снег от изб, рубили проруби в озере, таскали воду, открывали ворота, и стук цепов стал явственнее слышен на улицах. Уже кое-где и сани с трудом прокладывали себе дорогу, у хлевов прохаживались вороны, а это был верный признак, что погода меняется.

Пан Яцек с интересом смотрел вокруг, иногда расспрашивал Витека о попадавших навстречу людям, о избах, мимо которых они проходили, и шел так быстро, что Витек едва за ним поспевал, только Лапа бежал впереди и радостно лаял.

Перед костелом намело огромные сугробы, они совсем завалили ограду и доходили чуть не до ветвей деревьев. Пришлось обойти с другой стороны, мимо дома ксендза. Там с криками бегала целая гурьба мальчишек, швыряя друг в друга снежками. Лапа залаял на них, и один

из них схватил его за шерсть и бросил в рыхлый сугроб. Витек кинулся на помощь, но и ему порядком досталось — его так закидали снежками, что он едва выбрался. Все-таки он дал мальчишкам сдачи и вихрем помчался дальше, потому что пан Яцек его не ждал.

Они с трудом пробрались на кладбище, но и там снегу навалило в человеческий рост, только перекладыны крестов темнели над снежными кучами и сугробами. Место здесь было открытое, и временами ветер дул еще сильно, поднимая туман снежной пыли, в котором маячили оголенные деревья. Окрестные поля, синеватые в сумерках, напоминали затянутые бельмами слепые глаза. Никого не было вокруг — только на занесенной снегом тропинке мимо кладбища брело несколько человек, согнувшись до земли под тяжелой ношей. Их каждую минуту заслоняла метель, но, когда она утихала, все ближе и ближе краснели юбки женщин, и уже можно было разглядеть каждого в отдельности.

— Это что за люди? С ярмарки, что ли, идут?

— Нет, это безземельные. За дровами в лес ходили.

— И на спине их несут!

— Ну да. Лошадей у них нет, вот и приходится на себе таскать.

— И много таких у вас в деревне?

— Немало. Только у хозяев своя земля, а прочие на чужой земле работают — на поденку ходят либо в батраки нанимаются.

— И часто они этак за дровами ходят?

— Помещик позволил каждому раз в неделю приходить и набирать себе вязанку хвороста. Что человек на себе унесет — то его. Только хозяева имеют право на телеге и с топором в лес ездить. Мы с Кубой постоянно ездили и не раз с хорошей добычей возвращались! Куба, бывало, срубит какой-нибудь грабик и так его под хворост спрячет, что и лесник не заметит!  
— сказал Витек с гордостью.

— Долго Куба хворал? Расскажи-ка мне про него.

Витек, разумеется, не заставил себя просить и рассказал все, что знал.

Пан Яцек то и дело перебивал его, задавая вопросы, иногда он от сильного волнения даже останавливался на дороге, разводил руками, громко говорил сам с собой, и мальчик не понимал, что так волнует и удивляет этого человека. К тому же ему уже страшно становилось, потому что стемнело и кладбище все словно оделось погребальным саваном и заговорило разными голосами. Витек побежал вперед, испуганными глазами ища крест на Кубиной могиле. Наконец, он его нашел: могила была у самой ограды, рядом с запущенными могилами убитых на войне, — там, где Куба молился в День Поминовения.

— А вот тут на кресте написано: Якуб Соха! — прочел по складам Витек, водя пальцем по большим белым буквам. — Это Рох написал, а крест поставил Амброжий.

Пан Яцек дал ему два злотых и велел поскорее бежать домой.

Мальчик помчался стрелой и только один раз обернулся, чтобы позвать Лапу и взглянуть, что делает пан Яцек.

— Господи Иисусе! Помещика брат, а стоит на коленях у кубиной могилы! — пробормотал он с удивлением.

Но темнело быстро, склоненные деревья как-то страшно качались, и Витеку стало так жутко, что он во всю прыть побежал в деревню. Только добежав до костела, остановился, чтобы перевести дух и взглянуть на монеты, которые крепко сжимал в кулаке. Здесь-то и догнал его Лапа, и они уже вместе не спеша пошли домой.

У озера на них наткнулся Антек, возвращавшийся с работы. Собака бросилась к нему, стала ластиться и радостно лаять, а Антек гладил ее, приговаривая:

— Славный пес, добрый, хороший! Откуда это ты, Витек?

Витек изложил все, но о деньгах, конечно, умолчал.

— Зашел бы как-нибудь к ребятишкам.

— Прибегу, прибегу! Я даже для Петруся смастерил тележку и еще одну диковинку.

— Принеси. На тебе пятак, чтобы не забыл.

— Я сейчас прибегу, сию минуту, погляжу только, не пришел ли хозяин.

— А его разве дома нет? — спросил Антек как будто равнодушно, но даже задрожал весь.

— У мельника сидит, там о чем-то мужики с паном толкуют.

— А хозяйка дома? — спросил Антек потише.

— Дома, ужин готовит. Так я только посмотрю и мигом прилечу.

— Приходи, приходи, — сказал Антек все так же тихо. Ему хотелось расспросить Витека, узнать от него побольше, но он не решался — вокруг сновали люди, да и мальчонка глуп еще, разболтает об этом. И он торопливо пошел по направлению к своему дому, но у костела внимательно осмотрелся по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, свернул в другую сторону, на тропинку за амбарами.

А Витек побежал домой.

Борына еще не вернулся, в избе царил мрак, только в печи пылали головешки. Ягна хлопотала по хозяйству. Она была сердита, потому что Юзька опять куда-то запропастилась, а работы было столько, что она не знала, за что раньше приняться. Она не слушала того, что рассказывал Витек, и только когда он упомянул об Антеке, сразу насторожилась.

— Ты никому не говори, что он тебе дал пятак.

— Коли вы приказываете, я и не пикну.

— На тебе еще пятак, и смотри же, не болтай! Он домой пошел?

И, не дожидаясь ответа, сорвалась с места, словно испуганная чем-то, выбежала на крыльцо и стала звать Петрика, а в то же время тревожным и пытливым взглядом обводила сад и двор. Заглянула даже за амбар, за сеновал — никого... Она успокоилась, но тут же стало ей так досадно, что она накричала на пришедшую Юзю, начала ее понукать, чтобы та поскорее готовила коровам пойло, корила за то, что вечно бегают по чужим избам и бездельничает. Юзя, конечно, не смолчала — девчонка она была гордая, строптивая, и на каждое слово у нее готов был ответ.

— Покричи, покричи, вот отец придет, так живо тебя ремнем успокоит! — пригрозила Ягна, зажигая лампу. Она опять принялась прясть и больше не отвечала ничего на ворчанье Юзи. Ей показалось, что кто-то ходит за крайним окном...

— Витек, выгляни-ка, — должно быть, боров вылез из хлева и бродит по саду.

Но Витек уверял, что загнал всех свиней в хлев и запер дверь. Юзя ушла на другую половину и стала выносить с Петриком ушаты с пойлом для коров, потом пришла за подойниками.

— Я сама подою коров, отдохни, коли ты так наработалась!

— Что ж, дои, опять половину молока в вымени оставишь! — съязвила Юзья.

— Заткни глотку! — сердито крикнула Ягна, надела башмаки, подоткнула юбку и, взяв подойники, пошла в хлев.

Был уже вечер, метель утихла, но небо низко нависло над землей, черное, беззвездное, покрытое тучами. Угрюмо серели снега, и тоскливая тишина, тишина глубокой усталости, царила вокруг. Ни один голос не доносился из деревни, и только вдалеке, в кузнице, глухо гудели удары молота.

В хлеву было темно и душно, коровы громко шуршали языками о дно лоханок и тяжело сопели.

Ягна ощупью нашла скамеечку, села под первой с краю коровой, нащупала вымя, вытерла его передником и, упершись головой в бок коровы, начала доить.

Здесь было так тихо, что она отчетливо слышала каждый звук, малейший шорох. Струйки молока текли в подойник, в конюшне рядом топтались лошади, а от дома доносился заглушённый, но крикливый голос Юзьи.

— Вот, трещит, а картошку не чистит! — проворчала Ягна, но вдруг замолчала, вслушиваясь: на дворе захрустел снег, как будто кто-то шел справа, от гумна, шел медленно и, видно, останавливался, потому что шаги затихали на мгновение, и опять шел... Снег скрипел все ближе. Ягна высунула голову из-под коровы и поглядела в серый пролет двери. В нем появилась какая-то неясная фигура.

— Петрик?

— Тише, Ягусь, тише!

— Антек!

Она обомлела, все силы вдруг ее оставили, она не могла больше выговорить ни слова, не могла шевельнуться, не могла думать ни о чем и только бессознательно сжимала вымя коровы, а молоко брызгало на юбку, на пол. Ее бросило в жар, ей казалось, что огонь бежит по ее телу, молниями сверкает в глазах и заливают сердце сладкой истомой. Что-то перехватило ей горло, она задыхалась, ей показалось, что она сейчас умрет.

— С самого Рождества поджидаю тебя каждый день, каждый вечер стерегу, как собака, а ты не вышла! — прошептал Антек.

Этот голос, сдавленный, горячий, в котором звучала вся сила его страсти, вся нежность сердца, обдавал Ягну палящим пламенем, наполнял ее негой и силой. Антек стоял уже прямо против нее, она в темноте чувствовала, что он уперся о корову, нагнулся и глядит ей в лицо, он был так близко, что его горячее дыхание обжигало ей лоб.

— Не бойся, Ягусь! Никто не видел, не бойся... Не вытерпел я... ничего с собой не могу поделаться... и днем и ночью... всякий час ты стоишь у меня перед глазами, Ягусь... Так ничего ты мне и не скажешь?

— Что же мне сказать тебе, что? — прошептала она жалобно.

Оба замолчали — волнение лишило их голоса. Эта близость, эта давно желанная встреча наедине, эта темнота свалились на них обессиливающей блаженной тяжестью, но и непонятым страхом. Они так стремились друг к другу, — а вот сейчас и слово вымолвить было им трудно. Они жаждали друг друга, а ни один не решался руку протянуть. И оба молчали.

Корова шумно глотала пойло и так хлестала себя хвостом по бокам, что несколько раз задела Антека. Он, наконец, сильной рукой придержал хвост, нагнулся через корову еще ближе к Ягне и прошептал:

— Не сплю, не ем, работа из рук валится — все из-за тебя, Ягусь, из-за тебя...

— Мне тоже нелегко...

— Думала ты иногда обо мне, Ягусь? Думала, да?

— Как же нет, когда ты постоянно у меня в мыслях, день и ночь, и уж не знаю, как с собой и сладить! Правда, что это за меня ты побил Матеуша?

— Правда. Он врал про тебя, так я ему глотку заткнул. И с каждым то же самое сделаю.

Хлопнула дверь в доме, и кто-то быстро побежал через двор прямо к хлеву. Антек едва успел отскочить к яслям и притаился за ними.

— Юзя велела ушаты принести, надо и свиньям пойло готовить.

— Возьми, возьми оба! — с трудом выговорила Ягна.

— Да Лысуля еще не выпила, я после прибегу.

Витек убежал, и слышно было, как опять стукнула дверь. Тогда только Антек вышел из своего укрытия.

— Вернется, стервец! Пойду под сеновал, подожду тебя. Выйдешь, Ягусь?

— Боюсь.

— Приходи! Я хоть час, хоть два прожду, только приходи! — умолял Антек.

Он подошел к ней сзади, — она все еще сидела на скамейке около коровы, — обнял крепко, запрокинул ей голову и жадно впился губами в ее губы. Она задохнулась, руки ее бессильно упали, подойник полетел на землю. Не помня себя, она вся тянулась к нему, не могла оторвать губ. Они обнялись так крепко, словно слились друг с другом, и на долгую минуту замерли в этом безумном, диком поцелуе, лишаящем сознания и сил.

Наконец, Антек оторвался от нее и крадучись выбежал из хлева.

Ягна вскочила, хотела кинуться к нему, но он тенью мелькнул на пороге и пропал в темноте. Его уже не было, но его тихий страстный шепот звучал так явственно и так властно, что она с недоумением озиралась вокруг.

Никого! Коровы жуют, машут хвостами... Она вышла во двор. Ночь стояла за порогом непроглядной тьмой, тишина окутала мир, только удары молотов звучали вдалеке. А ведь был он здесь, был... стоял около нее, обнимал, целовал... еще горят губы, еще пробегает по телу огонь, а сердце заливают такая радость, что и сказать нельзя! Господи Иисусе! Что-то подхватило ее и несло — в этот миг она пошла бы за Антеком хоть на край света. "Антось!" —

крикнула она невольно, и только звук собственного голоса несколько отрезвил ее.

Она изо всех сил спешила подоить коров, но была так рассеянна, что часто искала вымя не там, где надо, и смятении счастья только потом, когда уже шла в избу, почувствовала, что лицо у нее все мокро от слез.

Она отнесла молоко в дом, но забыла его процедить. Побежала на другую половину, услышав там голос Настки, однако ничего ей не сказала и вернулась в переднюю комнату. Здесь она стала охорашиваться перед зеркалом, потом подбросила дров в печь, потом спохватилась, что у нее есть какое-то спешное дело, но никак не могла припомнить, какое. Ничего не помнила, ничего — одно занимало все ее мысли: Антек ждет за сеновалом. Она еще повертелась без цели в избе, накинула платок и вышла.

Неслышно проскользнула под окнами и пошла вдоль задней стены дома к узкому проходу между садом и гумном. Над этим проходом крышей нависли отяжелевшие от снега ветви, и приходилось идти нагибаясь.

Антек ждал, притаившись у перелаза. Он прыгнул к ней, как волк, и, почти неся ее на руках, повлек к сеновалу, стоявшему тут же, через дорогу.

Но им сегодня решительно не везло: только что они забрались в дыру и забылись там в поцелуях, как донесся резкий, раскатистый голос Боруны:

— Ягуся! Ягуся!

Они отпрянули друг от друга, как будто в них ударила молния. Антек прыгнул на дорогу и крадучись побежал мимо огородов, а Ягна метнулась во двор, не заметив, что ветви сорвали у нес платок с головы и всю осыпали снежной пылью. Она потеряла разгоряченное лицо снегом, собрала под навесом охапку дров и медленно, спокойно вернулась в дом.

Старик смотрел на нее исподлобья, как-то странно.

— Я ходила взглянуть на Сивулю, она что-то кряхтит и все ложится.

— Я искал тебя в хлеву, тебя там не было.

— Я тогда уже, должно быть, была под амбаром, дрова набирала.

— А почему ты вся в снегу?

— С крыши висят целые бороды, только задень, так и сыплется снег на голову, — объяснила Ягна спокойно, но отвернулась от света, чтобы скрыть красные пятна на щеках.

Однако старика обмануть не удалось. Он хоть и не смотрел ей в лицо, но хорошо видел, что она вся, как в огне, красная, а глаза лихорадочно блестят. Глухое, неясное подозрение закралось в его сердце, колючая ревность заворочала в нем, как насторожившаяся собака. Долго он мучился втайне и размышлял, и, наконец, ему пришло в голову, что это, должно быть, Матеуш встретил Ягну и прижал где-нибудь к плетню.

Тут как раз пришла Настка, и он решил выведать у нее то, что ему хотелось знать.

— Ну что, Матеуш уже здоров, ходит?

— Какое там здоров!

— А мне говорил кто-то, будто видели его сегодня вечером, бродил будто по деревне, — хитро заметил Боруна, внимательно наблюдая за Ягной.

— Врут, что вздумается! Матеуш пошевелиться не может, даже с кровати еще не встает, только то хорошо, что он уже кровью не харкает. Ему нынче Амброжий банки ставил, а сейчас принес водки да сала и лечатся там оба на славу — на дороге слышно, как песни поют.

Борына больше ни о чем не расспрашивал, но подозрения его не рассеялись.

А Ягна, которую тяготило молчание и тревожили испытующие взгляды мужа, начала подробно рассказывать о приходе пана Яцека.

Борына очень удивился и стал соображать, что бы это могло значить. Он немало ломал голову, высказывал разные догадки, разбирал и обдумывал каждое слово, сказанное нежданным гостем, и в конце концов пришел к заключению, что помещик подослал к нему пана Яцека, чтобы выведать, что в народе говорят о порубке.

— Да он про лес и не поминал!

— Еще бы! Знаю я их панскую породу! Так тебя вокруг пальца обведут, что и не заметишь, когда и как все выболтаешь.

— Да я же вам говорю, что он только про Кубу спрашивал да еще про эти вот вырезки!

— Ходит вокруг да около, а сам дорогу ищет! Тут что-то есть. Это помещика штуки! Станет такой человек о Кубе беспокоиться! Только дурак таким сказкам поверит! Говорят, этот Яцек блаженный какой-то, мелет бог знает что, шляется по деревням, под крестами на дорогах сидит и на скрипке играет. Он сказал тебе, что еще придет?

— Да. И про вас спрашивал.

— Чудеса! Не верится даже.

— А помещика вы видели? — спрашивала Ягна ласково, не давая ему задумываться. Борына дернулся, как ужаленный.

— Нет, я у Шимона все время сидел, — ответил он и замолчал.

Больше она уже не смела спрашивать, так как он метался по избе, как бешеный, из-за каждого пустяка орал, ругался. Все притихли и старались не попадаться ему на глаза.

В том же тягостном молчании сели ужинать, но вдруг вошел Рох, сел по своему обыкновению, перед огнем, от ужина отказался и, когда все поели, сказал тихо:

— Я не от себя пришел. В деревне говорят, будто помещик рассердился на липецких и ни одного мужика не позовет лес рубить. Правда это?

— Во имя Отца и Сына! А мне-то откуда знать? В первый раз слышу.

— Сегодня у мельника совет был, откуда и пошла эта новость.

— Совет держали войт, мельник и кузнец, а не я.

— Как так? Я слышал, что сам пан у вас был и вы с ним ушли.

— Не был я там. Можете верить или не верить, а я вам правду говорю.

Борына не хотел показать, как больно его задело то, что его обошли и совещались без него. Рох напомнил ему об этом, и он опять разозлился, но молчал, переживая в себе эту обиду, жгучую как крапива, и сдерживаясь изо всех сил для того, чтобы Рох не догадался, что у него на душе.

Да как же! Он ждал, высматривал помещика, как дурак, а они без него совещались! Не простит он им этого, попомнят они Борыну! Так они его ни во что не ставят? Хорошо же, он им покажет, какое место он занимает в деревне.

"Это мельник устроил, не кто иной, как он. Грубиян этакий, бродяга, нажился на чужих горбах, а теперь нос дерет! За этим мошенником такие делишки водятся, что можно его в острог засадить! А войт! Ему бы скотину пасти, а не начальствовать над стариками, пьянице этакому! Сделали его войтом, а завтра могут прогнать и выбрать хотя бы Амброжия, один от них толк!

Хорош и кузнец, зятек окаянный! Пусть только появится у меня в доме! А пан — как волк, бродит вокруг крестьян, вынюхивает, где бы что урвать! Помещик, стерва, на крестьянской земле сидит, крестьянский лес продает да еще нас задевает. Забыл, чертов сын, что и по панской шкуре цеп так же может гулять, как и по всякой другой!"

Однако все эти размышления он оставил про себя, — ведь не баба он, чтобы жаловаться другим да сочувствия искать! Его жестоко мучила обида, но кому какое дело до этого! Он скоро спохватился, что неприлично при постороннем человеке сидеть молча, словно язык проглотил, и, вставая с лавки, сказал:

— Вот вы какие новости рассказываете! Что же, если помещик заартачится и не позовет липецких, — никто его заставить не может.

— Это верно, но если бы какой-нибудь почтенный человек ему растолковал, сколько народу из-за этого страдает, — может быть, он и уступил бы.

— Не пойду я его просить! — крикнул Борына резко.

— А в деревне человек двадцать коморников сидят и ждут работы, как спасения! Вы сами это знаете. Зима тяжелая, снег, морозы, у многих уже картошка померзла, а заработка никакого. Весна еще далеко, и до нового урожая такой голод начнется, что подумать страшно! Да и теперь уже-многие только раз в день горячее едят и голодными спать ложатся. Люди надеялись, что помещик скоро начнет порубку у Волчьего Дола и для всех работа будет. А тут слух пошел, будто он поклялся ни одного липецкого на работу не брать, оттого что жалобу на него как будто писали комиссару.

— Да, я сам эту жалобу подписал и твердо буду за то стоять, чтобы не дать ему тронуть ни единой сосенки, пока он с нами не договорится и наше не отдаст.

— Так, может, он и совсем рубить не станет?

— Нашего леса не станет!

— А что же делать беднякам, что же с ними будет! — простонал Рох.

— Ничем я им помочь не могу. Для того, чтобы у них была работа, я своего ведь не отдам! Очень мне нужно за других вступаться и о ком-то хлопотать! Когда меня обидят, так ни одна собака мне не поможет.

— Ведь вы не за помещика?..

— Я — за себя и за справедливость, так и запомните! У меня свои заботы, и не стану я плакать из-за того, что какому-нибудь Войтеку или Бартеку есть нечего. Это — ксендза дело, не мое! Один человек, хотя бы и хотел, всем помочь не может.

— Но много может помочь, много! — возразил Рох с грустью.

— Попробуйте воду носить решетом — много наносите? Так и с нуждой! Уж так оно Богом заведено, и, думается мне, так всегда будет, что у одного всего вдоволь, а другой ветра в поле ищет.

Рох только головой покачал и ушел расстроенный — он не ожидал от Борыны такого бессердечия. Старик проводил его до ворот и, как всегда, пошел во двор — взглянуть на коров и лошадей.

Ягна стлала постели. Она как раз взбивала перину, вполголоса твердя молитву перед сном, когда вошел Мацей и швырнул ей под ноги какую-то тряпку, покрытую снегом.

— Платки теряешь! Я нашел его у перелаза! — сказал он спокойно, но сурово и посмотрел на нее так пристально, что Ягна помертвела от страха и только через минуту начала бессвязно оправдываться:

— Это... все Лапа этот!.. Таскает из хаты, что попадет... вчера башмаки мои утащил к себе в конуру!..

— Лапа? Так, так, — пробурчал Борына иронически. Он нисколько ей не поверил.

## VII

Наступило Крещение, которое в этом году пришлось на понедельник. Еще в костеле не отошла вечерня, и оттуда слышны были пение и звуки органа, а уже в корчме стал собираться народ: сегодня здесь в первый раз после поста и святок предстояли танцы и, кроме того, праздновался сговор дочери Клемба, Малгоси, с Вицеком Сохой. Этот Вицек Соха, хотя у него была та же фамилия, что у покойного Кубы, отрекался от родства с ним, — парень был нехороший и очень уж кичился своим богатством.

Поговаривали также, что и Стах Плошка, который уже с самой осени ухаживал за Улисей, дочью солтыса, наверное сегодня уладит дело со стариком и будут запивать сговор. До сих пор старый Шимон косился на Стаха, не хотел отдавать за него дочку, так как Стах был порядочный шалопай, неукротимый забияка, постоянно ссорился с родителями, а в приданое за Улисей требовал целых четыре морга или триста рублей на руки и две коровы впридачу.

Сегодня еще и войт справлял крестины, но не в корчме, а у себя в избе. Впрочем, знавшие его рассчитывали, что он, когда разоидется, не усидит дома и со своей компанией ввалится в корчму и будет угощать всех.

А помимо этих соблазнов, были еще дела поважнее, серьезные дела, одинаково волновавшие всех.

Во время службы в костеле липецкие узнали от крестьян из других деревень, что помещик уже подрядил столько людей, сколько ему нужно для рубки леса и задаток всем дал. На работу должно было выйти десять человек из Рудки, пятнадцать из Модлицы, человек восемь из Дембицы, а репецкой шляхты без малого двадцать человек — и только из Липец ни одного! Это был уже не слух, а самая настоящая правда, лесник нынче в костеле это подтвердил. И бедняков липецких такая весть немало огорчила.

Были в Липцах богачи, у которых дом — полная чаша, были зажиточные люди, которые тоже за заработком не гонялись, были и такие, которых нужда крепко донимала, но они в этом не признавались, чтобы можно было водить дружбу с богачами и быть с ними на равной ноге. Немало было безземельных, у которых нет ничего, кроме хаты: одни зарабатывали себе

кусок хлеба молотьюбой у хозяев, другие — топором на лесопилке или всякой работой, какая случится, и кое-как перебивались. Но оставалось еще семей пять-шесть, для которых в зимние месяцы совсем уж не хватало в деревне работы — и они-то, как спасения, ждали этой рубки леса у помещика.

А теперь что им было делать?

Зима была суровая, а кое-какие гроши про-запас мало у кого были отложены, у многих уже и картошка кончилась, в доме поселилась нужда, голод скалил зубы из-за угла. До весны было далеко, а помощи ниоткуда, — так что ж удивительного, что тяжкая тревога закралась в души. Люди собирались в избах, судили да рядили и, наконец, всей гурьбой отправились к Клембу просить, чтобы он пошел с ними к ксендзу за советом. Но Клемб отговорился тем, что сегодня сговор дочки, а другие хозяева тоже отвернулись, потому что они заботились только о себе и у них были свои расчеты.

Это сильно возмутило Бартека, того самого, который вместе с Антеком работал на лесопильне. У Бартека была работа, но он всегда отстаивал интересы бедняков.

Бартек подобрал себе компанию — Филиппа из-за речки, Стаха, зятя Былицы, Бартека Козла, Валентия Криворотого, и они впятером отправились к ксендзу просить, чтобы он замолвил за мужиков словечко перед помещиком.

Долго они не возвращались, и только после вечерни к Кобусам прибежал Амброжий и рассказал, что они совещаются с ксендзом и придут уже прямо в корчму.

Между тем наступил вечер. Догорели последние отблески заката, и только кое-где они еще мерцали, как тлеющие в сером пепле угля, а ночь уже медленно кутала землю в холодное голубое покрывало. Месяц еще не взошел, и только сухой мерзлый снег искрился ледяным блеском, в котором все предметы принимали какой-то мертвенный вид, казались одетыми в саван. Но вот на темное небо высыпали звезды, они словно росли на глазах, дрожали в вышине и горели так ярко, что зажигали искры в снегу. А мороз все крепчал, от стужи даже в ушах звенело, и самый тихий звук разносился далеко кругом.

В избах зажглись огни, там шли обычные вечерние хлопоты. Еще носили воду с озера, порой скрипели ворота, мычала корова, проезжали иногда чьи-нибудь сани, люди торопливо пробегали по дворам, потому что мороз жег лицо, как раскаленным железом, и дух захватывал.

Но скоро деревня затихла.

Только в корчме все громче звучала музыка. Почти из каждой хаты кто-нибудь отправлялся туда на разведки. Те, кого не интересовал ни сговор Малгоськи, ни вырубка леса, шли сюда потому, что их манила водка. А так как бабам скучно было оставаться одним дома, а у девушек от звуков музыки ноги не стояли на месте, то они еще засветло потихоньку бежали в корчму — будто бы для того, чтобы увести домой мужчин — и оставались там. Ну, а за родителями, конечно, увязались и дети постарше, особенно мальчишки, — они свистом вызывали друг друга из домов, шли гурьбой и набивались в сени корчмы, стояли даже под окнами на завалинках, несмотря на то, что мороз жег, как огонь.

В корчме была уже изрядная толчея.

В печи шумел яркий огонь, заливая пол-избы кровавым светом, — пылали лучины, которые по приказу Янкеля служанка все время подбрасывала в печь. Все входившие сбивали снег с сапог, грели окоченевшие руки и затем начинали искать в толпе своих — висючая лампа над стойкой освещала только середину комнаты, а в углах царил темнота и трудно было сразу найти кого-нибудь. В одном углу на бочонках из-под капусты сидели музыканты и наигрывали

только время от времени, словно нехотя, так как танцы по-настоящему еще не начались: лишь покружится какая-нибудь нетерпеливая пара раз-другой — и все.

За столами у стен сидели люди компаниями, пили мало, пока только толковали между собой, осматривались, примечали, кто входил. У стойки было шумнее, тут стояли группой гости Клемба и родственники Сохи, но и они пока только изредка выпивали по рюмке, чокаясь друг с другом, а больше беседовали, говорили друг другу любезности, как принято на сговоре.

Все собравшиеся в корчме часто украдкой поглядывали в сторону окна, где за столом сидели несколько репецких шляхтичей, — они пришли сюда еще засветло и все сидели. Никто их не задевал, но и подсаживаться к ним никто не спешил, только Амброжий сразу с ними побратался, усердно пил и врал вовсю. А рядом стоял Бартек, рабочий с лесопилки, со своей компанией, громко рассказывал, что им говорил ксендз, и азартно ругал помещика. Ему громче всех вторил Войтек Кобусь, сухонький, маленький и горячий; он то и дело выскакивал вперед, стучал кулаком о стол и метался, как та птица, название которой он носил.[16] Он это делал с умыслом: все догадывались, что репецкие завтра пойдут лес рубить. А они, словно ничего не слыша, сидели спокойно, занятые разговором.

Из зажиточных липецких хозяев тоже никто не слушал этой ругани и не очень-то близко принимал к сердцу то, что ксендз не захотел хлопотать за бедняков перед помещиком. Хозяева, напротив, отворачивались от Бартека и его компании тем решительнее, чем громче те кричали. В толпе, наполнявшей корчму, каждый выбирал себе собеседников по вкусу, и люди кучками стояли и сидели, где им было удобнее, не обращая внимания на соседей. Одна только Ягустинка переходила от одной компании к другой, подзуживала, сыпала шуточками, разносила новости, зорко примечая, где уже звенят бутылки и рюмка ходит вкруговую.

Понемногу, незаметно люди втягивались в общее веселье, шум в комнате рос, и все чаще позвякивали рюмки, и все теснее становилось, так что даже и дверь уже не закрывалась, а народ все подходил и подходил. И вот, наконец, музыканты, которых угостил Клемб, грянули задорную мазурку, и в первой паре поплыли Соха с Малгосей, а за ними уже все, кому хотелось.

Однако танцевало все-таки еще немного пар. Остальные, как бы ожидая сигнала, поглядывали на первых липецких кавалеров: Стаха Плошку, Вахника, брата войта и других, а те по углам шушукались с девушками, весело болтали и вполголоса острили насчет репецкой шляхты, с которой все еще выпивал Амброжий.

Появился Матеуш. Он только что встал после болезни и ходил еще с трудом, опираясь на палку, но пришел, потому что стосковался по людям. Он сел у печки, сразу же велел себе подать горилки с медом и, попивая ее, весело переговаривался со знакомыми. Но вдруг он замолчал: в дверях появился Антек, и увидев его, вызывающе поднял голову, сверкнул глазами и прошел мимо, словно не замечая Матеуша.

Матеуш приподнялся и позвал:

— Бoryна, иди-ка сюда!

— Если я тебе нужен, так подойди ты ко мне, — резко отозвался Антек, думая, что Матеуш его "задирает".

— Подошел бы, да я еще без палки не могу, — ответил Матеуш спокойно и дружелюбно.

Антек, все еще недоверчиво, подошел, грозно хмуря брови. Матеуш схватил его за руку и насильно усадил подле себя на лавку.

— Садись рядом. Осрамил ты меня перед всеми, отделал так, чертов сын, что уже ксендза ко

мне звали, но я на тебя не гневаюсь и первый готов мириться. Выпьем! До тебя меня никто не мог одолеть. Я думал, что нет такого человека на свете. И силач же ты! Такого мужика, как я, швырнуть, как сноп! Ну, ну!

— Не надо было на работе постоянно меня допекать да потом еще гадости всякие брехать! Меня так взорвало, что я себя не помнил!

— Правда, правда, я сам это говорю — и не со страха, а по совести. И хоть ты так меня искалечил, что я кровью харкал и ребра у меня переломаны... ну, да чего там... за здоровье, Антек! Перестань и ты злиться, — ведь я уже все забыл, хотя еще до сих пор спина болит... А ты, пожалуй, посильнее будешь, чем Вавжек из Воли?

— Не знаешь разве, как я его отделал осенью на гулянье у костела? Он, говорят, еще до сих пор лечится.

— Вавжона! Мне говорили, да я не верил... Эй, Янкель, подай рисовой с настойкой, да мигом, не то все переколочу!

— А то, чем ты перед мужиками похвалялся, — неправда ведь? — спросил Антек тихо.

— Неправда. Это я так сказал, со зла... Нет, нет, где там! — уверял Матеуш, рассматривая на свет бутылку, чтобы Антек не прочел правды в его глазах.

Они выпили по одной, по второй, потом угощал Антек — распили и эту бутылку и продолжали сидеть рядом, окончательно помирившись, в такой дружеской беседе, что все в корчме удивлялись. Порядком захмелевший Матеуш покрикивал на музыкантов, чтобы веселее играли, притопывал, громко хохотал, переговариваясь с парнями, потом вдруг притих и начал шептать Антеку на ухо:

— Скажу тебе правду: я ее хотел силой взять, а она так меня когтями отделала, точно меня кто мордой по колючкам протасил. Ты ей был милее, это я хорошо знаю, не отпирайся! Да, ты — оттого она на меня и глядеть не хотела! Знаешь поговорку: трудно вола водить, когда он не хочет сам ходить! Насильно мил не будешь. А меня зависть грызла так, что и сказать тебе не могу! Эх! Девка — чудо, краше ее на свете нет. А тебя обидела — пошла за старика. Вот этого-то я уж никак понять не могу!

— Обидела она меня — и погубила! — тихо проговорил Антек.

Воспоминание это так обожгло его, что он даже громко выругался и долго еще потом что-то бормотал себе под нос.

— Тише ты, люди услышат и начнут языки чесать.

— А разве я что сказал?

— Ну да. Я-то не расслышал, но могли расслышать другие.

— Мне уж терпеть больше невоготу — рвется само из груди...

— А я тебе говорю — не поддавайся, пока еще не поздно! — увещевал его хитрый Матеуш, осторожно стараясь вызвать Антека на откровенность.

— Как я могу, когда любовь хуже болезни... огневицей по костям ходит, кипятком кипит в сердце, и такая тоска одолевает, что ни есть, ни спать, ничего делать не могу — хоть бейся головой о стену или руки на себя наложи.

— Не знаю я, что ли? Как будто я сам по Ягне не вздыхал! От любви одно есть лекарство:

жениться — и все как рукой снимет. А еще есть другое: если жениться нельзя, — взять женщину эту, и сразу пройдет любовь. Верно тебе говорю, я ведь в этих делах собаку съел! — добавил он хвастливо.

— А если и тогда не пройдет? — спросил Антек печально.

— Ясное дело, если человек стонет да хнычет, подстерегает девку за каждым углом и, как юбка зашуршит, у него ноги дрожат, — у такого скоро не пройдет. Да ведь это не мужчина, а теленок, такой человек гроша медного не стоит! — бросил Матеуш презрительно.

— Правильно ты говоришь, но сдается мне, что есть и такие, есть... — Антек задумался.

— Выпьем, у меня в горле пересохло. Ну их к чертям, баб этих! Иная — такой заморыш, что, кажется, дунешь на нее, и она с ног свалится, а частенько силача из силачей водит на веревочке, как теленка. Она иссушит и разума лишит и еще на посмешище людям выставит! Чертово семя! Выпьем!

— За твое здоровье, брат!

— Спасибо. Ты меня послушай: плюнь ты на это чертово семя! Ведь есть у тебя голова на плечах!

Выпили опять раз и другой, потолковали. Антек был уже под хмельком, и так как ему до сих пор не перед кем было посетовать на судьбу свою, он испытывал неодолимую потребность излить душу. Он с трудом сдерживался — и все-таки нет-нет да и вырывалось у него какое нибудь многозначительное слово, которое все объясняло. А Матеуш слушал и запоминал, хотя ничем не выдавал этого.

В корчме веселье уже было в полном разгаре. Музыканты играли изо всех сил, один танец сменялся другим. Выпивали за всеми столами и во всех углах, дело уже доходило до ссор, и все говорили так громко, что в избе стоял галдеж, а топот танцующих гудел, как удары цепов. Компания Клемба перебралась за перегородку и там тоже порядком шумела, только Соха с Малгоськой танцевали, забыв все на свете, и в промежутках выбегали, обнявшись, на мороз. А Бартек со своими все стоял на том же месте, они допивали вторую бутылку и Войтек Кобусь, уже не стесняясь, кричал прямо в лицо репецким мужикам, которые считали себя шляхтичами:

— Чертова шляхта — мешок да плахта!

— Помещики! Полдеревни одну корову доят! — язвительно добавлял другой.

— Лошадей им не надобно, — их вши сами возят!

— Панские метлы! Коли нюх такой хороший, — нанимались бы к пану в собаки!

— Почуяли, где жареным пахнет, вот и тянутся туда.

— Пришли у людей работу отбивать!

— Мы вам кудри-то порасчешем так, что без голов удирать будете!

— Бродяги, блюдолизы! Мало им у евреев печи топить, вот они и прискакали сюда!

Так все ругали репецких, а иные и с кулаками к ним лезли. Число нападавших росло, выкрики становились все враждебнее — действовала уже и выпитая водка. А репецкие, не отзываясь ни словом, сидели себе тесной группой, держа палки между колен, пили пиво, закусывали колбасой, которую принесли с собой, и поглядывали на мужиков надменно и бесстрашно.

Дело, вероятно, скоро дошло бы до рукопашной, если бы не прибежал Клемб. Он стал успокаивать людей, уговаривать, просить, а за ним и другие старики и Амброжий. Наконец, Кобусь перестал ругаться, других оттащили к стойке угощаться. А музыка грянула еще громче. Амброжий опять принялся врать всякие небылицы о войнах, о Наполеоне, о каком-то большом начальнике, потом перешел к другим забавным историям, от которых люди покатывались со смеху. Он же, очень довольный собой, уже сильно подвыпивший, расположился за столом и балагурил:

— Напоследок расскажу я вам еще одну историю, коротенькую, оттого что мне поплясать охота, да и девушки вон сердятся, что я к ним не иду! Вы знаете, что нынче сговор клембовой дочки с Вицеком Сохой? Если б я только захотел, Малгоську за меня бы сговорили! Вот как дело-то было.

В четверг нагрянули к старому Клембу сваты с водкой, в одно время пришли и от Сохи и от Прычека. Одни его потчуют рисовой, другие — сладкой наливкой. А Клемб и с этими пьет, и тех не обижает, водки не выливает. Что ж, и один жених хорош и другой не хуже! А сваты так стараются, что пот с них градом льет, расхваливают каждый своего! И у этого, дескать, земля отличная, жаворонками унавожена, и у другого тоже такая, что собаки только на ней свадьбы свои справляют. У одного — изба такая, что свиньи в нее под бревнами пролезают, и у другого — не хуже. Оба — богачи, днем с огнем таких поискать! У Сохи целый воротник от тулупа, а самый тулуп псы в ключья разнесли. А у Прычека — ремешок от воскресных штанов и пуговица блестящая, как золото! Один — парень статный, что твоя копна, и у другого брюхо вздуто от картошки! Одно слово — красавцы! У Сохи изо рта слюна бежит, а у Прычека глаза гноятся. Оба друг другу ни в чем не уступят, и такие оба работающие, такие старательные — поставь им полмешка картошки, так за один присест съедят и другой такой же порции дожидаются! Оба будут зятя хоть куда — могут коров попасти, избу подмести, навоз раскидать. От обеих девушке никакой обиды не будет, потому что они с аистами компании не водят. Славные парни! Речистые, разумные, ловкие, никогда ложки мимо рта не пронесут. Как тут быть, коли старику оба одинаково по душе? Вертится он, в носу ковыряет, мозгами ворочает и, наконец, у Малгоськи спрашивает: которого хочешь?

— Оба они — чучела, тато, так уж позвольте, я лучше за Амброжия выйду!

Старый долго головой качал, думал-думал, — он ведь у нас, известно, на всю избу свою первый умник. А женихи торопят, сваты свое твердят! Вот он с одними выпил рисовой, с другими — сладкой и говорит:

— Принесите весы!

Принесли весы, поставили, а он объявляет:

— Взвесьтесь, хлопцы, — кто тяжелее, того и выберу в зятя.

Смутились сваты, послали за водкой, а сами думают: "который потяжелее будет?" Потому что оба жениха, как клопы дохлые. И догадались тут сваты Прычека — насовали ему камней за пазуху и в карманы. Но и у Сохи сваты тоже не промах — сунули ему под кафтан гуся (другого ничего не нашлось под рукой) и ставят на весы. Глядят, проверяют вес, а тут вдруг зашипело что-то: "Ссс" — и гусь бац на землю! Засмеялись все, а Клемб и говорит: "Ишь, хитрая какая bestия! Хоть весу и не хватает, а уж так и быть — возьму его в зятя!"

Во всем этом правдой было только то, — что женихов Клемб заставил взвешиваться. Но Амброжий рассказывал так уморительно, что слушатели смеялись до слез, по всей корчме гремел хохот.

Гости Клемба тоже скоро вышли из-за перегородки и всей гурьбой пошли плясать. Поднялся топот, крик, в шуме уже нельзя было различить отдельных голосов.

В головах мутилось, всем жарко стало. Веселье росло, молодежь разгулялась вовсю, а старики заняли столы, собирались, где только могли, хотя танцующие им мешали, все расширяя круг. Говорили во весь голос, чокались, рассуждали каждый о своем, наслаждались праздником.

Музыка гремела, все плясали до упаду. Хотя было так тесно, что двигались спина к спине, никого это не смущало — носились по комнате, весело покрикивали, стучали каблуками так, что стонали половицы и дрожала стойка.

Веселье было настоящее, люди отдавались ему всей душой. Да оно и понятно — ведь была зима, мужики оторвали натруженные руки от кормилицы-земли, и вот разгибались согнутые спины, распрямлялись угнетенные заботами души, поднимался народ во весь рост, всех равняли свобода, отдых, как-то шире становился круг мыслей, и каждый человек виден был отдельно. Так же вот в лесу летом не отличишь дерева от дерева, они слиты в однообразную зеленую чащу. А только выпадет первый снег — и увидишь каждое дерево в отдельности и вмиг распознаешь, дуб ли это, или граб, или осина!

Только Антек и Матеуш не вставали с мест, сидели рядом, как близкие друзья, беседовали вполголоса. К ним то и дело кто-нибудь подходил и вставлял от себя словечко-другое. Подошел Стах Плошка, подошел Бальцерек, потом брат войта и другие — все первейшие парни в деревне, которые были дружками на свадьбе Ягуси. Подходили сначала нерешительно, опасаясь, как бы Антек не огорошил их резким словом, но он здоровался с каждым за руку, смотрел на всех дружелюбно, — и скоро его обступили тесным кольцом, внимательно слушали, во всем соглашались, лебезили перед ним, как в прежние времена, когда он ими всеми верховодил. Но Антек усмехался как-то горько, вспоминая, что еще вчера эти самые люди далеко обходили его при встрече..

— Что это нигде тебя не видно, и в корчму не заходишь? — сказал Плошка.

— Работаю с утра до ночи, когда же мне в корчму ходить?

— Правда, правда! — согласились другие.

Постепенно разговор перешел на разные деревенские дела, парни толковали о своих отцах, о девушках, о зиме. Но беседа как-то не клеилась, Антек говорил мало и все поглядывал на дверь в надежде, что придет Ягна. Только когда Бальцерек начал рассказывать о совещании у Клембов насчет леса, он стал слушать внимательно и спросил:

— И что же постановили?

— Да что! Повздыхали, погоревали, а решить ничего не решили, — только то, что вырубку допускать нельзя.

— А что умного могут придумать эти мякинные головы! — воскликнул Плошка. — Сойдутся, водки нахлещутся, сопят, хнычут, — пользы от этих сходов столько же, сколько от прошлогоднего снега! Помещик может себе спокойно вырубать хотя бы весь лес.

— Нельзя этого допустить! — отрывисто сказал Матеуш.

— А кто же его удержит? Кто ему запретит? — возражали со всех сторон.

— Кто же, как не вы?

— Ну да, так нам и позволят вмешаться! Я было сказал слово, так отец на меня накричал, чтобы я носа не совал, что не мое это дело, а ихнее, хозяйское!

— Конечно, права у них, потому что они все в руках держат и ни на минуту не выпустят, а мы

— все равно что батраки! — кипятился Плошка.

— Никуда это не годится!

— Не так оно должно быть!

— Ясно! Пора молодым и землей владеть и дела решать.

— А старых — на печь!

— Я в солдатах срок отслужил, года идут, а мне не отдают того, что мое! — кричал Плошка.

— Каждому из нас пора свое получить!

— Все мы тут обиженные!

— А пуще всех Антек!

— Надо бы в деревне порядок навести! — тихо, но решительно сказал Шимек, брат Ягуси. Он пришел сюда недавно и молча стоял позади других. На него оглянулись с удивлением, а он вышел вперед и начал с жаром говорить о своих обидах, и при этом смотрел всем в глаза и краснел, оттого что не привык говорить на людях и, кроме того, еще побаивался матери.

— Вот как Настка его уму-разуму научила! — буркнул кто-то, и все засмеялись, а Шимек замолчал и скрылся в толпе.

Разговор поддержал брат войта, Гжеля Раковский, хотя он был несловоохотлив и немного заикался.

— Плохо, что старики землю в руках держат и детям не уступают, обидно нам это. Но хуже всего то, что правят они глупо. И это дело, насчет леса, давно бы можно кончить, если бы они столкнувались с помещиком.

— Вот еще! Он давал по два морга, а нам полагается по четыре на каждые пятнадцать моргов поля.

— Полагается или нет — это еще неизвестно, это уж начальство рассудит.

— Начальство всегда с господами заодно!

— Неправда, сам комиссар сказал, чтобы мы на два морга не соглашались, значит помещик обязан дать больше! — объяснял Бальцерек.

— Тише, кузнец с урядником едут! — шепотом сказал Матеуш.

Все оглянулись на дверь. В самом деле, вошел кузнец под руку с урядником. Оба уже порядком подвыпили и, грубо растолкав народ, ринулись прямо к стойке. Впрочем, там они постояли недолго, Янкель увел их за перегородку.

— Это они у войта на крестинах так угостились.

— А войт сегодня крестины справляет? — спросил Антек.

— Да. Старики наши там и сидят. Солтыс с Бальцерковой в кумовья позваны, потому что Борына чего-то рассердился и не захотел, — рассказывал Плошка.

— А это кто такой? — воскликнул вдруг Бальцерек.

— Это пан Яцек, брат помещика из Воли, — объяснил Гжеля, и все даже привстали, чтобы поглядеть на него. Пан Яцек медленно пробирался в толпе и кого-то искал глазами, пока не наткнулся на Бартека с лесопилки, и пошел с ним туда, где сидели репечкие.

— Чего ему здесь надо?

— Да ничего, наверное. Он все ходит по деревням, с мужиками толкует, иной раз поможет кому-нибудь. И на скрипке играет, девушек песням учит. Говорят, он свихнулся малость.

— Ну, кончай же, Гжеля, договаривай, коли начал!

— Это насчет леса? Мой совет таков: в этом деле на стариков полагаться нельзя, обязательно все испортят.

— Есть только одно средство: как начнут наш лес рубить, идти всей деревней и разогнать их, не подпускать к лесу до тех пор, пока помещик с нами не сговорится! — сказал Антек решительно.

— Это самое постановили у Клемба.

— Постановили, да не сделают: кто за ними пойдет?

— Хозяева пойдут.

— Не все.

— Если Борына поведет, так все пойдут.

— Да неизвестно еще, захочет ли Мацей!

— А не захочет, так Антек поведет! — запальчиво крикнул Бальцерек.

Все его горячо поддержали, один только Гжеля был против. Он повидал свет, читал газету "Заря" и считал себя поэтому умнее других. Он начал книжным языком доказывать, что насилия чинить нельзя, потому что вмешается суд и ничего, кроме тюрьмы, этим не добьешься, что нужно нанять в городе адвоката и адвокат все сделает по закону. Но товарищам скоро надоело его слушать, слышались насмешки. Гжеля разозлился и сказал:

— Вы отцов своих дураками считаете, а у самих ни на грош разума нет, все равно — как у ребятишек, что еще на карачках ползают, — только и знаете чужие слова повторять!

— Борына пришел с Ягусей и девушками! — сказал кто-то.

Антек, который в эту минуту собирался что-то ответить Гжеле, промолчал и впился глазами в Ягну.

Они пришли поздно, уже после ужина, потому что старик долго противился плаксивым мольбам Юзи и уговорам Настки, — все ждал, чтобы Ягуся его попросила. Она после обеда резко объявила, что пойдет на музыку, а он так же резко ответил, что с места не двинется: не пошел к войту, так никуда не пойдет. Ягуся больше не просила: она так ожесточилась, что не говорила с ним ни слова, плакала потихоньку по углам, хлопала дверями, стояла подолгу на крыльце, несмотря на мороз, ураганом металась по дому, — от нее так и веяло холодной злобой. Ужинать не села с другими и начала вынимать из сундука юбки, примерять их и прихорашиваться.

Что было делать старику? Бранился, ворчал, клялся, что не пойдет, а в конце концов пришлось ему у Ягны прощения просить и волей-неволей вести всех в корчму.

Он вошел, суровый и важный, здоровался с очень немногими, так как равных ему здесь было мало — ведь все видные люди пиروвали у войта на крестинах. Сына он не заметил, хотя внимательно осматривался по сторонам.

А Антек не сводил глаз с Ягуси. Она стояла у прилавка. Парни ринулись к ней приглашать на танцы, но она всем отказывала, весело болтала то с тем, то с другим и украдкой обводила глазами толпу. Она была сегодня так хороша, что, хотя люди были уже пьяны, все на нее глядели с восторгом. Ни одна из женщин вокруг не могла с ней сравняться. А ведь здесь была и высокая, стройная Настка, в своем красном платье похожая на мальву, и гордая Веронка Плошка, румяная, как георгин, и дочка Сохи, еще совсем девочка, тоненькая, гибкая, с милым личиком. Были и другие девушки, красивые, стройные, притягивавшие глаза мужчин, как, например, Марыся Бальцерек, рослая на диво, белая, крепкая, как молодая репка, и первая в деревне плясунья. Но Ягна была всех лучше. Она затмевала всех красотой, нарядом, осанкой и этими голубыми яркими глазами, как роза затмевает всякие настурции, мальвы, георгины, маки. Да и разоделась она сегодня, как на свадьбу: юбка на ней была оранжевая в зеленых и белых полосах, корсаж из голубого бархата, прошитого золотой ниткой, с глубоким вырезом, тонкая белоснежная рубашка пышными сборками окружала шею и кисти рук, а на грудь в несколько рядов спускались кораллы и янтари. Голову она повязала шелковым платочком, голубым в розовую крапинку, и концы его спустила на плечи.

Другие женщины осуждали ее за такое щегольство и делали ядовитые замечания, но она не обращала на это никакого внимания. Она сразу заметила Антека и, порозовев от радости, как вода в лучах восходящего солнца, отвернулась от Борыны, которому что-то говорил Янкель. Борына скоро ушел за перегородку и там остался. Антек только того и ждал. Он тотчас пробрался вдоль стены к прилавку и спокойно поздоровался с ними, хотя Юзья нарочно отвернулась.

— На музыку пришли или на малгоськин сговор?

— На музыку, — ответила Ягна тихо — от волнения у нее обрывался голос. Некоторое время они стояли рядом молча, только дышали чаще и украдкой переглядывались. Танцующие оттеснили их к самой стене, Настку Шимек увел танцевать, Юзя тоже куда-то исчезла, и они остались одни.

— Каждый день тебя поджидаю, каждый день... — прошептал Антек.

— Да как же я могу выйти... стерегут меня! — отозвалась она дрожа. Руки их как-то сами собой встретились, и оба побледнели, у обоих дух захватило, засияли глаза, а в сердцах звенела музыка счастья.

— Отойди, пусти! — просила Ягна чуть слышно, потому что вокруг теснились люди.

Антек, не отвечая, крепко обнял ее за талию, раздвинул толпу и, очутившись в середине круга, закричал музыкантам:

— Эй, хлопцы, обертас, да повеселее!

Те, конечно, дернули изо всех сил, так что контрабас даже застонал, — всем им было хорошо известно, что Антек, когда разойдется, готов угощать хоть всю корчму. За ним пустились в пляс и его товарищи: танцевал Плошка, Бальцерек, Гжеля и другие, а Матеуш, которому еще мешали танцевать сломанные ребра, только притопывал и покрикивал, раззадоривая других.

Антек вылетел вперед и танцевал в первой паре с таким упоением, что ничего не помнил и ничего не видел вокруг, — оттого что Ягуся нежно к нему прижималась и, с трудом переводя дух, все шептала:

— Еще, Антось, еще немножко!

Долго они так плясали, потом сделали перерыв, чтобы отдышаться и выпить пива, и опять пошли танцевать, не замечая, что они уже привлекают всеобщее внимание, что люди вокруг шепчутся, косятся на них и даже вслух делают замечания.

Антеку все было нипочем. С той минуты, как Ягуся очутилась в его объятиях и он прижал ее к себе так крепко, что она вся напряглась и полузакрыла свои милые синие глаза, он забыл все на свете. Радость бурлила в нем, в сердце настал весенний солнечный день. Он забыл о людях вокруг, кровь его кипела, и гордая, непреклонная сила росла в нем.

А Ягуся утопала в блаженстве. Он уносил ее, как вихрь, и она не противилась, да и как она могла противиться? Он кружил ее, мчал вперед, обнимал так, что минутами темнело в глазах, исчезало из памяти все, а в сердце пели радость, молодость, любовь, и она видела только его черные брови, его бездонные глаза, его губы, алые, манящие.

Скрипка заливалась все громче песней, жгучей, как июльский знойный ветер; от этой песни кровь превращалась в огонь и душа играла весельем и силой. Гудели в такт басы так задорно, что ноги сами неслись и пристукивали каблуками. Свистела флейта, как дрозд весною, манила, будила в сердце любовное томление, и дрожь пробежала по телу, в голове плавал туман, дух захватывало, и хотелось плакать и смеяться, кричать, обнимать и целовать кого-то, и в самозабвении мчаться неведомо куда, в далекий мир.

И молодежь плясала неистово, ходуном ходила корчма, и дрожали бочонки, на которых сидели музыканты.

Пар пятьдесят кружилось огромным колесом, колыхавшимся от стены к стене, поющим, пьяным от веселья и удали. Опрокидывались бутылки, гасли лампы, в избе наступала ночь, и только огонь в печи, раздуваемый вихрем пляски, вспыхивал, сыпал искрами, и в кровавом свете его едва маячила кружившаяся толпа, так тесно сбитая, что не различить было человека от человека. Взвивались белыми крыльями кафтаны, мелькали юбки, ленты, платки, разгоряченные лица, сияющие глаза. Неистовый топот, пение, крики — все смешалось. Кружилось огромное веретено с оглушительным шумом, и шум этот через открытую в сени дверь летел в снежную морозную ночь. Антек все время танцевал впереди всех, громче всех стучал каблуками, кружился, как вихрь, пригибался к земле так, что казалось, вот сейчас упадет, — но, где там! — он уже снова выпрямлялся и мчался вперед! Он то покрикивал, то запевал песню, проплывал сквозь толпу, как корабль, разрезающий волны, несся, как буря, и никто за ним не попевал.

Так он плясал добрый час. Другие, утомившись, выходили из круга, у музыкантов немели руки, но он бросал им деньги и заставлял играть, — и все плясал. В конце концов они с Ягусей уже чуть не одни остались в кругу.

Тут уже женщины стали громко удивляться такому разгулу, качали головами и жалели Борыну. Юзя, которая сердилась на Антеку, а еще больше на мачеху, побежала за перегородку к старику.

— Отец, Антек пляшет с мачехой так, что люди дивятся! — шепнула она ему.

— Пусть пляшут, на то и корчма, — ответил он и продолжал что-то обсуждать с урядником и кузнецом, непрерывно чокаясь с ними.

Юзя вернулась ни с чем, но стала внимательно следить за Антеком и Ягной. Они уже не танцевали, а стояли у прилавка с целой гурьбой девушек и парней. Всем было весело, потому что Амброжий, вдрызг пьяный, сыпал такими прибаутками, что девушки закрывались рукавами, а парни громко хохотали и еще добавляли свое.

Антек всех угощал пивом, чокался первый, заставлял других пить, с парнями обнимался, а девушкам целыми пригоршнями сыпал за пазуху конфеты для того, чтобы можно было при этом коснуться и Ягуси. Несмотря на усталость, он смеялся громче всех и весело болтал.

А вокруг них веселились и другие, народ разгулялся. Одни все еще танцевали, другие собирались компаниями, где придется, и гуторили, пили, братались, наслаждались от души. Репецкие шляхтичи встали из-за стола, успев уже за рюмкой подружиться с липецкими; некоторые из них даже пошли танцевать, и девушки им не отказывали, потому что они приглашали вежливо и манеры у них были лучше, чем у деревенских кавалеров.

Компания, окружавшая Антека, развлекалась отдельно, — это была молодежь, и виднейшая молодежь деревни. Сам же он, хотя и разговаривал со всеми, был словно в беспамятстве, ни на что уже не глядел и ничего не скрывал, да и не сумел бы скрыть. Он не обращал внимания на то, что люди к нему зорко приглядываются и внимательно слушают. Ах, не все ли ему было равно! Он что-то нашептывал Ягне на ухо, прижимал ее к стене, обнимал, брал за руки, едва-едва сдерживая желание целовать ее. Глаза его блуждали, в груди поднималась такая буря, что он готов был отважиться на что угодно — только бы тут, у нее на глазах, потому что в этих сияющих голубых глазах он видел восторг и любовь. Гордость в нем росла, уверенность в себе, вот он и шумел, как налетающая гроза. Да и хмель в нем играл. Он все время пил и Ягусю заставлял. У нее уже мутилось в голове, она ничего не сознавала, только в иные минуты, когда музыка умолкала и в корчме становилось потише, приходила в себя, и страх закрадывался ей в душу. Она в замешательстве озиралась вокруг, словно ища помощи, ей хотелось бежать отсюда, но рядом стоял Антек и так на нее глядел, такой страстью от него веяло, такая вспыхивала в ней ответная любовь, что она опять обо всем забывала.

Длилось это довольно долго, и Антек уже начал поить водкой всю компанию. Янкель охотно давал ему в долг и каждую бутылку отмечал на двери два раза. Здорово опьянев, вся компания снова пошла плясать, чтобы немного встряхнуться. Антек с Ягусей, разумеется, в первой паре.

Тут как раз вышел из-за перегородки Борына — его привели возмущенные женщины. Он постоял, посмотрел, сразу все понял, и жестокий гнев охватил его. Но он только сжал зубы, застегнулся, нахлобучил шапку и стал пробираться к Ягне. Ему уступали дорогу, видя, что лицо его бело, как мел, а глаза дико сверкают.

— Домой! — сказал он громко, когда Антек с Ягной пролетали мимо него, и хотел схватить ее за руку, но в это мгновение Антек закружил ее на месте и помчал дальше. Она тщетно пыталась вырваться.

Борына подскочил, растолкав круг зрителей, вырвал ее из рук Антека и, не отпуская, не взглянув даже на сына, увел из корчмы.

Музыка сразу оборвалась, внезапная тишина наступила в корчме, все стояли как вкопанные, не говоря ни слова. Люди поняли, что происходит что-то страшное, так как Антек бросился за Борыной, расшвыряв, как солому, всех, кто стоял у него на дороге. Он выбежал на улицу. Тут его сразу пронизало холодом, он споткнулся о лежавшее перед домом бревно и упал на снег, но торопливо вскочил и догнал отца и Ягну на повороте дороги у озера.

— Ступай своей дорогой и не приставай к людям! — крикнул Борына, обернувшись.

Ягна с визгом убежала в избу, а Юзя совала старику в руки кол и кричала:

— Бейте этого разбойника, бейте, тато!

— Пустите ее, пустите! — бормотал Антек, уже ничего не соображая, и лез на отца с кулаками.

— Сказано тебе — уйди или, видит бог, убью, как собаку! Слышишь? — крикнул опять Борына, готовый на все. Антек невольно попятился, руки у него опустились, страх охватил его с такой силой, что он весь задрожал. А старик не спеша зашагал к дому.

Антек не кинулся за ним. Он стоял растерянный, вода вокруг бессмысленным взглядом. На дороге уже не было никого, ярко светила луна, и снег искрился в ее лучах, но что-то мрачное было в белизне заснеженных улиц. Антек пришел в себя только в корчме, куда его привели приятели, они побежали к нему на помощь, когда разнесся слух, что он дерется с отцом.

Веселье кончилось. Было уже поздно, и все стали расходиться по домам. Корчма быстро опустела, а на улицах еще некоторое время звучали оклики и песни. Оставались в корчме только репецкие, которые собирались ночевать у Янкеля. Пан Яцек играл им на скрипке какие-то печальные песни, а они сидели за столом, подпирая головы руками, слушали и вздыхали. Оставался еще и Антек, одиноко сидевший в углу; товарищи пытались говорить с ним, но он ничего не отвечал, и все ушли, оставив его одного. Он сидел неподвижно, как мертвый, и тщетно Янкель напоминал ему, что сейчас будет запирать корчму, — Антек не слышал и ничего не создавал. Очнулся только тогда, когда услышал голос Ганки, которой люди сказали, что он опять подрался с отцом.

— Чего тебе? — спросил он.

— Пойдем домой, поздно уже, — просила Ганка, борясь со слезами.

— Ступай одна, не пойду я с тобой. Уйди прочь, говорю! — крикнул он грозно, потом вдруг нагнулся к ней и прямо в лицо сказал:

— Если бы меня в кандалы заковали да в яму посадили, и то я был бы свободнее, чем живя с тобой. Слышишь — свободнее!

Ганка горько заплакала и ушла. Тогда и он встал, вышел и побрел к мельнице.

Ночь была светлая, вся купалась в лунном блеске, от деревьев ложились длинные серебристо-голубые тени, а мороз был такой, что часто потрескивали жерди в изгородях. Мертвая студеная тишина окутала мир; деревня уже спала, ни одно окошко не светилось, ни одна собака не лаяла, не стучала мельница, и только от корчмы доносился хриплый голос Амброжия, — он, по своему обыкновению, распевал среди дороги, но тихо, как сквозь сон.

Антек медленно, с трудом плелся мимо озера, иногда останавливался, окидывал все невидящим взглядом, тревожно прислушивался... В голове все еще звучали страшные слова отца, все еще видел он перед собой свирепый взгляд, сразивший его. И он невольно отступал, страх сжимал ему горло, сердце замирало, волосы вставали дыбом, — и он забывал свою ненависть, забывал любовь, все исчезало из памяти, оставался лишь смертельный ужас, отчаяние, горькое чувство бессилия.

Сам того не замечая, он пошел по направлению к дому. Вдруг со стороны костела до него донесся чей-то жалобный плач и громкие причитания. Перед распятием, у самых ворот кладбища, лежал кто-то, распростершись на снегу. Тень, падавшая от ограды кладбища, мешала что-нибудь разглядеть. Антек нагнулся, думая, что это какой-нибудь странник или пьяный, — но то лежала Ганка, взывая к Богу о милосердии.

— Пойдем домой, ведь холодище какой! Пойдем, Гануся! — просил он, чувствуя, как оттаивает душа, но Ганка не отзывалась, и он насильно поднял ее и повел домой.

Они ни о чем не говорили дорогой, потому что Ганка все время плакала навзрыд.

После этого праздника в доме у Борыны было тихо, как в могиле. Ни слез, ни криков, ни ругани, только тяжелое, зловещее молчание, насыщенное тайным гневом и горечью.

Весь дом замолк, помрачнел, жил в постоянной тревоге и ожидании чего-то страшного, — как будто потолок мог каждую минуту обрушиться на головы.

Старик ни тогда ночью, когда они вернулись из корчмы, ни на другой день не сказал Ягусе ни одного резкого слова, и даже Доминиковой не пожаловался, — как будто ничего не случилось. Но он расхворался от тайно бушевавшей в нем злобы и не мог подняться с постели — у него все время замирало сердце, кололо в боку и лихорадило.

— Не иначе, как в печени у тебя воспаление, — говорила Доминикова, натирая ему бок горячим маслом. Он ничего не отвечал, только жалобно кряхтел и упорно смотрел в потолок.

— Ягуся ничуть не виновата! — начала Доминикова тихо, чтобы не услышали в соседней комнате. Ее сильно беспокоило то, что Борына ни словом не обмолвился насчет вчерашнего.

— А кто же виноват? — проворчал он.

— Что она такого сделала? Ты ее одну оставил и ушел пить за перегородку, а тут музыка, все пляшут, веселятся — что же ей было одной бирюком в углу стоять? Ведь она молодая, здоровая, повеселиться и ей надо! А плясать пошла, потому что он ее заставил. Как же можно было не пойти — в корчме каждый имеет право пригласить кого хочет. А выбрал он ее, разбойник этот, и не отпускал тебе назло, только назло тебе!

— Ладно, мажь и лечи поскорее, а уму-разуму меня учить нечего, я сам знаю, как дело было, и не нужны мне твои объяснения!

— Коли ты такой умник, так и то должен понимать, что баба молодая, здоровая, ей тоже утеха нужна. Не бревно она, не старуха, вышла замуж, так ей муж нужен, а не дед — четки, что ли, ей с дедом перебирать!

— А зачем же ты тогда ее за меня отдала? — бросил он презрительно.

— Зачем? А кто скулил, как пес? Не я тебе кланялась, чтобы ты ее взял! Я ее тебе не подсовывала, не навязывалась и она! Она могла выйти за любого из первых парней на деревне — сколько их было!..

— Были, да не для женитьбы!..

— Чтоб у тебя язык отсох за такие слова поганые!

— Ага, правда-то, видно, глаза колет, — ишь как вскинулась!

— Вранье это мерзкое, а не правда! Вранье!

Он натянул перину до подбородка, отвернулся к стене и уже ни одним словом не отзывался на все ее доводы. Когда же она под конец ударилась в слезы, он насмешливо пробурчал:

— Когда баба ухватом ничего не сделает, так думает, что плач ей поможет!

Да, он знал, что говорит, не зря сказал такие слова о Ягне! Теперь, когда он лежал целыми днями, ему вспомнилось все, что о ней говорили раньше, он все это обдумывал, разбирал, сопоставлял, — и такая злоба в нем накупала, так мучила ревность, что он улежать не мог,

ворочался на постели, ругался про себя или злыми, ястребиными глазами следил за Ягной. А она была какая-то бледная, осунувшаяся, бродила по дому как сонная, поглядывала на мужа жалобными глазами обиженного ребенка и так вздыхала, что у него уже сердце начинало таять, — но тем сильнее разгоралась ревность.

Тянулось это почти целую неделю — и Ягна чувствовала, что ей больше не выдержать. Душа у нее была болезненно чуткая. Есть такие цветы: только дохнет на них холодом, и они сразу свернутся и затрепещут от боли. Она заметно худела, не спала, ей кусок не шел в горло, она не могла усидеть на месте, заняться какой-нибудь работой. Все из рук валилось, и страх ходил за ней по пятам — пугало то, что старик все лежит, стонет, доброго слова не вымолвит и смотрит на нее так, словно убить хочет. Она постоянно ощущала на себе его взгляд, и это было нестерпимо. Жизнь ей стала в тягость, тоска ее заедала — ведь и об Антеке она ничего не знала, он всю неделю не показывался, а она не раз в сумерках, преодолевая смертельный страх, выбегала к сеновалу! Спросить о нем она не смела ни у кого. Ей так дома опротивело все, что она по два раза в день бегала к матери, но Доминикова мало сидела в избе — то навещала больных, то была в костеле, а если Ягна и заставала ее дома, она встречала дочь сурово, осыпала горькими упреками. Братья тоже бродили хмурые, сердитые и подавленные, потому что старуха отколотила Шимека за то, что он в Крещение пропилил в корчме целых четыре злотых. Ягна уходила от них к соседям, чтобы только как-нибудь скоротать день, но и там было не слаще: выгонять ее, конечно, не выгоняли, но цедили слова сквозь зубы, смотрели холодно и все в один голос жалели больного Борыну и горько сетовали на то, что пришли скверные времена.

А Юзька досаждала ей, чем только могла, на каждом шагу. Даже Витек не решался при хозяине болтать с нею, так что ей не с кем было слово сказать. Единственным ее утешением и развлечением, отгонявшим назойливые мысли, была скрипка Петрика. По вечерам он тихо играл в конюшне, — в избе старик не позволял.

А зима стояла все такая же суровая, студеная и ветреная, поэтому приходилось постоянно сидеть дома.

Наконец, как-то в субботу, старик, хотя еще не совсем был здоров, встал с постели, оделся потеплее (на дворе был трескучий мороз) и ушел.

Он заходил к одним, — к другим, то будто бы погреться, то за каким-нибудь делом, и охотно останавливался поболтать даже с теми, мимо которых раньше проходил без единого слова. Везде он первый заводил разговор о корчме и, стараясь обратить в шутку все случившееся, весело рассказывал, как здорово он тогда напился и как даже захворал от этого.

Все удивлялись, поддакивали, кивали головами, но провести ему никого не удалось. Всем была известна его непреклонная гордость, знали, что уж если его самолюбие задето, так хоть огнем его припекай, он слова об этом не проронит. Знали, что он считает себя первым человеком в деревне и всегда очень старается, чтобы о нем не говорили дурно.

И сейчас все понимали, что он хочет замаять ходившие уже сплетни.

А старый Шимон, солтыс, — тот, по своему обыкновению, сказал ему прямо:

— Нечего нам очки втирать! Чего ты стараешься? Людская молва — что пожар: ее руками не потушишь, сама она должна выгореть! И еще я напомню тебе, что сказал перед твоей свадьбой: когда женится старик на молодой, не отогнать ему беса и святой водой!

Борына, разозленный, пошел прямо домой.

Ягуся, вообразив, что теперь, когда он встал, все опять пойдет по-старому, вздохнула с облегчением и стала с ним заговаривать. Она заглядывала ему в глаза, ластилась к нему и

ворковала в избе сладко, как прежде. Но он ее тотчас осадил такими резкими словами, что она вся сжалась. Он и потом не переменял обращения, не ласкал ее больше, не баловал, не предупреждал ее желаний, не добивался ее ласки, а грубо, как на служанку, кричал за всякое упущение в хозяйстве и заставлял работать.

С этого дня Борына опять, как бывало, взял все в свои руки, за всем сам следил и никому потачки не давал. Как только выздоровел, стал целыми днями молотить вдвоем с Петриком на гумне или возился с зерном в амбаре, ни на шаг не уходил со двора и даже по вечерам сидел дома — чинил упряжь или строгал что-нибудь. Он так зорко стерег Ягусю, что ни один ее шаг не укрывался от него. Даже сундук с ее праздничными нарядами он запер, а ключ носил при себе.

И натерпелась же она от него! Мало того, что он из-за каждого пустяка орал на нее и никогда доброго слова не говорил: он держал себя так, словно не она была хозяйкой дома, все распоряжения отдавал Юзе, с Юзей советовался о разных делах, в которых девочка ровно ничего не понимала, ей наказывал за всем надзирать, словно и не было Ягны в доме!

Ягна целыми днями пряла, ходила сама не своя, бегала к матери жаловаться и плакать. Но и Доминикова своим заступничеством ей не помогла. Борына, сказал, как отрезал:

— Жила твоя дочка полной хозяйкой, делала, что хотела, ни в чем у нее недостатка не было, а не умела этого ценить, так пусть теперь попробует другого! И тебе говорю, и ей ты это передай: пока у меня ноги ходят, буду свое оберегать и не допущу, чтобы надо мной потешались, как над дураком каким — нибудь! Это ты запомни!

— Бога побойся! Что она тебе худого сделала?

— Если бы сделала, я не так бы с ней поговорил и не так поступил! Довольно и того, что она с Антеком связалась.

— Так ведь в корчме, на танцах, при всех!

— Как же, только в корчме! Не морочь ты меня!..

Он давно уже смекнул, что в тот вечер, когда он нашел платок Ягны в снегу, она, вероятно, выходила на свидание к Антеку. И не давал себя убедить, ничему не верил и твердо стоял на своем. А в заключение сказал:

— Я человек добрый, сговорчивый, это все знают. Но если меня стегнут кнутом, я дам сдачи дубиной!

— Бей того, кто перед тобой виноват, а невинных напрасно не обижай — потому что из каждой обиды родится месть!

— Я никого не обижаю, я свое обороняю!

— Только бы ты вовремя увидел, когда твое кончится!

— Грозишь мне?

— Нет, говорю то, что думаю, а ты не очень заносись! И на свой аршин других не меряй!

— Хватит с меня твоих поучений да прибауток, у меня своя голова на плечах! — рассердился Борына.

Тем дело и кончилось. Доминикова, видя его ожесточение и упорство, не возобновляла больше этого разговора, надеясь, что все само собой пройдет и как-нибудь уладится. Но

старик не смягчался и даже находил какое-то удовольствие в этой злости. Правда, нередко по ночам, услышав плач Ягуси, он невольно срывался с постели, чтобы бежать к ней, но вовремя спохватывался и делал вид, что встал лишь для того, чтобы выглянуть в окно или проверить, заперты ли двери.

Это продолжалось добрых две недели. Ягне было так тяжело, так горько, что она едва себя сдерживала. Она не смела смотреть людям в глаза, стыдно ей было: ведь все в деревне знали, что творится у Борыны.

В доме царило уныние, все бродили, как тени, тихо, боязливо. Из соседей редко кто заглядывал — у всех довольно было своих передряг. Не приходил и войт, рассердившись на Борыну за то, что тот не захотел у него крестить. Только братья Ягны забегали иногда, да Настка Голуб приходила с прялкой, но она ходила к Юзе и больше для того, чтобы увидеться с Шимеком, так что Ягне от ее посещений было мало радости. Порой навещал их Рох, но, видя хмурые, злые лица, скоро уходил.

Один лишь кузнец приходил каждый вечер и просиживал долго. Он, как только мог, восстанавливал старика против Ягны и старался вкрасься к нему в доверие. Часто заглядывала Ягустинка — эта любила подбавить масла в огонь там, где люди ссорились. Каждый день бывала у дочери и Доминикова и каждый день твердила ей одно и то же: что старика надо смягчить покорностью.

Но Ягна не могла смириться, — напротив, в ней назревал бунт, и озлобление все чаще прорывалось наружу. Этому немало способствовала Ягустинка. Раз она тихо сказала Ягне:

— Жаль мне тебя, Ягусь, как дочь родную! Старый пес обижает тебя, а ты, как ягненок, все терпишь! Другие бабы не так делают, не так!

— А как же? — спросила Ягна с любопытством. Ей уже порядком надоело глотать обиды.

— Злого укротишь не добром, а только еще большей злостью! Он с тобой, как с девкой, говорит, а ты — ничего! Платья твои, как вижу, у него под замком, каждый твой шаг он сторожит, слова тебе по-хорошему не скажет, а ты что же? Вздыхаешь, кручинишься и божьей милости ждешь? Эй, помни пословицу: на бога надейся, а сам не плошай! На твоём месте я бы знала, что мне делать! Юзьку я выдрала бы, чтоб не распорядилась в доме. Хозяйка-то ведь ты, а не она! А мужу ни в чем бы не уступала! Коли хочет войны, так пусть будет такая война, чтобы у него глаза на лоб полезли! Дай только мужику над собой власть, так он живо драться начнет, и бог знает чем это может кончиться!..

— А первым делом, — Ягустинка понизила голос и нагнулась к уху Ягны, — первым делом отставь ты его, как теленка от коровы, не допускай к себе ни за что, держи, как пса за порогом! Увидишь, как он подбреет!

Ягна перестала прясть и заслонила руками покрасневшее лицо.

— Чего ж ты, глупая, застыдилась? Худого тут ничего нет. Все так делают и будут делать, не я первая это выдумала. Юбкой мужчину дальше заманишь, чем собаку салом. Собака скорее образумится! А старого еще легче, чем молодого, ему труднее по чужим избам грешить. Сделай так — и скажешь мне спасибо! А что там плетут про вас с Антеком, ты этого близко к сердцу не принимай: хоть ты будь бела, как первый снег, — все равно сажу на тебе увидят. Так уж водится на свете: робкому пальцем не дадут пошевелить, сейчас пойдут трезвонить. А кому все равно, что о нем говорят, кто силен и смел, тот может делать, что хочет, и никто словечка не скажет, да еще будут к нему ластиться, как собачонки! Сильный, неуступчивый и злой всем миром владеет!.. Вот и про меня немало болтали, и про мать твою тоже — всем было известно, что у нее с Флореком...

— Матери ты не касайся!

— Ладно, пускай она для тебя святой остается. Правда, каждому человеку надо что-нибудь святое иметь.

Долго еще рассуждала Ягустинка, поучала Ягусю и понемногу, не ожидая вопросов, рассказала об Антеке все, что только могла придумать. А Ягуся слушала с жадностью, не выдавая себя, однако, ни словечком. Советы Ягустинки крепко засели у нее в голове, она целый день раздумывала над ними.

Вечером, когда у них сидели Рох, кузнец и Настка, она сказала мужу:

— Дайте-ка ключи от сундука, мне надо одежду проветрить!

Он дал, немного сконфуженный смехом Настки, но все-таки, когда Ягуся опять уложила все, протянул руку за ключом.

— Тут только мое, так я уж сама его поберегу! — сказала она с вызовом.

И с этого вечера начался в доме ад! Старик вел себя по-прежнему, а Ягна не уступала, на одно слово отвечала — десятком, да так громко, что крик слышен был на улице. Это ей мало помогло, и тогда она начала делать старику назло.

К Юзе она придиралась на каждом шагу и часто так жестоко ее отчитывала, что девочка с плачем бежала к отцу жаловаться. Все было напрасно, Ягна еще больше бесновалась, когда ей перечили. По вечерам она нарочно переходила на другую половину избы, оставляя старика одного в передней горнице, заставляла Петрика играть, подпевала ему до поздней ночи. В воскресенье оделась как можно наряднее и, не дожидаясь мужа, — одна пошла в костел, а по дороге останавливалась и болтала с парнями. Борына удивлялся перемене в ней, бесился, пробовал не поддаваться, делал все, чтобы не узнали в деревне, но не мог справиться с Ягной и, дорожа своим покоем, все чаще уступал ей.

— Господи, каким ягненком казалась, покорной овечкой, а теперь на дыбы становится! — воскликнул он раз, обращаясь к Ягустинке.

— С жиру бесится! — отозвалась та с негодованием. Ягустинка всегда подпевала тем, кто делился с ней своими мыслями. — И вот что я вам скажу: пока не поздно, надо эту дурь из нее выбить, а то потом уже и дубина не поможет!

— У Борын это не в обычае! — возразил надменно Мацей.

— Думается мне, что и у Борын дойдет до этого! — насмешливо пробурчала Ягустинка.

Несколько дней спустя, после Сретения, Амброжий вечером дал знать Борыне, что завтра ксендз будет объезжать прихожан.

С раннего утра все засуетились, стали наводить в избе порядок, даже старик, чтобы уйти из этого ада (так как Ягна яростно орала на Юзю), сам принялся сгребать снег на дворе. Избу проветрили, обмели паутину, Юзя посыпала желтым песком крыльцо и пол в сенях, и все стали поспешно одеваться по-праздничному, так как ксендз был уже поблизости, у Бальцерков.

Вскоре его сани остановились перед крыльцом, и он, в стихаре на меху, вошел в избу, а перед ним шли два сына органиста, одетые как во время службы в костеле. Ксендз прочитал по — латыни молитвы, окропил все освященной водой и пошел во двор — святить постройки и все хозяйство. Борына нес перед ним в тарелке освященную воду, а он громко молился и кропил все по порядку. Сыновья органиста шли рядом, пели духовные песни и усердно

звонили в колокольчики. А все домочадцы Борыны шли позади, как во время крестного хода.

Окончив церемонию, ксендз вернулся в избу и сел отдохнуть. Пока Борына с работником ссыпали в сани два четверика овса и четверть гороха, он проверял, знают ли Юзька и Витек молитвы.

Они их знали так хорошо, что ксендз даже удивился и спросил, кто их учил.

— Молитвам меня учил Куба, а катехизису и читать по букварю Рох, — бойко объяснил Витек, и ксендз погладил его по голове. А Юзька так оробела, что покраснела вся, расплакалась и не могла вымолвить ни слова. Ксендз дал им по два образка и наказал слушаться старших, молиться и остерегаться греха, потому что нечистый скрывается повсюду и вводит людей в искушение. Потом он посмотрел на Ягну и, повысив голос, грозно сказал:

— Говорю вам, ничто не укроется от ока Господня! Бойтесь дня суда и кары, исправьтесь, пока не поздно!

Дети расплакались, — им казалось, что они в костеле, на проповеди. У Ягуси тоже тревожно забилось сердце, лицо облилось румянцем. Она хорошо понимала, что это говорится для нее. И, как только со двора вернулся Мацей, она вышла, не смея взглянуть на ксендза.

— Надо мне поговорить с вами, Мацей! — сказал ксендз тихо. Когда они остались одни, он указал Мацею место подле себя, откашлялся, попотчевал его табаком, утер нос платком, который, как уверял Витек, пахнул ладаном, похрустел пальцами и начал вполголоса:

— Слышал я от людей, что у вас в корчме вышло... Слышал!

— Да еще бы, у всех на глазах дело было, — сказал Борына угрюмо.

— Сколько раз я всем говорил: не ходите в корчму и женщин туда не водите! Надрываюсь, прошу — ничего не помогает! Вот и поделом вам! И еще Бога благодарите, что большего греха не было. Говорю вам — не было!

— Не было? — Лицо Борыны прояснилось: ксендзу он верил.

— Рассказывали мне еще, что вы ее за это сурово наказываете. Неправильно делаете! Кто несправедлив, тот грешит. Да, да, грешит!

— Да я только немного приструнить ее хотел...

— Виноват Антек, а не она! — поспешно перебил его ксендз. — Он нарочно, вам назло, принудил ее плясать. Должно быть, хотел ссоры, чтобы вас осрамить! Это я вам говорю! — уверял он торжественно, подготовленный Доминиковой, на слова которой он вполне полагался.

— Да... что я вам еще хотел сказать?.. Ага, вспомнил: кобылка ваша ходит по конюшне, надо ее в загородке запереть, не то лягнет ее мерин, — беда будет! У меня в прошлом году так же вот испортили лошадь... А она у вас от какого жеребца?

— От Мельникова.

— Ага, я сразу узнал по масти и по отметине на лбу! Славный конек!.. А с Антеком вам непременно надо помириться, — из-за этой ссоры парень совсем от рук отбился.

— Я с ним не ссорился и первый мириться не пойду! — сказал Борына упрямо.

— Я вам советую, как ксендз, а там дело ваше — поступайте, как вам совесть подскажет. Но

помните — из-за вас человек пропадает! Вот сегодня мне говорили, что он из корчмы не выходит, всех парней бунтует, восстает против стариков и будто бы и против помещика что-то затевает.

— Ничего я об этом не слыхал.

— Паршивая овца все стадо перепортит! А затеи против помещика могут кончиться большим несчастьем для всей деревни!

Но Борына не хотел продолжать этот разговор, и ксендз, потолковав о том о сем, надел шапку, понюхал табаку и на прощанье сказал:

— Только миром всего добьетесь! Только миром, дорогие мои, все держится. Пришли бы вы мирно, по-хорошему, так и пан с вами столкнулся бы. Он мне что-то такое говорил, поминал об этом... Человек он добрый и рад бы дело уладить по-соседски...

— Волк он, а не сосед! А на волка одна управа — кол либо капкан.

Ксендз так и шарахнулся от него, посмотрел ему в лицо и, поскорее отвернувшись, чтобы не видеть эти холодные, неумолимые серые глаза, эти сжатые губы, нервно потер руки. Он не любил споров.

— Ну, мне пора. Так вы помните, не следует слишком большой суровостью отталкивать от себя жену. Она молода еще и в голове дурь, как у всякой бабы. Значит, надо поступать с ней разумно и справедливо: кое-чего не замечать, кое-чего не дослышать, а на кое-что и внимания не обращать — и тогда избежишь раздоров, а это главное: раздоры всегда очень плохо кончаются! Миролюбца Господь Бог всегда благословит, — благословит, говорю!.. Что за черт! — вскрикнул вдруг ксендз и отскочил, так как аист, до сих пор неподвижно стоявший около сундука, изо всей силы клюнул его в блестящий сапог.

— А это аист. Витек его осенью приютил. Крыло у него было сломано, и он не улетел с другими. Выходил его парнишка, так вот теперь живет у нас в избе и ловит мышей, как кот.

— Ну, знаете, никогда я не видывал ручного аиста. Удивительно!

Ксендз наклонился к аисту и хотел его погладить, но тот не дал до себя дотронуться, изогнул шею и опять стал бочком подбираться к сапогу.

— Знаете, он мне так нравится, что я его охотно купил бы у вас. Продадите?

— Чего там продавать — мальчишка сейчас отнесет его к вам домой.

— Я за ним Валека пришлю.

— Да он никого к себе не подпускает, одного только Витека слушается.

Позвали Витека, ксендз дал ему злотый и велел вечером принести аиста. Витек разревелся и сейчас же по уходе ксендза унес аиста в хлев и там ревел почти до вечера, так что Борыне пришлось унимать его ремнем, после чего он повторил ему приказ отнести птицу. Пришлось мальчику покориться, но сердце у него щемило от горя и жалости, он даже боль от ремня не особенно почувствовал, ходил как потерянный с опухшими глазами и каждую свободную минуту убегал в хлев к аисту, обнимал его и целовал, заливаясь горькими слезами.

Когда смерклось и ксендз вернулся из деревни к себе в плебанию, Витек укутал аиста своим кафтаном, чтобы защитить его от мороза, и они вдвоем с Юзей (так как птица была тяжелая) понесли его в дом ксендза. Всю дорогу оба плакали, а Лапа бежал за ними и лаял — тоже как-то жалобно.

Чем дольше раздумывал Борына над словами ксендза и его искренними уверениями, тем веселее и спокойнее становился, и мало-помалу, незаметно менялось его обращение с Ягусей.

Казалось, все теперь было, как прежде, до того вечера в корчме. Но уже не вернулись в дом прежний веселый шум, мирная жизнь, спокойное и глубокое взаимное доверие.

Бывает так с надтреснутым горшком: хоть он на вид и совершенно цел, а пропускает воду в каком-то месте, где трещины и на свет не разглядишь.

Вот и в доме Борыны сквозь это видимое примирение какими-то невидимыми щелочками просачивалось затаенное недоверие, горечь, несколько утратившая остроту, но еще живая, и подозрения, которых ничем нельзя было убить.

Несмотря на искренние усилия, старик не мог победить своего недоверия и почти невольно следил за каждым шагом Ягны. А она ни на мгновение не забывала его прежней суровости и злых слов и, не имея возможности никуда убежать от его пытливых, стерегущих глаз, жаждала отомстить ему.

Может быть, именно за то, что он зорко стерег ее, не доверял ей, она возненавидела его еще больше, и ее все сильнее тянуло к Антеку. Она научилась ловко обманывать старика и каждые два-три дня встречалась с Антеком на сеновале. Помогал им в этом Витек, который из-за аиста окончательно невзлюбил хозяина и привязался к Ягне, тем более что она его теперь старалась кормить получше. Да и от Антека ему часто перепали кое-какие гроши. Но больше всего помогала им Ягустинка. Она сумела вкрась в доверие и к Ягне и к Антеку, и без ее помощи у них просто не было бы возможности видаться. Она передавала им вести друг от друга, она была на страже и оберегала их от всяких неожиданностей. И все это она делала только оттого, что была зла на весь свет. Она мстила другим за свое унижение и несчастья. Она в сущности терпеть не могла и Ягну и Антека, но еще больше — Борыну, как и всех богатеев в деревне, за то, что у них все есть, а у нее нет ни своего угла, ни куска хлеба. Впрочем, она над бедняками насмеялась еще больше, чем над богатыми.

В деревне ее называли "чертова кума", а то еще и похуже. "Сцепятся они рано или поздно и загрызут друг друга, как бешеные собаки", — думала она часто, радуясь делу своих рук. Зимой работы было немного, и она таскалась по всем избам с прялкой, подслушивала, натравливала одних на других, всех одинаково высмеивала. Не пускать ее в дом никто не смел, опасаясь ее злого языка, а главное — ее "дурного глаза". Она заходила и к Антеку в избу, но чаще всего встречала его, когда он шел с работы, и передавала вести от Ягны.

Как-то, недели через две после того, как ксендз приезжал к Борыне, она встретила Антека у озера.

— Знаешь, старик на тебя сильно жаловался ксендзу!

— Из-за чего же это он опять лаялся? — небрежно спросил Антек.

— Говорил, что ты, дескать, народ бунтуешь против помещика. Что надо бы тебя стражникам отдать и все такое.

— Пусть попробует! Раньше, чем меня возьмут, я ему такого красного петуха на двор пущу, что не останется камня на камне! — запальчиво крикнул Антек.

Ягустинка немедленно побежала передать это старику. Он задумался и сказал тихо:

— Это на него похоже! От такого разбойника всего можно ожидать...

И больше не сказал ничего — не хотел с бабой пускаться в откровенности. Но когда вечером

пришел Рох, он излил перед ним душу.

— Не верь ты тому, что Ягустинка плетет, скверная она баба!

— Может, это и неправда, но такие случаи бывали. Вот поджег же старый Прычек дом своего деверя за то, что тот его обидел при разделе. Он сидел потом за это в остроге, — но дом-то сгорел! И Антек может такое сделать. Должно быть, он на это намекнул, — не выдумала же она все!

Рох был хороший человек. Искренне огорченный тем, что услышал, он стал уговаривать Борыну:

— Помиришься ты с ним, отдели ему часть земли, — ведь и ему жить нужно! Он тогда скорее успокоится, остепенится, и не будет у вас больше причин для ссор и угроз.

— Ну нет! Хоть бы мне из-за него пропадать пришлось, хоть бы по миру с сумой идти — пойду, а пока жив, ни полоски не дам! То, что он меня избил и изругал, я ему простил, хотя это простить трудно, но если он еще иное замышляет!..

— Наврали вам, а вы уж и поверили и к сердцу принимаете!

— Конечно, может, и вранье... но у меня даже в голове мутится и мороз прошибает, как подумаю, что такое может случиться!..

Он сжал кулаки, цепenea от ужаса при одной этой мысли. Он ничего не знал наверное, он никогда об этом не думал и в глубине души даже был уверен в невинности Ягуси. Но вдруг он почувствовал, что в этой ненависти к нему родного сына кроется, должно быть, нечто большее, чем досада и гнев на то, что отец не дает земли. Нет, злоба, которую он прочел тогда в глазах Антека, вызвана чем-то иным! Он это ясно почувял и в ту же минуту в себе самом ощутил такую же ненависть, холодную, мстительную и неумолимую. Он повернулся к Роху и тихо сказал:

— Нам с ним вдвоем тесно в Липцах!

— Что еще вам в голову взбрело? — в ужасе воскликнул Рох.

— И не дай ему бог когда-нибудь попасться мне на таком деле...

Рох стал его успокаивать, разубеждать, но ничего не добился.

— Спалит он меня, вот увидите!

И с той поры старик уже не знал покоя. Каждый день в сумерки он, таясь от всех, ходил дозором вокруг избы и построек; прятался за углами, заглядывал под стрехи, а по ночам часто просыпался, подолгу вслушивался, при малейшем шорохе вскакивал с постели и, кликнув собаку, обегал все углы и закоулки. Однажды заметил он у сеновала чьи-то следы, затоптанные и уже наполовину занесенные снегом. Такие же следы увидел позднее у калитки, и в нем еще больше окрепла уверенность, что это Антек бродит тут по ночам, готовясь к поджогу. Другое объяснение ему еще не приходило в голову.

Он купил у мельника злющего пса, поставил ему будку у амбара и постоянно старался его еще больше обозлить, держал впроголодь, натравливал его. По ночам собака бегала и лаяла, как бешеная, бросалась на всех и уже не одного искусала, так что на Борыну посыпались жалобы.

Несмотря на все эти предосторожности, старик не знал покоя и так худел, что пояс его съезжал на бедра.

Он почернел лицом, сгорбился, при ходьбе волочил ноги и высох, как щепка, от тайных дум и тревог. Глаза у него лихорадочно горели.

Он сторонился всех, ему не перед кем было излить душу, и оттого еще сильнее были его тайные муки.

И никто не мог догадаться, что его грызло.

Он теперь больше стерег свое добро, завел злую собаку, не спал по ночам. Но все объясняли это тем, что зимой появилось много волков и не проходило ночи, чтобы они целыми стаями не подбирались к деревне. Не раз люди слышали их вой, они подкапывались под хлева и то тут, то там утаскивали что-нибудь. К тому же, как всегда к весне, все чаще и чаще доходили слухи о кражах. Говорили, что у одного мужика в Дембице увели двух лошадей, в Рудке украли поросенка, а еще где-то — корову, а воры как в воду канули, и след их простыл. Не один мужик в Липцах чесал затылок, проверял замки и караулил свою конюшню, потому что у липецких лошади были лучшие во всей округе.

Так шло время, медленно и неуклонно, как стрелки на часах, — ни обогнать его, ни удержать!

Зима все еще не сдавалась, хотя и была на редкость неровная: то стукнут такие морозы, каких и старики не запомнят, то выпадет очень много снега, то целыми неделями длилась оттепель, и в канавах стояла вода, а кое-где в поле чернела земля, то бушевали такие вьюги, такие метели, что света божьего не видно было, а за ними приходили спокойные, тихие и солнечные дни, вся детвора высыпала на улицу, двери были настежь открыты, люди радовались, и старики грелись на завалинках.

В Липцах все шло своим неизменным чередом. Кому суждено было умереть, тот умирал, кому судьба посылала радость — тот радовался, кому горе — тот плакал, кому болезнь — тот исповедовался и ждал конца. И так, покорные своей судьбе, все тянули лямку изо дня в день и ждали весны.

А в корчме каждое воскресенье гремела музыка, гуляли, пили, иногда ссорились, иногда дрались, и потом ксендз отчитывал их с амвона. Происходили всякие события. Отпраздновали свадьбу дочки Клемба, веселились три дня, и так бурно, что Клембу, как говорили, пришлось призанять у органиста на эту свадьбу пятьдесят рублей. Солтыс Шимон тоже хорошо справил сговор своей дочки с Плошкой. У других справляли крестины, но редко, — не время еще было, большинство женщин ожидало родов к весне.

Умер старый Прычек, и недели не прохворав, а было бедняге только шестьдесят четыре года! На похороны пришла вся деревня, потому что дети справили богатые поминки...

На посиделки по вечерам сходилась столько девушек и парней, такая поднималась возня, смех, веселье, что душа радовалась. Совсем выздоровевший Матеуш по-старому верховодил всеми и всех больше куролесил.

А сколько было толков, слухов, сплетен, обид, ссор, соседских споров, новостей всяких — деревня так и гудела ими! Порой заходил странник, бывалый человек, рассказывал всякую всячину о том, что на свете делается, и застревал в деревне надолго.

Иногда приходило письмо от какого-нибудь парня, отбывавшего военную службу, и сколько раз его читали вслух, сколько оно вызывало разговоров, совещаний, девичьих вздохов и материнских слез, — на целые недели хватало!

А мало ли было других событий! Магда поступила служанкой в корчму; собака Борыны так искусала сынишку Валько, что отец грозил Борыне судом; корова у Енджея подавилась картошкой, и пришлось ее прирезать; Гжеля занял у мельника полтора рубля под залог

луга; кузнец купил пару лошадей, чему все очень удивлялись и много об этом толковали; ксендз хворал целую неделю, так что даже ксендз из Тымова приезжал его заменять. Доходили слухи о ворах, и бабы выдумывали разные страхи. Часто поминали и волков — будто бы они всех овец в усадьбе передушили. Беседовали о хозяйстве, о людях и делах мирских. Одна новость сменяла другую, так что было о чем поговорить и днем, и в долгие вечера — ведь зимой времени у всех было вдоволь. Так же развлекались и в доме Боруны, с той только разницей, что старик сиднем сидел дома, ни на какие сборища сам не ходил и женщин не пускал. Ягуся дошла до полного отчаяния, а Юзья с утра до ночи ворчала, потому что ей ужасно надоело сидеть в избе. Только и радости было, что отец не запрещал ходить прясть к соседям, да и то лишь в те дома, где собирались одни старухи.

Так что они с Ягусей по вечерам все больше сидели дома.

Однажды, уже в конце февраля, собралось у них несколько человек. Сидели на другой половине, там Доминикова у лампы ткала холст, а остальные собрались у печи, так как было очень холодно. Ягуся и Настка усердно пряли, — так и жужжали их веретена, в печи готовился ужин, и Юзья хлопотала, носясь по избе, а старик курил трубку, поплеывая в огонь, и о чем-то задумался так глубоко, что почти весь вечер молчал. Всех томила эта тишина — только потрескивали поленья в печи, скрипел в углу сверчок да время от времени гудел станок Доминиковой. Молчали, молчали все, и, наконец, Настка начала первая:

— Пойдете завтра к Клембам?

— Марыся приходила сегодня звать!

— Рох обещал прийти туда и почитать нам из книжки про королей!

— Пошла бы, да еще не знаю... — Ягна вопросительно взглянула на мужа.

— И я пойду, тато, можно? — попросила Юзья.

Он не успел ответить, в эту минуту громко залаяла на крыльце собака, и затем робко вошел Ясек Недотепа.

— Закрывай дверь, ворона, тут тебе не сарай! — крикнула Доминикова.

— Иди, иди, не бойся, не съедят тебя! Чего ты по сторонам оглядываешься? — спросила Ягна.

— Да вот... аист наверное прячется тут где-нибудь, долбанет меня, пожалуй! — бормотал, запинаясь, Ясек, опасливо шныряя глазами по всем углам.

— Аист тебя уже не тронет! Его хозяин ксендзу отдал, — хмуро сказал Витек.

— Не знаю, зачем его и держали, только людям вред делал.

— Садись, не мямли! — приказала ему Настка, указывая место подле себя.

— Вот еще! Никого он не трогал — разве только дураков да чужих собак! Расхаживал себе по хате, мышей ловил, никому не мешал, а его взяли да отдали! — укоризненно прошептал мальчик.

— Ладно, не хнычь, приручишь себе весною другого, коли так уж любишь аистов!

— Не приручу, не надо мне, потому что этот опять мой будет. Пусть только потеплеет, а уж я придумал такое средство, что он не вытерпит у ксендза и прилетит!

Ясек захотел узнать, какое это средство, но Витек пробурчал:

— Дурак, кур тебе только щупать! У кого ум есть, тот свой способ найдет, у других спрашивать не станет!

Настка накричала на мальчика, вступившись за Ясека, — она за него горой стояла. Ясек, правда, был придурковат, вся деревня над ним потешалась, но зато единственный сын, наследник десяти моргов земли! Рассудив, что у Шимека только пять моргов, да и то еще неизвестно, позволит ли ему мать жениться, Настка так приучила к себе Ясека, что он повсюду ходил за ней, и держала его про запас, на всякий случай.

Вот и сейчас он сел подле нее, смотрел ей в глаза и придумывал, что бы такое сказать. Вдруг вошел войт (он уже помирился с Боруной) и с самого порога закричал:

— Повестку вам принес, — завтра в полдень тебе, Мацей, в суд являться.

— Это в съезд, насчет коровы?

— Да, тут так и сказано: иск к помещику за корову.

— Раненько придется выехать в уезд дорога дальняя. Витек, ступай сейчас же к Петрику и приготовьте все на завтра. Ты поедешь со мной, свидетелем... А Бартека известили?

— Я сегодня в канцелярии был и всем привез повестки, целой оравой и поедете. Если помещик виноват, пусть платит.

— Еще бы не виноват! Этакая корова!

— Пойдем на ту половину, поговорить надо! — шепнул старику войт.

Они перешли в другую комнату и разговаривали так долго, что Юзя и ужин подала им туда.

Войт уже не в первый раз уговаривал старика присоединиться к ним, не ссориться с помещиком, подождать, не связываться с Клембом и другими. А Боруна все колебался, рассчитывал, не говорил "нет" и не склонялся ни на чью сторону. Он был очень возмущен тем, что помещик его тогда не позвал на совещание к мельнику. Видя, что от него ничего не добьешься, войт, уже на прощанье, сказал, пытаясь его хоть этим соблазнить:

— А знаешь, я, кузнец и мельник уговорились с помещиком, что втроем будем возить лес на лесопилку, а потом доски в город.

— Как не знать! Немало вас люди ругают за то, что никому заработать не даете.

— Пусть болтают, мне какое дело! Не стоит об этом толковать — только время терять! Я хочу тебе рассказать, что мы втроем решили, — вот послушай!

Боруна только глазами блеснул, мысленно спрашивая себя, какой тут кроется подвох.

— Решили мы взять тебя в компанию. Вози столько же, сколько и мы! Упряжка у тебя хорошая, у работника дела мало, он баклуши бьет, — а тут верный заработок, платят с куба. Пока работа в поле начнется, заработаешь не меньше чем рублей сто.

— А когда начнете возить? — спросил Боруна после долгого размышления.

— Да хоть бы завтра! Рубят уже на ближних участках, дороги хороши, — пока держится санный путь, можно много перевезти. Мой работник выедет в четверг.

— Эх, черт возьми, кабы я знал, чем кончится мое дело насчет коровы!

— Входи с нами в компанию, тогда оно хорошо кончится, это я, войт, тебе говорю!

Старик опять долго раздумывал, испытующе глядя на войта, писал что-то мелом на лавке, чесал затылок и, наконец, сказал:

— Ладно, войду с вами в компанию и буду возить.

— Так ты завтра после суда заезжай к мельнику, мы еще все обмозгуем, а теперь мне надо бежать, — там мои сани кузнец чинит.

Войт ушел, очень довольный, думая, что подкупил старика и перетянул на свою сторону.

"Ну нет! Мельнику можно ладить с помещиком, потому что земля у него не табельная,[17] а покупная, и до леса ему дела нет. Войт и кузнец тоже сидят на бывшей монастырской земле. А я своего не уступлю!"

Борына решил, что возить будет, но лес — дело особое! Пока у мужиков с помещиком дойдет до войны или кончится миром, немало воды утечет... Отчего же ему, Борыне, пока не поддакивать войту с компанией, не прикинуться простачком и не быть с ними заодно, если он при этом своего не упустит, а заработает несколько десятков рублей? Лошадей все равно кормить надо и работнику платить тоже...

Он усмехнулся, потирая руки, и удовлетворенно пробормотал:

— Глупы они, как бараны! Думают, сукины сыны, что проведут меня. Как бы не так.

Он вернулся к женщинам в прекрасном настроении. Ягуси в комнате не было.

— А где же Ягуся?

— Свиньям есть понесла, — пояснила Настка.

Он весело разговаривал, шутил то над Ясеком, то над Доминиковой, но с тайным беспокойством ждал жену, а она что-то долго не шла. Наконец, он, ничем себя не выдавая, вышел во двор. В сарае Витек и Петрик готовили сани к завтрашней поездке: надо было поставить кузов на полозья и укрепить его. Борына посмотрел, как они это делают, поговорил с ними, заглянул в конюшню, потом к свиньям и в коровник, — Ягны нигде не было. Он остановился под навесом и ждал. Ночь была темная, шумел холодный ветер, тяжелые большие тучи стаями мчались по небу, временами шел снег.

Через несколько минут в проходе у плетня мелькнула какая-то тень. Старик мгновенно прыгнул ей навстречу и яростно прошипел:

— Где была, а?

Но Ягна, хоть в первую минуту и испугалась, ответила насмешливо:

— А где была, там меня больше нет! Ступайте, поглядите, тогда узнаете! — и ушла в дом.

Он больше об этом не заговаривал, а когда они ложились спать, сказал мягко, не глядя на Ягну:

— Хочешь завтра идти к Клембам?

— Если не запрещаете, так мы с Юзей пойдем.

— Что ж, идите, я вас не держу. Да только я завтра на суд поеду, и дом без призора останется — лучше бы ты в избе посидела...

— А разве вы до вечера не воротитесь?

— Думается, что нет, — пожалуй, только поздно ночью. Того и гляди снег пойдет, а ехать далеко. Не успею... Но коли тебе уж так сильно хочется, — иди, я не запрещаю...

## IX

Уже с раннего утра все указывало на то, что будет метель. День настал пасмурный, переменчивый и очень неприятный. Порошил мелкий снег, сухой и колючий, как крупа, чуть-чуть растертая жерновами, и при этом ветер становился все сильнее, налетал шумными и неожиданными порывами, качался, как пьяный, во все стороны, выл, свистел и яростно швырялся снегом.

Несмотря на такую погоду, Ганка и старый отец ее, а с ними несколько баб-коморниц, сейчас же после полудня отправились в лес за хворостом.

Идти было трудно. Ветер бесновался в полях, каждый миг взметал кучи снега, со свистом кружил их и вытряхивал над землей, как платки, полные белой колючей костери, и все тонуло в непроглядной мути.

Выйдя из деревни, они пошли гуськом по межам, занесенным снегом, к далекому лесу, верхушки которого едва маячили сквозь метель.

Ветер бушевал все сильнее, налетал со всех сторон, плясал, кружился и хлестал идущих. Они с трудом держались на ногах, пригибались до самой земли, а он забегал вперед, взметая сухой снег вместе с песком, и швырял им в лицо с такой силой, что приходилось идти, зажмурив глаза.

Шли молча — ветер мешал говорить и уносил слова, — только побряхтывали и то и дело растирали руки снегом; стужа пронизывала насквозь, ветхая одежка от нее не защищала. Каждый кустик, каждое деревцо превратились в сугробы, их нужно было обходить, а это порядком удлиняло путь.

Ганка шла впереди, часто оглядываясь на отца, а он, съезжившись, закутав голову ее платком, в старом тулупе Антека, опоясанном жгутом соломы, плелся позади всех, борясь с ветром. Он едва передвигал ноги, задыхался и часто останавливался, чтобы отдохнуть и утереть слезившиеся от ветра глаза, а затем бежал рысцой изо всех сил, догоняя других, и бормотал слабым голосом:

— Иду, Гануся, иду... Не бойся, не отстану.

Старик, конечно, охотнее, куда охотнее остался бы дома на печи, но разве мог он остаться, когда она, бедняжка, пошла! Да и в избе тоже холод невыносимый, дети плачут — озябли, а дров нет, сварить что-нибудь не на чем, одного сухого хлеба и поели... А идти тяжело: морозный ветер ледяными пальцами так и пробирает до костей... Вот о чем думал старый Былица, догоняя баб.

Что делать? Когда нужда за горло схватит, так не вывернешься!

И Гануся только зубы стискивала и шла за хворостом с другими бедняками. Да, до того дошло, что она шагает вместе с Филипкой, с Кракалихой и Магдой — самой что ни на есть голытьбой.

Она только тяжело вздыхала и шла. Это уже не в первый раз, не в первый!

— Ну и что ж! Ну и что ж! — упрямо шептала она про себя, собирая всю свою волю и терпение.

Надо — вот она и ходит за дровами, тащит их на спине вместе с такими нищенками, как Филипка, но плакать не будет, не будет жаловаться и просить помощи! Да и куда пойдешь, к кому? Не откажут тебе люди разве только в жалостливом слове, от которого сердце обливается кровью! Господь ее испытывает, крест посылает, — так, может быть, когда-нибудь и вознаградит... А если и нет, все равно, она выдержит, не пропадет она с детьми и рук не опустит, не придется людям ни жалеть ее, ни насмехаться!

За последнее время она столько выстрадала, что каждая жилка в ней дрожала и стонала от боли.

Не то страшно, что они теперь нищие и отверженные, что часто голодают и хлеба едва-едва хватает для детей, что Антек пьянствует в корчме с приятелями, о семье не заботится и, как блудливый пес, воровато шмыгает в избу, — а скажешь ему слово, так сразу за палку хватается. Это все нередко бывает и в других семьях, это еще можно было бы простить! Нашел на него такой недобрый стих, так надо терпеливо переждать, он и пройдет. Но измена... вот чего она не могла забыть, не могла простить ему! Нет, этого она не могла пережить. У него жена, дети, а он обо всем забывает ради той, другой!.. Эта неотступная мучительная мысль, словно раскаленные щипцы, рвала сердце на части.

"За Ягной он бегают, ее любит, из-за нее все это!"

Казалось Ганке, что это нечистый идет рядом и непрерывно шепчет ей в ухо страшные напоминания. Не убежать от них, не забыть, нет! Муки оскорбленной любви, унижение, стыд, ревность, жажда мести и отчаяние, всё эти злые духи, порожденные несчастьем, впивались зубами в ее сердце и так терзали его, что хоть кричи в голос и бейся головой о стену!

"Смилуйся, Господи, облегчи ты мое горе!" — стонала она в душе, поднимая к небу глаза, воспаленные от никогда не высыхающих слез.

Она прибавила шаг, потому что в поле дул такой сильный ветер, что холод было уже трудно вынести. Другие бабы немного отстали и шли не спеша, едва заметными красными пятнами мелькая в снежном тумане. А лес был уже недалеко, и, когда метель утихала, среди белых пространств вдруг вырастала высокая темная стена стволов.

— Идите скорее, в лесу отдохнете! — нетерпеливо звала Ганка.

Но женщины не торопились. Они часто отдыхали, присев на снегу и повернув головы от ветра, как стая куропаток, и тихо разговаривали, а на зов Ганки Филипка недовольно проворчала:

— Бежит, как пес за вороной, думает, что скорее что-нибудь ухватит!

— Вот до чего дожила, горемычная! — сочувственно сказала Кракалиха.

— Ничего, она довольно выгривалась в борыновой хате. Поела сытно, натешилась хорошей жизнью, пускай теперь и нужды отведает. Другие всю жизнь голодают, работают, как волы, а никто их никогда не пожалеет.

— Прежде она с нами и не здоровалась никогда...

— Милые вы мои, недаром говорится, что нужда скачет, нужда пляшет...

— Пришла я как-то одолжить у нее упряжь, так она сказала, что ей самой нужно.

— Правда, скуповата была и спесива, как все Борыны, а все-таки жаль бабу, жаль!

— По справедливости, конечно, жалко. Ну и негодяй же этот Антек!

— Негодяй-то он негодяй, это верно. Но и то сказать — какой мужик не побежит, когда его баба поманит?

— А я на ганкином месте вцепилась бы Ягне в волосы, оттаскала бы на всем честном народе, изругала бы, осрамила бы ее так, чтобы она всю жизнь помнила!

— Дойдет и до этого... если еще чем-нибудь похуже не кончится.

— Такая уж порода эти Пачеси, — и Доминикова в молодости не лучше была.

— Ну, пойдете, ветер что-то понизу дует, — может, к вечеру и совсем утихнет.

Они скоро добрались до леса и разошлись в разные стороны, но старались не отходить далеко друг от друга, чтобы легче было созвать всех, когда надо будет возвращаться.

Лесной сумрак поглотил их, и только кое-где мелькали они, как тени. Лес был старый, высокий, дремучий. Несметной толпой, непроходимой чащей стояли сосны, стройные, прямые и могучие. Словно уходящие в бесконечность ряды величественных медных колонн, вздымались они во мраке серо-зеленого свода. Холодный зловещий отсвет шел снизу, от снега, а в вышине между кудрявыми верхушками, как сквозь дырявую крышу, светилось белесое, мутное небо.

Вьюга проносилась поверху, и временами внизу, на земле, наступала тишина, как в костеле, когда внезапно замолкнет орган, оборвется пение и только шелестят последние вздохи, приглушенные слова молитв, затаенные, умирающие звуки. Бор стоял тогда неподвижно, безмолвно, — казалось, он вслушивается в дикий вопль истерзанных ветром полей, который рвался откуда-то издалика и только стонущим эхом отдавался в лесу.

Но тотчас вихрь опять всей силой ударял на лес, стучал клыками по стволам, врезался в страшную глубь лесной чаши, рычал во мраке, терзал лесных великанов. Все напрасно: скоро он, выбившись из сил, утихал, ложился и с воем умирал среди густых, прикипших к земле кустов, а лес ни разу не дрогнул, ни одна ветка не затрещала, не качнулся ни один ствол, тишина становилась все глубже, все таинственнее — разве только какая-нибудь птица изредка трепыхалась во мраке.

Временами сильная вьюга опять налетала, внезапно, как голодный ястреб. Шумя крыльями, трепала она вершины деревьев, с бешеным ревом разрушала все на своем пути, — и лес вздрагивал, словно просыпаясь, выходил из своего мертвого оцепенения и качался весь, от края и до края, с глухим грозным гулом. Лес вдруг выпрямлялся, вставал и как будто рвался вперед, потом, тяжело пригнувшись, дико ревел, как великан, ослепленный яростью и жаждой мести. Казалось, весь он наполнялся шумом битвы, и страх охватывал все живое, притаившееся в норах, в лесной поросли, и ошалевшие от ужаса птицы металась среди снега, который сыпался бурными лавинами, среди ломавшихся ветвей и раздерганных верхушек.

Затем — опять долгое, мертвое затишье, в котором ясно слышны были какие-то отдаленные тяжелые удары.

— Это лес рубят у Волчьего Дола, — слышишь, деревья так и валятся!.. — шепотом сказал Былица.

— Ладно, не отставайте, не до ночи же нам тут сидеть!

Они углубились в высокие молодые заросли, в чащу сплетенных ветвей, сквозь которую еле можно было пробраться. Гробовая тишина окружила их. Сюда уже не проникал ни один звук, и даже дневной свет едва просачивался сквозь плотную пелену снега, точно крышей покрывавшую вершины деревьев. Глубина рощи полна была пепельно-серых теней, на земле почти не было снега, ее устилали давно опавшие сухие листья и сучья, ноги уходили в них по колено, а кое-где из-под этого ковра зеленели полянки мха и ягодных кустиков.

Ганка начала ломать сучья потолще, обрезала их все под одну мерку и укладывала на разостланный холст. Работала так усердно, что ей даже жарко стало, и она сняла платок. За какой-нибудь час она набрала кучу хвороста и с трудом взвалила ее на спину. Старик тоже набрал порядочную охапку и, обвязав ее веревкой, волочил по земле, ища глазами пень, с которого легче было бы поднять ношу на плечи.

Они стали ауканьем скликать баб, но в большом лесу опять разыгралась вьюга, и они так никого и не дозвались.

— Гануся, нам бы к тополевой дороге пробраться, там идти легче, чем полем.

— Ладно, идем! Вы меня держитесь да не отставайте.

Они свернули налево, в дубовую рощу. Шли, по колено увязая в снегу. Местами намело целые сугробы, потому что там деревья стояли реже и на них не было листьев. Только кое-где между могучих ветвей тряслась, как седая борода, еще не облетевшая листва да со свистом гнулся к земле молодой дубок, мотая порыжевшими кудрями. Ветер дул изо всей силы, поднимал такую порошу, что идти было просто невозможно. Старик скоро выбился из сил и остановился, да и Ганка уже изнемогала и, то и дело прислоняя свою ношу к деревьям, испуганными глазами искала дорогу полегче.

— Нет, здесь не пройти, а за дубами — болота. Вернемся лучше и пойдем полем.

Они вошли в густой и огромный сосновый лес, где было потише и снег был не так глубокий, и скоро выбрались в поле. Но в поле была такая метель, что в двух шагах ничего не было видно, — одна только белая сплошная муть волнами клубилась вокруг. А ветер все рвался к лесу, отскакивал от него, как от стены, катил назад на поля и вновь поднимался, неумный, громоздил целые горы снега и белой тучей швырял его на деревья, так что лес стонал. Не успели Ганка с отцом выйти в поле, как ветер свалил старика, и Ганке пришлось его поднимать, а она и сама едва держалась на ногах.

Они вернулись в лес и, укрывшись за стволами, раздумывали, в какую же сторону идти.

— Тут налево должна быть тропка, по ней мы непременно выйдем к кресту на дороге.

— Да я не вижу никакой тропки!

Старик долго ее уговаривал, а она боялась идти наугад.

— Да вы хоть смекаете, в какую сторону надо идти?

— Думается, налево.

Они побрели по опушке леса, немного укрывшего их от напора ветра.

— Идемте скорее, того и гляди стемнеет.

— Сейчас, Гануся, вот только дух переведу!.. Бегу, бегу!..

Да, нелегко им было пробираться: тропинку совсем занесло, и к тому же со стороны поля по-прежнему дул сильный ветер и швырял в них снегом. Напрасно они укрывались за деревья или приседали, как зайцы, под можжевельником, — везде пронизывало до костей, а в глубине леса идти было страшно, деревья там дико шумели, качались, чуть не подметая землю верхушками, сучья хлестали по лицу, а иногда с таким треском падали елки, что казалось — весь лес сейчас рухнет, разбитый вдребезги.

Они побежали во весь дух, чтобы скорее выбраться на дорогу и поспеть домой до ночи, которая надвигалась с каждой минутой, — в полях уже серело, и сквозь снежные вихри пробивались какие-то темные полосы, похожие на дым.

Наконец, Ганка и старик выбрались на дорогу и свалились под крестом, еле живые от усталости.

Крест стоял на краю леса, у самой дороги, от леса его отделяли четыре высокие березы в белых саванах, с висящими, словно косы, ветвями. На черном кресте висел жестяной Христос, так хорошо раскрашенный, что он казался живым. Но, видно, его сорвало ветром, — он висел на одной руке, качался, ударяясь о дерево, и скрипел, словно моля о помощи. Березы, мотаясь под ветром, то и дело закрывали его. В снежном сумраке мелькало синее тело, бледное окровавленное лицо, и тяжело было смотреть на него.

Старик с ужасом поглядывал на распятие и крестился, но не смел вымолвить ни слова, потому что лицо у Ганки было суровое, мрачное и таинственное, как эта ночь, что подходила уже крадучись сквозь ветер, снег и туман.

Ганка, казалось, ничего не замечала вокруг. Она сидела, погруженная в свои тяжкие думы — все об одном: об измене Антека. В душе ее тоже клубился туман, полный вздохов, полный слез, застывших, ледяных, но жгучих, полный живых, но хриплых ст боли голосов.

"Стыда у него нет, Бога он не боится, — ведь это все равно что с родной матерью спутаться! Господи, Господи!"

Ужас налетел на нее ураганом, она даже затряслась вся, а затем загорелась гневом, мстительным, диким, как этот бор, который вдруг пригнулся и дал жестокий отпор буре.

— Идем скорее, скорее! — воскликнула она, вскинула на спину вязанку и, согнувшись под ее тяжестью, зашагала по дороге, не оглядываясь на отца. Неодолимая, бешеная злоба гнала ее вперед.

— Отплачу я тебе, за все отплачу! — прокричала она, и голос ее был похож на скрип обнаженных тополей, борющихся с ветром.

"Довольно с меня! И камень бы треснул, если бы его такой червь точил! Пусть же пропадает Антек, если так хочет, пусть сидит в корчме день и ночь, а я своей обиды не прощу, отплачу ей за все! Пусть меня за это в остроге сгноят, все равно! Видно, справедливости на свете нет, если такая, как она, ходит себе спокойно по земле!" — думала Ганка с ожесточением. Но постепенно злоба в ней утихала, бледнела, как цветы на морозе: иссякали силы, давила тяжелая ноша, сучья даже сквозь платок и кофту впивались в тело, ужасно болели плечи, а узел веревки, которой был связан хворост, врезался в шею и давил. Она шла все медленнее. Дорога была в сугробах, открыта ветрам со всех сторон, и тополя едва виднелись сквозь крутившуюся в воздухе снежную муть. Их бесконечные ряды шумели и метались отчаянно, как запутавшиеся в силках птицы, которые вслепую бьют крыльями и кричат. Вверху ветер уже как будто утихал, зато тем больше бесновался он в полях, лежавших по обе стороны дороги. В мутно-серой дали по-прежнему бушевала метель, тысячи снежных вихрей кружились в дьявольской пляске, тысячи снежных куч поднимались с земли, росли, вертелись, как огромные белые жужжащие веретена, тысячи огромных бугров, как

растрепанные стога, неслись по полям, клубясь, вырастали на глазах и, казалось, достигали самого неба, заслоняли все и рушились со свистом и воем. Вся земля казалась бурлящим котлом, доверху наполненным кипятком и белым паром. И отовсюду вместе с ночью поднимались тысячи звуков, шипели вверху, гремели вокруг, какой-то посвист тысячью бичей рассекал воздух. А то вдруг таинственная музыка звучала над землей, и шум леса напоминал гудение органа. Порою слышались какие-то крики, протяжные, тоскливые, как крики заблудившихся птиц, или страшные воющие рыдания, хохот, сухой, режущий скрип тополей, походивших в мутной белизне на жуткие призраки, простирающие руки к небу!

В двух шагах ничего нельзя было разглядеть, и Ганка брела почти наугад, от тополя к тополи, часто отдыхала и с ужасом слушала голоса ночи.

Под одним тополем на снегу серел притаившийся зайчишка и, увидев ее, стал улепетывать, а снежный вихрь подхватил его, словно когтями впился, и в вое метели почудился Ганке его испуганный крик. Она с жалостью посмотрела вслед зайцу.

Она уже не в силах была двигаться, гнулась все ниже, с трудом вытаскивала ноги из снега. Ноша так тяготила ее, словно она тащила на себе бремя всей зимы, снегов и вьюг, весь огромный мир. Ей казалось, будто она шла так всю жизнь, смертельно измученная, едва живая, с великой печалью в израненном сердце, и будет идти всегда-всегда, до скончания века!

Время тянулось нестерпимо, дороге не было конца, все чаще приходилось останавливаться под деревьями, и все дольше стояла Ганка в каком-то полузабытьи, охлаждала снегом разгоряченное лицо, протирала глаза, подбадривала себя, как могла, но вновь и вновь словно проваливалась в бездну. Слезы глубочайшей человеческой скорби, безнадежного отчаяния сами лились, извергаясь со дна разбитого сердца. Изредка Ганка, выходя из забытья, слабым голосом бормотала молитву, шептала про себя отрывистые слова, — так замерзающая птичка время от времени затрепещет крылышками, сбежит, припадет к земле, пискнет раз-другой, а сил уже нет, и все быстрее впадает она в глубокий сон смерти.

Временами она сильно вздрагивала в испуге и срывалась с места, потому что ей чудился детский плач и зов, словно это Петрусь звал ее. И она опять бежала из последних сил, натыкалась на сугробы, вязла в снегу, но шла, подгоняемая тревогой за детей, которая вдруг поднималась в ней. В такие минуты она уже не чувствовала ни усталости, ни холода.

Ветер вдруг донес какой-то звон, стук, человеческие голоса, но такие невнятные, что, хоть Ганка и вслушалась, она не разобрала ни слова. Однако ей стало ясно, что кто-то едет позади и подъезжает все ближе. Наконец, из снежного бурана вынырнули головы лошадей.

— Отцовские! — прошептала Ганка, увидев белую отметину на лбу кобылы, и, уже не дожидаясь, пошла вперед.

Она не ошиблась: это возвращался с суда Борына с Витеком и Амброжием. Сани ехали медленно, трудно было перебираться через сугробы, и в некоторых местах приходилось даже седокам вылезать и вести лошадей под уздцы. Видимо, и Борына и Амброжий были сильно под хмельком — они громко разговаривали и хохотали, а Амброжий, по своему обыкновению, часто запевал, не обращая внимания на вьюгу.

Ганка отошла в сторону и надвинула платок до самых глаз, но, несмотря на это, Борына, проезжая мимо, сразу ее узнал и стегнул лошадей, чтобы поскорее проехать и дать ей дорогу. Лошади рванулись с места и сразу уткнулись в новый сугроб. Борына придержал их, обернулся и, когда Ганка поравнялась с санями, сказал:

— Свали хворост в сани и садись, подвезу.

Она так привыкла ему повиноваться, что без колебаний сделала, как он велел.

— Былицу Бартек подобрал, — он сидел под деревом и плакал. Они за нами едут.

Ганка ничего не ответила. Она сидела, сгорбившись на переднем сиденье, уныло глядя в мутную мглу ночи. От усталости ее всю трясло, и она не могла еще собрать мыслей, а старик долго и внимательно присматривался к ней. Она так исхудала, что больно было видеть это изможденное, посиневшее, обмороженное лицо; глаза у нее опухли от слез, губы были скорбно сжаты. Дрожа от холода, она тщетно куталась в рваный платок.

— Ты должна беречь себя, в твоем положении заболеть недолго...

— А кто же за меня все сделает? — отозвалась она тихо.

— В эту погоду идти в лес!

— Дрова все вышли, не на чем было сготовить...

— Ребятишки здоровы?

— Петрусь хворал недели две, да уже теперь так поправился, что ел бы за двоих.

Выйдя из своего оцепенения, она отвечала ему смело и, сдвинув назад платок, закрывавший лицо, смотрела свекру прямо в глаза без прежней боязливой покорности. А он все заговаривал с ней, все расспрашивал, поражаясь происшедшей в ней перемене: он не узнавал прежней Ганки. Каким-то странным холодным спокойствием веяло от нее, в сжатых губах выражалась каменная, непреклонная воля... Она уже не трепетала перед ним, как бывало, говорила с ним совсем, как с равным, как с чужим человеком, и ни единой жалобы не вырвалось у нее. Отвечала на вопросы прямо, толково, суровым голосом много перестрадавшего человека, окаменевшего от тайных мук, и только в исплаканных голубых глазах тлел огонь сильно чувствующей души.

— Переменилась ты, как я погляжу!

— Горе может перековать человека скорее, чем кузнец — железо.

Борыну смутил ее ответ и, не найдя, что сказать, он повернулся к Амброжию и заговорил с ним о тяжбе с помещиком, которую он, несмотря на заверения войта, проиграл и еще должен был уплатить судебные издержки.

— Ничего, рано или поздно я верну свое! — сказал он со спокойной уверенностью.

— Трудно это будет. У помещиков руки длинные, всюду достанут. Он себе заступников найдет!..

— И на заступников этих управа найдется! Всего можно добиться, если иметь терпение и выждать до поры до времени.

— Это верно... Ох, и холодище! Не мешало бы в корчму заехать погреться!

— Заедем. Где наше не пропадало! Да вот еще что скажу я тебе: только железо надо ковать, пока горячо. А человек, если хочет чего-нибудь добиться, должен счастье свое ковать не сгоряча, а остынув, и закалять себя терпением.

Они подъезжали к деревне. Было уже совсем темно, вьюга утихала, но на дороге еще здорово порошило, и снежный туман мешал разглядеть избы.

У тропинки, которая вела к избе Былицы, Борына остановил лошадей и, когда Ганка слезла,

помог ей взвалить вязанку на спину, потом сказал тихо, так, чтобы слышала только она одна:

— Зайди ко мне как-нибудь на днях, — да хоть бы завтра! Вижу, что туго вам приходится, — этот негодяй все пропивает, а ты с детишками, наверное, с голоду помираете.

— Выгнали вы нас, так как же я посмею прийти...

— Глупая, ты тут ни при чем! Сказано тебе — приходи, найдется и для вас кое-что.

Ганка поцеловала у него руку и отошла молча: она была так растрогана, что не могла выговорить ни слова.

— Так придешь? — бросил ей вдогонку Бoryна как-то удивительно мягко и ласково.

— Приду, спасибо вам... Коли велите — приду.

Он погнал лошадей и скоро свернул к корчме, а Ганка, не дожидаясь отца, которого в эту минуту высаживал из саней Бартек, побежала домой.

В избе было темно и как будто даже еще холоднее, чем на улице. Дети спали, скорчившись под периной. Ганка живо принялась убирать и готовить ужин, а сама все думала о неожиданной встрече с Бoryной.

— Нет! Провались ты, не пойду к тебе! Задал бы мне Антек, если бы я пошла! — крикнула она злобно. Но уже на смену этим приходили иные, спокойные мысли и с ними — страстное возмущение против мужа.

Из-за кого же она больше всего терпит, не из-за него ли? Правда, старик записал землю той свинье и выгнал их, но ведь Антек первый полез с ним в драку и всегда дерзил отцу, вот старик и обозлился. Он имел полное право, каждый на его месте поступил бы так! Земля, конечно, не только его, но, пока он жив, он волен дать или не дать ее детям... А как ласково он сказал: "Приходи". О детях спрашивал, обо всем! Конечно, и половины всех несчастий и срама не было бы, если бы Антек не связался с той сукой. А старик в этом не виноват, нет!

Так размышляла Ганка и все меньше и меньше сердилась на свекра.

Приплелся Былица, такой промерзший и усталый, что добрый час отогревался у печи, раньше чем начал рассказывать, как он было совсем уже выбился из сил и, может быть, замерз бы под деревом, если бы не Бoryна.

— Увидел меня и хотел посадить к себе в сани. А когда я ему сказал, что ты идешь впереди, он меня Бартеку оставил, а сам поехал тебя догонять.

— Неужели правда? Неужели? А он мне про это ничего не сказал!

— Да, он только с виду такой суровый — не хочет, чтобы люди его узнали.

После ужина, когда дети, накормленные досыта и укутанные перинами, снова уснули, Ганка села перед огнем — надо было допрясть остатки шерсти для жены органиста. А старик все грелся, робко на нее поглядывал, покашливал и, наконец, собравшись с духом, начал осторожно:

— Помиришь ты с ним, Гануся, на Антека не гляди, думай только о себе и детях.

— Легко сказать!

— Да ведь он первый подошел к тебе с добрым словом, значит перестал гневаться. Дома у него — ад крошечный. Не сегодня-завтра он Ягну выгонит и останется один... Юзьке с таким

хозяйством не управиться, а он, хоть и не так стар, тоже всего не сделает, за всем не усмотрит... Хорошо бы тебе к нему в милость войти... Надо постараться! Если будешь у него под рукой в подходящую минуту, так кто знает, как дело обернется... Может, позовет тебя опять к себе жить... Ведь доконает тебя нужда, не снести тебе ее, дочка, не снести!..

Ганка склонила голову на прялку и задумалась о том, что ее ждет, неторопливо взвешивая в уме советы отца.

А старик, стеля себе постель, спросил тихо:

— Что, по дороге он говорил с тобой?

Ганка рассказала ему все.

— Так ступай к нему, дочка, завтра же ступай! Коли он зовет, надо идти. Думай только о себе и детях и крепко держись старика... Смотри ему в глаза, будь ласкова с ним... Смирный теленок двух маток сосет, а злобой еще никто света не завоевал... Антек к тебе воротится. Нечистый его попутал и гонит с места на место... Но он скоро опомнится и придет. Господь посылает такой случай, чтобы из беды тебя выручить... Никого не слушай и беги к Борыне!

Долго еще он уговаривал Ганку, но ответа не дождался и замолчал, огорченный. Приготовил себе постель и бесшумно улегся, а Ганка все пряла, думая о его советах. Порой она вставала и смотрела в окно, не идет ли Антек, потом снова садилась за работу, но работа сегодня у нее не ладилась, — то рвалась нить, то она роняла веретено, все глубже задумываясь над словами отца.

А, может, так и будет, как он говорил! Может быть, придет час, когда Борына позовет ее...

И мало-помалу, после всех сомнений и колебаний, в ней заговорило непреодолимое желание помириться со свекром и вернуться к нему.

"Сейчас трое нас мыкается, а скоро будет и четвертый! Где же мне тогда управиться?"

Антека она уже не принимала в расчет, думала только о себе и детях и готова была решать за всех. Как же иначе, на кого ей положиться? Кто им поможет? Разве только Бог или Борына!

Она размечталась: только бы вернуться на настоящее хозяйство, опять почувствовать землю под ногами — и она так вцепится в нее, так крепко прильнет к ней, что никто ее не оторвет. Вместе с надеждой она ощутила прилив сил, сердце ее ширилось, полное решимости и отваги, она вся загорелась, глаза блестели... Она уже видела себя там, у Борыны, распоряжалась всем, как полновластная хозяйка. Долго, чуть не до полуночи, мечтала так Ганка, и в ней зрело решение на другое же утро пойти вместе с детьми к старику. Сколько бы Антек ее за это ни ругал, она его не послушается! Пусть даже избьет ее до смерти — все равно она пойдет, не упустит такого случая! Она ощущала в себе непреклонную волю к борьбе с целым светом, она уже не колебалась и не боялась ничего.

Она еще раз выглянула на улицу. Ветер совсем стих, метель улеглась. Ночь была темная, только снег едва серел. На небе клубились огромные тучи, перекатываясь, как волны. Не то от дальних лесов, не то из непроглядной тьмы вокруг доносился глухой шум.

Ганка погасила свет и, шепча молитву, начала раздеваться.

Вдруг какой-то крик, далекий, приглушенный, задрожал в тишине ночи. Он рос, слышен был все явственнее, и в окна хлынул кровавый свет.

Ганка в ужасе выбежала из хаты.

Где-то, — видно, в центре деревни — бушевал пожар, к небу поднимались столбы огня и дыма, во все стороны летели искры.

Ударили в набат. Крики все усиливались.

— Горит! Вставайте, горит! — крикнула Ганка Стаху и Веронке. Наскоро одевшись, она побежала по тропинке, но почти сейчас же столкнулась с Антеком, который мчался навстречу ей из деревни.

— У кого пожар?

— Не знаю. Ступай в хату!

— Может, это у отца — огонь как будто посреди деревни! — пролепетала она в смертельной тревоге.

— Домой иди! — гаркнул Антек и силой потащил ее в хату. Он был без шапки, тулуп на нем был разорван, лицо обожжено, и глаза сверкали дико, как у безумного.

Х

В тот вечер, после ужина, к Клембам стали сходить гости.

Жена Клемба пригласила главным образом пожилых женщин, состоявших с нею в родстве либо в кумовстве. Они приходили одна за другой со своими веретенами, не слишком рано, но и не позже назначенного времени, потому что каждой бабе хочется покалякать с другими и услышать новости. Первой, как всегда, пришла Вахникова с мотком шерсти в переднике и запасными веретенами подмышкой. За ней — мать Матеуша, Голубова, с подвязанной щекой, с такой кислой миной, как будто она выпила уксусу: вечно она жаловалась и всем была недовольна. Затем явилась Валентова — точь-в-точь нахохлившаяся наседка. Пришла жена Сикоры, худая как палка, самая шумливая и сварливая из всех сварливых баб в деревне. Вслед за ней вкатилась толстая, как бочка, Плошка, краснощекая, здоровая, всегда расфранченная, самоуверенная, насмешница, тараторка, которую все терпеть не могли. Вошла тихонько, крадучись, как кошка, Бальцеркова, сухонькая, маленькая, болезненная, всегда угрюмая. Она была отчаянная сутяга, с половиной деревни ссорилась и каждый месяц судилась с кем-нибудь. Потом нахально влезла незваная гостья, жена Войтека Кобуся, такая злобная сплетница и завистница, что дружбы с ней все остерегались, как огня. Прибежала еще, сопя и запыхавшись, жена криворотого Гжели, пьяница, клязница и проныра, каких свет не видал, всегда готовая сделать пакость другим. Пришла старая Соха, мать Клембова зятя, женщина тихая и набожная, которая, как и Доминикова, не вылезала из костела. Пришли и другие, но об этих и сказать нечего, потому что они походили одна на другую, как гуси в стаде, и отличить их можно было разве по одежде. Много сошлось их — и все с работой: та с шерстью, которую надо было выпрясть, та со льном или с паклей, та с шитьем, а то даже и с пригоршней перьев — только бы не подумали, что она пришла не для дела, а так просто, посудачить.

Все рассаживались широким кругом посреди избы, под висевшей с потолка лампой. Бабы пожилые почти все были одних лет. Они сидели, как кусты на широкой гряде, пышные, зрелые, тронутые уже румянцем поздней осени.

Жена Клемба всех встречала с одинаковым радушием, здоровалась тихо — у нее болела грудь, и она говорила всегда слабым, прерывистым голосом. А Клемб, человек

благожелательный, умный и живший со всеми в ладу, для каждого находил приветливое слово и сам пододвигал гостям табуретки и скамьи.

Немного попозже пришли Ягуся с Юзей и Насткой и еще несколько девушек, а за ними поодиночке входили парни.

Народу набралось много — вечера зимой долгие, и делать людям нечего. Морозы стояли жестокие, дни тянулись уныло, скучно было ложиться спать с курами — до рассвета можно было и выспаться и все бока отлежать.

Разместились на лавках, на сундуках, а парням сыновья Клемба принесли со двора чурбанчики, и места оставалось достаточно, потому что изба у Клембов была хоть и низенькая, а просторная, построенная на старинный лад — кажется, еще прадедом Клемба. Ей насчитывалось лет полтора с лишним, и она уже вращалась в землю, согнулась, как старуха, и крышей касалась плетня. Приходилось ее укреплять подпорками, чтобы она совсем не завалилась.

В избе не сразу стало шумно, сначала все переговаривались вполголоса, и только веретена жужжали и стучали по полу да кое-где тархтели прялки, но их было немного: в деревне не слишком доверяли этим новомодным выдумкам и предпочитали прясть по старинке — на веретенах.

Сыновья Клемба — четыре молодца, рослых как сосны, — сидя у дверей, крутили соломенные жгуты, а остальные парни расселись по углам, курили, зубоскалили и шутили с девушками, так что вся комната гудела от хохота, а старшие еще подбавляли свое, чтобы больше было смеха и веселья.

Пришел, наконец, и долгожданный Рох, а вслед за ним Матеуш.

— Что, все еще метет? — спросила одна из женщин. — Нет, совсем перестало, погода меняется.

— От леса шум какой-то слышен, — наверное, будет оттепель, — добавил Клемб.

Рох сел в сторонке, и перед ним поставили миску с едой. Он теперь жил у Клемба и здесь же обучал деревенских ребятишек. Матеуш стал здороваться с некоторыми девушками, а на Ягну и не посмотрел, хотя она сидела посредине и он не мог ее не заметить. А Ягна только слегка улыбнулась, украдкой поглядывая на входную дверь.

— Да и вьюга же сегодня была, не дай боже! Бабы притазились из лесу еле живые, а Ганка с Былицей, кажись, и до сих пор не вернулись, — сказала Соха.

— Да, на бедного Макара все шишки валяются, — буркнула Кобусова.

— И до чего же Ганка дожила! — начала было Плошка, но, заметив, что Ягна вся покраснела, сразу оборвала и заговорила о чем-то другом.

— Ягустинка не приходила? — спросил Рох.

— Нет. У нас сплетнями да пересудами не занимаются, так на что ей такая компания?

— Да, сплетница она изрядная! Что-то такое наплела сегодня у солтыса, и шимонова баба так сцепилась с войтовой, что, кабы не люди, дошло бы у них до драки!

— Ягустинке очень уж большую волю дали!

— Все ей прощают!

— И не найдется никого, кто бы ее проучил за эти вечные свары да сплетни!

— Да ведь знают все, какова она, — зачем же верят брехне?

— А кто ее разберет, когда она врет, когда правду говорит?

— Все оттого, что каждая рада послушать, как другую чернят, — заключила Плошка.

— Попробовала бы она меня задеть, я бы ей не спустила! — воскликнула солдатка Тереза.

— Вот тебе и на! Как будто она не сплетничает про тебя каждый божий день по всей деревне?

— А ты слышала? Ну-ка, повтори! — закричала Тереза, вся вспыхнув, так как всем было известно, что она живет с Матеушем.

— И повторю, и даже прямо в глаза скажу — пусть только твой с военной службы вернется!

— Тебя мои дела не касаются! Будет еще тут болтать бог знает что!

— Не шуми, никто тебя не трогает, — строго одернула ее Плошка, но Тереза еще долго не могла успокоиться и что-то бурчала себе под нос.

— А что, ряженные с медведем приходили? — спросил Рох, чтобы отвлечь внимание в другую сторону.

— Нет, того и гляди придут: они уже у органиста.

— А кто ходит?

— Гульбасовы озорники да филипкины парнишки.

— Идут, идут! — закричали вдруг девушки, услышав перед домом протяжный рев. Затем, уже в сенях, раздались голоса разных животных — пел петух, блеяли овцы, ржали лошади, и всем им вторили звуки дудки. Наконец, дверь распахнулась, и первым ввалился в избу парень в тулупе, вывороченном мехом наружу, в высокой шапке, с вымазанным сажей лицом, что делало его похожим на цыгана. Он вел за собой на длинной веревке медведя, убранного сухими стеблями гороха, с головой, сделанной из свернутой шубы, с шевелящимися бумажными ушами и красным языком, высунутым чуть ли не на целый аршин. К рукам у парня, изображавшего медведя, были привязаны палки, обмотанные соломой и вставленные в деревянные башмаки, так что он ходил как бы на четвереньках. За ним следом шел второй вожак с палкой, усаженной острыми колышками, на которых торчали куски сала и хлеба, висели набитые чем-то мешочки. Шествие замыкал Михал, племянник органиста, игравший на дудочке, и целая гурьба мальчишек, которые стучали по полу палками и орали изо всех сил.

Цыган сказал: "Слава Иисусу", потом запел петухом, заблеял бараном, заржал, как разыгравшийся жеребенок, и начал:

— Медвежатники мы, из краю мы далекого, из-за моря широкого, из-за леса высокого! Оттуда, где люди на головах ходят, где плетни из колбас строят, где огнем охлаждаются, где горшки греть ставят на солнце, свиньи в воде плавают, а дожди идут из чистой водочки. Ходим мы по свету белому, водим медведя сердитого. Сказывали нам, что в вашей деревне хозяева богатые, хозяйюшки щедрые, девки пригожие! Вот мы и пришли из края далекого, из-за Дуная широкого, чтобы вы на нас поглядели, ласково приняли да на дорогу что-нибудь дали. Аминь!

— Ну-ка, покажите свое уменье, так, может, и найдется для вас что-нибудь в чулане! — сказал Клемб.

— Мигом покажем! Эй! Играй, дудочка, пляши, Мишка, пляши! — закричал вожак, колотя медведя палкой. Дудка взвизгнула, мальчишки грохнули палками по полу и стали покрикивать, вожак передразнивал разных животных, а медведь прыгал на четвереньках, двигал ушами, щелкал языком, лягался, гонялся за девушками, а вожак, делая вид, что унимает его, стегал плеткой кого попало.

В избе поднялся крик, шум, суматоха, девичий визг, беготня, и было так весело, что люди покатывались со смеху. Медведь кувыркался, выкидывал разные коленца, катался по полу, забавно скакал, рычал, обнимал девушек своими деревянными лапами и пускался с ними в пляс под дудку Михала. А вожаки и мальчишки так куролесили, что изба только чудом не развалилась от всего этого гама, топота и смеха.

Жена Клемба щедро всем наделила ряженных, и они, наконец, убрались, но долго еще с улицы слышны были крики и лай собак.

— А кто же это медведя представлял? — спросила Соха, когда все немного успокоилось.

— Да Ясек Недотепа. Неужто не узнали?

— Как его узнаешь под тулупом?

— Смотрите-ка, на проказы у этого урода ума хватает! — заметила жена Кобуся.

— Зачем вы так говорите про Ясека, будто он совсем уж дурак! — вступилась Настка. Матеуш поддержал ее и стал приводить доказательства того, что Ясек совсем не глуп, только робок очень. Он так горячо защищал Ясека, что с ним никто не стал спорить, люди только переглядывались с затаенными, хитрыми усмешками.

Все опять уселись на места и весело гуторили, а девушки во главе с Юзькой, которая была среди них самой бойкой, обступили Роха и стали его умильно просить, чтобы он рассказал что-нибудь такое, как вот осенью рассказывал у Борыны.

— А ты разве помнишь, Юзя, что я тогда рассказывал?

— Ого, еще как! Это про Христову собаку.

— Ну, хорошо, коли вам так уж хочется, расскажу я вам сегодня про королей!

Роху поставили под лампой табуретку, все отодвинулись, и он остался один посередине, как старый седой дуб на полянке, окруженный тесным кольцом низеньких кустов. Он заговорил медленно и негромко.

В комнате наступила тишина, только веретена жужжали да порой огонь потрескивал в печи или шелестел чей-то вздох. А Рох рассказывал разные чудеса о королях и кровопролитных войнах, о горах, где спит околдованное войско, ожидая, когда разбудит его звук трубы, чтобы ринуться на врагов, победить их и освободить землю от зла. О величественных замках, где все из золота, где зачарованные королевны в белых одеждах рыдают лунными вечерами и ждут избавителя, где в пустых покоях каждую ночь звучит музыка и сходятся гости на пир, но, лишь только пропоет петух, все пропадает, и гости опять ложатся в могилы. О краях, где живут люди, высокие, как деревья, и такие силачи, что горы сдвигают, где лежат клады несчетные и стерегут их адские духи и драконы, где водятся жар-птицы, где живут Мадеи, где есть волшебные палицы-самобейки, Лели-Полели, ведьмы, вампиры, где всякие страхи и чудеса.

И другие истории рассказывал Рох, такие удивительные, такие невероятные, что женщины роняли из рук веретена и уносились мечтами в этот волшебный мир, глаза их горели и наполнялись слезами неизъяснимого блаженства, сердца рвались из груди от восторга и тоски по неведомому.

Напоследок рассказал им Рох о короле, которого знатные паны в насмешку прозвали "мужицким королем", потому что был он справедлив и всему народу делал добро; о тяжелых войнах, которые пришлось ему вести, о его скитаниях, о том, как переодевался он в крестьянское платье и ходил по деревням, водил дружбу с простыми людьми, узнавал про все их обиды и исправлял сделанное зло, утишал злобу, а потом, чтобы уж совсем сродниться с простым народом, женился на дочке крестьянина из-под Кракова — Софьей ее звали — и увез ее в свой краковский замок и там долгие годы правил народом, Как отец родной и первый хозяин.

Все слушали Роха внимательно, затаив дыхание, чтобы ни одного слова не упустить и не оборвать этой цепи чудес. А Ягуся — та и совсем перестала прясть, уронила руки на колени и, припав щекой к прялке, не сводила своих синих, сиявших слезами глаз с лица Роха, который казался ей святым угодником, сошедшим с иконы. Он и в самом деле напоминал лик на древней иконе — седовласый, с длинной белой бородой и выцветшими глазами, словно устремленными в какой-то невидимый другим мир. Она внимала ему, едва дыша от волнения, и верила всем своим глубоко чувствующим сердцем. Все вставало перед ней, как живое, и она шла за Рохом туда, куда он уводил ее своими рассказами. А больше всего тронула ее история о короле и — крестьянской дочке. Господи, как это было прекрасно!

— И это настоящий король так жил с мужиками? — спросил Клемб после долгого молчания.

— Настоящий король.

— Господи, да я бы, кажется, умерла, если бы со мной заговорил король! — прошептала Настка.

— А я за одно его слово пошла бы за ним хоть на край света! На край света! — горячо промолвила Ягна, охваченная таким сильным и страстным волнением, что, кажется, явись он перед ней в этот миг, скажи слово — и пошла бы она за ним, как была, в эту ночь, в этот мороз, в далекий мир!

На Роха посыпались вопросы: где это такие замки, в каких горах спит заколдованное войско, где такие богатства, и чудеса, и короли такие, — где они?

А он отвечал им с легкой грустью, умно мешая правду с вымыслом, и люди глубоко вздыхали, задумываясь над всем тем, — что делается на свете.

— Да... Сегодняшний день — наш, а завтрашний — в воле божьей! — сказал Клемб.

Утомленный Рох отдыхал, а женщины, все еще взволнованные его рассказами, стали сначала вполголоса, а потом уже громко, чтобы слышали все, вспоминать разные истории — кто что знал.

Рассказала что-то одна, за ней — другая, потом и третья, и четвертой вспомнилось что-то, и так каждая рассказывала что-нибудь новое, и тянулась, тянулась беседа, как нить из кудели, играла радугой, как блики лунного света на тусклых мертвых водах, скрытых в глубине леса.

Рассказывали про утопленницу, приходившую по ночам кормить грудью своего голодного ребенка, про упырей, которым нужно пробить сердце осиновым колом, чтобы они не вставали из могил и не пили из людей кровь. О полудницах, которые бродят по межам и душат людей, о говорящих деревьях, об оборотнях, о страшных видениях в полуночную пору, о всяких

ужасах, о повешенных, о колдуньях и неприкаянных душах, о таких странных и поразительных вещах, что волосы вставали дыбом, замирало сердце, холодная дрожь пробегала по телу, и все вдруг умолкали, тревожно озираясь, настороженно прислушиваясь, — потому что им чудилось, что кто-то ходит по крыше, что-то притаилось за окнами, что сквозь стекла смотрят налитые кровью глаза и в темных углах колышутся неясные тени... То та, то другая баба торопливо крестилась, дрожащими губами бормоча молитву. Но проходил этот страх, набегавший как тень, когда облачко вдруг закроет солнце, и опять начиналась беседа, опять жужжали веретена и, как пряжа, разматывались нескончаемые рассказы, которые и Рох слушал со вниманием.

Он и сам рассказал им еще новую легенду — о лошади.

— У одного бедного крестьянина, хозяйничавшего на пяти моргах земли, была лошадь, на редкость норовистая и ленивая. Уж он всячески ухаживал за ней, овсом кормил, а никак ей угодить не мог — лошадь работать не хотела, рвала упряжь, лягалась так, что нельзя было к ней подступиться. Видит мужик, что добром с ней ничего не сделаешь; вот он раз осерчал, запряг ее в плуг и нарочно стал пахать старый перелог, — думал, что она утомится и станет смиреннее. Лошадь уперлась, — не шла. Он ее тогда отхлестал как следует и заставил работать, а она это запомнила как обиду, и выжидала удобного случая ему отомстить. Раз, когда хозяин нагнулся, она ударила его задними копытами и убила на месте, а сама убежала куда глаза глядят, на волю!

Летом жилось ей не худо, вылеживалась она в тени, паслась на чужих полях. Но подошла зима, выпал снег, ударили морозы, и лошади уже и корму не стало, и холод пробирал до костей. Побежала она дальше искать корма. Бежала дни и ночи, — но всюду была зима, снег, морозы. А волки гнались за нею и не один раз уже порядком ободрали ей бока.

Бежит она, бежит и вот прибегает, наконец, на край зимы. Видит — луг, теплынь стоит, трава по колена, ручейки звенят и блестят на солнце, а на берегах прохладная тень и дует приятный ветерок. Накинулась она на траву, потому что вконец изголодалась, но только тронет траву, глядь, а вместо травы на зубах у нее острые камни — пропала трава! Воды хотела напиться — не стало воды, одно вонючее болотце. Прилечь хотела в тени — ушла тень, и солнце жгло, как огнем. Целый день так мучилась лошадь. Хотела уже вернуться в лес — и леса не стало! Заржала бедняжка жалобно, и вдалеке отозвались какие-то лошади. Она поплелась на эти голоса и, наконец, за лугами увидела красивую усадьбу. Вся она была словно из серебра, вместо стекол в окнах камня драгоценные, а крыша — как небо в звездах. И люди какие-то там ходили. Лошадь побрела к ним, — лучше уж, думает, тяжело работать, чем с голоду подышать. Простояла она на солнцепеке день целый, и никто к ней с уздой не вышел. Только к вечеру выходит к ней кто-то — похоже, что сам хозяин. И говорит он лошади:

— Не нужна ты нам, лентяйка ты и убийца! Вот когда тебя будут благословлять те, кто теперь тебя прокликает, тогда я прикажу пустить тебя в мою конюшню.

— Я так голодна, так пить хочу, так измучилась! — простонала лошадь.

— Как я сказал, так тому и быть. Ступай прочь, не то повелю волкам гнать тебя.

И воротилась бедная лошадь в край, где была зима, холодала, голодала, и все бежала в страхе великом, потому что волки гнались за ней неотступно, пугая своим воем. И вот уже весною добрела она однажды ночью до дома своего старого хозяина и заржала, чтобы ее приняли обратно. Выбежала вдова с детьми и сначала не узнала ее — такая она стала худая и жалкая. А узнав, стала ее бить чем попало, гнать и клясть за то горе, что она им принесла, — после смерти хозяина семья обеднела и жила в великой нужде.

Вернулась лошадь в лес и не знала уже, куда ей деваться. А в лесу напали на нее дикие

звери. Она и защищаться не стала — все равно ей было, умирать или жить, но звери ее только обнюхали, и старший сказал:

— Не съедим тебя, жаль когтей, уж больно ты худа, кожа да кости. Так и быть, поможем тебе...

Повели они ее на заре в поле ее хозяина, запрягли в стоявший на пашне плуг: вдова теперь пахала им, впрягаясь сама вместе с коровой и детьми.

— Попашут на тебе, подкормишься, а осенью мы придем за тобой, — сказали звери.

Утром пришла вдова и, увидев, что лошадь стоит уже запряженная в плуг, подумала, что это чудо. Но скоро горькие воспоминания нахлынули на нее, и она опять стала проклинать и колотить лошадь.

И поработала же она на ней потом, ох, и поработала!

Вымещала на ней свою обиду! Так шло лето за летом в тяжком и терпеливом труде, у лошади уже кожа истерлась от хомута, а она даже не заржала ни разу — понимала, что наказана справедливо.

Только через несколько лет, когда у вдовы уже был новый муж и достались ей те несколько моргов, что лежали по соседству с ее землей, она смягчилась и сказала лошади:

— Обидела ты нас, но за труд твой нас Господь благословил, урожай хороший, и мужик мне попался ничего, и землицы прикупили — так уж я прощаю тебя от всего сердца.

И в ту же ночь, когда в избе справляли крестины, пришли волки Иисусовы, вывели лошадь из стойла и повели ее в небесную конюшню...

Дивились все тому, что рассказывал Рох, и долго рассуждали о том, что Бог всегда карает за злые дела и воздаст за добро и ни о ком, даже о лошади, например, не забывает.

— Не укроется от него ни единый самый тайный помысел, ни единое грешное желание, — вставил Рох.

При этих словах Ягна вздрогнула. А тут еще как на грех вошел Антек. Несмотря на тишину в избе, его приход почти не был замечен, так как Валентова в эту минуту рассказывала такие чудеса о плененной королевне, что веретена перестали жужжать, женщины опустили руки и, затаив дыхание, сидели и слушали как зачарованные.

Так проходил зимний февральский вечер.

Души уносились ввысь, пылали, как смолистые факелы, и шелест вздохов пошел по избе — казалось, мечты и желания многоцветными мотыльками порхают в воздухе.

Людей словно опутала живая, переменчивая, сверкающая дивными красками ткань чудес и целиком заслонила серую, убогую действительность. Они блуждали где-то в темных полях, озаренных лишь светом видений. Они наклонялись к серебряным ручьям и слушали их плеск, их таинственные зовы и тихое пение, они шли в заколдованные леса, видели рыцарей, великанов, замки, страшные призраки и драконов, изрыгающих из пасти адское пламя. Они в тревоге останавливались на перепутьях, где с хохотом проносятся упыри, где отчаянными голосами стонут удавленники и летают ведьмы с крыльями нетопырей. Они бродили по могилам вместе с тенями нераскаянных самоубийц, в пустынных разрушенных замках и костелах они слышали странные голоса, и перед ними проходили хороводы жутких призраков. Они участвовали в боях и спускались в подводную глубину, где видели гирлянды спящих ласточек, которых каждую весну будит и выпускает на свет божий Пресвятая

Богородица. Они прошли через рай и ад, через все ужасы и мрак божьего гнева и свет его святой милости. Они побывали в краях несказанных чудес и чар, тайн и восторгов, в таких местах, куда заглядывает человек только в снах своих.

Эх, словно море встало непроницаемой стеной, волной такого света, волшебства и красоты, что исчезла из глаз земля, эта комната, и эта студеная ночь, и весь мир, полный скорби, и слез, и всяких невзгод, и обид, и жалоб, и ожиданий. И открылся глазам мир иной, новый и такой чудесный, что никакими словами его не опишешь!..

Их окружала сказочная жизнь, радугой переливалась она вокруг, мечты стали действительностью. Они умирали от восторгов и воскресали тотчас в этом новом мире, светлом, огромном, могучем, вольном и прекрасном, пестревшем чудесами, как спелая нива — васильками и маками. Там, где каждое дерево говорит, каждый родник поет, каждая птица — заколдованная царевна, там, где камни имеют душу, леса полны чар и каждая горстка земли напоена неизведанной силой, где все велико, необычайно и дивно.

Туда стремились они всей силой тоски своей и, очарованные, блуждали там, где все сплеталось в неразрывную цепь мечты и жизни, чудес и желаний, в волшебный круг блаженного бытия, которое только снится людям, к которому вечно, сквозь всю их тяжкую и бедную жизнь, рвались наболевшие, искалеченные души!

Что эта жизнь, серая и скудная, что эти будни, подобные взглядам больного, затуманенным грустью? Все — сплошной мрак, глухая, печальная ночь, сквозь которую разве только в час смерти можно своими глазами увидеть чудо.

Как скотина, пригнувшаяся под ярмом к земле, живешь ты, человек, хлопчешь, бьешься, чтобы день прожить и даже не подумаешь о том, что делается вокруг тебя, какие медвяные ароматы поднимаются над землей, какие скрытые чудеса таятся везде. Как мертвый камень под водой глубокой, живешь ты, человек!

Во тьме пашешь ниву жизни и сеешь на ней слезы, труд и горе.

По грязи влачишь ты звездную душу свою!

Беседа в избе продолжалась, и Рох охотно принимал в ней участие, сам дивился и вздыхал и плакал, когда плакали другие...

Но по временам наступало долгое молчание, такое глубокое, что слышен был стук взволнованных сердец. Глаза светились влажным блеском, в воздухе дрожали вздохи тоски и восторга. Пели в тиши все сердца, опьяненные священным вином мечты, пронизанные блаженным трепетом, — так трепещет земля, купаясь в лучах весеннего солнца, так под вечер, в тихий погожий час бежит по воде легкая рябь и радужные переливы, так тихо колышутся и шелестят молодые колосья в майский вечер, словно шепча благодарственную молитву.

Ягуся витала в небесах. Она так глубоко чувствовала, так проникалась всем слышанным, так верила ему, словно видела все перед собой и могла бы вырезать из бумаги. Дети, которых обучал Рох, дали ей несколько исписанных страничек из тетради, и она, слушая рассказы других, вырезала королей, упырей, драконов — да так искусно, что всякий с первого взгляда мог угадать, что это такое.

Она нарезала этих фигурок столько, что можно было оклеить ими целую балку, да еще раскрасила их красным и синим карандашом, который ей подсунул Антек. Она была поглощена своей работой и рассказами, забыла все на свете, не обращала никакого внимания на Антека и не заметила, что он в нетерпении делает ей украдкой какие-то знаки. Да и другие, заслушавшись, этого не замечали.

Вдруг на дворе яростно залаяли и завизжали собаки. Один из сыновей Клемба выскочил на крыльцо и, вернувшись, рассказал, что какой-то мужчина стоял под окнами и, увидев его, бросился бежать.

Никто не обратил на это внимания и не заметил, как потом, когда собаки затихли, чье-то лицо мелькнуло за стеклом и быстро исчезло. Только одна из девушек испуганно ахнула и с удивлением протерла глаза.

— Там под окном кто-то ходит! — воскликнула она.

— Да, слышите — снег скрипит!

— Как будто кто на стену взбирается!

Все замерли, охваченные внезапной тревогой, боялись шевельнуться.

— Нечистый легок на помине! — с ужасом шепнула одна из женщин.

— Говорили о нем, вот и накликали, теперь он, может быть, высматривает, кого ему сцапать!

— Господи Иисусе, царица небесная!

— А ну-ка, хлопцы, выгляните, — наверное, никого там нет, это собаки на снегу возятся.

— Да я же ясно видела за окном — морда с ушат и глазищи красные.

— Почудилось тебе, — сказал Рох, и так как никто не решался выглянуть во двор, он, чтобы всех успокоить, вышел сам.

— Расскажу я вам одну легенду про Святую Деву, тогда забудете всякие страхи, — сказал он, вернувшись и усаживаясь на место. Все немного успокоились, но то и дело кто-нибудь поглядывал на окно и вздрагивал от тайного ужаса.

— Давно это было, много веков назад, и только в старых книгах про это написано... В одной деревне под Краковом жил человек по имени Казимир, а по прозвищу Ястреб. Жил он в этих местах давно, родовит был и богат, целые влуки заседал, лес у него был, дом не хуже панской усадьбы, и мельница своя на реке. Во всем ему везло, амбары всегда были полны, в сундуке денежки копилась, дети у него были здоровые и жена хорошая.

Бог его благословил оттого, что он был хороший человек — разумный и добрый, с кротким сердцем, к людям справедливый.

Всем он в деревне заправлял, заботился о бедняках, как отец родной, следил, чтобы все было по чести и по совести, и всегда первый готов был помочь ближнему.

Так и жил он себе тихо, спокойно и счастливо, как у Христа за пазухой.

И вдруг король кликнул клич — сзывает народ на войну против язычников.

Сильно закручинился Ястреб, жаль ему было покидать свой дом и идти в жестокий бой. Но королевский гонец стоял уже у дверей и торопил его.

Война затевалась великая: поганые турки пришли в Польшу, жгли деревни, грабили костелы и вырезали ксендзов, а народ истребляли или угоняли в свою языческую землю.

Нужно было встать на защиту родного края, ибо вечное спасение ожидает тех, кто по доброй воле сложит голову за свой народ и святую веру.

Созвал Ястреб сход, отобрал самых крепких хлопцев, коней, телеги, и ранним утром двинулись они в путь.

Вся деревня с плачем и причитаниями провожала их до самого перекрестка, где стояла статуя Ченстоховской Божьей Матери.

Воевал Ястреб год, воевал два, а там уже и пропал где-то, не было о нем ни слуху ни духу.

Другие давно домой воротились, а его все нет и нет.

Думали, что он убит или попал в плен к туркам — об этом тихонько поговаривал только прохожий люд, нищие да странники.

Только в конце третьего года, ранней весной, возвратился Ястреб — один, без челяди, без телег и лошадей.

Пришел пешком, измученный, в лохмотьях, с палкой, как нищий.

Помолился он горячо перед статуей Божьей Матери на перекрестке, поблагодарил ее за то, что дозволила ему увидеть родную землю, и торопливо зашагал в деревню.

Никто с ним не здоровался, никто его не узнавал, и ему то и дело приходилось отгонять собак.

Подходит он к своему дому, протирает глаза, крестится, — глазам не верит!

Господи Иисусе! Амбаров нет, конюшен нет, садов нет, даже плетней нет, а скота и следа не осталось...

Вместо дома — один обгорелый сруб торчит... Детей нет, пусто, страшно! Только больная жена выползла ему навстречу и зарыдала горько.

Как громом его сразило!

Узнал Ястреб, что, пока он воевал и громил врагов Христовых, дом его посетил мор и убил всех детей, потом молния сожгла дом, волки сожрали весь скот, злые люди разграбили имущество, земли захватили соседи, засуха выжгла хлеб в полях, а остатки градом побило. И так не осталось ничего у Ястреба — одна земля под ногами да небо над головой. Весь день просидел он на пороге, как убитый, а к вечеру, когда зазвонили к вечерне, вдруг вскочил и начал страшно богохульствовать, проклиная Бога.

Тщетно унимала его жена, тщетно в ногах у него валялась — он проклинал и проклинал, крича, что напрасно он кровь проливал за дело господне, страдал от ран, терпел голод, напрасно был всю жизнь честен и благочестив — покинул его Господь и обрек на погибель!

Он кричал, что уж лучше нечистому продаться, потому что он один не оставляет человека в беде.

Ну, и, конечно, на такой призыв нечистый тут же явился перед ним. А Ястреб от злости уж себя не помнит. Кричит:

— Помогай, бес, если можешь, тяжко я обижен Богом!

Глупый, он не понял, что Господь его испытать хотел!

— А душу продашь? Тогда помогу! — прошипел нечистый.

— Продам — хоть сейчас!

Написали договор, и подписал его мужик кровью из безымянного пальца.

И с того дня пошло у него все гладко. Работать ему мало приходилось, он только распоряжался и надзирал, а все за него делал Михалек — так нечистый велел называть себя. Помогали и другие черти. И в скором времени хозяйство у Ястреба стало еще больше и богаче, чем раньше.

Только детей больше не родилось — как же они без благословения божьего могли родиться!

А Ястреба это сильно огорчало, и по ночам он иногда думал о том, что придется после смерти гореть в вечном огне, и не тешило его тогда богатство, ничего его не радовало... Но Михалек доказывал ему, что все богачи, паны, короли и даже самые видные епископы продали душу черту, и никто из них об этом не тужит, не раздумывает, что будет с ним после смерти, а только веселятся все и живут в свое удовольствие!

И Ястреб успокаивался и еще больше восставал против Бога: своими руками срубил крест, стоявший у леса, выбросил из дома все образа и добирался уже до статуи Ченстоховской Богоматери на перекрестке — хотел ее разрубить на куски, потому что она, видите ли, пахать ему мешала! Едва жена мольбами и слезами удержала его от этого.

Годы за годами уплывали, как быстрая речка, и непомерно росли богатства Ястреба, а с ними и почет. Сам король к нему заезжал, приглашал ко двору и сажал за стол вместе со своими придворными.

Ястреб этим очень кичился, стал заносчив, бедняков презирал, стыд и совесть потерял и уже никого ни во что не ставил.

Глупец! Не думал о том, как придется ему расплачиваться за все.

И пришел, наконец, час расплаты.

Сначала свалились на Ястреба тяжкие болезни и ни на миг его не оставляли. Потом послал Бог мор, и весь его скот погиб. Потом молнией сожгло постройки.

Потом град побил хлеб в поле.

Потом сбежала от него вся челядь.

Потом наступила такая Засуха, что все поле выгорело дотла, деревья засохли, совсем обмелели речки, трескалась земля.

Потом покинули Ястреба все люди, и нужда села на его пороге.

А он хворал тяжело, кости у него гнили, мясо отваливалось кусками.

Напрасно молил он о помощи Михалека и других чертей. Они не хотели больше помогать ему: он уж и так принадлежал им. И для того, чтобы он поскорее умер, они еще сильнее растревляли его страшные раны.

Однажды ночью, поздней осенью, разыгралась такая вьюга, что ветром сорвало крышу, вырвало все окна и двери, к дому, слетелось множество бесов и давай плясать вокруг да врываться с вилами внутрь, потому что Ястреб был уже при последнем издыхании.

Жена защищала его, как могла, но отчаяние при мысли, что муж умрет без причастия, не помирившись с Богом, лишало ее последних сил. И, хотя он и в последний час свой остался закоренелым грешником и запретил ей это, она улучила минуту и побежала в плebанию к ксендзу.

Ксендз собирался в гости и не захотел идти к безбожнику.

— Кого Бог оставил, того черти должны забрать, я уже ничем ему помочь не могу.

И поехал к помещику играть в карты.

Зарыдала женщина с горя, упала на колени перед статуей Божьей Матери и с тоской сердечной, с кровавыми слезами молила о милосердии.

Сжалилась над ней Пресвятая Дева и молвила:

— Не плачь, женщина, молитва твоя услышана.

И сошла она к ней с алтаря, как была, в золотой короне, в голубом плаще, усеянном звездами, с четками у пояса. Женщина упала перед нею ниц.

Подняла ее Мария, отерла ей слезы, прижала ее к сердцу и сказала ласково:

— Веди меня в свой дом, верная слуга моя, может быть, я и помогу тебе чем-нибудь.

Она посмотрела на умирающего, и опечалилась ее милосердная душа.

— Без ксендза тут не обойтись! Я ведь только женщина и той власти не имею, какую Иисус дал ксендзам. Ксендз у вас негодный, о людях не заботится, дурной он пастырь и за это ответит. Но только он один может отпускать грехи. Я сама пойду в усадьбу за этим картежником. На, возьми мои четки; защищай ими твоего грешного мужа, пока я не вернусь.

Да как идти? Ночь темная, ветер, дождь, грязь, дорога дальняя, и к тому же повсюду бесы проходу не дают.

Но не испугалась ничего царица небесная! Покрыла только голову дерюгой — от ливня — и пошла в темень.

Добрела она до усадьбы страшно усталая, промокшая до нитки. Постучалась и смиренно просит ксендза сейчас же идти к больному. Но ксендз, увидев, что это какая-то нищенка и что на дворе такая собачья погода, велел ей сказать, что приедет утром, а сейчас ему некогда, — и продолжал играть в карты, пить и веселиться с панами.

Богородица только вздохнула, огорченная таким бессовестным поведением ксендза. По знаку ее появилась золотая карета с лакеями на запятках, сама же она переоделась знатной пани и вошла в комнаты.

Тут уж, разумеется, ксендз тотчас поспешил с нею к больному.

Приехали они еще вовремя, но смерть уже сидела на пороге, а черти рвались к Ястребу, чтобы унести его живьем раньше, чем приедет ксендз со святыми дарами.

И только жена все еще отгоняла их.

Исповедался Ястреб, покаялся, получил отпущение грехов и тут же Богу душу отдал. Богородица сама закрыла ему глаза, благословила жену, а оторопевшему от испуга ксендзу сказала:

— Ступай за мной!

Он еще ничего не понимал, но пошел. Выходит, смотрит — ни кареты, ни лакеев, на дворе ливень, грязь, тьма, и смерть идет за ним по пятам. Еще пуще испугался ксендз и побежал за Святой Девой к часовне.

Видит — она уже в мантии и короне, окруженная ангелами, восходит на алтарь, на свое прежнее место. Узнал он тогда царицу небесную, в страхе упал на колени и зарыдал и протянул к ней с мольбой руки.

А Мария взглянула на него гневно и молвила:

— Так будешь ты стоять на коленях и плакать века, пока не простятся тебе грехи твои.

И ксендз обратился в камень и так с той поры и стоит на этом месте. Только по ночам плачет, прогягивая руки, и ждет, пока смилуется над ним Богородица. Вот уж много веков стоит он там на коленях. Аминь!

И поныне можно видеть это каменное изваяние в Домброве под Пшедбожем. Стоит оно у костела, как вечное напоминание грешникам, что кара за злые дела никого не минует...

Рох кончил. Молчание наступило в комнате. Да и что сказать в такой миг, когда душа человека плавится, как железо в огне, наполняется таким светом, что, кажется, коснись ее, — и разольется она звездным дождем, и раскинется радугой между землей и небом.

Матеуш вынул флейту и стал тихо наигрывать какую-то задушевную и тоскливую мелодию — словно сыпалась роса на тонкие паутинки. А Соха затянула: "Под твою защиту..."- и все тихо подпевали ей.

Потом помаленьку разговорились — о том о сем, как обычно. А молодежь весело смеялась, потому что солдатка Тереза задавала парням препотешные загадки.

Когда кто-то в избе сказал, что Борына уже вернулся из города и пьет сейчас в корчме со своей компанией, Ягуся потихоньку накинула платок и вышла, не позвав с собой Юзи, а за нею крадучись выбрался из комнаты и Антек, догнав ее в сенях, крепко взял за руку и повел другим ходом во двор, а оттуда через сад за амбары.

Их ухода почти никто не заметил, так как Тереза громко выкрикивала:

— "Ни тела, ни души, а под периной растет". Что это такое?

— Хлеб! Хлеб! Это всякий знает! — отвечали ей хором — обступившие ее девушки и парни.

— Или вот еще: "Бегут гости по липовому мосту".

— Это горох в решете!

— Ну и загадки! Их каждый ребенок отгадает!

— Так скажите вы другие, потруднее, если знаете!

— А вот слушайте: "Родится в рубашке, а ходит голый".

Долго думали, что это; наконец, Матеуш догадался, что это сыр, и сам задал такую загадку:

— "Липовое дерево весело поет, а лошадь на баране хвостом машет".

С трудом сообразили, что это скрипка.

Потом Тереза загадала другую, еще помудреннее: "Ни ног, ни рук, ни головы, ни брюха, а куда ни повернется, всюду шумит".

Это должно было означать ветер. Тут начали спорить, подшучивать над Терезой, вспоминать другие загадки, одна другой занятнее, и вся изба загудела говором и смехом.

И долго еще дружно веселились у Клемба.

XI

Они вбежали в сад, тихонько проскользнули под нависшими ветвями и быстро, тревожно, как испуганные олени, метнулись за амбары, в снежный сумрак, в безлунную ночь, в таинственную тишину замерзших полей.

И ночь укрыла их. Пропала из глаз деревня, оборвался внезапно людской говор, замерли самые слабые отголоски жизни, и оба сразу забыли все на свете.

Крепко прижавшись друг к другу, радостно взволнованные, молчаливые, хотя все пело у них внутри, они бежали, немного наклонясь, летели куда глаза глядят, вперед, в затканную синевой безмолвную даль.

— Ягусь!

— Что?

— Это ты со мной?

— А то кто же!

Только такими короткими восклицаниями обменивались они иногда, останавливаясь, чтобы перевести дух.

Им мешало говорить тревожное биение сердец, могучий крик затаенного счастья сжимал горло. Они каждый миг смотрели друг другу в глаза, и глаза вспыхивали, как немые, жаркие зарницы, губы приникали к губам с такой безумной силой, с такой всепоглощающей страстью, что оба шатались от упоения, дух у них захватывало, сердца готовы были разорваться. Земля уходила у них из-под ног, они словно летели куда-то в огненную пропасть. Потом, оторвавшись друг от друга, озирались вокруг ослепшими глазами и опять бежали, не зная, куда и зачем, — только бы дальше, дальше, в самый непроглядный мрак, туда, где все заслоняли густо клубившиеся тени.

Еще сажень... еще две... дальше... глубже в ночь... и вот уже все осталось позади, весь мир и самая память о нем, и они шли словно в забыты. Как человек, который не помнит виденного им сна, но душой все еще смутно грезит, — так и они еще не очнулись от чудного сна, который только что снился им наяву там, в избе Клемба, еще тонули в лучистом тумане тихих мистических сказок, заронивших в их душу дивные цветы очарований, священного страха, глубочайшего изумления, восторга и неутолимой тоски!

Еще были они повиты волшебной радугой грез, еще, казалось, плыли в хороводе призраков, вызванных Рохом в этот вечер. Шли в сказочных странах, потрясенные, замороженные, по бесконечным кругам невысказанного и чудесного. Видения колыхались перед ними во мраке, вставали в небе, заполняли все вокруг и так властно пленяли сердце, что Антек и Ягна временами замирали в непонятном смятении и, затаив дыхание, жались друг к другу, онемевшие, испуганные, вглядывались в бездонную неясную глубину воображения, пока опять не загорались молитвенным восторгом. А потом, приходя в себя, долго с удивлением блуждали глазами вокруг, словно не понимая, где они, живы ли еще, с ними ли совершались те чудеса, или все это только сон, наваждение...

— Ягусь, не страшно тебе?

— С тобой ничего не страшно, с тобой куда хочешь пойду, хоть на смерть! — сказала она горячим шепотом, прижимаясь к нему.

— Ждала ты меня сегодня? — спросил Антек через минуту.

— А как же! Чуть только кто-нибудь войдет в сени, так меня в дрожь и кинет! Ради тебя только я и пошла к Клембам... Думала, не дождусь...

— А когда я вошел, ты притворилась, будто и не видишь!..

— Дурачок! Как же можно было мне глядеть — ведь люди сейчас догадались бы! Сердце у меня екнуло... не знаю, как и усидела на лавке... даже воды пришлось выпить, чтобы в себя прийти.

— Милая ты моя!

— Ты позади сидел, а я боялась оглянуться, боялась заговорить... А сердце у меня так колотилось, так стучало... наверное, все слышали... Господи... Я чуть не закричала от радости!..

— Я так и надеялся, что застану тебя у Клембов и мы вместе уйдем...

— Я домой хотела бежать, а ты меня силой увел...

— Тебе разве не хотелось идти, Ягусь?

— Что ты! Сколько раз я думала: "Эх, если бы так было!" Сколько раз...

— Правда? Думала так? — шепнул Антек страстно.

— А как же, Антось! Постоянно, постоянно. Там за плетнем нехорошо...

— Правда. А тут нас никто не застанет. Мы одни...

— Одни!.. И темень такая... — шептала Ягна, кидаясь ему на шею и обнимая со всей силой страсти и нежности.

Вьюга утихла, и только временами легкий ветер что-то ласково шептал им и охлаждал их горевшие щеки.

На низко нависшем небе не было ни звезд, ни луны, клубились на нем только грязные лохматые тучи — точно стадо бурых волков разлеглось на пустом, обнаженном поле. А даль заволкло серым дымом, и все кругом соткано было из тумана, дрожащей мглы, взболтанной мути.

Едва слышный и тревожный шум дрожал в воздухе, — казалось, он плыл не то от потонувших в ночи лесов, не то из мрачных расселин между туч, откуда порой вылетали вереницы белых облаков и уносились прочь быстро, как стайки весенних птиц, преследуемых ястребами. Глухая, темная ночь была полна мучительного беспокойства, странного, неуловимого движения, жути тревожных шепотов, притаившихся во мраке призраков. Казалось, вокруг совершаются вещи непостижимые и страшные.

Иногда вдруг из-под тяжелых пластов мрака блистали призрачно-бледные снега или какие-то холодные, серые отблески проползали среди мглы, извиваясь, как змеи, потом ночь опять смыкала веки — и мрак черным сплошным дождем заливал землю, и все исчезало, и взгляды, не имея за что уцепиться, бессильно падали в самую бездну ужаса, и душа цепенела, словно могильная земля наваливалась на нее своей мертвенной тяжестью. А

потом вдруг разрывались темные завесы, как распоротые ударом молнии, и сквозь прорези туч в глубине виднелись темносиние полосы тихого звездного неба.

Но Антек и Ягна были слепы и глухи ко всему. В них бушевала буря, усиливаясь с каждым мгновением, переливаясь из сердца в сердце потоком жарких невысказанных желаний, взглядов, разящих, как молния, мучительного трепета, внезапной тревоги, обжигающих поцелуев, слов бессвязных, потрясающих, как грозные удары грома, потоком душевного изнеможения, нежности и такого безумного упоения, что они душили друг друга в объятьях, вцеплялись друг в друга так, словно каждый хотел вырвать у другого душу, захлебнуться блаженной мукой, и затуманенные глаза не видели уже ничего.

Так, подхваченные ураганом чувств, слепые, обезумевшие, забыв все на свете, слившись в одно, они, как два пылающих факела, неслись в непроглядный мрак, в глухую пустыню ночи, чтобы отдаться друг другу до смерти, до дна души, пожираемой извечным голодом.

Они уже не могли говорить, только откуда-то из самой глубины рвались бессознательные крики, сдавленный обрывистый шепот, палящие, как языки пламени, слова, напоенные страстью. Взгляды, полные безумного испуга, пронзающие насквозь, встречались, как два мчащихся друг на друга вихря. И, наконец, могучий порыв бросил их друг к другу, они с диким стоном обнялись и упали на землю, ничего уже не сознавая.

Весь мир закружился и вместе с ними рухнул в огненную пропасть.

— Ох... с ума сойду!

— Тише, Ягусь... не кричи...

— Не могу...

— Сердце у меня сейчас разорвется!..

— Сгорю!.. ради бога пусти... дай вздохнуть...

— Господи... Умираю... господи...

— Единственная ты моя!

— Антось! Антось!

...Как скрытые в земле соки пробуждаются каждой весной и стремятся друг к другу через все препятствия с разных концов мира, пока не найдут друг друга и сольются, и совершат таинство зачатия, чтобы предстать потом изумленным взорам в образе цветка ли, или весеннего дня, или души человеческой, или шумящей зелени деревьев, — так и они рвались друг к другу через томительную тоску, через муки, через серые, пустые, бесконечные дни — и вот наконец обрели друг друга и с одинаковым неудержимым криком желания упали друг другу в объятия, сплелись крепко, как сосны, когда буря вырвет их из земли и, сломав, бросит одну на другую, и они в последней отчаянной борьбе качаются, и шумят, и гнутся, обнявшись, пока не достанутся вместе лютой смерти...

А ночь осенила и скрыла их, чтобы свершилось то, что должно было свершиться...

Где-то в темноте начали перекликаться куропатки, — так близко, что слышно было, как движется целая стая: раздавался шелест крыльев, расправленных для полета.

Иногда отдельные резкие звуки нарушали тишину, а со стороны деревни, видимо недалеко, доносилось громкое пение петухов.

— Поздно уже... — шепнула встревоженная Ягна.

— Нет, до полуночи еще далеко, это они кричат к перемене погоды.

— Оттепель будет...

— Да, снег размок.

Где-то вблизи, как будто за кустом, под которым они сидели, шумели зайцы. Они гонялись друг за другом, прыгали и вдруг целой гурьбой промчались мимо, так что Антек и Ягна шарахнулись в испуге.

— Свадьбы справляют, окаянные! Они в это время так слепнут, что и человека не заметят. Значит, весна близко.

— А я-то струхнула, думала — зверь какой!

— Тсс, пригнись! — шепнул вдруг Антек испуганным голосом.

Они замолкли и прикорнули под кустом. Из темноты, освещенной лишь искрившимся снегом, вынырнули какие-то длинные, ползущие тени... Они двигались медленно, крадучись, и по временам исчезали вовсе, словно уходя под землю, и только глаза сверкали, как светлячки в чаще. Вот они пронеслись мимо — и вдруг раздался короткий, жалобный предсмертный крик зайца, потом резкий топот, хрип, какая-то страшная возня, хруст костей на зубах, грозное ворчание — и снова глубокое, но жуткое безмолвие.

— Волки зайчика разорвали!

— И как это они нас не учуяли!

— А мы за ветром сидим, вот они и не учуяли.

— Страшно... Пойдем уже... Озябла я... — Ягна вздрогнула.

Но Антек обнял ее, стал согревать поцелуями, и оба опять забыли обо всем на свете. Крепко обнявшись, они пошли по первой попавшейся тропинке. Шли, тяжело качаясь, — так деревья, покрытые массой цветов, качаются тихо под жужжание пчел...

Они молчали, и лишь звуки поцелуев, вздохи, короткие восклицания, глухой ропот страсти, ликующий стук сердец окружали их словно теплом весенних полей. Они и сами подобны были цветущим весной лугам, которые тонут в светлой звенящей радости: так же расцветали их взоры, так же дышали они зноем земли, разогретой солнцем, дрожью растущих трав, блеском и звоном ручьев, птичьим гомоном. Сердца их бились созвучно с сердцем матери-земли, взгляды падали, как опадает тяжелый яблоневый цвет, слова, тихие, скупые и полные значения, рождались из самой глубины сердца, как яркозеленые побеги в майские утра; дыхание было подобно ветерку, ласкающему молодую поросль, а души — пронизанному солнцем дню весны, нивам, убегаящим вдаль, полным песен жаворонков, света, шума и непобедимой радости жизни.

Порой они вдруг замолкали и останавливались, словно в забытьи. Так иной раз туча закроет солнце — и все притихнет, омрачится, на миг задумается в тревоге и грусти.

Но проходили минуты оцепенения, и опять радость вспыхивала пожаром, душу окрыляло такое могучее, такое полное чувство счастья, что, сами того не замечая, они вдруг запевали какую-то страстную, дикую песню и шли, качаясь ей в такт, и голоса их взвивались в воздух радужными крыльями, и звездным сверкающим фонтаном звуков рассыпались в мертвой пустоте ночи.

Они ничего уже не сознавали, шли, прильнув друг к другу, безвольные, опьяненные этой нечеловеческой силой чувства, что уносила их ввысь и вырывалась из сердца бессвязной песней, песней без слов.

Песнь плыла бурной рекою из переполненных сердец, звучала победным криком любви. Она пылала, как куст огненный, в хаосе мрака и ночных теней. Она то напоминала тяжкий и грозный гул вод, рвущих ледяные оковы, то звенела едва слышным неясным звоном, как качающиеся на солнце колосья.

И разрывались золотые цепи звуков, разлетались по ветру или, покрываясь ржавчиной, грузно влачили по земле и уже казались лишь голосами ночи, бессильным рыданием, сиротливым зовом, криком испуга и гибели.

И замирали в гробовой тишине.

Но через минуту, как вспугнутые птицы, взлетали, рвались к небу в безумном порыве, и сердца наполнялись могучей жаждой полета, жаждой раствориться во всем, и вновь неслась песня, как гимн экстаза, как молитва всей земли, неумирающий крик жизни.

— Ягусь! — шепнул Антек удивленно, словно только что увидел Ягну подле себя.

— Ну да, я тут! — отозвалась она тихо, со слезами в голосе.

Они очутились на тропинке, огибавшей деревню, уже на той стороне озера, где стояла изба Борыны.

Ягна вдруг заплакала.

— Что с тобой?

— Не знаю... Так чего-то сердце защемило, что слезы сами льются.

Антек сильно встревожился. Они присели у чьего-то сарая на выступе бревна, и он привлек ее к себе, обняв обеими руками, а она, как ребенок, приникла к его груди и задумалась. Слезы катились у нее из глаз, как росинки с цветов. Антек утирал их то ладонью, то рукавом, но они все текли и текли.

— Боишься?

— Чего бояться? Нет. Только такая тишина у меня на душе, как будто смерть стоит за плечами. Томит меня что-то, так и ухватилась бы руками за небо и понеслась вместе с тучами далеко-далеко...

Он ничего не ответил. Оба молчали, помрачнев вдруг, — какая-то тень набежала на души и смутила их светлый покой и наполнила странной, горькой тоской. Еще сильнее потянуло их друг к другу, еще больше искали они друг в друге опоры, еще желаннее был тот неведомый мир, который каждый открывал в другом.

Набежал ветер, тревожно закачались деревья, осыпая их мокрым снегом. Густые тучи начали вдруг рассеиваться в разные стороны, и тихий прерывистый стон пронесся над снежным полем.

— Надо домой бежать, поздно уже, — пробормотала Ягна и хотела встать.

— Не бойся, еще не спят — на улице голоса слышны, — Наверное, это от Клембов расходятся.

— Я подошники оставила в хлеву. Как бы коровы ног себе не переломали.

Они замолчали, потому что невдалеке послышался говор. Он скоро затих, но где-то сбоку, как будто на той же тропинке, заскрипел снег, — и чья-то высокая тень мелькнула так ясно, что Антек и Ягна вскочили.

— Там есть кто-то... притаился под забором!

— Нет, это тебе почудилось. Бывает, что от туч такие тени бегут.

Оба долго прислушивались, вглядываясь в темноту.

— Пойдем на сеновал, там спокойнее! — шепнул Антек.

Они все время боязливо оглядывались, останавливались, затаив дыхание и прислушиваясь, но вокруг была мертвая тишина. Осторожно, крадучись, подошли к сеновалу и влезли в глубокую дыру, черневшую у самой земли.

Опять потемнело вокруг, тучи сбились в сплошную непроницаемую массу, угасли бледные отсветы, ночь сомкнула глаза и впала в глубокий сон. Ветер улегся, но тишина стала еще беспокойнее, — слышно было, как дрожат ветви, гнувшиеся под снегом, как далеко-далеко лепечет вода, падая на мельничные колеса. А вскоре опять захрустел снег на тропинке — и уже теперь ясно слышны были тихие, крадущиеся, словно волчьи шаги... Какая-то тень отделилась от стены и, согнувшись, двигалась по снегу, все приближалась, росла, останавливалась на миг и опять шла. Вот человек зашел за сеновал, подполз к самому отверстию и долго подслушивал...

Потом он отполз к плетню и скрылся под деревьями.

Не прошло и пяти минут, как он опять появился, таща за собой большую связку соломы. Остановился на миг, прислушался и, прыгнув к сеновалу, заткнул дыру этой охапкой соломы. Чиркнула спичка, и огонь мгновенно разбежался по соломе, зашумел, засверкал тысячью языков, а через минуту развернулся кровавым пологом, охватив всю стену сеновала...

А Борына, согнувшись, страшный, как мертвец, ждал с вилами в руках.

Антек и Ягна сразу поняли, что творится. Красные отблески огня стали проникать внутрь, едкий дым наполнил яму. Они с криком вскочили, заметались, ударяясь о стены, не находя выхода. Они обезумели от ужаса, задыхались. Антек чудом каким-то наткнулся на доску, закрывавшую вход, уперся в нее изо всех сил и вместе с нею вывалился наружу. Раньше, чем он успел подняться с земли, старик кинулся на него и ударил вилами, но промахнулся: Антек вскочил и, не дав ему ударить вторично, толкнул его кулаками в грудь и умчался без оглядки.

Старик кинулся к сеновалу, но и Ягны уже там не было, она только мелькнула мимо и пропала в темноте. Тогда он завопил как сумасшедший: "Горит! Горит!" — и забегал с вилами вокруг. Огонь охватил уже весь сеновал и взлетел вверх страшным столбом пламени и дыма.

Стал сбегаться народ, понеслись по деревне крики, кто-то ударил в набат, и тревога охватила всех, а зарево росло, огонь красной тканью метался во все стороны и брызгал дождем искр на все постройки, на всю деревню.

Что творилось в Липцах после той памятной ночи — это и первейшему умнику нелегко было бы запомнить и рассказать. Деревня зашумела, как муравейник, когда какой-нибудь бездельник копнет его палкой.

Чуть только рассвело и люди открыли глаза, как все поспешили на пожарище. Многие уже по дороге дочитывали молитву, мчась во всю прыть, как на ярмарку.

День наступил пасмурный, долго еще все тонуло во мгле, и снег падал мокрыми хлопьями, одевая все вокруг прозрачной, рыхлой пеленой. Но, несмотря на непогоду, со всех сторон сходились к пожарищу люди, тихо толкуя о вчерашнем, и стояли тут часами, в надежде узнать что-нибудь новое.

Галдеж поднялся изрядный, народу собиралось все больше и больше — уже и у плетня стояли кучками, и во дворе было полно, а больше всего толпились у сеновала. На фоне снега так и пылали яркие платья женщин.

Сеновал сгорел дотла и развалился, только два столба торчали, обугленные, как головешки. На хлевах и гумне крыши были сорваны до самых стропил, и вся дорожка и ближнее поле засыпаны пеплом, обгорелыми дранками, обугленными бревнами.

Снег шел без перерыва и постепенно покрывал все, но местами таял от тлевшего еще огня. Порой из разбросанного вокруг сена вдруг вырывались струи черного дыма, вспыхивал бледный трескучий огонек, — и тотчас мужики бросались к нему с баграми, затапывали его сапогами, колотили палками, засыпали снегом.

Они только что разгребли одну такую горящую кучу, как вдруг кто-то, как будто сын Клемба, зацепил багром обгорелую тряпку и высоко поднял ее.

— Ягусин платок! — с насмешкой крикнула Козлова. Все уже знали, что случилось вчера.

— Покопайтесь-ка еще, хлопцы, — может быть, найдете там и пару штанов.

— Нет, штаны на нем остались, — разве только он по дороге их потерял.

— Девки уже искали, да их кто-то опередил!

— Чтобы Ганке отнести! — говорили бабы хохоча.

— Тише вы, трещотки! На потеху, что ли, сюда сбежались, над чужим несчастьем зубоскалить! — крикнул возмущенный солтыс. — Эй, бабье, по домам! Чего тут стоите? Довольно уже намололи языками!

Он стал их разгонять.

— Ты нас не тронь! Знай свое дело, если на то поставлен! — крикнула Козлова так яростно, что солтыс только взглянул на нее, плюнул и ушел во двор, а из баб никто с места не тронулся. Они ногами придвигали к себе платок, разглядывали его и о чем-то тихо и с отвращением рассказывали друг другу.

— Такую надо гнать из деревни кочергой, как ведьму! — громко сказала Кобусова.

— Верно! Ведь из-за нее это все, из-за нее! — поддержала ее Сикора.

— Ясно, из-за нее. И как только нас Господь уберег — ведь могла вся деревня сгореть! — прошептала Соха.

— Да уж это чудо, истинное чудо!

— Ветра не было, да и вовремя заметили.

— А любопытно, кто это в набат ударил? Ведь все в деревне уже спали.

— Говорят, будто медвежатники шли из корчмы, и они-то первые и увидели.

— Милые вы мои, да ведь сам Борына их на сеновале застал и только что успел выгнать, тут огонь сейчас и бухнул. Я еще вчера у Клембов, когда они вместе вышли, подумала, что добром это не кончится.

— Видно, он давно уже их подстерегал!

— Ну еще бы! Говорит мой парнишка, что вчера старик все время ходил по улице перед Клембовой избой. Подглядывал за ними, — буркнула жена Кобуся.

— Не иначе, как это Антек по злобе поджег!

— Он и раньше грозился так сделать.

— Вся деревня знает!

— Этого надо было ожидать!

А в другой группе пожилые бабы шептались о том же, но потише и степеннее.

— Говорят, старик так избил Ягну, что она больная лежит у матери.

— Как же! Он еще до рассвета ее выгнал и сундук выбросил ей вслед и всю одежду, — сказала молчавшая до сих пор Бальцеркова.

— Вздор, я сейчас только была у них в избе, и сундук стоит на своем месте! — вмешалась Плошка. И прибавила громче: — А только я еще на их свадьбе предсказывала, что этим кончится!

— Что творится, Господи, что творится! — вздохнула Соха, хватаясь за голову.

— А что? Заберут его в острог, только и всего.

— И поделом: ведь вся деревня могла сгореть!

— Я уже спала крепко, а тут вдруг Лукаш — он с медвежатниками ходил — как забарабанит в окно да как закричит: "Пожар!" Господи Иисусе Христе! Окна все красные, словно их кто угольями засыпал... С перепугу у меня руки-ноги отнялись... А тут уж и колокол гудит и люди кричат... — рассказывала Плошка.

— Как только сказали, что горит у Борыны, меня сразу и осенило: Антека это дело! — перебила ее другая баба.

— Да полно тебе! Говорит так, словно своими глазами видела.

— Видеть не видела, да все так говорят...

— Ягустинка еще на Масленице везде звонила об этом!

— Дело ясное: закуют его и в острог повезут.

— Ничего ему не будет! Видел кто, как он поджигал? Свидетели есть, что ли? — заметила Бальцеркова, великая сутяга, знавшая толк в законах.

— Так ведь старик-то его поймал на месте?

— Поймать-то поймал, да не за этим, за другим делом. Да хоть бы он и видел, как тот поджигал, свидетелем он по закону быть не может, потому что они с Антеком враждовали.

— Это уж не нам разбирать, а суду. А кто виноват перед Богом и людьми, как не эта сука Ягна? — сердито и громко сказала Бальцеркова.

— Правда! Верно! Этакой срам, этакой грех! — зашептались женщины, теснее сбившись в кучу, и пошли перемывать косточки Ягне и наперебой вспоминать все ее грехи.

Они говорили все громче, поносили Ягну все с большим азартом. Они рассказывали сейчас то, что было и чего не было, все, что только про нее когда-либо слышали или сами сочинили. Закипела в них давнишняя досада и зависть, и градом полетели на Ягну бранные прозвища, проклятия, угрозы, слова ненависти и дикой злобы, — появившись она здесь в эту минуту, на нее бы, конечно, набросились с кулаками.

А в другой кучке мужчины с таким же ожесточением ругали Антека. Мало-помалу гневное возбуждение охватывало всех, молниями сверкало в глазах, и не одна рука грозно сжималась в кулак, готовая ударить, не одно жестокое слово падало как камень. Даже Матеуш, сначала защищавший Антека, отступился от него и только под конец сказал:

— Свихнулся он, должно быть, если на такое дело мог решиться!

Но тут выскочил вперед рассвирепевший кузнец и стал объяснять мужикам, что Антек не раз грозился спалить дом отца, что старик давно об этом знал и по целым ночам караулил.

— Я присягнуть готов, что это его рук дело, — да, наконец, есть свидетели, они все покажут. Таких, как он, карать надо! Не он ли постоянно подговаривал парней бунтовать против старших? Я даже знаю, с кем из них он сговаривался, знаю, вижу их перед собой, слушают они меня сейчас! И смеют еще за такого заступаться! — орал он все громче и грознее.

— От такого зараза идет по всей деревне! В тюрьму его надо, в Сибирь, палками до смерти забить, как бешеную собаку! Мало того, что с родной мачехой грешил... Нет, он еще поджигать! Просто чудо, что вся деревня не выгорела! — выкрикивал кузнец. В его горячности явно был какой-то расчет. Это смекнул Рох, стоявший в стороне с Клембом, и сказал:

— Что-то вы уж очень на него нападаете, а вчера еще пили с ним в корчме!

— Кто всю деревню мог по миру пустить, тот мне враг!

— А вот помещик — тот тебе не враг! — вставил Клемб сурово.

Но кузнец их перекричал, зашумели и другие. Кузнец шнырял в толпе, подзуживал всех, призывал к мести, рассказывал об Антеке всякие небылицы. Народ, и так уже достаточно возбужденный, окончательно возмутился, раздавались громкие требования привести сюда поджигателя, заковать в кандалы и передать властям. А некоторые искали уже палок и хотели бежать за Антеком, вытащить его из хаты и так избить, чтобы он всю жизнь помнил. Больше всего кипятились те, кому Антек не раз досчитал ребра...

Поднялась сумятица, крики, ругань, угрозы, толпа бурлила и качалась, как лес в бурю, волной билась о плетни, потом хлынула к воротам, затопила дорогу. Тщетно успокаивал их войт, тщетно солтыс и старики уговаривали и вразумляли — их голоса тонули в адском шуме, а сами они, увлекаемые толпой, шли вместе с другими. Никто их не слушал и не обращал на них внимания, — мужики орали во все горло и рвались вперед, словно подхваченные каким-то вихрем безумия.

Вдруг Козлова начала проталкиваться вперед и вопить в голос:

— Оба виноваты, обоих волоките сюда и покарайте тут же на пожарище!..

А бабы вторили ей и продирались за ней сквозь толпу. В тесном проходе у плетня поднялся вой, визг, все напирало разом, проталкивались изо всей мочи, размахивали кулаками. Дикий шум походил на рев разбушевавшейся реки. Вдруг те, кто впереди, закричали:

— Ксендз идет со святыми дарами! Ксендз идет!

Толпа рванулась, как на привязи, заколыхалась и, хлынув на улицу, остановилась. Уже она рассеивалась во все стороны, расплескивалась брызгами, притихала, — и вдруг наступила полная тишина. Люди падали на колени и обнажали головы.

Ксендз шел от костела с распятием в руках. Впереди шагал Амброжий с зажженным фонарем и звонил в колокольчик.

Они прошли быстро, и уже видны были в густом снежном тумане смутно, как сквозь замерзшее стекло. Тогда только народ начал вставать с колен.

— Это он к Филипке пошел, — говорят, она так простыла вчера в лесу, что уже еле дышит. Должно быть, до вечера не дотянет.

— Звали его и к Бартеку, — тому, что на лесопилке работает.

— А разве он хворает?

— Неужто не знаете? Бревном его придавило. Не жилец уж он на этом свете.

Так шептались в толпе, глядя вслед ксендзу.

Несколько женщин пошли за ним, целая гурьба мальчишек помчалась напрямик через озеро к мельнице. Остальные стояли в растерянности, как стадо овец, когда его неожиданно обгонит собака. Ярость их улетучилась, возбуждение улеглось, уже не слышно было и говора. Все смотрели друг на друга, как будто очнувшись от сна, переминались, чесали затылки, бормотали что-то. И не одному стало так стыдно, что он, плюнув, нахлобучивал шапку и крадучись выбирался из толпы. Толпа, как вода, растекалась по дворам и хатам и постепенно таяла. Еще одна только Козлова не унималась, выкрикивала угрозы по адресу Ягны и Антека. Но и она, видя, что все от нее ушли, только выругалась напоследок, чтобы дать выход злости, и пошла домой.

У дома Бoryны людей осталось совсем мало — только те, кто сторожил пожарище на случай, если опять вспыхнет огонь и понадобится помощь.

Остался во дворе и кузнец, сильно разозленный своей неудачей. Он молчал, беспокойно вертелся, заглядывал во все углы и то и дело гнал от себя Лапу, который все лаял и кидался на него.

А Бoryна весь день не появлялся — говорили, что он зарылся в перины и спит. Только Юзя с опухшими от слез глазами по временам выходила на крыльцо поглядеть на толпу и снова скрывалась. Ягустинка одна хлопотала по хозяйству, но и к ней сегодня нельзя было подступиться, она жалила, как оса. Люди даже боялись ее расспрашивать: ответит так, словно крапивой хлестнет.

В полдень приехал писарь со стражниками и стал составлять опись сгоревшего имущества и выяснять причины пожара. Тут уж, конечно, все любопытные, кто еще оставался во дворе, рассеялись в разные стороны, чтобы не попасть в свидетели.

Улицы вдруг почти опустели, — правда, еще и потому, что все время шел снег. Он был еще мокрее прежнего, сразу таял и покрывал все липкой грязью. Зато в избах гудело, как в ульях. Этот день в Липцах походил на нежданный праздник: почти никто не работал, бабы забыли о хозяйстве, так что в иных хлевах коровы мычали от голода у пустых яслей. Повсюду только судачили, бегали из избы в избу, бабы языки работали вовсю, сплетни кружили, как вороны вокруг домов, а из окон, дверей и ворот выглядывали лица любопытных, ожидавших, когда же стражники повезут Антека.

Нетерпение и любопытство росли с каждым часом, а между тем никто ничего достоверно не знал. Каждую минуту прибежал кто-нибудь, запыхавшись, и сообщал, что уже пошли за Антеком. Одни божились, что он избил стражников, разорвал веревки, которыми его связали и сбежал, другие ввали что-нибудь иное.

Правдой было только то, что Витек бегал в корчму за водкой и что из трубы у Боруны валил дым, из чего люди заключили, что стражникам там готовят угощение.

А уже под вечер проехали по улице, в бричке войта, писарь и стражники — но без Антека!

Это вызвало всеобщее удивление и разочарование — ведь в деревне были уверены, что его закуют в кандалы и повезут в тюрьму. Тщетно люди ломали голову и строили догадки о том, что же показал Боруна при составлении протокола. Это знали только войт и солтыс, а они не хотели ничего говорить, и общее любопытство возросло до крайности, высказывались все новые и новые предположения, совсем уже невероятные.

Между тем наступала ночь, темная и довольно тихая, снег перестал, и, видимо, подмораживало. По небу еще проносились серые тучки, но уже между ними в вышине кое-где искрились звезды и от резкого ветра рыхлый снег отвердел и хрустел под ногами. Засветились в хатах огоньки, и люди, собираясь у печи в тесных горницах, успокаивались после всех тревожений этого дня, но не переставали все-таки строить догадки.

Да и было для этих догадок широкое поле: если Антека не забрали, значит, не он поджег, — но кто же тогда? Не Ягна же, — этому никто не верил. И не сам старик — такая мысль никому и в голову не приходила!

И люди блуждали ощупью, никак не находя решения мучившей их загадки... Во всех домах говорили только об этом, но правды так никто и не узнал. Единственным результатом всех этих толков было то, что гнев против Антека улегся, замолчали даже его враги, а друзья, как, например, Матеуш, снова подняли голос в его защиту. Зато теперь сильно возмущались Ягной и с ужасом говорили о страшном смертном грехе, который она совершила. Особенно принялись за нее бабы — их языки терзали ее, не оставляя живого места. Досталось при этом и Доминиковой, здорово досталось! На старуху злобились еще больше оттого, что она на порог не пускала любопытствующих, гнала их, как надоедливых собак, и никому не удалось узнать, что с Ягной.

В одном все были единодушны — в глубоком сочувствии Ганке. Ее жалели искренно, от всего сердца, а Клембова и Сикора даже в тот же вечер отправились к ней, чтобы выразить ей свои добрые чувства, и захватили с собой кое-что в узелках.

Так прошел этот день, надолго оставшийся у всех в памяти, а на завтра все вошло в свою колею, остыло любопытство, спала волна возбуждения и гнева, и каждый вернулся к своим делам, опять сунул голову в ярмо и нес свою ношу терпеливо и безропотно.

Разумеется, тут и там еще поговаривали о происшедшем, но все реже и равнодушнее, потому что каждому ближе были собственные горести и заботы, которые приносит с собой каждый день.

Пришел март, и настали дни уже совсем невыносимые, темные, унылые, промозглые, с дождями и мокрым снегом. Носа нельзя было высунуть из дому. Солнце сгнуло где-то в пучине зеленоватых, низко нависших туч и не выглядывало ни на один миг. Снег понемногу таял или, размокший, рыхлый, зеленел от слякоти, как будто плесенью покрывался. Вода стояла в канавах, затопляла низины и дворы, а по ночам подмораживало и потом трудно было ходить по обледенелым, скользким улицам.

Из-за этой мерзкой погоды все скоро и думать забыли о пожаре, тем более что ни Боруна, ни Антек, ни Ягна не мозолили людям глаза. О них забыли; так камень падает на дно, и некоторое время вода над ним еще волнуется, расходится кругами, потом пробежит по ней легкая рябь, пожурчит она и опять течет спокойно...

Подошел последний день Масленицы.

Этот день считался полупраздничным, и уже с самого утра в деревне поднялась суета. Убирали избы, почти из каждой семьи кто-нибудь отправлялся в местечко закупать всякую всячину, — главным образом мясо, колбасу, сало. Только беднякам приходилось довольствоваться селедкой, взятой в долг у корчмаря, да картофелем с солью.

А у богачеев уже с полудня жарили пышки, и по всей улице разносился аромат жареного сала, мяса и другие, еще более аппетитные запахи. Опять медвежатники таскались по избами забавляли людей, и везде раздавались крикливые голоса мальчишек.

А вечером, после ужина, в корчме заиграла музыка, и всякий, у кого душа живая и ноги еще ходят, спешил туда, несмотря на то, что с самых сумерек шел дождь со снегом.

Веселились от всей души — ведь это было в последний раз перед Великим Постом. Петрик играл на скрипке, ему вторил на флейте Матеуш, а Ясек Недотепа бил в бубен.

Давно не бывало в Липцах такой веселой вечеринки, и продолжалась она до поздней ночи, пока не зазвонил колокол в костеле, возвещая полночь и конец Масленице.

И тогда сразу смолкла музыка, прекратились танцы, поспешно были допиты бутылки и рюмки, и народ стал расходиться без шума.

Только в избе у Доминиковой горел огонь далеко за полночь — говорили даже, что до вторых петухов. Там сидели войт и солтыс и мирили Ягну с Боруной.

Деревня давно уже спала, тихо было вокруг, даже дождь с полуночи перестал лить, а они все еще толковали.

У одного лишь Антека в доме не было ни тишины, ни спокойного сна, ни веселых проводов Масленицы.

Что творилось в душе Ганки в эти долгие ночи с той минуты, когда муж встретил ее перед избой во время пожара и силой заставил вернуться, — знал один Бог, и никакими человеческими словами этого не опишешь.

Она, конечно, в ту же ночь все узнала от Веронки. Душа в ней замерла от муки и она лежала, как труп, страшный своей неподвижностью. Первые два дня она почти не вставала из-за прялки, но не работала, а только машинально двигала руками, как во сне, да потухшими пустыми глазами смотрела в глубь своей души, опустошенной лютым вихрем печалей, в горестный омут горячих слез, обид и несправедливостей. Все это время она не спала, не ела, не вполне сознавала, что происходит вокруг, не заботилась ни о себе, ни о плакавших детях.

Наконец, Веронка сжалась над нею и занялась малышами и стариком, который, в

довершение всех бед, еще расхворался, лежал на печи и тихо стонал.

Антек уходил из дому с рассветом, а возвращался поздно ночью, не обращая ни малейшего внимания ни на Ганку, ни на детей, да и она не могла себя заставить сказать ему хотя бы одно слово — так окаменела у нее душа от боли.

Только на третий день Ганка пришла в себя, словно пробудилась от страшного сна. Казалось, что это не она, а какая-то другая женщина — до такой степени она изменилась за эти дни. Лицо у нее было серое, как зола, изрыто морщинами, она сразу постарела на много лет, в чертах ее и движениях было что-то деревянное. Только глаза сверкали ярким, сухим блеском и губы были решительно сжаты. Она так исхудала, что одежда висела на ней, как на вешалке.

Ганка вернулась к жизни внутренне пережившейся: душа ее перегорела, но она почувствовала в себе какую-то новую, удивительную силу, непреклонную волю к жизни и готовность бороться, гордую уверенность в том, что она все вынесет и преодолет.

И она бросилась к жалобно плакавшим детям, обнимала и целовала их, плакала вместе с ними, и эти долгие, сладкие слезы облегчили ей сердце и помогли прийти в себя.

Она поскорее прибрала в избе и пошла к Веронке — благодарить за ее доброту и просить прощения за свои прежние вины. Мир между сестрами был заключен немедленно. Веронка не могла понять только одного — почему Ганка не жалуется на мужа, не ругает его, не ропщет на свою долю, молчит, как будто все это — мертвое прошлое, давно позабытое. Только под конец Ганка сказала твердо:

— Я теперь все равно что вдова и, значит, сама должна заботиться о детях и обо всем.

И в тот же день, попозже, пошла в деревню, к Клембам и другим знакомым, чтобы разузнать, что делается у Борыны... Она крепко запомнила слова, сказанные им на прощанье в тот вечер, когда он привез ее из лесу.

Однако пошла она к нему не сразу, выждала еще несколько дней: она не решалась показаться ему на глаза так скоро после всего, что случилось.

Только в среду на первой неделе Великого Поста она с утра, даже не приготовив завтрака, оделась получше, оставила малышей на попечение Веронки и собралась уходить.

— Куда это ты так рано? — спросил Антек.

— В костел. Нынче попелец![18]- ответила Ганка неохотно и уклончиво.

— И поесть не приготовишь?

— Ступай в корчму, еврей тебе еще в долг поверит, — невольно вырвалось у Ганки. Антек вскочил как ужаленный, но она, и не поглядев на него, вышла.

Ее теперь уже не страшили ни окрики его, ни гнев. Антек стал ей таким чужим и далеким, что она сама тому удивлялась, а если порой в ней и вспыхивал последний слабый огонек былой любви, растоптанной, зарытой под обрушившимися на нее несчастьями, — она сознательно гасила его в себе воспоминаниями о неизжитых обидах.

Когда она свернула на тополевую дорогу, люди уже шли в костел.

День был ясный и тихий, солнце светило с раннего утра, крепкий ночной морозец еще не уступал оттепели, и с крыш висели сосульки, как нити блестящих бус, а замерзшая на дорогах и в канавах вода сверкала, как зеркало. Деревья под инеем искрились на солнце и роняли на

землю серебряную пряжу. Чистая лазурь неба, усеянная молочно-белыми облачками и озаренная солнцем, напоминала цветущее поле льна, когда заберется в него стадо овец и так утонет в нем, что видны только белые спины. В чистом, свежем морозном воздухе дышалось удивительно легко. Все вокруг повеселело, блестели лужицы, снег отливало золотом, на улицах дети с веселыми криками катались на льду, кое-где старики грелись на солнышке у стен, и даже собаки лаяли радостно, гоняясь за воронами, которые стаями бродили по дворам в поисках корма. Благодатный солнечный день заливал все светом и почти весенним теплом.

А в костеле Ганку охватили пронизывающий холод и глубокая молитвенная тишина. В большом алтаре уже шла тихая обедня. Середина костела, залитая потоками света, была занята густой толпой молящихся, и все еще непрерывно входили запоздавшие.

Ганка не проталкивалась туда, где былолюдно, она хотела остаться наедине с Богом и самой собой. Она остановилась в пустом боковом притворе, где было почти темно, только кое-где желтела позолота в проникавших сюда скупых и холодных лучах света. Опустившись на колени перед алтарем, она поцеловала пол и, глядя на кроткий лик Богородицы, стала горячо молиться. Тут только она дала волю своему горю, к стопам утешительна сложила она израненную, кровоточащую душу и с глубоким смирением и безграничным доверием открыла ей все, что накопилось в этой душе. Она каялась во всех своих прегрешениях, веря, что, если ее Господь так покарал, значит она грешница.

Да, к людям недобра была, и кичлива, и сварлива, и поесть хорошенько любила, и поленивалась, и к службе божьей нерадива была. "Да, грешница я, грешница!" — сокрушалась она мысленно в жгучем раскаянии и просила помиловать ее, вымаливала прощение тяжким грехам Антека, билась, как птичка, которая, убегая от смерти, бьет крылышками о стекло и жалобным писком молит спасти ее.

Обедня кончилась, и все хлынули к алтарю, смиренно склоняя головы, которые ксендз с громкой покаянной молитвой посыпал пеплом.

Ганка, не дожидаясь конца этого обряда, вышла из костела, чувствуя себя сильнее и уже твердо уповая на помощь божью.

С высоко поднятой головой отвечала она на приветствия и шла бесстрашно под любопытными взглядами.

Так же смело, хотя и с внутренней дрожью, она вошла во двор Борыны.

Боже, сколько времени нога ее не ступала сюда!

Только, как выгнанная собака, кружила она всегда поодаль с болью в душе. Зато теперь она обнимала любовным взглядом и дом, и все постройки, и каждое деревцо, сверкающее инеем, такое знакомое, словно выросло оно из ее сердца, словно питалось ее кровью. От радости она готова была целовать эту землю.

Едва она подошла к крыльцу, как Лапа бросился к ней с таким восторженным визгом, что Юзька вышла в сени и остановилась в изумлении, не веря собственным глазам.

— Ганка! Господи, Ганка!

— Я, я, не узнаешь, что ли? Отец дома?

— Дома, дома, в горнице он... вот ты и пришла, наконец, Ганка! — И девочка расплакалась, целуя у нее руки, как у родной матери.

А старик, услышав ее голос, вышел навстречу и повел ее в комнату. Она с плачем упала ему

в ноги, взволнованная его видом и воспоминаниями, наплывавшими из каждого угла этого любимого дома. Но она быстро успокоилась, когда старик стал ее сочувственно расспрашивать о детях, о том, как она живет, жалел, что она так извелась. Она отвечала ему, не скрывая ничего, а про себя ужасалась происшедшей в нем перемене. Он сильно постарел, высох и сгорбился, только лицо осталось прежним, стало даже еще суровее.

Они разговаривали долго, но ни разу не упомянули ни об Антеке, ни об Ягне: оба остерегались касаться больного места. Когда через час Ганка собралась уходить, старик велел Юзе дать ей с собой всего, что только можно, и Юзя собрала в узлы столько, что пришлось Витеку отвезти их на салазках, — Ганке не поднять было всего. Да еще на прощанье старик дал ей два злотых на соль и сказал:

— Приходи же почаще, хоть каждый день! Мало ли что со мной может случиться, — так ты за домом приглядывай, а Юзя тебе всегда рада.

И Ганка ушла и по дороге так сосредоточенно раздумывала о словах свекра, что почти не слушала Витека, который шепотом рассказывал ей, что войт и солтыс каждый день ходят к Борыне и уговаривают его помириться с Ягной, что хозяин даже ходил с Доминиковой к ксендзу, а вчера она до поздней ночи все толковала с ним. Еще много наболтал Витек, — рассказывал Ганке все, что только знал, чтобы ей угодить.

Дома она еще застала Антека; сидя у окна, он чинил себе сапог и даже не взглянул на нее. Только когда Витек внес узлы, он сказал злобно:

— Побираться ходила!..

— Что ж, если стала нищей, так уж приходится милостыней жить.

Когда Витек ушел, Антек дал волю гневу:

— Ведь приказывал я тебе, черт возьми, чтобы ты к отцу не ходила!

— Он меня позвал, вот я и пошла. Сам все дал, — я и взяла. Не допущу, чтобы дети с голоду помирали, да и сама не буду. А ты нам не кормилец. Тебе ни до чего дела нет.

— Сейчас же отнеси все назад, ничего мне от него не надо! — заорал Антек.

— А мне и ребятам надо!

— Говорю, отнеси, или я сам отнесу и в глотку ему напихаю, пусть подавится своим добром! Отнеси, слышишь, не то все за дверь выброшу!

— Только попробуй! Тронь только, так я тебе покажу! — крикнула Ганка, хватая скалку. Она была готова на все, только бы отстоять свое добро. У нее был такой грозный и свирепый вид, что Антек отступил, пораженный неожиданным отпором.

— Дешево же он тебя купил — за ломоть хлеба, как собаку! — буркнул он угрюмо.

— А ты еще дешевле нас и себя продал — за Ягнину юбку! — крикнула Ганка неожиданно для самой себя.

Антек съежился, как будто в него нож всадили, а она вдруг точно взбесилась: нахлынули воспоминания обо всех обидах, и она разразилась бурным потоком жалоб и упреков, которые долго таила в себе. Она ничего уже ему не прощала, не забыла ни единой его вины, припомнила ему все зло, какое он когда-либо ей причинил.

Исступленные слова сыпались на него, как удары цепов, она способна была, кажется, убить

его в эту минуту!

У испуганного ее яростью Антека в душе что-то дрогнуло. Он стоял потупившись, не зная, что сказать. Озлобление исчезло, горький колючий стыд захлестнул душу — и он, схватив шапку, выбежал вон.

Долго не мог он понять, что нашло на Ганку, и, как побитая собака, бежал куда-то вперед, не разбирая дороги, не помня себя.

С той ночи пожара в нем нарастало что-то страшное, он словно совсем ошалел. На работу не ходил, хотя мельник уже несколько раз присылал за ним, и только шатался по деревне или сидел в корчме и пил, придумывая все более кровавые способы мщения и ни о чем другом уже не помня. Даже то, что его подозревают в поджоге, ничуть его не трогало.

— Пусть только скажут мне это в глаза, пусть посмеют! — сказал он однажды в корчме Матеушу, нарочно повысив голос, чтобы слушали другие.

Он продал Янкелю последнюю телку и пропивал деньги с самыми негодными мужиками в деревне, с которыми он теперь связался. В этой компании были такие как Бартек Козел и Филипп из-за озера, мельников работник Франек и озорники Гульбасовы, которые всегда были первыми зачинщиками всяких безобразий и, как волки, рыскали по деревне, высматривая, что бы такое стянуть и пропить в корчме. Антеку было все равно, кто они такие, только бы водили с ним компанию, а они смотрели ему в глаза с собачьей угодливостью и льстили, потому что он хоть и бивал их иной раз, да зато щедро потчевал водкой и защищал от людей. И все вместе учиняли в деревне, такие скандалы и драки, что мужики каждый день ходили жаловаться на них войту и даже ксендзу.

Тщетно предостерегал Антека Матеуш, тщетно и Клемб, по дружбе, заклинал его остепениться и не губить себя, — Антек ничего не хотел слушать, сумасбродствовал и пил все больше и грозил всем в деревне. Так он мчался навстречу своей гибели, ни на что и ни на кого не глядя, словно с крутой горы катился в пропасть, а деревня между тем не переставала внимательно следить за ним. Насчет поджога мнения расходились, но его поведение возмущало всех, да и кузнец исподтишка подзуживал людей. Постепенно даже прежние друзья от него отвернулись, обходили его издалека и негодовали громче других. А ему было все равно. Его ослепляла жажда мести, он ею только и жил, он раздувал ее в себе, как раздувают искры в золе, чтобы они вспыхнули ярким пламенем.

А к тому же он, словно всем назло, не порвал с Ягной.

Любовь ли влекла его к ней, или что иное, — бог его знает! Они встречались на гумне у Доминиковой — конечно, тайком от нее, только Шимек им покровительствовал, рассчитывая, что за это Антек поможет ему жениться на Настке.

Ягна выходила на эти свидания всегда неохотно, со страхом. Любовь ее как будто совсем прошла после мужниных побоев, следы которых еще не зажили, но она боялась Антека, который грозно объявил ей, что, если она хоть раз не выйдет на его зов, он среди бела дня, при всех, придет к ней в дом и избьет ее еще сильнее, чем Бoryна. И она волей-неволей выходила к нему.

Впрочем, это продолжалось недолго. В четверг на первой неделе поста в корчму прибежал Шимек и, отозвав Антека в сторону, сообщил, что Ягну только что помирили с мужем и она уже опять перебралась к нему.

От этой вести у Антека в глазах потемнело, словно его кто обухом по голове хватил, — ведь только накануне он в сумерки виделся с Ягной, и она ни словом не обмолвилась о своем решении.

"Скрывала от меня!" — подумал он, и эта мысль обожгла сердце огнем. Он едва дождался вечера и побежал к отцовской избе.

Долго ходил он вокруг, высматривал, ждал у калитки, — Ягна не выходила. Это так его разъярило, что он выломал кол из плетня и дерзко вошел во двор, готовый на все, решившись идти прямо в дом. Он уже взошел на крыльцо и взялся за ручку двери, но в последний миг что-то заставило его отступить. Лицо отца встало перед ним так ясно, что он испуганно шарахнулся назад, весь дрожа от ужаса, и крадучись убежал со двора.

Он не мог потом понять, чего он испугался, что это с ним было — совсем так, как тогда у озера, после пляски в корчме.

И в следующие дни ему не удалось увидаться с Ягной, хотя он целыми вечерами стоял у калитки, притаившись как волк. Даже в воскресенье он ее не встретил, как ни подстерегал у костела.

Тогда он решил пойти к вечерне в уверенности, что встретит ее там и найдет случай с ней поговорить.

Он немного запоздал, служба уже началась, в костеле было полно народу и темно, только под сводами еще серели последние блики дневного света, а внизу, в темноте, кое-где озаренной огнями восковых свеч, копошился народ, шумел, как река, подвигаясь к ярко освещенному главному алтарю. Антек пробрался до самой решетки и украдкой осмотрелся по сторонам, но не увидел ни Ягны, ни кого другого из семьи. Он часто ловил на себе любопытные взгляды и чувствовал, что на него устремлено всеобщее внимание. Вокруг перешептывались и украдкой указывали на него. Уже пели "скорбные вздыхания" — была первая неделя Великого Поста. Ксендз в стихаре сидел сбоку от алтаря с молитвенником в руке и то и дело строго поглядывал на Антека.

Гудел орган, и все пели, а по временам смолкали и орган и пение и с хоров раздавался заунывный голос органиста, читавшего о страстях господних.

Антек ничего не слышал. Он уже забыл, где он и зачем пришел сюда. Нежная, баюкающая мелодия наполнила его дивной истомой, сонной тишиной, ему казалось, будто он летит в какую-то светлую бездну. И всякий раз, открывая глаза, он встречал взгляд ксендза, который неотрывно смотрел на него, — потому что благодаря высокому росту Антек был виден издали. Взгляд был такой сверлящий, что Антек опускал отяжелевшую голову и опять забывал обо всем. Но вот загремел хор, все поднялись с колен, зашумели, задвигались — и он очнулся. Служба продолжалась еще довольно долго, но Антек уже совсем пришел в себя, и тяжкая, непобедимая грусть щемила ему сердце, и, если бы не стыд, он не сдержал бы слез, подступавших к глазам. Он хотел уже уйти, не дожидаясь конца службы, но в эту минуту орган утих, ксендз встал перед алтарем и начал читать проповедь. Толпа хлынула вперед, и пробраться к выходу не было никакой возможности. Антек даже шевельнуться не мог, так его прижали к решетке. В костеле наступила тишина, и каждое слово ксендза было отчетливо слышно. Он сначала рассказывал о муках Христа, а потом, грозно размахивая руками, начал обличать грешников и при этом ежеминутно поглядывал на Антека, который стоял против него под алтарем и не мог отвести глаз, словно прикованный и замороженный этими суровыми взглядами.

Слова ксендза падали на головы, как камни, жгли, как раскаленное железо, — он бичевал свою паству, перечисляя все их провинности: несоблюдение заповедей, вечные ссоры, драки, пьянство. Вдруг он наклонился в сторону Антека и громовым голосом заговорил о сыновьях-выродках, поджигающих родной дом, о соблазнительях и великих грешниках, которым не миновать и людского суда, и геенны огненной.

Люди обомлели, притихли, все взгляды, как молнии, ударили в Антека, ибо всем было ясно, о

ком говорит ксендз. Антек стоял выпрямившись, бледный как полотно, не дыша. Слова эти падали с таким гулом, как будто весь костел рушился ему на голову. Он оглянулся, словно ища спасения, но вокруг него образовалась пустота, он видел только испуганные и суровые лица, люди невольно отодвигались от него, как от зачумленного, а ксендз кричал уже во весь голос, проклинал его, призывал к покаянию, а потом обратился к народу и, простирая руки, требовал, чтобы они остерегались такого злодея, как заразы, сторонились его, чтобы отказывали ему в огне, воде и пище, чтобы гнали его прочь от своего порога, как окаянного грешника, который все оскверняет, а, если он не исправится и не загладит зла, — чтобы вырвали его, как крапиву, изгнали на погибель.

Антек вдруг повернулся и медленно пошел к выходу. Перед ним расступались, и он шел по образовавшемуся проходу, а голос ксендза гнался за ним и больно хлестал его.

Чей-то отчаянный крик раздался в костеле, но он его не услышал — он шел вперед все быстрее, чтобы не упасть замертво от боли, чтобы убежать скорее от этих ранящих глаз, от этого страшного голоса.

Он выбежал из костела и, не сознавая, куда идет, помчался по тополевой дороге к лесу. По временам в страхе останавливался и слушал этот голос, который все еще, как колокол, звучал в его ушах, ударял так тяжело, что голова готова была треснуть.

Ночь была темная, ветреная, тополя с шумом гнулись к земле, и по временам ветви хлестали Антека по голове. Когда ветер стихал, мелкий, противный, мартовский дождик бил в лицо, но Антек, ничего не замечая, бежал, как безумный, потрясенный необъяснимым ужасом.

— Хуже уж быть не может! — пробормотал он, остановившись, наконец. — Правду он говорил, правду!

— Господи, Господи! — Он схватился за голову. В этот миг он словно прозрел, увидел вину свою, и нечеловеческое, нестерпимое чувство стыда когтями рвало сердце.

Долго сидел он под деревом, глядя в темноту и слушая тихий, тревожный и пугающий говор деревьев.

— Из-за него это, все из-за него! — вскрикнул он вдруг, и опять бешеный гнев и ненависть закипели в нем, проснулась прежняя горечь, жажда мести, дикие замыслы закружились в мозгу, как тучи, бегущие по небу.

— Не прощу! Не прощу я ему! — завывала в нем прежняя злоба, и он торопливо пошел обратно в деревню.

Костел был уже заперт, в избах светились огни, на улицах тут и там стояли кучками люди и толковали, не обращая внимания на холод и дождь.

Антек направился к корчме. В окно он увидел, что там много народу, но смело, без колебаний, вошел внутрь и как ни в чем не бывало, подошел к самой большой компании — поздороваться со знакомыми. Один-два человека подали ему руку, но остальные поспешно стали отходить.

Не успел он оглянуться, как остался в корчме почти один — только какой-то нищий сидел у печи да Янкель стоял за прилавком.

Он понимал, что он-то и разогнал всех, но проглотил и это. Потребовал рюмку водки, оставил ее недопитой и торопливо вышел.

Побродил бесцельно у озера, пристально заглядываясь на полосы света, падавшие из окон на рыхлый снег и сверкавшие в воде, которая уже выступала из-под льда.

Он опять пал духом. Невыносимая тяжесть навалилась на сердце. Он чувствовал себя таким усталым, несчастным, одиноким, испытывал такую острую потребность излить перед кем —нибудь душу или хотя бы только побыть среди людей, хотя бы посидеть с другими перед огнем, что вошел в первую попавшуюся избу — к Плошкам.

Все были дома, и когда он вошел, всполошились. Даже Стах не знал, что сказать.

— Вы так на меня смотрите, словно я кого зарезал! — сказал Антек тихо и пошел к другим, к Бальцеркам. Но и эти приняли его очень холодно, говорили с ним нехотя и односложно, и никто даже не пригласил сесть.

Он зашел еще кое к кому, но всюду встречал такой же прием.

Наконец, он сделал последнюю попытку, словно желая испить до дна чашу страдания и унижения: зашел к Матеушу. Того не было дома, а старуха, мать его, накинулась на Антека с бранью и выгнала его, как собаку.

Он не ответил ей ни слова, не рассердился — злость его иссякла вдруг, и он уже плохо понимал сам себя. Медленно бродил он в темноте вокруг озера. Иногда, остановившись, смотрел на деревню, тонущую во мраке, смотрел с каким-то удивлением, словно в первый раз ее видел. Она окружала его своими вросшими в землю избами, загораживала ему повсюду путь, так что он, казалось, не мог двинуться с места, вырваться из кольца этих заборов, садов, огней. Он не мог понять, почему это так, но чувствовал, что какая-то неодолимая сила схватила его за горло и гнет к земле, клонит его голову под ярмо и наполняет необъяснимым страхом.

Он с глубокой тревогой поглядывал на светившиеся окошки, — ему чудилось, что его подстерегают, следят за ним, наступают на него сплошной цепью, вяжут — и вот уже он не может шевельнуться, не может ни крикнуть, ни бежать! Он укрылся под каким-то деревом и в полном смятении слушал, как от домов, с полей, с самого неба падают на него жестокие слова осуждения и весь народ идет против него.

— Справедливо это! Поделом! — шептал он покорно от всего сокрушенного сердца, объятая смертельным страхом перед могучей властью деревни.

Огоньки гасли один за другим, деревня засыпала. Дождь все еще лил и стучал по гнувшимся деревьям, порой где-то лаяла собака, но уже глубокая тишина обнимала все, когда Антек пришел в себя и вскочил.

— Правильно говорил ксендз... а все-таки я своей обиды не прощу... умру, а не прощу ему, будь он проклят! — крикнул он яростно, грозя кулаками всей деревне, всему свету. Надвинул шапку на лоб и пошел в корчму.

### XIII

Близилась весна. Уже непрерывной чередой тянулись раскисшие мартовские дни, погода была прямо-таки собачья, мокрая, холодная, пасмурная. Каждый день шел дождь со снегом, каждый день поднимались такие вихри, что нельзя было выглянуть на свет божий. Грязные клубящиеся туманы ползли по полям и душили всякий проблеск света, так что от зари до зари над землей висел хмурый тяжелый сумрак. Если солнце иногда и выглядывало из водоворота бурых туч, то лишь на минуту-другую: не успевала душа порадоваться свету и кости почуять тепло, как уже снова мгла надвигалась на мир, снова завывал ветер и лил дождь. Иной день

деревня напоминала вывалившуюся в грязи и скулящую от холода собаку.

Как это надоело людям — и сказать нельзя! Только тем и утешали и подбодряли себя, что недолго уже терпеть, через недельку-другую весна окончательно возьмет верх и за все их вознаградит. Но пока дождь лил и лил не переставая. Протекали крыши, а иногда лилось и сквозь стены и окна, хлюпало со всех сторон, деваться некуда было от воды — она переполнила все канавы, неслась с полей, превращая дороги в сверкающие быстрые ручьи, она затопляла изгороди, стояла прудами во дворах.

Оттого, что снег с каждым днем таял и непрерывно шли дожди, земля быстро оттаивала, и на южной стороне местами была уже такая грязь, что перед избами приходилось класть доски или настилать солому.

Невыносимы были и ночи, дождливые, беспокойные, так густо окутанные туманами, что, казалось, никогда уже на земле не будет света. Во многих избах даже совсем не зажигали вечером огня, от скуки ложились спать, как только смеркалось, и лишь там, где собирались бабы с прялками, окна светились, тихо звучали там скорбные песни о муках Христовых, а им вторил ветер, плеск дождя и шум деревьев, бившихся о плетни.

Липцы словно утонули в этой ростепели, их едва можно было отличить от размокших окрестных полей.

В завешанной струями дождя серой мгле почти исчезли припавшие к земле мокрые, почернелые избы. Сады, дороги, поля и небо — сливались в одну синюю топь, и неизвестно было, где ее начало и где конец.

Притом все дни стоял пронизывающий холод, и редко можно было увидеть кого-нибудь на улице. Все было овеяно грустью, пусто и тихо вокруг, словно деревня вымерла. Единственными звуками, напоминавшими о жизни, было одинокое мычание какой-нибудь коровы у пустых яслей или крики петухов и гусей во дворах.

А дни становились все длиннее, и люди все больше томились, потому что большинству делать было нечего. Кое-кто работал на лесопилке, двое-трое возили из лесу деревья для мельника, — ну, а остальные слонялись по избам, сидели у соседей, чтобы как-нибудь убить время, а наиболее работающие готовили к весне плуги, бороны и всякий другой нужный для пахоты инвентарь. Но и у них работа не спорилась. Всем надоело ненастье, всех донимали заботы: ведь от дождей и ветров сильно пострадали озимые, а местами в низинах они и совсем вымерзли. У многих уже окончились запасы корма, и скот голодал. Кое у кого картошка оказалась промерзшей, большинство осталось без хлеба до нового урожая.

Не в одной избе уже ели горячее только раз в день, а единственной приправой была соль. И все чаще приходилось кланяться мельнику, чтобы дал в долг немного зерна. Знали, что этот долг придется горбом отрабатывать, потому что мельник был страшный обдирала, но что поделаешь, — денег ни у кого не было, а продать в местечке было нечего. Иные шли к корчмарю — вымаливать в долг щепотку соли, четвертку крупы или краюху хлеба. Ведь, как говорится, голод не тетка!

Бедняков в деревне было много, заработков никаких, — зажиточным хозяевам и самим нечего было делать, а помещик заявил, что ни одному липецкому мужику не даст на рубке ни гроша заработать, и так и не смягчился, несмотря на мольбы, несмотря на то, что к нему ходили всем миром. И, понятно, безземельных и беднейших хозяев одолевала такая нужда, что каждый считал себя счастливым и благодарил Бога, если у него была на обед хоть картошка с солью, приправленная горькими слезами.

Из-за всего этого возникали в деревне ссоры, споры, драки, взаимное недовольство. Люди страдали, были угнетены и озабочены, не уверены в завтрашнем дне, и потому легко

раздражались, каждый искал повода сорвать на других мучившую его досаду. Избы гудели от сплетен, свар и пересудов.

А тут еще вдобавок пошли по деревне разные болезни, как это всегда бывает к весне, когда нездоровые испарения поднимаются из оттаявшей земли. Сначала налетела оспа и, как ястреб — гусенят, душила десятками детей, а иногда и взрослых. Свезли на кладбище даже двоих младших детей войта — не спасли их привезенные доктора. На смену оспе пришли лихорадки и другие болезни; чуть не в каждой избе кто-нибудь дышал на ладан, и Доминикова не успевала лечить. Притом коровы начали телиться, и некоторые женщины рожали, — словом, суета и смятение в деревне росли с каждым днем.

Утомленные и раздраженные люди все с большим нетерпением ожидали весны. Им казалось, что, как только стает снег, просохнет земля, пригреет солнышко и можно будет выйти с плугом в поле, — все болезни, невзгоды и заботы как рукой снимет.

Но, по общему мнению, весна в этом году запаздывала, — дожди не прекращались, земля оттаивала медленнее и вода сплывала ленивее, чем в прошлые годы, а главное — коровы еще не линяли, и это означало, что зима продержится долго.

Оттого-то, как только выдался часок сухой погоды и проглянуло солнце, люди высыпали на улицу и, задрав головы, жадно всматривались в небо, гадая, надолго ли такая перемена. Старики выползали на завалинки отогревать кости, а детвора со всей деревни носилась с криками по улицам, как жеребята, которых выпустили пастись на первую травку.

И сколько в эти часы было радости, веселья, смеха! Все так и горело на солнце, сияло в ярком блеске воды, все канавы, казалось, были до краев налиты расплавленным солнцем, дороги превратились в потоки жидкого золота. Омытый дождями лед на озере отливал темным блеском, как оловянное блюдо, и даже деревья искрились непросохшей росой. А поля, изборожденные ручейками, лежали черные, немые, еще мертвые на вид; но они уже дышали теплом, набухали весной, наполнились звонким лепетом вод. Местами не растаявший еще снег ослепительно белел, как разостланное на солнце полотно. Ярко засинело небо, и открылась даль, словно затканная тонкой паутиной; сквозь легкую дымку глаз различал и необъятные поля, и черные контуры деревень; и стену лесов, весь этот мир, дышавший счастьем. А в воздухе чувствовалось такое нежное дыхание весны, что из души невольно рвался радостный крик, тянуло вдаль, — так, кажется, и полетел бы к солнцу вместе с птицами, которые вереницами тянулись откуда-то с востока и парили в чистом воздухе.

Каждый охотно останавливался на улице и рад был поболтать хотя бы с врагом.

Утихли всякие ссоры, споры, словно все подобрели, и веселые голоса звучали по всей деревне, наполняли дома радостью, птичьим щебетом дрожали в теплом воздухе.

Распахивали настежь двери, открывали окна, чтобы впустить в избы побольше свежего воздуха. Женщины выходили с прялками на завалинки, и даже грудных ребят выносили в люльках на солнце, а из открытых хлевов неслось тоскливое мычание коров, ржали лошади и рвались с привязи на волю, сидевшие на яйцах гусыни убегали и перекрикивались с гусаками в садах, пели петухи, а собаки лаяли на улицах и вместе с ребяташками носились, как шальные, по грязи.

Во дворах стояли люди, жмурясь от яркого света, и радостно смотрели на деревню, которая купалась в солнечных лучах, зажигавших пламенем окна хат. Женщины перекрикивались через сады с соседками, и голоса их летели по всей деревне. Сообщали одна другой, что кто-то слышал пение жаворонка, что уже и трясогузок видели на тополевой дороге. Кто-то заметил в небе, высоко под облаками, вереницу диких гусей, — и тотчас полдеревни выбежало на дорогу поглядеть на них. Другой рассказывал, что на лугах за мельницей уже и журавли появились.

Ему не поверили, — ведь была еще только середина марта.

А кто-то из мальчиков — чуть ли не сынок Клемба — принес первую фиалку и бегал с нею по хатам, и все разглядывали бледный цветочек с глубоким умилением и восторгом, дивились ему, словно видели в первый раз.

Благодаря этому обманчивому теплу людям казалось, что весна пришла, что скоро они с плугами выйдут на поля. С тем большей тревогой увидели они, как небо вдруг стало хмуриться и солнце скрылось. Подул холодный ветер, блеск угас, потемнело вокруг и заморосил мелкий дождик. А к вечеру повалил мокрый снег и за какие-нибудь десять минут снова одел белой пеленой деревню и поля.

Все так быстро вернулось к прежнему, что этот единственный солнечный денек уже казался мимолетным сном.

В таких-то делах, радостях, горестях и тревогах проходило время в деревне, и не удивительно, что поведение Антека, семейная жизнь Борыны и всякие другие истории и даже смерть того или другого односельчанина камнем падали на дно людской памяти, потому что у каждого своих забот было довольно, едва хватало сил и с ними справиться.

А дни бежали неудержимо, словно реки, которым ни начала, ни конца не видно. Не успеешь глаза протереть после ночи, не успеешь обернуться, что-нибудь сообразить, как уже опять сумерки, опять ночь, а за ней новый рассвет, и новый день, и новые волнения! И так все и вертится, так и живешь в этом круговороте, пока не свершится судьба твоя.

Как-то в середине поста выдался день особенно тяжелый. Погода была не хуже обычного, моросил только мелкий дождик, но люди чувствовали себя скверно, как никогда, бродили, как скованные, огорченно поглядывали на небо, густо покрытое тучами, которые чуть не цеплялись за деревья своими раздутыми брюхами. Было пасмурно, сыро, холодно и так уныло, что даже плакать хотелось от невыносимой тоски. Не слышно было уже ни споров, ни пересудов, каждый искал только тихий угол, чтобы залечь и ни о чем не думать.

День был печален, как тусклый взгляд больного, когда он с трудом открывает глаза и, едва успев различить что-нибудь, опять впадает в забытьё. Только что прозвонили полдень, как вдруг стемнело, налетел ветер и вместе с дождем хлестал почернелые стены хат.

Улицы деревни были безлюдны и тихи, только ветер расплескивал грязь и стучал дождь, словно тяжелое зерно сыпалось на деревья и крыши. Да еще время от времени слышен был треск и грохот — это озеро бунтовало, взламывая лед и с шумом заливая берега.

В такой-то день, уже к самому вечеру, прогремела по деревне весть, что помещик рубит крестьянский лес.

Сперва никто этому не поверил: если он не рубил лес до сих пор, то зачем бы стал рубить сейчас, в середине марта, когда земля оттаяла и деревья начинают тянуть из нее соки?

Правда, в лесу шла какая-то работа, но все были уверены, что там только обтесывают бревна. Каков бы он ни был, этот липецкий помещик, но дураком его никто не считал. А только дурак стал бы в марте рубить строевой лес...

Неизвестно было даже, кто принес эту весть, но деревня взволновалась. То и дело хлопали двери да плескалась грязь под деревянными башмаками, все бегали с этой вестью по соседям, обсуждали ее на улицах, сходились в корчме потолковать и расспросить Янкеля. Но Янкель божился, что ничего не знает. Уже кое-где слышались крики, брань, причитания баб, возбуждение росло с каждой минутой, тревога и злоба овладели всеми.

Наконец, старик Клемб решил проверить это известие и, несмотря на дождь, послал своих сыновей верхом в лес на разведку.

Они долго не возвращались, а между тем не было избы, где кто-нибудь не стоял бы у окна, глядя на дорогу, по которой они должны были приехать. Вот уже и сумерки наступили, а их все не было. В деревне царила грозная тишина, — тишина с трудом сдерживаемого гнева, от которого люди задыхались, как от едкого дыма. Хотя еще не хотелось верить, все уже не сомневались, что дурная весть подтвердится. И каждую минуту то тот, то другой, чертыхаясь, хлопал дверью и выходил на дорогу поглядеть, не едут ли сыновья Клемба.

А тут еще Козлова изо всех сил подзуживала людей, бегала по избам, и всем, кто готов был ее слушать, клялась, будто видела своими глазами, что вырублено уже добрых пятнадцать моргов крестьянского леса. Она ссылалась и на Ягустинку, с которой очень подружилась за последнее время. А та, конечно, ей поддакивала.

Очень довольная всеобщим смятением, Ягустинка, насобирав новостей, пошла с ними к Борынам.

Там только что зажгли лампу на общей половине.

Юзька и Витек чистили картофель, а Ягуся прибирала избу. Старик пришел немного позже, и Ягустинка тотчас принялась выкладывать ему новости, немало при этом привирая.

Он выслушал ее молча и, обратясь к Ягне, сказал:

— Возьми лопату и ступай помоги Петрику, надо воду из сада спустить, чтобы она не затопила картошку в ямах... Да живее поворачивайся, когда тебе говорят! — добавил он, повысив голос.

Ягна что-то невнятно возразила, но он так сурово на нее прикрикнул, что она побежала тотчас же, а он тоже скоро ушел во двор — присмотреть за работой. Его сердитый голос раздавался то в конюшне, то в коровнике, то у ям, где хранился картофель, и был слышен даже в избе.

— Что, он всегда теперь такой сердитый? — спросила Ягустинка, принимаясь разводять огонь.

— Всегда, — ответила Юзя, с беспокойством прислушиваясь.

Действительно, со дня примирения с женой, на которое он согласился так быстро, что даже всех этим удивил, Борына изменился до неузнаваемости. Он и всегда отличался крутым и суровым нравом, а теперь это был не человек, а камень. Он принял Ягну в дом, не делая ей никаких упреков, но видел в ней теперь не жену, а батрачку, и так с ней и обращался. Не помогло ни заискивание, ни красота, ни надутая мина и притворная досада — обычное оружие женщин, ни взрывы искренней злости. Старик не обращал на нее никакого внимания, как будто она была ему не жена венчанная, а чужая. Его даже не беспокоило больше ее поведение, хотя он, вероятно, хорошо знал о ее свиданиях с Антеком. Он больше не следил за ней, словно ничуть не дорожил ее верностью.

Вскоре после примирения он уехал в город и вернулся только на другой день. В деревне сообщали друг другу на ушко, что он сделал завещание у нотариуса, а некоторые добавляли, что у Ягуси он, наверное, отобрал запись.

Конечно, никто ничего достоверно не знал, кроме Ганки (которая теперь была у свекра в великой милости, — он все ей поверял, обо всем советовался с ней), но Ганка насчет этого ни словом никому не обмолвилась. Она каждый день заходила к старику, а дети почти не уходили из его дома, не раз и ночевали у деда, — так он их полюбил.

Борына теперь был здоровее на вид, держался по-прежнему прямо и смотрел на всех гордо, но он так озлобился, что из-за всякого пустяка выходил из себя, и окружающим было с ним тяжело до невозможности. Перед ним все должны были гнуться до земли, делать так, как он хочет, а иначе — скатертью дорога!

Правда, обижать он никого не обижал, но и добра от него нечего было ждать, и соседи это хорошо понимали. Дома он все крепко взял в свои руки и ничем не хотел поступиться, зорко стерег клеть, а карман — еще зорче, сам выдавал все, что нужно на хозяйство, и строго следил, чтобы не расходовали лишнего. Со всеми в доме был строг, а особенно — с Ягусей: никогда не слыхала она от него приветливого слова, он заставлял ее все время работать, понукая, как ленивую лошадь, и ни в чем ей воли не давал. Дня не проходило без перебранки, а частенько старик пускал в ход и ремень или еще что-нибудь потверже, потому что в Ягну точно бес какой вселился.

Приказаниям мужа она покорялась — что же ей было делать, его хлеб, значит его и воля! — но на каждое резкое слово отвечала десятком, при каждом окрике поднимала такой шум, что во всей деревне было слышно.

В доме был теперь настоящий ад. Казалось, обоим доставляло удовольствие разжигать в себе злобу, каждый хотел во что бы то ни стало переупрямить другого и никогда не уступал первый.

Тщетно Доминикова пыталась мирить их — она не могла сломить их упорства, слишком много горечи и обид накопилось у обоих друг против друга.

Любовь Борыны миновала, как прошлогодняя весна, о которой никто не помнит, и оставались лишь живое воспоминание об измене, ранящий стыд и лютая неумолимая злоба. Ягна тоже стала другая. Тяжело ей было и горько, так горько, что и сказать нельзя. Вины своей она еще не сознавала, а кару переживала мучительнее, чем другие женщины, потому что сердце у нее было чуткое, в семье ее берегли и баловали, и от природы она была впечатлительнее других.

И страдала же она, боже, как страдала!

Правда, она все делала старику назло, уступала только силе, защищалась, как могла, но это ярмо все больнее и тяжелее давило ее, а помощи не было ниоткуда. Сколько раз она хотела вернуться к матери, но та на это не соглашалась, да еще грозила отправить ее обратно к мужу насильно, отвести на веревке.

Что же ей было делать? Не сумела она жить, как другие женщины, которые не отказывают себе в радостях, спокойно мирятся с домашним адом, каждый день дерутся с мужьями, а потом ложатся спать вместе.

Нет, она так не могла, и жизнь ей опостылела, в душе росла тоска — разве знала она, о чем?

Она за зло платила злом, но жила в постоянном тайном страхе, чувствовала себя обиженной и несчастной, не раз плакала по целым ночам, и к утру подушка была вся мокрая от слез. Ссоры и брань так ей надоели, что она готова была бежать без оглядки.

Но куда же? Куда?

Вокруг был широкий мир, но такой неведомый, глухой, такой чужой и страшный, она замирала перед ним, как птичка, которую мальчики поймали и посадили под горшок.

И оттого она так цеплялась за Антека, хотя и любила-то его теперь больше с отчаяния. После той страшной ночи, когда она убежала к матери, что-то порвалось и умерло в ней. Уже она не

тянулась к нему, как прежде, всей душой, не бежала на каждый его зов с бьющимся сердцем, с радостью, а шла на свидание, словно подчиняясь необходимости, да еще оттого, что дома было тяжело и скучно, что хотелось досадить старику, — и все еще казалось, что вернется прежняя большая любовь. Но где-то на самом дне души росла едкая, как отравы, досада на Антека за то, что все ее горести, обиды и срам, вся ее тяжелая жизнь — все это из-за него, и еще более мучительное, хотя и смутное, горькое чувство, что Антек — не тот, кого она полюбила, ужасное, терзающее душу чувство разочарования. Еще недавно он был совсем иным, любовью своей возносил ее на небо, покорял нежностью и был ей милее всех на свете и так непохож на других, — а теперь он оказался таким же, как другие мужчины, даже еще хуже. Теперь она его боялась больше, чем мужа, он пугал ее своей угрюмостью, неистовой силой своих страданий, своей озлобленностью. Он был дик и страшен, как лесной разбойник. Ведь сам ксендз обличал его с амвона, вся деревня от него отшатнулась, люди указывали на него пальцами, как на выродка какого!

Слушая его, Ягна замирала от ужаса перед тем адом, который угадывала в его душе, ей казалось, что в нем сидит дьявол, толкающий его на смертные грехи. И ей становилось так страшно, как бывало в костеле, когда ксендз говорил о вечных муках, ожидающих в аду грешников!

Ей и в голову не приходило, что она виновата в его грехах. Где там! Если она иногда и задумывалась — то только о перемене в нем. Она не отдавала себе отчета в том, чем вызвана эта перемена, но остро чувствовала ее — и все больше охладевала к Антеку. И все-таки ходила к нему на свидания, позволяла брать себя — как же противиться такому дьяволу... да и молодая она была, здоровая, с горячей кровью, а он чуть не душил ее в объятиях. И, несмотря на все эти новые мысли и чувства, она отдавалась ему со стихийной страстью земли, вечно жаждущей теплых дождей и солнца. Но уже никогда душа ее не падала перед ним ниц в неудержимом порыве, ни разу не опьяняло ее больше чувство такого счастья, когда и смерть с любимым кажется блаженством. Ни разу не забылась она, как бывало. Во время свиданий она думала о доме, о работе, о том, чем бы еще досадить старику, а иногда ей хотелось, чтобы Антек поскорее ее отпустил и ушел.

Вот и сейчас все это бродило у нее в голове, пока она спускала накопившуюся в ямах воду. Работала нехотя, только потому, что приказал муж, и все прислушивалась к его голосу, стараясь определить, где он сейчас. Петрик работал усердно, под его лопатой так и шипела жидкая грязь, а Ягна только делала вид, что работает, — и, как только старик ушел в дом, надвинула на глаза платок и осторожно шмыгнула за калитку — к амбару Плошков.

Антек был уже там.

— Я тебя с час уже дожидаюсь, — прошептал он с упреком.

— Мог и не ждать, если тебе некогда, — недовольно буркнула Ягна, осматриваясь по сторонам. Вечер был довольно светлый, дождь перестал, и от леса дул холодный сухой ветер, шумя в садах.

Антек крепко прижал ее к себе и осыпал поцелуями ее лицо.

— Водкой от тебя несет, как из бочки, — пробормотала Ягна, с отвращением отстраняясь.

— Несет, потому что я пил. А тебе уже, видно, опротивела моя ласка!

— Нет, только я запаха водки не люблю, — сказала она мягче и тише.

— Я вчера здесь ждал — почему ты не вышла?

— Холодно было очень, да и работы тоже у меня немало.

— Ну, конечно, — ведь тебе старика надо ублажать да периной укрывать! — прошипел Антек.

— А что же, разве не муж он мне? — бросила Ягна резко и нетерпеливо.

— Ягна, не дразни!

— Не нравится — не приходи, плакать по тебе не стану.

— Надоел я тебе, вижу, что надоел...

— Ну, как же, коли ты на меня все только кричишь, как на собаку...

— А ты не обижайся, Ягусь, — такое у меня на душе, что не диво, если и вырвется иной раз сердитое слово! Ведь это я не со зла, нет! — зашептал он покорно и, обняв ее, нежно привлек к себе. Но Ягна дулась, была холодна, на поцелуи отвечала редко и нехотя, и если роняла слово, то только затем, чтобы что-нибудь сказать, а сама все озиралась на дом, — ей хотелось поскорее уйти.

Антек это сразу почувствовал, — и так его ожгло, словно кто крапивы насовал ему за пазуху. Он сказал с робким укором:

— Прежде ты так не спешила.

— Боюсь! Все дома, хватятся меня...

— А бывало, и на целую ночь не боялась уходить! Переменилась ты совсем...

— Не выдумывай, с чего мне меняться...

Они крепко обнялись и примолкли. Порой прижимались друг к другу нежнее в порыве страсти или под влиянием нахлынувших воспоминаний, связанные сознанием вины друг перед другом, сожалением о прошлом, состраданием, горячим желанием забыться в любви. Но уже они внутренне отошли далеко друг от друга, уже не находили слов ласки и утешения, потому что в сердцах накопилась горькая обида, такая живая, острая, что руки невольно расплетались, и они стояли рядом, охладевшие, неподвижные, только сердца мучительно бились, а на губах застывали трогательные слова, которые они хотели сказать друг другу — и не могли.

— Любишь, Ягусь? — шепнул, наконец, Антек.

— Да разве я тебе не говорила этого много раз? Разве я не выхожу к тебе, когда ты только захочешь? — сказала она уклончиво и прильнула к нему, потому что жалость вдруг защемила ей сердце и наполнила глаза слезами, захотелось выплакаться у него на груди, просить прощения в том, что она уже не любит его. Но звук ее голоса оледенил душу Антека, в одну минуту сказав ему все. Он задрожал от боли и гнева и разразился горькими упреками:

— Врешь ты бессовестно! Все от меня отступились, так вот и ты спешишь за другими! Любишь ты меня, как злого пса, который укусить может, которого отогнать трудно! Да, да! Я тебя насквозь вижу! Знаю, что если бы меня повели вешать, ты первая веревочку не пожалела бы, если бы вздумали меня камнями побить, первый камень бросила бы в меня ты! — говорил он быстро.

— Антось! — в ужасе простонала Ягна.

— Молчи и слушай, когда я говорю! — крикнул он грозно, сжимая кулаки. — Правду говорю! А если уж до того дошло, так мне все равно! Все равно!

— Надо идти, меня зовут! — лепетала Ягна, испуганная до того, что ей хотелось убежать. Но Антек схватил ее за руку, так что она не могла и шевельнуться, и охрипшим, злым, полным ненависти голосом продолжал:

— И еще то тебе скажу, чего ты своей глупой головой не разумеешь: если я хуже собаки стал — так это из-за тебя, из-за того, что тебя полюбил, понимаешь ты, из-за тебя! За что меня ксендз проклял и выгнал из костела? За тебя! За что вся деревня от меня отвернулась, как от зачумленного? Из-за тебя! Я все вытерпел, все снес, даже и на то не обижался, что старик тебе записал столько моей кровной земли. А тебе уже со мной тошно, изворачиваешься, как угорь, врешь, бегаешь от меня, боишься меня, смотришь на меня так, как и все, — как на разбойника, на последнего человека!..

...Тебе уже другого надо, другого! Тебе хочется, чтобы парни за тобой бегали! — кричал Антек вне себя. Все обиды, всю горечь, которую он копил в себе давно, он сейчас изливал на нее, ее винил во всем, ее клял за то, что перестрадал. Он кричал до тех пор, пока голос ему не изменил, и чуть не бросился на Ягну с кулаками, но в последнюю минуту опомнился и только оттолкнул ее к стене и быстро ушел.

— Господи! Антось! — крикнула она громко, вдруг поняв, что случилось. Но он не обернулся. Она в отчаянии побежала за ним, загородила ему дорогу и повисла у него на шее, но он оторвал ее от себя, как пиявку, швырнул наземь и убежал, не сказав ни слова. Она лежала на земле и плакала так, словно весь свет на нее обрушился.

Только через несколько минут она немного пришла в себя. Она еще не во всем отдавала себе отчет, только чувствовала, что по отношению к ней совершена страшная несправедливость, и сердце у нее разрывалось на части, хотелось крикнуть на весь мир, что она не виновата, не виновата!

Она звала Антека, хотя и шаги его уже затихли вдали.

Долго звала в темноте — напрасно.

Глубокое раскаяние, жалость, неясный, гнетущий страх, что он не вернется к ней никогда, внезапно воскресшая любовь — все разом свалилось на нее тяжким бременем неутолимого горя, и, не помня себя, она плакала в голос, идя домой.

На крыльце столкнулась с сыном Клемба. Он только сунул голову в дверь, крикнул: "Рубят наш лес!" — и помчался к другим.

Весть мигом обежала деревню, вспыхнула пожаром, сея во всех сердцах отчаяние и страшный гнев.

Все бегали из избы в избу, то и дело везде стучали двери.

Конечно, это была важная новость, и такая грозная, что вся деревня сразу замерла, как пришибленная. Люди ходили на цыпочках, говорили шепотом, взвешивая каждое слово, тревожно озираясь и настороженно прислушиваясь. Никто не вопил, не плакал, не ругался, — каждый знал, что тут бабий визг не поможет, что это дело нешуточное, его надо хорошенько обдумать и всем миром принять решение.

Было уже поздно, но люди не думали о сне, многие даже про ужин забыли, бросили все вечерние работы и только бродили по улицам, стояли у плетней или над озером, и тихий, тревожный шепот, как пчелиное жужжание, шелестел в темноте.

Дождь перестал, даже немного прояснилось, по небу стадами бежали тучи, а понизу дул морозный ветер, и земля подмерзала. Мокрые черные деревья покрывались инеем и

светлели, а голоса, хотя и приглушенные, отчетливее звучали в воздухе.

Вдруг разнеслась весть, что некоторые хозяева собираются идти к войту.

И в самом деле, прошел Винцерек с хромым Гжелей, прошел Михал Чабан и родственник Ганки, Франек Былица, за ними.

— Соха, Валек криворотый, Юзеф Вахник, Казимир Сикора и даже старый Плошка. Только Борыны никто не видал, но говорили, что и он пошел с ними. Войта они дома не застали — он еще в полдень уехал в волость, — и от него же все вместе пошли к Клембу.

А за ними повалило множество народу, даже баб и детей, но старики заперли за собой двери и никого не впустили, а сыну Клемба, Войтеку, приказано было караулить на дороге и у корчмы, — не покажется ли урядник.

Перед избой Клемба, и во дворе, и даже на улице собиралось все больше людей. Всем хотелось знать, что решат старики, а те совещались долго, и неизвестно было, что говорится на этом совете. Видны были в окно только склоненные седые головы — старики сидели полукругом у топившейся печи, а сбоку стоял Клемб, говорил им что-то, низко нагибаясь, и часто стучал кулаком по столу.

Нетерпение толпы росло с каждой минутой и, наконец, Кобус и Козлова и кое-кто из парней начали громко выражать недовольство, роптали на стариков, говоря, что они ничего для народа не делают, они только о себе заботятся и еще, чего доброго, поладят с помещиком, а остальным пропадать придется.

Кобус так раскипятился, что открыто убеждал всех не обращать внимания на совещающихся и самим решить дело, да поскорее, пока еще не поздно, пока те их не продали. Его поддержали другие бедняки. Тут появился Матеуш и стал звать всех в корчму — там-де удобнее толковать, нечего стоять под чужим забором и лаять, как собаки!

Это предложение всем понравилось, и мужики гурьбой двинулись в корчму.

Корчмарь уже гасил лампы, но вынужден был отворить дверь и с беспокойством смотрел на валившую в корчму толпу. Но люди входили молча и спокойно, занимали лавки, столы, углы, никто не пил, все только тихо переговаривались, ожидая, чтобы кто-нибудь заговорил первый.

Охотников верховодить было достаточно, но они еще не решались выступить и оглядывались на других.

Наконец, Антек выскочил вперед и, стоя посреди комнаты, с места в карьер начал ругать помещика.

Это всем пришлось по душе, тем не менее его поддержали только отдельные голоса. Большинство все еще смотрело на него косо, с неудовольствием, иные даже поворачивались к нему спиной — у всех еще слишком живы были в памяти слова ксендза с амвона и прегрешения Антека. Но Антек не обратил на это внимания, его уже подхватил порыв дикого гнева, и он воинственно выкрикивал:

— Не поддавайтесь, мужики, не уступайте, не миритесь с несправедливостью! Сегодня у вас отняли лес, а завтра, если не дадите отпор, они протянут лапы за землей вашей, домами, всем, что у вас есть! Кто им запретит, кто их остановит?

Толпа вдруг зашевелилась, глухой гул пошел по избе, засверкали глаза, сто кулаков сразу взметнулось над головами, из ста грудей вырвался крик, похожий на громовой раскат...

— Не дадим! Не допустим! — загремело вокруг так, что тряслась корчма.

А зачинщики только этого и ждали. Вмиг Матеуш, Кобус, Козлова и другие выскочили на середину и давай кричать, грозить, разжигать всех. Поднялся шум, топот, ругань, проклятия, грозный ропот возмущенного народа.

Каждый кричал свое, каждый предлагал что-нибудь иное, все толклись, воинственно шумели, но ни к какому решению не пришли, потому что не было такого человека, который повел бы их и всех заставил бы слушаться.

Люди собирались кучками, и в каждой кучке был какой-нибудь горлопан, который кричал громче всех, а вожаки сновали в толпе, бросая там, где надо, веское слово, — и под конец уже один другого не слышал, все кричали разом.

— Пол-леса свалили, а там дубы в три обхвата!

— Клембов Войтек сам видел!

— Вырубят и остальное, вырубят, у вас позволения не спросят! — верещала Козлова, проталкиваясь к стойке.

— Всегда они народ обижают, чем только могут!

— Что ж, коли вы такие бараны, — пусть вас помещик стрижет!

— Не допустим! Всем миром пойдем, лесорубов разгоним и свое отберем!

— Убьем обидчиков!

— Убьем! — И опять грозно замелькали в воздухе кулаки, опять поднялся громовой крик. Когда он утих, Матеуш у стойки заговорил, обращаясь к своим:

— Тесно нам, мужики, как в сетях бьемся! Куда ни глянь, поместья панов со всех сторон, как стенами, сдавили деревню и душат! Захочешь корову попасти за деревней, сразу уткнешься в помещиков луг. Выпустишь лошадь, а за межей опять-таки его земля! Камня швырнуть нельзя — непременно в его владения угодит! И чуть что — сейчас же суд и штраф!

— Правда! Правда! Если луг хороший, два покоса дает — значит, он помещичий. Самые лучшие поля, лес — все они забрали, все у них! — поддержали его другие.

— А народ сиди на песках, навозом отогревайся да божьей милости дожидайся!

— Отобрать лес, отобрать землю! Не уступим своего!

Долго они так кричали, метались и грозили, и от крика у одних в горле пересохло, нужно было промочить его водкой, другие пили пиво, чтобы прохладиться, третьи вспомнили о недоеденном ужине и велели Янкелю подать хлеба и селедки.

А когда все поели, попили, гнев их значительно остыл, и они стали понемногу расходиться, так ничего и не решив.

Матеуш позвал Кобуса и Антека (который все время держался в стороне и о чем-то думал), и они втроем отправились к Клембу, где еще сидели старики. Они все сообща решили завтра кое-что предпринять и разошлись по домам.

Было уже поздно, в избах погасли огни, и тихо стало в деревне — только изредка собака залает или ветер прошумит, качая мерзлые деревья, и они в темноте задевают друг друга, а потом долго и тревожно шепчутся. Подморозило изрядно, плетни побелели от инея. А вскоре

после полуночи звезды скрылись, стемнело и стало как-то жутко кругом. Все в деревне спали, но сон был тяжелый, беспокойный, то и дело плакали дети, или просыпался кто-нибудь из взрослых, весь в поту, в непонятном испуге, и для ободрения шептал молитву, или, разбуженный каким-то стуком, вставал, чтобы посмотреть, не воры ли ломятся. Люди кричали во сне, объясняя потом, что это их домовый душил. А то вдруг где-то выли собаки так жалобно, что у проснувшихся сердце замирало от страшных предчувствий...

Ночь тянулась долго и томительно, оплетая душу тревогой, насылая дурные сны, полные кошмарных видений.

А когда рассвело, в тот ранний час, когда еще люди только глаза открывают и сонно поднимают с подушки отяжелевшие головы, Антек помчался на колокольню и начал звонить, как на пожар...

Тщетно Амброжий и органист пытались помешать ему, — он их обругал, чуть не побил и продолжал звонить изо всей мочи.

Медленно, уныло разносился звон колокола, встревоженные люди выбегали полуодетые — узнать, что случилось, да так уже и оставались на улице, стояли, как окаменелые, и слушали, а колокол все гудел в проблесках утра, зловеще и так громко, что дрожала земля, перепуганные птицы улетали к лесу, а люди в тревоге крестились.

Матеуш, Кобус и другие бегали по деревне, стучали палками в ворота и кричали:

— В лес! В лес! Выходи, кто жив! Собирайтесь у корчмы! В лес пойдем!

Успокоенные мужики поспешно одевались и бежали к корчме, где уже стоял Клемб и несколько других хозяев.

И закишели людьми улицы, дворы, дороги, шумно стало во всех избах, кричали дети, женщины перекликались через сады, поднялась такая суматоха и беготня, словно в деревне вспыхнул пожар.

— В лес! Выходите, кто с чем может — с косой, так с косой, с цепями, с топорами, с кольями, все берите!

— В лес! — загудела деревня так, что воздух дрожал от этого крика.

День уже наступил, ясный и тихий, в морозной дымке. Деревья стояли в инее, как в паутине, земля хрустела под ногами, замерзшие лужи блестели, как битое стекло, свежий воздух пощипывал ноздри, и далеко разносились крики и говор.

Но понемногу все утихло. Сдержанный гнев и какая-то суровая, уверенная, непреклонная сила чувствовались в этом молчании.

Толпа росла, заняла уже всю площадь перед корчмой, до самой дороги люди стояли тесно, плечо к плечу. И все еще подходили запоздавшие. Здоровались, молча становились где попало и, оглядываясь по сторонам, терпеливо ожидали стариков, которые пошли за Борыной. Борына считался первым человеком в деревне, и ему подобало вести народ. Знали, что без него ни один хозяин не тронется с места.

И люди стояли спокойно и тихо, как дремучий лес, заслушавшийся голосов в своей чаще и лепета струй, текущих где-то меж корней. Порой падало чье-нибудь слово, порой взлетал в воздух кулак и глаза вспыхивали ярче, и быстрее качались бараньи шапки на головах, — но опять все стихали и стояли неподвижно, как уставленные рядом снопы.

Прибежал кузнец и, пробираясь сквозь толпу, начал отговаривать мужиков от их замысла,

пугать их, что всю деревню за это сгноят в тюрьме. А за ним и мельник твердил то же самое, но никто их не слушал — все хорошо знали, что оба подслушиваются к помещику, что им этот поход деревни не выгоден.

Пришел Рох и со слезами уговаривал мужиков одуматься, но и это не помогло.

В конце концов и сам ксендз прибежал их вразумлять, а они его не захотели слушать, стояли неподвижно, и шапки никто не снял, никто не приложился к его руке, а один даже крикнул громко:

— Платят ему — вот он и старается!

— Проповедью за убыток не заплатишь! — с насмешкой подхватил другой.

Все смотрели на него так зло и угрюмо, что ксендз даже расплакался, но продолжал заклинать их всем святым, чтобы они опомнились и разошлись по домам. Он не закончил, потому что пришел Борына и вся толпа устремилась к нему.

Мацей был бледен как мел, от нахмуренного, сурового лица так и веяло холодом, а глаза сверкали, как у волка. Он шел, с достоинством выпрямившись, здоровался со знакомыми кивком головы и водил взглядом по толпе. Перед ним расступались, давая ему дорогу, и он встал на бревна, лежавшие перед корчмой, но не успел и рта раскрыть, как в толпе закричали:

— Ведите нас, Мацей! Ведите!

— В лес! В лес! — надрывались другие.

Когда наступила тишина, Борына наклонился вперед, простер руки и громко заговорил:

— Честные поляки, хозяева и коморники! Всем нам одинаково нанесли обиду, и этой обиды нельзя ни простить, ни стерпеть! Помещик рубит наш лес, помещик никого из наших на работу не взял, он постоянно нас притесняет, пропадаем мы из-за него! И не перечесать тех убытков и неприятностей, тех обид и напастей, какие терпит от него весь народ! Подавали мы в суд — да кто же пана тронет! Ездили с жалобой — и все напрасно. Но терпению нашему пришел конец — теперь он рубит наш лес. Неужели мы это допустим?

— Нет! Не допустим! Разгоним, всех перебьем! Не дадим! — кричали вокруг, и озабоченные, серые хмурые лица вмиг словно молнией осветило, сто рук замелькало в воздухе, из ста глоток вырвался гневный крик.

— наших прав никто не признает, — продолжал Борына. — Лес — наш, а его рубят! Что же нам, горемычным, делать, если на всем свете нет у нас заступников, если все обижают нас? Люди добрые, говорю вам, что нет у нас другого пути, как самим свое добро защищать! Всем миром пойдем и рубить лес не позволим! Все пойдем, у кого только ноги ходят, всей деревней, все как один. Ничего не бойтесь, люди, это наше право, мы только справедливости хотим, — а всю деревню засудить не могут. За мной, люди, живо собирайтесь! В лес! — крикнул он громко.

— В лес! — откликнулись все разом. Толпа зашумела, заколыхалась, рассыпалась в разные стороны. Каждый побежал домой готовиться в путь. Поднялась лихорадочная суета. Одевались, запрягали лошадей, выкатывали сани. Конское ржание, ругань, крики ребятишек мешались с плачем и причитаниями баб. Вся деревня ходуном шла от этих сборов, и через какие-нибудь четверть часа все были готовы и потянулись на дорогу, где уже ждали в санях Борына, Плошка, Клемб и другие старики.

Стали в ряды. Собрались идти мужики, парни, бабы, даже дети постарше. Кто в санях, кто

верхом, кто в телеге, но большинство, почти вся деревня, — пешком. Густая толпа напоминала длинную полосу поля, шумящую колосьями, и, как маки, атели в ней бабы платки, а в воздухе качались внушительные колья, ржавые вилы, цепи, сверкали тут и там косы. Казалось, народ собрался на работу в поле, только не слышно было смеха, шуток, веселья. Люди стояли тихо, суровые, мрачные, ко всему готовые. Когда все собрались, Борына встал в санях, обвел толпу взглядом и, перекрестясь, крикнул:

— Ну, с Богом! В путь!

— В путь! — повторила толпа и в молчании двинулась вперед тесными рядами. Только кузнец выждал где-то во дворе, прокрался к себе, вскочил на коня и помчался другой дорогой в усадьбу.

Антек при появлении отца ушел в корчму, а когда народ тронулся в путь, он взял у Янкеля ружье, спрятал его под тулуп и побежал к лесу напрямик через поле, не оглянувшись ни разу на толпу.

Толпа быстро шагала за Борыной, который ехал впереди. Первыми шли Плошки — все три семьи со Стахом во главе. Все они были невзрачные на вид, но речистые, шумливые и самоуверенные.

За Плошками — все родственники Сохи, их вел солтыс Шимон.

В третьему ряду — Вахники, малорослые, сухопарые, злые, как осы.

За Вахниками — все Голубы под предводительством Матеуша. Было их немного, но они могли заменить собой полдеревни, — такие были все неугомонные забияки и крепкие и рослые, как дубы.

Пятыми шли Сикоры, мужики кряжистые, как пни, и угрюмые.

За ними — сыновья Клемба и другая молодежь, буйная, здоровая, задорная и драчливая. Вел их Гжеля, брат войта.

А дальше шли все Былицы, Кобусы, Прычеки, Гульбасы, Пачеси, Бальцереки... и другие — кто их там всех упомнит.

Шагали так, что земля гудела, суровые, мрачные, как грозовая туча, которая полыхает молниями, наливается громами и вот-вот разразится дождем и затопит землю.

А за ними несли плач, крики и жалобные причитания оставшихся.

Земля еще цепенела от ночного холода, было глухо и сонно, и мир был окутан густым туманом.

В лесу веяло резкой свежестью, слабый свет утренней зари румянил верхушки деревьев и кое-где играл на бледном снегу. Стояла тишина.

Только на Волчьих Ямах стучали топоры, то и дело слышался треск и грохот валившихся деревьев и пронзительно визжали пилы.

Рубили бор!

Более сорока мужиков работали с самого рассвета. Как будто стая дятлов налетела на лес, облепила деревья и долбила их так упорно, с таким ожесточением, что деревья падали одно за другим и груды их на земле росли. Сраженные великаны лежали вповалку, как побитые градом колосья на поле, и только кое-где стояли еще стройные молодые деревца, тяжело

клонясь, как матери, горько рыдающие над павшими на поле брани. Грустно шелестели несрубленные кусты, да какое-нибудь жалкое деревце, которое пощадил топор, трепетало в испуге. И везде на истоптанном снегу, — как на смертном ложе, лежали срубленные деревья, груды сучьев, мертвые верхушки и могучие стволы, похожие на четвертованные ободранные трупы, и струйки желтых опилок сочились в снегу, как кровь умирающего леса.

А вокруг, над вырубленным участком, будто над открытой могилой, могучей тесной толпой стояли деревья, как друзья, родные и знакомые, и, наклонясь в тревожном молчании, словно сдерживая крик отчаяния, слушали последние вздохи умирающих и, оцепенев, смотрели на эту неумолимую косьбу.

Лесорубы шли вперед, развернувшись широким строем, медленно, в молчании, и проникали все глубже в лес, который казался неприступным и мрачной стеной стволов преграждал им дорогу, и такой громадой надвигался на них, что они совсем тонули в тени ветвей, только топоры сверкали в полумраке и неутомимо стучали, только свист пил не утихал ни на мгновенье. Каждую минуту какое-нибудь дерево вдруг, как птица, коварно пойманная в сети, отрывалось от своих, трясло ветвями и с предсмертным стоном падало на землю, — а за ним другое, третье, десятое...

Падали огромные сосны с позеленевшими от старости стволами, падали ели, словно одетые в холщовые кафтаны, падали развесистые пихты и бурые дубы, обросшие бородами седого мха, старцы, которых не победили никакие бури, не сокрушили века, и вот приняли они смерть от топора. Падали всякие деревья — кто же скажет, сколько их погибло и каких!

Лес умирал. Деревья падали тяжело, как солдаты в бою, которые бились сплоченными рядами, неподатливые, стойкие, но, сраженные непреодолимой силой, крикнуть не успев, клонятся всем рядом, падая в объятья жестокой смерти.

Стоном стонал лес, дрожала земля от падавших деревьев, топоры били без устали, визжали пилы, и свист ветвей, как последние вздохи, раздирал воздух.

Так шли часы за часами, и все новые трупы деревьев устилали землю. Работа не прекращалась.

Кричали сороки, повиснув на семенниках, порой стая ворон пролетала с карканьем над этим полем смерти, какой-нибудь зверек выбегал из чащи и, остановившись, долго смотрел сверкающими глазами на дым костров, на падающие деревья, а увидев людей, убежал.

Мужики рубили усердно, врезаясь в лес, — так волки врываются в стадо овец, а оно, сбившись в кучу, помертвев от ужаса, жалобно блея, стоит, пока не падет под волчьими клыками последняя овечка.

Только после завтрака, когда солнце уже поднялось высоко, с деревьев капала растаявшая изморозь и Свет золотыми пауками бегал по лесу, кое-кто из дровосеков услышал вдали шум.

— Люди какие-то идут, целая толпа! — сказал один, приложив ухо к дереву. Шум приближался, слышался все яснее, скоро можно было уже различить отдельные выкрики и глухой топот множества ног. Через несколько минут на тропе, ведущей к деревне, замелькали сани и скоро выехали на место порубки. В них стоял Борына, а за санями, верхом и пешком валила густая толпа мужиков, баб, подростков, и все они с дикими криками бросились к дровосекам.

Борына соскочил с саней и побежал вперед, за ним в беспорядке другие, кто с колом, кто грозно потрясал вилами, кто крепко держал в руках цеп или махал косой, а кто вооружился просто толстым суком. Бабы — те действовали только визгом. И все налетели на пораженных

лесорубов.

— Не рубить! Не трогать! Наш лес, не позволим! — кричали все разом, и никто из лесорубов не понимал, чего от них хотят! Наконец, к ним подбежал Борына и гаркнул так, что по всему лесу разнеслось:

— Люди из Модлиц! Люди репечкие и все, какие еще тут есть, слушайте!

Стало тише, и он продолжал:

— Забирайте свои пожитки и ступайте с богом! Рубить мы вам запрещаем, а не послушаетесь, так будете иметь дело со всем народом!

Лесорубы не стали спорить: суровые лица, колья, вилы, цепи и такое множество разгневанных людей, готовых с ними драться, испугали их. Они начали совещаться, скликать друг друга, затыкать топоры за пояс, собирать пилы. Некоторые столпились в кучу, сердито ворча, особенно репечкие, — они ведь были шляхтичи и спокон веку враждовали со своими соседями, липецкими мужиками. Эти громко ругались, стучали топорами, грозили, но им волей-неволей пришлось уступить силе, народ грозно наступал на них и оттеснял в глубь леса.

Часть людей разошлась по участку — тушить костры и разваливать сложенные штабелями стволы, а бабы, во главе с Козловой, увидев сбитые из досок будки на краю вырубленного участка, побежали туда и стали их разбивать и растаскивать по лесу, чтобы и следа от них не осталось.

Борына, видя, что лесорубы так легко сдались, созвал своих и предложил всей толпой идти сейчас же в усадьбу и объявить помещику, чтобы он не смел трогать леса, пока суд не решит, какую часть его отдать крестьянам. Но не успели они сговориться, как бабы вдруг подняли крик и в беспорядке побежали от будок, потому что из леса выехали человек двадцать верхом и поскакали на них.

Это предупрежденный помещик выслал помощь дровосекам.

Впереди дворовых ехал управляющий. Выскочив из леса, они сразу напали на женщин, стали их стегать кнутами, а управляющий, мужчина здоровенный, как буйвол, свирепствовал больше всех и орал:

— Воры вшивые! Батогами их! Вязать всех и в острог!

— Держитесь вместе! Ко мне! Не отступать! — кричал Борына, видя, что люди уже с перепугу разбегаются.

Его крик остановил их, и они, несмотря на сыпавшиеся на них удары кнутов, побежали к старику, закрывая головы руками.

— Кольями их, окаянных! Цепами бейте лошадей! — командовал разъяренный Борына и, схватив кол, первый бросился на дворовых, а за ним, как подхваченные вихрем, плечом к плечу ринулись мужики, молотя их, чем попало: цепами, вилами. Кругом загрохотало, как будто горох на полу выбивали палкой.

Нечеловеческие крики, проклятия, визг упавших лошадей, стоны раненых, глухие и частые удары кольев, дикий шум битвы огласили поляну. Дворовые защищались отчаянно, ругались и дрались не хуже мужиков, но в конце концов стали отступать. В их рядах произошло замешательство, оттого что лошади под ударами цепов становились на дыбы и поворачивали назад. Увидев это, управляющий хлестнул своего буланого коня и поскакал в толпу, к Борыне, но вмиг зажужжали цепи, десятки ударов посыпались на него, десятки рук

протянулись к нему со всех сторон, сорвали его с лошади.

Как кустик, подрытый рылом свиньи, взлетел он в воздух и упал на снег. Борына с трудом вырвал его из рук мужиков и поволок бесчувственного в безопасное место. Все закружилось, смешалось. Так иногда вихрь налетит неожиданно на стога, собьет их вместе и гонит по полю. Уже ничего нельзя было различить в кучах сплетенных тел, метавшихся вокруг, катавшихся по снегу, только кулаки мелькали в воздухе, да иногда кто-нибудь вырывался из толпы и бежал прочь, но скоро возвращался и с новым криком, с новой яростью бросался на врагов.

Дрались и один на один и группами, хватали друг друга за ворот, за волосы, били до крови, бросали на землю и наступали коленями на грудь, — и ни одна сторона не могла победить другую. Дворовые соскочили с лошадей и дрались, не отступая ни на шаг, к тому же им помогали лесорубы, здорово напирая на липецких.

Репецкие первые всей гурьбой бросились на помощь к дворовым — неожиданно и молча, как злые собаки.

А командовал всеми ими лесник, который появился в последнюю минуту. Он был силен, как бык, один из первых силачей в округе, притом очень зол, а с Липцами у него были особые счеты. Он бросался один на целую группу, разбивал мужикам головы ружейным прикладом, разгонял их, увечил без пощады.

На лесника пошел Стах Плошка, видя, что народ уже бежит от него. Но лесник схватил его за шиворот, повертел в воздухе и швырнул оземь, как вымолоченный сноп. Стах потерял сознание. Подскочил тогда к леснику кто-то из Вахников и ударил цепом в плечо, но получил удар кулаком между глаз и, раскинув руки, рухнул на землю.

Наконец, и Матеуш не стерпел и напал на лесника, но, несмотря на то, что силой разве только один Антек мог с ним померяться, не прошло и пяти минут, как лесник его избил и обратил в бегство, а сам бросился к Борыне, который во главе целой толпы дрался с репецкими.

Но не добрался лесник до Борыны: по дороге на него с криком налетели бабы, вцепились ему в волосы и, пригнув, волокли по земле, — так дворняжки, напав на овчарку, хватают ее зубами за шкуру и тормозят во все стороны.

К этому времени уже брали верх липецкие. Несколько дворовых лежали окровавленные, другие, едва живые, убежали в лес, и только лесорубы еще защищались из последних сил. Впрочем, и некоторые из них уже просили пощады, но мужики были теперь злы на них еще больше, чем на дворовых, гнев их разгорелся, как трут на ветру, и никто не слушал просьбы и ни на что не глядел, а с остервенением колотил врагов.

Все побросали колья, цепи, вилы и схватились врукопашную. Смолкли крики, и только слышно было хриплое ворчание, проклятия и удары.

Уже липецкие начали гнаться за убежавшими и, обезумев от гнева, нападать вдесятером на одного, как вдруг лесник вырвался из рук наседавших на него женщин, сильно помятый и оттого еще больше рассвирепевший, — и начал скликать своих. Увидев неподалеку от себя Борыну, он кинулся на него. Они обхватили друг друга, как медведи, и стали бороться, падали и поднимались, ударялись о деревья — так как в пылу схватки забрались уже в лес.

Тут как раз подоспел Антек. Он сильно отстал от своих и так как, догоняя их, бежал во весь дух, остановился на опушке, чтобы отдышаться, — и в ту же минуту увидел отца и лесника.

Повел кругом зоркими, как у ястреба, глазами: никто на них не смотрел, все были заняты

дракой, и в этой каше нельзя было различить ни одного лица. Антек отошел назад, крадучись подобрался к Боруны и остановился в двух шагах, за деревом.

Лесник был сильно измучен, но, видимо, одолевал, хотя старик еще упорно держался. В эту минуту они упали и катались по земле, терзая друг друга, как два озверелых пса, но старик все чаще оказывался под лесником, шапка у него слетела, и седая голова билась о корни.

Антек еще раз осмотрелся, вытащил из-под тулупа ружье, опустился на одно колено и, машинально перекрестившись, прицелился в голову отца... Но прежде чем он успел спустить курок, лесник и Боруна вскочили. Тогда и он встал и прицелился снова — но не выстрелил. Внезапный ужас так сжал ему сердце, что вдруг нечем стало дышать, руки тряслись как в лихорадке, в глазах потемнело и закружилась голова. Он целую минуту стоял, не понимая, что с ним. Вдруг раздался короткий душераздирающий вопль:

— Спасите, люди! Спасите!..

И в этот миг лесник треснул Боруны прикладом по голове с такой силой, что хлынула кровь. Старик крикнул, взмахнул руками и рухнул на землю.

Антек очнулся, бросил ружье и подбежал к отцу. Тот уже хрипел, кровь заливала ему лицо, череп был рассечен почти пополам. Он был еще жив, но глаза уже застилала смертная мгла, ноги дергались.

— Отец! Господи Иисусе! Отец! — крикнул страшным голосом Антек, поднял его на руки, прижал к груди и завыл отчаянно, как собака, когда топят ее щенят:

— Отец! Убили! Убили!

Несколько человек, кто был поближе, услышали его и бросились на помощь. Старика уложили на ветках, начали обкладывать ему голову снегом и, как умели, приводить в чувство. А Антек сидел на земле, рвал на себе волосы и вопил как бешеный:

— Убили его! Убили!

Люди думали, что он рехнулся.

Вдруг он замолк, вспомнил ясно все и подскочил к леснику с таким диким, безумным блеском в глазах, с таким пронзительным криком, что тот испугался и бросился бежать. Однако, услышав, что Антек гонится за ним, он неожиданно обернулся и выстрелил ему в грудь, но каким-то чудом промахнулся, только лицо ему ожег. Антек молнией кинулся на него.

Тщетно защищался лесник, тщетно пробовал вырваться и бежать, тщетно, наконец, в отчаянии и смертельном страхе просил пощады, — Антек вцепился в него, как бешеный волк, сдавил ему горло, поднял на воздух и колотил о дерево до тех пор, пока тот не испустил дух.

Потом, не помня себя, бросился в толпу дерущихся — помогать своим. Где он появлялся, там люди в ужасе бежали, потому что, весь измазанный кровью, отцовской и своей, без шапки, со слипшимися волосами, синий как труп, он был страшен. Одержимый какой-то нечеловеческой силой, он чуть ли не один одолел последних, кто еще давал отпор липецким, и в конце концов пришлось его успокаивать и оттаскивать, иначе он забил бы их насмерть.

Битва кончилась, и липецкие, хотя и измученные, избитые, окровавленные, наполняли лес криками ликования!

Женщины перевязывали тяжело раненных и укладывали их в сани, — а раненых было немало. У одного из молодых Клембов была сломана рука, а у Енджика Пачеся — нога, так что он не мог на нее ступить и орал благим матом, когда его переносили. Кобус был так

избит, что шевельнуться не мог, у Матеуша шла горлом кровь, и он жаловался на страшную боль в пояснице, другие тоже пострадали не меньше. Не было почти ни одного человека, который вышел бы целым и невредимым. Но, гордясь своей победой, они забывали о боли и весело шумели, собираясь в обратный путь.

Борыну уложили в сани и везли медленно — боялись, как бы он не умер в дороге. Он был без сознания, из-под тряпок все текла кровь, заливая глаза и лицо, бледное и неподвижное, как у мертвеца.

Антек шел рядом с санями, не отводя от отца полных ужаса глаз, поддерживал его голову на ухабах, и все бормотал тихо, умоляюще, жалобно:

— Отец! Ради бога! Отец!

Люди шли в беспорядке, группами. Шли лесом, потому что дорога была занята санями с ранеными. Кое-кто стонал и кричал, но большинство громко смеялось, весело галдело. Пошли рассказы, хвастали успехом, посмеивались над побежденными. Уже и песни стали затягивать тут и там, кто-то кричал на весь лес, и ему откликалось эхо. Все были так опьянены победой, что не замечали ничего, спотыкались о корни, налетали на деревья.

Почти никто не чувствовал боли и усталости, все сердца переполняла радость и такая уверенность в своих силах, что посмел бы сейчас кто-нибудь пойти против них, — в порошок бы стерли! Они готовы были сражаться со всем светом.

Шли бодро, с шумом, озирая горящими глазами этот отвоеванный лес, а он качался над их головами, дремотно шумел и осыпал их таявшим инеем, словно слезами. Борына вдруг открыл глаза и долго всматривался в Антека, как будто не верил, что это он. Потом тихая, глубокая радость осветила его лицо, он раз-другой пошевелил губами и, наконец, с огромным усилием прошептал.

— Это ты, сын? Ты?

И снова впал в беспамятство.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЕСНА

I

Была весна, час рассвета.

Апрельский день выходил из логова мрака и туманов лениво, как батрак, который лег спать сильно утомленный и, не выспавшись, должен встать на заре и тотчас идти в поле пахать.

Начинало светать, но вокруг царила еще немая тишина. Только слышно было, как часто-часто каплет роса с деревьев, спавших в густой мгле.

Синий и словно обрызганный росой полог неба уже чуть-чуть светлел над черной безмолвной землей, тонувшей во мраке.

Луга и поля в низинах заливал туман, похожий на молоко, вспененное при доении. Где-то в

деревнях, еще невидимых, начинали перекликаться петухи.

Последние звезды меркли, как глаза, запорошенные сном. А на востоке, словно жар под остывшей золой, разгоралась алая заря.

Но вот предутренний туман заколыхался и, подобно водам в весенний разлив, тяжело хлынул на черные поля, а кое-где, как дым каминок, голубыми лентами поднимался к небу.

День наступал, боролся с бледнеющей ночью, а она, не желая уходить, прижималась к земле плотно, как мокрая шуба.

По небу медленно разливался свет, и оно как будто приближалось к земле. Уже кое-где выступали из тумана верхушки деревьев, на взгорьях выплывали из ночного мрака серые поля, мокрые от росы, тусклыми зеркалами мерцали озера, ручьи длинными влажными прядями тянулись сквозь редящую мглу.

Светало все больше, и в мертвенную синеву просачивалась утренняя заря. Скоро она запылала в небе кровавым заревом еще невидимого пожара, и уже рассвело настолько, что выросли вокруг черным кольцом леса и все виднее становилась дорога, окаймленная рядами тополей, которые гнулись, будто устав от трудного подъема в гору. А деревни еще тонули в стлавшемся низко тумане и только кое-где выступали на фоне утреннего неба, как черные камни из пены вод, да ближние деревья серебрились росой в блеске зари.

Солнце еще не взошло, но чувствовалось, что оно вот-вот появится из охватившего небо зарева и брызнет лучами на землю, а она, еще не совсем очнувшись, с трудом открывала затуманенные глаза и лениво потягивалась в блаженном полусне. Вокруг стало еще тише. Казалось, земля притаила дыхание, и только ветер, легкий, как сон ребенка, веял от леса, стряхивая росу с листьев.

И вот в сероватом, оцепенелом сумраке рассвета, над сонными темными полями, словно в благоговейном безмолвии храма, зазвучала вдруг песня жаворонка...

Он сорвался откуда-то с пашни, взмахнул крылышками и зазвенел, как колокольчик из чистого серебра, поднялся к бледному небу, как душистый весенний побег, взлетал все выше, и все громче и громче разливалась над миром его песня в священной тишине восхода. А за ним и другие жаворонки радостными трелями возвестили всему живому наступление утра.

Скоро и чайки закричали на болотах, громко заклекотали аисты где-то в деревнях, еще невидных в сером сумраке.

Все ждало солнца.

И вот оно выплыло из-за дальних лесов, поднялось из бездны. Словно огромную, золотую, сверкающую огнями чашу вознесли над сонной землей невидимые руки, благословляя светом мир, все живое и мертвое, рождающееся и дряхлеющее. Начиналось священнодействие дня, и все в природе, казалось, пало ниц перед его величием и умолкло, не смея поднять недостойные очи.

Настал день, необъятный океан радостного света.

Туман, как благовонный дым кадил, поднимался с лугов к залитому золотом небу. Птицы подняли звонкий гомон и крик, словно сливая свои голоса в горячей благодарственной молитве.

А солнце все росло, все выше и выше поднималось над черным лесом, над бесчисленными селениями, и огромное, пылающее, покоряло землю могучей и сладостной силой.

В этот утренний час на песчаном пригорке у леса, из-за стогов лупина, стоявших неподалеку от широкой ухабистой дороги, показалась старая Агата, родственница Клембов.

Она еще осенью ушла побираться и теперь возвращалась в Липцы, как птицы всегда возвращаются весной в свои гнезда. Старая, дряхлая, слабая, Агата еле шла. Она напоминала придорожную вербу, кривую, гнилую, которая досыхает в песках. В жалких лохмотьях, с котомками на спине, обвешанная четками, она шла, опираясь на клюку, с какой всегда ходят нищие.

Она вышла из-за стогов и торопливо засемила по дороге, подняв к восходящему солнцу лицо, серое и сухое, как пустые прошлогодние перелогии. Ее выцветшие глаза сияли радостью. Еще бы! Ведь после долгой и тяжелой зимы она возвращалась в родную деревню! Вот она и бежала так, что четки бряцали и котомки то и дело сползали с плеч. От быстрой ходьбы спирало дыхание, болела грудь, и Агате приходилось останавливаться или замедлять шаг. Идти было все труднее, но она жадными глазами осматривалась кругом, улыбалась серым полям в зеленоватой дымке, деревьям, постепенно выплывавшим из туманной дали, оголенным еще деревьям, сторожившим дорогу или стоявшим — в поле, как одинокие часовые. Улыбалась всему, что видела вокруг.

Солнце поднялось уже так высоко, что видны были самые дальние окраины полей. Все сверкало в розовой росе, черная пашня жирно лоснилась на солнце, в канавах шумела вода, песни жаворонков звенели в прохладном воздухе. Кое-где под кустами еще белели последние пятна снега, и, как янтарные четки, качались на деревьях уцелевшие желтые листья. Но в местах, закрытых от ветра, и у нагретых солнцем лужиц пробивались уже золотистые стебельки молодой травы, иногда выглядывал желтый глазок одуванчика. Теплый ветер разносил влажный, свежий запах полей, лениво нежившихся на солнце, и везде сияла весна, везде, несмотря на легкий утренний сумрак, была такая ширь и свет, таким блаженством дышало все, что у Агаты душа рвалась вдаль — полетела бы, кажется, как опьяненная радостью птица с криком несется над землей.

— Иисусе! Иисусе сладчайший! — вздыхала она и время от времени присаживалась, смотрела вокруг, словно вбирая весь этот мир в свое взволнованное сердце.

Гей! Ведь весна шла по бескрайним полям, и возвещали о ней голоса жаворонков, и солнце, и этот ласковый ветер, нежный, как поцелуй матери, и затаенное дыхание земли, стосковавшейся по плугу и семенам, и веселый шум и гомон вокруг, и воздух, теплый и живительный, словно насыщенный всем, что скоро станет зеленью, цветком и налитым колосом.

Гей! Весна шла, как юная царевна в солнечном наряде, с губами алыми, как утренняя зорька, с голубыми косами вод. Она слетала от солнца в эти апрельские утра, неслась над землей и из своих распростертых благостных рук выпускала жаворонков, чтобы они возвещали людям радость, а за нею с веселым курлыканьем тянулись журавлиные стаи, проплывали в светлом небе вереницы диких гусей, над лугами кружили аисты, а у хат щебетали ласточки, и все крылатое племя с песнями летело домой из дальних краев. Где весна касалась земли краем солнечного одеяния, там всходила молодая травка, наливались клейкие почки, пробивались зеленые побеги, робко шелестели молодые листочки, рождалась новая, могучая, буйная жизнь. А весна шла дальше, по всему миру, от востока до запада.

Весна осеняла покосившиеся, приникшие к земле хаты, кроткими глазами заглядывала под крыши и будила изнемогшие, омраченные сердца людей, и люди выходили из темницы печалей с надеждой на лучшее, на обильный урожай, на счастье, о котором они так долго тосковали.

Зашумела на земле жизнь, как давно умолкший колокол, которому привесили новый язык,

язык из солнечных лучей, и звонит он гордо, весело, будит все, что замерло, поет о таких делах, о таких чудесах и чарах, что все сердца радостно вторят ему и слезы сами льются из глаз. Воскресает в бессмертной мощи душа человеческая и в упоении счастья обнимает всю землю, весь мир, каждое деревцо, каждый камень и каждое облачко, все, что она видит...

Это самое чувствовала и Агата, медленно ковыляя по дороге и пожирая глазами любимые, родные места. Она шла, как, пьяная, и только когда на колокольне липецкого костела защебетал маленький колокол, сзывая людей на молитву, старуха вдруг очнулась и опустилась на колени.

— Благодарю тебя, Господи, за то, что по твоей святой воле вернулась я домой... что смилостивился ты надо мною, сиротой!..

Как тут было молиться, когда слезы внезапно хлынувшим дождем переполнили сердце и потекли по изможденному лицу! Агата только что-то бессвязно бормотала, руки у нее так тряслись, что она не могла найти четок, слова молитв куда-то улетучились из памяти, растеклись в душе капельками горячей росы. Наконец, она порывисто встала и пошла дальше, внимательно оглядывая поля и порой шепча вслух какие-то молитвы, вдруг всплывшие в памяти...

Утро было уже в разгаре, туман совсем рассеялся, и Липцы открылись перед ней как на ладони. Они лежали в ложине, вокруг большого озера, голубевшего, как зеркало под легкой белой вуалью. Низенькие, приземистые избы широко расселись среди еще голых садов, как степенные кумушки, занятые разговором. Тут и там вился дым над крышами, сверкали на солнце окошки, ослепительно белели на фоне темных деревьев свежесмытые стены.

Агата уже различала каждую избу. На краю деревни, у дороги, по которой она шла, стояла мельница, и стук ее слышался все явственнее, а почти напротив, на другом конце, высились белые стены костела, окруженного могучими деревьями. Горели на солнце его окна и золотой крест на куполе, а неподалеку краснела черепичная крыша плербани.

Вокруг, куда ни глянь, темносиним венком лежали леса, раскинулись необозримые поля, серыми гусеницами приникали к земле дальние деревни, укрытые в садах, вились дороги, окаймленные кустами и рядами склоненных деревьев, открывались песчаные холмы, кое-где поросшие можжевельником, блестела между хат узкая лента речки, вливавшейся в озеро.

А поближе к деревне широким кругом расходились липецкие земли, изрезанные на полосы, как будто растянули здесь под холмами огромный холст, раскроенный на куски. Полосы разделялись межами, на которых густо разрослись ветвистые груши, торчали большие камни, поросшие терновником. В золотом свете утра резко выступали грязно-серые перелogi, зеленоватые полосы озими сменялись черными картофельными грядами или вспаханнами по осени полосами, а в низинах, как жидкое стекло, сверкали ручейки.

За мельницей простирались рыжеватые луга, где бродили аисты, да капустные поля, — эти лежали еще под водой, видны были только островки мокрых гряд, блестящие, как спины пескарей, а над ними кружили белогрудые чайки. На распутьях стояли на страже кресты и статуи Девы Марии, а над всем широким миром висело золотое солнце, звучали песни жаворонков. Доносился порой из хлебов тоскливый рев скота, гоготали где-то гуси, звучали громкие голоса людей. Временами налетал теплый, ласковый ветер и уносил куда-то все звуки, и тогда земля затихала, словно в глубоком раздумье.

Однако на полях почти нигде не видно было работающих. Только у самой деревни возились несколько женщин, — они разбрасывали по полю навоз, и острый, щекочущий запах носился в воздухе.

— Заспались, что ли, лентяи? День просто на редкость, а никто еще не вышел в поле...

Земля так и просит плуга! — огорченно бормотала Агата.

И, чтобы быть еще ближе к полям, она сошла с дороги на тропинку за рвом, где маргаритки уже поднимали розовые ресницы навстречу солнцу и трава зеленела гуще, чем в других местах.

Поля были пустынно просто на удивление! Агата хорошо помнила, как в прежние годы в эту пору они пестрели бабьими юбками, гудели песнями и криками. Она знала, что в такую погоду самая пора вывозить в поле навоз, начинать запашку и посев. А нынче — что же это такое! Один-единственный мужик ходит среди поля согнувшись и разбрасывает полукругом семена.

— Горох, должно быть, сеет так рано... Не Доминиковой ли парень — ведь это, кажись, их поля! Пошли вам Господь урожай хороший, родимые! — умиленно прошептала Агата.

Идти было трудно, тропка была неровная, вся в свежих кротовинах, заваленная камнями, а местами болотистая. Но старуха не обращала на это внимания и с наслаждением, с нежностью всматривалась в каждую полянку, в каждую полосу.

— Ксендза рожь... Вот как славно, густо пошла! Ну, да ведь, когда я из деревни уходила, работник его тут пахал. А его преподобие сидел поблизости... Как сейчас помню!

И она ковыляла дальше, тяжело вздыхая и вода вокруг мокрыми глазами.

— А это вот Плошковых рожь... Видно, поздняя... или, может, отсырела маленько.

С трудом нагнувшись, она потрогала дрожащими, старческими пальцами влажные стебли, погладила их любовно, как детские волосики.

— Борынова пшеница... Вот какой кусище поля! Ну как же, первый хозяин в Липцах! Да пшеница что-то пожелтела, — промерзла, что ли!.. Зима тут, видно, была тяжелая... — рассуждала сама с собой Агата, замечая на полосах приникшей к земле, занесенной илом озими следы больших снегопадов и половодья...

— Натерпелись люди немало, набедовались! — вздохнула она и, заслонила глаза ладонью, стала всматриваться в шедших ей навстречу мальчиков.

— Кажись, племянник органиста, Михал, да кто-то из сынков... В Волю, должно быть, идут собирать с прихожан яйца к пасхе — ишь с какими корзинами!.. Да, не кто другой, как они!

— Слава Иисусу! — поздоровалась она, когда они подошли близко.

Ей очень хотелось поговорить с ними, но мальчики только буркнули в ответ: "Во веки веков"- и быстро прошли мимо, занятые оживленным разговором.

Пригорюнилась Агата.

"Ведь у меня на глазах выросли, а вот не узнают! Ну, да где же им помнить нищенку такую! А Михал порядком подрос, наверное уже на органе в костеле играет..."

Размышляя так, Агата снова всматривалась вдаль: из деревни шел какой-то еврей, гоня перед собой большого теленка.

— У кого купили? — спросила Агата.

— У Клембовой! — ответил еврей, удерживая бело-рыжего теленка, который упирался, все норовил повернуть назад и жалобно мычал.

— Не иначе как от Пеструхи. Ведь ее еще перед жатвой к быку водили... А может, и от Серой.

Славный телок...

Она обернулась и посмотрела вслед теленку любовным, хозяйским взглядом, но на дороге уже не было никого: теленок вырвался у еврея из рук и, задрвав хвост, мчался в деревню прямо через поле, а еврей бежал ему наперерез так быстро, что полы его халата развевались.

— Насыпь ему соли на хвост да попроси хорошенько, — может, и вернется! — удовлетворенно пробормотала Агата, следя за этой погоней.

— Вот и у Клембов на поле ни живой души!

Но раздумывать об этом было некогда — она подошла уже так близко к деревне, что чужая запах дыма, видела в садах проветривавшиеся перины. Она обводила все глазами, и сердце у нее так и прыгало от радости, от глубокой благодарности судьбе за то, что позволила ей дожить до этой весны и вернуться к своим, в родные места. Ведь она так тяжело хворала зимой и могла умереть среди чужих, но вот привел Господь вернуться!

Только этой надеждой и жила она всю долгую зиму, только она укрепляла ее каждую минуту и защищала от морозов, нужды и смерти.

Агата присела под кустами, чтобы немножко успокоиться, раньше чем войдет в деревню. Но где там! Ее разбирала такая радость, что каждая жилка дрожала, а сердце билось мучительно, как пойманная птица.

— Есть еще добрые и милосердные люди на свете, есть! — шептала она, заботливо осматривая свои котомки. Да, она-таки прикопила немножко, будет на что ее похоронить!

Уж много лет она только о том и думала, чтобы, когда придет ее смертный час, умереть в родной деревне, в избе, на постели с периной, под образами, так, как умирают все почтенные люди. К этому последнему часу она всю жизнь готовилась, копила деньги. В эту мечту вкладывала всю свою душу.

На чердаке у Клембов стоял ее сундук, а в нем хорошая перина, подушки, простыни и наволочки, все чистое, новое, — она хотела, чтобы все было наготове. Да и негде ей было постлать это все — разве была у нее когда-нибудь своя изба или хотя бы своя кровать? Всю жизнь она уютилась по чужим углам, спала на соломе, в хлеву, где придется, где добрые люди позволяли ей голову приклонить. Никогда она не совалась к сильным и богатым, не роптала на долю свою, потому что твердо верила, что все на земле делается по воле божьей и грешный человек не может ничего изменить. И только тайно, робко прося у Бога прощения за гордыню, мечтала и молилась об одном — чтобы ее похоронили, как хоронят почтенных хозяек.

Вот и сейчас, из последних сил дотащившись до деревни, чувствуя, что конец ее близок, она стала торопливо припоминать, все ли у нее приготовлено, не забыла ли чего-нибудь.

Нет, есть все, что нужно! Она несла с собой восковую свечу, которую выпросила, когда ее наняли молиться над каким-то покойником, и бутылочку с освященной водой. Купила и новое кропило и образок Ченстоховской Божьей Матери, который она, умирая, будет держать в руках. Приберегла несколько рублей на похороны... а может быть, хватит и на отпевание, хотя бы в костеле! О том, чтобы ксендз проводил ее на кладбище, она и думать не смела. Разве это возможно! Такая честь и счастье не каждому хозяину выпадает на долю! К тому же всех ее сбережений не хватит, чтобы уплатить за это.

Агата горестно вздохнула и поднялась. Мучил кашель, колото в груди, она вдруг так ослабела, что едва передвигала ноги и каждую минуту приходилось отдыхать.

"Хоть бы до сенокоса дотянуть. Или до начала жатвы!" — мечтала она, радостно приглядываясь к хатам, которые были уже совсем близко. "А потом уже лягу и помру, пойду к тебе, Иисусе сладчайший!" — бормотала она робко, словно моля простить ей такие грешные надежды.

Но вдруг ее душу омрачила забота: кто же примет ее к себе в дом, чтобы она могла умереть спокойно?

"Поищу добрых, милосердных людей и денег немного им пообещаю, так скорее согласятся... Правда, кому охота возиться с чужими да беспорядок в избе устраивать?"

О том, что на это согласятся Клембы, ее родня, она и думать не смела.

"Столько детей, в избе теснота, а теперь куры и гуси сидят на яйцах, им тоже место нужно. Да и невелика честь для таких хозяев, чтобы у них в доме помирали нищенки!"

Так рассуждала она про себя без всякой горечи, поднимаясь на дорогу вдоль высокой плотины, которая не давала озеру разливаться по лугам и капустным полям.

Мельница стояла у самой плотины, но в таком низком месте, что ее запорошенные мукой крыши едва выступали над дорогой. Она работала, грохоча и содрогаюсь.

А слева блестело озеро. Солнце купало золотистые косы в голубой от неба, тихой воде; на берегах, подглядевшимися в озеро ольхами, гоготали и хлопали крыльями гуси, а на улицах, еще не просохших, с веселыми криками бегали ребятишки.

Все в Липцах было на прежнем месте, как тогда, когда она уходила, как всегда, спокон веку. Хаты теснились по обе стороны озера, окруженные дворами и густо разросшимися садами.

Агата брела через силу, и только глаза ее быстро бегали вокруг и все примечали. В доме мельника, который стоял несколько в стороне от дороги и выглядел издали, пожалуй, не хуже какой-нибудь барской усадьбы, в открытых окнах колыхались от ветра белые занавески, а на крыльце сидела мельничиха, окруженная шумным выводком гусей, желтеньких, словно из воска вылепленных, и, ловя то одного, то другого, прижимала к груди и гладила.

Агата поздоровалась с нею и тихонько прошла мимо, радуясь, что ее не учуяли собаки, гревшиеся на солнце у дома.

Она перешла мост, под которым вода с шумом устремлялась на мельничные колёса. За мостом дороги расходились, словно две руки, обнимающие озеро.

Агата постояла минутку в нерешительности, но желание все осмотреть победило усталость, и она повернула налево, хотя эта дорога была длиннее.

Первой с краю стояла кузница. Она была заперта и безмолвна. У ее закоптелых стен валялся передок телеги, несколько ржавых плугов. Кузнеца нигде не было видно, а жена его в одной рубахе и юбке копала грядки в саду у дороги.

Агата останавливалась теперь перед каждой избой и, перегибаясь через низенькие изгороди, с любопытством заглядывала во дворы, в открытые окна и двери. Порой собаки лаяли на нее, но, обнюхав и как будто узнав свою, опять ложились и грелись на солнце.

Она шла медленно, шаг за шагом, еле переводя дух от усталости, а еще больше — от радостного волнения.

Шла тихо, как ветерок, который порой пробежал по озеру и шелестел в рыжих ветвях ольх. Серенькая и неприметная, она сливалась с этими плетнями, с этой подсыхающей землей, с

легкой тенью, падавшей от обнаженных деревьев, и никто не обращал на нее внимания.

А она от души радовалась тому, что все видит таким же, каким оставила осенью.

В хатах готовили завтрак, — из труб поднимался дым, а кое-где из открытых окон доносился запах вареного картофеля.

Кричали дети, тревожно гоготали гуси, сторожившие своих гусенят, и все же в деревне было до странности тихо и пусто. Солнце стояло уже высоко, сеяло на землю чистое золото и гляделось в озеро, а никто не спешил в поле, не стучали телеги, не скрипели плуги, выезжая на пашню.

"На ярмарку, что ли, мужики уехали?" — подумала Агата, еще внимательнее приглядываясь к избам.

Амбар войта уже издали желтел свежим тесом среди безлиственных садов, а на избе Гульбаса, стоявшей рядом, соломенная крыша так растрепалась, что видны были решетины, торчавшие, как голые ребра.

— Ветром сорвало, а им, лентяям, чинить неохота! — пробормотала Агата.

Дальше, в старой, покосившейся избенке жили Прычеки. Выбитые стекла были заткнуты соломой.

А вот и хата солтыса, построенная по старинке, фасадом к дороге. За нею изба Плошков, разделенная на две половины.

Дальше живут Бальцерки; дом их узнаешь сразу, он заметный, потому что девушки чисто выбелили серые стены и покрасили голубой краской оконные рамы.

А там, в старом большом саду, жильё Борыны, первого хозяина и богача в Липцах. Солнце играет в чистых стеклах, стены сверкают, словно только что выбеленные. Двор у них просторный, все службы стоят в ряд, такие крепкие и нарядные, что не у всякого и хата такая есть. Плетни целехоньки, и все в таком порядке, — у любого голландца-колониста не лучше.

Дальше изба Голубов. Агата все избы знала наперечет, помнила, как молитву. И повсюду сегодня было тихо и пусто, только в садах краснели развешанные перины и разная одежда, да кое-где мелькали женщины, копавшие грядки.

В защищенных от ветра уголках огородов из сгнивших головок высаженной капусты уже росли зеленые косички, а под стенами поднимались из серой земли бледные ростки лилий, всходила рассада под прикрытием терновых кустов. На деревьях наливались клейкие почки, под плетнями везде буйно росли крапива и бурьян, а кусты крыжовника оделись светлой молодой зеленью.

Самая настоящая, словно с неба упавшая весна сияла вокруг, трепетала в каждом комке набухшей земли, а в Липцах царила такая унылая, такая необычная тишина!

— Что-то ни единого мужика не видно! Не иначе, как на суд уехали или на сход их всех позвали! — рассуждала Агата, входя в открытые настежь двери костела.

Обедня уже кончилась, ксендз исповедовал прихожан. У исповедальни на скамьях сидели, дожидаясь очереди, десятка полтора мужиков из дальних деревень, безмолвные и сосредоточенные. Только изредка слышались тяжелые вздохи или слова молитвы.

От лампы, висевшей на шнуре перед главным алтарем, тянулись голубые лучи к высоким окнам, за которыми сияло солнце и чирикали воробьи, часто залетая в костел и ютясь под

сводами со стебельками в клювах. Порой ласточки, звонко щебеча, влетали в раскрытую дверь, кружили, как слепые, в холодной тишине у стен и спешили улететь опять на свет божий.

Агата прочитала только краткую молитву — она торопилась: очень уж ей хотелось поскорее увидеть Клембов. Выйдя из костела, она столкнулась лицом к лицу с Ягустинкой.

— Агата! — вскрикнула та с удивлением.

— Да, вот жива еще, хозяйюшка, жива!

Агата хотела поцеловать у нее руку, но та не дала.

— А говорили, будто ты уже ноги протянула где-то в теплых краях... Ну, видно, легкий хлеб Христов тебе не впрок — похоже, что ты на ладан дышишь! — говорила Ягустинка, критически ее разглядывая.

— Твоя правда, хозяйюшка, уж не знаю, как и дотащилась сюда. Скоро, скоро Богу душу отдам!

— К Клембам спешишь?

— А куда же еще! Родня!

— Они тебе обрадуются: котомки-то, я вижу, полнехоньки! Да и денежки, наверное, в узелках припрятаны. Теперь они тебя с великим удовольствием за родню признают!

— А здоровы они, не знаешь? — спросила Агата, расстроенная этими насмешками.

— Здоровы. Только Томек прихворнул маленько, так теперь в остроге лечится.

— Клемб! Томаш! В остроге! Не шути ты так, мне не до смеху!

— Правду тебе говорю. И еще скажу, что он не один сидит, а в хорошей компании — вместе со всей деревней! Да, да, и богатство не помогает, когда суд за решетку посадит да двери крепко замкнет!

— Иисусе Христе! Царица небесная! — ахнула остолбеневшая Агата.

— Беги скорее к Клембовой, там тебя угостят новостями слаще меда! Ха-ха-ха! Празднуют мужички на славу! — язвительно фыркала Ягустинка, и ее злые глаза сверкнули ненавистью.

Агата плелась, как оглушенная, все еще отказываясь верить тому, что услышала. По дороге она встретила несколько знакомых женщин; они здоровались с ней ласково, заговаривали о том о сем, но она, казалось, ничего не слышала. Она дрожала от возраставшей тревоги и нарочно замедляла шаги, чтобы оттянуть ту минуту, когда подтвердится ужасная новость. Долго сидела у ограды плebания, тупо глядя на дом ксендза. На крыльце стоял на одной ноге аист, наблюдая за собаками, которые возились на желтых дорожках сада, а Амброжий и служанка ксендза обкладывали свежим дерном цветник, уже рыжевший молодыми ростками.

Наконец немного собравшись с силами, Агата тихонько вошла во двор Клембов. Дом их стоял рядом с плebанией.

Подходила с трепетом, то и дело хватаясь за плетень и тревожно обводя взглядом сад и дом в глубине двора. Все было тихо. Дверь в сени была открыта настежь, на дворе разлеглась в луже свинья с поросятами, да куры усердно разгребали навоз.

Подобрав пустую лохань, Агата вошла в большую темноватую горницу.

— Слава Иисусу! — едва выговорила она.

— Во веки веков. Кто там? — отозвался через минуту голос из чулана.

— Это я, Агата! (Боже, как у нее колотилось сердце!)

— Агата! Ну что вы скажете, люди добрые! Агата! — быстро заговорила жена Клемба, появляясь на пороге с полным фартуком пискливых гусенят. Старые гусыни, шипя и гогоча, шли за ней.

— Ну, слава тебе, Господи! А говорили, будто бы еще на святках померла, только никто не знал где, и мой даже собирался в канцелярию съездить — разузнать. Садись, устала небось! Вот гусенята у нас вывелись...

— Ишь сколько, хорошо вывелись!

— Да, от пяти гусынь будет без малого шестьдесят штук. Ну, пойдем на крыльцо, надо их покормить и приглядеть, чтобы старые их не потоптали.

Она осторожно спустила гусенят из фартука на землю, и они закопошились у ее ног, как желтенькие клубочки, а старые гуси, радостно гогоча, водили над ними клювами.

Клембова принесла на дощечке мелко изрубленное вареное яйцо, перемешанное с крапивой и кашей, и, сев на корточки, зорко следила за старыми гусями, которые клевали и топтали маленьких и все норовили украсть у них корм.

— Все с отметинами будут, — заметила Агата, садясь на завалинку.

— Да, хорошая порода. Органистиха поменялась со мной яйцами — я давала ей по три за одно... Ну, хорошо, что ты уже воротилась!.. Работы столько, не знаю, за что раньше браться.

— Я сейчас... сейчас примусь... только немножко отдохну... Хворала я и совсем из сил выбилась. Вот только отдышусь и сейчас...

Она хотела встать, взяться за какую-нибудь работу, но пошатнулась, привалилась к стене и со стоном соскользнула на землю.

— Эге, да ты, я вижу, совсем извелась, не работница ты теперь, нет! — сказала Клембова тише, глядя на ее синее, отекавшее лицо и странно искривленное тело.

Она поняла, что от Агаты не только не будет никакой помощи, но еще, пожалуй, хлопот с ней не оберешься. Агата, видимо, прочла эти мысли в озабоченном и хмуром лице хозяйки и сказала робко, заискивающе:

— Не бойся, я у вас места занимать не буду и к миске не полезу, нет! Вот передохну маленько и пойду... Я только хотела вас повидать, узнать, как вы тут... а я уйду... — Глаза ее наполнились слезами.

— Да я тебя не гоню, живи! А захочешь уйти — воля твоя.

— А хлопцы где? Наверное, в поле с Томеком? — спросила, наконец, Агата.

— Так ты ничего не знаешь? Все в остроге!

Агата только руки заломила в ужасе.

— Говорила мне Ягустинка, да я ей не поверила!

— Она сказала чистую правду.

Клембова, вспомнив о своем горе, выпрямилась, и по ее исхудавшему лицу потекли крупные слезы.

Агата смотрела на нее во все глаза, не смея больше расспрашивать.

— Господи Иисусе! В деревне как будто Страшный Суд настал, когда всех забрали и в город увезли. Последний час настал, говорю тебе! Дивлюсь, как это я еще живу и гляжу на белый свет! Вот уж завтра будет три недели, а мне сдается, будто это было вчера. Остались дома только Мацек и девки — они сейчас навоз повезли в поле — да я, сирота несчастная!..

— Пошли прочь, окаянные! Собственных детей топчут, как свиньи! — крикнула она вдруг на гусей и стала сзывать гусенят, которые всей стайкой вслед за матерями убежали во двор.

— Пусть их побегают, воронов нигде не видать, — сказала Агата. — А я за ними присмотрю.

— Где тебе за гусями гоняться, шевельнуться не можешь.

— Да мне уже маленько полегчало, как только я ваш порог переступила.

— Ну, тогда постереги... А я тебе поесть соберу. Может, молочка согреть?

— Спаси тебя Христос, да нынче ведь вербная суббота, молока пить не полагается. Дай кружку кипяточку, а хлеб у меня есть, я его накрошу туда и поем на славу.

Клембова тотчас принесла в чашке кипятку с солью, старуха накрошила в него хлеба и принялась медленно есть, дуя на каждую ложку. А Клембова присела на пороге и, следя глазами за гусенятами, щипавшими траву под плетнем, рассказывала:

— Из-за леса все вышло. Пан тайком от нас продал его евреям. И те сразу стали рубить. Обида-то нам какая... а управы искать не у кого. Что же было делать? Кому жаловаться? К тому же пан так на всех липецких озлился, что ни одного человека на работу не нанял. Ну, мужики сговорились и всей деревней пошли свое добро оборонять. Говорили, что целую деревню не засудят. Да никто и не думал, не гадал, что до этого дело дойдет: ведь свое отстаивали, так за что же карать? Пошли на вырубку, побили лесорубов, потому что они добром не отступились, побили дворовых и всех прогнали из лесу... Своего добились — и правильно сделали, потому что пока нашу часть не выделят, помещик права не имеет лес трогать. Из наших тоже немало народу перепортили; старого Борыну привезли с разбитой головой, это его лесник так отделал, а Борынов Антек за отца потом лесника убил.

— Господи Иисусе! Насмерть убил?

— Насмерть... А старик до сих пор хворает, лежит без памяти. Ему всех больше досталось, да и другим тоже немало: Шимеку Доминиковой ногу перешибли, Матеуша Голуба так избili, что пришлось его домой на санях везти. Стаху Плошке голову разбили, пострадали и другие, — не помню уж, кто и как. Да никто не плакался, не унывал, — довольны были, что отстояли лес. Воротились с песнями, весело, как после победы на войне, и всю-то ночь на радостях пили в корчме, а тем, кто лежал пластом, носили водку домой.

Ну, а на третий день, в воскресенье, с самого утра шел мокрый снег и такая слякоть была, что носа на двор высунуть не хотелось. Только что мы собрались в костел, вдруг Гульбасовы парни как закричат на улице:

— Стражники едут!

Люди очухаться не успели, понаехало их человек тридцать, а с ними и чиновники и весь суд.

Остановились у ксендза. И не рассказать, что творилось, когда начали судить, допрашивать, записывать и людей одного за другим под стражу брать. Никто не отпирался, все были уверены, что дело наше правое, и все, как на духу, говорили чистую правду. Только к вечеру кончился допрос, и хотели они всю деревню, с бабами вместе, забрать, но тут поднялся такой крик, ребятишки ревели, а мужики уже начали колья искать. Пришлось ксендзу с начальством потолковать — и баб не тронули, даже Козлову не взяли, а она здорово ругалась и грозилась. Только мужиков увезли в острог, а Антека Боруны даже веревками приказали связать.

— Батюшки! Веревками!

— И связали, а он веревки-то разорвал, как гнилые нитки! Начальство даже перепугалось — думали, что он ошалел. Стал перед ними да так прямо в глаза и говорит:

— Вы меня крепко в кандалы закуйте и стерегите, не то всех вас убью и на себя руки наложу!..

Это он не в себе был оттого, что отца убили... Сам и руки протянул, чтобы кандалы надели, и ноги подставил. Так его и повезли...

— Матерь Божья! Иисусе милостивый! — стонала Агата.

— Все мне видится, как их брали... До смерти не забуду. Взяли моего с хлопцами... взяли Плошковых и Прычков... И Голубов. Взяли Вахников и Бальцерков, взяли Сохов... А других еще сколько! Почитай, больше полсотни мужиков в тюрьму угнали. Что тут было! Ни какими словами не опишешь! Какой плач поднялся, какой крик, какая ругань страшная... А теперь весна подошла, снег нынче быстро стаял, земля подсохла, так и просит вспашки! Пора пахать, сеять, пора работать, а работать-то некому! Остались в деревне только войт, кузнец да несколько стариков, таких, что еле ноги волочат, а из парней один Ясек, дурачок этот. А тут и рожать приходит время, иные бабы уже слегли, коровы тоже телятся, птицу выводить пора. Да и о своем мужике каждой приходится думать, возить то еду, то денег, то чистую рубаху. Дела столько, что рук не хватает. Самим не управиться, а работников из других деревень теперь не наймешь, — каждому свое прежде обработать нужно.

— А скоро наших выпустят?

— Кто же его знает! Ездил к начальству ксендз, ездил войт — всем один ответ: когда следствие кончится, тогда отпустим, а суд будет потом. Три недели прошло, и ни один еще не вернулся. В четверг Рох тоже ездил узнавать.

— А Боруна жив еще?

— Жив, но еле дышит, без памяти лежит, как колода. Привозила Ганка и докторов и знахарей — никто не помог.

— Уж если человеку пришла пора помирать, разве доктора помогут!

Обе замолчали. Клембова смотрела через сад на далекую тополевую дорогу, ведущую в город, и тихо плакала.

Потом, готовя обед, она постепенно рассказала все, что произошло в деревне за эту зиму и о чем Агата и ведать не ведала.

Старуха только руками разводила да гнулась к земле от ужаса и удивления. Эти новости падали на нее, словно камни, и наполняли ее такой скорбью и болью, что она тоже заплакала.

— Боже ты мой, ходила я по миру и все думала о Липцах, а никогда мне и на ум прийти не

могло, что тут такие дела творятся... Да я за всю свою долгую жизнь о таком не слыхивала! Нечистый тут засел накрепко, что ли?

— Видно, что так!

— А может, это кара божья за злобу людскую, за грехи!

— Как Богу не карать за такой смертный грех, какой сотворили Антек с мачехой? А тут и новые грехи творятся у всех на глазах!

Агата боялась расспрашивать, подняла только дрожащую руку и стала торопливо креститься, шепча молитву.

— Такое несчастье постигло всю деревню, и Борына лежит без памяти, а говорят, — Клембова понизила голос и боязливо осмотрелась по сторонам, — говорят, Ягуся уже с войтом спуталась... Антека нет, Матеуша нет, все другие парни тоже в тюрьме, так для нее любой хорош!.. О Господи! — Она заломила руки.

Агата уже и не откликнулась. Она вдруг почувствовала такую усталость и так была потрясена услышанными новостями, что ушла в хлев поспать.

Только на закате побрела она в деревню к знакомым, а вернулась, когда у Клембов ужинали.

Ей была приготовлена ложка и место за столом — рядом с хозяйкой. Ела Агата очень мало, как привередливый ребенок, и все время тихо рассказывала о тех местах, куда ходила, о том, что видела на свете, и все немало дивились, слушая ее.

А когда наступил вечер, догорели последние отблески зари в окнах и деревня совсем затихла, в избе зажгли огонь и стали понемногу готовиться ко сну, Агата перетасила свои котомки поближе к лампе и начала доставать оттуда принесенные подарки.

Все обступили ее тесным кольцом, затаив дыхание, следя за нею разгоревшимися глазами.

А она сначала раздала всем по освященному образку, потом девушкам бусы, да такие красивые, — они так и переливались всеми цветами! В избе поднялся восторженный визг, девушки, толкая друг друга, примеряли их перед зеркалом и любовались собой, надувая шею, как индюшки. В котомке нашлись и отличные ножи для парней, и целая пачка махорки для Томаша, а напоследок вынула Агата для хозяйки широкий плоеный воротничок с цветной каемкой. Клембова даже руками всплеснула от восторга.

Все радовались подаркам, не раз и не два любовались ими, а Агата, не менее их довольная, с гордостью объясняла, сколько каждая вещь стоит и где куплена.

Они сидели еще долго, до поздней ночи, разговаривая об отсутствующих.

— Так тихо на деревне, что даже страх берет, — сказала Агата, когда уже все примолкли. — А, бывало, весною в эту пору все ходуном ходит от криков да смеха!

— Деревня теперь — как открытая могила. Только плитой закрыть да крест поставить... И помолиться-то некому, некому заупокойную обедню ксендзу заказать... — грустно подтвердила Клембова.

— Правда!.. Ну, хозяйюшка, позволь уж мне на чердак пойти лечь, кости разболелись с дороги, и глаза слипаются.

— Ложись, где приглянется, места хватит.

Старуха собрала свои сумки и, выйдя в сени, начала взбираться по лесенке на чердак. Клембова крикнула ей вслед в открытую дверь.

— Да, чуть не забыла тебе сказать: перинку твою мы взяли из сундука. Марцыся хворала оспой на Масленой, холод был такой, а укрыть нечем, так мы у тебя заняли. Перина уже проветрена, и хоть завтра можно будет отнести ее наверх...

— Перину!.. Что ж, ваша воля... Коли нужна была... Конечно.

Агата не договорила — что-то сдавило ей горло. Ощупью добралась она до сундука и, сев на корточки, подняла крышку, стала торопливо дрожащими руками шарить в нем, ощупывать свое приданое к смертному часу.

Да... Перины нет. А ведь оставила совсем новую. В чистом чехле. Ни разу на ней не спала... Столько времени по перышку собирала на пастбищах, чтобы умереть на перине, как все порядочные хозяйки. А ее отняли!..

Ее душили слезы, сердце готово было разорваться от боли. Долго молилась она, долго плакала и горько жаловалась Иисусу на свою обиду.

Должно быть, час был уже поздний, и где-то пели петухи, возвещая не то полночь, не то перемену погоды.

## II

На следующий день было Вербное воскресенье.

Уже совсем рассвело, но до восхода солнца было еще далеко, когда из Бориновой избы вышла Ганка, укутанная в платок, потому что было довольно холодно.

Она выглянула на черневшую за плетнем дорогу, мокрую от росы, а кое-где и посеребренную инеем. Везде было еще пусто, ни признака жизни. Рассвет погожего дня одевал голубой ризой оцепеневшие от холода верхушки деревьев, но под плетнями еще робко таились последние ночные тени.

Вернувшись на крыльцо и став на колени, — с трудом, так как она со дня на день ожидала родов, Ганка стала молиться, блуждая вокруг заспанными глазами.

День понемногу разгорался белым заревом, утренняя заря словно сквозь сито просачивалась, осыпая огненными брызгами восточный край неба, который поднимался все выше и выше, как золотой балдахин над еще невидимой, но уже ослепляющей своим блеском дароносицей.

Ночью подморозило, и все плетни, мостки, крыши и камни сверкали инеем, а деревья стояли в пушистом белом облаке.

Деревня еще спала, скрытая в сумраке лощины, и только некоторые избы, те, что стояли ближе к дороге, выделялись белыми стенами. По затуманенной глади озера тянулись длинные темноватые полосы течения, похожие на застывающее жидкое стекло.

В тишине непрерывно стучала мельница, и невидимый ручей, таинственно журча, струился по камням.

Петухи раскричались уже вовсю, а в садах звенел хор птиц, когда Ганка очнулась от сморившей ее дремоты. Натруженное, неотдохнувшее тело просило отдыха, но она встряхнулась, протерла глаза и, мысленно припоминая слова молитвы, сошла во двор посмотреть на скот и будить Петрика и Витека.

Прежде всего она заглянула к борову. Он сделал усилие подняться на передние ноги, но не мог — очень уж был жирен — и, повалившись на толстый зад, водил рылом и хрюкал, пока Ганка размешивала ему пойло.

— Ишь, как разжирел, на ногах не устоишь! Сала на тебе будет не меньше, как на четыре пальца! — Она с удовлетворением пощупала ему бока.

Потом открыла дверь в курятник и бросила за порог для приманки горсть свиного корма. Куры разом слетели с насестов, а петухи громко запели.

Запертые рядом гуси встретили ее шипением и гоготаньем. Гусаков она выгнала во двор, и они немедленно затеяли драку с курами, а из-под сидевших в гнездах гусынь стала вынимать яйца и просматривать их на свет.

— Того и гляди, вылупятся! — вслух подумала она, уловив едва слышное постукивание клювов в яйцах.

Когда она шла к конюшне, уже и Лапа вылез из своей конуры. Он потягивался и зевал, не обращая внимания на воинственно шипевших на него гусаков.

— Ах ты лодырь, спит всю ночь, как батрак. Нет того, чтобы дом посторожить!

Пес завилял хвостом, радостно залаял, потом перемахнул через кур, так что полетели перья, и стал прыгать Ганке на грудь, лизать ей руки. Волей-неволей пришлось его погладить.

— Не всякий человек так ласку чувствует, как этот пес. Знает, бестия, хозяев!

Она выпрямилась и подняла глаза к седым от изморози крышам, где в эту минуту ласточки, сидевшие рядом на карнизе, мелодично защебетали.

— Петрик! Белый день на дворе! — крикнула она, стуча кулаком в дверь конюшни, и, услышав его бормотанье и лязг отодвигаемого засова, открыла соседнюю дверь в хлев.

Коровы лежали рядом перед яслями.

— Витек! Спит, чучело, как после свадьбы!

Мальчик сразу проснулся, соскочил с нар и стал торопливо натягивать штанишки, виновато бормоча что-то.

— Подбрось коровам сена, пусть поедят перед доением, и сейчас же иди в дом картошку чистить! А Лысуле сена не давай, пусть сама ее кормит, — добавила она резко. Лысуля была корова Ягуси.

— Так она ее кормит, что корова ревмя-ревет и с голоду подстилку жрет.

— Пусть подышает, не мой убыток! — зло отрезала Ганка.

Витек еще что-то буркнул, но, как только хозяйка вышла, шлепнулся поперек нар, как был, с подтяжкой в руке, чтобы еще хоть пять минут подремать.

А Ганка зашла в овин, где, укрытый соломой, лежал картофель, отобранный для посадки, и заглянула под навес — здесь складывали всякую хозяйственную утварь. Лапа вприпрыжку

бежал впереди, каждую минуту отбегая к гусакам и задирая их. Внимательно осмотрев все и проверив, не случилось ли ночью какой беды (она это делала каждое утро), Ганка направилась к калитке. Она хотела выйти в поле и взглянуть на озимь.

Уже и солнце встало, огненным вихрем пронизало сады, иней засверкал под его лучами, с деревьев закапало. Поднялся ветер и тихо зашелестел в ветвях. Жаворонки заливались все звонче, в деревне и на дорогах началось движение — слышен был плеск воды, которую набирали из озера, скрипели ворота, кричали где-то гуси, лаяла собака, иногда в утренней тишине звучали голоса людей.

Деревня просыпалась немного позднее обычного — ведь сегодня было воскресенье и каждому хотелось понежить под периной усталые кости.

Ганка ни на что не обращала внимания, она вся ушла в свои мысли. Губы машинально шептали молитву, но душа была далеко. Ею овладели воспоминания.

Перед ее сиявшими радостью глазами расстилались широкие поля, замкнутые стеной далекого леса. Розовое пламя утреннего солнца заливало лес, и лучи его выхватывали из синеватой чащи янтарные толстые ели. Вся земля, пробуждаясь, трепетала в золотом блеске. Озимь мокрой зеленой шерстью покрывала поля, в бороздах местами серебряными стружками блестела вода. Во влажном и прохладном дыхании полей была та весенняя тишина, в которой все растет и выходит из земли на свет.

Но не о том думала Ганка, не на то глядела. В памяти вставали воспоминания о всех пережитых несчастьях, голоде, обидах, об измене Антека, о боли, острой как гвозди, о всех печалях и муках — столько их было, что она сама удивлялась, как это она могла все перетерпеть.

И все-таки перетерпела и вот дождалась перемены к лучшему! Ведь она опять хозяйка, опять на своей земле! И кто имеет право выгнать ее отсюда, кто может это сделать?

Она за эти полгода выстрадала столько, сколько иной не выстрадает за целую жизнь. И она перенесет все, что Господу угодно будет, все выдержит и дождетя того, что Антек остепенится и что земля перейдет к ним навсегда.

Три недели прошло, а ей кажется, будто вчера это было, вчера мужики шли оборонять свой лес...

Она тогда не пошла со всеми, — трудно это было в ее положении и небезопасно. Она сильно беспокоилась за Антека: ей сказали, что он не пошел с народом, и она решила, что он остался в деревне назло старику, а может быть и затем, чтобы в его отсутствие встретиться где-нибудь с Ягусей. Это ее мучило, но искать его она все же не пошла.

И вдруг перед самым полуднем примчался гульбасов парнишка и кричит:

— Побили мы дворовых! Побили!

И, как угорелый, побежал дальше.

Она и Клембова пошли навстречу мужикам. От леса бежал сын Доминиковой и уже издали кричал:

— Борыну убили, Антека убили, и Матеуша, и других!

Добежал, взмахнул ручонками, что-то пробормотал и упал.

Пришлось ему потом зубы разжимать, чтобы влить воды, он был без памяти.

А у Ганки с той минуты душа окаменела от ужаса.

Счастье, что еще раньше, чем парня в чувство привели, мужики высыпали из леса на дорогу и рассказали, как было дело. А скоро она и сама увидела Антека живого — он шагал у отцовских саней, синий, как труп, весь в крови. Он был тогда, как помешанный.

У нее, конечно, сердце разрывалось, ее душили слезы, но она пересилила себя, когда отец ее, старый Былица, отвел ее в сторону и тихо сказал:

— Старик сейчас помрет, Антек не в себе, а у Боруны в избе нет никого. Смотри, если кузнец туда заберется, его уже никто не выгонит!

Она сразу все сообразила, побежала домой, забрала детей да из вещей что под руку попало, за остальным попросила Веронку присмотреть и потихоньку стала перебираться на старое место, на заднюю половину борыновой избы.

Еще Боруны перевязывал Амброжий, еще не разошелся народ по домам и вся деревня радостно шумела, а кое-где раздавались стоны раненых, когда Ганка перебралась в избу старика да так там и осталась.

И зорко стерегла все: ведь земля достанется Антеку, а старик мог каждую минуту умереть.

Уж это все знают: кто первый доберется до наследства и вцепится в него, у того вырвать его нелегко, и закон будет на его стороне.

Кузнец орал, гнал ее из дома, сильно разгневанный тем, что она его опередила, ну, а ей что до его криков и угроз! Станет она спрашивать у кого-то позволения, как бы не так! Она уцепилась за землю и стерегла ее, как собака, обороняла свое добро — знала, что старик скоро умрет, а Антека заберут — об этом ее предупредил Рох.

На кого ей было надеяться? У кого искать защиты? Ведь известно: на Бога надейся, а сам не плошай.

Не плачем и воем своего добьешься, а цепкой, упрямой хваткой — это она уже знала, знала по опыту!

И, хотя Антека увезли, она скоро успокоилась. Против судьбы разве пойдешь? Где человеку, крупинке малой, противиться тому, что суждено!

Да и недосуг ей было горевать и плакать — ведь это хозяйство взвалила на свои плечи.

Осталась одна, как кустик на голом пустыре. Но работы она не боялась, не испугалась и людей. А против нее была Ягна, были кузнец с женой, которые сильно на нее злились, был войт, который обхаживал Ягну и оттого стоял за нее горой. Даже ксендза Доминикова настроила против Ганки.

И все-таки она не сдалась, она с каждым днем все глубже врастала в землю, все крепче держала в руках хозяйство. Не прошло и двух недель, а уже все в доме велось по ее воле, ее умом, ее силами.

Она недоедала, недосыпала, не давала себе роздыху, работала, как вол в ярме, с рассвета до поздней ночи.

Очень робкая от природы и забитая мужем, Ганка не привыкла решать сама, и подчас ей бывало так трудно, что руки опускались. Но ненависть к Ягне и страх, что при малейшей слабости враги выживут ее из дома, поддерживали ее в этой борьбе.

И она словно росла на глазах у всех, вызывая удивление и уважение к себе.

— Ишь ты! Прежде казалось, что ей до трех не сосчитать, а теперь она хорошего мужика стоит! — говорили о ней первые в деревне хозяйки.

Плошкова и другие даже готовы были с ней подружиться, охотно давали советы и помогали, чем могли.

Она была им благодарна, но ни с одной близко не сходилась, и ее не тешили их милости — нелегко ей было забыть недавние обиды.

Она была не охотница до пустой болтовни, не любила стоять во дворе с соседками и перемывать людям косточки.

Мало ли у нее было своих забот, где тут чужими заниматься!

Ганке вспомнилась Ягна, с которой она вела ожесточенную, молчаливую и упорную войну. Самая мысль о ней была для Ганки, как нож в сердце. Она сорвалась с места и пошла в дом.

Она еще больше рассердилась, увидев, что в доме все спят да и на дворе тихо.

Накричала на Витека, согнала с нар Петрика, досталось заодно и Юзьке: солнце уже вот как высоко, а она валяется!

— Только на минуту отойди, и все по углам дрыхнут! — ворчала Ганка, растапливая печь.

Она выпустила детей на крыльцо, сунув им по ломтю хлеба, и позвала Лапу, чтобы он поиграл с ними, а сама пошла взглянуть на старика.

На половине Борыны было еще совсем тихо. Ганка сердито хлопнула дверью, но стук не разбудил Ягну. А старик лежал так же, как она его оставила накануне вечером: на красной полосатой подушке выделялось синее, обросшее бородой лицо, такое изможденное и застывшее, что оно походило на вырезанный из дерева лик угодника. Широко открытые глаза неподвижно смотрели в одну точку, ничего не видя, голова была обвязана тряпками, а раскинутые руки висели бессильно, как надломленные сучья.

Ганка оправила ему постель, сдвинула перину пониже к ногам, потому что в комнате было жарко, потом стала его поить, вливая в рот свежую воду. Он пил медленно и ни разу не пошевелился, только в глазах что-то блеснуло на миг — так иногда река вдруг блеснет сквозь ночной мрак.

Вздыхнув от жалости к нему, Ганка нарочно стукнула своим деревянным башмаком по ведерку, сердито поглядев на спящую Ягусю.

Но Ягуся и тут не проснулась. Она лежала на боку, лицом к двери, и, вероятно из-за жары, сдвинула перину до половины груди. Ее голые плечи и шея нежно розовели и тихо шевелились от дыхания, из-за полураскрытых вишневых губ белейшим жемчугом блестели зубы, а незаплетенные пышные волосы, как чистый, высушенный на солнце лен, рассыпались по белой подушке и сплывали до пола.

— Исцарапать бы тебе ногтями холеное личико, так не гордилась бы ты перед другими своей красотой! — прошептала Ганка, и от ненависти у нее даже закололо в сердце, а пальцы сами скрючились и потянулись к Ягусе. Но тут же она бессознательным жестом пригладила волосы, погляделась в зеркальце, висевшее на окне, и отшатнулась, увидев свое исхудалое лицо, все в желтых пятнах, и воспаленные глаза.

"Ни о чем не тужит, жрет до отвала, высыпается в тепле, детей не родит, — отчего же ей не

быть красивой!" — подумала она с горечью и, выходя, с таким треском захлопнула дверь, что стекла задребезжали.

Ягна, наконец, проснулась. Только старик лежал все так же неподвижно и смотрел в пространство.

Он лежал уже целых три недели, с того дня, как его привезли из лесу. По временам как будто приходил в себя, звал Ягну, брал ее за руки, пытался что-то сказать и снова впадал в беспамятство, не произнеся ни единого слова.

Рох привозил к нему из города врача, тот его осмотрел, написал рецепт, взял десять рублей, и лекарства стоили немало, а помогли они столько же, сколько бесплатное лечение Доминиковой, "заговаривавшей" болезнь.

Скоро все поняли, что он уже не поправится, и оставили его в покое. Все были убеждены, что если болезнь смертельная, так сколько ни привози лекарств и докторов — все равно человек умрет, а если ему суждено выздороветь, так он и без всякой помощи выздоровеет.

Теперь весь уход за ним состоял в том, что ему часто меняли на голове мокрые тряпки и давали пить — воду или молоко. Есть он не мог — сейчас же начиналась рвота.

Понимающие люди, а особенно Амброжий, у которого был богатый опыт, говорили, что, если Борына не придет в сознание, смерть его будет легкой. Ее ожидали со дня на день, а она не приходила. Всем надоело долгое ожидание, потому что за стариком нужно было ухаживать.

Собственно, это была прежде всего обязанность Ягны.

Но Ягна и часу не могла высидеть дома. Старик ей окончательно опротивел, тяготила постоянная война с Ганкой, которая ее от всего отстранила и следила за ней, как за воровкой какой-нибудь. Что ж удивительного в том, что ее тянуло из дому на люди, на волю, в пригретые солнцем просторы. И, свалив на Юзю присмотр за стариком, она целые дни носилась неизвестно где и нередко возвращалась уже поздно вечером.

А Юзя ухаживала за стариком только при других: она была еще глупая девчонка и непоседа. Пришлось Ганке заботы о больном взять на себя. Кузнец и его жена приходили чуть не десять раз в день, но только для того, чтобы следить, как бы она, Ганка, чего-нибудь не унесла из дому, а главное — они ждали, не заговорит ли старик, не сделает ли какого-нибудь распоряжения насчет наследства.

Как псы около издыхающего барана ворча спорят, кто раньше вонзит в него зубы и урвет себе лучший кусок, так грызлись они между собой. Кузнец и сейчас не зевал — хватал, что только под руку подвернется, не брезгая и старым ремешком или куском доски. Приходилось у него чуть не силой отнимать все, следить за каждым его шагом, и дня не проходило без ссор и яростной ругани.

Пословица говорит: "Кто рано встает, тому Бог дает". И это верно. А кузнец готов был встать в полночь и бежать за десять деревень, если дело шло о хорошей наживе. Жадный был мужик и пронырлив на редкость!

Вот и сегодня, не успела Ягна встать с постели и надеть юбку, как дверь скрипнула, кузнец шмыгнул в комнату и направился прямо к постели старика.

— Ничего не говорил? — спросил он, заглядывая больному в глаза.

— Лежит, как лежал! — ответила Ягна, подбирая волосы под платок.

Она стояла еще босая, в одной сорочке и юбке, немного заспанная, и была так хороша, такой

жаркой истомой веяло от нее, что кузнец долго оглядывал ее прищуренными глазами.

— А знаешь, — начал он, подойдя поближе, — органист мне проговорился, что у старого должно быть много наличных денег, потому что он еще перед Рождеством хотел ссудить одному мужику из Дембиц целых пять сотен, да не сошлись насчет процентов. Значит, эти деньги у него где-нибудь в избе припрятаны... Хорошенько смотри за Ганкой, — если она до них первая доберется, так уж никто их не увидит... А ты потихоньку, помаленьку обшарь все углы, только так, чтобы никто не заметил... Слышишь, что я говорю!

— Слышу! — Ягна набросила на плечи платок, потому что кузнец словно ощупывал ее всю воровскими глазами.

Он обошел комнату, как будто невзначай заглянул за образа, внимательно осмотрел каждый уголок.

— А ключи от чулана у тебя? — Он указал глазами на низенькую запертую дверь.

— Вон висит у окна, за распятием.

— Отец у меня долото брал, еще с месяц тому, а теперь оно мне нужно и никак найти не могу. Может, оно там среди всякой рухляди валяется.

— Ищите сами, я там рыться не стану.

Но он, услышав в сенях голос Ганки, отошел от двери, повесил ключ на место и схватился за шапку.

— Завтра поищу... Домой надо бежать. Что, Рох приехал?

— А мне откуда знать? У Ганки спросите.

Он постоял еще минутку, пощипывая рыжие усы, а глаза так и шныряли по всем углам. Потом усмехнулся чему-то про себя и вышел.

Ягна сбросила с плеч платок и принялась застилать постель и наводить в комнате порядок. Время от времени она украдкой посматривала на мужа и старалась ходить по комнате так, чтобы не встретить его всегда открытых глаз.

Да, он был ей противен, она его боялась и ненавидела всеми силами души за пережитые обиды. И всякий раз, когда он подзывал ее и обнимал горячими и липкими руками, она замирала от страха и отвращения, потому что от него веяло смертью. Но, несмотря на это, она, пожалуй, искреннее всех желала его выздоровления.

Теперь только она понимала, что утратит, когда его не станет. При нем она чувствовала себя хозяйкой, все ее слушались, и другие женщины и девушки волей-неволей должны были оказывать ей уважение, уступать первое место. Как же, ведь она была женой Борыны! А Мацей, хотя дома был зол, как пес, и давно она не слыхала от него доброго слова, на людях был к ней очень внимателен и следил, чтобы ее никто не смел обидеть.

Прежде она этим не дорожила, а с тех пор, как Ганка забралась в дом и начала верховодить и отстранять ее от хозяйства, она почувствовала себя всеми брошенной и обиженной.

Не земли ей было жалко — что ей земля, хозяйство? Они ее интересовали столько же, сколько прошлогодний снег. Правда, она уже привыкла быть полновластной хозяйкой, любила щеголять своим богатством, но все же она не стала бы тужить, потеряв его, — ей и у матери жилось не худо. Одно было нестерпимо обидно — что приходится смиряться перед Ганкой, женой Антека. Это задевало Ягну за живое, рождало злобу и желание делать все

наперекор.

К тому же и мать и кузнец изо дня в день ее подзуживали. Не будь их, она бы, может быть, скоро сдалась — очень уж ей надоели вечные ссоры и не раз хотелось все бросить и уйти к матери.

— И думать не смей! Сиди там, покуда он не помрет, стереги свое! — строго приказывала мать.

И она сидела, хотя ей было невыносимо тошно, — ведь целыми днями не с кем слова сказать, ни посмеяться, ни выбежать к кому-нибудь...

А в доме кряхтел старик, вертелась Ганка, всегда готовая ругаться, шла непрерывная война, и Ягне становилось уже невмоготу.

У матери тоже невозможно было долю усидеть.

Ягна бегала с куделью по знакомым, но и там было нерадостно: во всей деревне остались одни женщины, заплаканные, сердитые и раскисшие, как мартовские дни; и повсюду одна и та же песня — бесконечные жалобы! И нигде ни единого парня днем с огнем не сыщешь!

Ягна томилась, места себе не находила от тоски.

К тому же все чаще и чаще одолевали ее воспоминания об Антеке.

Правда, под конец, перед тем как его увезли, она очень к нему охладела, боялась его, и свидания с ним были для нее мучением. А напоследок он ее так обидел, что и теперь еще при одном воспоминании сердце наполнялось горечью. Но прежде у нее было к кому выходить, она знала, что там, под сеновалом, каждый вечер кто-то с нетерпением ее ждет, что есть человек, которому радостно покоряться... И, хотя она дрожала от страха, что ее выследят, и Антек не раз сердился, что она заставляет себя долго ждать, она охотно бежала к нему и забывала обо всем на свете, когда он крепко прижимал ее к себе, целовал, как безумный... Нечего было и думать сопротивляться, — когда он обнимал, она вся замирала, ее кидало в жар. И нередко потом она не могла заснуть до полуночи, прижимаясь горевшим от поцелуев лицом к холодной стене, взволнованная сладкими и жгучими воспоминаниями.

А теперь она одна, как перст. Правда, никто за ней не подглядывает, нет над ней хозяина, но она больше не рвется ни к кому, никто не ждет ее у перелаза, никто не требует ласк...

Войт таскается за ней, щиплет, нашептывает ласковые слова, прижимает к плетню при встречах, зовет в корчму, угощает и пристаёт с ласками, но она ему это позволяет только оттого, что ей очень скучно, не с кем посмеяться. А ему далеко до Антека, как собаке — до хозяина.

И еще она с войтом гуляет назло всей деревне, назло ему, Антеку! Ведь он ее больно обидел, в грязь втоптал напоследок! Целую ночь и целый день просидел около отца, даже спал на ее кровати, ни на шаг из избы не отлучался, а ее словно и не замечал, хотя она все подходила к нему и, как собака, глазами молила сжалиться над нею.

Нет, ни разу не взглянул на нее! Видел только отца, да Ганку и детей, даже Лапу видел — только не ее, Ягну!

Может быть, поэтому она совсем его разлюбила. Когда ему надевали кандалы, он показался ей каким-то другим, чужим человеком, и она даже не жалела его и с тайным злорадством смотрела на Ганку, которая рвала на себе волосы, билась головой о стену и выла, как сука, когда топят ее щенят. А Ягна с отвращением отводила глаза от лица Антека: оно было страшно, как лицо безумного.

И таким чужим стал он ей тогда, что этого Антека она даже и помнила теперь неясно, как человека, которого видела только один раз.

Зато тем ярче помнился ей Антек таким, каким он был в дни любви и безумств, в дни свиданий, объятий, поцелуев и восторгов... Тот Антек, к кому и сейчас в бессонные ночи рвалось ее измученное сердце, крича от горя и невыразимой тоски.

К тем дням счастья летела Ягусина душа, к тому Антеку, не зная, где он, живет ли он еще на белом свете.

Вот и теперь вставал он у нее в памяти, как сладостный сон от которого так не хочется просыпаться, но вдруг опять раздался за стеной крикливый голос Ганки.

— Ишь, разошлась, визжит, как драная кошка! — пробормотала Ягна, очнувшись.

Солнце уже заглядывало в боковое окно и озаряло красным светом темноватую комнату. В саду весело щебетали птицы, и, видно, потеплело, так как с крыши стеклянными бусами стекал растаявший иней. В открытое окно с утренним ветерком влетали крики гусей, плескавшихся в озере.

Ягна кружила по комнате, тихонько напевая, как щегленок. Было воскресенье, и она собиралась с вербой в костел, уже с вечера в кувшине стояли наготове веточки красных лоз, осыпанных серебристыми "барашками", немного увядшие, потому что она забыла налить в кувшин воды. Она стала их заботливо обрызгивать, но Витек крикнул ей из-за двери:

— Хозяйка велела, чтобы вы свою корову накормили, она мычит с голоду.

— Скажи, что это не ее дело! — огрызнулась она громко и прислушалась, чтобы узнать, что закричит в ответ Ганка. — А, верещи, пока язык не устанет, меня нынче не выведешь из себя!

И преспокойно начала вынимать из сундука наряды и раскладывать их на кровати, выбирая, что надеть сегодня в костел. Но вдруг нахмурилась, опечалилась — так иногда туча набегит на солнце, и вокруг сразу потемнеет. Зачем ей наряжаться? Для кого? Для завистливых женских глаз, оценивающих каждую ленточку на ней! Чтобы бабам было о чем судачить за ее спиной?

Ягна недовольно отвернулась от разложенных нарядов и, сев у окна, принялась расчесывать свои пышные светлые волосы, грустно поглядывая на залитую солнцем деревню. Среди садов белели хаты, столбы голубого дыма поднимались к небу. На другой стороне озера, на дороге, заслоненной деревьями, проходили иногда бабы — красные юбки отражались в воде, мелькали в светлой тени прибрежных деревьев. Проплывали гуси белыми цепочками — казалось, они плывут в голубой бездне отраженного в воде неба, оставляя за собой черные полукруги, похожие на тихо ползущих змей. Проворные ласточки пролетали низко, сверкая белыми грудками. Где-то у водопоя мычали коровы и лаяла собака.

Ягна скоро перестала замечать все это, потому что взгляд ее потонул в вышине, там, где на влажном небе паслись стада облаков, белых и пушистых, как барашки, а где-то за ними, высоко, тянулись птицы, и только крики их, протяжные и унылые, долетали до земли. От этих криков сердце Ягны сжала давно подстерегавшая его тоска. Угасший взор ее бродил по качавшимся деревьям, по воде, в которой, утопая в лазури, плыли те же облака. Но она ничего не видела из-за крупных слез, которые застилали ей глаза и катились одна за другой по бледному лицу, как прозрачные бусинки рассыпавшихся четок.

Понимала ли она, что с нею! Нет, она только чувствовала, что ее что-то подхватывает и несет, что она готова идти на край света, куда глаза глядят, куда поведет эта непреодолимая

тоска. И плакала она помимо воли, почти не сознавая этого и не страдая, — так деревцо, осыпанное цветами, весенним утром, когда пригреет его солнце и качает ветер, роняет обильную росу и, вбирая из земли живительные соки, протягивает к небу цветущие ветви.

— Витек! Ступай доложи этой пани, что завтрак подан! — закричала Ганка.

Ягна очнулась, утерла слезы, причесалась и торопливо пошла на половину Ганки.

Там уже все сидели за столом. Юзька поливала сметаной, прожаренной с луком, картофель в большой миске, от которой шел пар, и все совали в нее ложки, жадно глядя на вкусную еду.

Ганка сидела на первом месте, Петрик в конце стола, а рядом с ним, прямо на полу, присел Витек. Юзя ела стоя, потому что ей все время приходилось подбавлять из горшка картофель, а дети сидели у печки за изрядной миской и ложками отгоняли Лапу, который то и дело хватал картошку и завтракал вместе с ними.

У Ягны было свое место — у двери, против Петрика.

Ели медленно, исподлобья поглядывая друг на друга.

Напрасно Юзька болтала без умолку и Петрик изредка вставлял слово-другое, а под конец и Ганка, тронутая заплаканными и грустными глазами Ягны, стала заговаривать с нею, — Ягна как воды в рот набрала.

— Витек, а кто тебе такую шишку набил! — спросила Ганка.

— Это я об ясли стукнулся! — Витек покраснел, как рак, и тер ушибленное место, многозначительно поглядывая на Юзьку.

— А вербу ты уже наломал?

— Сейчас поем и сбегаю за нею, — виновато сказал Витек, торопливо доедая свою порцию.

Ягна положила ложку и вышла.

— Опять ее какая-то муха укусила! — шепнула Юзька, подливая Петрику борща.

— Не всякий может тараторить без умолку, как ты. А что, она корову уже подоила?

— Взяла сейчас подойник, — верно, в хлев пошла.

— Да, вот что, Юзя: надо для Сивули жмых приготовить! Она не сегодня-завтра отелится.

— Бычок у нее будет! — объявил Витек, вставая.

— Дурак! — буркнул презрительно Петрик. Он отпустил немного пояс, потому что поел основательно, зажег о головню папиросу и вышел вместе с Витеком.

Женщины молча принялись за работу: Юзька мыла посуду, а Ганка убирала постели.

— Пойдешь в костел с вербой, Гануся?

— Ты с Витеком ступай. Петрик тоже может идти, пусть только сперва лошадей почистит да задаст им корм. А я останусь дома — за отцом пригляжу... и, может, Рох сегодня приедет с вестями от Антека.

— Не сказать ли Ягустинке, чтобы завтра пришла картошку перебирать?

— Скажи. Одним нам не управиться, а перебирать надо поскорее.

— Да заодно бы уж и навоз в поле раскидать.

— Петрик завтра к полудню, наверное, кончит возить, после обеда они с Витеком примутся раскидывать, а в свободное время и ты им поможешь...

За окнами поднялся гусиный крик, и в горницу влетел запыхавшийся Витек.

— Ты даже гусям покою не даешь!

— Они меня щипать начали, а я отбивался.

Он бросил на сундук целую охапку еще мокрых от росы красных веток, осыпанных серыми "барашками".

Юзя принялась их разбирать и каждый пучок перевязывала красной шерстяной ниткой.

— Это тебя аист клюнул в лоб? — спросила она тихонько у Витека.

— Ну да, он, а кто же еще? Ты только меня не выдавай, Юзя! — Он оглянулся на Ганку, достававшую из сундука праздничную одежду. — Сейчас тебе расскажу, как дело было... Я высмотрел, что его на ночь оставляют на крыльце... Подкрался поздно вечером, когда в плербании все спали... И уже было схватил его... Хоть он меня и клюнул, все равно я бы его курткой обернул и унес. Да тут собаки меня учуяли... Вот хоть и знают меня, а так лаяли, окаянные, что пришлось удирать. Даже штанину мне разорвали. Да я все равно не отступлюсь...

— А что если ксендз узнает, что ты у него аиста унес?

— Да кто ему скажет! А я непременно аиста унесу, потому что он мой.

— Где же ты его спрячешь? Как бы его опять у тебя не отняли.

— Уж я такое местечко нашел, что и полиция не пронюхает!.. А потом, когда все забудут, приведу его в хату и скажу, что это я нового приманил. Кто же его узнает! Только ты, Юзя, не выдавай меня! Я тебе каких-нибудь птичек наловлю, а то и зайчика молодого принесу.

— Мальчишка я, что ли, чтобы птичками забавляться? Одевайся скорее, пойдем вместе в костел.

— Юзя, а ты дашь мне нести вербу!

— Чего захотел! Это только женщины несут вербу святить!

— Я у костела ее тебе отдам, только вот по деревне бы пронести ее!

Он просил так горячо, что Юзя обещала. Она кинулась навстречу входившей Настке, уже разодетой, чтобы идти в костел. У Настки тоже в руках была верба.

— Узнала что-нибудь новое о Матеуше? — спросила у нее Ганка, поздоровавшись.

— Только то, что войт вчера говорил: лучше ему.

— Ничего войт не знает! Брешет, что в голову придет.

— Да он то же самое говорил ксендзу!

— А про Антека ничего не мог мне сказать...

— Потому что Матеуш сидит вместе со всеми, а Антек отдельно.

— Э!.. Войт просто так врет, чтобы было с чем к людям в избу зайти.

— Так он и к вам заходил?

— Каждый день заходит, — да не к нам, а к Ягусе. У них какие-то свои дела, вот и сходятся во дворе, от людей подальше.

Ганка сказала это тихо и с ударением, увидев в окно, что Ягна сходит с крыльца, нарядно одетая,

с молитвенником и вербой в руках. Она долго смотрела ей вслед.

— Опоздаете, девки! Народ уже гурьбой валит по дороге.

— Нет, еще не звонили.

Но тут как раз загудел колокол, сзывая на молитву, и звонил долго, медленно и громко.

Через несколько минут в доме осталась одна Ганка, все ушли в костел.

Ганка поставила в печь обед, приделалась и, сев с детьми на крыльце, принялась их вычесывать, — в будни у нее на это не хватало времени.

Солнце поднялось уже довольно высоко, из всех ворот выходили люди, спеша в костел, и на дорогах, как маки, алели наряды женщин, слышался говор, крики ребят, которые забавлялись тем, что швыряли камешки в озеро и в птиц. Изредка гроыхали телеги, полные людей, — это ехали жители других деревень. Проходили какие-то незнакомые мужики. Наконец, прошли все, и улицы опустели и затихли.

Вычесав детей, Ганка усадила их во дворе на соломе, зашла в избу присмотреть за стоявшими на огне горшками, потом вернулась на крыльцо и стала молиться, перебирая четки. Молитвы она твердила наизусть, потому что читать не умела.

Время близилось уже к полудню, в деревне стояла праздничная тишина, не слышно было ни единого голоса, только чирикали воробьи да щебетали ласточки, лепившие гнезда под стрехой. Погода была теплая. Ранняя весна только что коснулась земли и деревьев. Небо было молодое, густо-синее, словно только что умытое. Сады стояли неподвижно, поднимая к солнцу ветви, осыпанные набухшими почками, и только на ольхах, окаймлявших озеро, тихо, словно от дыхания, шевелились желтые ветки, а на тополях рыжие, клейкие и пахучие, будто истекающие медом почки раскрывались на свету, как клювы птенчиков.

На крыльце изрядно припекало, и даже мухи уже ползали по нагретым стенам, а иногда пролетала пчела и, жужжа, падала на маргаритки, выглядывавшие из-под плетня, или носилась по кустам, на которых бушевало зеленое пламя молодой листвы.

Но с полей и от леса еще веял резкий и сырой ветер.

Служба в костеле, должно быть, уже близилась к концу, в тихом весеннем воздухе слышно было отдаленное пение, звуки органа, и по временам частым дождем рассыпался замирающий звон колокольчика.

Время текло медленно, в тишине даже птицы замолкли, когда стало припекать солнце, и только вороны, подстерегая гусенят, кружили низко над озером, а гусаки, завидя их, тревожно

гоготали. Заклекотал где-то аист и пролетел так близко, что его длинная тень побежала по земле.

Ганка усердно молилась, присматривая в то же время за игравшими детьми и часто заходя в дом, чтобы взглянуть на старика.

А он лежал, как всегда, неподвижно и смотрел в пространство.

Он медленно догорал, подходил с каждым днем все ближе к своему смертному часу, как колосистая рожь созревает на солнце, дожидаясь острого серпа. Он никого не узнавал и даже, когда звал Ягну и ощупью брал ее за руки, смотрел не на нее, а куда-то в сторону. Однако Ганке казалось, что, услышав ее голос, он шевелит губами и смотрит так, как будто хочет что-то сказать...

Никакой перемены в его состоянии не замечалось, и тем, кто на него смотрел, даже плакать хотелось от жалости.

Господи, кто мог этого ожидать! Такой хозяин, такой богач, умница, каких мало, и вот лежит, как разбитое молнией дерево, еще в зеленых ветвях, но уже обреченное.

Лежит человек, не мертвый и не живой, и помочь ему может только милосердный Бог. О, судьба человеческая, судьба неумолимая! Ты приходишь, когда никто тебя не ждет, среди бела дня или во мраке ночи, и уносишь человека, как былинку, в печальный край смерти!

Вот о чем с грустью думала Ганка, сидя у постели Борыны и поглядывая в окно. Она вздохнула раз, другой, отложила четки и пошла доить коров — вздохи вздохами, а работа прежде всего.

Когда она вернулась с полными подойниками, все уже были дома. Юзя рассказала, о чем ксендз говорил с амвона и кто из знакомых был в костеле. В избе и на крыльце стало шумно, потому что с Юзей пришли несколько подружек. Все они глотали серенькие "барашки" с освященной вербы — в деревнях верили, что они охраняют от болезней горла.

Смеху было при этом много, потому что некоторые не умели глотать, давились, и чтобы проглоченное легче проскочило, нужно было колотить их в спину кулаком, что Витек и делал с превеликим удовольствием.

Ягна не пришла к обеду. Видели, как она шла из костела с матерью и семьей кузнеца.

Только что пообедали и встали из-за стола, как вошел Рох. Все радостно бросились к нему навстречу, потому что он за это время стал для них близким человеком. А он здоровался с каждым отдельно, каждому говорил что-нибудь и целовал в голову. Ему подали обед, но он есть не стал — очень уж был утомлен. Сидел и озабоченно обводил глазами избу. Ганка внимательно следила за его взглядом, не решаясь спросить, какие он привез вести.

— Ну, виделся я с Антеком! — сказал он, наконец, вполголоса, ни на кого не глядя.

Ганка вскочила с сундука. Страх так сильно сжал ей сердце, что она ни слова не могла вымолвить.

— Он здоров и бодр. Хотя надзиратель нас караулил, мы с ним разговаривали целый час.

— В цепях он? — с трудом выговорила Ганка.

— С чего ты это взяла? Ходит, как все другие. Ему там не так уж худо, не бойся!

— А Козел рассказывал, что там их бьют и что они к стене прикованы.

— Может, где в других местах так и бывает... за другие вины. А Антека не трогали, он сам это мне сказал.

Ганка от радости всплеснула руками, и улыбка, как луч солнца, осветила ее лицо.

— А как прощались, наказал, чтобы вы непременно борова закололи еще до праздников, потому что он тоже на пасхе разговеться хочет.

— Голодом его там морят, беднягу, голодом! — причитала Ганка.

— А отец хотел борова откормить и продать, — заметила Юзя.

— Мало ли что! Антек приказывает заколоть, а теперь он после отца старший, его воля, — возразила Ганка резко и решительно.

— И еще он говорил, чтобы обязательно на поле людей послали все сделать, что надо. Я ему рассказал, как ты толково тут хозяйничаешь.

— А он? Он что на это сказал? — Ганка вся вспыхнула от радости.

— А он мне на это ответил, что ты, коли захочешь, со всем справишься.

— Управлюсь, управлюсь! — сказала она тихо, но твердо, и в глазах ее сверкнула неукротимая воля.

— Ну, что тут у вас слышно?

— Да ничего, все по-старому. А скоро его выпустят? — спросила Ганка дрожащим от волнения голосом.

— Может, и сейчас после праздников, а может, и попозже, смотря по тому, когда следствие кончится. А оно долго протянется, ведь сколько народу сидит, почитай вся деревня, — ответил Рох уклончиво, не глядя на нее.

— А про дом он спрашивал? Про детей... про меня... про всех? — начала Ганка с беспокойством.

— Спрашивал, как же! И я ему все по порядку рассказал.

— И... обо всех в деревне?

Ей ужасно хотелось знать, осведомлялся ли Антек и об Ягне, но она не смела спросить прямо, а узнать как-нибудь окольным путем, сделать так, чтобы Рох ничего не заметил и сам проговорился, она не сумела, как ни старалась. К тому же удобный момент был упущен — в деревне уже знали о возвращении Роха, и скоро, еще перед вечерней, к избе Ганки стали сходитьсь бабы, жаждавшие услышать что-нибудь о своих.

Рох вышел к ним во двор и, сев на завалинку, стал рассказывать то, что узнал о каждом. Вести были не худые, но в толпе раздавались всхлипывания, иногда вырывался и громкий плач и жалобные причитания.

Потом Рох пошел по деревне, заходил почти в каждую избу, всем принося слова утешения. С его приходом в избе словно светлее становилось, в сердцах людей расцветала надежда, укреплялась вера, но и слезы лились обильнее, и разбуженные воспоминания сильнее тяготили душу, и тоска по близким становилась острее.

Верно сказала вчера жена Клемба старой Агате: деревня стала подобна открытой могиле. Можно было подумать, что мор посетил Липцы и большинство населения свезли на

кладбище. А еще бывает так после войны, когда смерть выкосит мужчин, и в опустевших избах голоса бабы, плачут дети, слышатся лишь жалобы и вздохи, и все полно живых и болезненных воспоминаний об утраченном.

Никакими словами не опишешь того, что творилось в измученных душах.

Кончилась третья неделя, а Липцы еще не успокоились. Напротив, сознание, что мужики несправедливо пострадали, стало еще острее. И не диво, что постоянно — и утром, как только люди просыпались, и днем, и вечером — в хатах, на дворах, где бы только они ни собирались, неизменно и заунывно, как пение нищих, звучали жалобы и росла жажда мести, и руки сами собой сжимались в кулаки, а злобные слова вырывались неудержимо, как гром.

Рассказы Роха подействовали, как палка, которой неосторожно разгребли золу, и тлеющий под ней огонь вспыхнул с новой силой. Они привели лишь к тому, что все еще живее почувствовали нанесенную им обиду. Даже к вечерне пошло очень мало людей, а остальные собирались кучками у плетней, стояли на улице или шли в корчму, толкуя все о том же, плача и бранясь.

Одна только Ганка стала спокойнее. Трудно передать, как она радовалась похвале мужа, как была ободрена ею, полна надежд, энергии, желая показать, что может со всем справиться!

Только что женщины разошлись по домам, как пришла Магда навестить больного, а Ганка и Юзя пошли в хлев посмотреть борова.

Выпустили его во двор, но он был так раскормлен, что сразу повалился на навоз и не хотел подняться.

— Надо будет его завтра заколоть. Ты звала Ягустинку?

— Да. Она обещалась прийти еще сегодня к вечеру.

— Оденься и сбегай к Амброжию, пусть завтра, хотя бы после обедни, придет заколоть его и разделать тушу.

— Досуг ли ему? Он говорил, что завтра два ксендза приедут исповедовать.

— Найдет время! Он знает, что я водки не пожалею. Никто другой не умеет так ловко резать и тушу разделывать. Ягустинка ему поможет.

— А я рано утром съезжу в город соли купить и приправ.

— Что, проветриться захотелось? Незачем тебе ехать: все найдется у Янкеля, я сама сейчас схожу к нему и куплю.

— Юзька! — крикнула Ганка вслед девочке. — А где Петрик и Витек?

— Наверное, на деревню ушли, Петрик взял с собой скрипку.

— Если встретишь, гони их домой, пусть из сарая корыто к крыльцу перенесут, надо будет его рано утром выпарить.

Юзька, довольная тем, что хоть в деревню можно сбежать, помчалась к Настке, чтобы вдвоем пойти разыскивать Амброжия.

А Ганке так и не удалось пойти в корчму: приплелся ее отец, старый Былица. Она дала ему поесть и начала весело рассказывать все, что говорил Рох об Антеке, но досказать не успела — вдруг вбежала Магда с криком:

— Идите скорее, с отцом что-то неладно!

Борына сидел на краю кровати, глаза его блуждали по комнате. Ганка бросилась поддержать его, чтобы он не свалился, а он посмотрел на нее, потом на дверь, в которую неожиданно вошел кузнец.

— Ганка! — произнес он вдруг так внятно и громко, что она даже вздрогнула.

— Здесь, здесь я! Не шевелитесь только, доктор запретил! — шептала она со страхом.

— Что там, в деревне? — Голос был надтреснутый, какой-то новый, незнакомый голос.

— Весна, тепло, — ответила, запинаясь, Ганка.

— Встали все? В поле пора...

Они не знали, что сказать, и переглядывались. Магда громко заплакала.

— Свое обороняйте! Не сдавайтесь, мужики!

Он кричал, но слова обрывались, и вдруг он затрясся весь, забился в Ганкиных руках. Кузнец с женой хотели ей помочь, но она не выпустила его, хотя у нее уже замлели и руки и спина. Все трое с тревогой смотрели в лицо Борыне, ожидая, что он скажет.

— Ячмень бы надо первым делом посеять... Ко мне, люди! Спасите! — крикнул он вдруг страшным голосом, весь напрягся, изогнулся и упал на спину. Глаза закрылись, он хрипел.

— Помирает! Иисусе Христе! Помирает! — завопила Ганка, изо всех сил дергая его.

А Магда тотчас сунула ему в бессильно свесившуюся руку зажженную восковую свечу.

— Ксендза! Скорее, Михал!

Но раньше, чем кузнец вышел, Борына открыл глаза и выронил из рук свечу.

— Уже ему легче... — Ищет чего-то... — пробормотал кузнец, нагнувшись над ним, но старик довольно сильно оттолкнул его и произнес, как человек в полном сознании:

— Ганка, выгони этих!

Магда с плачем бросилась к нему, но он, видимо, ее не узнавал.

— Не хочу... не надо... Выгони... — повторял он настойчиво.

— Выходите хоть в сени, не сердите его! — умоляла Ганка.

— Выйди ты, Магда, а я с места не двинусь, — процедил кузнец упрямо, смекнув, что старик хочет что-то сказать Ганке по секрету.

Борына услышал его слова и, приподнявшись, так грозно посмотрел на него, указывая рукой на дверь, что кузнец выскочил из комнаты, как собака, которой дали пинка. Злобно ругаясь, он подошел к плакавшей на крыльце Магде, но вдруг притих, оглянулся кругом и побежал в сад. Здесь он крадучись подобрался к окну и стал подслушивать. Кровать больного стояла изголовьем к этому окну, и сквозь стекло можно было кое-что расслышать.

— Сядь ко мне! — приказал Ганке старик, когда кузнец вышел.

Она присела на краю кровати, едва удерживая слезы.

— В чулане найдешь немного денег... Спрячь, чтобы у тебя их не отобрали.

— Где?

Ее трясло от волнения.

— В зерне...

Он говорил внятно, отдыхая после каждого слова, а она, подавляя непонятный страх, впиалась глазами в его странно блестящие глаза.

— Антека выручай... Полхозяйства продай, а его не давай... не давай... своего!

Он не договорил, посинел весь и упал на подушки. Глаза потухли и словно заволоклись пленкой, но он еще что-то бормотал и пытался приподняться.

Ганка вскрикнула от ужаса, и сейчас же вбежали кузнец и Магда, стали приводить его в чувство, брызгая в лицо водой. Но сознание больше не возвращалось к нему. Он лежал, как прежде, неподвижный, в оцепенении, с открытыми глазами, далекий от всего, что делалось кругом.

Долго еще сидели они втроем подле него. Женщины тихо плакали, и никто не говорил ни слова. Надвигались сумерки. Когда в комнате стало темно, они все вышли во двор. День догорел, и только в озере еще тлели последние отблески заката.

— Что он тебе сказал? — резко спросил кузнец, загоразивая Ганке дорогу.

— Да ты же слышал.

— Ну, а потом?

— То же, что и при тебе.

— Эй, Ганка, не выводите меня из себя, плохо тебе будет...

— А я твоих угроз боюсь не больше, чем вот этой собаки...

— Он тебе что-то в руки сунул, я видел, — схитрил кузнец.

— Что сунул, то завтра за сараем найдешь, — насмешливо огрызнулась Ганка.

Он бросился на нее, и, может быть, дело кончилось бы дракой, если бы не Ягустинка, которая вошла в эту минуту и, по своему обыкновению, съязвила:

— Такой у вас тут мирный и душевный разговор идет, что по всей деревне слышно!

Кузнец обругал ее последними словами и убежал.

Скоро наступила темная ночь, тучи заволокли небо, и ни одна звезда не мерцала в вышине. Поднялся ветер и тормозил деревья, а они шумели глухо и уныло: видно, опять менялась погода.

На половине Ганки было светло и шумно, в печи трещал огонь, варился ужин. Несколько пожилых баб, среди них и Ягустинка, беседовали между собой, а Юзя с Насткой и Ясеком Недотепой сидели на крыльчке, слушая мелодии, которые извлекал из своей скрипки Петрик, такие печальные, что плакать хотелось. Только Ганке не сиделось на месте. Она все думала о словах свекра и каждую минуту забегала к нему в комнату.

Но сейчас никак нельзя было искать деньги в чулане: в комнате сидела Ягна, укладывая в сундук свои праздничные наряды.

— Петрик, да перестань ты! Ведь уже наступает страстной понедельник, а ты все пиликаешь да пиликаешь! Грех это! — накинулась Ганка на Петрика. Она была так взбудоражена, что едва сдерживала слезы. Петрик сразу перестал играть, и молодежь перешла в избу.

— А мы тут о брате помещика толкуем, о полоумном Яцеке, — сказала одна из женщин.

Но Ганка не разобрала, что ей говорят, потому что в эту минуту во дворе громко залаяли собаки. Она опять вышла на крыльцо и прислушалась. Лапа, как бешеный, помчался в сад.

— Куси его, Лапа! Хватай, Бурек!

Но собаки вдруг замолчали и вернулись, радостно повизгивая.

Это повторялось в тот вечер несколько раз, и у Ганки возникло страшное подозрение.

— Петрик, запри все накрепко, тут, видно, кто-то ходит, высматривает. И свой это, потому что собаки его не трогают!

Соседки скоро разошлись, и весь дом уснул, только Ганка не спала. Она еще раз вышла проверить, заперты ли двери, и долго стояла у стены, тревожно прислушиваясь.

— В зерне... Значит, в какой-нибудь из кадок... Только бы меня кто-нибудь не опередил!

При этой мысли она вся облилась холодным потом, и сердце ее сильно забилося.

В эту ночь она почти не спала.

### III

Юзя, разведи огонь, собери все горшки и вскипяти в них воду, а я сбегаю к Янкелю за приправами.

— Ты поскорее, Амброжий того и гляди придет!

— Не беспокойся, чуть свет не притащится, ему ведь надо сперва в костеле все приготовить.

— Отзвонит и придет, а в костеле его Рох заменит.

— Ничего, я поспею. Кликни-ка хлопцев, чтобы живее корыто выскребли и перенесли его на крыльцо. А когда Ягустинка придет, пусть перемоем все лохани. Бочонки тоже надо вынести из чулана и выкатить в озеро, пусть помокнут. Только не забудь камней в них наложить, чтобы их не унесло! А ребят не буди, пусть спят, свободнее нам будет... — наказывала Ганка Юзе. Накинув на голову платок, она торопливо вышла.

Было раннее утро, пасмурное, дождливое, неприятно промозглое: от мокрой земли поднимался седой туман, опадая мелким холодным дождем, скользкие дороги пропитались водой. Потемневшие избы были едва видны, а деревья мелькали дрожащими тенями, словно сотканными из белесой мглы, и смотрелись в синее озеро. Слышался тихий неровный плеск капель, падавших в воду, а кругом из-за дождя света божьего не видно было, и улица была пустынна.

Только когда уныло задребезжал маленький колокол, на дороге кое-где запестрели платья женщин. Старательно обходя лужи, они пробирались в костел.

Ганка шла быстро, рассчитывая, что, может быть, встретит Амброжия на повороте, но он еще не выходил. У озера, как всегда в этот час, бродила слепая кляча ксендза, таща бочку на полозьях. Она на каждом шагу останавливалась, спотыкалась на выбоинах, чутьем лишь находила дорогу к воде, а работник, вместо того чтобы ее вести, укрылся от дождя под плетнем и курил папиросу.

И как раз в это время к плебании подъехала бричка, запряженная откормленными гнедыми лошадками, и с нее слезал тучный краснолицый ксендз из Лазнева.

"Исповедовать будет... Наверное, и слупский ксендз сейчас приедет", — подумала Ганка, тщетно ища глазами Амброжия. Она обошла костел боковой дорожкой, еще более мокрой, потому что ее укрывали ряды высоких тополей, мелькавших за сеткой дождя, как тени, движущиеся за мутным стеклом.

Пройдя мимо корчмы, Ганка повернула направо, на вязкую полевую тропинку.

Она рассчитывала, что еще успеет проведать отца и потолковать с Веронкой. Сестры окончательно помирились с тех пор, как Ганка переселилась к Бoryне.

Она застала всех дома.

— Что-то Юзька вчера натрещала мне, будто отец хворает, — сказала она, входя.

— Э!.. Не хочет в работе помогать, вот и залег под тулупом, кряхтит да болезнью отговаривается, — хмурясь, ответила Веронка.

— Холодище тут у тебя, так за ноги и хватает! — сказала Ганка, вздрогнув.

Крыша в избе протекала, как решето, и липкая грязь покрывала пол.

— Топить нечем. Кто хворосту принесет? Разве есть у меня силы чуть свет бежать в такую даль в лес и тащить дрова на спине? Да и сколько другой работы, — не знаешь, за что раньше браться. Где же мне одной со всем управиться?

Обе вздохнули при мысли о своем одиночестве и беспомощности.

— Когда Стах был здесь, казалось, что от него в хозяйстве никакой пользы нет, а как не стало его, тут-то я и увидела, что значит мужик в доме!.. Ты в город поедешь?

— Поеду, и хотела бы поскорее, да Рох узнал, что к ним будут пускать только на праздниках. В Светлое воскресенье соберусь и свезу ему, горемычному, кое-чего, чтобы было чем разговеться.

— И я бы рада моему чего-нибудь свезти, да что у меня есть? Ломоть хлеба?

— Не горюй, я наготовлю побольше, чтобы для обоих хватило, вместе и повезем.

— Спаси тебя Христос за доброту твою! Я как-нибудь отработаю.

— Не надо мне твоей отработки, я от чистого сердца даю. Сама не хуже тебя с бедой зналась, помню еще, как она грызет человека! — грустно сказала Ганка.

— Да, всю жизнь из нужды не вылезает, разве только в могилу от нее убежишь! Собрала я немного денег, думала — весной куплю поросенка, откормлю, вот к осени и заработаю малость. Да пришлось Стаху дать с собой несколько рублей, а потом сюда злотый, туда

злотый — смотришь, все деньги утекли, как вода, а новых уже не накопить. Вот и вся польза от того, что он за других постоял!

— Полно тебе вздор молоть, он по доброй воле пошел, чтобы свое отстоять: достанется и вам какой-нибудь морг леса.

— Достанется, как же! Пока солнце взойдет, роса глаза выест! Деньги к деньгам идут, а бедняк подыхай с голоду да утешайся тем, что когда-нибудь и ему поесть придется!

— Нужно тебе чего-нибудь? — робко спросила Ганка.

— А что ж у меня есть? Только то, что корчмарь или мельник в долг дадут! — воскликнула Веронка, в отчаянии разводя руками.

— От всего сердца рада бы тебе помочь, да нельзя: я не на своем хозяйстве, самой приходится отбиваться от всех, как от собак, да глядеть, чтобы меня из дому не выгнали... от забот голова кругом идет!

Ей вспомнилась прошедшая ночь.

— Зато Ягуся ни о чем не тужит. Она не дура, времени даром не теряет! — заметила Веронка.

— А что?

Ганка встала и с беспокойством посмотрела на сестру.

— Да ничего, живет себе припеваючи, наряжается, в гости ходит, всякий день у нее праздник!.. Вчера, например, видели ее с войтом в корчме: за перегородкой сидели, и Янкель едва послевал им туда бутылки подавать... Не такая она дура, чтобы о старике убиваться, — добавила Веронка язвительно.

— Всему конец приходит! — угрюмо пробормотала Ганка, накидывая на голову платок.

— Ну, а тем временем она нагуляется, поживет в свое удовольствие — этого у нее уж никто не отнимет. Умно делает, шельма!..

— Легко умным быть, когда ни до чего дела нет!.. Слушай, Веронка, мы нынче поросенка режем, так ты зайди вечером, поможешь... — сказала Ганка, прерывая эти горькие рассуждения, и вышла.

Она заглянула к отцу, на ту половину, где жила прежде. Старик лежал на полатах и стонал.

— Что это с вами, отец?

Она присела около него.

— Да ничего, дочка, только лихорадка трясет меня да в груди что-то давит.

— Что за диво — ведь тут холод и сырость, как на улице! Вставайте, пойдем к нам, за детьми присмотрите, потому что мы сегодня боровка резать будем. Есть вам не хочется?

— Поел бы... Забыли мне вчера дать... да и едим-то одну картошку с солью. Стах ведь в тюрьме... Приду, Гануся... приду! — бормотал он обрадованно, сползая с полатей.

А Ганка, занятая мыслями о Ягне, как нож острый терзавшими ее сердце, побежала в корчму купить все, что нужно.

Теперь уже Янкель не требовал у нее денег вперед и с готовностью отмерял и отвешивал все, что ей надо, да еще подсовывал всякие заманчивые вещи.

— Давайте только то, что я спрашиваю! Я не ребенок, знаю, чего мне надо! — высокомерно прикрикнула она, не вступая с ним в разговоры.

Янкель только усмехнулся, потому что она и так уже набрала товару на несколько рублей, водки взяла побольше, чтобы и на праздник хватило, хлеба ситного, две связки бубликов и десятка полтора сельдей, а напоследок даже бутылочку рисовой, так что едва могла поднять кошелку.

"Ягне можно, а я что — собака? Работаю ведь рук не покладая!" — думала она, возвращаясь домой, но потом пожалела, что истратила лишнее, и, если бы не было стыдно, отнесла бы Янкелю обратно бутылку рисовой.

Дома приготовления были уже в полном разгаре. Амброжий грелся у печи и по своему обыкновению подшучивал над Ягустинкой, которая так усердно мыла кипятком посуду, что пар заполнил всю комнату.

— А я уже вас жду, хозяйка, чтобы огреть борова по голове дубиной.

— Не думала я, что вы так рано придете!

— Рох меня заменил в ризнице, ксендзов Валек надует органисту мехи, а костел подметет Магда. Все я устроил так, чтобы вас не подвести. Исповедовать ксендзы начнут только после завтрака... Ну, и холод нынче, даже кости ноют! — добавил он жалобно.

— У огня сидите, чуть в печь не влезли, а на холод жалуетесь! — удивилась Юзя.

— Глупая, внутри холодно, даже деревяшка моя заоченела.

— Найдется чем вас разогреть. Сейчас подам... Юзя, намочи-ка селедки, живо!

— Давайте какие есть. Водкой их хорошенько залью, тогда всю соль и вытянет.

— А у тебя только одно на уме! Хоть в полночь рюмки зазвенят, так и тогда встанешь, чтобы выпить, — ядовито заметила Ягустинка.

— Правда твоя, бабка! Да и у тебя, кажись, язык одеревенел, рада небось его в водке помочить, а? — засмеялся Амброжий, потирая руки.

— Да, уж меня, старый хрыч, не перепьешь!

— Что-то мало людей нынче в костел пошло, — перебила их Ганка, очень недовольная тем, что оба напрашиваются на выпивку.

— Еще время есть. Сойдутся все, не бойтесь, бегом побегут грехи вытряхивать.

— Да заодно, и от работы отвертеться, новости послушать, свеженьких грехов набратся!

— Девки уже со вчерашнего дня готовятся, — пискнула откуда-то Юзя.

— Еще бы! Им перед своим ксендзом исповедоваться стыдно! — отозвалась Ягустинка.

— Эй, бабушка, тебе бы пора на паперти сидеть, каяться да четки перебирать, а ты других судишь!

— Пожожу, пока ты сядешь со мной рядом, хромоногий!

— А мне не к спеху, я еще сначала по тебе звонить буду да лопатой твою могилку подровняю!

— Ты меня лучше не задевай, я сегодня злая! — пробормотала Ягустинка.

— Палкой заслонюсь, так не укусишь. Да и зубки свои пожалей: последние ведь!

Ягустинку всю передернуло от злости, но она смолчала. А тут как раз Ганка налила рюмки и стала чокаться с ними. Юзя подала селедку, Амброжий поджарил ее на углях и с наслаждением съел.

— Ну, побаловались и будет! За работу, люди! — воскликнул он, скинул тулуп, засучил рукава, поточил на оселке нож и, взяв крепкую дубинку, которой растирали картофель для свиней, вышел во двор.

Все пошли за ним и Смотрели, как он с Петриком вдвоем выводили из хлева упирившегося борова.

— Корыто давайте — кровь собрать! Живо!

Принесли корыто. Боров терся об угол и тихо повизгивал.

Все стояли вокруг, молча оглядывая его белые бока и толстое обвислое брюхо. Мокли порядком, так как дождь лил все сильнее и туман окутывал сад. Лапа, повизгивая, бегал вокруг, какие-то бабы остановились у ворот, несколько ребятишек забрались на забор, и все с любопытством смотрели.

Амброжий перекрестился и ударил борова дубиной меж ушей так, что он с визгом свалился на бок. Тогда Амброжий сел ему на брюхо. Блеснул нож и по рукоятку вонзился в грудь животного.

Подставили корытце, кровь хлынула и потекла с бульканьем, дымясь, как кипяток.

— Пошел вон, Лапа! Ишь ты, крови захотел в пост — сказал Амброжий, тяжело отдуваясь.

— На крыльце его кипятком обдашь?

— Нет, в избу внесем, надо же его потом повесить, чтобы тушу разделать.

— А мне думается, в горнице тесно.

— Можно на отцовской половине, там просторно, а старику мы не помешаем. Только живее несите, пока не остыл, легче щетина сойдет.

Через каких-нибудь четверть часа боров, уже очищенный и обмытый, висел в комнате Борыны.

Ягны дома не было: она с раннего утра ушла в костел, не подозревая, что тут затевается. А старик, как всегда, лежал на кровати, устремив бессмысленный взгляд куда-то в пространство.

Сначала все работали молча, часто оглядываясь на больного, но он был так неподвижен, что о нем скоро забыли и всецело занялись боровом, который не обманул ожиданий: сало было отличное и на спине толщиной в добрых шесть пальцев.

— Ну, отпели мы его, перевезли, пора его водкой sprysnut'! — объявил Амброжий, моя руки над корытом.

— Пойдемте завтракать, найдется чем запить. Перед тем как приняться за борщ и картошку, Амброжий выпил немалую порцию, но поел наскоро и сразу взялся за работу, подгоняя остальных, в особенности Ягустинку, которая была его главной помощницей, — она не хуже его, умела солить и приправлять мясо.

Помогала и Ганка, чем могла, а Юзя хваталась за всякую работу, только бы не уходить из комнаты.

— Ступай помоги навоз накладывать, — надо, чтобы они поскорее его вывезли, а то сегодня не кончат эти лодыри! — кричала на нее Ганка.

И Юзя очень неохотно убегала во двор и здесь вымещала свою досаду на Петрике и Витеке; только и слышно было ее ворчанье. Да и как ей было не злиться на то, что ее выгоняли из хаты? Ведь там становилось все веселее! Каждую минуту под тем или иным предлогом забегала какая-нибудь кумушка и, увидев висевшего борова, всплескивала руками и начинала громко восторгаться — такой-де он жирный да громадный, даже у мельника и у органиста нет такого.

А Ганке это льстило, она была горда тем, что режет борова, и, хотя жаль было водки, приходилось, соблюдая обычай, угощать всех по такому торжественному случаю. Она наливала рюмки, подавала на закуску хлеб с солью, охотно слушала льстивые речи, и сама разговаривала до утомления — едва одна соседка за порог, как уже другая в сенях вытирает ноги, заходя якобы на минуточку, по дороге в костел. Валили, как на богомолье, а ребятишек набилось по углам и заглядывало в окна столько, что Юзьке не раз приходилось их разгонять.

Уже и в деревне замечалось неожиданное оживление. Все больше народу шлепало по грязи, все чаще тархтели телеги из других деревень, а у озера пестрели бабьи наряды. Люди шли к исповеди, несмотря на распутицу и ненастную погоду, которая все время менялась: то дождь льет, то пробежит по садам теплый ветер, то начнет сыпать снежная крупа, а был даже и такой час, когда солнце пробилось сквозь тучи и золотом осыпало все. Так бывает ранней весной, когда погода напоминает капризную женщину, которая то смеется, то плачет, то весела, то печальна и сама не знает, что с ней.

В избе у Ганки работа кипела, от болтовни гул стоял. Амброжий часто убегал в костел взглянуть, все ли там в порядке, и потом жаловался на холод и просил водки, чтобы согреться.

— Рассажал я ксендзов, народом их окружил, теперь до полудня с места не двинутся.

— Ну нет, лазневский ксендз долго не выдержит: говорят, его экономке то и дело приходится подавать ему ночную посудину.

— Эй, бабка, смотри за своим носом, а ксендзов не тронь!

Амброжий не любил, когда смеялись над ксендзами.

— Да и про слупского тоже рассказывают, будто он, когда исповедует, всегда флакончик в руке держит и нос зажимает, потому что от мужиков ему воняет, и после каждого платком в воздухе машет и кадить велит в исповедальне.

— Заткни глотку! Сказано тебе: ксендзов не задевай! — крикнул сердито Амброжий.

— А Рох в костеле? — поспешно спросила Ганка, тоже очень недовольная насмешками Ягустинки.

— Сидит там с самого утра. Прислуживал за обедней и делает вместо меня все, что надо.

— А Михал где же!

— Пошел с сыном органиста в Репки, с мужиков даяния собирать.

— Наш органист гусем пашет, песок сеет и неплохой урожай собирает! — вздохнул Амброжий.

— Еще бы! Уж самое меньшее за каждую душу, записанную в поминанье, по яйцу получает.

— А за карточки на исповедь отдельно берет по три гроша с человека. Вижу я каждый день, какие мешки тащит со всякой всячиной! Одних яиц органистиха на прошлой неделе продала штук триста, — сказала Ягустинка.

— Пришел он сюда, говорят, пешком, с одним узелком, а теперь добра и на четырех возах не вывезешь!

— Что ж, органист двадцать с лишним лет в Липцах живет, приход большой, а он служит, старается, деньги бережет, вот и подкопил, — оправдывал его Амброжий.

— Подкопил! Дерет с людей безбожно за каждый пустяк и, прежде чем кому что-нибудь сделает, в руки смотрит! По тридцать злотых за похороны берет, — за то, что поблеет по-латыни и на органе побренчит!

— Зато он ученый, свое дело знает, ему приходится головой работать.

— Ученый, слов нет: знает, где надо громче бляеть, где тише! А еще лучше умеет у людей последнее выманывать.

— Другой пропил бы, а он сына в ксендзы готовит!

— Что ж, ему от этого и почет большой и польза будет! — твердила свое Ягустинка.

Разговор прервался на самом интересном месте: вошла Ягуся и остановилась как вкопанная на пороге.

— Боровом любишься? — фыркнула Ягустинка.

— Не могла ты на своей половине резать? Всю комнату мне загадили! — выговорила Ягна с трудом, и лицо ее стало пунцовым.

— Времени у тебя довольно, вымоешь! — холодно отчеканила Ганка.

Ягуся рванулась было вперед, и все думали, что сейчас вспыхнет ссора. Но она сдержала себя, повертелась в комнате, взяла с распятия четки и, прикрыв неубранную постель шалью, вышла, не сказав ни слова, только губы у нее тряслись от затаенного гнева.

— Помогла бы, столько дела! — сказала ей в сенях Юзя.

Ягна прошипела что-то так злобно, что слов нельзя было разобрать, и выбежала, как шальная. Смотревший ей вслед Витек сказал, что она помчалась прямо к кузнецу.

— Ну и пусть идет! Пожалуется ему, ей и полегчает маленько.

— Опять тебе воевать придется! — заметила вполголоса Ягустинка.

— Эх, голубушка, только войной и держусь, — ответила Ганка спокойно, но на душе у нее кошки скребли: она понимала, что сейчас прибежит кузнец и не миновать жестокой стычки.

— Того и гляди, явятся! — сочувственно шепнула Ягустинка.

— Ничего, выдержу, не запугают меня! — отозвалась с усмешкой Ганка.

Ягустичка даже головой покачала, удивляясь ее стойкости, и выразительно посмотрела на Амброжия, который уже кончал работу.

— Схожу в костел, прозвоню полдень и вернусь к обеду, — сказал он Ганке.

Вернулся он очень скоро и объяснил, что ксендзы уже сели за стол, что мельник прислал им целую вершу рыбы, а после обеда опять будут исповедовать, потому что очень много народу ждет в костеле.

Быстро пообедали (Амброжий усердно запивал обед, жалуясь, что водка недостаточно крепка и не утоляет жажду после таких соленых селедков) и снова принялись за дело.

Амброжий разрубил борова на части и отделил мясо на колбасы, а Ягустинка на столе резала сало и старательно солила его.

Влетел кузнец. По лицу видно было, что он едва сдерживается.

— А я и не знал, что ты купила себе такого борова! — начал он иронически.

— Купила и, видишь, режу! — В душе Ганка немного трусила.

— Славный боров! Небось рублей тридцать отдала! — Он внимательно оглядел тушу.

— А сала-то сколько, редкостный был боров — с усмешечкой сказала Ягустинка, подсовывая кусок под нос кузнецу.

— Ну... не все тридцать отдала, не все! — ответила задорно Ганка.

— Боронов это боров — выпалил кузнец, уже не сдерживая ярости.

— Экой догадливый, по хвосту узнал, чей! — издевалась Ягустинка.

— А по какому такому праву ты его заколола? — гневно кричал кузнец.

— Не шуми, тут тебе не корчма! А по такому праву, что Антек через Роха приказал его заколоть.

— А как Антек может распоряжаться? Его это боров, что ли!

— Его, конечно!

Ганка уже собралась с духом и была готова к борьбе.

— Неправда, он общий! Дорого же ты за это заплатишь!

— Не тебе буду отчет давать!

— А то кому же? В суд подадим!

— Тише, придержи язык, тут больной лежит! Все это его, им нажито.

— А есть будете вы!

— Да уж, конечно, тебе и понюхать не дам!

— Дай половину, так я тебя трогать не буду, — сказал он примирительно.

— Силой и ножки не возьмешь.

— Так дай добром вот эту четверть и кусок сала.

— Прикажет Антек — тогда дам, а до этого — ни косточки!

— Взбесилась баба! Антека это боров, что ли? — опять разозлился кузнец.

— Он отцовский, значит все равно, что Антека. Пока отец хворает, Антек тут за него распоряжается. А там как бог даст.

— В остроге пусть распоряжается, если ему позволят! Погонят его в кандалах в Сибирь, там и будет хозяйчать! — крикнул кузнец с пеной у рта.

— Не твое дело! Может, и погонят, а все равно полей отцовских ты не заграбастаешь, хотя бы для этого еще раз людей наших продал, как Иуда! — произнесла Ганка грозно, внезапно ужаленная страхом за мужа.

У кузнеца даже ноги задрожали и руки заходили ходуном — так ему хотелось схватить ее за горло, таскать по избе и бить. Но его стесняло присутствие посторонних, и он только метал на Ганку свирепые взгляды и от злости не мог выговорить ни слова. А она не оробела: взяла в руки нож, которым рубили мясо, и так пристально и дерзко посмотрела на своего врага, что он, опешив, присел на сундук и принялся скручивать папиросу, а воспаленные глаза его бегали по комнате. Несколько минут он, видимо, что-то взвешивал и обдумывал, потом встал и сказал примирительно:

— Пойдем на ту половину, я тебе что-то скажу, и мы поладим.

Ганка вытерла руки и пошла за ним, но дверь на всякий случай оставила открытой.

— Не хочу с тобой ни ссориться, ни судиться, — начал кузнец, закуривая.

— Потому что знаешь, что этим ничего не добьешься.

Ганка уже совсем успокоилась.

— Говорил отец вчера еще что-нибудь?

Тон у кузнеца был уже ласковый, он улыбался.

— Нет. Лежал тихо, как и сегодня лежит, — ответила Ганка, подозрительно насторожившись.

— Невелика важность — поросенок, режьте и ешьте на здоровье, не мой убыток. Иной раз и сболтнешь такое, о чем потом пожалеешь. Так ты забудь, что я говорил. Поважнее дело есть... Знаешь ли, что говорят в деревне? Что у отца где-то припрятано много денег... — Он сделал паузу, впиваясь глазами в лицо Ганки. — Стоило бы поискать — не дай бог, помрет, так затеряются они или кто-нибудь чужой их стащит.

— Да разве он скажет, где спрятал! — Лицо Ганки было непроницаемо.

— Тебе скажет, если ты его умно выпросишь.

— Ну, пусть только в себя придет, тогда попробую выведать.

— Если будешь, как умная, держать язык за зубами, так только мы двое и будем знать про эти деньги. Коли их найдется порядочно, можно будет и Антека из острога выкупить. А другим

это знать незачем! С Ягны хватит того, что ей отец отписал, да и эти шесть моргов можно бы у нее судом оттягать. А Гжеле немало посылали за эти годы! — шептал кузнец, нагибаясь к уху Ганки.

— Верно говоришь... верно, — поддакивала она, стараясь ничем себя не выдать.

— Должно быть, он их где-то в избе спрятал... Как думаешь?

— Откуда же мне знать! Он ни словечком про это не обмолвился.

— О зерне он что-то толковал вчера, — не помнишь разве? — подсказывал ей кузнец.

— Да, верно, он о посеве вспоминал.

— И еще о бочках что-то такое, — продолжал он, не спуская с нее глаз.

— Ну как же, в бочках ведь у него и лежит зерно для посева, — ответила Ганка, как будто ничего не подозревая.

Кузнец выругался про себя — в нем росла уверенность, что Ганка что-то знает: он прочел это по ее замкнутому лицу, по глазам, чересчур настороженным и беспокойным.

— Ты смотри не болтай о том, что я тебе говорил.

— Сплетница я, что ли, чтобы с новостями по кумушкам бегать?

— Да я только так, на всякий случай тебе говорю... А за стариком следи хорошенько, уж если у него один раз в голове прояснилось, так он каждую минуту может и совсем в разум прийти.

— Ох, поскорее бы!

Кузнец стрельнул в нее своим липким взглядом, подергал ус и вышел, а она смотрела ему вслед с затаенной усмешкой.

— Иуда, подлец, разбойник! — прошептала она с ненавистью, шагнув к двери, за которой он скрылся. Не в первый раз он ей грозит, пугает, что Антека сошлют в Сибирь и прикуют к тачке. Она, правда, не очень-то этому верила, понимая, что кузнец говорит больше по злобе и для того, чтобы ее запугать и легче выжить из дома свекра.

А все-таки ее терзала сильная тревога за Антека. Она разузнавала, где только могла, какая его ждет кара, и с грустью говорила себе, что выйти сухим из воды ему не удастся..

— Правда, он убил лесника, защищая родного отца, но за убийство его непременно засудят!

Так говорили рассудительные люди. Но каждый толковал свое, и Ганка не знала, кому верить. В городе адвокат, к которому ксендз дал ей письмо, сказал, что дело может кончиться и совсем скверно и не так уж скверно, надо только не жалеть денег и терпеливо ждать. А больше всего ее пугали разговоры в деревне, где кузнец всем выкладывал свои соображения и настраивал всех так, как ему было выгодно.

Вот и сегодня слова его камнем легли на сердце Ганке. У нее подкашивались ноги, страх делал ее молчаливой. К тому же сразу по уходе кузнеца прибежала Магда и уселась подле больного, якобы для того, чтобы отгонять от него мух, которых вовсе и не было в избе, а на самом деле — чтобы зорко следить за всем.

Впрочем, ей это быстро надоело, и она несколько раз порывалась помочь Ганке и остальным.

— Не трудись, сами справимся. Ты и дома у себя немало наработаешься! — сказала ей Ганка таким тоном, что Магда больше не предлагала своих услуг и только изредка нерешительно заговаривала о том о сем, — она от природы была робка и молчалива.

Уже к вечеру пришла Ягна, на этот раз не одна, а с матерью.

Обе поздоровались так мирно и дружелюбно, даже ласково, что Ганку это поразило, и хотя она ответила им тем же, не скупясь на приветливые слова и даже на водку, но все время была настороже. Доминикова отодвинула рюмку:

— Страстная неделя! Как можно водку пить!

— Не в корчме, а дома. При случае не грех, — оправдывалась Ганка.

— Люди рады воспользоваться случаем и себе поблажку дать...

— Выпейте, хозяйка, со мной, я ведь не органист! — крикнул Амброжий.

— Где только рюмка звякнет, ты уж тут как тут! — буркнула Доминикова, принимаясь перевязывать больному голову.

— Что ж... Каждому свое! Один бьет себя в грудь и кается, как только колокольный звон заслышит, другой, когда бутылка зазвенит, рюмку ищет.

— Лежит, горемычный, и ничего не видит, не знает! — причитала над Боруной Доминикова.

— И колбасы не поест и водочки не попробует! — тем же тоном протянула, передразнивая ее, Ягустинка.

— А у тебя только смешки на уме! — гневно обрушилась на нее Доминикова.

— Слезами все равно горю не поможешь. Только и утечи, что посмеешься иной раз.

— Кто зло сеет, тот пусть и печаль пожнет и кается!

— Недаром люди говорят, что Амброжий, хоть и служит в костеле, а готов за угощение с самим чертом покумиться! — запальчиво сказала Доминикова, смерив его суровым взглядом.

В избе наступило тягостное молчание. Амброжий побагровел от злости, но проглотил просившийся на язык резкий ответ: он знал, что каждое его слово станет известно ксендзу еще сегодня, самое позднее завтра после обедни. Недаром Доминикова не вылезала из костела. Притихли и остальные под взглядом ее совиных глаз. Даже неугомонная Ягустинка тревожно помалкивала. Доминиковой боялась вся деревня. Говорили, что уже не мало людей испытало на себе силу ее "дурного глаза".

Помня это, все в избе работали молча, боязливо потупив головы, и только ее лицо, сухое, перепаханное морщинами и словно отлитое из белого воска, мелькало то тут, то там. Она тоже больше не говорила ни слова и вместе с Ягной принялась помогать в работе так решительно, что Ганка не посмела возражать.

Скоро за Амброжием прибежал работник ксендза — звать его в костел. Женщины остались одни и старательно укладывали в кадки мясо и сало.

— На этой половине меньше топят, здесь в чулане для мяса холоднее будет, — объявила Доминикова, и они с Ягной мигом вынесли кадки в чулан.

Это произошло так быстро, что Ганка не успела им помешать. Ужасно разозлившись, она

поспешно принялась переносить на свою половину то, что осталось, позвав на помощь Юзю и Петрика.

В сумерки, когда зажгли огонь, они принялись готовить колбасы и сосиски. Ганка рубила мясо с угрюмым остервенением — она все еще не могла успокоиться.

— Не оставлю мясо у них в чулане, чтобы она его сожрала либо унесла! Не дождешься, окаянная! Ишь, ловкая какая! — процедила она сквозь зубы.

— А вы рано утром, когда она уйдет в костел, потихонечку перенесите все в свой чулан, — вот и дело с концом! Не вырвет же она его у вас силой! — посоветовала Ягустинка.

— Пусть только попробует! Это они сговорились, для того и прибежали! — волновалась Ганка.

— А колбасы у нас будут готовы раньше, чем вернется Амброжий, — заговаривала с ней старуха.

Но Ганка не отвечала, занятая работой, а еще больше размышлениями о том, как отобрать сало и окорока.

В печи трещал огонь, разгоревшийся так ярко, что вся комната была залита красным светом. В больших горшках готовилась начинка для колбас, а над корытами с кровью о чем-то тревожно шептались дети.

— Ей-богу, у меня даже под ложечкой сосет от этих запахов! — вздохнул Витек, раздувая ноздри.

— Не нюхай, а то тебе достанется! Сходи коров напои, сена им наложи да сечки на ночь засыпь! Поздно уже, когда ты со всем справишься?

— А вот сейчас Петрик придет, — один я, конечно, не управлюсь.

— Петрик? А куда же он ушел?

— Не знаете разве! Он помогает убирать на той половине.

— Что-о? Петрик! Сейчас же ступай скотину поить! — крикнула Ганка в сени так резко, что Петрик мигом побежал во двор.

— А ты ручек своих не жалея, сама комнату убери! Видали, пани какая, ручек марать не хочет, работником помыкает! — негодовала окончательно рассвирепевшая Ганка.

В эту минуту на улице застучала бричка, задребезжал колокольчик.

— Ксендз кого-то причащать едет, — пояснил Былица, входя в избу.

— А кто же это захворал? Я ничего не слышала...

— За войтову избу поехал! — крикнул в окно Витек.

— Наверное, к кому-нибудь из коморников.

— А может, к вашим Прычкам, Ягустинка? Ведь там как раз их изба.

— Нет, они здоровы, таким гадам разве что станется! — буркнула Ягустинка. Однако, хотя она с детьми своими была в ссоре и постоянно судилась, материнское сердце дрогнуло.

— Схожу узнаю и мигом вернусь. — Она поспешно убежала.

Прошло немало времени, уже и Амброжий успел вернуться, а Ягустинки все не было. Амброжий рассказал, что ксендза вызвали к Агате, родственнице Клембов, которая в субботу вернулась в деревню.

— Да разве она не у Клембов живет?

— Нет. У Козла или у Прычеков, что ли, помирать собирается.

Больше они об этом не говорили, поглощенные работой, которая и так уже очень затянулась. Юзя и Ганка то и дело отрывались от нее для обычных вечерних хлопот по хозяйству.

Вечер тянулся, долгий и скучный, на дворе было темно, хоть глаз выколи, хлестал холодный дождь, ветер бился о стены, с шумом качал деревья и порой так дул в трубу, что головни сыпались из печи в комнату.

Кончили почти в полночь, а Ягустинка все еще не возвращалась.

"На улице ливень и грязь, вот ей и не хотелось шлепать в темноте", — подумала Ганка, выглянув во двор перед тем, как лечь спать.

Погода и в самом деле была такая, когда добрый хозяин собаки не выгонит: от ветра трещала крыша, по мутному небу мчались сырые, набухшие дождем тучи, не видно было ни единой звезды, ни одного огонька в избах, тонувших во мраке. Деревня давно спала, и только ветер со свистом гулял по полям, воевал с деревьями и поднимал волны на озере.

Все легли спать, не дожидаясь Ягустинки. Она пришла только на другое утро, мрачная, как этот холодный, ветреный и пасмурный день. Погрела в избе руки и сразу пошла в овин перебирать картофель, снесенный туда из ям.

Она работала почти одна — Юзя часто убегала накладывать навоз на телегу. Его с рассвета начал возить на поле Петрик, которому здорово влетело от Ганки за то, что он вчера поленился это сделать. Сегодня Петрик гнал вовсю, орал на Витека, хлестал лошадей и мчался, разбрызгивая во все стороны грязь.

— Ишь, бездельник, теперь на лошадаках отыгрывается! — сказала Ягустинка, замахиваясь на гусей, которые прибежали в овин целым стадом и, громко гогоча, клевали картофель. Юзя пробовала с ней заговаривать, но старуха не отвечала, сидела насупившись и прятала под низко надвинутым платком красные, заплаканные глаза.

Ганка один только раз заглянула к ним, — она караулила в избе, ожидая ухода Ягны, чтобы унести мясо к себе и заодно пошарить в бочках с зерном.

Но Ягна, как нарочно, сиднем сидела у себя, и Ганка, не выдержав, несколько раз заходила к больному, потом под каким-то предлогом сунулась в чулан.

— Чего ты тут ищешь! Скажи, я покажу, я ведь знаю, где что лежит! — воскликнула Ягна, войдя туда вслед за ней. И Ганке пришлось уйти. Она успела только сунуть руки в зерно, но деньги могли лежать глубоко, на самом дне.

Она сразу поняла, что Ягна за ней следит, и поневоле отложила поиски до более удобного времени.

"Пока надо приготовить всем гостинцы", — решила она, с сожалением осматривая колбасы, подвешенные на шесте. У Бороных и у других зажиточных хозяев было принято, когда резали свинью, на другой день рассылать родственникам и друзьям по колбасе, куску мяса или сала.

— Как ни жалко, а дать надо, чтобы не говорили, что ты скупая, — сказал Былица, входя как раз в ту минуту, когда она предавалась этим грустным размышлениям.

И Ганка скрепя сердце стала раскладывать дары на тарелки и в мисочки, то с тяжелым вздохом заменяя слишком короткие колбасы другими, подлиннее, то прибавляя, то опять снимая по кусочку, и, наконец, совсем измученная, кликнула Юзю.

— Оденься получше, разнесешь всем.

— Ой, сколько тут!

— Что делать, надо! Без людей не проживешь! Первым делом эти, самые длинные, отнеси тетке: она на меня волком смотрит, поносит меня на чем свет стоит, да уж бог с ней! Вот эту мисочку — войту. Подлец он, но с Мацеем всегда был дружен, да и нам может еще при случае оказать услугу. Целую колбасу, сосиски и кусок бока — Магде: пусть не верещат, что мы одни съели отцовскую свинью. Правда, им ничем рта не заткнешь, но все же одной придиркой меньше... Жене Прычека вот эту колбасу: баба она зубастая, заносчивая, кичливая, но первая пришла ко мне с дружеским словом, а вот этот последний кусок — Клембовой.

— А Доминиковой ничего не пошлешь?

— Потом ей дам, после обеда... Придется дать. Она — как помет: не вороши и лучше обходи издали. Ну, обнеси всех по порядку, да смотри, не заговоришь там с девчонками, дома работа ждет!

— Дай и для Настки кусочек, они такие бедные, даже на соль у них нет! — тихо попросила Юзя.

— Пусть придет, дам ей чего-нибудь. Отец, а вы возьмете для Веронки. Она обещала вчера зайти...

— Ее мельничиха позвала комнаты убирать — должно быть, на праздники гостей ждут...

Старик долго рассказывал бы новости, но Ганка, отправив Юзю, оделась потеплее и пошла помогать Ягустинке и подгонять работников.

— А мы тебя ждали вчера к ужину, — начала она, удивленная молчанием старухи.

— Эх, нагляделась я там... наелась горя досыта!

— Агата, говорят, слегла?

— Да, у Козлов помирает, сирота.

— Как? А почему не у Клембов?

— Люди только тех за родню признают, кому ничего от них не надо или кто приходит не с пустыми руками. А на других родственников они собак спускают...

— Что ты толкуешь! Ведь не выгнали же ее Клембы?

— Приплелась она к ним в субботу и в ту же ночь расхворалась. Говорят, Клембова взяла ее перину и почти голую из дому отпустила.

— Клембова! Такая хорошая баба! Не может быть! Вранье...

— Говорю то, что от людей слыхала.

— Значит, Агата у Козловой лежит? Кто бы подумал, что Козлова такая жалостливая!

— За деньги и ксендз пожалеет! Козлова взяла у Агаты двадцать злотых, и за это обязаны они держать ее у себя до ее последнего часа — старуха со дня на день смерти ждет. А за похороны отдельно... Недолго Козловой ждать, Агата не сегодня-завтра Богу душу отдаст...

Ягустинка умолкла, тщетно пытаясь сдержать всхлипывания.

— Что это ты, нездорова, что ли? — спросила Ганка с участием.

— Насмотрелась на людское горе, божий свет не мил! Человек ведь не камень. Крепишь сердце, чем можешь, хоть злобой на всех, да не помогает: приходит такой час, когда оно на куски разрывается.

Она заплакала навзрыд и долго тряслась вся, громко сморкаясь, потом опять заговорила с такой болью, что слова ее, как горькие, жгучие слезы, падали на душу Ганки.

— И конца нет этой маяте людской! Сидела я у Агаты, когда ксендз уехал, — прибегают Филипка из-за озера, кричит, что старшая у нее помирает... Пошла я к ним... Господи! В хате — мороз, окна тряпьем позатыканы... одна-единственная кровать, а все дети, как собаки, вповалку на соломе спят. А девка не померла — это она с голоду ослабела... Картошка у них кончилась. Перину уже продали. Каждую четвертку крупы приходится вымалывать у мельника, — никто не хочет давать займы до нового урожая. Да и у кого найдется лишнее? Ниоткуда спасения нет! Филипп-то в остроге! Только я от них вышла, сказала мне Грегорова, что Флорка Прычкова родила, а ходить за ней некому... Сволочи они, обидели меня, хоть и дети родные... А я все-таки зашла к ней, не время теперь обиды помнить... Там тоже нужда зубы скалит. Ребятишек полна хата, Флорка больна, ни гроша за душой и помощи ждать неоткуда... Не землю же ей глотать! Сварить что-нибудь некому, поле не обработано, а весна на дворе! Адам ведь взят вместе с другими. Мальчишку родила крепкого, как кремь, только чем она его вскормит! Сама высохла, как щепка, и молока в грудях ни капли, а корова еще не отелилась... И везде тяжело, а уж у коморников что творится, и рассказывать неохота! Заработать негде, да и некому работать-то! Хоть бы Господь догадался на всех бедняков легкую смерть наслать — не мучились бы больше!

— А у кого же в деревне полная чаша? Везде горе, у всех на сердце скребет.

— Ну, еще бы, и у богатеев забот немало! Один думает, чем бы лучше колбасы начинить, другой ищет, кому бы под большие проценты деньги ссудить... А до бедняков никому дела нет, хоть под забором околевай! Господи Иисусе, в одной деревне живут, через улицу, а никому их беда спать не мешает! Каждый сдаст бедноту на божье попеченье, и все на него валит — мол, Господом так заведено, — а сам за полной миской брюхо тешит и теплым тулупом уши закрывает, чтобы не слышать, как воют несчастные.

— Что поделаешь! У кого же есть столько, чтобы всем беднякам помогать?

— Кто не хочет, всегда отговорку найдет! Я не про тебя говорю, ты не на своем хозяйстве и нелегко тебе, знаю. Но есть такие, что могли бы людям помочь: мельник, ксендз, органист, да и другие...

— Если бы с ними кто потолковал, — может, и сжалились бы...

— У кого душа есть, сам услышит, как люди стонут, не надо ему про это с амвона кричать! Эх, милая ты моя, они очень хорошо знают, как бедный народ бьется, — ведь они чужой бедой кормятся, от нее жиреют!.. Мельник уже теперь урожай собирает, хотя до жатвы еще далеко: как на богомолье, тянется к нему народ за мукой да крупой, отдают ему последний грош или в долг берут — кто за большие проценты, кто за отработку. Что поделаешь, кормиться-то

надо!..

— Правда, даром никто не даст...

Ганка вспомнила еще недавно пережитую нужду и тяжело вздохнула.

— Я вчера до поздней ночи сидела у Флорки, сошлись туда и другие бабы и рассказывали, что в деревне делается. Наслушалась я!..

— Господи, помилуй! — вскрикнула вдруг Ганка и вскочила: ветер так ударил в ворота овина, что они чуть не разлетелись. Она с трудом их открыла и крепко подперла кольями.

— Ветер сильный, но теплый, не принес бы опять дождя.

— И так уж телеги в поле увязают.

— Денька два солнечных — и все просохнет. Весна ведь!

— Хорошо бы до праздников посадку начать!

Так они изредка переговаривались, усердно работая, а скоро и совсем замолчали, и слышался только стук перебираемой картошки. Мелкую они бросали в одну кучу, подгнившую — в другую.

— Будет чем откормить свинью да и для коров хватит...

Ганка словно не слышала — она была занята одной мыслью: как бы ей добраться до денег свекра. Только изредка поглядывала она в открытую дверь на двор, на деревья, боровшиеся с ветром. Синие рваные тучи неслись по небу, как разметанные снопы, а ветер все крепчал и так поддувал снизу, что соломенная крыша на избе топорщилась щеткой. Было сыро и холодно, остро пахло навозом, который выбирали из навозной кучи и возили на поле. Во дворе было почти пусто, только по временам пробегали подгоняемые ветром взъерошенные куры, а гуси сидели под плетнем, закрывая телом попискивавших гусенят. Каждые полчаса во двор въезжал Петрик на пустой телеге, поворачивал у самого овина и, подбросив лошадям сена, накладывал вдвоем с Витеком навоз, потом уезжал обратно в поле.

А по временам влетала Юзька, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, и начинала трещать. Ей очень нравилось разносить колбасы.

— Войту отнесла, теперь побегу к тетке!.. У войта все дома, белят уже избу к пасхе. Так благодарили, так благодарили!..

Рассказав все подробно, хотя никто ее об этом не просил, Юзя опять убегала, осторожно держа завязанные в белый платок тарелки с гостинцами.

— Болтушка, а смышленная девка! — заметила Ягустинка.

— У нее одно в голове — проказы да забавы, — отозвалась Ганка.

— А чего же ты от нее хочешь? Девчонка еще, ребенок...

— Витек, погляди, кто там вошел в дом! — крикнула вдруг Ганка.

— Это кузнец сейчас туда прошел.

Уколотая дурным предчувствием, Ганка побежала прямо на отцовскую половину. Больной лежал, как всегда, неподвижно на спине, а Ягна шила что-то у окна, и больше никого в комнате не было.

— А куда же Михал девался?

— Он где-то здесь, ищет отвертку, которую он Мацею одолжил, — пояснила Ягна, не поднимая глаз.

Ганка выглянула в сени — никого. Зашла на свою половину — тут только Былица сидел у печки с малышами и мастерил им ветряную мельницу. Она поискала даже во дворе — кузнеца нигде не было. Тогда она ринулась прямо в чулан, хотя дверь была закрыта.

Там у бочки стоял кузнец и, по локоть погрузив руки в зерно, усердно рылся в нем.

— В ячмене отвертку спрятал, да? — выкрикнула она, задыхаясь от гнева и волнения, и грозно подошла к нему.

— Нет, смотрю, не заплесневел ли, годится ли для посева, — запинаясь, пробормотал захваченный врасплох кузнец.

— Не твоя это забота! Зачем сюда влез? — крикнула Ганка.

Он неохотно вынул руки из бочки и, едва сдерживая ярость, проворчал:

— А ты за мной следишь, как за вором каким!..

— Я не знаю, зачем ты сюда пришел. Ишь, в чужой чулан залез и шарит в бочках! Может, еще замки станешь вывертывать да сундуки открывать? — кричала Ганка все громче.

— Я же тебе вчера объяснил, чего нам надо искать... — Кузнец пытался говорить спокойно.

— Морочил ты меня, зубы мне заговаривал! Я тебя насквозь вижу, разгадала твои иудины замыслы!

— Ганка, придержи язык, не то я его тебе укорочу! — злобно прорычал кузнец.

— Попробуй, разбойник! Только пальцем меня тронь, так я такой шум подниму, что полдеревни сбежится и увидят люди, что ты за птица! — пригрозила Ганка.

Кузнец внимательно оглядел все углы и, наконец, отступил, отчаянно ругаясь. Они посмотрели друг другу в глаза так пронзительно, что, если бы могли, убили бы, кажется, друг друга этими горящими взглядами.

Ганка долго не могла опомниться, даже воды пришлось выпить, так она была взволнована.

"Надо деньги отыскать поскорее и спрятать в надежном месте, потому что если он найдет их, — украдет все", — думала она, направляясь в овин, но вдруг с полдороги вернулась обратно.

— Сидишь дома, сторожишь, а чужих пускаешь в чулан! — крикнула она Ягне, открыв дверь.

— Михал не чужой. У него здесь такие же права, как у тебя, — ответила Ягна, ничуть не робея.

— Брешешь, как собака! Ты с ним заодно! Ну, помни: если только из дому что-нибудь пропадет, — как бог свят в суд подам и укажу, что ты помогала! Слышишь?

Ягна вскочила и схватила что под руку подвернулось.

— А, драться хочешь! Попробуй только, я тебя так отделаю, что кровью умоешься и родная мать тебя не узнает! — иступленно закричала Ганка.

Неизвестно, чем бы это кончилось, — обе уже подступили друг к другу и собирались пустить в ход ногти, — но в эту минуту вошел Рох. Пристыженная его взглядом, Ганка немного остыла и вышла, изо всей силы хлопнув дверью.

Ягна осталась в комнате. Она стояла ошеломленная, губы у нее дрожали, сердце колотилось и крупные слезы градом катились из глаз. Наконец, она пришла в себя и, бросив в угол валеков, который держала в руках, повалилась на кровать, вся содрогаясь от горьких, безутешных рыданий.

Тем временем Ганка объясняла Роху, из-за чего они поссорились.

Он терпеливо слушал ее бессвязный, прерываемый всхлипываниями рассказ, но, так и не поняв толком, в чем дело, резко остановил ее и стал сурово отчитывать. Даже поданное ему угощение сердито отодвинул и схватился за шапку.

— Придется, видно, куда-нибудь уехать и в Липцы дорогу забыть, коли вы все так себя ведете, дьявола тешите! Мало им горя, болезней, нужды, — они еще дерутся между собой да злобствуют!

Он даже задохнулся после такой длинной отповеди. Ганка была очень огорчена и боялась, как бы он не ушел разгневанный. Она поцеловала у него руку и от всего сердца попросила прощения.

— Да вы поймите, от нее просто житья нет, все делает мне назло и во вред. Ведь из-за нее нас отец обидел — столько земли ей записал! А вы знаете, какая она, знаете, что она с парнями гуляла, что она... (Нет, об Антеке она не могла сказать.) А теперь, говорят, уже с войтом связалась, — добавила еще тише. — Как увижу ее, все во мне кипит, ножом бы ее пырнула...

— Господь сказал: мне отмщение и аз воздам. Она тоже человек и обиду чувствует. За грехи свои она тяжело ответит. А тебе говорю: не обижай ее!

— Я ее обижаю! Я? — удивилась Ганка. Она не понимала, чем обижена Ягна.

Рох жевал хлеб, молча поглядывал на Ганку и о чем-то думал. Потом приласкал детей, жавшихся к его коленям, и собрался уходить.

— Я еще загляну к вам как-нибудь вечером. А ты смотри, оставь ее в покое, делай свое дело, а остальное в божьей воле.

Простился и ушел в деревню.

#### IV

Рох брел по дороге вдоль озера медленно, так как ветер просто валил с ног, и к тому же старик был удручен тем, что творилось в деревне, часто посматривал на избы, задумывался и грустно вздыхал. Да, плохо дело, так плохо, что дальше некуда!

И хуже всего было не то, что многие голодали и болели, что участились ссоры и драки, и даже не то, что смерть уносила больше людей, чем в иные годы. Так бывало и раньше, ко всему этому народ притерпелся. Самое худшее было то, что поля оставались необработанными, потому что некому было пахать и сеять.

Весна шла по всему миру, прилетели с нею и птицы в прошлогодние гнезда, на высоких местах вода сошла, поля подсыхали, земля просила плуга, удобрения и семени...

Но кому же идти в поле, когда все работники в тюрьме? В деревне оставались почти одни только женщины, где им было со всем управиться! А тут еще, как всегда весной, многим пришло время рожать, да и коровы телились, и домашняя птица неслась, и свиньи поросились. Пора было засеивать огороды и высаживать рассаду, надо было достать из ям и перебрать картошку, спускать воду с полей, вывозить навоз на поля, — тут хоть руки до костей сотри, а без мужика всего не осилишь... Да еще надо инвентарь в порядок привести, резать сечку для скота, дрова из лесу возить да рубить. А сколько всяких других работ и забот — да хотя бы о детях, которых в деревне что маку. Бабы уже рук и ног своих не чуяли, к вечеру поясница немела от усталости, а работа оставалась и наполовину несделанной, и, самое главное, за полевые работы еще никто и не принимался.

Земля ждала. Обогревало ее молодое солнце, сушили ветры, мочили насквозь теплые, благодатные дожди, крепили туманные и теплые весенние ночи. И уже всходила зеленой щетинкой трава, быстро росла озимь, звенели жаворонки над полями, а по болотистым лугам бродили аисты; кое-где уже и цветы расцветали, в сырых лощинах и тянулись к сияющему небу, которое светлым пологом обнимало землю и что ни день поднималось все выше, и все дальше достигал тоскующий взор — уже до самого леса, прежде скрытого в зимнем сумраке. Все пробуждалось и наряжалось для веселого праздника весны.

В соседних деревнях везде кипела работа. С утра до вечера — в дождь и ведро, — в полях раздавались веселые песни, ауканье. Блестели плуги, суетились люди, ржанье лошадей мешалось с веселым тарахтеньем телег. Только на липецких пашнях было пусто и тихо, как на кладбище.

А в довершение всего женщин томила тяжкая тревога за тех, кто сидел в тюрьме.

Чуть не каждый день брели они в город — кто с узелками, а кто и с пустыми руками, только для того, чтобы тщетно молить об освобождении невинных.

Но разве сжалится кто-нибудь над обиженным народом, если он сам для себя не добьется справедливости?

Беда посетила Липцы, такая беда, что люди из других деревень начинали видеть в ней обиду, нанесенную не одним липецким, а всему крестьянству. Только обезьяны грызутся между собой, а человек всегда за человека стоять должен, чтобы и самому не оказаться одиноким в беде!

Не диво, что мужики соседних деревень, которые прежде были с Липцами на ножах из-за размежевания полей да разных потрав, а то и просто из зависти, потому что липецкие важничали перед другими и деревню свою считали первой, теперь забыли старые споры, и часто какой-нибудь житель Рудки, или Воли, или Дембицы и даже не один из репечкой шляхты отправлялся на тайную разведку в Липцы.

А по воскресеньям после службы в костеле или, например, вчера, после исповеди, они усиленно расспрашивали об арестованных и, слушая рассказы липецких, хмурились и так же, как те, сжимая кулаки, крепко ругали обидчиков и сокрушались об участи несправедливо пострадавших.

Вот об этом-то и размышлял сейчас Рох, обдумывая одно затеянное им большое дело. Он еще замедлил шаг, часто останавливался, укрываясь от ветра за деревьями, и, словно не замечая ничего вокруг, смотрел куда-то вдаль.

А кругом становилось светлее и теплее, и только несносный ветер с часу на час усиливался и

шумел; со стоном гнулись тонкие деревья, купая ветви в озере, солома с крыш летела целыми пучками, ломались сучья. Ветер дул теперь уже с такой силой, что все пришло в движение — плетни, сады, хаты, деревья, и казалось, все летело за ним. Даже бледное солнце, выглянувшее из-за разорванных туч, тоже быстро бежало по небу, а над костелом какие-то птицы с распростертыми крыльями, обессилев, отдались на волю ветра и со страшными криками разбивались о башенки костела и метавшиеся деревья.

Однако этот надоевший и проказливый ветер хорошо сушил землю, и с утра уже поля посветлели, а с дорог схлынула вода.

Рох долго еще стоял в раздумье, забыв обо всем, но вдруг насторожился: ветер донес до него чьи-то взволнованные голоса.

Он торопливо осмотрелся: на другом берегу, перед избой солтыса, толпа баб обступила каких-то людей, которых он не мог разглядеть.

Заинтересованный Рох поспешил туда, чтобы узнать, что случилось. Но, увидев издали стражников и войта, свернул в ближайший двор, а оттуда стал осторожно пробираться садами к толпе: он предпочитал не попадаться на глаза представителям власти.

Толпа галдела все громче, подходило все больше и больше женщин, сбежались со всех сторон и дети и протискивались между старших, толкая друг друга. Во дворе солтыса уже не хватало места, и толпа хлынула на улицу, не обращая внимания на грязь и хлеставшие их по головам ветви. Кричали все разом, и Рох ничего не мог разобрать, потому что ветром уносило слова. Он только слышал из-за деревьев, что больше всех шумит Плошкова.

Раскрасневшаяся толстуха так яростно размахивала кулаками под самым носом войта, что войт пятился от нее, а другие поддерживали ее, крича, как стадо рассерженных индюков. Жена Кобуся забежала то справа, то слева, тщетно пытаясь добраться до стражников, над головами которых то и дело взлетали сжатые кулаки, а кое-где уже и палки или грязная метла.

Войт что-то объяснял, озабоченно скреб затылок и один выдерживал натиск баб, пока стражники со всякими предосторожностями не отступили к озеру и пошли по направлению к мельнице. Тогда и он пошел за ними, отругиваясь на ходу и грозя мальчишкам, которые кидали в него грязью.

— Чего они хотели! — спросил Рох, входя в толпу.

— Чего хотели? Чтобы деревня сейчас же послала двадцать телег и людей чинить дорогу в лесу, — объяснила Плошкова.

— Какое-то важное начальство там проезжать будет вот и велено засыпать все рытвины...

— А мы сказали, что ни телег, ни лошадей не дадим!

— Кто же это поедет?

— Пускай выпустят наших мужиков, тогда они им дорогу починят.

— Пана запрягли бы!

— Сами пусть за работу примутся, а по нашим хатам работников искать нечего!

— Обидчики проклятые!

Так наперебой кричали бабы все громче и пронзительнее.

— Как только я их увидела, так и почувяла недоброе!

— Они уже с утра толковали с войтом в корчме.

— Нахлестались водки и пошли ходить по хатам выгонять людей на работу!

— Войту все известно, он обязан был доложить начальству, какое положение в Липцах, — вставил Рох, напрасно стараясь перекричать возбужденных женщин.

— Да что о нем говорить — он всегда с ними заодно!

— Первый их на нас натравливает!

— Он только свою выгоду во всем соблюдает! — кричали в толпе.

— Уговаривал нас дать стражникам по пятнадцати яиц с каждой избы или по курице, тогда они нас оставят в покое и пошлют на шарварк[19] другие деревни.

— А камня в лоб не хотят?

— Да палок бы еще добавить!

— Тише, бабы, а то еще посадят и вас за оскорбление начальства.

— Пусть судят, пусть в острог сажают, а я хоть самому большому начальнику в глаза все скажу! Скажу, как нас обижают!

— Испугалась я войта! Подумаешь, особа какая! Чучело — воробьев пугать! Забыл, что его на эту должность мужики выбрали, так они его и снять могут, — орала Плошкова.

— А за что же нас карать? Или мы податей не платим, не отдаем сыновей в солдаты, не делаем, что прикажут! Мало им, что мужиков у нас забрали!

— Уж это известно: если они в деревне показались, — жди напасти!

— В жатву собаку мою в поле подстрелили!

— На меня в суд подали за то, что сажа в трубе загорелась!

— А на меня разве не подавали в прошлом году, когда я лен сушила за гумном?

— А гульбасова парнишку как избил за то, что камнем в них швырнул!

Все кричали разом, окружив Роха, — такой подняли галдеж, что он даже уши заткнул.

— Да помолчите вы! Разговорами делу не поможешь! Тише! — крикнул он, наконец.

— Идите вы к войту и все ему скажите, не то мы сами туда пойдём с метлами! — неистово заорала Кобусиха.

— Пойду, а вы по домам ступайте! У каждой небось работы довольно. Я ему все объясню! — горячо убеждал их Рох, боясь, как бы не вернулись стражники.

В костеле прозвонили полдень, и бабы стали медленно расходиться, громко переговариваясь и часто останавливаясь перед избами.

А Рох торопливо вошел в избу солтыса, где он теперь жил. (Детей он обучал в пустовавшей избе Сикоры, на другом конце деревни, за корчмой.)

Солтыса дома не было — он поехал в уезд платить подати, а жена солтыса рассказала Роху спокойно, по порядку, как все произошло.

— Только бы это не кончилось бедой! — сказала она в заключение.

— Во всем войт виноват. Стражники делают, что им приказано, а он-то знает, что в деревне остались одни бабы и в поле работать некому, не то что дорогу чинить! Пойду я к нему, пусть уладит дело, чтобы штрафа на деревню не наложили.

— Это они Липцам мстят за лес! — заметила Сохова.

— Кто мстит! Помещик! Да он же этими делами не ведает!

— Э, паны между собой всегда столкнутся, они друг за дружку стоят. А наш помещик клялся, что отплатит липецким.

— О Господи Иисусе, дня спокойного нет! Не одно, так другое!..

— Только бы хуже не было! — вздохнула Сохова, складывая руки, как на молитву.

— Слетелись все, как сороки, и такой крик подняли, что не дай боже!

— У кого болит, тот и кричит!

— Да ведь криком делу не поможешь, только новое несчастье накликать можно.

Рох был раздражен и опасался, как бы на деревню не свалилась новая беда.

— К ребятам идете?

Рох встал с лавки.

— Нет, я отпустил учеников — праздник наступает, и они должны дома помогать: столько дела у всех!

— Ходила я сегодня утром в Волю работников нанимать, по три злотых давала за вспашку, на моих харчах — и ни один не идет: говорят, сперва свое надо обработать, где тут о чужом думать! Обещают прийти через неделю, а то и через две.

— Эх, жалко, что у меня всего только две руки, да и те слабые! — вздохнул Рох.

— Вы и так народу много помогаете! Что бы с нами было, кабы не ваш разум и доброе сердце!

— Если бы я мог сделать все, что хочу, не было бы горя на свете. Да ведь...

Он развел руками в немом сознании своего бессилия и поспешно вышел.

Он направился к войту, но дошел до него не скоро, потому что по дороге заходил во все избы.

Деревня уже немного успокоилась. Еще кое-где у плетней шумели самые неугомонные бабы, но большинство разошлось по домам готовить обед, и на улицах только ветер гулял и по-прежнему тормозил деревья.

Но вскоре после полудня, несмотря на ветер, повсюду закопошились люди. Во дворах, на огородах, на крылечках, в сенях и горницах гудело, как в ульях. Работали одни только женщины и девушки, а если где и попадался парнишка, так из тех, что еще в одних

рубашонках бегают или, самое большое, в подпаски годятся, — все, кто постарше, сидели в тюрьме вместе с отцами.

Работали торопливо, подгоняя друг друга, — вчера все просидели почти целый день в костеле, ожидая исповеди, сегодня всех взбудоражило появление стражников — и надо было наверстывать потерянное время.

Подходил праздник, страстной вторник был уже на носу, так что прибавилось работы и всяких хлопот: и хаты надо было в порядок привести, и детей обшить, и себе кое-что справить, и зерно на мельницу свезти, и для разговенья всего наготовить, да и мало ли что еще! В каждой избе у хозяйки голова шла кругом, — надо было не только со всем управиться, но и хорошенько поискать в чуланах, что бы такое продать корчмарю или в город отвезти, чтобы выручить немного денег. Несколько женщин уже сегодня после обеда уехали в город, везя под соломой всякую всячину на продажу.

— Смотрите, как бы вас по дороге деревом где-нибудь не придавило! — предостерегал Рох Гульбасову, проезжавшую мимо на тощей лошаденке, которая еле шла против ветра. Он тут же свернул к ее избе, увидев, что девушки, замазывавшие щели, не могли достать до верхних наличников. Он им помог, потом развел в ведре известку для побелки стен, сделал им из соломы отличную кисть и только после этого побрел дальше.

У Вахников девушки вывозили навоз на ближнее поле, но так ловко с этим управлялись, что половину навоза растеряли по дороге.

Девушки вдвоем тянули под уздцы упиравшуюся лошадь. Рох умял как следует навоз на телеге, а лошадь огрел кнутом, и она сразу пошла и стала послушной, как ребенок.

У Бальцерков Марыся первая после Ягны красавица в деревне сеяла горох сразу за оградой, Земля была черная, хорошо унавоженная, но дело у Марыси не спорилось. Повязанная платком, в отцовском кафтане до земли, она двигалась, как муха в смоле.

— Не торопись, успеешь! — смеялся Рох, зайдя на огород.

— Как же... Кто в страстной вторник горох сеет, соберет по мешку с гарнца! — отозвалась Марыся.

— Покуда ты весь высеешь, у тебя уже первый взойдет! И слишком густо сеешь, Марысь, слишком густо; как вырастет, перепутается весь и поляжет.

Он показал ей, как сеять под ветер, потому что глупая девушка сеяла как попало.

— А Вавжон Соха меня уверял, что ты все умеешь! — сказал он с притворным укором, шагая рядом с нею по борозде, полной грязи.

— Вы с ним говорили? — воскликнула Марыся, круто остановившись и тяжело дыша от волнения.

Она густо покраснела, но расспрашивать Роха не решалась.

Рох только усмехнулся вместо ответа, но перед уходом сказал:

— На праздниках увижу его, так расскажу, как ты усердно работаешь!

У Плошков, родственников Стаха, два мальчика вспахивали под картофель полосу у самой дороги. Один правил лошадью, другой пробовал пахать, но оба еще едва выросли до конского хвоста, и силенок у них не хватало. Плуг ходил, как пьяный, лошадь то и дело поворачивала к конюшне. Мальчики стегали ее и бранились.

— Мы справимся, Рох, справимся, только вот из-за проклятых камней плуг все выскакивает! А кобыла рвется к жеребенку, — оправдывался, глотая слезы, старший, когда Рох отобрал у него плуг и сразу врезал его в землю, показывая им в то же время, как надо держать лошадь.

— Теперь мы до вечера целую полосу вспашем — задорно воскликнул мальчик, опасливо поглядывая по сторонам — не видел ли кто, как Рох им помогал. Когда старик ушел, он присел на плуг, спиной к ветру, и, подражая отцу, закурил папиросу.

А Рох шел дальше, от избы к избе, высматривая, где он может быть полезен.

Он улаживал ссоры, унимал расшалившихся детей, разрешал споры, давал советы, а где нужно, помогал в работе, хотя бы самой тяжелой, — например, Клембовой нарубил дров, увидев, что она не может справиться с суковатым пнем, а Пачесям принес воды с озера. Заметив, что люди уже совсем пали духом или ропщут, он веселой шуткой старался вызвать смех. Девушкам рассказывал о жизни в усадьбах и вместе с ними вспоминал их дружков. С бабами говорил о детях, о хозяйстве, о соседях, обо всем, что их занимало, — только бы отвлечь их от печальных мыслей.

Человек он был умный, бывалый, многое повидал на свете и потому с первого взгляда понимал, о чем нужно говорить с каждым человеком, какой притчей прогнать его грусть, вырвать душу из когтей тоски, с кем посмеяться, кому молвить суровое и мудрое слово, а то и пригрозить.

Он был добр и отзывчив и, хотя его и не просили, нередко просиживал ночи у постели больных, ободряя несчастных. В деревне его уважали больше, чем ксендза.

Но мог ли Рох помочь всему людскому горю? Мог ли один бороться с судьбой, накормить голодных, вернуть здоровье больным, заменить своими двумя руками все недостающие рабочие руки?

Он трудился сверх сил, помогал людям и защищал их интересы, но для деревни его помощь была каплей в море. Это было все равно, что смочить запекшиеся от жажды губы, не дав человеку напиться!

Деревня была большая, одних дворов больше пятидесяти, и пахотной земли много, и скота. Все это требовало ухода. А сколько ртов надо было накормить в каждой избе!

С того дня, как увезли всех мужчин, хозяйство держалось кое-как, скорее волей божьей, чем усилиями людей. Надо ли удивляться, что с каждым днем множились горе, нужда, жалобы и волнения?

Все это Рох хорошо знал, но только сегодня, ходя из избы в избу, он своими глазами увидел царившую в Липцах разруху.

Поля оставались необработанными, никто не пахал, не сеял, не сажал, а если кое-где и копались в земле, так это была не работа, а детская забава. На каждом шагу уже заметны были разрушения и запущенность; тут валялись плетни, там ободранные крыши обнажали решетины и стропила, сорванные с петель двери висели, как перебитые крылья, и колотились о стены. Многие избы покосились и требовали подпорок.

Везде около изб стояли гниющие лужи, грязь была по колена, под стенами нагажено так, что пройти нельзя, и на каждом шагу замечалось такое разорение, что сердце щемило. Коровы часто мычали с голоду, лошади обрастали навозом — некому было их чистить.

В таком состоянии было хозяйство у всех. Даже телята, извалявшиеся в грязи, бродили без присмотра по дорогам, хозяйственный инвентарь портился под дождем, ржавели плуги, в

телегах поросились свиньи. Все, что покосилось, оборвалось, сломалось и упало, так уже и оставалось, — кому же было поднимать да чинить? Кому вовремя остановить разрушение?

Женщинам? Да у них, бедных, едва хватало сил и времени на самые необходимые дела! Вот если бы вернулись мужики, сразу все пошло бы по-другому. Их возвращения ждали, как спасения, ждали со дня на день, только этой надеждой и жили. Но мужики не возвращались, и никак не удавалось узнать, когда же их выпустят. И люди маялись, изнывали от горя и забот, тешили дьявола сварами, дразгами и драками.

Уже седые сумерки одели землю, когда Рох вышел из последней избы за костелом, от Голубов, и поплелся к войту на другой конец деревни.

Ветер все еще гудел и бесновался, с такой силой качая деревья, что опасно было проходить мимо: то и дело на дорогу валились сломанные сучья.

Старик, сгорбившись, пробирался под самыми плетнями, едва видный в сером сумраке, странно напоминавшем толченное стекло.

— Если вам войт нужен, так ищите его на мельнице, дома его нет! — объявила Ягустинка, как из земли выросшая перед Рохом.

Рох, не говоря ни слова, свернул к мельнице. Он терпеть не мог этой старой сплетницы. Но она догнала его и, семена рядом, зашептала почти на ухо:

— Зайдите к моим детям, да и к Филипке... зайдите!

— Если я им чем-нибудь могу помочь, то зайду.

— Они так просили, так просили! — с мольбой твердила Ягустинка.

— Ладно, только сперва мне нужно с войтом поговорить.

— Спасибо вам!

Она дрожащими губами припала к его руке.

— Что это вы? — удивился Рох, потому что они всегда воевали друг с другом.

— Ничего. Для каждого приходит такой час, когда ему, как псу загнанному и бездомному, хочется, чтобы его погладила добрая рука, — пробормотала Ягустинка со слезами в голосе. Но раньше, чем Рох успел найти и сказать ей ласковое слово, она торопливо ушла.

Войта и на мельнице не оказалось, — должно быть, уехал со стражниками в город. Так объяснил Роху мельников работник и пригласил его в свою каморку отдохнуть. Там уже сидело много липецких баб и людей из других деревень, которые привезли молотье зерно и дожидались своей очереди. Рох охотно посидел бы там подольше, но солдатка Тереза тотчас под села к нему и робко стала спрашивать о Матеуше Голубе.

— Вы были в тюрьме, так, верно, и его видели... Что, он здоров? А когда его выпустят? — настойчиво спрашивала она, не смея поднять глаз.

— А как поживает твой муж в армии? Здоров? скоро воротится? — спросил, — наконец, Рох так же тихо и посмотрел на нее пристально и сурово.

Тереза покраснела и убежала на мельницу.

А Рох только головой покачал, думая об этой слепой любви, и вышел вслед за Терезой, чтобы поговорить с нею, предостеречь от греха. Но, хотя на мельнице и горели лампочки, он

не мог найти ее в полумраке среди висевшей туманом мучной пыли. Мельница грохотала, вода с шумом падала на колеса, ветер словно швырял огромными мешками в стены и крышу, и все кругом дребезжало и тряслось. Рох перестал искать солдатку и пошел к Прычкам и Филипке.

Среди качавшихся деревьев тут и там, как волчьи глаза, мигали огоньки, и ночь стояла такая светлая, что отчетливо видны были хаты, утопавшие в садах, и можно было даже разглядеть поля вдали. Высокое темно-синее небо совсем очистилось от туч, только кое-где было словно снегом запорошено и на нем загоралось все больше звезд. Но ветер не утих, напротив, — бушевал еще сильнее.

Он бесновался всю ночь, и многие ни на минуту не могли сомкнуть глаз: в избах сильно дуло, деревья бились о стены и стучали в окна. Казалось, вот-вот ветер сорвет с земли всю деревню и понесет ее по свету.

Утихло только к утру. Но едва петухи возвестили рассвет и измученные люди задремали, как раскатился над деревней гром, огненными лентами замелькали молнии, и пошел проливной дождь.

Утро настало, и, наконец, все успокоилось, дождь перестал, с полей так и веяло теплом. Радостно защибетали птицы, и хотя солнце еще не вставало, низкие беловатые тучи местами разорвались, и сквозь них ярко голубело небо. Все предвещало хорошую погоду.

Но когда люди в деревне встали, со всех сторон поднялись причитания и плач, потому что ветер и гроза наделали много бед. На дорогах лежали вповалку сломанные деревья, куски крыш, сорванные плетни, — ни пройти, ни проехать!

У Плошков обвалился хлев и задавило всех гусей. В каждом хозяйстве случилась какая-нибудь беда, и на всех дворах голосили и плакали бабы.

Вышла и Ганка из избы осмотреть свое хозяйство и проверить, все ли цело. Вдруг во двор вбежала Сикора.

— А вы не знаете, что у Стаха изба развалилась? Чудо, что их всех не убило! — кричала она уже от ворот.

— Иисусе! Матерь Божия!

Ганка обомлела от ужаса.

— Я за вами прибежала — они там совсем голову потеряли... плачут...

Накинув впопыхах платок, Ганка побежала к сестре, и за ней уже тянулась толпа баб, так как весть о несчастье быстро разнеслась по деревне.

И правда, от избы Стаха остались только стены, да и те еще больше покосились и ушли в землю. Крыши не было, качались только над стенами сломанные стропила. Обвалилась и печная труба, остов ее торчал, как гнилой зуб. Земля вокруг была покрыта разметанной соломой и обломками всякой рухляди.

Веронка сидела у стены на сваленных в кучу вещах и, обхватив руками плакавших детей, громко голосила.

Бросилась к ней Ганка, собрались вокруг соседи и стали утешать ее, но она ничего не слышала и не видела, плакала навзрыд, захлебываясь слезами.

— Ой, сироты мои несчастные, сироты горькие! — стонала она в отчаянии, и не одна баба,

глядя на нее, утирала слезы жалости.

— И куда мы, несчастные, денемся? Где головы приклоним? Куда пойдём? — кричала Веронка, как безумная, прижимая к себе детей.

А старый Былица, сгорбившись, бледный как мертвец, все ходил вокруг развалин и то сгонял кур в кучу, то подкладывал сена привязанной к дереву корове, то присаживался под стеной, свистом подзывал собаку и бессмысленно таращил на всех глаза. Люди решили, что он окончательно рехнулся.

Вдруг все задвигались, расступились и стали низко кланяться: в толпе женщин неожиданно появился ксендз.

— Мне Амброжий только что сказал, какое тут несчастье случилось. А где же стахова жена?

Все отошли в сторону, давая ему дорогу, а Веронка все плакала и ничего не замечала.

— Веронка, смотри, его преподобие пришел, — шепнула Ганка.

Тут только она вскочила и, увидев перед собой ксендза, повалилась ему в ноги, причитая еще громче и жалобнее.

— Ну, ну, не плачь, успокойся! Что делать, божья воля! Божья воля, слышишь, что говорю! — повторял он, но и сам был взволнован и украдкой утирал слезы.

— По миру нам идти придется, кусочки выпрашивать!

— Ну, ну, не горюй, добрые люди вам пропасть не дадут, и Господь поможет. Не ушибло никого из вас!

— Нет, слава богу!

— Истинное чудо! Могло ведь всех задавить, как гусей у Плошковой!

— Могло так быть, что ни один бы живой не выбрался! — заговорили бабы, перебивая друг друга.

— А скотину не убило? Скотина, спрашиваю, цела?

— Господь уберег. Вся была в сенях, а сени целы остались.

Ксендз понюхал табак, оглядывая слезящимися глазами груды развалин: крыша и потолок рухнули внутрь избы, и в окна видна была куча деревянных обломков и гнилой соломы.

— Счастье ваше... ведь всех могло задавить... Ну, ну!

— А пускай бы задавило, пусть бы всех насмерть пришибло, так не пришлось бы на это разорение смотреть, не дожили бы до такого несчастья!.. Ох, Господи, Господи, без всего осталась я с сиротами! Куда теперь? Что буду делать? — Веронка опять заревела и стала рвать на себе волосы.

Ксендз, беспомощно разводя руками, топтался на месте.

— Посуше будет вам стоять-то! — шепнула одна из баб, пододвинув к нему обломок доски, так как он стоял по щиколотку в грязи. Он ступил на доску и, нюхая табак, искал слов утешения.

Ганка занялась сестрой и отцом, а остальные толпились около ксендза, выжидательно глядя

на него.

Подходили все новые группы женщин и детей, грязь так и хлюпала под деревянными башмаками, шелестели тихие встревоженные голоса, раздавался детский плач и затихавшие уже всхлипывания Веронки. Лица баб, полускрытые низко надвинутыми платками, были хмуры, как висевшее над головами небо, в них читались печаль и угрюмая забота. И не у одной по щеке катилась горячая слеза.

Но все смотрели на печальную картину разорения спокойно, с покорностью судьбе. Что поделаешь! Если чужие беды принимать близко к сердцу, сил не хватит свой крест нести! Да к тому же случившегося не изменишь, от судьбы не уйдешь. Так рассуждали все.

Ксендз вдруг подошел к Веронке и сказал:

— Ты бы перво-наперво Бога поблагодарила за спасение!

— Правда! Я хоть поросенка продам, а на обедни вам денег отнесу...

— Не надо, деньги тебе на другое понадобятся, я и так после праздников молебен отслужу.

Веронка поцеловала у него руку и в порыве горячей благодарности даже в ноги ему поклонилась. А он перекрестил ее, погладил по голове, а детей, жавшихся к его коленям, обнял с отеческой лаской.

— Только духом не падайте, и все будет хорошо. Как же это у вас случилось-то?

— Как? С вечера легли мы спать рано, керосину в лампе не было, да и печь топить нечем. Ветер был такой, что вся хата трещала, но я ничуть, не боялась — не такие еще бури она выдерживала. Долго я не могла уснуть, по избе сильный сквозняк ходил. А потом, должно быть, все-таки задремала. Вдруг как загудит, как ухнет в стены, как потряхнет хату! Господи! Показалось мне, будто весь свет рушится! Вскочила с постели, схватила ребят в охапку, а тут уже все трещит, ломается, на голову летит... Выскочили мы в сени, а потолок за нами сразу и обвалился... Не успела я с мыслями собраться, как уже и печь рухнула... На дворе — ночь, ветер с ног валит, до деревни далеко, все спят и криков никто не услышит...

Залезла я с ребятами в картофельную яму, и мы до утра там и просидели.

— Бог вас охранял. А чья это корова привязана к черешне?

— Да моя, кормилица наша единственная!

— Ого, какая! Спина, как балка, бока высокие, наверное много молока дает. Стельная!

— Со дня на день должна отелиться.

— Приведи ее в мой хлев, место найдется, она может там постоять, покуда на пастбище не выгонишь. Но вы-то все куда денетесь? Куда денетесь, говорю?

В эту минуту какая-то собака залаяла и стала кидаться на людей, а когда ее отогнали, села на пороге и жутко завывала.

— Взбесилась, что ли? Чья это? — спрашивал ксендз, укрываясь за спины баб.

— Да это наш Кручек... жалеет нас... Разумный песик! — пролепетал Былица и пошел успокаивать собаку.

А ксендз попрощался и, кивнув Сикоре, чтобы шла за ним, протянул обе руки бабам, которые бросились их целовать, и медленно зашагал домой.

Видно было, как он, стоя на дороге, о чем-то долго толковал с Сикорой.

А бабы, наговорившись и повздыхав над Веронкой, стали быстро расходиться, вспомнив о завтраке и всякой неотложной работе.

У развалившейся избы осталась только семья Былицы.

Они совещались, как вытащить что-нибудь из-под обломков, когда вернулась запыхавшаяся Сикора.

— Ко мне перебирайтесь, на ту половину, где Рох детей учил. Печи там, правда, нет, да ничего, будешь у меня стряпать, — сказала она скороговоркой.

— А платить-то тебе чем буду, голубка?

— Об этом не беспокойся. Найдутся деньжонки — заплатишь, а нет, так при работе как-нибудь подсобишь, или так живи, все равно горница пустая стоит. От чистого сердца прошу, а ксендз велел отдать тебе вот эту бумажку на первое обзаведение.

Она развернула трехрублевку перед глазами Веронки.

— Дай ему Бог здоровья! — воскликнула Веронка, целуя бумажку.

— Добрый человек. Другого такого не сыскать, — добавила и Ганка.

— Корове у него в хлеву тоже будет хорошо, — заметил старик.

Они тут же стали перебираться.

Изба Сикоров стояла у дороги, на повороте к деревне, недалеко от избы Стаха, и они быстро перенесли туда уцелевшие пожитки и все то, что удалось кое-как вытащить из-под развалин. Ганка позвала на помощь своего работника, да и Рох подошел и принялся деятельно помогать, так что еще до полудня Веронка была водворена в новое жилище.

— Бездомная я теперь, нищая! Четыре угла да потолок, даже образа нет и ни одной миски! — горевала она, осматриваясь на новом месте.

— Образ я тебе принесу, из посуды тоже все, что найдется у меня лишнего. А воротится Стах, так с помощью добрых людей живо избу поставит, недолго тебе тут оставаться, — ласково утешала ее Ганка. — А где же отец?

Она хотела забрать его к себе.

Старик остался у развалин. Сидел на пороге и осматривал помятый бок Кручека.

— Пойдемте ко мне, отец, у Веронки теперь тесно, а у нас угол для вас найдется.

— Не пойду, Гануся... Здесь родился, здесь и помереть хочу.

Сколько она ни просила, сколько ни уговаривала его, он стоял на своем.

— В сенях себе постель налажу. А коли велишь, у тебя кормиться буду, детей за это понячу... Вот песика возьми к себе, видишь, бок ему покалечило... Он хорошо сторожить будет, чуткий очень.

— Смотрите, обвалятся стены и вас задавит! — уговаривала его Ганка.

— Ничего, они дольше продержатся, чем иной человек. А собачку возьми.

Ганка больше не настаивала. По правде сказать, и у нее было тесно, а со стариком в дом вошла бы новая забота.

Она велела Петрику отвести Кручека домой на веревке.

— Будет у нас вместо Бурека, тот сбежал куда-то. Вот еще косолапый! — крикнула она раздраженно, видя, что Петрик не может справиться с собакой.

— Дурачок! Кусаться вздумал! Ведь там тебя каждый день кормить будут... и в тепле лежишь, Кручек, — увещевал старик собаку, привязывая ей на шею веревку.

Ганка побежала вперед, чтобы по дороге еще раз заглянуть к сестре.

Она застала в избе несколько женщин. Веронка опять заливалась слезами.

— И чем же я заслужила такую вашу доброту, чем! — причитала она.

— Много уделить не можем, у самих нужда. А то, что принесли, бери, от всей души даем, — сказала Клембова, сунув ей в руки порядочный узелок.

— Ведь такое несчастье!..

— Люди не каменные, каждый горя хлебнул, понимает...

— И одна ты, без мужа, как мы все!

— Тебе сейчас горше, чем нам, — говорили женщины и клали перед Веронкой принесенные узелки. Сговорившись между собой, они принесли ей, кто что мог: гороху, ячменной крупы, муки.

— Родимые вы мои, хозяйшкы дорогие! — всхлипывала Веронка, обнимая всех так горячо, что и они заплакали.

"Есть еще добрые люди на свете, есть!" — думала растроганная Ганка.

А тут пришла и жена органиста с караваем хлеба подмышкой и куском сала в бумажке.

Ганка, не дожидаясь, что она скажет, побежала домой, так как уже прозвонили полдень.

День был ясный, хотя и без солнца, воздух удивительно прозрачный. Высоко на лазурном небе кое-где стояли белые перистые облака, а внизу, как на ладони, видны были широко раскинувшиеся поля. Местами зеленели всходы, местами желтело жнивье, и, как стекло, блестели ручейки.

Громко заливались жаворонки, а от полей и лесов, из голубой дали плыл по всему миру живительный весенний воздух, теплый и влажный, пропитанный медовым запахом тополевых почек.

На улицах деревни копошились люди, убирая сучья и деревья, сломанные ветром.

Воздух был так неподвижен, что деревья, овеванные пухом первой зелени, почти не шевелились.

У костела на стенах и развесистых липах чернели несметные тучи воробьев, и оглушительное чириканье разносилось по деревне. А у тихой сверкающей глади озера кричали гуси, сзывая гусенят, и громко стучали вальками бабы, стиравшие в нескольких местах.

Везде кипела работа, люди шумно перекликались, суетились, в садах мелькали яркие бегали ребяташки.

Двери в сени и комнаты были раскрыты настежь, на плетнях сушилось только что выстиранное белье, проветривались постели, тут и там белили стены. Собаки воевали со свиньями, рывшимися в канавах, а коровы поднимали рогатые головы из-за оград и тоскливо мычали.

Много телег потянулось в местечко за покупками к празднику. А после полудня приехал на длинном возу старый торговец Юдка с женой и мальчишкой.

Они разъезжали от избы к избе, провожаемые яростным лаем собак, и редко Юдка выходил из избы с пустыми руками. Он не плутовал, как корчмарь и другие, платил хорошо и даже, если кому до нового урожая нужны были деньги, давал займы под небольшие проценты. Он был умный еврей, знал всех в деревне, знал, как с кем говорить, и то и дело тащил на свой воз теленка или четверть зерна. А жена его торговала отдельно, у кого покупала яйца и петухов, у кого — оципанную курицу, у кого — кусок полотна. Все это она, впрочем, не столько покупала, сколько выменивала на всякие воротнички, ленты, тесемки, брошки и другие мелочи, до которых женщины такие охотницы. Свои товары она носила в большущей картонке, соблазняя щеголих.

Воз Юдки подъехал к дому Борыны, и Юзька влетела с криком:

— Ганусь, купи красной тесемки и краски для яиц! Да и нитки тоже у нас кончились.

— Завтра поедешь в город, там и купишь все, что нужно?

— Вот и хорошо! В городе, пожалуй, дешевле, там не так обжулят, — уверяла Юзька, обрадовавшись, что поедет в город. Она, уже не дожидаясь приказания, выбежала к торговцам, крича, что ничего не надо и ничего не продают.

— Да загони кур, а то какая-нибудь попадет к ним на воз! — крикнула ей вслед Ганка, выйдя на крыльцо.

Во двор зашла солдатка Тереза, словно спасаясь от еврейки, которая что-то кричала ей.

Тереза вбежала за Ганкой в комнату, красная, смущенная до такой степени, что слова не могла вымолвить. Чем-то она была сильно расстроена, даже слезы блестели на ее длинных ресницах.

— Что с тобой, Терезка? — спросила Ганка с любопытством.

— Эти мошенники дают мне только пятнадцать злотых, а юбка шерстяная, совсем новая! Что делать? Деньги мне дозарезу нужны!

— Покажи-ка... А много ли просишь? — сказала Ганка, большая охотница до всяких нарядов.

— Да уж самое меньшее тридцать злотых! Юбка новехонькая, целых шесть с половиной аршин. На нее пошло больше четырех фунтов самой чистой шерсти... и красильщику я заплатила.

Она развернула юбку, и словно радуга засияла в избе, переливаясь такими яркими красками, что хоть глаза зажмуривай.

— Красота! Эх, жалко... да что делать, самой к празднику деньги понадобятся. Может, подождешь до Фоминой?

— Где там, мне деньги сейчас нужны!

Тереза торопливо сложила юбку и отвернулась, словно стыдясь чего-то.

— Может быть, войтова жена купит... у них деньги водятся.

Ганка опять принялась рассматривать юбку, примерять, но, наконец, со вздохом сожаления отдала ее Терезе.

— Хочешь мужу денег послать?

— Да... жалуется, что трудно ему там... Ну, оставайтесь с богом!

И чуть не бегом выбежала из избы, а Ягустинка, растиравшая в лохани картофель для свиней, громко расхохоталась:

— Ишь, как бежит, чуть юбок не потеряла! Сконфузила ты ее: деньги-то ей нужны для Матеуша, а не для мужа.

— Так она с ним водится? — удивилась Ганка.

— Господи, ничего-то ты не знаешь, словно в лесу живешь!

— Откуда же мне знать?

— Да ведь Тереза каждую неделю бегает в город к Матеушу и, как собачонка, целый день караулит у тюрьмы. Носит ему, что только может.

— Побойся бога! У нее свой мужик есть!

— Есть, да далеко, на военной службе, и вернется ли еще, бог весть. Бабенке одной скучно, а Матеуш близко, под рукой, и орел парень! Отчего же ей не побаловаться?

Ганка не отвечала, глубоко задумавшись. Она вспомнила Антека и Ягну...

— А когда Матеуша забрали, она с его сестрой, с Насткой, подружилась, даже живет у них теперь, вместе в город ездят: Настка как будто брата навещать, а больше для того, чтобы Шимек ее не позабыл.

— И все-то ты знаешь!

— Ведь у людей на глазах все делают, глупые, так как же не знать! Вот продает последнюю юбку, чтобы Матеушу праздник справить! — насмешливо отозвалась Ягустинка.

— Ох, ох, чего не бывает на свете!.. И мне надо бы к Антеку съездить.

— Где же в твоём положении в такую дорогу пускаться! Еще расхвораешься... Не может разве Юзька поехать или кто другой?

Ягустинка чуть не назвала Ягну, но вовремя прикусила язык.

— Нет, сама поеду! Бог даст, ничего со мной не случится, Рох говорил, что на праздник будут к нему пускать. Поеду!.. Да вот что, Ягустинка: пора бы окорока переложить!

— Пожалуй, не мешает — третий день солятся. Сейчас пойду.

Она пошла в чулан, но быстро вернулась смущенная и объявила, что половина мяса исчезла.

Ганка бросилась в чулан, за ней — Юзька, и обе в ужасе остановились перед кадкой, теряясь в догадках, куда могло деваться мясо.

— Это не собака: сразу видно, что ножом отрезали... Чужой вор унес бы все, а не два-три фунта... Это Ягусина работа! — решила Ганка и в ярости кинулась в комнату, но Ягны там не было, а старик лежал, как всегда, с широко открытыми глазами.

Тут только Юзька вспомнила, что Ягуся, уходя утром из дому, что-то прятала под передником, — тогда она подумала, что это наряд, который Ягуся шила себе к пасхе вместе с дочкой Бальцерков.

— Значит, к матери унесла... чужое-то слаще, — заметила Ягустинка.

— Юзя! Зови Петрика! Надо все, что осталось, перенести ко мне в чулан, — распорядилась Ганка.

И тотчас все было перенесено, Ганка хотела было заодно передвинуть на свою половину и бочки с зерном, — там ей было бы удобнее поискать деньги, но раздумала: бочек было слишком много, да и об этом мог узнать кузнец.

Весь день она подстерегала приход Ягны и, когда та в сумерках вернулась домой, сразу накинулась на нее.

— Ну, и съела! Оно мое так же, как и ваше! Отрезала кусок и съела! — резко ответила Ягна, и хотя Ганка весь вечер не давала ей покоя, она на все ее наскоки не отзывалась больше ни словом, как будто нарочно дразня ее. Даже ужинать пришла как ни в чем не бывало и с усмешкой смотрела Ганке в глаза. А Ганка, взбешенная тем, что ничего не может с ней поделаться, весь вечер срывала злость на остальных, допекая их из-за каждого пустяка, и даже спать отослала всех раньше под тем предлогом, что завтра страстной четверг и надо начинать предпраздничную уборку.

Сама она легла тоже ранее обычного, но долго не могла уснуть и, услышав отчаянный лай собак, вышла во двор. У Ягны еще горела лампа.

— Поздно, нечего керосин жечь, его даром не дают! — крикнула она в сени.

— А жги и ты хоть всю ночь! — отозвалась Ягна из-за двери.

Ганка опять так разозлилась, что задремала только после первых петухов.

А наутро, чуть свет, Юзька, хотя она больше всех любила поспать, первая вскочила с постели, вспомнив, что ей сегодня ехать в город за покупками, и побежала будить Петрика, чтобы он запрягал. Услышав, что Ганка приказывает Петрику запрячь в телегу гнедую, она встала на дыбы.

— Я на досках и слепой кобыле не поеду! — закричала она со слезами. — Нищая я, что ли, чтобы меня в навозной телеге возили? В городе, небось, знают, чья я дочь! Отец ни за что бы этого не позволил!

Она подняла такой шум, что в конце концов добилась своего и поехала в бричке, запряженной парой лошадей, с работником на козлах, как всегда ездили деревенские богачки.

— Красной бумаги купи, и золотой, и всякой, какую только найдешь! — кричал ей Витек с огорода, где он с самой зари разрыхлял землю на грядках, так как Ганка еще сегодня собиралась сажать рассаду. Как только хозяйка надолго уходила в дом, Витек убежал на улицу и вместе с другими мальчишками поднимал страшный шум трещотками под чужими

заборами, благо колокола в костеле, как всегда в страстной четверг, рано перестали звонить.

Погода установилась такая же, как вчера, но было как-то тихо и невесело. Ночью похолодало, утро вставало седое от росы, туманное и сырое. Хотя было уже не рано, щебетали ласточки, съезжившись на крышах, и громче кричали гуси, выгнанные к озеру. А деревня, как только рассвело, сразу поднялась, и задолго до завтрака уже везде забегали, засуетились бабы. Детей выгнали из хат, чтобы не мешали, и они носились по улицам, стуча колотушками и трещотками.

Даже в костел к обедне (которую служили сегодня без колокольного звона и органа) пошли очень немногие. В эти последние предпраздничные дни пора было приниматься за уборку, а главное — печь хлебы, месить тесто на пироги и на всякие затейливые печения. Почти в каждой избе окна и двери были плотно закрыты, чтобы не остудить теста, в печах бушевал огонь, а из труб шел дым к пасмурному небу.

Голодный скот мычал в хлевах и обгрызал ясли, свиньи залезали в огороды, куры и гуси бродили по улицам, а дети делали все, что хотели, — дрались, лазали на деревья за вороньими гнездами, потому что усмирить их было некому. Все женщины были заняты — месили тесто, лепили караваи, укрывали перинами квашни и миски с тестом, сажали хлебы в печь. Они забыли обо всем на свете и беспокоились только, как бы не получилась закалина в хлебе или не подгорели пироги.

Так было везде — у мельника, у органиста, в плербании, у зажиточных хозяев и у коморников. Каждый бедняк, хотя бы в долг или на последние гроши, считал нужным приготовить себе что-нибудь на разговенье, чтобы этот единственный раз в году, под Светлое воскресенье, поесть вволю и мяса и других вкусных вещей.

Не у всех имелись хлебные печи с подом, и приходилось печь у соседей. Поэтому в садах между хатами непрестанно пробегали девушки с охалками дров, а у озера время от времени появлялись растрепанные, испачканные мукой женщины, которые несли на длинных досках и в корытах сырые булки и пироги, покрытые подушками, — несли так торжественно и осторожно, как хоругви во время крестного хода.

Даже в костеле кипела работа: работник ксендза возил из леса елки, а органист, Рох и Амброжий украшали плащаницу.

На следующий день, в пятницу, суэта еще усилилась, и почти никто не заметил сына органиста, Яся, который приехал домой на праздники и прогуливался по деревне, заглядывая в окна, — зайти никуда нельзя было и не с кем было поболтать. Как тут зайдешь, когда все проходы и даже сады заставлены шкафами, кроватями, всякой мебелью, а в хатах спешно белят стены, скребут полы, на крылечках начищают образа.

Везде был галдеж, суматоха, беготня, все подгоняли друг друга и тем поднимали еще больший — шум. Даже малышей заставляли работать — убирать грязь во дворах и посыпать землю желтым песком.

По старому обычаю, на страстной неделе с пятницы до воскресенья не полагалось есть горячего, и все голодали во славу божию, довольствуясь сухим хлебом и печеной картошкой.

Разумеется, и у Борын в эти дни творилось то же, что и в других избах, с той только разницей, что здесь было больше рабочих рук и не так туго с деньгами, поэтому все приготовления закончили скорее.

В пятницу, уже в потемках, Ганка с помощью Петрика кончила белить избу внутри и снаружи и стала поспешно мыться и одеваться, чтобы идти в костел, куда уже направлялись другие бабы.

В печи гудел большой огонь, и на нем в чугунном котле, таком большом, что двоим тяжело было его поднять, тушилась целая свиная нога, вчера наскоро подкопченная, а в котле поменьше шипели колбасы, и по комнате разносился такой аппетитный запах, что Витек, что-то строгавший в углу около детей, только облизывался и вздыхал.

А у печи, в ярком свете огня, сидели рядышком Ягна с Юзей и с увлечением красили яйца. Каждая складывала свои отдельно, чтобы потом похвастаться своим искусством. Ягуся сперва обмывала яйца теплой водой и, вытерев досуха, наводила узор топленным воском, а затем опускала их по очереди в каждый из трех горшочков с кипящей краской. Работа была кропотливая, — то воск местами не держался, то яйца разбивались в руках или лопались во время кипячения, но в конце концов они нарисовали штук тридцать и стали показывать их друг другу и хвастать самыми красивыми.

Ну, где же Юзьке было равняться с Ягусей! Она показывала яйца, крашенные в луковой шелухе, желтенькие, в затейливых белых узорах. Правда, так красиво далеко не всякий сумел бы сделать, но, увидев ягусины, Юзя даже рот от удивления раскрыла и огорчилась. От них просто в глазах рябило: были тут и красные, и желтые, и лиловые, и темно-голубые, как цветущий лен, а рисунки на них были такие, что глаза разбегались: на одном — петухи поют на заборе, на другом — гуси шипят на свиней, лежащих в луже, на третьем изображена стая белых голубей над красными полями, на четвертом — чудные узоры, какими мороз разрисовывает стекла.

Юзя и Ягуся любовались ими, помногу раз рассматривая каждое яйцо. Когда вернулись из костела Ганка и Ягустинка, Ганка тоже поглядела, но не сказала ничего, Ягустинка же, пересмотрев все яйца, пробормотала с удивлением:

— И откуда это у тебя берется? Ну и мастерица!

— Откуда? Сама не знаю. Что голова придумает, само из-под пальцев выходит...

Ягна радовалась, как ребенок.

— Его преподобию надо бы парочку отнести!

— Вот он будет их у нас завтра святить, так я ему поднесу, может и возьмет.

— Как же, не видал ксендз таких чудес! Удивит она его! — насмешливо фыркнула Ганка, когда Ягна ушла к себе.

В других хатах в этот вечер тоже долго не ложились спать.

Ночь была темная, облачная, но тихая. Только мельница грохотала, да чуть не до полуночи светились окна хат, где бабы шили к празднику наряды и кончали последние приготовления. Лучи света из окон ложились на дорогу, дрожали в темном озере.

Наступила суббота. День был совсем теплый, повитый легким туманом, и так как-то радостно было на свете, что хоть и устали все после тяжелой вчерашней работы, а вставали бодро и проворно для новых хлопот и трудов.

Площадь у костела так и гудела от криков и беготни. Испокон веков в деревнях был обычай рано утром в страстную субботу "хоронить" овсяный кисель и селедку, надоевшие всем за долгие недели великого поста. Нынешней весной в Липцах не было старших парней, и этим занялись мальчишки во главе с Ясеком Недотепой. Они раздобыли где-то большой горшок с киселем, подбавили туда разной дряни и уговорили Витека нести горшок на спине в сетке от сыров, а рядом шел другой мальчик, волоча на веревке выстроганное из дерева подобие селедки. Кисель и селедка шли впереди, а за ними гурьбой остальные с колотушками,

трещотками и стучали, трещали, орали что есть силы. Вел их всех Ясек — он хоть и придурковат был и растяпа, но великий мастер на всякие проказы и затеи.

Процессия обошла кругом озера и у костела свернула на дорогу под тополями, где должно было состояться "погребение". Вдруг Ясек ударил лопатой по горшку, и горшок разлетелся на куски, а содержимое его потекло по спине Витека.

То-то была потеха! Мальчишки, обессилев от смеха, приседали на дороге, а Витек разозлился и наскакивал на Ясека с кулаками, потом подрался и с другими и, наконец, с ревом убежал домой.

Ганка прибавила ему и от себя за испорченную куртку и послала в лес за сосновыми ветками и "заячьим усом". К тому еще и Петрик посмеялся над ним, не пожалела его даже Юзька, усердно посыпавшая широкий двор до самой улицы желтым песком, привезенным с кладбища. Посыпала она и дорожку к крыльцу и проход под навесом, так что изба была точно опоясана желтой лентой.

А в комнате старика уже готовили все к разговенью. Пол был вымыт и тоже посыпан песком, окна протерты, со стен и образов обметена паутина, а свою кровать Ягуся покрыла красивой шалью.

Ганка, Ягуся и Доминикова, почти не разговаривавшие друг с другом, придвинули к переднему окну, где стояла кровать старика, большой стол, накрытый тонким белым полотном, края которого Ягуся оклеила широкой каймой из красной бумаги. Посреди стола поставили высокое распятие, украшенное бумажными цветами, а перед ним, на опрокинутом вверх дном цветочном горшке, барашка, так искусно сделанного Ягусей из масла, что он был совсем как живой: вместо глаз были вставлены бусы, а хвост, уши, копыта и хоругвь сделаны из красной пушистой шерсти. Кругом в первом ряду легли ситные хлебы и белые калачи, замешанные на молоке и масле, за ними желтые куличи с изюмом, большие и поменьше — для Юзи и детей. Были тут ватрушки с творогом, посыпанные сахаром и сладким маком, а напоследок поставили большое блюдо колбас, окруженных облупленными яйцами, и на противне целую свиную ногу и часть головы. Все это было обложено кругом крашеными яйцами. Ждали только Витека, чтобы натывать везде зеленых веток и оплести весь стол "заячьим усом".

Только что убрали стол, как одна за другой начали приходить соседки. Они приносили в мисках и блюдах свои пасхальные яства и ставили их на длинной скамье у, стола: у ксендза не хватало времени обойти всю деревню, и он распорядился, чтобы все, что надо святить, снесли в несколько изб.

Липцы были самой ближней деревней, и здесь он святил на обратном пути, объехав приход. Часто это бывало уже под: вечер.

Соседки разошлись, не вступая в долгие разговоры, — надо было поспеть в костел на торжественный обряд освящения огня и воды. Предварительно во всех домах тушили огонь, чтобы потом опять зажечь его огоньком освященной свечи.

Помчалась в костел и Юзя, взяв с собой детей.

Ждали их долго — только к полудню стали возвращаться из костела женщины, бережно заслоняя от ветра зажженные в костеле свечи. Юзя принесла целую бутылку воды и огонь, которым Ганка сейчас же разожгла приготовленные дрова. Она первая выпила освященной воды, затем дала всем другим по очереди — в деревнях верили, что эта вода предохраняет от болезней горла. Потом Ганка покропила ею скот и плодовые деревья в саду это для того, чтобы животные легче рожали, а деревья принесли богатый урожай.

Видя, что ни Ягна, ни Магда не вспомнили о старике, она сама умыла его теплой водой, расчесала спутанные волосы, принесла ему чистую рубашу и постельное белье. Борына позволял делать с собой все, но ни разу не шевельнулся — лежал, глядя прямо перед собой, безучастный, как всегда.

После полудня в деревне уже чувствовался праздник. Еще тут и там кончали черную работу, но большинство хозяек уже наряжались, причесывались, мылись, старательно отмывали ребят, так что из хат неслись протестующие крики.

Все с нетерпением ожидали ксендза, а он вернулся из усадьбы только под вечер и сразу пошел в деревню. Он был в стихаре. Племянник органиста, Михал, нес за ним медный ковш со святой водой и кропило.

Ганка вышла встречать его за ворота.

Он торопился и, зайдя в дом, быстро прочитал молитву, окропил все, посмотрел в синее, обросшее лицо Борыны.

— Что, никакой перемены?

— Рана-то почти зажила, а ему ничуть не лучше.

Ксендз понюхал табак, обвел глазами людей, столпившихся у порога и в сенях.

— А где же тот хлопчик, что мне аиста продал?

Юзя вытолкнула вперед прятавшегося за печкой сконфуженного Витека.

— На тебе пятачок, молодец он у тебя! Так кур гоняет с грядок, ни одной не пропустит... А что, завтра к мужьям в город пойдете! — обратился он к бабам.

— Да, полдеревни собирается!

— Вот и хорошо, только смотрите, чтобы все было тихо и чинно! А ко всеобщей приходите к десяти! В десять начну, слышите? Да если будете спать в костеле, так велю Амброжию вывести! — строго добавил он, медленно проходя на крыльцо.

Толпа двинулась за ним — провожать до дома мельника, а Витек, показывая Юзе медный пятак, прошептал сердито:

— Недолго моему аисту ксендзовых кур гонять! Они шмыгнули в разные стороны, увидев Ганку, входившую на крыльцо.

Уже начинало темнеть, сумерки мутной синевой медленно затопляли ограды, дома и окрестные поля. Белели в ней только стены прикипших к земле хат, мигали меж деревьев огоньки, а в вышине, на чистом небе выступал бледный серп молодого месяца. Деревня постепенно погружалась во мрак и торжественную праздничную тишину. В костеле, стоявшем высоко над избами, засияли все окна, из открытых настежь дверей лилась широкая струя света.

Скоро застучали первые телеги, подъезжая к кладбищу, и приехавшие жители дальних деревень начали сходиться к костелу. В Липцах тоже все выходили из домов, то и дело хлопали двери, в теплом сумраке звучали шаги и тихий говор, все перекликались, здоровались, не видя друг друга. И медленно, но неустанно ширившийся людской поток плыл по дороге к костелу.

У Борынов стеречь дом оставлены были старый Былица да Витек, который вдвоем с Мацеком

Клембом мастерил деревянного петуха, чтобы с ним ходить по домам после обливания.[20]

Ганка отправила вперед Юзьку с детьми и Петрика, а сама собралась выйти попозже. Она была уже одета, но медлила, чего-то ожидая, все выходила на крыльцо и смотрела на улицу. Только когда Ягна ушла с Магдой и послышался голос кузнеца, шедшего в костел вместе с войтом, Ганка вернулась домой и что-то тихо приказала отцу.

Былица вышел во двор караулить, а она на цыпочках проскользнула в чулан Борыны... Вышла она оттуда через полчаса, старательно застегивая на груди корсаж. Глаза ее горели, руки тряслись.

V

На дорогах было уже пусто и темно, в хатах гасли огни. Спешили в костел последние запоздавшие прихожане, а на площади перед костелом теснилось множество телег, бричек, распряженных лошадей, под колокольной чернели экипажи помещиков. Топот и ржанье далеко разносились во мраке.

Ганка, войдя в притвор, еще раз пощупала что-то за пазухой и, спустив платок на плечи, начала проталкиваться к передним скамьям.

Костел был уже битком набит, плотно стиснутая толпа колыхалась из стороны в сторону и шумела, как вода, — молитвы, вздохи, кашель, приветствия сливались в тихий гул, от напора людей качались хоругви, расставленные меж скамей, и елочки, украшавшие алтари и стены.

Только что Ганка добралась до своего места, как ксендз вышел служить всенощную; из толпы послышались громкие вздохи, замелькали поднятые руки. Все опускались на колени, и давка от этого еще усилилась. Скоро весь народ стоял уже на коленях, плечом к плечу, и в этой человеческой гуще сверкали только глаза, устремленные на большой алтарь, где стояла статуя Иисуса, обнаженного и покрытого ранами. Сегодня он был облачен в красную мантию и держал в руке маленькую хоругвь.

Наступила внезапная тишина, как в весенний полдень, когда солнце пригреет поля, утихнет ветер и шепчутся, качаясь, колосья, а высоко под лазурным небом нежно звенят песни жаворонков.

Видно было, как шевелились губы да часто и тихо, как дождик по листьям, шелестели слова молитвы.

Головы склонялись все ниже, порой срывался откуда-то стон, или чьи-нибудь руки с мольбой тянулись к алтарю, или звучал тоненький жалобный плач. Толпа, как стелющаяся по земле поросль, тревожно притаилась в тени высоких сводов, мрачных, как древний лес. Хотя на алтарях горели свечи, костел тонул в густом сумраке, в окна и широко раскрытые двери вторгалась черная ночь, и глядел из-за туч бледный серп луны.

Только Ганка не могла сосредоточиться на молитве и внутренне трепетала от страха и волнения, как будто была еще там, в чулане Борыны.

Ее пронизывала дрожь, она еще чувствовала на руках холод зерна и все сжимала плечи, чтобы ощутить спрятанный на груди узелок.

Радость и какая-то непонятная тревога так ее одолевали, что четки валялись из рук, она забывала слова молитв и горящими глазами все оглядывала толпу, но никого не узнавала,

хотя рядом сидели Юзя, Ягуся с матерью и другие.

На скамьях сбоку от алтаря сидели с молитвенниками в руках жены и дочери помещиков из Рудки, Модлицы, Воли, а их мужья и отцы о чем-то беседовали в дверях ризницы. На ступенях алтаря стояли нарядно одетые мельничиха и жена органиста, а у самой решетки, там, где было место первейших липецких хозяев, тех, кто всегда следили за порядком в костеле, а во время крестного хода несли балдахин над ксендзом и вели его под руки, сейчас сплошной толпой стояли на коленях мужики из других деревень, и с трудом можно было различить среди них войта, солтыса и рыжую голову кузнеца.

Не одни женские глаза с тоской устремлялись туда, но тщетно искали они своих: были там мужики из Дембицы, из Воли, из Репок, со всего прихода, только липецких не видно было, не видно было первых хозяев! И заметались души женщин, как испуганные птицы, с плачем клонились головы к земле, и горькие мысли о своей сиротской доле жгли, как огонь.

Ведь подумать только: самый великий праздник в году, Пасха, столько собралось в костеле народу, и у всех лица, немного похудевшие от долгого поста, сияют радостью, все щеголяют нарядами, держатся гордо, как паны, занимают первые места, а несчастные липецкие мужики... что-то они сейчас делают там, в тюрьме? В холоде, да в голоде, терпят горькие обиды, от тоски деваться им некуда!

Праздник для всех, только не для них, невинно страдающих!.. Другие вместе с семьями вернутся домой и будут наслаждаться отдыхом, вкусной едой, весенним солнцем, будут болтать, веселиться... все, только не они, горемычные!

А их одинокие жены и дети тихо разойдутся по пустым хатам и со слезами будут есть пасхальные куличи, в тоске и заботах спать лягут...

— Иисусе! Иисусе! — срывались скорбные, приглушенные стоны вокруг Ганки, и она, наконец, очнулась и увидела знакомые лица и налитые слезами глаза. Даже Ягна низко склонила голову над молитвенником, и крупные слезы капали на страницы. Мать толкала ее, но как она могла успокоиться, когда ей так живо вспомнился Антек! И, как тогда, на Рождество, она слышала его горячий шепот, и чудилось ей, что он опять стоит на коленях у ее скамьи. Внезапная тоска защемила ей сердце, и слезы опять потекли по щекам.

Хорошо, что в эту минуту ксендз начал проповедь, и в костеле стало шумно, все вставали с колен и проталкивались ближе к амвону. Ксендз говорил о муках Христа, распятого за то, что он пришел спасти мир, требовал справедливости для обиженных, стоял за бедняков. И так красноречиво описывал он страдания Господа, что кровь у людей закипала жаждой мести и не одна мужицкая рука сжималась в кулак, а бабы плакали в голос и сморкались.

Ксендз говорил долго, так долго, что у многих уже глаза слипались, а по углам люди по-настоящему задремали. Окончив рассказ о муках Христовых, он обратился к народу и, потрясая руками, стал кричать, что люди распинают Христа каждый день, каждый час грехами своими, убивают его злобой, неверием и несоблюдением заповедей божьих.

Вихрь рыданий, стонов и вздохов потряс костел, и только когда он утих, ксендз, уже ободряюще и радостно заговорил о Воскресении Христа, о весне, которую Господь по доброте своей каждый год посылает людям. Говорил, что придет время, когда всякая несправедливость исчезнет, все обиженные будут вознаграждены, и утихнут рыдания страждущих, и зло перестанет царить на земле, ибо вернется в мир Иисус, чтобы судить живых и мертвых, унижить гордых, воздать вечную хвалу праведным.

И от слов этих солнце всходило во всех сердцах. Только липецкие бабы дрожали от душевной боли. Сознание своей обездоленности было так мучительно, что они вдруг завывали, заплакали в голос и распростерлись на полу, скорбными стонами взывая о милости и

спасении.

Забурлило в костеле, закричали, заплакали и другие, стали поднимать липецких, сажать на скамьи, ободрять и утешать, а ксендз, утирая слезы рукавом, твердил, что Господь испытывает тех, кого любит; и кто будет твердо верить в его милосердие, к тем мужья вернутся не сегодня-завтра...

Женщины успокоились, слова ксендза опять вселили в них надежду.

И когда затем ксендз у алтаря затянул гимн Воскресения, которому вторили мощные звуки органа, когда запели на весь мир колокола и ксендз со святыми дарами вышел к народу в синем облаке ладана, под мелодичный звон колокольчиков, из всех грудей грянула песнь, разбив тишину, жаркий вихрь экстаза осушил слезы и подхватил всех, и весь этот лес людской, слив голоса в мощный хор, двинулся вслед за пастырем, который шел, высоко подняв дароносицу, горевшую, как солнце, над головами людей. Медленно плыла она меж ярких огней, повитая дымом кадилъниц, притягивая все глаза и сердца.

Процессия обходила внутри костел, медленно, шаг за шагом подвигаясь в ужасной тесноте. Гремел хор и орган, без усталости заливались колокола.

— Аллилуйя! Аллилуйя! — гудел весь костел так, что дрожали стены, пели все сердца и голоса, пронизанные пламенным восторгом.

Служба кончилась почти в полночь, и люди стали торопливо расходиться. Только Ганка, ободренная своей сегодняшней удачей и уверениями ксендза, горячо молилась, пока Амброжий настойчивым брэнчанием ключей не заставил ее выйти из опустевшего костела.

Она ощущала сейчас такое спокойствие и веру в свои силы, что даже страх за Антека, так долго мучивший ее, вдруг исчез.

Ища в толпе своих, она шла домой медленно, так как посередине дороги непрерывной цепью тянулись повозки, а по обочинам двигались пешеходы. Луна уже зашла, серые тучи плыли в вышине, то и дело закрывая темно-синее небо, на котором искрились далекие звезды.

Ночь наступала теплая, влажная от обильной росы, с полей тянул легкий ветерок, пропитанный сыростью земли и болот, а по дорогам носились медовые запахи тополей и берез. Ничего нельзя было разглядеть, только изредка там, где было посветлее, мелькали головы идущих. Но темнота гудела голосами, и, услышав их, громче заливались во дворах собаки, а в окнах там и сям загорались огоньки.

Заглянув по дороге в конюшню и хлев, Ганка вошла в дом. Там уже ложились спать.

"Пусть только вернется да возьмет в свои руки хозяйство, а я ни словечком ему о прошлом не напомню", — решила она, раздеваясь, но вдруг, услышав шаги Ягуси, которая уходила на свою половину, подумала:

"А что если он опять с ней свяжется!"

Она легла в постель и некоторое время напряженно прислушивалась. В деревне было тихо, только с дорог еще доносился стук последних повозок и голоса, замиравшие в пустынной дали.

— Нет, тогда, значит, ни Бога, ни правды нет! — прошептала она сурово, но думать об этом больше не было сил, сон сморил ее.

На другое утро Липцы проснулись очень поздно.

День открыл голубые глаза, еще немного сонные, но сияющие, а деревня все спала крепким сном.

Никто не спешил вставать, хотя наступило Светлое воскресенье. Солнце играло в озере и в каждой капельке росы, катилось по высокому, светлому небу и, казалось, пело всему миру "аллилуйя".

Огромное, лучезарное, плыло оно, рассеивая утренний туман, над садами, хатами, полями, и радостно запели птицы, зазвенели, залепетали ручейки, зашумели леса, задрожала под ветром молодая листва, а земля встрепенулась, и заколыхалось на ней густое руно всходов, и росинки посыпались с них, как слезы.

Эх, и радостный же настал день. "Аллилуйя! Аллилуйя!" — звучало во всем мире.

Только в Липцах было тише и печальнее, чем в былые весны.

Спали долго. Был уже белый день и солнце стояло высоко над садами, когда зашевелились в хатах люди, заскрипели ворота и взлохмаченные головы начали выглядывать на свет божий, залитый солнцем, звенящий песнями жаворонков, окропленный молодой зеленью.

Заспались и у Борын. Раньше других встала Ганка и разбудила Петрика, чтобы запрягал в бричку лошадей, а сама начала накрывать на стол. Юзя тем временем мыла и наряжала детей, причем сопровождалось это немалым шумом и визгом. А во дворе у колодца умывались старательно, ради праздника, Петрик и Витек. Только старый Былица сидел на крыльце, играя с собакой, и часто втягивал носом воздух, проверяя, не режут ли уже колбасу.

По обычаю, огня в печи в это утро не разводили, разговлялись приготовленными заранее холодными кушаньями. Ганка принесла их с отцовской половины и раскидывала по тарелкам, всем поровну — хлеб, яйца, колбасу, ветчину, сыр и сладкие пироги.

Приодевшись, она созвала всех и даже пошла сама приглашать Ягусю. Та сейчас же появилась, нарядная, прекрасная, как утренняя заря. Голубые глаза ее сияли, льняные волосы были гладко причесаны.

Не одна Ягуся была одета по-праздничному, и на других женщинах так и горели пестрые юбки и корсажи, и даже Витек, хотя и босой, был в новой курточке с блестящими пуговицами, которые он выпросил у Петрика. А Петрик — тот сегодня совершенно преобразился: на нем был темносиний жупан и полосатые желто-зеленые штаны. Он чисто выбрился, волосы подстриг ровно надо лбом, а ворот рубахи завязал красной лентой. Когда он вошел в комнату, все удивились, а Юзья даже руками всплеснула:

— Петрик, ты ли это! Да тебя родная мать не узнала бы!

— Серую шкуру сбросил — и парень, как свеча! — заметил и Былица.

Петрик в ответ только усмехнулся. Глаза его не отрывались от Ягуси. Ганка, перекрестясь, чокалась со всеми по очереди и торопила садиться за стол. Расселись на лавках, и даже Витек робко присел на краешке.

Ели не спеша, смакуя вкусную пасхальную еду после долгих недель поста. Колбаса была так сильно приправлена чесноком, что запах пошел по всей избе, и собаки, вертевшиеся у стола, жалобно скулили.

Все молчали, усердно работая челюстями, пока не утолили первый голод. В эти торжественные минуты насыщения тишину нарушали только чавканье, сопение да бульканье водки, которой Ганка сегодня не жалела и даже настойчиво потчевала всех.

— Скоро поедем? — первый нарушил молчание Петрик.

— Да хоть сейчас после завтрака.

— Ягустинка хотела с вами ехать, — заметила Юзя.

— Если вовремя придет, поедет. А дожидаться ее не стану.

— Корм для лошадей брать?

— Только на одну кормежку — к вечеру вернемся.

И снова принялись за еду. Лица покраснелись от сытости, всем было жарко, все испытывали блаженство. Ели с разбором, чтобы как можно больше вместить и как можно дольше ощущать во рту приятный вкус. Только когда Ганка встала, все оторвались от тарелок, порядком уже отяжелев. А Петрик и Витек все, что не успели доесть, унесли к себе в конюшню.

— Ну, запрягайте сейчас же! — распорядилась Ганка и, собрав для мужа такой тяжелый узел всякой снеди, что с трудом его подняла, начала одеваться в дорогу.

Уже бричка стояла у крыльца, когда, запыхавшись, прибежала Ягустинка.

— А я уже хотела ехать, не дождавшись тебя! — сказала ей Ганка.

— Так вы уже разговлялись? — со вздохом сожаления спросила Ягустинка.

— Найдется кое-что и для тебя, садись, закуси.

Голодную Ягустинку упрашивать не пришлось — она накинулась на еду, как волк, и уписывала за обе щеки все, что было на столе.

— Господь знал, что делал, когда сотворил свинью! — сказала она, наевшись. — Только вот ведь что удивительно: пока она жива, ей не мешают в грязи валяться, а после смерти обязательно ее водочкой обмывают.

— Пей на здоровье, только поскорее, время не терпит!

И через несколько минут они уехали. Ганка, уже сидя в бричке, наказывала Юзе присматривать за отцом. Девочка сейчас же собрала полную тарелку всякой еды, и отнесла больному. Сколько она с ним ни заговаривала, он не отвечал, не взглянул даже на нее, но все, что она клала ему в рот, съедал жадно, по-прежнему глядя в одну точку застывшим, мертвым взглядом. Он, может быть, и больше съел бы, но Юзе скоро надоело его кормить, и она убежала на улицу смотреть, как почти с каждого двора выезжали или выходили женщины с котомками. В город потянулось десятка полтора телег, а по тропке вдоль канавы шли пешком женщины в ярких платьях, с узлами на спине.

Когда затих вдаль стук колес, в опустевшей деревне залегла грустная тишина. День тянулся медленно, глухое безмолвие царило на улицах, — ни говора, ни песен, ни обычной праздничной толчеи, только несколько мальчишек бегало у озера, швыряя камешками в гусей.

Солнце поднималось все выше, заливая мир светом, и стояла такая теплынь, что на окнах уже жужжали мухи, а в прозрачном воздухе, как шальные, носились ласточки. Озеро переливалось огнями, деревья купались в зелени, и от молодой их листвы шел сладкий аромат. С неоглядных полей, сливавшихся с голубым небом, прохладный ветер доносил порой запахи земли и пение жаворонков. Все дышало мирным блаженством весны, а из

окрестных деревень, едва видных в объятый солнечным пожаром дали, доносился по временам мощный хор голосов и звуки выстрелов.

В Липцах было пусто и уныло, как после похорон. Выпущенные на водопой коровы бродили, где хотели, терлись о деревья и мычали, вытягивая морды к зеленевшим вдали полям. Не видно было никого ни во дворах, ни в растворенных настезь сенях, только кое-где на солнечной стороне грелись люди на завалинках, у открытых окон девушки заплетали косы, а на порогах старухи вычесывали детей.

Так шли часы за часами в сонной и печальной тишине. Только ветер изредка тормошил деревья, и они шумели тихонько, клонясь к хатам и робко заглядывая в пустые комнаты, или стая воробьев с шумом перелетала из сада на улицу, или отрывистые крики ребяташек, отгоняющих ворон от цыплят, нарушали безмолвие.

Нет, не так бывало прежде в этот день! Время уже близилось к полудню, и солнце стояло высоко над хатами, когда приплелся к Борынам Рох, заглянул к больному, поболтал с детьми и присел на крыльце, погреться на солнышке. Он читал какую-то книжку, но часто отрывался и внимательно поглядывал на дорогу. Скоро пришла жена кузнеца с детьми и, проведав отца, села на завалинке.

— Ваш дома? — спросил у нее Рох после долгого молчания.

— Где там! В городе. Поехал с войтом.

— Там нынче вся деревня!

— Да... Разговееются горемычные наши!

— А ты что же с матерью не поехала? — спросил Рох у вышедшей из дому Ягны.

— Кому я там нужна? — Она вышла за ворота, с тоской глядя на поля.

— Новая юбка на ней! — пробормотала Магда со вздохом.

— Мамы покойной юбка, не узнала ты, что ли? И кораллы все, что у нее на шее, и эти большие янтари — все мамино! — с горечью сказала Юзя. — Только платок на голове у нее свой.

— Правда, ведь столько осталось после покойницы! Нам он тронуть ничего не позволял, а ей все отдал, вот она и щеголяет теперь...

— Да еще жаловалась как-то Настке, что юбки залежались и воняют...

— Чтоб ей чертов помет нюхать!

— Пусть только отец выздоровеет, я ему сейчас же скажу про кораллы — пять ниток осталось длинных, а кораллы крупные, как горох!

Магда ответила только вздохом. Юзя скоро убежала со двора, Витек за конюшной все еще мастерил своего петуха, а дети у крыльца возились с собаками под присмотром Былицы, который стерег их, как наседка цыплят. Рох, казалось, задремал.

— Ну как, в поле вы со всем управились?

— Нет, только картошку посадили да горох посеяли.

— У других и этого не сделано!

— Успеется еще, — говорят, на Фоминой наших мужиков выпустят.

— Это какой такой пророк сказал?

— Разные люди говорили в костеле... А Козлова собирается идти к помещику — просить, чтобы заступился.

— Глупая! Разве это помещик их в тюрьме держит?

— Если он заступится, так, может, и выпустят.

— Уж он не раз за них просил — и не помогло.

— Нет, если бы он только захотел!.. Да он не хочет: сердит на Липцы... Так мой говорит... — Магда вдруг смущенно замолчала и наклонилась к своему младшему. Рох напрасно ждал, что она еще что-нибудь скажет.

— Когда же Козлова пойдет? — спросил он, видимо, заинтересованный.

— Сегодня после полудня.

— Только и пользы от этого будет, что прогуляется на свежем воздухе.

Магда ничего не ответила, потому что в эту минуту во двор с улицы вошел пан Яцек, брат помещика. В деревне его считали полоумным, оттого что он постоянно носил с собой скрипку, играл на ней под крестами на дорогах и водился только с крестьянами. Вот и сейчас он нес подмышкой скрипку и шел, горбясь, с трубкой в зубах, худой, высокий, с светлой бородкой и блуждающими глазами. Рох поднялся ему навстречу. Они, видно, были знакомы, так как пошли вместе к озеру, долго сидели там на камнях и о чем-то тихо толковали. Уже давно миновал полдень, когда они разошлись. Рох вернулся на крыльцо, но был какой-то вялый и глядел невесело.

— Отощал как панич, кожа да кости! Я не сразу его и узнал! — заметил Былица.

— А разве вы его знали? — спросил Рох вполголоса, оглянувшись на Магду.

— А как же... Немало он в молодости проказничал, немало! Погубитель девичий был, всех девок в Воле перепортил, ни одной, бывало, не пропустит... Помню хорошо, на каких рысаках он ездил, как гулял... помню... — бормотал старик.

— Все это он искупил тяжкими страданиями! Так вы, видно, самый старей в деревне, а?

— Нет. Амброжий, думается, старше, потому что я его только таким, как сейчас, и помню.

— Он сам говорит, что смерть о нем позабыла! — вставила Магда.

— Ну, смерть никого не забывает, она только ждет, пока человек подгниет... А этот крепкий... Вывертывается человек, как может! — кряхтя, сказал Былица.

Они долго молчали.

— На моей памяти в Липцах всего пятнадцать дворов было, — начал снова Былица, робко протягивая руку к табакерке Роха.

— А теперь их сорок! — Рох пододвинул ему табакерку.

— И новые хозяева ждут наделов. Урожайный год или нет, а народ знай себе плодится... Да... А земли не прибавляется! Еще несколько лет, и ее на всех не хватит, — говорил

Былица, звонко чихая.

— Да, уже и сейчас в деревне тесно! — сказала Магда.

— Это верно. А поженятся парни, так их детям уже и по моргу не достанется...

— Придется им тогда из деревни уходить. Свет велик! — заметил Рох.

— А с чем же они в свет пойдут? С голыми руками, ветер ловить?

— Вот немцы на Слупи откупили землю у помещика и теперь дома себе строят. По шестьдесят моргов на усадьбу! — сказал Рох хмуро.

— Как же, слышали мы... Так ведь то немцы, они народ особый — ученые, зажиточные, торгуют и на чужой нужде богатеют... А пусть бы попробовали, как мы, крестьяне, голыми руками за землю браться, так и трех севов не продержались бы!.. В Липцах тесно, задыхаются люди, а у пана одного вон сколько земли зря под паром гуляет, — Былица указал на помещичьи поля за мельницей, тянувшиеся в гору, к лесу, где чернели стога лупина.

— Это под лесом?

— Как раз к нашим полям подходят. Вот бы их откупить! Наделов тридцать там отмерить можно... Да разве пан продаст, если ему деньги не нужны? Этакий богач...

— Много вы знаете! Богач, а всегда без копейки, извертелся весь, как угорь, занимает и у мужиков и где только может! Евреи требуют обратно задаток за лес, налоги не плачены, дворовые с Нового года ни денег, ни месячины не получали, всем он задолжал, а чем заплатить? Откуда ему взять, коли лес рубить ему запретили, пока он с мужиками не договорится? Недолго он в Воле просидит, недолго! Говорят, уже покупателя ищет...

Магда неожиданно разговорилась, но когда Рох попробовал выведать у нее еще больше, она спохватилась и, кое-как отделавшись от него, позвала детей и ушла домой.

— Должно быть, она многое знает от мужа, да боится говорить... Земля эта, что к нашей прилегает, хорошая, луга два покоса дают... — вслух рассуждал Былица, засмотревшись на помещичьи поля, где за стогами виднелись крыши усадебных построек. Но Рох его уже не слушал. Увидев издали Козлову, стоявшую у озера в кучке женщин, он торопливо зашагал туда.

"Кха, кха... Прижали, значит, пана... Эх, а здорово мужики могли бы пожить... Да... Вторая деревня там выросла бы... Рук у нас довольно и нужда в земле большая", — размышлял Былица, торопливо семеня за детьми, убежавшими на улицу.

Зазвонили к вечерне.

Солнце уже перекатилось к лесу, и от деревьев ложились длинные тени на озеро и дороги. В предвечерней тишине слышен был отдаленный стук колес, крики птиц на болотах и тихие, волнующие звуки органа в костеле.

Кое-кто уже вернулся из города, и на всех мостиках застучали деревянные башмаки — люди бежали узнавать новости.

После вечерни, на закате, по дороге в Вульку проехал ксендз, и от Амброжия узнали, что в усадьбе сегодня бал. А вскоре и органист со всем семейством отправился в гости к мельнику. Ясь вел под руку разряженную мать и весело здоровался с девушками, выглядывавшими из-за плетней.

Тихие сумерки окутали землю, солнце зашло, и вечерняя заря разливалась все шире, полнеба пылало, словно посыпанное раскаленными угольями. Мерцала алым светом и вода в озере, загорелись в избах окна, а из города приезжало все больше повозок, и все громче звучал говор перед избами.

Ганка еще не вернулась, но на дворе у Борыны было шумно и весело. К Юзе пришли подружки и, как щеглята, облепив завалинку и крыльцо, шутливо перебранивались с Ясеком Недотепой, который увязался за Настусей, хотя, она теперь гнала его от себя, метя на другого. Юзя угощала гостей куличом и колбасой.

Верховодила в этой компании Настуся, как самая старшая, и она-то всех больше насмеялась над Ясеком, который непременно хотел, чтобы его считали лихим парнем. Вот и сейчас он стоял перед девушками в полосатых штанах, в новом жилете и, заломив набекрень шляпу, подбоченясь, говорил со смехом:

— Я теперь у вас в цене должен быть — один ведь парень на всю деревню!

— Не беспокойся, есть еще кому за коровами бегать!

— Чучело, тебе только картошку чистить!

— Да еще ребятишкам носы утирать!

Так кричали девушки наперебой, громко хохоча, но Ясек не растерялся, плюнул сквозь зубы и сказал:

— За такими глупыми девчонками я не гонюсь. Вам еще впору гусей пасти!

— Сам прошлым летом за коровьим хвостом выплясывал, а сейчас взрослого парня из себя корчит!

— Каждый день удирал от быка и портки терял!

— Женился бы ты на Магде из корчмы; самая для тебя подходящая жена!

— Она у еврея детей нянчит, так и тебе сумеет нос утереть!

— А то к Агате посватайся, будешь ее по костелам водить!

— Смейтесь, смейтесь, а вздумай я к которой-нибудь сватов заслать, так на радостях даст обет в Ченстохов сходить и каждую пятницу пост соблюдать, — отпарировал Ясек.

— Да позволит ли еще тебе мать жениться? Ведь ты ей в доме нужен — горшки перемывать да кур щупать, — воскликнула Настка.

— Вот рассержусь и пойду к Марысе Бальцерковой!

— Иди, иди, Марыся уже тебя ждет, встретит метлой либо еще чем-нибудь похуже!

— И как только тебя увидит, сейчас собак с цепи спустит!

— Да смотри не потеряй чего-нибудь по дороге! — засмеялась Настка, потянув его за штаны, — у Ясека вся одежда была словно "на рост" куплена.

— Ишь, сапоги после деда донашивает!

— А жилет у него из старой наволочки, которую свиньи изодрали!

Насмешки сыпались градом вперемежку с хохотом. Смеялся и Ясек и, подскочив к Настке, хотел ее обнять, но одна из девушек подставила ему ногу, и он растянулся во весь рост на земле и долго не мог встать, потому что все его толкали.

— Да оставьте вы его, будет вам! — вступилась Юзя, помогая ему подняться. Ясек хоть и недотепа, а был все же хозяйский сын и приходился ей родней по матери.

Потом стали играть в жмурки. Ясеку завязали глаза, поставили его против крыльца, и девушки, как стайка воробьев, разлетелись во все стороны. Он погнался за ними, растопырив руки, и каждый миг натыкался на плетень или стены. Услышав смех, он кидался в ту сторону, но поймать кого-нибудь из них было нелегко, они кружились около, нарочно задевая его, и во дворе поднялся такой топот словно по дороге гнали целый табун жеребят, а визг, крик, хохот разносились по всей деревне.

Сумрак густел, догорала заря. Игра была в самом разгаре, когда вдруг за сараем отчаянно закудахтали куры. Юзя помчалась туда.

Под навесом стоял Витек, пряча что-то за спиной, а сынишка Гульбаса присел за плугами, и только голова его белела в темноте.

— Ничего, ничего, Юзя... — бормотал Витек смущенно.

— Вы кур душили! Вот перья еще летают!

— Нет, нет, я только у одного петуха несколько перышек из хвоста вырвал, мне для моей птицы надо. И петух-то не наш, не наш, Юзя! Это Ендрек принес своего...

— Покажи! — сурово потребовала Юзя.

Витек бросил к ее ногам полуживого петуха, начисто ощипанного.

— Да, должно быть, не наш, — сказала она, хотя узнать, чей петух, было немислимо. — Ну-ка, покажи свою диковину!

Витек вынес на свет совсем уже готового петушка, выстроганного из дерева и облепленного тестом, в которое были натыканы перья. Петушок был совсем как живой, тем более, что голова с клювом была взята от настоящего петуха и надета на палочку. Птица была прикреплена к выкрашенной в красный цвет дощечке, так искусно прилаженной к маленькой повозочке, что, когда Витек тронул длинное дышло, петух стал плясать и поднимать крылья. А Гульбасенок вместо него закукарекал так, что куры откликнулись с насестов.

— Иисусе! Сколько живу, таких чудес не видывала! — Юзья присела на корточки около петуха.

— Хорош, а? Похож он у меня вышел, Юзя? — сказал Витек с гордостью.

— Ты его сам сделал? И все своей головой придумал? — Юзя опомниться не могла от удивления.

— Сам! Ендрек мне только принес живого, а я все сам, Юзя!

— Господи, ведь, деревянный, а как живой движется! Давай покажем его девкам! Вот будут дивиться! Покажи, Витек!

— Нет. Завтра пойдем с ним по хатам после обливания, тогда и увидят. Еще надо колышками огородить, чтобы не улетел.

— Ну ладно. Убери коровник и приходи в избу работать, там тебе светлее будет.

— Приду, вот только на деревню еще надо сбегать...

Юзя вернулась на крыльцо, но девушки уже бросили игру и расходились. Наступал вечер, в домах загорелись огни, на небе уже показались первые звезды, а с полей тянуло ночной прохладой.

Все женщины вернулись из города, одной Ганки не было.

Юзя приготовила роскошный ужин: борщ с колбасой и картофель, обильно политый салом. Так как Рох уже ждал, дети просили есть и в комнату несколько раз заглядывала Ягна, Юзя стала подавать на стол, и в эту минуту тихонько вошел Витек и подсел к дымящейся миске. Он был что-то очень красен, мало ел, и руки у него так дрожали, что ложка стучала о зубы. Не доев, он опять куда-то убежал.

Юзья перехватила его во дворе, у хлева, когда он набирал в полу своей куртки месиво, приготовленное для свиней. Она сурово потребовала объяснений.

Витек всячески изворачивался, врал, но в конце концов сознался:

— Я отобрал у ксендза своего аиста!

— Иисусе! Матерь Божия! И никто тебя не видел?

— Никто. Ксендз уехал, собаки убежали на кухню играть, а аист стоял на крыльце. Мацюсь все подсмотрел и прибежал мне сказать! А я его кафтаном Петрика накрыл, чтобы он меня не клюнул, и унес в одно потайное место. Только смотри, Юзя, золотая моя, никому про это ни гу-гу! Через неделю-другую я его приведу в хату и увидишь, как важно он будет расхаживать на крыльце! Никто не узнает, что это тот самый, только ты меня не выдавай!

— Ну, вот еще! Когда же я тебя выдавала? Но как ты решился на такое дело?

— А что? Я свое отобрал. Я ведь тебе все время твердил, что не уступлю его — вот и отнял! Не для того я его приручал, чтобы другие им тешились! — сказал Витек и убежал куда-то в поле.

Он вернулся довольно скоро и примостился у печи вместе с детьми — доделывать петушка.

В комнате было как-то сонно и тоскливо. Ягна ушла к себе. Рох сидел на крыльце с Былицей, который уже клевал носом.

— Идите домой, вас там дожидается пан Яцек! — шепотом сказал ему Рох.

— Меня дожидается? Пак Яцек?.. Бегу, бегу... Меня? Ну, ну! — залепетал пораженный Былица, сразу встряхнувшись.

Он ушел, а Рох остался на крыльце и, шепча молитву, смотрел куда-то в ночь, в необъятную глубину небес, мерцавшую звездным светом. Ниже, над полями, уже восходил рогатый месяц, бодая темноту острыми рожками.

— Один за другим гасли в хатах огни, как глаза, сомкнутые сном. Разливалось кругом безмолвие, и только чуть слышно дрожали листья, да вдалеке глухо бормотала речка. В одном лишь доме — у мельника — еще светились окна. Там веселились до поздней ночи.

А в доме Борыны было тихо, все легли спать и погасили свет, только в печи, где стояли горшки с ужином, еще тлели уголья, да в углу трещал сверчок. Рох все сидел на крыльце,

поджидая Ганку. Уже около полуночи на мосту у мельницы застучали копыта, и скоро во двор въехала ее бричка.

Ганка была почему-то грустна и молчалива. После того, как они поужинали и Петрик ушел на конюшню, Рох решился спросить:

— Ну, видела мужа?

— Как же, полдня с ним просидела. Он здоров и духом не падает... велел вам кланяться. Видела я и других... Их скоро выпустят, но никто не знает, когда... И у адвоката, что на суде будет Антека защищать, я тоже побывала...

Она не сказала Роху того, что камнем лежало у нее на сердце, но, рассказывая о всяких вещах, не имевших отношения к Антеку, неожиданно заплакала и закрыла лицо руками. Слезы текли у нее сквозь пальцы.

— Я приду завтра утром. Отдохни, растрясло тебя, верно... Как бы это тебе не повредило!

— Э, пусть бы я околела, чтобы не мучиться больше! — вырвалось у Ганки.

Рох только головой покачал и молча вышел. Слышно было, как он во дворе сердито усмирял лаявших собак, загоняя их в конуры.

Ганка сейчас же легла около детей, но, как ни была утомлена, уснуть не могла. Еще бы! Ведь Антек встретил ее, как надоевшую собаку!.. Все, что она привезла, ел с удовольствием, деньги взял, не спрашивая, откуда они, и даже не пожалел ее, измученную дальней поездкой!

Она рассказывала ему, как ведет хозяйство, а он не только ее не похвалил, но за многое сердито отчитывал. Обо всех в деревне расспрашивал, а о собственных детях и не вспомнил! Она пришла к нему, верная и любящая, стосковавшаяся по его ласке. Ведь она ему жена венчанная, мать его детей, а он ее даже не поцеловал, не приголубил, не спросил о здоровье... Он вел себя, как чужой, и на нее смотрел, как на чужую, слушал ее невнимательно. И под конец она уже не могла говорить, не могла удержать слез, а он еще на нее накричал, чтобы не приезжала сюда реветь! Иисусе! И как она не умерла на месте! За все ее тяжкие непосильные труды, за все заботы о его добре, за все, что она терпит ради него, — никакой награды, ни ласки, ни одного слова утешения!

— Господи, будь милостив ко мне, помоги, не то не выдержу!.. — стонала она, зарываясь лицом в подушку, чтобы не разбудить детей. Каждая жилка в ней дрожала от боли, от горького унижения и страшной обиды.

Она весь день должна была сдерживать себя при Антеке, да и здесь, на людях, тоже и только сейчас дала волю отчаянию, раздиравшему ей сердце.

Наступил пасхальный понедельник. День занялся еще светлее вчерашнего, в росах и голубой дымке, но весь пронизанный солнцем и какой-то удивительно веселый. Птицы пели громче, теплый ветер пробегал по листьям, и они тихо шелестели, словно шепча утреннюю молитву. Люди вставали бодрые, раскрывали настежь окна и двери, входили поглядеть на зеленые сады, на всю эту землю бескрайнюю в весеннем уборе, в алмазных росах, в радостном блеске солнца, на поля, где уже колыхалась озимь, как желтоватая, подернутая рябью река, разливаясь до самых хат.

Все умывались на крылечках, перекрикивались через сады. Из труб уже вился дым, ржали лошади в конюшнях, скрипели веревки, у озера набирали воду, шел скот на водопой, кричали гуси. А когда ударили в колокола и мощные их голоса загудели, разлились по всей деревне,

по полям, по далеким лесам, еще громче зазвучали голоса людей, еще живее и радостнее забились сердца.

Мальчишки уже бегали с самодельными насосами и справляли обычай обливания. Прячась за деревьями у озера, обливали не только прохожих, но и каждого, кто переступал порог избы, так что стены все были мокрые и у домов серебрились лужи.

Забурлило на всех улицах и дворах, — шум, хохот, беготня усиливались, потому что и девушки приняли участие в забаве. Они гонялись друг за дружкой по садам, а так как между ними было много и взрослых, то мальчишкам от них доставалось порядком. До того расшалились девушки, что на Ясека Недотепу, который с пожарной кишкой подстерегал Настку, напали дочери Бальцерка, всего облили да еще для потехи столкнули в озеро.

Потерпев такое позорное поражение и к тому же еще от девушек, разозленный Ясек призвал на помощь Петрика, работника Боруны, и оба устроили засаду Настке, да так ловко, что она сразу попалась им в лапы. Они потащили ее к колодцу и здорово искупали, а она вопила благим матом. Потом, в компании с Витеком, Ендрексом Гульбасом и несколькими мальчишками постарше, поймали Марысю Бальцеркову и задали ей такую баню, что мать с палкой прилетела ее выручать. Потом подкараулили где-то у плетня Ягну и ее облили. Даже Юзку не пощадили, как она ни молила, и она с ревом побежала жаловаться Ганке.

— Жалуется, а сама довольна, глаза так и блестят!

— И на мне, окаянные, все до нитки промочили! — весело говорила Ягустинка, вбежав в избу.

— Разве эти сорванцы кого-нибудь пропустят! — негодовала Юзя, переодеваясь во все сухое, но все-таки не утерпела, вышла на крыльцо, потому что улица так и гудела от криков и топота. Мальчишки совсем ошалели, ходили толпой, загоняя всех, кто попадет, под свои насосы, и пришлось в конце концов солтысу разгонять озорников, потому что никто не мог носа высунуть из хаты.

— Тебе, видно, нездоровится после вчерашнего! — тихо спросила у Ганки Ягустинка, сушившая мокрую спину перед огнем.

— Да, шевелится он во мне и все толкается... И мутит меня что-то...

— А ты ляг! Надо бы чебреца настоять и выпить. Растрясло тебя вчера! — сокрушалась Ягустинка, но как только запахло жареной колбасой, она села вместе с другими завтракать, жадно высматривая себе кусок побольше.

— Поешь и ты, хозяйка: голодом здоровья не поправишь.

— Нет, меня от мяса воротит. Я чаю себе заварю.

— Что ж, пополоскать кишки чаем хорошо, а еще бы лучше вскипятить водочки с салом и кореньями, скорее бы полегчало.

— Еще бы, этакое лекарство мертвого на ноги поставит! — рассмеялся Петрик. Он сидел около Ягуси, смотрел ей в глаза, услужливо подавая все, на что она только ни взглянет, и часто заговаривал с ней. Но так как Ягуся отвечала неохотно, он стал расспрашивать Ягустинку о Матеуше, о Стахе Плошке и других.

— Всех видела, всех! Сидят они вместе, а хоромы у них прямо панские — высокие, светлые, с полами, только окна-то железной паутиной затканы, чтобы им прогуляться не вздумалось. А кормят тоже не худо. Принесли на обед гороховый суп, я попробовала: словно на старом сапоге сварен, а заправлен колесной мазью. На второе подали пшенную кашу... ну и каша!

Лапа бы ее и не понюхал! Приходится им на свои деньги кормиться, а у кого денег нет, приправит казенные харчи молитвой и ест! — рассказывала Ягустинка, паясничая, как всегда.

— А скоро их начнут выпускать?

— Говорят, что уже на Фоминой некоторые вернутся! — сказала Ягустинка, понизив голос и тревожно оглянувшись на Ганку. Ягну точно ветром сорвало с места, она убежала из комнаты, не докончив завтрака. А старуха заговорила о Козловой.

— Поздно она вернулась и ни с чем, только и пользы, что порастрясло ее в телеге после колбас да на усадьбу полюбовалась — говорят, она почище будет, чем мужицкая хата! Помещик объявил, что никому помочь не может, что это дело комиссара, а если бы даже мог, так и тогда не стал бы хлопотать ни за одного липецкого мужика, потому что из-за них он больше всех пострадал. Ведь лес-то ему продавать запретили, и теперь купцы его по судам таскают... Ругался, говорят, отчаянно и кричал, что коли ему из-за мужиков придется с сумой ходить, так пускай вся деревня пропадает! Козлова уже с утра с этими новостями по хатам бегаёт и грозится помещику отомстить.

— Дурища, что она может ему сделать?

— Эх, милые вы мои, всякое бывает! Иной раз и самый маленький человек... — Она не договорила и бросилась к Ганке, которая в эту минуту покачнулась и прислонилась к стене, чтобы не упасть.

— Господи, помилуй! Как бы это с тобой раньше времени не приключилось! — прошептала она в испуге и подтащила Ганку к кровати.

Ганка лежала в полуобмороке, едва дыша, пот крупными каплями выступил на ее лице, покрытом желтыми пятнами. Старуха терла ей уксусом виски, но только когда она приложила к ноздрям хрен, Ганка очнулась и открыла глаза.

Разошлись каждый к своей работе, в избе остался только Витек. Улучив минуту, он стал просить хозяйку, чтобы она отпустила его на гулянку с петухом.

— Ступай, только одежи смотри не порти и не озорничай. Собак привяжи, чтобы они не убежали за вами в другую деревню! Когда пойдете?

— Сейчас же после обедни.

Ягустинка заглянула со двора в окно и спросила:

— А где же собаки, Витек? Я вышла их покормить, кликала — ни одна не прибежала!

— Правда, их ведь и утром в хлеву не было! Лапа! Кручек! — закричал Витек, выбежав на крыльцо, но собаки не отзывались.

— Наверное, на деревню убежали! — объяснил он.

Отсутствие собак во дворе никого не беспокоило — в этом не было ничего необычного. Только через некоторое время Юзька услышала где-то, как будто во дворе, глухой визг, но никого там не нашла и побежала в сад, решив, что это Витек расправляется с забежавшей чужой собакой. К ее удивлению, и в саду никого не было, да и визг уже утих. Но, возвращаясь из сада, она наткнулась на Кручека. Он лежал мертвый, с разбитым черепом, под задней стеной дома.

Юзя подняла такой крик, что все сбежались.

— Кручека убили! Должно быть, воры! Тревога охватила всех.

— Не иначе, как воры тут побывали! Во имя Отца и Сына! — вскрикнула Ягустинка, заметив вдруг кучу вырытой земли и глубокую яму под опорными бревнами избы.

— Подкопались под отцовский чулан!

— А яма какая — на лошади можно въехать!

— И в ней полным-полно зерна!

— Эй, а может, там еще сидят разбойники, — взвизгнула Юзя. Кинулись все на половину Борыны. Ягуси дома не было, а старик лежал лицом к двери. В чулане, всегда темном, было светло — свет проникал через дыру в полу, — и все сразу увидели, что здесь все перемешано, как в похлебке горох с капустой. Зерно из бочек было высыпано на пол. Тут же валялась одежда, сброшенная с жердей, и даже мотки пряжи и шерсти лежали раздерганные и спутанные.

С первого взгляда невозможно было определить, чего не хватало. Но Ганка сразу сообразила, что это дело рук кузнеца, и ее даже в жар бросило при мысли, что, опоздай она на один день, он нашел бы деньги. Она нагнулась над ямой, скрывая от окружающих свою радость и что-то нащупывая за пазухой.

— А в хлеву-то все ли цело? — промолвила она, испуганная внезапным подозрением.

К счастью, там все оказалось на месте.

— Двери были хорошо заперты — сказал Петрик и вдруг, подбежав к яме, где хранился картофель, отвалил от отверстия большую колоду и вытащил жалобно скулившего Лапу.

— Ясное дело — его туда воры бросили. Но странно... собака злая, а подпустила их к себе!..

— И никто ночью не слышал лая?

О подкопе дали знать солтысу, новость мигом распространилась по деревне, и люди летели со всех ног — посмотреть, поухать, обсудить подробности. Сад наполнился народом, давка была такая, как перед исповедальной, каждый обязательно просовывал голову в яму, высказывал свои соображения и внимательно осматривал убитого Кручека.

Появился Рох, успокоил плакавшую Юзю, которая каждому отдельно рассказывала, как все было, и пошел к Ганке — она уже опять лежала в постели, но казалась до странности спокойной.

— А я боялся, что ты примешь это близко к сердцу, — начал Рох.

— Да ведь вор ничего, слава богу, не взял... Опоздал! — добавила она тихо.

— А ты подозреваешь кого-нибудь?

— Голову даю на отсечение, что это кузнец.

— Так он, видно, заранее что-то высмотрел, да за тем и охотился?

— Да... Только проворонил он свое счастье! Я одному вам это говорю...

— И хорошо делаешь... С поличным не пойман, свидетелей нет... Ох, ох, на что только не идет человек ради денег!

— Вы даже Антеку не проговоритесь! — попросила Ганка.

— Ты знаешь, что я не болтлив... Убить человека легче, чем родить... Да, я подозревал, что кузнец ловкач и плут, но не думал, что он на такую штуку способен!

— Он и на худшее способен. Я его хорошо знаю...

Пришли войт и солтыс, стали делать подробный осмотр и допрашивать Юзьку.

— Если бы Козел не сидел в остроге, я бы подумал, что это его дельце! — сказал войт вполголоса.

— Тсс, Петр, Козлова сюда идет! — Солтыс дернул его за рукав.

— И как это воры ничего не унесли? Спугнули их, должно быть.

— Надо стражникам дать знать... Эх! Не было печали, так черти накачали! И праздник не дадут спокойно провести!..

Солтыс вдруг нагнулся и поднял с земли окровавленный железный прут.

— Вот чем пришибли вашего Кручека!

Железо переходило из рук в руки.

— Из таких прутьев зубья для бороны куют.

— Его могли украсть у Михала из кузницы.

— Нет, кузница с самой пятницы на запоре.

— Надо у кузнеца спросить, не пропал ли у него прут..

— А может, они его с собой принесли! Кузнеца дома нет. Мы с солтысом без вас знаем, что надо делать! — отрезал войт и крикнул в толпу, чтобы не болтались тут попусту, а расходились по домам.

Никто его не боялся, но так как пора было идти в костел, — из других деревень уже шли люди, и все чаще грохотали по мосту телеги, — толпа скоро разошлась.

А когда все ушли, в сад припелся Былица и стал осматривать свою убитую собаку, пробовал ее расшевелить и тихо говорил ей что-то.

Дом тоже опустел, все отправились в костел, кроме Ганки, которая лежала в постели. Она шепотом твердила одну молитву за другой, но мысли ее были заняты Антеком. Когда старик увел детей на улицу и в доме наступила тишина, она крепко уснула.

Уже и полдень подошел, хорошо разогретый солнцем и такой тихий, что пение из костела разносилось по всей деревне. Уже прозвонили перед вознесением чаши, а Ганка все спала. Разбудил ее только грохот телег, скакавших по ухабам: по обычаю, на второй день Пасхи крестьяне, разъезжаясь после обедни в костеле, состязались, кто первый доскачет до своего дома. Сквозь просветы между деревьями так и мелькали телеги, битком набитые людьми, и лошади, нещадно подгоняемые кнутами. Несся вихрь криков и смеха, и от топота тряслась изба.

Ганка хотела было встать и поглядеть на это зрелище, но вернулись из костела все домашние, и Ягустинка, разогревая обед, начала рассказывать, что сегодня в костел пришло очень много народу, так что и половина не поместилась внутри, что съехались все помещики

с семьями, что после обедни ксендз созвал в ризницу богатых мужиков из соседних деревень и о чем-то долго с ними толковал. А Юзя подробно описывала, как были одеты помещицы и их дочери.

— Знаешь, у паненок из Воли такие сзади гузки — ни дать ни взять индюки, когда они хвосты распускают!

— Они сено или тряпки в этом месте подкладывают, — пояснила Ягустинка.

— А в поясе тонкие, как осы, кнутом их, кажется, перешибешь! И животов совсем нет — не понять, куда они их девают? Я близко присмотрелась...

— Куда девают? Да под корсеты убирают. Рассказывала мне одна дворовая — она в модлицкой усадьбе в горничных служила, — как панны голодом себя морят и на ночь поясами стягиваются, чтобы не растолстеть. Такая у господ мода, — чтобы каждая женщина была тоненькая, как жердочка, а зад чтобы пышный был.

— В деревне не так: у нас парни над худыми смеются.

— А как же! Девка должна быть круглая, как репа, и горячая, как печь, — сказал Петрик, не отрывая глаз от Ягуси, снимавшей горшки с очага.

— Ишь, чучело, выгулялся, нажрался мяса, так теперь вот на что уже облизывается! — вознегодовала Ягустинка.

Петрик, не смутившись, хотел добавить еще что-то скромное, но пришла Доминикова осмотреть Ганку, и его прогнали из комнаты.

Обедали на крыльце, потому что день был теплый и солнечный. Молодые листья зелеными бабочками трепетали на ветвях, а из сада доходил птичий гомон.

Доминикова запретила Ганке вставать, и когда после обеда пришла Веронка с детьми, к кровати придвинули стол, Юзя подала всякую снедь и бутылку горилки с медом, и Ганка, хотя и через силу, стала, как полагается гостеприимной хозяйке, потчевать сестру и соседок, которые приходили выразить ей сочувствие. Гости попивали горелку, деликатно пощипывали сладкий пирог и рассказывали всякую всячину, а главное — обсуждали подробности подкопа.

Остальные члены семейства грелись на солнышке перед домом и разговаривали с людьми, которые все приходили в сад посмотреть на яму, еще не заваленную, так как войт запретил трогать ее до приезда писаря и стражников.

Ягустинка — бог знает в который раз! — рассказывала о случившемся, когда со двора повалили на улицу мальчики с петухом. Предводительствовал ими Витек, одетый франтом, — на этот раз даже в башмаках и в картузе Борыны, лихо сдвинутом набекрень, — а рядом шли Мацюсь Клемб, Ендрек Гульбас, Куба, сын криворотого Гжели, и другие подростки. У всех были в руках палки, через плечо висели сумки, а Витек нес подмышкой скрипку Петрика.

Они торжественно вышли на улицу и первым делом направились к ксендзу, как это делали в прежние годы взрослые парни. Смело вошли они в сад плебании, выстроились в ряд и поставили впереди петуха. Витек заиграл на скрипке, Ендрек заставил птицу плясать и сам запел петухом, а все остальные, стуча палками и ногами, запели хором:

Мы славим Иисуса

И деву Марию,

Угостите же нас.

Хозяева дорогие!

Они пели долго, все смелее и громче, пока, наконец ксендз не вышел к ним, дал всем по пятаку, полюбовался петушком и милостиво отпустил их.

Витек весь вспотел от страха — боялся, как бы ксендз не заговорил с ним об аисте. Но ксендз, видно, его не узнал среди других мальчиков и, уйдя в комнаты, выслал им еще через служанку превкусного сладкого пирога, за что они спели ему еще раз и пошли к органисту.

И так они ходили из дома в дом, окруженные гурьбой ребятишек, которые шумели и толкались. Приходилось все время охранять от них петушка — каждому хотелось потрогать его перышки, дернуть за палочку, приводившую его в движение.

Вел эту буйную ватагу Витек. Он зорко следил за всем, ногой давал знак начинать и дирижировал смычком, указывая, когда брать ноту повыше, когда пониже. Ему же передавали все полученные от хозяев дары.

Они расхаживали по улицам торжественно и шумно, и по всей деревне слышны были их песни и звуки скрипки, а люди дивились: этакие малыши, от земли не видать, а все у них выходит, как у взрослых парней.

Время близилось к закату, румяное солнце было уже над лесом, а по голубому небу разбежались белые облачка, как несметное стадо гусей. Иногда пролетал ветер и качал ржавые верхушки тополей. А в деревне становилось вселюднее и шумнее. Старики, беседуя, сидели на дорогах. Девушки веселились у озера, заводили песни или, обнявшись, гуляли по берегу. Яркие юбки их мелькали, как маки и настурции, меж деревьев и отражались в зеркальной глади. Дети бегали за процессией "христославцев", а некоторые ушли межами в поле.

Уже звонили к вечерне, когда толстуха Плошкова вошла к Ганке, сначала навестив Борыну.

— Была я у вашего больного. Господи! Все лежит, как лежал... Он на меня даже и не взглянул... Солнце светит на постель, а он, как дитя малое, его руками ловит, загребает! Что с человеком стало — просто хоть плачь! — говорила она, садясь у кровати. Но, несмотря на огорчение, выпила, как другие, и потянулась за пирогом. — Что, он теперь побольше есть стал? Мне показалось, словно бы он немного пополнил.

— Да, ест хорошо. Может, еще поправится.

— Хлопцы пошли с петухом в Волю! — затараторила Юзька, влетая в комнату, но, увидев гостью, тотчас ушла на крыльцо к Ягусе.

— Юзя, пора коров доить! — крикнула ей вдогонку Ганка.

— Верно, праздник праздником, а дело своим чередом... Приходили и ко мне с петушком... А ваш Витек молодец! И по глазам видно, что славный парнишка.

— На проказы он великий мастер, а к работе приходится палкой гнать.

— Эх, голубка, с работниками везде одно горе! Вон и мельничиха мне жаловалась на своих девок: и полугода ни одной продержат нельзя.

— У них там девки быстро обзаводятся ребятишками. Свежий хлеб, что ли, помогает?

— Хлеб своим чередом, а помогают больше работники. Да и сынок — тот, что учится, — нет-нет домой заглянет... Говорят, и сам мельник не промах, ни одной не пропустит. Оттого-то мельничихе и не удастся держать девку целый год. Правда, и работники обнаглели... Вот я подпaska наняла, потому что мальчишек у нас в семье нет, так он меня ни в грош не ставит и требует на ужин молока. Слыханное ли дело!

— И у меня работник есть, знаю, как они привередничают. А приходится все терпеть, не то возьмет да уйдет в самую страду, как же я без него в таком хозяйстве?

— Смотрите, как бы только его у вас не сманили, — сказала Плошкова потише.

— А что? Вы разве слышали что-нибудь? — всполошилась Ганка.

— Дошло до меня стороной... Может, и брешут, так зачем я буду повторять... Ой, да что же это я, болтаю, болтаю и забыла совсем, зачем пришла! Обещали сегодня у меня собраться соседки, наговоримся хоть, горемычные! Приходите и вы. Первейшие хозяйки соберутся, так без Боруновой нельзя! — льстиво добавила Плошкова. Но Ганка отговорила нездоровьем.

Плошкова, очень недовольная отказом, пошла приглашать Ягну.

Но и Ягуся отказала — они с матерью уже обещали пойти в другое место.

— Пошла бы ты, Ягна, право! Ведь скучно тебе без мужиков, а к Плошковой, наверно, Амброжий или кто из стариков заглянет, полюбезничают с тобой, — шепнула Ягустинка с порога.

— А вы все свое, — словом, как ножом, режете!

— Мне весело, вот я и желаю всякому того, чего ему нужно! — ехидно ответила Ягустинка.

Ягусю передернуло от злости. Она вышла на улицу, беспомощно оглядываясь по сторонам и еле удерживая слезы. Правду сказала Ягустинка: ей было ужасно скучно. Ей было не легче оттого, что во всем чувствовался праздник, что люди гуляли компаниями, смех и крики летели по всей деревне и даже на серых полях пестрели женские платья и звенели песни. Ей было тоскливо, уж просто стало не вмоготу. С самого утра ее сегодня что-то мучило, не давало покоя, и она ходила по знакомым, убегала на дорогу, в поле и даже раза три уже меняла наряды, но ничего не помогало. Все сильнее тянуло бежать куда-то, что-то делать, чего-то искать...

Вот и сейчас она забрела далеко, на тополевую дорогу. Шла, глядя на большое красное солнце, заходившее за лес, шла сквозь тени и полосы яркого света, которые пробивались меж деревьев.

Ее овевала прохлада в тени, а теплое дыхание полей наполняло блаженным трепетом. От деревни несли ей вслед постепенно замирающий говор, долетали откуда-то заунывные звуки скрипки и цеплялись за сердце, словно звенящая золотыми росинками паутина, и сердце растворялось в едва слышном шелесте тополей, в сумраке, который уже стлался по бороздам и таился в кустах терновника.

Ягна все шла вперед, не зная, что ее гонит и куда.

Она глубоко вздыхала, порой разводила руками, порой растерянно останавливалась и блуждала вокруг горящими глазами, словно ища, за что ухватиться измученной душе, но опять шла, а мысли сновали, капризные и неуловимые, как светлые блики на воде, которых не поймашь, потому что тень от протянутой руки мгновенно сотрет их. Она невидящим

взглядом смотрела на солнце, а ряды тополей, склонявшихся над нею, казались ей туманными призраками прошлого... Она вся ушла в себя и остро чувствовала одно: томит ее что-то до боли, до слез, тянет куда-то вдаль — так, кажется, и уцепилась бы за этих птиц, летящих на запад, и унеслась на край света. Поднималось в ней какое-то властное и мучительное чувство, и слезы туманили глаза, и она вся горела, как в огне; рвала липкие, пахучие почки тополей и охлаждала ими губы и глаза.

Иногда она присаживалась под деревом и, подперев голову руками, задумывалась. Она прижималась к стволу всем телом и тяжело дышала. Казалось, и в ней что-то просыпалось, как просыпается весной лежащая под паром плодородная земля, пело, как поют деревья, опьяненные мощью роста, ширилось и распрямлялось, как распрямляется все, пригретое первым солнцем.

Она вся дрожала, слезы жгли ей веки, усталые ноги подламывались и с трудом несли ее. Хотелось плакать и петь, валяться на молодых всходах, осыпанных жемчугами холодной росы. Порой ее охватывало шальное желание прыгнуть в кусты терновника, продираться сквозь их колючую чашу и чувствовать дикую, сладкую боль борьбы и преодоления.

Она вдруг повернула обратно и, услышав звуки скрипки, побежала быстрее. Эти звуки наполняли ее безумным упоением, кружили голову. Эх, так бы и пустилась в пляс, ринулась бы в толчею шумной корчмы, в разгул, пьянство, пусть даже на погибель...

По тропинке от кладбища к тополевой дороге, залитой алым светом вечерней зари, шел кто-то с книжкой в руке, останавливаясь по временам под белыми березами.

Это был Ясь, сын органиста.

Ягуся хотела тайком посмотреть на него из-за дерева, но он сразу ее заметил.

А у нее ноги словно приросли к земле, она не могла убежать и не могла отвести от него глаз. Ясь подходил все ближе, улыбаясь, зубы его сверкали между красных губ. Он был строен, высок и белолиц.

— Что же это, Ягуся, вы меня не узнали?

От звука этого голоса у нее что-то дрогнуло внутри.

— Как не узнать! Только вы, пан Ясь, стали теперь совсем другой... И такой щеголь!

— Ну как же, годы идут... А вы в Буды ходили? В гости?

— Нет, так просто гуляла, праздник ведь нынче... Это молитвенник? — Она робко дотронулась до книги в его руке.

— Нет, тут про дальние края и моря рассказывается.

— Иисусе! Про моря! И картинки тоже не божественные?

— А вы сами посмотрите! — Он раскрыл перед глазами Ягуси книгу и стал ее перелистывать.

Они стояли рядом, плечо к плечу, невольно прижимаясь друг к другу, их склоненные над книгой головы соприкасались. Когда Ясь объяснял что-нибудь, Ягна поднимала на него глаза, полные восхищения, и, не смея дышать, наклонялась к нему все ближе, чтобы лучше видеть картинки.

Ясь вдруг вздрогнул и немного отодвинулся.

— Смеркается, пора домой! — сказал он шепотом.

— Так пойдете!

Они шли молча, укрытые тенями деревьев. Солнце зашло, и голубоватый сумрак падал на поля. Закат сегодня не окрасил неба, оно только слабо золотилось за толстыми стволами тополей. День угасал.

— И все, что здесь нарисовано, на самом деле так? — спросила Ягуся, останавливаясь.

— Все, Ягуся, все так и есть.

— Господи! Неужто есть на свете такие воды большие, такие земли? Поверить трудно!

— Есть, Ягуся, есть!

Ясь говорил все тише, заглядывая ей в глаза так близко, что она сдерживала дыхание. Дрожь пробежала по ее телу, она подалась грудью вперед и ждала, что он обнимет ее. Но Ясь торопливо отодвинулся.

— Мне пора... Покойной ночи, Ягуся! — бросил он и быстро пошел вперед.

А она долго еще стояла не двигаясь.

"Приворожил он меня, что ли?" — думала она, медленно возвращаясь домой. Она как-то отяжелела, в голове стоял туман, тело налилось истомой.

Наступал вечер, в окнах загорелись огоньки, из корчмы слышны были музыка и приглушенный говор.

Она заглянула в окно ярко освещенной корчмы: посреди комнаты стоял пан Яцек и играл на скрипке, а у стойки качался пьяный Амброжий и что-то громко рассказывал бабам, часто протягивая руку к рюмке.

Вдруг кто-то крепко обнял Ягну сзади. Она вскрикнула и стала вырываться.

— Ага, попалась! Теперь не отпущу. Выпьем с тобой, пойдём! — шептал войт, не размыкая рук, и потащил ее через боковую дверь в каморку за перегородкой.

Никто их не увидел, так как уже темнело и улица была пустынна.

Тише стало в деревне, смолкал говор, пустели дворы, люди расходились по домам. Кончался праздник, дни сладкого отдыха. Будни стояли у порога, скалили в темноте острые зубы, и не одно сердце снова щемил страх и осаждали заботы.

Понахмурилась, примолкла деревня, крепче прижавшись к земле, прячась в безмолвные сады. Еще кое-где на завалинках сидели люди, доедая остатки пасхальной снеди и тихо разговаривая. А другие ложились уже спать и пели молитвы.

Только у Плошков было ещелюдно и шумно. Здесь собрались соседки и, рассевшись на скамьях, чинно беседовали. На первом месте — жена войта, рядом с нею Бальцеркова. Была здесь и сухонькая Сикора, и крикливая Борына, двоюродная сестра Мацея, была и жена кузнеца с грудным ребенком, занятая разговором с тихой и набожной женой солтыса. Пришли и другие почтенные хозяйки.

Сидели, важные и надутые, как насадки на яйцах, в парадных пышных юбках, в платках, по липецкой моде спущенных до половины спины, в огромных, как колеса, белоснежных чепцах с оборками, и высоких, до ушей, плоеных воротничках, поверх которых каждая навесила все

свои кораллы. Женщины развлекались вовсю, лица их все больше багровели и сияли довольством. Они старательно расправляли юбки, чтобы не смялись, подсаживались поближе одна к другой и шептались, переминая косточки знакомым.

Когда ввалился кузнец, объявив, что он прямо из города, стало еще веселее. Кузнец был шутник, каких мало, а так как он сейчас был еще и под хмельком, то врал так забавно, что бабы покатывались со смеху. Он смеялся громче всех, хохот его слышен был даже у Борын.

Долго шло у них веселье. Плошкова раза три посылала в корчму за водкой.

А у Борын все еще сидели на крыльце. Даже Ганка встала с постели и, кутаясь в тулуп, потому что после заката похолодало, подседа к остальным.

Пока было светло, Рох читал им вслух. Несколько раз Ганка, вглядываясь вдаль, тихо приказывала Юзе:

— Выгляни-ка на дорогу!

Но на дороге никого не было, и Рох продолжал читать. А когда стемнело, стал рассказывать всякие истории. Слушали его с напряженным вниманием. Мрак укрывал их, фигуры едва выделялись на фоне белой стены.

Наступала ночь, холодная и беззвездная. В глубокой тишине слышно было только, как шумит где-то вода да ворчат собаки.

Все сбились в кучу. Настуся, Юзя, Веронка с детьми. Ягустинка, Клембова и Петрик сидели на ступеньках у ног Роха, а Ганка немного в стороне, на камне.

Рох рассказывал им о прошлом польского народа, о всяких чудесах, какие бывают на свете. Как только он мог все это узнать и запомнить!

Они слушали его, затаив дыхание, не смея шелохнуться, жадно вбирая в себя каждое слово, как высохшая земля пьет теплый обильный дождь. А он, невидный в темноте, говорил торжественно и тихо:

— После зимы приходит весна для всех, кто ее ожидает и в трудах готовится к ней.

Надейтесь, ибо обиженные восторжествуют.

Жертвенной кровью и трудом надо засеять ниву счастья человеческого, и кто засеял, у того взойдет и наступит для него пора жатвы!

А кто печется о хлебе насущном, не сядет за трапезу господню.

Кто только ропщет на зло, а добра не творит, тот умножает зло.

Он говорил долго, все тише и печальнее, и, когда мрак совсем скрыл его, чудилось, будто это голос земли или будто умершие поколения Борын из этих старых стен, склоненных деревьев, из густого мрака ночи говорят со своими потомками, поучая и предостерегая их.

И души живых внимали этим словам, как благовесту, и томились мечтой о непостижимом чуде.

Никто из них даже не услышал, что по всей деревне залаяли собаки, что на дороге кто-то вопит и бегут люди.

— Подлесье горит! — крикнул чей-то голос за садом.

Все выбежали за ворота. Это была правда: горели постройки на помещицьем хуторе Подлесье, и пламя кровавыми кустами взвивалось в темноте.

— Вот слово и стало плотью! — пробормотала Ягустинка, вспомнив Козлову.

— Вот она, кара божья!

— Это за нашу обиду! — скрещивались голоса в темноте.

Каждую минуту хлопали двери, и полуодетые люди выбегали на улицу. На мосту перед мельницей, откуда пожар был хорошо виден, толпа все росла, и скоро там собралась вся деревня.

Пожар усиливался с каждой минутой. Хутор стоял на холме у леса, и потому, несмотря на расстояние в несколько верст, в Липцах вся картина видна была как на ладони. Черную стену леса лизали огненные языки, летели вверх кровавые клубящиеся тучи. Ветра не было, и огонь поднимался все выше, строения пылали, как смолистые щепки, черный дым валил столбами, и зарево огненной рекой разливалось во мраке и полыхало уже высоко над лесом.

Вдруг жуткий рев прорезал воздух.

— Воловьи стойла горят! Немного они скота спасут, — ведь там только одна дверь!

— Стога загорелись!

— И амбары уже в огне! — тревожно кричали в толпе. Прибежали ксендз, кузнец, солтыс. Попозже явился откуда-то и войт, мертвецки пьяный, так что едва держался на ногах, и тотчас начал гнать людей на помощь в усадьбу. Но никто туда не спешил. Злобный ропот раздался в толпе:

— Пусть выпустят из острога наших мужиков, так они набегут спасать.

Не помогли ни брань, ни угрозы, ни слезные мольбы ксендза: люди не двигались с места и угрюмо смотрели на пожар.

— Сукины вы сыны! Холуи панские! — крикнула жена Кобуса, грозя кулаком кузнецу и войту.

И только они оба да солтыс поехали в Подлесье, да и то с пустыми руками — ни ведер, ни багров бабы им не дали.

— Палками того, кто с места тронется! Убьем стервецов! — визжали они хором.

Вся деревня высыпала на улицу, даже самых малых ребят, ревавших благим матом, матери тут же укачивали на руках.

Теснились в угрюмом молчании, — редко кто бросал слово, да и то шепотом, — жадно смотрели на пожар и вздыхали. И в каждом сердце росла глубоко затаенная радость: они верили, что это за них помещик наказан Богом.

Горело до поздней ночи, но в Липцах никто не уходил домой: стояли и терпеливо ожидали, пока все кончится. Уже над хутором бушевало сплошное море пламени и волнами вздымалось к небу. Горящая солома и дранка с крыш падали кровавым дождем. Зарево, огненным пологом развеиваясь в темноте, румянило вершины деревьев и крышу мельницы, а озеро было словно осыпано розовым жаром из печи.

Грохот телег, крики, рев животных доносились с Подлесья, зловещий ужас уничтожения, казалось, реял в воздухе, а в Липцах толпа все стояла живой стеной, словно вросла в землю,

теша глаза и души мезтью.

От корчмы долетал хриплый голос пьяного Амброжия. Он пел:

Эх, Марысь, моя Марысь!

Доброе пиво ты варишь!

## VI

Услышав такую необычайную новость, Ганка даже приподнялась в постели, но Ягустинка вовремя удержала ее и силой уложила обратно на подушки.

— Лежи, лежи, нигде не горит!

— Ты слышала, что он сказал? Да уж не помутилось ли у него в голове? Смочите себе голову святой водой, отец, авось дурь пройдет.

— Нет, Ганусь, я в своем уме и сказал тебе истинную правду: пан Яцек со вчерашнего дня живет у меня, — сказал Былица, собираясь чихнуть после солидной понюшки табаку.

— Видно, уж совсем одурел!.. Погляди, не идут ли? Заморят мне голодом ребенка!

— На дороге никого не видать, — доложила через минуту Ягустинка и, снова принимаясь за прерванную уборку, стала посыпать пол песком.

Старик чихнул несколько раз подряд, да так сильно, что даже присел на лавку.

— Трубите, как на городском базаре!

— Табак крепкий, Ганусь, это пан Яцек мне дал... целую пачку!

Было еще рано, в окно смотрело яркое, теплое солнце, деревья в саду качались от ветра, в открытую дверь лезли из сеней изогнутые гусиные шеи и красные шипящие клювы, и целая стая перепачкавшихся в грязи гусенят с писком карабкалась на высокий порог. Вдруг где-то заворчала собака, и старые гуси подняли крик, а сидевшие на яйцах наседки испуганно заклохтали и стали разбегаться.

— Вы бы их хоть в сад прогнали, пусть траву пощиплют.

— Сейчас выгоню, Ганусь, и от ворона постерегу...

В избе наступила тишина, и только шум ветвей долетал сюда из сада, да слабо колыхались бумажные украшения под закопченным потолком.

— Что там хлопцы делают? — спросила Ганка после долгого молчания.

— Петрик пашет картофельное поле под горкой, а Витек на мерине поехал боронить полосу под лен в Свином овражке.

— Мокро там еще?

- Мокро, башмаки целиком вязнут, но после бороньбы скорее просохнет.
- К тому времени, как земля нагреется и можно будет сеять, я, пожалуй, уже встану.
- Ты здоровье сейчас побереги, а работа от тебя никуда не уйдет.
- Что, коровы выдоены?
- Да, я сама доила, потому что Ягуся оставила у хлева подойник и куда-то ушла.
- Вечно она бегаёт по деревне, как бродячая собака, никакой помощи от нее в доме!.. Вот что, Ягустинка, скажи Кобусихе, что я ей гряды под капусту дам и Петрик свезет ей навоз в моле и запашет, только с тем, чтобы она отработала мне потом, но четыре дня за грядку. Половину отработает, когда картошку сажать будем, а остальное в жатву.
- Козлова тоже просила полоску под лен за отработку.
- Ну, эта наработает, сколько кот заплачет! Пусть у других поищет. Прошлым летом она по всей деревне верещала, что Мацей ее обидел!
- Как хочешь, твоя земля, твоя и воля! Еще Филипка заходила вчера, когда ты рожала... просила картошки.
- За деньги?
- Нет, отработает. У них днем с огнем гроша медного не сыщешь, с голоду помирают.
- Сейчас пусть возьмет полкорца, а если еще понадобится, так дам уже после посадки, потому что не знаю, сколько у нас останется. Вот Юзька придет и отмерит ей... Хотя знаю я, какая Филипка работница: только бы работу с рук сбыть...
- Да где же ей сил взять? Недоедает, недосыпает и каждый год рождает.
- Господи Иисусе, как маются люди!.. Урожай еще за горами, а нужда на пороге!
- Как же, на пороге! Давно в хатах сидит! Людям с голоду животы подводит, еле живы.
- Ты свинью выпустила?
- Да, она у стены лежит. А, поросята славные, кругленькие, как булочки.

В дверях появился Былица.

- Гусей я под крыжовником оставил... Приходит это ко мне пан Яцек в праздник и говорит: "Переберусь я к вам жить, Былица, и хорошо платить буду". Я подумал: "Смеется он над мужиком, как водится у панов, и говорю ему тоже в шутку: "Что ж, деньги мне нужны, и свободные комнаты в моей квартире есть!" А он засмеялся, дал мне пачку табаку, осмотрел избу. и говорит: "Коли вы тут можете жить, так и я проживу, мы помаленьку в такой порядок приведем, что она за усадьбу сойдет".
- Ай-ай, такой шляхтич, помещиков брат! — удивлялась старуха.
- Постлал себе постель в сенях рядом с моей и живет: когда я уходил, он на пороге папироску курил и воробьев зерном приманивал.
- А есть-то что будет?
- Принес котелки и чай себе кипятит да попивает.

— Неспроста это он! Когда такой знатный пан... Нет! Тут что-то есть!..

— А только то и есть, что совсем с ума спятил! Каждый человек бьется, лучшего ищет, а такой пан по своей воле на худшее пойдет? Не иначе как рехнулся! — сказала Ганка и вытянула голову, прислушиваясь, потому что во дворе раздались голоса.

Это вернулись из костела все, кто был на крестинах. Впереди Юзя под надзором Доминиковой несла новорожденного в подушечке, прикрытой платком, за ними шагали крестные отец и мать — войт и Плошкова, а позади ковылял Амброжий, не поспевая за остальными.

Раньше, чем войти, Доминикова взяла ребенка и, перекрестясь, стала по древнему обычаю обходить с ним вокруг дома, останавливаясь у каждого угла и приговаривая:

На востоке — дует. На севере — холод. На западе — темень. На юге — тепло.

А везде берегись нечистого, душа человеческая, и только на Бога уповай.

— Смотрите-ка, Доминикова у нас богомолка известная, а как колдует! — смеялся войт.

— Молитва молитвой, но и заговор на всякий случай не помешает, — шепотом сказала Плошкова.

Шумно вошли в комнату. Доминикова распеленала ребенка и голенького, красного, как вареный рак, подала Ганке.

— Приносим тебе, мать, нового христианина, нареченного при святом крещении Рохом! Пусть растет здоровый тебе на радость.

— И пусть наплодит еще дюжину Рохов! Крепкий паренек: кричал так, что не пришлось и щипать его, когда крестили, а соль как выплевывал — просто смех брал!..

— Потому что он из рода, который водочкой не брезговал, — отозвался Амброжий.

Ребенок на постели пищал и дрыгал ножками. Доминикова вытерла ему водкой глаза, губы и лоб и только после этого приложила его Ганке к груди. Он присосался, как пиявка, и затих.

Ганка сердечно поблагодарила кума и куму и, целуясь со всеми, извинялась, что крестины не такие, какие бы должны быть в доме Борын.

— Родите в будущем году четвертого, тогда мы дело поправим и свое возьмем! — пошутил войт, отирая усы, так как ему уже подавали рюмку.

— Крестины без отца — что грех без отпущения, — неосторожно брякнул Амброжий.

Ганка расплакалась, и женщины стали ее утешать, обнимать, чокаться с ней. Немного успокоившись, она попросила гостей приниматься за еду, так как яичница с колбасой уже благоухала на столе.

Угощала Ягустинка, а Юзя укачивала ребенка в корыте — у старой колыбели не хватало ножек.

Долго стучали ложки и никто не говорил ни слова.

В сени набились соседские дети, и в дверь то и дело просовывались их головенки. Войт бросил им горсть леденцов, и они, визжа и толкаясь, выбежали на крыльцо.

— Что-то и Амброжий сегодня как воды в рот набрал, — начала Ягустинка.

— А вот сижу и думаю, что малышу-то надо хозяйство готовить и невесту.

— Земля — это уж отцова забота, а невесту кумовья подыщут.

— Этого добра вдоволь — только бери, еще поклоняются тебе да приплатят.

— А войтовой, должно быть, скучно без маленького!

Я видела, как она проветривала на плетне одежду своих покойников.

— Говорят, войт обещал к осени справить крестины!

— Ишь ты! Столько хлопот у человека, на такой ведь должности, а и про это не забывает!

— Скучно в доме без детского крику! — сказал войт серьезно.

— Это верно. Горя с ними немало, да зато и помощь и утеха.

— Да, счастье, нечего сказать! Дорогонько оно обходится, — буркнула Ягустинка.

— Правда, бывают и злые дети, родителей ни в грош не ставят, да ведь яблочко от яблони недалеко падает. Что посеял, то и пожнешь! — вздохнула Доминикова.

Ягустинка вскипела, понимая, что это камешек в ее огород.

— Легко тебе над другими смеяться, когда у тебя такие сынки славные, — и нарядут, и коров подоят, и горшки перемоют, не хуже любой девки.

— Потому что в послушании и страхе божием воспитаны!

— Ну как же, сами щеки подставляют — бей! Точь-в-точь, как отец их покойный! А что яблоко от яблони недалеко катится, это ты правильно сказала. Помню, что ты в молодости с парнями разделявала, и не дивлюсь, что Ягуся вся в мать: будь то хоть кол, а если шапку на него напялишь — так ни в чем ему не откажет, такая добрая! — шипела Ягустинка над ухом Доминиковой, а та побледнела и все ниже опускала голову.

Через сени прошла Ягна. Ганка позвала ее и угостила водкой. Она выпила и, ни на кого не глядя, ушла на свою половину.

Разговор не клеился. Войт помрачнел, видя, что Ягуся не возвращается. Он сидел, насторожившись, и когда она опять появилась в сенях и вышла во двор, украдкой проводил ее глазами.

И женщины не поддерживали разговора: обе старухи мерили друг друга злобными взглядами, а Плошкова шепталась о чем-то с Ганкой. Один Амброжий не расставался с бутылкой и, хотя никто его не слушал, плел какие-то небылицы.

Вдруг войт поднялся и, делая вид, что выходит за дом по нужде, прокрался через сад на задний двор. Ягуся сидела на пороге хлева и поила с пальца пестрого теленка.

Войт, тревожно оглянувшись, сунул ей за корсаж горсть конфет и шепнул:

— На тебе, Ягусь, приходи вечером к Янкелю за перегородку, дам тебе кое-что получше.

И, не дожидаясь ответа, поспешно ушел в дом.

— А славный теленок у вас, дорого за него дадут, — сказал он, расстегивая кафтан.

— Мы его на племя оставим, он от господского быка.

— Вот обрадуется Антек такому приплоду!

— О господи, да когда же он его увидит? Когда?

— Скоро! Вы верьте, когда я вам говорю!

— Да ведь всех со дня на день ждут, а их нет и нет!

— Говорю вам, не нынче-завтра вернутся, уж мне не знать!

— Хуже всего, что поля ждать не хотят!

— Страшно и подумать, что будет осенью, если вовремя не засеем!

На улице застучали колеса. Юзя, выглянув, сказала:

— Ксендз с Рохом проехали!

— Это он за церковным вином ездил, — пояснил Амброжий.

— Что же он Роха в помощники взял, а не Доминикову? — съязвила Ягустинка.

Доминикова не успела огрызнуться, как вошел кузнец, и войт с рюмкой шагнул ему навстречу.

— Опоздал ты, Михал, теперь догоняй нас!

— Тебя, кум, я живо догоню — уже там ищут тебя...

Не успел кузнец договорить, как ввалился запыхавшийся солтыс.

— Пойдем-ка, Петр, тебя писарь и стражники дожидаются.

— Вот собачья жизнь, ни минуты покоя! Надо идти, служба...

— А ты их поскорее отправь и вернись.

— Где там, будут допрашивать насчет пожара на Подлесье и вашего подкопа.

Он ушел с солтысом, а Ганка, в упор глядя на кузнеца, сказала:

— Когда придут протокол писать, ты им все расскажи, Михал.

Пощипывая усы, кузнец делал вид, будто рассматривает новорожденного.

— А что же я им могу сказать? То самое, что и Юзька.

— Девчонку к стражникам я не пущу — не дело это! А ты скажи, что из чулана как будто ничего не унесли, а пропало ли что иное — это уж одному Богу известно. — Она кашлянула и поправила перину, опустив голову, чтобы скрыть насмешливую улыбку. Кузнец, круто повернувшись, вышел.

— Мошенник окаянный! — с усмешкой пробормотала про себя Ганка.

— Ну и короткие вышли крестины, — жаловался Амброжий, берясь за шапку.

— Юзька, отрежь Амброжию колбасы, пусть он дома крестины допразднует.

— Гусь я, что ли, чтобы сухую колбасу жевать?

— Так и водки себе отлей, только на нас не обижайся.

— Умные люди говорят: отмеряй крупу, когда ее в горшок сыплешь, при работе на пальцы не поглядывай, в гостях рюмочек не считай!..

Не прошло и десяти минут, как солтыс начал обходить избы и звать всех к войту — на допрос к писарю и стражникам.

Плошкова рассердилась и, подбоченившись, заорала на него:

— А начхать мне на войтовы приказы! Наше это дело? Звали мы их? Есть у нас время со стражниками возиться! Мы не собаки, чтобы на каждый свист бежать! Пусть сами приходят и допрашивают, если им нужно! Не пойдём!

Она выбежала на улицу к собравшейся там группе перепуганных женщин.

— За работу, кумы, в поле! У кого есть дело к хозяйкам, должен знать, где нас искать. Не дождутся они, чтобы мы по их приказу все бросали и стояли у дверей, как собаки. Пустозвоны окаянные! — кричала она в сильнейшем раздражении.

Плошковы были первые после Бороны хозяева в Липцах, и бабы ее послушались. Они разлетелись, как вспугнутые наседки, а так как большинство уже с утра работало в поле, деревня опустела, только дети играли у озера да грелись на солнце старухи.

Писарь, конечно, разозлился и крепко обругал солтыса, но поневоле пришлось идти в поле. Долго он бродил по участкам, расспрашивая людей, что им известно о пожаре в Подлесье, а люди говорили все то, что он и сам знал. Да и кто бы стал выдавать писарю и стражникам то, что думал?

Писарь и его спутники только потеряли время до полудня, набегались по бездорожью, чуть не по пояс увязая в грязи, так как пашни местами были еще очень рыхлые, — и все это без пользы.

Сердитые пришли они к Бороны составлять протокол насчет подкопа. Урядник ругался последними словами. На крыльце попался ему Былица, он подскочил к нему, размахивая кулаками, и заорал:

— Ты, морда собачья, чего смотришь? Как дом сторожишь? Почему у тебя воры подкопы делают, а? — Дальше пошла уже матерная ругань.

— Сам смотри, на то ты и поставлен, а я к тебе не нанимался, слышишь! — отрезал Былица, задетый за живое.

Тут и писарь гаркнул, чтобы он не смел дерзить, когда говорит с начальством, не то в острог попадет. Старик рассердился не на шутку. Он гордо выпрямился и, грозно сверкая глазами, захрипел:

— А ты что за особа? Обществу служишь, общество тебе платит, так и делай, что тебе войт приказывает, а нас не тронь! Ишь, оборванец, писаришка несчастный! Отъелся на наших хлебах и еще людьми тут помыкает! Небось найдется и на тебя управа.

Войт и солтыс бросились его унимать, видя, что он окончательно вышел из себя и трясущимися руками ищет около себя палки.

— Можешь на меня штраф наложить, заплачу и еще на выпивку тебе прибавлю, коли захочу!

— кричал Былица.

Они, уже не обращая на него внимания, начали расспрашивать, всех в доме о подкопе и подробно все записывать. А старик не мог успокоиться — что-то ворчал себе под нос, ходил вокруг дома, заглядывал во все углы и даже пнул ногой Лапу.

Кончив, писарь и стражники захотели подкрепиться, но Ганка велела им сказать, что на завтрак молока и хлеба не найдется, есть только картошка. И они ушли в корчму, проклиная Липцы на чем свет стоит.

— Хорошо сделала, Гануся, и ничего тебе за это не будет! Господи, даже покойный пан, хоть и право имел, никогда так меня не бесчестил, никогда!

Он долго не мог забыть обиды.

После полудня зашла одна из соседок и рассказала, что "те" еще сидят в корчме, а солтыс побежал за Козловой.

— Ищи ветра в поле! — фыркнула Ягустинка.

— Она, должно быть, в лес за хворостом ушла?

— Нет, она в Варшаву вчера уехала, за подкидышами из приюта. Хочет взять на воспитание двоих.

— Чтобы голодом их заморить, как тех, что взяла два года назад!

— Может, оно и лучше для сирот несчастных: не будут целую жизнь мыкаться, как псы бездомные.

— И незаконный ребенок — душа живая! Козлова тяжело ответит перед Богом.

— Так ведь не с умыслом она их морит — сама не часто ест досыта, откуда ей для детей взять?

— За детей этих платят, она не из милости их держит, — сурово возразила Ганка.

— Семь с полтиной в год за каждого! Невелика корысть!

— Невелика, потому что она деньги сразу пропивает, а потом ребятишки с голоду мрут.

— Да ведь не все: вот вырастила же она вашего Витека и того другого, что живет у хозяина в Модлице.

— Ну, Витека Мацей взял совсем малышом, когда он еще в одной рубашонке бегал. Он у нас отъелся. И с тем, другим так же было.

— Я Козлову не защищаю, говорю только, что думаю. Приходится бабе искать какого-нибудь заработка, коли есть нечего.

— Ну да, Козла-то нет, некому воровать!

— А с Агатой ей не повезло: старуха, вместо того чтобы помереть, совсем поправилась и ушла от нее. Теперь всем рассказывает, что Козлова каждый день ее пилила, зачем она тянет, не помирает и ее в убыток вводит.

— Агата, наверное, вернется к Клембам — где же ей больше пристанища искать?

— Нет, не вернется: разобиделась на родню. Клембовой-то не хотелось ее отпускать — у старухи и постель есть, и денег, верно, приколпчено немало. Да Агата не осталась. Сундук свой перенесла к солтысу и теперь присматривает местечко, где бы можно было помереть спокойно.

— Ну, авось еще поживет. Теперь она в каждой избе пригодится — гусей попасет или за коровами присмотрит. И куда это Ягна опять запропастилась!

— Должно быть, у органиста — воротник его дочке вышивает.

— Вот нашла время пустяками заниматься, как будто дома мало дела!

— Да она с самой Пасхи постоянно там сидит! — ябедничала Юзька.

— Я ее приструню, будет помнить!.. Дай-ка мне малого!

Она взяла ребенка и, как только убрали со стола, разогнала всех работать и осталась одна. Время от времени она прислушивалась, не плачут ли старшие дети, игравшие перед домом под присмотром Былицы. А на другой половине Борына лежал, как всегда, смотрел на падавшую из окна дрожащую полосу солнечного света и, лоя ее пальцами, о чем-то тихо говорил сам с собой, как ребенок, которого оставили одного.

В деревне тоже было пусто: все, кто только ногами двигал, ушли работать в поле.

С самой Пасхи стояла хорошая погода, дни становились все светлее и теплее. Они были уже длинные, по утрам туманные, серенькие, к полудню разогревались, а на закате горели алыми зорями, — настоящие весенние дни.

Иные из них текли медленно, напоминая ручейки, сверкающие на солнце, прохладные и прозрачные, что тихо плещутся о пустынные берега, желтые от молочая, или белые от маргариток, или зеленеющие вербами.

Им на смену приходили дни совсем уже теплые, пронизанные солнцем, благоухавшие свежей зеленью, дни буйного роста, и по вечерам, когда смолкали голоса птиц и деревня засыпала, казалось, что слышишь, как корни прокладывают себе путь в земле, как тянутся вверх стебли, слышишь шорох раскрывающихся почек, рост побегов, голоса всего того, что рождается на свет.

А бывали дни без солнца, в синевато-серой дымке, придавленные низко нависшим небом и брюхатыми тучами. Дни тяжелые, сырые и душные, ударяющие в голову, как водка, так что люди ходили, словно пьяные, деревья судорожно дрожали. И все живое, изнемогая от непонятого томления, рвалось неведомо куда и к чему. В дождливые такие дни хотелось плакать, бродить без цели, кататься по мокрой траве, как это делали ошалевшие от весны собаки.

А порой вставали дни, уже с самого рассвета, будто окутанные серой дерюгой, и не видно было ничего вокруг, ни дорог, ни хат, прятавшихся в мокрые сады. Дождь лил непрерывно, тихо и упорно, как будто с невидимого веретена разматывались дрожащие, ровные, серые нити, связывая небо с землей, и все, покорно пригнувшись, мокло, слушая частый стук капель и плесканье воды, которая белой пеной текла с почерневших полей.

Все было так, как каждый год ранней весной, и никто в деревне не замечал всего этого, некогда было глядеть и задумываться, — рассвет выгонял людей на работу, и только поздние сумерки заставляли уходить с поля, так что они едва успевали дома поесть и немного отдохнуть.

Липцы на весь день пустели, сторожили их только старики, собаки да еще сады, которые все

более густой чащей укрывали хаты. Иногда плелся через деревню нищий, провожаемый собачьим лаем, или проезжал воз на мельницу — и опять пустели улицы, а безмолвные хаты смотрели горящими на солнце оконцами в широкие поля, безбрежным морем окружавшие деревню. Земля, как мать родная, качала на коленях детей своих и кормила их налитой грудью.

Да, наступили страдные дни, теплые, орошенные дождями, раз даже пошел легкий, как пух, снег и посеребрил поля, но ненадолго, солнце быстро его растопило. И неудивительно, что прекратились в деревне всякие перебранки, споры и пересуды, — работа всех запрягла в тяжелое ярмо, пригнула к земле все головы.

С самого рассвета, чуть только росистое утро открывало серые глаза и запевали первые жаворонки, вся деревня была уже на ногах. Начиналась суeta, скрипели ворота, плакали дети, гоготали гуси, которых выгоняли в овражки. Мальчишки поспешно выводили лошадей и волокли плуги, нагружали на телеги картофель, и через несколько минут все выезжали в поле, и в деревне становилось пусто и тихо. Даже к ранней обедне почти никто не ходил, и часто орган играл в пустом костеле. Только заслышав звон "сигнатурки", маленького колокола, люди в полях опускались на колени и читали утренние молитвы.

Да, на работу выходили все, но людей в Липцах было так мало, что в поле это было почти незаметно. Только внимательно присмотревшись, можно было увидеть кое-где плуги, лошадей, к телегу на меже и баб, которые, словно красные гусеницы, копошились среди простора полей, под высоким ясным небом.

Вокруг, из Рудки, Воли, Модлицы, из всех окрестных деревень, маячивших белыми стенами и верхушками садов в голубой дали, неслись крики, песни, шумные отголоски полевых работ. Насколько хватал глаз, за пограничными буграми видно было, как мужики сеяли, шли за плугом, сажали картофель, а в песчаных местах вилась пыль за боронами.

А липецкие поля лежали немые, грустные, заглохшие, как бесплодные пустыри, подобные засыхающему дереву среди молодого леса. Лежали в сиротливом одиночестве, словно под паром, потому что все женские руки в деревне не могли заменить и десятка мужчин, хотя женщины трудились в поте лица с утра до ночи.

Что они могли сделать одни? Возились с картошкой да льном, а на остальных полях только все громче перекликались куропатки, часто пробегали зайцы, да так смело и неторопливо, что можно было сосчитать мелькавшие в озими белые спинки. Стаи ворон прыгали по необработанным полосам, лениво раскинувшись на солнце и напрасно ожидавшим руки пахаря.

Какая польза была людям от того, что дни стояли чудесные, что солнце вставало каждое утро, как золотая дароносица, омытая в серебряных росах, что все зеленело, благоухало травами, звенело птичьими голосами, что каждый овражек, каждая канавка желтели молочаем, каждая межа переливалась, как лента, расшитая маргаритками, что луга были усеяны розовым пухом цветов, что каждое деревцо оделось буйной зеленью, и все в мире дышало весной, и земля словно кипела и клокотала в весеннем своем цветении?

До того ли им было, когда поля лежали невспаханные, незасеянные, как крепкие, здоровые парни, которые только греются на солнце и в безделье теряют неделю за неделей; когда на жирной, плодородной земле вместо хлебов разрасталась очанка, осот целился в небо, качалась в бороздах лебеда, краснел щавель, густо всходил пырей на осенней зяби, а на жнивье гордо высились стройные стебли царского скипетра и, как бесцеремонные кумушки, широко расселись лопухи; когда все сорняки, что до сих пор робко таились в земле, теперь торжествовали, буйно росли и плодились, лезли из борозд на гряды и полонили пашни!

Даже жутью какой-то веяло от этих заброшенных полей.

Чудилось, будто леса, низко склоненные над перелогами, удивленно перешептываются, ручьи как-то боязливо пробегают по этой пустыне, а терновник, уже осыпанный белыми бутонами, и дикие груши на межах, и пролетавшие птицы, и каждый странник, что забрел сюда с чужой стороны, и даже кресты и статуи, сторожившие дороги, — все озирается в недоумении и спрашивает у ясных дней и пустых полей:

"А куда же девались хозяева? Почему не слышно песен, почему не радуются люди весне?"

И отвечал им только плач женщин, только он говорил о том, что случилось в Липцах.

Дни проходили за днями без всякой перемены к лучшему — напротив, с каждым утром все меньше женщин выходило в поле, так как они едва управлялись с работой, накопившейся дома.

Только у Борын все шло обычным порядком, хотя и медленнее, чем в прошлые годы, и не так ладно, потому что Петрик только еще приучался к полевым работам. Все-таки в рабочих руках недостатка не было, и они кое-как управлялись со всем.

Ганка еще не вставала после родов, но распоряжалась всем толково и так властно, что даже Ягусю заставила вместе с другими приняться за работу. Она помнила обо всем: о скотине, о том, когда надо пахать и где что сеять, о больном свекре, о детях, так как Былица с самых крестин не приходил, — захворал, видно. Целыми днями Ганка лежала одна, людей видела только в обед и вечером, да раз в день навещала ее Доминикова. Из соседок ни одна не показывалась, даже Магда, а о Рохе не было ни слуху ни духу: уехал тогда с ксендзом и пропал. Ей страшно надоело лежать, и, чтобы поскорее набраться сил и выздороветь, она не жалела себе сала, яиц, мяса и даже велела зарезать курицу в суп, — правда, курица эта не неслась, но все же копеек тридцать стоила. Зато Ганка поправлялась так быстро, что уже на Фоминой встала и решила идти в костел на "введение".[21] Женщины ее отговаривали, но она никого не послушалась и сразу после обедни в сопровождении Плошковой отправилась в костел.

Она еще нетвердо держалась на ногах и частенько опиралась на куму.

— Так весной пахнет, что у меня даже голова кружится!

— Ничего, через день-другой привыкнешь.

— Всего неделю я пролежала, а кажется, будто месяц прошел — так переменялось все кругом!

— Да, весна на быстром коне скачет, не догонишь ее!

— А зазеленело-то все как, Господи!

И правда, сады висели над землей огромной зеленой тучей, только трубы белели да крыши выделялись среди зелени. В чаще ветвей неистово щебетали птицы, от полей тянуло теплым ветром, который трепал бурьян под плетнями, рябил воду в озере.

— Вот какие большие почки на вишнях, — того и гляди зацветут!

— Если только их морозом не хватит, вишни будет много.

— Говорят же люди: коли хлеб не уродится, так сад пригодится.

— Видно, так оно и будет в Липцах в нынешнем году... К тому идет! — печально вздохнула Ганка, обводя влажными глазами незасеянные поля.

Они скоро ушли из костела, потому что ребенок раскричался, да и Ганка почувствовала такую усталость, что, придя домой, сразу легла. Однако не успела она отдышаться, как влетел Витек:

— Хозяйка, по деревне цыгане идут!

— Вот не было печали! Зови Петрика и закройте ворота, чтобы они чего не утащили.

Она сильно встревожилась и вышла на крыльцо.

Скоро по деревне рассеялась ватага цыганок, с детьми за спиной, оборванных, растрепанных, черных, как чугуны, и таких надоедливых, что не приведи бог.

Они шлялись повсюду, просили милостыню, предлагали погадать и насильно лезли в избы. Их было не больше десятка, а шум поднялся на всю деревню.

— Юзька, загони кур и гусей во двор, а детей отведи в дом, не то еще украдут их! — приказала Ганка и села на крыльце караулить. Увидев, что одна из цыганок направляется к их воротам, она натравила на нее собаку. Лапа свирепо наскочил на цыганку, не пускал ее во двор, та погрозила палкой и что-то забормотала.

— Проклинай сколько хочешь, воровка, не боюсь я тебя!

— Не сглазила бы она тебя, если бы ты ее впустила! — язвительно пробормотала Ягна.

— Да зато украла бы что-нибудь! Такую не устережешь! А если тебе хочется, чтобы она тебе поворожила, так беги за ней.

Видно, Ганка угадала тайное желание Ягны, потому что та помчалась на улицу и весь воскресный день ходила за цыганками. Она не могла отделаться от какого-то смутного страха, но любопытство было сильнее, она сто раз возвращалась домой и опять убегала за цыганками. Наконец, в сумерки, когда цыганки уже уходили к лесу, она увидела, что одна из них вошла в корчму, и с великим страхом последовала за нею. Беспреданно крестясь, она попросила ее погадать, несмотря на то, что у прилавка толпились люди.

Вечером после ужина собрались у Юзи на крыльце девушки и болтали, рассказывая, что каждой из них загадала цыганка: Марысе Бальцерковой — свадьбу осенью, Настке — большое богатство и мужа, Улисе Сохе — что жених ей изменит, толстухе Веронке Бартковой — болезнь, а солдатке Терезе...

— Незаконного щенка, наверное! — проворчала сидевшая в стороне Ягустинка.

Девушки не обратили на нее внимания, потому что к ним в это время подсел Петрик и стал рассказывать про цыган, будто у них есть свой король, у которого на одежде нашито множество серебряных пуговиц, и так все ему покорны, что стоит ему в шутку приказать кому-нибудь повеситься, тот мигом это исполнит.

— Над всеми ворами король власть имеет, а его Витек. собаками травят! — прошептал.

— Собачье племя, нехристи окаянные! — выбранилась Ягустинка и, подсев ближе, начала рассказывать всей компании, как цыгане крадут детей в деревнях.

— Для того чтобы дети стали черные, они их купают в ольховом настое, так что и родная мать их потом не узнает, дети делаются настоящими чертенятами.

— И говорят, будто они знают такие наговоры и наколдовать могут такое, что и сказать страшно! — пролепетала одна из девушек.

— Верно, верно, вот, к примеру, дунет она на тебя — и сразу у тебя вырастут усы в аршин!

— Смейтесь, смейтесь! А вот я слышала, что одному мужику из слупского прихода, который на них собак натравил, цыганка поднесла к глазам свое зеркальце, и он в тот же миг ослеп.

— И еще говорят, будто они людей во что хочешь оборотить могут, даже в зверей.

— Кто пьян напьется, тот и сам, без цыган, свиньей обернется!

— Ну, а тот хозяин из Модлицы, что прошлым летом на богомолье ходил, не ползал разве на четвереньках, не лаял?

— Того нечистый попутал, — ведь ксендз из него бесов выгонял!

— Иисусе, чего только не бывает на свете, даже мороз по коже дерет!

Охваченные тревогой девушки сдвинулись теснее, а Витек, дрожа от страха, шепотом сказал:

— И у нас тут недоброе творится...

— Не ври, дурень! — прикрикнула на него Ягустинка.

— Да разве я посмел бы врать... Ходит кто-то по конюшне, корм лошадям подсыпает... И за сеновал ходит, я сам видел, как Лапа туда кинулся, заворчал сперва, а потом хвостом вилял и ластился, а никого там не было! Это верно, кубина душа приходит, — добавил он тише, оглядываясь.

— Кубина душа! — повторила Юзя шепотом и несколько раз перекрестилась.

Все затряслись от страха, а когда скрипнула дверь, с криками вскочили с мест. На пороге стояла Ганка.

— Петрик, а где у этих цыган табор?

— В костеле говорили, что в лесу, за Боруновым крестом.

— Надо будет ночью покараулить, как бы чего-нибудь не увели со двора.

— Да говорят, они поблизости от своего табора не крадут.

— На это надеяться нечего! Удастся, так украдут. Два года назад они там же стояли, а у Сохи свинью увели... — сказала Ганка.

Когда девушки разошлись, она проверила, хорошо ли Петрик и Витек заперли хлева и конюшню, а вернувшись в избу, зашла на половину Боруны взглянуть, дома ли Ягуся.

— Юзька, сбегай-ка за Ягной, пусть идет домой! Я сегодня не оставляю дверь на всю ночь открытой.

Но Юзя скоро вернулась с сообщением, что у Доминиковой темно и в деревне почти все уже спят.

— Не впущу эту бродягу, пусть до утра на дворе сидит! — сердилась Ганка, запирая дверь на засов.

Было, должно быть, уже очень поздно, когда, услышав, что кто-то дергает дверь, Ганка слезла с кровати и пошла отворять. Она даже отшатнулась — так от Ягны несло водкой. По

всему видно было, что она сильно пьяна: долго не могла найти ручку двери, а когда вошла к себе, натыкалась на мебель и, не раздеваясь, повалилась на кровать.

— Ну и ну! И на ярмарке так не напиваются!

Этой ночью Ганке так и не пришлось спать спокойно: на рассвете в деревне поднялся крик и плач, и люди выбегали в одном белье на улицу, думая, что где-нибудь пожар.

Это Бальцеркова и ее дочка ревели в голос — у них воры увели лошадь.

Вмиг к их избе сбежалась вся деревня, а они, полуодетые, не помня себя от отчаяния, со слезами и причитаниями рассказывали, как Марыся на заре пошла засыпать корм лошади и увидела, что дверь открыта настежь, и конюшня пуста.

— Господи Иисусе, смилуйся! Спасите, люди, спасите! — плакала старуха, хватаясь за голову.

Прибежал солтыс, послали за войтом, но его дома не оказалось, он явился только через некоторое время, едва держась на ногах. Пьяный, заспанный, он ничего не соображал, бессвязно бормотал что-то и начал разгонять всех. Солтысу пришлось увести его с глаз людских, чтобы не срамился.

Впрочем, людям было не до него, на всех камнем навалилась эта новая тяжкая беда. Слушали рассказ Бальцерковых, ходили от конюшни на дорогу и обратно, не зная, что делать, растерянные и окончательно перепуганные. Наконец, кто-то крикнул громко:

— Это цыгане увели!

— Правда! Ведь они в лесу ночевали.

— Для того они вчера и ходили да высматривали! Их работа! Больше никому! — слышались взволнованные голоса.

— Надо бежать в табор и коня отобрать, а воров избить! — взвизгнула Гульбасова.

— Убить их надо за такое дело!

Шум поднялся страшный, некоторые начали выламывать колья из плетней, размахивали кулаками, метались, и уже готовы были бежать к лесу, как вдруг обнаружилась еще одна беда.

Прибежала с плачем жена солтыса и объявила, что у них украли со двора телегу. Все остолбенели. Долго только ахали и вздыхали, разводя руками и в ужасе переглядываясь.

— Коня и телегу! Такого еще у нас в деревне не бывало!

— Разгневался Господь на Липцы!

— Что ни день, то хуже!

— За годы столько не случалось, сколько теперь за один месяц!

— И чем еще все это кончится, чем только кончится! — тревожно шептались бабы.

Потом все побежали за солтысом в сад Бальцерков, где на свежей земле видны были следы конских копыт, и шли эти следы до сарая солтыса. Там, видно, воры впрягли лошадь в телегу и полем выехали мимо мельницы на дорогу к Воле.

Полдеревни шло по этим следам, в молчании рассматривая их. Под обгорелыми стогами, на повороте к Подлесью, следы вдруг исчезли, и никак не удалось их отыскать.

Эта покража так всполошила всех, что, несмотря на прекрасную погоду, очень немногие ушли работать в поле. Люди бродили, как в воду опущенные, ломали руки, жалели Бальцеркову и все сильнее беспокоились за свое добро.

А Бальцеркова сидела на пороге конюшни, как у гроба, с опухшими от слез глазами и, задыхаясь, причитала сквозь рыдания:

— Ох, мой гнедой, лошадка моя любимая, работник ты мой единственный! Ведь ему только десятый год пошел, я его жеребенком взяла. Сама выходила, как дитяtko родное, он с моим Стахом однолeтoк! Чтo мы, сироты, тепeрь без тебя делать будем? Чтo?

Она причитала так жалобно, что чувствительные бабы плакали вместе с нею, понимая, какая это потеря: ведь без лошади в крестьянском хозяйстве как без рук, особенно весной, да еще сейчас, когда мужиков нет!

Соседки сидели вокруг Бальцерковой, утешая ее и поминая гнедого добрым словом:

— Славный был мерин, крепкий еще, а ласковый, как ребенок.

— Он моего парнишку лягнул, а все-таки, кума, скажу по совести: лошадка была знатная!

— А шаловливый, как собачонка! Помните, как он перины с плетней сбрасывал?

— Да, другого такого коня поискать! — сочувственно вздыхали соседки, словно покойника поминали, а Бальцеркова всякий раз, как взглянет на ясли, опять начинала плакать навзрыд. Пустое стойло, как свежая могила, напоминало о неизжитой еще утрате. Успокоилась она только тогда, когда ей сказали, что солтыс, взяв с собой работника Ганки, Петрика, работника ксендза, Валека, и Мельникова Франека, поехал искать лошадь у цыган.

— Как же, ищите ветра в поле! Сумели украсть, сумеют и спрятать.

Уже под вечер они вернулись и рассказали, что нигде ни следа, лошадь как в воду канула.

Появился и войт, и хотя уже темнело, уехал вместе с солтысом в бричке доложить начальству о краже, а Бальцеркова с дочерью Марысей пошли сами искать лошадь по ближним деревням.

Вернулись ни с чем, узнав только, что и в других деревнях участились кражи. Эта весть еще больше расстроила людей, все дрожали за свое добро. Войт даже поставил сторожей. За отсутствием парней этот ночной дозор состоял из двух женщин и мальчиков постарше и должен был каждую ночь обходить деревню, а кроме того, в каждой избе кто-нибудь караулил, и девушки ночевали в конюшнях и хлевах.

Однако ничего не помогло. И общая тревога еще усилилась, когда, несмотря на все караулы, в первую же ночь у Филипки воры увели супоросую свинью.

Невозможно описать, что творилось с несчастной женщиной: она убивалась так, как будто потеряла ребенка. Ведь эта свинья была ее единственным богатством, она надеялась, продав ее, прокормить семью до нового урожая. Она так рыдала и билась головой о стену, что страшно было смотреть. Даже к ксендзу побежала с плачем и так его разжалобила, что он дал ей целый рубль и обещал подарить поросенка из тех, что должны были родиться к жатве.

Люди теряли Головы, не зная, как уберечься от краж. День этот был настоящим днем траура

в деревне, а к тому же еще и погода испортилась: с раннего утра моросил дождик, грузное, серое небо словно придавило мир, и в душу невольно закрадывалась грусть. Люди ходили удрученные, вздыхали и со страхом думали о предстоящей ночи.

Но, к счастью, под вечер явился Рох и, обегав все избы, сообщил удивительную, невероятную новость: послезавтра, в четверг, съедутся в Липцы соседи — помочь в полевых работах.

Сперва никто не хотел этому верить, но когда и ксендз торжественно подтвердил слова Роха, радость обуяла всех, и в сумерки, когда дождь перестал и лужи порозовели от вечерней зари, просочившейся сквозь туман, улицы деревни ожили, огласились веселыми криками. Все бегали друг к другу обсуждать новость и дивиться ей. Эта неожиданно пришедшая помощь так ободрила людей, что на радостях они забыли о ворах, и очень немногие караулили в эту ночь.

Наутро вся деревня чуть свет была уже на ногах. Убирали, пекли хлеб, готовили телеги, резали картофель для посадки, шли в поле раскидывать навоз, лежавший там еще в кучах, а в иных домах уже хлопотали, чтобы было чем напоить и накормить неожиданных гостей, понимая, что принять их надо честь честью, по-хозяйски. Немало кур и гусей, оставленных на продажу, было зарезано для гостей, и немало бабы опять набрали в долг у корчмаря и мельника. Казалось, в Липцах готовились к великому празднику.

А больше всех радовался и волновался Рох. Целый день он носился по деревне, следя за приготовлениями, и всех подгонял и так сиял, был так не по-обычному разговорчив, что, когда он зашел к Боронам, Ганка, которая опять слегла, сказала тихо:

— У вас глаза горят, как у больного...

— Нет, я здоров и счастлив, как никогда в жизни! Ты подумай: на целых два дня в Липцы наедет столько мужиков, что всю неотложную работу сделают. Как же не радоваться?

— Странно мне, что они согласны работать даром, только за спасибо... этого еще не бывало!..

— Да, за спасибо приедут помогать, так добрые поляки и должны делать! Не бывало так прежде — это верно, а теперь будет! Еще все переменится к лучшему, вот увидишь! Народ поумнеет, поймет, что не на кого ему надеяться, кроме как на самого себя, что никто нам не поможет, сами мы должны себе помочь. И тогда разрастется народ по всей земле бором могучим, и враги его исчезнут, как снег весной. Увидишь, придет такая пора!

Но как только Ганка начала допытываться, кто совершил это чудо, кто надоумил мужиков приехать помогать, Рох убежал и опять стал ходить по избам. До поздней ночи горел свет везде — это девушки готовили себе наряды, рассчитывая, что завтра приедут не только мужики, но и молодые парни.

И назавтра, когда рассвет побелил крыши, деревня была уже готова к приему гостей. Из труб вился дым, девушки, как угорелые, носились из избы в избу, мальчишки взбирались по лесенкам на крыши и наблюдали за дорогой. День был теплый, но пасмурный и какой-то унылый. Птицы громко щебетали в садах, но голоса людей звучали глухо, тяжело повисая в сырой духоте утра.

Ждали долго. И только когда уже прозвонили к обедне, глухо загудело на дорогах, и в легком голубоватом тумане показались первые телеги.

— Едут из Воли!

— Едут из Репок!

— Из Дембицы едут!

— Едут из Прилука!

Так кричали со всех сторон и бежали взапуски к костелу, куда уже подъезжали ряды телег. Скоро вся площадь заполнилась телегами и людьми. Приодетые по-праздничному мужики соскакивали и здоровались с женщинами, сбегавшимися отовсюду. А дети, как водится, шумели, толпой окружив приезжих.

Все сейчас же двинулись в костел, откуда уже неслись звуки органа. А как только обедня отошла, чуть не вся деревня повалила за кладбищенские ворота, под колокольню. Впереди выступали хозяйки, девушки вертелись во все стороны, пожирая глазами парней, а жены бедняков держались особняком, сбившись в кучу, как пугливые куропатки. Они не смели лезть на глаза ксендзу, который вскоре вышел к толпе, поздоровался со всеми и вместе с Рохом начал распределять приехавших по избам, причем старался, чтобы богатые попадали к богатым.

Не прошло и получаса, как приезжих всех разобрали, и у костела остались только заплаканные беднячки, тщетно ожидавшие, что им тоже дадут помощников.

А во дворах поднялась суматоха: расставляли перед избами скамьи и столы, подавали гостям завтрак и потчевали водкой, чтобы скорее побрататься. Девушки ухаживали за гостями, а сами почти ничего не ели от волнения — ведь большинство приезжих были молодые парни, и такие разодетые, как будто они приехали не на работу, а на сговор!

Долго разговаривать было некогда, гости сообщали только, из каких они деревень и как их звать, и даже ели мало, вежливо отговариваясь тем, что они еще не заслужили такого угощения.

И скоро они, под предводительством женщин, начали выезжать в поля.

Это было похоже на большой праздник.

Ожили пустые, немые поля, зазвенели голосами, со всех дворов выезжали телеги, по всем дорогам потянулись плуги, по всем межам двигались люди, раздавались оклики и веселые приветствия. Ржали лошади, стучали рассохшиеся колеса, заливались собаки, гоняясь за жеребятами, и буйная радость переполняла все сердца.

На полосах, отведенных под картофель, под ячмень, под рожь, на заросших бурьяном перелогах люди принялись за работу, шумно, радостно, словно в пляс пускались.

Вот утих говор, свистнули батоги, заскрипела упряжь, рванулись лошади, и ржавые еще плуги медленно начали врезаться в землю и выворачивать первые пласты, черные и жирные. А люди выпрямлялись, набирая воздуху в легкие, крестились и, окинув взглядом пашни, продолжали работу.

Благоговейная тишина царила теперь в полях, словно в необъятном храме, где идет богослужение. Люди в молчании склонялись над своими нивами, бросали семена, сеяли труд свой в уповании на счастливое, урожайное завтра, с глубокой верой отдавали матери-земле все свои силы и думы.

И ожили тосковавшие липецкие поля, дождались хозяев! Куда ни глянь, от хмурых лесов до самых дальних окраин полей, в зеленоватом тумане, словно в подводном царстве, так и мелькали пестрые юбки, полосатые штаны, белые кафтаны, лошади, которые, согнувшись, тащили тяжелые плуги, и телеги на межах.

Словно пчелиный рой облепил благоуханную землю и трудолюбиво копался в ней в тишине бледного весеннего дня, и громче пели невидимые жаворонки, паря где-то в вышине, а порой пронеслся ветер, трепал деревья, развевал юбки женщин и, приласкав мимоходом хлеба, с хохотом улетал в лес.

Долгие часы работали без передышки, только время от времени кто-нибудь разгибал спину, переводил дух — и опять гнулся над землей. Даже полдничать не уехали с поля — присев на межах, наскоро поели, размяли кости и, как только покормили лошадей, опять взялись за плуги, не ленясь и не мешкая.

Только в сумерки начали разъезжаться с полей. И сразу замелькали огоньки в избах, и вся деревня засияла светом, выбивавшимся из окна и открытых дверей. В каждой избе хлопотали хозяйки, готовя ужин.

Поднялся шум, беготня, скрип ворот, мычание телят, гоготание гусей, которых загоняли на ночь, детский крик.

Вся деревня гудела веселым шумом.

Он утих только тогда, когда хозяйки стали приглашать гостей за стол. Их с почетом усаживали на первые места, предлагали лучшие куски, не жалели ни мяса, ни водки.

Во всех домах ужинали, и в открытые окна и двери видны были головы, жующие рты, слышался стук ложек, а вкусный запах жареного сала разносился по улицам и щекотал ноздри.

Только Рох нигде не присаживался надолго, а все ходил из дома в дом, радуя людей добрым словом, и, потолковав, шел к другим, как рачительный хозяин, который ничего не упустит, ни о чем не забудет. Как и все в деревне, он был весел, — может быть, радовался даже больше других.

В избе у Ганки тоже чувствовался сегодня праздник. Хотя ей работников не требовалось, она, чтобы помочь другим, позвала к себе ужинать двух репечких, которые работали у Веронки и Голубов. Выбрала именно этих, потому что они считали себя шляхтичами.

Правда, в Липцах всегда подсмеивались над такой шляхтой и ни в грош ее не ставили, ругая даже больше, чем "городскую рвань" и всяких торговцев и дельцов, но как только репечки вошли в избу, Ганка сразу решила, что это люди иного, высшего сорта.

Были они невзрачные, худощавые, одеты по-городскому, в черные длинные сюртуки, усики у них торчали, как конопляные вехи. Они смотрели на все свысока, но были разговорчивы, обходительны и вежливы, совсем как господа. Они усердно хвалили все и каждой умели польстить, так что женщины таяли от удовольствия.

Ганка велела приготовить ужин посытнее и накрыть стол чистой скатертью.

Она была очень внимательна к гостям и приказала домашним ухаживать за ними, так что все ходили вокруг них чуть не на цыпочках, стараясь по глазам угадать каждое их желание. А Ягна совсем голову потеряла, разоделась, как на праздник, и не сводила глаз с гостя помоложе.

— У него свои панны есть, на босых он и не взглянет! — шепнула ей Ягустинка.

Ягна вся вспыхнула и ушла к себе.

Как раз в эту минуту вошел Рох и стал искать глазами свободное место.

— Больше всего удивятся наши мужики тому, что люди из Репок приехали в Липцы помогать!  
— сказал он вполголоса.

— Мы с ними дрались в лесу не за свое дело, так никто из нас и не зол на липецких, — возразил старший из репчаков.

— Всегда так и бывает: двое дерутся, а третьему от этого польза!

— Верно вы говорите, Рох. А если бы эти двое поладили между собой, третьему могло бы здорово достаться, не так ли?

— Так, так, пан Репецкий!

— Нынче в Липцы беда пришла, завтра она может на Репки свалиться!

— И на всякую деревню, пан Репецкий, если мужики, вместо того чтобы друг за дружку стоять и вместе защищаться, начнут ссориться и по злобе друг друга врагу выдавать. А умные и дружелюбные соседи — что каменные стены, которые свинья не подроет.

— Знаем, Рох, а вот мужики еще не понимают.

— Ничего! Ближе то время, когда поймут: умнеет народ...

Тотчас после ужина все вышли на крылечко, где Петрик играл девушкам на скрипке.

Наступал вечер, тихий и теплый. Туман белой шубой стлался по лугам, над болотами кричали чайки, стучала, как всегда, мельница, порой шумели деревья.

Высокое небо заволокли бурые тучи, и только по краям их просачивался лунный свет, а местами в прорывах между туч, как в глубине колодца, ярко мерцали звезды.

Деревня шумела, как улей перед вылетом пчел. До поздней ночи светились окна, а во дворах и на улицах слышался тихий шепот, взрывы веселого хохота. Девушки гуляли с молодыми, гости постарше сидели с хозяевами на порогах и чинно беседовали, наслаждаясь отдыхом и прохладой.

Назавтра, когда земля была еще в предрассветной синей мгле и заря только начинала румянить небо, все вскочили и стали собираться в поле.

Взошло солнце, и мир, одетый серебряным инеем, весь заискрился влажным блеском. Защебетали птицы, зашумели деревья, зажурчали воды, и ветер, отряхая кусты, разнес по деревне стук телег, мычание, оклики, песни девушек, весь тот шум и суету, которыми в деревне всегда сопровождается выезд в поле.

На лугах еще лежал белый, как снег, туман, и только на высоких местах он поредел, иссеченный солнечными лучами, и клочьями прозрачной пряжи поднимался к ясному небу. Поля дремали под инеем, набухая во сне, как почки, а люди уже со всех сторон атаковали сонные росистые просторы. Мелькая в пронизанном солнцем тумане, они гибли над пашнями в молчании, а от земли, от деревьев и синих далей, от сверкающих ручьев, от туманов и неба, высоко вознесшего пылающий солнечный диск, шла такая яркая весна, такой угар силы и пьянящей радости, что спирало дыхание в груди, сердца преклонялись перед чудом весны, зримом в самой жалкой былинке, и трепетали тем святым восторгом, который делает людей молчаливыми и прорывается лишь тихой слезой или вздохом.

Долго люди озирались кругом, набожно крестились и, наконец, молча принимались за работу. Когда зазвонили к ранней обедне, все уже были в поле.

Работали так усердно, что и не заметили, как появился в поле ксендз, — он после обедни пришел к своему работнику, пахавшему у дороги. Ксендз объявил бабам, что, хотя сегодня день Святого Марка, крестный ход отложен до третьего мая.

— Сейчас жаль время терять, — мужики ведь не приедут второй раз вам помогать!

Он и сам не уходил с поля до самого вечера. Подобрал рясу и опираясь на палку (потому что нелегко было ему носить такое брюхо!), он неумолимо ходил и ходил, изредка присаживаясь на меже, чтобы утереть вспотевшую лысину и отдышаться.

Солнце большим красным шаром опускалось за лес, земля меркла, и густо засинели дали, когда, покончив с самыми неотложными работами, мужики начали стягиваться в деревню, они торопились, чтобы еще засветло поспеть домой.

Многие и от ужина отказались и наскоро съедали что-нибудь, другие торопливо брали поданные миски с едой. Лошади были уже запряжены и ржали перед избами.

Ксендз вместе с Рохом обходил всех и каждого отдельно еще раз благодарил за помощь липецким.

— Когда даешь нуждающемуся — даешь самому Господу! И вот я вам что скажу: хотя вы не охотники обедни заказывать и не думаете о нуждах костела, хотя уж год я напрасно кричу, что у меня в плетении крыша протекает, — я буду за вас каждый день молиться, потому что вы сделали доброе дело! — говорил ксендз, со слезами целуя склонявшиеся перед ним головы.

Ксендз и Рох были уже около избы кузнеца и сворачивали на другую сторону озера, когда им преградили дорогу заплаканные женщины с Козловой во главе. Это была деревенская беднота.

— Мы, ваше преподобие, спросить хотим: что, нам мужики помогать не будут? — начала Козлова громко и дерзко.

— Ждали мы, ждали, что и наш черед придет, а они уже уезжают!

— И мы, сироты, останемся без всякой помощи, — заговорили все хором.

Ксендз от смущения даже побагровел.

— Что же я сделаю? Не хватило на всех... И так они целых два дня славно работали, — бормотал он, обводя глазами женщин.

— Да, помогли, только богачам! — заплакала Филипка.

— А к нам, как к зачумленным, никто не пришел помочь!

— Никому и дела нет до нас, несчастных!

— Хоть бы несколько человек — под картошку вспахать, — и тех не дали! — жалобно говорили бабы.

— Голубушки, да ведь уезжают они... как тут быть!.. Ну, что-нибудь придумаем. Знаю, что и вам трудно... И ваши мужья в остроге... Ну, ничего, придумаем что-нибудь!

— А до каких же пор нам ждать? Если и картошки не посадим, так только и остается веревку поискать! — заголосила Гульбасова.

— Сказано вам — уладим! Дам вам своих лошадей хоть на целый день, только вы мне их не

загоняйте... Мельника тоже уговорю... войта... Может, и Борыны своих дадут.

— Жди у моря погоды! Пойдем, бабы, не скулите понапрасну! Если бы вы нужды не знали, вам бы ксендз помог! Для хозяев богатых все найдется, а беднота грызи камни да слезами запивай! Овчар почему о баранах заботится? Потому что он их стрижет. А с нас что возьмешь — вши разве! — кричала Козлова так громко, что ксендз даже уши заткнул и поскорее ушел.

Бабы сбились в кучу и плакали горькими слезами, громко причитая, а Рох их утешал, как умел, обещая помочь. Он отвел их в сторону под плетень, так как мужики уже разъезжались, на улицах грохотали телеги и со всех порогов неслись горячие слова благодарности.

— Спасибо! Воздай вам Господь!

— Будьте здоровы!

— Отблагодарим вас при случае!

— По воскресеньям приезжайте к нам в гости, как к родным!

— Родителям кланяйтесь! И баб своих к нам привозите!

— А будет кому нужда — от всего сердца поможем!

— Счастливо оставаться! Пошли вам Бог урожай хороший, люди добрые! — отзывались уезжавшие и махали руками и шапками.

Девушки и все ребятишки, сколько их было в деревне, провожали гостей за околицу, шагая рядом с телегами. Наибольшее столпотворение было на тополевой дороге, по ней ехали мужики из трех деревень. Телеги катились медленно, под веселые разговоры, смех и шутки.

Закат уже догорал, и только вода в ручьях и озере сверкала еще красными отблесками. Над лугами клубился туман, тишина весеннего вечера окутывала землю, где-то вдалеке слышался дружный хор лягушек.

Липецкие проводили гостей до перекрестка и там стали прощаться под смех и крики. Не успели лошади тронуться, как одна из девушек запела им вслед:

Что ж ты, Ясь, со свадьбой тянешь?

Иль меня опять обманешь?

А парни, оборачиваясь, пели в ответ:

В мороз, Марысь, не годится,

Могут сваты простудиться.

Жди уже в посту! Ой, да дана,

В Великом посту!

Звенели молодые голоса и неслись радостно по широкому миру.

## VII

Мужики возвращаются!

Весть грянула, как гром, и молнией облетела Липцы. Правда ли это? И когда?

Никто ничего не знал.

Известно было только одно: сторож из волостной канцелярии, еще на заре приходивший к войту с какой-то казенной бумагой, сказал это Клембовой, которая выгоняла гусей к озеру, та мигом кинулась с новостью к соседям, а девушки Бальцерковой разнесли ее по ближайшим избам, и через какие-нибудь десять минут вся деревня была уже на ногах и радостно шумела.

Было еще очень рано, только что рассвело, и майское утро вставало какое-то темное и мокрое, дождик моросил, как сквозь густое сито, и тихо плескался в расцветающих садах.

"Наши возвращаются! Наши идут!" — летели крики по всей деревне, гулко отдаваясь в воздухе, звенели радостным благовестом в каждой избе, вырывались, как пламя, из каждого сердца.

День только начинался, а в Липцах царило оживление, как в храмовой праздник. Дети с шумом мчались на улицу, то и дело хлопали двери изб, женщины кончали одеваться уже на порогах, жадно всматриваясь в дорогу, заслоненную распустившейся листвой и сеткой дождя.

"Все возвращаются! Мужики, парни, мальчики — все! Идут! Уже вышли из лесу, уже на тополевой дороге!" — кричали все наперебой, стоя на порогах, а иные мчались на улицу, как шальные. Кое-где слышался и плач и быстрый топот ног — люди бежали встречать своих.

Стучали деревянные башмаки, разбрызгивая грязь. Все выбежали за костел, но на длинной, залитой дождем дороге серели только мутные лужи да глубокие колеи. Ни живой души не было видно под потемневшими от ливня тополями.

Жестоко разочарованные, все, недолго думая, помчались на другой конец деревни, за мельницу, потому что мужики могли прийти и той дорогой, через Волю. Но и там было пусто! Хлестал дождь, серой пылью заслоняя широкую ухабистую дорогу. Желтая от глины вода неслась по канавам, бурлила в бороздах, да и по дороге, пенясь, текли потоки, а расцветший терновник по краям зеленого поля свертывал иззябшие цветы.

— Вороны летают высоко, — значит, лить скоро перестанет! — сказала одна из девушек, тщетно вглядываясь в даль.

Они прошли немного дальше и вдруг заметили, что со стороны сгоревшего хутора кто-то идет им навстречу.

Это был знакомый всем в деревне слепой нищий. Собака, которая служила ему поводырем, сердито залаяла на девушек и стала рваться на веревке, а слепой, внимательно прислушиваясь, готовился защищаться палкой, но, услышав говор, прикрикнул на собаку, поздоровался и весело сказал:

— Кажись, липецкие, а? И что-то много вас...

Девушки обступили его и стали рассказывать новость, перекрикивая друг друга.

— Ой, налетели на меня сороки и все разом растрещались! — буркнул старик, внимательно слушая и поворачиваясь во все стороны к теснившимся вокруг него девушкам.

В Липцы возвращались уже всей гурьбой, а нищий плелся среди них, подсакивая на костылях и выставя вперед свое широкое лицо со слепыми глазами.

Щеки у него были толстые, красные, брови седые и лохматые, нос, как труба, и брюхо изрядное.

Он терпеливо слушал тараторивших девушек, а когда разобрал, наконец, в чем дело, перебил их:

— Вот с этой вестью я и спешил к вам в деревню! Нехристь один сказал мне на ушко, что липецкие мужики сегодня выходят из острога! Вчера он это мне сказал, а я и подумал: сбегая-ка завтра чуть свет и первый принесу эту весть бабам! Как липецких не уважить — другой такой деревни поискать! А кто же это тут около меня шагает? Что-то я по голосу не узнаю...

— Марыся Бальцеркова!.. Настка Голуб!.. Улися солтысова! Кася Клембова!.. Гануся Сикора!  
— закричали девушки.

— Ого! Самый цвет девичий мне навстречу вышел! Видно, не терпелось вам хлопцев своих увидеть, а приходится вместо них дедом довольствоваться, а?

— Неправда! Мы отцов встречать вышли! — закричали все хором.

— Побойтесь бога, ведь я не глухой, а только слепой! — взмолился старик, глубже надвигая на уши баранью шапку.

— Говорили в деревне, что они уже идут, вот мы и выбежали навстречу! А тут никого!

— Рано еще. Хорошо, если к полудню поспеют домой хозяева... ну, а парни, может, и до вечера не вернуться.

— Это еще почему? Всех вместе выпустят, значит, вместе и придут!

— А может, парни в городе задержатся? Мало ли там девушек? Какая им нужда к вам спешить? Хе-хе! — дразнил их старик, посмеиваясь.

— Ну и пусть там забавляются! Никто по ним не плачет!

— Еще бы, в городе немало таких, что в мамки пошли, либо печи у евреев топят... Такие им рады будут! — хмурясь, пробурчала Настуся.

— Кому городские потаскухи милее, те нам не нужны!

— А давно вы, дедушка, в Липцах не были? — спросила одна из девушек.

— Давно. С осени. Зимовал я у добрых людей, — все трудное время прожил в усадьбе.

— Уж не у нашего ли помещика, в Воле?

— В Воле, да! Я ведь с господами да с их собаками запанибрата: они меня знают и не обидают! Отвели мне теплое местечко у печи, кормили, сколько влезет, вот я им всю зиму из соломы

перевясла плел и Бога славил. И сам раздобрел, и песик мой отъелся, бока себе нагулял. Ого! Помещик ваш умный, с нищими в дружбе живет: он знает, что в случае чего от них и суму и вшей даром получит... Хе-хе! — засмеялся слепой, моргая глазами, и продолжал болтать:

— А послал Господь весну, — и надоели мне панские хоромы да сладкая еда, заскучал я по мужицким хатам, потянуло в широкий свет! Эх! Дождик-то — чистое золото, теплый да частый, от него все скорее уродится! Так и пахнет кругом молодой травкой!.. Да куда же вы, девушки?

Он услышал, что они сорвались и побежали, оставив его одного у мельницы.

— Девушки!

Но ни одна не отозвалась. Они увидели издали толпу баб, шедших мимо озера к дому войта, и помчались к ним.

У дома войта собралось полдеревни, чтобы узнать у него что-нибудь достоверное о возвращении мужиков.

Войт, видимо, недавно встал — он сидел на пороге без кафтана и, обертывая ноги онучами, кричал жене, чтобы она подала ему сапоги.

Женщины с шумом налетели на него, сгорая от нетерпения, запыхавшиеся, забрызганные грязью, некоторые даже еще неумытые и непричесанные.

Войт дал им накричаться, а тем временем натянул смазанные салом сапоги, умылся в сенях и, расчесывая взлохмаченные волосы у открытого окна, бросил насмешливо:

— Что, невтерпеж вам, заждались мужиков? Не бойтесь, нынче непременно вернутся. Мать, дай-ка ту бумагу, что сторож принес... она за образами.

Он повертел бумажку в руках и, щелкнув по ней пальцем, сказал:

— Вот тут черным по белому написано: "Так как крестьяне села Липцы Тымовской волости, уезда..." Нате, сами читайте! Уж если войт вам говорит, что вернутся, значит, так оно и будет!

— Он бросил им через окно бумажку, и она стала переходить из рук в руки.

Ни одна из женщин не умела прочитать ни ахова, так как бумага была "казенная"- написана по-русски. Но они впивались глазами в строчки с какой-то тревожной радостью. Когда черед, наконец, дошел до Ганки, она взяла бумагу через передник и отдала ее войту.

— Кум, а все вернутся? — спросила она робко.

— Написано, что вернутся, значит вернутся.

— Всех взяли вместе, значит, вместе и выпустят, — сказала одна из баб.

— Зашла бы ты к нам обсушиться, кума, ведь дождиком тебя помочило, — приглашала Ганку жена войта. Но Ганка отказалась, надвинула на лоб платок и первая пошла домой.

Шла очень медленно, задыхаясь от смешанного чувства радости и страха.

"Значит, и Антека отпустят, обязательно отпустят!" — думала она. Ей пришлось остановиться и прислониться к чьему-то плетню — у нее вдруг так замерло сердце, что она чуть не упала. Долго ловила воздух горячими, пересохшими губами... Она до сих пор еще чувствовала себя нездоровой, странная слабость не проходила. "Антек вернется! Вернется!" От распиравшей сердце радости хотелось кричать, и в то же время Ганка испытывала какую-то непонятную

тревогу, неясные опасения.

Она шла, ступая все медленнее, все тяжелее, и жалась к плетням, потому что по всей улице с шумом валила толпа баб. Все смеялись и болтали, сияя радостью, и, несмотря на дождь, собирались кучками у ворот и на берегу, с живостью обсуждая событие.

Ганку догнала Ягустинка.

— Знаешь уже небось? Да, вот это новость так новость! Ждали мы ее каждый день, а как пришла — точно обухом по голове! От войта идешь?

— Да. Он подтвердил, что придут нынче, и даже нам бумагу прочитал.

— Ну коли в бумаге сказано, значит, верно! Слава тебе, господи, вернутся, горемычные, вернутся хозяева! — с жаром промолвила Ягустинка, и слезы потекли из ее выцветших глаз. Ганка даже удивилась.

— Я думала, ты на всех злобишься, а ты ревешь. Вот так диво!

— Что ты! В такое время злобствовать! Иной раз с горя дашь волю языку, а в душе — совсем другое. Волей-неволей вместе с другими и радуешься и печалишься. Не может человек жить в стороне от всех, нет, не может!..

Они проходили мимо кузницы. Здесь оглушительно стучали молоты, в горне полыхал красный огонь, а кузнец у стены натягивал обод на колесо. Увидев Ганку, он выпрямился и пристально глянул в ее разгоревшееся лицо.

— Ну что? Дождались Липцы праздничка! Говорят, выпустили некоторых.

— Всех! Войт это в бумаге прочитал, — поправила его Ягустинка.

— Всех?.. Убийц небось так скоро не выпустят!

У Ганки даже в голове зашумело и сердце готово было разорваться от боли, но она выдержала удар и, только уходя, сказала со страшной ненавистью:

— Чтоб у тебя твой собачий язык отсох!

И прибавила шагу, чтобы не слышать его смеха, который ножом резал ее.

Уже войдя на крыльцо, она обернулась и посмотрела на небо.

— Все льет и льет... трудно будет плугам выехать в поле! — сказала она с притворным спокойствием.

— Ничего! Утренний дождик — что пляска старухи: недолог.

— Надо будет пока картошку сажать...

— Бабы сейчас придут, — опоздали из-за этой новости, но придут непременно. Я ко всем с вечера заходила, и они обещались прийти отработать.

В печи уже трещал огонь, в избе было тепло и светлее, чем на улице. Юзя чистила картофель, а ребенок кричал благим матом, как ни старались старшие дети его забавлять. Ганка, опустившись на колени у люльки, стала его кормить.

— Юзя, скажи Петрику, чтобы телегу приготовил, будет вывозить от Флорки навоз на те полосы, что около ржи Пачесей. Пока дождь пройдет, он успеет несколько телег вывезти...

нечего ему без дела шататься!

— Ну, ты уж никому полениться не дашь!

— Потому что и сама рук и ног не жалею! — Ганка встала. — Ох, чуть было не забыла: ведь нынче с полудня праздник. Ксендз объявил, что будет крестный ход, тот, который отложили в день Святого Марка...

— Сегодня мальчишки будут делать на буграх первую вспашку! — со смехом сказала Юзья, обращаясь к вошедшему Витеку.

— Идут уже бабы! Ягустинка, ты ступай с ними и налаживай все, а я дома останусь, приберу и завтрак приготовлю. Юзя и Витек будут носить картофель в поле! — распорядилась Ганка, глядя в окна на поденщиц, до самых глаз укутанных кто платком, кто мешком.

Они с корзинами и мотыгами шли к крыльцу и очищали башмаки от грязи.

Ягустинка тотчас повела их через калитку за сеновал, где начинались черные, намокшие картофельные поля.

Здесь они сразу приступили к делу — вскапывали мотыгами землю и сажали картофель. Четыре женщины работали, а Ягустинка только присматривала за ними и подгоняла.

Да не спорилась у них работа! Руки немели от холода, в бороздах было мокро, и в башмаки набиралась вода, а одежда пачкалась и промокала. Дождик, хотя и теплый и мелкий, моросил без перерыва, поливая землю и деревья, которые, свесив цветущие ветви над дорогой, с наслаждением подставляли их под его струи.

Впрочем, по всем признакам погода уже менялась: пели петухи, край неба заметно прояснился, в воздухе по временам стрелой проносились ласточки, словно вылетев на разведку, а вороны слетали со стрех и кружили низко над полями.

Женщины, похожие на кучи мокрого тряпья, согнувшись над грядками, копались в земле. Работали они не очень усердно, разговаривая и подолгу отдыхая, — видно было, что они не на себя работают, а отрабатывают долг. Наконец, Ягустинка, сажавшая горох между бороздами, заговорила громко, осматриваясь кругом:

— Немного же нынче хозяйек и в поле и на огородах!

— Не до работы им сейчас — мужей ждут!

— Ясное дело. Должно быть, варят да жарят и перины греют.

— Смеетесь, а сами небось тоже рады! — сказала Козлова Ягустинке.

— Отпираться не буду: Липцы уж мне опротивели без мужиков. Я хоть и старуха, а прямо скажу: скоты они, подлецы, драчуны, обманщики, а как появится хоть один, будь он чучело из чучел, — так сразу и веселее, и занятнее, и легче жить на свете! И если кто скажет, что это неправда, — совет, как пес.

— Заждались их бабы, как коршун дождя! — вздохнула одна из женщин.

— Не одна за радость тяжеленько расплатится, а больше всех девки.

— Да. И девяти месяцев не пройдет, как ксендзу работа будет, — с крестинами не управится!

— Эх! Старые, а глупости болтаете! На то Господь и сотворил женщину, чтобы детей рожать. Не грех это! — задорно воскликнула жена криворотого Гжели.

— А ты все свое: за байстрюков горой стоишь!

— И всегда, до самой смерти, всякому в глаза буду говорить: законный ли, нет ли, все равно такой же человек и имеет такое же право жить на свете!

Остальные бабы дружно напали на нее, стали ее презрительно высмеивать. А она только руками всплеснула и покачала головой.

— Бог в помощь! Ну, как идет работа? — крикнула Ганка из-за плетня.

— Спасибо, хорошо. Только уж больно мокро здесь.

— А картошки хватает?

Ганка присела на плетне.

— Носят нам, сколько требуется. Да мне думается, что она слишком толсто нарезана.

— Мы же ее только пополам резали. А вот у мельника мелкую картошку даже целиком сажают. Рох говорит, что так вдвое больше уродится.

— Должно быть, это немцы выдумали. А у нас, с тех пор как Липцы стоят, всегда картошку для посадки резали на столько кусков, сколько глазков, — протянула завзятая спорщица Гульбасова.

— Да ведь, милая ты моя, нынешние люди не глупее прежних!

— Ну, еще бы! Нынче яйца курицу учат.

— Это верно. Но и то надо сказать: иные до старости дожили, а ума не нажили! — заключила Ганка, отходя от плетня.

— Загордилась, как будто уже все борыново хозяйство к ней перешло! — проворчала Козлова, глядя ей вслед.

— Ты ее не тронь: баба — чистое золото! Я не видывала умнее ее и добрее. Уж поверьте мне: по целым дням я у них в доме, а у меня глаз зоркий и голова на плечах есть. Натерпелась она... Не дай бог никому такой крест нести!

— И что еще ждет-то ее... Ягна в доме, и как только Антек вернется, такие у них там чудеса пойдут — будет что послушать людям!

— Говорят, будто Ягна с войтом спуталась, правда это?

Все посмеялись над Филипкой: об этом уже все воробьи чирикают, а для нее это новость!

— Эй, бабы, придержите языки! И ветер иной раз подслушать может и разнести, куда не следует! — крикнула на них Ягустинка.

Бабы опять нагнулись к грядкам, замелькали мотыги, порой со звоном ударяясь о камень, а они все судачили без умолку, перемывая косточки всем в деревне.

Ганка шла к дому от перелаза, осторожно нагибаясь под вишнями, чтобы не задеть головой мокрые, низко нависшие ветви, густо осыпанные уже белыми бутонами и молодыми листочками.

Она пошла во двор осматривать свое хозяйство.

С самой пасхи она почти не выходила из дому, ей стало хуже после того первого выхода в костел. И только сегодня радостная весть подняла ее с кровати и держала на ногах. Хотя и пошатываясь на каждом шагу, она ходила по двору, заглядывала во все углы — и все больше и больше злилась.

Коровы были вялые, и бока у них выпачканы навозом, поросята что-то мало подросли, и даже гуси показались ей замороженными.

— Ты бы хоть соломой лошадь вытер! — напала она на Петрика, выезжавшего с навозом в поле, но парень только что-то злобно проворчал и уехал.

В овине новая неприятность. В куче картофеля преспокойно рылся ягусин поросенок, а куры разгребали высевки, которые давно следовало снести наверх. Ганка накричала на Юзьку, а Витека оттаскала за волосы. Мальчик едва вырвался и убежал, а Юзя разревелась и стала горько жаловаться:

— С утра до вечера работаю, как лошадь, а ты еще на меня орешь! Ягна по целым дням бездельничает, а ей ты небось ничего не скажешь!

— Ну, ну, не реви, глупая! Сама видишь, что у нас творится.

— Да разве я одна могла за всем усмотреть?

— Ладно, будет шуметь! Несите в поле картошку, а то бабам не хватит.

Ганка перестала сердиться. "Правда, где же девчонке одной со всем хозяйством управиться!.. А работники! Господи, да они уже с утра ждут не дождутся вечера! На них полагаться — все равно что нанять волков овец пасти... Совести у них нет!" — размышляла она с горечью, вымещая свою злость на ягусином поросенке. Поросенок с визгом удрал, а по дороге его еще и Лапа оттрепал за ухо.

Заглянула Ганка в конюшню, а там опять огорчение: кобыла обгрызла пустые ясли, жеребенок, грязный, как свинья, таскал солому из подстилки.

— У Кубы сердце лопнуло бы, если бы он тебя таким увидел! — прошептала она, накладывая им в ясли сена и глядя теплые, мягкие морды.

Дальше она не пошла: ее вдруг охватило чувство отвращения и равнодушия ко всему на свете, слезы поднялись к горлу, и, привалившись к нарам Петрика, она заплакала, сама не зная о чем.

Силы внезапно оставили ее, сердце тяжелым камнем лежало в груди. Нет, не может она больше бороться с судьбой, не может! Она почувствовала себя всеми покинутой и такой одинокой, как дерево, выросшее на открытом пригорке и ничем не защищенное от непогод. И душу-то не с кем отвести! И конца не видно ее горькой доле! Ничего! Только давить постоянно слезами, растравляй душу обидой и горем. Вечно мучайся и жди еще худшего!..

Жеребенок лизал ей лицо, а она бессознательно прижималась головой к его шее и плакала все сильнее.

На что ей все это хозяйство, богатство, почет, если за всю жизнь она не знала ни одной минуты счастья, ничего, ничего! Она причитала так жалобно, что кобыла даже заржала, повернула к ней голову и стала рваться на цепи.

Дотащившись до избы, она взяла на руки ребенка и, кормя его, бессмысленно смотрела в запотевшее окно, по которому текли струйки дождя.

Ребенок был что-то беспокоен, пищал и метался.

— Тише, маленький, тише! Вот приедет отец, привезет тебе петушка... Вернется, посадит сыночка на коня... Не плачь, дитячко... Баюшки-баю... Вернется твой батька, вернется!.. — напевала она, укачивая его на руках и ходя по избе. — А может, и вправду вернется! — вдруг сказала она себе и остановилась.

Ее даже в жар бросило, бодро распрямила она согнутые плечи, и такая радость залила душу, что ей уже захотелось сейчас же бежать в чулан, нарезать для Антека свинины, послать к Янкелю за водкой. Она даже шагнула было к сундуку, чтобы принарядиться для встречи, но раньше, чем дошла, вспомнились ей слова кузнеца, словно ястреб острыми когтями впился в ее наболевшее сердце. Она застыла на месте, оглядывая комнату испуганными глазами, как человек, ищущий спасения и не знающий, что делать.

"А если он совсем не вернется?.."

— Господи, Господи! — простонала она, хватаясь за голову.

Она боялась повторить вслух эти слова, а они гудели в ней, как в колодце, и воплем ужаса поднимались из груди к горлу.

Дети подрались, подняли крик, она выгнала их за дверь и принялась готовить завтрак, так как проголодавшаяся Юзя уже раз-другой заглядывала в комнату, — посмотреть, готово ли.

Слезы пришлось утереть, горе затаить в душе, — ярмо повседневных забот впивалось в затылок, напоминая, что работа ждать не может...

И Ганка забегала по избе, захлопотала, хотя ноги подкашивались и все валилось из рук. И уже только изредка вырывался у нее скорбный вздох, слеза катилась по щеке, и она тоскливо поглядывала в туманную даль за окном.

— Что же, Ягуся не пойдет картошку сажать? — крикнула Юзя под окном.

Ганка отставила в сторону горшок с борщом и пошла на половину старика.

Он лежал на боку, лицом к окну, и как будто смотрел на Ягну, а она расчесывала перед зеркалом, поставленным на сундук, свои длинные светлые волосы.

— Праздник, что ли, сегодня? Почему на работу не выходишь?

— Не бежать же мне в поле с распущенными волосами.

— С утра ты уже десять раз могла бы их заплести!

— Могла, да вот не заплела!

— Ягна, ты так со мной не разговаривай!

— А что? Прогонишь с работы или из жалованья вычтешь? — дерзко огрызнулась Ягна, продолжая так же неторопливо причесываться. — Ты надо мной не хозяйка, не у тебя я живу.

— А у кого же?

— У себя, в своем доме — запомни это!

— Помрет отец, тогда увидим, у себя ты или нет.

— А пока он жив, я могу тебе на дверь указать!

— Мне! Мне! — Ганка так и подскочила, словно ее кнутом стегнули.

— Что ты постоянно ко мне пристаешь, как репей к собачьему хвосту! Я тебе никогда ни единого худого слова не говорю, а ты все только ругаешься да понукаешь меня, как лысого коня!

— Благодарю Бога, что тебе еще сильнее не досталось! — обрушилась на нее Ганка.

— Тронь только, попробуй! Я хоть и сирота и некому за меня вступиться, но увидим, кто кого осилит!

Ягна отбросила волосы с лица, и ее суровый, враждебный взгляд как ножом ударил Ганку. Такая злоба закипела в душе Ганки, что она погрозила ей кулаками и начала выкрикивать все, что только наворачивалось на язык.

— Грозишь? Ишь, сиротка невинная, обижают ее, бедную! Все добрые люди знают, что ты проделывала, всему миру известно про твои шашни. Не раз видели тебя в корчме с войтом! И тогда, когда я тебе за полночь дверь отперла, ты с ним распутничала и вернулась пьяная в стельку! Эй, смотри, Ягна: повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить! Как поживешь, так и прослывешь!.. Недолго тебе барствовать, придет этому конец, и ни войт, ни кузнец тебе не помогут! Ты... ты.

Ганка даже поперхнулась криком и закашлялась.

— Как хочу, так живу, и никому до этого дела нет! — крикнула вдруг Ягуся, отбросив волосы за спину. Она была вне себя и готова на все, вплоть до драки. Она вся тряслась, руки у нее дергались, а глаза сверкали так дико, что у Ганки сердце екнуло. Она замолчала и выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

Взволнованная этой ссорой, она долго не могла ни за что приняться и сидела с ребенком у окна, а завтрак подавала Юзя.

Только когда все поели и опять ушли на работу, она немного пришла в себя, но ничего не могла делать и решила сходить к отцу, который уже несколько дней хворал.

Пошла — и с полдороги вернулась: волнение так обессилило ее, что она не могла двигаться. Да и потом, когда она немного собралась с силами, только руки ее почти механически делали все, что нужно, а голова была занята мыслями об Антеке, и она часто задумывалась, глядя в одну точку.

День между тем разгулялся: дождь перестал, капало только с крыш и с деревьев, когда ветер шевелил ветки. Дороги засеребрились лужами, и небо все больше прояснялось.

Люди рассчитывали, что к полудню солнце непременно выглянет, потому что ласточки летали высоко. Белые облака, позолоченные невидимым солнцем, стаями плыли в вышине, с полей веяло теплом, и птицы щебетали в садах, как снегом осыпанных белым цветом вишен. В деревне стало очень шумно. Из всех труб валил дым, хозяйки стряпали вкусные блюда, радость звучала в громких голосах, которые неслись от избы к избе; девушки наряжались по-праздничному, вплетали ленты в косы, многие мчались в корчму за водкой, так как Янкель, обрадованный вестью о возвращении мужиков, давал сегодня всем в долг сколько угодно. Каждую минуту кто-нибудь лез на крышу и напряженно всматривался во все дороги, которыми можно было прийти из города.

Женщины так увлеклись приготовлениями, что почти никто не пошел работать в поле, даже гусей забыли выгнать в овражек, и они громко гоготали во дворах. А ребяташки, бегавшие сегодня на воле, без всякого присмотра, шалили отчаянно; мальчишки постарше,

вооружившись длинными шестами, убежали на тополевую дорогу, лазали там на деревья и разоряли вороны гнезда, а перепуганные птицы черной тучей кружили высоко в воздухе и жалобно каркали. Младшие развлекались тем, что гоняли слепую лошадь ксендза, тащившую бочку на полозьях. Они старались загнать ее с высокого обрыва в озеро, но умную лошадь трудно было обмануть: очутившись уже на самом краю, она останавливалась, словно назло им, опускала голову, не слушая понуканий, и терпеливо отряхивалась от комков земли и грязи, которыми осыпали ее озорники. Почувяв же, что они лезут на бочку и уже хватаются за узду, она грозно ржала и, пускаясь вскачь, внезапно въезжала в толпу мальчишек, а они с криками разбегались. Так они забавлялись довольно долго и, наконец, поднесли лошади к ноздрям зажженную тряпку. Она, испугавшись, бросилась в сторону, прямо на плетень Борыны, свалила калитку и запуталась в постромках, а мальчишки обступили ее и давай стегать ее прутьями, сколько влезет.

Лошадь переломала бы себе ноги, если бы не Ягна, которая, услышав крики, палкой разогнала сорванцов и вывела ее на дорогу. Но лошадь с испугу утратила чутье и, видно, не знала, в какую сторону идти, а ее мучители подстерегали ее, прячась за деревьями. И Ягна решила сама отвести лошадь к хозяину.

Она вела ее по дорожке между садом ксендза и избой Клембов. В это время к дому органиста, стоявшему в глубине двора, подкатила бричка. В ней уже сидела жена органиста, а Ясь на крыльце прощался с родными.

— Вот, привела лошадь, потому что ребята ее пугали, — начала она робко.

— Отец, кликни-ка Валека, пусть он ее отведет домой! Ты зачем же, дубина этакая, бросил лошадь? Чтобы она ноги себе поломала? — прикрикнула она на работника.

Ясь, увидев Ягну, покосился на родителей и протянул ей руку.

— Счастливо оставаться, Ягуся!

— Опять в школу?

Что-то похожее на сожаление сжало ей сердце.

— Везу его в город, в ксендзы будет готовиться, — гордо объявила мать.

— В ксендзы!

Ягна удивленно посмотрела на Яся. А он уже садился на переднюю скамейку, спиной к лошадям.

— Хочу подольше посмотреть на Липцы! — пояснил он, любовным взглядом обводя замшелую крышу отцовского дома и цветущие сады, сверкавшие росой.

Лошади тронулись легкой рысцей. Ягна пошла за бричкой. Ясь еще что-то кричал сестрам, плакавшим у крыльца, но смотрел только на нее — в ее синие влажные глаза, сияющие как майский день, на ее белокурую голову, обвитую толстыми косами, которые тройным рядом лежали над белым лбом и спускались на уши, на лицо, прелестное, как полевая роза.

А она шла почти бессознательно, словно замороженная его горячим взглядом. Губы у нее дрожали, сердце блаженно замирало, а глаза покорно следовали за Ясем.

Только когда бричка свернула под тополя, глаза их оторвались друг от друга. Взгляд Ягны наткнулся вдруг на пустоту, и она круто остановилась.

Ясь махал ей шапкой на прощанье. Они уже въезжали в сумрак под тополями.

Ягна стояла и протирала глаза, как человек, внезапно разбуженный от сна.

"Иисусе! Этакой глазами в самый ад заведет", — подумала она, как бы силясь стряхнуть с себя жаркие взгляды Яся.

— Органистов сын, а с виду настоящий панич... И будет ксендзом, — может быть, его даже в Липцы назначат!

Она оглянулась. Бричка исчезла из виду, долетали только стук колес и голоса Яся и его матери, которые громко здоровались с прохожими.

— Мальчик, почти еще ребенок, а взглянет — словно обнимет! Даже дрожь пробирает, и в голове мутится!..

Она вздрогнула, облизывая розовые губы, и блаженно потянулась...

Ей вдруг стадо холодно. Только теперь она вспомнила, что ноги ее босы, голова не покрыта и на плечи сверх сорочки наброшен только рваный платок. Она даже покраснела от стыда и побежала домой.

— Мужики возвращаются, знаешь? — радостно кричали ей от плетней и калиток девушки, женщины, дети.

— Ну и что? — ответила она кому-то из них почти со злостью.

— Вернутся! Разве этого мало? — удивлялись они ее равнодушию.

— А мне все равно — с ними или без них. Вот дуры! — ворчала она, неприятно задетая тем, что все, кроме нее, шалеют от радости, поджидая любимых.

Она зашла к матери. Дома был только Енджик. Сегодня он в первый раз слез с кровати. Перебитая нога была еще забинтована. Он сидел на пороге и плел корзинку, подсвистывая сорокам, прыгавшим по изгороди.

— Слыхала, Ягусь, выпустили наших!

— Еще бы, все в деревне только о том и трещат!

— А Настуся просто с ума сходит от радости, что Шимек вернется...

— Ей-то что? — Она сверкнула глазами сурово, как мать.

— Да так... просто... Ой, как у меня опять нога разболелась! — пробормотал оробевший Енджик. — Цыц, подлые! — он швырнул палкой в сени, где раскудахтались куры.

Он для виду потирал больную ногу и покорно заглядывал в хмурое лицо сестры.

— А где же мать?

— В плербанию ушла. Ягусь, про Настку я это просто так сболтнул...

— Дурак, думаешь, что ты один это знаешь! Поженятся, и все тут...

— Да разве мать позволит? Ведь у Настуси всего один морг.

— Если он будет у матери позволения спрашивать, так никогда не женится! Парень в летах, пора своим умом жить, должен знать, что делать...

— Он знает, Ягусь, знает, и если заартачится, — поставит на своем! Он матери не слушает, назло ей женится и отберет свой надел.

— Болтай, болтай, только смотри, как бы мать не услышала!

Тоска одолела Ягну. Подумать только — этакая Настка, и та завела милого дружка, и у той свои радости. У других девушек тоже. К каждой сегодня кто-то вернется...

— Да, все вернутся! — Ее вдруг охватило радостное нетерпение, и, оставив недоумевающего Енджика, она побежала домой убирать и готовиться к встрече, как все другие, и ожидать, лихорадочно ожидать освобожденных, как ждала их сейчас вся деревня.

Она весело суетилась, даже запела от радости и несколько раз выбегала поглядеть на дорогу, к которой были прикованы все глаза.

— А вы кого же высматриваете? — неожиданно спросил у нее кто-то из соседей.

Ягну словно обухом по голове стукнули. Она побледнела, руки опустились, как перебитые крылья, сердце задрожало от боли.

Правда, кого ей ждать? Ведь никто к ней не спешит, на свете она одна, как перст! "Вот Антек разве!.. — подумала она с какой-то тревогой. — Антек! — повторила, тихо вздыхая, и воспоминания замелькали в памяти, как легкие тени, как чудный, но давно сившийся сон. Может, и вернется, — сказала себе Ягна. — Правда, кузнец только вчера уверял, что его не выпустят с другими, что он останется в тюрьме на долгие годы..."

— Но, может быть, все-таки выпустят! — сказала она вслух, мысленно выходя уже к нему навстречу, но без радости, без волнения, с какой-то затаенной глубоко в душе неприязнью. — Ну, и пусть себе вернется, мне-то что? — прошептала она сердито.

Мацей что-то забормотал, но она с отвращением повернулась к нему спиной и не стала его кормить, хотя знала, что он именно этого просит по-своему.

— Хоть бы издох, наконец! — разозлилась она вдруг и, чтобы не видеть его, опять вышла на крыльцо.

Вальки стучали на берегу, под деревьями краснели юбки прачек. Легкий сухой ветер чуть-чуть касался зеленых верб, и тогда ветви их тихо дрожали. Солнце готовилось выглянуть из-за белесых туч: уже поблескивали лужи, а по глади озера плясали золотые огоньки. Рассеялась туманная завеса дождя, за серыми каменными оградами, как огромные снопы цветов, все отчетливее выступали в ясном воздухе расцветающие сады, полные ароматов и птичьего гомона. Громко стучала мельница, из кузницы разлетались пронзительно-звонкие удары молотов, и деревня, полная шума и суеты, напоминала пчелиный улей.

"А может, и увижу его", — подумала Ягна, подставляя лицо ветру и каплям, скатывавшимся с ветвей.

— Ягуся, работать не пойдешь? — крикнула ей Юзя со двора.

Ягне сегодня и в голову не пришло упираться: она взяла мотыгу и пошла в поле к работавшим там женщинам. У нее больше не было ни сил, ни охоты делать Ганке наперекор, она даже рада была подчиниться приказанию, которое отвлекло ее от раздумья и сомнений. Ее томила непонятная тоска, слезы набегали на глаза, душа рвалась куда-то. Она так рьяно взялась за работу, что оставила всех далеко позади, и не давала себе роздыху, не обращая внимания на колкости Ягустинки, не видя враждебных глаз, все время следивших за ней, как злые собаки, готовые вцепиться в нее зубами.

Только по временам она вдруг выпрямлялась — так выпрямляется под ветром дикая груша на меже, отягощенная массой цветов, и, тихо качаясь, глядит на свет тысячью глаз и роняет белые душистые лепестки в волны зеленых колосьев, будто плачет, вспоминая лютую зиму...

Ягна думала иногда об Антеке, но гораздо чаще вставали у нее в памяти глаза Яся, его красные губы, и милый голос звучал в ее сердце сладко, разгоняя печаль. И, ниже сгибаясь над грядой, она всей силой своей тоски цеплялась за эти воспоминания. Такая уж она уродилась — как хрупкий бересклет или дикий хмель, которым всегда нужно цепляться за какую-нибудь ветку или обвиваться вокруг крепкого ствола, чтобы они могли расти, и цвести, и жить, и если лишить их этой опоры, они легко погибают...

А женщины, нашушукавшись о ней вволю, сняли уже платки, так как становилось жарко, и все оживленнее болтали, все чаще потягивались и с нетерпением ожидали полудня.

— Козлова, ты ростом повыше, погляди, не видать еще наших на дороге?

— Ни слуху ни духу! — объявила Козлова, встав на цыпочки, чтобы дальше видеть.

— Больно скоро захотели! Раньше вечера они не придут... ведь путь не близкий...

— И пять кабаков по дороге! — не утерпела Ягустинка.

— Ну, не до водки теперь им, бедным!

— Натерпелись, чай, измучились... Шутка сказать, столько времени!..

— И всего-то мучений, что отсыпались в тепле да ели до отвала...

— Ох, уж и отъелись небось на казенных харчах, как боров на крапиве!

— На воле и сухая картошка слаще, — сказала жена Гжели.

— Куда как сладка такая воля!.. Только и пользы от нее бедняку, что может подышать с голоду, как ему вздумается, потому что штрафа за это не берут и в тюрьму не тащат!

— Правда, родимые, правда! А все же неволя хуже всего...

Прибежал Витек звать их обедать и собрал корзины.

После полудня сегодня работать не полагалось по случаю крестного хода.

Обед Ганка приказала подавать на крыльцо, так как солнце уже ярко светило и все крыши и цветущие деревья, словно запорошенные ослепительно белым снегом, купались в прозрачном воздухе.

Солнечный день был тих, ветерок касался деревьев легко, как материнская рука, нежно ласкающая личико ребенка.

После обеда никто не пошел в поле работать и даже коров пригнали с пастбищ, только кое-кто из хозяек победнее выводил своих заморенных кормилиц попастьись на меже или в овражках.

А когда уже солнце далеко отошло к лесу, люди стали собираться у костела, их тихий говор сливался с щебетом птиц на кленах и липах, достигавших крыши костела своими верхушками, едва тронутыми зеленью. Солнце припекало порядком, как всегда после утреннего дождя. Принаряженные женщины стояли группами, некоторые тоскливо поглядывали на дорогу под тополями. У ворот кладбища сидел слепой нищий со своей

собакой и тянул заунывную песню, настороженно прислушиваясь ко всему вокруг и протягивая свою тарелочку прохожим.

Скоро вышел ксендз в стихаре и епитрахили, с непокрытой головой. Его лысина так и блестела на солнце.

Крест взял Петрик, потому что Амброжию не под силу было нести его так далеко, а войт, солтыс и одна из самых крепких девушек вынесли хоругви, которые тотчас заплескались на ветру, сверкая яркими красками. Племянник органиста, Михал, нес святую воду и кропило, некоторым прихожанам Амброжий роздал свечи, а органист с молитвенником в руке стал подле ксендза. Ксендз дал знак, и люди тихо двинулись по деревне, берегом озера, в неподвижной воде которого отражалась вся процессия.

По дороге к ней присоединилось еще много женщин и детей, а в последнюю минуту к ксендзу протолкались мельник и кузнец.

В самом конце процессии, позади всех, плелась старая Агата, часто кашляя, да ковылял на костылях слепой нищий, но он у моста свернул куда-то, — вероятно в корчму.

Только за мельницей (она не работала, так как и помощник мельника, весь в муке, присоединился к процессии) зажгли свечи, ксендз надел свою черную шапочку, перекрестился и затынул: "Под твою защиту..."

Все подхватили, кто как умел, и с пением двинулись лугами, где еще много стояло луж, а местами ноги увязали по щиколотку в густой грязи.

Заслоняя руками огоньки свеч, бабы потянулись гуськом по узкой тропинке, мелькая красными и полосатыми юбками, которые сливались как бы в длинную нитку разноцветных бус.

Река, искрясь на солнце, вилась среди зеленых лугов, пестревших полянками желтых и белых цветов.

Реяли над головами хоругви, как большие желтые и красные птицы, впереди качался крест, голоса поющих медленно разносились в неподвижном прозрачном воздухе. Река плескалась о берега, густо усеянные одуванчиками, и плеском своим словно вторила пению. Все взгляды были устремлены вперед, к ясному горизонту, на реку, сверкавшую золотыми чешуйками, и деревни на холмах, едва маячившие в голубой дали белыми лентами цветущих плодовых садов.

Ксендз со своей свитой шел сразу за крестом и пел вместе со всеми.

— Что-то много уток летит! — пробормотал он, скосив глаза направо.

— Это перелетные, — отозвался мельник, глядя за реку, где из низин, поросших желтым прошлогодним камышом и ольхой, тяжело поднимались одна за другой целые стаи.

— И аистов как будто больше, чем в прошлом году.

— Есть у них чем кормиться на моих лугах, вот и тянутся сюда со всех сторон!

— А мой в самый праздник где-то пропал!

— Должно быть, пристал к какой-нибудь стае.

— Что это у тебя на тех вспаханных полосках?

— А это я засадил целый морг конским зубом. Мокровато еще тут, но, говорят, лето будет сухое, так, может, он и поднимется хорошо.

— Только бы не так, как мой в прошлом году: и собирать нечего было.

— Куропаткам зато повезло! Много их там вывелось, — вполголоса пошутил мельник.

— Да. Вы ели куропаток, а мои сивки стучали зубами о пустые ясли!

— Если уродится, так я вам уделю возик.

— Спасибо, а то и клевер у меня плоховат. Если будет засуха, пропадет! — горестно вздохнул ксендз и опять запел.

Процессия приближалась к первому межевому бугру так густо покрытому кустами цветущего терновника, что он казался громадным белым букетом, в котором звенели целые рои пчел.

Люди со свечами окружили его венком дрожащих огоньков, высоко поднялся крест, воткнутый в кусты, развернулись склоненные хоругви, и все встали на колени, словно перед алтарем, на котором в цветах явилось людям священное величие весны.

Ксендз прочел молитву против града, брызнул святой водой на четыре стороны, окропил смиренно склоненные головы и все вокруг, весь этот мир, трепетавший тихой радостью роста, силой и счастьем.

Зазвучало опять пение, все вставали с колен, веселые, оживленные.

Пошли дальше, свернув сразу налево, через луга. За лугами начинался широкий пограничный выгон, и шествие двигалось между высоких кустов можжевельника, словно стороживших поля. Выгон вился, как широкая зеленая река, волнами колыхалась на нем высокая трава, густо расшитая цветами, и даже старые колеи сплошь заросли желтым молочаем и белой ромашкой. Кое-где приходилось обходить высокие камни, поросшие терновником. Одиноко стояли дикие груши, все в цвету, звеневшие пчелами и такие прекрасные, что хотелось встать перед ними на колени и целовать землю, породившую их. А подалее клонилась березка в белой рубашке, вся обвитая зелеными расплетенными косами, трепетностоя, как девушка, принимающая первое причастие.

Шествие медленно поднималось в гору, обходя липецкие поля с севера, вдоль участка мельника, где уже шумела рожь.

Ксендз шел за крестом, за ним теснились девушки и бабы помоложе, а в конце, поодиночке или парами, плелись старухи. Дети бегали по сторонам, подалее от глаз ксендза, чтобы можно было проказничать на свободе.

Наконец, вышли на ровное место. Стало тише, ветер совсем улегся, и хоругви повисли. Процессия растянулась длинной лентой, наряды женщин, как цветы, мелькали среди зелени, огоньки свеч золотыми мотыльками порхали в воздухе.

А над всем простиралось высокое чистое небо, и только кое-где виднелось белое облачко, словно овечка, затерявшаяся в необозримых голубых полях, по которым плыло огромное сияющее солнце, заливая мир теплом и светом.

Громче зазвучало пение, грянули изо всей мочи, так что с ближайших деревьев все птицы разлетелись. Порой испуганная куропатка взлетала из-под ног или выскакивал из-за кочки заяц и сломя голову мчался прочь.

— Озимые хорошо поднимаются, — шепотом заметил ксендз. — А тут кто же это так изгадил?

Половина навоза осталась в бороздах!

— Тут кто-то из коморниц картошку сажал. Должно быть, на корове пахали.

— Да ведь когда боронить будут, борона все наружу вытащит! Ну и работнички, прах их возьми!

— А это ваш Валек тут бабам помогал, — тихо сказал кузнец.

Ксендза передернуло, но он промолчал и, подпевая остальным, обводил глазами необъятную ширь полей. Их волнистая поверхность местами округлостью своей напоминала грудь кормящей матери и, казалось, дышала в блаженном избытке сил, готовая накормить и приглубить всех, кто прильнет к ней, чтобы они могли забыть о своей тяжелой доле.

И такие просторы открывались глазам, что вся процессия казалась среди них цепочкой муравьев, а голоса людей звучали не громче трелей жаворонка.

Солнце уже клонилось к закату и золотило поля, от деревьев ложились тени. Липецкое озеро блестело, как зеркало, в раме садов, покрытых белой пеной цветов. Деревня лежала в ложине, словно на дне огромной чаши, заслоненная деревьями, из-за которых кое-где серели амбары. Только костел высился над всем, издали ярко белели его стены, и горел в небе золотой крест.

Справа равнины разливались необозримым серо-зеленым морем, из которого вставали деревни, придорожные кресты да одиноко растущие деревья. Взор птиц несся в эту даль, не встречая нигде границ, кроме чернеющих на горизонте лесов.

— Что-то очень уж тихо! Как бы ночью дождя не было, — начал ксендз.

— Не будет. Видите, как прояснилось и похолодало.

— Да, утром лило как из ведра, а сейчас уже и следов дождя не видно.

— Весна! Мигом все высыхает, — заметил кузнец.

Они дошли до другой межевой насыпи, высокой, как курган. Говорили, что под нею зарыты погибшие во время восстания. На верхушке ее стоял небольшой крест, совсем обветшалый, на нем висели образки и засохшие прошлогодние венки, а сбоку жалась к нему развилитая верба, укрывая его раны молодыми побегами. Здесь было пустынно и как-то жутко, даже воробьи не гнездились в дуплах деревьев, и хотя вокруг лежали пахотные земли, бугор был почти гол, его осыпавшиеся склоны желтели песком, и только островки заячьей капусты, как лишай, местами покрывали его, да торчали сухие стебли царского скипетра и прошлогодней белены.

Ксендз отслужил молебен от мора, и все, ускорив шаг, двинулись по узкой тропе, которая, пересекая тополевую дорогу, вела к самому лесу.

Шли тесной толпой. Органист запел молитву, но ему подтягивали лишь немногие, да и то вяло, вразброд, так как женщины тихо разговаривали между собой, по временам лишь выкрикивая там, где надо, "Моли Бога о нас!" Ребятишки бежали впереди и шалили, а Петрик, озираясь на ксендза, то и дело сердито ворчал на них:

— Озорники проклятые! Безбожники! Вот как сниму ремень!..

Ксендз, уже порядком уставший, отирал потную лысину и, оглядывая поля, разговаривал с войтом:

— Ого! Тут уже горох взошел!

— Да, ранний, должно быть. И земля хорошо вспахана.

— Я сеял еще на вербной неделе, а только что ростки показались.

— Потому что у нас в низине холодно, а тут земля потеплее.

— Вот и ячмень у них уже взошел, и ровный такой, словно сеялкой сеян.

— Модлицкие мужики — хорошие хозяева, и поля обрабатывают не по-нашему, а так, как помещики.

— Только на наших полях ни следа еще овса и ячменя!

— Да, запоздали мы, а к тому еще дожди побили всходы...

— А вспахано бог знает как! — огорченно вздохнул ксендз.

— Дареному коню в зубы не смотрят! — засмеялся кузнец.

— Ну вы, сорванцы, уши оборву, если не перестанете! — прикрикнул ксендз на мальчиков, швырявших камнями в стайку куропаток, которая вспорхнула над полем.

Разговоры сразу утихли. Органист опять зажужжал, кузнец стал вторить ему так громко, что в ушах гудело, а тоненькие голоса женщин сливались в заунывный хор, который тянулся над землей, как вереница птиц, истомленных долгим полетом и падающих все ниже и ниже.

Шли они так среди зеленых полей и пели, а модлицкие крестьяне, работавшие на своих полосах, разгибали спины и снимали шапки. Мычали коровы, поднимая головы, а иногда испуганный жеребенок убежал от матери и мчался куда глаза глядят.

До третьего бугра и креста у тополевой дороги оставалось уже каких-нибудь сто сажений, когда кто-то крикнул во весь голос:

— Из лесу выходят люди!

— Может, это наши?

— Наши! Наши! — грянула толпа, и многие бросились было вперед.

— Куда! Сперва молебен! — резко приказал ксендз. И они остановились, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Еще теснее сбились в кучу, всех так и подмывало бежать навстречу своим, но боялись ксендза.

Впрочем, он и сам прибавил шаг.

Неожиданный порыв ветра погасил свечи и трепал хоругви. Закачались кусты, травы и осыпанные цветами ветви. А толпа, хотя и пела все громче, но уже почти бежала вперед, и все глаза были устремлены на близкий лес, где между деревьев у дороги белели мужицкие кафтаны.

— Не толкайтесь, глупые! Не убегут от вас мужики! — стыдил ксендз женщин, потому что ему уже наступали на пятки.

Ганка, шедшая в первых рядах, даже вскрикнула громко, увидев кафтаны. Хотя она и знала, что Антека среди вернувшихся нет, она вся дрожала от радости, и упоительная надежда наполняла ей душу. Она отошла в сторону, на борозду, и глядела, глядела...

А Ягуся, шедшая рядом с матерью, тоже сорвалась с места, готовая бежать туда, где стояли мужики. Ее то бросало в жар, то бил такой озноб, что зубы стучали. Другие не меньше, чем она, рвались навстречу близким, по которым они так стосковались. Несколько девушек и подростков не вытерпели: хлынули из рядов, как вода из опрокинутого ведра, и, не слушая окриков, полетели напрямик к лесу, только пятки сверкали.

Процессия быстро дошла до креста, от которого уже было рукой подать до последнего бугра, отделявшего липецкие земли от помещичьего леса.

Там, в тени высоких берез, стороживших распятие, стояли группой мужики. Увидев издали крестный ход, они обнажили головы, и глазам женщин предстали любимые лица мужей, отцов, братьев и сыновей, похудевшие, истомленные, но радостные.

— Плошки! Сикоры! Матеуш! Клемб! Гульбас! И старый Гжеля! И Филипп! Родимые вы наши! Горемычные! Иисусе, Пресвятая Матерь Божья! — горячо шептали в толпе, и все глаза сияли счастьем, руки тянулись навстречу, уже слышался заглушённый плач, но ксендз одним громким словом удержал и заставил замолчать всех и, дойдя до креста, спокойно прочел молитву "от огня". Правда, читал он ее медленно и рассеянно, потому что невольно все время озирался на все стороны и растроганно посматривал на осунувшиеся лица мужиков.

Только кончив молитву и окропив водой склоненные головы, он снял шапочку и весело гаркнул во весь голос:

— Слава Иисусу! Здорово, люди добрые!

Они ответили хором и затеснились к нему, а он, расцеловавшись со всеми по очереди, сел под крестом, отдуваясь от усталости и отирая пот.

Вокруг кипело, как в котле. Говор, смех, звонкие поцелуи, радостный плач, крики ребятишек, горячий шепот, возгласы, подобно песне рвавшиеся из счастливых сердец, сразу забывших о долгой тоске... Каждая женщина уводила своего в сторонку, каждый из вернувшихся, как высокая ель среди кустов, стоял, окруженный женщинами и детьми. Долго это длилось и не кончилось бы до ночи, если бы ксендз не спохватился и не объявил, что пора продолжать крестный ход.

Двинулись к последней межевой насыпи. Дорога шла лесом, между невысоких зарослей можжевельника и молодых сосенок.

Так как прибавилось много народу, то шествие заняло всю дорогу, и, кроме того, многие шли лесом и полями. Все Подлесье кишело людьми, и песня взлетала до самого неба. Но скоро она опала, как туча, когда отгремит гром, — подпевали ксендзу только передние ряды, а остальным не терпелось поговорить со своими. Порядок был уже нарушен, толпа рассеивалась во все стороны, каждая семья шла отдельно, многие взяли на руки младших детей, молодые шли парами, тихо разговаривая, а иные забирались в чащу, подальше от людских глаз. Девушки, красные, как спелые вишни, прижимались к своим друзьям, уже никого не стесняясь. Время от времени они, от избытка счастья, запевали так громко, что испуганные вороны улетали из гнезд в поле, и от быстрого движения воздуха гасли свечи, а лес откликнулся протяжным гулом.

Потом опять наступала тишина, в которой слышался только топот ног, залиvistый смех и приглушенный говор в кустах да заунывное бормотание старух, твердивших все одни и те же слова молитвы.

Близился час заката, небо величаво вздымалось, как раззолоченный стеклянный купол, и только два-три облачка пылали пурпуром в его синих просторах. А солнце уже кончало свой путь и висело над лесом. Между могучих стволов и в зеленой поросли скользили золотые

отсветы, а на полянах одиноко растущие деревья пылали ярким огнем, как и притаившиеся в чаше ручейки. Да и весь лес был в огне и красном дыму. Только местами, там, где высокие ели стояли сплошной стеной, как ряд богатырей плечом к плечу, царил мрак, — впрочем, и его кое-где разгонял солнечный дождь.

Бор склонялся над дорогой и, казалось, глядел на поля, грея в лучах заката свои пышные верхушки. В нем было так тихо, что отчетливо слышно было, как стучат клювами дятлы. Где-то часто и звонко куковала кукушка, а с полей доходил сюда птичий гомон.

Дорога местами вилась по самому краю полей, и мужики часто прерывали разговор и, теснясь к канаве, отделявшей дорогу от поля, шли, не сводя глаз с зеленеющих пашен. Длинные полосы озими колыхались, как вода, с радостным шелестом, словно кланялись вернувшемуся хозяевам. А мужики пожирали их глазами, многие даже снимали шапки и крестились, и у всех одинаково трепетали сердца в немом и горячем преклонении перед святой и желанной кормилицей-землей.

Разумеется, после первых приветствий разговоры стали еще оживленнее, радость переполняла все сердца, и не одному хотелось крикнуть на весь лес или припасть к этому полю и заплакать.

Одна только Ганка чувствовала себя обделенной. Вот впереди нее, и позади, и по сторонам шумно идут мужики, и к ним нежно льнут жены и дети, о чем-то говорят, смотрят друг другу в глаза. Ей одной не с кем слова молвить. Вся толпа так и бурлит неудержимой радостью, а она, шагая среди них, чувствует себя несчастной, покинутой, одинокой, как засыхающее в роще дерево, на котором даже ворона гнезда не вьет и ни одна птица не сядет. С нею мало кто и здоровался — каждый торопился к своим... что им она? Сколько людей вернулось! Даже Козел тут, и опять придется стеречь от него чуланы да хлевы запирать...

Отпустили самых отчаянных бунтовщиков: брата войта, Гжелю и Матеуша. Только Антека нет... Может быть, она его уже никогда не увидит.

Эти мысли камнем ложились ей на душу, лишали сил, и она уже едва передвигала ноги, но шла с высоко поднятой головой и, как всегда, глядела на всех сурово и гордо. Запевали — она пела с другими, ксендз начинал молиться — и она первая побелевшими губами повторяла за ним молитву. И только во время долгих промежутков, когда рядом слышался взволнованный, горячий шепот, она устремляла суровые глаза на сверкавший впереди крест и старалась сдержать предательские слезы, которые нет-нет да набегали на воспаленные веки... Она даже не решилась спросить у кого-нибудь об Антеке — ведь она могла при этом выдать свою муку! Столько уже выстрадано, так неужели теперь она сдастся, не осилит горя? Нет! Стерпит и это и еще больше! Так она приказывала себе, но чувствовала, что подступают к горлу жгучие слезы, темнеет в глазах, и тоска душит ее все сильнее и сильнее.

Не одной Ганке было так тяжело — не лучше чувствовала себя и Ягуся. Она шла в сторонке, настороженная, как пугливая серна. В первые минуты и она в порыве радости помчалась навстречу мужикам и чуть ли не первая добежала до них. Но никто не выскочил из толпы ей навстречу, никто не обнял, не поцеловал. Еще издали увидела она возвышавшуюся над всеми голову Матеуша, и ее горящие глаза обратились к нему, ожило вдруг давно забытое влечение, и она с радостным криком проталкивалась к нему. Но раньше, чем дошла, уже мать повисла на шее у Матеуша, Настуся обнимала его, младшие дети прыгали вокруг, а солдатка Тереза, красная, как свекла, и заплаканная, держала его за руку, не остерегаясь уже чужих глаз.

Ягусю словно холодной водой окатили. Она выбралась из толпы и побежала в лес, сама не зная, что с ней. Минуту назад ей так страстно хотелось радоваться вместе со всеми, быть в толпе, среди веселого шума приветствий. Ведь и в ней бьется живое, горячее сердце, готовое

к порывам восторга и счастливым слезам, а приходится идти одной, в стороне от других, как запаршивевшей собаке!

Она вся дрожала от боли и, с трудом сдерживая слезы и жалобы, брела, хмурая, как дождевая туча, которая с минуты на минуту разразится проливным дождем.

Несколько раз порывалась она бежать домой, но жаль было уходить с такого праздника, и она слонялась среди людей, как Лапа, ищущий в толпе хозяев. Ее не тянуло ни к матери, ни к брату, который нарочно углубился в лес и не видел ничего, кроме своей Настуси. И другие не обращали на нее внимания. Наконец, ее обуяла такая злость, что она с радостью швырнула бы камнем в толпу, в эти веселые, улыбающиеся лица.

Крестный ход уже выходил из леса.

Последний бугор стоял на распутье, отсюда одна из дорог вела прямо к мельнице.

Солнце заходило, из лощины веяло холодом. Ксендз торопился — его ожидала бричка с Валеком на козлах.

Еще что-то пели, но уже наспех, кое-как, потому что все устали. Мужики тихо расспрашивали жен о пожаре на хуторе, развалины которого видны были отсюда. Да и на помещичьих полях происходило что-то непонятное, вызывавшее всеобщее любопытство.

Помещик ехал по пашням на своем буланом вслед за какими-то людьми, которые длинными шестами вымеряли поле. А на развилине дорог, у креста, и около сожженных стогов стояли чьи-то брички, выкрашенные в яркожелтый цвет.

— Что это может быть? — спросил кто-то.

— Видишь, поле вымеряют. Да только это не землемеры.

— Купцы, должно быть, — на мужиков они не похожи.

— Видать, немцы.

— Вот это верно! Кафтаны синие, в зубах трубки, а штаны навывпуск!

— Точь-в-точь как голландцы из Грюнбаха.

Так шептались липецкие, с любопытством наблюдая, и какое-то глухое беспокойство начинало охватывать всех. Никто даже не заметил, как кузнец украдкой выбрался из толпы и чуть не ползком бороздами пробирался к помещику.

— Хотят хутор у пана откупить, что ли?

— Еще на Пасхе говорили, что пан ищет покупателей.

— Ох, не дай бог иметь немцев соседями!

Разговоры утихли, потому что крестный ход кончился, и ксендз уже садился в бричку вместе с семьей органиста.

Толпа, разбившись на кучки, медленно потянулась в деревню. Шли и дорогой и межами, — кому где ближе к дому.

Солнце зашло, и на земле темнело, а на бледнозеленом небе разгоралась вечерняя заря. С лугов за мельницей поднимался белый пар, расплываясь легкой пряжей по низинам. В тишине, окутавшей все, доносился откуда-то громкий клекот аиста. А голоса людей затихли, и

процессия понемногу растворялась в полях, только тут и там еще алела юбка или белый кафтан мелькал в голубом сумраке.

Вскоре улицы деревни ожили и зашумели, со всех сторон валил народ. Сызнова начались в избах рассказы, прерываемые восклицаниями, горячими поцелуями, взрывами смеха.

Наконец, бабы, разгоряченные и словно ошалевшие от этого шума, начали усаживать дорогих гостей за миски, усердно подкладывая им лучшие куски и упрашивая есть.

Забыты были все горести и обиды, долгих месяцев разлуки как не бывало. Каждый от всего сердца радовался возвращению домой и то и дело обнимал своих, прижимал к груди и обо всем расспрашивал.

Наевшись, пошли осматривать хозяйство. Радовались приплоду. Несмотря на темноту, обходили двор, сад, гладили коров и лошадей и даже трогали пальцами осыпанные цветами ветви так любовно, словно гладили детские головенки.

И не опишешь, какое веселье царило в Липцах.

Только у Борын было не так, как у других.

Дом почти опустел — Ягустинка убежала к своим, Юзя с Витеком умчались туда, где былолюдно и весело, и Ганка, оставшись одна, ходила по темной избе, укачивая на руках плакавшего ребенка, дав волю горю и мучительным слезам.

Не она одна так проводила этот вечер: по темному двору ходила, терзаемая такой же печалью, Ягуся, напоминая птицу, которая бьется о прутья клетки.

Она вернулась раньше всех и, сердитая, мрачная, как ночь, набросилась на работу. Хваталась за все, работала за других: выдоила коров, напоила теленка, даже отнесла корм свиньям. Ганка глазам не верила. А Ягуся, никого не замечая, работала, словно хотела работой заглушить тайную горечь.

Но, хотя руки ее немели от усталости и поясницу ломило, — слезы не высыхали и часто жгли щеки, а в душе росла и росла жестокая боль.

Заплаканные глаза ничего не видели вокруг, не замечали и Петрика, который с тех пор, как она вернулась, ни на шаг не отходил от нее, помогал в работе, тихо заговаривал и, с жадностью глядя на нее, частенько придвигался так близко, что она невольно отшатывалась. Дошло до того, что, когда она в амбаре набирала сечку, он обнял ее за талию, прижал к стене и, что-то бормоча, потянулся к ее губам.

Ягуся не сопротивлялась, не догадываясь, к чему дело клонится, она даже как будто рада была покориться чужой воле. Но когда Петрик толкнул ее на солому и она ощутила на лице его влажные губы, она рванулась вихрем, отшвырнула его, как тряпку, с такой силой, что он шлепнулся на землю.

Она даже затряслась от бешеного гнева.

— Чучело поганое! Свинопас! Посмей только еще раз меня тронуть, так я тебе ноги и руки переломаяю! Покажу я тебе нежности — кровью обольешься! — кричала она, хватаясь за грабли. Но тотчас забыла о нем и, покончив с уборкой, ушла в дом.

На пороге она столкнулась с Ганкой. Они заглянули друг другу в глаза, налитые слезами, омраченные болью, и торопливо разошлись.

Двери в сени были открыты, в комнатах горели лампы, и обе женщины, словно под влиянием

какой-то непонятной силы, то и дело смотрели издали друг на друга.

Потом они принялись вместе готовить ужин, но ни одна и рта не раскрыла, ни слова не вымолвила, — и только глазами обе украдкой следили друг за другом. Каждая хорошо понимала, какую муку терпит сегодня другая, и часто злорадные, мстительные взгляды скрещивались, как острые ножи, а крепко сжатые губы как бы говорили?

"И поделом! Так тебе и надо!"

Бывали минуты, когда они жалели друг друга и непрочь были заговорить дружелюбно. Каждая только ждала, чтобы начала другая, и готовила уже ласковый ответ. Они даже подходили поближе, выжидательно косясь друг на друга, угасала давнишняя злоба, и сблизжала их одинаковая судьба и одиночество... Но всякий раз что-то мешало им заговорить: то плач ребенка, то неясное чувство стыда, то внезапно ожившие в памяти обиды. И в конце концов озлобление взяло верх, еще дальше оттолкнуло их друг от друга, и из глаз опять молниями засверкала ненависть.

— И поделом тебе! Поделом! — шипела каждая сквозь зубы, меряя глазами соперницу, опять готовая поспорить, даже подраться, чтобы выместить раздражение.

Но, к счастью, до этого не дошло, потому что Ягуся тотчас после ужина ушла к матери.

Вечер был тихий и теплый. Звезды только кое-где поблескивали в глубине серого неба, болота курились белым туманом, от них долетал хор лягушек и порой стоны чаек. Земля была окутана мраком, на светлом фоне неба рисовались спящие деревья. В садах, словно обрызганных известкой, благоухали цветущие вишни и едва распустившаяся сирень, пахло молодой травой и мокрой землей; каждый запах ощущался отдельно, и все вместе наполняли воздух таким опьяняющим ароматом, что кружилась голова.

В деревне еще не спали, на порогах и завалинках, тонувших в темноте, слышался тихий говор, улицы, укрытые тенью деревьев и только кое-где прорезанные лучами света из окон, полны были людей.

Ягуся направилась было к матери, но, не дойдя, пошла бродить у озера, все чаще останавливаясь, потому что чуть не на каждом шагу натыкалась на какую-нибудь парочку. Встретились ей и брат с Настусей. Он обнимал ее одной рукой и крепко целовал.

Потом она нечаянно спугнула Марысю Бальцеркову с Ванжоном. Эти стояли у плетня, в густой тени, прижавшись друг к другу и забыв все на свете.

Она узнавала по голосу и другим. Из каждой тени на берегу, из-под плетней, отовсюду слышался шепот, слова, тихие, как дыхание, страстные вздохи и шорохи. Даже девочки-подростки гуляли сегодня с мальчишками, бегали наперегонки и веселились.

От всего этого Ягусе вдруг стало тошно, и она, стараясь избежать встреч, пошла прямо к матери, но у самого дома столкнулась лицом к лицу с Матеушем. Он даже не взглянул на нее, прошел, как проходят мимо дерева. С ним шла Тереза, он обнимал ее и что-то говорил. Они прошли, а Ягуся еще слышала их голоса и тихий смех.

Она вдруг повернула обратно и стремглав, словно за ней гнались собаки, побежала домой.

А теплый весенний вечер, проникнутый радостью встреч, освященный тишиной счастья, проходил и ничем нельзя было удержать его.

Где-то во мраке, в саду или в поле, запела свирель. Ее томительные звуки словно вторили страстному шепоту и звукам поцелуев.

На болотах звенел громкий хор лягушек, часто обрываясь, и со стороны озера, затуманенного, как сонные глаза, им отвечали другие протяжным, замирающим кваканьем. Бежавшие по улицам дети вздумали с ними состязаться и, передразнивая их, затагнули:

Ква-ква-ква!

Лист издох!

Я рада, ты рада

Обе мы рады.

Рады, рады, рады!

## VIII

День вставал чудесный, веселый и свежий, как хорошо выспавшийся человек, который, как только проснется, сразу вскакивает и, едва протерев глаза, уже хватается за работу. Большое красное солнце медленно поднималось на высокое небо, как на необъятное поле, на котором лежали бесчисленные стада белых облаков.

И ветер гулял уже по свету, как хозяин, который будит всех спозаранку: перебирал оцепеневшие от ночного холода колосья, дул на туман, разгоняя его во все стороны, тормозил тяжело повисшие ветви деревьев, гудел на перекрестках и, подкравшись тихонько к еще спавшим садам, с такой силой врывался в чащу деревьев, что с вишен сыпались последние цветы, снегом покрывали землю и падали, как слезы, на поверхность озера.

Земля просыпалась. Запели птицы, зашептались деревья, цветы поднимали навстречу солнцу еще сонные, влажные ресницы, сверкающая роса сыпалась градом жемчуга.

Долгий блаженный трепет объял все, что вновь пробуждалось к жизни, и откуда-то из глубины земли, из недр бытия, грянул немой крик и молнией пролетел над миром. Так человек, когда его мучит тяжелый сон, мечется, замирает от страха — и вдруг откроет глаза, увидит сияние солнца и криком ошеломительного счастья приветствует день, радуясь, что он еще среди живых, забывая, что наступивший день — это еще один день трудов и страданий, такой, как был вчера, какой придет завтра, какие будут всегда.

Просыпались и Липцы. Из дверей высовывались взлохмаченные головы, вода вокруг заспанными глазами.

Умывались у крылечек, бежали к озеру по воду полуодетые женщины. Кто-то рубил дрова, выезжали на дорогу телеги, над трубами расцветали в воздухе кольца дыма, слышно было, как в избах кричат на ленивцев, не хотевших вставать.

Было еще рано, солнце стояло невысоко над восточным краем неба и сбоку пронизывало красными лучами темные сады. А в деревне уже все было в движении.

Ветер угомонился, и все наслаждалось тишиной свежего, благоуханного утра. Солнце играло в озере и ручьях, с крыш текли жемчужные струйки, ласточки носились в прозрачном воздухе,

аисты летели из гнезд на луга искать корм, на плетнях пели петухи, весело хлопая крыльями, а гуси, озабоченно гогоча, вели своих гусенят к розовеющему озеру. У порогов и во дворах торопливо доили коров, из всех ворот выгоняли на дорогу скот. Коровы шли, покачивая боками и протяжно мыча, терлись о плетни и деревья, а овцы, задржав головы, бежали среди дороги, поднимая облака пыли. Всех их гнали на площадь перед костелом, где два подростка верхом, свистя кнутами и громко ругаясь, сгоняли вместе разбежавшееся стадо и орали на опоздавших пастухов.

Все стадо двинулось на дорогу под тополями и скоро скрылось из виду в туче пыли, красной от солнца. Только блеяние овец и лай собак в этом густом тумане указывали, где оно движется.

Скоро и пастушки погнали стада белых, крикливых гусей, а некоторые вели стельных коров пастись на межу или тащили за гривы стреноженных лошадей на паровое поле.

Кончилась утренняя суeta, но в деревне не стало тише, так как все собирались на ярмарку.

Прошла уже неделя с возвращения мужиков из тюрьмы, и в Липцах все понемногу входило в колею. Как после сильной бури, наделавшей много вреда, люди, оправившись от тревоги, со вздохами и жалобами принимались за кропотливую работу восстановления.

Правда, не все еще шло как следует. Мужики хоть и взяли опять хозяйство в свои твердые руки, но ленились рано вставать, подолгу нежились под перинами. Не один частенько заглядывал в корчму — якобы узнать новости об их деле в суде. Иные полдня слонялись по деревне и болтали с кумовьями, другие кое-как управлялись только с самой неотложной работой, — нелегко было после долгого перерыва сразу рьяно приняться за дело. Но с каждым днем они все больше втягивались в работу, все реже появлялись в корчме и на улицах, с каждым днем нужда все крепче хватала людей за шиворот и гнула к земле, запрягая их в ярмо тяжелого повседневного труда.

Но сегодня почти никто не вышел в поле, — все собирались в Тымов на ярмарку.

В этом году запасы истощились раньше, задолго до нового урожая, и наступило такое трудное время, что в избах стон стоял. Вот потому-то все, у кого еще было что продать, спешили на ярмарку. А иные ехали просто для того, чтобы встретиться со знакомыми из соседних деревень, кое-что повидать и выпить рюмочку-другую. Ведь у каждого были свои заботы, а где и развлечься людям, как не на ярмарке или на храмовом празднике? Где душу отвести, подбодриться, услышать что-нибудь новенькое?

И вот, как только выгнали скот на пастбище, все начали собираться, запрягать лошадей, а те, кому предстояло идти пешком, выходили в путь спозаранку.

Первыми двинулись бедняки. Филипка с плачем погнала продавать шесть старых гусей, разлучив их с едва подросшими гусенятами: муж ее, выйдя из тюрьмы, захворал, а дома нечего было есть.

Кто-то тащил за рога телку. А так как у нужды, как говорится, руки длинные и до всех доберутся, то и криворотый Гжеля, у которого земли было целых восемь моргов, повел на ярмарку дойную корову, а сосед его, Юзеф Вахник, — свинью с поросятами.

Изворачивались бедняки, как могли. Иному уже так туго приходилось, что последнюю лошаденку вел на продажу, как, например, Гульбас. Бальцеркова подала на него в суд, требуя пятнадцать рублей, которые он когда-то занял у нее на корову, и теперь ему грозила опись имущества. Бедняга волей-неволей сел на гнедого и поехал его продавать, провожаемый ропотом, плачем, причитаниями всей семьи.

Телеги медленно выезжали одна за другой — зажиточные хозяева тоже везли продавать, что только можно, потому что войт требовал уплаты податей и грозил всякими карами. Хозяйки ехали каждая со своим добром: из-под платков кудахтали куры, шипел на возу жирный гусь, а те, что шли пешком, несли яйца в узелках, масло, накопленное тайком от детей, а кое-кто и парадную юбку или кусок полотна. Всех нужда поприжала, до нового урожая было еще далеко.

Люди так спешили, что даже обедню в костеле сегодня ксендз отслужил гораздо раньше обычного, и солдатка Тереза, у которой было какое-то дело к нему, пришла в ту минуту, когда он уже шел домой завтракать. Она не посмела его остановить и стала дожидаться у ограды. Наконец, ксендз вышел на крыльцо, но прежде чем она успела подойти к нему, сел в бричку и приказал скорее везти в Тымов.

Терезка, горько вздыхая, долго еще смотрела на дорогу, где поднималась пыль и серой тучей ложилась на поля. Стук колес замирал уже вдали, и только красные платки женщин, шедших гуськом по сторонам дороги, мелькали иногда между деревьями.

Скоро в Липцах все затихло, даже мельница не громыхала, и кузница была заперта, а улицы совсем опустели. Те, кто не уехал на ярмарку, возились во дворах и на огородах за хатами.

Тереза, сильно чем-то обеспокоенная, вернулась домой.

Она жила за костелом, рядом с Голубами, в избенке, состоявшей из одной комнаты с сенцами. Другую половину избы брат при разделе отрезал и перенес на свой участок, и теперь перепиленные стропила крыши торчали, как сломанные ребра.

Стоявшая на пороге Настка увидела Терезу — их избы разделял только узенький садик.

— Ну что? Он тебе прочитал? — крикнула она, подбегая.

Тереза, остановившись у плетня, рассказала о своей неудаче.

— А может, органист прочитает? Он, должно быть, по-писанному читать умеет.

— Наверное, умеет, да как я с пустыми руками к нему пойду?

— Возьми несколько яиц.

— Мать все понесла в город, только утиные остались.

— Не беспокойся, он и утиные возьмет.

— Пошла бы, да боязно мне как-то! Если бы знать, что тут написано!

Она достала из-за пазухи письмо от мужа, которое войт привез ей вчера вечером из волости. Что там может быть?

Настка взяла у нее из рук исписанный листок, присела под плетнем и, расправив письмо на коленях, опять принялась с большим трудом разбирать его. А Тереза села на приступке и, подпирая руками подбородок, со страхом смотрела на непонятные строчки. Настка разобрала только первую, где написано было: "Слава Господу нашему Иисусу Христу".

— Нет, дальше не разберу, нечего и стараться! Вот Матеуш наверняка прочитал бы!

— Нет, нет! — Терезка густо покраснела и тихо попросила: — Не говори ты ему про письмо, Настуся, не говори ничего!

— По-печатному я из любой книжки прочту, буквы я хорошо знаю... ну, а тут ничего не могу

понять: все какие-то закорючки, словно муху кто обмакнул в чернила да пустил на бумагу.

— Не скажешь ему, Настуся, нет?

— Уж я тебе и вчера говорила, что не стану мешаться в ваши дела. Вернется твой — все и так непременно откроется! — сказала Настка, вставая.

Терезка захлебывалась слезами и не могла выговорить ни слова.

Настка почему-то вдруг рассердилась и ушла, сзывая по дороге кур, а Терезка, завязав в узелок пять утиных яиц, поплелась к органисту.

Но, видно, нелегко ей было, она то и дело останавливалась и, укрываясь в тени, с тревогой всматривалась в непонятные буквы письма.

"А может, его уже отпускают?"

Страх сжимал ей горло, ноги подкашивались, а сердце так отчаянно билось, что она прислонялась к деревьям и заплаканными глазами смотрела вокруг, словно ища спасения.

"Или, может, он только насчет денег пишет!"

Она шла все медленнее, беспрестанно вынимая из-за пазухи письмо, словно оно давило или жгло ее, и, наконец, завязала его в платок.

У органиста как будто никого не было дома: двери стояли открытыми настежь, в комнатах было пусто, только в одной, где окно было завешено юбкой, кто-то громко храпел под периной.

Тереза робко прошла через сени и окинула взглядом двор. На пороге кухни сидела служанка и, поставив меж колен кадку, сбивала масло, отгоняя веткой мух.

— А где же хозяйка?

— На огороде, сейчас ее услышите!

Тереза стала в сторонке, комкая письмо в руке, и надвинула платок на глаза, потому что солнце выходило уже из-за крыш.

На дворе ксендза, по ту сторону забора, слышались крики всякой домашней птицы. Утки плескались в лужах, молодые индюшки кряхтели где-то под плетнем, а индюки, растопырив крылья, воинственно наскакивали на валявшихся в грязи поросят. Из-под стены амбара взлетали голуби, кружили в воздухе и снежной тучей садились на красную крышу плетении. С полей тянуло влажным теплом, расцветшие сады купались в солнечном свете, и осыпанные цветами яблони выглядывали из зелени, как белые облака, обрызганные зарей. Пчелы с тихим жужжанием летели на работу, мелькали в воздухе мотыльки, как цветочные лепестки, порой стая воробьев с шумом падала с деревьев на плетень.

У Терезки вдруг полились слезы из глаз.

— Органист дома? — спросила она, отвернувшись.

— Где ж ему быть? Ксендз уехал, вот он и вылеживается, как боров!

— А ксендз, должно быть, на ярмарку поехал?

— Да, быка хочет купить.

— Еще быка? Мало ли у него скота!

— У кого много, тому еще больше хочется, — буркнула служанка.

Терезка помолчала. Горько ей стало при мысли, что вот у людей всего по горло, а она едва-едва сводит концы с концами и часто голодает.

— Хозяйка идет! — воскликнула служанка и так усердно завертела колотушкой в маслобойке, что сметана брызнула через край.

— Это твои штучки, бездельник! Ты нарочно пустил лошадь в клевер! — раздался в саду визгливый голос жены органиста. — Леня было на паровое ее выгнать! Господи Иисусе, ни на кого положиться нельзя! Добрых две сажени клевера пропали! Вот скажу сейчас дяде, так он тебе, дармоед, такую баню задаст, что долго будешь помнить!

— Я ее выгнал на перелог и своими руками стреножил и привязал к колышку!

— Не ври. Вот дядя с тобой поговорит!

— Говорю вам, тетя, я ее на клевер не пускал.

— А кто же? Ксендз, что ли? — иронически спросила тетка.

— Угадали, тетя: ксендз своих лошадей там пас, — сказал Михал, повысив голос.

— Очумел, хлопец! Заткни глотку, а то еще кто-нибудь услышит!

— Не буду молчать, в глаза ему скажу, потому что я сам видел! Вы вот на меня кричите, а клевер-то ксендз отравил! Пришел я на заре за нашими лошадьми, — гнедой лежал, а кобыла паслась. Они там и были, где я их на ночь оставил. Следов там много, можете проверить, еще свежие. Отвязал я их и сел на гнедого — гляжу, в нашем клевере чьи-то лошади пасутся! Еще только начинало светать, я тропкой подобрался к огороду ксендза, чтобы их перехватить. Выхожу на дорожку Клемба, а там ксендз стоит с требником, оглядывается по сторонам и кнутом загоняет лошадей все дальше в клевер...

— Тише, Михал! Слыханное ли это дело, чтобы сам ксендз... Давно я говорила, что сено наше в том году... тише, там какая-то баба стоит!

Она поспешно прошла вперед, а тут как раз и органист с постели стал звать Михала.

Терезка подала хозяйке узелок с яйцами и, низко поклонившись, робко попросила прочитать ей письмо мужа.

Та велела ей подождать. И только через полчаса ее позвали в комнаты. Органист, совсем раскисший, в одном белье, стал читать вслух, прихлебывая кофе.

Терезка слушала с замирающим сердцем. Муж писал, что к жатве вернется домой вместе с Кубой Ярчиком из Вольки и Гжелей Боруной. Письмо было ласковое, он заботливо осведомлялся о ее здоровье, обо всем, что делается дома, посылал поклоны знакомым и, видно, очень рад был, что скоро вернется. В конце была приписка Гжели — просьба сообщить отцу о его скором приезде. Бедняга не знал ничего о несчастье с Мацеєм.

Но Терезку теплые, ласковые слова мужа хлестали, как плетью, пригибали к земле. Она крепилась, чтобы не заметили другие, пыталась спокойно принять страшную весть, но предательские слезы горячими струйками потекли по щекам.

— Ишь, как рада, что муж вернется! — насмешливо пробормотала жена органиста.

У Терезки слезы посыпались уже градом. Убежала бедняжка, чтобы не заплакать в голос, и долго пряталась от людей под чьим-то плетнем.

— Что мне, сироте, теперь делать? Что? — шептала она в безнадежном отчаянии.

Ясное дело, вернется муж и все узнает!

Страх лютым вихрем охватил Терезку. "Ясек — хороший человек, но горячий, как все Плошки: обиды не простит, убьет еще, пожалуй, Матеуша! Господи, спаси и помилуй!" О себе она не думала.

Плача и терзаясь этими мыслями, она и не заметила, как очутилась у Борын. Ганки дома не было, она еще рано утром уехала в город. Ягна работала у матери, и дома были только Юзя и Ягустинка, расстилавшие в саду смоченный холст.

Терезка рассказала о Гжеле и заторопилась уходить, но старуха отвела ее в сторону и сказала тихо и удивительно мягко:

— Опомнись, Терезка! Пора тебе за ум взяться, — ведь злых языков не обрежешь!.. Вернется Ясек — все равно узнает. Ты о том подумай, что милый дружок на месяц, а муж — на всю жизнь! Я тебе добра желаю.

— Что вы такое говорите? — лепетала Терезка, словно не понимая.

— Не прикидывайся дурочкой! Про вас все знают. Прогони ты Матеуша, пока не поздно, — тогда Ясек людям не поверит: он по тебе небось стосковался, так ты ему что угодно втолкуешь. Матеушу полюбились твоя перина — да ведь не прирос он к ней, прогони его, пока еще есть время! Не бойся, и Ясек тоже не замухрышка какой-нибудь. А любовь пройдет, как вчерашний день, не удержишь ее, хотя бы ты жизнь за нее положила! Любовь все равно что жирная приправа к воскресному обеду: будешь есть ее каждый день, так она быстро тебе приестся, и отрыгивать станешь. Вот люди говорят. "Девичья любовь — слезы, а бабья жизнь — могила". Может, оно и правда, да могила эта с мужем и ребятишками лучше, чем вольная жизнь в одиночку. Ты не реви, а спасайся, пока не поздно! Если муж тебя за эту любовь бросит да из дому выгонит, куда пойдешь? По чужим людям, на позор и погибель? Ох, как хорошо — променял дядя топор на палочку! Упадешь с воза, так беги потом за ним, высунув язык! Против ветра живо дух захватит, из сил выбьешься, а не догонишь! Дура ты, дура! Все мужики из одного теста, все равно — Матеушем его звать или Кубой! Каждый клянется, пока своего не добьется, каждый — что мед, пока ты ему мила. Ты хорошенько это запомни и подумай над тем, что я тебе говорю, — ведь родня я тебе и добра тебе желаю!

Терезке было уже неважно. Она убежала в поле и, зарывшись в рожь, дала, наконец, волю слезам и горю.

Напрасно пыталась она подумать над тем, что сказала Ягустинка, — каждую минуту ее охватывала такая тоска по Матеушу, что она, рыдая, металась на земле, как раненый зверь.

И только крики, раздавшиеся неподалеку, заставили ее вскочить.

Где-то — ей казалось, что это у дома войта, — шла ожесточенная перебранка.

И в самом деле, это ссорились жена войта с Козловой, ругая друг друга последними словами.

Стояли каждая у своего плетня — их разделяла только улица — в одних рубахах и юбках и, задыхаясь от злобы, орали изо всех сил, грозя друг другу кулаками.

Войт запрягал лошадей в бричку, изредка перекидываясь несколькими словами с мужиком из

Модлицы, сидевшим на крыльце. А мужик даже ногами топал от удовольствия, возгласами подзуживая женщин.

Крики их разносились далеко вокруг, и люди начали сбегаться, как на потеху. Уже много зрителей стояло на улице. У всех соседних плетней, из-за всех углов торчали головы.

Ох, и ругались же они! Жена войта, всегда тихая и миролюбивая, сегодня словно взбесилась и все больше и больше свирепела, Козлова же нарочно давала ей накричаться и потом, слово за слово, хладнокровно язвила ее насмешливыми замечаниями.

— Визжи себе, пани войтова, визжи, тебя ни один пес не перещеголяет!

— Разве это в первый раз? Недели не проходит, чтобы у меня из хаты что-нибудь не пропало! То куры, то цыплята, то утки, даже старая гусыня! А с огорода, из сада сколько украдено — и не счесть! Чтоб ты подавилась моим добром! Чтоб тебя скрючило! Чтоб ты под забором околела!

— Каркай, ворона! Дери горло, если тебе от этого легче, пани войтова!

— А нынче, — обратилась жена войта к появившейся на улице Терезке, — вынесла я утром белить пять кусков полотна. Прихожу после завтрака мочить их, смотрю — одного не хватает! Ищу — нет нигде, как сквозь землю провалился! А был камнями придавлен, и ветра нет! Полотно тонкое, льняное, не хуже фабричного — и пропало!

— Глаза жиром заплыли, как у свиньи, вот и не доглядела!

— Это ты мое полотно украла! — крикнула жена войта.

— Я! Ну-ка повтори, повтори еще раз!

— Воровка! Перед всем светом скажу! Погонят тебя в кандалах в острог, тогда небось сознаешься!

— Воровкой меня называет! Слышите, люди добрые? Как бог свят, подам в суд — все слышали! Я украла? А свидетели у тебя есть? Чем докажешь?

Жена войта, схватив кол, выбежала на улицу. Наскакивая на Козлову, как разъяренная собака, она кричала:

— Я тебе палкой докажу! Лучше всяких свидетелей! Вот как дам...

— А ну-ка подойди, пани войтова! Тронь только меня, чучело собачье! — завизжала и Козлова, выбегая ей навстречу.

Она оттолкнула мужа, который пробовал ее удержать, и, подбоченясь, шагнула к жене войта, насмешливо дразня ее:

— Ударь, ударь, самой тогда не миновать острога!

— Заткни глотку, не то раньше засажу тебя под замок! — крикнул войт.

— Бешеных собак запирай, это твое дело! А бабу свою лучше держи на привязи, чтобы она на людей не кидалась! — завопила Козлова, окончательно выйдя из себя.

— Опомнись, баба, с тобой начальство говорит! — грозно сказал войт.

— А начхать мне на такое начальство! Ишь, грозить еще вздумал! Сам, может, полотно это взял — полюбовнице какой-нибудь на рубаху! Видно, мирских денег уже не хватило, пропил

ты их, пьяница! Знаем все про твои делишки! Посидишь и ты, начальник, ой, посидишь!

Тут уж и войт и жена его не выдержали и набросились на Козлову, как волки. Жена первая ударила ее палкой по голове и с диким воем вцепилась в волосы, а войт начал дубасить ее кулаками куда попало.

Бартек бросился выручать жену, все четверо сбились в клубок, — и не разобрать было, чьи кулаки молотят, как цепами, чьи головы мотаются из стороны в сторону, кто кричит. Они перекатились от плетня на улицу, как подхваченный ветром сноп, и в конце концов упали на землю, поднимая пыль. Их крики и ругань неслись по всей деревне, а соседки, причитая, растерянно теснились вокруг, пока, наконец, прибежавшие мужики не разняли дерущихся.

Плач, угрозы, проклятия не утихали. Соседи поспешили разойтись, чтобы не попасть в свидетели, и рассказывали всем по секрету, как войт и его жена избили Козлову.

Вскоре войт с опухшим лицом, взяв с собой жену, которая тоже была вся в синяках и царапинах, первый уехал подавать жалобу. А через час двинулись и Козловы: старик Плошка очень охотно и даже даром взялся отвезти их в город, чтобы оказать "дружескую услугу" войту.

Они отправились в таком виде, как были после драки, не приведя себя хотя бы немного в порядок. И нарочно ехали через всю деревню шагом, чтобы по дороге можно было всем рассказать, как их избили, показать раны каждому, кто только хотел смотреть.

У Козла голова была рассечена до кости, и кровь заливала лицо, шею и грудь, которая видна была из-под разорванной рубахи. Не так уж ему было больно, но он каждую минуту ощупывал себя и отчаянно вопил:

— Ох, мочи нет! Все ребра мне переломал! Спасите, люди, спасите, помираю!

А Магда жалобно вторила ему:

— Дубиной его колотил! Тише, бедный ты мой! Избил он тебя, как собаку, ну да есть еще суд и управа на разбойников, есть! Дорого он за это заплатит! Хотели его забить до смерти — люди видели! Они едва его оторвали — все это на суде честно покажут!

Магда и сама была так избита, что ее с трудом узнавали. Ехала она с непокрытой головой, и видно было, что волосы во многих местах вырваны вместе с кожей, уши надорваны, глаза залиты кровью и все лицо так исцарапано ногтями, как будто по нем борона прошла. И хотя все знали, какое зелье эта баба, но ее искренно жалели.

— Так людей покалечить, — стыд и срам! Ведь еле живы оба!

— Что, здорово их разделал? И мясник так не сумеет! Пану войту ведь все дозволено, — начальство, важная особа! — ехидно говорил Плошка, обращаясь к народу.

И так он этим всех взбудоражил, что долго еще после отъезда Козловых деревня не могла успокоиться.

Терезка, со страху прятаясь где-то во время драки, вылезла из своего убежища, когда обе стороны уже отправились подавать в суд.

Она тотчас зашла к Козлам, так как Бартек приходился ей двоюродным братом. В избе не было никого, и только на дворе у стены сидели трое детей — подкидышей, привезенных Магдой из Варшавы.

Дети, прижавшись друг к другу, жадно грызли полусырую картошку, с визгом отбиваясь от

поросят. Они были такие худенькие, жалкие и грязные, что у Терезки защемило сердце. Она перенесла детей в сени и, заперев дверь, помчалась домой с новостями.

У Голубов она застала одну Настку.

Матеуш еще до завтрака ушел к Стаху, зятю Былицы. Они вместе осматривали развалившуюся избу, советуясь, как ее привести в порядок. Былица ходил за ним и время от времени вставлял свое слово.

А пан Яцек по обыкновению сидел на пороге, курил и свистом сзывал голубей, круживших над черешнями.

Время близилось к полудню, и разогретый воздух над полями дрожал и переливался, как вода. Пашни и сады загляделись на солнце, порой с черешни слетали лепестки цветов, порхая по траве, как бело-розовые мотыльки.

Матеуш кончил осмотр и, постукивая топором по стенам, сказал решительно:

— Совсем сгнило все, одна труха, ничего из этих бревен не сделаешь! Зря только будем время терять.

— Может, докупить немного лесу, и тогда... — умоляюще сказал Стах.

— Докупите на целую избу, а из этого гнилья не выберешь ни одного бревна.

— Бога побойтесь!

— Да ведь балки еще выдержат, только углы бы дать новые. И стены подпорками подпереть да скрепами стянуть... — бормотал старый Былица.

— Если вы такой мастер, так и ставьте себе сами, а я из трухи не умею! — сердито отрезал Матеуш, надевая жилет.

Подошла Веронка с ребенком на руках и заняла:

— Что же мы теперь делать будем, что?

— Рублей триста, не меньше, надо на новую избу! — озабоченно вздохнул Стах.

— А если только одну горницу с сенцами?

— Ведь сколько-нибудь дерева можно привезти из нашего леса... хоть немного, а остальное докупим. Тогда хватило бы. Попросить разве в волости?

— Как же, дадут вам сейчас, когда из-за леса тяжба идет! Даже хворост собирать запрещено. Подождите, пока дело кончится, — советовал Матеуш.

— Жди у моря погоды! А куда же нам зимой деваться? — крикнула Веронка и горько заплакала.

Все молчали. Матеуш собирал свои плотничьи инструменты, Стах чесал затылок, а Былица, прячась за угол, усиленно сморкался, и в унылой тишине слышались только всхлипывания Веронки.

Вдруг пан Яцек встал и сказал громко:

— Не плачьте, Веронка, лес на избу найдется.

Все, ошеломленные, смотрели на него, разинув рты. Матеуш первый опомнился и захохотал:

— Умный обещает, а дурак радуется! Самому приткнуться негде, а другим избы вздумал раздавать! — сказал он резко, исподлобья глядя на пана Яцека.

Тот, ничего не отвечая, снова сел на пороге, закурил папиросу и, пощипывая бородку, смотрел на небо.

— Погодите маленько, он вам скоро, пожалуй, и целую усадьбу пообещает, — заметил Матеуш, смеясь и пожимая плечами.

Он скоро ушел, свернув на тропинку за овинами.

Сегодня на огородах работало мало народу. Матеуш почти никого не встречал по дороге. Кое-где только издали мелькала красная юбка. Один мужик чинил крышу, другой что-то мастерил в воротах овина, выходявших в поле.

Матеуш не спешил. Он охотно останавливался потолковать со встречными о драке войта с Козлом, весело ухмыляясь, заигрывал с девушками, а баб забавлял шутками, такими солеными, что на огородах не утихал смех.

Не одна женщина, вздыхая, глядела ему вслед, потому что парень он был красивый, рослый, как дуб, и над всеми липецкими парнями король: первый после Антека силач, танцор не хуже Стаха Плошки и умница. А к тому же мастер на все руки: он и телегу сколотит, и печь поставит, и хату построит. И на флейте играл хорошо. Хотя земли у него почти не было и деньги не держались, — очень уж он был щедр, — многие матери рады были бы пропить с ним хоть целого теленка, только бы женить его на дочке, и не одна девушка позволяла ему всякие вольности, надеясь, что он после этого скорее женится на ней.

Но все их старания ни к чему не вели. Он пил с матерями, гулял с девушками, а от женитьбы увертывался, как угорь.

— Выбрать одну нелегко, все хороши, а подрастают еще лучшие... так я уж подожду! — говорил он свахам, предлагавшим ему невест.

А этой зимой он сошелся с Терезкой и жил с ней чуть не на глазах у всей деревни, не обращая внимания на сплетни и угрозы.

— Приедет Ясек, так я ее верну ему. Он еще мне бутылку водки поставит за то, что я его жену берег, — пошутил он как-то в компании приятелей вскоре после выхода из тюрьмы. Терезка ему уже наскучила, и он все больше избегал ее.

Вот и сейчас он пошел домой той дорогой, что подлиннее, мимо огородов, чтобы побалагурить с девушками. И совсем неожиданно наткнулся на Ягусю: она полола огород матери.

— Ягуся! — воскликнул он радостно.

Ягуся выпрямилась, — будто стройная мальва выросла над грядой.

— Заметил меня, наконец? Вот какой прыткий, целую неделю уже в деревне, а только теперь...

— Да ты еще краше стала! — сказал он, с восторгом любуясь ею.

Юбка у нее была подоткнута и открывала ноги до колен, из-под красного платочка, завязанного под подбородком, синели огромные лучистые глаза, белые зубы блестели меж

вишневых губ, и раздумывавшееся, как яблочко, прелестное лицо так и просило поцелуев. Гордо подбоченившись, она так пристально смотрела на Матеуша, что того пронизала дрожь. Он оглянулся по сторонам и подошел ближе.

— Целую неделю тебя ищу, высматриваю везде — и все напрасно!

— Ври больше! Каждый вечер зубоскалит под плетнями, каждый вечер другую девку обхаживает, а теперь вздумал меня морочить!

— Так-то ты меня встречаешь, Ягусь?

— А как же еще тебя встречать? Может, в ноги тебе поклониться да благодарить за то, что вспомнил про меня?

— Не так ты меня в прошлом году встречала!

— Мало ли что было — да прошло! — Она отвернулась, пряча лицо, а Матеуш вдруг шагнул к ней и жадно обнял.

Она сердито вырвалась.

— Не тронь! Терезка мне за тебя глаза выцарапает!

— Ягусь! — стоном вырвалось у Матеуша.

— Прибереги нежности для своей солдатки! Ступай к ней, натешь ее, пока муж не вернулся. Она тебя откармливала в остроге, издержалась на тебя, так отработывай теперь!

Она хлестала его этими словами, как кнутом, и столько в них было презрения, что у Матеуша язык отнялся.

Он от стыда покраснел, как рак, съежился и торопливо ушел.

Ягна сказала то, что думала и что мысленно твердила Матеушу всю неделю, но сейчас же пожалела об этом: не ожидала она, что он рассердится и уйдет.

"Глупый! Ведь я это только так сказала, без всякой злобы! — думала она, огорченно глядя ему вслед. — И чего он так рассердился!"

— Матеуш!

Но он не слышал, он бежал через сад, как будто за ним гнались.

— Злая оса! Стерва! — бормотал он и бежал прямо домой. Гнев его постепенно сменялся удивлением. Ведь Ягна всегда была такая овечка, рта раскрыть не смела! А сейчас прогнала его, как собаку! Стыд жег его, он осмотрелся: не слышал ли кто, как она его честила?

"Терезкой попрекает, глупая! Что мне эта солдатка? Забава и только! А как она глазами сверкнула! Как подбоченилась красиво! Каким жаром веет от нее! О Господи, от такой и в морду получить не стыдно, только бы добраться до меду..."

Разомлевший от этих мыслей Матеуш невольно замедлил шаги, подходя к дому. "Сердится за то, что я ее позабыл... Правда, я виноват... И за Терезку... — он поморщился, словно уксусу хлебнул. — Надоела эта плакса, опротивело постоянное нытье! Не венчался я с ней, так и не обязан век за нее держаться, как за коровий хвост! Ведь у нее муж есть! Дождусь еще, что ксендз начнет срамить с амвона! С такой и сам раскиснешь! Черт бы побрал этих баб!"

Дома он накричал на Настку за то, что обед еще не готов, и зашел к Терезке. Она в саду доила корову и, услышав его шаги, подняла на него глаза, печальные, еще влажные от слез.

— Чего редела?

Она тихо оправдывалась, не сводя с него влюбленного взгляда.

— Ты бы лучше на вымя смотрела, — брызжешь молоком на юбку!

Он был сегодня суров, не приласкал ее, и Терезка ломала голову, гадая, что с ним. Она вся сжалась, как испуганный кролик, и скоро замолчала совсем, заметив, что каждое ее слово раздражает Матеуша.

Матеуш делал вид, что ищет чего-то в саду и у дома, а сам исподтишка посматривал на нее и все больше недоумевал:

"Да где же у меня глаза были? Этакая замухрышка, кожа да кости! Кислятина! Околдовала она меня, что ли?"

Глаза у нее, правда, были красивые, не хуже чем у Ягуси, огромные, голубые, как небо, оттененные черными бровями. Но, встречаясь с ними, Матеуш невольно отворачивался и ругался про себя:

— Ишь, тарачит zenки, как теленок! Вот назло не посмотрю на тебя, не притянешь меня, нет!

Эти пристальные взгляды его раздражали, вызывали в нем еще больший гнев. Обедали вместе, но он ни разу не заговорил с Терезкой, не посмотрел даже в ее сторону. И только все время ворчал на сестру.

— Собака не стала бы есть такой каши, прямо копченая!

— Ну что ты, Матеуш! Чутьочку только подгорела!

— Ты со мной не спорь! Мухами ее приправила, их тут больше, чем сала!

— Уж и мухи ему мешают! Привередник какой! Не отравишься!

А, когда Настка подала капусту, он стал жаловаться, что сало тухлое.

— Колесной мазью заправить — и то, я думаю, хуже не будет!

— Пойди полижи ось, так увидишь, а я пробовать не охотница! — отрезала Настка.

Он придирался ко всякому пустяку и продолжал злиться. Терезка все время молчала, но после обеда он принялся и за нее. Увидел, что ее корова трется об угол избы.

— Вот, обросла навозом, как корой! Не можешь ее обтирать, что ли?

— В хлеву мокро, вот она и пачкается.

— Мокро! В лесу подстилки сколько хочешь. А вы только ждете, чтобы ее кто-нибудь собрал и домой вам принес. Ведь у коровы бока преют от навоза! Столько баб в доме, а порядка ни на грош! — кричал Матеуш, а Терезка кротко молчала, не смея защищаться и только глазами моля пожалеть ее.

Тихая, уступчивая и трудолюбивая, как муравей, она даже довольна была, что Матеуш взял над ней власть и так строго распоряжается всем. А Матеуша эта покорность злила все больше и больше, сердили ее робкие и нежные взгляды, бесшумные движения, смиренный

вид, сердило, что она постоянно вертится около него. Ему хотелось крикнуть, чтобы она ушла с глаз долой.

— Эх, пропади все пропадом! — вырвалось у него, и, даже не отдохнув, он собрал свои инструменты и ушел к Клембам, где нужно было чинить избу.

У Клембов еще полдничали, сидя во дворе за мисками.

Матеуш закурил и присел на завалинке.

Разговор шел о возвращении из солдатчины Гжели Боруны.

— Так он уже отслужил срок? — равнодушно спросил Матеуш.

— А ты разве не знаешь? Едут домой вместе с Ясеком, Терезкиным мужем, и Ярчиком из Воли.

— Пишет, что к жатве приедут. Терезка бегала сегодня с письмом к органисту, чтобы прочитал ей. От него-то я и узнал...

— Ясек возвращается! Вот так новость! — невольно вырвалось у Матеуша.

Все замолчали и переглянулись, а женщины даже покраснели, с трудом сдерживая смех. Матеуш, ничего не замечая, сказал спокойно, с довольным видом:

— Это хорошо, что приедет. Может, перестанут судачить про Терезку.

Клембы так удивились, что даже перестали есть, и ложки повисли в воздухе. А он, дерзко поглядывая на всех, продолжал:

— Знаете, как ее чернят! Мне до нее дела нет, хоть она нам и родня по отцу, но на ее месте я сплетникам сумел бы рты заткнуть, попомнили бы они меня! А уж бабы хуже всего: ни одной не оставят в покое. Хоть будь она снега белее, все равно грязью обольют!

— Верно! Верно! — поддакивали ему, не поднимая глаз от мисок.

— А что, были вы уже у Боруны? — с любопытством спросил Матеуш у Клемба.

— Все собираюсь, да каждый день что-нибудь мешает.

— Он за всех страдает, а никто уже о нем и не помнит!

— А ты-то к нему заходил?

— Нельзя мне одному идти — скажут люди, что к Ягне...

— Ишь, какой осторожный, — как девка после того, как с ней беда приключилась! — заметила старая Агата, сидевшая у плетня с мисочкой на коленях.

— Надоели мне постоянные сплетни!

— И волк остепенится, когда зубов уже нет! — засмеялся Клемб.

— Или когда он берлогу себе ищет, — подсказал Матеуш.

— Эге, значит ты, того и гляди, к кому-нибудь сватов пошлешь! — шутил сын Клемба.

— А как же! Все хожу и думаю, кого посватать.

— Скорее выбирай, а меня в дружки зови, Матеуш! — воскликнула старшая дочь, Кася.

— Легко сказать — выбери, когда все девки у нас как на подбор, одна другой лучше! Магдуся — самая богатая, но у нее уже зубов нет и течет из глаз. Улися — настоящий цветочек, да вот одно бедро у нее толще другого, а приданого только бочка капусты. Франка — с приплодом. Марыся очень уж к парням добра. У Евки капитал — целых сто злотых и все медяками! Но лентяйка она, любит под периной валяться. И все хотят сытно есть, сладко пить и ничего не делать. Не девушки — клад! Да вот еще беда: у иных перины слишком для меня коротки!

Грянул такой дружный смех, что даже голуби испугались и улетели с крыши.

— Верно говорю! Я уже у многих примерял: перины мне и до колен не доходят, как же я зимой спать буду? В сапогах, что ли?

Клембова отчитала его за то, что он при девушках говорит такие непристойности.

— Да я так, в шутку только сказал...

Девушки надулись, как индюшки.

— Скажите, какой разборчивый! Всех охаял! Если в Липцах тебе невест мало, так ищи в других деревнях! — набросились они на него.

— Я ничего не говорю, и в Липцах их довольно: у нас перезрелую девку легче найти, чем злотый. Продаются по дыдеку[22] и еще впридачу с отца магарыч получишь. Только бы покупатели нашлись! Добра этого столько, что в деревне от девичьего визга деваться некуда, и как только придет суббота — в каждой избе уже чуть свет моются дочиста, ленты в косы вплетают и по садам кур ловят, чтобы обменять их у корчмаря на водку. А с самого полудня из-за углов на все стороны поглядывают, не идут ли откуда сваты! Слышал я, как иные с крыш платками машут и верещат: "Ко мне, Мацюсь, ко мне!" А матери им помогают: "К Касе иди, Мацюсь, к Касе! Добавлю к приданому сыр и десяток яиц! К Касе!"

Матеуш изображал это так забавно, что сыновья Клембов покатывались со смеху, зато дочери подняли такой негодующий визг, что старик прикрикнул на них:

— Тише, вы! Трещат, как сороки к дождю.

Но они не сразу успокоились, и Клемб, чтобы прекратить этот шумный спор, спросил у Матеуша:

— А ты видел, как войт сегодня воевал?

— Нет. Говорят, Козлам здорово досталось.

— Да, отделал он их — дальше некуда! На них глядеть страшно! Расходился наш войт, ну-ну!

— От мирского хлеба его распирает — вот и брыкается.

— А главное — никого не боится. Кто ему отпор даст? Другой за такую штуку здорово поплатится, а у него и волос с головы не упадет. С начальством знается — вот и делает в волости, что хочет.

— Потому что вы бараны, позволяете такому над собой командовать! На всех плюет, важничает, а они у него ноги целовать готовы!

— Раз мы сами его выбрали, значит почитать должны!

— Кто его посадил, тот и согнать может.

— Тише, не кричи, Матеуш: еще, пожалуй, дойдет до него!

— Ну что ж? Донесут ему, так и будет знать! Пусть только меня затронет!

— Мацей хворает, вот и некому войта унять. А идти в войты никто не хочет, потому что едва со своими делами управляемся, — шепотом сказал Клемб, поднимаясь с лавки.

За ним встали остальные и разошлись — кто лег отдохнуть, кто вышел на улицу кости поразмять, девушки ушли к озеру мыть посуду. Матеуш принялся обтесывать подпорки для избы, а старый Клемб закурил трубку и присел на пороге.

— Кто о других только хлопочет, того нужда с ног свалит! — буркнул он, с наслаждением попыхивая трубкой.

Солнце висело уже над самой хатой, жарко стало после полудня. Неподвижно стояли сады, меж стволов играли солнечные лучи, бесшумно опадали цветы на траву, на яблонях жужжали пчелы. Сквозь ветви блестело озеро. Даже птицы примолкли, и блаженная послеполуденная тишина навевала сон.

Клемб, чтобы не задремать, побрел к яме, где хранился картофель.

Возвращаясь оттуда, он что-то очень уж усиленно попыхивал пригасшей трубкой и сплевывал, движением головы откидывая падавшие на лоб волосы.

— Ну что, смотрел? — спросила жена, высунув голову из сеней.

— Смотрел... Если только раз в день варить, картошки хватит до нового урожая.

— Да что ты! Раз в день! Все молодые, здоровые, им есть надо!

— Ну, так не дотянем до новой. Столько народу — десять ртов! Надо что-нибудь придумать.

— Уж не телушку ли продавать хочешь? Так знай, что я этого не допущу! Что хочешь делай, а скотинку не дам! Ты это помни!

Клемб замахал на нее руками, словно отгоняя надоевшую осу, и, когда она ушла, стал разжигать трубку.

— Чертова баба! Когда нужда, так и телушка твоя — не алтарь!

Солнце слепило глаза, а укрыться от него было негде — тени почти не было. Клемб только повернулся к нему спиной и курил, затягиваясь все реже и ленивее. Под стрехой ворковали голуби, а тихий шелест листьев так убаюкивал, что старик начал клевать носом.

— Томаш! Томаш!

Он открыл глаза. Подле него сидела Агата и тревожно смотрела ему в лицо.

— Трудно вам будет прожить до жатвы, — начала она тихо. — Если хотите... у меня есть кое-какие гроши, выручу я вас. Копила их на похороны, но уж раз вы в такой нужде, я их вам одолжу. А телушку жаль. При мне она прошлым летом родилась... и молочная. Может, бог даст, доживу, так вы мне из нового урожая отдадите. У своего и богатому хозяину взять не стыдно! Вот возьмите, — она совала ему в руки горсть злотых, всего рубля три.

— Не надо, поберегите для себя. Как-нибудь обойдусь.

— Берите, берите, я еще с полтинник добавлю — тихо просила Агата.

— Спасибо. Ишь, какая вы добрая!

— Берите уж для ровного счета все тридцать злотых! — Она доставала из узелка по пятаку и совала ему в руки. — Берите! — просила жалобно, сдерживая слезы: у нее душа болела, она каждый грош словно отдираала от внутренностей.

Новенькие монеты заманчиво блестели на солнце. Томаш даже глаза прищурил, с наслаждением перебирая их, и тяжело вздыхал, борясь с великим искушением. Но в конце концов отвернулся и пробормотал:

— Спрячьте их подальше, а то подглядит кто-нибудь и украдет у вас.

Агата еще упрашивала его тихонько, но больше для приличия, и, так как он не отвечал ничего, поспешно завязала в узелок свои сокровища.

— Отчего это вы не живете у нас? — спросил Клемб немного погодя.

— Как же! Работать я не могу, за гусями даже ходить нет сил... Неужели я даром ваш хлеб есть буду? Слаба я стала, со дня на день конца жду. Конечно, хотелось бы у родных помереть... Хоть бы даже в той загородке, где телка стояла... да как можно... вам такие хлопоты и беспокойство! А на похороны у меня есть целых сорок злотых! И на отпевание хватит, чтобы все как у людей... И перину я бы вам отдала. Не бойтесь, я тихонько усну, вы и не оглянетесь... Скоро уж, скоро... — робко лепетала Агата, с бьющимся сердцем ожидая, что он согласится и скажет: "Оставайтесь!"

Но Томаш молчал, словно не понимая, о чем она просит. Потягивался, зевал, потом, крадучись, пошел мимо избы, за овин — полежать на сене.

— Ну да... такой почтенный хозяин, а я нищенка... — тихо и скорбно шептала про себя Агата, заплаканными глазами глядя ему вслед.

Медленно побрела она со двора, часто кашляя и присаживаясь на берегу озера. Опять, как каждый день, пошла по деревне подыскивать себе место, где можно бы умереть, где ее похоронят "по-людски", без обмана.

Бродила в поисках таких добрых людей, мелькала между хат, как легкая осенняя паутина, которая летит, не имея, за что уцепиться.

Людей это смешило, и они для потехи убеждали бедную старуху, что она должна остаться у родственников. А Клембам, якобы по дружбе, говорили:

— Родня она вам как-никак, да и деньги на похороны у нее есть, и долго она у вас не загостится. Куда же ей больше деваться?

Все эти соображения пришли в голову и Клембовой, в то время как муж рассказывал ей о предложении Агаты. Они уже лежали в постели. Когда дети заснули, она шепотом стала уговаривать Томаша:

— Место найдется. Она в сенцах может полежать, а гусей под навес выгоним... Авось не объест нас. Долго она не протянет, на похороны у нее есть... И люди не будут нас осуждать. Да и перину не придется тогда отдавать... На дороге такую не найдешь!..

Но Клемб вместо ответа захрапел. И только утром сказал ей:

— Если бы у Агаты не было ни гроша, я бы ее принял в дом — ничего не поделаешь, дело божье! Ну, а так люди скажут, что мы на эти несколько злотых польстились... И то уж болтают, что она для нас побираться ходила... Нельзя!

Клембова во всем привыкла слушаться мужа. Она только с сожалением вздохнула, подумав о перине, и пошла торопить дочек. Им сегодня надо было сажать капусту.

День, как и вчера, был прекрасный, солнечный, — настоящий майский день. Только ветер-проказник своевольничал в полях, и колосья ходили, как волны в море. В садах шумели деревья, густо усыпая землю белыми лепестками, и благоухали пышные, тяжелые кисти сирени и черемухи. С пастбищ у леса ветер доносил песни, в кузнице звенел молот. С самого утра на дорогах былолюдно. Шли бабы на капустные поля, неся рассаду в корзинах и решетках, громко толкуя о вчерашней ярмарке и о подвигах войта.

И скоро, раньше еще, чем высохла роса, на черных капустных полях, изрезанных бороздами, в которых сверкала на солнце вода, запестрели бабьи платки.

Клембова с дочерьми тоже пошла туда, а Клемб вместе с Матеушем и парнями принялся ставить подпорки под избу.

Но когда солнце начало сильно припекать, старик, предоставив сыновьям кончать работу, позвал Бальцерека и они вдвоем пошли навестить Борыну.

— А хороша погодка, кум! — промолвил Клемб, беря понюшку табаку.

— Погода знатная. Только бы недолго такая жара простояла!

— Кругом везде дожди, так и нас они не минуют.

— Надо бы, а то на деревьях уже червячков тьма-тьмущая — видно, засуха будет.

— Да, и яровые запоздали, как бы не спалило!

— Авось Господь не допустит... Ну, как на ярмарке, кум? Узнал что-нибудь насчет лошади?

— Где там!.. Дал я уряднику три рубля, обещал поискать.

— Ни дня нельзя спокойным быть! Живешь постоянно под страхом, как заяц, — и никто не поможет!

— А войт у нас... только для украшения, — осторожно, понизив голос, сказал Бальцерек.

— Надо будет о новом подумать, — отозвался Клемб.

Бальцерек посмотрел на него, но тот запальчиво продолжал:

— Деревню срамит! Слыхал ты про вчерашнее?

— Ну, что подрался — не беда, это со всяким бывает, дело обыкновенное. Я о другом думаю: как бы нам его хозяйничанье не обошлось дорого!

— Так разве он сам деньгами распоряжается? Есть кассир, и писарь, и управа...

— Да, да, собаки мясо стерегут! Много их, сторожей-то, а потом — плати мужик, не устерегли, мол!

— Так-то оно так... А ты что-нибудь узнал?

Бальцерек только сплюнул и рукой махнул: не хотел говорить. Человек он был угрюмый, замкнутый, да и женой своей забитый, поэтому держал язык за зубами.

Они дошли до дома Борыны. На крыльце Юзька чистила картофель.

— Входите, отец там один лежит. Гануся в поле, капусту сажает, а Ягна у матери работает.

Комната была пуста, в открытое окно заглядывали кусты сирени, и солнечные лучи сеялись сквозь листву.

Мацей сидел на кровати. Он сильно исхудал, желтое лицо обросло седой щетиной, голова еще была обвязана, синие губы все время шевелились.

Они поздоровались, но он не ответил, даже не повернул головы.

— Что, не узнали нас? — сказал Клемб, беря его за руку.

А он, казалось, их не видел и прислушивался к щебетанью ласточек, лепивших гнезда под карнизом, или, может быть, к шелесту ветвей, которые терлись о стены и лезли в окна.

— Мацей! — опять произнес Клемб и осторожно потряс его за плечи. — Слышите? Это я, Клемб, а это Бальцерек, кум ваш. Узнаете?

Они ждали, глядя ему в глаза.

— Один я здесь, люди! Ко мне! Бей их, сукиных детей, бей! — крикнул вдруг Мацей страшным голосом, поднял руки, словно защищаясь, и упал навзничь.

На крик прибежала Юзя и положила ему на голову мокрую тряпку, но он лежал уже спокойно, только в широко открытых глазах застыло выражение смертельного страха.

Гости скоро ушли, сильно расстроенные.

— Мертвец это лежит, а не живой человек! — сказал Клемб, оглядываясь на дом.

Юзя снова принялась чистить на крыльце картошку, дети играли у завалинки, а по саду расхаживал аист Витека. Ветер заслонял ветвями открытое окно в комнате Борыны.

Некоторое время Клемб и Бальцерек молчали, как люди, вышедшие только что из могильного склепа.

— Каждого это ждет, каждого! — дрожащим голосом шепнул Клемб.

— Да-а... воля божья, ничего не поделаешь. Но он мог бы еще пожить, если бы не этот лес...

— Правда, пропал человек, а то, за что он дрался, другим достанется.

— Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать... Мало ли он потрудился на своем веку...

— И мы с тобой, может, скоро за ним пойдём.

Они в суровом молчании смотрели на зеленеющие поля, где колышутся хлеба, на лес, видный как на ладони, на всю эту светлую картину весны.

— Такова уж судьба человеческая, ее не переменишь! — И с этими словами они разошлись.

В этот день и в следующие навещали больного. Мацея и другие соседи, но он никого не узнавал, и в конце концов к нему перестали ходить.

— Теперь уж только молиться надо, чтобы Господь его поскорее прибрал, — сказал ксендз. А так как у всех было достаточно забот и дел, то неудивительно, что — о Мацее скоро забыли. Если случайно кто и вспоминал, то как о покойнике. И бедняга лежал один, всеми

заброшенный, словно уже и в самом деле был мертвецом в могиле, поросшей травой. Кому было помнить о нем? Нередко он по целым дням лежал без капли воды и, вероятно, умер бы просто с голоду, если бы не доброе сердце Витека, который хватал все, что только можно было, и нес хозяину и даже часто тайком доил коров и поил его молоком.

Больной вызывал в нем беспокойные мысли, и, наконец, он как-то раз решился спросить у Петрика:

— Петрик, правда, что если без исповеди помрешь, так душа попадет в ад?

— Правда. Ксендз это постоянно говорит в костеле.

— Значит, и хозяин наш может в ад попасть? — Витек испуганно перекрестился.

— А что хозяин! Такой же человек, как другие.

— Скажешь тоже! Хозяин — такой же, как другие!

— Глуп, ты, как кочан капустный! — рассердился Петрик.

Так проходили дни в доме Борыны.

А в деревне между тем бурлило, как в котле. Причиной была драка войта с Козлом. Тот и другой теперь искали свидетелей, каждый старался перетянуть людей на свою сторону. Хотя войту такой мужик, как Козел, был не страшен, однако он не дремал и действовал вовсю. Перевес сразу оказался на его стороне, больше половины деревни высказывались за него. Все знали его, как фальшивую монету, но ведь он был войт, мог при случае оказать услугу, мог и насолить каждому. И, действуя уговорами, обещаниями и водкой, он сумел запастись нужными свидетелями. Козел лежал тяжело больной, к нему даже приводили ксендза. О болезни этой ходили разные толки, потихоньку говорили, что он только прикидывается больным, чтобы войту туго пришлось на суде. Одному Богу известно, так ли это было, или нет. Во всяком случае жена Козла с утра до вечера бегала по соседям, жалуясь и кляня войта. Она говорила, что им пришлось продать свинью с поросятами, чтобы были деньги на лечение, и, останавливаясь нарочно перед избой войта, орала, что Бартек помирает.

На ее стороне были сердобольные женщины и вся беднота, да еще Кобус, один из небогатых хозяев, остальные и слушать ее не хотели, ввали прямо в глаза, будто ничего не видели, многие советовали ей не задевать войта, потому что ничего она не добьется.

Так как один из сторонников Козла, Кобус, был человек беспокойный и горячий и, чуть что, лез с кулаками, а бабы давали волю языку, то в деревне пошли ссоры, перебранки. Но разве могла беднота воевать с войтом и хозяевами?

Не прошло и недели, а уж всем так эта история надоела, что и слушать Магду больше не хотели. Но вдруг у Козла нашлись новые защитники, и опять заварилась каша!

Плошка сговорился с мельником, и неожиданно оба встали на сторону Козла.

Конечно, о нем они думали не больше, чем о прошлогоднем снеге, — у них были свои цели и расчеты.

Плошка был мужик честолюбивый, скрытный, гордый своим умом и богатством, а о мельнике все знали, что он обдирала, скряга, за грош дал бы себя повесить.

И вот между обеими сторонами началась борьба, тайная и упорная. Они притворялись друзьями, встречались, как прежде, и даже нередко шли вместе, обнявшись, в корчму.

Кто поумнее, сразу смекнул, что не за справедливость стоят Плошка и мельник, не о Козле хлопочут, а о чем-то ином — может быть, о должности войта.

— Один поживился, теперь другие поживиться хотят! — говорили старики, качая головами.

Так шли дни за днями, и раздоры в Липцах все росли.

А тут вдруг разнеслась по избам весть:

— В корчме остановились немцы!

— Должно быть, на Подлесье едут, — догадывался один.

— Ну и пусть себе едут с богом! Вам-то что? — отзывался другой.

Но какое-то тревожное любопытство овладело людьми. Сообщали эту новость друг другу, перекрикиваясь через улицу, стояли у плетней, обсуждая ее. А некоторые отправились в корчму на разведки.

В самом деле, перед корчмой стояло пять фур, все на железных осях, выкрашенные желтой и голубой краской, с полотняными навесами, из-под которых выглядывали женщины и виднелась всякая хозяйственная утварь. А в корчме у стойки пили человек десять немцев.

Здоровенные были, рослые, бородатые, в длинных синих сюртуках, с серебряными цепочками по жилету, а рожи так и лоснились от хорошей еды. Они о чем-то говорили с евреем на своем языке.

Мужики вошли гурьбой, остановились рядом, потребовали водки, а тем временем глазели на немцев и внимательно слушали. Но трудно было понять хотя бы одно слово. Наконец, Матеуш, который и с евреями умел болтать на их языке, так бойко заговорил с немцами, что даже Янкель обернулся и посмотрел на него с удивлением. Но немцы только переглядывались и ничего не отвечали. Потом и Гжеля, брат войта, сказал им какое-то немецкое слово. А они повернулись спиной к мужикам и захрюкали что-то по-своему, как свиньи над корытом.

— Дать бы им по рылам! — сказал возмущенный Матеуш.

— Пощупать палкой бока, так живо бы заговорили!

Немцы, словно почуяв недоброе, взяли бочонок пива и быстро убрались из корчмы.

Когда они уехали, Янкель рассказал парням, что немцы покупают у пана Подлесье и едут туда размерять землю под колонию и что на хуторе поселится пятнадцать семейств.

— Мы тут задыхаемся, повернуться негде на наших наделах, а немцы рассядутся на тридцати моргах каждый!

— Так ты заплати дороже, да и перехвати у них хутор! Шевели мозгами, коли умником себя считаешь! — прикрикнул на Гжелю Стах Плошка.

— Скверное дело! — Матеуш стукнул кулаком по стойке. — Когда они засядут на Подлесье, солоно нам придется в Липцах! — уверял он, как человек бывалый и хорошо знающий немцев.

Ему не очень-то верили, тем не менее деревня всполошилась. Все судили да рядили, чем такое соседство может повредить Липцам.

А тут пастухи и всякий прохожий люд каждый день рассказывали, что на Подлесье уже

обмеряют землю, свозят камень и роют колодцы.

Многие из любопытства ходили за мельницу, к Воле, и собственными глазами убеждались, что это правда.

Но все еще не удавалось узнать, как обстоит дело с покупкой Подлесья. Приставали к кузнецу, который успел снюхаться с немцами и подковывал им лошадей. Но кузнец вилял и не говорил ничего определенного.

Наконец, брат войта, Гжеля, отправился на разведки и, вернувшись, объяснил все толком.

Дело было так. Помещик задолжал одному немцу пятнадцать тысяч рублей, а вернуть не мог. Немец хотел за долг взять Подлесье и разницу доплатить наличными деньгами. Помещик якобы дал согласие, но так как немец предлагал только по шестидесяти рублей за морг, то он искал других покупателей и оттягивал сделку, как только мог.

— Но, видно, придется ему немцам продать! В усадьбе полно евреев, которым он задолжал, каждый своего требует! Говорил мне лесничий, что уже и коровы описаны за неуплату податей. Откуда же ему взять, когда у него весь хлеб на корню продан? Лес рубить не позволят, пока он с нами судится. Никак ему не обернуться, продаст Подлесье хотя бы за бесценок! — утверждал Гжеля.

— За такую землю и по сто рублей морг недорого!

— Что ж, покупай! Он продаст и еще ручку у тебя поцелует.

— Да ведь дорога и копейка, когда ее нет!

— Немцы поживятся, а мужик только облизывайся!

Так говорили липецкие, горько вздыхая. Досада их разбирала. Жаль было упускать такую землю — и плодородная, и близко, рукой подать. Каждому пригодилось бы несколько моргов! Тесно им было на своих наделах, трудились на них, как муравьи, а едва перебивались от жатвы до жатвы. Такой кусище отличной земли пришелся бы очень кстати — можно было бы отделить сыновей и зятьев. На Подлесье выросла бы новая деревня, там и луга хорошие, и вода рядом... Ну, да ничего не выйдет. Немцам земля достанется, заживут они на ней господами, а ты, мужик, околевай!

— И куда мы их всех денем? — вздыхали старики, глядя на молодежь, гулявшую вечерами по улицам.

А было ее много, так много, что уж и в избах места не хватало. Но как тут земли прикупишь, когда и на жизнь едва хватает?

Сильно заботило это мужиков, они даже к ксендзу ходили за советом. Но и он ничего не мог придумать: из пустого не нальешь!

— Да, без денег далеко не уедешь! Бедняку всегда ветер в лицо!

Тужили, роптали, а делу этим ничуть не помогли.

В довершение всего наступила сильная жара. Был только конец мая, а жарко, как в июле. Дни вставали безветренные и душные, солнце с самого утра пекло так, что на высоких местах и песках яровые уже пожелтели и привяли, на паровых полях трава выгорела дотла, ручьи пересыхали, а картофель, который сначала всходил хорошо, теперь едва покрывал землю жалкими побегам. Только озимь не особенно пострадала, — колосистая, высокая, она еще хорошо поднималась, так что даже заслоняла хаты, и только крыши виднелись над лесом

колосьев.

Ночи тоже были душные. Все ночевали в саду, потому что в комнатах дышать было нечем.

Эта жара, заботы, и огорчения, и тайная борьба Плошки с войтом, и трудная, как никогда, весна — все вместе было причиной того, что в Липцах люди стали как-то удивительно сварливы и беспокойны.

Ходили раздраженные, готовые каждую минуту хлестнуть кого-нибудь резким словом, а то и подраться. Всякий рад был поддеть другого, и деревня стала адом. Каждый день уже с раннего утра от ссор и брани гул стоял: то Кобус с женой подрался, и пришлось ксендзу их мирить и стыдить, то Бальцеркова сцепилась с Гульбасом из-за поросенка, подрывшего морковь, то Плошкова грызлась с солтысом из-за подменных гусенят. Предлогом для ссор служили дети, потравы, какие-нибудь соседские дрязги. Придирались ко всякому пустяку, только бы покричать да поругаться. Словно эпидемия охватила деревню, — эпидемия ссор, драк и тяжб.

Амброжий в разговорах с чужими шутил:

— Неплохое времечко послал мне Господь! Никто не помирает, никто не родится, не женится, а меня каждый день кто-нибудь водочкой ублажает и в свидетели зовет. Если бы они так еще годик-другой ссорились, совсем бы я спился.

Да, неладно было в Липцах. А всего хуже, пожалуй, было в избе Доминиковой.

Шимек вместе с другими вернулся из тюрьмы, Енджик поправился, нужда Пачесей не донимала, как других, и все, казалось, должно было бы идти по-прежнему. Но парни перестали слушаться. Стали дерзить матери, спорить с нею, на каждое слово огрызались, не давали себя бить и никакой домашней бабьей работы делать не хотели.

— Работницу наймите или сами все делайте! — сказали они ей решительно.

У Доминиковой были железные руки и крутой, непреклонный нрав. Еще бы! Столько лет она всем правила, столько лет никто не смел противиться ее воле! А теперь кто на нее восставал? Кто осмеливался перечить ей? Собственные дети!

— Иисусе! — кричала она в исступлении, то и дело хватая палку и бросаясь на сыновей. Она хотела их укротить, заставить слушаться. Но они заартачились не меньше, чем она, встали на дыбы. И чуть не каждый день в доме поднимался такой крик, что сбегались соседи.

Подученный Доминиковой ксендз вызвал Шимека и Енджика к себе и уговаривал покориться матери и жить с нею в мире и согласии. Парни терпеливо его выслушали, смиренно поцеловали руку и в ноги поклонились, как полагается, но вели себя по-прежнему.

— Мы не дети, знаем, что нам делать. Пусть мать уступит! — оправдывались они перед людьми. — Ведь над нами вся деревня смеется!

Доминикова даже пожелтела от злости и досады. Вместо того чтобы сидеть целый день в костеле или в гостях у кумушек, она должна была теперь делать всю домашнюю работу. Она то и дело звала Ягусю помогать. Но и дочь доставляла ей немало стыда и огорчений. Доминикова была на стороне войта и даже согласилась выступить свидетельницей против Козла, — она видела, как они дрались, и потом делала перевязку войту и его жене, Петр часто по вечерам заходил к ней — якобы посоветоваться о деле, но главным образом для того, чтобы вызвать потом Ягусю и уйти с ней на огороды.

В деревне от людских глаз ничего не скроешь, все хорошо знают, что у кого творится. Поведение Ягуси вызывало всеобщее возмущение, и добрые люди не раз уже

предостерегали старуху.

Но как она могла помешать этому, если Ягна, несмотря на ее упреки и мольбы, делала все точно назло! Самый тяжкий грех и позорящие ее сплетни пугали Ягусю меньше, чем необходимость сидеть одиноко в опостылевшем доме мужа. Какой-то злой вихрь подхватил ее и нес, и никто не в силах был удержать ее.

А Ганке это даже было на руку, она часто говорила другим:

— Пусть их забавляются, пока войту не запретят тратить мирские деньги. Ведь он ничего для нее не жалеет, чего только не привозит ей из города, — в золото рад бы ее одеть! Пусть себе тешатся, пока этому не придет конец. Что мне за дело до них?

Ей и в самом деле было не до них. Мало ли забот ее грызло? Она не жалела денег на адвоката, но ведь еще неизвестно было, когда будет разбираться дело Антека и что его ждет. А он, бедный, изнывал в тюрьме. Хозяйство тоже начинало приходить в упадок. Могла ли она одна за всем уследить? Петрика, должно быть, подзуживал кузнец, — парень обнаглел, делал все, что ему хотелось, и нередко, когда она уезжала в город, целый день шатался по деревне. Ганка как-то пригрозила ему, что, когда вернется Антек, он с ним расправится.

— Вернется, как же! Еще этого не бывало, чтобы разбойников выпускали! — дерзко крикнул он ей в ответ.

Ганка онемела от гнева. Хлестнуть бы по этой наглой роже, но где же ей с ним справиться? Еще изобьет ее, и кто ее защитит, кто поддержит? Нет, приходится терпеть, а то уйдет еще, и все хозяйство свалится на ее руки. Она уже и так едва управляет работой, здоровье все хуже и хуже. Ведь и железо в конце концов разъедает ржа, и камень не на век, — а что же говорить о слабой женщине!

Как-то в один из последних дней мая ксендз с органистом уехали на храмовой праздник, а Амброжий так напился с немцами, которые часто заходили в корчму, что некому было звонить к вечерне и отпереть костел. И вот прихожане пошли молиться в часовенку у ворот кладбища, в которой стояла статуя Девы Марии. Каждый год в мае девушки украшали эту статую бумажными лентами и полевыми цветами. Часовня была очень древняя, стены потрескались и осыпались, даже птицы не вили в ней гнезд, и только во время осенних непогод пастух иногда укрывался здесь от дождя. Росшие вокруг старушки липы и стройные березы, да еще покосившиеся кресты кое-как укрывали ее от зимних вьюг.

Народу набралось порядочно, наспех убрали часовенку зеленью и цветами, вымели сор, посыпали пол желтым песком, а зажженные лампы и свечи поставили у ног Девы.

Впереди, у порога, засыпанного тюльпанами и розовыми цветами шиповника, стал на колени кузнец и первый запел молитву.

Солнце давно зашло. Смеркалось, но небо на западе еще пылало, облитое золотом, исчерченное нежнозелеными полосами. В безветренной тишине косы берез тяжело спадали до земли, а колосья, казалось, заслушались звонкого лепета речки и тихого стрекотания кузнечиков.

Уже последние стада возвращались с пастбищ. От деревни, с полей, невидных в сумерках, долетали пронзительные голоса пастухов и протяжное мычание. А люди в часовне пели, глядя в ясный лик Богоматери:

Доброй ночи, благоуханная лилия.

Доброй ночи, Мария!

С кладбища повеяло запахом молодых берез, и соловьи уже начинали пробовать голоса: они тянули отдельные ноты, словно набирая сил, и, наконец, полились жемчужные трели, щелканье, нежный, манящий свист. А в поле неподалеку откликнулась скрипка пана Яцека, вторя пению так тихо и проникновенно, словно это звенели желтые колосья ржи, ударяясь друг о дружку, или золотое небо и сухая от зноя земля славили песней май.

Так пели все вместе — люди, птицы и скрипка. А когда на мгновение замирали соловьиные трели и струны скрипки словно переводили дух, слышен был монотонный и протяжный хор бесчисленных лягушек.

Долго это длилось. Кузнец, наконец, заторопился и, оборачиваясь, покрикивал на тех, кто отставал. Раз даже гаркнул на Мацюся Клемба:

— Не дери глотку, дьявол, не за коровами идешь!

Запели дружнее, и голоса взлетали вверх все разом, как стая голубей, и, кружась, медленно уносились к темнеющему небу.

Сумрак сгущался, тихая, теплая ночь уже обнимала мир, и на небе блестящей росой искрились звезды, когда люди начали расходиться из часовни.

Девушки шли, обнявшись, и пели. Ганка возвращалась одна, с ребенком на руках, глубоко задумавшись. Ее догнал кузнец и зашагал рядом. Она всю дорогу молчала. И только у самого дома, видя, что он не отстает, спросила:

— Зайдешь к нам, Михал?

— Сядем на крыльце, я тебе кое-что скажу, — промолвил он шепотом. Она похолодела, готовясь услышать о какой-нибудь новой беде.

— Ты, кажется, ездила к Антеку? — начал он.

— Ездила, да меня к нему не пустили.

— Этого-то я и боялся!

— Говори, что знаешь! — Мороз пробежал по телу Ганки.

— Что я могу знать? Только то, что у урядника выпытал.

— Что же? — Она прислонилась к столбу крыльца.

— Он говорит, что Антека до суда не выпустят.

— Почему? — с трудом выговорила Ганка, вся дрожа. — Ведь адвокат сказал, что могут выпустить.

— Ну да, чтобы он сбежал! Так просто не отпустят. Слушай, Ганка! Пришел я к тебе сегодня, как друг. Что там между нами было, дело прошлое. Когда-нибудь увидишь, что я был прав. Ты мне не верила — дело твое... Но сейчас ты меня послушай, а я, — как на исповеди, всю правду тебе скажу. С Антеком дело плохо! Его наверняка засадят надолго — может, на десять лет. Слышишь?

— Слышу, да не верю! — Ганка вдруг сразу успокоилась.

— Гром не грянет, мужик не перекрестится! А я тебе истинную правду сказал.

— Ты всегда такую правду говоришь, — пренебрежительно усмехнулась Ганка.

Кузнеца передернуло. Но он стал ее горячо уверять, что на этот раз пришел, как бескорыстный друг, помочь ей советом. Ганка слушала, блуждая глазами по двору, и уже несколько раз нетерпеливо привставала: недоенные коровы мычали в хлеву, гусей до сих пор не загнали на ночь, жеребенок бегал по двору взапуски с Лапой, а Петрик и Витек сидели в сарае и болтали.

Она не верила ни одному слову кузнеца. "Пусть себе болтает, авось проговорится, узнаю я тогда, зачем он пришел", — думала она, насторожившись.

— Что же делать? Что? — спросила она только для того, чтобы что-нибудь сказать.

— Средство есть, — ответил кузнец тихо.

Она повернулась к нему.

— Если внести залог, так его отпустят до суда, а потом он уже сам что-нибудь надумает... Хотя бы в Америку уедет... не поймают его!

— Иисусе! Мария! В Америку! — вскрикнула Ганка невольно.

— Тише! Вот Богом тебе клянусь, что так пан советовал. "Пусть удирает, говорит, не то самое меньшее — десять лет! Пропадет мужик!" Вчера еще он мне это говорил.

— Бежать из деревни... от земли... от детей... Господи!

— Ты только внеси залог, а там Антек уже сам решит.

— Откуда же мне взять? Боже мой, уехать так далеко... от всего!

— Пятьсот рублей они требуют. У тебя ведь есть те... отцовские деньги. Ты их и отдай... Сочтемся потом. Только бы его спасти.

Ганка вскочила.

— Одна у тебя песня!

— Чего мечешься, как дура? — рассердился кузнец. — Будет тут еще обижаться на каждое слово, а муж в остроге сгниет! Вот я ему расскажу, как ты стараешься его выручить!

Ганка опять села, не зная, что и думать.

А кузнец начал распространяться об Америке, о том, какая там хорошая и привольная жизнь, как все богатеют. Говорил о знакомых крестьянах, которые уехали туда и пишут письма, даже деньги присылают родным. Антек мог бы сразу уехать: есть человек, который многих уже переправил. Мало ли таких, как Антек, бежало туда! А она может уехать попозже — для отвода глаз. Вот вернется Гжеля с военной службы и выплатит им их часть наследства, а не захочет — так покупателя найти недолго.

— Посоветуйся с ксендзом. Увидишь, он тебе то же самое скажет. Тогда ты поймешь, что я прав и от чистого сердца советую, а не о своей выгоде думаю. Только смотри, никому ни слова, чтобы до властей не дошло. Если они смекнут, в чем дело, так его ни за какие тысячи не выпустят да еще в кандалы закуют! — закончил он внушительно.

— Где же мне взять залог? Такие большие деньги! — простонала Ганка.

— Знаю я одного человека в Модлице... он дал бы под хорошие проценты... Деньги найдутся... это уж мое дело, я помогу.

Он долго еще убеждал ее.

— Так ты подумай, надо решать поскорее.

Кузнец ушел бесшумно, она и не заметила, как он скрылся в темноте.

Было уже поздно, в доме все спали, только Витек сидел под стеной, словно сторожа хозяйку. В деревне тоже все улеглись, даже собаки не лаяли, и только журчала вода в озере да птицы заливались в садах. Взошла луна и серебряным серпом плыла в темной, жуткой бездне неба. Туман низко стлался по лугам, а над полями ржи желтым пологом висела цветочная пыльца. Меж деревьев ледяным блеском светилось озеро. Даже в ушах звенело от соловьиных трелей и щелканья.

Ганка, как прикованная, все сидела на том же месте, и одна мысль вертелась у нее в голове:

"Господи Иисусе, бежать из деревни, от земли, от всего!"

Ужас охватил ее и рос с каждой минутой, невыразимая печаль давила сердце.

Пролетел с унылым шумом ветер, и заколебались тени. Соловьи умолкли. На дворе завыл Лапа.

— Воет! Это он Кубину душу учуял! — прошептал Витек и испуганно перекрестился.

— Дурак! Спать ступай!

— Вы не верите вот, а он приходит, к лошадям заглядывает, корм им подсыпает... ведь уже не в первый раз!..

Ганка его не слушала. Тишина снова залегла вокруг, пели соловьи, а она сидела, как каменная, повторяя иногда с большим страхом:

— Уехать на край света! Навсегда! Иисусе милосердный! Навсегда...

## IX

Еще не совсем увяли зеленые ветки, которыми убраны были избы в Троицын день, когда в Липцах однажды утром неожиданно появился Рох.

В деревню он пошел только после обедни и долгой беседы с ксендзом. В эти дни окучивали картофель, и большинство хозяев было в поле, но, как только разнеслась весть о приезде Роха, люди выбежали на дорогу встречать его. А он шагал, как всегда, медленно, опираясь на палку, все в том же сером кафтане, с четками на шее. Ветер трепал седые волосы, худощавое лицо светилось добротой.

Откинув голову, он обводил глазами дома и сады, весело улыбался всему, здоровался с каждым отдельно, гладил по голове ребятишек, окруживших его, первый заговаривал с бабами, довольный, что все здесь по-старому.

— Я в Ченстохов ходил на богомолье, — отвечал он любопытным, которые приставали к нему с расспросами, где он так долго пропадал.

Все искренно радовались его возвращению и тут же на дороге спешили рассказать ему липецкие новости. Иные уже и совета спрашивали или, отведя его в сторону, жаловались и выкладывали перед ним все свои заботы, как припрятанные на черный день гроши.

— Замаялся я совсем, отдохну денек-другой, — говорил он, пытаюсь от них отделаться.

Все наперерыв приглашали его к себе.

— Покамест поживу у Мацея, я уже обещал Ганке. А там, если кто меня примет, у того поселюсь надолго.

И он торопливо пошел к Борынам.

Ганка тоже ему обрадовалась и стала угощать от всего сердца. Но он, как только снял с плеч котомку и отдышался, спросил о старике.

— Сходите поглядите на него, он в саду лежит, в хате жарко. А я вам тем временем молока согрею. Может, и яичницу скушаете?

Но Рох был уже в саду и тихо пробирался под ветвями к больному, который лежал в снятом с брички кузове, на перине, укрытый тулупом. В ногах у него, свернувшись клубком, приткнулся Лапа, а меж деревьев с забавной важностью расхаживал, как часовой, аист Витека.

Сад был старый, тенистый. Высокие развесистые деревья совсем заслоняли небо, и внизу на траве только кое-где золотыми пауками бегали солнечные блики.

Мацей лежал на спине. С тихим шумом качались над ним деревья, укрывая его тенью, и только когда ветер раздвигал этот тенистый полог, открывался клочок голубого неба и солнце било больному прямо в глаза.

Рох присел около него.

Шелестели листья, по временам Лапа коротко рявкал на муху, или ласточки, громко щебеча, проносились меж черных стволов и улетали в зеленевшие за садом поля.

Больной вдруг повернул голову к Роху.

— Узнаете меня, Мацей? Узнаете?

Слабая улыбка пробежала по лицу Борыны, глаза заморгали. Он пошевелил синими губами, но не мог выговорить ни слова.

— Может, с божьей помощью еще поправитесь!

Борына, должно быть, понял, — он потряс головой, с недовольным видом отвернулся и опять устремил глаза на склоненные над ним ветви и сверкавшие между ними солнечные брызги.

Рох только вздохнул, перекрестил его и ушел.

— Правда, отцу как будто лучше? — спросила у него Ганка.

Он долго не отвечал, задумавшись, потом сказал тихо и серьезно:

— Так и лампа перед тем, как потухнуть, вспыхивает ярким пламенем. Кажется мне, что Мацей доживает последние дни. Даже удивительно, что он еще жив: высох, как щепка.

— Да ведь он ничего не ест, даже молоко не всегда пьет.

— Ты должна быть готова к тому, что он каждую минуту может умереть.

— Господи, я и сама это вижу, и Амброжий вчера то же самое говорил, даже советовал не ждать и сейчас гроб заказывать.

— Да, закажи, недолго гробу стоять... Когда душе пора уйти из мира, ничем ее не удержишь, даже слезами... а если бы не это, иные веками оставались бы жить на земле, — грустно сказал Рох.

Он не спеша пил поданное ему Ганкой молоко и расспрашивал ее обо всем, что делается в деревне.

Она повторила то, что он уже слышал дорогой от других, а затем начала торопливо и подробно рассказывать о своих заботах.

— Где же это Юзька? — нетерпеливо перебил он.

— В поле, картошку окучивает вместе с Ягустинкой и коморницами. А Петрик возит для Стаха деревья из лесу.

— Так Стах избу строит?

— Да. Ведь пан Яцек дал ему десять сосен.

— В самом деле? Мне говорили, да я не верил.

— Да и трудно поверить. Никто сначала не хотел верить: мало ли что обещал! Ведь говорится, что обещание — дураку утеха. Но пан Яцек дал Стаху письмо и велел ему идти с этим письмом к нашему помещику. Веронка даже Стаха пускать не хотела. "Зачем, говорит, зря подметки рвать? Еще засмеют тебя люди, что поверил полоумному..." Но Стах уперся и пошел. И рассказывал он потом, что не пришлось ему ждать и десяти минут, как его позвали в комнаты, пан попотчевал его водкой и сказал: "Приезжай с возами, лесничий выберет тебе десять штук строевых сосен". Ну, Клемб дал ему своих лошадей, и солтыс дал, а я отпустила с ним Петрика. Пан уже ждал их на вырубке, сейчас же сам выбрал лучшие деревья, из тех, что зимой рубили для купцов. Теперь Стах возит их из лесу, — с сучьями добрых тридцать телег будет! Знатную избу Стах себе поставит! Уж как он пана Яцека благодарил и прощения просил! Ведь, по правде сказать, все его нищим считали и дурачком, потому что неизвестно, на какие деньги живет, и все бродит по полям да на скрипке под крестами играет... а иной раз такую околесицу несет, словно не в своем уме... А оказалось-то, что его сам помещик слушается! Кто бы подумал!

— Человека не по виду, а по делам судить надо.

— Столько лесу отдать! Матеуш считает, что его будет рублей на полтора — и даром, за спасибо! Слыханное ли дело!

— Говорили мне, что он за это берет себе старую избу Стаха в пожизненное владение.

— Да она гроша ломаного не стоит! Уж мы, признаться, подумывали, нет ли тут какого подвоха. Веронка даже к ксендзу ходила советоваться. Он ее дурой обозвал.

— Правильно! Дают — так бери и Бога благодари!

— Да ведь не привыкли мы даром получать. И еще от панов! Когда это кто давал мужику что-нибудь даром? Хотя бы за самым пустяковым делом придешь — сейчас в руки тебе смотрят. В волостную канцелярию без денег и не суйся, скажут — приходи завтра, а то и через неделю. Как стала я хлопотать по Антекову делу, тогда узнала, какие порядки на свете.

Немало я денег извела...

— Хорошо, что ты мне напомнила про Антека. Я был в городе.

— Видели его?

— Нет, времени не было.

— А я недавно ездила, но меня к нему не пустили. Один Бог знает, когда его увижу!

— Может быть, скорее, чем ты думаешь, — сказал Рох улыбаясь.

— Да что вы!

— Правду говорю. В главном управлении мне сказали, что Антека могут и до суда выпустить, если его возьмут на поруки или внесут в суд залог — пятьсот рублей.

— То же самое и кузнец говорил!

И Ганка слово в слово повторила Роху все, что сказал кузнец.

— Совет дельный, да Михал-то человек ненадежный, у него какие-то тут свои расчеты. Землю продавать не спеши! От нее иной уезжает на рысаках, а возвращается ползком, на четвереньках... Надо другое придумать. Может, кто-нибудь за него поручится? Поразузнай между людьми... Конечно, если бы были деньги...

— Деньги, может, и найдутся, — шепотом сказала Ганка. — У меня есть немного, только сосчитать не умею... Может, их и хватит...

— Покажи-ка, вместе сочтем.

Она ушла куда-то в глубину двора и, вернувшись через несколько минут, заперла дверь на засов и положила Роху на колени узелок с деньгами.

Были в нем бумажки и серебро, даже несколько золотых монет и шесть ниток кораллов.

— Это свекрови покойной кораллы, он их отдал Ягне, да потом, видно, отобрал! — сказала она шепотом, присев на корточки перед лавкой, на которой Рох считал деньги.

— Четыреста тридцать два рубля и пять злотых. Это от Мацея?

— Да... Он мне после праздников дал... — пробормотала Ганка, краснея и запинаясь.

— На залог не хватит. Но можно продать что-нибудь.

— Я могу продать свинью... да и телку, обойдемся без нее. Янкель уже насчет нее спрашивал... И два-три корца зерна...

— Вот видишь, так понемножку и соберешь, сколько надо. И выкупим Антека без чужой помощи. Знает кто про эти деньги?

— Мне их Мацей дал на то, чтобы Антека выручить, и приказал про это никому ни слова не говорить. Я вам первому доверилась. Если бы Михал...

— Не разболтаю, не беспокойся! Когда известят тебя, что пора, поедем вместе за Антеком. Как-нибудь все уладится, голубка! — сказал Рох, целуя ее в голову, когда она с благодарностью обняла его колени.

— Родной отец не сделал бы для нас столько! — воскликнула она со слезами.

— Вернется муж, тогда Бога благодари, а не меня. А где же Ягуся?

— Она еще затемно уехала в город с матерью и войтом. Говорят, что к нотариусу, — старая хочет всю землю дочке записать.

— Все Ягне? А парни как же?

— Да она это им назло — за то, что раздела требуют. У них там ад кромешный, дня не проходит без свар. А войт за Доминикову стоит. Он после смерти Доминика был опекуном над сиротами.

— Вот оно что! А я-то другое думал, — разное мне говорили...

— Говорили вам истинную правду. Он опекает одну только Ягну, да так, что и рассказывать стыдно. Ведь Мацей еще дышит, а она, как сука... Я не стала бы ничьих сплетен повторять, если бы сама не застала их в саду...

— Укажи мне, где можно отдохнуть, — перебил ее Рох вставая.

Она хотела постлать ему на Юзиной кровати, но он предпочел пойти в овин.

— Деньги спрячь хорошенько! — предостерег он ее уходя.

Он опять появился в избе только после полудня, пообедал и собрался идти в деревню, но Ганка робко спросила:

— Вы не поможете мне, Рох, алтарь убрать?

— Правда, завтра ведь праздник Тела Господня. А где же ты алтарь поставишь?

— Там, где каждый год, — перед крыльцом. Петрик сейчас привезет из лесу хвою, а Ягустинку с Юзей я после обеда послала собирать цветы для венков.

— Ну, а свечи и подсвечники у тебя есть?

— Амброжий обещал принести рано утром из костела.

— Ладно, я тебе помогу, только сначала схожу к пану Яцеку и еще засветло вернусь.

— Скажите там Веронке, чтобы с утра пришла помогать!

Рох кивнул головой и пошел к развалившейся избе Стаха.

Пан Яцек по своему обыкновению сидел на пороге, курил и, пощипывая бородку, смотрел на поля, провожая глазами летящих птиц.

Перед избой и под черешнями уже лежало несколько могучих сосен и груда срезанных ветвей. Вокруг них бродил старый Былица, вымерял их топором, обрубал иногда какой-нибудь сук и бормотал себе под нос:

— И ты пришла на наш двор... Ну, да... Вижу, что хороша... Спасибо! Сейчас тебя Матеуш обтешет... На брусья годишься... Сухо тебе будет, не бойся...

— Как с живым человеком говорит! — удивился Рох.

— Присаживайтесь. Это у него от радости в голове помутилось. Целые дни не отходит от

деревьев. Вот послушайте...

— И ты, бедная, настоялась в лесу, зато теперь отдохнешь. Никто уж тебя не тронет! — говорил старик, любовно поглаживая желтую облупленную кору сосны.

Потом подошел к самой толстой, сваленной на дорожке, присел на корточки перед разрезом и, с нежностью глядя на желтые, налитые смолой кольца, бормотал:

— Вот ты какая большая, да справились и с тобой, а? Увезли бы тебя в город, — а теперь останешься у своих, у хозяев, образа на тебя повесим, святой водой тебя ксендз окропит...

Пан Яцек слушал и едва заметно усмехался. Поговорив с Рохом, он взял скрипку подмышку и пошел межой к лесу. А Рох еще некоторое время сидел у Веронки и выслушивал новости.

Близился вечер, и жара спала, от лугов даже тянуло прохладой, да и с самого полудня дул ветер и молодая рожь на полях ходила волнами. Порой казалось — вот-вот это бурное море колосьев хлынет на межи и дороги и затопит их, но они только ударялись о землю желтыми гривами и подавались назад, как табун вставших на дыбы жеребцов. Ветер налетал со всех сторон и трепал их, забавляясь, и опять волновались нивы, полные желтых бугров, зеленых излучин, ржавых струй, шелеста и свиста. А над ними высоко в небе звенели жаворонки, порой пролетала стая ворон, то кружась в воздухе, то садясь отдохнуть на деревьях. Солнце, уже багровое, клонилось все ниже к западу, и по полям и садам, метавшимся под ветром, как стада на привязи, медленно разливался алый свет догорающего дня.

Был канун праздника, и люди сегодня раньше уходили с поля. Женщины на крылечках плели венки для алтарей, дети приносили охапки зелени. Перед домами Плошки и мельника навалены были молодые березки и елочки, их вкапывали в землю там, где собирались ставить алтари. Кое-где девушки уже убрали ветками избы, приводили в порядок дорогу, засыпая выбоины. У озера еще стирали несколько баб, слышался стук вальков и крики чем-то испуганных гусей.

Рох только что собрался уходить от Веронки, как на тополевой дороге в облаках пыли появился кто-то на быстро скакавшей лошади. Его задержали телеги с лесом для Стаха, и он повернул, намереваясь объехать полем.

— Эй, ты! Лошадь испортишь, куда так торопишься? — кричали ему.

Но он умудрился проскочить мимо и поскакал по деревне во весь дух, так что у лошади екала селезенка.

— Эй, Адам, постой-ка! — окликнул его Рох.

Сын Клемба остановился на минуту и закричал во весь голос:

— А вы и не знаете — в лесу лежат убитые! Ох, дайте дух перевести... Пас я коня на меже, и мы с Ендриком Гульбасовым ехали уже домой, да вдруг перед Боруновым крестом конь как шарахнет в сторону, я даже наземь слетел! Гляжу, что за дьявол коня испугал? А там в можжевельнике какие-то люди лежат... Мы их окликнули, а они молчат, лежат, как мертвые.

— Дурак, что ты людей морочишь! — закричали на него со всех сторон.

— Пойдите, сами поглядите! И Ендрик видел, только он со страху в лес ускакал, туда, где бабы хворост собирают... Мертвые лежат!

— Во имя Отца и Сына! Так поезжай скорее, скажи войту!

— Войт еще из города не вернулся, — сказал кто-то.

— Тогда солтысу надо сказать! Он возле кузницы дорогу с парнями чинит! — кричали вслед Адаму, который бешеным галопом мчался дальше.

Конечно, весть об убитых в лесу мигом облетела всю деревню, люди выбегали из хат, крича и крестясь в ужасе, и еще не зашло солнце, как полдеревни высыпало на дорогу. Кто-то известил ксендза, и он вышел из плербани, чтобы расспросить подробнее о случившемся. У костела собралась целая толпа, молодежь побежала вперед, на тополеву дорогу, а остальные с величайшим нетерпением ожидали солтыса, который поехал туда на телеге, взяв с собой Клемба и парней.

Ждали долго, солтыс вернулся только в сумерки и, к всеобщему удивлению, в бричке войта. Он был, видно, очень сердит, отчаянно ругался и стегал лошадей. Он и не подумал остановиться перед встречавшей его толпой, но кто-то схватил лошадей под уздцы, и Шимону волей-неволей пришлось остановиться.

— Бездельники эти хлопцы, сочинили басню для потехи! Никаких убитых в лесу не было, — просто кто-то там спал под кустами. Поймаю я этого Адама, так покажу ему, как людей пугать! А войта я встретил по дороге и пересел к нему в бричку... Вот и вся история! Ну, трогай, милые!

— Что же это, войт заболел, что ли? Почему лежит, как баран? — спросил кто-то, заглянув в бричку.

— Сон его сморил, и все тут! — Солтыс стегнул лошадей, и они побежали рысью.

— Ах, висельники, шельмы! Выдумать такое!

— Это Гульбасенка штуки, он на всякие проказы мастер!

— Взгреть бы их ремнем, чтобы не тревожили людей зря!

Так возмущались все, медленно расходясь по домам. У окрашенного закатом озера еще стояли небольшие группы людей, когда на дороге показались бабы-коморницы с тяжелыми вязанками хвороста на спине. Впереди шла Козлова, согнувшись чуть не пополам под своей ношей. Увидев людей, она остановилась и прислонила вязанку к дереву.

— Солтыс вас здорово одурачил! — сказала она, тяжело дыша от усталости. — Убитых, правда, в лесу не было, зато было кое-что похуже!

И, когда вокруг собралось много людей, привлеченных ее голосом, Козлова дала волю языку:

— Шли мы домой, дорогой мимо леса, к кресту, вдруг скачет к нам гульбасов парнишка и кричит в страхе: "Под можжевельником убитые лежат!" — "Убитые или нет, — думаю себе, — а поглядеть не мешает". Пошли мы туда... Уже издалека видим: и вправду лежат какие-то люди, как мертвые... только ноги торчат из кустов. Филипка меня тянет — бежим, мол, — Гжелиха уже молитву бормочет, да и у меня мороз по коже подирает. Но я перекрестилась, подхожу ближе, гляжу... а это наш пан войт лежит без кафтана, а около него Ягуся Боронова, и спят себе сном праведным! Надрызгались в городе, жарко им было, вот они и вздумали отдохнуть в холодке да побаловаться. А водкой от них так и разит! Мы их будить не стали: пусть свидетели придут, пусть вся деревня увидит, что у нас творится! И сказать стыд, как она была раздета, уж Филипка ее пожалела и платком прикрыла. Грех, да и только! До старости я дожила, а про такой срам и не слыхивала! Солтыс сейчас приехал и разбудил их. Ягна убежала в поле, а пана войта еле на бричку втащили — пьян, как свинья!

— Господи Иисусе, этого в Липцах не бывало! — ахнула одна из баб.

— Если бы еще парень с девушкой, а то хозяин, семейный человек и войт!

— Борына со смертью борется, некому воды ему подать, а эта...

— Я бы ее из деревни вон выгнала! Я бы такую стерву батогами на площади секла! — воскликнула Козлова.

— Грех сам за себя кричит, о чем тут еще толковать! — успокаивали ее другие бабы.

— А Доминикова где?

— Они ее нарочно в городе оставили, чтобы не мешала.

— Боже мой, подумать страшно, какие дела творятся на свете!

— Этакой грех, этакой соблазн — ведь стыд на всю деревню падет!

— Ягна срама не боится, завтра будет то же самое делать.

Так толковали в избах, а некоторые бабы даже плакали и ломали руки от негодования и ужаса, боясь суровой божьей кары на всю деревню. Липцы так и гудели от разговоров и причитаний.

А парни, собравшись на мосту, расспрашивали Гульбаса о подробностях и хохотали, забавляясь всей этой историей.

— Вот так петух наш войт! Ну, и хват! — смеялся Адам Вахник.

— Он еще поплатится за эти шашни: жена ему голову оторвет!

— И с полгода к себе подпускать не будет!

— Ну, после Ягуси он не очень-то будет к ней торопиться.

— Эх, черт его побери! Для Ягны каждый на все решится.

— Еще бы! Баба — как лань! Такую красавицу и среди знатных панн не сыщешь.

— Глянет на человека — так его к ней и потянет!

— Не женщина — мед! Не дивлюсь я, что Антек Борына...

— Будет вам, хлопцы! Ендрик врет одно, Козлова другое, а бабы из зависти еще прибавить рады! По правде сказать, мы не знаем, как там дело было. У нас не раз чернят и самую честную бабу, — начал Матеуш, и в голосе его слышалось глубокое огорчение. Но он не договорил, потому что к ним подошел брат войта, Гжеля.

— Что, Петр еще спит? — спрашивали у него любопытные.

— Хоть он мне брат родной, а я его больше знать не хочу! Но виновата во всем эта бесстыдница!

— Неправда! — крикнул вдруг Петрик, работник Борыны, подступая к Гжеле с кулаками. — Кто так говорит, брешет, как пес!

Всех изумило это неожиданное заступничество. А Петрик кричал, размахивая кулаками:

— Войт один виноват! Разве это она ему кораллы привозила? Она его в корчму тащила? Она его по целым ночам в саду подстерегала? Я хорошо знаю, как он ее неволил да соблазнял!

А может быть, и капель ей каких-нибудь подлил, чтобы она ему не противилась!

— Ишь, заступник нашелся! Не прыгай так, штаны свалятся!

— Вот узнает, что ты ее защищал, так жалованья тебе прибавит.

— Или старые портки Мацея подарит!

Парни покатывались со смеху.

— Ни муж, ни кто другой за нее не вступится, так я ее в обиду не дам! Не дам, и если еще услышу худое слово, кулаков не пожалею... Сукины вы сыны, сплетники! Если бы это с кем-нибудь из ваших сестер или жен приключилось, так небось языки бы проглотили!

— И ты язык придержи, батрак! Не твое это дело, смотри за конскими хвостами! — заорал на него Стах Плошка.

— И гляди, чтобы тебе самому прежде не досталось! — добавил Вахник.

— А к хозяйским сынам не суйся, лохматый! — бросил кто-то, уходя.

— Подумаешь, хозяйева! Помещики какие! Я служу да тайком не пропиваю в корчме отцовское добро, не таскаю ничего из чулана! Я вам покажу! Вы еще меня не знаете! — кричал Петрик вслед парням, которые поспешно и молча расходились, потому что им вдруг стало как-то не по себе.

Вечер уже наступил, ветреный и удивительно светлый. Закат давно догорел, но на небе еще лежали островки багряной зари, похожие на размытые муравейники, и медленно наплывали большие облака. Что-то тревожное чувствовалось в воздухе, ветер дул поверху, и только самые высокие деревья качали верхушками. С криками пролетали где-то птицы, гуси во дворах беспокойно гоготали, а собаки лаяли, как бешеные, забегая даже на поля. Такая же неясная тревога томила и людей. После ужина никто не сидел дома, не отдыхал на пороге, как обычно. Все шли к соседям и, собираясь у плетней, тихо толковали между собой.

Деревня будто вымерла, не слышно было ни смеха, ни песен, как обычно в теплые вечера. О случившемся говорили шепотом, чтобы не слышали дети и девушки, и все с одинаковым ужасом и возмущением.

На крыльце у Ганки тоже собралось несколько кумушек: прибежали выразить ей сочувствие и узнать что-нибудь новое об Ягне. Они и так и этак подъезжали к Ганке, но она только сказала грустно:

— Срам это и грех, но и несчастье большое.

— Ну еще бы! И завтра весь приход узнает.

— Будут говорить, что такие безобразия всегда только в Липцах и бывают.

— И про всех липецких баб дурная слава пойдет!

— А бабы у нас известные праведницы!.. Каждая, если бы к ней кто-нибудь так приставал, сделала бы то же, что Ягна, — насмешливо бросила Ягустинка.

— Перестань, не время сейчас шутки шутить! — сурово остановила ее Ганка и больше уже ни словом не обмолвилась.

Ее еще душил стыд, но злоба против Ягны, вспыхнувшая в ней в первые минуты, уже исчезла. Когда кумушки разошлись, она заглянула на другую половину — якобы проведать Мацея — и, увидев, что Ягна спит одетая, закрыла дверь и заботливо раздела ее.

"Упаси боже от такой доли!" — думала она с непонятной ей самой жалостью и в тот вечер еще несколько раз заглянула к Ягне.

Ягустинка, должно быть, что-то смекнула — она сказала осторожно:

— И Ягна, конечно, не без греха, но больше всего виноват войт.

— Правда. И только ему надо за все отплатить! — подтвердила Ганка так горячо, что Петрик с благодарностью взглянул на нее.

Не одна она так думала. До поздней ночи старик Плошка и Козел с женой бегали по деревне, бунтуя людей против войта. Плошка заходил в избы и начинал как бы шутя:

— Удалой у нас войт, во всем уезде другого такого молодца не найти!

Ему что-то не очень охотно подпевали, и он решил пойти в корчму. Там сидело несколько небогатых хозяев. Он угостил их водкой и, когда они уже немного захмелели, сказал:

— Войт-то наш как отличается, слышали?

— Не впервой ему! — уклончиво заметил Кобус.

— А я насчет него свою думку думаю и никому не скажу! — бурчал подвыпивший Сикора, тяжело наваливаясь грудью на прилавок.

— Ну, и держи ее зубами, никто ее у тебя не вырвет! — рассердился Плошка и уже осторожнее продолжал настраивать их против войта, распространяясь о том, какой дурной пример он подает другим, какой срам навлек на деревню и так далее.

— Я и про тебя свое думаю, да не скажу, — твердил Сикора.

— Одно средство — снять его с должности, тогда он сразу уgomонится! — говорил Плошка, поставив им новую бутылку. — Мы его войтом выбрали, мы и согнать можем. То, что он сегодня натворил, — позор для всей деревни, но за ним водятся дела и похуже. Постоянно он с начальством заодно и против нас. Затянул русскую школу в Липцах строить! Да и немцев на Подлесье посадить — это, говорят, тоже он помещику советовал. И все пьет, гуляет, — вот амбар новый себе построил, лошадь прикупил, каждое воскресенье мясо едят и чай пьют, а на чьи это деньги, а? Ясное дело, не на свои, а на мирские!

— Я так считаю, что войт — свинья, но и ты не прочь рыло свое в мирское корыто сунуть! — пьяно пробормотал Сикора.

— Ишь, нахлестался и вздор мелет!

— Я свое говорю: не выберем тебя войтом!

Мужики отодвинулись от пьяного и долго о чем-то совещались.

А на другой день в деревне еще громче заговорили о подвигах войта, потому что ксендз запретил ставить алтарь перед его избой, как это делалось в прежние годы.

Войт, конечно, тотчас об этом узнал и рано утром послал за Доминиковой, которая только около полуночи вернулась из города.

Он ужасно бесился, изругал органиста, а Амброжия даже ударил чубуком.

В день праздника погода стояла такая хорошая, как и в прежние дни, но очень уж душно было и тихо, ни малейший ветерок не освежал воздух, солнце с самого утра пекло немилосердно, и

в сухом, накаленном воздухе вяли листья, бессильно клонились колосья. Песок жег ноги, а со стен капала растопленная смола.

Господь Бог дал сегодня солнцу волю, и оно было беспощадно, но на него никто не обращал внимания: уже с раннего утра поднялась в деревне суета, беготня, собирались в костел. Девушки, которым предстояло нести образа в процессии и усыпать цветами дорогу ксендзу, бегали друг к другу примерять наряды, причесываться и болтать всякую чепуху, а старшие спешно сооружали алтари. Один поставили перед домом мельника, второй — перед племением, третий — перед избой Борыны. Здесь Ганка и все домашние уже чуть не с рассвета трудились вместе с Рохом. Они первые кончили и славно убрали свой алтарь. Все дивились и даже уверяли, что он красивее, чем у мельника.

И это была правда: перед крыльцом стояла как бы целая часовенка, сплетенная из березовых веток и всякой другой зелени, убранная кусками шерстяной ткани, такой пестрой, что даже в глазах рябило, а посредине возвышался алтарь, прикрытый тонкой белой холстиной, уставленный свечами и цветами в горшках, которые Юзья оклеила золотой бумагой. Над алтарем повесили большой образ Божьей Матери, а рядом — образа поменьше, столько, сколько поместилось. И, наконец, не зная уже, чем еще его украсить, подвесили над самым алтарем клетку с дроздом, которую принесла Настуся. Дрозд заливался вовсю, а Витек тихонько ему подсвистывал.

Двор от крыльца до ворот был усажен елочками и березками и густо посыпан желтым песком.

Юзья принесла охапки васильков, лилового шпорника, полевого горошка и украшала ими стены часовенки, образа, подсвечники — все, что только можно было, даже землю перед алтарем усыпана цветами. Не забыла она и хату: стены и окна исчезали под массой зелени, а соломенная крыша была утыкана высокими стеблями камыша.

Работали все, кроме Ягуси, которая ускользнула из дому рано утром и до сих пор не возвращалась.

Хоть они и управились раньше других, но солнце стояло уже высоко над деревней, когда они кончили. Все больше и больше бричек громыхало на дороге — это ехали в костел мужики из соседних деревень.

Все стали поспешно одеваться.

Витека оставили сторожить двор, так как ребята сбегались толпой смотреть алтарь и подсвистывать дрозду. Витек пробовал отгонять их хлыстом, а когда это не помогало, выпускал на них своего аиста. Аист, видимо приученный, подкрадывался к ним, норовил клюнуть острым клювом в босые ноги, и ребятишки с криком разбегались.

Зазвонил маленький колокол в костеле, и все вышли со двора. Юзья бежала впереди в белом платье и сапожках, зашнурованных красными тесемками, с молитвенником в руке.

— Витек, ну, как я тебе нравлюсь? — спросила она, поворачиваясь перед ним на каблуках.

— Славно! Точь-в-точь беленький гусенок! — ответил он с восхищением.

— Понимаешь ты столько же, сколько твой аист! Ганка говорит, что я сегодня буду наряднее всех девушек в деревне! — тараторила Юзья, обтягивая чересчур короткое платье.

— Эге, а колени у тебе краснеют сквозь юбку как гусиные лапы!

— Дурак! Никто тебя не просит приглядываться. Смотри, аиста своего спрячь! Ксендз придет с процессией, еще, пожалуй, увидит его и узнает! — предостерегала Юзья, уходя.

— А ведь правда, красивая она и нарядная такая! Да и хозяйка тоже сегодня расфуфырилась, чисто индюк! — пробормотал Витек про себя, глядя им вслед. Но, тут же вспомнив предостережение Юзи, схватил аиста и упрятал его в пустую картофельную яму. Он оставил Лапу стеречь алтарь от детей, а сам побежал к Мацею, который, как всегда, лежал в саду.

В деревне было уже совсем тихо, все проехали и прошли, опустели улицы, и только во дворах кое-где играли дети, грелись на солнце собаки. Над озером в жарком воздухе носились ласточки. Когда обедня отошла, ударили во все колокола так громко, что голуби вспорхнули с крыш. Народ повалил из костела. Над головами качались склоненные хоругви, пылали свечи, образа несли девушки, все в белом, а последним выплыл из дверей пурпурный балдахин, под ним ксендз с золотой дароносицей в руках медленно сходил по ступеням. Когда толпа кое-как выравнялась в процессию, оставив длинный проход, окаймленный пылающими свечами, ксендз затянул:

— У врат твоих стою, Господи!..

И весь народ ответил ему мощным хором, достигающим неба:

— И жду милости твоей...

С пением двинулись вперед, теснясь и толкаясь в воротах кладбища, так как людей съехалось видимо-невидимо, весь приход был тут и люди из всех окрестных имений. Ксендза вели под руки помещики, а балдахин над ним, к досаде липецких, несли чужие мужики, из других деревень. С тенистого кладбища шествие вышло на площадь, залитую ослепительным солнцем и, казалось, раскаленную добела. Солнце било в глаза, жгло огнем, и люди шли медленно под звон колоколов и пение, в ароматном дыму кадил и облаках пыли. Горели свечи, сыпались цветы под ноги ксендзу.

Дошли до первого алтаря — во дворе Борыны. На улице сразу началась такая давка, что трещали плетни, от напора толпы тряслись деревья, и немало людей сорвалось в озеро с высокого берега. Густая поющая толпа напоминала реку, сверкающую радужными переливами, а посреди этой реки, как лодка на волнах, плыл пурпурный балдахин, качались хоругви, иконы и статуи святых, убранные тюлем и цветами.

У алтаря Борын ксендз прочитал первое евангелие и, немного передохнув, повел всех к алтарю мельника. Стало еще жарче, люди изнемогали, пыль забиралась в горло. По бледному небу потянулись длинные беловатые полосы, а накаленный воздух мерцал и переливался. Собиралась гроза.

Уже добрый час продолжалось шествие, все истомились, ксендз был красен, как свекла, то и дело утирал пот, но обходил алтари медленно, перед каждым читал евангелие и пел все новые и новые молитвы.

Когда утомленный хор затихал и слышен был только топот ног, в наступившей тишине звенели песни жаворонков в полях, где-то неумоимо куковала кукушка. А колокола все гудели, медленно, протяжно и громко. И, хотя мужики не жалели глоток, женщины заливались высокими голосами и даже дети пели тонко и пронзительно, хотя без усталости звенели колокольчики и от тяжелого топота гудела сухая земля, — звон колоколов все покрывал. Они пели чистыми, глубокими голосами, полными радости, так громко, словно кто бил молотом по солнцу, и весь мир, казалось, колебался и звенел.

Когда обошли все алтари, пришлось еще отстоять длинную службу в костеле. И только что люди стали выходить на площадь, чтобы немного поостыть в тени, оделить милостыней нищих да поболтать со знакомыми, как вдруг потемнело, прокатился отдаленный гром, сухой горячий ветер закачал деревья и взвихрил на дорогах пыль.

Мужики из ближних деревень спешно стали разъезжаться.

Сначала пошел только мелкий дождик, теплый и редкий, духота еще усилилась, солнце палило немилосердно, лягушки квакали сонно, все тише и тише. Но вот потемнело снова, загредел гром, и на густосинем небе замелькали короткие бледные молнии. Гроза шла с восточной стороны. Оттуда дугой стягивались тяжелые синие тучи, несущие дождь или град, а порывистый шумный ветер, опережая их, свистел в вершинах деревьев, терзал колосья. Птицы с криком летели под навесы, даже собаки прятались в избах, а скот бежал с поля. По дорогам клубилась пыль, и раскаты грома слышались все ближе.

Не прошло и нескольких минут, как солнце стало тонуть в грязнобурой мгле и светило, как сквозь закопченное стекло. Гремело уже над деревней, налетел такой вихрь, что чуть не вырывал с корнями деревья. Он ломал ветви, срывал солому с крыш и уносил ее. Гром ударил где-то над лесом, и небо вмиг потемнело, солнце померкло, от громовых раскатов, следовавших один за другим, дрожала земля, дрожали избы, и ослепляющие молнии рассекали покрытое тучами небо. Все живое в ужасе попряталось.

К счастью, гроза прошла стороной. Гром гремел уже где-то вдалеке, вихрь пронесся, не наделав бед, небо светлело. Но перед вечерней хлынул проливной дождь, сразу уложивший хлеба. Река вздулась, а из всех оврагов, канав и борозд неслись пенящиеся потоки.

Ливень утих только к самому вечеру, и на западе из-за туч огненным шаром выкатилось солнце.

Липцы снова ожили, во всех избах распахнулись двери, люди выглядывали на свет божий, с наслаждением вдыхая очищенный грозой воздух. После дождя все благоухало, особенно молодые березки и мята в садах. Мокрая земля словно плавилась на солнце, сверкали лужи на улицах, блестели листья и трава, и потоки воды с веселым журчаньем стекали в озеро.

Легкий ветерок перебирал примятые дождем колосья, и чудесная живительная свежесть шла от лесов и полей. Уже дети с радостными криками бродили по канавам и лужам, птицы щебетали в чаще ветвей, цесарки ксендза, сидя на плетне, драли горло, и все дворы, улицы, хаты, тропки зашумели голосами, а где-то у мельницы женский голос пел:

Дождик льет, и мокну, мокну я.

Заночую я, Марыся, у тебя!

А со стороны поля, вместе с мычанием коров летела визгливая песня пастушек:

Говорил, что замуж ты меня возьмешь,

Когда рожь да ярку соберешь.

А уже скосил ты и овес,

Значит, брешешь ты, как пес!

Ой дана, да дана!

Начали разъезжаться крестьяне, переживавшие грозу, но многие из соседних деревень остались погостить в Липцах — это были те славные люди, что в свое время приезжали помочь бабам на полевых работах. Теперь липецкие богачи щедро угощали их, не жалея ни еды, ни водки, а хозяева победнее повели своих благодетелей в корчму, потому что на людях и пить веселее.

Парни привели сюда музыкантов, и с самой вечерни слышны были в корчме звуки скрипки, гуденье басов и бряцанье бубна.

Много народу сошлось сегодня в корчму повеселиться: ведь с самой Масленицы не было ни одной вечеринки! В корчме не хватило места для всех, и часть посетителей разместилась на бревнах, лежавших перед домом. Правда, погода была прекрасная, на небе сиял золотой разлив вечерней зари, и люди охотно оставались на воздухе и часто покрикивали на Янкеля, чтобы он принес им водки.

Корчму переполняла почти одна только молодежь, и она с места в карьер пустилась плясать оберек,[23] да так, что стонали стены и половицы. Ко всеобщему удивлению, в первой паре танцевали Шимек Пачесь с Настусей. Тщетно младший брат, Енджик, тихо уговаривал его и пытался увести — Шимек так разошелся, что и слушать ничего не хотел, все время пил, заставлял пить Настку, угощал приятелей. Он бросал пятаки музыкантам и, обняв Настку за талию, орал изо всей мочи:

— Жарьте, ребята, вовсю, лихо, по-нашему!

И носился по корчме, как взбесившийся жеребец, удальски покрикивая и притопывая каблуками.

— Портки, чертов сын, сейчас потеряет! — бормотал Амброжий, с завистью поглядывая на выпивавших соседей. — Ишь, ножищами, как цепом, молотит, того и гляди отвалятся! — добавил он громче, придвигаясь к выпивавшим.

— Глядите, чтобы сами чего не потеряли! — буркнул Матеуш, стоявший в компании приятелей.

— Давай выпьем с тобой мировую! — сказал, посмеиваясь, Амброжий.

— На тебе, смотри только рюмку не проглоти, пьяница! — Матеуш протянул ему полную рюмку и отвернулся, так как в эту минуту Гжеля начал что-то тихо говорить товарищам. Его слушали внимательно, забыв о танцах и стоявшей перед ними водке. Было их шестеро, все самые видные в деревне парни. Они о чем-то горячо толковали и, так как вокруг становилось все шумнее и теснее, скоро перешли в комнату корчмаря (за перегородкой сидели старики со своими гостями).

Комнатушка у Янкеля была тесная, заставлена кроватями, на которых спали дети. Парни с трудом разместились за столом. Одна сальная свечка коптила в медном подсвечнике. Гжеля пустил бутылку в круговую, чокнулись раз-другой, но все еще никто не заговаривал о том, для чего они собрались. Наконец, Матеуш сказал с насмешкой:

— Начинай же, Гжеля, чего вы сидите, как вороны под дождем?

Но Гжеля не успел начать — вошел кузнец и, поздоровавшись, искал, где бы присесть.

— Ишь, смола!.. Где и не сеяли, взойдет! — выбранился Матеуш, но тотчас добавил, сдерживая раздражение: — За твое здоровье, Михал.

Кузнец выпил и сказал с притворной шутливостью:

— На чужие секреты я не зарюсь. А здесь я, видно, лишний.

— Правильно! Тебе с немцами весело по пятницам кофе пить, а сегодня праздник — так будет еще веселее!

— Чепуху городишь, Плошка, выпил ты лишнее, что ли? — огрызнулся кузнец.

— Говорю то, что все знают. Каждый день ты с ними якшаешься.

— А я не привередлив — кто мне работу дает, на того и работаю.

— Работу! Нет, брат, ты с ними другие делишки обделываешь! — сказал Вахник, понизив голос.

— Так же, как с помещиком, когда ты ему помогал наш лес продавать! — грозно добавил Прычек.

— Да я, кажись, на суд попал? И откуда это вы все знаете?

— Оставьте его, хлопцы, он без нас свое дело делает, так и мы без него обойдемся, — сказал Гжеля, пристально глядя в бегающие глаза кузнеца.

— Если бы вас стражник увидел в окно, он подумал бы, что вы тут сговариваетесь против кого-то! — Кузнец говорил шутливым тоном, но губы у него тряслись от злости.

— Может, и сговариваемся, да не против тебя, Михал, — невелика ты птица!

Кузнец нахлобучил шапку и вышел, хлопнув дверью.

— Пронюхал что-то и прибежал на разведку!

— Теперь, пожалуй, будет подслушивать под окном.

— Ничего, он такое про себя услышит, что пропадет охота подслушивать.

— Тише, хлопцы! — начал Гжеля серьезно. — Я уже вам говорил, что Подлесье еще немцам не продано, но каждый день они с паном могут купчую подписать. Я слышал даже, что они в будущий четверг за этим в город поедут.

— Знаем! Надо что-нибудь сделать! — нетерпеливо перебил Матеуш.

— Посоветуй, Гжеля. Ты грамотный, газеты читаешь, тебе легче придумать.

— Ведь если немцы купят хутор и станут нам соседями, будет так, как в Горках: задохнемся мы в Липцах, с сумой всем идти придется или в Америку...

— Отцы наши только затылки чешут да вздыхают! Они ничего не придумают.

— А хозяйства нам не уступают!

— Велика важность — немцы! Вот жили они в Лишках, и наши у них все откупили. А в Горках мужики сами виноваты — пили, сутяжничали постоянно, вот и досудились до сумы.

— А мы Подлесье можем у них откупить да прогнать их! — воскликнул Ендрек Борына, двоюродный брат Антека.

— Легко сказать! Нам и сейчас-то купить не на что, хотя помещик просит только по шестьдесят рублей за морг, а потом придется, пожалуй, сотни полторы отдать — где их

возьмешь?

— Если бы старики выделили каждому из нас его часть, нам легче было бы обернуться.

— Ясно! Тогда каждый знал бы, что делать! — закричали все хором.

— Дурачье вы, дурачье! У отцов сейчас вся земля, и то они едва перебиваются, а вы думаете из своих наделов деньги выколачивать! — остановил их Гжеля. Они замолчали. Гжеля был прав, и его слова сразу всех отрезвили.

— Не в том беда, что отцы не хотят вас выделить, — продолжал он, — а в том, что слишком мало земли у нас в Липцах, а людей все прибавляется. Что при дедах наших хватало на троих, теперь приходится делить на десятерых.

— Истинная правда! Правильно говоришь! — шептали сконфуженные парни.

— Так купим Подлесье и поделим! — выпалил кто-то.

— Купил бы деревеньку, кабы мне денег маленько! — нетерпеливо проворчал Матеуш.

— Погодите, может, и найдется средство...

Матеуш вскочил, стукнул кулаком по столу и закричал:

— Ну и дожидайтесь и делайте, что хотите, а с меня довольно! Вот рассержусь и брошу совсем деревню, уйду в город, там люди лучше живут.

— Дело твое. Но другие-то здесь останутся, значит должны найти какой-нибудь выход.

— Сил моих больше нет, зло берет смотреть: теснота — и как только стены всех вмещают и не треснут! — нужда из всех углов прет, а тут рядом земля гуляет и просится в руки... Близок локоть, да не укусишь, хоть с голоду подыхай! А купить ее не на что, и занять денег негде. Черт бы побрал такие порядки!

Гжеля стал рассказывать, как живут крестьяне в других странах. Парни слушали, горестно вздыхали, а Матеуш перебил его, сказав:

— Что нам с того, что другие хорошо живут! Покажи голодному полную миску да убери ее — наестся он вприглядку? В других краях о народе заботятся, а у нас что? Каждый мужик — как дикая груша в чистом поле: растет она себе, и никому дела нет, вырастет или пропадет. Только бы подати платил, в солдаты шел да против властей не бунтовал! Опротивела мне такая жизнь, ну ее совсем!..

Гжеля терпеливо выслушал его и вернулся к тому, с чего начал:

— Есть только один способ добиться, чтобы Подлесье было наше.

Все придвинулись ближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Но вдруг в корчме поднялся такой крик, что даже стекла задребезжали, и музыканты перестали играть. Один из парней вышел узнать, что случилось, и, вернувшись, со смехом рассказал, что это Доменикова наделала такой переполох: прибежала с палкой за сыновьями, хотела их бить и силой вести домой! Но они не испугались и прогнали мать из корчмы. Теперь Шимек пьет напропалую, а Енджик, уже мертвецки пьяный, ревет у печки.

Рассказ выслушали, ни о чем не спрашивая, так как с нетерпением ждали объяснений Гжели. План его заключался в том, чтобы помириться с помещиком и получить от него взамен леса землю на Подлесье, по четыре морга пахотной земли за морг леса!

Все страшно обрадовались такой возможности и удивлялись, как это им раньше не пришло в голову. А к тому еще Гжеля добавил, что такую сделку заключила одна деревня около Плоцка, — он читал об этом в газете.

— Земля будет наша, хлопцы! Эй, Янкель, водки! — крикнул Плошка в дверь.

— За три морга леса досталось бы нам ровно двенадцать моргов поля!

— А нам десять — целое хозяйство!

— И хорошо бы получить с него впридачу кустов на топливо.

— А за пастбища мог бы дать хоть по моргу луга!

— И строевого лесу на избы! — говорили парни, перебивая друг друга.

— Вы скоро захотите, чтобы он прибавил еще и по телеге с лошадьё да по корове каждому!

— подсмеивался над ними Матеуш.

— Тише! Теперь надо уговорить стариков пойти к помещику и объяснить ему, чего мы хотим. Авось согласится.

— Он Подлесье продает только оттого, что деньги ему дозарезу нужны, — вмешался Матеуш.

— Деньги немцы хоть завтра дадут, пусть только захочет. А пока наши будут затылки чесать, да дело это обмозгуют, да столкнутся между собой и баб на свою сторону перетянут, пройдет месяц, помещик немцам землю продаст и — гора с плеч! С деньгами он может ждать, чем кончится дело насчет леса. Гжелин способ хорош, но, по-моему, надо с другого конца начинать.

— Как это? Да говори же, Матеуш!

— Не судить да рядить нужно, а сделать так, как тогда, когда лес отстаивали!

— Иной раз это можно, а иной раз нет! — недовольно сказал Гжеля.

— А я тебе говорю, что можно, только немного по-другому, а выйдет то же самое. К немцам надо идти всем миром! И спокойненько им сказать, чтобы не смели покупать Подлесья...

— Да, как же, они такие дураки, что сразу нас испугаются и уступят!

— Мы им объявим, что, если они купят., не дадим им ни сеять, ни строиться, шагу не позволим ступить за межу! Увидите, испугаются или нет! Выкурим их, как лисиц из нор!

— Не беспокойся, они знают, что делать! Как бог свят, засадят нас опять в тюрьму за такие угрозы! — крикнул Гжеля.

— Посадят и выпустят, век сидеть не будем! А когда нас выпустят, немцам солоно придется... Они не дураки и сначала хорошенько поразмыслят, стоит ли с нами ссориться. Да и помещик другое запоет, когда мы его покупателей разгоним... А если нет...

Но тут уж Гжеля не выдержал, вскочил с места и начал горячо отговаривать их от таких дерзких замыслов. Он объяснял, какие из-за этого начнутся тяжбы, новые убытки для всех, опять разорение... Говорил, что их за постоянные бунты могут засадить на несколько лет, что лучше все уладить тихо и мирно с самим помещиком.

Он заклинал и умолял их не навлекать на деревню новых несчастий, он даже целовал каждого, уговаривал одуматься. Говорил добрых полчаса, покраснел весь, но все было напрасно, слова отскакивали от них, как горох от стены, и, наконец, Матеуш перебил его:

— Что ты нам проповедь читаешь, как ксендз, не того нам надо!

Тут и остальные заговорили все разом, вскочили с мест и, барабаня кулаками по столу, весело кричали:

— Наша возьмет! Идем на немцев, разгоним шароварников! Матеуш правильно советует, так и сделаем, а кто трусит, пускай под перину прячется!

Они были так возбуждены, что говорить с ними было невозможно.

В это время Янкель принес им бутылку. Вытирая на столе разлитую водку, он послушал их разговор и несмело сказал:

— Матеуш — голова! Умный совет дает.

— Смотрите-ка, и Янкель против немцев! — раздались удивленные возгласы.

— Я всегда за своих мужиков! Маюсь, как и все, да как-нибудь с божьей помощью проживу! А где поселятся немцы, там не только бедному еврею, — собаке нечем поживиться! Чтоб они околели, чтоб их... тьфу!.. холера взяла!

— Еврей — а за мужиков стоит! Слыхали, а? — все больше удивлялись парни.

— Я еврей, но меня не в лесу нашли, я тут родился, как и вы, мой дед и мой отец тут родились... За кого же мне стоять? Разве я вам не свой? Ведь если вам жить будет лучше, так и мне будет лучше! Вот станете хозяевами, и я буду с вами торговать, как мой дед торговал с вашими дедами, верно? А за то, что вы так умно насчет немцев придумали, я вам целую бутылку рисовой ставлю! За ваше здоровье, хозяева подлесские! — сказал Янкель, чокаясь с Гжелей.

Пили рюмку за рюмкой и так воодушевились, что готовы были целовать Янкеля, усадили его с собой за стол, стали рассказывать все сначала и советоваться с ним. Даже Гжеля перестал хмуриться и присоединился к ним, чтобы не подумали о нем худого.

Но совет недолго продолжался — Матеуш встал и крикнул:

— Хватит на сегодня! В корчму, хлопцы, надо ноги размять!

Все гурьбой перешли в корчму, Матеуш немедленно отбил у кого-то Терезку и пошел с ней танцевать, а за ним и другие вытаскивали девушек из углов, покрикивали на музыкантов и кружились, как вихрь.

Музыка заиграла живее, музыканты знали, что с Матеушем шутки плохи, он щедро платит, но и прибить может.

Расплясалась корчма! Многие были уже порядком навеселе, шум, топот, задорные выкрики вырывались из раскрытых настежь дверей и окон, а на завалинках и бревнах перед корчмой тоже недурно развлекались: звенели тут рюмки, мужики то и дело чокались и говорили все громче и все бессвязнее.

Был поздний вечер, горели звезды, тихо шумели деревья, с болот доносилось кваканье лягушек, порой и крик выпи, в садах заливались соловьи. Люди наслаждались отдыхом и прохладой. Из корчмы время от времени выходила, обнявшись, какая-нибудь пара и скрывалась в тени... А у корчмы становилось все шумнее, говорили все разом, и трудно было что-нибудь разобрать.

— Только что я поросенка выпустила, не успел он рыла в картофель сунуть, а она как начала

ругаться!..

— Выгнать ее из деревни! Выгнать!

— Помню, когда я еще молодая была, сделали так с одной... Перед костелом до крови высекли, отвезли на коровах за околицу, и стало спокойно...

— Эй, Янкель, штоф крепкой!

— Испортила она мою Сивулю, и молоко у нее пропало!..

— Выберем нового, всякий не хуже его справится...

— Зло надо выкорчевывать, пока оно глубже корней не пустило!..

— Полоть поле, пока его сорняки не заглушили...

— Выпьем, брат, и я тебе кое-что скажу...

— Бери быка за рога и не отпускай, пока не свалишь!

— Два морга да один — три морга. Да еще один — будет четыре.

— Пей, кум! И родной брат для тебя столько не сделает!

Так звучали во мраке обрывки разговоров, и нельзя было понять, кто и с кем говорит. Только грубый голос Амброжия отчетливо выделялся среди других и слышался то тут, то там, потому что обладатель его переходил от одной компании к другой, заходил и в корчму, везде выпрашивая по рюмочке. Он был уже так пьян, что еле держался на ногах. У стойки он ухватил кого-то за кафтан и стал его слезливо упрашивать:

— Ведь я тебя крестил, Войтек, и по бабе твоей так звонил, что у меня руки распухли. Угости рюмкой, брат. А поставишь полбутылки, так я ей еще потрезвоню на вечный покой и другую тебе сосватаю. Молодую, ядреную, как репа! Поставь, брат, полбутылки!..

Молодежь плясала. Развевались юбки и кафтаны, многие подпевали музыкантам и кружились все быстрее, все неистовее. Даже пожилые бабы визгливо покрикивали, поводили плечами, притопывали, а Ягустинка, протолкавшись в середину, подбоченилась и, стуча каблуками в пол, запела хрипло:

Мне не страшны волки,

Будь их невесть сколько,

Мне не страшны мужики.

Хоть бы целые полки!

Х

Эти дни — от праздника Тела Господня до воскресенья — нелегко прошли для Матеуша,

Гжели и их товарищей. Матеуш, строивший избу Стаху, отложил эту работу, другие тоже забросили свои дела. Они с утра до вечера ходили из дома в дом и, ругая немцев, подговаривали мужиков выгнать их из Подлесья.

Корчмарь, со своей стороны, не жалел слов, а для неподатливых и водки давал всем в долг, но дело подвигалось туго. Старики только тяжело вздыхали и, не высказываясь ни за, ни против, оглядывались на других, а главное на баб, которые все, как одна, и слышать не хотели о походе на немцев.

— Вот еще! Что им в башки взбрело! Мало, что ли, горя на нас свалилось из-за леса? Еще за это дело не отсидели, а уже новые беды на деревню накликают! — кричали они, а жена солтыса, всегда такая тихая, даже метлой замахнулась на Гжелю.

— Будешь людей подстрекать к новому бунту, так я тебя стражникам выдам! Лодыри окаянные, работать не хотят, только бы им разгуливать! — визжала она на всю улицу.

А Бальцеркова налетела на Матеуша.

— Собак на вас выпущу, бездельники! Кипятком ошпарю!

Все они стеной стали против уговоров, глухие ко всем объяснениям и просьбам, и не было никакой возможности втолковать им что-нибудь. Они оглушали парней криками, а иные ударялись в слезы, начинали голосить:

— Не пушу моего! Уцеплюсь за кафтан, и пусть хоть руки мне отрежут — не пушу! Довольно мы нахлебались горя!

— Чтоб вас громом разразило, дуры безмозглые! — ругался Матеуш. — Кричат и кричат, как сороки к дождю! Теленок скорее поймет человеческую речь, чем баба — умное слово! — добавил он с глубоким презрением.

— Брось, Гжеля, их не вразумишь, разве только кулаками! Если бы она твоя была, тогда еще, может, и послушалась бы, — уныло говорил он Гжеле.

— Что поделаешь, таковы уж бабы, насильно их не переделаешь. С ними надо по-другому — не спорить, а поддакивать и помаленьку на свою сторону перетягивать, — объяснял ему Гжеля. Правда, он и сам вначале был против похода к немцам, но, когда рассудил, что другого средства нет, всей душой ратовал за это.

Характер у Гжели был стойкий: если он за что-нибудь брался, то непременно доводил до конца, несмотря ни на какие препятствия. И сейчас ничто его не обескураживало. Захлопывали у него перед носом дверь — он говорил через окно. Женщины накидывались на него с упреками и бранью — он не сердился, даже соглашался с ними и, где надо, подпевал, заговаривал о детях, хвалил порядок в их хозяйстве, а под конец опять твердил свое. Не удавалось — шел дальше. Целых два дня его можно было видеть повсюду — в избах, на огородах, даже в поле; он сначала толковал с людьми о том о сем, потом переходил к делу. Тем, кто не сразу понимал, он чертил палочкой на земле план подлесских полей, показывал участки и терпеливо объяснял, какая каждому будет польза от этого. Однако все старания его и других были бы напрасны, если бы им не помог Рох.

Как-то в субботу после обеда они, поняв, что им деревни не поднять, вызвали Роха за борыновы амбары и рассказали ему все.

Они боялись, что он будет против их затеи. Но Рох подумал немного и сказал:

— Способ-то, правда, разбойничий, но придумывать что-нибудь другое уже нет времени, и я охотно вам помогу.

Он сейчас же пошел к ксендзу, который сидел на огороде и наблюдал за работником, косившим клевер. Работник потом рассказывал, что сначала ксендз рассердился на Роха, кричал, затыкал уши, не хотел его слушать, а потом оба, сидя на меже, долго о чем-то говорили. Видимо, Рох убедил ксендза: в сумерки, когда люди начали возвращаться с поля, ксендз пошел в деревню — и, заходя во дворы, расспрашивал хозяев о том о сем, а больше толковал с женщинами и напоследок тихо говорил каждой отдельно:

— Парни хорошо придумали. Надо поторопиться с этим делом, пока не поздно. Вы свое сделайте, а я потом к помещику поеду и буду его уговаривать.

И он добился того, что женщины больше не восставали против плана Матеуша, мужчины же рассудили, что если сам ксендз советует, то, пожалуй, стоит так сделать.

Весь вечер совещались, а наутро, в воскресенье, единодушно решили действовать.

Идти на Подлесье собирались после вечерни, во главе с Рохом, который умел говорить по-немецки.

Заручившись обещанием Роха, парни ушли довольные, весело переговариваясь, а он все сидел на крыльце Ганки, перебирая четки и о чем-то думая.

Было еще рано, только что убрали со стола после завтрака, и запах мучной похлебки с салом щекотал нос. Утро было нежаркое, ласточки пулями рассекали воздух. Солнце только вставало из-за избы, и на густой траве в тени еще блестела роса, а с полей прохладный ветерок приносил запах ржи.

В избе было по-воскресному тихо, женщины убирали, дети сидели под крыльцом вокруг миски и медленно ели, с писком отмахиваясь ложками от Лапы, который упорно лез к ним в компанию. У стены на солнце разлеглась свинья и кряхтела, так как поросята тыкались в нее головами, добираясь до сосцов. Аист разгонял кур и бегал за жеребенком, который баловался во дворе. В саду порой шумели деревья, а в поле слышно было только жужжание пчел, летевших за медом, и звонкие трели жаворонков.

Та же праздничная тишина царила во всей деревне, — лишь изредка заклохчет курица, сзывая цыплят, донесется смех ребятишек, плескавшихся в озере, или закричат утки.

Солнце ярко освещало пустые улицы. Нигде не видно было людей, только кое-где на крылечках девушки заплетали косы. Кто-то тихо играл на дудочке.

Рох перебирал четки, ловил ухом все звуки, а мысли его все возвращались к Ягусе. Он слышал, как она ходила по комнате, иногда выходила на крыльцо и стояла за его спиной или шла во двор и, проходя мимо, опускала глаза, и багровый румянец заливал ее похудевшее лицо. Роху стало жаль ее.

— Ягусь! — позвал он ласково.

Она остановилась, не дыша, ожидая, что он скажет, но он, не находя слов, только пробормотал что-то невнятное и умолк.

Ягуся опять ушла к себе в комнату, села у открытого окна и печально смотрела на залитую солнцем деревню, на облачка, которые, как белые гуси, бродили по небу. Тяжелые вздохи поднимали ее грудь, а порой и слезы текли медленно по исхудавшему лицу. Мало ли она пережила за эти дни? Вся деревня травила ее, как паршивого пса. Женщины поворачивались к ней спиной, а иные плевали вслед, прежние подруги не замечали ее, мужчины презрительно усмехались, а вчера самый младший парнишка Гульбаса швырнул в нее комком грязи и крикнул:

— Войтова любовница!

Словно ножом полоснули ее по сердцу! И сейчас при одном воспоминании об этом ее душил стыд.

Господи, да разве она виновата? Войт напоил ее так, что она была почти без памяти, — могла ли она ему противиться? А теперь все на нее, теперь вся деревня сторонится ее, как зачумленной, и никто слова не скажет в ее защиту.

Ходить больше никуда нельзя, все закроют перед ней двери да еще, пожалуй, собак натравят! Даже к матери идти незачем: она ее почти выгнала из дому, несмотря на слезы и просьбы... Если бы не Ганка, она бы руки на себя наложила. Да, одна только жена Антека не отвернулась, жалела ее да еще защищала перед людьми!

"Да ведь и не виновата я, нет! Войт виноват, он меня в грех ввел... А уж больше всех виноват этот старый хрыч! — подумала она вдруг о муже. — На всю жизнь меня связал! Была бы я девушкой, так не дали бы меня в обиду... И какая радость мне с ним была? Ни жизни не видала, ни света".

Такие мысли лихорадочно сновали в голове Ягны. Печаль и раскаяние уже сменялись страшным гневом, и она в возбуждении забегала по комнате. "Да, да, все из-за него! И с Антеком не вышло бы так... и войт не посмел бы... Жила бы я себе спокойно, как прежде, как все живут. Нечистый поставил его у меня на дороге и мать прельстил его моргами, а теперь я должна мучиться... О, чтоб тебя черви ели!"

В порыве злобы она даже кулаки сжала. Увидев через окно лежавшего под деревом Мацея, кинулась туда, нагнулась над ним и прошипела с ненавистью:

— Хоть бы ты поскорее издох, старый пес!

Больной смотрел на нее во все глаза и что-то бормотал, но она тотчас убежала. Ей стало легче — было на ком выместить свою обиду.

Когда она шла обратно в дом, на крыльце стоял кузнец. Делая вид, что не замечает ее, он громче заговорил с Рохом:

— Слышал я от Матеуша, что вы их поведете на немцев...

— Да, просят, чтобы я пошел с ними к соседям, — сказал Рох, напирая на слово "соседи".

— По кандалам соскучились! Совсем осатанели мужики. Думают, что если опять пойдут толпой с кольями и криками, так немцы перепугаются и не купят Подлесья! — Он едва сдерживал злость.

— А может, и откажутся от покупки, как знать?

— Ну да, ждите! Они уже и землю измерили, и семьи перевезли, копают колодцы, возят камень для стройки.

— Мне хорошо известно, что они еще у нотариуса купчей не подписали.

— А мне они божились, что все сделано!

— Говорю то, что знаю. И если помещику подвернутся другие покупатели, получше этих...

— Да ведь липецкие не купят, ни у кого гроша за душой нет.

— Гжеля что-то надумал, и сдается мне...

— Гжеля! — нетерпеливо перебил кузнец. — Гжеля всегда вперед лезет, а сам дурак набитый, только народ мутит и на худые дела толкает...

— Посмотрим, что выйдет, посмотрим, — отозвался Рох, с легкой усмешкой наблюдая за кузнецом, который со злости так дергал усы, словно хотел их вырвать.

— Яцек идет! — воскликнул он вдруг, увидев входившего во двор сторожа.

— Бумага из канцелярии Анне Матвеевне Борыне, — объявил Яцек, достав из сумки конверт.

Выбежавшая на крыльцо Ганка с беспокойством вертела в руках бумагу, не зная, что с ней делать.

— Дай прочту, — сказал Рох.

Кузнец попробовал заглянуть через его плечо, но Рох быстро сложил письмо и сказал спокойно:

— Суд уведомляет тебя, Ганка, что тебе разрешены свидания с Антеком раз в неделю.

Ганка, дав на чай сторожу, вернулась в комнаты, а Рох только после ухода кузнеца вошел туда же и сказал радостно:

— В бумаге совсем не то написано, — я не хотел говорить при кузнице! Суд извещает, что Антека выпустят, если ты привезешь залог, пятьсот рублей, или поручительство за него... Что с тобой?

Ганка не отвечала — голос ей изменил. Она стояла, как вкопанная, лицо вспыхнуло румянцем, потом побелело как мел. Вдруг она всплеснула руками и с тяжелым вздохом упала ниц перед образами.

Рох тихо вышел и, сев на крыльце, с довольным видом перечитывал бумагу. Немного погодя он опять зашел в избу.

Ганка все еще молилась. Ей казалось, что она умирает от счастья, слезы текли ручьями, смывая память о всех перенесенных страданиях и обидах.

Наконец, она поднялась и, отирая слезы, сказала Роху:

— Теперь я готова ко всему. Что бы меня ни ожидало, а страшнее того, что было, не будет!

Рох даже удивился внезапной перемене в ней: глаза ее ярко блестели, на бледном лице заиграл румянец, она выпрямилась, словно десять лет с плеч сбросила.

— Продай, что хотела, собери деньги и поедem с тобой за Антеком — завтра или во вторник.

— Антек вернется! Антек вернется! — бессознательно повторяла Ганка.

— Не говори пока никому! Вернется — и так узнают. Да и тогда надо будет всем говорить, что его отпустили без залога, — это для того, чтобы кузнец к тебе не приставал, — вполголоса советовал ей Рох.

Ганка торжественно обещала молчать и доверила тайну одной только Юзе. Ей трудно было сдерживать огромную радость, она ходила, как пьяная, то и дело целовала детей, разговаривала с жеребенком, со свиньей, дразнила аиста, а Лапе, который, повизгивая, ходил за ней и смотрел ей в глаза, словно понимая что-то, шепнула в самое ухо:

— Тише, глупый пес, хозяин вернется!

Смеясь и плача, она долго рассказывала обо всем Мацею, а он испуганно смотрел на нее и что-то бессвязно лепетал. Она забыла обо всем на свете, и Юзьке пришлось напомнить ей, что пора в костел. Ей хотелось петь от радости, лететь куда-то и кричать колосьям, которые с шелестом кланялись ей в ноги, и деревьям, и всей земле:

"Хозяин вернется! Антек вернется!"

Она даже позвала Ягну идти вместе в костел, но та предпочла остаться дома.

Ягне никто не сказал о скором возвращении Антека, но она легко догадалась об этом по намекам и поведению Ганки. Эта новость и ее взволновала, разбудила в душе какую-то радостную, робкую надежду. Забыв все, она побежала к матери.

И пришла не вовремя. У матери с Шимеком как раз вспыхнула жестокая ссора.

Дело было так. Шимек после завтрака сидел у окна с папиросой в зубах, долго размышлял, собирался с духом, поглядывал на брата и, наконец, сказал:

— Мама, дайте мне денег, надо в костеле за оглашение платить. Ксендз сказал, чтобы я пришел перед вечерней.

— На ком же это ты жениться задумал? — с язвительной усмешкой спросила мать.

— На Настусе Голуб.

Доминикова ничего больше не сказала и продолжала возиться с горшками у печи. Испуганный Енджик подбросил дров в печь и, хотя огонь горел ярко, стал его раздувать. Подождав несколько минут, Шимек начал снова, уже решительнее:

— Целых пять рублей мне дайте, — надо и сговор справить.

— А ты уже сватов засылал? — спросила она тем же тоном.

— Да, ходили Клемб и Плошка.

— И она согласна? — У Доминиковой от смеха дергался подбородок.

— А как же! Ясное дело, согласна.

— Еще бы, такая рвань да не согласится! Попалось слепой курице зерно!

Шимек нахмурился, но ждал, что она скажет дальше.

— Принеси воды с озера, а ты, Енджик, поросенка выпусти, — слышишь, визжит!

Привыкнув слушаться, они почти машинально сделали то, что она велела. Когда Шимек опять сел у окна, а младший брат стал что-то мастерить у печки, старуха строго скомандовала:

— Шимек, неси поило корове!

— Сами несите, я вам не работница! — ответил он дерзко, еще больше развалившись на лавке.

— Слышал? Не вводи меня в гнев — сегодня Святое воскресенье!

— Вы тоже слышали, что я сказал: давайте деньги, живо!

— Не дам. И жениться не позволю!

— А я и без вашего позволения обойдусь.

— Шимек, опомнись и меня не задирай!

Он вдруг поклонился ей в ноги.

— Да ведь я просил вас, мама, скулил, как пес!

Слезы подступили у него к горлу.

Енджик тоже заревел и начал целовать у матери руки, обнимать ее колени и упрашивать.

Она сердито отпихнула обоих.

— Не смей моей воле перечить — выгоню на все четыре стороны! — крикнула она, грозя Шимеку кулаком.

Но Шимек не испугался — напротив, слова матери только подстегнули его. Он вскипел. Заговорило в нем упрямство Пачесей. Он гордо выпрямился, сделал шаг к матери и сказал со зловещим спокойствием, сверля ее глазами:

— Давайте деньги, живо, больше я ни просить, ни ждать не стану!

— Не дам! — взвизгнула Доминикова вне себя от злости и стала искать вокруг палку.

— Так я и сам найду!

Как рысь, подскочил он к сундуку, одним движением сорвал крышку и начал выбрасывать на пол одежду.

Доминикова с криком бросилась оборонять сундук. Сначала она пыталась только оттащить Шимека, но его нельзя было с места сдвинуть. Тогда она одной рукой вцепилась ему в волосы, а другой начала бить по голове и лицу, крича благим матом. Шимек еще только отмахивался от нее, как от назойливой мухи, и продолжал рыться в сундуке, ища денег. Но, когда она больно ударила его в грудь, он оттолкнул ее с такой силой, что она растянулась на полу. Мигом вскочив, она схватила кочергу и опять напала на сына. Шимеку не хотелось драться с матерью, и он только защищался, как мог, пытаясь вырвать у нее кочергу. В комнате поднялся шум и крик. Енджик, громко плача, бегал вокруг них и жалобно умолял:

— Мама, ради бога! Мама!

Вошедшая в эту минуту Ягна бросилась их разнимать, но все ее усилия были напрасны. Стоило Шимеку увернуться и отскочить в сторону, как старуха опять бешено на него налетала и колотила куда попало. Ошалев от боли, он начал уже возвращать удары. Они сцепились и, катаясь по полу, ударялись о стены и мебель, поднимая страшный шум.

Со всех сторон стали сбегаться соседи, пробовали разнять их, но старуха впиалась в сына, как пиявка, и, не помня себя, продолжала его бить.

Наконец, Шимек треснул ее кулаком между глаз и отшвырнул от себя, как охапку соломы. Она упала на раскаленную печку, где стояли горшки с кипятком, печь провалилась, и все рухнуло...

Старуху тотчас вытащили из-под обломков, но она, хотя и была сильно обожжена, не обращая внимания на боль и тлевшие юбки, рвалась к сыну.

— Вон из моего дома, выродок проклятый! Убирайся! — вопила она в исступлении.

Пришлось силой держать ее, пока тушили на ней огонь и обкладывали мокрыми тряпками обожженное лицо, а она все вырывалась:

— Чтоб глаза мои больше тебя не видели! Чтоб тебя...

А Шимек, задыхаясь, избитый и окровавленный, только смотрел на мать вытаращенными глазами. Ужас вдруг схватил его за горло, он весь дрожал, ничего не соображал и не мог выговорить ни слова.

Только что в избе немного утихло, как вдруг старуха вырвалась из рук соседок, подбежала к шесту за печью и, срывая с него одежду Шимека, начала выбрасывать все в окно.

— Прочь с глаз моих! Ничего тут нет твоего, все мое! Ни полоски земли тебе не дам, ни куска хлеба, хоть околейвай с голоду! — вопила она из последних сил, но, наконец, жестокая боль одолела ее, и она упала с раздирающими стонами. Ее отнесли на кровать.

В комнату набилось столько народу, что повернуться негде было, толпились и в сенях, и в окнах торчали любопытные.

Ягна теряла голову, не зная, что делать, потому что мать просто выла от боли. Все лицо и шея были у нее обварены кипятком, руки покрыты ожогами, волосы спалены и, видимо, глаза тоже пострадали.

Шимек, как окаменелый, сидел в садике, под окном, подперев голову руками, и слушал стоны матери. Он был весь в синяках, на лице запеклась кровь.

Скоро примчался Матеуш и, дернув его за рукав, сказал:

— Пойдем к нам. Уж тут тебе делать нечего...

— Не пойду! Земля моя, от отца и деда, так я не отступлюсь! На своей земле останусь! — сказал Шимек с мрачным упорством, бессознательно хватаясь за угол хаты.

Не помогли ни просьбы, ни уговоры — он не двинулся с места и ничего больше не отвечал.

Матеуш сидел с ним рядом, не зная, как быть, а Енджик собрал выброшенные матерью кафтаны, штаны и рубахи, связал все вместе и робко положил узел перед братом.

— Я уйду с тобой, Шимек! — шепнул он со слезами.

— Псякрев! Сказал я, что с места не тронусь, так и не тронусь! — рявкнул Шимек и так ударил кулаком в стену, что Енджик даже присел с испугу.

Они замолчали, потому что из хаты опять донеслись ужасные стоны: там Амброжий осматривал больную. Он положил на обожженные места слой свежего масла, прикрыл их какими-то листьями, а поверх налил еще простокваши и обернул все тело мокрым полотном. Приказав Ягусе, чтобы она часто поливала компресс холодной водой, Амброжий торопливо ушел в костел, так как "сигнатурка" уже звонила.

Подошло время обедни, и люди толпой повалили в костел, а по пути множество знакомых заходило проведать больную.

Ягне пришлось даже запереть двери перед любопытными, и с нею осталась одна только Сикора.

Немного погодя все успокоилось. Доминикова перестала стонать, на улице наступила тишина, только от костела доносились звуки органа и пение. Нежные рыдающие голоса хора

таяли в воздухе.

Солнце уже припекало изрядно, и в полуденной тишине деревья стояли неподвижно, — только изредка затрепещет какая-нибудь веточка, зашевелиятся тени. Птицы молчали, и только колосья шуршали тихонько, мотая желтыми гривами.

Парни все еще сидели под окном. Матеуш тихо говорил что-то, Шимек слушал и только головой кивал, а Енджик, лежа около них на земле, засмотрелся на дымок от папиросы, который голубой паутиной поднимался в воздух.

Ягна вышла с ведром и пошла к озеру за водой.

Матеуш встал и, обещав прийти опять после обеда, направился было в костел, но, увидев, что Ягна сидит на берегу, подошел к ней.

Она сидела, опустив ноги в воду. Наполненное ведро стояло рядом.

— Ягуся! — шепотом сказал Матеуш, останавливаясь вблизи под ольхой.

Она поспешно натянула юбку на колени и поглядела на него такими печальными, заплаканными глазами, что у него защемило сердце.

— Что с тобой, Ягусь? Нездорова?

Деревья бесшумно качались, осыпая ее светлые волосы зелено-золотым дождем дрожащих отблесков и теней.

— Нет... Только несладко мне живется... — она отвела глаза.

— Я бы рад тебе чем-нибудь помочь, — сказал он ласково.

— Правда? А тогда на огородах убежал от меня и больше не показывался...

— Оттого, что ты меня обидела! Как же я мог... Ягусь! — тон у него был покорный и нежный.

— Да я звала тебя потом, кричала вслед, а ты не воротился.

— Звала? Правда, звала, Ягусь?

— Ну, я же тебе говорю! Хоть разорвись от крика — никто не прибежит! Кому какое дело до сироты? А обидеть да осрамить всякий готов!

Лицо ее вспыхнуло заревом, она потупила голову и в замешательстве болтала в воде ногами. Матеуш тоже молчал, задумавшись.

Опять в тишине баюкающие звуки органа... По блестящей глади озера от ног Ягуси расходились круги, похожие на полосатых змей, у берега на воду ложились тени. А Матеуш и Ягна уже украдкой посматривали друг на друга, и взгляды их встречались...

Матеуша все сильнее тянуло к ней... Хотелось взять ее на руки, как ребенка, приласкать, успокоить.

— А я думала, что и ты против меня, — чуть слышно сказала Ягна.

— Нет. Ты мне всегда была мила... Не помнишь разве?

— Да, это давно, в прошлом году. А теперь и ты, как другие... — сказала она неосторожно.

Матеуш вздрогнул от неприятного воспоминания, проснулись гнев и ревность.

— Потому что ты... ты...

Нет, не мог он выговорить вслух того, что его душило! Он сделал над собой усилие и сказал отрывисто и решительно:

— Ну, прощай...

Он должен был бежать от нее, чтобы не попрекнуть ее войтом.

— Уходишь. Чем же я теперь тебя обидела? В лице Ягны он прочел испуг и огорчение.

— Ничем... только... — он заговорил быстро, глядя в ее заплаканные голубые глаза, и горечь, нежность, досада смешались в его душе. — Только прогони ты от себя этого скота, прогони, Ягусь!

— Да разве я его зазывала? Разве я его держу! — крикнула она гневно.

Матеуш стоял в нерешимости и сильном смущении. Слезы горохом посыпались по пылающим щекам Ягуси.

— Такую подлость со мной сделал... Напоил, а потом... И никто-то за меня не заступится, никто не пожалеет, а все убить готовы! Чем я виновата? — жаловалась она.

— Я ему, подлецу, отплачу! — сказал Матеуш, сжимая кулаки.

— Отплати, Матеуш, отплати! А я уж тебе... — подхватила она с жаром.

Матеуш, ничего не отвечая, быстро зашагал к костелу. А Ягна еще долго сидела у озера, думая о нем. Может быть, он заступится, не даст больше ее обижать!

"А может быть, и Антек?.." — вдруг подумала она. Она вернулась домой, полная неясных радостных предчувствий.

Опять запели колокола. Народ выходил из костела. Ожили дороги, загудели голосами, смехом, стучали повозки. Люди шли группами, останавливались тут и там у ворот. Только у избы Доминиковой все притихало, хмуро переглядывались и проходили мимо. Никто не зашел к больной.

Расшумелась деревня. Во всех избах, в сенях, на крылечках слышен был громкий говор, в садах тоже было людно — здесь обедали под деревьями, в холодке. Куда ни глянь, сидели люди и ели. Стук ложек, звон посуды, повизгивания собак нарушали знойную тишину полудня.

У Доминиковой было тихо и пусто. Старуха лежала в жару и стонала, а Ягусе уже не сиделось на месте, она выходила то на порог, то на улицу возвращалась и опять долгими часами с тоской глядела в окно. Шимек все в той же позе сидел в садике, и только один Енджик не потерял головы и принялся готовить обед на другой половине избы.

Немного погодя, после обеда, к ним пришла Ганка. Она держала себя как-то странно: обо всем расспрашивала, очень жалела больную, но все время украдкой следила глазами за Ягной и озабоченно вздыхала.

Забежал к Шимеку и Матеуш.

— Пойдешь с нами к немцам?

— Земля моя, от отца досталась, с места не сойду! — твердил свое Шимек.

— Настуся тебя ждет, — ведь вам надо отнести ксендзу деньги на оглашение.

— Не пойду никуда... Земля моя...

— Ну и сиди, осел! Никто тебя за хвост не тянет... Сиди хоть до завтра! — рассердился Матеуш. И, увидев, что Ганка уходит, присоединился к ней, даже не взглянув на провожавшую ее Ягусю. Они пошли берегом.

— Что, Рох вернулся из костела? — спросил Матеуш.

— Вернулся. У нас уже много мужиков дожидается...

Матеуш оглянулся. Ягна смотрела им вслед. Он быстро отвернулся и спросил тихо, не глядя на Ганку:

— Правда, что ксендз нынче с амвона кого-то отчитывал?

— Ведь ты был в костеле и слышал, зачем же меня за язык тянешь?

— Я пришел уже после проповеди. Мне рассказали, да я не поверил, думал, что врут так, шутки ради.

— Правда это. И не одну честил, а двух... даже кулаками махал... Позорить на людях и камень бросать в других — на это все мастера!.. А вот помешать греху никто не спешит! — Ганка была глубоко расстроена и зла. — Войта небось ни словом не задел, а ведь он тут всех больше виноват! — добавила она, понизив голос.

Матеуш смачно выругался и хотел еще что-то спросить, но не хватило духу. Они шли молча. Ганку вся эта история сильно задела. "Конечно, Ягна грешна, и ее надо бы наказать, но корить ее с амвона, при всем народе, чуть не называя по имени, — это уж слишком! Она жена Борыны, а не какая-нибудь потаскуха", — думала она с досадой. "Что там между ними было — это их дело, а посторонним соваться нечего!"

— Ни Магды, ни Мельниковых работниц он не срамил, а все знают, как они себя ведут! И дворовым из Воли тоже не грозит с амвона кулаками... Про глуховскую помещицу всему свету известно, что она с батраками путается, а небось насчет нее он помалкивает! — говорила она с глубоким возмущением.

— А правда, что он и про Терезу поминал? — спросил Матеуш тихо.

— Да, про обеих, и все сразу догадались, о ком он говорит.

— Кто-то его, должно быть, натравил! — Матеуш с трудом сдерживал волнение.

— Говорят, это Доминиковой работа, а может, и Бальцерковой. Одна отплатила тебе за Шимека с Насткой, другая хочет перетянуть тебя к своей Марысе.

— Так вот где раки-то зимуют! А мне и в голову не пришло!

— Мужики все дальше своего носа не видят!

— Напрасно Бальцеркова старается! Как бы ей еще не досталось от Терезки... А Доминиковой назло Шимек обязательно женится на Настке — уж я за этим присмотрю! Подлые бабы!

— Они свои делишки обделывают, а из-за них невинные страдают! — уныло отозвалась

Ганка.

— Каждый рад другого со свету сжить! Просто неумоготу становится жить в Липцах!

— Когда Мацей был здоров, он все улаживал, люди его слушались...

— Да, а войт этот — пустомеля, дубовая башка, и как может его народ уважать, когда он такие коленца выкидывает! Хоть бы Антек вернулся!

— Вернется он, скоро вернется! Но кто его станет слушать? — глаза у Ганки заблестели.

— А мы с Гжелей и хлопцами уже насчет этого толковали. Как только он придет, мы вместе наведем в деревне порядок. Увидите!

— Да, пора, пора: все разъезжается, как колеса без чеки!

Они дошли вместе до избы Борыны. Во дворе уже собралась целая толпа.

Решено было, что пойдет человек десять хозяев и самые бойкие из парней, но неожиданно вся деревня захотела идти, как тогда в лес. Те, кто собрался, с нетерпением ожидали остальных.

— Войт тоже должен идти с нами! — сказал один из парней, строгая палку.

— Начальник его в уезд вызвал. Писарь говорит, будто велено собрать сход и утвердить школы в Липцах и Модлице.

— Пусть собирает — ведь все равно не утвердим! — засмеялся Клемб.

— Того и гляди наложат новую подать с морга, как в Долах!

— Обязательно наложат. Да ведь если начальник прикажет, придется платить, — сказал солтыс.

— А с какой стати он будет нам приказывать? Пускай лучше своим стражникам приказывает, чтобы вместе с ворами не крали!

— Больно ты дерзок, Гжеля! — остановил его солтыс. — Многих уже язык завел дальше, чем им хотелось!

— А я буду говорить, потому что законы знаю и не боюсь начальства! Это только у вас, баранов, поджилки трясутся от страха перед всякой рванью! — закричал Гжеля, смущая всех такой смелостью. Многим даже страшно было его слушать. А Клемб сказал:

— Школа эта нам ни к чему. Мой Адам целых два года ходил в Волю. Возил я учителю картошку мешками, жена ему к празднику масла да яиц дала, а что толку? Учился хлопец, учился, а до сих пор молитв по книжке прочитать не умеет и по-русски тоже — ни бельмеса! Младшие одну зиму проучились у Роха — и уже не только печатное, даже писаное разбирают.

— Так надо Роха нанять, пусть всех учит, а школа ребятам нужнее, чем башмаки, — вмешался Гжеля.

Солтыс вошел в толпу и сказал вполголоса:

— Лучше Роха не найти, знаю, он и моих учил... да нельзя! Начальство, видно, уже что-то пронюхало. Он у них на примете... Урядник встретил меня в канцелярии и долго расспрашивал про него... Я, конечно, больше отмалчивался — так он даже на меня осерчал и

стал говорить, что ему, мол, хорошо известно, что Рох у нас детей учит и раздает людям польские книжки и газеты... Надо будет Роху сказать, чтобы был поосторожнее...

— Плохо дело! Человек он хороший, но из-за него деревня сильно пострадать может... Надо что-нибудь придумать... и поскорее, — сказал старик Плошка.

— А вы со страху и выдать его согласны, а? — ядовито буркнул Гжеля.

— Если бы он бунтовал народ против властей, всем во вред, каждый сделал бы это. Молод ты еще, брат, а я хорошо помню, что делалось, когда паны воевали: они воевали, а мужиков за всякий пустяк батогами секли![24] Не наше это дело.

— В войты метите, а голова у вас — как дырявый сапог! — вспыхнул Гжеля.

Разговор прервался, так как из избы вышел Рох, окинул всех взглядом и, перекрестясь, воскликнул?

— Пора! С Богом!

Он пошел впереди, за ним высыпали на дорогу все мужчины, а шествие замыкали несколько женщин и детей.

Жара уже спала, солнце перекаатилось к лесу, небо было ясно, и воздух так прозрачен, что даже дальние деревни видны были как на ладони, и в зелени бора глаз различал желтые стволы сосен, белые рубашки березок и серые могучие дубы.

За мельницей женщины отстали, а мужики не спеша шагали дальше. За ними вставало облако пыли, в котором только по временам белел чей-нибудь кафтан.

Шли молча. Все лица были суровы, в глазах читался вызов и непреклонная решимость.

Порой, подбодряя себя, ударяли в землю дубовыми палками, а некоторые поплевывали на ладони и выпрямлялись, словно готовясь к прыжку.

Шли чинно, торжественно, как будто это был крестный ход, и если у кого вырывалось слово, он тотчас умолкал под неодобрительными взглядами: не время было болтать, все были сосредоточенны, подтягивались и собирали силы.

На межевых буграх под крестом присели отдохнуть, но и тут никто не произнес ни слова, все молча озирались кругом. Уже липецкие хаты едва виднелись из-за садов, золотой купол костела сверкал на солнце, везде, куда ни глянь, зеленели пашни, а на выгонах под лесом бродили стада. От костра, разведенного на опушке леса, тянулась к небу голубая лента дыма, звонкие песни детей и звуки свирелей разносились далеко, на земле царили весна, радость, дивный покой. И не одно мужицкое сердце сжималось от неясной тоски и опасений; люди тяжело вздыхали и с беспокойством поглядывали в сторону Подлесья.

— Ну, пошли, не пустячное ведь дело! — торопил их Рох, хорошо понимая, что они уже начинают колебаться.

Свернули прямо к хуторским постройкам и пошли старой, заросшей бурьяном дорогой, которая разноцветной лентой вилась среди зеленых полей.

Чахлая рожь густо синела васильками, запоздалый овес глушила яркожелтая полевая горчица, в сожженной солнцем пшенице краснели маки, а картофель едва всходил. На каждом шагу бросалась в глаза запущенность этих полей.

— Ну и хозяйство! Смотреть больно! — буркнул кто-то из мужиков.

— Самый ленивый батрак лучше обработает!

— Вот тебе и помещик! Даже земли-кормилицы и той не уважит!

— Доит ее и доит, как голодную корову, — не диво, что она родить перестала.

Вышли на паровое поле. Закопченные и полуобвалившиеся срубы виднелись уже неподалеку, сожженный сад черными скелетами деревьев, горестно простиравших к небу сучья, окружал жилые дома с провалившимися крышами и торчащими дымовыми трубами, а под стенами их, в жидкой тени мертвых деревьев, сидели группами люди. Это были немцы. Бочонок с пивом стоял перед ними, на крыльце кто-то играл на флейте, а они сидели, развалясь на лавках и траве, без курток, в одних рубахах, с трубками в зубах и пили из глиняных кружек. У домов играли дети, а невдалеке паслись откормленные коровы и лошади.

Немцы, должно быть, увидели подходивших — они вскочили с мест и, приставив ладони к глазам, вглядывались, что-то крича. Но один из них, старик, сердито залопотал что-то, и все опять спокойно уселись и взялись за свои кружки. Флейта засвистела еще нежнее, жаворонки звенели чуть не над головами, с поля слышалось неумолчное стрекотание кузнечиков, а порой и крик перепела.

И, несмотря на то, что сухая земля гудела под ногами мужиков, а подбитые железом каблуки звенели о камни все ближе и ближе, немцы не шелохнулись, словно ничего не слышали. Сидели по-прежнему, наслаждаясь пивом и предвечерней свежестью. А мужики уже подходили, шагая все медленнее и тяжелее, притаив дыхание и сжимая в руках палки. Сердца у всех колотились, горячая дрожь, как кипятка, пробежала по спинам, в глотках пересохло, но они держались прямо и горящими глазами смело смотрели на немцев с выражением суровой решимости.

— Слава Иисусу! — по-немецки сказал Рох и остановился, а за ним полукругом стояли мужики, тесно, плечом к плечу.

Немцы хором ответили на приветствие, все еще не двигаясь с мест. Поднялся только тот седобородый старик и, бледнея, обводил взглядом толпу.

— Пришли мы к вам по делу, — начал Рох.

— Что же, присаживайтесь, хозяева! Вы, я вижу, из Липец. Поговорим по-соседски. Иоганн, Фриц, принесите скамейки для соседей.

— Спасибо, дело недолгое, постоим.

— Не может оно быть недолгое, если вы всей деревней пришли! — сказал старик уже по-польски.

— Пришли все, оттого что оно всех одинаково касается.

— Где там все! Дома втрое больше народу осталось, — внушительно сказал Гжеля.

— Мы вам от души рады. Уж если пришли к нам первые, так, может, пива с нами выпьете? Как добрые соседи... Наливайте, ребята!

— Сам пей! Ишь какой щедрый! Не за пивом мы пришли! — закричали те, кто погорячее.

Рох взглядом остановил их, а старый немец сказал сухо:

— Ну, мы слушаем!

В тишине слышно было сопение, тяжелое отрывистое дыхание, липецкие сдвинулись еще теснее, немцы тоже поднялись все как один и стали против них сомкнутым рядом. Они злыми глазами уставились на мужиков и, нетерпеливо дергая бороды, что-то бормотали.

Из окон смотрели встревоженные женщины, дети попрятались в сенях, большущие рыжие собаки ворчали у домов, а мужики и немцы добрых десять минут стояли так друг против друга в молчании, как стадо баранов, которые уже вращают налитыми кровью глазами, перебирают копытами и, напряжив спины, нагнув головы, готовы каждый миг кинуться друг на друга. Наконец, Рох нарушил молчание.

— Мы пришли от всей деревни, — сказал он по-польски громко и внятно, — просить вас добром, чтобы вы не покупали Подлесья.

— Так, так! За этим! Верно! — подхватили мужики, стуча палками в землю.

Немцы в первую минуту оторопели.

— Что он говорит? Чего им надо? Не понимаем! — повторяли они, не веря своим ушам.

Рох повторил, на этот раз по-немецки. Не успел он кончить, как Матеуш в запальчивости крикнул:

— И чтобы вы, шароварники, убрались отсюда ко всем чертям!

Немцы рванулись, как ошпаренные, зашумели, затараторили по-своему, угрожающе размахивая руками, топая от злости ногами. Некоторые уже полезли было на мужиков с кулаками, но те стояли неподвижно, жгли немцев суровыми взглядами и только крепко стискивали зубы.

— Рехнулись вы все, что ли? — воскликнул старый немец, поднимая руки к небу. — Запрещаете нам купить землю! Почему? И по какому праву?

Опять Рох изложил ему все спокойно, обстоятельно. Но немец, побагровев от гнева, крикнул:

— Земля принадлежит тому, кто за нее заплатит!

— Это по-вашему так, а по-нашему иначе. Она должна достаться тому, кому она нужна, — сказал Рох торжественно.

— А как же это? Даром, что ли, возьмут ее, по-разбойничьи? — насмешливо спросил немец.

— Вот хорошая плата за нее — десять пальцев, — тем же тоном ответил Рох.

— Чепуха! Что мы будем терять время на шутки! Подлесье мы купили — оно наше и нашим останется. А кому это не нравится, пусть идет себе с Богом и впредь обходит нас издали. Ну, чего вы еще дожидаетесь?

— Чего? А чтобы вам сказать: руки прочь от нашей земли! — выпалил Гжеля.

— Сами убирайтесь, пока целы!

— Эй, смотрите! Сейчас мы еще просим по-соседски! — громко заговорили в толпе мужиков.

— Грозите? А мы на вас в суд подадим. Вы еще не отсидели за лес, так вам набавят, и уж заодно отсидите! — насмеялся старый немец, однако и он уже трясся от злости, и другие едва сдерживались.

— Разбойники! Бунтовщики вшивые! — кричали немцы.

— Тише, немчура, когда народ с вами говорит! — ответил Матеуш, но они кричали все громче и наступали всей толпой.

Рох, опасаясь, как бы не вышло драки, оттеснял мужиков и успокаивал их, но они его не слушали. Послышались крики:

— Дай-ка в морду первому с краю!

— Неужто уступим, хлопцы? Ведь они над всем народом издеваются!

— Что же, значит, не добьемся своего? — кричали другие все грознее, подбодряя друг друга. А Матеуш, отстранив Роха, вышел вперед, по-волчьи оскалил зубы:

— Слушайте, немцы! Говорили мы с вами добром, по-человечески, а вы грозите нам тюрьмой и смеетесь над нами! Ладно, тогда поговорим по-другому! Мы пришли к вам с миром, а вы войны хотите? Что ж, война так война! Вот клянемся вам перед Богом и людьми, что на Подлесье вы не выживете! За вас суд, за вас начальство, и деньги у вас есть, а у нас только вот эти голые руки. Но мы еще посмотрим, чья возьмет! Запомните, что я вам скажу: от огня горит не только солома, он может сожрать и каменные стены, и весь хлеб на корню... Бывает тоже, что скот падает на выгонах... И с каждым человеком может беда приключиться... так помните, что я сказал: война и днем и ночью, на каждом шагу...

— Война! — хором гаркнули мужики.

Немцы схватились за шесты, лежавшие у стены, несколько человек вынесли ружья, другие подбирали с земли камни. Женщины подняли крик.

— Если хоть один выстрелит, — все деревни сюда сбегутся!

— Одного застрелишь, немчура, а другие тебя палками забьют до смерти, как паршивого пса!

— Эй, швабы, лучше нас не задевайте, с мужиками вам не совладать!

Ругань и угрозы, камни и палки летали в воздухе, и многие уже рвались в драку, но Рох унял своих и заставил их отойти. Уходя, они оглядывались и кричали:

— Прощайте и ждите, скоро вам красный петух запоеет!

— Заглянем к вам поплясать с вашими девушками!

Солнце зашло, и сумерки ложились на землю. Холодный ветер гулял по полям, и они волновались, шурша колосьями, трава седела от росы, от деревни доходили детские голоса и звуки дудок, квакали лягушки на болотах. Наступал тихий вечер.

Мужики возвращались домой медленно, накинутые на плечи кафтаны развеивались, как белые крылья. Шли, шумно разговаривая и часто останавливаясь, иной затягивал песню, и лес вторил ей, другие весело насвистывали, и все жадно оглядывали земли Подлесья, мимо которых шли.

— Тут землю поделить легко! — сказал старый Клемб.

— Еще бы, можно нарезать наделы ровнехонько, как соты. И у каждого будет и луг и выгон.

— Если бы только немцы отступились! — вздохнул солтыс.

— Не беспокойтесь, ручаюсь, что уйдут! — уверял Матеуш.

— Я взял бы вон ту землю, что с краю, у дороги, — сказал Адам Прычек.

— А мне приглянулась та, что у креста, — сказал другой.

— Эх, получить бы надел на хуторских огородах!

— Смотрите, какой хитрый, ему самую лучшую подай!

— Всем хватит, всем, — успокаивал их Гжеля, потому что они уже начинали ссориться.

— Если помещик согласится отдать вам Подлесье, вас ждет большая работа! — заметил Рох.

— Справимся! Со всем справимся! — радостно загудели мужики.

— Не страшна работа на своей земле!

— Мы бы и со всеми помещичьими землями управились!

— Только бы дали — тогда увидите!

— Врос бы человек в землю, как дерево, — и попробуй его оттуда вырвать!

Так они толковали между собой, все ускоряя шаг, потому что впереди уже темнела толпа баб, бежавших из деревни им навстречу.

## XI

Рассвело настолько, что все кругом синело, как спелая слива, когда Ганка подъехала к дому. Все еще спали, но громкий стук брички разбудил детей, и они выбежали с криками ей навстречу, а Лапа радостно лаял, прыгая перед лошадьми.

— А где же Антек? — крикнула с порога Юзька, надевая юбку через голову.

— Его только через три дня отпустят, но теперь уже наверное, — ответила Ганка спокойно, целуя малышей и оделяя их баранками.

Выбежал и Витек из конюшни, а за ним жеребенок, который тотчас стал подбираться к матери. Петрик доставал из брички покупки.

— Косят у нас уже? — спросила Ганка, садясь тут же на крыльце, чтобы покормить грудью маленького.

— Да, вчера в полдень начали впятером: Филипп, Рафал и Кобус отрабатывают долг, а Клембов Адам и Матеуш — за деньги!

— Матеуш? Неужели Голуб?

— Он. Я тоже удивилась, но он сам захотел, — говорит, что от плотничьей работы недолго и горбатым стать, так хочет спину поразмять за косой.

Ягна открыла окна на своей половине и выглянула.

— Что, Мацей еще спит? — спросила у нее Ганка.

— Он в саду, мы не вносили его на ночь — в избе очень жарко.

— А как там мать?

— По-прежнему... или, может, малость полегче. Амброжий ее лечит, а вчера приходил и овчар из Воли, окурил ее и какие-то мази дал. Говорит, что месяца через два поправится, только на свет смотреть ей долго нельзя будет.

— Это, говорят, самое верное средство от ожогов, — сказала Ганка и, переложив ребенка к другой груди, стала с интересом расспрашивать о вчерашнем походе к немцам. Было уже совсем светло, заря окрасила небо, играя отблесками в воздухе, с деревьев капала роса, и в гнездах щебетали птицы. В деревне раздавалось блеяние овец и мычание скота, который гнали на пастбища. Кто-то отбивал косу, и ее тонкий, резкий звон дрожал в воздухе. Ганка, переодевшись с дороги, тотчас побежала к Бoryне. Он лежал в кузове под деревьями, укрытый периной, и спал.

— Отец, — зашептала Ганка, дергая его за руку, — Антек приедет через три дня! Его отправили в губернию, а Рох поехал туда с деньгами — внесет залог и уже вместе вернутся!

Старик вдруг сел, протер глаза и, казалось, слушал ее, но потом опять упал на постель и, натянув перину на голову, как будто уснул.

Бесполезно было с ним говорить. Да и некогда было — косари уже входили во двор.

— Вчера выкосили луг у капустного поля, — доложил Филипп.

— А сегодня ступайте за реку, к буграм, Юзья вам укажет.

— Это на Утиной Яме? Луг большой!

— И трава по пояс, густая, как лес. Не то что там, где вчера косили.

— А там плохая?

— Да, совсем высохла, — точно щетину косишь.

Они скоро ушли, только Матеуш что-то очень долго закуривал папиросу у Ягуси в комнате, а когда уходил, все оглядывался, как кот, которого отогнали от молока.

Из других домов тоже много людей уже шло косить.

Солнце встало огромное, красное, день обещал быть жарким.

Косари шли гуськом, впереди — Юзя с шестом. Кто шептал молитву, кто потягивался и протирали заспанные глаза. Вышли за мельницу. Луга еще курились редким туманом, но купы ольх издали казались охваченными пламенем, из-за синей дымки блестела река. Трава поникла под тяжестью росы, где-то уже стонали чайки, а в пронизанном утренними лучами воздухе влажно благоухали цветы.

Юзя довела косарей до насыпи, отмерила отцовский луг и, воткнув на границе шест в землю, убежала домой. А они сняли куртки, подвернули до колен штаны и, выстроившись в ряд, начали точить косы.

— Трава, как бараний тулуп, над ней попотеешь! — сказал Матеуш, выходя вперед и взмахнув для пробы косой.

— Да, высокая, густая, много они соберут сена! — отозвался другой, становясь с ним рядом.

— Только бы в ведро убрали, — добавил третий, поглядев на небо.

— Знаешь поговорку: "Когда мужик начнет луга косить, любая баба сумеет дождь выпросить", — засмеялся четвертый. — Ведь всегда, словно назло: как покос, так и дожди!

— Ну нет, в нынешнем году этого не будет! Начинай, Матеуш!

Все разом перекрестились, Матеуш затянул пояс потуже, расставил ноги, пригнулся, вздохнул всей грудью и, широко размахнувшись, начал косить. За ним и другие врезались в окутанный туманом луг и ровными, спокойными взмахами кос непрерывно хлестали траву. Со свистом летали холодные сверкающие лезвия, и тяжело ложилась трава, осыпая их росой, будто слезами.

Ветер слегка шевелил ее, чайки все жалобнее кричали над нею, иногда из-под ног косарей взлетали куропатки. А они, раскачиваясь справа налево, неумоимо косили и косили, шаг за шагом подвигаясь вперед. Только изредка кто-нибудь останавливался наточить косу или разогнуть усталую спину и опять с азартом косил, оставляя за собой все более длинные выкошенные полосы и глубокие следы ног.

Еще солнце не поднялось над деревней, а все луга стонали уже под косами, везде косили, везде сверкали в воздухе голубые лезвия, скрежетали точильные бруски и в воздухе стоял острый запах вянущей травы.

Погода была самая подходящая для сенокоса. В этом году не оправдалась старая поговорка: "Зазвенит коса — заплачут небеса". Наоборот, вместо дождей наступила засуха.

Дни вставали, облитые росой, горячие, как человек в лихорадке, и переходили в пышущие жаром вечера. Высыхали колодцы и речки, желтели хлеба, увядало все. На деревьях появились червячки, зелень на огородах облетела, коровы не давали молока, потому что голодными возвращались с выжженных солнцем пастбищ, — пасти скот на вырубках помещик разрешал только тем, кто платил ему по пяти рублей с головы, и, конечно, далеко не все могли выложить такую уйму денег.

Из-за всего этого людям все труднее становилось дотягивать до нового хлеба, а особенно тяжело было коморникам и другой бедноте.

Вся надежда была на то, что с Иванова дня начнутся дожди и на полях все оживет. Для этого даже уплатили ксендзу, чтобы отслужил молебен, но и молебен не помог — засуха продолжалась.

Многим нечего было есть, не утихали жалобы, ссоры и всякие стычки. Люди жили, как в бурлящем котле. И неудивительно, что, когда начался сенокос, все вздохнули свободнее. Батраки разошлись по усадьбам на заработки, а хозяева, глухие ко всяким новостям, с радостью взялись за косы.

Однако о немцах они не забыли, — чуть не каждый день кто-нибудь бегал в Подлесье подсматривать, что они делают.

Немцы по-прежнему сидели в Подлесье, но перестали рыть колодцы и возить камень. И как-то кузнец рассказал, что они предъявили помещику иск, а на липецких мужиков подали жалобу, обвиняя их в насилии.

Мужики вволю посмеялись над этим, и на лугах косари во время обеда только об этом и говорили.

Полдень был знойный, раскаленное солнце стояло высоко, небо нависло белесым туманом. Ни малейший ветерок не освежал воздуха, и в поле было жарко, как в огромной страшной

печи. Поникли в изнеможении листья, молчали птицы, негустые короткие тени не укрывали от солнца, в духоте остро пахло разогретой скошенной травой, и все кругом — поля, сады, хаты — словно охвачено было белым пламенем, все плавилось в раскаленном воздухе, дрожавшем, как кипятик на медленном огне. Даже река текла ленивее, без плеска, а вода в ней сверкала, как жидкое стекло, и была такая прозрачная, что виден был каждый пескарь, каждый камешек на песчаном дне, каждый рак, копошившийся в светлой тени у берега. Солнечная дремотная тишина обнимала мир, и только мухи жужжали вокруг людей.

Косари обедали на берегу у самой воды, под высокими ольхами. Матеушу обед принесла Настка, а тем, кто отработывал долг, — Ганка с Ягустинкой. Женщины сидели на траве и, закрывшись от солнца платками, с интересом слушали разговор.

— Я вам с самого начала твердил, что немцы не нынче-завтра должны будут убраться! — говорил Матеуш, выскребая ложкой дно кастрюли.

— И ксендз это самое говорит, — подтвердила Ганка.

— Будет все так, как захочет помещик, — ворчливо сказал Кобус, растягиваясь на земле под деревом.

— Что же это, немцы не испугались вашего крику и до сих пор не сбежали? — съязвила по обыкновению Ягустинка, но ее перебил кто-то:

— Кузнец говорил вчера, что помещик хочет с нами мириться.

— Одно мне странно: что Михал теперь с мужиками заодно!

— Значит, учуял, что ему это выгодно, — сказала Ягустинка.

— И мельник тоже, говорят, хлопотал перед помещиком за деревню.

— Все теперь за нас горой стоят! Благодетели, сукины сыны! — отозвался Матеуш. — Я вам скажу, почему они на нашей стороне: кузнецу пан посулил хорошую взятку за то, чтобы он его помирил с Липцами, а мельник испугался, как бы немцы не поставили свою ветряную мельницу на горке около креста.

— И пан, видно, мужиков побаивается, коли мира хочет?

— Угадала ты, мать, он-то больше всего нас боится! Сейчас я тебе растолкую, почему...

Матеуш не договорил, увидев, что от деревни во весь дух мчится Витек.

— Хозяйка, идите скорее! — кричал он уже издали.

— Что там? Горит, что ли? — Ганка в испуге вскочила.

— Хозяин чего-то раскричался!

Она побежала стремглав, не понимая, что случилось.

А случилось вот что: Мацей уже с самого утра сегодня был какой-то странный, беспокойный, он бормотал что-то, все срывался с постели и словно искал чего-то вокруг себя. Поэтому Ганка, уходя в поле, наказала Юзе хорошенько за ним присматривать. Девочка часто подходила к отцу, но до обеда он лежал спокойно и только сейчас вдруг начал громко кричать.

Когда прибежала Ганка, он сидел на краю постели и кричал:

— Куда вы мои сапоги девали? Давайте скорее!

— Сейчас принесут из чулана, сейчас! — успокаивала его перепуганная Ганка: он, казалось, был в полном сознании и грозно вращал глазами.

— Проспал, черт побери! — он широко зевнул. — Белый день на дворе, а вы спите! Вели Кубе борону готовить, сеять поедем!

Они стояли перед ним, не зная, что делать. Вдруг он согнулся и тяжело рухнул на землю.

— Не бойся, Ганусь... В глазах что-то потемнело... Антек в поле? В поле, а? — повторял он, когда его опять уложили в постель.

— В поле... С самой зари... — лепетала Ганка, не решаясь ему противоречить.

Он беспокойно озирался кругом и говорил без умолку, но одно слово разумное, а десяток — ни к селу ни к городу. Опять порывался куда-то идти, хотел одеваться и требовал сапоги. По временам хватался за голову и так страшно стонал, что даже на улице было слышно. Ганка, понимая, что конец близок, распорядилась перенести его в дом и под вечер послала за ксендзом.

Он скоро пришел со святыми дарами, но только соборовал Мацея и сказал:

— Больше ему уже ничего не надо, каждую минуту надо ждать конца.

Вечером всем показалось, что он умирает. Пришло много народу, и Ганка уже сунула ему в руки свечу, но он скоро успокоился и заснул.

На другой день то же самое. Он то узнавал людей и разговаривал, как человек в полном сознании, то целыми часами лежал, как мертвый. При нем неотступно сидела Магда. Ягустинка хотела было его окурить, но он неожиданно проворчал:

— Оставь, искры разлетятся, еще пожар наделаешь!

А когда в полдень прибежал кузнец и все заглядывал в полуоткрытые глаза больного, тот сказал со странной усмешкой:

— Не тужи, Михал... уже теперь скоро... скоро от меня избавитесь...

Отвернулся к стене и больше уже ничего не говорил. Он заметно слабел и все реже приходил в сознание. Около него теперь все время сидели, а больше всех Ягуся, с которой творилось что-то непонятное.

Она вдруг перестала ухаживать за больной матерью, оставив ее всецело на попечении Енджика, и засела у постели мужа.

— Я сама за ним присмотрю, это мое дело! — сказала она Ганке и Магде так твердо, что они не стали с ней спорить, тем более что у каждой из них было много других забот.

И Ягуся уже не выходила из комнаты. Не убегала больше от больного, как прежде. Какой-то смутный страх держал ее на привязи.

Вся деревня была на сенокосе, работа шла без роздыху. С самого рассвета, как только первые зори разгорались на небе, все уходило косить. Ряды мужиков в белых рубашках, как аисты, усеивали луга и, сверкая косами, целый день до вечера неутомимо трудились. Только и слышен был лязг кос о бруску да песни девушек, сгребавших сено.

Зеленая пушистая равнина кишела людьми, полна была шума и говора. Мелькали полосатые

штаны, красные юбки, как маки, горели на солнце, звенели косы, слышались песни и веселый смех, везде кипела дружная работа, а под вечер, когда багряное солнце клонилось к лесу и воздух был полон птичьих голосов, когда колосья и травы так и дрожали от музыки полевых сверчков, а с болот доносился хор лягушек, когда от земли поднимались такие ароматы, словно вся она была одной огромной каминой, по дорогам катились тяжелые возы с горами сена, возвращались с песнями косари, а на пожелтевших выкошенных лугах теснились стога и копны. Между ними бродили аисты, в воздухе с унылыми криками носились чайки, и белый туман напал от болот.

В открытые окна врывались голоса полей и людей, веселый шум жизни и труда вместе с запахами хлебов и цветов, разогретых солнцем. Но Ягуся была глуха ко всему.

В комнате стояла мертвая тишина. Сквозь кусты, заслонявшие солнце, сочился в окно зеленоватый дремотный сумрак. Жужжали мухи, да по временам стороживший хозяина Лапа зевал и, подходя, ластился к Ягне, которая целыми часами сидела без мыслей и движения.

Мацей уже не говорил ничего, не стонал, лежал спокойно, и только глаза его, ясные и блестящие, как стеклянные шарики, блуждали по комнате за Ягной, не отрываясь от нее ни на миг, пронизывая ее насквозь, как холодные ножи.

Напрасно она отворачивалась, напрасно старалась о них забыть — они смотрели из каждого угла, плыли в воздухе и горели так страшно и в то же время притягивали ее так непреодолимо, что она покорялась и глядела в них, как в бездонную пропасть. А иногда, словно борясь со страшным сном, жалобно умоляла:

— Да не глядите же так, душу вы мне всю вымотали, не глядите!

Должно быть, он слышал, потому что вздрагивал, лицо перекашивала судорога немого крика, а глаза смотрели еще страшнее, и по синим щекам тяжелыми крупными каплями катились слезы.

Тогда Ягуся, гонимая страхом, убегала на улицу. Смотрела из-за деревьев на луга, полные народу и веселого шума. И уходила с плачем. Шла к матери, но, заглянув в темную комнату, где пахло лекарствами, спешила уйти и отсюда.

И опять плакала.

Иногда выходила за дом, и тоскующий взгляд ее летел в широкий мир. И она плакала тогда еще отчаяннее, жаловалась горько, как птичка с поломанным крылом, покинутая стаей.

Так без перемен шли дни за днями. Ганка, как и все в деревне, была занята сенокосом и только на третий день с утра осталась дома.

— Суббота, сегодня уж Антек непременно вернется! — говорила она радостно, убирая комнату к приезду мужа.

Прошел полдень, а его все не было. Ганка выходила за костел, на тополевую дорогу, но там было пусто и тихо.

Люди торопились свезти сено с поля, так как все указывало на быструю перемену погоды: кричали петухи, солнце припекало еще сильнее, на горизонте висели тяжелые грозовые тучи, и поднялся ветер.

Ждали грозы и ливня, но прошел лишь короткий, хотя и сильный, дождь, иссохшая земля вмиг выпила его — только и было радости, что он освежил воздух.

Однако вечер был уже прохладнее, пахло сеном и мокрой землей, дороги лежали в густом

мраке, так как луна еще не взошла, и темное небо было только кое-где пронизано звездами. Сквозь сады мелькали огни и, как светляки, блестели в озере. Все ужинали на крылечках, слышался смех, где-то пела свирель. Скоро и птицы запели в садах, и поля заговорили тихим стрекотанием кузнечиков, голосами перепелов и коростелей.

У Борын тоже ужинали на воздухе. Под окном было людно, — по случаю окончания покоса Ганка пригласила всех работавших на нее на сытный ужин. Аппетитно пахла яичница с зеленым луком, дружно стучали ложки, каждую минуту раздавался крикливый голос Ягустинки, и шутки ее вызывали взрывы хохота. Ганка накладывала все новые порции и упрашивала всех есть побольше, а в то же время напряженно ловила ухом каждый звук на дороге и каждую минуту выбегала поглядеть, не едет ли муж.

Но Антека не было. Она только наткнулась на Терезку, которая, видимо, кого-то поджидала у плетня.

Матеуш не мог и слова добиться от Ягуси, она была сегодня угрюма и раздражительна. В сердцах он заспорил о чем-то с Петриком. Скоро прибежал Енджик звать Ягусю к матери.

После ужина все разошлись, один Матеуш что-то медлил и ушел гораздо позже остальных.

Вслед за ним вышла и Ганка за ворота, тщетно вглядываясь в темноту. Вдруг с берега до нее донесся сердитый голос Матеуша:

— Чего за мной ходишь, как собачонка? Не сбегу!.. И так уж про нас языки чешут! — Он прибавил что-то еще более неприятное, и в ответ послышался жалобный плач и слова, прерываемые всхлипываниями.

Ганку это не тронуло. Она ждала Антека, как могла она думать сейчас о чужих делах?

Предоставив Ягустинке хлопоты по хозяйству, она взяла на руки ребенка и, укачивая его, зашла к больному.

— Антек сейчас приедет! — крикнула она ему с порога.

Борына лежал, внимательно глядя на копящую лампу.

— Сегодня его выпустили, и Рох его ждет, — повторяла она над самым его ухом, счастливыми глазами ловя его взгляд, чтобы убедиться, что он понял. Но, видно, даже эта новость не проникла в его сознание: он и не шевельнулся, не взглянул на нее.

"Может быть, он уже входит в деревню... Может быть, сейчас..." — думала она, поминутно выбегая на крыльцо. Она была уверена, что он приедет, и от волнения словно лишилась рассудка: смеялась, разговаривала сама с собой, шаталась, как пьяная. Она поверяла темноте свои надежды, и даже коровам, когда доила их, рассказывала, что хозяин возвращается.

И ждала, ждала с минуты на минуту, чувствуя, что силы и терпение ее истощаются.

Надвигалась ночь, в деревне уже ложились спать. Ягуся, вернувшись от матери, сразу легла в постель, да и весь дом скоро уснул. Ганка еще долго ждала на крыльце, но, наконец, и она, выбившись из сил и наплакавшись, погасила свет и легла.

Весь мир отдыхал в тишине. Один за другим гасли в деревне огни, как глаза, сомкнутые сном. Вышел месяц на высокое темносинее небо, обрызганное мерцающим светом звезд, и поднимался все выше, летел, как птица на серебряных крыльях. Кое-где спали облака, свернувшись пушистыми белыми клубками.

И внизу на земле все живое, истомленное жарой, погрузилось в сладкий сон. Только какие-то птицы еще пели свои песни, воды шептали что-то сквозь сон да деревья, купаясь в лунном свете, вздрагивали, словно им снился день. Иногда лаяла собака или пролетающий козодой шумел крыльями, и снова наступала тишина. А низко стлавшийся туман медленно и заботливо укрывал землю, как задремавшую, утомленную мать.

У едва видных во мраке стен и в садах слышно было тихое дыхание — люди спали под открытым небом, спокойно доверяясь ночи.

И в комнате Мацея царила тишина, только сверчок трещал за печкой да сонные вздохи Ягуси трепетали в воздухе, как крылья мотылька.

Было, должно быть, уж очень поздно, пели первые петухи, когда Борына вдруг зашевелился на кровати, просыпаясь, и в эту минуту луна ударила в окно и плеснула ему в лицо волной серебряного света.

Он сел в постели и, качая головой, делая усиленные движения горлом, пытался что-то выговорить, но вместо слов слышно было только клокотанье.

Сидел довольно долго, водя по комнате бессмысленным взглядом, по временам перебирая пальцами в воздухе, словно хотел собрать в горсть мерцающую струю лунного света, слепившую ему глаза.

— Светает... Пора! — пробормотал он, наконец, спуская ноги с кровати.

Поглядел в окно, словно пробуждаясь от тяжелого сна. Ему казалось, что давно уже утро, что он проспал и его ждет какая-то спешная работа.

— Пора, пора вставать! — повторял он, часто крестясь и все начиная и не кончая молитву. В то же время он искал вокруг себя одежду, потянулся за сапогами к тому месту, где они всегда стояли, но, не найдя ничего, забыл, что хотел одеться, и беспомощно шарил руками около себя.

В мозгу у него путались воспоминания о каких-то работах, давнишних делах, отголоски того, что происходило вокруг за все время его болезни и проникало в его сознание мимолетными обрывками, бледными образами, стертыми, как комья земли на жнивье. Сейчас все это внезапно пробудилось, клубилось в мозгу, рвалось наружу, и он каждую минуту гнался за каким-то новым призраком мысли, мелькнувшим в мозгу, но раньше, чем успевал его поймать, призрак расползлся в памяти, как гнилая пряжа, и сознание металось, как пламя, которому нет пищи.

Так ранней весной снится, быть может, засохшему дереву, что пришла пора очнуться от зимнего оцепенения, пора выпустить сочные побеги, зашуметь с ветром и запеть радостную песнь жизни. Но не знает оно, что мечты его тщетны и бесплодны все усилия.

Все, что умирающий старик делал в эту ночь, он делал бессознательно, в силу многолетней привычки, — так лошадь, после многих лет хождения в воротах, очутившись на свободе, все еще кружится на одном месте.

Он отворил окно и выглянул в сад. Потом зашел в чулан, после долгого раздумья пошарил в печи и, как был, босиком, в одном белье, вышел из комнаты.

Двери на крыльцо были раскрыты настежь, сени залиты лунным светом. За порогом, свернувшись в клубок, спал Лапа. Шорох шагов разбудил его, он заворчал было, но, узнав хозяина, пошел за ним.

Мацей остановился на крыльце и, почесывая за ухом, делал усилия припомнить, какие же это

спешные работы его ждут.

Собака радостно прыгала ему на грудь, он погладил ее, как бывало, и озабоченно оглядывался по сторонам.

Было светло, как днем, месяц стоял уже над самой избой, с белых стен соскользнули голубые тени. Озеро блестело, как зеркало, деревня погружена была в глубокое безмолвие, только птицы заливались в ветвях.

Вдруг, что-то вспомнив, Мацей торопливо пошел во двор. Все хлева стояли открытыми, у стены конюшни храпели Петрик и Витек. Он зашел внутрь, потрепал лошадей по шеям, и они в ответ заржали. Потом мимоходом сунул голову в хлев — взглянуть на коров — и начал вытаскивать из-под навеса телегу, взялся уже было за дышло, но увидел блестевший за хлевом плуг, торопливо пошел к нему, — и, не дойдя, забыл о своем намерении.

Стоял посреди двора, поворачиваясь во все стороны, так как ему чудилось, что его зовут.

Прямо перед ним поднимался колодезный журавль, отбрасывая длинную тень.

— Ну, чего надо? — спросил Мацей и прислушался, ожидая ответа.

Сад, изрезанный полосами света, загородил ему дорогу, посеребренные луной листья о чем-то тихонько шептались.

"Кто меня зовет?" — думал он, трогая рукой стволы.

Неотступно ходивший за ним Лапа вдруг заскулил. Мацей остановился, глубоко вздохнул и сказал весело:

— Правда твоя, песик, сеять пора!

Но тут же позабыл и об этом. Все рассыпалось в памяти, как сухой песок сквозь пальцы, но всплывали все новые воспоминания и толкали его куда-то вперед. Бредовые мысли наматывались на сознание, как нить на веретено: она как будто убегает, а между тем остается на одном месте.

— Да, да... пора сеять... — промолвил он снова и бодро зашагал мимо гумна по тропинке, ведущей в поле. По пути наткнулся на злополучный сеновал, сожженный зимой и уже заново отстроенный. Хотел было его обойти и вдруг отскочил. Сознание на миг прояснилось, молнией вернулось назад в прошлое. Он вырвал из плетня кол и, держа его обеими руками, как вилы, с искаженным от ярости лицом бросился к столбам сеновала, готовый разить насмерть. Но раньше, чем нанес удар, бессильно выронил кол из рук.

За сеновалом, вдоль картофельных гряд, от самой дороги тянулся длинный участок запаханного поля. Мацей, дойдя до него, остановился и долго водил вокруг удивленным взглядом.

Луна плыла уже среди неба. Земля, залитая ее бледным сиянием, вся в жемчугах росы, казалось, заслушалась чего-то в тишине.

В мутной дали сливались небо и земля, с лугов тянулся белый туман, укрывая хлеба на пашне теплым и влажным мехом.

Высокой стеной стояла рожь, клонясь над межой под тяжестью колосьев, похожих на желтые клювы птенцов.

Пшеница уже созрела, стояла гордо, блестя темными усиками, а овес и ячмень едва

начинали куститься и зеленели, как луг, в желтой дымке тумана и лунного света.

Уже пели вторые петухи, была глухая ночь, поля отдыхали и словно дышали в глубоком сне — тихий шелест звучал, как эхо дневных забот и трудов. Так дышит мать, отдыхая среди детей, доверчиво уснувших у нее на груди.

Борына вдруг стал на колени и начал набирать землю в подол рубахи, воображая, что набирает из мешка зерно для посева. Набрал столько, что с трудом поднялся, и, перекрестясь, начал сеять.

Согнувшись, он ходил медленно, шаг за шагом, и благословляющим округлым движением руки сеял землю на поле.

Лапа ходил за ним. Когда какая-нибудь птица, вспорхнув из-под ног Мацея, летела прочь, пес гнался за ней, потом снова возвращался к хозяину.

А Борына, глядя прямо перед собой, в зачарованный мир весенней ночи, ходил по полю бесшумно, как призрак, благословляющий каждый комок земли, каждый стебелек, и сеял, сеял...

Он спотыкался о кочки, застревал в ямах, иногда даже падал, но ничего не замечал, ничего не чувствовал, кроме смутной, но непреодолимой потребности сеять.

Он дошел до самого края поля. Когда не хватало в подоле земли, набирал новой и сеял. А когда дорогу ему преграждали груды камней и колючий кустарник, он возвращался назад.

Он заходил далеко, туда, где уже и птичьих голосов не слышно было, в тумане исчезала из глаз деревня и вокруг расстилалось необозримое желтое море колосьев. Он терялся среди этих просторов, как заблудившаяся птица, как отлетающая с земли душа, потом опять, вынырнув поближе к деревне, возвращался в круг птичьего щебета и замолкшего на время шума человеческого труда, вынесенный на берег живого мира шумливыми волнами нив.

— Пускай борону, Куба, да полегче! — кричал он по временам воображаемому работнику.

И так проходила ночь, а он все сеял без устали. Изредка останавливался, чтобы передохнуть и размять кости, и опять продолжал свою бесполезную работу, никому не нужный труд.

А когда помутнела ночь, звезды померкли и запели петухи, возвещая рассвет, движения Мацея стали медленнее, он чаще останавливался и, забывая набрать земли, сеял из пустой горсти, словно он себя самого рассеивал всего без остатка на эти поля предков, сеял все прожитые дни, всю жизнь, которую получил в дар и теперь возвращал святым нивам.

И в эти последние минуты его жизни странное что-то творилось вокруг: небо посерело, как грубый холст, луна зашла, и весь окружающий мир вдруг словно ослеп, затонул в мутной пучине, и, казалось, что-то неведомое встало где-то и шло сквозь сумрак тяжелыми шагами, от которых колебалась земля.

Протяжный и зловещий шум донесся со стороны леса.

Задрожали деревья, одиноко стоявшие на межах, и дождь сухих листьев шурша посыпался на колосья. Закачались хлеба и травы, с взволнованного поля под ногами Мацея поднялся тревожный жалобный шепот:

"Хозяин! Хозяин!"

Зеленые усики ячменя тряслись, словно от рыданий, и горячими поцелуями приникали к натруженным ногам старика.

"Хозяин!" — казалось, молила рожь, заступив ему дорогу и роняя обильные слезы-росинки.

Уныло закричали какие-то птицы. Зарыдал ветер над его головой. Туман окутал его мокрой пеленой, а голоса все росли, крепили, звучали со всех сторон неумолчной жалобой:

"Хозяин! Хозяин!"

Он услышал, наконец, и, оглядываясь вокруг, тихо молвил:

— Да здесь я! Чего вам? Чего?

Сразу все стихло, и только когда он снова двинулся вперед, продолжая сеять отяжелевшей и пустой рукой, вся земля заговорила, как один могучий хор:

"Останься! Останься с нами! Останься!"

Он замер на месте, пораженный. Ему чудилось, что все двинулось ему навстречу: поползла трава, поплыли, качаясь, колосья, смыкались вокруг него поля, все вокруг вставало и двигалось на него. Страх охватил Мацея, он хотел крикнуть, но из сжатого горла не вырвалось ни единого звука, хотел бежать, но не было сил. Земля хватала за ноги, колосья опутывали его, борозды задерживали, твердые кочки не пускали дальше, деревья грозили ему, преградив дорогу, впивались в тело колючки, камни ранили, злой ветер гнал его, пугала ночь и эти голоса, звучавшие со всех сторон:

"Останься! Останься!"

Он вдруг помертвел. Все утихло и застыло на месте. Яркий, как молния, свет разорвал перед его глазами смертную мглу.

Небо раскрылось, и в ослепительном сиянии он увидел на троне из снопов Бога-отца, который протянул к нему руки и сказал ласково:

— Иди ко мне, душа человеческая! Иди, усталый труженик!

Зашатался Борына, раскинул руки и рухнул на землю мертвый.

Над ним занималась заря, а Лапа выл долго и жалобно.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЛЕТО

I

Так умер Мацей Борына.

В доме сегодня, по случаю воскресенья, заспались. Разбудил всех Лапа — он выл, царапался в дверь, а когда его впустили, дергал за одежду то одного, то другого и, выбегая, оглядывался, идут ли за ним. Ганку кольнуло недоброе предчувствие.

— Выйди, Юзька, посмотри, чего собака хочет.

Юзька весело побежала за Лапой, шая и дурачась всю дорогу. Лапа привел ее к труп Борыны.

На ее страшный крик все сбежались в поле. Окоченевший уже Мацей лежал, как упал в минуту смерти, — вниз лицом, раскинув руки, словно в последней жаркой молитве.

Его принесли в избу, пытались привести в чувство. Но все старания были напрасны — это был труп, холодный труп.

В избе поднялись отчаянные вопли. Голосила Ганка, Юзька с плачем билась головой о стену, Витек ревел так же громко, как ганкины малыши, и даже Лапа выл и лаял во дворе. Только Петрик повертелся туда-сюда, посмотрел на солнце и ушел спать в конюшню.

А Мацей лежал на своей кровати, вытянувшись, с раскрытым ртом, похожий на грудку сухой земли или трухлявый ствол старого дерева. В заочневшей руке сжимал он комок земли, в широко открытых глазах застыло выражение восторга, и они смотрели куда-то далеко, словно в разверзшееся перед ними небо.

Ужасом смерти, леденящим холодом веяло от него, и тело поспешили прикрыть рядом.

Весть о смерти Борыны вмиг разнеслась по деревне, и едва только выглянуло солнце из-за крыш, как в хату стали сбегаться люди. Каждую минуту кто-нибудь входил, поднимал край рядна, заглядывал покойнику в глаза, потом, опустившись на колени, читал молитву. Иные, ломая в отчаянии руки, стояли у кровати в горестном молчании, подавленные мыслью о бренности человеческой жизни. И только жалобные причитания осиротевшей семьи не утихали ни на минуту, слышны были по всей деревне.

Пришел Амброжий, выгнал всех из комнаты, запер дверь и вместе с Ягустинкой и Агатой, которая приплелась молиться над покойником, начал обрядовать его. Он всегда делал это охотно и сыпал при этом шутками да прибаутками, но сегодня у него почему-то было тяжело на душе.

— Вот оно, счастье человеческое! — бормотал он, раздевая умершего. — Схватит тебя Костлявая за горло, когда ей вздумается, — и пожалуйте на погост! Попробуй-ка, поспорь с ней!

Даже Ягустинка пригорюнилась и сказала уныло:

— Маялся только, бедняга, на этом свете — может, и лучше, что помер.

— Скажешь тоже! Плохо ему жилось, что ли?

— Ну, и хорошего он не много видел.

Ганка рассказала все по порядку.

— Хорошо, что Господь послал ему легкую смерть! — шепотом заметил кузнец.

— Заслужил он это, — ведь как намучился!

— Бедный! Даже в поля убежал от Костлявой!

— А вчера вечером я к нему заглядывала — он лежал тихо, как всегда.

— И ничего не говорил? — спросил кузнец, утирая сухие глаза.

— Ни словечка. Я ему перину оправила, дала попить и ушла.

— И он сам встал! Может, не умер бы еще, если бы около него кто-нибудь был! — простонала Магда сквозь рыдания.

— Значит, суждено ему было так помереть! Ведь сколько болел — больше трех месяцев! А если уж человеку не выздороветь, так самое лучшее для него — скорая смерть. Надо Бога благодарить, что перестал мучиться, — сказал кузнец.

— Сам знаешь, сколько денег мы переплатили докторам да на лекарства, а все ни к чему!

— Такой хозяин, такая голова, Господи Иисусе! — горевала Магда.

— Обидно мне, что Антек его в живых не застанет!

— Антек — не ребенок, плакать не будет... Надо о похоронах подумать.

— Правда. Вот как назло Роха нет!..

— Без него управимся. Не беспокойся, я все устрою, — сказал кузнец. Он делал грустное лицо, вздыхал и как будто слезы утирал, но под всем этим таил совсем иные чувства и не смотрел Ганке в глаза. Он принялся помогать Амброжию и, выбирая одежду для Мацея, долго рылся в чулане среди мотков пряжи и всякой рухляди, искал чего-то по углам и даже на чердак лазил — якобы за сапогами, которые там висели. Вздыхал, подлец, как кузнечный мех, молитвы бормотал громче Агаты, восхвалял доброту покойника, а глаза все время шныряли по углам и закоулкам, руки сами собой лезли под подушки, шарили в соломе, под периной с такой жадностью, что Ягустинка не выдержала и сказала с насмешкой:

— Как бы вы не нашли там кое-чего засохшего! А найдете, так держите крепче, чтобы не выскользнуло!..

— Кто не спешит, от того ничего не убежит! — буркнул кузнец и стал искать уже открыто, где только мог, не стесняясь даже Михала, племянника органиста, который, запыхавшись, прибежал за Амброжием.

— Идите в костел, там привезли крестить четверых ребят.

— Подождут. Не оставлю я покойника раздетым.

— Я все сделаю за вас, идите, Амброжий! — уговаривал его кузнец, видимо, желая от него избавиться...

— Нет, я взялся, так сам управлюсь. Не часто мне такого хозяина обрять приходится. Сделай там, что нужно, Михал, выручи меня! Пускай крестные обойдут вокруг алтаря с зажженными свечами... И тебе от них кое-что перепадет.

— В органисты готовится, а на обыкновенных крестинах прислуживать не умеет! — бросил он презрительно вдогонку уходившему Михалу.

Ганка привела Матеуша снять мерку для гроба.

— Смотри, дерева ему не жалея, сделай гроб побольше! Пускай хоть после смерти бедняге просторно будет, — грустно сказал Амброжий.

— Боже ты мой, при жизни тесно ему было и на влуках, а теперь в четырех досках поместится! — шепотом промолвила Ягустинка, а Агата перестала молиться и заняла:

— Вот хозяин был, так и похоронят его как следует, а бедный человек не знает даже, под каким забором помирать придется...

Матеуш только головой кивнул, обмерил тело, перекрестился и вышел.

В доме нашлись все нужные столярные инструменты, а сухие дубовые доски давно уже лежали наготове на чердаке. Матеуш соорудил, себе верстак в саду и принялся за работу, строго понукая Петрика, присланного ему на подмогу.

День наступил давно, сияло веселое, горячее солнце. Уже с самого утра изрядно припекало, сады и поля, казалось, медленно погружались в бурлящий беловатый кипяток накаливаемого воздуха.

Разомлевшие деревья изредка шевелили листьями, как шевелит крыльями птица, паря в знойном воздухе. Праздничная тишина стояла в деревне, только ласточки щебетали громче обычного и носились над озером, как шальные, а по дорогам, в сером облаке пыли, уже слышалось громыханье повозок — это ехали в костел жители ближних деревень. То и дело кто-нибудь сдерживал лошадей или останавливал их перед крыльцом Борыны, на котором плакала семья покойного, здоровался и, сочувственно вздыхая, заглядывал в открытые двери и окна.

Амброжий до того суетился и спешил, что с него градом лил пот. Когда уже и кровать Мацея вынесли в сад и постель развесили на плетне, он крикнул Ганке, чтобы она принесла можжевельных ягод — покурить в комнате.

Но Ганка не слышала. Утирая последние невольные слезинки, она не отрывала глаз от дороги, по которой с минуты на минуту должен был приехать Антек.

Однако проходили часы, а его все не было. Она уже хотела послать Петрика в город, чтобы он разузнал, что случилось.

— Ничего он не узнает, только лошадь зря измучает, — толковал ей Былица, который пришел только что вместе с Веронкой.

— Должны же там, в канцелярии, знать что-нибудь!

— Знать-то они знают... да, во-первых, сегодня воскресенье, все закрыто, во-вторых, — без смазки никуда не проберешься!

— Заждалась я, сил моих больше нет! — пожаловалась Ганка сестре.

— Успеешь еще им натешиться, еще он себя покажет! — прошипел кузнец, поглядывая на Ягсю, сидевшую на завалинке.

— Чтоб у тебя язык отсох!

— От колодок ноги небось затекли, не очень-то поспешишь! — язвительно добавил кузнец, разозленный бесплодными поисками денег.

Ганка не отозвалась больше ни словом — она опять смотрела на дорогу.

Зазвонили к обедне, и Амброжий собрался уходить, наказав Витеку, чтобы он смазал салом сапоги Мацея, потому что они так ссохлись, что невозможно было натянуть их на ноги покойнику.

Кузнец и Матеуш ушли вместе, а немного погодя ушли Былица и Веронка, забрав с собой ганкиных детишек, и в избе остались только женщины да Витек, который лениво смазывал сапоги, нагревая их у печки, и поминутно бегал смотреть на хозяина и на Юзьку, всхлипывавшую все тише и тише.

Затихло движение на улицах, все уже прошли в костел. Тихо стало и в избе у Борын, из открытых окон и дверей слышался только похожий на птичье щебетанье голос Агаты, молившейся вслух над покойником, и вместе с ним разносились по двору клубы ароматного дыма — это Ягустинка окуривала можжевельником комнаты и сени.

Ганке не сиделось на месте, и она вышла с четками молиться к самому перелазу.

"Вот и помер! Помер!" — думала она печально, перебирая четки, но молитва часто обрывалась, потому что в голове вертелся спутанный клубок самых разнообразных мыслей и опасений.

"Тридцать два морга, да выгоны, да лес, да постройки, да скот — этакое хозяйство!"

Она вздохнула, любовно оглядывая уходившие вдаль поля.

— Хорошо бы выплатить другим их долю и остаться здесь полными хозяевами — вот как был отец!

В ней вдруг заговорило тщеславие, она гордо посмотрела на солнце, многозначительно усмехнулась и с сердцем, полным сладких надежд, зашептала слова молитвы.

— Меньше чем полвлуки не возьму! Половина избы тоже моя, и молочных коров из рук не выпущу! — продолжала она уже вслух с некоторой досадой.

Опять начала молиться и молилась долго, обводя заплаканными глазами поля в золотом наряде из солнечных лучей. пышно колосившаяся рожь шелестела рыжими кудрями, ячмень переливался темным блеском, как глубокая вода, светлозеленый овес, густо проросший желтыми цветами полевой горчицы, купался в неподвижном жарком воздухе. Какая-то большая птица парила над цветущим клевером, который окровавленным платком лежал на склоне холма. Кое-где бобы тысячами белых глаз стерегли картофель, а в лощинах бледные цветы льна голубели, как зажмуренные от яркого света детские глаза.

Дивно было кругом, солнце грело все сильнее, и теплый воздух, напоенный запахами цветов, пылавших яркими красками среди колосьев и повсюду, веял с полей такой сладостной, живительной силой, что от радости сердцу тесно становилось в груди и слезы невольно подступали к глазам.

— Святая, родимая! — прошептала Ганка, склоняя голову.

Как птичка, защебетал в воздухе маленький колокол. Ганка опять начала молиться.

Вблизи что-то хрустнуло, и она оглянулась: под — вишнями, опершись на плетень, стояла Ягуся и грустно вздыхала.

"Ни минуты покоя нет!" — с досадой подумала Ганка. При виде Ягуси воспоминания обожгли ее, как крапива. "А ведь у нее есть дарственная запись! Целых шесть моргов! Грабительница!" — У Ганки даже под ложечкой засосало от злости. Она повернулась к Ягусе спиной, но не могла больше молиться, — старые обиды и ревность грызли ее, как злые собаки.

Было уже за полдень, от домов и деревьев поползли короткие тени, а в гуще колосьев, клонившихся в сторону солнца, тихо стрекотали кузнечики, изредка гудели шмели да кричали перепела.

Жара все усиливалась, становилась уже невыносимой.

Служба в костеле кончилась, и возвращавшиеся домой женщины присаживались на берегу

озера, чтобы снять башмаки. На улицах стало шумно от людей и повозок, и Ганка торопливо ушла в дом.

Борына был уже готов в последний путь.

Он лежал посреди комнаты на широкой лавке, накрытой холстом и уставленной по краям горящими свечами. Он был вымыт, причесан, гладко выбрит, одет парадно — в белый кафтан, который справил он себе к свадьбе с Ягусей, полосатые штаны и почти новые сапоги.

В натруженные иссохшие руки ему вложили образок Ченстоховской Божьей Матери. Под лавкой стояла лохань с водой для освежения воздуха в комнате, а на глиняных крышках курились ягоды можжевельника, наполняя комнату голубоватым туманом, в котором как-то сильнее ощущалось жуткое величие смерти.

Так лежал чинно в мертвой тишине Мацей Борына, человек разумный и справедливый, первый хозяин и богач в деревне. В последний раз приклонил он усталую голову под кровом отцов, словно птица перед отлетом, раньше чем взвиться в поднебесье и улететь туда, куда от начала веков отлетают все.

Он был готов к прощанию с родными и знакомыми, готов в свой далекий путь. Уже душа его покорно ждала суда божьего, а покинутая ею брэнная человеческая оболочка, этот жалкий труп, лежал с застывшей на лице легкой усмешкой среди свечей и курений, и над ним неустанно звучали слова молитв.

Люди шли и шли нескончаемой вереницей. Горестно вздыхали, били себя в грудь и горячо молились или стояли задумавшись, грустно покачивая головой и смахивая тяжелую слезу скорби. Шепот молящихся, заглушенные рыдания, говор, тихий, как вздохи, звучали вокруг покойника, как унылый шум осенних дождей. Беспрестанно входили и выходили — шли хозяйева и коморники, женщины и девушки, пожилые и молодые. Вся деревня толпилась в комнате и сенях, а у окон гурьба ребятишек подняла такой шум, что Витек, которому не удавалось их разогнать, даже пробовал натравить на них Лапу. Но пес его не послушался, он сегодня не отходил от Юзи, а по временам бегал вокруг избы и выл.

Смерть Мацея тучей нависла над деревней. День был чудесный, солнечный, благоухающий, а между тем печаль овевала хаты, странная тишина царила на всех улицах. Люди ходили вялые, скучные, глубоко удрученные, горестно вздыхали, разводили руками и задумывались над печальной участью человеческой.

Многие друзья покойного сидели на крыльце, соседи утешали Ганку, Магду и Юзьку, плача вместе с ними и громко жалея осиротевших.

Только к Ягусе никто не подходил с ласковым словом утешения. Хоть она и не любила, когда ее жалели, все же от этого всеобщего пренебрежения ей было так больно, что она убежала в сад и, забравшись в чащу, сидела там целыми часами, прислушиваясь к стуку молотка Матеуша, сколачивавшего гроб.

— Она еще смеет показываться людям на глаза! — прошипела ей вслед жена войта.

— Оставьте, не время сейчас для попреков! — сказала другая баба.

— Бог ей судья! — кротко добавила Ганка.

— За ваши попреки войт постарается ее вознаградить! — засмеялся кузнец.

Хорошо, что за ним в эту минуту прислали от мельника, — жена войта уже надулась, как индюшка, и готова была затеять ссору.

Кузнец с хохотом убежал, а бабы калякали еще о том о сем, но все ленивее, все тише, утомленные не то волнениями этого дня, не то жарой, которая становилась уже совсем невмоготу. Стояла необычайная духота, в воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка, ни один листик, ни один стебелек не шевелился, и хотя с полудня прошло уже немало времени, солнце жгло, как огонь, стены плакали смолой, и блекли изнемогающие цветы и травы.

Бабы сидели, нахохлившись, как наседки на песке. Их разморила духота, тишина и заунывный неумолкающий голос Агаты, все еще молившейся над покойником.

Только когда зазвонили к вечерне и все разошлись по домам, Ганка послала за кузнецом — он должен был идти с нею к ксендзу договариваться насчет похорон.

Витек вернулся очень скоро, но один, без кузнеца.

— Я и подступиться побоялся, потому что Михал сидит с паном у мельника, чай пьют! — объявил он, с трудом переводя Дух.

— С паном?

— Ну да, я ведь его знаю! Чай пьют с пирогом, я хорошо видел. А кони стоят в холодке и только ногами перебирают.

Удивленная Ганка не стала дожидаться кузнеца, после вечерни она приделалась и пошла в плebанию с Магдой.

В плebании все окна и двери были открыты настежь, но ксендза еще дома не было. Женщины сели и стали ждать. Через некоторое время служанка объявила, что ксендз на дворе и велел их позвать.

Ксендз сидел в тени у плетня, а посреди двора, подле здоровенной коровы, которую мужик держал на короткой веревке, с ревом вертелся большой пестрый бык. Работник ксендза с трудом удерживал его на цепи.

— Валек! Подожди немного, пускай он еще больше разохотится! — крикнул ксендз и, утирая вспотевшую лысину, подозвал к себе Ганку и Магду. Подробно расспрашивал их о смерти Мацея, ласково утешал и ободрял, а когда они заговорили про похороны и спросили, сколько это будет стоить, он резко и нетерпеливо перебил их:

— Об этом после. Я шкуры с людей не деру! Мацей был первый хозяин в деревне, значит и похороны должны быть не какие-нибудь. Да, не какие-нибудь! — повторил он сердито.

Женщины, не смея ничего сказать, только поклонились ему в пояс.

— Вот я вас, бесстыдники! — крикнул вдруг ксендз на детей органиста, подглядывавших из-за плетня, и опять повернулся к Магде и Ганке. — Ну, как вам нравится мой бычок, а?

— Красавец! Лучше Мельникова! — поддакнула Ганка.

— Далеко тому до моего! Присмотритесь-ка к нему! — Он подвел их поближе и с нежностью потрепал по спине быка, который рвался к корове, как бешеный, — Шея какая! А спина, а грудь! Дьявол — не бык! — восторгался он, пыхтя от удовольствия.

— Правда, я такого еще не видывала!

— То-то! Чистокровный голландец, триста рублей стоил!

— Столько денег! — удивлялись бабы.

— Копейка в копейку! Пускай его, Валик!.. Да осторожнее, корова-то не очень крепкая... Конечно, деньги за него плачены большие, но я беру всего по рублю десять копеек с коровы — хочу, чтобы в Липцах хорошие телята рождались! Мельник на меня сердит, да мне уже глядеть надоело на тех заморышей, что рождаются от его быка, — не телята, а коты какие-то!..

— Держи корову у самой морды, ворона, не то вырвется! — закричал он на мужика. Потом, увидев, что женщины стыдливо отвернулись, обратился к ним: — Ну, ступайте себе с Богом!.. А завтра — вынос в костел! — крикнул он уже вслед им и принялся помогать мужику, который не в силах был один удержать корову. — Будешь меня благодарить за теленка — таких ты еще никогда не видывал!.. Валек, проводи-ка быка, пусть остынет... Хотя такому дьяволу одна корова — что муха! — хвастал ксендз.

Ганка и Магда от него пошли к органисту — с ним надо было отдельно договориться насчет похорон. Жена органиста угостила их кофе, а за кофе, как водится, разговорились, и они вернулись домой, когда солнце уже клонилось к закату и скот гнали с пастбищ.

У крыльца, попыхивая трубочкой, стоял пан Яцек и разговаривал с Матеушем — он нанимал его распилить деревья для избы Стаха.

Матеуш отвечал уклончиво, как будто и не рад был этой работе.

— Дерево я распилю, не велико дело, а вот построю ли избу — этого еще не могу сказать... Может, уйду куда-нибудь... Надоела мне деревня! Еще не знаю, что буду делать, — говорил он, поглядывая на Ягусю, доившую перед хлевом корову. — Вот утром кончу гроб, тогда потолкуем, — торопливо добавил он и ушел.

А пан Яцек зашел проститься с покойником.

— Хоть бы сыновья в него пошли! — сказал он потом Ганке. — Хороший был человек и настоящий поляк! Во время восстания добровольно вступил в наш отряд и жизни не жалел — видел я его в деле! Да и погиб он из-за нас... Проклятие тяготеет над нами!.. — закончил он, словно про себя. А Ганка, хотя и не все поняла, была благодарна Яцеку за добрые слова о покойнике и поклонилась ему в ноги.

— Оставьте! Я такой же человек, как и вы! — крикнул он гневно. — Глупая! Пан — не святой!

Он еще раз взглянул на Мацея, зажег от свечи свою трубку и вышел, не ответив на приветствие кузнеца, входившего в эту минуту в сени.

— Ишь, какой гордый стал! Нищий, черт его дери, а важности хоть отбавляй! — со злобной насмешкой бросил кузнец ему вслед. Но он был чем-то очень доволен и, тотчас подсев к жене, стал шептать ей на ухо:

— Наша взяла, Магдуся! Помещик хочет мириться с мужиками. Просит, чтобы я ему помог. Ясное дело, мне тут перепадет немало! Только смотри, баба, — ни гу-гу! Дело это важное.

Он заглянул к покойнику, повертелся и ушел в деревню сзывать мужиков в корчму на совет.

Смеркалось, вечерняя заря угасла, и небо напоминало ржавую жесьь, присыпанную пеплом, — лишь кое-где еще горели облачка, пронизанные золотистым светом заката.

А когда наступил вечер и вся работа по хозяйству была проделана, родня снова собралась около Мацея. Свечи у изголовья горели ярко. Амброжий то и дело подрезал фитили, не переставая нараспев читать над покойником, за ним и остальные повторяли слова молитвы, перемежая их плачем и причитаниями.

В комнате было тесно и душно, и потому соседи стояли на коленях во дворе под окнами и тоже тянули печальную мелодию зауспокойной молитвы. Казалось, что поет весь сад. А на мир уже медленно надвигалась ночь, в деревне ложились спать, в садах белели постели, огни в хатах гасли один за другим. Беспokoйно кричали петухи, нарушая сырую и душную тишину, какая бывает перед переменной погодой.

До поздней ночи пели над Боруной, а когда разошлись, остались при нем только Амброжий и Агата, чтобы бодрствовать до утра.

Оба пели сначала громко, потом, когда ничто уже не нарушало глубокого безмолвия ночи, их стало клонить ко сну, пение перешло в невнятное бормотанье. Они задремали и не просыпались даже тогда, когда приходил Лапа и, тихо скуля, лизал намазанные салом сапоги покойника.

Около полуночи густой мрак окутал землю, погасли звезды, небо заволокло тучами, и вокруг стало как будто еще тише, лишь иногда вздрагивало какое-нибудь дерево и сыпался тихий, пугливый шелест или срывался откуда-то странный звук — не то крик, не то отдаленный зов, — и пропадал неведомо где.

Деревня, погруженная в глубокий сон, словно лежала на дне темного колодца, и одна только изба Боруны слабо светилась во мраке, а в открытое окно виден был Мацей, окруженный желтыми огоньками свечей и голубоватым облаком курений. Амброжий и Агата, уронив головы на стол, храпели на всю комнату.

А короткая летняя ночь проходила быстро, словно ей надо было куда-то поспеть до первых петухов. Догорали свечи, гасли одна за другой, как глаза, уставшие смотреть на мертвеца, и к рассвету осталась только одна, самая толстая, золотым острием мерцавшая в темноте.

Но вот серый туманный рассвет лениво сполз с полей и заглянул в окна, прямо в лицо Боруны, и лицо это как будто ожило, — казалось, мертвец проснулся от тяжелого сна и, слушая первое щебетанье птиц в гнездах, смотрел сквозь потемневшие веки в далекое еще сияние утренней зари.

Светало все больше, утро разгулялось, подобно снежной метели. Небо светлело, как пригретое солнцем полотно, разостланное для беления на лугу. С полей потянуло прохладой, сонно вздохнуло озеро, из-под темной завесы ночи показались леса, как черные тучи, а одиноко стоявшие деревья раскинули в свете утра свои верхушки, как пучки черных перьев. Уже и первый ветер прилетел, затормошил сады, повеял в лицо людям, спавшим под окнами.

Но очень немногие проснулись и открыли глаза. Все еще нежились в сладкой ленивой дремоте, как бывает всегда после праздника.

Скоро и день настал, но какой-то пасмурный и печальный. Солнца еще не было, а в полях уже звенели жаворонки, громче журчали ручьи, всколыхнулись и зашумели нивы, ударяясь колосьями о межи и дороги. Со дворов неслось уже тоскливое блеяние овец, где-то сварливо гоготали гуси, горланили петухи. Кое-где звучали и голоса людей, скрипели ворота, ржали лошади, начиналось движение и обычная утренняя суета. Деревня просыпалась и понемногу принималась за привычный труд.

Только у Боруны было еще тихо. После пережитых волнений все спали так крепко, что храп слышен был даже во дворе.

Ветер залетал в открытые двери и окна, с протяжным свистом носился по комнатам, колебал пламя последней свечи. Тщетно трепал он волосы покойника — не пошевелился Боруна, не проснулся, не вскочил, чтобы взяться за работу, не подгонял и других. Лежал мертвый, тихий,

холодный, как камень, глухой ко всему.

Ветер, набрав силы, ринулся в сад — и все закачалось, зашелестело, зашумело. Все словно пыталось заглянуть в синее лицо Борыны: смотрел на него пасмурный день, смотрели растрепанные ветром деревья, а стройные, гибкие мальвы за окном, как девушки, низко кланялись ему.

Со двора часто залетала пчела, или мотылек устремлялся прямо на огонь свечи, или, испуганно щебеча, нечаянно влетала заблудившаяся ласточка, носились мухи, заползали жучки и всякая другая божья тварь, и с ними плыло в комнату тихое жужжанье, звон, и шорох крыльев, и щебетанье, сливаясь в один голос живой и нежной грусти:

"Умер! Умер! Умер!"

Все живое трепетало и глухо рыдало, изливая свою скорбь. Но вдруг наступило тревожное молчание, ветер утих, все словно притаило дыхание и пало ниц, ибо в сером сумраке встало огромное красное солнце. Оно поднялось над миром, окинуло его властным и живительным взором и скрылось в клубящихся тучах.

Потемнело вокруг, и не прошло и пяти минут, как полил теплый частый дождик, и тотчас все поля и сады наполнились монотонным шелестом и плеском.

Заметно похолодало, на дорогах запахло мокрой землей, громче запели птицы, а в серой дрожащей пыли дождя, завесившей даль, жадно пили хлеба, пили вянущие листья, пили деревья, и высохшие русла ручейков, и опаленная земля, — пили долго и с наслаждением, благодарно вздыхая:

"Спасибо, брат дождь! Спасибо, сестрица туча! Спасибо!"

Шум дождя разбудил Ганку, спавшую у самого окна. Она первая вскочила с постели и помчалась в конюшню.

— Петрик! Вставай, дождь идет! Беги скорее клевер сгребать, пока он не перемок совсем! Витек, лентяй ты этакий, выгоняй коров! В деревне уже всех выгнали! — кричала она сердито, выпуская из хлева гусей, которые, радостно гогоча, побежали плескаться в лужах.

Ганка выгоняла во двор свиней, когда пришел кузнец. Они столковались, что нужно купить для завтрашних поминок, кузнец взял деньги, чтобы сейчас же ехать в местечко, но, уже сидя в бричке, подозвал Ганку и сказал вполголоса:

— Ганка, дай мне половину, тогда я никому и не заикнусь, что ты старика обобрала. Покончим это дело миром!

Она покраснела, как свекла, и запальчиво крикнула:

— Бреши хоть перед целым светом! Ишь, сам на всякую подлость готов, так и других на свой аршин мерит!

Кузнец только глазами сверкнул, подергал усы и, хлестнув лошадей, уехал.

А Ганка ретиво принялась за работу. Ведь такое большое хозяйство требовало забот. Надо было немало поработать и руками и головой, чтобы со всем управиться. И скоро ее повелительный голос, как всегда, раздавался уже во всех углах двора.

Около Борыны зажгли две новых свечи и прикрыли его простыней. Агата все еще бормотала над ним молитвы и подсыпала на уголья можжевельниковых ягод.

Ягуся пришла от матери только после завтрака. Ей было жутко в комнате, где лежал покойник, и она растерянно слонялась по двору, часто поглядывая на Матеуша, который перешел работать в овин. Гроб был уже готов, и он малевал на крышке белый крест, когда Ягна остановилась у входа.

Она молчала, со страхом глядя на черную крышку гроба.

— Вдова ты теперь, значит, Ягусь! — сказал Матеуш с участием.

— Да, вдова, — отозвалась она тихо, со слезами в голосе.

Матеуш смотрел на нее с искренней нежностью: она исхудала, была бледна как полотно, и выражение лица у нее было жалобное, как у обиженного ребенка.

— Да, такова уж судьба человеческая, — сказал он грустно.

— Вдова, вдова! — повторила Ягуся, и голубые глаза ее наполнились слезами, тяжелые вздохи разрывали грудь. Она убежала за дом и, стоя под дождем, плакала так долго и горько, что даже Ганка сжалилась над нею, увела ее в комнату и пыталась успокоить и утешить.

— Слезами горю не поможешь... Нам нелегко, а уж тебе, сирота, и подавно! — говорила она ласково.

— Слезы слезами, а году не пройдет, как пропою на ее свадьбе такого "Хмеля", что ошалеет!  
— насмешливо сказала Ягустинка.

— Не время теперь шутки шутить! — осадил ее Ганка.

— Правду говорю. Красавица она, молодая, богатая — да ей палкой придется женихов разгонять!

Ягна ничего не ответила, а Ганка вышла во двор отнести пороссятам корм и опять стала глядеть на дорогу.

"Что такое случилось? — думала она с тоской. — Его еще в субботу должны были отпустить, а сегодня понедельник — и ни слуху ни духу!"

Но печалиться было некогда — надо было сгребать остаток сена и весь клевер, так как дождь все усиливался и лил уже без передышки.

А вскоре после полудня пришли ксендз и органист, пришли члены костельного братства со свечами, собрались опять соседи и знакомые. Мацея положили в гроб, Матеуш забил крышку, ксендз прочитал молитвы, и под тихое пение повезли Боруны в костел, где уже раздавался погребальный звон.

Когда семья Боруны вернулась из костела, им показалось в комнатах так пусто, жутко и тихо, что Кузька разрыдалась, а Ганка сказала Ягустинке, убиравшей избу:

— Ведь он столько времени лежал, как труп, а все-таки в доме чувствовался хозяин!

— Вот вернется Антек, и опять будет в доме хозяин, — льстиво отозвалась старуха.

— Ох, поскорее бы вернулся! — вздохнула Ганка.

Но, посмотрев в окно на серую завесу дождя, который все лил и лил, она еще раз-другой вздохнула, отерла слезы и принялась подгонять всех:

— Скорее, скорее, люди! Кто бы ни помер, хоть самый большой человек, — канет, как камень

в воду, и никто уже его не вернет. А земля не ждет, над ней надо трудиться.

И повела всех окучивать картофель. Только Юзя осталась дома присматривать за детьми. Она к тому же была нездорова и все еще никак не могла успокоиться. Лапа ни на шаг не отходил от нее, а питомец Витека, аист, как часовой стоял на крыльце на одной ноге.

Теплый дождь, мелкий, но частый, не утихал ни на минуту, и птицы перестали петь, все притаилось, затихло и, казалось, заслушалось этого немолчного, звонкого шепота капель. Только изредка кричали гуси, плескаясь в синих лужах.

А перед самым закатом выглянуло яркое солнце и зажгло красные огоньки в лужах и каплях.

— Завтра уж наверняка ведро будет! — говорили мужики, возвращаясь с поля.

— Хоть бы он еще шел! Такой дождь — чистое золото!

— Картошка чуть было не пропала совсем!

— А овес! И его спалило...

— Всему дождик на пользу пойдет!

— Эх, если бы так хоть дня три лил! — вздохнул кто-то.

Дождь шел все так же ровно и тихо до самой ночи, и люди наслаждались, стоя перед хатами на прохладном благоухающем воздухе. Сыновья Гульбаса сзывали девушек и парней за деревню, на жнивье — жечь костры, потому что сегодня был канун Иванова дня. Но из-за дождя и темноты мало нашлось охотников. У леса только кое-где зажглись бледные огни.

Витек с самых сумерек уговаривал Юзю идти с ним туда, к кострам, но она грустно отвечала:

— Не пойду, не до забав мне, ничего мне не мило...

— Да мы только зажжем, перепрыгнем через огонь и сейчас домой! — умолял Витек.

— Сиди дома, не то Ганке скажу! — пригрозила ему Юзя.

Но он все-таки убежал и вернулся после ужина, голодный, весь в грязи.

Дождь шел всю ночь и прекратился только утром, когда уже совсем рассвело и люди шли в костел на отпевание Бороны.

Солнца, однако, не было, и в серой дымке пасмурного утра еще ярче зеленели поля и сады, а ручьи вились серебряной пряжей. Воздух был свеж и ароматен, с деревьев при малейшем дуновении обильно сыпались капли, птицы заливались, как шальные, весело лаяли собаки, носясь по улицам вместе с ребятишками, все голоса летели высоко и звучали как-то особенно радостно. Даже земля, напившаяся досыта, казалось, кипела в неудержимом порыве роста.

В костеле ксендз отслужил заупокойную обедню, и они со слупским ксендзом и органистом, сидя перед главным алтарем, нараспев молились по-латыни.

Борына лежал высоко на катафалке, окруженный лесом пылающих свечей, а около него стояли на коленях все односельчане, молились и слушали протяжное и заунывное пение. Заупокойная молитва то поднималась до вопля отчаяния, такого страшного, что волосы вставали дыбом и жестокая боль терзала сердце, то переходила в тихие стоны глубокой скорби, от которых замирала душа и невольные слезы текли из глаз, то уносилась в небо

дивным ангельским пением, сулившим вечное блаженство, и тогда люди вздыхали глубоко, отирали слезы, а иные — плакали навзрыд.

Длилось это добрый час, а когда кончилось, поднялся шум, движение, все вставали с колен. Амброжий снимал свечи с катафалка и раздавал их прихожанам, а ксендз еще что-то пропел, окадил гроб, так что воздух стал голубой от дыма, и двинулся к дверям вслед за крестом.

Гроб подняли первые люди в Липцах, вынесли его под громкий плач и вопли и поставили на телегу, выстланную соломой. Ягустинка тайком, чтобы не увидели ксендзы, сунула под соломой каравай хлеба, обернутый в чистую полотняную тряпку. Петрик натянул вожжи и, щелкая кнутом, в нетерпении оглядывался на ксендзов.

Печально зазвонил колокол, вынесли черные хоругви, запылали огоньки свечей, Стах поднял и понес крест, а ксендзы запели: "Miserere mei Deus".[25]

Мрачная песнь смерти зарыдала над головами толпы безграничной скорбью и ужасом.

Двинулись медленно по тополевой дороге на кладбище.

Черная хоругвь с изображением черепа затрепыхалась на ветру, как страшная птица, и понеслась впереди, а за ней сверкал серебряный крест, шли ксендзы в черных облачениях и тянулась длинная вереница прихожан с горящими свечами.

Телега с гробом, поставленным высоко, чтобы он всем был виден, ехала среди дороги, за ней шли родные покойника, оглашая воздух стонами и плачем, а по сторонам в скорбном молчании двигалась вся деревня. Даже больные и калеки не захотели остаться дома.

Низко нависло серое, мутное небо, словно опираясь на могучие тополя, склоненные над дорогой. Казалось, все кругом заслушалось погребального пения. А когда порыв ветра расшевелил травы и деревья, с них, как тихие горькие слезы, закапала роса, и взволнованная рожь тихо качала тяжелыми колосьями, клонилась все ниже, прощаясь с хозяином последним земным поклоном.

Пение ксендзов расплылось в воздухе, и суровая тишина сошла на души, только колокола все стонали, гудели, о чем-то зывали к хмурому небу, к лесам и туманной дали. Над полями заливались жаворонки, порой скрипела телега, шуршали хоругви, чавкала под ногами грязь и слышался горький сиротливый плач.

Ксендз опять запел, и от этого заунывного пения слезы снова навертывались на глаза, сжималось сердце, и все глаза тревожно и беспомощно поднимались к облачному небу, словно моля его о милосердии. Как едкий дым, тянулись печальные, безнадежные мысли.

О судьба человеческая, неумолимая судьба!

Что все наши тяжкие труды? Что жизнь человека? Исчезнет он без следа, как снег, и родные дети о нем не будут помнить.

Все — одно только горе, слезы и мучения!

Что такое счастье человеческое, все радости наши и надежды? Только дым один, прах, обманчивые призраки, ничто...

И что такое ты сам, человек, ты, надменный, дерзко считающий себя выше всех тварей земных?

Ты только ветер, что неведомо откуда приходит, неведомо зачем мечется и неведомо куда уходит.

И ты, человеке, мнишь себя владыкой мира?

Но хотя бы тебе сулили здесь рай — ты должен будешь его покинуть!

Хотя бы ты одарен был великой мощью — смерть ее у тебя вырвет.

Хотя бы тебя признали величайшим мудрецом — ты станешь прахом!

И не одолеешь ты судьбы, несчастный, не победишь смерти, нет!..

Ибо беззащитен ты, слаб, недолговечен, как листок, гонимый ветром.

Ибо ты в когтях смерти, как птенчик, взятый из гнезда: щебечет он радостно поет, трепещет крылышками, а того не знает, что его сейчас придушит коварная рука и отнимет милую жизнь.

О душа, зачем же выбрала ты своей обителью бренное человеческое тело? Зачем?

С такими мыслями и чувствами шли люди за гробом, печально озирая зеленые поля и тяжело вздыхая. От невыразимой тоски каменели лица, трепетали сердца.

— *Secundum magnam misericordiam tuam.*[26]

Тяжелые латинские слова падали, как комья мерзлой земли, и люди невольно клонили головы, словно под неумолимой косой смерти, но шли вперед неудержимо, Шли, упрямые и безропотные, серые и крепкие, как камни на межах, готовые ко всему и неустрашимые, подобные и пустым перелогам, и буйно цветущим полям, силой и хрупкостью своей равные деревьям: в них каждую минуту может ударить молния и предать их в руки смерти, а они гордо тянутся к солнцу и поют радостную песнь жизни...

Шли всей деревней, теснясь и толкаясь, но каждый был так погружен в печальные мысли, что шел словно один в необозримой пустыне, всеми покинутый, и, глядя вдаль, сквозь слезы видел отцов, дедов и прадедов, которых снесли туда, на кладбище, мелькавшее уже впереди между толстыми стволами тополей...

Оно было недалеко, это кладбище. За полями выростали купы деревьев, кресты, могильные холмики, и казалось оно страшной, бездонной ямой, в которую медленно, но неуклонно сходит все живое. И многим чудилось, что со всех сторон сквозь дождь гудят колокола, пылают свечи, трепещут в воздухе черные хоругви и плывут погребальные напевы, из всех хат выносят гробы, по всем дорогам тянутся похоронные процессии, и каждый человек кого-то оплакивает, рыдает так, что небо и земля полнятся стонами и с немолчным шумом льются потоки слез, горьких, как полынь...

Процессия уже свернула на дорожку к кладбищу, когда ее догнал помещик. Он вышел из экипажа и зашагал рядом с гробом, в страшной тесноте, так как дорожка была узкая, густо обсаженная березками, и по обеим сторонам ее стояли хлеба.

Вошли на кладбище и понесли гроб на руках по желтым дорожкам, среди пестревших цветами могил, за часовню, где в чаще орешника и сирени уже ждала свежерытая могила.

Громкие рыдания и вопли раздирали воздух.

Хоругви и горящие свечи окружили глубокую могилу, народ затеснился к ней, со страхом заглядывая в пустую желтую яму.

Ксендз стал на кучу выброшенного из ямы песка, повернулся лицом к толпе и начал громко:

— Народ христианский!

Все сразу притихли, только стонали колокола вдали да Юзька, обхватив руками гроб отца, отчаянно голосила, ни на что не обращая внимания.

Ксендз взял понюшку табаку из табакерки, чихнул раз-другой и, глядя на толпу сквозь выступившие на глазах слезы, заговорил громко:

— Братья, кого же вы сегодня хороните? Кого? Вы мне ответите: Мацея Борыну. А я вам скажу: первого хозяина в Липцах, почтенного человека и доброго католика. Знал я его много лет и свидетельствую: жил примерно, Бога почитал, исповедовался и причащался и беднякам помогал. Да, да, помогал, это я вам говорю!

Ксендз перевел дух и продолжал растроганно:

— И умер, бедняга, умер! Смерть унесла его, как уносит волк из стада самого жирного барана, среди бела дня, у всех на глазах, и никто ему помешать не может. Как падает высокое дерево, в которое ударила молния, так и он пал под жестокой косой смерти.

Но, как говорится в святом писании, не весь он умер. И вот подошел этот странник к воротам рая, стучится и жалобно просит впустить его. А Святой Петр спрашивает:

— Кто ты?

— Я Борына из Липец.

— Что же, так тебя ближние твои допекли, что пришлось из жизни уйти?

— Все вам объясню, — говорит Мацей, — только отворите, дайте отогреться милосердием Божиим, замерз я совсем в земном скитании.

А Святой Петр, хоть и приоткрыл маленько ворота, все еще не впускает его и говорит:

— Только не ври, потому что никого тут ты не обманешь. Говори смело, душа человеческая, почему сбежала с земли?

— Всю правду скажу, как на духу! Невтерпеж мне стало на земле: люди там, как волки, грызутся между собой, и так плохо на свете, что всего и не перескажешь... Все лишь ссоры, нелады, грех один, да и только. Бес вселился во всех и царят на земле разврат, пьянство, злоба...

Забыл народ о послушании, о честности, брат восстает на брата, дети на отцов, жены на мужей, слуги на господина... Не почитают никого — ни стариков, ни начальства, ни даже ксендза!..

Везде хитрость одна, жульничество да воровство. Что имеешь, держи крепко, не то вырвут из рук!

Будь это самый лучший луг — потравят и вытопчут!

Норовят запахать от чужого поля хотя бы самый маленький клочок.

Курицу выпустишь со двора — живо утащат, как волки. Куска железа, веревки нельзя оставить — будь они хоть ксендзовы, непременно украдут!

Пьют, развратничают, в божий храм не ходят, хуже язычников!

— И это в Липецком приходе такое творится? — перебил его Святой Петр.

— И в других тоже, но в Липецком — хуже всего.

Святой Петр брови нахмурил и сказал, грозя земле кулаком:

— Так вот вы каковы, липецкие! Ах вы, разбойники мерзкие! Живете хорошо, земля у вас плодородная, и выгоны есть, и луга, и леса участок, а вы, псы поганые, с жиру беситесь! Вот скажу Господу, он вас к рукам приберет!

Мацей стал своих защищать, но Святой Петр еще больше разгневался, да как топнет ногой, как закричит:

— Нечего за этих сукиных сынов заступаться! Вот я тебе что скажу: даю им сроку три недели. Если не исправятся, — так их прижму голодом, да пожарами, да болезнями, что попомнят меня, негодяи этакие!

Так грозно говорил ксендз, потрясая кулаками, а люди плакали, били себя в грудь и каялись.

Отдышавшись, он опять заговорил о покойнике, о том, что он погиб за всех. И призывал их к миру и согласию, призывал образумиться и не грешить, ибо неизвестно, для кого пробьет завтра последний час и кому придется предстать перед Страшным Судом божьим.

Даже помещик и тот утирал кулаком глаза.

Скоро ксендзы кончили свое дело и ушли вместе с помещиком. Гроб опустили в могилу и стали засыпать, и тут поднялся такой плач, такие причитания, что самое жестокое сердце дрогнуло бы.

Ревела Юзька, ревели Магда и Ганка, голосили родственники, близкие и дальние, и совсем чужие. А всех больше плакала — разливалась Ягуся. Что-то так сжало ей сердце, что она кричала, как безумная.

— Теперь воеет, а при жизни Мацея что проделывала! — буркнула одна из баб, а Плошкова, утирая глаза, подхватила:

— Плачем хочет разжалобить его детей, чтобы из дому ее не выгнали!

— Думает, что найдутся дураки, поверят! — громко сказала и жена органиста.

Но Ягна ничего не слышала и не видела, она упала на землю и плакала так отчаянно, словно это на нее сыпались тяжелые сыпучие струи песка, над ней звучал мрачный погребальный звон, ее оплакивали...

А колокола гудели, жалуясь небесам, и все эти рыдания и вопли над свежей могилой звучали жалобой на неумолимую судьбу, на извечную несправедливость к человеку.

Стали понемногу расходиться. Одни в грустном раздумье бродили среди могил, другие не спеша направились домой, выжидательно оглядываясь назад, так как Ганка и кузнец приглашали некоторых на поминки после похорон.

В доме Борыны все уже было приготовлено: вдоль стен стояли столы и длинные скамьи, и, как только все уселись, подали водку и хлеб.

Выпили чинно, в молчании, закусили, и органист начал читать молитвы, потом запели литанию, умолкая только тогда, когда кузнец пускал круговую новую бутылку, а Ягустинка разносила хлеб.

Женщины собрались на другой половине, у Ганки. Пили чай, заедали сладкими пирогами и

пели — да так заунывно и пронзительно, что даже куры в саду раскудахтались.

Угощение было обильное, Ганка потчевала от всей души, ничего не жалея. В полдень, когда многие уже стали братья за шапки, подали еще клецки с молоком, потом жареное мясо с капустой и горох, щедро политый маслом.

— Другие и свадьбу так не справляют! — шепнула Болеславова.

— Да ведь мало ли покойный им оставил!

— Есть у них чем утешаться!

— Должно быть, и наличных денег порядочно осталось.

— Кузнец жалуется, что деньги у покойника были, да куда-то пропали.

— Жалуется, а сам небось хорошо их припрятал!

Так шушукались между собой женщины, дочиста выскребая миски и поглядывая, не слышит ли их Ганка, все время хлопотавшая, чтобы у гостей еды было вдоволь.

На мужской половине за столами становилось все шумнее, лица все больше багровели, беспрестанно звенели рюмки. Любители выпить, которым мало было угощения, уже выбирались потихоньку из дома и шли в корчму.

Один лишь Амброжий был сегодня на себя не похож. Пил-то он не меньше других, а то и больше, но сидел в углу, как пришибленный, все тер глаза и тяжело вздыхал.

Кто-то попробовал его расшевелить, вызвать на забавные шутки.

— Не трогай меня, я сегодня невесел! — плаксиво забормотал Амброжий. — Помру скоро, помру... Только собаки по мне выть будут да баба зазвонит в разбитый горшок... Как же, ведь я на крестинах Мацея был... на свадьбе его танцевал! Родителей его хоронил! Хорошо помню... Господи Иисусе, сколько я народу в могилу проводил, сколько за упокой отзвонил... А теперь пора и мне!..

Он вдруг встал и торопливо ушел в сад. Витек потом рассказывал, что старик допоздна сидел за хатой и плакал.

В сумерки неожиданно пришли ксендз и помещик.

Ксендз благосклонно поговорил с родными Мацея, утешал их, приласкал детей и, беседуя с бабами, с удовольствием попивал чай, а помещик, потолковав с тем, с другим, взял из рук кузнеца рюмку, чокнулся со всеми и сказал Ганке:

— Я всех больше жалею, что Мацей умер. Был бы он жив, так я бы помирился с мужиками. Может быть, даже отдал бы то, чего они с самого начала хотели! — Он заговорил громче, обводя всех глазами. — Но с кем же мне об этом толковать? Через комиссара не хочу, а из деревни никто первый ко мне не обратился!

Мужики слушали молча, сосредоточенно, взвешивая каждое слово.

Помещик говорил еще что-то, подъезжал и так и этак, но все, как горох о стену, ни у одного мужика язык не развязался, все как воды в рот набрали, только поддакивали, скребли затылки да многозначительно переглядывались. Наконец, помещик, видя, что ему не сломить этого настороженного недоверия, вызвал с другой половины ксендза, и они ушли вместе, провожаемые толпой до самых ворот.

Лишь после их ухода мужики стали вслух дивиться и строить догадки.

— Ну-ну! Чтобы сам пан пришел на мужицкие похороны!

— Нужны мы ему, вот он и подъезжает! — сказал Плошка.

— А разве он не мог прийти просто по доброте сердечной? — вступился Клемб.

— Лет тебе немало, а ума не прибавилось! Когда же это бывало, чтобы помещики приходили к мужикам по дружбе, а?

— Тут что-то есть! Недаром он хочет мириться!

— Ему эта мировая нужнее, чем нам!

— А мы можем еще подождать! — сказал пьяный Сикора.

— Вы-то можете, да другие не могут! — с сердцем крикнул Гжеля, брат войта.

Уже начиналась ссора, один говорил одно, другой — другое, третий спорил с обоими, а остальные просто галдели.

— Пускай отдаст нам лес и землю, тогда помиримся!

— Не надо мириться, вот новые наделы начнут раздавать — так все наше будет! Пускай он, сукин сын, с сумой по миру пойдет за нашу обиду!

— Долги его душат, так он к мужикам за помощью пришел.

— А в былое время он одно знал: "С дороги, хам, если не хочешь батогов!"

— Говорю вам, не верьте панам, каждый из них готов продать мужика! — кричал кто-то, захмелевший сильнее других.

— Послушайте-ка, хозяева, мой разумный совет! — вмешался кузнец. — Коли помещик хочет мириться, так соглашайтесь и берите, что дают, нечего дожидаться с вербы груш!

Встал брат войта, Гжеля.

— Святую правду сказал кузнец! Пошли в корчму, там все и обсудим!

— А я угощаю всю компанию! — весело добавил кузнец.

И они гурьбой вышли на улицу.

Уже начинало смеркаться, скот шел с пастбищ, и по всей деревне неслось мычанье, крики гусей, пискливые трели дудок, песни и крики детей.

А мужики, не слушая протестов и брани жен, пошли в корчму. Один Сикора немного отстал, — брел, хватаясь за плетни, и все что-то бормотал.

У Борын, когда убрали после гостей и наступил темный вечер, стало удивительно пусто и уныло.

Ягуся металась в своей комнате, как птица в клетке, и часто бегала на Ганкину половину, но, видя, что все очень утомлены и расстроены, уходила, не сказав ни слова.

В избе было тихо, как в могиле, и, когда управились с домашней работой и поужинали, никто не спешил уйти из комнаты, хотя всех клонило ко сну. Сидели у печи, смотрели в огонь и

тревожно прислушивались к каждому шороху.

Вечер был спокойный, только порой налетал ветер, и тогда шумели деревья, потрескивали плетни, дребезжали стекла. По временам Лапа ворчал, грозно оцетинившись, а там опять в гробовой тишине тянулись нескончаемо долгие часы. Они сидели, и все сильнее пробирал их страх, то и дело кто-нибудь крестился и дрожащими губами шептал молитву. Всем чудилось, что кто-то ходит на чердаке, и оттого скрипят балки, что кто-то подслушивает под дверь, заглядывает в окна и трется о стены, дергает щеколду у двери и потом, тяжело ступая, обходит избу.

Они вслушивались, бледнея, едва дыша, обомлев от ужаса.

Вдруг в конюшне заржала лошадь. Лапа громко залаял и бросился к дверям, а Юзька, не выдержав, вскрикнула:

— Отец! Ей-богу, отец! — и заплакала от страха.

— Не реви! — внушительно сказала ей Ягустинка. — Не мешай душе отлететь, с миром! Слезы ее удерживают на земле. Откройте двери, пусть отлетит она, странница, и обретет вечный покой.

Открыли двери. В комнате было тихо. Все боялись шевельнуться и только горящими глазами блуждали кругом. Лапа обнюхивал углы, скулил иногда и вилял хвостом, словно ластясь к кому-то, и теперь уже все были уверены, что среди них бродит душа умершего.

Наконец, Ганка запела дрожащим, сдавленным голосом:

Все дела дневные наши...

Остальные с безмерным облегчением стали вторить ей.

II

Был чудесный, настоящий летний день. Шел уже, должно быть, десятый час, солнце поднималось все выше и пекло изрядно, когда липецкие колокола все, сколько их было, начали трезвонить что есть силы.

Тот, которого называли "Петром", гудел всех громче, пел во всю глотку. Так мужик, подвыпив, идет себе дорогой, качаясь из стороны в сторону, и горланит грубым голосом, возвещая всему свету, что ему весело.

Другой колокол, поменьше, которого, по словам Амброжия, окрестили "Павлом", тоже старался изо всех сил, но больше вторил первому, звенел высоким, чистым голосом, заливался, как иная девушка, когда томит ее любовь или весенний день и она бежит в поля, забирается в гущу колосьев и поет ветрам, людям, светлому небу и своему счастливому сердцу.

А третий — "сигнатурка" — щебетал, как птичка, и тщетно старался перепеть тех двух, — этого он не мог, сколько ни тараторил обрывистым, захлебывающимся голосом капризного

ребенка. Так они и звонили целым оркестром, — тут и бас гудел, и скрипка пела, и слышалось веселое брэнчанье бубен.

Это они так громко и радостно сзывали людей на престольный праздник: был День Петра и Павла, который в Липцах всегда праздновался с особой торжественностью.

И погода выдалась на редкость — тихая, солнечная. Все предвещало сильную жару, но, несмотря на это, уже с рассвета на площади перед костелом торговцы расставляли свои ларьки, палатки, лотки и столы под полотняными навесами.

Как только зазвучал веселый колокольный звон, на дорогах, в тумане поднятой пыли, загромыхали повозки, потянулись пешеходы... Везде, насколько хватал глаз, по дорогам, тропинкам, межам переливались яркими красками женские наряды и белели развевающиеся кафтаны мужиков.

Шли гуськом, разноцветными лентами сверкая среди зелени.

А солнце золотой птицей поднималось все выше и выше на безоблачном синем небе и так щедро разливало свет и тепло, что воздух над полями уже дрожал и рябило в глазах. Порой еще налетал от лугов прохладный ветерок, — и тогда колыхалась рожь, тихонько шелестел овес, дрожали молодые колосья пшеницы, а цветущий лен разливался голубой струей, как вода, в которой отражено небо. Но мало-помалу все замирало в знойной тишине.

Эх, и веселый же был денек — поистине праздничный! Колокола гудели долго, и так громки были их голоса, что птицы пугались и колыхалась трава, а их бронзовые сердца все бились, бились сильно, звонко и мерно, к самому солнцу вознося свою проникновенную песнь и мольбу.

"Помилуй! Помилуй! Помилуй, Пресвятая Матерь Божья!"

"И я прошу! И я! И я!"

Празднично было все — убранные зеленью избы, даль, как бы сиявшая зажженными свечами, радостные голоса. И что-то, чего не выразишь словами, носилось в воздухе, переполняя сердца мирным блаженством и весельем.

На праздник со всех сторон валил народ. На дорогах клубилась пыль, тархтели повозки, ржали лошади, звучал громкий говор. Иногда кто-нибудь из проезжавших высовывался из брички и окликал пеших. С заунывным пением спешил к костелу запоздавший нищий. Люди осматривались кругом с немим восторгом, потому что земля стояла нарядная, как невеста, вся в цветах и зелени, в птичьих песнях, шелесте колосьев и жужжании пчел, такая прекрасная, необъятная, счастливая и священная в своей животворящей силе, что у людей даже дыхание спирало в груди.

Как часовые, стояли деревья на межах, засмотревшись на солнце, а внизу, куда ни глянь, раскинулись поля, зеленые, шумящие, как бурные волны, и, как волны, колыхались они порой из стороны в сторону, бились о дороги, о межи и канавы, пестревшие, как разноцветные ленты, густо расшитые желтым, белым и фиолетовым. Цвел уже шпорник разных оттенков, цвела душистая повилка, робко выглядывая из ржи светлыми глазками, а местами, где земля была порыхлее, так густо росли васильки, словно туда упал кусочек неба. Целыми рошицами цвели полевой горошек, и лютики, и молочай, и кроваво-красный чертополох, и полевая горчица, и клевер, и маргаритки, и дикая ромашка, и тысячи других цветов; от их благоухания просто голова кружилась.

Люди ехали и ехали непрерывно, и скоро Липцы переполнились до краев. На улицах, на берегах озера, под каждым плетнем, во дворах и везде, где только можно было найти

немного тени, стояли телеги и брички и выпряженные лошади, а на площади перед костелом телеги стояли вплотную одна подле другой и была такая теснота, что невозможно было протолкаться.

Липцы просто исчезали под этой лавиной людей, повозок, лошадей. Толчея все усиливалась, говор и крики разносились по всей деревне. Народ шумел, как лес под ветром. Приехавшие женщины сидели на берегах озера — мыли ноги и надевали башмаки, приводили себя в порядок перед тем, как идти в костел. Мужики стояли группами, разговаривая со знакомыми, девочки и мальчики толпились у ларьков и палаток, а больше всего — вокруг шарманщика: весело заливалась шарманка, а на ней какой-то заморский зверек в красном наряде, мордочкой смахивавший на старого немца, так потешно прыгал и гримасничал, что, глядя на него, все покатывались со смеху.

Зазвонили к обедне, народ бурным потоком хлынул в костел и сразу наполнил его так, что в давке у всех ребра трещали. Подходили все новые и новые богомольцы, толкались, бранились, и все-таки большинству пришлось остаться снаружи, у стен и под деревьями.

Приехали несколько ксендзов из других приходов, они сразу засели в исповедалях под деревьями и начали исповедовать, несмотря на сумятицу кругом и на жару.

Ветер совсем улегся, и зной становился нестерпимым. Словно пылающий огонь лился на головы, но люди терпеливо стояли в очереди у исповедален или бродили по погосту, тщетно ища тени или хоть какой-нибудь защиты от солнца.

Загремел орган, началась в костеле служба. Все опустились на колени и стали усердно молиться.

Подошел полдень. Солнце стояло уже прямо над головами, и все на земле замерло в изнеможении. Не дрожал ни один листочек, ни одна птица не мелькала в воздухе, ни один звук не доносился с полей. Мертвое, раскаленное добела небо нависло стеклянной крышей. Обжигала земля, жгли горячие стены, а люди стояли на коленях, не шевелясь, еле дыша, и словно варились в этом солнечном кипятке. Дым кадилниц плыл в открытую дверь, одевая голубоватой благоуханной мглой склоненные головы прихожан. Шелестели слова молитв, рассыпаясь в добела накаленном недвижимом воздухе знойного полудня. Яркие платки, корсажи и юбки играли на солнце, и все кладбище казалось усеянным цветами, которые смиренно склонялись — перед Богом, скрытым в этом слепительном солнечном дне, в великой тишине, обнимавшей мир.

Только изредка кто-нибудь с глубоким вздохом разгибал спину и опускал руки, или слышался плач ребенка, или ржанье лошади доносилось от телег.

Даже нищие примолкли. Тишина разморила людей, и многие уже похрапывали или клевали носом, стоя на коленях. Время от времени кто-нибудь выходил из костела освежиться, и скрипели где-то колодезные журавли.

Только когда начался крестный ход, когда костел задрожал от мощного хора голосов, вынесли хоругви, а за ними, под алым балдахин, с чашей в руках появился ксендз, которого вели под руки помещики, — народ на площади встрепенулся и двинулся за процессией.

Зазвонили колокола, грянула песнь, мощная и радостная, взлетая до самого солнца, а шествие медленно, как разлившаяся река, обтекало белые стены костела. Впереди плыл алый балдахин, весь окутанный дымом кадил, сверкала золотая чаша в руках ксендза, мерцали огоньки свечей. Развернутые хоругви, как птицы, реяли над людским муравейником, качались образа, убранные тюлем и лентами, гремел орган, весело гудели колокола, а люди пели дружно, с воодушевлением, уносясь тоскующей душой куда-то в небо, к самому солнцу.

После крестного хода в костеле снова началась служба, а на кладбище стало тихо, как прежде, но никто уже не дремал от жары, оживленнее стал шепот молящихся, громче звучали вздохи, нищие позвякивали своими чашками, и там и сям люди тихо разговаривали.

Из костела вышли помещики, тщетно ища, где бы можно присесть в тени. Наконец, Амброжий прогнал из-под какого-то дерева собравшихся там людей, вынес табуретки, и господа сели, продолжая беседу.

Был среди них и помещик из Воли, но этому не сиделось на месте: он все прохаживался по кладбищу, и, увидев мужика из Липец, тотчас подходил к нему, заводил дружеский разговор. Даже к Ганке протолкался и спросил:

— Ну что, вернулся ваш?

— Где там! До сих пор нет его.

— Да ведь, говорят, вы за ним ездили?

— Как же, ездила, сразу после похорон отца. Но в канцелярии сказали, что его выпустят только через неделю, — в среду, значит.

— Ну, а как же залог? Внесете?

— Насчет этого уже Рох хлопочет, — ответила Ганка уклончиво.

— Если денег у вас нет, так я поручусь за Антека.

— Спасибо вам! — Ганка низко поклонилась. — Может, Рох как-нибудь устроит, а если нет, придется искать другого способа.

— Так помните: если понадобится, я поручительство дам.

И отошел к Ягусе, сидевшей с матерью неподалеку, у стены, но, не придумав, что сказать, только улыбнулся ей и вернулся к своим.

Ягуся проводила его глазами и с любопытством стала разглядывать помещичьих дочек, — они были разодеты на диво и такие беленькие, такие тонкие в талии! А пахло от них, как от кадила! Несколько молодых панов увивались вокруг них, заглядывали им в глаза, и все они чему-то так весело смеялись, что людей даже досада брала.

Неожиданно на другом конце деревни, как будто на мосту у мельницы, громко застучали колеса, и пыль взвилась над деревьями.

— Запоздал кто-нибудь, — шепнул Петрик Ганке.

— Приехали, дураки, свечи в костеле гасить, — добавил кто-то.

Перегнувшись через ограду, некоторые с любопытством смотрели на дорогу, огибавшую озеро.

Вскоре, сопровождаемая визгом и лаем собак, показалась вереница больших фур под белыми верхами.

— Немцы! Немцы с Подлесья! — крикнул кто-то.

Это действительно были немцы. Ехало десятка полтора фур, запряженных крепкими лошадьми. Под полотняными верхами виднелся всякий домашний скарб, сидели женщины и дети, а рыжие тучные мужчины с трубками в зубах шли пешком. Рядом с фурами бежали

огромные псы и, оскалив зубы, отвечали лаем липецким собакам, то и дело наскокивавшим на них.

Народ сбежался поглазеть на немцев. Многие даже перелезли через ограду, чтобы увидеть их поближе.

Немцы ехали шагом, с трудом пробираясь через запруженную повозками и лошадьми площадь. Никто из них даже перед костелом не снял шапки и не здоровался с людьми. Глаза у всех горели, бороды тряслись, — должно быть, от злости. Они смотрели на мужиков дерзко, как разбойники.

— Шароварники окаянные!.. Свиные хвосты!

Ругательства посыпались, как камни.

— Ну что, немчура, чья взяла? — крикнул Матеуш.

— Кто кого одолел?

— Что, испугались мужицкого кулака?

— Поглядите, у нас нынче праздник, погуляем в корчме!

Немцы не отвечали, подгоняя лошадей.

Какой-то мальчишка швырнул в них камнем, другие принялись выковыривать кирпичи, чтобы последовать его примеру, но их вовремя удержали.

Немцы, наконец, проехали и скрылись на тополевой дороге, только из облака пыли все слабее доносился собачий лай и стук колес.

А липецкие так обрадовались, что никто уже не мог молиться, и толпа вокруг помещика все росла, а он, очень этим довольный, весело разговаривал со всеми, угощал табаком и напоследок заискивающе сказал:

— Ловко вы их выкурили, весь рой убрался!

— Им запах наших тулугов не нравится! — со смехом заметил кто-то, а Гжеля, брат войта, сказал с притворным огорчением:

— Слишком уж хлипкий народ, не годится им с мужиками в соседстве жить: только дашь кому-нибудь по башке, как он наземь летит!

— А разве с ними кто-нибудь дрался? — с любопытством спросил помещик.

— Нет, зачем драться! Матеуш только ткнул одного за то, что тот ему не ответил, когда он с ним поздоровался, — так немец кровью облился и чуть Богу душу не отдал.

— Совсем слабый народ! На вид мужики, как дубы, а ткнешь кулаком — и словно в перину угодишь! — вполголоса объяснил Матеуш.

— Не везло им на Подлесье. Коровы у них, говорят, пали.

— А ведь верно — они ни одной коровы с собой не увели!

— Про это Кобус мог бы кое-что рассказать, — ляпнул кто-то из парней, но Клемб резко прикрикнул на него:

— Глуп ты, как сапог! Коровы от заногтицы околели, это все знают...

Липецкие корчились от сдерживаемого смеха, но никто больше ни слова не проронил. И только кузнец, подойдя поближе, сказал:

— За то, что немцы убралась, пана помещика благодарить надо!

— Лучше я своим продам, хотя бы за полцены! — горячо уверял помещик. Он стал распространяться о том, как и он, и его деды, и прадеды всегда стояли за мужиков, всегда шли с народом.

Сикора усмехнулся и сказал тихо:

— Мне это самое старый пан приказал батогами на спине прописать, да так хорошо, что и сейчас еще помню...

Помещик, как будто не слыша, стал рассказывать, каких хлопот ему стоило избавиться от немцев. Мужики, разумеется, его слушали, вежливо поддакивали, а втайне оставались при своем мнении насчет его любви к народу.

— Благодетели! И не заметишь, как тебя вокруг пальца обведут! — бурчал Сикора, но Клемб толкал его, пока не заставил замолчать.

Они все еще приятно беседовали, когда какой-то молоденький ксендз в белом стихаре и с подносом в руках пробрался к ним сквозь толпу.

— Эге, да никак это органистов Ясь! — воскликнул кто-то.

Это действительно был Ясь, уже в одежде ксендза. Он собирал пожертвования на костел, и поднос быстро наполнялся — ведь Яся все знали и отказать было неловко; каждый доставал из узелка копейку или две, а частенько и золотый звякал о медяки. Помещик бросил на поднос рубль, его дочки насыпали серебра, а Ясь, потный, красный и сияющий, неумоимо собирал и собирал, ходя по всему кладбищу, никого не пропуская и никому не забывая сказать приветливое слово. Наткнувшись на Ганку, он заговорил с ней так участливо, что она положила целый двугривенный. Потом он остановился перед Ягусей и звякнул подносом. Она вскинула на него глаза и остолбенела от удивления, да и Ясь немного смутился, сказал что-то невпопад и торопливо пошел дальше.

Ягуся даже забыла дать денег на костел и долго смотрела ему вслед. Он был, точь-в-точь как тот святой, что нарисован в боковом алтаре, такой молодой, красивый и стройный! Он словно околдовал ее, — она терла глаза и часто-часто крестилась, но это не помогло.

— Сын органиста, а вот как далеко пошел!

— То-то мать и пыжится, как индюк!

— Он с самой Пасхи в семинарии учится!

— Наш ксендз вызвал его к себе на помощь по случаю праздника.

— Отец — скряга, живодер, а на него денег не жалеет.

— Ну еще бы, лестно ему, что сын ксендзом будет.

— Да и доходно!

Так шептались вокруг, но Ягуся ничего не слышала, и глаза ее повсюду следовали за Ясем.

Обедня между тем отошла. Ксендз еще объявлял с амвона о предстоящих свадьбах и корил грешников, но прихожане понемногу расходились, и нищие хором затаили свои заунывные песни, прося подаяния.

Ганка тоже шла к выходу. К ней протолкалась дочка Бальцерка, чтобы рассказать великую новость.

— Знаете? — затараторила она, еле переводя дух. — Сейчас было оглашение насчет свадьбы Шимека Пачеся с Настусей!

— Неужели? А что же Доминикова на это скажет?

— Известно, что: в драку полезет с сыном!

— Ничего она этим не добьется — Шимек в таких летах, что имеет право жениться.

— Ну, и ад у них там начнется! — вставила Ягустинка.

— И без того мало ли у нас в деревне ссор да греха! — вздохнула Ганка.

— А про войта слышала? — спросила Плошкова, выставя из толпы свое тучное тело и красное толстошееккое лицо.

— Нет. Столько хлопот было с похоронами, да и новых забот немало, так я и знать не знаю, что в деревне делается.

— Урядник сказал моему, что в кассе нехватка большая. Войт уже бегаёт по людям и клянчит денег в долг — видно, хоть сколько-нибудь хочет собрать, потому что не сегодня-завтра нагрянет следствие...

— Еще отец покойный говорил, что этим кончится!

— Зазнался, важничал, командовал всеми — теперь будет расплачиваться!

— А ведь у него и хозяйство все описать могут?

— Могут. А не хватит, так за остальное отсидит в остроге, — сказала Ягустинка. — Пожил, бестия, в свое удовольствие, теперь пусть кается!

— А я и то удивлялась, что он даже на похороны Мацея не пришел!

— Что ему Борына, когда он со вдовой его дружбу свел!

Она замолчала, увидев, что впереди идет Ягуся, ведя под руку мать. Старуха шла сгорбившись, все еще с повязкой на глазах. Ягустинка и тут не упустила случая съязвить:

— А когда же свадьба у вашего Шимека? Вот не ждал никто, что нынче оглашение будет! Да и то сказать — трудно удержать парня, ему уж надоело бабью работу делать. Теперь его Настуся выручит!

Доминикова вдруг выпрямилась и сказала сурово:

— Веди меня, Ягуся, веди скорее, а то как бы меня эта сука не укусила!

И пошла вперед чуть не бегом, а Плошкова тихо фыркнула:

— Ишь, слепая, а увидела!

— Слепая, а до шимекова чуба доберется!

— Дай Бог, чтобы других не трогала!

Ягустинка уже ничего не отвечала, потому что у ворот началась давка. Ганка, потеряв своих, осталась далеко позади. Впрочем, она даже была этим довольна, — ей надоели злобные перебранки. Теперь она спокойно стала оделять нищих копейками, ни одного не пропуская, а слепому с собакой сунула целый пятак и сказала:

— Приходите к нам обедать, дедушка! К Борынам!

Нищий поднял голову и широко раскрыл слепые глаза.

— Это антекова жена, должно быть? Спасибо! Приду, приду непременно!

За воротами кладбища стало уже просторнее, но и там сидели нищие двумя рядами, между которыми оставался широкий проход.

Они кричали на все лады, прося милостыню, а в самом конце ряда стоял на коленях молодой парень с зеленым козырьком над глазами и, подыгрывая себе на скрипке, пел песни о королях и древних временах. Его обступила куча народу, медяки так и сыпались в шапку.

Ганка остановилась у ограды кладбища, высматривая в толпе Юзьку, и вдруг неожиданно нежданно увидела своего отца. Он сидел в ряду нищих и, протягивая руку ко всем проходящим, жалобно просил подаяния.

Ганку словно кто ножом пырнул! В первое мгновение она подумала, что это ей померещилось, протерла глаза раз, другой — нет, отец, он самый!

Отец между нищими! Господи Иисусе Христе! Она чуть не сгорела со стыда.

Надвинула платок на глаза и пробралась к нему сзади, между возов, возле которых сидел Былица.

— Что это вы делаете, а? — простонала она, присев за ним на корточки, чтобы спрятаться от людских глаз.

— Ганусь!.. Да я... Я...

— Сейчас же идите домой! Срам какой, Господи! Пойдемте!

— Не пойду... Я давно это надумал. Чем вам обузой быть, лучше я у добрых людей просить буду... Пойду вместе с другими по миру... святые места увижу, новое что-нибудь услышу... Еще и вам деньжонок принесу... На тебе злотый, купи Петрусю какую-нибудь диковинку... На!

Ганка крепко ухватила его за рукав и почти силой потащила по проходу между возами.

— Сейчас же домой ступайте! Стыда у вас нет!

— Пусти, а то рассержусь!

— Бросьте котомку, живо, пока не увидел кто!

— Пусти! Буду делать то что хочу, так и знай! Чего мне стыдиться? Кого голод прижмет, тому сума — мать родная!

Он вдруг вырвался, шмыгнул между возами и лошадьми и скрылся.

Бесполезно было искать его в толпе, бурлившей на площади перед костелом.

Солнце пекло так, что лупилась кожа, пыль набивалась в горло и не давала дышать, а народ, хоть и утомленный, все еще весело толкался на площади.

На всю деревню заливалась шарманка, тянули свои песни нищие, ребяташки свистели в глиняные свистульки, собаки лаяли, а лошади, которым сегодня особенно досаждали назойливые слепни, ржали и кусались. Люди окликали знакомых, собирались компаниями и теснились к палаткам, у которых звенели веселые девичьи голоса.

Прошел добрый час, прежде чем толпа немного угомонилась. Одни ушли в корчму, другие собирались домой или, изнемогая от жары и усталости, расположились в тени повозок у озера, в садах и дворах, чтобы поесть и отдохнуть.

Никому уже не хотелось ни двигаться, ни говорить, люди, как и деревья, разомлели от зноя. К тому же в деревне все сели обедать и наступила полная тишина, раздавались только крики детей да шарахались иногда лошади у телег.

А в плебании ксендз угощал обедом приезжих ксендзов и помещиков. В открытые окна виднелись головы, слышался говор, смех, звон посуды, и пахло так аппетитно, что не один из стоявших под окнами глотал слюнки.

Амброжий, одетый по-праздничному, с медалями на груди, вертелся в сенях и то и дело выбегал на крыльцо с криком:

— Уйдешь ты отсюда, чертенок, или нет? Сейчас тебя палкой огрею, так будешь помнить!

Но не так-то легко было отогнать сорванцов, — они, как стая воробьев, облепили забор, а те, кто посмелее, подбирались даже под окна, и Амброжий часто грозил им чубуком ксендза и ругался.

Подошла Ганка и остановилась у калитки.

— Ищешь кого-нибудь? — спросил Амброжий, ковыляя к ней.

— Не видели отца моего?

— Былицу? Жара нынче, не дай Господи, — так он, должно быть, приткнулся где-нибудь в тени и спит... Эй ты, чертово отродье! — крикнул он опять и погнался за одним из мальчуганов.

А Ганка, сильно расстроенная, пошла прямо домой и все рассказала сестре, которая пришла к обеду.

Веронка только плечами пожала.

— Оттого, что он пристал к нищим, корона у него с головы не свалится, а нам будет легче — это уж наверняка! И не такие, как он, кончали дни на паперти.

— Господи, срам какой! Чтобы родной отец милостыню просил! Что Антек на это скажет? Начнут теперь люди косточки нам перемывать, скажут, что это мы его послали христарадничать!

— Пусть себе брешут, что хотят. Судачить про других каждый рад, а вот помочь никто не спешит.

— Я не позволю, чтобы отец побираться ходил!

— Так возьми его к себе и корми, коли ты такая гордая!

— И возьму! Ты ему уже и ложку щей жалеешь! Ну, теперь я понимаю: это ты его заставила...

— Что же, у меня лишнее есть? У детей кусок отниму, а ему дам?

— Ведь ты обязана его содержать, забыла?

— Коли нет у меня, так где я ему возьму? Из-под земли, что ли?

— Хоть из-под земли достань, а отцу первому дай! Он не раз мне жаловался, что ты его голодом моришь, о свинье больше заботишься, чем о нем.

— Ну как же, отца голодом морю, а сама обжираюсь, как помещица! Так разжирела, что у меня уж юбка с бедер сползает и еле ноги волочу. Только в долг и живем.

— Не ври! Подумает кто, что правда!

— Правда и есть! Кабы не Янкель, так и картошки с солью у нас не было бы. Да ведь сытый голодного не разумеет, — говорила Веронка с горечью, чуть не плача. В эту минуту во двор вошел слепой нищий со своей собакой.

— Садитесь на завалинке, — сказала ему Ганка и пошла разогревать обед.

Слепой сел на завалинке, костыли поставил — в сторону и снял веревку с шеи собаки. Сидел и втягивал носом воздух, пытаясь угадать, едят ли уже и в какой стороне.

А все садились обедать под деревьями. Ганка наполнила миски, и вокруг распространился вкусный запах.

— Каша с салом. Хорошая штука! Кушайте на здоровье! — бормотал слепой, облизываясь.

Ели не спеша, дую на каждую ложку. Лапа вертелся тут же и тихо повизгивал, а собака нищего сидела у стены, высунув язык и тяжело дыша, потому что жара была страшная, даже тень не спасала от нее. В знойной, сонной тишине только ложки стучали да иногда под стрехой щебетала ласточка.

— Эх, хорошо бы мисочку простокваши — прохладиться! — вздохнул слепой.

— Сейчас принесу! — успокоила его Юзька.

— Что, много сегодня выпросил? — спросил Петрик, лениво поднося ложку ко рту.

— Господи, помилуй нас, грешных, и прости тому, кто нищих обижает! Выпросишь много, как же! Кто только нищего увидит, сейчас в небо смотрит или обойдет за версту! А иной подаст грошик, а сдачи рад бы взять пятак. Придется с голоду околевать!

— В нынешнем году всем перед жатвой тяжело, — тихо сказала Веронка.

— Правда, а на водку у всех хватает.

Юзька подала ему миску, и он торопливо принялся за еду.

— Говорили на погосте, будто Липцы нынче с помещиком будут мириться, — начал он снова.

— Правда это?

— Если отдаст, что мужикам полагается, так, может, и помирятся, — сказала Ганка.

— А немцы уже убралась, знаете? — вмешался Витек.

— Погибели на них нет! — выругался слепой и даже кулаком погрозил.

— А что, и вас они обидели?

— Зашел я к ним вчера вечером, а они на меня собак натравили. Еретики окаянные, собачье племя! Говорят, липецкие так им досаждали, что удирать пришлось, — говорил нищий, усердно выгребая кашу из миски. Наевшись, он покормил собаку и встал.

— На работу спешишь? Сегодня у вас страда! — засмеялся Петрик.

— Как не спешить — прошлый год было нас в Петров день шестеро, а нынче человек сорок! Орут так, что уши пухнут.

— Приходите ночевать, — приглашала его Юзька.

— Дай тебе Бог здоровья, что помнишь о сироте.

— Ишь, сирота, а брюхо еле носит! — фыркнул Петрик, наблюдая за нищим, который катился по улице, грузный, как колода.

Все скоро разошлись: кто прилег в холодке всхрапнуть, кто пошел опять на площадь.

Зазвонили к вечерне. Солнце уже клонилось к западу, жара как будто немного спала, и хотя многие еще отдыхали, на площади перед костелом у ларьков и палаток толпилось все больше и больше народу. — Юзька помчалась с подругами покупать образки, а главное — насмотреться вволю на ленты, бусы и другие прелести.

Опять играла шарманка, опять пели нищие, позвякивая чашками, и постепенно говор становился громче, деревня гудела, как улей, в котором роятся пчелы.

Все отдохнули, поели и рады были повеселиться. Толковали с приятелями, глазели на все, или шли выпить рюмочку с кумовьями, или просто сидели в тени, размышляя о том о сем. Все вволю намолились, наплакались, наслушались музыки и пения, нагляделись на людей, набрались впечатлений, хоть на один день отрешились от забот и насладились праздником. И уж конечно, всех громче галдели бабы, проталкиваясь к лавкам, чтобы хоть полюбоваться на всякие заманчивые товары, хоть потрогать их руками.

Шимек купил Настусе янтарные бусы, ленты и красный платочек, она тотчас нарядилась в эти обновки, и оба ходили от лавки к лавке, обнявшись, веселые, захмелевшие от своего счастья.

Юзька увязалась за ними, но она только приценивалась ко всему, осматривала разложенные на столах товары и то и дело, горестно вздыхая, пересчитывала свои жалкие гроши.

Недалеко от них бродила Ягуся, делая вид, что не замечает брата. Она ходила одна, грустная, пришибленная. Не тешили ее сегодня ни качавшиеся над прилавками ленты, ни шарманка, ни весь этот шум и веселая суета. Она шла, куда ее увлекала толпа, останавливалась, когда останавливались другие, не зная, зачем сюда пришла и куда идет.

К ней подошел Матеуш и сказал смиренно:

— Не гони ты меня!

— Да когда же я тебя гнала?

— Сколько раз! И обругала, не помнишь, что ли?

— Нехорошо ты тогда говорил со мной, вот и пришлось обругать. Кто ж меня...

Она вдруг замолчала. Через толпу в их сторону медленно пробирался Ясь.

— И он на праздник приехал! — шепотом сказал Матеуш, указывая на юного ксендза, который со смехом оборонялся от людей, пытавшихся целовать ему руки.

— Настоящий панич! Ишь, какой стал! А еще недавно за коровами бегал, хорошо помню!

— Ну да! Стал бы такой коров пасти! — с неудовольствием возразила Ягна.

— Я тебе говорю! Помню, как его раз органист вздул за то, что он коров пустил в прычехов овес, а сам спал где-то под грушей.

Ягуся отошла от Матеуша и нерешительно стала пробираться к Ясю. Он издали улыбнулся ей, но, так как все глазели на него, отвернулся и, накупив в ларьке образков, стал раздавать их девушкам и всем, кто хотел.

Ягуся стояла, как вкопанная, и смотрела на него во все глаза, а ее алые губы улыбались светлой, блаженной улыбкой, сладкой, как мед.

— Вот тебе, Ягусь, твоя святая, — сказал он, сунув ей образок. Руки их встретились — и разошлись стремительно, как обожженные.

Ягуся дрожала, не решаясь вымолвить ни слова. Ясь что-то еще сказал, но она не слышала, не понимала, она вся утонула в его глазах.

Толпа разделила их. Ягна спрятала образок за пазуху и долго еще искала взглядом Яся. Его не было, он ушел в костел, потому что уже звонили к вечерне. Но он все еще стоял перед ее глазами.

— Как святой на картине! — прошептала она невольно.

— То-то девки все глаза проглядели! Дуры! Не для пса колбаса!

Ягуся быстро обернулась: подле нее стоял Матеуш.

Она пробормотала что-то неопределенное, желая поскорее от него отделаться, но он упорно шел за нею, долго что-то обдумывал и, наконец, спросил:

— Ягусь, а что мать сказала, когда ксендз сделал оглашение насчет Шимека?

— Что ж, пусть себе женится, если хочет, — его дело!

Матеуш поморщился и с беспокойством спросил:

— А как же насчет земли? Отдаст она его долю?

— Откуда мне знать? Она ничего не говорит. Пусть он сам у нее спросит.

К ним подошли Шимек с Настусей, откуда-то вынырнул и Енджик, и все остановились тесной кучкой. Шимек первый начал:

— Ягусь, мать меня обижает, а ты-то неужто будешь на ее стороне?

— Ясное дело, я за тебя стою... Ну, и переменялся же ты за это время! Совсем другим человеком стал! — удивлялась Ягна, глядя на брата.

Он стоял перед ней, гордо выпрямившись, расфранченный, гладко выбритый, в шляпе набекрень и белом, как молоко, кафтане.

— Переменился, потому что вырвался на волю.

— И что же, лучше тебе на воле? — спросила Ягна, посмеиваясь над его гордым видом.

— Выпусти пташку из клетки, тогда увидишь! Слыхала оглашение?

— А свадьба когда же?

Настуся нежно прижалась к Шимеку и сказала, краснея:

— Через три недели, еще до жатвы.

— Хоть в корчме свадьбу справлю, а матери кланяться не стану!

— А есть у тебя куда жену привести?

— Есть. К матери перееду на другую половину. У чужих угла искать не стану! Пусть только отдаст мне мою землю, так я буду знать, что делать! — кипятился Шимек.

— И я ему помогу, во всем буду помогать, — подхватил Енджик.

— Да ведь и Настусю мы не с пустыми руками выдаем! Дадим ей тысячу злотых чистоганом, — сказал Матеуш.

Его отозвал в сторону кузнец, что-то шепнул ему и побежал дальше.

Потолковали еще немного. Больше всех говорил Шимек, мечтая вслух, как он станет хозяином, как прикупит земли и примется за нее, и все скоро увидят, что он за человек. Настуся смотрела на него с восторженным удивлением, Енджик поддакивал, и только Ягуся почти не слушала, рассеянно блуждая глазами вокруг. Ее ничто не занимало.

— Ягусь, приходи в корчму, сегодня музыка будет, — попросил Матеуш.

— Корчма уж меня не развеселит, — ответила она грустно.

Он заглянул ей в глаза, нахлобучил картуз и быстро пошел прочь, расталкивая людей. Около плетения он столкнулся с Терезкой.

— Куда это тебя несет? — спросила она робко.

— В корчму. Кузнец сзывает всех на совет.

— И я бы пошла с тобой...

— Что ж, я тебя не гоню, места хватит. Как бы только не стали опять судачить, что ты за мной бегаешь, — вот ты о чем подумай!

— Все равно уже злые языки разделяют меня, как псы дохлую овцу.

— А почему ты это допустила? — Матеуш начинал злиться.

— Почему? Разве ты не знаешь, почему? — сказала Терезка с кротким укором.

Матеуш рванулся и зашагал так быстро, что она едва за ним поспевала.

— Вот уже и заревела, как теленок! — бросил он, оборачиваясь.

— Нет, нет... Это соринка мне в глаз попала.

— Ох, эти бабьи слезы — они мне нож острый!

Он подождал, пока Терезка поравнялась с ним, и сказал неожиданно ласково:

— На вот тебе немного денег, купи себе что-нибудь на ярмарке, а потом приходи в корчму, потанцуем!

Терезка посмотрела на него такими глазами, словно ей хотелось благодарить его на коленях.

— Что мне деньги!.. Ты такой добрый... такой... — прошептала она, зардевшись.

— Только ты вечером приходи, раньше у меня времени не будет.

Он еще раз оглянулся на нее с порога корчмы и вошел в сени.

В корчме была уже теснота и жара. В передней комнате толкалось множество людей, пили, разговаривали. За перегородкой собралась молодежь во главе с кузнецом и Гжелей. Было здесь и несколько пожилых хозяев — Плошка, солтыс, Клемб и племянник Мацея, Адам Борына. Затесался к ним и Кобус, хотя никто его не звал.

Когда вошел Матеуш, Гжеля с жаром говорил что-то и рисовал мелом на столе.

Речь шла о мировой с помещиком, обещавшим дать мужикам взамен каждого морга леса по четыре морга поля на Подлесье и еще столько же продать в рассрочку. Он соглашался даже отпустить им в долг лесу на постройку изб.

Все это Гжеля объяснял подробно и чертил мелом на столе, показывая, как можно было бы поделить землю и какой участок получит каждый.

— Вы хорошенько рассудите! — говорил он. — Дело верное, как золото!

— Обещание — дураку утеха! — буркнул Плошка.

— Это не пустые обещания. Он все у нотариуса подпишет. Пошевелите мозгами, мужики! Столько земли деревня получит! Ведь этак каждому прирежем целое новое хозяйство! Сами посудите...

Кузнец еще раз повторил то, что ему поручил сказать помещик. Его слушали внимательно, но никто не вымолвил ни слова. Смотрели на белый чертеж на столе и размышляли.

— Правда, дело золотое, только разрешит ли комиссар? — первым заговорил солтыс, озабоченно почесывая лохматую голову.

— Обязан разрешить! Если сход постановит, у начальства позволения спрашивать не станем! Раз захотим — значит, так тому и быть! — загремел Гжеля.

— Обязан или не обязан, а ты потише ори! Поглядите-ка кто-нибудь, не подслушивает ли урядник?

— Я его только что видел у стойки, — сказал Матеуш.

— А когда же пан обещал переписать на нас землю? — спросил кто-то.

— Говорит, хоть завтра! Как только все между собой сговоримся, он сейчас же бумагу напишет, а там землемер отмерит, что кому.

— Значит, после жатвы можно будет уже и землю получить?

— А осенью обработать ее как следует!

— Господи Иисусе, вот когда пойдет работа!

Заговорили все разом, шумно, весело, перебивая друг друга.

Радость охватила их, в глазах засветились уверенность и сила, гордость выпрямила спины, руки сами собой тянулись, чтобы взяться поскорее за эту желанную землю.

Иные на радостях уже пели, кричали Янкелю, чтобы подал водки, другие что-то еще толковали о наделах, и всем уже мерещились новые хозяйства, богатство, всякое благополучие. Болтали, как пьяные, хохотали, барабанили кулаками по столу и лихо притопывали каблуками.

— То-то праздник будет в Липцах!

— Какое веселье пойдет! Эх, и погуляем же!

— А сколько свадеб будет на Масленой!

— Девок не хватит в деревне!

— Так мы городских прикупим!

— Черт возьми, на рысаках ездить будут!

— Тише, вы! — крикнул старый Плошка, ударив кулаком по столу. — Раскричались, как евреи в субботу! Я вот что хочу вам сказать: пан обещал, а нет ли тут какого подвоха? Как думаете, а?

Все сразу притихли, словно их холодной водой окатили, и только через минуту солтыс сказал:

— Я тоже никак не пойму, с чего это он так расщедрился?

— Да, неспроста это он! Столько земли отдать чуть не задаром!.. — протянул кто-то из стариков.

Но Гжеля вскочил с места и закричал:

— Бараны вы глупые, больше ничего!

И начал запальчиво доказывать все сначала — даже взмок весь, как мышь. Кузнец тоже усердно действовал языком и толковал с каждым отдельно, но старый Плошка только качал головой да усмехался так ядовито, что Гжеля, не выдержав, подскочил к нему с кулаками.

— Так скажите же свое, если вы думаете, что мы людей морочим!

— И скажу! Я хорошо знаю их собачью породу. Да, знаю и говорю вам: не верьте пану, пока не будет все черным по белому написано. Испокон веков они у нас на горбах сидели, от нашей крови жирели, вот и этот хочет за наш счет поживиться.

— Если ты так думаешь, так и не мирись, а другим не мешай! — крикнул Клемб.

— Ты, Томаш, ходил с ними в лес воевать, вот оттого и теперь их сторону держишь!

— Ходил, да! А надо будет, так опять пойду! Стою я не за помещика, а за мир и за справедливость, за всю деревню.

Только дурак не видит в этом пользы для Липец. Только дурак не берет, когда ему дают!

— Нет, это вы все дураки, — готовы за подтяжки штаны отдать! Если помещик сам предлагает столько, значит, может дать и больше.

Заспорили уже все, и чем дальше, тем яростнее. Поднялся такой шум, что прибежал Янкель и поставил на стол целую бутылку водки.

— Ша, ша, хозяева! Не ссорьтесь! Дай же Бог, чтобы Подлесье стало новыми Липцами! Чтобы каждый мужик жил, как помещик! — выкрикивал он, пуская рюмку в круговую.

Выпили и заговорили еще громче. Все, кроме старика Плошки, были за мировую с помещиком.

Кузнец, должно быть, ожидал от этого большой выгоды для себя — он говорил громче всех, распространяясь о великодушии помещика, и угощал всю компанию то водкой, то пивом и даже рисовой со спиртом.

Угощались так усердно, что не один уже глазами хлопал и еле языком ворочал, а Кобус, который все время рта не раскрывал, теперь начал хватать то того, то другого за кафтан и кричать:

— А коморники что, собаки? И нам тоже полагаются наделы. Не дадим мириться! По совести надо все решить. Один насилу жирное пузо свое таскает, а другой с голоду подыхай? Поровну надо землю делить! Помещики какие нашлись! Голоштанники чертовы, а носы задирают, словно чихать собираются! — кричал он все громче и так неприлично ругался, что его в конце концов выставили за дверь, но он еще на улице долго выкрикивал проклятия и угрозы.

Компания скоро разошлась, и только охотники повеселиться остались в корчме, где уже играла музыка.

Близился вечер, солнце зашло за лес, и все небо было в огне, а нивы и сады купались в багрянце и золоте. Повевял влажный, ласковый ветер, заквакали лягушки, в полях кричали перепела, трескотня кузнечиков напоминала шелест золотых колосьев. Люди уже разъезжались с праздника, и по дорогам гроыхали брички, а порой какой-нибудь пьяный затягивал громкую песню.

Затихли Липцы, опустела площадь перед костелом, и только на завалинках у хат еще сидели люди, наслаждаясь прохладой и отдыхом.

Наступили сумерки, потемнели поля, даль сливалась с небом; все утихало, дремота постепенно одолевала землю, обливала ее теплая роса, а из садов, как вечерняя молитва, долетал птичий гомон.

Шел скот с пастбищ, протяжное тоскливое мычание оглашало воздух, и рогатые головы показывались над озером, еще пламеневшим в лучах заката. Где-то около мельницы визжали купавшиеся мальчишки, а со дворов доносились песни девушек, блеяние овец, крики гусей.

У Борын было пусто и тихо. Ганка ушла с детьми в гости, Петрик тоже куда-то скрылся, а Ягуса с самой вечерни не возвращалась домой, и одна только Юзька хлопотала по хозяйству.

Слепой нищий сидел на крыльце, подставляя лицо прохладному ветру, и бормотал молитву,

настороженно прислушиваясь к движениям аиста, который вертелся около него, то и дело нацеливаясь клювом в его ноги.

— Чтоб тебе пусто было, разбойник! Ишь, как долбанул! — ворчал старик, подбирая под себя ноги и взмахивая длинными четками. Аист отбегал на несколько шагов и снова ловко заходил сбоку, вытянув клюв.

— Слышу, слышу тебя! Не подпущу! Смотри, какая хитрая бестия! — шептал слепой.

Со двора донеслась музыка, и он, машинально отгоняя четками аиста, с наслаждением слушал ее.

— Юзя, а кто это так знатно играет?

— Это Витек. Выучился у Петрика и теперь постоянно пиликает, просто уши болят! Витек, перестань! Ступай положи клеверу жеребяткам! — крикнула она громко.

Скрипка умолкла. А слепой, видно, что-то задумал: когда Витек прибежал на крыльцо, он сказал ему очень ласково:

— Славно ты играешь. На вот тебе пяточок.

Мальчик очень обрадовался.

— А божественное что-нибудь мог бы сыграть?

— Что ни услышу, все сыграю!

— Ну, да каждая лиса свой хвост хвалит. А вот это ты сыграешь, а? — и он затянул что-то визгливо и заунывно.

Витек, даже не дослушав, принес скрипку, сел рядом и сыграл очень верно то, что напевал нищий. Потом стал играть подряд все, что слышал в костеле, и так хорошо, что дед даже поразился.

— Ого, да ты в органисты годишься!

— Я все могу сыграть, все, и разные господские песни и те, что поют в корчмах, — хвастал обрадованный Витек, продолжая играть. Но пришла Ганка и тотчас прогнала его помогать Юзе.

На дворе уже совсем стемнело, гасли последние отблески зари, высокое темное небо заискрилось звездами, как росой, и деревня отходила ко сну. Только от корчмы глухо долетали крики и звуки музыки.

Ганка на крыльце кормила ребенка и беседовала со слепым. Дед врал напрапалую, но она с ним не спорила, думала о своем и с тоской смотрела в темноту.

Ягна еще домой не вернулась. Не было ее и у матери.

Она в самом начале вечера пошла в деревню к девушкам, но нигде ей не сиделось, что-то не давало ей покоя, словно кто за волосы тянул. В конце концов она в полном одиночестве стала бродить по деревне. Долго смотрела на потемневшее уже озеро, в котором ветер рябил воду, на дрожащие тени, на свет, струившийся из окон и умиравший неведомо где. Она зашла за мельницу, до самых лугов, укрытых теплым мехом белого тумана.

Чайки с криками летали над нею.

Она слушала, как вода падает с плотины в черную пасть реки, под стройные дремлющие ольхи. Но в этом шуме воды чудились ей чей-то тоскливый зов и слезная жалоба, и она убежала оттуда. Постояла под освещенными окнами мельника, из которых слышались говор и стук тарелок.

Металась из одного конца деревни в другой, — так река, не находящая своего моря, тщетно бьется в берегах.

Томило ее что-то, чего она не могла бы выразить словами, — не то горе, не то любовь. Сухие глаза горели, в груди накалились тяжелые рыдания.

Она и не заметила, как очутилась перед плебанией. У крыльца чьи-то лошади нетерпеливо били копытами. Свет виднелся только в одной комнате: там играли в карты.

Наглядевшись досыта, Ягна пошла проулком между двором Клемба и огородом ксендза. Осторожно пробиралась она вдоль живой изгороди, низко свисавшие ветки вишен ласкали ее лицо влажными от росы листьями. Она шла бездумно, не зная куда, пока низенький домик органиста не загородил ей дорогу.

Все четыре окна были освещены и раскрыты настежь.

Ягна остановилась в темном месте у плетня и заглянула внутрь.

Вся семья органиста сидела под висячей лампой, пили чай. Ясь ходил по комнате и что-то рассказывал.

Ягусе слышно было каждое его слово, каждый скрип половиц, неумолчное тиканье часов и даже сопение органиста.

Но Ясь рассказывал что-то мудреное, она ровно ничего не понимала. Она только смотрела на него, упивалась каждым звуком его голоса, как сладчайшим медом. Он все ходил, то скрываясь в глубине комнаты, то появляясь снова в кругу, освещенном лампой. Иногда подходил к окну, и тогда Ягна испуганно прижималась к плетню, боясь, что он ее увидит. Но Ясь смотрел в небо, усыпанное звездами. По временам он говорил что-то забавное, и все смеялись, и веселье, как солнце, освещало лица. Наконец, Ясь сел рядом с матерью, маленькие сестренки забрались к нему на колени, обняли за шею, а он нежно прижимал их к себе, щекотал и тормошил. В комнате зазвенел детский смех.

Часы начали бить, и жена органиста сказала, вставая:

— Ну, мы тут тары-бары, а тебе спать пора! Ведь чуть свет надо выезжать.

— Надо, надо, мамуся! Боже, как быстро прошел этот день! — с горестным вздохом сказал Ясь.

У Ягуси больно сжалось сердце, и слезы невольно полились из глаз.

— Ну, да скоро каникулы, — опять заговорил Ясь. — И ксендз-регент обещал меня отпустить на время, если наш ксендз ему напишет.

— Напишет, не беспокойся, уж я его упрошу! — сказала мать, принимаясь стлать ему постель на диване, прямо против окна.

Долго все прощались с Ясем, а дольше всех мать — она, плача, прижимала его к груди и целовала.

— Спи сладко, сынок, спи, дитяtko!

— Вот только помолюсь и сейчас же лягу, мамочка.

Наконец, все разошлись.

Ягуся видела, как в соседней комнате ходили на цыпочках, чтобы не тревожить Яся, закрывали окна. Скоро весь дом погрузился в молчание.

Она тоже хотела идти домой, но что-то словно держало ее, и она не могла двинуться с места. Еще крепче прижалась спиной к плетню, еще больше съежилась и стояла, как замороженная, не сводя глаз с этого освещенного и открытого окна.

Ясь почитал немного, потом стал на колени у окна, перекрестился, сложил руки и стал шепотом молиться.

Была поздняя ночь, глубокая тишина обнимала мир. В вышине мигали звезды, теплый ветерок доносил ароматы полей, шептались по временам листья, и пела какая-то птица.

У Ягуси сердце бешено колотилось, а губы и руки сами тянулись к Ясю, и хоть она и сжалась вся, ее пробирала странная, непобедимая дрожь, и она бессознательно навалилась на плетень так, что он затрещал.

Ясь высунул голову из окна, посмотрел вокруг и опять начал молиться.

А с Ягусей творилось что-то непонятное: такой огонь пробежал по ее телу, что хотелось кричать от этой сладостной муки. Она забыла, где она, она задыхалась. Вспыхивали в ней молниями какие-то безумные порывы, подхватил ее жгучий вихрь пугавших ее необузданных желаний, от которых напрягалось тело... Она уже хотела подползти поближе к Ясю... только бы коснуться губами его белых рук, стать перед ним на колени и видеть близко-близко это милое лицо, молиться на него, как на чудотворную икону. Но она не двинулась с места, охваченная непонятным страхом.

— Иисусе! Иисусе милосердный! — вырвался у нее тихий стон.

Ясь встал, высунулся в окно и, казалось, смотрел прямо на нее. Он крикнул:

— Кто там?

Ягуся на мгновение замерла, притаила дыхание. А душа, полная счастливого волнения, трепетала в ожидании.

Но Ясь только окинул взглядом улицу и, ничего не заметив, закрыл окно, быстро разделся и потушил свет.

Долго еще сидела Ягна, глядя на черное, немое окно. Холод пронизывал ее и словно окропил ей душу жемчужной росой. Кипение крови утихло, сменившись чувством невыразимого блаженства. Сошла на нее торжественная тишина, похожая на раздумье цветов перед восходом солнца, и она стала молиться. В этой молитве не было слов — только дивная сладость восторгов, священное изумление души, непостижимая радость пробуждающегося весеннего дня и блаженные слезы благодарности.

III

— Я пойду, Гануся! — просила Юзька, уронив голову на спинку передней скамьи.

— Ну, беги, задрав хвост, как теленок! Беги! — сердито отозвалась Ганка, поднимая глаза от четок.

— Да у меня что-то голова кружится и так ноет внутри...

Не мешай, сейчас кончится...

Ксендз и в самом деле уже кончал заупокойную обедню по Бoryне, заказанную семьей на восьмой день после его смерти.

Все ближайшие родственники сидели на боковых скамьях, только Ягуся с матерью стояли на коленях перед самым алтарем. Чужих не было никого, кроме Агаты, которая, стоя под хорами, громким шепотом молилась.

В костеле было тихо, прохладно и темновато, но посредине дрожала широкая полоса яркого света — это солнце врывалось в открытые двери и озаряло даже амвон.

Племянник органиста, Михал, прислуживал за обедней. Он по обыкновению так звонил в колокольчик, что в ушах гудело, и, выкрикивая ответы ксендзу, следил глазами за ласточками, которые нечаянно залетали в костел и с тревожным щебетаньем носились под сводами.

С озера доносилось шлепанье вальков, за окнами чирикали воробьи, а с погоста то и дело какая-нибудь наседка с громким кудахтаньем приводила в притвор целый выводок пискливых цыплят, и Амброжию приходилось их выгонять.

Ксендз кончил, и все вышли на кладбище.

Они были уже возле колокольни, когда Амброжий крикнул им вслед:

— Эй, погодите-ка! Его преподобие хочет вам что-то сказать.

Ксендз прибежал, запыхавшись, с требником подмышкой, приветливо поздоровался и, утирая лысину, промолвил:

— Хотел вам сказать, дорогие мои, что вы поступили по-христиански, заказав обедню по покойнику! Это облегчит его душе путь к вечному спасению. Облегчит, говорю!

Он понюхал табак, звонко чихнул и спросил:

— Что, будете сегодня о дележе толковать?

— Да, так уж водится, чтобы на восьмой день... — подтвердили все.

— Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Делитесь, но помните: чтобы все было мирно и по совести! Чтобы у меня никаких ссор и споров, не то с амвона стыдить вас буду! Покойник в гробу перевернется, если вы его кровное добро начнете рвать, как волки барана! И боже вас упаси обидеть сирот! Гжеля далеко, а Юзька еще глупый ребенок! Что кому причитается, отдать свято все до копейки! Уж как он своим имуществом ни распорядился, а надо выполнить его волю. Может, он там в эту минуту смотрит на вас, бедняга, и думает: "В люди их вывел, хозяйство им оставил немалое, так авось при дележе не перегрызутся, как собаки!" Я постоянно твержу с амвона: все на свете держится только миром да согласием, а грызней никто еще ничего не добился. Ничего, говорю, кроме греха да срама. И о костеле не забывайте! Покойник был щедр, — на свечи ли, на обедню, на другие ли нужды денег не жалел, и потому его Бог благословил...

Он долго еще поучал их, и бабы даже прослезились, а Юзька с громким плачем бросилась

целовать у него руки. Он привлек ее к себе и, поцеловав в голову, сказал ласково:

— Не реви, дуручка, Господь Бог о сиротах печется.

Он, видно, тоже был тронут, потому что украдкой вытер глаза, угостил кузнеца табаком и поспешил заговорить о другом:

— Ну как, с паном мириться будут?

— Будут. Нынче поехали к нему пятеро мужиков.

— Ну, слава Богу! Уж я даром благодарственный молебен отслужу по такому случаю!

— А мне думается, что деревне следует в складчину молебен с крестным ходом заказать! Ведь это вроде как новые наделы — и совсем даром!

— Ты, Михал, голова! Я уже о тебе говорил с помещиком. Ну, идите с Богом и помните: чтобы мирно все было и по совести! Да, вот что, Михал! — крикнул он уже вдогонку кузнецу. — Зайди-ка потом, посмотри мою бричку, правая рессора что-то трется об ось.

— Это она под лазновским ксендзом так осела.

Ксендз уже ничего не ответил, и они пошли прямо домой.

Ягуся шла позади всех и вела мать, которая плелась с трудом, отдыхая на каждом шагу.

День был будний, рабочий, и улицы вокруг озера пусты, только ребятишки играли на песке да куры рылись в раскиданном навозе. Несмотря на ранний час, солнце сильно припекало — счастье еще, что ветер освежал воздух. Под его буйным дыханием качались сады, полные краснеющих вишен, да рожь билась о плетни, как бурные волны.

Во всех избах были раскрыты окна и двери, на плетнях проветривались постели. Все мужики и бабы работали в поле. Кое-кто еще свозил последнее сено, и запах его сладко щекотал ноздри.

Наследники Борыны шли медленно и молча, размышляя каждый о своем.

Откуда-то, должно быть с полей, где окучивали картофель, долетала песенка и уносилась дальше с ветром, неведомо куда. А у мельницы вода с шумом падала на колеса, и какая-то оаба так колотила белье вальком, что эхо разносилось вокруг.

— Мельница теперь работает без передышки! — заметила Магда.

— Когда в деревне голод, у мельника жатва!

— Нынешним летом всем тяжело дотягивать до нового урожая. Везде нужда, а коморники — те уж просто с голоду мрут! — вздохнула Ганка.

— Козел с женой так и шныряют по деревне, — того и гляди у кого-нибудь случится крупная кража, — бросил кузнец.

— Не болтай зря! Перебиваются, бедняги, как могут! Вчера Козлова продала утят органисту, вот им малость полегче стало.

— Живо пропьют и это! Я ничего худого про них не говорю, только странно мне, что перья моего селезня, который пропал в тот день, когда мы хоронили отца, Мацюсь нашел за их хлевом! — сказала Магда.

— А кто тогда стащил нашу постель? — вставила Юзька.

— Когда же будет их суд с войтом?

— Нескоро еще. Плошка за них горой, уж он войту ногу подставит, не беспокойтесь!

— И отчего это Плошка так любит в чужие дела соваться?

— Ну как же — друзей себе вербует, в войты метит!

Им пересек дорогу Янкель, тащивший за гриву стреноженную лошадь, которая лягалась и упиралась изо всех сил.

— Насыпьте ей перца под хвост, так она полетит, как рысак!

— Смейтесь себе на здоровье! Мучение с этой лошастью!

— Набей ее соломой, приделай новый хвост да на ярмарку сведи, авось кто купит, вместо коровы, потому что в лошади она уже не годится! — пошутил Михал.

И вдруг все захохотали: лошадь вырвалась, побежала к озеру и, не обращая внимания на мольбы и угрозы Янкеля, преспокойно вошла в воду.

— Вот так затейница! Должно быть, у цыган куплена!

— Поставьте ей ведро водки, тогда, может, и выйдет на берег! — смеялась жена органиста, которая стерегла выводок утят.

Похожие на желтенькие шарики, утята плавали в озере, а на берегу тревожно кудахтала наседка.

— Славные утятки, это, наверное, те, что у Козловой куплены? — спросила Ганка.

— Да. И все убегают к озеру. Ути, ути, ути! — звала она, бросая им для приманки горстями пшено. Но утята поплыли к другому берегу, и она побежала за ними.

— Скорее идите, бабы! — торопил кузнец.

Когда пришли в избу и Ганка стала готовить завтрак, Михал опять начал обыскивать и комнаты и двор, не забыл даже картофельные ямы, так что Ганка, не выдержав, сказала:

— Боишься, не пропало ли что?

— Не люблю покупать кота в мешке!

— Да ты лучше меня тут все знаешь! — съязвила она, разливая кофе по кружкам. — Доминикова, Ягуся! Идите к нам! — крикнула она на другую половину.

Сели за стол и принялись за кофе с хлебом.

Все молчали, никто не решался первый начать предстоящий разговор о наследстве. Ганка тоже была как-то необычайно сдержанна. Она усердно всех угощала, подливая кофе, но в то же время не спускала глаз с кузнеца, а тот ерзал на месте, шнырял глазами по комнате и все откашливался. Ягуся сидела хмурая и часто вздыхала, глаза у нее влажно блестели, как будто она недавно плакала. А Доминикова нахохлилась, как курица, и все что-то шептала дочери. Одна лишь Юзька, как всегда, трещала без умолку, возясь с горшками, в которых варилась картошка.

Всех тяготило затянувшееся молчание, и, наконец, кузнец первый начал:

— Ну, как же делиться будем? — Ганка вздрогнула и, выпрямившись, сказала спокойно, видимо уже заранее хорошо все обдумав:

— Да что ж? Я тут только мужнино добро стерегу и ничего решать не имею права. Вернется Антек, тогда и делитесь.

— Когда еще он вернется! А так оставаться не может.

— И все-таки останется! Могло так быть, пока отец хворал, значит может и до тех пор, пока не вернется Антек.

— Не он один наследник!

— Но он самый старший, значит, ему и хозяином быть после отца!

— Вот еще! У него такие же права, как и у других детей!

— Что ж, может, и к тебе хозяйство перейдет, если так вы с Антеком договоритесь. Ссориться с тобой не стану, тут не мне решать!

— Ягусь! — громко сказала Доменикова. — Напомни же им и про свои права.

— Зачем? Они и сами хорошо помнят.

Ганка вдруг густо покраснела и, отпихнув Лапу, который совался ей под ноги, процедила сквозь зубы:

— Да, обиду хорошо помним!

— Это еще что за разговор! Про шесть моргов надо говорить, что покойник записал на Ягусю, а не про какие-то глупые сплетни!

— Если у вас есть бумага, так никто у вас их не вырвет! — гневно проворчала Магда, сидевшая до тех пор молча с ребенком на руках.

— Бумага есть, в волости написана, при свидетелях.

— Все ждут, так и Ягуся может подождать.

— Ясно, приходится подождать. А только то, что у нее здесь свое, она сейчас заберет: корову с теленком, свиней, гусей...

— Все — общее, все будем делить! — резко возразил кузнец.

— Делить! Хотелось бы тебе, да не выйдет! Что она в приданое получила, того никто у нее отнять не может! Уж не хотите ли и юбки ее и перины тоже поделить между собой, а? — Доменикова все больше повышала голос.

— Я в шутку сказал, а вы сразу накидываетесь на человека!

— Ладно!.. Я тебя насквозь вижу!

— Ну, чего попусту болтать? Ганка верно сказала, что надо подождать Антека. А сейчас я должен к помещику бежать, меня там ждут.

Кузнец встал и, заметив тулуп Мацея, висевший в углу на шесте, стал его снимать.

— Он мне в самый раз будет.

— Не тронь, пусть сушится, — остановила его Ганка.

— Ну, так эти сапоги отдай. Одни голенища целы, да и те уж раз подшиты, — сказал кузнец, ловко стаскивая их с шеста.

— Ничего тронуть не дам! Возьмешь что-нибудь, а потом будут говорить, что я половину хозяйства разорила. Сперва опись надо сделать. Пока начальство на все опись не сделает, и кола из плетня взять не позволю!

— Описи еще не было, а отцовская постель уже куда-то пропала!

— Я же тебе объясняла, как дело было. Сразу после его смерти развесили постель на плетне, а ночью кто-то ее стащил. Невозможно было тогда за всем уследить!

— Удивительно, что так сразу и украли...

— Ты что же хочешь сказать? Что я взяла и теперь вру?

— Тише, бабы! Только без ссор! Оставь, Магдуся! Кто украл, тот пусть саван себе из этого полотна сошьет.

— Одна перина весила без малого тридцать фунтов!

— Сказано тебе, заткни глотку! — крикнул кузнец на жену и вызвал Ганку во двор, якобы для того, чтобы посмотреть поросят. Она пошла за ним, но все время была настороже.

— Хочу тебе кое-что сказать.

Она с любопытством ждала, догадываясь, о чем он поведет речь.

— Знаешь, прежде чем придут опись делать, надо как-нибудь вечером отвести хоть двух коров ко мне. Свинью можно дяде доверить, и все, что только возможно, у людей припрятать... Я тебе укажу, где... О зерне скажешь при описи, что оно давно Янкелю продано, он охотно подтвердит, если ему дать за это с полкорца. Кобылу мельник возьмет, подкормится она на его пастбищах. А добро разное можно попрятать в ямах или во ржи. Советую тебе по дружбе! Все умные люди так делают. Ты работала, как вол, так тебе по справедливости больше и полагается. Ну, и мне из этого дашь кое-что, самую малость, и ничего не бойся, я тебе во всем помогу. Уж я так устрою, чтобы земля за тобой осталась. Только ты меня слушайся, на моих советах никто еще не прогадал... Ну, что скажешь?

— А то скажу, что своего из рук не выпущу, а на чужое не зарюсь! — с расстановкой ответила Ганка, презрительно глядя ему в лицо. Кузнец завертелся, как от удара палкой по голове, смерил ее взглядом и прошипел:

— Я бы тогда и слова никому не сказал про то, как ты ловко отца обобрала...

— А ты говори! Вот я Антеку расскажу, он с тобой насчет твоих советов потолкует.

Кузнец с трудом сдержал ярость, только плюнул и, торопливо уходя, крикнул в открытое окно жене:

— Магда, ты тут гляди в оба, чтоб опять воры чего-нибудь не унесли!

Ганка смотрела на него с насмешливой улыбкой. Он побежал, как ошпаренный, и, столкнувшись у ворот с женой войта, долго что-то ей говорил, размахивая кулаками.

Жена войта принесла казенную бумагу.

— Это для вас, Ганка, — сторож принес из канцелярии.

— Может, насчет Антека! — шепнула она с тревогой, беря бумажку через передник.

— Нет, кажись, насчет Гжели. Моего нет дома, уехал в волость, а сторож сказал, будто тут написано, что Гжеля ваш помер...

— Иисусе, Мария! — воскликнула Юзя, а Магда вскочила.

Они смотрели на бумажку с ужасом и беспомощно вертели ее в дрожащих руках.

— Может быть, ты, Ягуся, разберешь, — попросила Ганка.

Все в страхе и тревоге обступили Ягусю, но она, после долгих попыток прочитать хотя бы по складам написанное, сказала с досадой:

— Не по-нашему написано, ничего понять нельзя.

— Где ей! Зато кое-что другое она хорошо умеет! — вызывающе прошипела жена войта.

— Ступайте своей дорогой и не задевайте людей, когда вас не трогают! — проворчала Доминикова.

Но та, видимо, обрадовавшись случаю, немедленно ее срезала:

— Других осуждать умеете, а что же вы дочке-то не запрещаете чужих мужей приманивать?

— Полно вам, Петрова! — вмешалась Ганка, видя, к чему клонится дело, но жена войта уже закусила удила:

— Хоть раз душу отведу! Сколько я из-за нее горя приняла, сколько настрадалась... До смерти обиды не прощу!

— Ну, и лайся! Ты всех собак за пояс заткнешь! — буркнула старуха довольно спокойно, но Ягуся густо покраснела. Она сгорала от стыда, и в то же время в ней накипало мстительное ожесточение, и она, словно назло войтихе, все выше поднимала голову и нарочно сверлила ее презрительным взглядом, а на губах ее бродила едкая усмешка.

Задетая за живое, жена войта дала волю языку и яростно ругалась, перечисляя все ягусины грехи.

— Осатанела ты от злости и мелешь всякий вздор! — перебила ее Доминикова. — А муж твой тяжко ответит перед Богом за Ягусино несчастье!

— Как же, ответит! Соблазнил невинное дитя! Это дитя с каждым готово в кусты забраться!

— Заткни пасть, не то хоть я и слепа, а нащупаю твои космы! — пригрозила старуха, стискивая в руке палку.

— Попробуйте! Только троньте! — вызывающе крикнула жена войта.

— Ишь, разжирела на чужой беде и теперь пристаёт к людям, как репей к собачьему хвосту!

— Какая чужая беда? Чем я кого обидела? Чем?

— Вот засадят твоего в острог, тогда узнаешь.

Войтиха подскочила к ней с кулаками, но Ганка успела вовремя ее оттащить и резко прикрикнула на обеих:

— Бога побойтесь, бабы, тут вам не корчма!

Обе притихли, тяжело дыша. У Доминиковой даже слезы брызнули из-под повязки на глазах и струйками текли по изможденному лицу. Но она первая успокоилась, села и, разводя руками, вздохнула:

— Иисусе, будь милостив ко мне, грешной!

Войтиха выскочила из хаты, как угорелая, но вернулась с дороги, сунула голову в окно и закричала Ганке:

— Говорю тебе, выгони из дому эту потаскуху! Выгони ее, пока не поздно, чтобы потом не пожалеть! Ни часу не оставляй ее под своей крышей, иначе она тебя выживет отсюда, эта чертовка! Эй, берегись, Ганка! Мой тебе совет — не жалея ее, она только и дожидается мужа твоего. Вот увидишь, что она тебе подстроит!

Она еще больше перегнулась через подоконник и, грозя Ягне кулаками, визжала, не помня себя от злости:

— Погоди ты, проклятая, погоди! К святому причастию не пойду, жива не буду, если не добьюсь, чтобы тебя из деревни кольями выгнали! К солдатам ступай, сука! Там тебе место, дрянь, там!

Войтиха убежала. В комнате стало тихо, как в могиле.

Доминикова вся тряслась от сдерживаемых рыданий, Магда качала ребенка, Ганка, глубоко задумавшись, смотрела в огонь.

А Ягуся, хотя лицо ее еще сохраняло дерзкое выражение и злая усмешка кривила губы, побледнела как полотно. Последние слова разъяренной бабы ударили ее в самое сердце. У нее было такое чувство, словно сто ножей сразу вонзилось в нее и вся кровь хлынула из ран, все силы ее покинули, осталась только невыразимая горечь, такая страшная нечеловеческая боль, что хотелось биться головой о стену и кричать в голос. Но она пересилила себя и, ухватив мать за рукав, лихорадочно зашептала:

— Пойдемте отсюда, мама! Уйдем скорее! Убежим!

— Да, пойдем, совсем я ослабла. Но тебе надо будет вернуться сюда и до конца стеречь свое добро.

— Нет, не останусь! Так мне тут все опротивело, что больше не стерпеть! Лучше бы я ноги себе переломала раньше, чем вошла в этот дом!

— Так худо тебе было у нас? — тихо сказала Ганка.

— Хуже, чем собаке на цепи! В аду и то, наверное, лучше!

— Что же ты так долго терпела? Ведь ног тебе никто не связывал, могла уйти! Не беспокойся, кланяться тебе не буду, не попрошу остаться!

— Уйду, уйду! Сгиньте, коли вы такие!

— Молчи, пока я тебе своих обид не припомнила!

— Все против меня, вся деревня!

— Живи честно, тогда никто про тебя худого слова не скажет!

— Перестань, Ягусь, ведь Ганка тебе не враг. Молчи!

— Пусть и она шипит, пусть! Наплевать мне на эту брехню! Что я такого сделала? Украла? Убила кого-нибудь?

— И ты еще смеешь спрашивать? — с удивлением сказала Ганка, стоя перед ней. — Эй, не выводи меня из терпения, не то и я тебе кое-что скажу!

— Говори! Бреши! Мне все равно! — кричала Ягна все запальчивее.

Гнев в ней разбушевался, как пожар, она уже готова была на что угодно, на самое худшее.

У Ганки глаза наполнились слезами, воспоминание об измене Антека так больно впилося в сердце, что она едва могла выговорить:

— А что у тебя с моим было, а? Покарает тебя Господь за меня, увидишь! Ты Антеку покоя не давала... бегала за ним, как... как... — она захлебнулась плачем.

Ягуся оцетинилась, как волк, застигнутый в берлоге и готовый терзать клыками всех и все без разбору. Не помня себя от ненависти и жажды мести, она выскочила на середину комнаты и сдавленным от бешенства голосом начала выкрикивать слова, плетью хлеставшие Ганку:

— Это я за ним бегала! Я? Врешь! Все знают, что я его от себя гнала! Ведь он, как собачонка, скулил у моей двери, чтобы я ему хоть башмак свой показала! Это он ко мне приставал! Он меня опутал и делал со мной, глупой, что хотел! Уж если на то пошло, я скажу тебе правду, только как бы ты об этом не пожалела! Он так меня любил, что и рассказать невозможно! А ты ему надоела хуже горькой редьки, по горло сыт был бедняга твоей любовью, тошнило его от нее, и он только плевался, вспоминая о тебе! До того дошел, что готов был руки на себя наложить, чтобы только тебя не видеть больше... Вот тебе правда, коли ты ее хотела! А теперь запомни, что я еще скажу: захочу — так, хоть ты ноги ему целуй, отшвырнет он тебя, как тряпку, и за мной побежит хоть на край света! Ты это помни и со мной не равняйся, поняла?

Она кричала это, уже овладев собой, злобно и смело, и никогда еще она не была так хороша, как в эту минуту. Даже мать слушала ее с удивлением и страхом — так непохожа была на прежнюю эта новая Ягна, злая и грозная, как туча, извергающая молнии.

А Ганку ее слова сразили насмерть. Они исхлестали ее до крови, жестоко и безжалостно, они растоптали ее, как жалкого червяка. Они свалили ее, как дерево, разбитое молнией, лишили сил и памяти. Упав на лавку, она ловила воздух побелевшими губами. От боли все в ней словно рассыпалось в порошок, и даже слезы застыли на лице, пепельно-сером от муки. Тяжкие, подавленные рыдания разрывали грудь. Она с ужасом смотрела куда-то в пространство, словно в бездну, внезапно открывшуюся перед ней, и дрожала, как былинка, которую ветер, сорвав, уносит на гибель.

Ягна уже давно замолчала и ушла с матерью на свою половину, Магда тоже ушла, не добившись от Ганки ни слова, даже Юзя убежала к озеру за утятами, а Ганка все сидела на одном месте, помертвев, как птица, у которой отнимают птенцов, — ни кричать, ни защищать их, ни улететь она уже не может и только порой забьет крыльями и жалобно пискнет.

Очнувшись, наконец, от этого оцепенения, она упала ниц перед образами, плача навзрыд, и дала обет сходить на богомолье в Ченстохов, если то, что она слышала, окажется неправдой.

Ягуся не внушала ей ненависти, — один только страх, и, услышав ее голос, она крестилась, словно отгоняя нечистого.

Наконец, она принялась хлопотать по хозяйству. Руки почти машинально делали свое дело, а мысли были далеко. Она и не помнила, как выпроводила детей в сад, как убрала избу и, сготовив завтрак, приказала Юзе поскорее нести горшки в поле.

Оставшись одна и немного успокоившись, она стала вспоминать и обдумывать каждое слово Ягны. Она была женщина разумная и добрая и легко прощала обиды. Но на этот раз гордость ее была задета слишком сильно, чтобы можно было забыть. Ее то и дело кидало в жар, сердце корчило от боли, а в голове рождались планы мести. Однако в конце концов она и это поборолась в себе и прошептала:

— Конечно, где мне равняться с ней красотой! Но я ему венчанная жена и мать его детей! — К ней вернулась гордость и уверенность в себе. — Если и побежит за ней, так вернется! Не женится ведь он на ней!

В таких мыслях находила она горькое утешение. Близился полдень, солнце стояло над озером, и жара была такая, что земля обжигала ноги, а накаленный воздух как будто выходил из печи. Люди уже шли с поля, с дороги под тополями вместе с тучей пыли несло мычание скота.

Ганка вдруг приняла решение. Она постояла еще у стены, подумала и, отерев глаза, прошла через сени, распахнула дверь в комнату Ягуси и сказала твердо и совершенно спокойно:

— Сейчас же убирайся вон из нашего дома!

Ягна вскочила с лавки. Долго стояли они одна против другой, меряя друг друга глазами. Наконец, Ганка отступила за порог и повторила охрипшим голосом:

— Мигом убирайся, не то велю работнику тебя вышвырнуть. Сию минуту! — добавила она неумолимо.

Старуха бросилась было к ней уговаривать, объяснять, но Ягуся только плечами пожала:

— Не говорите с этим помелом! Известно, чего ей надо!

Она достала со дна сундука какую-то бумагу.

— Запись тебе покоя не дает, морги эти несчастные! На, возьми, ешь! — сказала она презрительно, швыряя бумагу Ганке в лицо. — Подавись своей землей!

И, не слушая протестов матери, стала поспешно связывать узлы и выносить их на двор.

У Ганки потемнело в глазах, как будто ее обухом по голове хватили, но бумагу она подняла и сказала с угрозой:

— Живей, не то собак на тебя натравлю!

Она задыхалась от удивления: не укладывалось у нее в голове, что это правда. "Целых шесть моргов земли бросила, как разбитый горшок! Не иначе, как в голове у нее неладно!" — думала она, следя глазами за Ягной.

А Ягна, не обращая на нее никакого внимания, уже снимала со стены свои образы. Вдруг в комнату ворвалась Юзья.

— Кораллы мне отдай, они мои, от матери остались!

Ягна начала было снимать кораллы с шеи, но вдруг передумала.

— Нет, не отдам! Мацей их мне подарил, значит они мои.

Юзя подняла такой крик, что Ганке пришлось на нее цыкнуть, чтобы унялась. А Ягна, глухая ко всем ее наскокам, вынесла из комнаты свои вещи и побежала за Енджиком.

Доминикова уже ничему не противилась, но не отвечала ни заговаривавшей с нею Ганке, ни визжавшей Юзьке. Только когда вещи взвалили на телегу, она встала и, грозя кулаком, сказала:

— Будь ты проклята! Все беды на твою голову!

Ганка похолодела, но, пропуская эти слова мимо ушей, крикнула им вслед:

— Пригонит Витек скот, так он отведет к тебе твою корову. А за остальным пришлите кого-нибудь вечером.

Ягна с матерью вышли молча и пошли берегом озера. Фигуры их отражались в воде.

Ганка долго смотрела им вслед. У нее почему-то на сердце кошки скребли, но некогда ей было разбираться в своих чувствах, — работники уже возвращались с поля. Она спрятала бумагу в сундук, заперла сундук и двери на половину Мацея и принялась готовить обед. Но весь день она была расстроена и молчалива и даже льстивые речи Ягустинки слушала как-то неохотно.

— Хорошо ты сделала, давно надо было ее выгнать! Всякий стыд потеряла — кто же ее тронет, коли старуха с ксендзом запанибрата! Другую он давно проклял бы с амвона.

— Верно, верно! — соглашалась Ганка, но отходила, чтобы не продолжать этого разговора. Когда все, поев, ушли опять на работу, она позвала Юзьку, и обе отправились на засеянное льном поле полоть густо разросшуюся там сурепку, уже издали ярко желтевшую на полосах.

Ганка рьяно принялась за работу, но на душе у нее было беспокойно: мучили и пугали угрозы Доминиковой, а главное — она спрашивала себя, что скажет на это Антек.

"Ничего, покажу ему запись, так сразу повеселеет! Вот дура-то! Шесть моргов — ведь это целое хозяйство!" — думала она, оглядывая поля.

— Гануся, а ведь мы совсем забыли про эту бумагу насчет Гжели!

— Правда! Ты работай, Юзя, а я сбегаю к ксендзу, он мне ее прочитает.

Она даже рада была пойти в деревню и кстати разузнать, что люди говорят о ее поступке.

Вернувшись домой, она приделась, достала бумагу и пошла в плебанию. Ксендза дома не оказалось — он был в поле, где его поденщики перекапывали морковь. Ганка увидела его еще издали: он стоял полуодетый, в одних штанах и соломенной шляпе. Она не решилась подойти близко, боясь, что он уже обо всем знает и еще, чего доброго, отчитает ее при всех. Поэтому она повернула обратно и пошла к мельнику. Мельник вместе с Матеушем пускал в ход лесопилку.

— Мне жена только что рассказала, как вы мачеху вытурили! Ого, на вид — трясогузка, а когти ястребиные! — со смехом сказал мельник, готовясь прочитать поданную ему Ганкой бумагу. Но, едва пробежав ее глазами, воскликнул:

— Дурные вести! Гжеля ваш утонул! Еще на Страстной! Пишут, что вещи его вы можете получить в волости у воинского начальника.

— Гжеля помер! Господи помилуй! Такой молодой, такой здоровый! Ведь ему только двадцать шестой год пошел! И к жатве обещал домой вернуться! Утонул! Иисусе милосердный! — простонала Ганка, ломая руки. Эта новость ее сильно огорчила.

— Везет вам с наследством! — сказал Матеуш язвительно. — Теперь еще Юзьку выгоните, и все достанется вам и кузнецу.

— Ты что? С Терезкой развязался, теперь на Ягну метишь? — огрызнулась Ганка.

Мельник захохотал, а Матеуш усердно занялся пилой.

— Эта не даст себя с кашей съесть, нет! Хват-баба! — сказал мельник ей вслед.

Ганка по дороге зашла к Магде. Та, услышав новость, заплакала и сказала, всхлипывая:

— Воля божья, мои дорогие. Парень был, как дуб, таких мало в Липцах... Ох, доля ты наша, горькая доля! Нынче жив, завтра в земле гниешь! Надо будет Михалу съездить за его вещами, зачем им пропадать! Как он, горемычный, домой рвался!

— А помнишь, он раз тонул в озере, едва его Клемб тогда спас? Знать, на роду ему было написано в воде жизнь кончить.

Погоревали, поплакали и разошлись. У каждой было достаточно повседневных забот, особенно у Ганки.

Обе новости мигом распространились по деревне, и, возвращаясь в сумерки с поля, все только о них и толковали. Гжелю, конечно, все очень жалели, что же касается Ягуси, — мнения разделились: все женщины, особенно пожилые, были на стороне Ганки и яростно нападали на Ягусю, а мужики, хотя и несмело, заступались за Ягусю, и уже кое-где дело доходило до ссор...

Вечер только начинался, а в деревне уже бурлило, как в котле, кумушки бегали друг к другу посудачить, перекрикивались через плетни и сады или, доя коров перед домом, заговаривали с проходившими мимо. Сумерки были приятные, прохладные, небо — в бледном золоте заката. С полей слышен был треск кузнечиков, голоса перепелов, а в канавах и болотах сонно квакали лягушки. Песни, крики ребят, мычание, бляение и ржание, грохот телег стояли над деревней. И на улицах, у озера — везде, где встречались люди, шли разговоры о том, что случилось у Борын, и строились догадки, с чем вернутся от помещика мужики.

Матеуш, возвращаясь домой с лесопилки, прислушивался к тому, что говорят, но только плевался да тихо бормотал ругательства и обходил болтливых кумушек. Однако кучка баб, кричавших у дома Плошков, так его возмутила, что он не выдержал и сказал резко:

— Ганка не имела права ее выгонять, Ягна у себя жила. За такую штуку антекова баба может и в тюрьме отсидеть и заплатить немало!

Толстая раскрасневшаяся Плошкова заорала на него:

— Ганка земли у нее не отнимает! Она другого опасалась — ведь Антек не нынче-завтра должен вернуться! Попробуй уследи за домашним вором! Или, по-твоему, ей надо смотреть на это сквозь пальцы?

— Э!.. знаете поговорку: кувыркался, а сам за траву держался! Поиграл он с Ягусей — и перестал. А вы мелете, что на язык взбредет, не по совести, а просто из одной зависти.

Матеуш словно ткнул палкой в осиный рой — на него налетели все бабы.

— Чему же нам завидовать, а? Чему? Тому, что она потаскушка, распутница, что бегаєте вы за ней, как кобели, что всем хочется к ней под перину? Что из-за нее срам на всю деревню?

— Может, и это вам завидно, черт вас разберет! Ведьмы окаянные, солнца боитесь! Была бы Ягуся такая, как Магда из корчмы, так вы бы ей все прощали, а оттого, что она краше всех, каждая из вас готова ее в ложке воды утопить!

Бабы подняли такой крик, что Матеушу пришлось спасаться бегством.

— Чтоб у вас языки отсохли, чертовки! — выругался он и, проходя мимо избы Доминиковой, заглянул в открытое окно. В комнате было светло, но Ягуси он не увидел, а войти не решился и, вздохнув, свернул к своей избе. По дороге встретилась ему Веронка, шедшая к сестре.

— А я только что у тебя была. Стах уже деревья обтесал и яму выкопал, можно резать. Когда придешь?

— Когда? А может, и совсем не приду! Так мне опостылела наша деревня, что брошу все к черту и уйду куда глаза глядят! — гневно крикнул Матеуш и торопливо прошел мимо.

"Ишь, как бесится! Видно, его что-то сильно укусило!" — думала Веронка, входя во двор Борыны.

Ганка убирала со стола после ужина, но тотчас отвела сестру в уголок и стала рассказывать, как дело было. Веронка от разговора о Ягусе уклонилась, а насчет Гжели сказала только:

— Раз он помер, значит, его часть вы поделите между собой?

— Я еще про это не думала.

— А когда пан даст вам землю за лес, придется на каждого с полвлуки — ведь вас только трое! Господи, богачам и чужая смерть на пользу! — горько вздохнула Веронка.

— Что мне богатство! — возразила Ганка. Однако, когда все легли спать, она долго еще считала, рассчитывала и тайно радовалась. Став на колени, чтобы помолиться, она прошептала смиренно:

— Если он помер — значит такова воля божья! — и искренне помолилась за упокой души Гжели.

На другой день около полудня к ним зашел Амброжий.

— Куда это вы ходили? — спросила Ганка, разводя огонь в печи.

— У Козла был — ребенок у них насмерть обварился. Она меня позвала, да поздно, — его уже только в гроб надо положить и похоронить.

— Который же это?

— Меньшой, которого она весной привезла из Варшавы. Упал в котел с кипятком и почти сварился.

— Не везет что-то у Козловой этим подкидышам!

— Да, не везет! Она-то на этом не теряет, получит деньги на похороны... Ну, да я не с тем к вам пришел.

Ганка с беспокойством посмотрела на него.

— Знаете, Доминикова ведь поехала с Ягусей в город, — говорят, подавать в суд на вас за то, что дочку выгнали.

— Пусть подает! Что они мне сделают?

— Утром исповедались, а потом долго толковали с его преподобием. Я хоть не подслушивал, а кое-что слышал, — так, пятое через десятое... Они на вас жаловались, и ксендз так рассердился, что даже кулаком махал.

— Ксендз, а сует нос в чужие дела! — запальчиво воскликнула Ганка. Однако она была так удручена этой вестью, что целый день ходила сама не своя, полная тревоги и самых мрачных предчувствий.

Поздним вечером чья-то бричка остановилась у ворот.

Ганка выбежала на улицу, дрожа от страха. В бричке сидел войт.

— О Гжеле вы уже знаете! — начал он. — Ну, что говорить, несчастье — и все тут. Но есть у меня для вас и хорошая новость: сегодня или, самое позднее, завтра приедет Антек.

— А вы меня не обманываете? — усомнилась Ганка, не смея верить.

— Войт вам говорит, значит верьте! Мне в волости сказали...

— Ну, и хорошо, что вернется, давно пора! — промолвила она холодно, как будто совсем не радуясь. Войт помолчал и заговорил самым дружеским тоном:

— Нехорошо вы поступили с Ягусей! Она уже на вас жалобу подала, вас могут осудить за самоуправство и насилие. Вы не имели права ее трогать, она в своем доме жила! Ладно будет, если Антек вернется, а вас посадят! Как друг вам советую: уладьте вы с ней это дело! Я уж постараюсь, чтобы они жалобу взяли из суда, но обиду вы сами должны загладить.

Ганка выпрямилась и сказала резко:

— Вы за кого же заступаетесь: за обиженную или за свою полюбовницу?

Войт так стегнул лошадей, что они рванулись с места и понеслись вскачь.

#### IV

Все эти тяжелые переживания не давали Ганке уснуть ночью, к тому же ей беспрестанно чудились чьи-то шаги то у плетня на улице, то даже как будто у самой хаты. Она прислушивалась с бьющимся сердцем, но весь дом крепко спал, даже дети не капризничали. Ночь была глухая, хотя и светлая, звезды заглядывали в окна, шумели по временам деревья под ветром, который дул с самой полуночи, налетая порывами.

В комнате было душно, жарко, скверно пахло от ночевавших под кроватью утят, но Ганке лень было встать и открыть окно. Сон не приходил, жарко было от перины, подушки жгли, как раскаленное железо, и она ворочалась с боку на бок. Беспокойство все росло, и самые разнообразные мысли сновали у нее в голове. Она то обливалась горячим потом, то вся дрожала и, наконец, не в силах побороть страх, вскочила с кровати и босиком, в одной рубахе, схватив топор, подвернувшийся под руку, вышла во двор.

Двери всех хлебов были раскрыты настежь, везде царило глубокое безмолвие сна. Слышно было только, как храпел Петрик, растянувшись у конюшни, как лошади с хрустом жевали сено и побрякивали уздечками. Непривязанные на ночь коровы разбрелись по двору. Они лежали, жуя жвачку, и, поднимая тяжелые головы, вперяли в Ганку большие, черные, таинственные зрачки.

Ганка вернулась в комнату. Опять лежала с открытыми глазами и тревожно прислушивалась. В иные минуты она готова была голову дать на отсечение, что ясно слышит какие-то голоса и отдаленные шаги.

"Может быть, это в какой-нибудь хате не спят и разговаривают", — пыталась она убедить себя. Но, как только начали сереть окна, встала и, набросив на плечи тулуп Антека, вышла.

На крыльце аист Витека спал, стоя на одной ноге и спрятав голову под крыло. Во дворе белели стайки гусей.

Уже верхушки деревьев выступали из мрака, часто капала с них роса, шумя по листьям и травам. Тянуло бодрящим холодком.

Синеватый туман окутывал поля, кое-где из него выступали деревья, как высокие столбы густого черного дыма.

Мутно белело озеро, похожее на громадный глаз, затянутый бельмом, и ряды ольх шептались над ним тихо и тревожно, потому что вокруг все еще спало, погруженное в серую непроглядную мглу и тишину.

Ганка села на завалинке и, прислонясь к стене, незаметно для себя задремала. Очнулась она только через добрых полчаса, когда мрак уже совсем поредел и на востоке далеким заревом разгоралась алая заря.

"Если они с Рохом вышли ночью, так того и гляди должны прийти", — думала она, поглядывая на дорогу. Короткий сон так подкрепил ее, что она уже не ложилась больше и, чтобы не скучно было дожидаться солнца, собрала детское белье и пошла на озеро стирать.

Светало быстро, скоро закричал первый петух, за ним и другие, хлопая крыльями, начали перекликаться на всю деревню. Потом запели жаворонки. Из сумрака, стлавшегося еще низко над землей, понемногу выступали белые стены, плетни и пустые дороги.

Ганка усердно стирала. Вдруг неподалеку послышались тихие шаги. Она застыла на месте, притаилась, как испуганный кролик, внимательно оглядываясь по сторонам. Какая-то тень выскользнула со двора Бальцерков и крадучись прошмыгнула под деревьями.

"Наверное, от Марыси, но кто?" — размышляла Ганка, не успев разглядеть человека, — он исчез внезапно, как сквозь землю провалился. "Такая красавица, так кичится своей красотой, а пускает к себе ночью парней! Кто бы подумал!"

Вдруг она заметила еще одну фигуру — это с другого конца деревни пробирался куда-то работник мельника.

"Должно быть, из корчмы, от Магды! Как волки, бродят по ночам! Что делается, Господи!" — вздохнула Ганка, но и ее неожиданно охватила какая-то истома. Она несколько раз блаженно потянулась... Впрочем, холодная вода быстро отрезвила ее, и она запела тихим, заунывным голосом:

Как встанут утренние зори...

Песня летела низко по росе, растворяясь в розовом сиянии утра.

В деревне уже открывались окна, стучали деревянные башмаки, слышались голоса.

Ганка развесила на плетне выстиранное белье и побежала будить своих. Но они так разоспались, что если и поднималась чья-нибудь голова, она тотчас падала опять на подушку.

Ганка не на шутку разозлилась, когда Петрик крикнул ей:

— Рано еще, ну вас! До солнца буду спать! — и не тронулся с места.

Дети хныкали, а Юзька жалобно просила:

— Еще чуточку, Гануся! Да ведь я совсем недавно легла.

Ганка уняла детей, выгнала птицу из хлевов и, подождав еще немного, уже перед самым восходом, когда небо все пылало и заря румянила озеро, подняла такой шум, что пришлось всем вскочить с постели. Она с места в карьер обрушилась на заспанную Витека, который слонялся по двору, терся об углы и почесывался.

— Вот как дам тебе чем-нибудь твердым, так живо у меня проснешься! Ты почему, урод этакий, не привязал коров к яслям! Хочешь, чтобы они ночью друг дружке брюхо распороли рогами?

Витек огрызнулся, и она бросилась к нему, но он, конечно, ждать не стал и, к счастью для себя, успел удрать. Тогда Ганка зашла в конюшню и принялась за Петрика:

— Лошади стучат зубами о пустые ясли, а ты валяешься до солнца!

— Кричите, как сорока к дождю! На всю деревню слышно!

— И пусть слышат! Пусть знают все, какой ты бездельник, дармояд! Погоди, вот вернется хозяин, он тебе задаст!

— Юзька! — кричала она через минуту уже в другом конце двора. — У Красотки вымя твердое, так ты сильнее тяни, не то опять только половину молока выдоишь! Да поторопись, на деревне уже гонят коров! Витек! Бери завтрак и выгоняй стадо! Да смотри — потеряешь овец, как вчера, так я с тобой расправлюсь!

Так распорядилась она и сама вертелась волчком: насыпала курам зерна, свиньям вынесла ушат с кормом, теленку, отнятому от матери, приготовила пойло, насыпала крупы утятам и выгнала их на озеро. Витек получил тумака в спину и завтрак в котомку. Не был забыт даже его аист. Она поставила ему на крыльце котелок с вчерашней картошкой, и он, осторожно подобрившись к нему, совал туда клюв и глотал. Ганка была всюду, обо всем помнила и со всем управлялась. Как только Витек погнал коров и овец на пастбище, она надела на Петрика, так как не могла стерпеть, что он болтается без дела.

— Вычисти хлев! Коровам ночью жарко от навоза, да и пачкаются они, как свиньи!

Как только солнце взошло и оглядело мир своим красным пламенным оком, начали сходиться коморницы, обрабатывавшие Ганке за землю, которую она отвела им под лен и картофель.

Ганка велела Юзе чистить картошку, покормила грудью малыша и, повязав голову платком, сказала:

— Смотри тут за всем! А если вернется Антек, дай мне знать на капустное поле. Пойдемте, бабы, пока роса и прохладно, надо окучивать капусту, а после завтрака возьмемся за вчерашнюю работу.

Она повела их за мельницу, на заливные луга и торфяники, еще седые от росы и оседающего тумана. Торфяная земля скользила под ногами, как мокрый ремень, а местами была такая вязкая, что приходилось обходить кругом.

В бороздах, глубоких, как канавы, стояла вода, покрытая зеленой ряской.

На капустных полях не было еще никого, только чайки кружили над грядками да бродили аисты, усердно охотясь на лягушек. Пахло болотом и осокой, которая густо росла по краям старых торфяных ям.

— Славное утро, да, кажись, жара опять будет, — сказала одна из женщин.

— Хорошо еще, что ветерок прохладный.

— Это потому, что рано. А попозже он хуже солнца сушит.

— Давно не бывало такого сухого лета! — говорили женщины, принимаясь за работу на высоких капустных грядках.

— Смотри, как выросла, уже и головки кое-где завязываются!

— Только бы червь ее не обглодал! В засуху он может появиться.

— Может. В Воле уже всю поел!

— А в Модлице капуста вся засохла, пришлось наново сажать.

Так они переговаривались, разрыхляя землю мотыгами. Капуста на грядках поднялась уже высоко, но сильно заросла сорными травами. Молочай доходил до колен, одуванчики и даже чертополох разрослись густо, как лес.

— И отчего это лучше всего растет то, чего люди не сеют и чего им не надо? — заметила одна из работниц, отряхивая землю с какого-то вырванного кустика сорной травы.

— Как и всякий грех! Греха тоже никто не сеет, а на свете его не оберешься.

— Эх, милые вы мои, грех с человеком рождается, с ним и умирает! Недаром говорят: "Где грех, там и смех". А еще так: "Кабы не грех, и человеку бы давно конец". Видно, и грех и сорная трава на что-нибудь да нужны, коли их Бог сотворил! — философствовала Ягустинка.

— Стал бы Господь Бог зло создавать! Вот еще! Это человек, как свинья, все рылом своим непременно изгадит! — сурово сказала Ганка, и все замолчали.

Солнце поднялось уже довольно высоко, и туман заметно осел, когда из деревни начали сходить на работу и другие женщины.

— Хороши работницы! Дожидаются, пока солнце всю росу высушит, чтобы им ног не промочить, — насмеялась Ганка.

— Не все такие работающие, как вы!

— Да ведь не у всякого столько дела, сколько у меня! — вздохнула Ганка.

— Вот вернется муж, тогда отдохнешь.

— Нет, я обет дала: как только он вернется, в Ченстохов на богомолье пойду. А войт говорит, будто он уже нынче домой придет.

— Войт в волости все узнает, — так, должно быть, это правда. А в нынешнем году много народу собирается в Ченстохов! Я слышала, что и органистиха идет. Она говорит, будто сам ксендз поведет богомольцев.

— А кто же ему брюхо понесет? — засмеялась Ягустинка. — Сам он его не дотащит — шутка сказать, такая даль! Это он обещает только, как всегда.

— Я уже два раза была там с богомольцами и каждый год ходила бы! — вздохнула Филипка.

— Бездельничать каждый не прочь!

— Как хорошо-то, Господи! — продолжала Филипка с жаром, пропуская мимо ушей насмешку. — Человек словно на небо идет, так легко и весело в дороге. — А чего только не насмотришься, чего не наслушаешься, а сколько намолишься! Проходишь каких-нибудь две недели, а кажется, будто на годы избавилась от горя и всяких забот. Словно заново на свет родишься!

От деревни по тропинке вдоль реки, между тростниками и густым молодым ольшаником, бежала к ним какая-то девочка. Ганка смотрела, заслонив глаза, но не могла разглядеть, кто это. И только когда та была уже близко, она узнала Юзю. Юзя мчалась во весь дух, и издали кричала, размахивая руками:

— Ганусь! Антек вернулся! Ганусь!

Ганка бросила мотыгу и рванулась, как взлетающая птица, но в тот же миг опомнилась, опустила подоткнутую юбку и, — хотя ее так и подмывало бежать домой, хотя сердце билось так, что трудно было, дышать и говорить, сказала спокойно, как ни в чем не бывало:

— Ну, вы работайте тут без меня, а полдничать приходите в хату.

И пошла медленно, не спеша, по дороге расспрашивая обо всем Юзю.

Женщины, переглядывались, глубоко возмущенные такой холодностью.

— Это она только на людях такая спокойная, чтобы не смеялись над ней, что по мужу стосковалась! А я бы не утерпела! — сказала Ягустинка.

— И я тоже!

— Только бы Антек опять не завел шашни...

— Ягуси больше не будет под рукой, так, может, у него и пропадет охота.

— Что ты, милая! Когда мужику приглянется баба, он за ней на край света побежит!

— Ох, правда! Скотину легче от отравы отвадить, чем иного мужика от греха...

Они чесали языки, работая все ленивее, а Ганка между тем шла так же неторопливо, умышленно заговаривая со всеми встречными, хотя она не сознавала, что говорит, не слышала, что ей отвечают. В голове была одна мысль: Антек вернулся, Антек ждет ее!

— Он с Рохом пришел? — спрашивала она уже не в первый раз.

— С Рохом. Ведь я говорила тебе!

— А какой он? Какой?

— Да я не знаю. Пришел и сразу с порога спрашивает: "А где же Ганка?" Я сказала и сейчас же со всех ног побежала за тобой. Вот и все.

— Спрашивал про меня! Дай тебе Господи!.. — Ганка задохнулась от радости.

Она увидела Антека еще издали — он сидел с Рохом на крыльце и, заметив ее, пошел ей навстречу.

Она шла все медленнее, — подкашивались ноги, и она хваталась по дороге за плетень. У нее спирало дыхание, в голове стоял какой-то туман, и она едва могла выговорить:

— Ты! Ты!

Поток слез затопил остальные слова.

— Я, Ганусь, я! — Антек обнял ее крепко, с искренней нежностью. А она жалась к нему, не помня себя, и счастливые слезы ручьями текли по бледному лицу, губы тряслись. Она укрылась в его объятиях, как истосковавшийся ребенок.

Долго она не могла произнести ни слова, да и что можно было сказать, как выразить все, что она чувствовала? Она готова была стать перед ним на колени, лежать в пыли у его ног. И только изредка вырывалось у нее какое-нибудь слово, падая, как тяжелое, полновесное зерно, как благоухающий цветок счастья. А глаза, преданные, полные безграничной любви, ложились к его ногам, как верные собаки, отдаваясь на его волю, его милость и немилость.

— Похудела ты, Ганусь! — тихо сказал Антек, ласково глядя ее по лицу.

— Ну, еще бы... столько натерпелась, так долго ждала...

— Извелась баба на работе! — вставил Рох.

— Ой, да ведь и вы тут! Совсем про вас забыла! — Она кинулась целовать ему руки, а Рох сказал шутливо:

— Как тут про меня помнить! Ну, обещал я тебе его привезти и привез, вот он, принимай!

— Вот он! Вот он! — повторила Ганка, с внезапным удивлением и восхищением глядя на мужа: перед ней стоял словно другой Антек. Лицо его побелело, стало тоньше, и такой он был красивый, осанистый, словно какой-нибудь пан.

— Переменился я, что ли? Что ты так на меня уставилась?

— Как будто и нет, а все же какой-то другой...

— Погоди, вот поработаю в поле, так быстро опять стану такой, как прежде.

Ганка вдруг побежала в комнату за малышом.

— Ты ведь его еще не видел! — воскликнула она, вынося ревевшего мальчика. — Гляди: похож на тебя, как две капли воды.

— Хорош парень! — Антек завернул его в полу своего кафтана и стал баюкать.

— Рохом его называли. Петрусь, иди же и ты к отцу! — Она подсадила старшего, и он, что-то лепеча, стал карабкаться к Антеку на колени. Антек обнял обоих с необычной для него нежностью.

— Червячки мои дорогие, сыночки родимые! Петрусь-то как вырос и уже что-то болтает по-своему.

— Упряма только. Да зато такой смысленый — дорвется до кнута и давай щелкать им и гусей погонять! — Ганка присела на корточки около них, — Петрусь, скажи "тата". Ну, Скажи скорее!

Петрусь сказал и продолжал еще что-то лепетать, теребя отца за волосы.

— Юзька, а ты чего на меня косишься? Иди сюда!

— Не смею... — застенчиво пискнула Юзя.

— Иди же, дуреха, иди! — Антек ласково привлек ее к себе. — Теперь уж ты меня всегда слушайся, как отца. Не бойся, обижать тебя не стану.

Юзя горько расплакалась, вспомнив отца и брата.

— Как сказал мне войт, что Гжеля помер, меня точно кто обухом по голове хватил, даже в глазах потемнело. Такой хлопец славный, такой хороший брат! Кто мог ожидать? А я уже прикидывал, как мы с ним землю поделим, и насчет жены для него подумывал! — тихо, с глубокой болью сказал Антек.

Чтобы отвлечь всех от печальных мыслей, Рох воскликнул вставая:

— Хорошо вам толковать, а у меня с голоду кишки уже марш играют!

— Господи, совсем у меня из головы вон! Юзька, поймай-ка тех желтых петушков! Цып, цып, цып! А может, сначала яичек и хлеба? Свежий есть, а масло вчерашнее. Зарежь их, Юзя, и обвари кипятком. Я мигом их вам приготовлю... Экая я ворона! Совсем позабыла.

— Петушков, Гануся, оставь на после да состряпай-ка обед по-нашему! Мне так городские харчи приелись, что я с удовольствием сяду за миску борща с картошкой, — весело сказал Антек. — А Роху приготовь что-нибудь другое.

— Нет, спасибо. И мне картошка да борщ слаще всего.

Ганка бросилась к печи. Картофель уже кипел в горшке.

Она принесла из чулана колбасу для борща.

— Это я для тебя сберегла, Антось. Она из той свиньи, что ты приказал заколоть к Пасхе.

— Ну, ну, кусище изрядный, но, даст Бог, управимся... Рох, а где же наши гостинцы?

Старик передал ему узел немалых размеров, и Антек начал доставать из него подарки и раздавать всем.

— Это тебе, Ганусь! Пригодится в дорогу надевать. — Он подал ей теплый платок, точь-в-точь такой, как у жены органиста, — по черному полю красные и зеленые клетки.

— Мне! Не забыл, Антось! — ахнула Ганка с горячей благодарностью.

— Забыл бы, если бы не Рох. Он мне напомнил, и мы с ним вместе все выбрали.

Накупил он много: жене подарил еще башмаки и шелковый головной платок, голубой в желтых цветочках. Юзьке — такой же платок, но зеленого цвета, и еще воротничок и несколько ниток бус с длинной лентой для завязывания сзади, а детям привез пряников и

свистульки. Даже для Магды отложил в сторону что-то завернутое в бумагу, не забыл и Витека и Петрика.

Все эти сокровища встречались криками восторга, их разглядывали, примеряли, и от радости у Ганки даже слезы текли по разгоревшимся щекам, а Юзька то и дело хваталась за голову.

Рох улыбался, потирая руки, а Антек только посвистывал.

— Вы эти гостинцы заслужили! Рох мне рассказывал, как вы тут с хозяйством хорошо управлялись. Да ну, отстаньте, не надо меня благодарить, — отмахивался он от женщин, которые бросились обнимать и целовать его.

— Мне и не снились такие прелести, — слезливо прошептала Ганка, примеряя башмаки. — Тесноваты маленько, ноги распухли оттого, что все босиком хожу, да зимой будут в самый раз...

Рох стал расспрашивать, что делается в деревне, но Ганка отвечала ему рассеянно, занятая стряпней. Скоро она поставила перед ними большую миску картофеля, щедро политого салом, и не меньшую миску борща, в котором плавала колбаса величиной с колесо.

Все накинулись на завтрак.

— Вот это еда! — весело покрикивал Антек. — Колбаса какая пахучая! А в остроге меня кормили так... чтоб их черти взяли! Последнее время я уже совсем есть не мог.

— Рассказывали мужики, как там кормят — и собака бы есть не стала. Правда это?

— Правда. Но хуже всего, что приходилось сидеть взаперти. Пока холода стояли — еще куда ни шло. А как стало пригревать солнышко и землей запахло, — думал я, что ошалею! Воля меня манила больше, чем колбаса эта. Уж я решетку принимался ломать, да помешали.

— Правда, что там бьют? — боязливо спросила Ганка.

— Бьют. Меня-то и пальцем тронуть не смели, пусть бы попробовал кто — я бы ему, окаянному, задал перцу!

— Кто же тебя, силача такого, одолеет! — радостно поддакивала Ганка, любуясь им и следя за каждым его движением.

С завтраком быстро покончили, Антек и Рох пошли спать в овин, куда Ганка уже натащила им гору перин и подушек.

— Побойся Бога, да мы тут изжаримся совсем, — засмеялся Рох.

Ганка, не отвечая, закрыла за ними ворота и пошла на огород полоть. Она вдруг почувствовала странную слабость. С минуту озиралась кругом и вдруг заплакала. Она плакала от счастья, плакала оттого, что солнце пригревало ей спину и зеленые деревья качались над головой, что птицы пели и кругом все цвело и благоухало, и на душе у нее было так хорошо, так светло и покойно, как после исповеди, и даже еще лучше.

— И это все ты сделал, Иисусе! — вздохнула она, поднимая заплаканные глаза к небу с невыразимой благодарностью за счастье, что ей выпало на долю.

— Вот и переменилось все к лучшему! — говорила она с удивлением, чувствуя себя на седьмом небе. И все время, пока Антек и Рох спали, она оберегала их сон, как наседка цыплят. Детей увела вглубь сада, чтобы их крики не разбудили спящих, прогнала со двора всех животных. Она не заметила даже, что свиньи роются в молодой картошке, а куры

раскапывают огурцы. Забыла все на свете и то и дело заглядывала в овин.

День тянулся томительно, она места себе не находила. Прошел час завтрака, прошел обед, а они все спали! Она всех отправила в поле работать, не заботясь, как они там без нее управятся, а сама ходила между овином и домом, как часовой.

Сто раз вынимала она подарки, примеряла их и рассматривала, восклицая:

— Ну, где найдется другой такой добрый и заботливый муж? Где?

А потом побежала по деревне и всем, кого встречала, уже издали кричала:

— Знаете, мой-то вернулся! Спит теперь в овине.

И смеялись ее глаза, смеялось все лицо, она словно светилась счастьем. Бабы даже удивлялись:

— Околдовал ее этот висельник, что ли? Совсем одурела!

— Теперь опять нос задерет, увидите!

— Ничего, пусть только Антек примется за прежнее, так с нее живо спесь соскочит! — шушукались бабы.

Разговоры эти, конечно, не доходили до ушей Ганки. Вернувшись домой, она захлопотала, спешно принялась готовить вкусный обед, но, услышав крики гусей на берегу, выбежала и стала швырять в них камнями, чтобы они замолчали. Из-за этого у нее чуть не вышла ссора с мельничихой.

Только что Ганка послала работавшим в поле еду, как и мужчины пришли из овина. Она подала им обед на воздухе, в тени, поставила даже водку и пиво, а после обеда — полрешета спелых вишен, которые взяла у экономки ксендза.

— Обед — прямо свадебный! — пошутил Рох.

— Хозяин вернулся, это ли не праздник? — отозвалась Ганка. Она все время была на ногах, прислуживала им, а сама ела очень мало.

После обеда Рох сразу ушел в деревню, обещая прийти вечером, а она робко спросила мужа:

— Хочешь осмотреть хозяйство?

— Хочу. Праздник кончился, надо за дело приниматься! Господи Боже мой, не думал я, что так скоро стану хозяйничать в отцовском доме!

Он вздохнул и пошел за Ганкой. Она повела его прежде всего в конюшню, где фыркали три лошади, а в загородке вертелся жеребенок, потом в пустой коровник, потом на гумно и к сеновалу, где лежало свежее сено. Он заглянул даже в хлебы и под навес, где хранился всякий инвентарь и стояли телеги.

— Бричку надо будет на гумно перетащить, здесь она совсем рассохнется.

— Сколько раз я приказывала Петрику! Да что же, коли он не слушается!

Она стала сзывать поросят и птицу, чтобы похвастать перед Антеком большим приплодом, а потом подробно рассказала о полевых работах, где что посеяно и сколько. При этом она пытливо и выжидательно смотрела ему в глаза, но Антек только слушал и все запоминал,

задавая время от времени вопросы, и лишь под конец сказал:

— Даже поверить трудно, что ты одна со всем справлялась!

— Для тебя я и больше могла бы сделать! — ответила она горячим шепотом, обрадованная его похвалой.

— Молодчина ты у меня, Гануся, молодчина! Я и не думал, что ты такая!

— Надо было — так я рук не жалела!

Антек обошел даже сад, полный уже наполовину красных вишен, и грядки лука, петрушки, капустной рассады.

Когда они возвращались в избу, Антек, проходя мимо открытых окон отцовской половины, заглянул внутрь.

— А где же Ягна? — Он удивленно оглядывал пустую комнату.

— Где ей быть? У матери. Выгнала я ее! — ответила Ганка твердо, поднимая на него глаза.

Антек сдвинул брови, подумал немного и, закуривая папиросу, сказал спокойно и как бы нехотя:

— Доминикова — злая собака, она этого так не оставит. Не миновать нам суда!

— Говорят, она уже вчера ездила в город жалобу подавать.

— От жалобы до приговора еще далеко. Но надо будет хорошенько это дело обдумать, чтобы она нам чего-нибудь не подстроила.

Ганка стала рассказывать, из-за чего и как все произошло, о многом, конечно, умалчивая. Антек ее не прерывал, не задавал вопросов, только слушал, хмуря брови и сверкая глазами. Когда же она подала ему бумагу, брошенную ей в лицо Ягусей, он насмешливо сказал:

— Она только для того и годится, чтобы с ней на двор сходить...

— Да что ты! Ведь это та самая, которую ей отец дал!

— Цена ей грош ломаный! Если бы Ягна у нотариуса подписала, что от земли отказывается, тогда другое дело. А эту бумажку она для смеху бросила!

Он пожал плечами, взял на руки Петруся и пошел к перелазу.

— Погляжу на поля и вернусь! — бросил он через плечо Ганке, и она осталась дома, хотя ей сильно хотелось пойти с ним. Проходя мимо сеновала, уже заново отстроенного и набитого сеном, Антек исподлобья посмотрел на него.

— Матеуш его привел в порядок. Одной соломы на крышу три стога пошло! — крикнула ему вслед Ганка, стоя на плетне.

— Ладно, ладно, — буркнул Антек с видом человека, которого не интересуют всякие мелочи. Миновав картофельное поле, он пошел межой.

В этом году ближние поля были почти целиком под озимью, и потому Антек дорогой встречал мало людей. А встречая кого-нибудь, коротко здоровался и поспешно проходил мимо. Однако он все больше замедлял шаг тяжело было нести Петруся, да и разомлел он как-то от жаркого и неподвижного воздуха. Он то останавливался, то присаживался, не переставая осматривать

чуть не каждую полоску земли.

— Эге! Да сурепка лен глушит! — воскликнул он, остановившись у полос, голубых от цветущего льна, но густо проросших желтыми кустиками сурепки. — Купила засоренные семена и не провеяла их!

Он постоял и около ячменя. Чахлый и уже несколько сожженный солнцем, ячмень едва был виден из-за осота, ромашки и конского щавеля.

— В мокрую землю сеял! Изрыл пашню, как свинья! Чтоб тебя, стервеца, скрючило за такую работу! А забороновал-то как! Один пырей... Тьфу!

Он плюнул со злости и вышел на огромное поле ржи, которая, как река, сверкающая на солнце, волновалась у его ног, шумя тяжелыми колосьями. Тут Антек от души порадовался: рожь выросла отличная, солома была крепкая, колосья — как плети.

— Растет, как лес! Это еще отец сеял. И у помещика лучше ржи не увидишь!

Он вылутил колос — зерно было крупное, тяжелое, но еще мягкое: "Недели через две и жать пора. Только бы ее градом не побил!"

Но дольше всего Антек любовался пшеницей. Из-за черноватых блестящих усиков уже выглядывали густые, крупные колосья.

— На горке растет, а ничуть ее не пожгло! Золото, не пшеница!

Он шел все дальше, медленно взбираясь по отлогому склону холма, на котором высилась черная стена леса. Деревня осталась позади, утонув в садах на дне лощины. Только озеро поблескивало в просветах между избами, да кое-где окно горело на солнце. Где-то в стороне кладбища косили клевер, косы сверкали в воздухе, как синие зарницы. В других местах мелькали яркие платья баб, на узких перелогах паслись стада белых гусей. За деревней, на зеленых картофельных полях, как муравьи, копошились люди, а еще выше, в необозримой дали, маячили другие деревни, одинокие избы, деревья, склоненные над дорогами, широкие поля, и все это было окутано голубой дымкой, переливавшейся, как волны в реке.

Глубокая тишина стояла над полями, раскаленный воздух слепил глаза и дышал зноем, в его беловатом дрожащем пламени изредка пролетал аист, тяжело паря на ослабевших крыльях, или мелькали изморенные жарой вороны.

Пели невидимые жаворонки. В голубых чистых просторах неба кое-где, как заблудившаяся овца, бродили белые облачка.

А в полях разгулялся сухой, горячий ветер, кувыркаясь, как пьяный. Порой он взвивался со свистом, пугая птиц, или, притаившись, внезапно налетал на нивы и, взбаламутив их до дна, потрепав и спутав колосья, опять куда-то пропадал, а расколыхавшиеся нивы долго еще шептались, как будто жалуясь на проказника.

Антек остановился на паровом поле у леса. Опять вспыхнул от гнева.

— До сих пор не вспахано! Лошади стоят без дела, навоз преет в куче, а он и в ус себе не дует! А, чтоб тебя!.. — выбранился он, направляясь вдоль леса к кресту, стоявшему у дороги.

Он был утомлен, в голове шумело, пыль набилась в горло. Присел под крестом, в тени берез, уложил заснувшего Петруся на свой кафтан и, утирая пот, задумчиво глядел вдаль.

Солнце уже клонилось к лесу, и первые робкие тени поползли от деревьев к полям. Лес что-то тихо бормотал, качая пронизанными солнцем верхушками, а густые заросли орешника

и осин дрожали, как в лихорадке. Усердно стучали дятлы, где-то далеко трещали сороки. По временам между замшелыми дубами, как свернутая в клубок радуга, мелькала желна.

Из потемневшей глубины леса, только кое-где обрызганной солнечными бликами, веяло холодом, пахло грибами, смолой и нагретым болотом.

Вдруг над лесом взвился ястреб, раза два описал круг над полями, с минуту неподвижно парил в воздухе и молнией упал вниз, в рожь.

Антек бросился на помощь, но было уже поздно: посыпались перья, хищник скрылся, жалобно закричали куропатки, и какой-то перепуганный зайчишка мчался стремглав, только хвостик белел вдали.

— Вмиг высмотрел, разбойник проклятый! — пробормотал Антек, садясь на место.

Он прикрыл Петрусю лицо, потому что над ним назойливо жужжали пчелы и немолчно гудел мохнатый шмель.

Вспомнилось ему, как еще недавно в тюрьме он рвался на волю, в эти поля, как изнывала душа в тоске по ним.

— Измучили они меня, окаянные! — пробурчал он и вдруг притих, чтобы не спугнуть перепелок, которые тут же около него боязливо высунули из ржи головки, перекликаясь по-своему. Но они тотчас испуганно попрятались, потому что целая орава воробьев упала на березы, с берез слетела на землю, неистово чирикавая, толкаясь, заводя драки и ссоры. Вдруг и воробьи присмирели, застыв на месте: ястреб снова кружил над землей, да так низко, что тень его бежала по полю.

"Ага, приструнил он вас, горлопаны! Точнехонько так бывает с людьми: страхом больше сделаешь, чем просьбой", — размышлял Антек.

На тропинке рядом показались трясогузки. Тряся хвостиками, они прыгали совсем близко, но когда Антек шевельнул рукой, перелетели за канаву.

— Вот дуры! Чуть-чуть я не поймал одну для Петруся!

Вышли из лесу вороны и, расхаживая по бороздам, клевали, что попадалось, но, почуяв человека, стали осторожно, поворачивая головки и поглядывая на него, обходить вокруг, подсакивая все ближе и разевая противные хищные клювы.

— Мной не поживитесь! — Антек швырнул в них комком земли, и они исчезли тихо, как воры.

А потом, так как он сидел неподвижно, словно в забытьи, заглядевшись на окружающий мир и всем существом своим слушая его голоса, всякие живые твари начали нахально лезть на него: муравьи ползали по спине, бабочки то и дело садились на волосы, божьи коровки искали чего-то на лице, а зеленые жирные гусеницы торопливо взбирались на сапоги. Лесные пташки что-то щебетали у него над головой, белка, выскочив из лесу, задрала рыжий хвост, раздумывая одно мгновение, не прыгнуть ли на него. А он ничего не замечал, весь погрузившись душой во что-то, что исходило от этих необъятных земных просторов и наполняло его упоительной, невыразимой радостью.

Казалось ему, будто он вместе с ветром носится по полям, колышется вместе с влажно блестящим мягчайшим руном травы, бежит ручьем по горячим пескам среди лугов, где благоухает сено. Он летел с птицами высоко над землей и, полный неведомых сил, окликал солнце. Потом снова становился шумом полей, колыханием лесов, стремительной силой всякого роста и мощью земли, рождающей в радости и веселье. Он постигал не только все то, что можно видеть и чувствовать, осязать и понимать умом, но и то непостижимое, что

открывается иным лишь в час смерти, что томит всю жизнь человека и влечет его в неведомое, исторгает блаженные слезы или наваливается на него каменной глыбой неутолимой тоски.

Все это проносилось сквозь него, как облака, — не успевал он уловить одно, как уже приходили другие, новые ощущения, еще более неуловимые.

Он не спал, но сон сыпал ему в глаза маковые зерна и уводил куда-то выше земли, в страну чудес.

Человек он был жесткий, не склонный к чувствительности, но в эти дивные минуты готов был припасть к земле, прильнуть к ней горячими устами, обнять весь этот любимый мир.

— Видно, меня так от воздуха разбирает! — оборонялся он, протирая глаза кулаком и хмуря брови. Но разве мог он превозмочь это, задушить в себе радость жизни, разгоревшуюся ярким пламенем?

Ведь он опять был на земле отцов и праотцев, среди своих — так и не диво, что чувство счастья переполняло его, и каждое биение сердца звучало громким и веселым криком на весь мир: "Вот я снова здесь! И здесь останусь!" Он внутренне распрямлялся, готовый вступить в эту новую жизнь, которую прошел уже его отец, прошли деда и прадеды, он так же, как они, подставлял плечи, чтобы взять на себя бремя тяжелого труда и нести его неутомимо и бесстрашно до тех пор, пока Петрусь, в свою очередь, не сменит его...

"Так уж оно положено! Молодой за старым, сын — за отцом, — всегда, покуда будет на то твоя воля, Иисусе", — думал он.

Подпер руками отяжелевшую голову, но она опускалась все ниже под грузом всяких мыслей и воспоминаний, и голос, суровый и карающий, голос совести, говорил ему горькую и мучительную правду, а он смиренно склонялся перед ним, признаваясь во всех своих грехах. Тяжело далась ему эта исповедь, нелегко было каяться, но он превозмог гордость, поборол в себе самолюбие и тщеславие, беспощадно и трезво пересмотрел всю свою жизнь. Каждый свой поступок понял он теперь до конца, разбираал его и судил сам себя со всей строгостью.

"Глуп я был — вот что! На свете все должно идти своим порядком. Ах, и мудро же говаривал отец: "Когда все едут в одну сторону, беда тому, кто с воза свалится, — попадет под колеса! Пеший конному не товарищ". Да, видно, каждому человеку приходится до всего своим умом доходить! И многим это дорого обходится!" — уныло размышлял Антек, и горькая усмешка бродила на его губах.

От леса донесся стук колотушек и мычание возвращавшегося домой стада.

Антек поднял Петруся и пошел обочиной дороги, пропуская вперед скот, который гнали с лесных пастбищ.

Пыль из-под копыт тучей поднималась выше тополей, и в этом тумане, розовом от вечерней зари, мелькали большие рогатые головы. По временам овцы сбивались в кучу — их сгоняли собаки, не давая свернуть в придорожное поле. Визжали свиньи под ударами кнута, мычали телята, отбившиеся от матерей. Несколько пастухов ехали верхом, остальные шли пешком за стадом, щелкая кнутами, переговариваясь и покрикивая. Иногда кто-нибудь запевал так громко, что ему отвечало эхо.

Все они уже обогнали Антека, когда его заметил Витек и подбежал поздороваться и поцеловать руку.

— А здорово ты вырос! — ласково сказал ему Антек.

— Вырос, верно: те штаны, что дали мне осенью, уже мне до колен!

— Ничего, хозяйка даст тебе новые, не беспокойся. А что, коровам на выгоне корма хватает?

— Где там! Трава вся выжжена! Кабы хозяйка не давала им дома сена, у них молоко совсем пропало бы... Дайте-ка мне Петруся, я его покатаю маленько на лошади!

— Нельзя, вдруг не удержится и слетит!

— Да я его сколько раз возил на кобыле! Ведь придерживать буду, не бойтесь! Дайте, хлопчик страсть как лошадей любит!

Он взял Петруся и посадил на старую клячу, которая плелась, опустив голову. Мальчик ухватился ручонками за гриву и, колотя лошадь голыми пятками по бокам, радостно покрикивал.

— Ишь, какой молодец! Сынок ты мой милый! — прошептал Антек. Он свернул в поле и пошел межами к дороге, огибавшей овины.

Солнце только что зашло, и небо было золотое, а местами нежнозеленое. Ветер утих, колосья тяжело клонились к земле, в поля доносился обычный шум деревенской жизни и отдаленное пение.

Антек шагал медленно, словно изнемогая под бременем воспоминаний. Он думал о Ягусе. Видел перед собой ее голубые глаза и сверкающие зубы меж полных красных губ, дышавших, казалось, так близко, что он даже вздрагивал и останавливался. Она стояла перед ним, как живая, и он протирал глаза, гнал ее из памяти, но она, как назло, шла рядом, плечо к плечу, как бывало, и так же, как тогда, веяло от нее жаркой страстью, от которой кровь ударяла в голову.

"Пожалуй, хорошо, что Ганка выгнала ее из дому! Как заноза, сидит она во мне, и боль не проходит... Ну, да что было, того не воротишь!" — Он вздохнул, удивляясь, отчего так больно сжимается сердце.

— Нет, нельзя! — резко сказал он себе, выпрямляясь. — Кончилась собачья свадьба!

Он вошел уже к себе во двор. Во дворе былолюдно и шумно, все заняты были обычными вечерними работами. Юзья доила у хлева коров и визгливо пела, а Ганка на крыльце месила муку на клёцки.

Антек поговорил с Петриком, поившим лошадей, и зашел на половину отца. За ним тотчас сунулась туда и Ганка.

— Надо будет все в порядок привести, и переберемся сюда. Известка у нас есть?

— Есть, я на ярмарке купила. Завтра же позову Стаха, он побелит. Здесь нам удобнее будет!

Антек обходил все углы, о чем-то размышляя.

— В поле был? — спросила Ганка робко.

— Был. Все хорошо, Гануся, я и сам бы лучше не распорядился.

Она густо покраснела от радости.

— Только Петрик этот — ему свиней пасти, а не поле обрабатывать! Пачкун!

— Думаешь, не вижу? Я даже разузнавала уже насчет нового работника.

— Ничего, я его к рукам приберу. А не будет слушаться — выгоню на все четыре стороны!

Ганка хотела еще что-то сказать, но, услышав рев детей, побежала к ним, а Антек вышел во двор. Он внимательно осматривал все, и хотя редко бросал какое-нибудь слово, лицо его было так сурово, что у Петрика душа ушла в пятки, а Витек старался не попадаться хозяину на глаза.

Юзька доила уже третью корову и пела все громче:

Стой, Сивуля, стой!

Молочка побольше дай!

— Орешь, как будто с тебя шкуру дерут! — прикрикнул на нее Антек.

Юзька замолкла. Но она была девочка самолюбивая и упрямая и скоро опять запела, только уже потише, с некоторой опаской.

— Ты бы перестала горло драть — хозяин дома! — строго сказала ей Ганка, принеся поило для последней коровы. — Скоро, скоро он всех вас заставит слушаться!

Антек взял у нее из рук ушат и, подставляя его корове, сказал со смехом:

— Вой, Юзя, вой, крысы скорее из хаты сбегут.

— Что захочу, то и буду делать! — дерзко ответила Юзька, но когда они отошли, сразу притихла и только все косилась на брата да шмыгала носом.

Ганка возилась со свиньями, таская им тяжелые ушаты с пойлом. Антек даже пожалел ее и сказал:

— Пусть хлопцы отнесут, тебе, я вижу, не под силу. Вот погоди, найму тебе работницу, от Ягустинки пользы не больше, чем от козла молока. А что это ее сегодня не видно?

— К детям убежала, мириться хочет с ними. Да, работница пригодилась бы, только расход большой! Я и сама, конечно, могу управиться, но как хочешь, твоя воля! — От избытка благодарности она готова была целовать Антеку руки, но только сказала весело:

— А тогда можно бы и гусей побольше развести и еще одного боровка откормить на продажу!

— Хозяева мы теперь, так надо хозяйство вести так, как велось при отце и деде! — сказал Антек помолчав.

После ужина он вышел посидеть на завалинке. Стали сходиться знакомые и друзья, здоровались, поздравляли с приездом.

Пришли Матеуш и Гжеля, пришел Стах Плошка, Клемб с сыном, двоюродный брат Антека, Адам Борына, и другие.

— Заждались мы тебя, как коршун дождя, — сказал Гжеля.

— Что поделаешь, держали меня и держали! Никак не вырваться было от этих волков!

Все уселись в темноте на завалинке, только Рох сидел под окном, в широкой полосе света, лившейся из комнаты в сад.

Вечер был теплый, тихий и звездный, меж деревьев блестели огоньки. По временам вздыхало озеро, и у всех хат на завалинках сидели люди, наслаждаясь прохладой.

Антек стал спрашивать о деревенских делах, но Рох перебил его:

— А знаете, друзья, начальство приказало не позже, как через две недели, созвать сход и утвердить школу.

— Нам что за дело, пускай старики решают! — выскочил было Стах Плошка, но Гжеля напал на него:

— Это легче всего — сваливать все на стариков, а самому лежать брюхом кверху! Оттого-то у нас в деревне такое и творится, что молодым ни до чего дела нет!

— Получу надел, тогда и буду голову ломать! Разгорелся яростный спор, но вмешался Антек:

— Нечего и говорить, что школа в Липцах нужна! Да только не такая, какую начальство нам навязывает. На эту нельзя давать ни гроша.

Его поддержал Рох. Он стал уговаривать мужиков не давать денег на школу.

— Вы постановите платить по злотому, а потом вам по рублю велют доплатить... Помните, как было, когда дом для суда строили? Там кое-кто здорово подкормился на ваши деньги, изрядное брюхо отрастил.

— Уж я постараюсь, чтобы сход денег не дал! — шепнул Гжеля Роху, подсев к нему. А Рох немного погодя отвел его в сторону, передал какие-то книжки и листки и тихо и серьезно объяснял ему что-то.

Остальные поговорили еще о том о сем, но как-то вяло. Даже Матеуш был сегодня невесел, говорил мало и внимательно следил глазами за Антеком.

Собирались уже расходиться, — ведь чуть свет надо было вставать на работу, но прибежал кузнец. Он только сейчас вернулся из усадьбы и на чем свет стоит ругал всю деревню.

— Какая муха тебя опять укусила? — спросила Ганка, высунувшись из окна.

— Сказать даже совестно, что за олухи наши мужики! Пан с ними, как с людьми, говорит, как с хозяевами, а они хуже ребят, что гусей пасут. Сговорились уже обо всем с паном, и все, как один, согласны были, а как пришлось подписывать — так один за ухом чешет и бормочет: "Уж не знаю, право...", другой говорит, что с женой посоветуется, третий начинает конючить, чтобы ему еще соседний лужок прибавили. Что с таким народом сделаешь? Помещик так рассердился, что о мировой и слушать больше не хочет, и даже не велел пускать липецкую скотину в лес пастись, а кто погонит ее туда, с того штраф брать.

Всех взволновала неожиданная весть. Ругали виноватых, спорили между собой все ожесточеннее. Наконец, Матеуш сказал грустно:

— А все оттого, что народ у нас темный, глупый, как бараны, и некому его вразумить.

— Да мало ли Михал всем растолковывал?

— Что там Михал! Он о своей выгоде хлопочет и с помещиком всегда заодно — вот народ ему и не верит. Слушать-то слушают, а идти за ним не хотят.

Кузнец вскочил, стал горячо доказывать, что он хлопочет только о благе деревни, что он даже своим поступается, только бы устроить эту сделку с помещиком.

— Хоть в костеле присягай — и то тебе не поверят! — буркнул Матеуш.

— Ну, тогда пусть кто другой попробует, посмотрим, сумеет ли! — воскликнул кузнец.

— Ясное дело, кто-нибудь должен за это взяться.

— Но кто? Может, ксендз? Или мельник?.. — раздались насмешливые голоса.

— Кто? Антек Борына — вот кто! А если и он не вразумит наших мужиков, тогда надо плюнуть на все это дело.

— Да что ж я? Кто меня слушать станет? — смущенно пробормотал Антек.

— Голова на плечах у тебя есть, в деревне ты теперь первый хозяин, — все тебя послушают.

— Правда! Верно! Пойдем за тобой! — заговорили вокруг. Кузнецу это, видно, не понравилось, он беспокойно вертелся, дергал усы и ядовито усмехнулся, когда Антек сказал:

— Ну, ладно, не святые горшки лепят, могу и я попробовать. На днях поговорим об этом.

Стали расходиться, но каждый отдельно отзывал Антека в сторону, уговаривал, обещал идти за ним, а Клемб сказал ему:

— Народом всегда должен верховодить кто-нибудь, у кого и разум есть, и сила, и совесть.

— И кто, коли понадобится, сумеет всякому палкой ребра пересчитать!.. — со смехом вставил Матеуш.

Скоро на завалинке под окном остались только кузнец и Антек — Рох молился на крыльце.

Оба долго сидели молча, занятые своими мыслями. Слышна была возня Ганки в комнате. Она взбивала подушки и перины, надевала чистые наволочки, потом долго молилась, словно перед великим праздником, расчесывала у окна волосы и все нетерпеливее поглядывала на мужа и кузнеца. Она наострила уши, когда кузнец тихо заговорил. Он советовал Антеку не браться за это дело, уверяя, что с мужиками ему не сладить, а помещик настроен против него.

— Неправда! Он за него поручиться хотел в суде! — крикнула Ганка в окно.

— Если ты больше меня знаешь, так давайте о другом говорить! — Кузнец был зол, как черт.

Антек встал, сонно потягиваясь.

— Одно скажу тебе напоследок: ведь выпустили тебя до суда, так? А ты ввязываешься в чужие дела, не зная еще, что суд насчет тебя решит!

Антек сел снова и так глубоко задумался, что кузнец, не дождавшись ответа, ушел домой.

Ганка вертелась у окна, то и дело поглядывая на мужа, но он не замечал ее. Наконец, она сказала робко и умоляюще:

— Пойдем, Антек, спать пора... ты небось порядком устал...

— Иду, Ганусь, иду. — Он тяжело поднялся.

Ганка начала торопливо раздеваться, дрожащими губами бормоча молитву.

"А что, если меня в Сибирь сошлют?" — думал Антек, входя в избу.

V

— Петрик, принеси-ка дров! — крикнула с крыльца Ганка. Она была растрепана и вся в муке — месила хлеб.

В печи уже гудел огонь. Ганка то поправляла его, то принималась лепить караваи и выносила их на крыльцо, на солнце, чтобы скорее всходили. Она двигалась проворно, так как тесто уже лезло из большой квашни, прикрытой периной.

— Юзька, подбрось дров в печь, пол еще совсем не нагрелся!

Но Юзьки не было в избе, а Петрик не спешил исполнить приказание — он во дворе накладывал навоз на телегу и преспокойно беседовал со слепым нищим, который у амбара, плел из соломы перевясла.

Полуденное солнце сильно пекло. Со стен сочилась смола, земля обжигала ноги, и даже двигаться было трудно. Слепни, громко жужжа, носились над телегой, а лошади, спасаясь от их укусов, металась из стороны в сторону и чуть не рвали упряжь.

Стояла гнетущая жара, клонившая ко сну, даже птицы замолкли в саду, куры лежали под плетнем, как мертвые, а поросята, хрюкая, разлеглись в грязи у колодца. От навоза шел такой едкий смрад, что слепой то и дело чихал.

— На здоровье, дедушка!

— Да-а! Это тебе не ладан! Хоть я и привык, а засвербило в носу хуже, чем от табаку!

— К чему привыкнешь, то и нравится! Так сказал мой, унтер, когда на ученье первый раз дал мне в морду.

— Ну и что, привык ты? Хи-хи-хи!

— Нет, мне скоро надоела такая наука, поймал я этого стервеца в укромном месте да так ему рожу разукрасил, что вспухла, как горшок. После этого он меня больше не бил.

— Долго ты служил?

— Целых пять лет. Откупиться нечем было, вот и пришлось ружье таскать. Сначала помыкал мною, кто хотел, натерпелся я... потом товарищи научили... Долго над моей речью все потешались, но я не одному пощупал ребра — и оставили меня в покое.

— Ишь, какой богатырь!

— Богатырь не богатырь, а с тремя справлюсь! — похвастал Петрик с усмешкой.

— И на войне был?

— Как же, с турками воевал. Разбили мы их наголову!

— Петрик, где же дрова? — крикнула снова Ганка.

— Там, где и были! — пробурчал Петрик себе под нос.

— Ведь тебя хозяйка зовет, — напомнил ему слепой.

— Ну и пусть зовет. Еще чего! Может, и посуду скоро мыть заставит?

— Оглох, что ли? — завопила Ганка, выбежав на крыльцо.

— Печку топить я вам не нанимался! — крикнул Петрик в ответ.

Ганка разразилась бранью, но парень дерзко отругивался, так и не подумав выполнить ее приказание. А когда она уж очень допекла его каким-то замечанием, он воткнул вилы в навоз и злобно закричал:

— Я вам не Ягуся, меня криком не выгоните!

— Я тебе покажу! Попомнишь меня! — грозила задетая за живое Ганка и в раздражении принялась с таким азартом месить тесто, что облако мучной пыли наполнило комнату и летело из окон.

Долго еще Ганка, то вынося хлеб на крыльцо, то подбрасывая дров в печь, то выбегая, чтобы взглянуть на детей, продолжала ворчать на дерзкого парня. Она устала от работы и жары; в комнате можно было задохнуться, в сенях было не лучше — там топилась хлебная печь. К тому же мухи, облепившие стены, сильно надоедали, и она чуть не плакала, отмахиваясь от них веткой. Вся в поту, раздраженная, она работала все медленнее.

Она месила последнюю порцию теста, когда Петрик выехал со двора.

— Пстой, дам поесть!

— Тпру!.. Давайте! У меня уже и то от голода в животе урчит.

— Мало ты ел за обедом, что ли?

— Э... Пустая еда проходит через живот, как сквозь сито.

— Пустая, скажите пожалуйста! Мясо, может, тебе давать? Я сама тайком колбасу не жру. У других перед жатвой и того нет. Посмотри как живут коморники!

Она вынесла ему на крыльцо кринку простокваши и краюху хлеба.

Петрик жадно принялся за еду. Ел медленно, бросая кусочки хлеба аисту, который приковылял из сада и караулил подле него, как собака.

— Простокваша жидкая, одна сыворотка, — пробурчал он, уже немного утолив голод.

— А тебе сметаны захотелось? Подождешь!

Когда он наелся и взял уже в руки вожжи, она добавила колко:

— Наймись к Ягусе, она тебя лучше кормить будет!

— Это уж наверняка. Пока она здесь хозяйкой была, никто не голодал!

Он стегнул лошадей и пошел со двора, подпирая плечом телегу.

Слова его больно уязвили Ганку, но раньше, чем она успела ответить, Петрик был уже за воротами.

Ласточки щебетали под стрехой. Стая голубей, воркуя, слетела на крыльцо. Ганка согнала их, но в эту минуту от сада донеслось хрюканье, и она испугалась, не роются ли свиньи на грядках лука. Но оказалось, что это соседская свинья подрывает плетень.

— Сунь только рыло да сожри что-нибудь, уж я тебя отделаю!

Едва она опять взялась за работу, как аист вскочил на крыльцо и украдкой, косясь на нее то одним, то другим глазом, стал клевать сырые караваи и большими кусками глотать тесто.

Ганка с криком кинулась к нему. Он удирал, вытянув клюв и наспех глотая, а когда она уже почти догнала его и замахнулась поленом, он взлетел на крышу амбара и долго стоял там и курлыкал, чистя клюв о соломенную стреху.

— погоди, вор ты этакий, я тебе ноги переломаяю! — грозила она, заравнивая дыры в караваях.

Примчалась Юзья, и Ганка выместила свое раздражение на ней.

— Где тебя носит? Вечно гоняешь по деревне, задрал хвост! Вот скажу Антеку, какая ты работница! Выгребай из печки, живо!

— Я только к Касе Плошковой сходила. Все в поле: ей, бедняжке, и воды подать некому.

— А что, разве она хворает?

— Ну да. Оспа, должно быть: она вся красная и горит, как в огне.

— Вот занеси только болезнь в дом, так я тебя в больницу отправлю!

— Не заражусь, я сколько раз у больных сживала! Забыла ты, как с тобой возилась, когда ты рожала?

Юзя продолжала болтать, отгоняя мух от теста и принимаясь выгребать угли из печи.

— Надо людям обед в поле отнести, — перебила ее Ганка.

— Сейчас пойду. Антеку приготовить яичницу?

— Приготовь. Только сала много не клади.

— И ему сала жалеешь?

— Не жалею, а боюсь, как бы ему не повредило, если слишком жирно будет.

Девочке хотелось идти в поле, она мигом управилась с работой и, раньше чем Ганка закрыла отверстие печи, взяла три крынки с молоком, хлеба в фартук и побежала.

— Погляди, высох ли холст, а когда назад пойдешь, помочи его опять, тогда он ещё до вечера высохнет! — крикнула ей Ганка в окно, но Юзя была уже за плетнем, и только песня летела за ней следом да во ржи мелькала русая головка.

На участке у леса поденщицы раскидывали навоз, который подвозил Петрик, а Антек запахивал его.

Глинистая земля, несмотря на, то, что ее недавно боронили, была сухая и твердая, трескалась, точно камни, и лошади, тащившие плуг, напрягались так, что рвали постромки.

Антек, словно вросший в плуг, пахал усердно, забыв обо всем на свете. Иногда стегал

лошадей, но чаще понукал их только причмокиванием, Потому что они совсем изнемогали от тяжелой работы и жары. Твердо и осторожно вел он плуг и взрезал пласт за пластом, проведя широкие, прямые загоны. Поле предназначалось под пшеницу.

По бороздам расхаживали вороны, выклеывая червей, а гнедой жеребенок, щипавший траву на меже, то и дело рвался к матери, добираясь до ее сосцов.

— Ишь, что вспомнил, сосун! — буркнул Антек, шлепнув его по ногам. Жеребенок задрал хвост и отскочил в сторону, а он терпеливо продолжал пахать, порой только окликавая баб. Он был сильно утомлен и, когда подъехал Петрик, крикнул сердито:

— Люди ждут, а ты тащишься, как мусорщик!

— Дорога тяжелая, лошадь еле ноги волочит.

Лошади Антека уставали все больше, были уже все в мыле. Да и ему пот заливал глаза, руки немели. Увидев Юзьку, он радостно воскликнул:

— Вовремя пришла! Мы уж тут из сил выбились.

Он допахал полосу до леса, отпряг лошадей и пустил их на густо поросшую травой дорогу — вдоль опушки, а сам прилег в тени и с жадностью пил молоко прямо из кринки. Юзька села рядом и тотчас принялась болтать.

— Отстань, не интересуют меня эти глупости! — проворчал Антек.

Юзька обиженно огрызнулась и убежала в лес по ягоды.

Бор стоял тихо, нагретый, благоухающий, в легкой дымке солнечного ливня. Только по временам шевелились зеленые заросли, и тогда из глубины лесной веяло смолистым запахом сосен, доносились какие-то ауканья и пение птиц.

Антек растянулся на траве и курил. Неясно, как сквозь туман, видел он помещика, скакавшего верхом по полю, и каких-то людей с шестами.

Сосны-великаны, словно отлитые из меди, высились над ним, и зыбкая тень их скользила по глазам, наводя сон. Он совсем уже было задремал, как вдруг на дороге загрохотал чей-то воз.

"Это работник органиста на лесопилку лес возит", — подумал Антек, приподняв отяжелевшую голову, и опять упал на траву. Но он уже не уснул, потому что кто-то рядом крикнул: "Слава Иисусу!"

Это коморницы гуськом выходили из лесу с вязанками хвороста на спине, а позади всех плелась Ягустинка, согнувшись под своей ношей чуть не до земли.

— Отдохните, у вас уже глаза на лоб лезут!

Она села рядом, прислонив вязанку к дереву, и с трудом перевела дух.

— Не под силу вам такая работа! — сказал Антек сочувственно.

— Да, совсем я замучилась.

— Петрик, погуще навоз клади, погуще! — крикнул Антек работнику. — А что же вам никто не поможет?

Ягустинка только поморщилась и отвела больные, воспаленные глаза.

— Поддались вы что-то. И не узнать вас!

— Под молотом и кремень поддается, — вздохнула Ягустинка, понутив голову. — Нужда съедает человека скорее, чем ржа железо.

— Да, в нынешнем году и хозяевам трудно приходится перед жатвой.

— Кто одну лебеду с отрубями ест, тому вы про нужду хозяев не рассказывайте!

— Побойтесь Бога, что же вы молчали? Приходите вечером, найдется еще для вас какой-нибудь корец картошки. В жатву отработаете.

Ягустинка заплакала и не могла выговорить ни слова благодарности.

— А может, Ганка и еще что-нибудь для вас найдет, — добавил Антек ласково.

— Кабы не Ганка, мы бы давно околели, — зашептала Ягустинка сквозь слезы. — Ясное дело, отработаю, когда только потребуется, спасибо вам! Я не о себе хлопочу... Что я? Ветошь старая, и к голоду мне не привыкать... А вот как ребятки мои родимые запищат: "Бабуся, есть!" — и нечем им голодные рты заткнуть, так, скажу тебе, я бы руки себе отрубила или алтарь ограбила да корчмарю снесла, только бы их накормить!

— Так вы опять с детьми вместе живете?

— Да, ведь мать я... неужто я их в такой нужде оставляю? А нынешним летом на них все беды валятся. Корова околела, картошка сгнила, для посадки — и то пришлось покупать... А потом ветром амбар свалило. К тому же невестка с самых родов все хворает, и хозяйство брошено на волю божью.

— Еще бы, коли Войтек ваш только и знает, что в кормче сидеть да водку пить.

— Выпивал он с горя, только с горя, а с той поры, как получил в лесу работу, он к Янкелю ни ногой, — это тебе всякий скажет! — горячо вступилась за сына Ягустинка. — Бедняку каждая рюмочка в счет! Больно уж Господь Бог расхотелся!.. Так взъесться на одного темного мужика! И за что? Что он худого сделал? — бормотала она, поднимая к небу грозно вопрошающие глаза.

— А вы-то сами мало их проклинали? — сказал Антек сурово.

— Станет Иисусе слушать дурацкую болтовню! Да если бы и стал... — Она заговорила тревожнее. — Ведь если мать и клянет детей, в душе она им зла не желает, нет! Чего в гневе не сбрехнешь!

— А что, Войтек луг отдал уже в аренду?

— Мельник давал ему целую тысячу злотых, да я не позволила сдать. Что этому волку попадет в лапы, сам черт у него не вырвет! Может, еще кто другой подвернется, у кого деньги есть...

— Луг хороший, верных два покоса в год! Эх, были бы у меня лишние деньги! — вздохнул Антек, облизываясь, как кот на молоко.

— Его еще Мацей хотел купить, потому что он рядом с Ягусиным полем.

Антек дрогнул при этом имени, но только через несколько минут спросил с притворным равнодушием, блуждая взглядом по дальним полям:

— А что там у Доминиковой слышно?

Но Ягустинка видела его насквозь. Усмешка пробежала по ее увядшим губам, глаза заискрились, и, придвинувшись ближе, она жалостливо сказала:

— А что? Ад, да и только! В доме как после похорон, тоска просто душу леденит, ниоткуда ни помощи, ни утешения. Глаза они выплакали, ожидая, когда Господь над ними смилуется. А особенно Ягуся...

И пошла, словно пряжу разматывала, рассказывать о Ягусе, о ее несчастьях, печали и одиночестве. Говорила с жаром, подлаживаясь к Антеку и стараясь выпытать у него что-нибудь, но он упорно молчал: его вдруг одолела мучительная тоска.

К счастью, вернулась Юзька с полным фартуком черники. Она отсыпала ему ягод в шапку и, собрав крынки, со всех ног побежала домой.

А Ягустинка, не дождавшись от Антека ни слова, стала подниматься, кряхтя и охая.

— Погодите! Петрик, подвези ее! — коротко приказал Антек и опять взялся за плуг. Некоторое время он терпеливо взрезал твердую, словно спекшуюся землю, гнул, как вол в ярме, весь ушел в работу, но тоска не проходила. День казался ему слишком долог, он часто поглядывал на солнце и нетерпеливым взглядом измерял поле — оставалось вспахать еще порядочный кусок. И он все больше злился и без всякой надобности стегал лошадей да резко покрикивал на женщин, чтобы они живее шевелились! Что-то его томило так, что было уже не в состоянии, а в голове сновали мысли, от которых глаза застилало туманом, и плуг все чаще вихлялся в руках, задевая за камни, а у леса так глубоко ушел под какой-то корень, что сошник оторвался.

Пахать дальше было невозможно. Антек поставил плуг на полозья и, заложив мерина, поехал домой взять другой плуг.

В избе никого не было, все валялось в беспорядке, испачканное мукой, а Ганка с кем-то бранилась в саду.

— Неряха! Ругаться — на это у нее время есть! — проворчал Антек, выходя во двор. Там он еще больше разозлился, когда оказалось, что и второй плуг, вытасченный им из-под навеса, тоже никуда не годится. Долго он что-то мастерил, пробуя его починить, и все с большим раздражением прислушивался к перебранке в саду. Взбешенная Ганка кричала:

— Заплати за убытки, тогда выпущу твою свинью, а не заплатишь — в суд подам! Полотно, что белилось на поляне, она мне весной изорвала, картошку подрыла — за все заплати! У меня свидетели есть! Ишь, какая хитрая, думает свиней моим добром откармливать! Да нет, шалишь, своего не подарю! В другой раз и твоей свинье и тебе ноги переломаю!

Ганка визжала все неистовее, соседка тоже в долгу не оставалась, они ругались вовсю, грозя друг другу через плетень кулаками.

— Ганка! — крикнул Антек, взваливая плуг на спину.

Она прибежала, возбужденная, растрепанная, охрипшая от крика.

— Чего ты орешь на всю деревню?

— Свое защищаю! Что же, позволить, чтобы чужие свиньи на моем огороде рылись? Мне будут пакостить, а я — молчать? Не дождутся они этого! — выкрикивала Ганка, но он резко остановил ее.

— Оденься! Ходишь каким-то пугалом.

— Вот еще, стану я на работе рядиться, как в костел!

Он оглядел ее с отвращением, — она и в самом деле имела такой вид, как будто ее только что вытащили из-под кровати, — и, пожимая плечами, ушел в кузницу чинить плуг.

Кузнец работал: уже издали слышны были звонкие и сильные удары молотов, а в кузнице гудел огонь и было жарко, — как в пекле. Когда Антек вошел, Михал со своим подручным ковали толстые железные полосы. Пот ручьями лил с его измазанного лица, но он ковал без передышки, с каким-то остервенением.

— Для кого это такие хорошие оси?

— К телеге Плошки. Он будет возить лес на лесопилку.

Антек присел на пороге и стал свертывать папиросу.

Молоты все били непрерывно: раз — два, раз — два; красное железо делалось под их ударами податливым, как тесто, и его гнули, как хотели. Кузница вся содрогалась от грохота.

— А ты не хочешь возить? — спросил Михал, сунув железо в огонь и раздувая мехи.

— Да разве мельник допустит? Он, говорят, вошел в компанию с органистом...

— Лошади у тебя есть, работник баклуши бьет... а платят хорошо! — соблазнял его кузнец.

— Конечно, пригодились бы деньги к жатве, но я мельнику кланяться не стану!

— А ты бы с купцами поговорил...

— Да я их не знаю... Вот кабы ты за меня похлопотал!..

— Если просишь, так поговорю, сегодня же к ним сбегая.

Антек поспешно отступил за порог, потому что опять загремели молоты и огненным дождем посыпались искры.

— Я сейчас приду, погляжу только, какое дерево возят.

И на лесопильне кипела работа. Пилы с глухим скрежетом разрезали длинные бревна, ревела вода, падая с колес в реку, и, пенясь, бурлила в тесных берегах. С телег сваливали сосны, такие тяжелые, что гудела земля, и шесть мужиков обтесывали стволы, а другие укладывали готовые доски на солнце.

Всем управлял Матеуш, мелькавший то тут, то там. Он распоряжался толково и зорко следил за всем.

Он дружески поздоровался с Антеком.

— А где же Бартек? — спросил Антек, ища его глазами среди рабочих.

— Надоели ему Липцы и ушел куда глаза глядят.

— Есть же люди, которым не сидится на месте!.. Работы у тебя, я вижу, надолго хватит, — столько лесу!

— Да, хватит на год, а то и больше. Если помещик с мужиками столкнется, так он половину бора вырубит да продаст.

— А знаешь, на Подлесье нынче опять землю размеряют!

— Да ведь каждый день кто-нибудь из мужиков с паном отдельно договаривается! Бараны этикие, не захотели нас послушать и всем миром с ним сторговаться — он тогда дал бы больше. А теперь они поодиночке, втихомолку это делают, один другого хочет обскакать!

— Иной человек — как осел: хочешь, чтобы он вперед шел, так тащи его за хвост! Теперь пан у каждого сколько-нибудь да урвет.

— А ты свою землю получил?

— Нет, еще срок не вышел после смерти отца, делиться нельзя. Но я себе уже присмотрел поле.

На том берегу между ольхами мелькнуло чье-то лицо, и Антеку показалось, что это Ягуся. Продолжая разговаривать с Матеушем, он все беспокойнее вглядывался в прибрежные заросли.

— Жара какая... Надо пойти искупаться, — сказал он, наконец, и зашагал вниз по берегу, как будто бы выбирая удобное место, но, как только деревья его заслонили, пустился бежать.

Да, это была она. Шла с мотыгой на капустное поле.

— Ягуся! — окликнул ее Антек, поровнявшись с ней.

Она быстро оглянулась, узнав голос, и увидела его лицо, выглядывавшее из-за тростника. Остановилась, не зная, что делать, испуганная и растерянная.

— Не узнала? — взволнованным шепотом сказал Антек и попытался перейти к ней на другой берег. Но река в этом месте была глубока, хотя шириной всего в несколько шагов.

— Как же не узнать? — Ягна боязливо оглядывалась на капустное поле, где пестрели юбки баб.

— Где это ты прячешься, что и не видно тебя?

— Где? Выгнала меня твоя из дому, так живу у матери.

— Вот и насчет этого я хотел бы поговорить с тобой. Выйди, Ягна, вечером за погост, скажу тебе что-то. Приходи! — просил Антек.

— Как же! Еще кто-нибудь увидит! Нет, довольно с меня и того, что было! — возразила она твердо. Но он так приставал, так молил, что она смягчилась, ей стало жаль его.

— Да что же ты мне скажешь нового? Зачем меня зовешь?

— Неужели я тебе совсем чужой стал, Ягусь?

— Не чужой, да и не свой! Не до тебя мне...

— Ты только приди, не пожалеешь! Боязно тебе за погост — так приходи за ксендзов сад. На то место... помнишь? Помнишь, Ягусь?

Ягна даже отвернулась — таким жарким румянцем вспыхнуло ее лицо.

— Не поминай, стыдно!.. — Она совсем смутилась.

— Приходи, Ягусь, я хоть до полуночи ждать буду.

— Ладно, жди. — Она вдруг повернулась к нему спиной и убежала в поле.

Антек жадно смотрел ей вслед, и такое страстное желание заговорило в нем, что он готов был бежать за ней и взять ее на глазах у всех... Он с трудом овладел собой.

"Нет, это меня от жары так разобрало!" — подумал он, торопливо раздеваясь, чтобы выкупаться в реке.

Освеженный купаньем, он размышлял:

"Слаб человек! Его, как пушинку, бог весть куда занести может!"

Ему стало стыдно за себя, он осмотрелся по сторонам, не видал ли кто его с Ягной, и стал вспоминать все, что ему о ней рассказывали.

"Так вот ты какова, ягодка!" — думал он с презрением и невольной грустью, но вдруг остановился под деревом и стоял с минуту, закрыв глаза, потому что все еще как будто видел ее перед собой во всей ее чудной прелести.

— Другой такой на свете нет! — простонал он, и ему страшно захотелось еще раз увидеть ее, еще раз прижать ее к груди и пить радость из этих алых губ, упиться их сладким медом насмерть...

— В последний раз, Ягуся! Только один разок еще! — шептал он с мольбой, словно она была тут, перед ним. Долго потом протирал он глаза и озирался кругом, пока не пришел в себя.

Он пошел назад в кузницу. Михал был один и уже принимался за его плуг.

— А выдержит твоя телега такую тяжесть? — спросил он у Антека.

— Ого! Было бы что класть на нее!

— Уж если я обещал, так будет!

Антек начал делать расчет мелом на дверях.

— Я еще до жатвы заработаю триста злотых! — объявил он радостно.

— Как раз хватило бы на твое дело в суде! — заметил кузнец небрежно.

Антек сразу нахмурился, и в глазах его появился угрюмый блеск.

— Ох, это дело! Как вспомню, все из рук валится и жить не хочется...

— Оно и не диво... Одного я понять не могу: почему ты никакого средства не ищешь?

— Что же я могу сделать?

— А сделать что-нибудь надо! Неужели под нож идти, как теленок к мяснику.

— Лбом стену не прошибешь! — Антек печально вздохнул.

Михал с ожесточением ковал, а Антек глубоко задумался.

Думы эти были так тревожны, что он менялся в лице, порой вскакивал с места и беспомощно оглядывался. А кузнец дал ему вдоволь намучиться, украдкой следя за ним хитрыми глазами, и, наконец, сказал тихо:

— Вот Казимир из Модлицы нашел же средство...

— Это тот, что бежал в Америку?

— Он самый. Умен, шельма, понимал, что его ждет...

— Да разве доказано было, что он убил стражника?

— Он не ждал, пока докажут! Не дурак он, чтобы в тюрьме гнить.

— Ему-то легко было уехать — холостой!

— Кому спастись надо, тот ни на что не глядит. Я тебя уговаривать не хочу, чтобы ты не подумал, будто у меня тут свой расчет есть. Я только объясняю тебе, как делали другие. А ты поступай, как тебе покажется лучше. Вот вернулся же на праздниках Войтек Гайда из тюрьмы. Десять лет — еще не вся жизнь, можно вытерпеть...

— Десять лет! Господи! — простонал Антек, хватаясь за голову.

— Да, срок немалый, а он ровно десять лет пробыл на каторге.

— Все я готов вынести, только не тюрьму! Иисусе, я несколько месяцев просидел, а чуть с ума не сошел!

— А через три недели был бы ты уже за морем — вот спроси у Янкеля...

— Так далеко уехать, все бросить, оставить дом, детей... землю, родную деревню, и в такую даль... навсегда! — говорил Антек в ужасе.

— Столько людей уехали туда по доброй воле, и никому в голову не приходит возвращаться в здешний край.

— Мне и подумать об этом страшно!

— А ты погляди на Войтека да послушай, что он рассказывает про каторгу, так еще страшнее тебе станет. Мужики сорока лет нет, а весь поседел, сгорбился, кровью харкает и едва ноги волочит. Того и гляди богу душу отдаст... Ну, да что тебе втолковывать, у тебя своя голова на плечах, сам рассудишь.

Кузнец вовремя замолчал, понимая, что посеял тревогу в душе Антека и остальное можно предоставить времени. Он уже заранее радовался успеху своих планов и, починив плуг, сказал весело:

— Ну, теперь побегу к купцам, а ты назавтра готовь телегу — будешь лес возить. Насчет суда не думай! Что будет, то будет, на все воля божия! Вечером зайду к тебе.

Но Антеку не так легко было забыть этот разговор. Он проглотил дружеские советы кузнеца, как рыба — крючок с приманкой, и теперь этот крючок разрывал ему внутренности. Страшные и мучительные мысли словно парализовали его.

— Десять лет! Десять лет! — бормотал он по временам, цепenea от ужаса.

Смеркалось, люди возвращались с поля. Во дворе поднялась суета, Витек пригнал стадо, и женщины готовились доить, возились с вечерней уборкой.

Антек выкатил телегу за гумно, чтобы осмотреть ее и приготовить к утру, но у него после разговора с кузнецом ко всему пропала охота, и он крикнул Петрику, поившему у колодца лошадей:

— Смажь телегу да приготовь ее назавтра, будешь лес возить на лесопилку.

Петрик сердито выругался — ему совсем не улыбалась такая работа.

— Заткни глотку и делай, что велено! Гануся, дай лошадям три мерки овса, а ты, Петрик, принесешь им клевера с поля, пусть подкормятся.

Ганка пыталась его расспросить, но он буркнул в ответ что-то невнятное и, повертевшись во дворе, ушел к Матеушу, с которым они теперь были в большой дружбе.

Матеуш только что вернулся с работы и, сидя на завалинке, ел простоквашу, чтобы прохладиться.

Откуда-то, как будто из сада, слышался тихий жалобный плач.

— Это кто там ревет?

— Настуся. Ума не приложу, что делать с этой парой! Оглашение было, свадьба назначена на воскресенье, а Доминикова вчера объявила через солтыса, что хозяйство все на нее записано, и она Шимеку не выделит ни полоски земли и в дом его не пустит. И она обязательно так сделает, — знаю я эту старую собаку!

— А Шимек что на это?

— Шимек? Как засел утром в саду, так и до сих пор сидит, — словно пень, и даже Настусе ни слова не отвечает. Боюсь, не спятил бы!

— Шимек! — крикнул он в сад. — Иди-ка сюда! Борына пришел — может быть, он что-нибудь посоветует.

Шимек появился через минуту и, ни с кем не здороваясь, сел на завалинке. Он за это время исхудал, высох, как осиновая доска. Но глаза его горели, в осунувшемся лице читалась твердая решимость.

— Ну, что же ты надумал? — мягко спросил Матеуш.

— Да что? Возьму топор и зарублю ее, как собаку.

— Дурак! Этот вздор побереги для корчмы.

— Как бог свят, убью! А что же остается? Землю отцовскую она мне не отдает, из дому гонит и деньгами мою долю выплатить не хочет. Что я буду делать? Куда я, сирота, денусь, куда? Чтоб родная мать так сына обижала! — простонал Шимек, утирая рукавом слезы, но тут же вскочил и закричал: — Не отступлюсь от своего, псякрев! В тюрьме сгнию, а ей не спущу!

Его успокоили, но он сидел мрачный и такой злой, что не отвечал даже на слезливый шепот Настуси. Матеуш и Антек стали совещаться, как бы ему помочь, но ничего не могли придумать — разве с Доминиковой сладишь?

Наконец, Настуся, отозвав брата в сторону, стала что-то ему объяснять.

— Смотри-ка! Баба, а как дельно рассудила! — радостно воскликнул Матеуш, возвращаясь на место. — Она говорит, что надо купить у пана на Подлесье моргов шесть земли в рассрочку. Что, хорошо придумано? А матери можно кукиш показать, пусть бесится!..

— Совет-то хорош, не хуже всякого другого, а деньги где?

— У Настки есть тысяча злотых, на задаток хватит.

— Ну, а где же изба, скот, инвентарь, зерно для посева?

— Где? А вот тут. Тут! — неожиданно крикнул Шимек, вскочив и протягивая вперед сжатые кулаки.

— Гм... Сказать легко, а осилишь ли? — недоверчиво заметил Антек.

— Дайте только землю, тогда увидите! — сказал Шимек твердо.

— Ну, значит, нечего и раздумывать — ступай к помещику и покупай.

— Погоди, Антек, надо с мыслями собраться...

— Увидите, как я все налажу, — быстро заговорил Шимек. — Кто у матери пахал? Кто сеял? Кто жал? Я, я один! Худо, что ли, поля обрабатывал? Бездельник я какой-нибудь? Пусть вся деревня скажет, пусть мать скажет! Дайте только землю, подсобите, братцы, а я за это по гроб вам обязан буду. Помогите только, дорогие вы мои, поддержите! — твердил он, то плача, то смеясь, словно опьянев от радостной надежды.

Когда он немного успокоился, все вместе принялись обсуждать этот план.

— Только бы пан согласился на рассрочку! — вздохнула Настка.

— Мы с Матеушем поручимся за Шимека, тогда, я думаю, согласится.

Настуся так была растрогана добротой Антека, что чуть не кинулась целовать ему руки.

— Я сам немало хлебнул горя, так знаю, каково другим! — промолвил Антек тихо и встал, собираясь уходить.

Уже совсем стемнело, только небо еще светилось да на западе догорала вечерняя заря.

Антек постоял у озера, колеблясь, куда идти, — и пошел домой.

Но шел он медленно, как будто против воли, то и дело останавливался поговорить со знакомыми. На улице было людно. Из-за плетней звенели песни, где-то кричали перепуганные гуси, у мельницы визжали купавшиеся мальчишки, на том берегу озера перебранивались какие-то бабы, а пронзительные звуки дудки резали слух.

Хоть Антек и не спешил и охотно останавливался по дороге, в конце концов он очутился перед своей избой. Окна были открыты и освещены, у стены плакал ребенок, а во дворе раздавался крикливый голос Ганки, и по временам сердито огрызалась Юзька.

Антек опять остановился в нерешимости. Когда же Лапа радостно завизжал и стал кидаться к нему на грудь, он в неожиданном порыве раздражения пнул его ногой и повернул обратно. Дошел до тропинки, которая вела к плембани, проскользнул мимо дома органиста так бесшумно, что даже собаки его не почуяли, и вышел за сад ксендза на широкую межу, отделявшую его поля от полей Клемба.

Его укрыла густая тень пышно разросшихся здесь деревьев.

Лунный серп уже повис на темном небе, ярко мерцали звезды. Наступал вечер, росистый, очень теплый, настоящий летний вечер. Во ржи кричали перепела, с дальних лугов долетал глухой плач выпи, а над полями стояла благоуханная тишина.

Ягуся все не шла, а неподалеку от Антека по меже прохаживался ксендз в белой сутане, с непокрытой головой. Он бормотал молитву, как будто не замечая, что его лошади, пасшиеся на голом вытоптанном перелогe, перешли межу и жадно щиплют клевер Клемба, который рос густо, как лес, и уже цвел.

Ксендз ходил, бормотал молитвы, смотрел на звезды и время от времени, останавливаясь, настороженно прислушивался: чуть только со стороны деревни доносился какой-нибудь шум, он торопливо поворачивал обратно и с притворным гневом кричал на лошадей.

— Куда полез, Сивка? В клембов клевер, а? Смотрите, какие жулики! Понравилось чужое, да? А батоном по ногам не хотите? Ну, говорю, батоном! — строго грозил он.

Но лошади так смачно хрупали клевер, что у ксендза не хватало духу гнать их с чужого поля. Он только оглядывался и бормотал:

— Ну, поешьте немного, поешьте... Я уж зато помолюсь за Клемба или чем-нибудь ему отплачу... Ишь, бездельники, как налегают на свежий клевер!

И опять ходил взад и вперед, читал молитвы и караулил, не подозревая, что Антек смотрит на него, слушает и с возрастающим беспокойством ждет Ягусю.

Так прошло добрых полчаса, и Антеку неожиданно пришла мысль подойти к ксендзу и посоветоваться с ним о своих делах.

"Человек он ученый, лучше моего понимает, что надо делать", — рассуждал он про себя, отходя в темноте за амбар. Обогнув его, он уже смело вышел на межу и громко откашлялся.

Ксендз, услышав, что кто-то идет, заорал на лошадей:

— Ах вы, пакостники негодные! Ни на минуту глаз с них спускать нельзя — сейчас в чужое поле заберутся, как свиньи! Сюда, Каштан! — И, подобрав сутану, побежал выгонять лошадей.

— Борына, ты? Как живешь? — сказал он, когда Антек подошел ближе.

— А я вас ищу, ваше преподобие, в плебанию заходил...

— Вот вышел помолиться и заодно лошадок покараулить, потому что Валец побежал в усадьбу. Такие они у меня норовистые, такие пакостники, просто беда!.. Гляди, как у Клемба густо клевер взошел! Это из моих семян... А у меня весь морозомхватило, одна ромашка да осот растут! — горестно вздыхая, говорил ксендз.

Он сел на камень.

— Ну, садись, потолкуем. Славная погода! Недели через три зазвенят косы!

Антек сел рядом и стал не торопясь рассказывать, зачем пришел. Ксендз слушал его внимательно, нюхая табак, звонко чихал и время от времени покрикивал на лошадей:

— Куда! Ослеп, не видишь, что чужое? Ах ты, упрямая скотина!

Антек рассказывал как-то бессвязно, запинался и путал.

— Вижу, тебя что-то мучает. Говори все начистоту, — сразу полегчает! Кому же и открывать душу, как не ксендзу!

Он погладил Антека по голове, попотчевал табаком. Тот, набравшись духу, поведал ему все свои тревоги.

Ксендз долго думал, вздыхал и, наконец, сказал:

— Я бы на тебя за лесника только эпитимию[27] наложил: ты отца защищал, а лесник был негодяй и лютеранин, — невелика убыль! Но суд тебя не оправдает. Отсидишь самое

меньше четыре года. Что тут посоветовать? Боже мой, и в Америке люди живут, и из тюрьмы домой возвращаются. Но и то и другое несладко!

Он то настаивал, чтобы Антек уехал уже завтра, то советовал остаться и отбыть наказание, а в конце концов сказал:

— Самое верное — это положиться на волю божью и ждать.

— А меня тем временем закуют в кандалы да в Сибирь угонят.

— Из Сибири многие возвращаются, я сам знаю не один случай...

— А что я после стольких лет застану дома? Разве жена одна управится с хозяйством? Все прахом пойдет! — беспомощно бормотал Антек.

— От всего сердца рад бы тебе помочь, да что же я могу... Вот, погоди, отслужу обедню, чтобы Господь смиловался над тобой. Загони-ка мне лошадей в конюшню, поздно уже. Слышишь, поздно, говорю, спать пора!

Антек был так озабочен, что, только уйдя от ксендза, вспомнил о Ягусе и поспешил на условленное место.

Она ожидала его, притаившись за овином.

— Жду, жду, а ты...

Голос у нее как будто охрип.

— Не мог же я так сразу убежать от ксендза. — Он хотел ее обнять, но она его оттолкнула.

— Оставь! Не до нежностей мне!

— Я тебя не узнаю! — сказал задетый за живое Антек.

— Какая была, такая и есть.

— Нет, ты сильно переменилась. — Он придвинулся ближе.

— Сколько времени ты обо мне и не вспоминал, а теперь удивляешься.

— Нельзя думать больше, чем я о тебе думал, но не мог же я бежать к тебе из острога!

— А я осталась с больным да с заботами! — Ягна вздрогнула, как от холода.

— И ни разу тебе в голову не пришло навестить меня — другим была занята!

— А ты ждал меня, Антось? Правда, ждал? — прошептала она недоверчиво.

— И как еще ждал! Как дурак, по целым дням торчал у решетки, все глаза проглядел, каждый день ждал, что приедешь.

— Господи! А тогда... за сеновалом... ты так меня изругал! Да и до этого такой бывал сердитый! А когда тебя увозили, ты на меня и не взглянул, словечка мне не сказал! Я хорошо помню — для всех у тебя нашлось ласковое слово, даже для пса, только не для меня! Я чуть с ума не сошла!

— Я тогда ничуть на тебя не злился, Ягусь. Но, понимаешь, иной раз так горит душа от муки, что готов, кажется, и себя и всех убить...

Примолкли оба, стоя рядом. Луна светила им прямо в лицо. Они тяжело дышали, терзаемые жестокой болью воспоминаний, в глазах стыли слезы тоски и горьких сожалений.

— Не так ты меня встречала когда-то! — грустно сказал Антек.

Ягна вдруг заплакала громко и жалобно, как ребенок.

— Как же мне тебя встречать? Как? Мало ты обижал меня? Осрамил, бросил — люди травят меня, как собаку...

— Я тебя осрамил? Из-за меня это? Я виноват? — Антек вдруг вскипел.

— Ты. Из-за тебя выгнала меня из дому эта неряха, это свинское помело! Из-за тебя я стала посмешищем для всей деревни...

— А про войта забыла? А про других? — грозно повысил голос Антек.

— Все из-за тебя! Все! — шептала Ягна уныло. — Зачем ты меня заставлял выходить к тебе? Ведь у тебя жена есть! Глупа я была, а ты меня так опутал, что я только тебя на свете и видела! И зачем же ты потом оставил меня одну, людям на потеху?

Тут уже и Антек, в приливе горечи, зашипел сквозь стиснутые зубы:

— Так это я тебе велел стать моей мачехой? Уж не я ли тебя заставлял путаться со всяким, кто только хотел?

— А зачем ты мне не запретил? Если бы любил, так не давал бы мне воли, не оставил бы одну, уберег бы от беды, как делают другие! — жаловалась Ягна с глубокой мучительной грустью, которая окончательно обезоружила Антека. Гнев его испарился, сердце задрожало от нежности.

— Тише, Ягусь, не плачь, дитячко! — шептал он.

— Я такая несчастная, а ты тоже против меня, как все! И ты тоже! — всхлипывала она, припав головой к стенке амбара.

Он усадил ее на межу, сел рядом и, обняв, стал гладить по волосам, утирать ее заплаканное лицо, целовать дрожащие губы и мокрые глаза, эти любимые глаза, такие печальные теперь. Он ласкал ее и успокаивал, как умел, и она плакала все тише, доверчиво прижимаясь к нему, прильнув головой к его груди, как к груди матери, на которой так сладко выплакивать все горести и обиды.

Но у Антека уже зашумело в голове от близости ее жаркого тела. И поцелуи его становились все более страстными, он все крепче прижимал ее к себе...

Ягна сначала не сознавала, к чему дело клонится и что с ней происходит. Только когда она почувствовала себя уже совсем в его власти, когда он впился в ее губы так, словно хотел их раздавить, она стала вырываться и просить испуганно, чуть не плача:

— Пусти меня, Антек! Пусти, ради бога! Я закричу!..

Но разве могла она бороться с ним? Он сжимал ее так, что нечем было дышать, ее кидало то в жар, то в дрожь.

— В последний раз позволь! В последний! — молил он задыхаясь.

Все закружилось перед ней, она утонула в блаженстве, а он взял ее, как прежде, в могучем порыве, и она отдавалась ему тоже, как бывало, в сладостном изнеможении, на счастье без

меры, на самую смерть...

Ночь стояла вся в звездах, месяц был уже на середине неба. Уснули в бездонной тишине поля, мир не дышал, погруженный в упоительное забытье.

И они ни о чем уже не помнили — все исчезло в огне и буре любви, вечно жаждущей и вечно неутолимой. Как высохшее дерево, венчаясь с молнией, вспыхивает пламенем и они гибнут вместе, а гром вместо свадебных песен поет им панихиду, так Антека и Ягну сжигал какой-то ненасытный огонь. Ожила в них прежняя любовь, вспыхнув буйным, веселым пламенем на единый миг забытья, на эту одну минуту последнего счастья.

Да, последнего, ибо, когда они опять сели рядом, уже что-то омрачило им души, уже они поглядывали друг на друга тревожно, украдкой и быстро отводили глаза с чувством стыда и раскаяния.

Напрасно Антек искал губами ее губ, бывало так жаждавших поцелуев, — Ягуся с неудовольствием отворачивалась.

Напрасно Шептал он ей самые нежные слова, ласковые прозвища — она не отвечала, неподвижно глядя на луну. И Антек злился и охладевал, испытывал досаду и непонятную тоску.

Уже они не находили, о чем говорить, уже томились, и каждый с нетерпением ожидал, чтобы другой встал и ушел.

В душе Ягуси все словно выгорело и рассыпалось пеплом. Она вдруг сказала с затаенным раздражением:

— Опять меня приневолил, как разбойник!

— Да разве ты не моя, — Ягуся: не моя? — Он хотел обнять ее, но она с силой оттолкнула его.

— Не твоя и ничья, понятно? — Ничья! — Она опять расплакалась, но Антек больше не утешал и не обнимал ее. Помолчав, он спросил серьезным тоном:

— Ягусь, ты ушла бы со мной на чужбину?

— Куда же это? — Она подняла на него заплаканные глаза.

— А хоть бы в Америку! Поедешь со мной, Ягусь?

— А что же ты с женой сделаешь?

Он вскочил, как ужаленный.

— Всерьез спрашиваю! Яду ей подсыплешь, что ли?

Антек схватил ее, прижал к себе и, осыпая страстными поцелуями ее лицо, стал просить, уговаривать, чтобы она уехала с ним в дальние края, где они уже: навсегда заживут вместе. Он долго говорил ей о своих планах и надеждах, потому что ухватился вдруг за мысль бежать с нею, как пьяный хватается за плетень, — и болтает тоже, как пьяный, охваченный лихорадочным возбуждением, Ягна выслушала все до конца и сказала насмешливо:

— Принудил ты меня к греху, так думаешь, что я уже совсем одурела и поверю всем твоим бредням?

Он клялся ей, что это не бредни, а истинная правда, но она не хотела больше его слушать и,

вырвавшись, сказала шепотом:

— И не подумаю с тобой уезжать. Зачем? Разве мне плохо одной? — Она накинула платок на голову и внимательно осмотрелась по сторонам. — Поздно, побегу уж я!

— Куда ты спешишь? Никто ведь теперь дома за тобой не следит.

— Да тебе-то пора... Там Ганка уже перину проветривает и вздыхает...

Уязвленный ее словами, Антек злобно процедил:

— Я ведь тебя не попрекаю теми, кто тебя в корчме поджидает.

— Да, да, не один готов ждать меня хоть до утра, так и знай! Очень уж ты много о себе думаешь! Как будто ты один на свете! — с ядовитой усмешкой сказала Ягна.

— Да беги себе, хоть к Янкелю, беги! — с трудом прохрипел Антек.

Но Ягна все не двигалась с места. Они стояли рядом, тяжело дыша и враждебно глядя друг на друга, и, казалось, искали слов, которые ранили бы побольнее.

— Ты звал меня, чтобы что-то сказать, так говори сейчас, потому что больше я к тебе не выйду!

— Не беспокойся, не позову...

— На коленях просить будешь — и то не приду!

— Ясное дело, времени не хватит — ведь сколько раз приходится тебе каждую ночь к мужикам выходить!

— Чтоб у тебя язык отсох!

Она побежала полем к деревне.

Антек не бросился ее догонять, даже не окликнул и только смотрел, как она тенью летела по загонам. Когда она исчезла среди садов, он протер глаза, как во сне, и горько вздохнул.

— Совсем я ошалел! Иисусе, до чего баба может довести человека!

Ему было ужасно стыдно, когда он возвращался домой. Он не мог себе простить того, что случилось, сурово корил себя за это и мучился.

Постель ему была приготовлена в саду, так как в избе спать было невозможно из-за жары и мух.

Но он не мог уснуть. Лежал и, глядя на далекое мерцание звезд, вслушиваясь в тихую поступь ночи, все думал о Ягусе.

— Ни с ней, ни без нее! Эх, чтоб тебя! — выбранился он тихо. Горестно вздыхал, ворочался с боку на бок и, сбрасывая перину, охлаждал ноги в росистой траве, но сон не приходил, и мысли о Ягусе не оставляли его ни на минуту.

В избе заплакал кто-то из малышей и послышалось бормотанье Ганки. Антек поднял голову, но через минуту все утихло, и снова одолели его те же мысли. Они словно оведали его весенним ветром, волновали душу сладкими воспоминаниями. Но он уже не отдавался им безвольно, нет, он трезво разбирался в них и в конце концов торжественно, как на исповеди, сказал самому себе:

— Этому надо положить конец! стыдно и грешно! Что люди опять скажут? Ведь я семейный человек, хозяин, этому должен быть конец!

Так он решил, но ему было жаль расстаться с Ягной, невыразимо жаль.

"Только раз дай себе волю, — и так со злом сроднишься, что и смерть не разделит", — размышлял он с горечью.

Уже светало, небо одевалось серой пеленой, а Антек все еще не спал. Наконец, утро заглянуло ему в глаза, и Ганка прибежала будить его. Лицо у Антека было хмурое, но он сегодня удивительно ласково обошелся с женой и, когда она рассказала, зачем вчера поздно вечером приходил кузнец, погладил ее по растрепанной голове.

— Ну, если уж так посчастливилось и я буду возить лес, куплю тебе чего-нибудь на ярмарке.

Ганка обрадовалась и стала просить, чтобы он купил шкаф со стеклом для посуды, такой, как у органиста.

— Скоро ты начнешь подумывать о таком диване, как у панов в усадьбе! — засмеялся Антек, однако обещал купить все, что она просила, и заторопился вставать — работа ждала. Надо было тянуть ляжку, как изо дня в день.

Он еще раз потолковал с кузнецом и тотчас после завтрака отправил Петрика возить навоз, а сам поехал на паре лошадей в лес.

В лесу на вырубке кипела работа. Множество людей обтесывали деревья, срубленные еще зимой. Удары топоров и визг пил издали напоминали неустанное постукиванье дятлов. В высокой траве паслись липецкие стада и дымили костры.

Антек вспомнил о битве, происходившей тут, и только головой покачал, увидев, как дружно работают вместе липецкие мужики и репецкая шляхта.

— Беда их вразумила! И нужно было все это, а? — сказал он Филиппу, сыну Ягустинки, обрубавшему сучья у сосен.

— А кто был виноват? Помещик и богатые хозяева! — угрюмо буркнул Филипп, не отрываясь от работы.

— А, пожалуй, больше всего злоба да глупое подстрекательство.

Он остановился на том месте, где убил лесника, и недоброе чувство шевельнулось в нем.

— Сволочь, из-за него все мои несчастья! Жаль, что нельзя еще ему подбавить!

Он плюнул и взялся за работу.

С этого дня он начал возить лес на лесопилку, работал с утра до вечера с такой страстью, словно хотел замучить себя до смерти, однако и этим не мог заглушить мыслей о Ягусе и о своем злосчастном деле в суде.

Однажды Матеуш рассказал ему, что Шимек купил землю на Подлесье, — помещик согласился на рассрочку уплаты и даже обещал дать соломы и дранок, а свадьбу Настуси отложили до тех пор, пока Шимек не обзаведется кое-каким хозяйством.

Но Антека не трогали теперь чужие заботы — мало ли у него было своих? Притом кузнец чуть не каждый день всячески пугал его судом и осторожно, очень хитро намекал, что, если ему срочно понадобится, кое-кто может дать денег в долг.

Антек уже сто раз был близок к тому, чтобы бросить все и бежать, но стоило ему взглянуть на деревню, стоило подумать, что никогда нельзя будет вернуться, и его охватывал ужас. Он предпочитал тюрьму, все, что угодно, только не это. Однако и о тюрьме думал с отчаянием.

От этой душевной борьбы он исхудал, стал угрюм, к домашним был суров и придирчив. Ганка с ума сходила, тщетно пытаясь выведать, что с ним. Сначала она заподозрила, что он опять связался с Ягусей. Но у нее глаза были зоркие, да и Ягустинка, которую она подкармливала, следила за этой парой, и другие подтверждали, что Антек и Ягуся избегают друг друга и никогда не встречаются, так что на этот счет Ганка была спокойна. Но, хотя она ублажала мужа, как только могла, и кормила вкусно и вовремя, и дом держала в чистоте и порядке, и все в хозяйстве шло, как нельзя лучше, — Антек был раздражителен, мрачен, бранился из-за каждого пустяка, и она не слыхала от него никогда ласкового слова.

Тяжелее всего бывало Ганке, когда он ходил молчаливый, печальный, как осенняя ночь, и не злился, не брюзжал, а только горько вздыхал и уходил на весь вечер в корчму пить с приятелями.

Спросить у него прямо она не смела, а Рох клялся, что тоже ничего не знает, — старик приходил к ним теперь только ночевать, а целыми днями бродил по окрестным селам со своими книжками и учил людей молиться сердцу Иисусову, — эту службу власти запрещали совершать в костелах.

Как-то вечером они ужинали не на крыльце, а в комнате, потому что после захода солнца поднялся ветер. Вдруг на берегу залаяла разом целая свора собак. Рох положил ложку и внимательно прислушался.

— Кто-то чужой в деревне! Надо поглядеть.

Он вышел, но тотчас вернулся, бледный, и сказал быстро:

— На улице шашки звенят. Если будут спрашивать, — я в деревне.

Выскочил в сад и скрылся.

Антек побледнел, как смерть, и вскочил из-за стола. Собаки заливались уже перед домом, на крыльце слышались тяжелые шаги.

— Может, это за мной? — пробормотал Антек в тревоге.

Все обомлели, увидев на пороге стражников.

Антек застыл на месте и только поглядывал на открытые окна и двери. К счастью, Ганка не растерялась и спокойно пригласила стражников сесть, пододвинув им скамью.

Они вежливо поздоровались и сразу напросились на ужин. Ганке пришлось жарить им яичницу.

— Куда это вы собрались так поздно? — спросил, наконец, Антек.

— По служебному делу, и очень важному, — ответил урядник, обводя глазами всех присутствующих.

— Наверное, в погоню за ворами? — продолжал Антек уже смелее и принес из чулана бутылку водки.

— И за ворами и по другому делу. Выпей с нами, хозяин!

Он выпил. Стражники накинулись на яичницу, стуча ложками.

Все сидели тихо, как испуганные кролики. Стражники выскребли сковородку дочиста, выпили еще, и урядник, отерев усы, сказал важно:

— И давно тебя из тюрьмы выпустили?

Антек дрогнул.

— Как будто вы, пан урядник, не знаете?

— А где же Рох? — неожиданно спросил урядник.

— Какой Рох? — Антек мигом понял, что не он им нужен, и успокоился.

— Говорят, у вас живет какой-то Рох?

— Пан урядник, должно быть, спрашивает про того старичка, что ходит по деревне? Ну да, — ведь его Рохом звать.

Урядник сделал нетерпеливый жест и сказал грозно:

— Ты со мной шуток не шути, нам известно, что он живет здесь!

— Правда, он не раз жил у нас, но и у других тоже. Нищий он, — так, где придется, там и ночует. Нынче в избе, завтра в хлеву, а то и просто под плетнем. А на что он вам?

— Да я так просто спрашиваю.

— Хороший человек, воды не замутит, — вмешалась Ганка.

— Знаем, знаем, кто он такой! — многозначительно бросил урядник. Он всячески пробовал выведать у них что-нибудь и табаком даже угощал, но все твердили одно и то же. Так ничего и не узнав, разозленный урядник встал с лавки:

— А я говорю, что он живет у вас!

— Да ведь в карман я его не спрятал! — огрызнулся Антек.

— Я тут по служебному делу, это понимать надо, Борына! — грозно наступал на него урядник. Но он смягчился, получив на дорогу полтора десятка яиц и порядочный кусок свежего масла.

Витек ходил за стражниками следом и потом рассказывал, что они и к солтысу зашли, и пробовали заглядывать в освещенные окна других хат, но собаки поднимали такой лай, что им не удалось ничего высмотреть, и они ушли ни с чем.

Это событие так повлияло на Антека, что, оставшись наедине с женой, он заговорил с ней о том, что его мучило.

Ганка слушала с бьющимся сердцем, не проронив ни слова, и только напоследок, когда Антек сказал, что им ничего другого не остается, как распродать все и бежать отсюда, хотя бы в Америку, она стала перед ним с белым, как мел, лицом.

— Не поеду и детей погубить не дам! А если заставишь, возьму топор, детей зарублю, а сама — хоть в колодец! Правду тебе говорю — Бог свидетель! И ты это запомни! — кричала она, упав на колени перед образами, словно давая торжественную клятву.

— Тише ты! Ведь я это только так сказал...

Она вздохнула с облегчением и сказала уже спокойнее, но с трудом сдерживая слезы:

— Отбудешь срок и вернешься! Не бойся, с хозяйством я управлюсь... Ты меня еще не знаешь... Ни полоски земли не пропадет, из рук не выпущу. Господь поможет, так и это вынесу! — Она тихо заплакала.

Антек долго размышлял и, наконец, сказал:

— Ладно, будь что будет. Подождем суда.

Так ничего и не вышло из ловких маневров кузнеца.

## VI

— Ложись ты, наконец, и не мешай спать! — сердито заворчал Матеуш, поворачиваясь на другой бок.

Шимек прилег на минутку, но, как только Матеуш опять захрапел, он стал тихонько выбираться из амбара, где они ночевали: ему показалось, что в окно уже проникает мутный рассвет.

Ощупью собрал он свои инструменты, еще накануне приготовленные, и так спешил, что у него то и дело что-нибудь с грохотом валилось из рук, и Матеуш сонно ругался.

На дворе было еще темно, но звезды уже побледнели, небо на востоке едва заметно светилось, и хрипло кричали первые петухи, хлопая крыльями.

Шимек нагрузил на тачку все свое добро, тихонько прокрался мимо избы и вышел к озеру.

Деревня спала как убитая, даже ни одна собака не залаяла на него, и в тишине слышно было только журчанье воды, сочившейся сквозь опущенные мельничные затворы.

На улицах, затененных садами, было еще совсем темно, лишь кое-где белела стена хаты да озеро выделялось из мрака блеском отраженных в нем звезд.

Подходя к дому матери, Шимек замедлил шаг и настороженно прислушался, — за оградой как будто ходил кто-то, слышалось непрерывное глухое бормотанье.

— Кто там? — раздался вдруг голос матери. Он обмер и стоял, не дыша, не смея шелохнуться. Старуха, не дождавшись ответа, опять стала ходить взад и вперед.

Шимек видел ее: как тень, двигалась она под деревьями, нащупывая дорогу палкой и вполголоса твердя молитву.

"Бродит по ночам, как домовой", — подумал Шимек, но вздохнул с невольной жалостью и тихонько, опасливо прошмыгнул мимо. "Ага, грызет ее совесть за то, что меня обидела. Грызет!" — повторил он с глубоким удовлетворением, выходя на широкую дорогу за мельницей. Здесь он помчался, словно его подгоняли, не обращая внимания на ямы и камни.

Остановился он только у креста, на развилине дорог, ведущих к Подлесью. Было еще слишком темно, чтобы приниматься за работу, и он присел под распятием передохнуть и подождать утра.

— Поля от леса не отличишь! Самое подходящее время для воров! — бормотал он,

осматриваясь. Земля еще тонула в мутной мгле, но на небе все ярче разгорались золотые полосы.

Чтобы скоротать время, которое тянулось ужасно медленно, Шимек начал читать утреннюю молитву, но всякий раз, как он касался рукой покрытой росой земли, слова молитвы вылетали у него из памяти и он с наслаждением думал о том, что вот идет работать на своей земле, на своем хозяйстве.

"Теперь ты моя, не выпущу тебя!" — думал он гордо и радостно. С одержимостью влюбленного смотрел горящими глазами в мутный сумрак у леса, где уже ждали его купленные у помещика шесть моргов.

— Выхожу я вас, сироты мои дорогие, и уже не оставлю, пока жив! — бормотал он, запахивая тулуп на открытой груди, потому что немного озяб. Привалившись спиной к подножию креста, он смотрел в светлеющую даль, но скоро его сморил сон, и он захрапел.

Уже серели поля, как широко разлившиеся воды, а седая от росы рожь качалась и хлестала колосьями Шимека, когда он проснулся и вскочил.

— Белый день, пора за работу! — прошептал он, разминая кости, и стал перед распятием на молитву. Сегодня он не бормотал ее наспех, чтобы только отделаться. Нет, он усердно, от всей души молил Бога помочь ему.

— Помоги, Иисусе милосердный! Родная мать меня обидела, на тебя только вся надежда. Ведь я теперь последний бедняк и берусь за тяжелую работу! Грешен я, что и говорить, но ты мне помоги, так я на обедню в костел денег отнесу, а то и на две! Свечей накуплю, а как разживусь, даже и балдахин справлю! — просил он, прикладываясь ко кресту. Потом на коленях прополз вокруг, смиренно поцеловал землю и встал.

Он ощущал такой прилив сил, бодрости, веры в себя, что, схватившись за тяжелую тачку, двинул ее, как перышко, с вызовом поглядывая на Липцы, лежавшие внизу и еще окутанные мглой, из которой поднималась только башня костела, сверкая золоченым крестом в лучах утренней зари.

— Увидите! Ого! Увидите! — весело покрикивал Шимек, вступая на свою землю. Она лежала у самого леса, с одной стороны примыкая к липецким полям. Но, господи боже, — что это была за земля! Участок дикого поля, весь в ямах, оставшихся здесь — от кирпичного завода, в кочках и больших камнях, поросших терновником. Царский скипетр, дикая ромашка, конский щавель буйно разрослись на пригорках, и только кое-где торчала кривая сосенка, попадались купы ольх и кусты можжевельника, а в овражках и ямах теснился целый лес осоки и тростника. Словом, земля была такая, что пес бы над ней заплакал и даже сам помещик не советовал Шимеку ее покупать, но парень уперся:

— Она мне подходит. Я и с такой справлюсь!

Отговаривал его и Матеуш, со страхом посматривая на этот заброшенный пустырь, где только хуторские собаки справляли свадьбы, но Шимек сказал упрямо и решительно:

— Не отступлюсь! Всякая земля хороша, если рук не жалеть!

И купил ее, потому что помещик продал дешево, по шестьдесят рублей морг, да еще обещал дать лесу и всяких других материалов для стройки.

— Со всем управлюсь, все сумею! — воскликнул Шимек, жадно глядя кругом, и, оставив тачку на меже, обошел свой участок, границы которого были обозначены воткнутыми в землю ветками.

Ходил медленно, и от великой радости сердце громко стучало в груди. Он мысленно намечал, с чего начать и в каком порядке все делать. Ведь ему предстояло работать для себя, для Настуси, для будущего рода Пачесей, и он готовился напрячь все силы, он накинулся на работу, как голодный волк, дорвавшийся до живого мяса.

Обойдя все поле, он стал выбирать место для избы.

— Вот здесь лучше всего: и деревня напротив и лес под боком, легче будет с дровами и тише зимой, — рассуждал он и, обозначив камнями место для четырех углов, скинул тулуп, перекрестился и, поплевав на ладони, принялся корчевать пни и выравнивать землю.

День встал весь золотой, из деревни неслось мычание коров, которых гнали на пастбище, скрипели колодезные журавли, люди шли в поле, и по дорогам тархтели телеги. Ветерок, игравший колосьями, доносил сюда голоса.

Все было, как изо дня в день. А Шимек ничего не видел — он с головой ушел в работу. Порой разгибал усталую спину, переводил дух, протирал глаза, залитые потом, — и опять впивался в землю, как ненасытная пиявка, и по своему обыкновению беседовал с каждой вещью, как с живым существом.

Выворачивая из земли огромный камень, он приговаривал:

— Ну, належался ты здесь, отдохнул, а теперь можешь моей хате фундаментом послужить.

А вырубая терновый куст, говорил посмеиваясь:

— Не упирайся, дурачина! Думает, что я с ним не слажу! Неужели же оставлять тебя, чтобы ты людям штаны рвал, а?

Древним камням сказал:

— И вас сдвину с места, тесно тут! Вымощу вами двор перед хлевом, как у Борыны!

В минуты передышки он любовным взглядом обнимал свою землю и горячо шептал:

— Моя! Моя! Никто тебя у меня не вырвет!

И, жалея эту бедную, неродящую землю, заросшую бурьяном и заброшенную, шептал ей ласково, как ребенку:

— Потерпи маленько, горемычная, обработаю тебя, подкормлю, вспашу, и будешь родить, как другие. Не бойся, будешь мною довольна!

Солнце встало над полем и светило ему прямо в глаза.

— Вот спасибо! — промолвил он жмурясь. — Опять, видно, жара будет и сушь! Ишь, какое ты красное встало сегодня!

Скоро зазвенел маленький колокол в костеле. Над липецкими трубами медленно поднимались голубые султаны дыма.

— Хорошо бы поесть сейчас, хозяин, а? — Он стянул потуже пояс. — Да, не принесет уж тебе мать горшок в поле, не принесет!

Он печально вздохнул.

На полях Подлесья закопошились люди. Они, как и Шимек, выходили работать на недавно приобретенной у помещика земле. Шимек увидел Стаха Плошку, пахавшего на паре крепких

лошадей.

"Господи, когда же ты мне хоть одну лошадку пошлешь!" — подумал он.

Юзеф Вахник возил камень на фундамент для новой избы. Клемб с сыновьями окапывал свой участок канавой, а Гжеля, брат войта, у самой дороги на перекрестке что-то долго вымерял шестом.

"Место самое подходящее для корчмы", — заметил про себя Шимек.

Гжеля, отметив вымеренное место колышками, подошел к Шимеку поздороваться.

— Ого! Работаешь ты, как я погляжу, за десятерых! — Гжеля смотрел на него с удивлением и восхищением.

— Приходится! Что у меня есть? Одни штаны да пара рук! — буркнул тот, не отрываясь от работы. Гжеля надавал ему всяких советов и вернулся на свой участок, а после него подходили и другие, кто — ободрить приветливым словом, кто — просто выкурить папироску и позубоскалить. Шимек отвечал им с все возраставшим нетерпением и в конце концов резко прикрикнул на Прычека.

— Делал бы свое дело да другим не мешал! Праздник себе устроили, черти!

И его оставили в покое.

Солнце поднималось все выше. Оно было уже над костелом и катилось неудержимо, заливая мир ослепительным светом и жаром. Ветер утих, и ничто не мешало зною окутывать землю зыбкой пеленой, в которой хлеба купались, как в клокочущем кипятке.

— Ну, меня не скоро прогонишь! — сказал Шимек, обращаясь к солнцу, и, увидев Настусю, которая несла ему завтрак, пошел ей навстречу.

Он жадно ел, а Настуся уныло оглядывала поле.

— Да разве на таких камнях и болотах уродится что-нибудь?

— Все уродится, увидишь, и пшеница у тебя будет на пироги!

— Пока трава вырастет, кобылу волки съедят!

— Не съедят, Настуся! Земля у нас есть, теперь переждать легче. Ведь целых шесть моргов!

— утешал ее Шимек, торопливо доедая завтрак.

— Что же, землю грызть будем? А зимовать где?

— Это уж моя забота, ты не беспокойся! Я все обмозговал и все устрою. — Он отодвинул пустые судки и повел Настку смотреть участок.

— Вот тут будет стоять изба, — объяснял он весело.

— Будет стоять! Из грязи ты ее слепишь, как ласточки!

— Нет, из дерева, и веток, и глины, и песка, из чего попало, только бы нам в ней продержаться какой-нибудь годик, пока не станем на ноги.

— Знатную усадьбу ты, я вижу, задумал строить! — недовольно проворчала Настка.

— Лучше жить в лачуге, да своей, чем у людей угол снимать.

— У Плошковой можно перезимовать. Она сама по доброте сердечной сказала, что даст нам комнату.

— По доброте сердечной, как же! Это она хочет матери досадить. Ведь они грызутся, как собаки. Не нуждаюсь я в ее доброте! Не сомневайся, Настуся, такую избу тебе поставлю, что и окно будет, и печь, и все, что полагается. Вот как бог свят, через три недельки изба будет готова! Без рук останусь, а изба будет!

— Да неужели же ты один ее выстроишь!

— Матеуш обещал помочь.

— А может, и мать твоя чем-нибудь нам поможет? — спросила Настуся робко.

— Умру, а у нее не попрошу! — крикнул Шимек, но, видя, что Настка еще больше опечалилась, и сам приуныл и, когда они присели во ржи, стал жалобно оправдываться:

— Да как же это можно, Настуся? Ведь выгнала она меня и тебя ругает.

— Боже ты мой, хоть бы коровенку дала, а то у нас, как у последних нищих, ничего нет. Даже подумать страшно!

— Будет и корова, Настуся, будет! Я уже одну присмотрел.

— Ни хаты, ни скотины, ничего! — заплакала Настка, прижимаясь к нему. Шимек утирал ей глаза, гладил по голове, но и ему стало так тяжело, что сам чуть не разревелся. Он вскочил, схватил лопату и с притворным гневом прикрикнул на Настку:

— Побойся ты Бога, девка! Столько дела, а она только знай хнычет!

Настуся поднялась, все еще угнетенная и озабоченная:

— Если с голоду не помрем, так волки нас съедят на этом пустыре!

Тут уж Шимек рассердился не на шутку и, принимаясь за работу, сказал сурово:

— Если будешь реветь да болтать всякий вздор, оставайся-ка лучше у себя дома.

Настка прильнула к нему, пытаясь его задобрить, но он оттолкнул ее:

— Вот нашла время миловаться!

Однако, хотя он еще сердился на нее за бабьи разговоры, он не устоял перед лаской, и Настуся ушла спокойная и даже веселая.

— Господи, ведь и баба тоже человек, а объясняешь ей по-людски — не понимает! Одно знает — реветь да скулить! С неба-то ничего не упадет, все надо своими руками заработать! А они — как дети малые: то смех, то плач, то злоба да попреки! — бормотал Шимек, принимаясь за работу.

Так работал он изо дня в день, уходил чуть свет, приходил домой поздно вечером и часто целый день не говорил ни с кем ни слова. Еду ему приносила Терезка или кто-нибудь другой, потому что Настуся отрабатывала долг ксендзу на его картофельном поле.

Вначале к нему еще заглядывал кое-кто, но он неохотно вступал в разговоры, и люди перестали приходить, только издали дивились его неутомимости.

— Ишь, упорный какой! Кто бы подумал!.. — буркнул как-то Клемб.

— Не диво — Доминиковой отродье! — отозвался кто-то со смехом. А Гжеля, с первых дней внимательно наблюдавший за Шимеком, промолвил:

— Работает он, как вол, это верно... А все же трудно одному, надо бы ему маленько подсобить!

— Ясно, одному не справиться. Надо, надо помочь, он этого стоит! — соглашались мужики, но никто не спешил первый предложить Шимеку помощь: ждали, пока он сам попросит.

А Шимек не просил, ему это и в голову не приходило. Он очень удивился, когда однажды к его участку подъехала телега.

В телеге сидел Енджик и уже издали весело кричал брату:

— Ну, показывай, где пахать! Это я!

Шимек долго глазам не верил.

— И как это ты решился! Ох, и вздует она тебя, беднягу, ох и вздует же!

— Пусть только тронет, тогда уже совсем к тебе перейду.

— Это ты сам надумал мне помогать?

— Сам! Я давно хотел, да боялся, следила она за мной, и Ягуся отговаривала, — рассказывал Енджик, принимаясь за работу. Они пахали вдвоем весь день, а уезжая, Енджик обещал и завтра приехать.

И действительно приехал, как только взошло солнце. Шимек сразу приметил, что лицо у него в синяках, но только под вечер спросил:

— Что, сильно тебе досталось?

— Э... Слепая она, так нелегко ей меня нащупать, а сам я ведь в руки ей не полезу, — ответил Енджик как-то уныло.

— Это Ягна тебя выдала?

— Нет, Ягуся нас выдавать не станет.

— Пока ей что-нибудь не взбредет в башку! Кто их разберет, баб этих! — вздохнул Шимек.

Он запретил брату приезжать.

— Я уже сам как-нибудь справлюсь, а ты мне поможешь потом, при посеве.

И Шимек опять остался один и работал, как лошадь, впряженная в ворот, не обращая внимания ни на усталость, ни на жару. А между тем дни наступили такие знойные и душные, что земля трескалась, пересыхали ручьи, пожелтела трава, а хлеба стояли еле живые в этой адской жаре. Пусто и тихо было на полях, потому что люди просто не в силах были работать — небо точно поливало их огнем, а солнце резало глаза. Мутнобелое небо нависло раскаленным пологом, ни малейший ветерок не шевелил листья, молчали птицы, не слышно было нигде человеческого голоса, а неумолимое солнце каждый день катилось себе с востока на запад, сея на землю огонь.

И так же неизменно, как солнце, выходил каждый день на работу Шимек, не поддаваясь жаре, и даже ночевал уже теперь в поле, чтобы не тратить даром времени. Матеуш пытался умерить его пыл, но Шимек отвечал коротко:

— В воскресенье отдохну.

Как-то в субботу вечером пришел он домой такой разбитый, что уснул за столом, на другой день спал чуть не до вечера, а проснувшись, слез с полатей, принарядился по-праздничному и засел за полную миску. Женщины ухаживали за ним, как за важной особой, часто подбавляя ему еды и следя за каждым его движением. А он, наевшись досыта, гаркнул весело:

— Спасибо, мать! А теперь мы пойдем маленько повеселиться.

И отправился с Настусей в корчму, а за ними пошли и Матеуш с Терезкой.

Корчмарь кланялся теперь Шимеку в пояс, водку подавал раньше, чем он прикажет, величал хозяином. Шимек, заважничав да к тому же изрядно подвыпив, лез к самым видным хозяевам и, вмешиваясь в их разговор, авторитетно рассуждал обо всем.

В корчме было людно, играла музыка, но никто еще не танцевал — только выпивали да гуторили, жалуясь, как водится, на жару и на трудные времена.

Пришли даже Борыны и кузнец с женой, но эти ушли за перегородку и, должно быть, изрядно угощались, — еврей то и дело носил им туда водку и пиво.

— Антек что-то нынче заглядывается на свою бабу, как ворона на кость, и даже людей не замечает! — уныло жаловался Амброжий, тщетно совавшийся за перегородку, откуда доносился заманчивый звон рюмок.

— Потому что ему свой лапоть дороже сапогов, которые на всякую ногу лезут, — сказала Ягустинка и засмеялась.

— Зато в таких сапогах мозолей не натрешь! — отозвался кто-то, и в корчме загремел дружный хохот. Все понимали, что речь идет о Ягусе.

Не смеялся только Шимек. Обняв брата за шею, он целовал его врасос и говорил уже совсем пьяным голосом:

— Ты обязан меня слушаться, смекай, кто с тобой говорит!

— Знаю, знаю... Да мать мне приказала... — жалобно бормотал Енджик.

— Что мать! Меня надо слушаться — я хозяин!

Музыканты заиграли полонез, грянула песня, поднялся шум, защелкали каблуки, застонали половицы, и закружились пары.

Потанцевав с Настусей, Шимек дал себя увести из корчмы. Уже почти протрезвившись, сидел он с женщинами на завалинке перед избой. Приплелась и Ягустинка, и они болтали до поздней ночи. Шимек собирался идти к себе на участок, но все чего-то тянул, медлил, жался к Настке и вздыхал, так что мать ее, наконец, сказала:

— Оставайся ночевать у нас в овине, куда ты ночью потащишься!

— Я ему в кузове постелю, — предложила Настуся.

— А ты пусти его к себе, Настуся, — вмешалась Ягустинка.

— Еще чего! И что только вам в голову лезет! — пробормотала Настуся застыдившись.

— Да чем же он тебе не муж? Если и немного пораньше, чем ксендз вас окрутит, так это не грех. Парень работает, как вол, надо его наградить.

— Истинная правда! Настусь, Настусь! — Шимек, как волк, кинулся за девушкой, догнал ее где-то в саду и, не выпуская из объятий, стал целовать и просить: — Неужели ты меня прогонишь, Настусь? Прогонишь, любимая ты моя, в такой поздний час?

Мать нашла себе какое-то дело в сених, а Ягустинка, уходя, сказала:

— Не противься ему, Настуся! В жизни мало счастья, так, уж если оно попало к вам, как слепой курице зерно, не упускайте его!

Наутро, чуть свет, Шимек, как всегда, ушел на работу и трудился не разгибая спины. Но, когда Настка принесла ему поесть, он с большей жадностью тянулся к ее алым губам, чем к миске.

— Обмани только, кипятком оболую! — грозила она, не сводя с него глаз.

— Моя ты теперь, Настусь... Сама мне отдалась, и уж я тебя не выпущу! — страстно лепетал Шимек и, заглядывая ей в глаза, добавил тише: — Смотри, чтобы первый был мальчик.

— Бесстыдник! Ишь, какие глупости у него в голове! — Вся вспыхнув, она оттолкнула его и убежала, потому что невдалеке появился пан Яцек.

С трубкой в зубах, со своей неизменной скрипкой подмышкой, он подошел к Шимеку и, поздоровавшись, стал расспрашивать, как подвигается работа. Шимек не прочь был похвастать своими успехами, но вдруг онемел, увидев, что пан Яцек отложил скрипку, скинул куртку и принялся месить глину.

Шимек даже лопату из рук выронил и рот разинул.

— Чего это ты так удивляешься, а?

— Как же! Неужто вы, пан Яцек, будете работать со мной?

— Буду. Помогу тебе избу выстроить. Думаешь, не сумею? Вот увидишь!

И с этого дня они работали вдвоем. Правда, сил у старика было мало и к крестьянской работе он не привык, но делал все с толком и был так изобретателен, что работа пошла гораздо быстрее и складнее. Шимек, конечно, слушался его во всем и время от времени бормотал себе под нос:

— Господи Боже мой... Слыханное ли дело? Не бывало еще такого на свете, чтобы пан.

Пан Яцек только усмехался. Он рассказывал Шимеку такие диковинные вещи, что Шимек от удивления и благодарности готов был в ноги ему кланяться, а вечером пересказывал все Настке.

— Вот говорили — полоумный, а он не глупее самого ксендза.

— Иной говорит умно, а делает глупости. Был бы он в своем уме, так разве стал бы тебе помогать или веронкиных коров пасти?

— Правда, никак этого не понять!

— Голова у него не в порядке — вот и все!

— Зато лучше его нет человека на свете!

Шимек был бесконечно благодарен пану Яцеку, но, хотя они работали вместе, ели из одного горшка и спали под одним тулупом, он никак не мог обходиться с ним запросто.

"Как-никак, панская порода!"

Он думал о пане Яцене с глубоким уважением и благодарностью, потому что при его помощи изба росла, как на дрожжах. А когда еще и Матеуш явился помогать, и Адам Клемб привез из леса всего, что было нужно, изба вышла такая хорошая, что ее даже из Липец было видно. Матеуш работал усердно почти целую неделю и других подгонял, а в субботу днем, когда изба была готова, он повесил на трубу зеленый венок и убежал на свою работу.

Шимек еще белил стены и выметал стружки и сор, а пан Яцек оделся, взял скрипку подмышку и сказал с улыбкой:

— Ну, гнездо готово, сажай теперь наседку.

— Да ведь завтра после вечерни свадьба, — сказал Шимек и стал его благодарить.

— А я не даром работал! Вот как меня из деревни выгонят, переберусь к тебе.

Он закурил трубку и побрел к лесу.

А Шимек, хотя работа была окончена, все еще ходил вокруг избы и с восторгом любовался ею.

— Моя! Ну, — конечно, моя! — твердил он и, словно не веря собственным глазам, трогал стены, заглядывал в окно, с наслаждением вдыхал кислый запах известики и сырой глины... Только в сумерки пошел он в деревню готовиться к завтрашнему дню.

В деревне все уже знали о свадьбе, и одна из соседок успела донести об этом Доминиковой, но старуха сделала вид, будто не понимает, о чем речь.

На другой день, в воскресенье, Ягуся с раннего утра то и дело тайком убегала к Настусе, таская ей из дому объемистые узлы, а старуха, хотя и отлично понимала, что происходит, не протестовала, но ходила по дому молча и такая сумрачная, что Енджик только после обедни решился к ней подступиться.

— Так я пойду уж, мама! — сказал он шепотом, из осторожности держась подальше.

— Ты бы лучше лошадей выгнал на клевер!

— Да сегодня же Шимека свадьба, не знаете, что ли?

— Слава богу, что не твоя! — Она язвительно усмехнулась. — Только посмей напиться, так увидишь, что я с тобой сделаю! — пригрозила она сердито и, когда парень стал одеваться, поплелась куда-то в деревню.

— А вот напьюсь, назло тебе напьюсь! — бормотал Енджик спеша к избе Матеуша.

Отправились в костел, но тихо, без песен, без криков и музыки. Венчание было скромное, всего при двух свечах, и Настуся горько плакала, а Шимек почему-то был мрачен и гордо, с вызовом смотрел на всех и обводил глазами пустой костел.

Ягуся сразу после венчания ушла к матери, но в течение дня несколько раз забегала посмотреть, как веселятся на свадьбе. Матеуш играл на флейте, Петрик на скрипке, и все танцевали в тесной избе, а иные даже перед избой, между столами, за которыми расселись гости. Пили, ели и беседовали тихо, потому что среди бела дня в трезвом состоянии орать было как-то неловко.

Настоящего веселья не было, и многие, угостившись и для приличия посидев некоторое

время, стали собираться домой, как только зашло солнце. Один Матеуш разгулялся: играл, пел, тащил девушек танцевать, угощал водкой, а когда появлялась Ягуся, не отходил от нее, смотрел ей в глаза и что-то горячо ей нашептывал, не обращая внимания на Терезку, которая с блестящими от слез глазами неотступно следила за ним.

Ягуся не сторонилась его, слушала терпеливо, но оставалась глубоко равнодушной и все смотрела, не идут ли Антек с женой, потому что боялась с ними встретиться. Они, к счастью, не пришли. Да и никого из богатых хозяев не было на свадьбе, хотя приглашение все приняли и, как того требовал обычай, прислали подарки. Когда кто-то упомянул об этом, Ягустинка крикнула:

— Приготовили бы богатое угощение да поставили бы бочку горилки, так и палкой не разогнать было бы первейших хозяев. Они не любят понапрасну брюхо трясти и сухими языками молоть.

Быстро пролетела короткая ночь и, когда из чужих остался один Амброжий, опорожнявший все недопитые бутылки, молодые решили сейчас же перебраться в свою новую избу. Матеуш уговаривал их остаться здесь на время, но Шимек заупрямился, попросил у Клемба лошадь, уложил на телегу сундуки, постель и всякий скарб, торжественно усадил Настусю. Потом, поклонясь теще в ноги, расцеловавшись с Матеушем, он низким поклоном простился со всей родней, перекрестился, стегнул лошадь и тронулся в путь, а рядом шли провожавшие.

Встало солнце и заискрились покрытые росой поля, зазвенели птицы, всколыхнулись тяжелые колосья. Весь мир праздновал рождение нового дня, каждый стебелек, каждая травка дышали радостью, и радость эта, как молитва, уносилась в ясное небо.

Шли молча. Только за мельницей, увидев, что высоко над телегой кружат два аиста, мать Настуси сказала, щелкнув пальцами:

— Тьфу, тьфу, не сглазить бы! Хорошая примета — будут у вас дети плодиться.

Настуся покраснела, а Шимек, подпирая плечом телегу на выбоинах, задорно посвистал и гордо оглянулся кругом.

Когда они остались одни в хате, Настуся, оглядев свое новое хозяйство, горько расплакалась, а Шимек крикнул:

— Не реви, глупая! У других и этого нет. Еще будут тебе люди завидовать!

Сильно утомленный и не совсем трезвый, он как повалился в углу на солому, так сразу и захрапел, а Настуся еще долго сидела на завалинке и плакала, глядя на белевшие из-за садов липецкие хаты.

Часто и после этой ночи горевала она о том, что они так бедны, но плакала все реже, потому что в деревне как будто сговорились помогать им. Первой пришла жена Клемба с курицей подмышкой и целым выводком цыплят в корзине, а с ее легкой руки чуть не каждый день стали заходить другие хозяйки — и не с пустыми руками.

— Милые вы мои, и чем же я вам отплачу! — шептала растроганная Настуся.

— А хоть бы добрым словом, — ответила Сикора, подавая ей целый кусок полотна.

— Разживешься — так отдашь тем, кто беднее тебя, — добавила, отдуваясь, толстая Плошкова, доставая из-за запаски изрядный кусок сала.

Они нанесли ей столько, что этого могло хватить надолго, а как-то в сумерки Ясек Недотепа привел им своего пса, Кручека, и, привязав его у крыльца, убежал, как ошпаренный.

Настуся и Шимек весело смеялись, рассказывая об этом Ягустинке, которая шла мимо них из лесу. Старуха с пренебрежительной гримасой сказала:

— Он сегодня утром собирал для тебя ягоды, Настуся, но мать их у него отобрала.

## VII

Ягустинка шла к Борынам, чтобы отнести собранные в лесу ягоды больной Юзе. Перед домом Ганка доила корову. Ягустинка присела рядом на завалинку и стала подробно рассказывать, сколько подарков получила Настуся.

— Это бабы назло Доминиковой ее дарят, — сказала она в заключение.

— Ну, Настке-то это все равно! Однако надо бы и мне чего-нибудь ей снести, — пробормотала Ганка.

— Соберите, так я отнесу, — охотно вызвалась Ягустинка.

Из окна донесся слабый голос Юзьки:

— Гануся, отдай ей мою свинушку! Я, наверное, умру, так Настуся за меня молиться будет.

Ганке это предложение пришлось по вкусу, и она тотчас же приказала Витеку отвести поросенка Настусе — идти сама она почему-то не решалась.

— Витек, только ты непременно скажи ей, что свинка от меня! И пусть она придет поскорее, потому что мне уже не встать! — жалобно сказала Юзя. Бедняжка хворала вот уже целую неделю и лежала на другой половине избы в жару, вся распухшая и покрытая оспенными нарывами. Сначала, уступая ее мольбам, выносили ее на целый день в сад, под деревья, но потом ей стало настолько хуже, что Ягустинка запретила выносить ее на воздух.

— Тебе надо лежать в потемках, а то на солнце вся сыпь внутрь перейдет!

И Юзя лежала одна в затемненной комнате, стонала и тихонько жаловалась на то, что к ней не пускают ни детишек, ни подруг, — ухаживавшая за ней Ягустинка палкой гнала всех прочь.

Наговорившись с Ганкой, старуха отнесла больной ягоды и принялась замешивать мазь из чистой гречневой муки, обильно заправленной свежим несоленым маслом и яичными желтками. Толстый слой этой мази она наложила на лицо и шею Юзи, а сверху прикрыла мокрыми тряпками. Девочка терпеливо позволяла проделывать над собой все и только с тревогой попытывалась:

— А не останется на лице рябин?

— Не сдирай, тогда следов не будет, — вот как у Настуси.

— Да ведь как зудит, Господи! Уж лучше вы мне свяжите руки, потому что я не утерплю! — со слезами попросила Юзя. Ягустинка пробормотала над ней какой-то заговор, окурила ее сухим молодильником и, связав ей руки, ушла работать.

Юзька лежала неподвижно, слушая жужжанье мух и тот странный шум, что постоянно теперь гудел у нее в голове. Слыхала, как сквозь сон, что время от времени заходил кто —нибудь из домашних и молча уходил. То ей чудилось, будто ветви яблони, тяжелые от румяных яблок, низко нависли над ней, а она тщетно тянется и не может до них дотянуться. То начинало

казаться, что вокруг нее теснятся овцы и жалобно блеют. Но когда в комнату тихо вошел Витек, она сразу угадала, кто это.

— Ну, отвел поросенка? Что Настуся сказала?

— Так обрадовалась, что чуть его в хвост не поцеловала!

— Ишь какой, вздумал над Настусей смеяться!

— Ей-богу, правда! И велела мне сказать, что завтра к тебе прибежит.

Вдруг Юзька заметалась на кровати и закричала испуганно:

— Отгони овец, затопчут они меня, отгони скорее!

Потом затихла и как будто уснула. Витек ушел, но очень часто заходил к ней. Раз она забеспокоилась и спросила:

— Что, уже полдень?

— Скоро полночь, должно быть. Все спят.

— Правда, темно. Убери воробьев из-под стрехи, шумят, как оголтелые!

Витек начал ей что-то рассказывать о гнездах, но она вдруг вскрикнула, пробуя подняться:

— А где Сивуля? Витек, не пускай ее на чужие поля, а то тебя отец выпорет!

Немного погодя она велела ему сесть поближе и стала шепотом рассказывать:

— Ганка меня не пускает на свадьбу к Настусе, а я назло ей пойду! Надену голубой корсаж и ту юбку, что надевала в престольный праздник. Все на меня залюбуются, увидишь!.. Витек, нарви мне яблок, только смотри, как бы Ганка тебя не поймала!.. Плясать буду только с парнями!

Она замолкла и неожиданно уснула.

Витек теперь целыми часами сидел у ее кровати, отгоняя веткой мух, поил ее, охранял, как наседка цыплят. Ганка оставила его дома для того, чтобы он ухаживал за больной, а скотину пас за него, вместе со своей, Мацюсь Клемб.

Мальчик скучал по лесу и воле, но он так жалел больную Юзьку, что готов был для нее звезды с неба снимать, и все придумывал, чем бы ее позабавить и развлечь.

Однажды он принес ей целый выводок молодых куропаток.

— Юзя, погладь их, тогда они запищат. Погладь!

— А мне и погладить-то нечем! — захныкала Юзька, поднимая голову с подушки.

Витек развязал ей руки, она взяла дрожавших от холода птичек в свои бессильные, онемевшие ладони и стала прижимать к лицу и глазам.

— Как у них сердечки бьются! Боятся, бедненькие! Выпусти их.

— Я их выследил и поймал, а теперь выпускать? — возражал Витек, но все-таки выпустил птичек.

В другой раз принес он ей молодого зайчика и, держа его за уши, посадил к ней на постель.

— Заинька, милый заинька, от матери тебя взяли, сиротинку, от матери! — приговаривала Юзя шепотом, прижав его к груди, как ребенка, и нежно лаская. Но заяц крикнул, как будто его резали, вырвался у нее из рук, скакнул в сени, угодив в целую стаю кур, которые разлетелись с кудахтаньем, из сеней прыгнул на крыльцо и через дремавшего Лапу в сад. Лапа погнался за ним, за Лапой — Витек с отчаянными криками, и поднялся такой переполох, что Ганка прибежала со двора, а Юзя хохотала до слез.

— А может, собака его сцапала, а? — с беспокойством спрашивала она потом у Витека.

— Как же! Только его хвостик она и видела! Заяц нырнул в рожь, как камень в воду. Здорово бегаёт! Не горюй, Юзя, я тебе что-нибудь еще принесу.

И он таскал ей, что только мог: перепелок, словно обрызганных золотом, ежа, прирученную белку, которая очень смешно прыгала по комнате, птенцов ласточки, так жалобно пищавших, что родители их с криками влетели в комнату и Юзья велела Витеку отдать им птенчиков, и еще всякую всячину, не говоря уже о грушах и яблоках, — их он приносил столько, сколько они вдвоем с Юзкой могли съесть, — конечно, тайком от старших. Но Юзю ничего не тешило, взгляд у нее часто бывал мутный, невидящий, и она отворачивалась, усталая и недовольная.

— Не хочу, принеси что-нибудь новое! — капризничала она. Она не смотрела даже на аиста, который ковылял по комнате, совал клюв во все горшки и напрасно прятался за дверь, подстерегая Лапу. Развлекла ее немного только живая желна, которую однажды принес ей Витек.

— Иисусе, вот прелесть-то! Как будто ее кто раскрасил!

— Она злая, как черт, берегись, как бы в нос тебя не клюнула.

— Да она и не рвется из рук. Ручная, что ли?

— Я ей ноги и крылья связал, а глаза залил смолой.

Они некоторое время возились с птицей, но желна сидела неподвижно на одном месте, была печальна, не хотела есть и скоро околела, к великому огорчению всего дома.

Так проходили дни за днями. Стояла все такая же жара, и чем ближе к жатве, тем она становилась сильнее. Днем уже невозможно было выйти в поле, да и ночи не приносили прохлады, они были до того душные, что даже в саду люди не могли уснуть. Словно тяжелое бедствие обрушилось на деревню. Траву выжгло, и скот, возвращаясь с пастбищ голодным, ревел в хлевах, картофель вырос с орешек да таким и остался, спаленный овес едва поднялся, ячмень пожелтел, а рожь высыхала раньше времени и белела пустыми колосьями. Людей все это сильно угнетало, и они каждый день с робкой надеждой смотрели на закат, не предвещает ли он перемену погоды. Но небо было все так же безоблачно, оно казалось стеклянным и пылало белым пожаром, солнце закатывалось чистое, не закрытое ни единым облачком.

Иные горячо молились перед образами, но это не помогало. Хлеба погибали, плоды незрелыми падали с деревьев, высыхали колодцы, и даже в озере вода так сильно убывала, что и лесопильня не могла работать и мельница остановилась. Дойдя до полного отчаяния, мужики решили вскладчину отслужить молебен, и на него собралась вся деревня. Молились так, что молитвы эти могли бы смягчить и камень.

На другой день с утра было так душно и жарко, что птицы падали, обессилев, коровы жалобно мычали на пастбищах, лошади не хотели выходить из конюшен, а люди, измученные вконец, укрывались в сожженных солнцем садах, не решаясь выйти даже на огород. Но около

полудня, когда все, задыхаясь, умирало в этом белом слепящем зное, солнце вдруг померкло, помутнело, словно в него швырнули горсть золы, а вскоре где-то в вышине зашумело, как будто стая птиц захлопала огромными крыльями, и со всех сторон стали надвигаться густо-синие тучи, все ниже и все грознее нависая над землей.

Повеяло жутью, и все притихло, затаилось в невольном трепете.

Заворчал отдаленный гром, порыв ветра взметнул на улицах пыль, солнце разлилось, как желток на песке, и вдруг стало темно, и на небе замелькал целый рой молний, как будто кто-то встряхивал огненными вожжами. Первая молния ударила так близко, что люди выбежали из хат.

Все вдруг взвихрилось, солнце погасло, землю окутала мутная мгла, и налетела гроза.

Клубящийся мрак прорезали струи ослепительного света, гром перекатывался по небу, шумел проливной дождь, и стонали под ветром деревья.

Молнии сверкали одна за другой, слепя глаза, из-за ливня ничего кругом не было видно, и местами даже выпал град.

Гроза бушевала около часу. Полегли хлеба в полях, по дорогам текли пенящиеся потоки. Чуть только утихало немного и начинало проясняться, как опять гремел гром, словно тысячи телег мчались по мерзлой земле, и опять дождь начинал лить как из ведра.

Все с тревогой выглядывали из хат, кое-где зажигали лампадки или даже выносили на завалинки образа, чтобы охранить дом от несчастья. Но гроза уже проходила, не натворив больших бед, и только когда все почти успокоилось и дождь уже не лил, а только моросил, из какой-то последней тучи, повисшей над деревней, ударила молния в амбар войта.

Вспыхнул огонь, поднялся столб дыма, и в одно мгновение весь амбар запылал. В деревне поднялась страшная суматоха. Все, кто только мог бежали на место пожара, но о спасении амбара нечего было и думать, он пылал сверху донизу, как груда щепок. Антек, Матеуш и другие, не жалея сил, старались уберечь хату Козла и ближние постройки. К счастью, воды на улицах было сколько угодно, но опасность была велика — некоторые крыши начинали уже дымиться, искры летели дождем на соседние дворы.

Войта не было дома, он еще утром уехал в волость, а жена его отчаянно голосила, бегая вокруг пожарища. Когда опасность миновала и все стали расходиться, жена Козла подошла к ней и, подбоченившись, закричала:

— Вот видишь, пани войтова, наказал тебя Господь за нас!

Жена войта бросилась к ней, и дело дошло бы до драки, если бы не подоспел Антек. Он разнял баб и так накричал на Козлову, что она, как побитая собака, убралась к себе в хату.

Гроза ушла за леса, выглянуло солнце, по яркоголубому небу бежали стада белых облаков. Защебетали птицы, воздух был свеж и прохладен, люди принялись спускать воду и заравнивать размытые дождем ямы.

Антек почти у самого дома неожиданно столкнулся с Ягусей, которая шла куда-то с корзиной и мотыгой. Он торопливо поздоровался, но она враждебно посмотрела на него и прошла мимо без единого слова.

— Ишь, какая гордая! — проворчал рассерженный Антек и, встретив во дворе Юзьку, сурово накричал на нее за то, что она вышла в такую сырость.

Юзя уже настолько поправилась, что ей можно было целыми днями лежать в саду. Оспины

хорошо зажили и подсохли, не оставив следов, но Ягустинка еще до сих пор мазала их своей мазью, — тайком от Ганки, которая была недовольна таким расходом масла и яиц.

Помаленьку выздоравливая, Юзя лежала почти всегда одна, потому что Витек уже опять пас коров. Иногда забегала на минутку поболтать та или другая подружка, приходил посидеть подле нее Рох или старая Агата, говорившая всегда об одном и том же: что она, наверное, умрет осенью и у Клембов в избе, не как нищенка, а как хозяйка. Но чаще всего Юзя лежала одна или, вернее, в обществе Лапы, не отходившего от нее ни на шаг, аиста, который бежал на каждый ее зов, да птиц, слетавшихся на хлебные крошки.

Как-то раз, когда дома никого не было, зашла к ней Ягуся и принесла целую горсть карамели, но Юзя не успела даже ее поблагодарить: откуда-то донесся голос Ганки, и Ягна поспешно убежала.

— Кушай на здоровье! — крикнула она ей через плетень и скрылась. Она шла к брату.

Настуся сидела около коровы, тянувшей пойло из лохани, а Шимек, весело насвистывая, кончал пристройку к избе.

— У вас уже и корова есть? — удивилась Ягна.

— Есть. Что, хороша? — с гордостью сказала Настка.

— Корова славная. Должно быть, из усадебных? Когда купили-то?

— Покупать не покупали, а корова наша! Вот расскажу тебе все, так ты за голову схватишься и не поверишь! Вчера на заре слышу: что-то трется об угол хаты, да так, что вся хата дрожит. Это, думаю себе, скот мимо гонят, и какая-нибудь свинья подошла грязь с себя стереть. Легла я опять, да не успела задремать — что-то будто мычит за окном. Вышла, гляжу — стоит корова, к дверям привязана и перед ней клевера охапка, а вымя у нее полно молока, и она мордой ко мне тянется. Я глаза протерла, — во сне, думаю, мерещится. Да нет, стоит живая корова, мычит и пальцы мне лижет. Я подумала, что она от стада отбилась, а Шимек тоже говорит:

— Сейчас за ней кто-нибудь прибежит!

— Одно мне покою не давало — что она была привязана. Ведь не сама же она себя привязала! Ну, полдень миновал, а никто за ней не идет! Я ее выдоила, потому что молоко уже капало из вымени. Прошел вечер, прошла и ночь, я на деревне всех расспрашивала, спросила даже у пастуха из усадьбы, — никто не слышал, чтобы у кого-нибудь корова пропала, а старый Клемб сказал, что она, может, краденая и лучше ее отвести в канцелярию. Мне, конечно, жалко было ее отдавать, да что же делать! Вдруг днем приходит Рох и говорит:

— Ты женщина хорошая и бедная, вот Господь Бог и послал тебе корову.

— Как же, говорю, уже коровы стали с неба падать! Никакой дурак этому не поверит!

А он засмеялся и, когда собрался уходить, говорит:

— Корова ваша, не бойтесь, никто ее у вас не отберет.

Тут я подумала, что это от него, упала ему в ноги и стала благодарить, а он и слушать не стал.

— Когда встретишь пана Яцека, — говорит он и смеется, — так не вздумай только его за корову благодарить, а то он тебя палкой отколотит — не любит, чтобы его благодарили.

— Значит, это пан Яцек подарил вам корову?

— Кто же еще так добр к бедным людям?

— Правда, он и Стаху дал лесу на избу и так много им помогает!

— Святой человек, я за него теперь каждый день Богу молюсь.

— Только бы не увели у вас коровку-то!

— Что? У меня корову украдут? Господи, да я за нее глаза выцарапаю, да я на край света пойду, а ее отыщу! Бог не допустит такой беды! На ночь будем брать ее в избу, покуда Шимек не выстроит хлев. Да и Яськова собака скотину постережет. Радость ты моя, миленькая моя!

— Она обняла корову за шею и стала целовать морду. Корова замычала от боли, пес залился веселым лаем, раскудахтались испуганные куры, а Шимек насвистывал все громче.

— По всему видно, что Господь вас благословил! — с легкой грустью сказала Ягна и вздохнула, внимательнее приглядываясь к обоим. И Настуся и Шимек казались ей совсем другими, она не узнавала их, в особенности Шимека. Ведь она всегда считала его ротозеем, который до трех сосчитать не сумеет, в доме был он на побегушках, помыкали им все, кому не лень, а теперь вдруг оказался настоящим человеком, делал все с толком, держался с достоинством и рассуждал умно.

— Которое же поле ваше? — спросила она после долгого молчания.

Настуся повела ее показывать поле и объясняла, где они что будут сеять.

— А семена-то откуда возьмете?

— Шимек говорит, что будут, значит будут! Он слов на ветер не бросает.

— Брат он мне, а я слушаю и дивлюсь, как будто о незнакомом человеке говоришь.

— А какой он хороший, и разумный, и работающий! Другого такого на свете нет! — горячо сказала Настуся.

— Да, видно, что так, — все с той же легкой грустью согласилась Ягна. — А это чье же поле насыпью огорожено?

— Антека Борыны. На нем не работают, — ждут, должно быть, дележа.

— С полвлуки здесь будет! Да, нехудо им живется!

— Дай им Бог в десять раз больше. Ведь Антек поручился за нас помещику и многим еще помог!

— Антек хлопотал за Шимека?

Ягна даже остановилась от удивления.

— Да, и Ганка тоже добрая — подарила мне поросенка! Он еще молоденький, но хорошая будет свинья, породистая.

— Чудеса! Ганка тебе свинью подарила? Просто даже не верится!

Они вернулись к избе, и Ягуся, достав из-за пазухи завязанные в платочек десять рублей, сунула их в руку Настусе.

— Возьми вот немного денег! Раньше я не могла дать вам, потому что Янкель за гусей долго мне не платил.

Они от души поблагодарили ее, а она на прощанье сказала:

— Потерпите, мать сменит гнев на милость и тоже вам уделит что-нибудь.

— Не надо мне ничего, пусть она мою долю в гроб с собой возьмет! — выпалил Шимек так неожиданно и с такой злобой, что Ягуся сразу замолчала и ушла.

Шла домой в глубоком раздумье. Ее томила какая-то неясная тоска.

— А я что? Сухой бурьян, никому не нужный! — сиротливо вздохнула она.

На полдороге встретился ей Матеуш. Он шел к сестре, но повернул и пошел провожать Ягусю, внимательно слушая то, что она рассказывала о молодой паре.

— Не всем так хорошо, — сказал он угрюмо.

Разговор не клеился, Матеуш чего-то вздыхал, озабоченно скреб затылок, а Ягуся загляделась на Липцы, облитые пламенем заката.

— Эх, душно на этом свете и тесно! — промолвил он, словно про себя.

Ягуся вопросительно посмотрела на него.

— Что это с тобой? Кислый такой, точно уксусу хлебнул!

Матеуш стал жаловаться, что ему опостылела и деревня, и жизнь, и все на свете и что он непременно уйдет куда глаза глядят.

— А ты женись — вот жизнь и переменится, — пошутила Ягуся.

— Кабы меня захотела та, которая у меня в мыслях, — он пристально заглянул в глаза Ягусе, но она опустила голову, недовольная и смущенная.

— Так ты спроси у нее. За тебя любая пойдет, и не одна девушка у нас в Липцах ждет не дождется сватов.

— А вдруг откажет, что тогда? Стыд будет и досада!

— Откажет — к другой посватаешься.

— Нет, я не таков. Присмотрел себе одну — и к другим меня не тянет.

— Э, для мужика все бабы хороши, он со всякой рад связаться.

Матеуш не возразил ничего и попробовал подъехать с другой стороны:

— Знаешь, Ягусь, парни только и ждут, когда можно будет к тебе сватов с водкой послать.

— Пусть сами эту водку хлещут, не пойду ни за кого! — ответила Ягна так твердо, что Матеуш даже оторопел.

Она сказала это искренно: никто из парней не был ей мил... разумеется, кроме Яся, но Ясь...

Она тяжело вздохнула, с наслаждением отдаваясь воспоминаниям о нем. Матеуш, так ничего и не добившись, пошел обратно, к сестре.

А Ягна, робко озираясь, думала о Ясе:

"Как он там поживает, что-то делает теперь?"

Вдруг кто-то крепко обнял ее сзади. Она стала отбиваться.

— Теперь не уйдешь от меня, нет! — горячо шептал войт.

Она вырвалась из его рук и яростно крикнула:

— Если еще хоть раз меня тронешь, я тебе глаза выцарапаю и такой крик подниму, что вся деревня сбежится.

— Тише, Ягусь, я тебе гостинец привез.

Он пытался сунуть ей в руки кораллы.

— Сунь их псу под хвост, не надо мне от тебя подарков!

— Ягуся, да что ты? — ахнул удивленный войт.

— А то, что боров ты и больше ничего! И не смей больше ко мне приставать!

Она в гневе убежала от него и, как буря, влетела в избу. Мать чистила картошку, а Енджик во дворе доил коров. Ягуся проворно принялась хлопотать по хозяйству, но вся тряслась от злости, никак не могла успокоиться и, едва только стемнело, опять собралась уходить.

— Зайду к органисту, — сказала она матери.

Она теперь часто туда ходила и всячески угождала родителям Яся, чтобы хоть изредка услышать о нем.

Вот и сейчас она бежала туда, страстно желая и надеясь узнать о нем что-нибудь новое.

Скоро засияли во мраке освещенные окна его комнаты, где Михал что-то писал за столом под висячей лампой. Органист с женой сидели в холодке перед домом.

— Завтра днем Ясь приезжает! — встретила ее жена органиста. От этой вести Ягуся так и обомлела, ноги у нее подкосились, сердце сильно билось, и трудно стало дышать.

Посидев немного для приличия, она ушла. Побежала, словно за ней гнались, на дорогу под тополями, к лесу...

— Иисусе милосердный! — шептала она, полная благодарности. Слезы текли из глаз, а в сердце пела радость. Хотелось смеяться, кричать, лететь куда-то, целовать эти деревья, припасть к этим полям, спящим в лунном свете.

— Ясь приедет, Ясь приедет! — шептала она по временам и, срываясь, как птица, летела вперед на крыльях ожидания и тоски, словно навстречу судьбе своей и невыразимому счастью.

Только поздно вечером вернулась она в деревню. Во всех хатах было темно, свет горел лишь у Борын, где собралось много народу. Ягна пошла домой — ждать завтрашнего дня и мечтать о Ясе.

Напрасно ворочалась она с боку на бок — сон не шел. Когда мать уснула, она тихонько встала и, накинув платок, села на завалинке ждать либо сна, либо рассвета.

У Борын, за озером, в одной половине избы еще было светло, и оттуда доходил глухой говор.

Засмотревшись на дрожавшие в воде блики света, Ягна забыла обо всем, погрузилась в туманные и неуловимые мечты, опутавшие душу, как паутина, уносившие ее в какой-то тихий предвечерний час, залитый розовой зарей, в мир неутолимой тоски.

Луна уже зашла, белесый сумрак укрыл поля, в вышине горели звезды, и порой одна из них падала быстро и где-то очень далеко. Теплый легонький ветерок касался лица Ягны нежно, как любимые руки, а порой приносил с собой знойное и ароматное дыхание полей и такой негой проникал в сердце, что Ягна потягивалась, закинув руки за голову. Так сидела она, уйдя в свои мечты, в предчувствии невыразимого счастья, как молодой побег, который растет и наливается соками. А ночь ступала тихо и осторожно, словно боясь спугнуть человеческое счастье.

У Борын все еще светилось, и на улице стоял на страже Витек, зорко следя, чтобы кто-нибудь непрошенный не стал подслушивать. А в хате мужики тайком совещались перед завтрашним сходом в волости, куда войт вызывал всех липецких хозяев.

В комнате было темновато, один только огарок слабо мерцал на печке, и трудно было различить лица. Здесь собралось человек двадцать — все, кто был заодно с Антеком и Гжелей.

Сидевший где-то в темноте Рох подробно объяснял, что будет, если они согласятся на открытие русской школы в Липцах. Потом Гжеля учил каждого в отдельности, что надо сказать начальству и как голосовать.

Совещание затянулось до поздней ночи, не обошлось без ссор и споров, но в конце концов столковались и еще до рассвета поспешно разошлись, потому что на другой день надо было выехать рано.

А замечтавшаяся Ягуся все еще сидела на завалинке, слепая и глухая ко всему, и только иногда, как нескончаемую молитву, шептала: "Приедет! Приедет!" И невольно наклонялась вперед, словно вглядываясь в завтрашний день, словно желая увидеть, что несет ей этот серевший над землей рассвет, и со страхом и радостью покорялась тому, что должно совершиться.

## VIII

Было около полудня, становилось все жарче, и липецкие уже все собрались перед волостной канцелярией, а начальника еще не было. То и дело выходил писарь и, держа руку козырьком над глазами, смотрел на широкую улицу, окаймленную кривыми вербами, но на улице только блестели лужи, оставшиеся после вчерашнего ливня, и порой медленно катилась запоздавшая телега да между деревьями белел мужицкий кафтан.

Народ ждал терпеливо, и только войт бегал, как угорелый, выглядывал на дорогу и все громче понукал мужиков, засыпавших выбоины и ямы на площади перед канцелярией.

— Живее, люди, ради бога! Только бы успели кончить до его приезда!

— Смотрите, как бы с вами со страху грех не случился! — слышался голос из толпы.

— Шевелитесь, люди! Не время шутки шутить, я обязанности свои исполняю.

— Вы Бога одного бойтесь, войт! — со смехом сказал кто-то из репецких.

— Пусть только еще кто рот откроет, — в кутузку велю засадить! — строго крикнул войт и побежал смотреть на дорогу с кладбища, расположенную на пригорке за домом, в котором помещалась канцелярия.

Огромные вековые деревья осеняли дом, за ветвями их серела башня костела, а из-за каменной ограды кладбища кресты простирали черные руки над крышами и дорогой.

Ничего так и не увидев, войт поручил одному из солтысов надзирать за работавшими, а сам ушел в канцелярию. Туда все время входили люди — это писарь поминутно вызывал кого —нибудь из мужиков, чтобы напомнить о накопившихся недоимках, или неуплаченных судебных издержках, или о чем-нибудь еще похуже. Конечно, эти напоминания никому не были приятны, мужики слушали и вздыхали — что станешь делать в такое трудное время перед новым урожаем? Где тут платить, когда у многих и на соль не хватало! И они только кланялись писарю в пояс, а иной и руку у него целовал.

Были и такие, что совали ему в подставленную руку последний злотый и просили подождать до жатвы или до ближайшей ярмарки.

Писарь этот был хитрая шельма и обдирал людей так, что среди мужиков стон стоял. Кому обещаний надает, кого стражниками пугнет, кому польстит и очки вотрет, с иными был запанибрата и у каждого умел что-нибудь выклянчить: то у него овес весь вышел, то молодые гуси нужны были для начальника, то намекал насчет соломы для перевясел, и мужики волей-неволей обещали все, что ему нужно было. Сегодня он на прощанье отводил в сторону тех, с кем был знаком поближе, и якобы по дружбе давал советы.

— Вы деньги на школу дайте, потому что, если будете противиться, начальник рассердится и, пожалуй, помешает вам сговориться с помещиком насчет леса, — предостерегал он липецких мужиков.

— Как же так? Ведь мы миримся по доброй воле! — удивлялся Плошка.

— Мало ли что? Не знаете разве, что паны всегда заодно?

Плошка ушел сильно расстроенный, а писарь продолжал вызывать людей из разных деревень и, страдая каждого чем —нибудь, требовал, чтобы они утвердили расход на школу. Это мигом разнеслось в толпе ожидавших крестьян.

А собралось их немало — больше двухсот человек. Вначале стояли деревнями, сосед около соседа, и легко было узнать, кто из Липец, кто из Модлиц, или из Пшиленка, или из Репок, потому что в каждой деревне одевались по-иному. Но, когда разнеслась весть, что придется утвердить школу, потому что этого хочет сам начальник, все смешалось, люди переходили от одной группы к другой, оживленно толкуя между собой, и только репецкая шляхта держалась особняком, заносчиво поглядывая на мужиков.

Больше всего народу толпилось у корчмы, стоявшей напротив канцелярии среди деревьев. Немилосердная жара измучила всех, люди шли освежиться пивом. И корчма была переполнена, и под деревьями стояли мужики, разговаривая и наблюдая отсюда за канцелярией и за квартирой писаря в другой половине дома, где суматоха и беготня все усиливались.

Время от времени в окне появлялась жирная рожа супруги писаря и раздавался крик:

— Живей, Магда! Чтоб ты ноги себе поломала, рохля этакая!

Служанка ежеминутно вихрем проносилась по комнатам, и при этом стонали половицы и

дребезжали стекла. Где-то громко кричал ребенок, за домом кудахтали испуганные куры, и сторож, запыхавшись, гонялся за цыплятами, разбежавшимися по дороге и полю.

— По всему видно, что начальника угощать будут, — заметил кто-то.

— Говорят, вчера писарь привез полную бричку бутылок.

— Налижутся опять, как в прошлом году!..

— Отчего им не пьянствовать — мало ли они с народа податей собирают, а ведь за ними следить некому, — сказал Матеуш, но вдруг кто-то закричал:

— Тише ты, стражники уже пришли!

— Подкрадываются, как волки, и не заметишь, когда и откуда!

Все встревоженно притихли, потому что стражники расселись около канцелярии, окруженные кучкой людей, среди которых были войт и мельник, а немного подальше слонялся кузнец, внимательно прислушиваясь ко всему, что говорилось.

— Ишь, мельник-то ластится к ним, как голодная собака!

— Раз стражники здесь, значит и начальник сейчас будет! — воскликнул Гжеля и подошел туда, где стояли Антек, Матеуш, Клемб и Стах Плошка.

Посоветовавшись, они разбрелись между людей, объясняя им что-то, — должно быть, важное, потому что их слушали в сосредоточенном молчании, изредка с беспокойством поглядывали на стражников и все теснее сбивались в кучу.

Антек, прислонясь к углу корчмы, говорил коротко, веско и повелительно, а в другой группе, под деревьями, ораторствовал Матеуш, пересыпая свою речь шуточками, вызывавшими общий смех. В третьей, у кладбища, Гжеля говорил так мудрено, словно по книжке читал, и даже понять его трудно было.

Все трое убеждали мужиков не слушать начальника и тех, кто всегда с начальством заодно, и денег на школу не давать.

Их слушали внимательно, толпа вокруг них колыхалась, как лес под напором ветра. Ничего не говорили, только кивали головами, — ведь каждый понимал, что от новой школы проку не будет, только еще новые поборы, а это никому не улыбалось.

Мужиков охватило беспокойство, они переминались с ноги на ногу, покашливали, и никто не знал, как быть.

Конечно, Гжеля говорил умно, слова Антека доходили до самого сердца, но, с другой стороны, страшно было идти против начальства.

Оглядывались один на другого, раздумывали и все ждали, что решат богатеи, но мельник и самые богатые хозяева из других деревень держались особняком, стоя как будто с умыслом на виду у стражников и писаря.

Антек подошел к этой группе и начал уговаривать их, но мельник проворчал:

— У кого голова на плечах, тот сам знает, за что голос подавать.

И отвернулся к кузнецу, а тот всем поддакивал, но беспокойно шнырял в толпе, вынюхивая, к чему дело клонится. Он то уходил к писарю, то заговаривал с мельником, то угощал Гжелю табаком, а замыслы свои таил про себя, и до самого конца неизвестно было, на чьей он

стороне.

Большинство склонялось к тому, чтобы голосовать против школы. Люди разбрелись по площади и, не обращая внимания на полуденный зной, толковали все оживленнее и смелее. Вдруг писарь крикнул из окна:

— Эй, подойдите-ка сюда кто-нибудь!

Никто не двинулся с места, словно и не слышали.

— Пусть кто-нибудь сбегает в усадьбу за рыбой, еще утром должны были прислать, а до сих пор не прислали. Только живее! — повелительно кричал писарь.

— Мы не затем пришли, чтобы на посылках у тебя быть, — раздался в толпе голос какого-то смельчака.

— Пускай сам бежит! Боится брюхо растрясти! — засмеялся другой.

Писарь выругался, а через минуту из дома через заднюю дверь вышел войт, прошмыгнув за корчму и побежал к усадьбе.

— Он детей у писаря уже перепеленал, так теперь немного проветрится.

— Скоро его заставят и ночной горшок выносить, — насмеялись мужики.

— И что это помещика нашего не видать? — удивлялись некоторые, а кузнец с хитрой усмешкой заметил:

— Не дурак он, чтобы сюда показываться.

На него посмотрели вопросительно.

— Зачем ему ссориться с начальником? Ведь за школу он голосовать не станет, — знаете, сколько ему пришлось бы платить! Хитер!

— А ты-то, Михал, с нами или против нас? — припер его к стенке Матеуш.

Кузнец завертелся, как придавленный ногой червяк, и, буркнув что-то невнятное, стал проталкиваться к мельнику, который подошел к мужикам и громко, чтобы слышали другие, говорил старому Плошке:

— А я вам советую: постановите то, чего начальство хочет. Школа, хотя бы самая плохая, все же лучше, чем ничего. А такую, какой вы хотите, вам не разрешат. Что поделаешь, лбом стену не прошибешь! Не захотите их школу утвердить, так и без вашего согласия ее откроют.

— Если мы денег не дадим, на какие же деньги ее выстроят? — сказал кто-то в толпе.

— Дурень! Не дашь по доброй воле, так они и сами возьмут — продадут твою последнюю корову, да еще в острог попадешь за бунт! Понятно?.. Это вам не с помещиком воевать! — обратился он к липецким. — С начальником шутки плохи! Говорю вам: делайте, что прикажут, и Бога благодарите, что дешево отделаетесь.

Мельнику поддакивали те, кто был того же мнения, и старый Плошка после долгих размышлений неожиданно брякнул:

— Вы правильно говорите, а Рох только народ мутит и в беду нас введет.

Тут вышел вперед какой-то мужик из Пшиленка и сказал громко:

— Рох с панами заодно, вот он и подстрекает народ против властей.

На него закричали со всех сторон, но мужик не оробел и, когда вокруг стало потише, опять заговорил:

— А дураки ему помогают. Да, да! — он обвел толпу живыми, умными глазами. — Кому мои слова не по нутру, пусть выйдет сюда, я ему в глаза повторю, что он дурак! Не знаете разве, что всегда так было: паны бунтуют и народ подстрекают. Доведут его до беды, а как отвечать придется, — кто за все расплачивается? Как поставят вам казаков по деревням, по чьим спинам нагайки загуляют? Кто страдать будет? Кого в тюрьму потащат? Вас, мужиков! Паны за вас тогда не вступятся, нет: они от всего отрекутся, как Иуда, и будут начальство у себя в усадьбах угощать.

— Ясно, что им народ? Только на то и нужен, чтобы на его горбу сидеть.

— Если бы можно, они рады бы хоть завтра барщину вернуть! — раздалась голоса.

— Гжеля говорит, — начал снова тот же мужик, — "пусть учат по-польски, а не хотят — так на школу ни гроша не дадим!" Что же, против властей пойдем? Это ведь работник только может крикнуть хозяину: "Не хочу работать, наплевать мне на тебя", да и удрать, и ничего ему за это не будет. А народ-то никуда не убежит, и за бунт ему достанется, потому что никто другой спину за него не подставит... Верьте мне, построить школу вам дешевле обойдется, чем перечить начальству. Правда, учат в этих школах не по-нашему, да ведь все равно русских из нас не сделают, потому что и говорить между собой и молиться будем только так, как матери нас учили... А напоследок я вам еще вот что скажу: давайте-ка, мужики, только за себя стоять! Господа меж собой дерутся, не наше это дело, пусть хоть загрызут друг друга! Все они нам такие братья, что чумы на них мало!

Мужики обступили его тесной толпой и орала на него, как на бешеную собаку. Напрасно мельник и другие пробовали его защищать. Сторонники Гжели уже и кулаками ему грозили, и дошло бы, пожалуй, и до чего-нибудь похуже, если бы старый Прычек не крикнул вдруг:

— Стражники слушают!

Сразу все замолчали, а Прычек вышел вперед и начал сердито:

— Правильно он говорит: вы за себя стойте!.. Тише! Ты свое слово сказал, дай и другому сказать! Горло дерут и думают, что умнее их и нет никого! Кабы от крика ума прибавлялось, так у всякого горлопана было бы ума больше, чем у самого ксендза! Смейтесь, смейтесь, сукины дети, а вот я вам расскажу, как было в те годы, когда паны бунтовали. Хорошо помню, как они нас морочили и клялись, что, когда будет опять Польша, так и волю нам дадут, и землю, и лес, и все! Толковали, обещали, а то, что у нас теперь есть, нам не они, а кое-кто другой дал, да еще их наказал за то, что не хотели ни в чем помочь народу. Слушайте панов, если вы такие дураки, а я старый воробей, меня на мякине не проведешь! Знаю я, какую им надо Польшу! Опять плеть на наши спины, опять барщина да притеснения! Еще меня...

— Дайте ему кто-нибудь в морду, чтоб замолчал! — крикнул голос из толпы.

— А теперь, — продолжал старик, — я такой же пан, как другие, у меня свои права есть, и никто меня пальцем не смеет тронуть! Там для меня Польша, где мне хорошо, где я имею...

Ему не дал закончить град насмешливых замечаний, посыпавшийся на него со всех сторон:

— Свинья тоже хрюкает от удовольствия да свой хлев и полное корыто хвалит!

— А ее откормят, и потом — дубиной по башке и нож в горло!

— На ярмарке стражник его отколотил, вот он теперь и знает, что его никто тронуть не смеет.

— Ни черта не смыслит, а языком мелет!

— Важный пан, что и говорить! Воля ему дана — куда хочет, туда вши и понесут!

— Глуп, как сапог, а еще людей учить вздумал!

Старик вскипел, но сказал только:

— Скоты! Уже и седины не почитают!

— Тогда, значит, каждую сивую кобылу надо почитать за то, что она сивая?

Грянул смех. Но вдруг все отвернулись от старика и стали смотреть на сторожа, который влез на крышу и, держась за дымовую трубу, всматривался вдаль.

— Юзек, рот закрой, а то еще влетит что-нибудь! — кричали сторожу насмешники, увидев, что над ним кружит стая голубей. Но сторож, не слушая их, вдруг заорал:

— Едет! Едет! Уже на повороте из Пшиленка!

Толпа собралась перед домом и терпеливо глядела на дорогу, где ничего еще не было видно.

К этому времени солнце передвинулось уже за крышу дома, и тень от навеса становилась все длиннее. В тени поставили стол, покрытый зеленым сукном, а посередине стола — распятие. Рыжий, толстомордый помощник писаря, все время ковыряя в носу, вынес и положил на стол какие-то бумаги. Писарь поспешно стал переодеваться в парадный костюм, по всему дому опять разносились крики его супруги, звон посуды, грохот передвигаемой мебели и беготня. Через несколько минут появился и войт. Он остановился на пороге, красный, как рак, потный, запыхавшийся, но успел уже надеть цепь на грудь и, обводя глазами толпу мужиков, строго крикнул:

— Потише, люди, тут вам не корчма!

— Эй, Петр, поди-ка сюда, я тебе кое-что скажу! — позвал его Клемб.

— Тут я тебе не Петр, а начальство, — с важностью отрезал войт.

Это заявление вызвало среди мужиков громкий смех и всякие замечания. Но войт вдруг торжественно возгласил:

— Расступитесь, люди! Начальник!

На дороге показалась коляска и, подсакивая на ухабах, подкатила к дому. Начальник поднес руку к козырьку, мужики сняли шапки, наступила тишина. Войт и писарь кинулись высаживать начальника из коляски, а стражники, вытянувшись в струнку, застыли у дверей.

Начальник позволил снять с себя белый плащ и, обернувшись, окинул взглядом толпу, погладил светлую бородку, хмуро кивнул головой и вошел в квартиру писаря, куда тот приглашал его, согнувшись в дугу.

Коляска отъехала, мужики снова затеснились около стола, думая, что сейчас начнется собрание, но прошло четверть часа, прошло полчаса, а начальник все не выходил. Из комнат писаря доносился звон рюмок, смех и аппетитные запахи, от которых щекотало в носу.

Солнце пригревало все сильнее, людям надоело ждать, и некоторые уже стали украдкой

пробираться к корчме, но войт закричал:

— Не расходиться! Кого не будет — оштрафую!

И люди, конечно, останавливались, но ругались все крепче и нетерпеливо поглядывали на окна, которые изнутри кто-то притворил и занавесил.

— Ишь, стесняются водку хлестать у всех на глазах.

— И лучше, что не видим, а то приходится только понапрасну слюнки глотать! — говорили в толпе.

Из арестантской, находившейся рядом с канцелярией, раздалось протяжное унылое мычание, и через минуту оттуда вышел сторож, таща на веревке большого теленка. Теленок упирался изо всех сил и вдруг боднул сторожа головой, да так, что свалил его с ног, и помчался по дороге, задрав хвост и поднимая пыль.

— Держи разбойника! Лови!

— Насыпь ему соли на хвост, тогда вернется!

— Ну и нахал! Убежал из кутузки, да еще пану войту хвост показал! — смеялись мужики, наблюдая, как сторож гонится за теленком. Наконец, при помощи солтыса телка удалось загнать во двор. Не успели сторож и солтыс отдышаться, как войт распорядился подмести в арестантской и сам за ними присматривал, опасаясь, как бы начальник не вздумал заглянуть сюда.

— Надо бы тут покурить, войт, чтобы начальник не унюхал, какой тут сидел арестант.

— Ничего, водка у него нюх отшибет!

Слыша все эти колкие насмешки, войт только глазами сверкал и стискивал зубы. Но в конце концов мужикам и это надоело, их так донимали солнце и голод, что они, не слушая приказов войта, целой гурьбой двинулись под деревья. Только Гжеля сказал ему:

— Люди — не собаки, не прибегут к тебе, хоть до вечера ори!

И, пользуясь тем, что стражники их не видят, опять стал ходить от одного к другому, напоминая, как надо отвечать начальнику.

— Только ничего не бойтесь, — говорил он, — закон на нашей стороне. Как постановим, так и будет! Если сход не захочет, никто его принудить не может.

Не успели еще люди прилечь в тени и подзакусить, как солтысы начали их созывать, а войт прибежал с криком:

— Начальник идет! Скорее! Начинаем!

— Наелся, так прыти у него много, а нам не к спеху, подождет! — сердито бурчали мужики, лениво сходясь к канцелярии.

Солтысы стали каждый во главе своей деревни, а войт и помощник писаря сели за стол. Помощник подсвистывал голубям, которые, испугавшись шума, вспорхнули с крыши и трепещущим белым облаком кружили в воздухе.

— Молчать! — крикнул вдруг один из стражников, вытянувшись в струнку у порога.

Все глаза обратились на дверь, но из нее вышел только писарь с какой-то бумагой в руках и

сел за стол.

Войт зазвонил в колокольчик и сказал торжественно:

— Ну, люди добрые, начинаем! Тише там, модлицкие! Пан секретарь прочитает вам насчет школы. Слушайте внимательно, чтобы все поняли, о чем речь.

Писарь надел очки и начал читать медленно и внятно.

Он читал уже минут десять среди полнейшей тишины, как вдруг кто-то крикнул:

— Да мы не понимаем!

— Читайте по-нашему! Не понимаем! — подхватило множество голосов.

Стражники стали зорко всматриваться в толпу.

Писарь поморщился, но, читая дальше, стал тут же переводить на польский язык.

Опять наступила тишина, все сосредоточенно слушали, взвешивая каждое слово и не сводя глаз с читавшего. А писарь тянул:

— ...Так как приказано в Липцах открыть школу, каковая будет обслуживать и Модлицы, Пшиленк, Репки и другие деревни поменьше, то...

Он долго объяснял, какую пользу принесет школа, как благотельно просвещение, как правительство денно и ночью заботится о том, чтобы помочь народу. Потом стал подсчитывать, сколько будет стоить участок, постройка здания и содержание школы и учителя. Оказалось, что на все это надо утвердить добавочный налог по двадцати копеек с морга.

Наконец, писарь кончил, протер очки и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Пан начальник говорил, что, если сегодня утвердите, он разрешит начать стройку еще в нынешнем году, а с будущей осени дети уже пойдут в школу.

Он ждал, но никто не произнес ни слова. Наконец, войт сказал:

— Все хорошо слышали то, что прочитал пан секретарь?

— Слыхали! Не глухие, чай! — отозвались голоса в толпе.

— Кто против, пусть выйдет вперед и скажет.

Мужики подталкивали друг друга локтями, переглядывались, но никто не решался выступить первым.

— Ну, так утвердим быстро налог, и по домам! — предложил войт.

— Значит, все согласны? — торжественно спросил писарь.

— Нет! Не хотим! — крикнул Гжеля, а за ним еще несколько десятков мужиков.

— Не надо нам такой школы! Не согласны! Довольно и так податей платим! Нет! — кричали уже со всех сторон все смелее, громче и задорнее.

На шум вышел начальник и остановился на пороге. Увидев его, все притихли, а он, пощипывая бородку, сказал очень милостиво:

— Как живете, хозяйева?

— Спасибо! — ответили те, кто стоял поближе, с трудом выдерживая натиск толпы, которая хлынула вперед, чтобы услышать, что будет говорить начальник.

Прислонясь к косяку, он заговорил по-русски. Стражники бросились в толпу, крича:

— Шапки долой! Шапки!

— Пошли прочь, гады, не путайтесь под ногами! — выругал их кто-то.

Начальник что-то долго говорил сладеньким голосом, а кончил по-польски, уже совсем другим тоном:

— Утвердите сейчас же, мне некогда!

И строго смотрел на мужиков. Многие струхнули, толпа заволновалась, пробежал тревожный глухой шепот:

— Ну что, будем голосовать за школу? Говори же, Плошка, что делать? Где Гжеля? Слышите, начальник приказывает утвердить! Давайте соглашаться, что ли!

Шум рос. Наконец, вышел вперед Гжеля и сказал смело:

— На такую школу не дадим ни гроша.

— Не дадим! Не согласны! — поддержало его человек сто.

Начальник грозно нахмурил брови.

Войт обомлел, у писаря даже очки свалились с носа, только Гжеля не испугался и смело смотрел на начальника. Он хотел еще что-то добавить, но выступил старик Плошка и, низко поклонясь, начал смиренным тоном:

— Дозвольте, ваша милость, сказать, как я по-своему разумею: школу-то мы утвердим, да нам думается, что по двадцати копеек с морга многовато будет. Времена ныне тяжелые, и насчет денег у нас туго! Вот только это я и хотел сказать.

Начальник, занятый какими-то своими мыслями, не отвечал и только время от времени кивал головой, словно соглашаясь. Ободренный этим войт, а за ним и его приятели стали с жаром отстаивать школу, больше всех шумел мельник, не смущаясь острыми насмешками сторонников Гжели. Наконец, разозленный Гжеля крикнул:

— Мы только из пустого в порожнее переливаем.

Выбрав подходящую минуту, он подошел к начальнику и смело спросил:

— А какая же это будет школа?

— Такая, как и все! — ответил тот, открывая глаза.

— Такая нам не нужна!

— На польскую школу дадим хоть по полтине с морга, а на другую — ни гроша!

— Что толку от такой школы! Мои дети учились три года, а ни черта не знают.

— Тише, люди, тише!

— Разбрыкались, бараны, а волк того и гляди на стадо нападет!

— Крикуны окаянные, новую беду на всех накликают!

Мужики все более распалялись, орали наперебой, поднимая страшный шум. Каждый доказывал свое и убеждал других, толпа разбилась на кучки, и везде кипели споры. Громче и неистовее всех горланила компания Гжели, восставая против утверждения школы. Тщетно войт, мельник, хозяева из других деревень уговаривали, просили и даже стращали их, чем угодно, — большинство мужиков закусили удила и кричали, что на ум взбредет.

А начальник сидел, словно ничего не слыша, и шептался с писарем. Дав им накричаться вволю, он велел войту позвонить в колокольчик.

— Тише вы! Тише! Слушать! — унимали народ солтысы.

И не успела еще водвориться полная тишина, как раздался суровый голос начальника:

— Школа должна быть, понятно? Слушайте и делайте, что вам приказано!

Однако мужики не испугались, и Клемб сказал, словно отрубил:

— Мы никого не заставляем на голове ходить, так дайте же и нам ходить на тех ногах, что у нас выросли.

— Заткни глотку! Цыц, псякрев! — ругался войт, тщетно звоня изо всех сил в колокольчик.

— Я сказал и повторяю: в нашей польской школе и учить должны по-польски!

— Карпенко! Иванов! — гаркнул начальник стражникам, стоявшим в толпе, но мужики мигом окружили и зажали их, и кто-то шепнул им:

— Попробуйте только тронуть кого-нибудь!.. Нас тут человек триста... Смекаете?

Толпа расступилась, пропуская стражников, и, сомкнувшись опять, хлынула им вслед, ближе к начальнику, с глухим яростным гулом, из которого выделялись отдельные выкрики:

— Каждая тварь имеет свой голос, только нам хотят навязать чужой!

— И все-то приказы да приказы, а мужик слушайся, плати и шапку ломай!

— Скоро без позволения нельзя будет и на двор сходить!

— Коли им такая власть над всем дана, пусть прикажут свиньям запеть жаворонком!.. — крикнул Антек и под общий смех продолжал: — Или гусям — замычать, тогда утвердим школу.

— Подати наложили — платим. Рекрутов требуют — даем! А насчет этого — руки прочь!

— Тише, Клемб!.. Сам царь издал такой указ, где черным по белому написано, чтобы школы и суды были польские. Его и будем слушаться! — сказал Антек громко.

— Ты кто такой? — спросил начальник, в упор глядя на него.

Антек дрогнул, но сказал смело, указывая на лежавшие на столе бумаги:

— Там написано... Не сорока меня уронила! — дерзко добавил он.

Начальник поговорил с писарем, и тот объявил, что Антоний Борына, как состоящий под

судом, не имеет права принимать участие в сходе.

Антек побагровел от гнева, но раньше, чем он успел что — нибудь сказать, начальник рявкнул: "Пошел вон!" — и глазами указал на него стражникам.

— Не соглашайтесь, мужики! Закон за нас! Ничего не бойтесь! — крикнул Антек.

И медленно пошел по направлению к деревне, поглядывая на стражников, как волк на собак, так что они предпочли держаться на приличном расстоянии.

А на площади перед канцелярией закипело опять, как в котле, спорили о школе, об Антеке, о всякой ерунде. Кто укорял соседа за прошлогоднюю потраву, кто просто отводил душу, кто шумел из одного лишь озорства, и пошла неразбериха, галдеж, сумятица, — казалось, вот-вот начнется драка. Гжеля пытался их успокаивать — мужики ничего не слушали. Войт призывал к порядку, звонил так, что у него рука онемела, и тоже ничего не добился. Люди насакивали друг на друга, как разозленные индюки, слепые и глухие ко всему.

Только когда один из солтысов начал колотить палкой по пустой бочке, стоявшей под навесом, и бочка загудела, как барабан, мужики немного опомнились и стали унимать друг друга.

Не дождавшись тишины, начальник гневно закричал:

— Довольно разговоров! Тише там! Молчать и слушать, когда я говорю! Утверждайте школу!

Сразу все стихли, охваченные страхом, стояли, как окаменелые, и только молча и беспомощно переглядывались. Начальник так грозно всматривался в их испуганные лица, что они и думать не смели ему перечить.

Он снова сел, а войт, мельник и еще кое-кто бросились в толпу и стали уговаривать и запугивать всех.

— Голосуйте за школу! Иначе беда будет, слышали?

Тем временем писарь делал переключку, и каждую минуту кто-нибудь из толпы кричал:

— Здесь! Здесь!

После проверки войт влез на стул и скомандовал:

— Кто за школу, переходи направо и поднимай руку!

Перешли многие, но значительное большинство осталось на месте. Начальник насупился и приказал опрашивать всех поименно, объявив, что так будет правильнее.

Это очень огорчило Гжелю: он хорошо понимал, что, если мужики будут голосовать каждый отдельно, то никто не решится идти против начальства.

Но ничего уже нельзя было поделать. Помощник писаря начал вызывать по списку, и каждый мужик подходил, а писарь отмечал его фамилию черточкой, если мужик был за школу, или крестиком, если против.

Продолжалось это долго, потому что народу была тьма, а затем объявили результат:

— Двести голосов за школу, восемьдесят против.

Компания Гжели подняла крик:

— Голосовать заново! Жульничают!

— Я сказал "нет", а он мне черточку поставил! — закричал кто-то, а за ним многие утверждали то же самое. Самые горячие уже стали кричать:

— Не позволим! Изорвать список, изорвать!

К канцелярии в этот момент подъехала коляска помещика, и толпе волей-неволей пришлось отступить в сторону. А начальник, прочтя письмо, поданное ему лакеем, объявил торжественно:

— Так, очень хорошо, значит школа в Липцах будет.

Никто, конечно, и рта не раскрыл, — стояли стеной и смотрели на него.

Он подписал какие-то бумаги и сел в коляску.

Ему смиренно кланялись, но он и не взглянул ни на кого, даже головой не кивнул и, отдав какие-то распоряжения стражникам, уехал.

Некоторое время люди в молчании смотрели ему вслед, потом кто-то из сторонников Гжели сказал:

— Ишь, мягок, хоть к ране его прикладывай! А мигнуть не успеешь, как этот ягненок волком обернется и тебе в горло зубами вцепится.

— Чем же дураков удерживать, как не угрозами?

Гжеля только вздохнул, окинул взглядом толпу и сказал тихо:

— Да, проиграли мы сегодня. Что поделаешь, не умеет еще народ за себя постоять.

— Всего боятся, так нелегко им будет этому научиться.

— И что за человек — даже закон ему нипочем!

— Законы они для нас писали, а не для себя!

Какой-то мужик из Пшиленка подошел к Гжеле.

— Я думал против школы голосовать, да как просверлил он меня глазами, у меня и язык отнялся, а писарь записал, что хотел.

— Да, столько тут жульничества было, что можно бы обжаловать...

— Пойдем в корчму. Будь они прокляты! — выругался Матеуш и, повернувшись лицом к толпе, закричал:

— А знаете, мужики, что вам начальник забыл сказать? Что все вы трусливые псы и бараны. Здорово вы поплатитесь за свою покорность!.. Ну и пусть с вас шкуру дерут. Так вам и надо!

Мужики стали было огрызаться, но их внимание отвлекла проезжавшая бричка, в которой сидел сын органиста, Ясь.

Липецкие тотчас обступили его, и Гжеля рассказал обо всем, Ясь выслушал, потолковал с ними и поехал дальше. А мужики отправились в корчму, и после второй рюмки Матеуш объявил:

— Если хотите знать, во всем виноваты войт и мельник!

— Верно, они всех больше уговаривали да стращали людей, — подтвердил Стах Плошка.

— А коли начальник грозил, значит, он уже что-нибудь знает насчет Роха! — шепотом сказал кто-то.

— Если еще не знает, так донесут ему. Найдутся охотники!

— Где стражники? — с беспокойством спросил Гжеля.

— Пошли как будто в сторону Липец.

Гжеля еще повертелся в корчме и незаметно вышел. Он пошел в Липцы полем, внимательно озираясь по сторонам.

## IX

Антек, уходя, все оглядывался на толпу мужиков, как кот, которого отогнали от миски, и раздумывал, не вернуться ли назад. Но, видя, что за ним идут стражники, принял вдруг новое решение. Он по дороге сломал себе крепкий сук и, остановившись у плетня, начал строгать его, исподтишка поглядывая на стражников, которые, как ни старались идти медленнее, скоро поравнялись с ним.

— Куда это, пан старшой? На разведки? — насмешливо спросил Антек.

— По служебным делам, хозяин. А может, нам с вами по дороге? Вместе пойдем, а?

— Душой бы рад, да сдается мне, что дороги у нас разные.

Он торопливо осмотрелся: кругом ни души, но канцелярия еще слишком близко. И он зашагал рядом со стражниками, держась поближе к плетню и зорко следя, чтобы они внезапно не отрезали ему путь.

Старший это заметил и заговорил с ним по-приятельски, горько жалуясь, что у него с самого утра еще крошки во рту не было.

— Для начальника писарь не поскупился сегодня на угощение, так, наверное, и вам оставил кое-какие объедки. Ну, а в деревне не полакомитесь: клецки да капуста для таких панов не еда! — с умыслом насмехался Антек.

Стражник помоложе, здоровенный детина с бегающими глазами, что-то сердито забормотал, но старший не сказал ни слова.

Антек, все еще усмехаясь, прибавил шагу, и стражники насилу за ним поспевали, шагая прямо по лужам и выбоинам. Деревня словно вымерла — солнце пекло так сильно, что люди попрятались, и только изредка кто-нибудь выходил поглядеть на них, да в тени виднелись русые головки детей. Одни собаки провожали их громким лаем.

Старший закурил папиросу и, сплюнув сквозь зубы, начал жаловаться, что ни днем, ни ночью покоя нет, все служба да служба.

— Это верно, нелегко нынче хоть что-нибудь с мужика содрать!

Стражник матерно выругался, а Антек, которому надоела эта осторожная игра, крепче сжал в руке палку и сказал уже совсем вызывающе:

— Что, разве не правда? От вашей службы только и проку, что по деревням собак дразните да у мужика последний грош вытягиваете.

Старший стерпел и это, хотя позеленел от злости и нащупывал шашку. Но когда дошли до крайней избы, он неожиданно напал на Антека и крикнул товарищу:

— Держи его!

Однако они плохо рассчитали: Антек отшвырнул их, как собачонок, отскочил к стене и, по-волчьи оскалив зубы, размахивая палкой, сдавленным, обрывающимся голосом проворчал:

— Ступайте-ка лучше своей дорогой... со мной не сладите... и четверым не поддамся!.. Зубы вам выблюю, как псам. Чего пристали? Я ни в чем не виноват. Подраться вам захотелось? Ладно, только сперва наймите подводу для своих костей. Ну-ка, подойди да тронь, попробуй!

Он размахивал палкой и уже кричал во весь голос, готовый драться насмерть. Стражники стояли, как вкопанные, не решаясь напасть на этого рассвирепевшего великана, у которого палка так и свистела в руках. Наконец, старший, видя, что дело плохо, попробовал обратить все в шутку:

— Ха-ха! Здорово мы над тобой подшутили! — крикнул он с деланным смехом и повернул обратно. Но, отойдя на некоторое расстояние, погрозил Антеку кулаком и уже совсем другим тоном закричал: — Еще увидимся с тобой, пан хозяин! Тогда потолкуем!

— Чтоб тебе раньше издохнуть! — крикнул в ответ Антек. — Ишь, струсил, так шуточками отделяется! Поговорю и я с тобой, только бы мне тебя одного где-нибудь поймать! — бурчал он, провожая их глазами, пока они не скрылись из виду.

"Тот дурак натравил их на меня, думал, что так они меня и возьмут, как собаки зайца! Это он за то обозлился, что я ему отпор дал... Правда-то глаза колет", — размышлял Антек. Дойдя до помещичьего сада, уже довольно далеко за деревней, он сел в тени отдохнуть, потому что еще весь дрожал и был мокрый, как мышь.

Сквозь решетчатую деревянную ограду видна была белая усадьба, стоявшая в роще высоких лиственниц. Открытые окна чернели, как ямы, а на террасе с колоннами сидели господа и, должно быть, обедали, так как вокруг них все время суетились слуги и слышен был звон посуды. По временам до Антека доносились взрывы веселого, долго не умолкавшего смеха.

"Этим хорошо на свете жить! Пьют, едят и ни о чем не тужат", — думал Антек, принимаясь за хлеб с сыром, который Ганка сунула ему в карман.

Он ел и смотрел на росшие по краям дороги огромные цветущие липы, вокруг которых неумолчно жужжали пчелы. От разогретых солнцем цветов шел сладкий аромат. Где-то на пруду крякала утка, слышался сонный хор лягушек, в чаще звучали тихие голоса всякой лесной твари, а на полях то звенела, то утихала музыка кузнечиков. Но прошло немного времени — и все вокруг примолкло, словно захлебнувшись солнечным кипятком. Мир онемел, все живое попряталось в тени, и только ласточки беспрестанно мелькали в воздухе.

От блеска и зноя больно было глазам. Даже в тени было душно, высохли последние лужи, а от дозревавших хлебов и сожженных солнцем паровых полей веяло жаром, как из открытой печи.

Хорошо отдохнув, Антек быстро зашагал к уже недалекому лесу. Как только он вышел из тени

на залитую солнцем дорогу, его так и ожгло, словно он ринулся в пылающий белый огонь. Он снял кафтан, но и это не помогло — рубаха, прилипшая к потному телу, жгла, как раскаленная жезь. Стажил сапоги, но босые ноги ступали по песку, как по горячей золе.

Попадавшие на дороге кривые березки не давали тени, рожь клонила над дорогой тяжелые колосья, поблекшие от жары цветы поникли в изнеможении.

Знойная тишина стояла вокруг, нигде не видно было ни человека, ни птицы, ни единого живого существа, не дрожал ни один лист, ни одна травка, словно в этот час на истомленную землю налетела полудница и запекшимися губами высасывала из нее последние силы.

Антек шел все медленнее, думая о сходе, и его то охватывало раздражение, то разбирал смех, то мучила досада.

"Ну, что с такими сделаешь! Всякого стражника боятся. Приказали бы им слушаться начальника сапога, так и его слушались бы! Эх, бараны вы, бараны! — думал он со смесью глубокого огорчения и гнева. — Правда, трудно им всем, каждый бьется, как рыба об лед, каждого нужда душит, где уж им такими делами заниматься? Народ темный, нищий, не понимает, что ему нужно... Да, человек — что свинья, нелегко ему рыло поднять к солнцу..."

Так размышлял Антек, вздыхая, и все эти мысли и волнение за других заставили его только острее почувствовать, как плохо ему самому, — быть может, даже хуже, чем другим.

"Только тем хорошо, кто ни о чем не думает!" — Он махнул рукой.

Он так углубился в свои мысли, что чуть не налетел на еврея-тряпичника, сидевшего во ржи у дороги.

— Что, устали? Еще бы, этакая жарница! — заговорил он первый, останавливаясь подле старика.

— Наказание божье! Как в печи! — воскликнул еврей и, встав, присосался, как пиявка, к своей тачке. Закинув ляжку на старчески сгорбленную спину, он толкал тачку вперед с невероятными усилиями, так как она была нагружена мешками с тряпьем, деревянными ящиками, а сверху стояла еще корзина яиц и большая клетка с цыплятами. Вдобавок дорога шла по глубокому песку, а жара стояла немилосердная, и, как старик ни напрягал последние силы, ему приходилось часто останавливаться и отдыхать.

— Нухим, ты же опоздаешь на шабес![28]- жалобно увещевал он самого себя. — Нухим, толкай, толкай, ты сильный, как лошадь! Ну, раз, два, три! — И, подбодряя себя таким образом, он с криком отчаяния хватался за тачку, толкал ее на несколько шагов вперед и опять останавливался.

Антек кивнул ему головой и прошел мимо, но еврей умоляюще закричал:

— Помогите мне, хозяин, я хорошо заплачу! Не могу больше, никак не могу... — Он упал на тележку, задыхаясь, бледный, как мертвец.

Антек, ни слова не говоря, вернулся назад, положил на тачку свой кафтан и сапоги, крепко ухватился за нее и стал толкать ее вперед так быстро, что колесо закрипело и поднялась пыль. А еврей семенил рядом, тяжело отдуваясь, и поощрительно говорил:

— Только до леса, а дальше дорога хорошая и уже недалеко! Я вам заплачу целый пятак.

— Сунь его себе в нос! Дурень, очень мне нужен твой пятак! И почему эти евреи думают, что все на свете делается ради денег!

— Ну, ну, не сердитесь! Не хотите денег, так я дам отличные свистульки для детей. Нет? Так, может, ниток, иголок, лент каких-нибудь? Не нужно? Так, может, булок, карамели, баранок или еще что-нибудь? У меня все есть. А может, купите, хозяин, пачку табаку? Или угостить вас рюмочкой хорошей водки? Я ее держу для себя, но вам уж по знакомству... Верьте совести, только по знакомству!

Он закашлялся так сильно, что глаза у него на лоб полезли, и, когда Антек немного замедлил шаг, ухватился за тачку и пошел рядом, жалобно поглядывая на него.

— Хороший будет урожай, уже рожь упала в цене, — начал он, меняя разговор.

— Уродится или нет, а купцы норовят все равно меньше платить. Мужуку всегда убыток.

— Хорошую погоду послал Господь, зерно уже сухое. — Старик по дороге срывал колосья, вылуцивал зерна и ел.

— Да, так хорошо Господь распорядился, что ячмень уже весь пропал!

Они лениво беседовали о том о сем, и речь зашла о сходе, о котором еврею, по-видимому, было уже известно, потому что он сказал, тревожно озираясь по сторонам:

— Знаете, начальник еще зимой подписал контракт с одним подрядчиком на постройку школы в Липцах. Мой зять у них маклером был.

— Еще зимой, говоришь? Раньше, чем сход утвердил? Да как же это возможно?

— А что, позволения ему надо было спрашивать, что ли? Разве он не хозяин в своем уезде?

Антек стал его расспрашивать. Еврею были известны разные любопытные вещи, и он отвечал охотно, а в заключение благодушно сказал:

— Так уж оно водится. Мужика земля кормит, купца — торговля, помещика — имение, ксендза — приход, а начальника — все. Каждому надо как-нибудь прожить. Верно я говорю?

— А мне думается, что не должен один другого обдирать! Каждый должен жить по правде, как Бог велел.

— Что поделаешь! Каждый живет, как может.

— Знаю, что своя рубашка ближе к телу, да оттого-то и плохо всем!

Еврей только головой покивал и, видимо, остался при своем мнении.

Они дошли между тем до леса и укатанной дороги. Антек передал еврею тачку, купил детям на целый золотый конфет, а когда еврей стал его благодарить, буркнул:

— Чего там! Помог я тебе оттого, что мне так захотелось.

Он торопливо зашагал по направлению к Липцам. Деревья своими пышными кронами нависали над дорогой, и она вся была в тени. Только посредине меж ветвей сквозила узкая полоса неба и на земле искрилась река дрожащего света. Бор был старый, могучие дубы, сосны и березы стояли вперемежку тесной толпой, а внизу к толстым стволам жалось молодое племя — орешник, осина, можжевельник и грабы. Местами высились развесистые ели, жадно тянувшиеся к солнцу.

На лесной тропе после вчерашней бури еще блестело множество луж и валялись сломанные сучья и верхушки деревьев, а кое-где и вырванное с корнем стройное деревцо, как труп, лежало поперек дороги. Тихо было здесь, прохладно и сумрачно, пахло грибами и плесенью,

деревья стояли неподвижно, словно засмотревшись в небо, и сквозь их тесно переплетавшиеся верхушки местами пробивалось солнце, ползая золотыми пауками по мхам и красным ягодам, которые застывшими капельками крови осыпали блеклую траву.

Прохлада и глубокий покой, царивший в лесу, манили к отдыху, и, присев под деревом, Антек незаметно задремал. Разбудил его конский топот и фыркание. Увидев проезжавшего верхом помещика, он подошел к нему.

Поздоровались, как принято, по-соседски.

— Ну, и печет же! — сказал помещик, поглаживая беспокойно стоявшую лошадь.

— Да, печет здорово, через недельку пора будет с косой выходить в поле.

— В Модлицах уже давно рожь косят!

— Там пески. Ну, да в нынешнем году везде жатва будет ранняя.

Помещик стал расспрашивать его о сходе в волости и, услышав о том, что там происходило, от удивления широко открыл глаза.

— И вы так открыто, громогласно требовали польской школы?

— Ну, я же вам сказал! Врать не стану.

— И как это вы решились при начальнике! Ну-ну!

— В указе написано черным по белому, значит имеем право.

— Но чего это вам вздумалось требовать польской школы?

— Чего вздумалось? Ведь мы поляки, а не немцы или другой кто.

— А кто же это вас подучил, а? — спросил помещик тише, наклоняясь к нему с седла.

— Дети и без учителя уму-разуму набираются, — уклончиво ответил Антек.

— Вижу, что недаром Рох шляется по деревням! — тем же тоном продолжал помещик.

— Да, они вдвоем с дядюшкой вашим учат народ, как умеют! — сказал Антек с ударением, пристально глядя ему в глаза.

Помещик как-то беспокойно заерзал в седле и перевел разговор на другое, но Антек умышленно возвращался к этой теме, говорил и о разных других бедах крестьянской жизни и жаловался на темноту и заброшенность, в которой живет народ.

— Все потому, что никого не слушаются! Я знаю, как ксендзы их учат да уговаривают работать, не лениться, — а все как горох о стену!

— Э, проповедью поможешь не больше, чем мертвому — кадиллом!

— Так чем же вам еще помогать? Поумнел ты, я вижу, в остроге! — колко заметил помещик.

Антек покраснел, сверкнул глазами, но ответил спокойно:

— Поумнел, это верно! Знаю теперь, что во всех наших бедах паны виноваты.

— Ерунду какую-то мелешь! Что же паны тебе сделали плохого?

— А то, что, — когда еще Польша была Польшей, они только и знали, что народ батогами сечь да притеснять, а сами пировали, вот так и пропили весь народ, а теперь надо начинать сначала.

Помещик был вспыльчив. Он рассердился и крикнул:

— Не твое дело, хам, господ судить! Знай себе навоз да вилы, понял? И язык держи за зубами, а то как бы тебе его не укоротили!

Он свистнул хлыстом в воздухе и поскакал так быстро, что у лошади даже заекала селезенка.

А Антек, не менее его взбешенный, пошел своей дорогой.

— Собачье племя! — бормотал он злобно. — Ишь, как заговорил ясновельможный! Когда ему мужики нужны, так с каждым братается, сволочь! Самому цена — грош ломаный, а он других хамами обзывает! — Со злости он сбивал ногой мухоморы, попадавшие по дороге.

Он уже выходил из лесу на дорогу под тополями, когда вдруг услышал как будто знакомые голоса и внимательно осмотрелся: под крестом в тени берез стояла чья-то запыленная бричка, а на опушке леса он увидел сына органиста, Яся, и Ягусю.

Антек даже глаза протер, совершенно уверенный, что это ему померещилось. Но нет, они стояли в каких-нибудь десяти шагах от него и смотрели друг на друга, сияя от радости.

Удивленный Антек насторожил уши, но он слышал только голоса и не мог разобрать ни одного слова.

"Она из лесу шла, а он ехал, вот и встретились", — подумал он, но в тот же миг его словно что-то кольнуло, он нахмурился, и глухое мучительное подозрение зашевелилось в нем.

— Нет, это они сговорились!

Однако в следующую минуту сутана Яся и его лицо с выражением какой-то удивительной чистоты успокоили Антека, и он вздохнул с безмерным облегчением. Непонятно было ему только, зачем Ягуся, идя в лес, так разоделась? И почему так ярко синют ее глаза, трепещут вишневые губы? Почему она вся искрится радостью?

Антек пожирал ее голодным волчьим взглядом, а она в эту минуту, подавшись вперед высокой грудью, протягивала Ясю коробок. Ясь брал из него ягоды, сам ел и ей клал в рот.

— Почти ксендз уже, а забавляется, как ребенок! — снисходительно пробормотал Антек и быстро пошел к деревне, увидев по солнцу, что уже поздно.

"Эта заноза во мне не болит только до тех пор, пока ее не тронешь! — думал он о Ягусе. — А как жадно она на него смотрела! Ну и пусть, и пусть!"

Но тщетно он отмахивался от этих мыслей, заноза все больше впивалась в сердце.

"А от меня бегают, как от чумы! Видно, новенького захотелось! Хорошо еще, что с Ясем у нее ничего не выйдет... — Ярость разгоралась в нем все сильнее. — Как собака: кто ей свистнет, за тем и бежит".

Он шел быстро, но не мог убежать от горьких воспоминаний. По дороге встречались какие-то люди, он никого не замечал. Только у самой деревни вдруг успокоился, увидев жену органиста, которая сидела у канавы и вязала чулок. Самый младший сынишка играл около нее на песке, а стайка гусей щипала траву между тополями.

— Вот как далеко вы забрались с гусями! — сказал Антек, останавливаясь подле нее и утирая потное лицо.

— Вышла навстречу Ясю — он того и гляди подъедет.

— Да, я его только что обогнал у леса.

— Яся? Так он уже едет! — воскликнула она и вскочила. — Гусыньки, гуль-гуль-гуль! Куда вы, баловники? Куда? — закричала она на гусей, которые неожиданно побежали в рожь у дороги и принялись выклевывать зерна из колосьев.

— Да, бричка стояла под крестом, а Ясь ваш разговаривал с какой-то женщиной.

— Значит, он сейчас будет здесь! Должно быть, знакомую встретил и разговорился. Такой славный мальчик, он и чужую собаку не пропустит, не погладив ее. А кого же это он встретил?

— Я как следует не рассмотрел, но мне показалось, что это Ягуся.

Заметив гримасу недовольства на лице старухи, он добавил с многозначительной усмешкой:

— Я не разглядел, потому что они сразу в чащу зашли... от жары, должно быть.

— Святые угодники! Что это вам в голову приходит! Станет Ясь связываться с такой.

— Она не хуже других, а может, и лучше! — неожиданно вспылил Антек.

Жена органиста быстрее задвигала спицами, что-то очень уж внимательно вглядываясь в петли своего вязанья. "Чтоб у тебя язык отсох, сплетник окаянный! — думала она, сильно задетая. — Стал бы Ясь с такой девкой... Ведь он уже почти ксендз..." Но тут ей вспомнились всякие истории про ксендзов, и, затревожившись, она решила подробнее расспросить Антека, но его уже и след простыл. Зато на дороге поднялось облако пыли и подвигалось к ней все ближе и ближе. Через несколько минут Ясь уже обнимал ее крепко, изо всех сил, и нежно приговаривал:

— Мамуся дорогая! Мамуся!

— Святые угодники! Да ты меня задушишь! Пусти, разбойник, пусти сейчас! — И, когда Ясь ее отпустил, она, в свою очередь, принялась обнимать, целовать и любовно оглядывать его.

— Ох, заморили тебя, сыночек! Бледный какой! И худой!

— От супов из святой воды не растолстеешь! — смеялся Ясь, подбрасывая на руках визжавшего от восторга братишку.

— Ничего, я тебя откормлю! — сказала мать, нежно глядя его по щеке.

— Ну, едем, мамуся, скорее дома будем.

— А гуси? Господи, опять они во ржи!

Ясь бросился выгонять гусей из ржи. Потом усадил брата в бричку и пошел по дороге, гоня гусей перед собой и отвечая на расспросы матери.

— Смотри, как он вымазался! — немного погодя заметила она, указывая на малыша.

— До ягод моих добрался. Ешь, Стась, ешь! Это я в лесу Ягусю встретил, она ходила в лес по ягоды и мне немножко отсыпала, — объяснил Ясь, порозовев от смущения.

— Да, мне Борына только что говорил, что он вас встретил.

— А я его и не заметил! Должно быть, он стороной прошел.

— Сынок, в деревне люди сквозь стены видят, даже и то, чего вовсе не было! — внушительно сказала органистиха, опустив глаза на мелькавшие в руках спицы.

Ясь как будто не понял намека. Увидев стаю голубей, летевшую низко над полем, он швырнул в них камешком и весело воскликнул:

— Сразу видно, что ксендзовы, ишь, какие откормленные!

— Тише, Ясь, еще услышит кто! — ласково пожурела его мать. Она размечталась о том, как он когда-нибудь станет ксендзом, а она на старости лет поселится у него и будет мирно и счастливо доживать свои дни.

— А Фелек когда приедет на каникулы?

— Разве вы не знаете, мама, что его арестовали?

— Силы небесные! Арестовали! Что же он такого сделал? Вот я всегда предсказывала, что Фелек плохо кончит! Этому шалопаю в писари бы идти, а мельнику захотелось доктора из него сделать! Ведь так они им гордились, так носы задирали, а теперь сынок в тюрьме, вот утешение! — Она даже дрожала от злорадства.

— Да нет, тут совсем другое — он в крепости сидит.

— В крепости! Значит, что-нибудь политическое? — она понизила голос.

Ясь не знал или, может быть, не хотел ответить. А она тревожно зашептала:

— Уж ты-то, мальчик, ради бога, не мешайся в эти дела!

— У нас и говорить нельзя о таких вещах, — сейчас же выгонят.

— Вот видишь! Выгонят тебя, и ты не сможешь стать ксендзом! Да я умерла бы от стыда и горя! Господи, смилуйся над нами!

— Вы за меня не бойтесь, мама!

— Ты же видишь, как мы из кожи лезем, чтобы вам, детям, получше жилось. Ты сам знаешь, как нам трудно — такая семья, а доходов все меньше и меньше. Если бы не земля, так мы при этом ксендзе с голоду бы умирали! Знаешь, он теперь сам договаривается с мужиками насчет платы за венчание и похороны! Сам! Слыханное ли дело? Говорит, что отец с людей шкуру драл. Ишь, какой благодетель из чужого кармана!

— Да ведь и в самом деле драл, — робко возразил Ясь.

— Что ты? Против отца идешь? Против родного отца? А если драл, так для кого, а? Не для себя ведь, а для вас, детей, для тебя, на твоё ученье, — обиженно сказала жена органиста.

Ясь стал просить прощения, но вдруг замолчал, услышав какой-то дребезжащий звон, который доносился со стороны озера.

— Слышите, мама? Это ксендз пошел к кому-то со святыми дарами.

— Нет, это, верно, для пчел на плербании звонят, чтобы не улетели. Они должны роиться. Ксендз наш больше думает о своем быке и пасеке, чем о костеле.

Они уже подходили к погосту, как вдруг их оглушило громкое жужжанье, и Ясь едва успел крикнуть кучеру:

— Пчелы! Придержи лошадей, а то испугаются и понесут!

В самом деле, над площадью перед костелом гудел огромный пчелиный рой. Он то носился в воздухе звенящей тучей, ища удобного места, где бы сесть, то спускался пониже и метался меж деревьев, а за ним бежал запыхавшийся ксендз без шляпы, в одних подштанниках и рубашке, размахивая кропилком. Амброжий был тут же — он крался стороной, в тени, отчаянно звонил в колокольчик и орал. Так они оба несколько раз обежали площадь; ни на минуту не останавливаясь, потому что пчелы спускались все ниже, как будто намереваясь сесть на крышу дома. Но вдруг рой поднялся повыше и полетел прямо на брчку Яся. Органистиха взвыла и, накинув юбку на голову, присела в канаве. Гуси разлетелись, лошади стали рваться, и кучер соскочил с козел, чтобы закрыть им глаза. Только Ясь стоял спокойно, подняв голову. Рой неожиданно повернул и полетел прямо на колокольню.

— Воды! — гаркнул ксендз и галопом помчался за пчелами. Подбежав близко, он стал так усердно поливать их, что они уже не могли шевелить промокшими крыльями и сели на окно колокольни.

— Амброжий! Тащи лестницу и решето! Живо, а то улетят! Шевелись же, хромой черт!.. А, Ясь, здравствуй, разведи-ка огонь в кадиле, надо их подкурить, тогда они успокоятся! — кричал разгоряченный ксендз, не переставая кропить водой оседавший рой. Не прошло и пяти минут, как лестница стояла уже под колокольней, Амброжий звонил, кадильница в руках Яся дымила, как печная труба, а ксендз лез на колокольню. Добравшись до пчел, он стал шарить среди них, отыскивая матку.

— Есть! Слава богу, теперь не улетят! Подкури их еще снизу, Ясь, чтобы не расползались! — командовал он, собирая пчел голыми руками. Они садились ему на лысину, ползали по лицу, а он без всякого страха что-то говорил им и все собирал и собирал их в решето — рой был огромный.

— Осторожно! Сердятся, могут ужалить! — предостерег он остальных, сходя с лестницы. Пчелы тучей окружали его, летали над ним с громким жужжанием. Сойдя вниз, он пошел к плетению, неся в вытянутых руках решето так торжественно и важно, как будто это была чаша со святыми дарами. Ясь окуривал его, качая кадилом, Амброжий изо всех сил звонил и время от времени кропил пчел водой. Так они шествовали до пасеки за плетением, где на огороженном участке стояло несколько десятков ульев.

Когда ксендз занялся водворением пчел в новый улей, Ясь, уже очень голодный и утомленный, потихоньку улизнул домой. Здесь ему, конечно, ужасно обрадовались, много было визгу, поцелуев и расспросов, а когда прошла первая радость встречи, его усадили за стол, нанесли ему разных вкусных вещей, упрашивая есть. Весь дом дрожал от шума и беготни, каждый жаждал услужить Ясю раньше других, все теснились к нему поближе.

В разгаре этой сумятицы прибежал запыхавшись Гжеля и стал с беспокойством спрашивать, не встречал ли кто Роха. Но его никто и в глаза не видал.

— Нигде его найти не могу! — озабоченно сказал Гжеля и, ничего не объяснив, побежал дальше искать по избам Роха. А тотчас после его ухода Яся позвали в плетение.

Ксендз, в ожидании его, ужинал на крыльце. Он отечески расцеловал Яся и, усадив около себя, сказал милостиво:

— Рад, что ты приехал, будет с кем вместе молиться. А знаешь, сколько у меня новых роев в этом году? Пятнадцать! И сильные такие, как старые рои, некоторые уже наготовили меду по

четверти улья! Их еще больше роилось, да я велел Аморожию смотреть за пасекой, а этот болван уснул и пчелки — фьить! Улетели! А один рой у меня мельник украл. Правду тебе говорю: украл! Пчелы улетели на его грушу, а он забрал их и не думает отдавать! Сердит на меня за быка, вот и мстит, чем только может, грабитель этакий! Ты уже слышал про Фелека? Вот подлые, кусаются, как осы! — закричал он вдруг, отгоняя платком мух, упорно садившихся ему на лысину.

— Слышал только, что он в крепости сидит.

— Хоть бы этим кончилось! Доигрался, а? Говорил я ему, увещевал — не слушался, осел, вот теперь кончен бал! Старик — дубина и шут гороховый, а Фелека жаль, способный шельмец, по-латыни так бегло читает — и епископ лучше не сумеет! Ну, да что пользы, если в голове ералаш! Думают лбом стену прошибить. Ведь сказано... постой, как же это? Да, вспомнил: чего нельзя — не касайся, а что запрещено — то издали обходи. Ласковый теленок двух маток сосет, да... — Ксендз говорил все тише и отрывистее, отгоняя мух. — Ты это запомни, Ясь! Да, запомни, говорю!

Он свесил голову на грудь и весь ушел в глубокое кресло, но когда Ясь привстал со стула, он открыл глаза и забормотал:

— Замучили меня пчелки! Так ты приходи по вечерам требник читать. Да смотри, себя не роняй и с мужиками не водись — кто в отруби полезет, того свиньи съедят! Съедят, говорю — и баста! — Он прикрыл лысину платком и захрапел уже по-настоящему.

По-видимому, того же мнения был и органист. Когда его работник погнал лошадей на пастбище и Ясь вскочил на одну из них, отец крикнул ему:

— Слезай сейчас же! Не подобает ксендзу без седла ездить и быть запанибрата с пастухами!

Ясю очень хотелось покататься, но он послушно слез с лошади и, так как уже смеркалось, пошел за огород читать вечерние молитвы.

Но как можно было сосредоточиться? Где-то глухо звенела девичья песня, в соседнем саду болтали бабы, и каждое слово отдавалось в воздухе, шумели дети, купаясь в озере, откуда-то раздавались взрывы смеха, мычали коровы, пронзительно кричали цесарки ксендза, и вся деревня гудела, как улей. Ясь то и дело сбивался, а когда, наконец, сосредоточился и, став на колени во ржи, благоговейно устремил глаза на звездное небо, из деревни донеслись такие отчаянные вопли, проклятия и причитания, что он вскочил и побежал к дому, сильно встревоженный.

Мать в эту минуту вышла звать его ужинать.

— Что там случилось? Дерутся, что ли?

— Это Юзеф Вахник вернулся из волости выпивши и подрался со своей бабой. Ей давно следовало задать трепку! Не беспокойся, ничего ей не сделается.

— Да она кричит, как будто ее режут!

— Бабы всегда так. Если бы он ее палкой бил, она бы молчала. Ничего, завтра она ему отплатит! Пойдем, сынок, ужин остынет.

Ясь почти не притронулся к еде и, очень утомленный, сразу после ужина лег спать. Но рано утром, как только взошло солнце, он был уже на ногах. Обежал все поле, принес лошадям клеверу, подразнил индюков ксендза, поздоровался с собаками, которые от радости чуть с цепей не сорвались, насыпал зерна голубям, помог младшему брату выгнать коров, нарубил

за Михала дров, проведаль в саду распускавшиися маргаритки, поиграл с жеребенком, побывал везде, все обласкал взглядом, как дорогих друзей, — и мальвы, осыпанные цветами, и гревшихся на солнце поросят, даже крапиву и бурьян, притаившиися под плетнями. Мать следила за ним влюбленными глазами и шептала, снисходительно усмехаясь:

— Сумасшедший! Вот сумасшедший!

А Ясь все бродил вокруг, сияя как этот июльский день. Веселый, смеющийся, он словно излучал солнечный свет и тепло, обнимая весь мир любящей душой. Как только зазвонила "сигнатурка", он все бросил и побежал в костел.

В новеньком стихаре с красными лентами он прислуживал за обедней и в промежутках горячо молился. Все же он заметил Ягусю, стоящую на коленях несколько в стороне, и всякий раз, поднимая голову, встречал ее яркие синие глаза, устремленные на него, видел затаенную улыбку на полураскрытых губах.

После обедни ксендз увел его в плебанию и засадил писать, так что он только после полудня выбрался в деревню навестить знакомых.

Прежде всего он зашел к Клембам, ближайшим соседям, жившим через дорогу. Однако в избе он не застал никого, и только в сенях, в углу, что-то зашевелилось, и чей-то голос прохрипел:

— Это я, Агата!

Она приподнялась и в удивлении развела руками:

— Господи Иисусе, пан Ясь!

— Лежите, лежите! Хвораєте? — заботливо спросил Ясь и, придвинув себе чурбанчик, сел около Агаты, с трудом узнавая ее лицо, высохшее, как земля.

— Уж только жду, когда Господь меня приберет. — Голос ее звучал торжественно.

— А чем вы больны?

— Ничем. Это смерть подходит. Вот приютили меня Клембы, чтобы я у них померла... Лежу, молюсь и дожидаюсь терпеливо того часа, когда постучится она и скажет: "Пойдем со мной, душа человеческая".

— А почему же они вас в комнату не перенесли?

— Пока еще не настал час, зачем я буду место у них занимать? И так уж пришлось теленка убрать из сеней. А они мне обещали, что в последний час перенесут в комнату, положат на кровать, под образами... и свечи зажгут... и ксендза позовут. А как помру, оденут на меня праздничную одежду и похороны справят как следует... ведь на все денег дала, и люди они хорошие, так авось сироту не обидят. Недолго я буду у них тут место занимать... Они мне при свидетелях обещали...

— А не скучно вам одной лежать?

Голос Яся дрожал от жалости.

— Нет, мне очень хорошо, панич. Дверь открыта, так мне все видно. Кто по улице пройдет, кто заговорит где-нибудь, а кто и сюда заглянет, иной раз даже добрым словом порадует... Как будто я по деревне хожу! И когда все в поле уйдут, — мне и то не скучно: куры на дворе в мусоре роются, свинья за стеной похрюкает, собачки забегут или воробьи залетят в сени... А

перед закатом и солнце маленько сюда посветит... иной раз какой-нибудь сорванец камешком швырнет... Так денек и пролетит незаметно... А по ночам тоже... приходят ко мне...

— Кто же это? Кто приходит? — Ясь близко заглянул в ее открытые, но словно незрячие глаза.

— Свои... те, что давно померли, и родня, и знакомые. Правду, говорю, панич, приходят... А раз, — зашептала Агата с улыбкой невыразимого счастья, — раз пришла ко мне Пресвятая Дева и говорит тихонько: "Лежи себе, Агата, Иисус тебя наградит!" Сама Ченстоховская, я ее сразу узнала... В короне и мантии, вся в золоте и кораллах. По голове меня погладила и говорит: "Не бойся, сирота, на небесах будешь ты первой хозяйкой, помещицей будешь..."

Бормотала старуха, как засыпающая птица, а Ясь, наклонясь над ней, слушал, и казалось ему, что он заглянул в какую-то непостижимую глубину, где свершается нечто, совсем уж не подвластное человеческому уму. Ему стало страшно, но он не мог уйти, не мог оторваться от этого жалкого человеческого существа, этой увядшей былинки, которая, дрожа, как луч, угасающий во мраке, еще грезит о какой-то новой жизни. Впервые Ясь так близко заглянул в глаза неумолимой судьбе человека, и не диво, что его охватил ужас, глаза наполнились слезами, глубокое сострадание тяжестью своей пригнуло его к земле, и горячая мольба сама собой рвалась с дрожащих губ.

Агата очнулась и, приподняв голову, в восторге прошептала:

— Ангел ты мой! Добрая ты душа!

Уйдя от нее, Ясь долго еще стоял у какой-то стены, греясь на солнце и радуясь светлomu, прекрасному дню, жизни, кипевшей вокруг.

Что же из того, что какая-то душа человеческая стонет в когтях смерти?

Солнце не перестало светить, шумели по-прежнему колосья, белые облака плыли в вышине, на улицах играли дети, в садах созревали румяные яблоки, в кузнице гремели молоты, кто-то чинил телегу, другой точил косу, готовясь к жатве, пахло свежим хлебом, гуторили бабы, на плетнях сушились холсты, по полям и дворам ходили люди, и, как всегда, как изо дня в день, шумел человеческий улей в трудах и заботах, не думая о том, кто первый скатится в бездну. Да и что пользы об этом думать?

Так и Ясь быстро встряхнулся и пошел дальше.

Он посидел немного около Матеуша, который строил для Стаха избу и уже подводил сруб под крышу. Постоял у озера с Плошковой, белившей холст. Навестил больную Юзьку, выслушал все жалобы жены войта, посмотрел в кузнице, как кузнец закаливает косы и точит серпы, заглянул и на огороды, где работало много девушек и баб. И везде ему были рады, везде его дружески приветствовали и смотрели на него с гордостью: ведь он родился и вырос в Липцах и, значит, был для всех свой.

Только напоследок зашел Ясь к Доминиковой. Старуха сидела перед избой и пряла шерсть. Яся это очень удивило, потому что глаза у нее были закрыты повязкой.

— А я пальцами нащупываю, какая нитка тонкая, какая толстая, — поясняла она ему и, очень довольная тем, что он ее навестил, кликнула Ягусю, занятую какой-то работой во дворе.

Ягуся пришла не одетая, в одной только юбке и рубахе и, увидев Яся, покраснела, как вишня, закрыла грудь руками и убежала в дом.

— Ягусь, принеси-ка молока! Может, пан Ясь выпьет холодненького.

Ягуся скоро принесла полную кринку молока и кружку. Она успела одеться и повязать голову платком, но почему-то была так смущена, что, когда наливала в кружку молоко, руки у нее тряслись, и она то бледнела, то краснела, не смея поднять глаз на гостя.

За все время, пока Ясь сидел у них, она не сказала ни слова и, только когда он уходил, проводила его на улицу смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду.

Ею вдруг овладело такое сильное желание бежать за ним, что, боясь поддаться искушению, она ушла в сад, обхватила обеими руками ствол яблони и, прижавшись к нему, стояла, тяжело дыша, в полузабытьи, в блаженном трепете, укрытая, как плащом, ветвями, низко свисавшими под тяжестью яблок. Стояла, опустив веки, с улыбкой, прятанной в уголках рта, счастливая и испуганная, чувствуя, что к горлу подступают радостные слезы, как той весенней ночью, когда она смотрела на Яся в окно.

Да и Яся, видно, тянуло к ней. Он часто заглядывал к Доминиковой и, посидев минутку, уходил, бессознательно чему-то радуясь. Он каждый день видел Ягусю в костеле. Она до конца обедни не вставала с колен и молилась так горячо, в таком самозабвении, что Ясь растроганно любовался ею и даже дома как-то упомянул о ее набожности.

Его мать пожала плечами.

— Ей многое отмолить надо...

Ясь был слишком наивен и чист душой, чтобы понять этот намек. Ягуся бывала у них, ее любили все в доме, он видел, какая она набожная, и ему в голову не могло прийти никакое подозрение. Раз он вслух удивился, что с самого его приезда она ни разу у них не была.

— Я как раз сегодня послала за ней, чтобы помогла мне гладить, очень много белья накопилось, — сказала его мать.

Вскоре пришла Ягуся, так разодетая, что даже Ясь изумился.

— Уж не на свадьбу ли вы идете?

— А может, к тебе сваты приходили, Ягуся? — пропищала одна из сестер Яся.

— Пусть только посмеют, я их в шею выгоню! — засмеялась Ягуся, краснея, как роза, потому что все на нее смотрели.

Старуха тотчас отправила ее гладить, но девочки и Ясь пошли за ней, и такое началось у них веселье, так хохотали из-за всякого пустяка, что старухе пришлось накричать на них:

— Тише вы, сороки! Ясь, ступай-ка лучше на огород, тебе неприлично тут дурачиться.

И пришлось Ясю волей-неволей взять книжку и уйти, как всегда, в поле. Там, далеко за деревней, на межах, под грушами, или на пограничных буграх он часто сживал, читая или думая о чем-нибудь.

Ягуся уже знала все места его одиноких прогулок, хорошо знала, где искать его тоскующими глазами, куда следовать за ним хотя бы только радостными мыслями.

Она кружила вокруг него, как бабочка вокруг огня, не могла не кружить, потому что ее неудержимо влекло к нему. Она уже без оглядки отдавалась во власть этой сладкой силе, словно бурным волнам, уносившим ее в какой-то пригрезившийся мир счастья. Она отдавалась своей любви всем сердцем, даже не думая о том, на какой берег она ее вынесет, какая ждет ее участь.

Поздней ли ночью, когда она ложилась спать, ранним ли утром, когда вставала, сердце ее твердило всегда одно и то же, как молитву:

— Увижу его! Опять увижу!

Когда она стояла на коленях перед алтарем, и ксендз выходил служить обедню, и раздавались волнующие звуки органа, в благовонном дыму кадилниц звучал горячий шепот молящихся, и Ясь, весь в белом, стройный, прекрасный, сложив руки, медленно проходил в этом дыму и разноцветных лучах, струившихся от окон, Ягусе иногда казалось, что это оживший ангел сошел с иконы и с ясной улыбкой идет к ней. Она молитвенно смотрела на него, и рай открывался ей, и она падала ниц, приникая губами к тем местам, где ступала его нога.

В порыве восторга она пела, и в голосе ее звучала вся сила беспредельного человеческого счастья.

Бывало не раз — обедня кончится, разойдутся все, и в опустевшем костеле Амброжий бренчит уже ключами, а она все стоит на коленях, глядя туда, где стоял Ясь, погруженная в безмолвное упоение, в радость, томившую до боли, и невольно катятся из глаз слезы, как тяжелые и чистые жемчужные зерна.

Теперь каждый день был для нее праздником, потому что в душе ее свершалась торжественная литургия вечной радости, и когда выходила она в поле, ей о том же звенели зрелые колосья. Сожженная солнцем земля и деревья в садах, ломившиеся под тяжестью плодов, далекие леса, и странницы-тучи, и вознесенная над землей священная чаша солнца — все пело вместе с ее душой гимн счастья и благодарности.

Ах, каким прекрасным кажется мир глазам влюбленных!

И как же силен человек, когда любит! С самим Богом, кажется, вступил бы в единоборство, смерти не поддался бы, даже против судьбы пошел бы! Жизнь для него — вечный праздник, самая жалкая тварь дорога ему, как брат родной. На коленях готов он благодарить каждый день, благословлять каждую ночь. В любую минуту раздать готов людям всего себя, и все-таки остается богачом, все прибавляется и сил, и любви, и дивных дней.

Душа влюбленного парит над землей, видит близко звезды, дерзко устремляется в небо, грезит о вечном счастье, ибо кажется ей, что нет предела и преград ее силе и любви.

То же чувствовала и Ягуся.

Стояли обычные дни тяжелого труда, приготовлений к жатве, и она работала проворно, распевая, как жаворонок, и вся светилась счастьем. Расцветшая, как роза в ее садике, стройная, как мальва, всегда веселая, она притягивала все глаза, чаровала людей, и даже старики заглядывались на нее, а парни опять вертелись вокруг, — как бывало, вздыхали и часами простаивали у ее хаты, но она гнала всех.

— Хоть в землю вроси — все равно ничего не выстоишь! — говорила она насмехаясь.

— Над всеми смеется! Горда, как помещица какая-нибудь! — жаловались парни Матеушу, а он только горестно вздыхал, потому что и он добился немногого, — только того, что иногда мог заходить к ним в сумерки и беседовать с Доминиковой, а в это время смотреть на Ягусю, хлопотавшую по хозяйству, и слушать ее песни. Смотрел и слушал он так жадно, что становился все мрачнее и все чаще заглядывал в корчму, а потом дома буянил. И, конечно, больше всего доставалось Терезке. Она таяла с горя и раз, встретив Ягусю, повернулась к ней спиной и плюнула. Но замечтавшаяся Ягуся прошла, даже не заметив ее.

Терезка в гневе сказала девушкам, стиравшим на берегу:

— Видали, какая пава! Пройдет — ни на кого и не взглянет.

— А разоделась, как на ярмарку!

— До самого полудня волосы свои убирает!

— И постоянно покупает себе ленты и всякие обновки, — говорили завистницы.

С некоторых пор стоило Ягне показаться на улице, как опять ее провожали взгляды, острые, как когти, и ядовитые, как змеи. При всяком удобном случае женщины перемывали ей косточки и поносили ее на чем свет стоит — не могли они ей простить того, что она одевалась лучше всех, была всех краше, что на нее заглядывались мужики и парни.

— Заважничала так, что просто терпеть нельзя!

— А наряжается как!

— И откуда только деньги на это берутся!

— Откуда? А войта она даром, думаешь, своими милостями дарит?

— Говорят, и Антек не скупится, — сообщали друг другу на ушко бабы, собираясь у Плошковой во дворе.

— Нужна она Антеку, как собаке пятая нога, — вмешалась Ягустинка. — Нет, у нее другой уже на примете! — И она многозначительно усмехнулась, а бабы стали ее умолять, чтобы сказала — кто. Однако Ягустинка не проговорила и только под конец сказала:

— Я сплетен не разношу. Есть у вас глаза — так сами смотрите!

И с этой минуты сто пар глаз еще усерднее стали следить за каждым шагом Ягуси, как гончие за зайцем.

А Ягуся, хоть и замечала на себе эти косые внимательные взгляды, ни о чем не догадывалась. Да и какое ей было дело до них, если она могла в любое время увидеть Яся! Чуть не каждый день она заходила теперь к органисту, и всегда в те часы, когда Ясь бывал дома. Он садился около нее, и она, ощущая на себе его взгляд, замирала от блаженства, ее бросало в жар, ноги дрожали, а сердце молотком стучало в груди. Когда же Ясь в другой комнате занимался с сестрами, она, притаив дыхание, слушала звуки его голоса, как дивную музыку, и раз даже мать его это заметила.

— Что ты так прислушиваешься?

— Уж очень мудрено пан Ясь говорит, ничего не понять!

— Вот чего захотела! — снисходительно усмехнулась органистиха. — Ведь он не в простой школе учится! — И она завела бесконечный разговор о сыне. Старуха благоволила к Ягне и охотно приглашала ее, потому что Ягна всегда готова была помочь во всякой работе и притом частенько приходила не с пустыми руками: то груш принесет, то ягод, а иногда и брусок свежего масла. Ягуся слушала ее рассказы о сыне всегда с одинаковым интересом, но как только Ясь уходил из дому, она тоже спешила уйти — будто бы к матери. Она любила издали следить за Ясем и не раз, притаившись во ржи или за деревом, подолгу смотрела на него с нежностью, взволнованная до слез.

Но милее всего были ей короткие, жаркие и светлые ночи. Как только мать засыпала, она

выносила свою постель в сад, ложилась на спину и, глядя в небо, мерцавшее меж ветвями, мечтала. Знойное дыхание ночи касалось ее лица, звезды заглядывали в ее широко открытые глаза, голоса благоуханной темноты, полные волнующего сладострастия, прерывистый шепот листьев, сонное жужжание каких-то насекомых, шорохи, похожие на затаенные вздохи, какие-то зовы, словно идущие из-под земли, и чей-то беспокойный смех — все это вливалось в ее уши странной музыкой, пронизывало жаркой дрожью, спирало дыхание в груди и наполняло такой истомой, что она падала тяжело, как зрелый плод, на холодную росистую траву и лежала неподвижно, полная священной, животворящей силы, подобно зреющим нивам, подобно отягощенным плодами ветвям, или спелой пшенице, готовой отдаться серпам, или хотя бы птицам, или ветрам, потому что истомилась она в ожидании.

Так проводила Ягуся короткие светлые ночи и знойные, душные дни июля, и они пролетали, как сладкие, всегда желанные сны.

Она ходила, как во сне, едва отличая день от ночи.

Доминикова чувствовала, что с дочкой творится что-то странное, но, не зная, в чем дело, только радовалась ее неожиданной набожности.

— Поверь мне, Ягусь, кто с Богом, с тем Бог! — твердила она ласково.

Ягуся только усмехалась, полная тихого счастья и покорного ожидания.

Как-то днем она совсем нечаянно наткнулась на Яся. Он сидел под межевой насыпью с книжкой. Отступить было уже поздно, и она остановилась перед ним, вся вспыхнув от смущения.

— Что вы тут делаете? — бессвязно пробормотала она, опасаясь, не догадывается ли Ясь о чем-нибудь.

— Сядьте. Вы, видно, очень устали.

Она стояла в нерешимости, но Ясь потянул ее за руку, и она села рядом с ним, торопливо пряча под юбку босые ноги.

Ясь тоже казался смущенным и как-то беспомощно озирался по сторонам.

В поле было пусто, из-за хлебов далекими островками маячили крыши липецких хат и сады. Ветер тихонько играл колосьями, пахло рожью и чебрецом, нагретыми солнцем. Какая-то птица пролетела над их головами.

— Ужасно жарко сегодня! — сказал Ясь, чтобы начать разговор.

— Да и вчера пекло здорово!

Радость и страх сжимали Ягусе горло, и она с трудом вымолвила эти слова.

— Не нынче-завтра жать начнут.

— Да, наверное... — подтвердила она, вскинув на него глаза.

Ясь улыбался и пробовал говорить непринужденно, даже шутливо.

— А вы, Ягуся, хорошеете с каждым днем!

— Какая уж моя красота! — Она зарделась, глаза ее потемнели, губы дрогнули улыбкой затаенного счастья.

— Вы, Ягуся, вправду не хотите замуж идти?

— И думать не думаю! Мне и одной хорошо.

— Неужели вам никто не нравится? — спрашивал Ясь осмелев.

— Никто, никто! — Она отрицательно затрясла головой, не сводя с Яся мечтательных глаз. Ясь наклонился ближе, заглянул глубоко в их голубую бездну. Он прочел в них молитвенный восторг, великую радостную веру в него, страстный крик беззаветно полюбившего сердца. Душа в ней трепетала, как солнечные искры над полями, как песня птицы высоко над землей.

Ясь отодвинулся с какой-то непонятной ему самому тревогой, провел рукой по глазам и встал.

— Ну, мне пора домой! — Он кивнул Ягусе на прощанье и побрел по широкой меже к деревне, то читая на ходу свою книгу, то блуждая взглядом вокруг. Немного погодя он оглянулся и остановился. Ягуся шла позади, в нескольких шагах от него.

— Мне тоже этой дорогой ближе, — сказала она смущенно, как бы оправдываясь.

— Тогда пойдемте вместе, — сказал Ясь не совсем охотно. Он опустил глаза на раскрытую страницу и, читая что-то вполголоса, медленно зашагал дальше.

— О чем тут написано? — спросила Ягуся робко, заглядывая в книгу.

— Если хотите, я вам немного почитаю.

Неподалеку стояло ветвистое дерево, Ясь сел в тени и начал читать. А Ягуся присела напротив и, подперев руками подбородок, слушала внимательно, не спуская с него глаз.

— Ну, нравится? — спросил Ясь через минуту, поднимая голову.

Она покраснела и, избегая его взгляда, сконфуженно пробормотала:

— Не знаю... Тут не про королей рассказывается, а?

Ясь только поморщился и опять начал читать, но уже медленнее и как можно внятнее. Читал о полях и хлебах, о какой-то усадьбе в березовой роще, о сыне помещика, вернувшемся домой, о паненке, сидевшей с детьми в саду... и все это было так складно, в стихах, точь-в-точь как те гимны, что поют с амвона, и шло прямо в сердце, не раз хотелось Ягусе вздохнуть, перекреститься и заплакать.

В тихом уголке, где сидели они с Ясем, было страшно жарко, вокруг стояла густая стена ржи, в которую вплетались васильки, полевой горошек и душистая повилка, и ни одно дуновение ветерка не охлаждало воздух. В знойной тишине по временам лишь шуршали колосья, чирикали в ветвях воробьи, жужжала летящая мимо пчела да звенел голос Яся, в котором слышалась Ягусе какая-то неизъяснимая нежность. Она смотрела на Яся, не отрываясь, как на прекрасную картину, и слышала каждое его слово, но жара ее разморила, и ее стало клонить ко сну. К счастью, Ясь перестал читать и заглянул ей в глаза.

— Красота какая, правда?

— Верно, что красота... как будто проповедь в костеле слушаешь.

У Яся даже глаза заблестели и на щеках выступил румянец, он стал с увлечением перечитывать ей те места, где говорилось о полях и лесах, но Ягуся его перебила:

— Да ведь и малый ребенок знает, что в лесах деревья растут, в реках вода течет, а на полях

сеют. Для чего же в книжках про это писать?

Ясь от удивления даже отодвинулся.

— А я люблю только рассказы про королей, и крылатых змеев, и про всякие страсти. Слушаешь — и мурашки даже по телу бегут, и как будто углей тебе наложили за пазуху! Когда Рох рассказывает про все это, я слушала бы его день и ночь. А у вас, пан Ясь, таких книжек нет?

— Да кто же станет читать такие глупости! — презрительно сказал глубоко возмущенный Ясь.

— Глупости! А ведь Рох и в книжках читал про это.

— Глупости он вам читал, все это враки!..

— Неужели такие чудеса выдумывали только для того, чтобы людей обмануть?

— Конечно, все это сказки и выдумки.

— Значит, и про полудниц неправда? И про змеев? — спрашивала Ягна все печальнее.

— Неправда, я же вам говорю! — нетерпеливо отрезал Ясь.

— Значит, и то неправда, что Иисус странствовал со Святым Петром?

Ясь не успел ответить — около них, словно из земли, выросла Козлова. Стояла и насмешливо смотрела на них.

— Да ведь пана Яся ищут по всей деревне! — сказала она сладеньким голоском.

— Что там случилось?

— В плебанию понаехали жандармы — целых три брички!

Встревоженный Ясь вскочил и опрометью побежал к деревне.

Ягуся пошла туда же, почему-то сразу помрачнев.

— Помешала я вам молиться, должно быть? — процедила Козлова, идя рядом.

— Какие там молитвы! Он мне из книжки разные истории читал... в стихах.

— Ишь ты... А я совсем другое думала!.. Органистиха меня послала его искать... бегу в эту сторону, гляжу туда, сюда, нет нигде... Осенило меня вдруг — заглянула под грушу, а они сидят да воркуют, как голубки... и место самое подходящее, от людских глаз далеко!

— Чтоб у тебя поганый язык отсох! — вспылила Ягуся и прибавила шагу.

— И будет кому грехи тебе отпустить! — язвительно крикнула ей вслед Козлова.

Х

Войдя в деревню, Ягуся сразу заметила, что случилось что-то серьезное: собаки громко лаяли, дети прятались в садах, осторожно выглядывая из-за деревьев и плетней, народ

возвращался с поля, хотя солнце стояло еще высоко, бабы собирались кучками и о чем-то шушукались, и на всех лицах читалась сильная тревога, во всех глазах — страх и ожидание.

— Что тут приключилось? — спросила она у дочки Бальцерка, выглянувшей из-за угла.

— Не знаю — говорят, со стороны леса солдаты идут.

— Господи Иисусе! Солдаты! — У Ягны подкосились ноги.

— А Клембов парнишка говорит, что из Воли казаки едут! — крикнула им, пробегая, дочка Прычеков.

Ягуся заспешила и домой пришла сильно встревоженная. Мать сидела на пороге с куделью, а около нее — несколько тараторивишх соседок.

— Я их видела, как вижу вас: сидят на крыльце, а старшие — в комнатах у ксендза.

— И Михала, племянника органиста, послали за войтом.

— За войтом! Ох, милые вы мои, значит дело нешуточное!

— А может, они приехали только недоимки собрать?

— Ну, вот еще, станет столько людей за этим делом приезжать. Нет, тут что-то другое!

— Что бы ни было, а добра не жди! Помяните мое слово!

— А я вам скажу, зачем они приехали, — объявила Ягустинка, подходя к ним.

Бабы сбились в кучку и, как гуси, вытянув шеи, с жадным любопытством приготовились слушать.

— Будут всех баб в солдаты брать! — Ягустинка залилась своим скрипучим смехом, но никто ей не вторил, а Доминикова сказала едко:

— У тебя одни только глупые шутки на уме!

— А вы из мухи слона делаете! Все зубами стучат от страха, а в душе рады переполоху. Велика важность, жандармы!

Во двор вкатилась Плошкова и начала рассказывать, как она увидела брички и тут ее словно что-то толкнуло — она сразу догадалась, кто едет.

— Тише! Глядите-ка, Гжеля и войт бегут в плебанию!

Все глаза устремились на другой берег озера, вслед бегущим.

— Эге, и Гжелю требуют!

Но они не угадали: Гжеля пропустил брата вперед, а сам оглядел стоявшие перед плебанией брички, порасспросил кучеров, присмотрелся издали к сидевшим на крыльце жандармам и в сильном беспокойстве помчался к Матеушу, работавшему у Стаха. Матеуш сидел верхом на стене почти достроенной избы, вырубая пазы для стропил.

— Что, еще не уехали? — спросил он, не прерывая работы.

— Нет. И беда в том, что неизвестно, зачем они приехали.

— От них добра не жди! — прошамкал старый Былица.

— А может быть, это из-за схода? Начальник на сходе грозил мужикам, а стражники уже в разных местах разноживали, кто бунтует Липцы, — сказал Матеуш, слезая вниз.

— Тогда, значит, они за мной! — шепотом промолвил Гжеля с беспокойством. Он побледнел и тяжело дышал.

— Мне думается, скорее за Рохом, — заметил Стах.

— А ведь верно — они о нем расспрашивали! И как это мне в голову не пришло! — Гжеля облегченно вздохнул, но в следующую минуту уже затревожился о Рохе и сказал грустно: — Да, уже если кого заберут, так Роха!

— Как же можем мы это допустить? Это все равно, что отца родного выдать! — воскликнул Матеуш.

— Да ведь против них не пойдешь, об этом и думать нечего!

— Надо его предостеречь, пусть где-нибудь спрячется, — сказал Былица.

— А может быть, тут что-нибудь другое? Может, это из-за войтовых делишек? — нерешительно вставил Стах.

— На всякий случай побегу, скажу ему! — крикнул Гжеля и нырнул в рожь, чтобы огородами прокрасться к Борынам.

Антек сидел на крыльце и клепал серпы на маленькой наковальне. Узнав, в чем дело, он в испуге вскочил:

— Старик только что пришел. Рох, идите-ка сюда! — крикнул он.

— Что такое? — спросил Рох, высунув голову из окна. Но не успели они ему ответить, как прибежал, запыхавшись, Михал, племянник органиста.

— Антоний, к вам жандармы идут! Они уже около озера!

— Это за мной! — ахнул Рох, печально понутив голову.

— Господи Иисусе! — вскрикнула стоявшая на пороге Ганка и громко заплакала.

— Тише ты! Надо что-нибудь сделать! — прошептал Антек, напряженно размышляя.

— Созову всю деревню, и не дадим вас, Рох! — горячился Михал, выламывая толстый сук и грозно вращая глазами.

— Не дури! Рох, за сеновал и в рожь, живей! Посидите где-нибудь в борозде, пока я вас не кликну. Скорее, пока не подошли!..

Рох заметался по комнате, сунул лежавшей в постели Юзе какие-то бумаги и шепнул ей:

— Спрячь под себя и не выдавай!

И, как был, без кафтана и шапки, выскочил в сад и как в воду канул — только за сеновалом зашумела рожь.

— Уходи, Гжеля! Ганка, займись своим делом. А ты, Михал, удирай и никому ни гугу! — командовал Антек, садясь и принимаясь опять за прерванную работу. Он клепал серп так же ровно и спокойно, как прежде, только поминутно рассматривал лезвие на свет и глаза у него бегали по сторонам. Лай собак приближался, а вскоре послышались и тяжелые шаги,

бряцание шашек и голоса.

У Антека заколотилось сердце, задрожали руки, но он продолжал клепать ровно, аккуратно, не поднимая глаз, пока жандармы не остановились перед ним.

— Дома Рох? — спросил войт, видимо, сильно перетрусивший.

Антек окинул взглядом всю компанию и неторопливо ответил:

— На деревне, должно быть, я его с утра не видал.

— Откройте! — гаркнул кто-то из жандармов, чином повыше.

— Да и так открыто! — ворчливо ответил Антек, поднимаясь.

Урядник и жандармы вошли в избу, а стражники остались караулить в саду и на дворе.

На улице собралась чуть не половина деревни — стояли молча и наблюдали. Жандармы переворошили весь дом, как копну сена, Антека заставляли все показывать и отпирать, а Ганка сидела у окна с ребенком на руках.

Поиски Роха, конечно, ни к чему не привели, хотя жандармы искали везде, не пропуская ни одного уголка, и один даже заглянул под кровать.

— Как же, сидит он там и ждет вас! — проворчала Ганка.

Урядник, увидев на столе под распятием какие-то книжки, набросился на них, как рысь, и начал внимательно просматривать.

— Откуда это у вас?

— Должно быть, Рох положил, вот и лежат.

— Боронова неграмотна, — пояснил войт.

— Кто из вас умеет читать?

— Никто, нас в школе так учили, что теперь никто в молитвеннике ни слова не разберет, — ответил Витек.

Урядник передал книжки жандарму и пошел на другую половину избы.

— Она что, хворает? — Он подошел к кровати Юзьки.

— Вот уж недели две лежит, оспа у нее.

Урядник поспешно отступил в сени.

— А он в этой комнате жил? — спросил он у войта.

— И в этой и где попало, как всякий нищий.

Обыскали все закоулки, даже за образа заглянули. Юзя следила за ними горящими глазами, дрожа от страха. Когда кто-то из них подошел поближе, она завизжала не своим голосом:

— Под себя я его спрятала, что ли? Ищите!

Когда обыск кончился, Антек подошел к уряднику и, кланяясь ему в пояс, смиренно спросил:

— А дозвоьте спросить: что, Рох этот украл что-нибудь?

Урядник близко заглянул ему в лицо и сказал внушительно:

— Если окажется, что ты его укрываешь, так вместе отправитесь, слышишь?

— Слышать-то слышу, да никак не пойму, в чем дело-то! — Антек озабоченно скреб затылок. Урядник пристально посмотрел на него и ушел в деревню. Они ходили и по другим хатам, заглядывали туда, сюда, опрашивали всех, кого возможно, и только когда зашло солнце и по всем улицам гнали скот с пастбищ, уехали, так ничего и не добившись.

Деревня вздохнула свободно, начались толки, каждый спешил рассказать, как делали обыск у Клембов, у Гжели, у Матеуша, и каждый, если верить ему, видел все лучше всех, меньше всех боялся и больше всего допекал жандармов.

Антек же, когда они с Ганкой остались одни, сказал ей тихо:

— Дело так обернулось, что нельзя нам больше держать его у себя.

— Как же так! Неужто выгонишь его, такого святого человека, благодетеля нашего?

— Эх, черт их возьми! — выругался Антек, не зная, что делать. К счастью, скоро пришли Гжеля и Матеуш, и они все втроем ушли совещаться в овин, так как в избу поминутно забегал кто-нибудь разузнать, как было дело.

Когда они вышли из овина, было уже совсем темно, Ганка подоила коров, а Петрик приехал из лесу. Антек тотчас выкатил брчку, а Гжеля и Матеуш, для отвода глаз, пошли по деревне якобы искать Роха.

Всех это удивляло, — каждый готов был присягнуть, что Рох прячется у Борыны.

— Нет, он сразу после обеда куда-то пропал, и с тех пор ни слуху ни духу! — сообщали всем оба приятеля.

— Повезло ему, не то он бы уже в колодках шаггал!

Гжеля и Матеуш добились своей цели — мигом разнеслась весть, что Рох еще в полдень ушел из деревни.

— Пронюхал и дал тягу! — радовались все.

— И пусть бы не приходил больше — нечего ему тут делать! — сказал старый Плошка.

— Мешал он вам? Обидел чем-нибудь? — проворчал Матеуш.

— А мало он тут баламутил? Мало вас бунтовал? Из-за него всей деревне не сдобровать.

— Что ж, поймайте его и выдайте!

— Если бы вы умнее были, так давно бы так сделали...

Матеуш обругал его и даже драться полез, его едва удержали.

Погрозив кулаком Плошке, он ушел, да и все стали расходиться по домам, потому что час был поздний.

Антек только того и ждал. Когда улицы опустели и люди засели в хатах ужинать, а из окон понеслись запах жареного сала, стук ложек и тихий говор, он привел Роха в комнату, где

лежала Юзя, не позволив зажечь там огонь.

Старик наскоро поел, собрал свои вещи и стал прощаться с женщинами. Ганка упала ему в ноги, а Юзя горько расплакалась.

— Оставайтесь с богом, авось еще когда-нибудь увидимся! — говорил Рох, обнимая их и отечески целуя в голову.

Антек торопил его, и он, благословив детей, пошел за сеновал, к перелазу.

— Лошади будут ждать у Шимека на Подлесье, а повезет вас Матеуш.

— Мне еще надо забежать кое к кому в деревне. Где мы встретимся?

— У креста около леса, сейчас туда пойдем.

— Вот и хорошо, мне надо еще о многом с Гжелей поговорить.

И он точно растворился в темноте, даже шагов не было слышно.

Антек запряг лошадей, положил в бричку четвертку ржи и мешок картошки, долго что-то объяснял Витеку, отведя его в сторону, потом сказал громко:

— Витек, отведи лошадей к Шимеку на Подлесье и вернись. Понял?

Мальчик только глазами блеснул, вскочил на козлы и помчался с такой быстротой, что Антек даже крикнул ему вслед:

— Потише, дьявол, лошадей мне испортишь!

Рох тем временем незаметно пробрался к Доминиковой, где лежали какие-то его вещи, и заперся там в спальне.

Енджик сторожил на улице, Ягуся то и дело выглядывала во двор, а старуха в комнате тревожно прислушивалась.

Рох вышел минут через десять, потолковал еще тихонько с Доминиковой и, вскинув узел на спину, собрался уходить. Ягуся стала настойчиво просить, чтобы он позволил ей донести узел хотя бы до леса. Он согласился, они вышли через сад в поле.

Шли полем медленно, осторожно и молча.

Ночь была светлая, звездная, земля спала в тишине, и только на деревне лаяли собаки.

Когда они уже подходили к лесу, Рох остановился и взял Ягну за руку.

— Ягусь, — сказал он ласково, — выслушай внимательно то, что я тебе скажу.

Она кивнула, дрожа от дурного предчувствия.

Рох заговорил с ней, как ксендз на исповеди. Корил ее за Антека, за войта, а больше всего за Яся. Просил и заклинал ее всем святым опомниться и жить по-иному.

Лицо Ягуси пылало от стыда, сердце сжималось от муки, но когда Рох заговорил о Ясе, она смело подняла голову.

— А что же я делала с ним плохого?

Рох стал ласково объяснять ей, каким соблазнам они оба подвергаются и до какого греха и

позора это может их довести.

Но она не слушала больше, только вздыхала и думала о Ясе, ее губы с безудержной, исступленной нежностью шептали его имя, а горящий взор летел куда-то в темноту, — к нему и птицей кружил над милой его головой.

— Да я пошла бы за ним на край света! — вырвалось у нее невольно, и Рох вздрогнул, заглянул в ее широко открытые глаза и умолк.

На опушке леса под крестом забелели кафтаны.

— Кто это? — Обеспокоенный Рох остановился.

— Это мы! Свои!

— Отдохну немного, ноги меня уже не держат, — сказал Рох и сел между ними. Ягуся опустила на землю узел и села в стороне, под крестом, в густой тени берез.

— Как бы у вас не было из-за меня новых неприятностей!

— Э, хуже всего то, что вы от нас уходите! — сказал Антек.

— Может, еще вернусь когда-нибудь...

— Проклятые! Травят человека, как бешеную собаку! — воскликнул Матеуш.

— А за что? Боже мой, за что? — вздохнул Гжеля.

— За то, что хочу правды и справедливости народу, — торжественно ответил Рох.

— Всем трудно жить на свете, а хуже всех — справедливому человеку.

— Не горюй, Гжеля, придут лучшие дни.

— На то и надеемся, страшно было бы думать, что все напрасно...

— Жди у моря погоды! — вздохнул Антек, глядя туда, где в темноте белело лицо Ягуси.

— А я вам говорю: кто вырывает сорную траву и сеет хорошие семена, тот соберет урожай, когда придет пора жатвы.

— А если не уродится? Ведь и так бывает?

— Бывает. Но каждый сеет с надеждой на богатый урожай.

— Ну, еще бы, кому охота напрасно трудиться!

Примолкли мужики, думая о словах Роха.

Пролетел ветер, и над ними зашелестели березы, глухо зашумел бор, пошел по полям шорох колосьев. Месяц бежал по небу, словно улицей, меж рядами белых облаков. От деревьев легли тени, обрызганные лунным светом. Козодои бесшумно кружили над головами. Неясная тоска щемила всем сердце.

Ягуся вдруг тихо заплакала.

— Что это ты? О чем? — спросил Рох с участием.

— Не знаю... грустно мне что-то!..

И всем было грустно, все сидели скучные, потухшими глазами смотрели на Роха. А он заговорил, и в голосе его звучала глубокая вера:

— Обо мне не тревожьтесь. Что я? Только песчинка один стебелек на широком поле. Ну, возьмут меня и загубят — так что же? Ведь таких, как я, останется много, и каждый готов отдать жизнь за общее дело... А настанет время — и будут таких тысячи, придут они из городов, придут из деревенских хат и усадеб и сложат головы, отдадут кровь свою, падут одни за другими, нагромоздятся, как камни, и на этих камнях воздвигнется святой долгожданный храм... Он будет, говорю вам, и пребудет вовеки, никакие злые силы не разрушат его, ибо вырастет он на жертвенной крови...

Рох говорил, что не пропадет даром ни одна капля крови, ни одна слеза, ни одно усилие, что, как хлеб на удобренной земле, постоянно рождаются новые борцы, новые силы, и придет священный день правды и справедливости для всего народа.

Он говорил горячо, а иногда так мудрено, что не все можно было понять, но сердца слушателей окрылились восторгом, и верой, и такой жаждой подвига, что Антек воскликнул:

— Ведите! Пойду! Пойду хотя бы на смерть!

— Все пойдем, а что станет нам на дороге — сокрушим!

— Да кто нас осилит, кто нас удержит? Пусть только попробует!..

Кричали все с таким воодушевлением и так громко, что Роху приходилось их унимать. Придвинувшись еще ближе, он стал объяснять, как все будет, когда наступит этот желанный день, и что им следует делать для того, чтобы он наступил поскорее.

Он говорил такие важные и неожиданные для них вещи, что они слушали не дыша, со смешанным чувством тревоги и радости, принимая каждое слово с сердечным трепетом. Ведь он открывал им рай, и глазам их представлялись уже несказанные чудеса, а души живила сладкая надежда.

— От вас зависит, будет так или нет. Это в вашей власти! — заключил Рох, порядком утомленный.

Луна спряталась за тучку, небо посерело, поля заволокло туманом. Тихо заговорил лес, и тревожно шуршали колосья, из окрестных деревень доносился лай собак. А мужики сидели молча, необычайно тихие, опьяненные тем, что слышали, такие торжественные, словно только что приняли великую присягу.

— Пора мне! — сказал Рох, вставая, и стал прощаться с каждым отдельно. Потом, помолясь на коленях, упал лицом на землю и заплакал, обнимая ее руками, как обнимают мать перед вечной разлукой.

Ягуся заплакала навзрыд, да и мужики украдкой утирали слезы.

Проводив его, они тотчас разошлись. В деревню возвращались только Антек и Ягуся, — остальные скрылись где-то около леса.

— Смотри никому не говори того, что слышала, — сказал Антек после долгого молчания.

— Я с новостями по соседям не бегаю! — гневно огрызнулась Ягуся.

— А главное, чтобы войт, сохрани бог, не узнал! — продолжал он сурово.

Ягна, не отвечая, пошла быстрее, но Антек догнал ее и шел рядом, то и дело поглядывая на

ее сердитое, заплаканное лицо.

Луна уже опять сияла над тополями, и они шли словно серебряной дорожкой, окаймленной причудливыми тенями деревьев. У Антека вдруг задрожало сердце, тоска раскрыла свои ненасытные объятия... Он придвинулся так близко, что, протянув руку, мог бы обнять Ягусю. Но он этого не сделал: не хватало смелости. Злое, презрительное молчание Ягуси удерживало его. И он только сказал резко:

— Ты так летишь, словно хочешь убежать от меня.

— Да, ты угадал. Увидит нас кто-нибудь — и опять сплетни пойдут.

— Или, может, спешишь к другому?

— А кто же мне запретит? Я вдова теперь.

— Недаром, видно, говорят в деревне, что ты метишь в экономки к одному ксендзу!

Ягна рванулась, как вихрь, и побежала от него. Из ее глаз жгучими потоками струились слезы.

## XI

Уже местами люди выходили с серпами, кое-где на взгорьях и косы сверкали. В тех деревнях, где поля были расположены в низинах, еще только готовились к жатве, но и там она должна была начаться со дня на день.

И в Липцах через несколько дней после бегства Роха начались усиленные приготовления. Спешно приводили в порядок решетки телег, разошедшиеся телеги мочили в озере, убрали овины, и они везде стояли настезь открытыми, кое-где в тени скручивали из соломы перевясла, и почти у каждой избы мужики клепали косы. Бабы пекли хлеб, готовили еду на дни страды, и такая была суматоха, как бывает в деревне только перед большим праздником.

К тому же в Липцы съехалось много народу из других деревень, и на дорогах и у мельницы было шумно, как на ярмарке. Мужики приехали, чтобы смолотить зерно, но, как назло, воды было мало, на мельнице работал только один жернов, да и то еле-еле. Мужики терпеливо ждали своей очереди, каждому хотелось смолотить до жатвы.

Немало народу толпилось и у дома мельника — покупали муку, крупу разную, а то даже и готовый хлеб.

Мельник лежал больной, но все делалось по его указке. Он кричал жене, сидевшей во дворе под открытым окном:

— Репецким не давай в долг ни на грош — они своих коров водили к ксендзову быку, а не к нашему, так пускай же ксендз им и муку в долг отпустит!

И не помогали ни просьбы, ни жалобы. Напрасно мельничиха просила за самых бедных — мельник заартачился и ни одному из тех, кто водил корову к ксендзу, не позволил отпустить в долг ни фунта муки.

— Понравился им бык ксендза, так пусть его доят! — выкрикивал он.

Мельничиха, которой тоже что-то сегодня нездоровилось, заплаканная и с подвязанной щекой, только плечами пожимала и тайком от мужа не одному давала в долг, сколько могла.

Пришла Клембова и попросила полчетверти пшена.

— Если заплатите сейчас, так берите, а в долг не дам ни крупинки.

Клембова сильно огорчилась: она, конечно, пришла без денег.

— Томаш за ксендза горой стоит, так пусть у него и крупы просит!

Клембова обиделась и сказала запальчиво:

— Конечно, он за ксендза стоял и будет стоять, а у вас ноги его больше не будет!

— Невелика печаль, не заплачем! Попробуйте молот в другом месте.

Клембова ушла озабоченная, потому что в доме не было ни гроша, и, наткнувшись на жену кузнеца, сидевшую у запертой кузницы, стала ей жаловаться на мельника и даже заплакала.

Но Магда сказала с усмешкой:

— Не горюйте, недолго ему царствовать!

— Да кто же справится с таким богачом?

— Как построят у него под самым носом ветряную мельницу, так шелковый станет!

Клембова и глаза вытаращила от удивления.

— Мой мельницу ставит. Сейчас только пошел с Матеушем в лес дерево выбирать. Будут ее строить на Подлесье, около креста.

— Ну, ну! Михал ветряную мельницу строит! Вот не думала, не гадала! А этому обдирале-мельнику так и надо, теперь спеси-то поубавится!

Повеселевшая Клембова быстро шла домой, но, увидев Ганку, стиравшую у избы, подошла к ней поделиться неожиданной новостью.

Антек, что-то мастеривший у телеги, услышал их разговор и сказал:

— Магда правду говорит: кузнец купил у помещика двадцать моргов на Подлесье и поставит там ветряную мельницу. Мельник взбесится от досады, но поделом ему, теперь мягче станет! Он уж всем тут так насолил, что его никто не пожалеет.

— А что, про Роха ничего не слыхать?

— Ничего, — Антек торопливо отвернулся.

— Странно это — третий день, как пропал человек, и неизвестно, что с ним.

— Да ведь он не раз уже куда-то уходил, а потом опять возвращался.

— А кто из ваших в Ченстохов идет? — спросила Ганка.

— Идет Евка моя с Мацюсем. Нынешний год из Липец немного народу собирается.

— И я пойду — вот стираю на дорогу одежду полегче.

— А из других деревень, говорят, много пойдет.

— Подходящее время выбрали — в самую страду! — проворчал Антек. Решению жены идти на богомолье он, однако, не противился, зная, по какому случаю она дала этот обет.

Поговорили еще о том о сем. Вдруг прибежала Ягустинка.

— Знаете новость? Час тому назад вернулся с военной службы Ясек!

— Терезкин муж? А она говорила, что он вернется только к осени.

— Я его сейчас видела. Глядит молодцом и говорит, что страсть как по своим стосковался.

— Хороший он мужик, только горячий и упрямый. А Терезка дома?

— Она лен у ксендза рвет и еще не знает, что ее дома ждет.

— Опять в Липцах заварится каша — ведь ему сейчас же все расскажут!

Антек внимательно слушал — эта новость его сильно заинтересовала, но в разговор он не вмешивался. Ганка и Клембова, искренно жалевшие Терезку, стали предсказывать ей тяжелую расплату за грех, но Ягустинка перебила их:

— Ну ее к чертям, такую справедливость! Уйдет какой-нибудь бычок на несколько лет, бог знает куда, жену одну оставит, а потом, если с ней, бедняжкой, грех случится, он готов ее со свету сжить. И все против нее! Где же тут справедливость? Мужики можно там гулять с другими, и никто про него худого слова не скажет! Ну, и дурацкие порядки на свете! Что же, разве баба — не живой человек, деревянная она, что ли? А если уж ей приходится отвечать, так пусть и любовник расплачивается, — вместе небось грешили! Отчего ему только утеха, а ей слезы, а?

— Милая моя, так уж испокон веков повелось, так оно и останется, — сказала Клембова.

— Останется людям на погибель, дьяволу на радость! Нет, я бы иначе постановила: взял кто-нибудь чужую жену — так пусть она с ним навсегда и остается, а не захочет он, потому что ему уже другая больше приглянулась, — дубиной подлеца, да и в острог!

Антек расхохотался, — уж очень его насмешила запальчивость Ягустинки. Она подскочила к нему и закричала:

— Вам это только смешно, да? Разбойники вы окаянные, вам каждая мила до тех пор, пока своего не добьетесь. А потом еще издеваетесь!

— Раскричалась, как сорока к дождю! — с досадой сказал Антек.

Ягустинка скоро умчалась в деревню и пришла только к вечеру заплаканная.

— Что это с тобой? — встревожилась Ганка.

— Насмотрелась на горе людское, даже в голове мутится! — выговорила Ягустинка сквозь слезы и всхлипывания. — Знаешь, Козлиха все выложила Ясеку!

— Все равно, не она, так другая ему рассказала бы — таких дел не скроешь.

— Верь мне, там у них страшное что-то готовится! Побежала я к ним — никого дома не было. Захожу сейчас — сидят оба и плачут, а на столе разложены подарки, что он ей привез. Господи, у меня даже мороз заходил по телу, как будто я в могилу заглянула. Ничего не говорят, только плачут. Мать Матеуша рассказала мне, как дело было, — у меня волосы

дыбом встали!

— Не знаете, он про Матеуша что-нибудь говорил? — с беспокойством спросил Антек.

— Зол на него, не дай бог! Матеушу это даром не пройдет.

— Не беспокойтесь, Матеуш у него прощения просить не будет! — гневно отозвался Антек и, не слушая больше, пошел на Подлесье предупредить друга.

Он застал его у Шимека. Матеуш и Настуся сидели на завалинке и о чем-то тихо беседовали. Антек отозвал его в сторону и рассказал о приезде Ясека.

Матеуш так и ахнул, а придя в себя, начал ругаться.

Они пошли в деревню. Матеуш хмурился и тяжело вздыхал.

— Вижу, что тебе нелегко. Жаль расставаться? — осторожно спросил Антек.

— Какое там, она мне давно костью поперек горла стоит. Нет, у меня другое на душе...

Антек удивился, но расспрашивать считал неудобным.

— О каждой жалеть — жизни не хватит. Попалась мне в лапы, я ее и взял — и всякий на моем месте сделал бы то же самое! Не беспокойся, натешился я, как пес в колодце! Сколько мне этого реву, да нытья, да жалоб пришлось наслушаться — на десятерых хватило бы! Убегал я — так она, как тень, за мной ходила. Пусть же теперь Ясек ею тешится! Нет, не любовницы у меня в голове, а совсем другое!

— Пора бы тебе жениться!

— Вот и Настка мне то же самое говорила.

— Девочек в деревне тьма, выбрать нетрудно.

— Я давным-давно себе одну облюбывал, — нечаянно вырвалось у Матеуша.

— Так зови меня в сваты да свадьбу справляй — хоть сейчас после жатвы.

Но Матеуш только нахмурился и опять заговорил о Ясеке, а разузнав все у Антека, стал рассказывать о хозяйстве Шимека и, как бы невзначай, упомянул, что Енджик под секретом говорил Настусе, будто Доминикова хочет судом требовать землю, которую Мацей завещал Ягусе.

— Что отец записал, того никто у нее не отымет. Земли я, конечно, не отдам, но честно заплачу, сколько она стоит. Сутяга эта старуха, хочется ей судиться!

— А правда, что Ягуся отдала запись Ганке? — осторожно спросил Матеуш.

— Что ж из того, ведь у нотариуса она отказа не подписывала?

Матеуш почему-то вдруг повеселел и уже не мог удержаться от соблазна поговорить о Ягусе — то и дело упоминал о ней и горячо ее расхваливал.

Антек, смекнув, наконец, что у него на уме, сказал едко:

— А ты слышал, что про нее опять говорят?

— Э, бабы всегда ее чернят.

— За Ясем, сыном органиста, бегают, говорят, как сука, — продолжал Антек настойчиво.

— А ты видел? — Матеуш даже побагровел от гнева.

— Я за ней не слежу, мне до нее дела нет, но другие видят каждый день, как они с Ясем сходятся то в лесу, то на меже.

— Вздуть бы одну-другую, так сразу бы сплетничать перестали!

— А ты попробуй! Может, испугаются и перестанут! — сказал Антек с расстановкой. Внезапная, мучительная ревность проснулась в нем, и мысль, что Матеуш может жениться на Ягусе, грызла его, как бешеная собака.

Он не отвечал ничего на вызывающие и часто неприятные замечания Матеуша, боясь выдать свою муку, но в конце концов не выдержал и, прощаясь, сказал с злой усмешкой:

— Кто на ней женится, у того свояков много будет.

Прятели расстались довольно холодно.

Пройдя несколько шагов, Матеуш тихо засмеялся.

"Должно быть, она его к себе не подпускает, вот он и злится и ругает ее. Ясь еще совсем мальчишка, пусть себе бегают за ним! Ее тянет к нему больше оттого, что он ксендз".

Матеуш рассуждал так снисходительно потому, что, выведав у Антека, как обстоит дело с дарственной записью Мацея, он окончательно решил жениться на Ягне. Он шел медленно, высчитывая в уме, сколько ему придется выплатить Енджику и Шимеку, чтобы остаться единственным хозяином на двадцати моргах.

— Старуха, правда, ведьма, но не век же она проживет.

Вспомнились ему Ягусины грешки — и это его немного расстроило.

— Ну, да все это — дело прошлое, а захочется ей новых шашней, так я из нее живо дурь вытрясу!

У плетня дожидалась его мать.

— Ясек вернулся, — встревоженно зашептала она. — Ему все рассказали!

— Тем лучше, не придется врать!

— Терезка уже несколько раз прибежала... грозит, что утопится...

— Ох, с нее станется... она и вправду может такое сделать! — в ужасе сказал Матеуш. Это его сильно взволновало, и, сев на пороге ужинать, он не мог проглотить ни куска, все только прислушивался, пытаясь угадать, что делается в соседнем саду, у Ясека. Беспокойство его росло, он отодвинул миску и, куря одну папиросу за другой, тщетно старался побороть внутреннюю дрожь, клял себя, клял всех женщин, пробовал посмеяться над всей этой историей, но страх за Терезку мучил его невыносимо. Он раза два порывался встать и пойти куда-нибудь на люди, но продолжал сидеть, ожидая неизвестно чего.

Было уже темно, когда он услышал чьи-то шаги, и прежде чем он сообразил, с какой стороны они слышны, Терезка повисла у него на шее.

— Спаси меня, Матеуш! Господи, я так ждала тебя, так ждала!

Он усадил ее рядом, но она опять прильнула к его груди, как ребенок, и с болью и отчаянием шептала сквозь лившиеся ручьем слезы:

— Ему уже все сказали! Я не думала, что он так скоро вернется... Я у ксендза работала... Прибегает кто-то и говорит... Я чуть не померла на месте... шла домой, как на смерть... а тебя дома не было... Пошла я тебя искать... И в деревне тебя не было. Ходила, ходила целый час, и пришлось все-таки идти домой... Вхожу... а он стоит посреди избы, белый, как стена... подскочил ко мне с кулаками: "Правду говори!.. правду!"

Матеуш даже затрясся и утер с лица ледяной пот.

— Я ему призналась... Врать уже не к чему... С топором на меня кинулся... Я думала — конец... и первая ему говорю: "Убей! Легче будет нам обоим!" А он и пальцем меня не тронул. Только поглядел в лицо, сел под окном да как заплачет!.. Иисусе Христе, хоть бы он бил меня, ногами топтал, ругал — мне бы легче было, легче... А он сидит и плачет! И что ж я, несчастная, теперь делать буду, что? Куда мне деваться? Спаси ты меня, Матеуш, а то в колодец брошусь либо что другое над собой сделаю. Спаси! — простонала она, упав ему в ноги.

— Чем же я тебе помогу, сиротинка, чем? — беспомощно бормотал Матеуш.

Терезка вдруг вскочила в диком порыве безумного гнева:

— Так зачем ты меня в грех ввел? Зачем обманывал?

— Тише, вся деревня сбежится!

Она опять кинулась к нему на шею и, осыпая поцелуями его лицо, обняв его со всей силой страха, любви и отчаяния, завывала:

— Ох, единственный ты мой, убей, только не гони от себя! Любишь? Любишь? Да обними же, приласкай последний разок, возьми ты меня к себе, не дай пропасть, не отдавай на муку, на погибель! Один ты у меня на всем свете, один... Оставь меня у себя, буду тебе служить, как верная собака, как батрачка!

Так молила она страстными словами, рвавшимися из самой глубины ее измученного сердца.

А Матеуш словно в тисках извивался и всячески увивал от решительного ответа. Стараясь успокоить Терезку ласками и поцелуями, он поддакивал всему, что она говорила, а в то же время оглядывался все тревожнее и нетерпеливее, потому что ему показалось, что Ясек сидит на плетне.

Терезка, поняв, наконец, горькую правду, оттолкнула его и закричала, хлеща его словами, как плетью:

— Врешь ты, как пес! Всегда меня обманывал, а теперь уж не проведешь! Боишься Ясека, вот и вертишься, словно угорь!

А я-то ему верила, как лучшему человеку на свете! Боже мой, Боже! А Ясек такой добрый, подарков мне навез, никогда худого слова мне не сказал, — и я так ему отплатила! Поверила такому обманщику, такому разбойнику, такому псу!..

— Ступай за своей Ягусей! — завизжала она вдруг, подскочив к нему с кулаками, — ступай, вы с ней хорошая пара — вор и потаскуха!

Она упала на землю, захлебнувшись страшным, безумным плачем.

Матеуш стоял над ней, не зная, что делать, мать его всхлипывала где-то у стены. Вдруг из сада вышел Ясек и, подойдя к жене, зашептал ей нежные, ласковые слова, и в голосе его дрожали слезы:

— Пойдем домой, пойдем, бедная ты моя! Не бойся, не обижу тебя, довольно ты за свой грех натерпелась. Пойдем, жена...

Он взял ее на руки и понес к перелазу, крикнув Матеушу:

— А тебе до смерти не прощу ее обиды — Бог мне свидетель!

Матеуш молчал. Стыд душил его, заливал сердце такой горечью, такой невыносимой тоской, что он помчался в корчму и пил всю ночь.

Обо всем этом мигом узнали в деревне. Люди немало дивились и с большим уважением отзывались о поступке Ясека.

— Другого такого днем с огнем не найдешь, — говорили растроганные женщины и сурово осуждали Терезку, которую горячо защищала одна только Ягустинка.

— Терезка не виновата! — кричала она везде, как только услышит, что нападают на Терезку. — Она еще сопливая девчонка была, когда Ясека забрали в солдаты, осталась одна-одинешенька, даже ребенка не было, — так и немудрено, что за столько лет соскучилась она без мужика. Ни одна не выдержала бы такого долгого поста. А Матеуш учуял и стал к ней подъезжать, лайковыми речами туманить, на музыку водить — вот и свел дурочку с пути!

— И суда на них нет, на греховодников! — вздохнула одна из баб.

— У него уже башка линяет, а все еще за бабами таскается.

— Холостой он, бедняга, так чем же ему поживиться, как не чужим? — шутили парни.

Но разговоры об этом скоро утихли — наступило время жатвы, дни стояли на редкость сухие и жаркие, на высоких местах рожь так и просилась под косу, созревал и ячмень. Каждый день кто-нибудь выходил в поле на разведки, а хозяева побогаче уже искали поденщиков.

Первым вышел в поле органист и поставил жать десятка полтора баб. Даже его жена и дочери взяли за серпы, а он только бдительно надзирал за всем. Ясь примчался после обедни, но недолго наслаждался работой в поле — как только наступила полуденная жара, мать прогнала его домой, боясь, как бы ему не напекло голову.

— Поищет тени у Ягуси, это ему на руку! — буркнула ему вслед Козлова.

Дома тоже было жарко, скучно, от мух не было житья, и Ясь пошел по деревне. Проходя мимо Клембов, он услышал из настезь открытой двери чьи-то глухие стоны.

Агата лежала в сенях у порога, а в избе не было ни души — вся семья ушла жать.

Ясь перенес Агату в комнату, положил на кровать и приводил в чувство, пока она не открыла залитые слезами глаза.

— Кончаюсь уж я, панич, — сказала она, улыбаясь, как разбуженный ребенок.

Ясь хотел бежать за ксендзом, но она удержала его за край сутаны.

— Пресвятая Дева мне сегодня сказала: "Готовься к завтрашнему дню". Значит, еще есть время, панич. Завтра!.. Благодарю тебя, милосердный Боже!

Она стонала все тише, с улыбкой сложила руки и, казалось, погрузилась в горячую молитву без слов. Ясь, понимая, что началась агония, побежал звать Клембов.

Он зашел к ней опять уже после полудня. Агата лежала на кровати в полном сознании, и сундучок ее стоял подле нее на лавке. Она холодеющими руками доставала из него все приготовленное на смертный час; чистую простыню и наволочки, бутылочку освященной воды, почти новое кропило и порядочный кусок свечи-громницы, образок Ченстоховской Божьей Матери и новую рубаху, добротную шерстяную юбку, чепец с пышной оборкой, платок и совсем новые башмаки, все это смертное приданое, которое она по крохам, нищенствуя, собирала всю жизнь. Она разложила все около себя на кровати, радуясь каждой вещи и хвалясь ею перед бабами, а чепец даже примерила и, поглядевшись в зеркальце, прошептала, сияя от счастья:

— Как хорошо! Я в нем на богатую хозяйку похожа!

Она наказала, чтобы на нее завтра с самого утра надели все эти сокровища.

Ей ни в чем не прекословили, ходили на цыпочках, стараясь, чем могли, скрасить ее последние минуты.

Ясь сидел подле нее до сумерек, читал вслух молитвы, а она повторяла их за ним, но каждую минуту засыпала с легкой улыбкой на губах.

Когда в доме уже ложились спать, она подозвала Томаша.

— Не бойся, я недолго буду вам тут мешать, — сказала она робко.

На другое утро ее одели, как она хотела, уложили на кровати Клембовой. Она сама следила, чтобы все было как следует, сама трясущимися руками взбила жиденькую перину, налила на тарелку святой воды, положила на нее кропило и, убедившись, что все сделано как полагается, попросила сходить за ксендзом.

Ксендз пришел, приготовил ее в последний путь и поручил Ясю оставаться при ней до конца, потому что сам он куда-то торопился.

Ясь, сидя у кровати, тихо читал требник, Клембовы тоже остались дома, а скоро прибежала Ягустинка и забила в угол тихо, как заяц. В комнате слышно было только жужжание мух, люди ходили бесшумно, как тени, тревожно поглядывая на Агату. Она была еще в сознании, прощалась с каждым, кто заходил в избу, а ребятишкам, толпившимся в сенях и под окном, роздала по медяку.

— Натe, помолитесь за Агату!

Потом замолчала и несколько часов не говорила ни слова.

Лежала "по-хозяйски", честь честью, на кровати и под образами, как мечтала всю жизнь. Лежала, полная тихой гордости, невыразимо счастливая. Шевелила молча губами, блаженно улыбалась и смотрела через окно в бездонное небо, в широкое поле, где уже звенели и сверкали косы и ложилась спелая, тяжелая рожь. Смотрела еще дальше, на что-то, видимое только ее отлетающей душе.

И вот в час, когда день уже клонился к концу и комнату заливало красное пламя заката, она вдруг сильно вздрогнула, села на постели и, протянув вперед руки, воскликнула громко, не своим голосом: "Пора уже мне, пора!" — и упала навзничь.

В избе зазвучали рыдания, все встали на колени у кровати, Ясь начал читать отходную, Клембова зажгла свечу. Умиравшая повторяла за Ясем слова молитвы, но все тише, все

слабее, язык у нее заплетался, глаза меркли, как этот летний день, истомленный зноем, лицо покрывала мгла вечной ночи. Свеча выпала из рук Агаты, и она умерла.

Амброжий, подоспевший в последнюю минуту, закрыл ей глаза. Люди приходили помолиться у ее тела и завидовали такой легкой и счастливой кончине.

Только Ясь, заглянув в ее мертвые глаза и лицо, застывшее, серое, как земля, изрытое когтями смерти, испытал такой ужас, что убежал домой, бросился на постель и, зарывшись лицом в подушки, плакал.

Ягуся побежала за ним и, сама потрясенная ужасом и жалостью, стала его успокаивать и утирать заплаканное лицо. А Ясь прижался к ней, как к матери, положил голову к ней на грудь и, обняв ее за шею, захлебываясь слезами, бормотал:

— Боже мой, как это страшно, как страшно!

В комнату вошла его мать и, увидев эту картину, пришла в ярость:

— Это еще что такое? — зашипела она, с трудом сдерживая себя. — Ишь, какая нашлась утешительница! Ясю нянька не нужна, сам может нос себе утирать!

Ягуся подняла на нее заплаканные глаза и, дрожа от волнения, начала рассказывать о смерти Агаты. Ясь тоже торопливо принялся объяснять матери, что с ним было, но органистиха, которой уже достаточно наговорили кумушки, заорала на него:

— Глуп ты, как теленок! Молчи лучше, а то и тебе достанется!

Она подскочила к двери, распахнула ее и крикнула Ягусе:

— А ты убирайся вон, и чтоб ноги твоей здесь больше не было, не то собак натравлю.

— Да в чем я виновата? В чем? — бормотала Ягуся, обомлев от стыда и горя.

— Пошла вон сию же минуту! Я не буду плакать из-за тебя, как Ганка и войтова жена! Я тебе покажу шашни заводить, бесстыдница, попомнишь ты меня, шлюха! — кричала она во весь голос.

Ягуся, громко плача, выбежала на улицу и помчалась куда глаза глядят.

А Ясь стоял, как пораженный громом.

## XII

В первую минуту он хотел бежать за Ягусей.

— Куда! — грозно крикнула мать, загораживая дверь.

— Почему вы ее выгнали, за что? За то, что она так ко мне добра! Это несправедливо, я этого не допущу! Что она плохого сделала? — кричал Ясь в странном волнении, вырываясь из крепких рук матери.

— Сядь смиренно, иначе отца позову! За что? А вот я тебе сейчас скажу: ты будешь ксендзом, и я не хочу; чтобы в моем доме ты завел себе любовницу! Не хочу дожить до такого стыда и срама, видеть, как люди на тебя пальцами указывают! Вот потому я ее и выгнала. Понял

теперь?

— Господи помилуй, что это вы, мама, говорите, — ахнул Ясь, глубоко возмущенный.

— Знаю, что говорю! Думаешь, мне не было известно, что ты с ней встречаешься? Но, видит бог, я ничего дурного не подозревала. Я всегда думала, что если мой сын надел одежду священника, он никогда не позволит себе ее запятнать! Да я бы тебя навеки прокляла и вырвала из своего сердца, хотя бы оно у меня кровью обливалось! — Глаза ее засверкали так грозно и неумолимо, что Ясь оцепенел от страха. — Спасибо, Козлова мне глаза открыла, да я теперь и сама вижу, до чего тебя хотела довести эта дрянь!

Ясь горько заплакал и сквозь всхлипывания, жалуясь на эти ужасные обвинения, с такой искренностью рассказал о всех своих встречах с Ягусей, что мать ему поверила и, обняв его, стала успокаивать.

— Не удивляйся, что я за тебя испугалась, — ведь хуже этой дряни нет никого во всей деревне!..

— Ягуся хуже всех в деревне? — Ясь ушам своим не верил.

— Хоть стыдно мне и говорить про это, но я тебе все расскажу.

И она принялась рассказывать ему все, что слышала об Ягусе, не скупясь при этом и на всякие измышления.

У Яся волосы дыбом встали. Он вскочил и крикнул:

— Неправда это, ни за что не поверю, что Ягуся такая! Никогда...

— Мать тебе это говорит, понимаешь? Не из пальца же я высосала!

— Все выдумки и больше ничего! Ведь это было бы ужасно! — Он в отчаянии всплеснул руками.

— А что это ты так горячо ее защищаешь, а?

— Я защищаю всякого, кто не виноват.

— Глуп ты, как баран, — рассердилась мать, сильно уязвленная его недоверием.

— Думайте, как хотите. Но если Ягуся такая скверная, зачем вы позволяли ей бывать у нас?  
— петушился Ясь.

— Я перед тобой оправдываться не намерена, если ты так глуп, что ничего не понимаешь! Но предупреждаю: держись от нее подальше, потому что, если я вас где-нибудь застану вместе, так на глазах у всей деревни задам ей такую баню, что она меня долго будет помнить! Да и тебе достанется...

Она ушла, яростно хлопнув дверью.

А Ясь, не отдавая себе отчета, почему его так волнуют сплетни о Ягусе, долго пережевывал слова матери, давился ими, как колючими шипами, насыщая душу их полынной горечью.

— Так вот ты какая, Ягуся! Вот какая! — твердил он с горестным укором. И, явись она в эти минуты, он отвернулся бы от нее с гневом и презрением. Мог ли он даже подозревать такие ужасные вещи?

Он думал о них все с большей мукой и сто раз вскакивал, порываясь бежать к Ягне, бросить

ей в глаза весь этот длинный перечень обвинений. Пусть знает, что говорят о ней, и пусть опровергнет это, если может... пусть скажет громко, что это неправда!

Так думал Ясь и метался, как в лихорадке. Но чем дальше, тем больше верил он в невинность Ягуси, и ему все больше становилось жаль ее. С тихой грустью вспоминал он их встречи, и солнечный туман бездумного счастья заволакивал глаза и томил сердце. Он вдруг вскочил и закричал, словно обращаясь ко всему свету:

— Неправда это! Неправда! Неправда!

За ужином он упорно смотрел в тарелку, избегая взглядов матери, и хотя разговор шел о смерти Агаты, он в него не вмешивался и все капризничал, не хотел есть, спорил с сестрами, жаловался на жару в комнате и, как только убрали со стола, побежал в плebанию. Ксендз сидел на крыльце с трубкой в зубах и толковал о чем-то с Амброжием. Ясь обошел их издали и, ходя взад и вперед под деревьями, уныло размышлял:

"А может быть, это правда? Мама не стала бы выдумывать!" Из окон плebании падал свет на цветник, вокруг которого играли собаки, весело ворча друг на друга. С крыльца доносился грубый голос:

— А ячмень в Свином Овражке смотрел?

— Смотрел, солома еще маленько зелена, но зерно уже сухое, как перец.

— Надо бы завтра облачения проветрить, они совсем залежались. Стихарь отнеси к Доминиковой, пусть Ягуся его выстирает. А кто это приводил сегодня к нашему быку корову?

— Из Модлицы кто-то. Мельник встретил его на мосту и хотел к себе переманить, обещал даже денег с него не брать, но мужик все-таки пошел к нам!

— И умно сделал — заплатит рубль и всю жизнь будет хороших коров иметь. Не знаешь, как там Клембы, собираются Агату хоронить?

— Да ведь она на похороны целых десять злотых им оставила.

— Значит, похороним ее с почетом, как хозяйку. Да, вот что: скажи братству, что воску на свечи я им продам. Завтра ты ступай с работниками в поле и подгоняй их, а то барометр что-то того... не было бы грозы!.. Когда же наши богомольцы идут в Ченстохов?

— Молебен заказали на четверг, так, наверное, сразу после него и двинутся.

Яся раздражал этот разговор, он отошел подальше, к низенькому плетню, отделявшему сад от пасеки, и стал прохаживаться по узкой, заросшей травой дорожке, задевая головой ветви, низко свисавшие под тяжестью яблок.

Вечер был душный, пахло медом и рожью, скошенной где-то за огородами. В жарком воздухе трудно было дышать. Обмазанные известкой стволы белели в сумраке, как саваны, развешанные для просушки. У озера сердито лаяли собаки, а из хаты Клембов доносилось заунывное пение.

Утомленный душевными волнениями, Ясь пошел, наконец, к дому. Вдруг откуда-то, как будто с пасеки, до него донесся сдавленный горячий шепот.

Он никого не видел, но остановился и слушал, притаив дыхание.

— Чтоб тебя!.. Пусти, не то закричу!

— Дурочка... чего вырываешься? Разве я тебя обижу?

— Еще услышит кто! Ой, бога побойся, ты мне ребра переломашь! Пусти!..

Петрик борынов и Марина, служанка ксендза! Ясь узнал их голоса и, усмехнувшись, пошел было дальше, но, сделав несколько шагов, вернулся на прежнее место и стал подслушивать. Он не понимал, что с ним, почему так сильно бьется сердце. Густые кусты и темнота скрывали Петрика и девушку, но Ясь все яснее слышал короткие, отрывистые, страстные слова — они вырывались, как языки пламени, и по временам после долгих пауз слышалось тяжелое, шумное дыхание и возня.

— ...такую самую, как у Ягуси, вот увидишь!

— Так я тебе и поверила! Я не дура... Ох, дай дух перевести!..

Зашуршали кусты, что-то тяжело шлепнулось на землю, но через минуту опять раздался прерывистый горячий шепот, заглушённый смех и звуки поцелуев.

— По ночам не сплю, все о тебе, Марысь... о тебе, милая ты моя...

— Ты каждой то же самое говоришь! Ждала я тебя до полуночи, а ты у другой был...

Ясь словно оглох и дрожал, как осиновый лист. Ветер пролетел по саду, закачались деревья и зашептались тихонько, как сквозь сон, а с пасеки сильно пахло медом, даже дух захватывало. Яся бросило в жар, что-то так сладко томило, что он потянулся и вздохнул, а на глаза набежали слезы.

— Я о ней столько же думаю, сколько об этих звездах... Она теперь Яся приворожила...

Ясь встрепенулся, прижался к плетню и слушал, дрожа все сильнее.

— Правда... каждую ночь к нему выходит... Козлова их в лесу застала...

Все закружилось вокруг Яся, в глазах потемнело, и он едва устоял на ногах. А там, в кустах, все слышались дразнящие звуки поцелуев, смех, шепот...

Ясь вихрем помчался прочь, цепляясь сутаной за кусты. Прибежал домой, красный, как рак, весь в поту. К счастью, никто не обратил на это внимания. Мать пряла у печки, тихо напевая "Все дела дневные наши", сестры вторили ей тоненькими голосами, подтягивал и Михал, чистивший костельные подсвечники, а отец уже спал.

Ясь заперся в своей комнате и засел за требник, но, хотя он упорно твердил латинские слова, в ушах у него еще звучал тот шепот, те поцелуи. В конце концов он уронил голову на молитвенник и поневоле отдался своим мыслям.

"Так вот оно что! — твердил он про себя с все возрастающим ужасом и сладостной дрожью. — Так вот оно что!"

Чтобы отвлечься от этих надоедливых мыслей, он взял требник подмышку и пошел к матери.

— Схожу, помолюсь над Агатой, — сказал он тихо и смиренно.

— Иди, иди, сынок, я попозже приду за тобой.

Она посмотрела на него ласково.

В избе у Клембов уже почти никого не было. Один Амброжий читал молитвы над умершей, тело которой накрыто было холстиной. Мерцала восковая свеча, вставленная в кружку, в

открытые окна заглядывали осыпанные яблоками ветви и светлая звездная ночь, а иногда — удивленное лицо любопытного прохожего.

Ясь стал на колени у свечи и так углубился в молитву, что и не заметил, как ушел домой Амброжий. Клембы легли спать в саду, и он остался один в избе. Пропели уже первые петухи, а он все молился. Хорошо, что мать о нем не забыла и пришла за ним.

Однако и дома Ясь не спал эту ночь. Как только он начинал дремать, перед ним вставала Ягуся, и он срывался с постели, протирая глаза и в испуге осматривался вокруг. Но он был один, весь дом был погружен в глубокий сон, из соседней комнаты раздавался храп его отца.

— Так, может быть, она оттого... — Ясь задумался, вспоминая ее горячие поцелуи, ярко блестящие глаза, дрожащий голос. — А я-то думал!..

Его передернуло от стыда, он соскочил с постели, отворил окно и, сев на подоконник, до самого рассвета размышлял и каялся в невольном грехе.

На другое утро, во время службы в костеле, он не смел поднять глаз на людей, но тем горячее молился он за Ягусю. Совершенно уверенный теперь, что она тяжкая грешница, он, однако, думая о ней, не испытывал ни негодования, ни отвращения.

— Что с тобой? Ты так вздыхал за обедней, что чуть свечи не погасли! — спросил у него ксендз в ризнице.

— Очень жарко в сутане! — пожаловался Ясь, торопливо отвернувшись.

— Привыкнешь, так будешь носить ее, как вторую кожу.

Ясь поцеловал у него руку и пошел завтракать. По дороге зашел к Клембам. В избе было душно, и такой тревогой наполнило его желтое, застывшее в улыбке лицо умершей, что он, перекрестившись, тотчас вышел... и — за порогом столкнулся лицом к лицу с Ягусей. Она шла с матерью и, увидев его, остановилась, но он прошел мимо, не сказав ни слова, даже не поздоровавшись, и только уже на улице невольно оглянулся. Ягуся стояла на том же месте и печально смотрела ему вслед.

Дома он не захотел завтракать, жалуясь на сильную головную боль.

— А ты пойди прогуляйся. Может быть, голова перестанет болеть, — посоветовала мать.

— Куда же я пойду? Вы сейчас же бог знает что подумаете!

— Ясь, что ты болтаешь!

— Да ведь вы мне не даете шагу ступить, вы мне запрещаете даже разговаривать с людьми! Ведь вы... — он вымещал на матери свое раздражение. Кончилось тем, что она обвязала ему голову полотенцем, смоченным в уксусе, уложила спать в темной комнате и, прогнав всех детей во двор, стерегла его, как наседка цыплят, пока он хорошенько не выспался.

— А теперь ступай гулять. Иди под тополя, там тень и прохладно.

Ясь ничего не ответил, но, зная, что мать зорко следит за ним, назло ей пошел в другую сторону. Он шатался по деревне: постоял в кузнице, наблюдая, как кузнец работает молотом, зашел на мельницу, бродил по огородам, заглядывал туда, где убивали лен, да и повсюду, где только краснели юбки баб, посидел на меже с паном Яцеком, который пас коров Веронки, напился молока у Шимека и Настуси на Подлесье и вернулся в деревню только в сумерки, так нигде и не встретив Ягуси.

Он увидел ее на другой день, на похоронах Агаты. Все время, пока служили панихиду, она так смотрела на него, что буквы прыгали у него перед глазами и он путал слова молитвы. А когда провожали гроб на кладбище, Ягуся, несмотря на грозные взгляды органистики, шла почти рядом с Ясем, и, слыша ее печальные вздохи, он таял, как снег на вешнем солнце.

Когда гроб опускали в могилу и бабы заголосили, Ясь услышал и ее горький плач, но понял, что не по Агате она так плачет, а от тяжелой муки наболевшего, обиженного сердца.

— Надо с ней поговорить, — решил он, возвращаясь с кладбища. Но он нескоро освободился: с полудня начали съезжаться в Липцы люди из дальних деревень и даже из других приходо́в, все те, кто хотел идти в Ченстохов. Богомольцы должны были двинуться в путь на другое утро, сразу после торжественного молебна, и вот они понемногу собирались, запрудили своими телегами берега озера. Многие приходили в плебанию, и Ясю пришлось сидеть там и улаживать вместо ксендза всякие дела. Уже под вечер, улучив минуту, он взял книжку и незаметно вышел в поле, за овины, под ту грушу, где не раз сиживали они с Ягусей.

Конечно, в книгу он и не заглянул, бросил ее в траву и, осмотревшись, прыгнул в рожь. Крадучись, чуть не ползком пробрался он на огород Доминиковой.

Ягуся окучивала картошку. Не подозревая, что кто-то на нее смотрит, она часто выпрямлялась усталым движением и, опершись на лопату, печальными глазами смотрела куда-то вдаль, тяжело вздыхая.

— Ягуся! — робко окликнул ее Ясь.

Она побледнела как полотно, застыла на месте, едва веря глазам. Ей вдруг стало нечем дышать. Она смотрела на Яся, как на чудное видение, счастливая улыбка заиграла на ярко заалевших губах и, как солнце, озарила лицо.

У Яся тоже блестели глаза, а сердце словно медом налилось. Он молчал и, присев на грядке, смотрел на Ягусю с удивительной нежностью.

— А я боялась, что никогда уже больше не увижу вас, пан Ясь.

Словно благоуханный ветер повеял с лугов и ударил в лицо Яся. Он даже голову опустил — таким несказанным счастьем отдавался в его душе этот голос.

— А вчера у хаты Клембов пан Ясь и не посмотрел на меня...

Она стояла перед ним, от волнения порозовев, как цветущий куст шиповника, нежная, как яблоневый цвет, изнемогающий от зноя, невыразимо прелестная.

— А у меня чуть сердце не разорвалось! Думала — с ума сойду!

Слезы алмазами засверкали у нее на ресницах.

— Ягуся! — вырвалось у него из глубины сердца.

Она стала на колени в борозде, устремив на него взор, синий, как небо, и, как небо, бездонный, опьяняющий, как поцелуй, как прикосновения любимых рук, полный соблазна и в то же время детски невинный.

Ясь задрожал и, словно защищаясь от ее чар, начал резко упрекать ее, перечисляя все ее грехи, о которых он слышал от матери. А Ягна, не отводя от него глаз, упивалась каждым звуком его голоса, каждым словом, но смысл этих слов не доходил до нее: она сознавала только одно — что сидит около нее тот, кто ей милее всех на свете, и что-то говорит, и глаза у него горят, а она стоит перед ним на коленях и молится на него с той безграничной верой,

которую рождает только любовь.

— Скажи, Ягуся, что все это неправда! Скажи! — умолял Ясь.

— Неправда! Неправда! — подтвердила она так искренно, что он сразу ей поверил, не мог не поверить. А она припала грудью к его коленям и, глядя в глубину его глаз, шепотом призналась в своей любви к нему. Как на исповеди, открыла перед ним душу, бросила ее к ногам любимого, как заблудившуюся птицу, вся отдавалась в его власть, на его милость и немилость.

Ясь затрепетал, как лист под бурей, хотел оттолкнуть Ягусю и бежать, но только шептал, как в бреду, замирающим голосом:

— Молчи, Ягусь, этого нельзя, грех это! Молчи!

Наконец, она умолкла, обессиленная.

Не смея взглянуть друг другу в глаза, они сидели молча, так близко, что каждый слышал, как бьется сердце у другого, ощущал его жаркое, тихое дыхание. И было им удивительно хорошо и радостно, по бледным лицам текли слезы, а красные губы смеялись.

Солнце зашло, землю золотой росой заливал свет зари, все притихло, словно заслушалось вечернего звона колоколов и возносило благодарственную молитву отошедшему благодатному дню.

Ягуся и Ясь шли полями, осыпанными пылью последних лучей солнца, шли по каким-то межам, густо поросшим цветами, шли среди созревших хлебов, погружая руки в колосья, шли, глядя на пламеневший закат, в золотые просторы неба, с небом в душе и с небом в глазах.

Они не обменялись больше ни словом, и только порой скрещивались, как молнии, их взгляды, ослепшие от внутреннего жара, ничего не видящие.

Они не сознавали, где они, куда идут и зачем.

И вдруг обрушился на их головы резкий и решительный голос:

— Ясь, домой!

Ясь вмиг отрезвел. Они стояли на дороге под тополями, а перед ними — его мать с грозным и неумолимым видом. Он что-то бессвязно забормотал.

— Ступай домой!

Она взяла его за руку и сердито потащила за собой, а он шагал покорно, не думая сопротивляться.

Ягуся шла за ними, как замороженная. Вдруг органистиха подняла с земли камень и со страшной злобой швырнула в нее.

— Пошла прочь! В конуру, сука! — крикнула она с презрением.

Ягуся оглянулась кругом, не понимая, к кому это относится, и, когда они скрылись из виду, долго еще бродила по дорогам.

Когда дома все уснули, она вышла и до утра сидела на завалинке.

Часы шли за часами, пели петухи, ржали лошади у телег над озером. Потом рассвело,

деревня просыпалась — шли по воду, выгоняли скот на пастбище, некоторые уже выезжали в поле работать, тараторили бабы, капризно плакали дети. А Ягуся все сидела на одном месте и с открытыми глазами грезилась о Ясе. Опять она разговаривала с ним, и они близко смотрели друг другу в глаза, опять шли куда-то вдвоем — и так все время одно и то же, одно и то же...

От этого дивного сна наяву разбудила ее мать, а главное — Ганка, которая пришла, уже одетая в дорогу, и несмело протянула ей руку в знак примирения.

— Я в Ченстохов иду, так уж прости меня, в чем я перед тобой согрешила.

— На добром слове спасибо, но обида обидой останется! — проворчала старуха.

— Что старое поминать! Прошу я вас от чистого сердца: простите меня!

— Я на тебя больше уже не гневаюсь, — вздохнула Доминикова.

— И я тоже нет, хоть немало я натерпелась! — сказала Ягуся серьезно и, услышав звон "сигнаурки", ушла в избу одеваться, чтобы идти в костел.

— А знаете, с нами идет и органистов Ясь, — помолчав, сказала Ганка.

Услыхав эту новость, Ягуся выбежала на крыльцо полуодетая.

— Мне сейчас только мать его говорила, что он непременно хочет идти в Ченстохов. Что ж, веселее нам будет с молодым ксендзом, да и почету больше. Ну, оставайтесь с Богом!

Ганка дружески простилась с ними и пошла к костелу, по дороге рассказывая всем новость. Люди, конечно, удивлялись, и только Ягустинка покачала головой и сказала тихо:

— Тут что-то есть! Не по доброй воле он идет, нет!

Но для толков и домыслов не оставалось времени, потому что половина деревни собралась уже в костеле, и ксендз начал служить молебен о благополучном странствии.

Ясь, как всегда, прислуживал ему. Лицо у него было бледное, измученное, а глаза, обведенные синими кругами, еще блестели от слез, и, как сквозь туман, видел он все вокруг: Терезку, которая в продолжение всей службы лежала расprostертая перед алтарем, испуганные глаза Ягуси, свою мать, сидевшую на скамье помещика, причащавшихся богомольцев.

Все это смутно мелькало перед ним сквозь еле сдерживаемые слезы, заслоненное горем, терзавшим его сердце глубокой, смертельной грустью.

Стоя в алтаре, ксендз простился с уходящими, а потом, уже на площади, благословил их. Подняли хоругвь, заблестел впереди крест, кто-то запел, — и богомольцы тронулись в далекий путь.

Из Липец шли: Ганка, Марыся Бальцерек, жена и дочь Клемба, криворотый Гжеля, Терезка с мужем (эти двое дали обет всю дорогу не есть горячей пищи) и несколько коморниц. А вместе с богомольцами из других деревень собралось человек сто.

Провожали их всей деревней, позади ехали телеги, нагруженные узлами. Несмотря на ранний час, было уже жарко, солнце слепило глаза, и пыль туманом стояла в воздухе, так что люди шли, словно в серых облаках, которые не давали дышать.

Шла и Ягуся с матерью и другими. Она за эти дни страшно осунулась. Дрожа от душевной боли, глотая горькие слезы, она смотрела на Яся, как на солнце, — издали, потому что

мать и сестры не отходили от него ни на минуту, и не было возможности поговорить с ним или хотя бы подойти так близко, чтобы он увидел ее.

С ней заговаривал то Матеуш, то мать, то другие, но она не отвечала и думала только об одном: Ясь уходит от нее навсегда, она больше его не увидит никогда, никогда.

Под крестом у леса все распрощались с богомольцами, они с пением пошли дальше и скоро скрылись из виду, — только в солнечной дали над дорогой поднимались клубы пыли.

"Отчего? Отчего?" — стонала Ягуся, бредя за остальными в деревню.

"Сейчас упаду и умру!" — думала она, словно ощутив уже приближение смерти, и шла все медленнее, обессиленная жарой, усталостью и страшной тоской.

"Что же мне теперь делать?" — спрашивала она себя, глядя кругом, на этот день, такой пустой и мучительно яркий.

Она с нетерпением ждала ночи и тишины, но и ночь не принесла ей облегчения. До самого рассвета бродила она вокруг дома, по улицам, дошла даже до креста у леса, туда, где в последний раз видела Яся, и застывшими от муки глазами искала чего-то на широкой песчаной дороге — следов его, хотя бы тени, хотя бы клочка земли, на который ступала его нога.

Не было, не было нигде ничего, не было ей пощады и спасения!

Под конец уже и слезы иссякли, и опустошенные тяжким отчаянием сухие глаза зияли, как бездонные колодцы скорби.

И только иногда во время молитвы срывалась с запекшихся губ горькая жалоба:

— Да за что же это все, боже мой, за что?

### XIII

В доме Пачесей стало уж совсем невыносимо. Ягуся бродила, как помешанная, ничего вокруг не замечая, Енджик работал спустя рукава и все больше времени проводил у Шимека, и хозяйство Доминиковой пришло в полный упадок. Частенько коровы уходили на пастбище невыдоенные, свиньи визжали от голода, лошади ржали у пустых яслей. Полуслепая старуха не могла одна управляться со всем — ведь она ходила еще с повязкой на глазах, опираясь на палку.

Голова у нее шла кругом от забот. Еще бы! В поле, оставленном под пшеницу, навоз высох, и некому было его запахать, лен так и просился уже из земли, картошку пора было второй раз прополоть и окучивать, дрова в доме все вышли, инвентарь портился, а между тем наступала пора жатвы и работы хватило бы на десять рук, а она шла через пень-колоду. Доминикова даже коморницу наняла, и сама трудилась из последних сил, и детей заставляла работать, но Ягуся была глуха ко всем мольбам и увещаниям, а Енджик в ответ на ее угрозы дерзко огрызался.

— Вот брошу все и уйду куда глаза глядят! Выгнали вы Шимека, так работайте теперь сами! Он-то по вас не скучает — изба у него есть, и деньги есть, и корова, жена есть — хозяин что надо! — дразнил он мать, на всякий случай держась подальше.

— И в самом деле, разбойник этот дельно со всем управляется! — Доминикова тяжело вздохнула.

— Еще как управляется-то! Настуся, и та ему дивится.

— Надо бы кого-нибудь принанять... или работника взять? — вслух размышляла старуха.

Енджик почесал затылок и сказал робко:

— Да зачем же чужого человека брать, когда Шимек мог бы... стоит вам только слово сказать...

— Дурак! Не суйся, куда не просят! — прикрикнула на него старуха. Ее сильно угнетало сознание, что как ни вертись, а придется уступить и помириться с Шимеком.

Но больше всего тревожила ее Ягуся. Напрасно пыталась она выведать у дочери, что с ней. Енджик тоже ничего не знал, а спрашивать соседок она не решалась, боясь, что они ей наврут бог знает что. Целых три дня после ухода богомольцев в Ченстохов Доминикова терялась в догадках. Только в субботу днем, доведенная до отчаяния, она взяла подмышку жирного селезня и отправилась к ксендзу.

Вернулась она уже под вечер заплаканная, мрачнее осенней ночи. То и дело вздыхала, ни с кем не говорила, а после ужина, оставшись наедине с Ягусей, закрыла дверь и начала:

— Знаешь, что говорят про тебя и Яся?

— Я не люблю сплетни слушать! — недовольно сказала Ягуся, поднимая лихорадочно блестящие глаза.

— Любишь или нет, а должна бы знать, что от людей ничего не укроется! Хорошая слава лежит, а худая по свету бежит! О тебе бог знает что говорят!

И она подробно рассказала дочери все, что слышала от ксендза и жены органиста.

— В ту же ночь учинили над Ясем суд и расправу, органист его вздул, а ксендз от себя чубуком добавил, и, чтобы от тебя уберечь, отправили его в Ченстохов. Слышишь? Вот что ты наделала! — сердито кричала старуха.

— Силы небесные! Били его! Яся били! — Ягуся вскочила, готовая бежать к нему на помощь, но опомнилась и только простонала сквозь стиснутые зубы:

— Чтоб у них руки отсохли, чтобы их чума истребила!

Из ее покрасневших глаз струились горячие слезы, все раны сердца открылись, и оно обливалось кровью.

Но Доминикова, не обращая внимания на ее отчаяние, напоминала ей все ее грехи, ни одного не забыв, попрекала ее всем тем, что давным-давно терзало материнское сердце.

— Раз навсегда этому надо положить конец! Больше тебе так жить нельзя! — кричала она все запальчивее, хотя слезы текли из-под повязки на глазах. — Дождалась, что тебя считают хуже всех в деревне, пальцами в тебя тычут! Срам-то какой на мою старую голову, стыд какой, Господи!

— И вы, говорят, смолоду были не лучше! — злобно огрызнулась Ягна.

Мать так рассвирепела, что с трудом могла выговорить:

— Хоть святой будь — в покое не оставят!

И больше она уже не смела терзать Ягну попреками.

Ягуся принялась гладить. Вечер был ветреный, за окнами шумели деревья, по небу между мелкими облачками плыла луна. Где-то пели девушки и пиликала скрипка.

За окнами на улице послышался голос проходившей мимо жены войта:

— Как уехал вчера в волость, так и пропал...

— Они с писарем еще вчера вечером в город поехали. Солтыс говорит, что их вызвал к себе уездный начальник, — отвечал голос Матеуша.

Когда они прошли, старуха заговорила снова, но уже мягче:

— А почему это ты прогнала Матеуша?

— Потому что он мне надоел и нечего ему тут торчать. Я мужа не ищу!

— А пора бы уже поискать, пора! Тогда и люди судачить про тебя перестанут. Хоть бы и Матеуш — чем не жених? Мужик толковый, славный.

Долго еще она хвалила Матеуша, но Ягуся ни словом не отзывалась на все ее речи, занятая работой и своими печальными думами, и мать, наконец, оставила ее в покое и стала перебирать четки. На улице стихли все звуки, только деревья спорили с ветром да тархтела мельница. Была уже поздняя ночь, луна совсем потонула в облаках, и только края их кое-где загорались светлыми искрами.

— Ягусь, надо тебе завтра к исповеди пойти. Отпустят грехи, так легче станет.

— На что это мне? Не пойду!

— К исповеди пойти не хочешь? — От ужаса у Доминиковой даже голос охрип.

— Нет. Ксендз на расправу скор, а помочь никому не торопится.

— Молчи, покарает тебя Господь за такие грешные слова! А я тебе говорю: ступай к исповеди, покайся да Богу молись — авось тогда еще все переменится к лучшему.

— А чем я согрешила? В чем каяться-то мне? Мало ли я и так наказана? Это за любовь мою, за все муки вот какой я дождалась награды! Горше моей доли и на свете нет! — жалобно сказала Ягуся.

Не предчувствовала, бедная, что на нее обрушится нечто более страшное, нежданное и несправедливое.

На другое утро, в воскресенье, по деревне, как гром в ясном небе, прогремела весть, будто войт арестован за недостачу денег в кассе.

Трудно было сразу этому поверить, и, хотя чуть не каждый час кто-нибудь сообщал все новые и все худшие подробности, люди еще не принимали этого близко к сердцу.

— Выдумают, пустомели, что-нибудь, да и болтают для потехи, — говорили степенные мужики.

Однако пришлось поверить, когда вернулся из города кузнец и решительно все подтвердил, а в полдень Янкель сказал во всеуслышание:

— Все правда! В кассе недостает пяти тысяч, и у него заберут все хозяйство, а если и этого не хватит, придется Липцам за него доплатить.

Все всполошились ужасно. Еще бы, людей нужда заедает, сварить нечего, многие уже в долги влезли, чтобы как-нибудь дотянуть до нового урожая, а тут изволь платить за вора! Это уже превышало всякое терпение, и не удивительно, что вся деревня взбеленилась, и проклятия, угрозы, брань градом сыпались по адресу войта.

— Чтобы тебе, подлецу, околеть, как собаке!

— Я с ним вместе не крал, так и платить не буду!

— И я не буду! Он жил в свое удовольствие, гулял, а мы за него теперь отдувайся! — говорили мужики, расстроенные до слез.

— Давно я за ним следил и предсказывал, к чему дело идет. Не слушали, вот теперь радуйтесь! — с умыслом говорил старый Плошка, а жена ему помогала, рассказывая всем, кто только хотел слушать:

— Знаете, мой Антек уже подсчитал, что за пана войта придется платить по три рубля с морга! Ну, да за такого дружка не жаль и по десять заплатить!

И так это всех пришибло, что к обедне пошло совсем мало народу, остальные, собираясь во дворах, перед избами, а больше всего у озера, обсуждали новость, тужили и тщетно ломали головы над вопросом, куда войт девал такую уйму денег.

— Должно быть, обобрали его, не мог он один столько растратить!

— Он писарю доверял, а тот известно, что за птица.

— Жалко человека, нам он насолил, а уж себя и совсем загубил! — говорили иные степенные мужики, а толстая Плошкова с притворным соболезнаванием утирала сухие глаза и вздыхала:

— А мне так жаль его жену! Бедная, первой в деревне была, нос задирала, а теперь что? Избу отберут, землю продадут, и придется ей, несчастной, в чужом углу жить да на работу наниматься. И хоть бы попользовалась она этими деньгами!

— Вот еще! Мало она как сыр в масле каталась? — закричала Козлова. — Жили, сволочье, как помещики, каждый день мясо ели! Она полкружки сахару себе в кофе клала и чистую рисовую стаканами пили! Видела я, как Петр каждый раз привозил из города полную бричку всякой всячины. А с чего у них животы раздуло? Не от поста же!

К ее словам внимательно прислушивались, но под конец она уже стала плести всякий вздор. Зато слова жены органиста на всех произвели большое впечатление.

Она как будто случайно очутилась на улице и, послушав разговоры, сказала с притворным равнодушием:

— Ну вот, неужто не знаете, на что войт столько денег издержал?

Ее тотчас обступили и стали приставать, чтобы она сказала, что знает.

— Ясное дело: на Ягусю растратил все!

Этого никто не ожидал, и люди в недоумении переглядывались.

— Об этом уже с весны весь приход толкует! Я говорить не хочу, а вот спросите у кого-нибудь

из Модлиц, тогда узнаете правду.

И она хотела уйти, как будто боясь проговориться. Но бабы ее не пустили, приперли к плетню и так упрашивали, что она стала по секрету рассказывать им, какие войт привозил Ягусе кольца из чистого золота, шелковые платки, и тончайшее полотно, кораллы, и сколько денег ей давал! Все это, конечно, было чистейшее вранье, но органистихе свято поверили, и только одна Ягустинка сердито сказала:

— Врунам раздолье, — бреши, сколько хочешь! А вы это видели, пани?

— Видела и могу в костеле присягнуть, что он для нее крал, а может, она же его подговорила! Она на все способна, для нее нет ничего святого, ни стыда у нее, ни совести! Бегаёт по деревне и сеет только соблазн да горе! Даже Яся моего соблазнить хотела! Мальчик невинный, как ребенок, он от нее убежал и все мне рассказал. Ведь это ужас что такое — даже ксендза в покое не оставляет! — быстро говорила органистиха, задыхаясь от злости.

И, словно искра упала в порох, разом вспыхнули вдруг все давние обиды на Ягусю, зависть, злоба, ненависть к ней. Стали выкладывать в все, что у кого было в памяти, и поднялся невообразимый галдеж. Бабы орали, перебивая друг друга и все больше ожесточаясь:

— И как только такую земля носит!

— А из-за кого Мацей помер? Вспомните-ка!

— Всю деревню Бог покарает за нее, окаянную!

— И ксендза даже в грех хотела ввести! Господи помилуй!

— А сколько было из-за нее ссор, драк да сраму!

— Она позорит всю деревню! Из-за нее на Липцы уже пальцами указывают!

— Пока такая живет в деревне, постоянно будет распутство да грех: нынче войт украл для нее, завтра другой сделает то же самое!

— Кольями ее убить и собакам падаль бросить!

— Выгнать эту чуму из деревни на все четыре стороны!

— Выгнать! Одно спасение — выгнать! — вопили разъяренные бабы и вслед за органистической толпой повалили к жене войта.

Она вышла к ним с опухшим от слез лицом, такая несчастная, убитая горем, что бабы стали ее обнимать, плакать вместе с нею и жалеть ее от всего сердца.

Только через некоторое время органистиха напомнила ей о Ягусе.

— Истинная правда! Это она во всем виновата! — заголосила жена войта. — Она, эта потаскуха, эта чертовка! Чтоб ты околела под забором, чтобы тебя черви съели за мое несчастье, за мой позор! — Она упала на скамью, обливаясь слезами.

Бабы наплакались, на нее глядя, и разошлись по домам, так как солнце уже клонилось к закату. Осталась только жена органиста.

Запершись вдвоем в избе, они долго совещались и, видно, приняли какое-то серьезное решение, потому что еще до наступления сумерек побежали по избам и начали тайную работу.

К ним примкнули Плошки, подбили еще кое-кого и пошли все к ксендзу. Он выслушал их, но только руками развел и сказал:

— Я ни во что не вмешиваюсь! Делайте, что хотите, а я ничего не знаю и завтра рано утром на целый день уеду в Жарнов!

Вечером в деревне было очень беспокойно: совещались, спорили, шушукались. Когда совсем стемнело, собрались в корчме и опять начали судить да рядить, а органист угощал всех водкой. Здесь были самые видные хозяева и почти все замужние женщины. Совещание было в разгаре, когда Плошкова вдруг закричала:

— А где же Антек Борына? Вся деревня тут, а он первый хозяин в Липках, без него нельзя решать.

— Верно! Послать за ним! Обязан прийти! Без него нельзя! — заорали и другие.

— Может, он станет ее защищать, кто его знает, — шепнула одна из баб.

— Не посмеет против всей деревни идти. Коли все, так все!

Прибежавшему за Антеком солтысу пришлось стащить его с кровати, потому что он уже спал.

— Ты должен пойти и сказать, как думаешь. Не пойдешь, так будут кричать, что ты ее выгораживаешь и против всех идешь! Бабы не простят тебе старых грехов. Пойдем, с этим надо раз навсегда кончить.

И Антек, скрепя сердце, пошел, потому что нельзя было не идти.

В корчме яблоку негде был упасть. Органист стоял на скамье и под тихий ропот толпы говорил, словно проповедь читал:

— И другого средства нет! Деревня — что изба: вытащит один вор из-под нее бревно, другому захочется балку взять, а третьему — вынуть кусок стены, а в конце концов изба развалится и всех задавит. Запомните это хорошенько. Если каждому дозволим красть, ломать, вредить людям, распутничать, — так что же с деревней-то будет? Не деревня уж это тогда будет, а хлев дьявольский, стыд и позор для честных людей! Все ее будут издали обходить и креститься при одном упоминании о ней. Говорю вам: рано или поздно на такую деревню падет божья кара, как пала на Содом и Гоморру! И все погибнут, потому что все одинаково виноваты — и те, кто творит зло, и те, кто допускает, чтобы зло разрасталось. Святое писание учит нас: если согрешит рука твоя, отсеки ее, если соблазняет тебя око твое — вырви его и брось собакам! Ягна хуже чумы, потому что — сеет соблазн, грешит против всех заповедей и навлекает на деревню гнев божий! Выгоните ее, пока не поздно! Мера грехов ее уже переполнилась, и пришло время покарать ее! — ревел органист, как бык, и глаза его так и прыгали на багровом лице. — Да, да! Пора! Народ волен карать и награждать! Выгнать ее из деревни! Выгнать! — все громче вопили остальные.

Говорил еще брат войта, Гжеля, говорил старый Плошка, выкрикивал что-то Гульбас, но их почти не слушали, потому что все кричали разом. Жена органиста без устали рассказывала, как было дело с Ясем, войтиха тоже всем уши прожужжала, изливая свое горе, и шум стоял, как на ярмарке.

Только Антек молчал. Мрачнее тучи стоял он у прилавка, стиснув зубы, бледный от муки. Бывали минуты, когда ему хотелось схватить скамью и колотить ею по всем этим орущим ртам, топтать всех ногами, как мерзких червей. И так ему все опротивело, что онпил рюмку за рюмкой, то и дело сплевывал и тихо ругался.

К нему подошел Плошка и громко, на всю корчму, спросил:

— Все уже согласились, что Ягусю надо выгнать из деревни. Скажи и ты свое слово, Антоний.

В корчме внезапно наступила тишина. Все глаза были устремлены на лицо Антека, люди были почти уверены, что он будет протестовать, но Антек перевел дух, выпрямился и сказал громко:

— Я в деревне живу, значит с деревней должен заодно быть. Хотите ее выгнать — выгоняйте. А хотите на алтарь поставить — ставьте! Мне все равно.

Он отстранил рукой стоявших у него на дороге и, ни на кого не глядя, вышел.

После его ухода в корчме совещались еще долго, до самого рассвета, и утром уже все знали, что решено выгнать Ягусю из деревни.

За нее мало кто заступался, потому что таким не давали слова сказать. Один только Матеуш, ничего не боясь, ругал всех в глаза, проклинал всю деревню и, наконец, взбешенный до крайности, побежал за помощью к Антеку.

— Знаешь насчет Ягуси? — Матеуш был бледен, как мертвец, и весь дрожал.

— Знаю. Они имеют право... — коротко ответил Антек, умываясь у колодца.

— Чума их возьми с их правом! Это органиста работа! Неужели мы допустим такую несправедливость? В чем она виновата? То, в чем ее винят, — ложь, чистейшая ложь! Господи, выгнать человека, как бешеную собаку! Нельзя этого допустить!

— Что же, пойдешь один против всей деревни?

— Ты так говоришь, словно ты с ними заодно! — с гневным укором пробормотал Матеуш.

— Я ни с кем не заодно, а до нее мне никакого дела нет.

— Помоги, Антек, придумай что-нибудь. Господи, у меня в голове мутится! Ты подумай: что она будет делать, куда денется? Эх, сукины сыны, разбойники, волки проклятые! Схвачу топор и буду рубить направо и налево, а этого не допущу, не допущу!

— Ничем я тебе помочь не могу! Решили все, так что один человек сделает? Ничего.

— Ты на нее зол! — неожиданно крикнул Матеуш.

— Зол или нет, никому до этого нет дела, — сурово ответил Антек.

Прислонясь к колодцу, он смотрел куда-то в пространство. Мучительно переплелись в нем притаившиеся, но всегда живые любовь и ревность, и душа металась и стонала, как дерево в бурю.

Он обернулся. Матеуша уже не было, а деревня показалась ему вдруг чужой, ужасно шумной и стала ему противна.

Этот памятный день был какой-то необычайный. Бледное солнце медленно ползло по загроможденному грязными тучами, низко нависшему небу, было душно и жарко, каждую минуту налетал ветер и взметал на улицах пыль, надвигалась гроза, где-то над лесом уже как будто сверкали молнии.

И среди людей с утра поднялась буря. Все носились по деревне, как шальные, во всех избах

вспыхивали ссоры, у озера подрались какие-то бабы, непрерывно лаяли собаки, и почти никто не ушел в поле работать. Не выгнанные на пастбище коровы мычали в хлевах. Даже обедни сегодня ксендз не служил и уехал куда-то чуть свет. Суматоха все усиливалась, беспокойство росло с минуты на минуту.

Антек, видя, что перед домом органиста собирается толпа, вскинул косу на плечо и поспешно ушел на дальнее поле.

Ветер мешал работать, путая колосья и швыряя песок в глаза, но он косил упорно, вслушиваясь в отдаленный говор.

"Может быть, уже... — мелькнула вдруг мысль, и сердце молотом застучало в груди, гнев распрямил спину. Он хотел бросить косу и бежать на помощь, но вовремя опомнился: — Кто виноват, должен быть наказан... Пусть терпит, пусть..."

Рожь шурша клонилась к его ногам, хлестала его, как волны, ветер трепал волосы и сушил лицо, потное от мучительного волнения, глаза почти ничего не видели. В эти минуты он весь был там, подле Ягуси, и только твердые, привычные руки сами управлялись с косой, кладя ряд за рядом.

Ветер донес от деревни чей-то долгий, протяжный крик.

Антек выронил косу и сел под стеной ржи. Он, казалось, врос в землю, вцепился в нее изо всех сил, словно железными когтями, — и выдержал, не поддался, хотя взгляды его, как обезумевшие птицы, летели туда, к деревне, хотя сердце ныло в тревоге, хотя весь он дрожал от ужаса.

"Все должно идти своим чередом... Надо пахать, чтобы сеять, надо сеять, чтобы жать, а все, что мешает, вырывать, как вредную, сорную траву", — говорил в нем какой-то строгий, извечный голос, — может быть, голос самой земли. Он еще бунтовал, но слушал все покорнее.

"Да, каждый имеет право ограждать себя от волков!"

Еще мучили его последние остатки жалости, и мысли, как лютый секущий вихрь, поднимали его с места. Почти бессознательно он вскочил, наточил косу, перекрестился и принялся за работу. Валил колосья ряд за рядом, коса так и свистела в воздухе, и стонала под нею рожь.

А в деревне между тем настал страшный час суда и кары. Никакими словами не опишешь, что там творилось! Какое-то безумие охватило Липцы. Все рассудительные люди заперлись у себя в избах или убежали в поле, а остальные, собравшись у озера, орали все яростнее, словно охмелев от злобы, подзадоривая друг друга выкриками.

И через минуту вся деревня, как шумная река в половодье, хлынула к избе Доминиковой. Впереди шли органистиха и жена войта, а за ними с ревом валило все рассвирепевшее стадо.

Бурей ворвались в избу, так что задрожали стены. Доминикова загородила им дорогу, но ее сшибли с ног и затоптали, Енджик бросился к ней на помощь, но с ним в одно мгновение сделали то же самое. Наконец, Матеуш, вооружившись колом, пытался не допустить их к спаленке за перегородкой, грудью защищал дверь, но через несколько минут и он уже лежал у стены с разбитой головой, без сознания.

Ягуся была заперта в спальне. Когда вышибли дверь, она стояла, прижавшись к стене, и не защищалась, не издала ни одного звука. Она была бледнее мела, в широко открытых глазах горел мрачный огонь предсмертного ужаса.

Сто рук протянулись за ней, сто рук жадными когтями вцепились в нее со всех сторон, сорвали с места, как вырывают кустик из земли, и потащили на улицу.

— Связать ее, а то еще вырвется и убежит! — распорядилась жена войта.

На улице уже стояла наготове телега, до самого верху наполненная свиным пометом и запряженная двумя черными коровами. Ягусю связали, как барана, бросили на навоз и среди адского шума тронулись в путь. Оскорбительные прозвища, насмешки и проклятия сыпались на нее.

Перед костелом шествие остановилось.

— Надо ее раздеть догола и на паперти высечь розгами! — крикнула Козлова.

— Таких всегда секли перед костелом до крови! Берите ее! — визжали другие.

К счастью, ворота были заперты, а у калитки стоял Амброжий с ружьем ксендза в руках и, как только толпа остановилась, гаркнул во весь голос:

— Кто посмеет ступить на костельную площадь, застрелю, как бог свят! Убью, как собаку! — он держал ружье наготове, и взгляд его был так страшен, что толпа отступила и двинулась дальше, на дорогу под тополями.

Они спешили, так как гроза надвигалась и могла разразиться каждую минуту. Небо хмурилось все больше, ветер клонил тополя чуть не до земли, из-под ног летела пыль, засыпала глаза, и вдали уже слышались раскаты грома.

— Погоняй, Петрик, погоняй живее! — торопили все, с беспокойством глядя на небо. Толпа как-то притихла, рассыпалась в беспорядке по обочинам дороги, потому что посредине песок был очень глубокий, и только время от времени какая-нибудь баба из самых бешеных подскакивала к телеге и орала:

— Ты, свинья! Потаскуха! К солдатам ступай, негодница!

— Погуляла всласть, так нажрись теперь стыда, отведай горя! — издевались они над ней.

Работник Борын, Петрик, который взялся ее везти, так как никто другой не хотел, шел рядом с телегой, подхлестывая коров, и, улучив минутку, участливо шептал Ягусе:

— Уже недолго! Потерпи! Такая обида им даром не пройдет.

А Ягуся, связанная, в изорванной одежде, избитая до крови, опозоренная навеки, бесчеловечно униженная и невыразимо несчастная, лежала в навозе и словно не слышала, не сознавала, что делается вокруг, и только горячие слезы непрерывным потоком лились по ее обезображенному синяками лицу, да по временам в немом крике поднималась грудь.

— Скорее, Петрик, скорее! — все чаще раздавались возгласы в толпе. Люди как будто опомнились и хотели скорее все кончить. До межевой насыпи у самого леса они уже не шли, а бежали.

Подняли доски телеги и вместе с навозом, как мерзкую пададь, швырнули Ягусю на землю. Да так, что земля под ней загудела. Она упала навзничь и даже не шевельнулась.

Войтиха подбежала к ней и, пнув ногой, заверещала:

— Вернешься в деревню, так собаками тебя затравим!

Она подобрала не то комок земли, не то камень и изо всей силы швырнула в Ягусю:

— Вот тебе за моих детей!

— За позор всей деревни! — ударила ее другая.

— Пропади ты пропадом!

— Чтоб тебя земля не приняла!

— Чтоб ты подохла с голоду и жажды!

Били ее словами, летели в нее камни, комья земли, горсти песку, а она лежала неподвижно и смотрела на колыхавшиеся над ней деревья.

Внезапно стемнело, и полил крупный и частый дождь.

Петрик с телегой что-то замешкался около Ягуси, и, уже не дожидаясь его, люди кучками двинулись назад в деревню, как-то странно притихшие. На полдороге встретили Доминикову — она шла, вся в крови, в изорванной одежде, плача и с трудом нащупывая палкой дорогу, а, когда поняла, что за люди идут мимо нее, закричала страшным голосом:

— Чтоб вас чума задушила! Чтоб вам от воды и огня не было спасения!

Люди только головы втягивали в плечи и в ужасе спешили мимо.

А она большими шагами спешила на помощь Ягусе.

Гроза разбушевалась не на шутку, небо стало сизым, огромными клубами кружилась в воздухе пыль, тополя со стонами гнулись до земли, ветер с исступленным воем налетел на хлеба, заметавшиеся во все стороны, и, как стадо взбесившихся быков, ворвался в лес, и лес закачался и грозно зашумел.

Удары грома следовали один за другим, от его раскатов дрожала земля, тряслись избы. Клубились медносиние тучи, низко свесившись над землей своими вздутыми брюхами, и то и дело какая-нибудь разверзалась, гремел гром и лился поток ослепительного света.

Порой сыпался редкий град, стуча по листьям и веткам.

А в синей мгле, среди пыли и града, отчаянно металась деревья, кусты, колосья. Казалось, они порывались бежать, но вихри хлестали их со всех сторон, и, ослепшие от молний, обезумевшие от грохота, они только качались с диким посвистом. А где-то высоко, сквозь тучи, мрак и ветер, пролетали голубые дрожащие молнии, как огненные змеи, неслись неведомо откуда и неведомо куда, вспыхивали и исчезали, ослепляющие, но и сами слепые и немые, как судьба человека.

Так продолжалось с перерывами до позднего вечера, и гроза утихла только, когда пришла ночь, мирная, прохладная и темная.

А на другой день погода стояла чудная, безоблачное небо синело ярко, как умытое, земля искрилась росой, пение птиц звучало как-то особенно весело, и все живое с наслаждением вдыхало свежий ароматный воздух.

В Липцах все вошло в привычную колею, и, как только встало солнце, мужики все как один стали выходить в поле жать. Из всех хат шли в поле семьями, везде сверкали косы и серпы, с каждого двора выезжали телеги на межи и полевые дороги.

И, когда зазвенел маленький колокол в костеле, каждый уже стоял на своей полосе и, услышав звон — а на ближних пашнях и звуки органа, — читал молитву и потом,

перекрестясь, крепко упирался ногами в землю, сгибался и начинал работать. Глубокая торжественная тишина стояла на пашнях, словно здесь шла литургия тяжелого неустанного и плодотворного труда.

Солнце поднималось все выше, поля купались в его огневом блеске, и день жатвы звенел, как золото, тяжелым спелым зерном, и время текло, как течет в закрома золотая пшеница.

Деревня стояла пустая, словно вымерла, избы были заперты, и все, кто только мог двигаться, даже дети, старики и больные, ушли в поле.

Собаки, и те рвались с привязей и убегали с опустелых дворов вслед за хозяевами.

И на всех полях, куда ни глянь, в страшном зное, среди золотистых хлебов, от зари до позднего вечера сверкали серпы и косы, белели рубахи, алели юбки, неумоимо копошились люди и шла напряженная работа. Никто уже не ленился, не кивал на соседа и ни о чем другом не думал, — гнулся над полосой своей и трудился в поте лица.

Только поля Доминиковой лежали заброшенные, словно забытые. Зерно уже сыпалось из колосьев, но никто не показывался здесь, и соседи, проходя, с боязливым сожалением отводили глаза, многие вздыхали, смущенно чесали затылки, тревожно косясь на других, еще ретивее принимались за работу — некогда было предаваться раздумью.

И бежали страдные дни, как колеса с золотыми спицами, сверкая в солнечных лучах, и проходили один за другим, все такие же жаркие и полные тяжелого и радостного труда.

Через несколько дней, так как погода стояла на редкость сухая, принялись вязать толстые снопы. Их складывали в копны и постепенно свозили в деревню.

Непрерывно двигались тяжелые, доверху нагруженные возы, ехали со всех полей, по всем дорогам к настезь раскрытым овинам. Словно волны сыпучего золота разлились по дорогам, дворам и гумнам и даже на берегах озера, а с деревьев у дороги висела золотая солома, и везде пахло травами и молодым зерном.

Уже кое-где на токах стучали цепи — там спешно молотили рожь. А на широких опустевших полях, на золотистой стерне целые стада гусей жадно охотились за неподобранными колосьями, паслись овцы и коровы, тут и там дымили первые костры, и по целым дням звенели песни девушек, слышался веселый говор, громохание телег, везде улыбались загорелые счастливые лица.

Не успели скосить рожь, а уже на высоких местах овес просился под косу, ячмень дозревал прямо на глазах, и все гуще золотилась пшеница — и людям некогда было передохнуть, даже поест как следует.

Но, несмотря на такой тяжелый труд, на то, что многие от усталости засыпали по вечерам, как убитые, над мисками, — когда все возвращались с поля, Липцы так и гудели от веселого шума, говора, смеха, песен и музыки.

Ведь кончилось трудное время перед новым урожаем. Теперь амбары были полны, хлеба много, и каждый мужик, даже самый бедный, ходил с гордо поднятой головой, уверенный в завтрашнем дне, и мечтал о долгожданных радостях.

В один из таких золотых дней жатвы, когда уже свозили с поля ячмень, проходил деревней слепой нищий с собакой-поводырем. Как ни жарко было, он никуда не зашел, потому что очень спешил на Подлесье. Тяжело ему было тащиться на костылях, он брел медленно и, часто останавливаясь подле жнецов, здоровался, угощал их табаком, и как будто, наводил разговор на Ягусю и липецкие события.

Однако разузнал он немного — все отвечали неохотно и спешили от него отделаться.

На Подлесье, где он присел под крестом отдохнуть, окликнул его Матеуш, тесавший неподалеку бревна для будущей мельницы кузнеца.

— Укажите мне дорогу к Шимеку Пачесю, — попросил дед, вставая и подбирая костыли.

— Не отдохнешь ты у них — там теперь только плач да горе! — сказал Матеуш, понижая голос.

— Ягуся все еще хворает? Говорили мне, будто она не в своем уме...

— Неправда! Но она все лежит без памяти. Камень, и тот бы над ней сжалился. Ох, люди, люди!

— Так загубить душу христианскую! А старуха, слышно, жалобу подает на всю деревню?

— Ничего она не добьется! Всем миром постановили... они право имеют...

— Страшное это дело — гнев всего народа! Ох, страшное! — старик даже вздрогнул.

— Верно. Да только глуп этот народ, и зол, и несправедлив! — с жаром воскликнул Матеуш.

Проводив старика до хаты Шимека, он зашел внутрь, но тотчас вышел, украдкой утирая слезы. Настуся пряла лен на завалинке. Нищий подсел к ней и достал из кармана синюю бутылочку.

— Вот этой водой надо обрызгивать Ягусю три раза в день и темя ей смачивать — и через неделю все как рукой снимет. Мне эту воду дали монашки в Пширове.

— Спасибо вам! Вот уж две недели прошло, а она все лежит без памяти, иной раз только рвется с постели, словно куда-то бежать хочет, и все плачет да Яся зовет.

— А как Доминикова?

— Тоже на мертвеца похожа. Все возле Ягуси сидит. Она долго не протянет.

— Господи Иисусе, как пропадают люди!.. А где же это Шимек?

— В Липцах живет. Ведь теперь все их хозяйство на его плечах, — мне-то за ними здесь ходить приходится.

Она сунула нищему в руку целый пятак, но он не хотел брать.

— Я не за деньги, я из любви к ней принес. И еще помолюсь за нее, так, может, Бог все переменит к лучшему. Жалела она бедных людей, хорошая была, мало таких на свете.

— Правда, правда, у нее доброе сердце! Может, оттого она и горя столько приняла! — прошептала Настуся, печально глядя вдаль.

В Липцах звонили к вечерне, по временам доносился стук колес, лязг кос и далекая-далекая песня. Золотистая дымка заката уже окутывала деревню, поля и леса.

Дед встал, отогнал собак, поправил котомку на спине и, опершись на костыли, сказал:

— Ну, оставайтесь с Богом, дорогие!

## Примечания

1

Злотый в то время равнялся пятнадцати копейкам

2

Коморник — безземельный крестьянин, обрабатывающий чужие поля.

3

Влука — 16 1/2 га

4

Морг — 0.56 га

5

Сукмана — сермяжный кафтан

6

Войт — волостной старшина.

7

Сервитут — право пользования крестьянами землей и угодьями помещика в определенных пределах.

8

Солтыс — деревенский староста.

9

Запаска — квадратный кусок ткани, служащий то передником, то головным платком.

10

Плебания — дом при костеле, где живет ксендз.

11

Облатки — пресные тонкие лепешки, употребляемые для причастия.

12

Обертас — польский народный танец.

13

Куявяк — польский народный танец.

14

Яловец — можжевельник.

15

Речь идет о польском восстании 1863 года.

16

Кобусь — кобчик, ястреб.

17

То есть не отмечена в "табели", документе, уточняющем права и повинности крестьян по отношению к помещику.

18

Попелец — от слова "пепел". В этот день молящиеся в костеле посыпали голову пеплом в знак покаяния.

19

Шарварк — дорожная повинность, налагаемая местными властями на крестьян

20

Обливание — деревенский обычай: в понедельник на пасхальной неделе молодежь обливает друг друга водой.

21

Введение — обряд введения в костел женщины в первый раз после родов.

22

Дыдек — около трех копеек.

23

Оберек, или обертас, — польский народный танец.

24

Речь идет о польском восстании 1863 года.

25

Помилуй меня, Господи (лат.).

26

По великому милосердию твоему (лат.).

27

Эпитимия — церковное покаяние.

28

Шабес — суббота (евр.).